Г. Дж. Уэллс ◆ Опыт автобиографии

Герберт Джордж Уэллс

Опыт автобиографии


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Приступая к написанию воспоминаний, автор и не подозревал, какое место в его творчестве они займут. Поначалу мемуары составили два тома. Со временем к ним добавился еще один, «Влюбленный Уэллс», — об отношениях с женщинами. В результате «Опыт» оказался одной из самых читаемых книг Уэллса, соперничая в популярности с его лучшими фантастическими романами.

В книге содержатся размышления не только над вопросами литературы. Маститый писатель предстает перед нами как социолог, философ, биолог, историк, но главное — как великая личность, великая даже в своих слабостях и недостатках. Горечь некоторых воспоминаний не «вытравляет» их мудрости и человечности.

«Опыт автобиографии» — один из важнейших литературных документов XX века.

На русском языке публикуется впервые.

- Герберт Джордж Уэллс
  -
  - ТОМ ПЕРВЫЙ[1]
    - Глава I
      - 1. Прелюдия (1932 г.)
      - 2. «Персона» и индивидуальность
      - 3. Мои умственные и физические качества
    - Глава II
      - 1. Хай-стрит, Бромли, Кент
      - 2. Сара Нил (1822–1905)
      - 3. Ап-парк и Джозеф Уэллс (1827–1910)
      - 4. Сара Уэллс в Атлас-хаусе (1855–1880 гг.)
      - 5. Сломанная нога, некоторые книги и картинки (1874 г.)
    - Глава III
      - 1. Коммерческая академия мистера Морли (1874–1880 гг.)
      - 2. Мир в восприятии подростка (1878–1879 гг.)
      - 3. Миссис Уэллс — домоправительница в Ап-парке (1880–1893 гг.)
      - 4. Первое вступление в жизнь. Виндзор (лето 1880 г.)

- 5. Второе вступление в жизнь. Вуки (зима 1880 г.)
- 6. Интерлюдия в Ап-парке (1880–1881 гг.)
- 7. Третье вступление в жизнь. Мидхерст (1881 г.)

- Глава IV
  - 1. Четвертое вступление в жизнь. Саутси (1881–1883 гг.)
  - 2. ХАМЛ и «Свободомыслящий». Проповедники и читальня
  - 3. Пятое вступление в жизнь. Мидхерст (1883–1884 гг.)
  - 4. Первое знакомство с Платоном и Генри Джорджем
  - 5. Вопросы совести
  - 6. Прогулки с отцом
- Глава V
  - 1. Профессор Хаксли и биология (1884–1885 гг.)
  - 2. Профессор Гатри и физика (1885–1886 гг.)
  - 3. Профессор Джад и геология (1886–1887 гг.)
  - 4. Недовольный студент ищет место в жизни (1884–1887 гг.)
  - 5. Социализм (без компетентного восприемника) и переустройство мира
  - 6. Фон студенческой жизни (1884–1887 гг.)
  - 7. Сердечная страсть
- Глава VI
  - 1. Шестое вступление в жизнь, или Вокруг да около
  - 2. Кровь в мокроте (1887 г.)
  - 3. Второй налет на Лондон (1888 г.)
  - 4. Школа Хенли-хаус (1889–1890 гг.)
  - 5. Университетский заочный колледж (1890–1893 гг.)
  - 6. Уход в журналистику (1893–1894 гг.)
  - 7. Наглядные примеры

- ТОМ ВТОРОЙ[10]
  - Глава VII
    - 1. Многоголосая фуга
    - 2. Первая привязанность
    - 3. Modus vivendi[11]

- 4. Как я пишу о проблемах пола
- 5. Еще раз о романах
- Глава VIII
  - 1. Беседы у домашнего очага (1894–1895 гг.)
  - 2. Линтон, Стейшн-роуд, Уокинг (1895 г.)
  - 3. Хетерли, Вустер-парк (1896–1897 гг.)
  - 4. Нью-Ромни и Сандгейт (1898 г.)
  - 5. Несколько поучительных встреч; разные люди и темпераменты (1897–1910 гг.)
  - 6. Мы строим дом (1899–1900 гг.)
- Глава IX
  - 1. «Предвидения» (1901) и Новая республика
  - 2. Самураи в утопии и в Фабианском обществе (1905–1909 гг.)
  - 3. «Планирование» в «Дейли мейл» (1912 г.)
  - 4. Великая война и мое обращение к «Богу» (1914–1916 гг.)
  - 5. Военный опыт невоеннообязанного
  - 6. Мировое государство и Лига Наций
  - 7. Мировое образование
  - 8. Мировая революция
  - 9. Работа мозга вообще и ум в ключевой позиции
  - 10. Заключение

○ ДОПОЛНЕНИЯ

- Герберт Джордж Уэллс
  - Что представляет собой «Влюбленный Уэллс»
  - Пролог
  - Глава I
    - 1. Призрак Возлюбленной
    - 2. Призрак Возлюбленной в Пимлико и Сохо
    - 3. Дуза
    - 4. Эпизод с Крошкой Элизабет
    - 5. Ребекка Уэст
    - 6. Психологический и родительский
    - 7. Вопиющая перемена в Одетте Кюн
    - 8. Высвобождение и попытка усовестить
    - 9. Мура — широкая душа

- 10. Возраст берет свое: мысли о самоубийстве
- Глава II
  - 1. Листки дневника
  - 2. Запись, сделанная другой рукой
  - 3. О публикации «Постскриптума»[71]
  - 4. Запись о судьбе и индивидуальности[73]
- Уилфред Б. Беттерейв
- ПРИЛОЖЕНИЯ
  - Ю. И. Кагарлицкий
  - Е. П. Зыкова, М. П. Тугушева
  - Основные даты жизни и творчества Г.-Дж. Уэллса
  - Иллюстрации
  - Указатель имен[169]

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26

- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70

- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114

- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158

- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169

- comments
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32

- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76

- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120

- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164

- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208

- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252

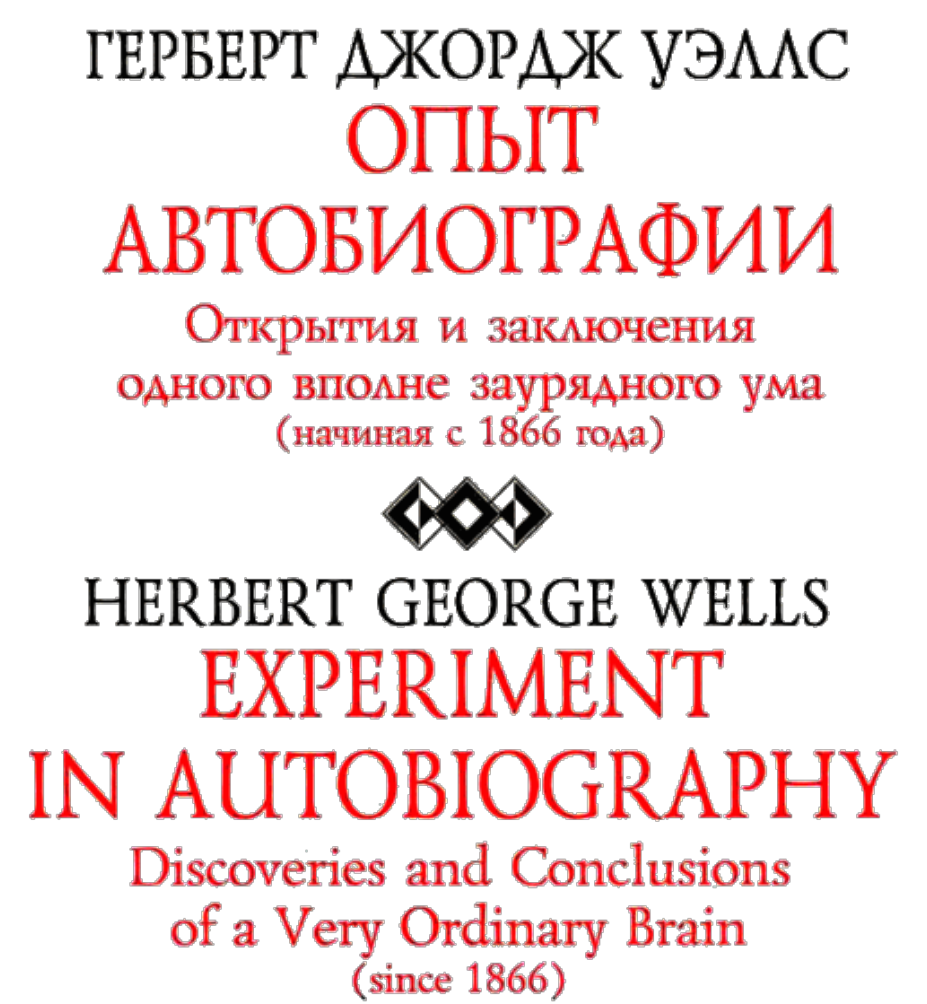
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296

- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340

- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352
- ○ 353
- ○ 354
- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357
- ○ 358
- ○ 359
- ○ 360
- ○ 361
- ○ 362
- ○ 363
- ○ 364
- ○ 365
- ○ 366
- ○ 367
- ○ 368
- ○ 369
- ○ 370
- ○ 371
- ○ 372
- ○ 373
- ○ 374
- ○ 375
- ○ 376
- ○ 377
- ○ 378
- ○ 379
- ○ 380
- ○ 381
- ○ 382
- ○ 383
- ○ 384

- ○ 385
- ○ 386
- ○ 387
- ○ 388
- ○ 389
- ○ 390
- ○ 391
- ○ 392
- ○ 393
- ○ 394
- ○ 395
- ○ 396
- ○ 397
- ○ 398
- ○ 399
- ○ 400
- ○ 401
- ○ 402
- ○ 403
- ○ 404
- ○ 405
- ○ 406
- ○ 407
- ○ 408
- ○ 409
- ○ 410
- ○ 411
- ○ 412
- ○ 413
- ○ 414
- ○ 415
- ○ 416
- ○ 417
- ○ 418
- ○ 419
- ○ 420
- ○ 421
- ○ 422
- ○ 423

Герберт Джордж Уэллс
ОПЫТ АВТОБИОГРАФИИ
Открытия и заключения одного вполне заурядного ума (начиная с 1866 года)



Двухтомный «Опыт автобиографии» Герберта Уэллса впервые увидел свет в 1934 году, а 1937-м на прилавках книжных магазинов появился его более скромный в полиграфическом отношении и потому более дешевый вариант. Постскриптум к этому сочинению под заглавием «Влюбленный Уэллс» (который

дается в настоящем издании в разделе «Дополнения») вышел из печати только через полвека, хотя написан был сразу вслед за первыми двумя томами воспоминании. Причина такой задержки проста: поскольку речь в постскриптуме идет об отношениях с женщинами, опубликовать его автор разрешил только после смерти последней из упомянутых в тексте героинь.

Заключительную часть своих мемуаров Г.-Дж. Уэллс распорядился издать вместе с двумя первыми, ибо иначе нельзя составить полного представления о его жизни и мировоззрении, но сын писателя, Дж.-Ф. Уэллс, готовивший к публикации «Влюбленного Уэллса», нарушил волю отца, посчитав, что обладатели двух первых томов непременно купят и последний, тогда как приобретать объединенное трехтомное издание скорее всего не станут.

На русском языке «Опыт автобиографии» и «Влюбленный Уэллс» публикуются впервые. Перевод осуществлен по изданиям: Wells H. G. Experiment in Autobiography: Discoveries and Conclusions of a Very Ordinary Brain (Since 1866). L.: Victor Gollanz Ltd: The Cresset Press Ltd, 1937; H. G. Wells in Love: Postscript to an Experiment in Autobiography / Ed. G. P. Wells. L.; Boston: Faber & Faber, 1984.

Г.-Дж. Уэллс в последние годы жизни



ТОМ ПЕРВЫЙ [1]



Глава I
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ

1. Прелюдия (1932 г.)

Чтобы думать, необходима свобода. Чтобы писать, нужен покой. Но бесконечные неотложные дела выводят меня из равновесия, а каждодневные обязанности и раздражающие мелочи не дают сосредоточиться. И нет ни малейшей надежды избавиться от них, ни малейшей надежды целиком отдаться творчеству, прежде чем меня одолеют недуги, а за ними и смерть. Я измотан, вечно собой недоволен, и в предчувствии неизбежных неприятностей не могу взять себя в руки, чтобы должным образом распорядиться собственной жизнью.

Пытаясь справиться с создавшимся положением, я просто веду записи — для себя, и не берусь ни за какую другую работу. Хочу разобраться в своих проблемах, и тогда либо они перестанут меня тревожить, либо я научусь их преодолевать.

Думается, подобные трудности встают перед каждым, кто посвятил себя умственной деятельности. Мы задерганы. И стремление освободиться от повседневных дел, забот и всевозможных искушений овладевает все большим числом людей, поставивших перед собой некую важную жизненную цель, но поминутно отвлекаемых на пустяки. Это результат специализации и настоятельной потребности четко определить область приложения своих сил — потребности, развившейся не ранее прошлого века. Широта интересов и свободный досуг или хотя бы стремление к тому и другому — удел очень немногих. А проблема эта существует испокон веков. Людей на каждом шагу заставляли отклоняться от избранного пути всяческие страхи и неослабное противостояние среды. Жизнь никого не оставляла в покое. Она определялась необходимостью приспосабливаться и до предела была заполнена удачами и неудачами.

Люди чувствовали голод и утоляли его, испытывали желание и любили, радовались и печалились, преследовали и спасались бегством, терпели поражение и погибали, но с развитием способности предвидеть и с использованием дополнительных источников энергии, что особенно проявилось в последние сто лет, человек все меньше стал зависеть от требований дня. То, что ранее представлялось содержанием жизни, оказалось всего лишь ее изнанкой. Мы начали задаваться вопросами, которые еще пять столетий назад вызвали бы всеобщее удивление. Стали говорить:

«Да, ты можешь прокормиться, ты способен содержать семью. Ты кого-то любишь, кого-то ненавидишь. *Но что ты делаешь*?»

Стремление к независимости сделало современного цивилизованного человека непохожим на тех, кто жил раньше. Искусство, чистая наука, литература стали для него постоянным источником интереса, жизненным стимулом и представляют куда большую ценность, чем примитивные радости, связанные с удовлетворением первоочередных потребностей. Последнее превратилось для него в нечто само собой разумеющееся. Повседневность подчинилась более высоким целям, и если личные пристрастия, приобретения и потери по-прежнему приковывают наше внимание, то лишь постольку, поскольку они дополняют главнейшие потребности, способствуют или, наоборот, мешают их удовлетворению. Ибо желание жить полноценной жизнью именно в этом смысле осознается день ото дня все полнее и определеннее.

Человек творческого труда — это не обычное существо, он не может и не испытывает ни малейшего желания жить как все нормальные люди. Он хочет вести жизнь необычную.

Люди все лучше понимают, что растущее стремление избавиться от неотступных личных забот ради более высоких целей не означает, в отличие от желания погрузиться в азартные игры, мечтания, пьянство или покончить самоубийством, отгороженности от привычного течения жизни, напротив, это попытка побороть повседневность, которая, даже заняв подчиненное место, все же дает о себе знать. По существу, за этим скрывается стремление приобщить свою частную жизнь к жизни всего человечества. В научных исследованиях, в лабораториях и мастерских, в административных учреждениях и в ходе экспедиций зарождается и растет этот новый мир. Это не прощание с прошлым, а его безмерное обогащение, ибо человечество все более осознает себя единым целым, способным вобрать в себя индивидуальные устремления. Мы, люди творческого труда, преобразуем условия человеческой жизни.

Чем дольше я живу, тем более проясняется и год от года крепнет во мне желание стать выше элементарных житейских потребностей, подчинить их себе, сосредоточиться по возможности на чем-то главном, к чему я предназначен, и в этом я вижу не только основную линию моего жизненного поведения, желание найти выход из собственных затруднений, но и ключ к преодолению препятствий, стоящих на пути большинства ученых, философов, художников и вообще всех творческих людей, мужчин и женщин, погребенных под грузом повседневности. Подобно доисторическим амфибиям, мы все, можно сказать, пытаемся

выбраться на воздух из воды, где доселе обретались, научиться дышать по-новому, освободиться от всего общепринятого, ранее не подвергавшегося сомнению. Нам во что бы то ни стало нужен воздух, иначе мы задохнемся. Но новая земля только замаячила для нас, она еще не до конца выступила из-под вод, и мы горестно барахтаемся, оставаясь в среде, которую мечтаем покинуть.

Жить без надежды продолжить дело, для которого, думаю, я предназначен, мне представляется в высшей степени бессмысленным. Не хочу сказать, что повседневность, которая в свое время увлекала и восхищала меня и казалась бесконечно интересной — сшибка и борьба индивидуальностей, музыка и красота, еда и питье, путешествия и встречи с людьми, новые земли и необычные зрелища, работа ради успеха и игра ради игры, и юмор, и радость выздоровления, привычные удовольствия и среди них самое ощутимое — удовольствие потешить свое тщеславие, — безвозвратно канула в Лету. Во мне по-прежнему живет чувство благодарности за все, что дает нам жизнь. Но я уже сполна насладился этим, и жить во имя получения больших благ я отказываюсь. Мне бы хотелось, чтобы поток жизни не останавливался для меня еще долгие годы, но чтобы моя работа по-прежнему, даже больше, чем прежде, была бы путеводной нитью, главным маяком в этом потоке. Я принимаю только такие условия. Но это меня и тревожит. Я чувствую, что способен к работе меньше, чем ранее. Может быть, дело в возрасте, а может быть, в том, что мои представления о целях меняются, а требования к себе все расширяются, углубляются, в результате становясь непомерными, и при этом я отдаю время и мысли решению задач второстепенных или, во всяком случае, не связанных напрямую с моим делом. Повседневное, вторичное, как непроходимые джунгли, окружило меня со всех сторон. Оно душит меня, поглощая время, путая мысли. Всю жизнь я отводил от себя эти назойливые щупальца, упорно старался избегать всего лишнего, уклоняться от нежелательных последствий содеянного, накапливать поменьше обязательств, но сейчас их вторжение все больше угнетает меня, рождая чувство безнадежности. Во мне живет ощущение перелома; настала пора как-то перестроить жизнь и обрести покой, ведь десять или от силы пятнадцать лет — это все, что мне осталось, и надо подумать о том, чтобы не потратить их зря.

Позднее я объясню, в чем вижу главную свою задачу. Но чтобы ее должным образом осуществить, мне нужен уютный, хорошо освещенный и проветренный кабинет, удобная спальня, в которой, если захочется, я мог бы и писать, причем и в том, и в

другом случае меня следует избавить от всего, что отвлекает и создает шум. Еще мне нужна секретарша или хотя бы машинистка, которая находилась бы у меня под рукой, но не путалась под ногами, хорошая библиотека в пределах досягаемости, и чтобы между мной и внешним миром стоял некто и отвечал на телефонные звонки. (А лучше всего, если бы телефон был односторонним и мы бы узнавали новости, лишь когда испытывали в них потребность, но никто не навязывал бы нам их насильно.) Таким я вижу главное средоточие моей жизни. Именно такие условия я считаю наилучшими для плодотворной работы. Думаю, мне бы еще хотелось, чтобы пейзаж за просторным окном непрестанно менялся, но я понимаю, что последнего трудно добиться. Фоном же для главного служили бы сытная еда, физические упражнения, приятное и интересное общение, всепроникающее чувство защищенности и того, что ты нужен людям, уверенности в том, что твоя работа, выполненная на пределе возможностей, окажется значительной и принесет пользу. В подобных условиях, мне кажется, я немало бы еще сделал за оставшиеся годы, притом без спешки и лишней траты времени. Таким образом, как все устроить и организовать, я знаю, однако часы тикают, секунды складываются в часы, часы — в дни, а я никак не могу обрести необходимый покой.

Я и сам, без лишних напоминаний, сознаю, что значительная часть моих произведений написана небрежно, словно бы из-под палки, с раздражением, в спешке, плохо отредактирована, бледна и рыхла, словно перекормленная картошкой монахиня. Меня мучают желание сделать больше, чем сейчас в моих силах, и неспособность создать для этого лучшие условия. Я, как мне кажется, трачу несообразно много времени и душевной энергии в неуклюжих попытках урвать часы для работы, и при этом мне удается спасти лишь жалкие крохи убегающего времени, и даже в эти выкроенные минуты мысли мои путаются и в голове сумбур.

Нельзя сказать, что я беден и не могу приобрести того, что хочу; и все же достичь желаемого я не в состоянии. Я не могу подчинить себе обстоятельства, не умею отыскивать помощников и союзников, которые отгородили бы меня от внешнего мира и повседневных забот. Не думаю, что таковые найдутся, ибо для того, чтобы защитить меня полностью, эти помощники должны были бы превосходить меня интеллектом и способностями, а в таком случае почему бы им не занять мое место?

Чувство невыносимого гнета всевозможных мелочей и потребность освободиться от них свойственны, как я говорил, не мне одному, они присущи всем мужчинам и женщинам, которые пишут, рисуют, ведут исследовательскую работу и принимают

участие во множестве других дел, торопя наступление нового дня и той более масштабной человеческой жизни, что предвещают искусство, наука и литература. Мой старый друг Генри Джеймс{1}, тончайшей души человек, романист, желавший целиком отдаться своему ремеслу, испытывал то же самое. Какое-то свойство характера заставляло его вести интенсивную светскую жизнь; в результате он так был поглощен визитами, знаками внимания, выражениями благодарности и уважения, проявлениями щедрости, поздравлениями и ловкими комплиментами, взаимными обязательствами, благородными поступками и демонстративными жестами — и все это с большой самоотдачей и размахом — что порой ему жилось не легче, чем какому-нибудь взмыленному рабочему-поденщику. Его страстное желание освободиться вылилось в мечту о тихом отдыхе и спокойном месте, именуемом «Большой Хороший Дом», где все, что ни делается, будет делаться к лучшему, а усталый мозг станет вновь свободным и активным. Та же страстная мечта о бегстве от повседневности, только куда менее Грандисонова{2} и гораздо более трагичная, перед смертью подтолкнула Толстого к безоглядному бегству из дома, что и пресекло его дни.

Подобное побуждение к бегству неизбежно отличает каждого из тех, великих или малых, кто ощутил в себе потребность творчества, если только эта творческая тяга не вызвана чистой корыстью или желанием обеспечить свои духовные и материальные потребности или же просто-напросто потребности в элементарных житейских удобствах. Существование наше пронизано этим отчаянным, часто безнадежным желанием спастись, найти и для себя Большой Хороший Дом и работать там всласть.

Нам туда никогда не попасть, а может быть, такого Дома вовсе нет, но мы, каждый по-своему, ищем его. Мы не осуществляем всего, что, как нам кажется, мы задумали, нам не дано подняться к великолепным вершинам своей мечты, но все-таки порой кое-кому из нас удается добиться чего-то, на что стоило тратить силы. Кое-кто из нас — есть и такие люди — совершенно безразличен ко всему преходящему, готов жить на чердаке или в жалкой лачуге, залезать в долги, обирать женщин (а если речь идет о женщинах — мужчин), искать покровителей, принимать пожертвования. Но даже такое существование не всегда остается беззаботным. В нем есть свои печали и разочарования.

Другие, подобно мне, живут в постоянном напряжении, а часть отпущенной им энергии тратят на то, чтобы сохранить ее остаток. Они заботятся о достойных условиях существования и

небезразличны ко всему, что их окружает. Такую именно жизнь я и прожил. Я построил два дома и практически перестроил третий в надежде создать Большой Хороший Дом, где мог бы работать, я уезжал в деревню и возвращался в город, покидал родину и перебирался от одного друга к другому, эксплуатировал любовь тех, кто был щедрее меня и обеспечивал мне жизнь. В отличие от них я был сосредоточен на себе и ни разу не проявил бескорыстной любви к какому-нибудь лицу или месту. Любить бескорыстно мне не дано. Не раз я по уши влюблялся, но это уже нечто иное. Время от времени я судорожно начинал делать деньги. И сейчас, весной 1932 года, когда мне уже 65 лет, я все еще молю судьбу, чтоб она дала мне пожить спокойно и сделать нечто великое, что могло бы стать искуплением вины.

Недостатки и непоследовательность свойственны всем творческим людям. Нам приходится идти на компромиссы. Мы терпим неудачи. Жизненный путь любого из нас со всеми нашими метаниями и шараханиями из стороны в сторону, достигнутыми успехами, перепадами возвышенного и низменного, неотвязной тягой к бегству, по существу, комичен. Судьба наша была бы жалкой, если б не благородство нашего призвания, но благородству мешают неизбежные уступки, мы слишком часто соглашаемся с привходящими обстоятельствами, и поэтому нашу историю невозможно назвать до конца счастливой. При всей своей внушительности она никак не патетична. Единственное, что извиняет нас, — это цельность взгляда и отсутствие нравоучительности.

В таком духе я и намерен изложить историю моей жизни, не скрывая, повторюсь, и теперешних трудностей, что поможет навести мне порядок в собственных мыслях. Но история моя бессюжетна, и потому задача не может быть выполнена. Я не верю, что при теперешнем состоянии общества сыщется надежный Большой Хороший Дом для кого-либо из нас, занятых творческим трудом. Все мы, каждый по-своему, в разных формах и с разным умонастроением переделываем мир, а значит, наши изначальные побуждения и эмоции, драма каждой взятой в отдельности жизни год от году, от поколения к поколению будут становиться все вторичнее по отношению к правде и красоте, подчинившись более общим интересам и более крупным целям.

В этом наша главная задача. И значит, как и сегодня, мы еще на несколько столетий останемся пришельцами, вторгшимися в повседневность. Мы очень одиноки. У нас другие нервы, другой костяк. Мы слишком заняты своим делом, своими поисками и неспособны целиком, по доброй воле, с открытой душой отдать себя людям, а в результате им тоже не удается отдать себя нам.

Вдобавок мы непохожи друг на друга, и нам непросто собраться вместе в прочное содружество. Мне, как и другим, полезно признать, хоть и с опозданием, что нет Дома, на поиски которого мы пустились, и нет устойчивых отношений между людьми. Я понимаю сейчас то, о чем только догадывался, принимаясь за эту часть своей книги: я подобен запоздалому путнику, который шагает и шагает по дороге, а цель далека.

Этот величественный покой, эта безмятежность, помогающая описать беспрестанно меняющиеся картины, остановить текучую неопределенность распахнутых горизонтов, лишь спасительная мечта, но она всегда вселяла в меня надежду на самых крутых поворотах судьбы. И вот я сейчас, если можно так выразиться, сижу бок о бок с читателем, сплетаю историю своих заблуждений и ошибок, глупых надежд и неожиданных уроков, которые преподносит судьба, я хочу поведать о своих удачах и захватывающих дорожных приключениях, а потом, приободрившись и отдохнув, подготовившись к дальнейшему разговору, взваливаю на плечи котомку и двигаюсь дальше по запруженному толпою пути, где на каждом шагу что-то меня отвлекает, раздражает, заставляет вмешиваться в ссоры, хотя знаю наперед, что нигде нет явившегося мне в мечтах идеального Дома для Работы и нет надежды достичь совершенства, и придется идти до тех пор, пока не встану вместе с грузом, какова бы ни была его ценность, на весы, с которыми меня поджидает некто в конце пути. Может быть, к лучшему, что не дано мне узнать, что покажут весы, и есть ли им что показать, и существуют ли вообще эти весы, на которые можно положить груз прожитых лет.

2. «Персона» и индивидуальность

Предыдущие страницы я набросал год с лишним назад, бессонной ночью, между двумя и пятью утра; я верил во все сказанное, и критический разбор моих слов может послужить отправной точкой и канвой этого опыта автобиографии. Ибо эти страницы раскрывают по-честному и без прикрас то, что Юнг{3} назвал бы моей «персоной».

«Персона», по терминологии Юнга, — это представление человека о самом себе, о том, каким он хотел бы быть и каким ему хотелось бы казаться другим. Это дает ему, таким образом, мерку, чтобы судить о своих поступках, задачах и императивах. У каждого из нас есть «персона». Без этого невозможно понять систему нашего поведения и самопознания.

«Персона» может быть стабильной и необыкновенно

подвижной. Она может быть честной перед собой или черпать часть своих представлений из царства грез. В нас может заключаться одна или множество «персон», и в последнем случае нас обвиняют в непоследовательности и мы удивляем самих себя и наших друзей. Наша «персона» меняется с течением времени и зависит от возраста. Она редко исчерпывает собою нашу внутреннюю жизнь или даже никогда не исчерпывает ее. А всевозможные комплексы бывают присущи нам только отчасти либо совсем не присущи или же могут проявляться самым неожиданным образом.

Так что нарисованный мною портрет человека с постоянными умственными перегрузками, человека, преследующего высокие и обширные цели и мечтающего максимально освободиться от всех забот и низменных потребностей, отвлекающих его от стоящих перед ним задач, — это только набросок меня, а вернее того, кем я хотел бы себе казаться. Это план, которому я собираюсь следовать и исходя из которого я буду судить о своей жизни. Но со мной происходило множество событий, во мне заключено очень многое, и дело читателя принимать или не принимать мои субъективные оценки.

«Персона», как у многих маньяков, может быть изначально ложной. Она может быть построена на обычных для честолюбцев заблуждениях, призванных играть компенсаторную роль. Но отсюда не вытекает, что человек, решающий поставленную перед собой задачу и исходящий из своих внутренних побуждений, обязательно обманывает себя. Тот, кто пытается быть верным собственному представлению о том, какова его суть, может быть достаточно честен, сдерживая или игнорируя многие свои побуждения и тайные импульсы. Его истинное лицо в конце концов оказывается скрыто маской Счастливого Лицемера.

И так же верно, как счесть всех нас лжецами, утверждать, что все мы близки к святости или к героизму. Мне верится, и у меня есть для этого основания, что во мне с ранних лет были заложены свойства бескорыстного мыслителя и деятеля, пекущегося о благе человечества, а не о собственном преуспевании. Но мне мешали внешние обстоятельства, житейские неудачи, собственные срывы, и если в строках, написанных бессонными ночами, чувствуется отчаяние, то объяснение следует искать как в том, что происходило вне меня, так и в том, что творилось во мне; ни враждебность окружающих, ни собственные искушения не могли бы взять верх надо мной, если б не было внутри меня им некой опоры. Вот почему я отказался от заманчивой мысли оправдаться и взял на себя труд написать честную автобиографию, представив запутанный клубок, питающий мою «персону»: сложные

сексуальные комплексы, тщеславие и зависть, колебания и страхи, меня одолевавшие, так что не оправдываюсь я в интересах истины.

Биографии положено быть анатомией личности, выявлением изначальных ее свойств и того, во что они трансформировались, черты же «персоны» приобретают главенствующее значение, лишь когда они составляют последовательное целое и становятся чем-то определяющим в жизни. Но в моем случае это именно так. С раннего возраста я был предрасположен к совершенно определенной форме деятельности и определенным интересам. Важнее всего для меня были попытки проследить движение отдельной человеческой жизни и человечества в целом, выделить главное в беспорядочном потоке событий и суметь запечатлеть это главное. Изучение тех или иных тенденций и объяснение их всегда было для меня тем же, что музыка для музыканта или развитие науки для ученого. Возможно, моя «персона» — это выпячивание лишь одной стороны моей жизни, но я уверен, что именно это во мне главное. Я, может быть, преувеличиваю, но никак не фантазирую. Объем сделанного мною говорит сам за себя.

Другое дело, насколько важна моя работа. Для скверного музыканта музыка все равно остается его главной страстью. Я потратил большую часть жизни на попытки найти практическое применение своим знаниям по истории и социологии, но отсюда отнюдь не следует, будто современные историки, экономисты и политики так уж неправы, меня игнорируя, они не приемлют в моих работах главного, соглашаясь с частностями. И все равно никуда не уйдешь от того, что я делал такие попытки, что они принесли мне заметную, хотя и сомнительную известность, позволили выделиться из общей массы и, сколько б на моем пути ни было препятствий и неудач, придали моему существованию интерес, который и породил эту книгу, а возможно, породит и следующие, заставляя надеяться на то, что в ближайшем будущем эта попытка самопознания выйдет в свет и в чем-то оградит меня от нападок. Прежде всего я хочу нарисовать образ перфекциониста, человека, сосредоточенного на своем деле и желающего сделать его как можно лучше. Жаба, которая хочет заявить о себе, должна вырастить в своей голове драгоценный камень, а иначе не стоило бы и заводить речь о жабах.

Моя работа и есть та драгоценность, та родившаяся в моей голове и сформировавшаяся в ней идея, что подтолкнула меня к самоанализу и рассказу о прожитых годах. Биологические и исторические идеи и гипотезы, беспорядочно перемешанные в мозгу, остаются туманными и непроясненными, пока не удается

их привести в более близкие и определенные отношения; аморфная смесь приходит в систему, и образ кристаллизуется, возникает более точное представление о человеческих возможностях и способах их реализации. Я прочертил контуры мировоззрения, сделал его четче для себя и для других. Я показал, что жизнь, какой мы ее знаем, — это всего лишь разрозненный сырой материал, из которого можно слепить подлинную жизнь. Мы способны достичь невиданной полноты жизни, свободы и счастья. Если человечество объединится, все сбудется уже в наши дни. Но если человечество упустит этот шанс, то нас ждут распад, разного рода жестокости, заблуждения и в конце концов гибель. И у нас осталось совсем мало времени, чтобы решить — исчезнуть с лица земли или спастись. Для того же, чтобы спастись, потребуются глубочайшие перемены в образовательной, экономической, социальной и политической системах. Очертания их различимы, и перемены эти достижимы. Но для них требуются мужество и единство. Для них нужны сила, концентрация воли и способность приспосабливаться к условиям, необязательно привычным. Вот эта волнующая и ободряющая перспектива и есть то, что выкристаллизовалось в моем мозгу в часы одиночества.

Я не выдаю себя за единственную на свете жабу, в чьем мозгу возник этот волшебный кристалл. Я не нахожу большой разницы между моей головой и другими, и не для меня одного прояснилась такая картина. Мои мысли разделяют многие. Их головы устроены сходным образом, люди эти мне сродни, и лишь по чистой случайности я оказался среди первых, кто выразил подобный взгляд на цель человеческой жизни. Но все же я был среди первых. Именно поэтому главное, что составляет канву моего повествования, — это рассказ о том, как я к этому пришел, подвергая сомнению и отбрасывая общепринятые представления о жизни, как начал искать ключ к ее переустройству, выявлению ее скрытых возможностей. И мне думается, я среди тех, кто нашел этот ключ. Я и мне подобные достаточно точно указали путь: непрестанно исследуя, пропагандируя, просвещая и, если нужно, идя на жертвы, вступая в бесстрашную борьбу против всех проявлений глупости, ретроградства, порочности, мы пока еще можем отполировать, вставить в замочную скважину и повернуть этот ключ, который откроет дверь, ведущую к обществу, где законом станет творчество. Потом будет поздно, но сейчас это реальное царство божие для нас достижимо.

Поэтому мое повествование, очень личное, будет в то же время говорить о людях, на меня похожих, а заодно и обо всей нашей эпохе в целом. Автобиография — это ведь не что иное, как

рассказ о связи человеческого разума с окружающей средой. Начнется моя история с описания смятения, далее последует рассказ, как трудно пробуждалась во мне личность. Кончу же я тем, как пришел к ясному ощущению своих целей и убеждению, что грядущий миропорядок реален и достижим, хоть и не для меня, чье время уходит и перед кем возникают тысячи препятствий на пути к мечте. Пусть не для меня, но для тех, кто несет в себе неугасающую мысль и накопленный опыт, великое будущее придет обязательно.

Эта автобиография предназначена стать творческим итогом того, что сумел постичь один человек; попутно же будет рассказано обо всем хорошем, интересном или просто забавном, встретившемся в его жизни.

3. Мои умственные и физические качества

Ум, в котором запечатлелся мой жизненный опыт, нельзя назвать первосортным. Не уверен, что на выставке умов, вроде выставок кошек или собак, он мог бы претендовать даже на третье место. По множеству параметров он был бы расценен как ниже среднего уровня. Но для маленькой частной школы в городке на окраине Лондона он был вполне хорош и явился неплохим подспорьем в соревновании с другими детьми, поскольку самоуверенность — это уже половина успеха. Я был развит не по летам, и меня до конца моей школьной карьеры, закончившейся слишком рано, еще до того, как мне исполнилось четырнадцать лет, ставили вровень со старшими мальчиками. Но позже я встретил таких людей, что мой ум показался мне жалким. Я не собираюсь даже тягаться с мыслительными аппаратами, подобными глубокому и тонкому уму Эйнштейна{4}, осторожному, быстрому, подвижному уму Ллойда Джорджа{5}, обильному и богатому возможностями серому веществу Бернарда Шоу{6}, кладезю знаний Джулиана Хаксли{7} или тонкому и точному инструменту, которым обладает мой старший сын. Но даже в сравнении с обычными людьми, не претендующими на выдающиеся способности, я оказываюсь в проигрыше. Я путаю или совсем забываю имена людей, у меня ускользают из памяти названия мест, числа и даты. Я их, конечно, запоминаю, но ненадолго. Я способен складывать в уме только самые небольшие числа, и мне никак не удается усвоить последовательность взяток при игре в бридж, так что за карточным столом я оказываюсь слабее девяти из десяти своих соперников. Я проигрываю в шахматы почти каждому, с кем сажусь за доску, и, хотя пятнадцать лет подряд раскладываю популярный пасьянс «Мисс

Миллиган», мне ни разу не удалось уловить какую-либо закономерность в сочетаниях этих ста четырех карт, чтобы действовать иначе, нежели вверяясь случаю и интуиции. Я учу французский со школы, снова и снова к нему возвращаюсь, и даже при том, что за последние восемь лет я каждый год подолгу живу в этой стране, я так и не приобрел ни беглости, ни хорошего произношения и плохо понимаю французов, когда они говорят быстро, то есть всегда. Я занимался испанским, итальянским и немецким по учебникам и разговорникам, эти языки неплохо служат мне во время путешествий, но, едва нужда в них пропадает, я их забываю. Лондон — мой родной город, я хожу по нему всю жизнь, и тем не менее меня всегда поражает уверенность, с какой ориентируется в нем любой шофер такси. Если мне надо пройти из Хокстона в Челси, не спросив дороги, мне приходится сперва основательно изучить карту. Из всего этого следует, что ум у меня скорее неорганизованный, нежели просто плохой, неточный, восприятие замедленное, а память грешит провалами.

Не думаю, что в умственном отношении я начал заметно сдавать. Я легко усваиваю новое, хотя потом и забываю это, может, чуть быстрее, чем прежде. Два года назад я за три месяца в свободное время выучил испанский и без труда объяснялся в этой стране. По-моему, восприятие у меня сейчас точно такое, как прежде, разве что порой не столь быстрое.

Скорее всего, эти недостатки присущи мне от природы. У меня с рождения была не очень хорошая голова, хотя думается, что плохое обучение лишь ухудшило то, что могло быть исправлено вдумчивым педагогом. Я вырос в окружении не очень образованных людей; я не привык к точной речи, слова в моей среде часто произносились неправильно и просто проборматывались в попытках обойти сложные понятия и выражения, и это, мне кажется, не могло не сказаться на моем умственном развитии. Я страдал астигматизмом, но обнаружилось это лишь тогда, когда мне было за тридцать. В результате у меня смещались колонки цифр и строчки текста, а потому я плохо успевал по арифметике и путал слова. Мне было уже около тринадцати, когда я одолел алгебру, приобщился к эвклидовой геометрии и начаткам тригонометрии и только тогда понял, что не совсем лишен способности к математике. Пора и похвастаться: я обнаружил, что Эвклид дается мне без труда, и решал простые задачи с легкостью, восхищавшей учителя. Я также начал гордиться своей способностью к алгебре. И мне было одиннадцать или двенадцать лет, не помню сколько, когда я, можно сказать, страстно увлекся рисованием. Мой старший брат

вообще не умеет рисовать, зато рисунки младшего очень точны и изящны, хотя не так выразительны и непринужденны, как у меня.

По сути дела, я ничего не знаю об устройстве и работе мозга, но мне кажется, что моя способность схватывать суть, форму предметов и их взаимоотношения указывает на то, что ум есть нечто большее, чем простое функционирование клеток, волокон и капилляров. Я без труда воспринимаю контуры и пропорции явлений и с относительной легкостью выстраиваю свою мысль. Подтверждением тому служит и это повествование.

Скорее анатомией моей, чем качеством мозга, объясняется и тот факт, что я способен лишь к кратковременным умственным усилиям и быстро устаю. Голова у меня маленькая, и мне легко насмешить чуть не каждого из моих друзей, обменявшись с ним шляпами: поля тотчас же налезают на уши и их оттопыривают. У меня неровное сердцебиение, и я подозреваю, что моя сонная артерия недостаточно снабжает мозг. Не знаю, подтвердится ли все это на вскрытии, о котором я попросил в своем завещании, когда кусочек моего мозга возьмут на исследование, и будет ли от аутопсии какой-нибудь прок: тем более что мой сын Джип предупредил меня, что мозговая ткань разложится задолго до того, как появится возможность выполнить мою волю. «Разве что ты покончишь жизнь самоубийством, утопившись в каком-нибудь консервирующем растворе», — обнадежил он меня. Но это будет трудно устроить. Состояние нервных клеток варьируется в зависимости от состояния сосудов, венозного оттока и качества соединительной ткани. Но так или иначе мысли мои путаются и стопорятся. Я склонен к выпадениям памяти. Когда я держал экзамен на звание учителя и в ходе подготовки мне надо было выполнить двадцать или тридцать контрольных работ за четыре дня, я в последний день обнаружил еще одну контрольную, к счастью, не первостепенной важности, с вопросами, мне частью знакомыми, а частью лишенными для меня всякого смысла. Мне ничего не оставалось, кроме как пойти на экзамен. В другом случае я взялся прочитать лекцию в Королевском обществе{8}. Я превосходно знал предмет и поэтому ничего не записал заранее. Слушателей своих я тоже не слишком боялся. Я проговорил треть отведенного мне времени, когда внезапно обнаружил, что мне нечего больше сказать. После неловкого молчания пришлось признаться: «Простите, но это все, что я успел подготовить».

Психоаналитики склонны объяснить случаи, когда человек забывает имена, путает лица, голоса и тому подобное, тем, что в подсознании они ассоциируются у него с чем-то неприятным. Если так, я, должно быть, чувствую неприязнь к огромному числу людей. Но почему психоанализ считает мозг совершенным

аппаратом и учитывает только психологические факторы? Я, напротив, думаю, что в ряде случаев объяснение лучше искать в физиологии — недостатке кислорода в крови и колебании его уровня в плазме.

На днях в венской гостинице у меня был лишний случай убедиться в своей плохой памяти. В ресторан вошли несколько человек и сели за соседний столик. Среди них была одна молодая немка, как две капли воды похожая на дочь моего знакомого, с которым я встречался в Испании. Он был братом моего покойного друга и редактора Гарри Каста, не раз слышал обо мне и представил меня своей семье. «Эта девушка совсем как…» Имя я забыл. «Она дочь лорда Б…» Я вспомнил первую букву и на этом остановился. Я сделал новую попытку: «Ее зовут… Каст. Но я звал ее по имени, беседовал с ней и о ней, она мне нравилась, я ею восхищался, я навещал ее отца в…» Снова абсолютный провал. Я оказался плохим собеседником. Я уже ни о чем другом не мог думать. Я замкнулся в себе и погрузился в свои мысли, пытаясь восстановить в памяти хорошо знакомые имена. Я старался вспомнить разные происшествия, случавшиеся в той же гостинице и с теми же людьми в Ронде, Гранаде и в Англии, когда я бывал в их доме, красивом английском доме в одном из центральных графств, я мог в общих чертах описать их сад, способен был вспомнить, как беседовал с девочками-скаутами, приветствовавшими меня, и даже то, что я им говорил. Я был знаком с леди Б., не раз говорил с ней и общался с ее сыном. Но в этот вечер все нужные слова испарились из головы. Я перебрал в памяти пэров, фамилии которых начинались с буквы «Б». Я припомнил все доступные мне христианские имена. И пришел к печальному выводу о состоянии своего ума.

На следующее утро, когда я еще лежал в постели, исчезнувшие слова вернулись, за одним исключением. Я начисто и навсегда забыл название имения. Оно отказывается вернуться, так что мне со временем придется заглянуть в какой-нибудь справочник. И все-таки я убежден, что оно гнездится в каком-то уголке моего сознания. Я рассказываю этот случай ввиду его полнейшей бессмысленности. Подобный провал в памяти не поддается объяснению с психологической точки зрения. Какие проявления вражды, обманутых надежд и подавленных желаний за всем этим кроются? Да никакие. Просто-напросто некие связи ослабли, и что-то не отпечаталось в мозгу. Это показатель того, что мыслительный аппарат у меня второсортный и перегружен именами. Когда дорожки в мозгу плохо протоптаны и не чищены, они становятся непроходимыми.

Дефекты в строении мозга влияют на мораль не меньше, чем

на интеллект. И то и другое происходит одинаковым образом. Если ассоциации нарушены и восстановить память не удается, то нарушаются и связи, ответственные за выбор мотива того или иного нашего поступка. Промашки в сложении и вычитании и в оценке наших действий — это, по сути дела, одно и то же. В своих делах и восприятии происходящего я общее вижу лучше, чем частное. Чем дальше я отхожу от событий, тем яснее мне становится мое поведение в целом. С опытом я все больше прихожу в ужас оттого, как жестоки мы к себе и другим за эти наши ошибки.

Отношения наши с другими людьми тем многообразнее и запутаннее, чем эти люди нам ближе и чем большую роль играют они в нашей жизни. И хотя мы способны раскладывать по полочкам своих случайных знакомых и соответственно определять свои отношения с ними, нам куда труднее объяснить какие-то проявления своего характера, когда речь идет об общении с близкими; так, во всяком случае, обстоит дело со мною; это то же самое, что и моя неспособность запоминать имена и цифры. Я могу не любить кого-то или, напротив, испытывать к нему особую привязанность, но этот человек так же может выпасть у меня из памяти, как его имя или название дома, где он живет; нечто подобное со мной и случилось в Вене. У меня могут быть определенные обязательства, но и о них я тоже способен забыть. У меня в голове порою всплывают те или иные факты, четко очерченные и в должной последовательности и все же лишенные той эмоциональной окраски, которой некогда обладали. Но затем, день или два спустя, они ко мне возвращаются во всей полноте.

С каждым, я думаю, такое случается, но со мной это происходит постоянно.

С другой стороны, хотя мозг мой устроен так, что логические связи у меня временами оказываются нарушенными, хотя моя мысль движется скачками и из памяти стираются те или иные жизненно важные ассоциации, я не нахожу в себе ни малейших следов того, что именуется раздвоением личности, иными словами, подмены одного психологического типа другим. Классическое определение раздвоения личности, которое мы находим у психологов, подразумевает полное разделение импульсов и воспоминаний в пределах одной противоречивой и зачастую враждующей сама с собой индивидуальности. Когда действует одна система понятий, другая почти не проявляется, и наоборот. Раз или два мне встречались такие люди, и я даже жил с ними бок о бок. Чаще это, по-моему, свойственно женщинам, чем мужчинам. Мне приходилось наблюдать подобную смену фаз,

и я не нахожу ее в себе. Что-то во мне пропадает, но не замещается противоположным. Голова у меня бывает ясной или же, наоборот, тупой и невосприимчивой, а то и совсем одурманенной сном или апатией, лихорадкой или спиртным и подчиненной одним лишь сексуальным импульсам, которые пробуждает в нас кровоток, или, напротив, полной энергии и жажды деятельности, но при всем том я чувствую себя всегда одной и той же личностью. Мне кажется, я в этом не ошибаюсь. Мозг мой последователен. Какая она ни есть, голова моя одна и та же. Это вроде централизованного государства с единой столицей, хотя порой правительство может оказаться слабым, нерадивым, беспечным.

И вот что еще насчет моей головы: она — как бы это лучше сказать — нуждается в постоянном понукании. Думаю, причина тут не в моей забывчивости и непоследовательности или плохом кровообращении, а скорее в какой-то недостаточной стимулированности. Воспринимаю мир я не так ярко и живо, как большинство моих знакомых, и редко загораюсь от этого зрелища. Во всем, что я делаю, есть какая-то рассеянность — словно бы некий бесцветный пигмент был подмешан в мою кровь. Я редко когда оживляюсь, я человек по природе немного вялый, недостаточно преданный делу, интересы мои неустойчивы, я склонен к праздности и апатии. Когда я пытаюсь переломить в себе это, то действую с каким-то надрывом, а людям поведение мое кажется ненатуральным, словно я хочу обмануть их или обольстить. Вы увидите все это, когда я буду рассказывать о том, как провалился в торговле, и о своих отношениях с близкими и друзьями. Но вы обнаружите, что часто кое о чем я рассказываю довольно уклончиво или же вовсе умалчиваю.

Однако природа умеет обратить нам на пользу даже наши слабости, и смею предположить, что именно этот мой недостаток и помог моему успеху. Я не умел сосредоточиться на чем-то конкретном и уйти от главного в детали. Журналисты думают, что я — человек неисчерпаемой энергии и целеустремленности. Ничего подобного. К сожалению, мне приходится признаться в совершенном своем безразличии к большинству окружающих людей и вещей. Множество книг и статей, мною написанных, свидетельствуют не о моей энергии, а всего лишь об усидчивости. Люди с избытком энергии и целеустремленности становятся Муссолини, Гитлерами, Сталиными, Гладстонами[9], Бивербруками[10], Нортклифами[11], Наполеонами. В поступках их будет разбираться не одно поколение. То, что останется после меня, в подобном прояснении не нуждается. Врожденная лень избавила меня от излишней оригинальности, и мои произведения

останутся жить, пока не пропадет в них потребность. А теперь, когда у вас сложилось представление о достоинствах и недостатках моего серого вещества — той насыщенной фосфором плотной соединительной ткани, которая, можно сказать, предстает перед вами в качестве главного героя моей повести, — и я дал вам понять, от какой индивидуальности поступают к нему необходимые импульсы, я попытаюсь рассказать, какую картину мира нарисовал этот аппарат восприятия, какие впечатления и реакции он во мне породил, что ему удалось сделать со мной, что не удалось и как это сказалось на моей жизни.

Глава II
ПРОИСХОЖДЕНИЕ

1. Хай-стрит, Бромли, Кент

Сознание пробудилось во мне, начав впитывать окружающий мир в бедном и ветхом домишке, расположенном в Бромли, графство Кент, — маленьком городке, превратившемся с той поры в одну из окраин Лондона. Мое представление о себе складывалось из таких неприметных штрихов, а каждое новое ощущение так полно сливалось с предыдущими, что трудно сказать, когда и что ко мне пришло. Первые мои впечатления достаточно беспорядочны и разбросаны по времени. Поэтому лучше просто-напросто вспомнить, в каких условиях я получал свои первые жизненные уроки. Условия эти кажутся сейчас совершенно ужасными, но тогда представлялись мне единственно возможными. Я был рыхлым белокурым ребенком со вздернутым носом и по-детски пухлой верхней губой, волосы у меня были кудрявые и длинные, локоны мои состригли лишь по моей настойчивой просьбе. Первые фотографии запечатлели меня хмурым существом в белых носочках, с голыми руками и ногами, в юбочке с тесемками и лямками на плечах. Видно, это был мой парадный костюм. Повседневное платье всплывает в моей памяти лишь со времени, когда я уже изрядно подрос. Припоминается холщовый детский фартук; такие фартуки и сейчас носят мальчики во Франции, только мой был не черный, а коричневый.

Дом, по ничем не покрытым ступенькам лестниц которого с топотом и криками (семейное предание гласит, что в эти годы я горланил с утра до вечера) я носился, изучая окружающую действительность, заслуживает описания по причинам не только биографическим, но и социологическим. Он стоял в ряду других кое-как построенных домов в начале Хай-стрит. На первом этаже находилась лавка с витриной, заставленной фаянсовой и фарфоровой посудой, стаканами, рюмками, бокалами; здесь же примостились крикетные биты, мячи, стойки и сетки для крикетных ворот и все такое прочее. За лавкой находилась крошечная гостиная с камином; свет туда проникал через отделявшую ее от лавки стеклянную дверь и окно, выходившее на задний двор. Опасная для жизни узенькая лестница в два марша вела в подвальную кухню с забранным решеткой оконцем на уровне тротуара; здесь же находилась посудомойня с кирпичными стенами, а поскольку дом стоял на спуске к реке, двор оказывался

на уровне подвала. В посудомойне находились небольшой камин, медный бак для кипячения, шкаф для съестных припасов, противни, бочоночек с пивом, каменная раковина с насосом, качавшим воду из колодца, и угольный ящик — наше единственное хранилище для угля. Этот «угольный подвал» вмещал около тонны топлива, и, когда его наполняли, уголь в мешках таскали вниз по лестнице через лавку и гостиную, причем угольщики не скрывали своей досады на такое неудобство, в подтверждение чего сыпали угольную крошку вдоль всего пути.

В квадратном дворе, примерно тридцати футов на сорок, возвышалось кирпичное сооружение, именуемое «клозет», с вырытой в земле выгребной ямой, а приблизительно в тридцати футах от нее находился колодец с насосом; над клозетом помещалась бочка для собирания дождевой воды. За клозетом находилась огромная и всегда открытая кирпичная помойка; в те нечастые дни, когда ее вычищали, содержимое выносили прямо через лавку. В помойку сваливали золу из камина, но ребенок мог там сыскать и нечто более интересное: яичную скорлупу, полезные коробки и жестяные банки. Из золы же можно было строить искусственные горы. Стена отделяла нас от обширного двора мистера Ковела, мясника; в его сараи загоняли свиней, овец и рогатый скот, и все они грустно мычали по ночам в ожидании своего смертного часа. Некоторые не желали идти под нож, и с ними обращались соответственно; словом, двор мистера Ковела представлял собой скотобойню в миниатюре. За его домом располагалась местная церковь, старинное кладбище с тогда еще не засохшими деревьями, запущенными могилами и покосившимися надгробиями; там была похоронена моя старшая сестра.

Наш двор был замощен только наполовину, его пересекала цементная сточная канава. По ней текли мыльная пена и кухонные обмывки, которым предстояло смешаться с более существенными отходами клозета и колодезной водой, которую насос качал в кухню. Посудомойню отделял от соседской стены узкий мощеный проход, где мой отец держал кувшины, миски, банки для варенья и тому подобные изделия из красной глины, которыми изобилует всякая посудная лавка.

Другого места для прогулок поблизости не было, так что я провел немало времени в своем дворе и изучил его досконально. Тесноту его еще более подчеркивала застроенность соседних дворов. Справа от нас находился дом мистера Манди, галантерейщика, который соорудил у себя теплицу, где выращивал грибы. Его сыновья собирали для него со всей улицы конский навоз и отвозили его в маленькой деревянной тележке, а

на другой стороне портной мистер Купер построил мастерскую, где работали два или три его подмастерья. Моя мать вечно стеснялась, подозревая, что те могут видеть, как у нас выносят горшки, а ее домочадцы направляются в клозет. В незамощенной части двора отец разбил маленькую клумбу и посадил там куст вейгелы. Она цвела неохотно, как и все остальное. Но прошло уже шестьдесят лет, а я по-прежнему помню, что это был единственный клочок вскопанной земли, привлекавший неотступное внимание котов мистера Манди, мистера Купера и нашей собственной живности. Однако мой отец был упорным садовником и ухитрился не только посадить за домом, у стены, виноград, но и заставил его разрастись. Когда мне было десять лет, потянувшись за недоступным виноградным усом, который он хотел обрезать, отец упал со сложного сооружения, составленного из принесенной с кухни стремянки, стола и коротенькой лестницы, и это кончилось сложным переломом ноги. Но об этом важном событии я расскажу позже.

Я так подробно описываю свой двор потому, что он составлял в те дни заметную часть мира, в котором я обитал. К этому можно еще добавить кухню и посудомойню. Мы были слишком бедны, чтобы завести прислугу, а у моей матери сил не хватало, чтобы топить еще и в верхних комнатах (не говоря уже о стоимости угля). На втором этаже, куда вела такая же опасная лестница (я видел, как мучился и злился отец, пытаясь втащить наверх маленький диванчик), была выходившая во двор спальня матери, а напротив — спальня отца. Они спали порознь, что, я думаю, было для них способом контроля за рождаемостью. А еще выше располагалась комната для нас, троих детей; над ней был чердак, заставленный пыльной посудой. Посуда валялась по всему дому, в каждом его уголке; горшки и миски вторглись в кухню, обжились под кухонным столом и гладильной доской; биты и стойки для крикетных ворот прокрались в гостиную. Вся обстановка в доме была подержанная, приобретенная на распродажах; общедоступные мебельные магазины появились только в середине прошлого века; в наших же комнатах аристократический, правда изрядно исцарапанный, книжный шкаф с презрением поглядывал на диван, принадлежавший некогда домоправительнице, а в гостиной стоял кокетливый маленький шифоньер; стулья были основательные, неприветливые, деревянные кровати с плоскими матрасами были застланы серыми простынями — на стирке приходилось экономить, — и не было ни клочка ковра или клеенки, которые не прожили бы долгой жизни до того, как попасть в наш дом. Все было обшарпано, потерто, утратило естественный цвет. Зато

масляных ламп у нас было в избытке, потому что они приходили к нам со склада, хотя и уходили обратно. Мой отец торговал среди прочего фитилями для ламп, маслом и керосином.

Жили мы, как уже было сказано, большей частью на первом этаже и в подвале, особенно зимой. Наверх мы поднимались только за тем, чтобы лечь в постель. Но к этому надо добавить еще одну деталь. В спальнях житья не было от клопов. Они гнездились в деревянных кроватях, а также между слоями обоев. Когда их давили, они мстили за себя отвратительным всепроникающим запахом. В моих ранних воспоминаниях этот аромат смешивается с запахом керосина, при помощи которого отец вел с ними нескончаемую войну. Каждая часть дома имела свой характерный запах.

В подобной обстановке я вступил в жизнь. А теперь пора рассказать о моих родителях — о том, что за люди они были и как по собственной воле очутились в этом странном доме, где мы с братьями начали осваивать мир, который сэр Джеймс Джинс{12} удачно назвал «таинственным».

2. Сара Нил (1822–1905)

Моя мать была голубоглазая розовощекая женщина с широким серьезным и простодушным лицом. Она родилась 10 октября 1822 года, при короле Георге IV{13}, за три года до открытия первой железной дороги на паровой тяге. Это было время, когда люди ходили пешком и ездили на лошадях, плавали по морю на парусниках, а многие земли были еще не открыты. Мать была дочерью трактирщика из Мидхерста и его недужной жены. Трактирщика звали Джордж Нил (родился в 1797 году), и, вероятно, в нем была ирландская кровь. Жена же его в девичестве звалась Сара Бенем, что звучит совсем по-английски. Она родилась в 1796 году. Мидхерст был маленьким старинным городком, выстроенным из желтого песчаника; стоял он на дороге из Чичестера в Лондон, и мой дед держал упряжку почтовых лошадей, совсем как его отец до него. Однажды холодной зимней ночью в метель его дядя возвращался порожняком и, спасаясь от одиночества, принял лишнего, после чего у въезда в город свернул не туда и, перевалив через парапет, прямиком угодил в пруд, откуда начинался канал, где и утонул вместе с лошадьми. Вообще-то в семье моей матери быстро хмелели, хотя никогда не доходили до беспамятства. Но при этом мой дед перед смертью успел заложить все свое имущество и оказался изрядно в долгу. Так что, по сути дела, он ничего не оставил наследникам — моей матери и ее младшему брату Джону.

Сейчас трудно проследить обстоятельства жизни моего деда. В моем распоряжении — лишь некоторые заметки, которые мой старший брат сделал со слов матери, и еще у меня лежат разные завещания, свидетельства о смерти и рождении и материнский дневник. Если я не ошибаюсь, Джордж Нил сперва держал в Чичестере трактир «Источник», а потом трактир «Новый»; последний принадлежал ему с 1840 года до самой его смерти в 1855 году. Тридцатого октября 1817 года он женился на Саре Бенем. Два мальчика умерли во младенчестве, моя же мать родилась в 1822 году. Долгое время спустя, в 1836 году, родились мой дядя Джон и еще девочка по имени Элизабет — в 1838 году. Очевидно, у моей бабушки было слабое здоровье, но, судя по дневнику моей матери, в пятьдесят три года она оставалась женщиной привлекательной, руки у нее были маленькие и красивые. Эта короткая заметка в дневнике исчерпывает все, что мне о ней известно. Думаю, когда она была в добром здравии, она, как принято, преподала дочери начатки вероучения, какие-то элементарные знания и стала приучать ее к домашнему хозяйству. У меня сохранился образчик очень решительной записи в материнском дневнике, сделанной когда ей было лет восемь и где, если отбросить красоты стиля, сказано буквально следующее:

> «Упущенные возможности не вернешь, а поэтому высшая мудрость состоит в том, чтобы, пока ты молод, поспешить, сколько удастся, развить свои способности, потому что молодой остолоп вряд ли сумеет преуспеть на старости лет в какой-либо отрасли знания. Написано Сарой Нил. 26 мая 1830 года. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18».

На этом запись обрывается, и дальше идут лишь перевернутые буквы в конце страницы.

Когда моя бабушка чувствовала себя совсем плохо и не могла работать, моя мать занималась трактирными делами, подавала отцу обед и в качестве особой милости допускалась к тому, чтобы наливать и разносить пивные кружки в баре. В те дни не было обязательного школьного обучения, но, судя по всему, кое-кто из соседей, те, что посерьезнее, поговорили с моим дедом и внушили ему, что девушка ее возраста нуждается в образовании. В 1833 году мой дед получил небольшое наследство после смерти своего отца и отослал дочь в школу мисс Райли, в Чичестере. За год или два, проведенные в этой школе, моя мать показала замечательные способности к наукам; она научилась писать ясным прямоугольным почерком, приличествовавшим в те дни

лицам женского пола, читать, складывать небольшие числа, делить, выучила названия европейских стран и их столиц, английских графств и их главных городов (особое внимание уделялось рекам, на которых стояли эти города), а из учебника истории, написанного миссис Маркэм, узнала все, что полагалось, об английских королях и королевах. Кроме того, она извлекла из вопросника Магнела названия четырех стихий (чему она в положенное время научила и меня), сведения о семи чудесах света (а может, их было девять?), о трех болезнях пшеницы и много других фактов, которые, по мнению мисс Райли, должны были пригодиться в жизни. (Зато ей так и не удалось запомнить имена девяти муз и понять, какие искусства они олицетворяли, и, хотя она умоляла отца, чтобы он отдал ее учиться французскому, тот счел, что это уж слишком, и она своего не добилась.) Протестантская набожность, унаследованная от больной матери, у нее еще возросла. По совету своей наставницы она прочла несколько назидательных книг, но ее предостерегли против пустой беллетристики, равно как и против ересей и уловок Римской Католической Церкви, против французской кухни, мужского коварства, успешно подготовили к святому таинству конфирмации и, тем самым укрепив ее душу и преподав ей все необходимые сведения, в 1836 году вернули домой.

Занятной чертой школы мисс Райли, этого пережитка образовательной системы XVIII века, был царивший в ней дух раннего феминизма, который оставил след в сознании моей матери. Я об этом нигде не читал, но знаю с ее слов, что среди учительниц и других женщин, к ним близких, чувствовалась тяга к эмансипации, связанная с требованием признать право принцессы Виктории{14}, дочери герцога и герцогини Кентских, наследовать королю Вильгельму IV{15}. Существовали противники того, чтобы на трон села женщина, в противовес чему Виктория встретила по всей стране широкую поддержку у представительниц своего пола. Ее сторонники ссылались на противостояние Георга IV и королевы Каролины{16}. Любимой книгой моей матери была «Английские королевы» миссис Стрикленд{17}, и она с неослабной страстью и преданностью следила за всем, что касалось королевы Виктории, — за ее делами, высказываниями, поездками, болезнями, печалями и утратами. Королева, такая же маленькая, как моя мать, была для нее как бы вторым «я» и служила ей утешением во всех ее бедах и невзгодах. Дорогой королеве — с ее житейскими и личными трудностями, ее низкорослостью, ее материнскими заботами — удавалось командовать мужем, во всем ей покорным, и держать в руках самого мистера Гладстона. Как бы моя мать себя

чувствовала, окажись она на ее месте? Сказала бы то-то, поступила бы так-то. У меня нет сомнения в том, о чем мечталось моей матери. На старости лет, в черном чепце и черном шелковом платье, она забавно походила на эту высокопоставленную вдову…

Ну, а во мне было вдоволь молодого упрямства, так что все эти россказни о дорогой королеве мне порядком претили; во мне укоренилась злобная зависть к изобилию нарядов, дворцовых покоев, вольному житью ее детей, а еще больше — к ее внукам, моим сверстникам. Почему моя мать столько о них думает? Что, у нас своих бед недостаточно, чтобы еще и о них волноваться? Эта страсть заполняла всю нашу жизнь. Запомнились утомительные вылазки на запруженные народом улицы и перекрестки по дороге к Виндзору, в Чизлхерст, неподалеку от Бромли (там жила в изгнании императрица Евгения{18}); оттуда мы могли видеть, как проезжает королева. Когда я слышал: «О, едет! Ах, как бы разглядеть получше! Берти, дорогой, сними шапку!» — это только усиливало мою враждебность, зароняя в душу семена неискоренимого республиканства.

Но я забегаю вперед. А сейчас я просто пытаюсь представить читателю картину мира, какой она рисовалась моей матери лет за тридцать до того, как я родился или замышлялся. Это был мир, нарисованный скорее Джейн Остен{19}, чем Фанни Бёрни{20}, только на более низком социальном уровне. Здесь и ситец был из вторых рук, и цветной муслин из тех, что подешевле и быстро выгорает. Скорее всего, мир этот напоминал английскую провинцию, описанную Диккенсом в «Холодном доме». Да, это была провинция, поскольку моя мать тогда понятия не имела о Лондоне. Провинцией этой правил Царь наш Небесный, в чью бесконечную доброту она твердо верила. Впрочем, из-за его мистического триединства Царь Небесный перепутывался в ее сознании со Спасителем и Господом нашим, к которому редко когда она обращалась иначе. Духа Святого она почему-то почти игнорировала; я не помню, чтоб она его когда-нибудь упоминала в своих молитвах; во всяком случае, он не был для нас «наш Дух Святой», а Деву Марию моя мать, при всем сказанном о ее феминистских наклонностях, и вовсе не жаловала. Может быть, дело в том, что в Деве Марии было что-то папистское. Или моя мать усматривала в действиях Духа Святого, как они запечатлены в предании, некую артистическую непредсказуемость. На ближнем же небосводе царила «дорогая королева», что и связывало ее с Господом; она царствовала в силу божественного права, а под ней располагалась титулованная и нетитулованная знать, которая опекала остальную часть человечества, руководила

и распоряжалась ею. Поэтому каждое воскресенье следовало ходить в церковь, дабы святое причастие и присутствие на службе освежили в памяти незыблемость этой иерархии. А за спиной каждого, кто сидел на церковных скамьях, на горе им строили свои козни Сатана, Черт, Дьявол, без которых зло в этом мире было бы необъяснимо. Моя мать принадлежала к Низкой церкви{21}, чье вероучение казалось мне даже в самом нежном возрасте слишком жестким, но она приноровила его к себе и своему характеру с присущими ей расположенностью к людям, деликатностью, верой в милость Господню, получив в итоге нечто весьма своеобразное. Помнится, когда в школьные годы я начал пробиваться к истине и спросил ее, вправду ли она верит в ад и вечные муки, она ответила: «Мы должны в это верить, мой дорогой. Но Спаситель умер за нас, и, может быть, в конце концов нас туда не отошлют. Никого, кроме, конечно, черта».

Да и его, лицо сановное, она, мне думается, избавила бы от вечных мук. Возможно, Отец Небесный просто время от времени показывал бы ему язык, чтобы поставить на место.

В старой иллюстрированной религиозной книге «Размышления» Штурма{22} была картинка, заклеенная гербовой бумагой, а потому вызывавшая во мне особый интерес — что это мать прячет от меня? Поднеся эту страничку к свету, я обнаружил изображение адского пламени и дьявола, держащего на вилах грешника, причем все это было показано в деталях и с большой выразительностью. Но она словно предвидела, как в целом будет развиваться протестантская теология, и скрыла от меня изображение ада.

Она верила, что Отец Небесный и Спаситель лично и порой с помощью подвернувшегося под руку ангела заботятся о ней; она не сомневалась, что они слышат ее молитвы, была убеждена, что ей надо быть неукоснительно хорошей, заботливой и добродетельной и не позволять Сатане сбивать ее с пути истинного. В этом была ее «простая вера», как она выражалась, и с этим она доверчиво вступила в жизнь.

Решено было, что она станет горничной. Но прежде чем заняться делом, к которому Господь ее предназначил, она обучилась шитью и парикмахерскому искусству, что отняло у нее четыре года (1836–1840).

Это был мир горничных и лакеев, а также официантов, экономок, поваров и дворецких — старших слуг, стоявших над простыми горничными и лакеями, людей, не занимавших положения в обществе, но живущих на свежем воздухе, хорошо питающихся, уютно устроенных в мансардах, цокольных этажах и задних комнатах господских домов. Это был старомодный мир;

принятые там условности поведения и речи выработались еще в XVII веке; так говорили и шутили во времена декана Свифта{23} с его «Вежливой беседой», и обычаи и этикет сохранились с тех времен. Я не думаю, что ей плохо жилось в прислугах; люди подшучивали над ее простоватостью, но подшучивали беззлобно.

Мне неизвестны все места службы матери в качестве горничной, но в 1845 году, когда она начала вести дневник, она состояла при жене некоего капитана Форда и жила с ней сначала в Ирландии, а потом исколесила всю Англию. Начало дневника написано лучше всего. Оно изобилует пейзажами, исполнено радости и интереса к жизни и отражает ум любознательный, хоть и несколько банальный. Затем (в 1850 году) она стала горничной некой мисс Буллок, которая жила в Ап-парке, неподалеку от Питерсфилда. Там было не так весело, как у Фордов. На Рождество, когда все веселятся, в Ап-парке «лишь ели», но зато мать воспылала любовью к мисс Буллок. Фордов пришлось оставить, потому что бабушка была огорчена смертью младшей дочери и хотела, чтобы Сара была поближе к ней.

В Ап-парке мама и встретила понравившегося ей холостого садовника, которому суждено было стать моим отцом и тем самым положить конец карьере горничной. Он появился там не сразу, поскольку поступил на службу только в 1851 году. «Это человек своеобразный» — вот все, что записала мать в дневнике. Познакомиться они могли на танцах, которые устраивались для прислуги каждую неделю, при свете свечей и под звуки концертино и скрипки.

Отец не был первым любовным увлечением моей матери. Два намека, слегка напоминающие тогдашнюю романтическую литературу, заставляют предположить, что у нее был уже какой-то опыт.

> «Кингстоунская железная дорога, — говорится в дневнике, — очень приятна, хотя и невелика. Недалеко от Дублина открываются море и горы, пейзаж столь разнообразен, что наводит на размышления о том, как сладостно добровольное расставание с дорогим человеком, с родными краями, с возможностью бродить в одиночестве и размышлять о чужой жестокости и неблагодарности, встреченной в ответ на открытое сердце и юную любовь, о потерянном, но не забытом возлюбленном. Я покинула добрый счастливый дом, чтобы спрятать от дорогих друзей душевные страдания. Время и улыбки добрых друзей, окружавших меня в Эрине, принесли сравнительное облегчение бедной

девушке, но может ли быть счастлив человек, завоевавший невинную любовь, но лишь на потеху? Может ли он быть прощен, как я прощаю его?!»

И еще, через несколько страниц:

«Люди ко мне добры, но бывают минуты, когда я чувствую себя совершенно несчастной и мечтаю о доме, о моей любимой Англии, о родных берегах, однако я не желаю видеть предателя, который завоевал мою чистую любовь и ранил девичье сердце. Я думаю, это будет мне уроком на будущее. Провидение позаботилось обо мне и таким мудрым путем научило меня избегать ненадежных людей. Я никогда больше не поверю мужчине. **Я сожгла все его письма.** Это поможет скорее его забыть и простить его неверность».

Если б не это предательство, все могло бы сложиться иначе, кто-то бы меня заменил, и эта биография никогда не увидела бы свет или на ее месте появилась бы другая.

Я ничего не знаю о первом знакомстве отца с матерью. Оно могло произойти во время «Взявшись за руки», «Танцуем вместе», «Сэра Роджера Коверли», «Вот бежит ласка» или какого-нибудь другого контрданса. Мне приятно представлять себе мать в те годы — веселую, хорошенькую, живую, еще не изнуренную тяжелым трудом, и отца, толкового, подающего надежды садовника, сына уважаемого главного садовника лорда де Лиля из Пенсхерста. Он был пятью годами моложе моей матери, и им обоим было за двадцать. В ту пору она звала его Джо, а он переделал ее имя Сара на Сэдди. Скорее всего, он заглядывал в дом каждый день, чтобы условиться с поваром и домоправительницей об овощах и цветах, и у него была возможность перемолвиться словечком с Сарой, а по воскресеньям они ходили к утренней службе в хартингскую церковь и тогда уже разговаривали вволю. Думаю, он был хорош собой, и однажды я встретил старую даму, которая вспомнила, что он носил серые панталоны, «совсем как джентльмен».

В отношениях моих родителей была и своя серьезная сторона. Они не только танцевали контрдансы и обменивались улыбками. У меня сохранилось письмо отца, в котором он уверяет, что она неправильно истолковала его слова о таинстве святого причастия, но он не будет больше проявлять подобную непочтительность. Это письмо очень хорошо написано.

3. Ап-парк и Джозеф Уэллс (1827–1910)

Ап-парк — это большая красивая усадьба, обращенная фасадом к югу, стоящая в буковой роще и окруженная зарослями папоротников, скрывающих в большом холмистом нижнем парке стадо пятнистых оленей. С севера усадьба примыкает к деревне Южный Хартинг, расположенной между Мидхерстом, Питерсфилдом и Чичестером. Огороженный участок, где был домик садовника, занимаемый моим отцом, находился в трехстах или четырехстах ярдах или немногим больше от главного здания. В сторонке были прачечная, молочная ферма, лавка мясника и конюшни, спроектированные в начале XVIII века, и покрытый дерном ледник. Ап-парк был построен Фетерстоноу[24] и с тех пор оставался во владении этой семьи.

В начале XIX века хозяином поместья был некий сэр Гарри, близкий друг принца-регента, ставшего потом Георгом IV. По обычаю того времени, сэр Гарри был большим любителем небогатых хорошеньких девушек, из модисток, поденщиц, певичек, служанок. Одной из его первых любовниц была привлекательная авантюристка Эмма, которая потом поступила на содержание Чарльза Гревила, вышла замуж за сэра Уильяма Гамильтона[25] и стала леди Гамильтон, изображенной Джорджем Ромни[26], и подругой Нельсона[27]. На склоне лет сэр Гарри не смог устоять перед чарами своей горничной Фрэнсис Буллок и, преодолев не без труда сопротивление этой добродетельной женщины, после долгих уговоров и тисканий на кухонной лестнице женился на ней. Детей у них не было. Она ввела в дом свою младшую сестренку, наняла ей гувернантку, мисс Сазерленд, а после смерти сэра Гарри моя мать стала горничной молодой мисс Буллок.

Королева Виктория и светское общество холодно отнеслись к новоявленной леди Фетерстоноу, никто не женился на мисс Буллок, и после кончины сэра Гарри три дамы вели монотонную, хоть и достаточно приятную жизнь, деля ее между Ап-парком и Клариджем. Они не выезжали, но зато принимали гостей. К ним являлись, чтобы поохотиться. Они настолько ничего не меняли в доме, что и сорок лет спустя после смерти сэра Гарри комната, отводившаяся самым почетным гостям, как это значилось в бумагах, которые я обнаружил, называлась «спальня сэра Гарри». Мажордомом был некий мистер Уивер, я думаю, незаконный сын сэра Гарри; он ведал хозяйством, и про него говорили, словно о чем-то само собой разумеющемся, как о любовнике леди Фетерстоноу. Но, пожалуй, никаких близких отношений не было, поскольку для любовной связи это было место неподходящее.

В романе «Тоно Бенге», который кажется мне главным из мною написанного, я набросал картину Ап-парка, назвав его

Бладсовер, и описал жизнь прислуги, хотя тамошняя домоправительница ни в чем не походит на мою мать. Таким я увидел Ап-парк в восьмидесятых годах, когда пережившая свою старшую сестру и принявшая ее имя мисс Буллок и мисс Сазерленд были уже в годах. Но в конце сороковых, когда моя мать, оторвавшись от штопки и причесыванья, бежала почаевничать в комнате домоправительницы, уж конечно урывая время, чтобы полюбоваться видом из верхних окон или сделать реверанс партнеру по контрдансу, все были моложе и жизнь казалась полна событий. Если она и не была такой веселой и разнообразной, как ушедшая в прошлое жизнь прислуги в ирландском доме, то, во всяком случае, представлялась достаточно светлой.

Мой отец, Джозеф Уэллс, был отпрыском Джозефа Уэллса, главного садовника лорда де Лиля в имении Пенсхерст-Плейс{28} в Кенте, — наряду с Чарльзом Эдвардом, Генри, Уильямом, а также Элизабет и Ханной — и, хотя отец являлся младшим из братьев, ему дали отцовское имя.

Дядья, двоюродные сестры и братья — все жили в Кенте, так что, я думаю, нас там сменилось несколько поколений. Моего прапрадеда звали Эдвард; у него было шестеро детей и сорок внуков, и семейное древо наше теряется в зарослях бесчисленных Джонов, Георгов, Эдвардов, Томов, Уильямов, Гарри, Сар и Люси — отсутствие оригинальности при крещении поистине удручающее. Дядья мои и тетки, насколько я знаю, не поднялись выше старших слуг или арендаторов, за исключением двоюродных братьев моего отца из Пенсхерста, носивших фамилию Дьюк, которые занялись изготовлением крикетных бит и мячей и преуспели больше других.

Жизнь моего отца посвящена была садоводству и крикету, до последних дней своих он все время проводил на свежем воздухе. Он устроился садовником неподалеку от дома в Редлифе, у мистера Джозефа Уэллса{29}, носившего то же имя, что и отец, но никак не родственника, и летом, отработав свое, как он однажды мне рассказал, бежал бегом милю с лишним в Пенсхерст, чтобы полчасика поиграть в крикет, пока еще можно было различить в сумерках мяч. Он научился всему, что полагалось уметь деревенскому мальчишке, — плавать и обращаться с охотничьим ружьем — и еще выучился грамоте, письму и счету, так чтобы читать что под руку попадет и вести счета четко и аккуратно, но, в какой школе приобрел он эти начатки знаний, я не могу сказать.

Джозеф Уэллс из Редлифа был старым джентльменом либерального склада и со вкусом, и ему полюбился молодой

Джозеф. Он много с ним разговаривал, приучал к чтению и давал ему книги по ботанике и садоводству. Когда старик хворал, он брал моего отца под руку и гулял с ним по саду. Отец был очень любознателен. Маленьким мальчиком, ища что-нибудь почитать, я обнаружил в нашей гостиной залежавшийся с давних пор «Спутник юноши» в двух томах и несколько разрозненных номеров «Круга знаний» Орра[30], которые отец приобрел в этот период своей жизни. Отец неплохо рисовал. Он зарисовывал разные сорта яблок, груш и других фруктов и во множестве собирал и высушивал между листками промокательной бумаги образцы растений.

Старик Уэллс интересовался искусством, и среди его друзей был сэр Эдвин Лэндсир[31], часто его посещавший в Редлифе, анималист, который способен был вдохнуть человеческую душу в изображения животных. Ему, кстати, принадлежат суровые и бесстрастные львы у подножия колонны Нельсона на Трафальгарской площади. Мой отец несколько раз выступал натурщиком, и в течение многих лет можно было видеть, как он подглядывает за молодой дояркой на заднем плане картины «Девушка и сорока» в Национальной галерее. На этой же картине изображена освещенная лучами солнца пенсхерстская церковь. Но потом все картины Лэндсира были переданы в Тейтовскую галерею в Милбенке, и там неожиданное наводнение погубило или повредило большинство из них, а изображение моего отца попросту смыло.

Я не знаю, где трудился мой отец, когда после смерти своего нанимателя он оставил Редлиф, и чем он занимался до того, как поступил в Ап-парк, где и встретил мою мать. Скорее всего, он служил в Кроу садовником или помощником садовника. Думаю, в ту пору он не знал, как сложится его жизнь, и не был уверен в своем будущем. Время было беспокойное. Отец тогда поговаривал о том, чтобы эмигрировать в Америку или в Австралию. Скорее всего дружелюбие Джозефа Уэллса из Редлифа породило в нем какие-то неопределенные надежды, которые рухнули после смерти старика.

Жаль, что я так мало знаю о жизни отца до того, как он женился. Он, думается, наподобие моей матери, оставался человеком XVIII века, убежденным, что миром правит Господь Бог, препоручивший свои обязанности королю и знати, простому человеку тогда были неведомы новомодные способы разбогатеть, пробиться к богатству он мог лишь через покровительство вышестоящих или получение наследства; иначе ему предстояло от колыбели до могилы прозябать в прежнем ничтожестве. Все это уходило в прошлое, новое подрывало прежнюю систему

отношений, но моей матери она казалась вечной и неизменной до скончания веков, да и отец прозревал истину лишь в редкие минуты просветления. Когда они с Сэдди прогуливались в свободные воскресные вечера среди папоротников и обсуждали свое будущее, им и не мерещилось, что вскоре их мир барских усадеб и кучеров, деревенских домишек, придорожных трактиров, лавчонок, плугов на конной тяге, мельниц и обычая прикасаться к шляпе при виде вышестоящего уйдет в прошлое, так как Всевышний обрек этот мир на уничтожение.

Но если в их разговорах во время дневных прогулок и была известная ограниченность, то наедине с собой отец подчас думал иначе. В этом отношении я располагаю лишь намеком, но намеком многозначительным. Однажды, когда мне было лет двадцать, а отцу за шестьдесят и мы с ним шли по лугу возле Ап-парка, он невзначай обронил:

— Когда мне было столько, сколько тебе, я приходил сюда, лежал здесь чуть ли не полночи и глядел на звезды.

До этого я никогда не думал о нем как о человеке, способном считать звезды. Он открылся для меня в этих словах с неожиданной стороны. Мне хотелось бы услышать от него побольше, но я не решился его расспрашивать. Я все пытался задать какой-нибудь наводящий вопрос и получше понять молодого человека, отстоявшего тогда от меня на сорок лет.

— А зачем? — спросил я не слишком удачно.

— Просто размышлял о них.

На этом я и кончил расспросы. Одно дело — интересоваться своим отцом, другое дело — лезть ему в душу.

Но если он способен был оторваться от земли и размышлять о звездах, не значит ли это, что он мог выходить за рамки обыденности и мыслить в планетарных масштабах? Не думаю, что моя мать когда-нибудь размышляла о звездах. Отец Небесный разместил их там во славу свою, и этого ей было достаточно. Отец же никогда подобными вещами не ограничивался.

В дневнике моей матери нет ни слова об обстоятельствах ее брака. Она не упоминает даже о помолвке. У меня нет ни малейшего представления о том, как все это произошло. Из Ап-парка она ушла, чтобы ухаживать за матерью, которая весной 1853 года серьезно заболела. Тем же летом отец посетил трактир в Мидхерсте уже, как я думаю, в качестве ее жениха. Он покинул Ап-парк и собирался пожить со своим братом Чарльзом Эдвардом в Глостершире, пока не сыщется новое место. Но вдруг на мою мать посыпались беды. Ее отец неожиданно заболел и в августе умер, а ее мать, и без того серьезно больная, сошла с ума и спустя немного, в ноябре, тоже скончалась. Случилось это пятого числа,

а двадцать второго мая мать вышла замуж за моего отца, который все еще оставался без работы; они обвенчались в церкви Святого Стефана, что на Колмен-стрит, в Лондонском Сити. Чуть позже, насколько я знаю, он устроился младшим садовником в Трентеме, в Стаффордшире, и какое-то время они встречались только урывками. Она навещала его в Трентеме, о чем она подробно не пишет, а одно воскресенье они провели в Кроу, в «садовническом домике», где ей не понравилось: «Там не было даже церкви». В будни она ездила к родственникам и чувствовала себя «совсем неприкаянной».

Думаю, они поженились по его инициативе, но это только мое предположение. Видимо, он посчитал, что женитьба — дело хорошее, что неудивительно, когда ты на мели. Не исключено также, что его повлекла вспышка страсти, но в подобном случае следует ждать долгой и прочной привязанности, а с его стороны этого не наблюдалось. Моя мать, в свою очередь, нуждалась в человеке, способном оградить ее от адвокатов, которых она подозревала в покушении на отцовское состояние. Если так, то мой отец был ей плохим помощником. Между тем он получил работу и коттедж в Шакбер-парке в Мидленде. Пятого апреля 1854 года моя мать записала: «Очень радуюсь своей жизни и занята устройством дома». Бедняжка! Дому этому суждено было стать для нее лучшим на свете, и она почувствовала себя счастливой. В ее дневнике мой отец фигурирует в это время как «дражайший Джо» и «мой любимый муж». А до того он был просто «Джо» или даже «Дж. У…». «Хлопотливые субботы я не люблю, но все-таки я счастлива в своем домике». Отец сделал маленькую акварель этого квадратного домишки; она сохранилась по сей день, а я думаю, никто не станет зарисовывать свое жилище, если не прожил в нем дней более или менее счастливых. Он оставался в Шакбер-парке, пока у него не родилась дочь (1855), но потом снова оказался без работы.

Этой беды, как видно, не ждали. В дневнике моей матери есть такая запись:

> «27 июля 1855. Сэр Фрэнсис предупредил Джо об увольнении (это слово подчеркнуто дрожащей рукой). Я так огорчена! У меня сердце болит, когда я гляжу на свою девочку и думаю, что мне придется покинуть **любимый дом.** Да будет угодно Господу раньше или позже благословить нас другим счастливым спокойным пристанищем».

Но Господу это оказалось неугодно.

Трудно сказать, почему мой отец не удержался в садовниках.

Думаю, здесь скорее сыграл роль его дурной характер, нежели неспособность к делу. Ему не нравились чужие распоряжения, а тем более приказы. Он легко раздражался. Я вычитал из письма старого друга, которое, к счастью, сохранил, что до свадьбы он поговаривал о намерении отправиться на золотые прииски в Австралию, а после того, как ему пришлось оставить домик в Шакбере, вернулся к подобной мысли, не пожелав «оказаться в зависимости от чужой воли и идти в услужение». На этот раз он задумал эмигрировать в Америку и даже заготовил два тяжелых сундука для домашних вещей, но эти вялые попытки уехать за границу так ни к чему и не привели, поскольку родился второй ребенок, мой старший брат.

Думаю, было к лучшему, что он не отважился осваивать новые земли с моей матерью. Ее воспитали горничной для леди, а не домашней хозяйкой, и мне кажется, ей не хватило бы гибкости ума, чтоб перестроиться. Она была из тех женщин, которым от роду отказано в способности состряпать хороший обед. По природе своей и по воспитанию она принадлежала к так называемому «среднему классу» прислуги, круг ее обязанностей был точно очерчен, она могла «угодить» или «не угодить», но все в тех же пределах. Подобные люди готовы «копить про черный день», но начисто лишены таланта что-то создать или приобрести. Она была сама простота, но, мне кажется, из них двоих он был более приспособлен к веку, в котором властвовал личный интерес.

Во всяком случае, он делал дело, пусть даже в качестве непослушного садовника, хотя и был ей ровней в неумении что-то ухватить и сберечь. Оба они были порождением порядка вещей, разваливавшегося у них на глазах. Пытаясь утвердиться в жизни, терявшей устойчивость и все более тяготевшей к авантюре, они нырнули в описанную мною грязную дыру, из которой так и не выбрались за все эти ужасные двадцать четыре года.

Устроиться садовником было непросто, а удержаться на этой должности оказалось еще труднее, да и не хотелось, и моим оставшимся без крыши над головой родителям приходилось принимать помощь, которую им скрепя сердце оказывали родственники, у которых они жили. Их все более увлекало желание стать хозяевами своей судьбы, приобрести собственный дом и существовать на какие-то пусть и неверные, но независимые средства. Тут им пришел на помощь родственник Джордж Уэллс, у которого была не слишком прибыльная лавка фарфоровой и фаянсовой посуды на Хай-стрит в Бромли, графство Кент; он предложил ее моему отцу по сходной цене. Лавка эта называлась «Атлас-хаус», поскольку в витрине стояла

фигура Атласа с лампой вместо земного шара на плечах. Мой отец в это время ждал наследства, ста фунтов или около того, и согласился. Он потратил все свои невеликие сбережения, и моя мать с ребенком на руках и в ожидании нового въехала на Хай-стрит, 47. Ловушка захлопнулась. Лавка и прежде не окупалась, а теперь доходы становились все меньше и меньше. Но отныне у них уже не было возможности куда-нибудь еще перебраться.

«Приобрели собственность» — сказано в дневнике 23 октября 1855 года. А 27-го: «Очень плохо устроены. И мебели нет подходящей, и денег, чтобы вести торговлю. Боюсь, мы ошиблись». 7 ноября она пишет: «Дела идут хуже некуда. Нет покупателей. Как жаль, что я отказалась от места у леди Каррик!» 8 ноября: «Ни одного покупателя за целый день. Как неприятно, что тебя обманули собственные родственники. Они забрали наши деньги, а мы взамен получили старую рухлядь».

Они оба теперь знали, что попали в ловушку.

Бедняг поймали, и теперь они оказались на краю бездны. К тому же скоро выяснилось, что у отца не было ни сочувствия к жене, ни понимания ее образа жизни. (Много лет спустя я оказался в сходном положении.) Он вырос в деревне с матерью и сестрами, в доме за всем присматривали женщины, а мужчине не приходилось ни о чем заботиться. Лавка обеспечивала отца всем самым лучшим, мать же тащила на себе все хозяйство, у нее на руках было двое детей, и, как видно из дневника, она постоянно боялась новой беременности. «Опасения развеялись» — так она выражалась. К сожалению, стиль записей заметно портится по мере того, как этот невыносимый, отнимающий все силы несчастный Атлас-хаус подчинял ее себе. Исчезают описания пейзажей, благочестивые сентиментальные размышления во вкусе популярных романов. Дневник превращается в фиксацию дат, перечень отцовских приходов и уходов, недомоганий, детских хворей, проистекающих, как она сознавала, из нездоровой обстановки в доме, жалоб на одиночество и все более формальных благодарностей Господу.

> «Дж. У. — опять всего лишь Дж. У., и так уж навсегда, — играет в крикет в Чизлхерсте».
>
> «Дж. У. не было сегодня весь день».
>
> «Дж. У. в Лондоне».
>
> «23 августа 1857 г. Церковь. Утренняя служба. Счастливый день. Дж. У. ходил со мной в церковь!!!»
>
> «30 августа 1857 г. Ходила в церковь!!! Мистер Дж. У. не появлялся целый день; чувствую себя не слишком счастливой. Как часто я жалею, что он

недостаточно серьезен».

«1 декабря 1857 г. Джо решил ехать в Новую Зеландию. Поместил объявление о том, что дом продается или сдается внаем». «3 декабря. Наставь нас, Господи, на путь истинный».

«31 декабря 1857. Год кончается в большом беспокойстве о нашем деле. Зачем мы только взялись за него! Оно нам так не подходит! Живем в бедности, а дорогие родители нас покинули. О Царь Небесный, наставь и укрепи меня».

«4 января. Дж. У. поместил новое объявление».

«6 января. Отклик на объявление».

Но из всех этих объявлений, в том числе и из выставленного в витрине, толку не вышло. «Несколько человек обратились с вопросами, но на этом все и кончилось». Требовались более решительные меры, которые так и не были приняты. В дневнике один день сменяется другим, и большей частью это несчастливые дни. День за днем. Двадцать четыре года ее жизни и первые тринадцать лет моей проходят в обветшалом Атлас-хаусе в неустанной беготне вверх-вниз по крутым ступеням и безнадежных попытках сделать этот дом похожим на уютный коттедж в Шакбере.

Мать упрекала отца в том, что он забросил лавку ради крикета. Но как раз этот замечательный вид спорта помог нам держаться на плаву, несмотря на череду банкротств, пока мы наконец не избавились от дома. Торговля посудой отца не вдохновляла, и ему удавалось продавать местным хозяйкам разве что банки для варенья, ночные горшки да время от времени чайные сервизы и бокалы взамен разбитых. Но зато он усовершенствовался в крикете, возродил местный крикетный клуб и выступал по всем окрестностям, пусть с перерывами, как профессиональный боулер и тренер. Он играл боулером с 1857 по 1869 год за команду Западного Кента и в 1862–1863 годах за команду графства Кент. 26 июня 1862 года, выступая против команды Сассекса, он обошел на четыре мяча в четырех матчах подряд четырех батсменов, а это было абсолютным рекордом в истории крикета графства Кент. Более того, его кузен Джон Дьюк из Пенсхерста, которого он однажды вытащил из воды, когда они купались в реке, открыл ему продолжительный кредит для приобретения крикетных принадлежностей, потеснивших посуду с доброй половины витрины. С детства мне запомнились имена живших неподалеку банкиров Хора и Нормана, в чьих командах он был боулером, а в течение нескольких сезонов он выезжал

тренером на каникулы в норвичскую грамматическую школу.

4. Сара Уэллс в Атлас-хаусе (1855–1880 гг.)

Моя мать без какой-либо отдачи гнула спину в своем мрачном доме, а время шло. Из года в год, шаг за шагом маленькая горничная с ее немудреной твердой верой в святое причастие и надеждой на божескую милость уступала место измученной женщине, все меньше понимающей в жизни. Еще дважды ее обычные «опасения» оправдывались, и Господь удостаивался неискренних слов благодарности за еще двух «милых малюток». Она безумно боялась нашего появления на свет, но потом любила нас и для нас надрывалась. Не буду скрывать, она была женщина неумелая, от нее порой был один вред — ей не хватало знаний и жизненной хватки, однако ее нельзя было превзойти в силе материнской любви. Она в кровь искалывала пальцы, возясь с нашей одеждой. Она фанатически верила в рыбий жир и настояла на том, чтобы мы, младшие, принимали его — хотелось нам того или нет; и таким образом избавила нас от участи нашего старшего брата, так и оставшегося недорослком с впалой грудью. Никто не слышал в те времена о витамине «D», но рыбий жир был прописан моей сестре Фанни и творил с ней чудеса.

Моя мать произвела на свет моего брата Фредди в 1862 году, а два года спустя ее ждала ужасная трагедия — умерла от аппендицита моя сестра. Природа аппендицита была тогда неизвестна, и он именовался «воспалением внутренностей», а Фанни побывала за день или два до того на детском утреннике у соседей, и моя мать, убитая горем, заключила отсюда, что ей «дали что-то не то поесть», и навсегда рассорилась с этими соседями, не разговаривала с ними и запретила нам о них упоминать.

Фанни была, очевидно, умненькой, не по летам развитой и хрупкой, очень домашней, от рождения благочестивой, что очень радовало мать. Такое врожденное благочестие, по словам доктора У.-Р. Акройда (он пишет об этом в «Витаминах и других главных компонентах питания»), обычно бывает следствием нехватки в еде каких-то веществ, и, боюсь, Фанни это как раз подтверждает. Здоровые дети шаловливы. Фанни же назубок знала воскресные молитвы, наизусть пела многие гимны, во время церковной службы сразу находила нужное место в молитвеннике и всегда делала уместные замечания, которые так ценила мать. Я родился через два с лишним года после смерти сестры, в 1866 году, и мать решила, что я пришел во всем заменить Фанни. Но судьба и на

этот раз ее обманула. Маленькие мальчики не походят на маленьких девочек, и с первых дней я оказался совсем другим, в том числе и в своем отношении к религии. Я родился безбожником и бунтарем. Даже когда меня крестили, я, по словам матери, так визжал, что это осталось в семейных анналах.

И веру в целительную силу рыбьего жира на моем примере ей тоже пришлось оставить.

Мой духовный мир в такой степени строился на отталкивании от материнских идей, представлений и чувствований, что я считаю необходимым начинать рассказ о собственном образовании с попытки понять ее, порабощенную в течение двадцати пяти лет посудной лавкой. Никакие няньки или гувернантки не стояли между мной и матерью; она не спускала меня с рук, пока я не стал бегать на своих ногах, и я развивался физически и умственно как бы из нее. Но это был процесс отчуждения, ибо я являлся сыном не только моей матери, но и отца.

Я постарался показать, с какой искренней и незатейливой верой моя мать вступала в жизнь, но неведомые ей силы упорно подрывали привычный миропорядок, уходили в прошлое конная тяга и парусные суда, мелкие ремесла и земельная аренда, которые были основой ее верований. Ей эти фундаментальные перемены человеческой жизни представлялись чем-то непонятным, разрушительным, серией незаслуженных бед, неизвестно по чьей вине происходящих, разве что по вине моего отца или ближних, от которых она вправе была ожидать лучшего.

Бромли планомерно превращался в лондонскую окраину. Увеличились транспортные потоки, пассажирские и товарные, открылась вторая железнодорожная станция, людям стало легче ездить в Лондон за покупками, а лондонским торговцам — конкурировать с местными. Вскоре в округе появились фургоны первых универсальных магазинов, армейских и флотских. Универсальные магазины начали высасывать последние соки из местных торговцев. Торговля банками для засолки огурцов или для варенья замерла. В господских усадьбах появились новые домоправительницы, которые были незнакомы с Джозефом и предпочитали покупать все нужное в больших магазинах.

Почему же Джо бездействует?

Бедная хрупкая женщина! Вечно раздраженная, усталая, чуть ли не половину своей полной разочарований жизни, проведшая в опостылевшем Бромли! Цепляясь за истины, которые она усвоила в пансионе мисс Райли, она ничему не научилась и ничего не забыла потом, в подвальной кухне. Каждый вечер, каждое утро, а часто и среди дня она молила Отца Небесного и Спасителя

послать ей хоть немного денег, сердечного участия, чтобы Джо стал лучше и добрее — ведь он сделался таким невнимательным. Но это было все равно что писать сбежавшему должнику и ждать от него ответа.

Если не считать ответом то, как безжалостно и внезапно у нее отняли ее любимую Фанни, ее котеночка, ее девочку, такую чудесную, такую послушную. Это был ей урок. Ее Фанни была здорова и счастлива, а потом вдруг жар, судороги, и в три дня ее не стало, и единственный друг, которому можно это доверить, — ее дневник. Маленькие мальчики неспособны пожалеть свою мать; от Джо только и дождешься его «Ну-ну, Сэдди», а потом он отправляется играть в свой крикет; оставался, правда, наш Господь и Спаситель, но боюсь, что молчание его никак не упрочивало ее веру, приходилось горевать в одиночку.

Я уверен, что в душе моей матери что-то надломилось после того, как за два с лишним года до моего рождения умерла моя сестра. Ее простодушная вера дала тогда трещину и утеряла прежнюю основательность. При мне от всего этого осталась одна оболочка, пустые слова. Я не думаю, что она когда-либо сама себе в этом признавалась или даже до конца все понимала, но она не ждала больше защиты свыше от коварной судьбы. Господь безмолвствовал; он не приходил к ней даже во сне, и в ее подсознании таился страх перед этим молчанием, но она боролась с безнадежным взглядом на жизнь. Она продолжала твердить слова молитв — все с большей и большей страстью. Она хотела и меня приобщить к вере, чтобы спасти от мрачных мыслей и вообще от всяких сомнений. В свое время она сумела напитать беседы с моей сестрой надеждой на то, что Господь всегда обережет нас, и тем породила в ней раннее благочестие. Мое же сердце она не сумела затронуть потому, что и сама лишилась прежней благодати.

Я был и впрямь ужасным нечестивцем. Я боялся ада, поначалу не подвергал сомнению существование Отца Небесного, но никакие страхи и никакой испуг не могли заставить меня отказаться от мысли, что Всевидящее Око — это Старый Шпион и что Искупление, за которое я должен был возносить хвалу, — это либо обман и фальшь, либо кошмарный бред. Я чувствовал ложность этих понятий еще до того, как начал о них размышлять. Однако было время, когда я верил в Спасителя, насколько его история была мне доступна, как не сомневался и в существовании дьявола, хотя сызмальства вся эта материя вызывала во мне отвращение.

Когда-то я до смерти боялся ада. До такой степени, что лет до одиннадцати или двенадцати даже старался не обзывать своих

братьев дураками. Но однажды мне приснился такой нелепый сон об аде, что я навсегда избавился от мыслей об этом устрашающем месте. В старом номере «Чемберс джорнал» я прочитал о колесовании. Мне начал сниться весь этот ужас, и в моих снах появился Господь в очень нехорошей роли: он разводил огонь под колесом, на котором медленно вращался грешник. Дьявол в этих снах не присутствовал; по простоте душевной я обратился прямо к Создателю. Это видение являлось мне и среди дня. Никогда еще я так не ненавидел Бога.

И неожиданно в голове у меня прояснилось: я понял, что Бог — это просто выдумка.

Я неплохо отношусь почти ко всем живым существам, но не могу припомнить, чтобы в жизни я хоть чуточку любил какое-либо из трех лиц, составляющих Святую Троицу. Я скорее готов был возлюбить огородное пугало, чем эти размалеванные привидения. Я и сейчас неспособен понять религиозный экстаз, как неспособен был почувствовать его тогда, когда моя мать ждала его от меня. Я начал подозревать, что все это чушь еще до того, как осмелился признаться в этом даже себе самому.

Это и вправду чушь, и каждое новое поколение все яснее это понимает. Перед нами беспорядочная мешанина старых верований в жертвоприношение, которая служила сердечным утешением для несчастных, запутавшихся в жизни обитателей Римской империи еще до того, как была предпринята попытка слить эти верования в единое мистическое целое, и поколение за поколением наивных верующих с их немудрящими и искренними молитвами лишь подчеркивают изначальную глупость этой смеси египетских и сирийских мифов. Не верится, что хоть кто-то из миллионов христиан на мгновение мог искренне возблагодарить Спасителя за его жертву. И, по-моему, любовь к Богу в трех лицах тоже не часто встречается уже в силу своей неестественности и иррациональности.

Но почему люди по-прежнему продолжают обманывать друг друга? Христианская вера не выдерживает испытаний войной, болезнями, социальной несправедливостью и прочими реальными несчастьями и лишь плодит разочаровавшихся и потерявших, подобно моей матери, надежду. Иисус был, возможно, хорошим человеком, еврейское представление о Мессии возмещало нужду в вожде, но Спаситель как часть Троицы — это всего лишь принаряженная видимость, воплощенная непоследовательность при всей его благодати, чудовищный гибрид человека и бесконечности, изрекающий туманные обещания о чудесной помощи и тем самым вводящий в заблуждение доверчивые души.

А это их причастие, это удивительное причастие, в котором

упорствующие в вере пытаются найти глубокое удовлетворение, что это такое! К чему оно сводится? Можно ли вообразить что-нибудь более невнятное, чем это сочетание дурной метафизики и материалистических суеверий, чем этот обряд поглощения божеского тела? Можно ли представить себе что-нибудь более развращающее для человеческого сознания, чему оно придавало бы такое кардинальное значение?

Однажды я сказал матери нечто ужасное о причастии. В своих попытках пробудить во мне раннее благочестие, она вдалбливала в меня англиканский катехизис. Я повиновался, но он казался мне очень скучным. Так, отвечая на вопрос о причастии (сформулированный очень аккуратно, дабы не впасть в католическую ересь), следовало говорить, что это «хлеб и вино, предписанные Господом».

Хлеб и вино показались мне трапезой весьма странной, поскольку знал я лишь имбирное вино, которое подавалось на Рождество, апельсиновое вино, которым я запивал рыбий жир, а также портвейн и шерри, которым угощали экономок, когда те приходили платить по счетам; на закуску им давали крекеры; и мне пришло в голову, что неплохо бы разбавить торжественность цитат чем-нибудь забавным, и я, хихикнув, сказал: «Хлеб с маслом».

Моя мать понимала, что ей следует возмутиться. И сколько могла возмутилась. Но удивилась еще больше. Она закрыла книгу и в этот раз больше меня не проверяла.

Она сказала, что я не понимаю, какие ужасные слова произнес, и это была чистая правда. Но, бедняжка, она не сумела мне ничего объяснить. Наверно, она попросила Господа, чтобы он отнесся ко мне со снисхождением и взял на себя труд меня просветить. «Прости дорогого Берти», — должно быть, сказала она.

Во всяком случае, мне стало ясно, что делать катехизис поинтереснее не рекомендуется. Отсюда попросту следовало, что надо читать его как можно быстрее.

В самых ранних моих воспоминаниях мать уже предстает измученной и невеселой маленькой женщиной, которой сильно за сорок. Надежды и вера ее юности рухнули. Все мое детство она вела безнадежный поединок с нашим мрачным и угрюмым жилищем: надо было содержать его в чистоте, а к тому же мыть детей и одевать их, кормить, учить, чтобы все было как полагается. Единственной ее помощницей по дому, которую я знал, была болтливая старуха, весьма напоминавшая Сару Гемп{32}, некая Бетси Финч.

Когда появлялись деньги, Бетси приходила к нам на

поденную работу, и по этому случаю даже затевалась генеральная уборка, начищалась медь в посудомойне, и весь первый этаж заполнялся паром и запахом мыльной пены. Мне запомнилась мать в старых матерчатых тапочках, в сером платье или, смотря по сезону, в платье из набивного ситца, переднике из мешковины и большом розовом чепчике — вроде тех, что носили деревенские женщины как в Старой, так и в Новой Англии, перед тем как эти две страны разделились. В ее жизни было немного солнечных дней, но голову она покрывала, по ее словам, чтобы не запылились волосы. Она сновала по лестнице с совком для мусора, мусорным ведром, половой щеткой или грязным кухонным полотенцем. Еще задолго до того как я появился на свет, руки у бедняжки распухли и деформировались — ведь она вечно что-то скребла и стирала, и другими я их не знал.

Трудам ее не было конца. Отец вставал, вычищал золу из камина, насыпал в него уголь и разжигал огонь, потому что у матери не хватало для этого сноровки, а потом она готовила завтрак, он же тем временем открывал неподатливые ставни в лавке и там прибирал. Потом следовало вытащить детей из постели, проследить, чтобы они умылись, покормить их завтраком и отправить вовремя в школу. Надо было еще проветрить комнаты, застелить постели, вынести помои, вымыть посуду. Вслед за тем приходилось вступать в борьбу с пылью; в ту пору пылесосов не было; и тут как раз наступал черед скрести неровные деревянные полы, настланные недобросовестным плотником; их тогда не натирали и не полировали. Приходилось ползать на четвереньках и тащить за собой ведро. А если Джо отвозил товар, каждую минуту мог раздаться звонок и появиться покупатель.

Покупатели причиняли беспокойство моей матери, и особенно ей не нравилось, если они приходили, когда она была одета по-домашнему; она поспешно снимала передник, вытирала мокрые руки, приводила в порядок прическу и выбегала в лавку, запыхавшаяся и недовольная, поскольку мой отец часто забывал обозначить цену на нужный товар. Когда же речь шла о принадлежностях для крикета, она совсем терялась.

Отец сам покупал мясо на обед, но мясо надо было еще приготовить и накрыть стол в подвальной кухне. А потом в лавке слышался топот ног мальчишек, возвращавшихся из школы; они неслись вниз по лестнице, и наступал час второго завтрака. Комната была темная, а временами, когда решетку подвального окна загораживали чьи-то панталоны или юбка, становилась еще темнее. С едой тоже не всегда было ладно. Порой мы оставались голодными, хотя картошки и капусты всегда оказывалось

слишком много; порой еда получалась невкусная, и тогда отец ворча отталкивал тарелку или напрямик говорил, что он обо всем этом думает. В такие дни мать выглядела всеобщей прислугой, только ей не платили жалованья. Я тоже нередко сетовал, что меня кормят невкусно, и страдал днем от сильных головных болей или болей в печени. Пиво мы пили из бочоночка, что стоял в посудомойне, и даже когда оно немного прокисало, мы все равно его пили. После еды отец закуривал трубку и кухня наполнялась ароматом «Красной Вирджинии», мальчики начинали ссориться или просто глазеть по сторонам, а то и веселиться, первая половина дня, самая трудная, завершалась, и матери оставалось только вымыть посуду в раковине.

Теперь она могла принарядиться. Утреннее платье уступало место аккуратному наряду дамы в чепчике и кружевном переднике. Обычно она сидела дома — в силу необходимости, когда отец уходил играть в крикет, но главным образом потому, что у нее не было дел вне дома и очень много в его пределах. У нее была большая, плохо уложенная корзинка для шитья — когда я был маленьким или когда хорошо себя вел, мне иногда дозволялось приносить ее, и мать принималась латать нашу одежду. Она накладывала огромные заплаты на колени и на локти. К тому же она сама нас обшивала до тех самых пор, пока мы не вошли в возраст и, боясь насмешек школьных товарищей, не запротестовали против ее доморощенных фасонов. Еще она шила чехлы для стульев и покрывала на диван из дешевого мебельного ситца и кретона. Во всем этом, как и в ее стряпне и портновских изделиях, было больше смелости, чем искусства. Все выходило не по мерке, но, во всяком случае, потертость мебели уже не так бросалась в глаза. Выпив чай, поужинав, уложив своих чад в постель и проследив, чтоб они помолились на ночь, она находила еще сколько-то времени для раздумья, чтения газеты, переписки, строчки-другой в дневнике, а потом зажигала свечу и поднималась по неудобной лестнице в свою спальню. Отец, поужинав, уходил из дома поговорить с приятелями о разных мужских делах или поиграть с ними в «Наполеон» в пивном зале гостиницы Белла, причем, как я понимаю, он обычно выигрывал.

О жизни отца в ту пору я знаю очень немного. Вообще-то, судя по всему, он был человеком непутевым и неудачливым, но при этом веселым, с легким характером и значительную часть своей энергии тратил на то, чтобы отгородиться от всего неприятного. Женщинам он нравился и, думаю, знал об этом, но, мне кажется, не изменял жене и не заходил дальше легкого флирта — во всяком случае в Бромли. О любом подобном скандале или хотя бы слухах о нем я знал бы от своих школьных

товарищей. Он любил поболтать, стоя у дверей своей лавки, с друзьями-лавочниками, такими же праздными, как и он сам. Их голоса и порой взрывы хохота доносились в лавку, где сидела в одиночестве моя мать.

Он много читал, покупал книги на распродажах, приносил их из библиотеки. Думается, усвоенные в родительском доме религиозные и политические представления постепенно стирались из его сознания. И очень возможно, что ему день ото дня все скучнее становилось разговаривать с матерью, отличавшейся непоколебимыми взглядами и до смешного банальным умом. Она неспособна была постигнуть тайны карточных игр, шахмат, шашек, так что эти развлечения по вечерам им были заказаны. Отец чувствовал ее молчаливое неодобрение и понимал его причины, но понятия не имел, как исправить положение. Должен сказать, я тоже не представляю себе, что он мог бы сделать.

Забота моей матери о внешних приличиях была у нее в крови. Каково бы ни было реальное положение семьи, она твердо стояла на том, что мы должны производить впечатление обеспеченных представителей высшего слоя слуг и арендаторов, и старалась это впечатление, с которым сроднилась, всячески поддерживать. Она полагала, что никому не ведомо отсутствие в нашем доме прислуги и что ей приходится все делать собственными руками. Мне было предписано не отвечать на расспросы и никому не выдавать эту тайну. Снимать невзначай сюртук мне тоже не полагалось, поскольку моя рубашка не отвечала тем ожиданиям, какие мог вызвать сюртук. Она никогда не была рваной, но и чести мне не делала. Это мешало мне участвовать в детских играх.

Мне не велели общаться с простыми детьми, которые могли научить меня нехорошим словам. Хоптоны из семьи зеленщика, жившего напротив, были, она считала, детьми «грубыми», хотя на самом деле они были лишь веселыми и живыми; ближайшие соседи Манди были методисты, они пели гимны дома, а это считалось не лучше, чем распевать светские песни в храме, Моуетты же из углового дома убили «бедненького котеночка», во что она твердо верила, и о дружбе с ними нельзя было даже и помыслить. С другой стороны, люди, которые стояли выше нас, были заносчивы, и по этой причине с ними тоже не стоило искать близости. Так что круг моего общения был весьма ограничен. Она предпочитала держать меня дома и не выпускать на улицу.

Мать дала мне начатки образования. По большому листу бумаги с печатными буквами, что висел у нас на кухне, я усвоил алфавит. С него же я затвердил первые девять цифр; потом она

изустно научила меня считать до ста, а первое слово, которое я написал, было «масло», причем я его скопировал с написанного ею пальцем на оконном стекле. Она же учила меня читать. Но когда она почувствовала, что я нуждаюсь в более широком круге знаний, меня отдали в школу, которая помещалась в комнате одного из коттеджей, расположенных возле Дрил-холла; преподавали в ней дремучая старая леди миссис Нот и ее не менее дремучая дочка мисс Сэлмон, я ходил туда с моим братом Фредди, которому было строго-настрого приказано всю дорогу держать меня за руку; в этой школе я выучил таблицу мер и весов, стал читать многосложные слова и складывать числа или, по крайней мере, делать вид, что я их складываю, поскольку занятие это оказалось мне не по уму, да и никто мне сложения как следует не объяснил.

Такой была моя мать в дни моего детства. У нее появились уже морщинки вокруг глаз и впалый рот, поскольку она потеряла несколько зубов, а вставить новые значило пойти на непозволительные расходы. Не знаю, что она думала, когда по вечерам, перед тем как отправиться спать, сидела одна с шитьем в руках у лампы возле гаснущего огня. Я задавался этим вопросом в отрочестве и сейчас еще не знаю ответа.

Полагаю, она прекрасно понимала свое положение, но при всей своей бедности не чувствовала себя несчастной. Мне кажется, она спасалась от реальности в мире невинных грез. Когда она шила, разные выдумки отвлекали ее от беспокойств и тревог. Скажем, она повстречала кого-то приятного; ее поздравили с каким-то воображаемым событием; дорогой Берти пришел из школы с наградой, дорогой Фрэнки или дорогой Фредди вошел в какое-то дело и там преуспел, или почтальон принес заказное письмо. А в письме сказано, что ей досталось наследство, двадцать пять фунтов, пятьдесят, а почему не все сто? И все ей одной. По закону о правах замужней женщины на собственность Джо не смог бы на них претендовать. Она взяла бы верх над Джо, но все равно бы купила ему что-нибудь из этих денег. Удалось бы поставить памятник «бедненькому котеночку». И еще она заплатила бы по счету мистеру Морли.

Или, может быть, завести прислугу. А это и вправду ей нужно? Разве что для уважения со стороны соседей. От слуг одно беспокойство, а польза под вопросом. Какую-нибудь глупую девчонку надо еще всему научить, да и мальчишки станут за ней увиваться. А тут еще и Джо… Мальчики у нее золотые, она знает, но все что угодно может случиться, если девчонка глупая и испорченная. Нет, лучше нанять серьезную женщину. Бетси Финч, например, чтоб чаще к ней приходила. И тогда не надо будет

непрерывно скрести полы. А еще удастся повесить новые занавески в гостиной. Вот приходит доктор Бибай — просто поглядеть палец у Фредди — ничего серьезного: «Боже мой, миссис Уэллс, боже мой! Как вы украсили комнату!..»

Такие фантазии, наверно, к ней являлись.

Для громадного числа людей подобные выдумки — настоящее спасение. Мечтания — это лучший опиум. И я уверен, что мечты заполняли редкие часы ее досуга. Вера и любовь, разве что кроме материнской привязанности к детям, мало-помалу ушли из ее жизни, оставив одни фантазии. Когда-то она мечтала о разделенной любви и милости Божьей, но утешение нашла только в стране грез. Для отца главным был крикет, и у нее год от года крепла уверенность, что Отец Небесный и Спаситель, на которых она некогда так непомерно уповала, тоже ушли от нее, чтобы поиграть в крикет где-то в дальней части звездного неба.

Моя мать по-прежнему оставалась доброй прихожанкой, но мне не верится, что в одинокие вечера в Атлас-хаусе она задумывалась о потустороннем мире или надеялась на бессмертие. Я не думаю, что она занимала себя ожиданием грядущей жизни. Она хотела только увидеть в райском саду потерянную дочь, своего «котеночка», так и оставшуюся ребенком, услышать, как она крикнет в восторге от этой неожиданной встречи: «Мамочка, мамочка!» — и опять заключить ее в объятия.

5. Сломанная нога, некоторые книги и картинки (1874 г.)

Я сломал ногу между семью и восемью годами. Может быть, я жив по сей день и пишу свою автобиографию, а не умер изможденным и получившим расчет приказчиком единственно потому, что когда-то сломал ногу. Посланцем судьбы был «молодой Саттон», взрослый сын владельца гостиницы «Колокол». Я играл под тентом позади крикетной площадки, а он из самых добрых побуждений подхватил меня и подкинул в воздух. «Малыш, ты чей будешь?» — крикнул он, но я дернулся, выскользнул у него из рук и ударился берцовой костью о стойку тента. Сколько было шума, когда меня на руках принесли домой! Как было больно и неудобно, от крепко прибинтованных к ноге по тогдашнему обычаю деревяшек лодыжка и колено невероятно распухли, но зато меня потом торжественно уложили на диван в гостиной, и там я пробыл несколько недель в качестве главного лица в доме, заваленный небывалыми сладостями, фруктами, ветчиной и цыплятами, которые присылала мне с бесчисленными извинениями за сына миссис Саттон, и я мог просить что хотел —

книги, бумагу, карандаши, игрушки, но требовал главным образом книги.

Я пристрастился к чтению. Я научился лежать или сидеть, застыв неподвижно на диване или на стуле, бродя мыслями по холмам, путешествуя по далеким странам вместе с героями романов. Отец ходил теперь почти каждый день в библиотеку на Маркет-сквер и приносил мне одну-две книги, миссис Саттон тоже присылала мне книги, так что у меня всегда было новое чтение. Мир быстро расширялся, и, когда я вновь стал ходить, страсть к чтению меня не оставила. Родители опасались, как бы любовь к книгам не повредила моему здоровью, и, когда нога у меня зажила, старались отучить меня от этой вредной привычки, но все понапрасну.

Названий и имен авторов я сейчас даже не помню, ибо тогда это все представлялось мне досадной помехой, табличкой на двери, закрывавшей доступ в мир волшебства. Был двухтомник, составленный, по-моему, из переплетенных вместе двухнедельных выпусков журналов; там повествовалось о разных странах. Эта книга, иллюстрированная гравюрами на дереве (фотографии не вошли еще в обиход), переносила меня в Тибет, в Китай, на Скалистые горы, в бразильские леса, в Сиам и добрую дюжину других стран. Я общался с индейцами и голыми неграми, осваивал ремесло китобоя, дрейфовал на льдинах вместе с эскимосами. Была еще «Естественная история» Вуда{33}, тоже обильно иллюстрированная и полная захватывающих, пугающих фактов. Я до смерти стал бояться гориллы, изображенной в самом ужасном виде; она с наступлением темноты сходила с картинки и бесшумно преследовала меня по всему дому. Лестничная площадка между этажами была ее любимым убежищем. Я проходил это место посвистывая, но с опаской, а потом мчался наверх со всех ног. И меня очень утешала мысль, что между бескрайними просторами континента, по которому ничто не мешает бродить русским волкам или индийским тиграм, и безопасным островом, где совершаю свои ежедневные прогулки я, лежит непреодолимая преграда, именуемая Английским каналом. Я прочитал также книгу, где говорилось о расстоянии между звездами, и Всевидящее Око заметно отдалилось от меня. Листая страницы «Естественной истории», я узнал о занятном родстве между кошками, тиграми, львами, а в какой-то степени еще и между ними и гиенами, собаками и медведями, и мысль об эволюции начала закрадываться в мое сознание. Еще я прочитал о жизни герцога Веллингтона и о Гражданской войне в Америке и начал в своем воображении разыгрывать их битвы. Дома были сочинения Вашингтона Ирвинга{34}, которые познакомили меня с

Гранадой и Колумбом с его спутниками. Художественной литературы на этой ранней фазе моего чтения я не помню. То ли книги эти я позабыл, то ли они мне тогда не попадались. Правда, потом мое воображение захватили капитан Майн Рид, Фенимор Купер и Дикий Запад в целом.

Заметную часть моего раннего чтения составили переплетенные номера «Панча» и его тогдашнего соперника журнала «Фан», которые отец продолжал собирать и тогда, когда я уже был подростком. Мои представления о политической жизни и международных отношениях сформировались в значительной степени под влиянием внушительных фигур Джона Буля и Дяди Сэма, французского, австрийского, германского и русского императоров, русского медведя, британского льва и бенгальского тигра, благородного мистера Гладстона и коварного улыбчивого Диззи{35}. Они соперничали между собой, обращались друг к другу с красивыми, хотя и не всегда понятными речами. И на этой политической арене выступали также высокие и прекрасные женские фигуры Британии, Ирландии, Америки, Франции с голыми руками и вырезом на платье, не скрывавшим грудей; фасоны эти, подчеркивавшие бедра, были совершенным открытием в век бесчисленных оборок и кринолинов. Меня впервые потянуло к женщинам, во мне в первый раз шевельнулось желание при лицезрении этих героических богинь. Женщинами я стал интересоваться с тех самых дней.

Я не пытаюсь ставить под вопрос результаты психоаналитических исследований, сообщающих нам о пробуждении пола у детей. Но мне кажется, что дети, давшие материал ведущим психоаналитикам, принадлежали к другим расам и получили в своих семьях другие представления о допустимых ласках. Выводы этих психоаналитиков, должно быть, верны в отношении австрийских евреев{36} и левантийцев, но не отвечают истине для англичан или ирландцев. Я не могу вспомнить или в какой-то мере проследить какую-либо связь между своими детскими физическими реакциями и своей половой жизнью. По-моему, детская чувственность, идущая от сосания груди, которую так подчеркивают, не задерживается в сознании, стирается, о ней и не вспоминают, словно ничего такого и не было. Я не замечаю в себе чего-либо подобного по отношению к матери и каких-либо следов эдипова комплекса, если речь идет об отце. Поцелуи моей матери были выражением ее чувств, а не ласками. Маленьким мальчиком я видел в своей неизменно пристойной матери не больше сексуальности, чем в диване и стульях из нашей гостиной.

Вполне возможно, что в Южной и Восточной Европе

сексуальное подсознание передается от поколения к поколению, поскольку ласки как выражение интимной близости там в обычае, но психосексуальный процесс в Северной и Западной Европе и в Америке всякий раз возобновляется заново в каждом поколении, отношения матери и младенца оказываются прерванными, а сексуальность находит иные формы и способы выражения. Я, во всяком случае, убежден, что моя сексуальная жизнь началась с наивного восхищения прекрасными телами, явившимися мне с картинок Тенниела{37} в «Панче», и что желание начало просыпаться во мне именно благодаря им и гипсовым копиям греческих статуй, украшавшим Хрустальный дворец{38}. Я не вижу какой-либо подсознательной связи между моим младенческим опытом и этими впечатлениями; просто я оказался к ним готов. Моя мать внушила мне мысль, что неприлично показываться голым, и в результате я стыдился и скрывал свой интерес к Венере, хотя дорогая мамочка и не подозревала влияния, какое оказали на мою просыпающуюся чувственность Британия, Эрин{39}, Америка и все остальные.

Конечно, я обожал их сперва по-детски, но без всякой связи с младенческой сексуальностью. Ложась в постель, я укладывался не на подушку, а на их прекрасные груди, и они обнимали меня своими большими руками. Мало-помалу они становились уже не такими большими. Они меня обнимали, я их обнимал, но я все равно оставался существом несведущим и абсолютно невинным до тех самых пор, пока не сломал ногу и не пошел в школу. Женщины мне нравились, меня к ним влекло еще до того, как мне исполнилось семь лет, и задолго до того, как я понял, говоря нынешним языком, «реальную сторону секса». Но едва у меня появился к ней интерес, я стал обращать внимание на олеографии и статуэтки в витрине нашей лавки. Не думаю, что мой интерес был в то время абсолютно гетеросексуальным. Но в моем мире все было так застегнуто на каждую пуговицу, а правила приличия настолько крепко засели в моей голове, что все касающееся человеческого тела необыкновенно меня возбуждало.

После того как я пристрастился к чтению книг, надел гетры и был послан в маленькую частную школу для мальчиков от семи до пятнадцати лет, расположенную на главной улице нашего города, я скоро узнал от школьных товарищей и реальную сторону секса — преподнесенную мне грубейшим образом, в сопровождении гогота, неприличных жестов и всех грубых слов, от которых мать до сих пор так оберегала меня.

В семьях, из которых происходили эти мальчики, не читали книг, так что с самого начала у меня был сравнительно больший кругозор. Я знал много любопытного о чужих землях, далеких

временах и неведомых зверях, а они об этом понятия не имели. К тому же я проявил способности к рисованию, которые у них еще не развились. Поэтому я сходил за ребенка исключительных способностей и ума, и учитель ставил меня, семилетнего малыша, в пример старшим «оболтусам». У них хватало воспитания не вменять это мне в вину. Среди детей из более культурных семей я бы ничем не выделялся, но я, естественно, уверовал в свое врожденное превосходство, что придавало мне некоторое самодовольство.

Столкновение грубых открытий касательно реальностей секса с моим тайным преклонением перед красотой женского тела и собственным самомнением очень многое определило в моем умственном, а может быть, и физическом развитии. Во мне появилась сдержанность, которая шла вразрез с врожденным прямодушием. То, что мастурбация является естественной частью полового созревания, в те дни упорно отвергалось в англоязычном мире. Думаю, ни один человек не избежал этих проявлений приближающейся зрелости. Но для моего поколения это было тайной, позорной и ужасающей. А без сочувствия взрослых, да еще когда человек сгорает от стыда, опыт этот приобретает болезненный оттенок. Для многих мальчиков и девочек он становился средоточием нездоровых фантазий. В школе были свои эксгибиционисты, о них шептались и грязно хихикали. Среди пансионеров, многие из которых спали по двое в одной постели, была, бесспорно, распространена невинная гомосексуальность. Лично же я страдал, пытаясь удержаться от мастурбации. Желание приходило, когда я обнимал своих богинь. У меня, что называется, была неразделенная любовь к собственной постели.

Об этом не знала ни одна душа, потому что я стеснялся и боялся насмешек, а то и суровых упреков. Очень рано я пришел к пониманию, каким образом Венера способна отнять все мои силы, и, хотя я не мог похвастаться идеальной «чистотой», я все же держался в определенных рамках. Меня сковывал и суеверный страх. Может быть, то был непростительный грех перед Святым Духом, который неизбежно повлечет за собой наказание. Впрочем, последнее больше беспокоило моего брата. Мне же было лет одиннадцать-двенадцать, когда я расстался с верой.

А в семь лет (точнее говоря, за три месяца до того, как мне исполнилось восемь) я отправился в школу мистера Морли на Главной улице. Я был тогда бледным ребенком в холщовом переднике с зеленой суконной сумкой для книг, и между мною и большим миром стоял холодный протестантский Бог; он отгораживал меня от снежных гор, Арктики, негров и дикарей с

островов, от тропических лесов, прерий, пустынь и глубоких морей, городов и армий, горилл, людоедов, слонов, носорогов и китов, о которых я мог говорить и говорить, а в глубинах моего сознания жили безымянные, любимые мною богини, о которых я не обмолвился и словом ни одной живой душе.

Глава III
ШКОЛЬНИК

1. Коммерческая академия мистера Морли (1874–1880 гг.)

Это путешествие по Главной улице к академии мистера Морли знаменует новую фазу в развитии интеллекта, коим одарили мир Дж. У. и его Сэдди. В Бромлейской академии придерживались старых традиций, зато долгие годы учения с успехом завершились для меня в самой современной по тем временам научной школе в Южном Кенсингтоне — контраст, чрезвычайно характерный для той эпохи.

Начатки современной цивилизации, ныне победно прокладывающей себе путь в мире, появились еще до моего рождения, принявшись исподволь подтачивать устои старого, сформировавшегося еще в XVIII веке и казавшегося незыблемым порядка. В моем городке к железнодорожной станции дуврской ветки, когда мне исполнилось двенадцать, добавилась еще одна — на ветке от Гров-парка к Чизлхерсту. Городку, где было всего лишь несколько больших домов, старинная рыночная площадь, кривая Главная улица, две гостиницы и множество пивных, с появлением этой станции предстояло разрастись и начать бурно заселяться. Лондон постепенно приближался к нему, превращая в свой пригород. Предвидеть очевидные последствия этого могли лишь наиболее дальновидные строительные подрядчики; другие не заглядывали столь далеко. Дома и лавки, вроде той, где я провел свое детство, тем не менее начали множиться. Немедленно стали превращаться в помойку дворы и грязные проулки. Но вокруг открывались просторы лугов и полей. Бромли и Чизлхерст утопали в зелени, окруженные большими парками вроде Сандридж-парка, Кэмден-парка, а к югу простирались вересковые пустоши возле Кестонских прудов и луга.

При новом порядке вещей, который начал складываться в дни моего детства, постепенно стала осознаваться необходимость начального образования. Правящие классы поняли, что невежественный народ не сможет конкурировать с иностранцами. В изумленном общественном сознании мало-помалу вызревало понимание того, что всякий должен знать грамоту и счет. Школы, в течение полувека существовавшие у нонконформистов и в маленьких англиканских приходах, согласно изданному в 1871 году закону о начальном обучении{40}, были реорганизованы в

государственную систему, включавшую и школы-пансионы, и церковные школы. В Бромли была построена государственная школа. Конечно, дальше первых шагов дело пока не шло. Закон касался лишь детей до тринадцати, от силы четырнадцати лет. К тому же местные власти никак не заботились о развитии художественных или технических способностей учащихся. Но и в этих пределах закон встретил широкое сопротивление. Многие возражали против того, чтобы даже самые жалкие гроши изымались из государственной казны на обучение «простолюдинов».

Правда, рядом с государственными школами, созданными законом, издавна, с XVIII века, повсеместно существовали учебные заведения, которым жители Бромли, равно как и моя мать, отдавали предпочтение. Век назад «низшие классы» не притязали на грамоту, но, в отличие от них, сельские арендаторы, лавочники, трактирщики и старшие слуги, составлявшие тогда по сравнению с наемными рабочими большой процент населения, отдавали детей в маленькие платные школы, возникшие со времен, когда Реформация внесла брожение в умы; если же поблизости не было таких школ, они создавали их. Эти частные школы прозябали в обществе, терявшем былую устойчивость, что особенно чувствовалось в середине девятнадцатого столетия. Школа мистера Морли и была сохранившимся, хотя и немного преобразованным, образчиком подобного рода школ.

Мистер Морли занимал раньше должность младшего учителя в одной из таких школ. Но когда она закрылась, тотчас же основал собственную. Это был не слишком образованный шотландец, и в своем первом проспекте он объявлял, что собирается учить письму «простым почерком, а также с украшениями, математической логике и истории, в первую очередь истории Древнего Египта». История Древнего Египта, как и вообще большая часть истории, за исключением хронологии и генеалогий, задолго до моего поступления выпала из перечня предметов и, поскольку Бромлейская академия шла, сколько возможно, в ногу со временем, уступила место чистописанию, математике и бухгалтерии. Морли был дородный, лысый, красноносый очкарик с сединой в рыжеватых висках, считавший, что ему самому и школьникам следует носить цилиндры, сюртуки, белые галстуки и почаще употреблять слово «сэр». За исключением помощи, которую ему изредка оказывали дети и жена, полная дама в черных шелках, кольцах и с золотой цепочкой на шее, он со всем управлялся сам. Школа представляла собой одно большое помещение над посудомойней; вдоль стен стояли столы и скамьи, а две самые длинные — на шестерых

каждая — находились в центре комнаты, по двум сторонам от топившейся зимой печки. В класс выходило окно спальни, а под ним стояла на столе в углу большая бутылка чернил, откуда по мере надобности наполняли чернильницы; там же были свалены в кучу аспидные доски и открывалась глазам никогда не остававшаяся без дела палка, которая шла в ход либо просто по настроению, либо после вынесения приговора, либо вообще без лишних формальностей; ею Морли бил по ладони, по спине и по заднице. Но он управлялся и без нее, хватая все, что попадалось под руку — книгу, линейку, вообще что угодно, и при этом бранился без устали. Таким путем он всех нас, человек двадцать пять, а то и тридцать пять, вел по пути учения и готовил к успешным экзаменам, которые должна была принимать по общему согласию ассоциация частных учителей, именуемая Колледжем наставников; они имели право выдавать бухгалтерские дипломы и пристраивать выпускников клерками.

Примерно половина учеников, те, что из Лондона, находились на пансионе, поскольку дома им было жить не с руки. Еще несколько детей соседних фермеров обедали в школе. Остальные принадлежали к небогатому среднему классу. Мы появлялись в девять, учились до двенадцати, потом опять занимались с двух до пяти. За исключением тех летних дней, когда открывались окна, воздух был спертый и мозги у нас плохо ворочались.

О нашем преподавателе трудно припомнить что-либо, что шло бы вразрез с карикатурным описанием школы у Диккенса. Морли витийствовал со своей кафедры, кого-то поносил, кого-то восхвалял, бурно выражая свои совершенно непонятные симпатии и антипатии, а стиль его преподавания во всем, начиная с уже цитированного проспекта, был весьма схож со стилем упомянутой чичестерской школы, наложившей неизгладимый отпечаток на мою мать. Школа была старомодная, претенциозная, поверхностная, дающая мало знаний. Все же она пошла мне на пользу, и поэтому стоит сказать несколько добрых слов о старине Морли. Мне кажется, он честно старался, вопреки традиции, чему-то нас научить. Колледж наставников, к которому он принадлежал, был не просто объединением частных школ, предназначенным пускать пыль в глаза; в нем занимались самоусовершенствованием и стремились идти в ногу со временем. Там читались лекции по методике преподавания и разрабатывался перечень вопросов для получения учительского диплома. Морли научился очень многому со дня, когда он в 1849 году открыл свою школу, и ко времени, когда я к нему поступил. Он стал членом, а потом и лиценциатом этого самообъявленного

колледжа, причем всякий раз проходил серию экзаменов, включавших реферат по методике преподавания. Я думаю, что его система, при всех ее недостатках, была все же лучше, чем система алчных соискателей грантов, наскоро обученных учителей государственной школы — единственной альтернативы школе мистера Морли, и что интуиция не подвела мою мать, когда она предпочла для нас это старомодное заведение.

Описывая дни, проведенные мною в этой душной, плохо освещенной, пыльной комнате, я понимаю, что сегодня не найдется квалифицированного учителя моложе пятидесяти, которому подобные условия не показались бы ужасающими. Но в мое время такие школы не вызывали ни малейшего удивления.

Очень немногие в наши дни понимают, какие грандиозные перемены произошли за минувшее столетие в народном образовании. Здесь перемен было больше, чем в градостроительстве или транспорте. Прежде чем пробился свет в этой области, притом свет еще и в наше время достаточно тусклый, большинство населения во всем мире вообще не посещало школу, да и те немногие, кто прикоснулись к учению, были людьми скорее грамотными, нежели образованными. В Индии, Китае, арабских странах, равно как и в Европе, собирались либо в помещениях, наспех приспособленных под классы, как у Морли, либо в мечети, а то и просто под деревом или под живой изгородью, как в Ирландии, ученики же набирались из детей обоего пола и самого разнообразного возраста от шести до шестнадцати лет. Школы, достойные этого имени, были исключением и редко когда насчитывали больше одного-двух учителей. Зданий, изначально предназначенных для школы, почти не существовало. Специально построенный и оборудованный класс, в котором бы занималась не очень большая группа детей одинакового возраста и развития, — явление относительно новое даже в высших слоях общества. Обычно учение носило спорадический характер, а учителю приходилось приноравливаться к самым различным возрастам и особенностям восприятия одновременно; он вынужден был придумывать упражнения и занятия для одних, пока сам занимался с другими, тем самым сохраняя хоть какой-то порядок в классе. Этот учитель напоминал не очень-то опытного шахматиста, играющего одновременно на тридцати досках. Он походил на неловкую акушерку, работающую в переполненном родильном доме. Само собой, уровень преподавания зависел от его настроения. Временами Морли пытался чему-то нас научить, в другое же время он лишь переваривал, успешно или не очень, свой обед, страдал от изжоги, беспокойства или неприятностей, работа ему

была невтерпеж, как и его зависимость от нас, потому что он понимал, что жизнь проходит стороной, иногда он, проспав, не успевал побриться и ему хотелось уйти к себе и исправить свое упущение.

Главное, что осталось у меня в памяти от академии мистера Морли, это отнюдь не впечатление, будто нас умело направляли на путь истинный и, как могли, просвещали, объясняя мир и помогая овладеть какими-то навыками и умениями или усовершенствовать их, а только лишь настроения нашего учителя и их последствия. Порою он бывал рассеян и восседал в углу на своем троне, безучастный, как мамин Господь Бог, тогда и мы расслаблялись, отвлекались от упражнений, которые он нам задал, потихоньку переходя к занятиям собственным, куда более интересным. Мы болтали друг с другом, рассказывали разные истории — а я их знал кучу, подготовленный своим детским чтением, и мог болтать без устали, — рисовали на аспидных досках, играли в камешки, в крестики-нолики и тому подобное, выворачивали карманы, в которых всегда удавалось что-то сыскать, и чем-нибудь менялись, щипались и толкались, уплетали сладости, читали грошовые книжонки о всяких ужасах и вообще делали все что угодно, кроме положенного. Временами после обеда, когда человека клонит ко сну, раздавался шепот: «Старый Томми спит!» — и мы с любопытством наблюдали, как он, опуская голову все ниже и ниже, погружается в сон, перемежаемый похрапываниями и резкими, как от толчка, пробуждениями. Когда же он до конца выключался и очки падали на его сложенные руки, нами овладевал приступ тихого веселья. Мы вскакивали, принимались строить рожи, соревноваться в непристойных жестах. Выползая из-за столов, мы, насколько хватало смелости, выдвигались в проход между скамьями. Внезапно он пробуждался, приходил в себя, наказывал какого-нибудь замешкавшегося безобразника, и все мы под его присмотром начинали усердствовать.

Иногда он вовсе отлучался по каким-то своим делам. Тут уж самое святое дело было переступать всякие границы: начинались потасовки, борьба, мы вскакивали с мест, шли стенка на стенку, стреляли друг в друга из рогаток или духовых трубок, плевались жеваной бумагой, кидались книгами. Я пишу, и слышу эти звуки, и чувствую запах пыли. Когда гомон достигал предела, бесшумно и быстро поднималась штора на окне спальни, за стеклом появлялся Морли с бритвой в руках, с лицом в мыльной пене, высматривая учеников, подлежащих каре; у нас поджилки тряслись. Окно поднималось: «Вот собаки! Кобели несчастные!» Засим следовал приговор.

Педагогическое рвение нападало на Морли нерегулярно, исключение составляли пятницы во второй половине дня, когда мы неизменно и с большим упорством занимались арифметикой. Были еще «дни бухгалтерии», когда на разграфленных листках мы вели учет воображаемым товарам. С помощью пера, линейки и красных чернил подводился баланс доходов и расходов. Писали мы в тетрадях, а Морли ходил среди нас, поглядывал через плечо, давал указания и делал поправки. Нам следовало держать перо строго определенным образом, и не иначе, это считалось важнейшим из навыков, которые нам предстояло приобрести; наклон при письме следовало тоже делать строго определенным, и никаким другим. Я был в этом смысле очень неаккуратен, и пальцам моим изрядно доставалось. Воспитание хороших клерков, имеющих специальное бухгалтерское удостоверение, безусловно, было важным делом для Томаса Морли. Прежде всего его, конечно, занимали обеспеченность, преуспевание и репутация супругов Морли и их дочки. Но его интересы этим не ограничивались. Он отличал хорошее от дурного, в нем ощущалось стремление следовать определенной системе ценностей и делать все как можно лучше. Желание Морли получить дипломы Ч. К. Н. и Л. К. Н. (члена и лиценциата Колледжа наставников), сколь малыми ни казались бы нам сегодня предъявляемые для этого требования, дало ему толчок к умственному развитию, и ему стало доставлять удовольствие решение математических и логических задач. Когда он обнаружил у меня интерес к разбору сложных предложений и элементарным математическим задачам, он проникся ко мне симпатией и стал уделять мне больше внимания, чем менее развитым детям, которые больше моего противились его неумелой, средневековой, агрессивной и нетерпеливой системе преподавания. Он никогда не давал мне обидных прозвищ и не ругал меня.

Когда тринадцати лет от роду я закончил школу, разделив еще с одним мальчиком первое место в Англии по знанию бухгалтерии (во всяком случае в той части Англии, на которую распространялась власть Колледжа наставников), я, при всех упущениях моего образования, все-таки освоил правильный английский, хотя и сохранил акцент «кокни», и выучил математику не хуже, чем дети того же возраста, окончившие сегодняшнюю привилегированную школу. Я овладел, насколько положено, эвклидовой геометрией, приобрел начальные знания в тригонометрии и что-то узнал о дифференциальном исчислении. Но многое другое я усвоил из рук вон плохо. Старина Томми учил нас французскому по примитивному учебнику, и даже при том,

что ему случилось несколько раз побывать в Булони, говорить на этом непростом языке он не умел, я же не пошел много дальше спряжения глаголов и длинного списка исключений, нужных при сдаче экзаменов, но совершенно бесполезных в обыденной жизни. Он сгубил мой французский на всю оставшуюся жизнь. И к тому же привил страх перед любыми другими иностранными языками.

Не думаю, что он много читал. Его любопытство не простиралось слишком далеко. Привычку к чтению я приобрел дома, и мне не припомнится случая, чтобы Морли привлек мое внимание к какой-нибудь книге, кроме как к дешевому учебнику, нужному по программе. Порой он вычитывал что-то интересное из утренней газеты, и тогда мы слушали рассуждения о северо-западной границе с экскурсами в сторону висевшей на стене выцветшей карты Азии, или же следили за маршрутами Стэнли, искавшего Ливингстона{41} в Тропической Африке. Морли был немножечко радикалом и сочувствовал республиканцам; он возмущался огромными парламентскими грантами для членов королевской семьи по случаю их бракосочетания и непомерным финансированием армии и флота. Ему верилось, что мистер Гладстон и в самом деле стоит за «мир, экономию государственных средств и реформу». Все такого рода радикальные принципы просочились в мой восприимчивый ум из подобных obiterdicta[2].

Джеффри Уэст{42} в точной и скрупулезно выверенной моей биографии, написанной несколько лет назад, был несправедлив к этому педагогу из прошлого времени, поскольку он мерил его мерками XX или, во всяком случае, конца XIX века. С точки же зрения века XVIII, откуда Томас Морли и происходил, он вовсе не заслуживал такого презрения. Уэст говорит, что Морли занимался с несколькими прилежными учениками, а остальных бросал на произвол судьбы. Но так обстояло дело во всех школах, а уж в маленьких школах со смешанным составом учащихся и единственным плохо подготовленным педагогом это становилось и вовсе неизбежным. Да и в наши дни учитель всегда поощряет именно тех учащихся, у которых есть тяга к знаниям. И подобный фаворитизм продлится до скончания веков. Пожилой дородный джентльмен (Ч. К. Н., Л. К. Н.), шествующий с непередаваемой важностью, заложив руки за спину, за вереницей маленьких недоучек и ведущий их к счастливому будущему, а то и просто в церковь или к крикетному полю, являет собой вовсе не такое уж мрачное зрелище, как то представляется Уэсту — Бромлейская академия в этом смысле не была подобна Дотбойс-холлу{43}.

Впрочем, Джеффри Уэст в своей книге привлек мое внимание к некоторым чертам сходства между школой мистера Морли и

существовавшей за треть века до этого школой, описанной Чарльзом Диккенсом; иначе я упустил бы это из виду. Между нами и мальчиками из государственной школы шли непрерывные стычки, переraставшие в рукопашную и чуть ли не в членовредительство, когда мы сходились на Мартин-Хилл, который в те времена был еще пустошью, а не приятным местом отдыха. Нас почему-то называли «Морлиевы бульдоги», а мы их, младших школьников, «Бромлейские водяные крысы» и «грубияны». Это было совсем как у Диккенса, где боролись друг с другом «Бейкеровы бульдоги» и «Тройтаунские крысы». Очевидно, вражда между традиционными частными школами и школами нового образца шла с давних времен, была делом обычным и подчинялась каким-то общим законам.

Джеффри Уэст убежден, что подобный антагонизм коренился в снобизме, но слово это не слишком точно определяет некое социальное и идеологическое различие. Уэсту кажется, что государственные школы были школами «демократическими», подобно общедоступным школам в Америке, но это не так. По своему духу, тенденциям и устройству они являлись учебными заведениями, специально предназначенными для «низших» классов, и послать ребенка в такую школу значило заранее признать, как хорошо понимала моя мать, его социальную неполноценность. Закон об обучении 1871 года не предполагал равных образовательных возможностей; он был направлен на то, чтобы подготовить низшие классы к определенным видам деятельности; вести подобные школы должны были специальные учителя, не имевшие университетских дипломов. Однако если Томас Морли не мог похвастаться университетской мантией и шапочкой, то он, во всяком случае, имел, согласно королевскому указу, право носить нечто похожее, не отличимое для неискушенного взгляда от настоящих мантии и шапочки; он как-никак был Л. К. Н. Если и не по сути своей, то по внешности он обладал всеми признаками человека ученого. Чем старше становилась наша школа, тем полнее проникалась она, при всех своих недостатках, духом достоинства и ощущением, пусть и достаточно претенциозным, будто все в ней «выше среднего уровня», и худосочным и вульгаризированным noblesse oblige![3] Что-то нам не положено было делать, и чего-то от нас ждали в силу нашей принадлежности к определенному классу общества.

Чаще всего «Морлиевы бульдоги» вступали в потасовку в меньшинстве и в основном брали верх. Думаю, обостренное классовое чувство, которое я тогда приобрел, пошло мне на пользу.

Я никогда не верил в превосходство низших. Моей любви к

пролетариату не хватает энтузиазма, и, думаю, это чувство восходит к нашим дракам на Мартин-Хилл. Я почти не скрывал инстинктивного неприятия материнского почитания королевской семьи и всех вышестоящих, а все потому, что изначально во мне была заложена немалая нетерпимость: пылкая моя душа требовала равенства, но равенства социального статуса и возможностей, а не одинакового уважения ко всем или одинаковой платы; у меня не было ни малейшего желания отказаться от представления о своем физическом превосходстве и сравняться с людьми, добровольно принявшими свое униженное положение. Я считал, что быть первым в классе лучше, чем быть последним, и что мальчик, выдержавший экзамен, лучше тех, кто провалился. Я не намерен пускаться в спор о том, насколько приемлем или похвален такой взгляд, но долг биографа повелевает мне рассказать о действительном положении дел. В том, что касалось широких народных масс, я целиком разделял взгляды матери; я принадлежал к среднему классу, или к «мелкой буржуазии», если использовать марксистскую терминологию.

И совершенно так же, как моей матери было положено верить в ад и в то же время надеяться, что никто туда не попадет, я верил в существование низших классов и отвергал тех, кто к ним принадлежал. Я не думал, что низшие заслуживают какого-либо уважения. Они могли вызывать сочувствие за свою нелегкую долю или презрение за неспособность преуспеть в жизни. Но это уже другое дело. Выношенная мною мысль, развитие которой я намерен проследить в этой книге, шла бок о бок с идеями коммунистов об основанном на научных началах бесклассовом обществе, но для меня подобное общество представляло собой, по существу, модификацию среднего класса, вобравшего в себя стоящих над ним аристократов и плутократов и находящихся ниже него крестьян, пролетариев и вообще неимущих.

Троцкий оставил запись о том, что Ленин после единственного разговора со мной назвал меня «неисправимым мещанином». Это было трезвое замечание. Ленин с Троцким принадлежали к состоятельным слоям общества; и тот и другой вступили в жизнь в условиях, не сравнимых с моими, но их мысль была обесцвечена марксистским догматизмом и сентиментальностью, что и помешало им вспомнить, с чего они начали. Мой разговор с Лениным свелся в конечном счете к вопросу о «ликвидации» крестьянина и городского труженика при помощи развитой агрокультуры и техники. Ленин так же поддерживал эту идею; мы говорили об одном и том же, но при этом словно бы о чем-то совершенно различном, поскольку мысли наши были настроены у каждого на свой лад.

2. Мир в восприятии подростка (1878–1879 гг.)

(4 августа 1933 года.) Последние день-другой я пытался припомнить, каким мне явился мир в 1878-м, когда я поступил в школу, и в 1879-м, когда я учился в ней, и восстановить для себя тогдашнее мое умственное состояние. Задача эта была почти непосильной. Оказалось непросто отделить увиденное и прочитанное до тринадцати лет от позднейших своих впечатлений. Приобретенное мною после того, как мне стукнуло тринадцать, наложилось на старое, и все это вместе взятое составило мой умственный багаж. Подобная перестройка сознания шла изо дня в день, и выстроить все это в должном порядке и передать во всех подробностях представляется практически невозможным. Но даже при том, как трудно сосредоточиться и все вспомнить, нельзя просто миновать годы, на которых закончилось мое детство. С формальной точки зрения мое образование прервалось именно в это время, и понадобились два с лишним года, прежде чем я снова смог приступить к учению, причем я тогда уже был в том возрасте, когда для большей части англичан умственное развитие приходит к концу, да и не только для англичан — для всех на свете. Это бесчисленное множество людей, остановившихся на подростковом уровне, играет сегодня определяющую роль в большинстве тревожных политических и социальных событий.

Мир, в котором складывались мои представления о Вселенной, не знал теперешних дурацких идей о связи времени и пространства или чего-либо в этом роде. Для нас существовали три измерения, верх и низ, вчера, сегодня, завтра, и примерно до 1884 года я слыхом не слыхивал о каком-то четвертом измерении. Я тогда полагал, что это просто выдумка. Пространство, доброе ньютоновское пространство извечно имело три измерения. Я чувствовал, что за звездами скрывается безрадостная пустота, но не слишком об этом задумывался. Господь Бог, который к тому времени потерял для меня всякое значение, был с начала времен рассеян где-то в бесконечном пространстве. Он перестал быть для меня отныне чем-то похожим на громовержца, распорядителя рая и ада, каким являлся мне в ранние годы. Он стал существом безличностным. Мой разум воспринимал теперь мир без чужого вмешательства, он незаметно выхолостил реальность таких понятий и догм, как Троица и Искупление. Я ощущал, что тут кроется какая-то ошибка, но еще не выработал собственной философии в противовес всем этим странным верованиям. Я просто перестал об этом думать. Если б меня воспитали в католической вере, которая наделяет каждого из нас личным

святым и местной Девой Марией, такой молчаливый отход от старых представлений был бы невозможен. Пришлось бы решительно выбирать «да» или «нет», и я мог бы раньше назвать себя атеистом.

Порой я обнаруживал, что молюсь — всегда некоему Богу вообще. Он оставался для меня Богом, рассеянным в пространстве и времени, но все же мог откликнуться или волшебным образом изменить порядок вещей. Я молился на соревнованиях или на экзаменах или когда просто чего-нибудь боялся. Я нуждался в поддержке. На первом моем экзамене по бухгалтерии я не сумел составить баланс. И принялся горячо молиться. Прозвенел звонок, экзаменатор следил за моими отчаянными усилиями. Я опустил руки. «Ну ладно, Господи, — подумал я, — больше ты меня на эту удочку не поймаешь!» Мне тогда еще не было двенадцати лет.

В этой Вселенной с ее неопределенным, рассеянным в пространстве Господом двигалась по своей орбите Земля, следуя между звезд, чьи пути было трудно понять и еще труднее запомнить. Я не раз читал, что Земля занимает в пространстве не больше места, чем кончик иголки, что если Солнце такое громадное, как купол собора Святого Павла, то Земля не больше клубничного семечка, высаженного где-то на окраине, и мне постоянно попадались подобные убедительные примеры, но стоило отвлечься от этих непреложных фактов, и семечко росло, в то время как я рос еще быстрее. Купол собора Святого Павла занял во Вселенной подобающее ему место… как и Млечный Путь. Этого требовал мой разум. И еще он требовал, чтоб Господь был досягаем. А иначе какой в нем прок?

Земля, даже если буквально следовать космологическим теориям, все разрасталась, подобно мыльному пузырю, пока не заполнила всю картину. В былые дни, кроме нее, ничего не существовало. На Северном и Южном полюсах и на экваторе, проходившем через Тропическую Африку, таились всякие чудеса. «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима» Эдгара По{44} показывает, как мог человек даже такого незаурядного ума представлять себе век назад район Южного полюса. Старушка-Земля обладала тогда твердой коркой, жидким ядром и, что само собой разумеется, страдала от хронического несварения желудка — землетрясений, выбросов лавы и пепла. С тех пор она значительно затвердела.

Более того, у нее уже была своя история, которая в те дни быстро открывалась человеческому взору. Для меня было совершенным откровением, когда я увидел это прошлое в садах Хрустального дворца в Сиденхеме воплощенным в больших пластиковых изображениях мегатериев, всевозможных динозавров

и подобных лягушкам лабиринтодонтов (поначалу считалось, что лабиринтодонты были похожи на лягушек). Почему-то всякий день, когда меня водили в Хрустальный дворец, у меня начинала болеть печенка, но тем не менее впечатление все это производило самое сильное. Моя мать объяснила мне, что передо мной животные времен Великого потопа. Я догадался, что их не взяли в ковчег по причине слишком больших размеров, но все равно было нехорошо, что ихтиозаврам дали тогда утонуть.

Немного позже я проштудировал книгу Гумбольдта{45} «Космос» и узнал кое-что о геологических эпохах. Но поскольку я принял гипотезу о том, что дни творения на самом деле означают геологические эпохи, ничто не изменилось в моем восприятии прошлого нашей планеты. Мои представления просто расширились. Творение, как бы далеко оно ни отступило от нас, оставалось по-прежнему точкой отсчета, занявшей каких-то шесть дней, началом времени, до которого просто ничего не было, а пиротехнический день Страшного суда, после которого время кончится, закрывал перспективу с другой стороны. Полная пустота и во времени, и в пространстве окружала мою вселенную с обеих сторон. «Когда-нибудь мы все это узнаем», — отвечала мать на мои вопросы о том, что ожидает нас впереди, а пока мне приходилось довольствоваться этим объяснением.

Но что бы я в том возрасте ни подвергал сомнению, в бессмертии своем я не сомневался. Вселенной словно и не было до того, как я ее осознал, и она не существовала вне моего сознания. Думаю, именно такие чувства испытывает всякое юное существо. У молодых животных вера в собственное бессмертие не оформлена в словах, но, наверно, она есть и у них. Страх смерти — это не страх собственного исчезновения, а страх чего-то неизвестного и неприемлемого. Я думал, что жизнь моя будет длиться и длиться. Я очень хорошо сдал экзамены Колледжу наставников, почему бы мне не выдержать и испытание Страшного суда? Но мир в те дни был наполнен для меня таким бесчисленным количеством интересных вещей, что мне просто некогда было задаваться этими основополагающими и вечными вопросами.

Все вокруг должны были гордиться мной, потому что я англичанин. Незадолго до того изданная книга Дж.-Р. Грина{46} «Краткая история английского народа» (1874) пришла ко мне во всем своем обаянии, не помню уж точно, то ли прямым путем, то ли через чье-то посредничество, и я с восторгом воспринял мысль, что я белокурый, голубоглазый представитель нордической расы и тем самым — лучший образец человеческой породы. Англия в те времена ощущала себя страной тевтонской, на что сильно

повлияли Томас Карлейль[47] и тогдашний королевский дом; мы говорили о «кельтском окружении», но умалчивали о кельтском влиянии, а поражение Франции в войне 1870–1871 годов было воспринято как окончательный крах декадентских латинских народов. Это неплохо смешивалось с антикатолицизмом, шедшим от протестантской традиции XVIII века[48], но остававшимся живым и враждебным по отношению к католической вере, когда та уже заметно утратила свое влияние. Мы, англичане, в силу врожденного своего превосходства, практически без особого труда овладели империей, над которой никогда не заходило солнце, и по причине нерешительности и робости других народов были вынуждены медленно, но верно двинуться по пути к мировому господству.

Все это выстроилось в моей голове за то время, что я таскал свой зеленый ранец из нашей разоренной лавки в школу мистера Морли и обратно, и если б кто-нибудь тогда ненароком усомнился в моем превосходстве над каким-нибудь русским князем или индийским раджей в зените славы, я бы засмеялся ему в лицо или же подивился такому невежеству.

Меня не учили общей истории, а только истории Англии, страны, которая после нескольких веков, когда ею правили преступные короли, после гражданских конфронтаций и войн с Францией, поднялась к Реформации и расцвела в качестве имперской державы; я почти не знал географии — лишь географию Великобритании. Только из случайно попавших в руки книг я узнал, что за пределами Англии существует немало интересного. Но я рассматривал изображения Тадж-Махала, Колизея и пирамид с тем же чувством, с каким слушал рассказы о разумности животного мира (о бобрах, пчелах, птичьих гнездах, брачных обычаях лососей и тому подобном). Все это не могло поколебать моего глубокого довольства собой, своим городом, своей страной, своим народом, своей империей и собственным своим кругозором.

В ту пору у меня были те же идеи об арийском превосходстве, что у Гитлера. Чем больше я узнаю о нем, тем больше уверяюсь, что его идеология в точности походит на мою, когда мне в 1879 году было тринадцать лет; разница только в том, что у него в руках мегафон. Не помню, из каких книг я впервые вычитал, что существовала Великая арийская раса, мигрировавшая по европейским равнинам, двигавшаяся то на юг, то на север, то на восток, то на запад, менявшая в ходе этих передвижений, согласно закону Гримма[49], систему гласных и вытеснявшая человеческие существа низшей расы. Но эти живописные сведения были всего лишь фоном для скучных фактов древней

истории. Окончательное торжество идей об арийском превосходстве должно было оттеснить на задний план историю евреев, а я и без того испытывал к этому народу инстинктивную неприязнь за то, что он занимал слишком уж большое место в Библии. Я дурно относился к Аврааму, Исааку, Моисею, Давиду вкупе с самим Отцом Небесным, но, в отличие от Гитлера, не испытывал враждебных чувств к евреям-современникам. Многие среди пансионеров мистера Морли были евреями, но меня это совершенно не волновало. Мой самый близкий друг, Сидней Боукет, был, сам того не зная, евреем, но вопрос о национальности между нами даже не возникал.

Я был подвержен всяким фантазиям — я жил в мечтах лет до пятнадцати-шестнадцати, пока мое воображение не приобрело более конкретных форм и я не начал становиться попеременно то великим военным диктатором наподобие Оливера Кромвеля, то великим республиканцем вроде Джорджа Вашингтона или Наполеона, его доимператорского периода. Отправляясь на одинокие прогулки, я участвовал в настоящих сражениях. Я шел по Бромли, маленький, хилый и плохо одетый мальчишка, посвистывая с безразличным видом сквозь зубы, и никто бы не заподозрил, что вокруг меня гарцевал мой штаб и ординарцы пускались вскачь, неся мой приказ передвинуть пушки и сконцентрировать огонь на расположенных внизу строениях, а потом взять штурмом дальнюю высоту. Жители Бромли выходили на Мартин-Хилл подышать свежим воздухом и кинуть взгляд на Шортленд через поля, по которым тогда извивалась теперь уже высохшая и исчезнувшая Рейвенсборн, и им даже в голову прийти не могло, какие кровопролития я устраивал в этих местах. Мартин-Хилл, кстати говоря, и впрямь был некогда полем сражения. Десятки раз вражеские передовые отряды поднимались на эти высоты, и за ними волнами шли в атаку победоносные пехотинцы, тогда как я, с силами в пять раз меньшими, расставлял свои пушки, мудро остерегаясь пустить их в ход слишком рано, даже при том, что враг угрожал моему центру, но зато внезапно ударял по флангам и сбрасывал их с крутых склонов в сторону Бекинхема. «Бах!» — разрывался первый снаряд, а затем еще «бах», «бах». Я скашивал их тысячами. Они нерешительно пытались забраться наверх. Но тут я поднимал людей в сокрушительную контратаку и во главе своей кавалерии гнал разбитого противника к Кройдону, всю ночь истреблял врагов и на рассвете пленял их жалкие остатки у Кестонских рыбных прудов.

И я въезжал в захваченный или отбитый у врагов город во главе своих войск, а мои школьные товарищи и двоюродные

братья с удивлением смотрели на меня из окон, не веря своим глазам. И короли, и президенты, и великие мира сего шли приветствовать мудрого освободителя. Победа не заставляла меня возгордиться. Я принимал мудрые и твердые решения, исправляя местные нравы и обычаи, в особенности заботила меня деятельность оптовых магазинов, которые разорили моего отца. С людьми, закоренелыми в своих предрассудках и взглядах, со всеми этими монархистами, католиками, неарийцами я обходился сурово, как они того заслуживали. Это было нелегко, но в этом состоял мой долг.

По сути дела, Адольф Гитлер всего-навсего воплотил мои мечтания того времени, когда мне было тринадцать лет. Целое поколение немцев так и не повзрослело.

В те дни моя голова была до отказа набита подобной чепухой. Но интересно отметить, что, размышляя о международных конфликтах, союзах, военных кораблях и пушках, я в то же время ничего не знал о финансовых отношениях и экономике. Вот о чем я не думал, так это о строительстве плотин, прорытии судоходных каналов, орошении пустынь или воздухоплавании. Склонности к этому я не имел. Я ничего не знал о том, как строят дома, как их потом оборудуют, и, само собой, не задавался подобными вопросами. Думается, это все потому, что ничто не увлекло мой ум в подобную сторону. Да и литературы обо всем этом не было. Я не считаю, что у одаренного богатым воображением подростка существует природная тяга к кровопролитию, но сражения и победы были самым живым и вдохновляющим, что я извлек из истории. В Советской России мне рассказывали, что свою историю они сумели выправить.

В своей взрослой жизни я много лет не мог отделаться от этих потускневших воинственных фантазий. Вплоть до 1914 года у меня сохранялся живой интерес к военным играм с игрушечными солдатиками и пушками, и я получал от них такое же удовольствие, как и от своих детских выдумок. Я вел весьма занимательные образцовые военные действия, основные правила которых изложил в маленькой книжечке «для мальчиков и девочек всех возрастов» «Маленькие войны»[{50}]. Я встречал людей, которые были в этом со мной схожи, к примеру Л.-С. Эмери[{51}], Уинстон Черчилль[{52}], Джордж Тревельян[{53}], Ч.-Ф.-Г. Мастерман[{54}], чье воображение следовало тем же путем; они не сумели перестроиться и так и остались политическими подростками. По-моему, я перерос это состояние между 1916 и 1920 годами и научился думать о войне, как положено сознающему свою ответственность взрослому человеку.

Я не могу припомнить каких-либо сексуальных или глубоко

личных элементов в своих ранних грезах. Пока я не повзрослел, сексуальные мечтания являлись мне только в пограничной зоне между сном и бодрствованием. Я с восторгом предавался мечтам о войне, но стеснялся секса; я противился всякому любовному желанию и чувственности.

Мои сексуальные склонности были, я думаю, менее явны и более сдержанны, когда мне было двенадцать или тринадцать лет, чем когда мне было девять или десять. Раннее мое любопытство было удовлетворено, а физическая потребность еще по-настоящему не проснулась.

В моем умственном развитии, в той его фазе, когда я походил на Гитлера, мои два брата не играли особой роли. Один был на девять лет старше и уже поступил в ученики к суконщику, другой был старше меня на четыре года, и его ждала та же участь. Мы не были близки. Мой старший брат Фрэнк был из тех озорных ребят, в чьем характере бойкость сочетается с колючим юмором. По словам матери, он мог «задразнить до смерти». Он живо интересовался механикой и пиротехникой и любил удивлять окружающих. Он возился с часами и паровыми машинами, пока они не ломались, и порохом, пока тот не взрывался. Он ухитрился так соединить все провода от звонков в гостинице дяди Тома, что, когда кто-нибудь звонил, звон раздавался по всему дому. Но Фрэнк не добился этим признания, напротив. Он шатался по железнодорожной станции, восхищенно разглядывал паровозы и мечтал, чтоб хоть что-нибудь да случилось. Однажды в Виндзоре он забрался на маневренный паровоз, стоявший на запасных путях, нажал на какой-то рычаг и не без труда вернул его в прежнее положение. К тому времени машина успела пробежать добрых полмили, и Фрэнк немедленно стал персоной нон грата на Юго-Западной железнодорожной станции и в ее окрестностях. Кинувшийся вслед за ним машинист думал в первую очередь о своей машине, так что мой брат вышел сухим из воды и, главное, остался в живых.

Склонность баловаться всевозможными рычагами сделала Фрэнка заводилой среди его сверстников. За ним ходила целая ватага и смотрела, что он еще выкинет. А он что ни час попадал в беду. Но и беда была ему нипочем, пока не касалась меня, а я в его эскападах не участвовал. Фредди был мальчик более благонравный, но он ходил в другую частную школу, тогда как я проводил время у Морли. Потом я, как говорится, дорос до своих братьев, и мы много говорили по душам. С Фрэнком, старшим, когда я стал подростком, мы сделались добрыми друзьями и по праздникам совершали долгие прогулки. Но в ту пору, о которой я пишу, время для этого еще не настало.

Наша семья не из тех, где за столом принято философствовать. Ортодоксальность моей матери была верным средством избегать умных разговоров. Так что я рос и развивался, словно был единственным ребенком.

Отношения с братьями в детские годы складывались у меня из обид, затаенной злости и шумных проявлений агрессивности. Я поднимал невероятный крик, если трогали мои игрушки или вмешивались в мои игры, и выказывал огромную настойчивость в попытках отнять их гораздо более привлекательное имущество. Я кусал и царапал братьев, брыкался, поскольку был крепким мальчишкой и должен был за себя постоять, им же приходилось обращаться со мной куда деликатнее, так как я был все-таки слабее и младше, мог пораниться и уж во всяком случае поднять рев. Как-то раз я, сидя за столом, не знаю уж по какому поводу, запустил вилкой во Фрэнка, и, помнится, чуть ли не год на лбу у него оставались три царапины, и хорошо еще, что этим все ограничилось, и так же отчетливо я помню, какая поднялась паника, когда я разбил окно за спиной моего брата Фредди, бросив в него деревянной лошадкой, и как в комнату ворвался холодный ветер. Под конец братья нашли хороший способ меня утихомиривать и наказывать. Они стали загонять меня на чердак и душить подушками. Мне не удавалось поднять крик и приходилось уступать. Я до сих пор помню, как меня душили. Не пойму, почему я вообще остался цел. Ведь проверить, как я там себя чувствую под подушкой, они не могли.

Большее значение для моего интеллектуального развития имело общение с некоторыми школьными товарищами, моими сверстниками. Мне нужно было с кем-то дружить, не все же только читать и мечтать. Я оставался в школе после уроков и ходил на прогулки или на крикетное поле с пансионерами в свободные дни. С крикетом не очень получалось, потому что у меня был позднее обнаружен астигматизм, но я все равно считался ценным игроком, поскольку имел свободный доступ к спицам крикетных ворот, битам и подержанным мячам. У меня завязалось любопытное приятельство с сыном лондонского трактирщика Сиднеем Боукетом. Началось у нас с драки, когда нам было по восемь лет; мы колотили друг друга чуть ли не час, после чего прониклись таким взаимным уважением, что решили впредь не расставаться. И стали большими друзьями. Мы разработали тактику совместного нападения на рослых мальчиков, что сделало нас школьными главарями задолго до нашего перехода в старший класс.

Мы много разговаривали в школе и после уроков, но о чем именно — совершенно не помню. Возможно, мы хвастались друг

перед другом нашими будущими жизненными успехами. Мальчики мы были самоуверенные, поскольку среди сверстников выделялись развитием, что рождало в нас неоправданное убеждение, что способности у нас выдающиеся. Боукет был красивее, привлекательнее, быстрее умом, агрессивнее и авантюрнее; память у него была лучше, чем у меня, он быстрее считал, был аккуратнее, но уступал мне во всем, что касалось рисования, арифметики и количества проглоченных книг, что зовется общим кругозором. Порою мы изображали из себя исследователей или играли в великих вождей, причем исторические факты поставлял главным образом я. Иногда же мы вместе сочиняли историю Пусси, своего рода Кота в Сапогах, Пусси, придуманного мною вместе с моим братом Фредом, или что-нибудь про Алли Слопера{55}, великого кокни (модного тогда комического героя), или Берта Уэллса, или Малолетки Бокера. Они посещали Центральную Африку, совершали путешествия на Северный полюс, плыли вместе с морскими течениями и поднимались на Гималаи, летали на воздушном шаре и опускались на дно в водолазных костюмах; правда, об аэропланах тогда еще не помышляли. Во многих из этих выдумок отразилась наша восприимчивость к окружающему.

Боукет быстрее все схватывал, у него было более живое воображение, но как выдумщик он мне уступал. У него был хороший глаз, и он то и дело говорил: «Глянь-ка», а подобным людям я многим обязан. Позднее моя подруга Ребекка Уэст{56} тоже умела обращать мое внимание на разные вещи и даже чаще говорила мне: «Глянь-ка!» Я не встречал никого с такой же яркой впечатлительностью. Я, конечно, замечаю все окружающее, но без подсказки воспринимаю все не так глубоко. Нас с Боукетом могли бесконечно занимать то какая-нибудь крыса или необычная бабочка, то пчела или дерево, на которое нетрудно забраться, а сам по себе я бы лишь кинул на все это взгляд и двинулся дальше. Мы лазали, нарушая запреты, по чужим садам только для того, чтобы «увидеть и запомнить».

Я не помню, чтоб мы с Боукетом много говорили о сексе, да и то, что мы говорили, было романтизированно и не касалось существа дела. Мы были мальчиками приличными и стеснительными. Конечно, мы знали все неподобающие слова и, если нас тронуть или для форсу, могли начать безобразно ругаться, так что в невежестве нас обвинить было трудно. Но эта сторона жизни не слишком нас занимала. Я думаю, что грубая сексуальность проникает в сознание подростков моего возраста только там, где они находятся в постоянном контакте с юношами шестнадцати-семнадцати лет, снедаемыми сексуальным

желанием, как это бывает, например, в английских привилегированных школах. Сконцентрированность на грубом сексе подросткам неприятна. Они инстинктивно сторонятся подробностей интимной жизни. Во всяком случае, мы их сторонились, хотя я не знаю, были мы в этом отношении типичны или представляли собой исключение. Я не сомневаюсь, что у Боукета были моменты вожделения в предутренние часы, но не стану домысливать — секс не занимал заметного места в наших повседневных беседах.

Однажды мы даже организовали тайное общество. К сожалению, мы так и не придумали, какая у нас тайна. Но зато мы разработали замечательный церемониал вступления. Среди прочего кандидату положено было в течение тридцати секунд продержать указательный палец над газовой горелкой. Только двое и смогли вынести это испытание — Берт Уэллс и Малолетка Бокер. Я до сих пор помню запах горелого мяса и боль в поврежденном пальце. У нас был тайный язык из исковерканных слов. Мы предупредили одного заядлого школьного наркомана, что, если он не оставит своей привычки, ему грозит возмездие нашей организации, и мы начертали мелом в уборной слово «берегись»; все это — в интересах укрепления общественной нравственности. С каким восторгом мы приняли бы свастику, если бы слышали о ней!

Ну хватит о гитлеровском периоде моей жизни, когда я был существом сентиментальным, моралистом, патриотом, расистом, великим полководцем в часы мечтаний, членом тайного общества, героем на все времена, ребенком с бешеным характером, кидающимся вилками и лягающим своих домашних. А теперь я постараюсь рассказать о том, как этому бледному заморышу-нацисту удалось избежать грозившей ему печальной судьбы человека, до конца дней своих влачащего лямку постылой и нудной работы, и распахнуть для себя новые горизонты, что и позволило ему написать эту книгу.

3. Миссис Уэллс — домоправительница в Ап-парке (1880–1893 гг.)

Я уже рассказал о том, что счастливейшим событием моего детства был перелом ноги в возрасте семи лет. Другим почти столь же важным событием стало то, что в 1877 году отец тоже сломал ногу. Разорение нашей семьи сделалось неизбежным. Однажды воскресным утром в октябре он решил обрезать виноград и с должным прилежанием добрался до самых верхних усов, для чего поставил лестницу на скамейку и свалился с нее.

Когда мы вернулись из церкви, мы нашли его на земле, и мистер Купер с мистером Манди, соседи, помогли отнести его наверх. У него был сложный перелом берцовой кости.

К исходу года стало ясно, что хромота не пройдет. А это означало, что отныне покончено и с серьезным крикетом, и с подачей мяча для джентльменов, и с тренерской работой в школе, и вообще со всем подобным. В результате исчезли все дополнительные заработки и к тому же понадобились деньги на лечение. Постоянное безденежье Атлас-хауса еще более обострилось.

Материальные обстоятельства стали хуже некуда. Мы жили в скудости, и нам, чем дальше, тем больше не хватало еды. Хлеб с сыром на ужин, хлеб с маслом и полселедки на завтрак и тенденция заменять обеденный кусок мяса дешевой картошкой под соусом или картошкой, слегка приправленной тушенкой, возобладали в наших трапезах. Счет мистера Морли оставался неоплаченным в течение года. Фрэнк, который зарабатывал 26 фунтов в год и жил у хозяина, приехал домой на праздники и дал матери полсоверена мне на ботинки, и она над этими деньгами плакала. Я быстро рос и худел.

И неожиданно небеса нам улыбнулись: свет засиял для миссис Сары Уэллс. После смерти леди Фетерстоноу прошло несколько лет, и хозяйкой Ап-парка, не то завещанного ей, не то отданного в пожизненное владение, стала мисс Буллок, у которой когда-то моя мать служила горничной. Теперь мисс Буллок звалась Фетерстоноу, но достаточных средств, чтобы поддерживать порядок в поместье, у нее не было. Возникли проблемы со слугами и расходами по дому, и мысль мисс Фетерстоноу с любовью обратилась к верной горничной, с которой она поддерживала переписку и обменивалась добрыми пожеланиями и маленькими подарками. Моя мать нанесла визит в Ап-парк. Они откровенно поговорили. Появилась возможность опять пойти в услужение. Но правильно ли оставить Джо одного в Атлас-хаусе? И что будет с мальчиками? Фрэнк выучился на суконщика, и ему надо было подыскивать место. Учение Фреда у другого суконщика подходило к концу. Он тоже находился на перепутье. Я же, отучившись свои пять лет у мистера Морли, не имел ничего, кроме удостоверения бухгалтера и надежд на будущее. Птенцы покидали гнездо, а отец какое-то время мог позаботиться о себе сам. В 1880 году моя мать стала домоправительницей в Ап-парке.

В ином случае я наверняка повторил бы судьбу Фрэнка и Фредди, остался жить дома под присмотром матери и каждое утро ходил бы в какую-нибудь мануфактурную лавку, куда меня

определили бы учеником. Это казалось таким естественным и неизбежным, что я не стал бы сопротивляться. Я отслужил бы сколько положено и не подумал бы об уходе, пока не стало бы слишком поздно. Но разброд в семье открыл дорогу к свободе. Я осознал, в отличие от своих братьев, как важно с самого начала избрать правильный путь.

Но прежде чем рассказать о том, как я несколько раз заново вступал в жизнь, я должен вкратце остановиться на том, как управлялась со своей службой моя мать. Она была безупречно честна, но при этом худшую домоправительницу трудно себе представить. Опыта в этом она не имела ни малейшего. Не знала, как распределить работу, проследить за слугами, закупить продукты и навести экономию. Не умела угадывать желаний хозяев. Ей требовалась моя помощь, чтобы вести счета. И все это выплыло на свет божий. Мало-помалу это становилось ясно и мисс Фетерстоноу; ее управляющий сэр Уильям Кинг, который регулярно наезжал из Портсмута, понял это достаточно быстро, а уж главная горничная, старая Анна, особа совершенно безграмотная, но очень опытная, уловила это с первого взгляда и все чаще сама всем распоряжалась. Слуги на кухне, в прачечной, кладовой поняли, с разной степенью злорадства, что весь беспорядок идет от домоправительницы. Думаю, под конец это стала понимать даже она сама. Но, разумеется, не сразу. Приступала к работе она, конечно, не без страха, но твердо веря, что молитвой и усердием можно все преодолеть. Во всяком случае, она знала, как должна выглядеть домоправительница, и приобрела кружевной чепчик, кружевной фартук, черное шелковое платье и вообще все, что надо, и еще она знала, как подъехать в коляске к лавочникам в Питерсфилде и, закончив расчеты, выпить рюмку шерри. Каждое воскресенье она направлялась в церковь, и вся прислуга тянулась туда следом за ней через Уоррен и Хартинг-Хилл; раз в месяц она причащалась. Скорбный и затравленный атлас-хаусский взгляд ее приобрел другое выражение, она пополнела, порозовела, стала держаться со спокойным достоинством. Она устроила нас всех поблизости от Ап-парка, и по праздникам и свободным дням мы наводняли дом. Мой отец тоже побывал там раз или два и наконец в 1887 году перебрался в коттедж в Найвудсе, недалеко от Рогейтской станции, примерно в четырех милях от Ап-парка, и жил там на пособие, которое выплачивала ему моя мать. Так окончилось его рабство в Атлас-хаусе и наконец-то он достиг желаемого.

Моя мать продержалась на своем месте до 1893 года, и, по-моему, этот немалый срок объясняется единственно долготерпением мисс Фетерстоноу. Помимо прочего, моя мать

оглохла. Она глохла и глохла, но не желала признавать свою глухоту, а пыталась понять, что ей сказано, и громко кричала в ответ. Она уже не очень хорошо соображала. Религия больше не была ей утешением, и все, что положено, она делала лишь по привычке. Мисс Фетерстоноу была еще старше нее, и, очевидно, общение с моей матерью ее основательно утомляло. Теперь это были две старые глухие женщины, мешавшие друг другу. Взаимное раздражение уничтожило былую привязанность, она улетучилась, не оставив и следа.

Несколько раз сэр Уильям «очень неприятно себя вел» с моей матерью. От нее требовали бережливости, а она считала, что прижимистость господам не подобает. Она больше не чувствовала душевного подъема при мысли, что состоит в должности домоправительницы. Да еще начала неосмотрительно сплетничать о воображаемых прегрешениях мисс Фетерстоноу и ее сестры в молодости, что дошло до ушей хозяйки. Думаю, это и послужило последней каплей. Произошел крах, и в январе 1893 года она среди «прочих очень неприятных слов» получила предупреждение об увольнении. Падшая домоправительница со всеми пожитками была доставлена 16 февраля 1893 года на питерсфилдскую железнодорожную станцию, и гостеприимный Ап-парк оказался навсегда закрыт для нее и для всей ее бедствующей семьи.

Я представляю себе бедняжку на платформе в Питерсфилде, выбитую из седла, крошечную, одетую в черное, в большой черной шляпе, фигурку, чье сходство с королевой Викторией сейчас выглядело особенно комично. Мне легко вообразить, как она, полная обиды, со слезами на своих голубых глазах едет по питерсфилдской дороге, оглядываясь на Хартинг-Хилл, неспособная до конца понять, как и почему так случилось и что имел в виду Господь, устраивая это «несомненно к лучшему».

Почему мисс Фетерстоноу оказалась к ней так жестока?

К счастью, за те тринадцать лет, что моя мать правила в Ап-парке, я, воспользовавшись этим коротким перерывом в чреде ее бед, сумел сделать немало. Мне теперь было двадцать шесть лет, я был женат, у меня появился дом и возможность обеспечить ее и не дать семейному суденышку окончательно затонуть. Я стал бакалавром наук в Лондонском университете, преуспел в качестве университетского репетитора и опубликовал учебник биологии, как ее тогда понимали профессора, а если по-честному, то набор шпаргалок. Я начал печататься в газетах. У меня появилась внушительная внешность — пушистые усы и намек на бачки. Как произошло подобное превращение, как расширился мой кругозор и изменились взгляды, я намерен рассказать в дальнейшем.

4. Первое вступление в жизнь. Виндзор (лето 1880 г.)

Мое первое вступление в жизнь нельзя назвать хорошо подготовленным. У моей матери был двоюродный брат Томас Пенникот, о котором мы никогда не забывали, называя его между собой «дядя Том». Думаю, что в их юности в Мидхерсте он восхищался ею, она же его опекала. Он присутствовал среди свидетелей на ее свадьбе. Это был круглолицый, полный, гладко выбритый черноволосый мужчина, невежественный, но добродушный и весьма неглупый. Он занялся традиционным для материнской родни ремеслом кабатчика и держал таверну «Королевский дуб» напротив Юго-Западной железнодорожной станции в Виндзоре, причем дела у него шли так хорошо, что он еще прикупил и перестроил приречную гостиницу Серли-Холл с таверной, которую на время летнего сезона облюбовали итонские гребцы. Это был дом с остроконечной крышей, его щипец украшали синие изразцы и латинские изречения, прославлявшие Итон{57}, причем написанные без единой ошибки. Юноши, увлекавшиеся водным спортом, поднимались вверх по течению, а потом после полудня осаждали бар и толпились на лужайке, шумно поглощая «давленых мух» и другие напитки со столь же экзотическими названиями. При гостинице состоял паром; тут же были привязаны плоскодонки и другие лодки, под деревьями располагались зеленые столы и выкрашенное белой краской небольшое оштукатуренное дощатое строение, именовавшееся музеем и содержавшее изъеденные молью чучела птиц, страусовые яйца, ожерелья из раковин и всякой всячины и тому подобное, огороженная ивами поляна для пикников постояльцев; на реке был небольшой островок. Серли-Холл давно исчез с берегов Темзы, но я думаю, что с Обезьяньим островом в полумиле от берега ничего не случилось.

У дяди Тома была похвальная привычка приглашать детей Сары к себе на каникулы. Привычка эта была не то чтобы неизменной, но так случалось почти каждый год, и нам удавалось провести три недели, а то и месяц, в здоровой и веселой обстановке, вдыхая запах опилок и лицензионного пива. Мои братья жили там во времена «Королевского дуба», на мою же долю выпало гостить в Серли-Холле в последние три года моей школьной жизни. Там я приучился к плоскодонке с шестом, начал грести на байдарке и на лодке, но течение я посчитал слишком сильным, чтобы научиться плавать, да и некому было мне показать. Плавать я начал только после тридцати.

Мой дядя давно овдовел, но у него были две взрослые дочери, лет по двадцать, Кейт и Клара; они помогали одной или двум

наемным барменшам. Приезды мои очень их развлекали. Кейт была серьезная блондинка с интеллектуальными претензиями, она многое сделала, чтобы поощрить мою любовь к рисованию и чтению. У них было иллюстрированное полное собрание сочинений Диккенса, которого я читал запоем, и переплетенные номера «Фэмили геральд»: из них я лучше всего запомнил перевод «Парижских тайн» Эжена Сю{58}, показавшихся мне тогда лучшим романом в мире. Эти молодые женщины втягивали меня в разговоры, поскольку считалось, что от меня всегда можно услышать что-то неожиданное. Они немного флиртовали со мной, используя меня как своего рода дуэнью, когда у предприимчивых постояльцев появлялась охота пошептаться с ними в сумерках на лужайке, и мисс Кинг, главная барменша, и Клара соперничали в поисках моего расположения. Что было весьма поучительно.

Однажды на лужайке появилось очаровательное видение в развевающемся муслине, подобное женщинам на боттичеллиевой Primavera{59}[4]. Это была великая актриса Эллен Терри{60} в расцвете красоты, которая приехала в Серли-Холл учить роль и повидаться с Генри Ирвингом{61}. С этого момента я уже не считал себя помолвленным с мисс Кинг; я безоглядно отдался в плен Эллен Терри, и позднее мне было позволено покатать мою богиню на лодке, показать ей, где растут белые лилии, и собрать для нее большой букет мокрых незабудок. В зарослях осоки было полно незабудок, и на излучине реки выше по течению была заводь, где под сенью деревьев росли желтые и кое-где белые лилии, над которыми роились мухи. Это место было даже лучше Кестонских рыбных прудов, которые до той поры казались мне прекраснейшим местом на свете, да к тому же в Кестоне не было лодок с веслами, байдарок и причалов, на что я мог глазеть часами. Бродя по пыльным и каменистым тропинкам милях в тридцати от Бромли, я часто воображал, что заверни я за угол и пройди еще немного, а потом еще немного, и я закричу от восторга, потому что вот она — знакомая дорога к летнему Серли-Холлу и всем радостям, что он мне сулит. Я и не подозревал тогда, как много крови попортила дяде его гостиница, в какие долги он влез, перестраивая ее в таком претенциозном стиле, что он бранится с дочками, осуждая их любовников, и что темноглазая Клара от всех этих ссор и скуки все чаще стала заглядывать в рюмку. Обо всем этом я и понятия не имел, как и о том, какой мрачной бывает здесь Темза в холодное время года.

Но летнее счастье было лишь мимолетным просветом на пути к моему первому вступлению в жизнь. Моя мать, я думаю, это уже стало понятно, была в определенном смысле очень решительной женщиной. Ее вера в суконщиков была столь же тверда, как и ее

вера в Отца Небесного и Спасителя. Не знаю, принадлежал ли к числу суконщиков человек, который в юные годы разбил ее сердце, но она была убеждена, что носить черный сюртук и черный галстук и стоять за прилавком — это наивысшее достижение для мужчины, во всяком случае для мужчины нашего круга. Она устроила моего брата Фрэнка, преодолев его слабое сопротивление, к мистеру Кроухерсту с Маркет-сквер в Бромли на пять лет, и она же устроила моего брата Фредди к мистеру Спероухоку на четыре года, велев слушаться этих джентльменов как отца родного и научиться у них всем тайнам суконного дела; что до меня, то она сделала решительную попытку направить меня по той же стезе и тем самым заключить в темницу. Ей и в голову не приходило, что мои необычные способности к рисованию и изложению своих мыслей чего-то стоят. Но поскольку бедняга отец оставался теперь в Атлас-хаусе один-одинешенек — рассказ о том, на что он употребил восемь лет одиночества, выходит за рамки нашей истории, — этот дом теперь не мог послужить тому, чтобы вырастить из меня образцового суконщика. А отослать меня в чужие края ей тоже не хотелось — она ведь знала, что за мной нужен глаз да глаз, а то я, как всякий другой беспризорный юнец, собьюсь с пути. Она нашла скоропалительный выход в том, чтобы определить меня на испытательный срок, пока я не стану учеником суконщика, к господам Роджерсу и Денайеру, чья лавка находилась в Виндзоре напротив замка. Там за мной будут присматривать обитатели Серли-Холла. У господ Роджерса и Денайера я впервые понял, как незавидна участь, которую она мне уготовила. Я не имел тогда представления о том, к чему предназначен. И принял свою судьбу, не задавая лишних вопросов, как до меня мои братья.

Я слышал, что множество мальчиков из бедных семей, оставив школу в возрасте тринадцати или четырнадцати лет и поступив на службу, очень этому радуются. Они получают жалованье, у них есть свободное время по вечерам и по воскресеньям, и питаются они получше. Они избавлены от скучных уроков и утомительных домашних заданий, но мне больше нравилось сидеть на уроках и готовить домашние задания, чем учиться на суконщика, да к тому же без всякой платы. Обучению этому, открывавшему путь к замечательной профессии, придавалось огромное значение, разумеется неоправданное, и в прошлом родители, приносившие своих детей в жертву, платили за это обучение, особенно если ученик жил у хозяина, по сорок, а то и пятьдесят фунтов. Я знал, что вступление в жизнь означает расставание с детством. На моих глазах оба мои брата были отданы в рабство, и я до сих пор

помню, как Фредди разложил на шатком кухонном столе кусочки кирпича, чтобы напоследок поиграть в свою любимую игру в камешки, перед тем как надеть хомут у мистера Сперроухока и начать там ритуальные действия, раскладывая товар, убирая его и развертывая, кланяясь через прилавок покупателям и отмеряя нужную длину, что и отняло у него сорок с лишним лет жизни. Он понимал, на что идет, мой братишка Фредди, и в свою игру он играл с подобающей торжественностью. «Любил я эту игру, — сказал Фред, которого всегда отличали кротость и терпение. — А сейчас пора ужинать, Берт… И уберем все это».

Теперь настал мой черед «убрать все это»: отложить книги, отказаться от рисования, живописи и всех радостей, которые приносило свободное время, не писать и не подражать «Панчу», оставить пустые мечты и надежды и заняться делом.

Меня высадили из тележки дяди Пенникота у бокового входа магазина Роджерса и Денайера; при мне был чемоданчик со всем моим имуществом. Место это я возненавидел с самого начала, но, будучи еще ребенком, я был не в состоянии по-настоящему воспротивиться своему заключению в тюрьму. Однако смириться с утратой свободы я был не способен и не хотел. По счастью, именно из-за этой неспособности моей тюрьма сама меня отвергла. Я поднялся по узкой лесенке в мужскую спальню, где стояли не то восемь, не то десять кроватей и четыре жалких умывальника; мне показали мрачную маленькую гостиную, в которой ученики и продавцы могли проводить вечера; окно с матовым стеклом упиралось в глухую стену; затем меня провели вниз, в подвальную столовую, освещенную двумя ничем не прикрытыми газовыми горелками; еду подавали на два больших стола, застеленных клеенками. Затем мне показали саму лавку и, главное, кассу, где в течение первого года моего ученичества мне предстояло сидеть на высоком табурете, получать деньги, давать сдачу, заносить приход в бухгалтерскую книгу и штамповать чеки. Затем меня посвятили в ритуал уборки — как вытирать пыль и мыть окна. Я должен был спускаться вниз ровно в полвосьмого и тут же приступать к мытью окон и вытиранию пыли, потом, получив в половине девятого завтрак из хлеба с маслом, достать свою бухгалтерскую книгу и впрягаться на весь день в работу. В конце дня мне полагалось навести порядок в кассе, пересчитать деньги, проверить, сходятся ли цифры, помочь свернуть куски материи, подмести пол, и в полвосьмого или в восемь я мог убираться на все четыре стороны и вкусить наконец свободу до десяти, когда все возвращались в спальню. Свет выключали в половине одиннадцатого. И так шло изо дня в день — навсегда, думалось мне, — разве что выдавались свободные

часы в конце недели, когда лавка закрывалась в пять вечера, и по воскресеньям.

Все это меня отталкивало. Я не желал выполнять свои обязанности. Я делал все возможное, чтобы сохранить независимость, предоставляя работе идти своим чередом. Потребность помечтать во мне все усиливалась. Я прибирал лавку ужаснейшим образом, а порою мне удавалось и совсем этого избежать. Я прятал книги у себя возле кассы и решал алгебраические задачи из потрепанного учебника «Расширенная алгебра Тодхантера», сдачу я отсчитывал как попало, часто неправильно, и по чистой небрежности выводил неверные цифры в книге.

Один только счастливый момент выдавался за целый день — это когда гвардейцы с флейтами и барабанами проходили мимо лавки и поднимались к замку. Эти флейты и барабаны кружили мне голову и уносили меня вспять к моим военным играм. Гонцы из этой волшебной страны летели ко мне на конях, не обращая внимания на посетителей лавки. «Генерал Берт здесь? Пруссаки высадились!»

Во время этого первого испытания рабством во мне, надо признаться, развилась клаустрофобия. Я сбегал от своей кассы и прятался в укромном уголке на складе, чтобы почитать или просто постоять там позади нераспакованных тюков.

После полудня надвигался час подведения итогов. Записанная сумма никогда не совпадала с наличностью. Предстояла сверка счетов, сличение цифр. Результаты всякий раз получались разные. Баланс не сходился. В первые недели суммы выходили то больше, то меньше. Потом положение стабилизировалось — всякий раз получалась недостача. Счетовод и один из партнеров, занимавшийся торговой корреспонденцией и общим наблюдением за делом, оставались допоздна, чтобы со всем этим разбираться. Они ругали меня без всякого снисхождения. Я тоже вынужден был оставаться с ними, но интереса к происходящему не выказывал. Передал ли я сдачу или просто потерял деньги — мне было все равно. Я никогда не любил считать деньги и вообще считать, а теперь уж так просто ненавидел. У меня была одна цель — выбраться из лавки до десяти и успеть вернуться обратно. Мне и в голову не приходило, какие ужасные подозрения на мой счет начали складываться у окружающих, как искушала моя неаккуратность тех, у кого был доступ к кассе, пока я отлучался в столовую или просто отвлекался. Но никто не воспользовался случаем, разве что счетовод.

Каждый вечер, когда мы закрывались пораньше, по

воскресеньям и при всякой возможности я удирал в Серли-Холл, к своим кузинам. Я уходил из лавки с радостью и возвращался с тяжелым сердцем. В Серли-Холле мне не хотелось говорить о делах и, когда меня спрашивали о моих успехах, отвечал только «все в порядке» и переводил разговор на что-нибудь более интересное. Я пробегал две долгие мили от Виндзора, туда и обратно, в темноте, чтобы час-другой утешиться сердцем. Моя кузина Кейт и мисс Кинг играли на пианино и пели. Они беседовали со мной так, что я уже не казался себе последним человеком на свете. В этом доме меня по-прежнему считали умницей, и, какую бы чепуху я ни молол, ее принимали на ура. Мои кузины, польщенные моей похвалой, пели мне «Пригрезились мне сладостные лица» и «Хуаниту», и я сидел рядом с пианино на маленьком табурете в восторге от музыки, от затененной лампы, от уюта и чувства свободы.

В сегодняшнем мире, где царят граммофоны, пианолы и радио, покажется удивительным, что в возрасте тринадцати лет я не слышал другой музыки, кроме редких духовых оркестров, фальшивых гимнов и любительского органа в бромлейской церкви, а также этого пения под аккомпанемент пианино.

А затем настал час безжалостного судилища в лавке. Меня уже готовы были обвинить в воровстве. Но дядя Том упорно меня защищал. «Не надо говорить такие вещи», — заявил он, и впрямь, если не считать постоянной недостачи, поставить в вину мне было нечего. Я не был транжирой, у меня не было друзей с преступными наклонностями, я был обтрепан и неприбран, но у меня не сыскали меченых денег, если они их использовали, да и вообще при мне не оказалось других денег, кроме шестипенсовика, который выдавался мне раз в неделю на карманные расходы, и все поведение мое свидетельствовало о пускай неосознанной, но стойкой добродетели. Я до самого конца не понимал, с чего весь этот сыр-бор разгорелся. Но факт остается фактом: в качестве кассира я допустил утечку денег, и кто-то, я думаю, этим воспользовался.

Не приходилось сомневаться, что я уклонялся и от остальных своих обязанностей. А вдобавок ко всем моим сомнительным служебным качествам я еще и повздорил с младшим грузчиком, что окончилось для меня подбитым глазом. Драка с грузчиком была невероятным нарушением принятых правил поведения со стороны будущего суконщика. Мне было очень непросто хоть как-то объяснить этот подбитый глаз в Серли-Холле. К тому же одежда, в которой я прибыл в Виндзор, никак не заслуживала названия стильной, и мистер Денайер, самый светский из компаньонов, поглядывал на меня со все большим

неудовольствием. Я носил черный бархатный картуз, а это было никак не по моде. День ото дня становилось все яснее, что первая попытка матери направить меня на путь истинный не удалась. Я не вступал на этот путь. Я не годился в суконщики, сказали Роджерс и Денайер, и правда была за ними. Мне не хватало лоску. В Виндзоре, с первого дня до последнего, я не сделал даже слабой попытки выполнить предъявляемые ко мне требования. Я им не столько противился, сколько чувствовал к ним отвращение. И что любопытно, хотя я пробыл там два месяца, я не запомнил ни одного лица за исключением приказчика по фамилии Нэш, который оказался сыном бромлейского суконщика и носил длинные усы. Все остальные, сидевшие со мной за обеденным столом в подвале, превратились для меня в безымянные тени. Да я и не смотрел на них. И не слушал. Я не помню расположение прилавков и за каким прилавком что продавалось. Я не обзавелся друзьями. У меня сохранились воспоминания только о мистере Денайере, юном мистере Роджерсе и мистере Роджерсе-старшем, да и то они представляются мне злодеями из пантомимы, вечно за мной гоняющимися и говорящими мне гадости, а я, естественно, только и делал, что пытался улизнуть от них. Они не любили меня; я думаю, все окружающие меня не любили, считали зловредным маленьким негодяем, от которого одно беспокойство, пользы же никакой, который либо вечно исчезает, когда он нужен, либо крутится под ногами, когда в этом нет необходимости. Думаю, самомнение мое постаралось изгладить у меня из памяти другие унизительные подробности. Я даже не помню, сожалел ли я о своем провале. Но вечерние походы по Мейденхедской дороге, в которые я отправлялся при первой возможности, до сих пор живы во мне. Я мог бы и сейчас начертать этот маршрут — вниз по склону и дальше через Клюэр. Я способен показать, где дорога становилась шире и где сужалась. Подобно большинству хилых подростков, я был трусоват, и последний пустынный участок пути от Клюэра до гостиницы я проделывал с немалыми опасениями. В безлунные ночи там было темно, а когда светила луна и с реки поднимался туман, мне и вовсе становилось жутко. Мое воображение населяло темные поля по обеим сторонам дороги притаившимися там врагами. Темные купы кустарника в плохо подстриженной живой изгороди пугали меня. Порою я пускался бегом. Чуть ли не неделю на дороге маячил призрак сбежавшей из клетки пантеры — говорили, что она сбежала из прибрежного поместья леди Флоренс Дикси, называвшегося «Рыбное». Эта воображаемая пантера терпеливо меня поджидала, она шла за мной бесшумными шагами, как собака, и однажды, когда за изгородью фыркнула лошадь, я чуть с

ума не сошел со страху.

Но ничто не могло удержать меня вдали от Серли-Холла, где открывался простор моему воображению и где я ощущал себя человеком. Сперва подсознательно, а потом и вполне осознанно я тянулся к миру, где царили книги, открывалась возможность самовыражения и творчества, от которых меня отгораживала необходимость строго следовать соображениям экономии и выгоды, предписываемым работой по найму. И никакие увещевания моей матери и братьев не могли заставить меня сосредоточиться на тонких бумажках и их копиях, которые совали мне в окошечко кассы:

— Одиннадцать с половиной по два и шесть. И побыстрей, пожалуйста!

5. Второе вступление в жизнь. Вуки (зима 1880 г.)

Бедная мамочка, этот маленький домашний полководец в кружевном чепце и фартуке домоправительницы Ап-парка, вынуждена была справляться со всем одна по собственному разумению и на собственные средства. Джо в своем Бромли со сломанной ногой и убыточной лавкой мало в чем мог ей помочь. Ему пришла мысль, что господин Хор или господин Норман, с которыми он вместе играл в крикет, пригласят меня, учитывая, что я получил первоклассное бухгалтерское образование, на должность банковского чиновника, но, когда выяснилось, насколько глухи к его просьбам тот и другой, дальнейших попыток оказать маме помощь отец не делал. А крышу над головой, питание и достойное место для младшего сына так или иначе надо было сыскать. Здесь-то и появился дядя Уильямс со своим, как могло тогда показаться, заманчивым предложением. Он собирался открыть небольшую казенную школу. Мне представилась возможность стать при нем младшим учителем.

В те времена учительские обязанности в начальных классах по большей части поручались детям не намного старшим, чем их ученики.

По окончании школы они не поступали на работу, а становились «учениками-преподавателями» и спустя четыре года приобретали право пройти годичный или двухгодичный курс усовершенствования, что давало им право тянуть лямку до конца своих дней. Если тогдашний учитель начальной школы становился чем-то большим, нежели натасканным работягой, он был обязан этим исключительно собственному старанию. Дядя Уильямс, прослышав о затруднениях моей матери, и надеясь, что мои успехи в Колледже Наставников помогут сократить мой

испытательный срок в качестве «ученика-преподавателя», принял меня на должность, как тогда выражались, «практиканта».

Меня собрали в дорогу и отправили из Виндзора в Сомерсет, где обосновался в местной школе дядя Уильямс, хоть положение его и было шатким, ибо дядя Уильямс не имел права преподавать в английской школе. Его учительский диплом, полученный на Ямайке, не признавался английским ведомством образования. В прошении о должности он проявил уклончивость, и, когда все выплыло на свет божий, ему пришлось покинуть Вуки. Эта же уклончивость свела обещанную мне учительскую карьеру к двум или трем месяцам.

Впрочем, и в этот период во мне успела зародиться мысль, что я смогу чего-то достичь в учительской профессии и что куда приятнее стоять перед классом, делиться знаниями и назначать наказания, чем сидеть за конторкой или стоять за прилавком, когда тебя понукает всяк вышестоящий.

Дядя Уильямс совсем не был мне дядей. Он был мужем сестры дяди, Тома Пенникота, двоюродного брата моей матери, — того самого, что перестроил Серли-Холл; он учительствовал в Вест-Индии и был человеком скорее блестящим и авантюристическим, чем надежным и добродетельным. Он придумал и запатентовал усовершенствованную школьную парту с встроенной чернильницей, которой не грозила опасность перевернуться, да и к тому же с завинчивающейся крышкой; оставив учительство, он сделался компаньоном фирмы школьных принадлежностей, в том числе парт, в Клюэре, неподалеку от Винчестера. Сангвинический склад характера толкал его тратить больше, нежели зарабатывать, и поэтому вскоре он стал клерком и управляющим на собственной фабрике, а под конец потерял и это место. Отсюда и его попытка утвердиться в вукийской школе с помощью уклончиво составленных бумаг.

Я помню его энергичным желтолицым и остроносым очкариком с лысой макушкой, седыми висками и подбородком, напоминавшим носок белой тапки. Волосы росли у него даже в ушах. Одну руку он потерял, и на ее месте была культя с крюком, который мог заменяться на обеденную вилку. Азартно пригвоздив еду на тарелке своим крюком, он терзал ее ножом, а потом откладывал нож в сторону, брал вилку в другую руку и ловко поедал содержимое тарелки. Я учился у него вести урок; иногда мы разделяли класс поровну при помощи занавеса, иногда действовали сообща, вдвоем составляя весь педагогический коллектив. Учительство давалось мне нелегко, но я предпочитал его сидению за конторкой. Поддерживать дисциплину было непросто; некоторые мальчики были моих лет, да к тому же

покрепче, а мой кокнийский говор оскорблял их сомерсетские уши. Но зато говор этот был самым что ни на есть английским. Изредка дядя Уильямс давал мне какие-то указания, но в основном я сам приспосабливался к делу. Я сколько мог натаскивал учеников в чтении, географических названиях, сложении, вычитании и заставлял зубрить таблицу мер и весов. Я сражался со своим классом, раздавал тумаки направо и налево, и неприятностей у меня с ними хватало. Я требовал, чтобы от назначенного мною наказания не увиливали, и как-то раз преследовал нарушителя дисциплины до самого дома, но был встречен его возмущенной мамашей, которая с позором погнала меня обратно в школу, а за нами бежали ученики всех возрастов.

Дядя сказал, что мне не хватает такта.

Дядя Уильямс был большим насмешником и презирал Церковь и церковников. За столом он говорил безостановочно. Он беседовал со мной совершенно откровенно, как со взрослым. Впервые так говорил со мной взрослый человек, и это возвышало меня в собственных глазах. Особенно интересно было его слушать, когда он делился своими мыслями о Церкви и вере, рассказывал о Вест-Индии и обо всем, что увидел на белом свете. Он внушал мне нетрадиционный взгляд на жизнь. До этого я не думал, что мир вокруг — нелепость, достойная лишь осмеяния. Такой подход во многом раскрепощает, помогает противостоять ужасным неизбежностям существования и терпеть жестокость жизни.

Хозяйство его вела дочь. Жена оставалась в Клюэре. Моя кузина была года на три-четыре старше меня, в возрасте, когда все, что касается секса, вызывает не только любопытство, но и страсть к опытной проверке. Она заставляла и меня включаться в опыты. В свободное время мы бродили по холмам и в одну субботу добрались даже до Уэльса, и я впервые увидел кафедральный собор; разговоры же наши были скорее поучительными, нежели, по понятиям того времени, учеными. Эта сторона моего образования прервалась до того, как пришла к завершению. Я воспринял начальные уроки секса с долей отвращения. Мой ум был настроен на иной лад. Реальность, какой она была преподнесена мне, выглядела какой-то позорной, неловкой, потной. Но, может быть, эти разговоры в Вуки побудили меня покинуть страну грез, оторванную от реальности.

Я взрослел. Мне уже минуло четырнадцать, я становился крепче, и меня больше не тянуло уйти в мечты. Подросток, которого дядя Уильямс виновато вернул моей матери, может быть, и походил на того, что проник через боковую дверь в магазин Роджерса и Денайера, дабы попробовать себя в

суконщиках, но на самом деле стал куда осторожнее и основательнее. Он узнал кое о чем, чему раньше избегал смотреть в глаза, — говорилось об этом просто и прямо, называлось все своими именами. Вместо скучного подчинения механической работе, в которой он ничего не смыслил, он попробовал заняться настоящим делом. Он приблизился к жизни на увлекательно близкое расстояние и понял, что смех куда лучше помогает познать реальность, чем погружение в мечты. Он куда больше обязан своему второму вступлению в жизнь, чем первому. Шутливый скептицизм, который со временем определил его взгляды, он во многом почерпнул у дяди Уильямса.

Надежды, связанные с Вуки, рухнули так быстро и неожиданно, что мы с матерью никак не могли оправиться. Она снова лихорадочно принялась писать письма. Я не знаю подробностей. Мне предстояло отправиться из Вуки в Серли-Холл то ли потому, что матери надо было еще поговорить обо мне с мисс Фетерстоноу, то ли потому, что поездка из Вуки прямиком в Хартинг была сочтена для меня слишком трудной. Даже путь до Виндзора и тот был непрост. Дядя Уильямс собрал мои вещи и сказал, что я должен поспеть на последний поезд, идущий в Мейденхед. Расписания двух железнодорожных компаний не были согласованы. Если я не успевал на пересадку, мне предстояло провести ночь в «Темперанс-отеле», чтобы пуститься в путь наутро. Но первый поезд на следующий день отправлялся ближе к полудню (может быть, я просто проспал и пропустил первый поезд, не помню). Я отправился пешком в Мейденхед и по дороге набрел на удивительное заведение, где можно было сфотографироваться и получить дюжину ферротипий за какой-то шиллинг или шиллинг и шесть пенсов. Я никогда не слышал ни о чем подобном, а искушение было слишком велико, и я не мог устоять. Мне дали денег на гостиницу и билет до Виндзора, и я чувствовал себя богачом. Но когда я получил свои ферротипии, съел батскую булочку и рассчитался в гостинице, я оказался в билетной кассе с дюжиной своих портретов в кармане, но без нужного количества денег. Мне пришлось добираться до Слоу, чтобы уже там совершить пересадку; дорога получилась длиннее, чем я ожидал. Я вышел со станции с чемоданом, который вдруг сделался очень тяжелым. «Будьте добры, как пройти в Виндзор?» — спрашивал я.

Думаю, что прошел я не больше четырех миль, потому что Серли-Холл находился на полпути между Виндзором и Мейденхедом, но все равно помню это свое путешествие как труднейшее в жизни. Я перекладывал чемодан из руки в руку. Не пройдя и четверти мили, я поставил его на землю и задумался.

Размышления мои не принесли должных плодов. Чемоданы носят в руке, а не в голове. Но после первой мили я решил нести этот неподъемный чемодан на голове. Надо же было каким-то образом дотащить его до Серли-Холла. Я дополз туда уже в сумерки, руки у меня отваливались, я еле держался на ногах, и мне было жалко себя.

Когда я добрался до места, то обнаружил, что Серли-Холл переменился.

Над ним нависла черная туча. Произошли ужасные вещи. За время моего отсутствия дядя не на шутку поссорился со своей дочерью Кларой из-за ее любовника, они горько обвиняли друг друга, и она уехала в Лондон. На что она жила там, трудно понять. Мисс Кинг, барменша, уволилась. Кузина Кейт пребывала во мраке, ей все осточертело, и она грозилась обвенчаться с человеком, с которым была помолвлена, и «уйти куда подальше». Свинцовая, отливавшая серебром река бежала между берегов, но ни одна лодка не просилась к причалу; гостиница опустела, бар и пивная были заброшены, зеленые столы на лужайке мокры и засыпаны облетевшими листьями, дядя придавлен сознанием, что жизнь идет к концу. Я думаю, ему к тому же не давала покоя мысль о финансовых трудностях. Ведь он так потратился на перестройку! Его огорчало непослушанье дочерей. Он сидел в пивной, слушая слугу, который всерьез обратился к вере…

Музыка и песни, лунный свет на лужайке, незабудки среди осок и белые лилии в коричневых заводях — все ушло в прошлое. Я быстро взрослел…

После этой поездки я много лет не видел Серли-Холла. Знаю только, что кузина Кейт вышла замуж и уехала, а кузина Клара подчинилась велениям судьбы и года через четыре вернулась из Лондона совершенно на мели. Любовник оставил ее задолго до того. Дядя Том, боюсь, принял ее неласково. У нее не было будущего, ничто ей не светило, и однажды после бессонной ночи она выскочила в одной рубашке из спальни и утопилась в глубоком омуте под подстриженной ивой. Старик умер вскоре после нее. Моя кузина Кейт тоже умерла. Дом был объявлен отчужденным имуществом, и лицензия аннулирована. Серли-Холл окончательно обезлюдел. Я не знаю, что осталось после него, разве что моя память о нем да случайная выцветшая фотография и упоминание вскользь этой гостиницы в заметках какого-нибудь старого бывшего итонца.

6. Интерлюдия в Ап-парке (1880–1881 гг.)

Я так детально пытаюсь вспомнить все, что отличало период

между двенадцатью и шестнадцатью-семнадцатью годами, поскольку, мне кажется, именно в это время я стал таким, каким проявился в дальнейшей жизни. Просматривая документы и записи, которые попадаются мне под руку, с целью освежить в памяти те дни, я вижу, что особенно быстро рос и определялся как личность между четырнадцатью и пятнадцатью. Должно быть, характер складывается, а в голове проясняется вместе с половой зрелостью. В умственном отношении я опережал своих сверстников, однако в нравственном отношении находился на среднем уровне.

Но если это так, то я тем более утверждаюсь в мысли, что прекращение образования лет в четырнадцать, которое мы наблюдаем в большинстве случаев, в корне неверно. Думаю, что новая цивилизация, на рубеже которой мы находимся, не будет ставить пределов нашему образованию, но, так или иначе, тринадцати- или четырнадцатилетний возраст — это слишком рано для того, чтобы суметь определиться в качестве экономической единицы общества. Этот возраст не является естественным завершением развития — во всяком случае у европейских народов. Переход от всемерной опеки к якобы полной ответственности осуществляется преждевременно. Его надо оттянуть не меньше чем на год-два, когда подросток уже может и хочет всерьез задуматься о будущем. Сравнительно с остальными я был развит не по летам, и все же мои тринадцать-четырнадцать лет были слишком ранним возрастом для такой ответственности. И если даже полноценное дневное образование удастся продлить еще на несколько лет — а это со временем должно произойти во всем мире, — все равно останется не учитываемое в теперешней Англии различие между мальчиком тринадцати-четырнадцати лет, переходящим из подготовительной в среднюю школу, и тем, кому исполнилось лет пятнадцать-шестнадцать. Это лучшее время для того, чтобы натаскивание и опеку сменить на интеллектуальное сотрудничество между учителем и учеником.

Мы с братьями, подобно подавляющему большинству детей из низших и средних слоев, были «определены на службу» и привязаны к ней до того, как у нас появилась малейшая возможность выбора. А ведь мы были совсем детьми. Если бы речь шла лишь о моих братьях и обо мне, это вряд ли заслуживало бы большого внимания. Нам не повезло, да и только. Совсем как головастикам, которых вытащили из воды до того, как у них отросли ноги и развились легкие. Но эта преждевременная перемена в жизни была и остается до сих пор уделом многих. И она имеет далеко идущие социальные последствия. Из-за

слишком короткого начального образования большая часть англичан и англичанок конца прошлого века оказались приобщены к делу, которое они не сами выбрали. Почти весь народ стал вроде головастиков, которых поспешили вытащить из воды. Подобно тому как старые цивилизации были основаны на труде рабов или крепостных, новая индустриальная цивилизация, в которой все мы живем, базируется на труде людей, остановившихся в умственном и духовном развитии, едва они достигли четырнадцатилетнего возраста. Сейчас основную часть населения нельзя, как раньше, назвать людьми безграмотными или не поднявшимися выше животного уровня, как это было у феодально-зависимых предков, но и образованными, как это должно быть в здоровом индустриальном обществе, их не назовешь. Так сказать, неполная метаморфоза.

Печальный результат всего этого, кстати не единственный, состоит в том, что работа на промышленных предприятиях ныне порождает скуку; отсюда требование короткого рабочего дня и более высокого жалованья, составляющее основу лейбористского образа мысли. Абсолютное безразличие к количеству и качеству произведенного продукта просто бросается в глаза. Половина Европы до сих пор, совсем как прежде, поглядывает на часы, как это делал я у Роджерса и Денайера, и старается протянуть время до конца утомительного рабочего дня. Труд не одухотворен, потому что неинтересен.

Но наше высокоорганизованное индустриальное общество будет способно поддерживать существующий уровень и дальше его развивать, только если обретет заинтересованных и преданных делу работников. В этом, как и во многом другом, оно никак не достигло вершины, а скорее находится в начале пути.

Нам потребовалось три четверти века, чтобы все это осознать. Людям, обладающим чувством ответственности, предстоит еще в целом как классу уяснить для себя, что счастливое, уверенным шагом двигающееся вперед человеческое общество возникнет — разумеется, при выполнении других необходимых условий — только если новое поколение будет оставаться в школе, по крайней мере, до шестнадцати лет, и только тогда молодежь обретет возможность найти свое место в жизни, сделается сознательной и экономически независимой. Хотя, как я уже сказал, я был в умственном отношении достаточно продвинут, мой голос не был решающим при определении моей судьбы, пока мне не исполнилось шестнадцать. Мой старший брат был остановлен на поворотном этапе и прожил жизнь неудачника — он так и не прилепился к своей лавке, — а мой брат Фред растратил на торговлю галантерейным товаром свои

исключительные способности изобретателя и механика. Что до меня, то я избежал участи жалкого торговца и совершенно чуждой мне профессии не в силу каких-либо заслуг, а просто потому, что мне повезло.

За этими обобщениями маячит фигура моей матери, олицетворяющая слепую, действующую впотьмах родительскую опеку; люди ее поколения изо всех сил старались получше устроить своих детей, а на деле мешали им и обращали в рабство, и моя история лучшее тому свидетельство — она ведь тонет во множестве подобных историй: о людях, которые, с трудом преодолевая разные преграды и оступаясь, шли к реализации и развитию заложенных в них способностей. Моя мать — из миллиона подобных матерей, а мои братья — из бессчетного числа подобных братьев. Моя жизнь никак не составляла исключения; в основе своей она была совершенно типична; в этом главный интерес сего жизнеописания.

После того как я покинул Вуки, мать еще месяц-другой не знала, куда меня деть. Она стучалась во все двери и конечно же поведала о своих трудностях Отцу Небесному, который, как всегда, хранил загадочное молчание. Она поговорила с мисс Фетерстоноу, и мне позволено было укрыться от сгущавшегося мрака Серли-Холла в Ап-парке. Там меня еще и задержал двухнедельный снежный буран, и я начал издавать ежедневную юмористическую газету «Ап-парковский паникер», для чего использовал бумагу, предназначенную для кухонных надобностей, а также устроил в комнате домоправительницы театр теней для слуг и служанок.

Я абсолютно уверен, что современная цивилизация зародилась и вызрела в домах преуспевающих, относительно независимых людей — мелкого дворянства, джентри, крупной буржуазии; они оставили свой след в ландшафте XVI века, преобразовали архитектурный облик городов, построили загородные дома, шато и виллы, постепенно изменив и упорядочив сельскую местность. В своих поместьях, отгороженных стенами и оленьими парками, эти люди имели досуг для того, чтобы размышлять и писать. За ними никто не присматривал, в их жизнь никто не вмешивался. Они, по крайней мере, могли вести себя как им нравится. Они создали привилегированные школы, возродили захиревшие университеты, они отправлялись в большие поездки по Европе, чтобы многое увидеть и многому научиться. Они интересовались общественной жизнью, но не были поглощены ею. Управление имениями держало их в контакте с действительностью, но не отнимало всего времени. Многие, конечно, деградировали, увлекшись

пустой и порочной светской жизнью, но оставалось достаточно людей, полных любознательности и пестовавших набиравшие силы науку и литературу XVII и XVIII веков. Их просторные комнаты, библиотеки, собрания картин и «редкостей» помогли перенести и в XIX век стиль неспешного объективного и обстоятельного научного исследования, свободу взглядов, чувство достоинства и определенность эстетических и умственных критериев. Эти дома породили Королевское общество, «Век изобретений», первые музеи и лаборатории, картинные галереи, изящные манеры, хорошую литературу и почти все, что чего-нибудь стоит в современной цивилизации. Основанием этой культуры, как и культуры античной, был труд простых людей. Никого особенно не беспокоило такое положение, и все же именно любопытство, предприимчивость и свободомыслие независимых джентльменов, больше чем что-нибудь иное, помогли построить современное экономическое и индустриальное общество, подготовить условия для уничтожения невыносимых условий жизни пролетариата. Именно деревенское поместье открыло путь к человеческому равенству, осуществимому не путем демократии, устанавливаемой рабочим классом, а через подтягивание всего населения до уровня джентри, не нуждающегося более в существовании низшего класса. Помещичий дом явился экспериментальной ячейкой будущего Современного Государства.

Новые силы давно переросли и покинули гнезда, где были выращены эти первые птенцы, и поместья, которые в Европе XVII и XVIII веков были полны жизни и творчества, сделались в наши дни пустой скорлупой, пристанищем для отдыха и охотничьих эскапад и утратили привлекательность обжитого гостеприимного дома. Но следы былого величия и широты до сих пор хранятся стенами, мебелью, обстановкой.

Для меня, во всяком случае, в Ап-парке были различимы прежние черты. Для меня Ап-парк был жив и полон возможностей. Этот дом оказал на меня большое влияние; он сохранил жизненную энергию, и это перевешивало не имевшие значения капризы обитательниц верхнего этажа и их ставшее привычным недовольство обиженной домоправительницей, обитавшей в ее нижней, отделанной белыми панелями комнате.

Во время этого и последующих визитов в Ап-парк, если погода мешала мне бродить по окрестностям, я рылся на чердаке, в помещениях, примыкавших к моей комнате, и находил там много всякой всячины. Я нашел несколько альбомов гравюр, сделанных по ватиканским росписям Рафаэля и Микеланджело. Я не мог оторваться от этой небывалой красоты — лиц святых,

пророчиц, богов и богинь. И еще там был поначалу показавшийся мне совершенно загадочным ящик, заполненный какими-то медными деталями; их, я догадался, можно было собрать. Я, следуя методу проб и ошибок, так и поступил, и у меня получился григорианский телескоп на треножнике. Я отнес это чудо к себе в комнату. В дневное время он показывал все вверх ногами, но это не имело особого значения, хотя трудно было сфокусировать изображение, когда я обращал телескоп вверх. За ним меня в предрассветные часы и застала моя мать; окно в моей спальне было распахнуто, я изучал кратеры Луны. Она услышала, как я открывал окно. Мать мне сказала, что я могу схватить чахотку и умереть. Но в тот момент это показалось мне совсем неважным.

Сэр Гарри Фетерстоноу, подобно многим другим представителям своего класса и поколения, был человеком свободомыслящим, и нижние комнаты изобиловали смелыми просветительскими книгами. Мне позволили брать их с полки и уносить к себе в комнату. Тогда или позже, не могу припомнить, когда именно, я усовершенствовал свой неважный французский, читая прозрачную прозу Вольтера, прочел такие книги, как «Ватек»{62} и «Расселас»{63}, ознакомился с Томасом Пейном{64}, проглотил полные «Путешествия Гулливера» и открыл для себя «Республику» Платона{65}. Эта книга явилась для меня настоящим умственным освобождением. У дяди Уильямса я перенял привычку посмеиваться над обычаями и законами и потом, думаю, еще больше в этом преуспел, научившись вдобавок рисовать карикатуры, но эта книга повела меня далеко за пределы простого насмешничества. В ней заключалась поразительная и воодушевляющая мысль, что все казавшиеся вечными законы, обычаи и авторитеты могут быть брошены в плавильный котел и воссозданы заново.

7. Третье вступление в жизнь. Мидхерст (1881 г.)

Не знаю, как пришла моей матери мысль сделать из меня фармацевта. Во всяком случае, это была третья карьера, к которой я теперь устремлялся вместе с моим чемоданчиком. Меньше месяца я провел среди надписанных золотом ящичков и бутылочек мистера Кауэпа из Мидхерста, скатал несколько дюжин противожелчных и ревеневых пилюль, разбил во время дружеского сражения на половых щетках с мальчиком-посыльным дюжину сифонов с содовой, научился торговать патентованными лекарствами, протирать бутылки с подкрашенной водой, бюст Ханемана{66}, обозначавший, что здесь продаются

гомеопатические средства, и белую лошадь, указывавшую на присутствие в аптеке всего необходимого для ветеринаров, однако я не нахожу нужным излишне распространяться здесь о моем аптекаре и его забавной жизнерадостной супруге, поскольку я уже вволю поговорил об этой лавке и опыте, приобретенном в ней, описывая дядю и тетю Пондерво в «Тоно Бенге». Кауэп, подобно дяде Пондерво, изобрел укрепляющую микстуру от кашля, хотя, в отличие от моего героя, так и не поднялся к вершинам предпринимательства. Впрочем, на сей раз я пришелся по душе своему нанимателю, и лишь вопреки его желанию фармакология не сделалась моим призванием в жизни. Я спросил, сколько стоит обучение на фармацевта и полноправного аптекаря, и, хотя названная сумма давно испарилась из моей памяти, я тогда заключил, что такие деньги превышают скромные возможности моей матери. Я объяснил это ей, привел все нужные цифры, и она не стала со мной спорить.

Мне не хотелось отказываться от представившейся было возможности стать аптекарем, потому что я полюбил аптеку с ее ящичками, наполненными вытяжкой из морского лука и александрийским листом, серным цветом, древесным углем и подобными занятными веществами, и я с первого взгляда привязался к Мидхерсту. Это был город моих предков, и я чувствовал себя в нем как дома. Он занимал место в моем сознании, в отличие от Бромли, представлявшегося мне лишь мрачным скоплением людей. Здешние лавки, школа, церковь располагались в должном порядке; город имел начало, середину, конец. Я не знаю других мест, которые можно было бы поставить вровень с Западным Сассексом, разве что Котсуолдс. У него свой колорит, приятный колорит залитого солнцем песчаника и бурого железняка, и он весь пронизан теплым ароматом бескрайних просторов, полей, парков, еловых лесов. Мидхерст расположен в трех часах хорошей ходьбы от Ап-парка. И ко мне там быстро вернулось самоуважение.

Один явный недостаток моего школьного образования сразу же выявился, когда я пожелал стать фармацевтом. Я не знал латыни, а в ту пору очень многое в репутации квалифицированного аптекаря определялось тем, насколько хорошо он знал этот язык. Надо было уметь прочитать рецепт, понять его и выполнить предписания. И было решено, что я начну ходить к директору местной грамматической школы{67} и брать у него уроки латыни. Насколько помню, прежде чем мысль о моем учении на аптекаря была отвергнута, я побывал у него четыре или пять раз, но за это время успел поразить его своими успехами, поскольку он привык иметь дело с детьми торговцев и фермеров,

отчаянно ему сопротивлявшимися, я же быстро освоил первую часть «Principia» Смита{68} и пробежал расстояние, которое моим сверстникам удавалось покрыть за год, а то и больше. Этот четко организованный язык пришелся мне по душе, как до этого эвклидовы «Начала». Оказывается, можно было строить речь совершенно иначе. Чего-то подобного я давно уже ждал. Латынь сразу же помогла мне справиться с английским языком.

Мидхерстская грамматическая школа была основана в давние времена, пришла в упадок и была закрыта в 1859 году после пожара, причем здание сгорело дотла. Она была возвращена к жизни благотворительным школьным комитетом и заново открыта в 1880 году, меньше чем за год до моей попытки приобщиться к фармакологии. Мистер Хорес Байет, магистр гуманитарных наук, ставший новым директором школы, не принадлежал к числу самых многообещающих выпускников Дублинского университета, но отличался энергией, живым умом и желанием принести как можно больше пользы на своем новом посту. Он был темноволос, напоминал чем-то священника, полноват, но подвижен, шевелюра у него была густая и переходила в бакенбарды, подбородок раздвоен, голос — громкий, рокочущий, и жил он с женой и тремя детьми в удобном старом доме около Южного пруда, пока благотворительный комитет не восстановил до той поры лежавшее в заросших травой руинах школьное здание.

Я ничего не знаю о прошлом мистера Байета и полученной им подготовке, но испытываю сомнение в том, что его познания в латыни были так уж велики, и, помнится, я совершенно поставил его в тупик, когда много лет спустя попросил его растолковать мне несколько греческих цитат из «Свидетельства» Пэли{69}. Но, очевидно, у него был солидный опыт в преподавании начатков точных наук, начертательной геометрии и прочего, а задачу свою в Мидхерсте он выполнил благодаря тому, что создал там школу второй ступени, основанную на сравнительно современных принципах. В эти годы британское Министерство образования начало создавать систему вечерних классов, получивших распространение в следующее десятилетие в виде соответствующих школ. Учащиеся посещали эти классы зимой, сдавали экзамены в мае, и труд учителя оплачивался в зависимости от числа учеников и уровня их знаний, продемонстрированного на экзаменах — фунт, два фунта или четыре фунта за каждого, в зависимости от оценок. Байет, как магистр и выпускник университета, имел право в свободное время вести занятия по любому из предметов, обозначенных в программе министерства, и после утренних занятий преподавал в

вечерних классах законы оптики, магнетизма, электричества и начертательную геометрию, что приносило ему дополнительные заработки. Его интерес к утренним урокам, естественно, падал. Латынь в подобных школах уже не преподавалась как язык: ни у кого и мысли не было учить учеников читать или писать или, тем более, говорить на латыни; это были просто упражнения, необходимые для успешной сдачи экзаменов.

Что до Кауэпа, то сперва он хотел заработать на мне как на своем ученике, но, когда выяснилось, что от меня в этом отношении толку не будет, очень расстроился и стал настойчиво от меня избавляться, чтобы освободить место для более доходной кандидатуры. Моей матери некуда было меня девать, и я стал пансионером директора грамматической школы на то время, пока ей не удалось бы еще куда-то меня пристроить. Я оказался первым пансионером в возрожденной школе. Там я провел около двух месяцев, после чего, по просьбе Байета, вернулся, чтобы в мае держать экзамены по всем предметам, которые он преподавал в вечерних классах, и таким образом заработать для него деньги и похвалы.

Началась новая фаза моего беспорядочного образования, и я вспоминаю о ней с удовольствием. Байет мне нравился, а его мнение о моих способностях подстегивало во мне желание работать. Однако умственное развитие, которое я приобрел за эти несколько недель ученичества, несводимо к проделанной работе, гораздо важнее толчок, который я тогда получил. Правда, я продвигался в латыни не с прежней скоростью, поскольку Байет предпочитал, чтобы я занимался предметами, более перспективными для него с точки зрения материальной, и вручил мне учебники по физиологии и физиографии{70}, заключив, что я и сам способен все это быстро усвоить и не нуждаюсь в сидении за партой. Ведь я умел самостоятельно разбираться в прочитанном и формулировать, в каких-то случаях прибегая к иллюстрациям, ответы на любой вопрос, а это было больше, чем требовалось от мидхерстских школьников. Думаю, мне удивительно повезло, что я приобрел тогда привычку писать. Это научило меня лучше понимать текст и систематизировать свои знания. Многие не без основания возражают против письменных экзаменов как способа проверки знаний учащихся; этот порядок и впрямь может приучить к поверхностности и шаблону, но я глубоко убежден, что он, во всяком случае, помогает должным образом выстроить полученные знания. Он предотвращает неопределенность суждений, размытость мысли, диспропорции между частным и общим в заключениях — качества, которые отличают талантливых самоучек, никогда не проходивших

экзаменов. Ап-парк и Мидхерст расширили мои познания, развили и укрепили ум. Я особо останавливаюсь на этом периоде своей жизни, поскольку, оглядываясь на 1880 год и начало 1881-го, я думаю, что именно в эти годы впечатления реальной жизни соединились у меня с тем, что я вычитал из книг, образовав с ними некое целое. Большой мир мало-помалу завладевал моим настраивавшимся на практический лад воображением. Прежде я жил скорее в стране грез и преданий, нежели в окружении вещей осязаемых и достижимых. Мир этих грез вызывал не больше доверия, чем Отец Небесный, Спаситель, музыка сфер, благословение Небес и все прочее, в чем находила отдушину моя мать. Человеческий разум обращается ко всему этому, когда становится невыносима суровая неизбежность работы по найму, постоянное безденежье и унылая рутина. Но в грезы верится с трудом, и раньше или позже человек возвращается в собственное обиталище со всем, что его в нем не устраивает. Уход в мечту как спасение от реальности — это лишь подмена усилий, направленных на то, чтобы выбраться из сковывающих человека условий существования. И я отказался от ненужных мечтаний и обратил силы на то, чтобы зажить полной жизнью.

Жаль, что я не могу точно обозначить главные фазы моего взросления. В этом случае мне бы удалось отделить волю случая и удачи от закономерных этапов развития. Я понимаю, что в 1881 году я был несравненно крепче, драчливее, осмотрительнее и сметливее, чем в 1879-м; и, как я уже говорил, это объяснялось химическими и нервными переменами, связанными с моим взрослением. Здесь мой опыт не отличается от опыта всех остальных. Взросление — это ведь не просто половое созревание. Непризнание авторитетов, инициативность, отвага значат едва ли не больше. Силы мои прибавлялись еще и благодаря освобождению от гнетущей атмосферы обшарпанного, дурно освещенного и полуголодного Атлас-хауса. В этом мне повезло куда больше, чем братьям, и потому-то я сделал такой рывок. В решающие для развития годы я жил в более здоровых условиях; мне помогали смена впечатлений и мест и, что немаловажно, улучшение качества пищи и более разнообразный рацион. Но, вдобавок к этим счастливым обстоятельствам, определяющим для моего ищущего и скептического ума, и притом в самом восприимчивом юном возрасте стало вторжение новых идей вкупе с требованием научной точности и доказательности, а также понятием о досуге, культуре и социальных градациях. Если б я был сыном зануды-астронома, который надоедал бы мне своими рассказами о звездном небе в то время, когда мне больше всего хотелось лепить из песка пирожки, я, наверное, не пришел бы в

такой восторг, когда, изучая звезды, сначала выискивал Юпитер по «Альманаху» Уитакера{71}, а потом самолично с помощью телескопа впервые увидел в небе Юпитер и слабое подрагивание его спутников вокруг него. И не возомнил бы я себя вторым Галилеем. И я не пережил бы такого удивления, если б еще ребенком узнал из книги по геологии, что, стоя на вершине Телеграфного холма, возвышающегося над полями, я нахожусь на оголившемся дне исчезнувшего моря мелового периода, а светлые гряды у меня под ногами — не что иное, как наносы ила.

А с другой стороны, Ап-парк и четко очерченные силуэты ферм, деревень и городков внизу, разве не они помогли мне в самом подходящем для этого возрасте задуматься над вопросами истории и социальных отношений? Этого никогда не случилось бы, развивайся я в катастрофической скученности пригорода.

Все, что я приобрел в ранние годы в результате своего беспорядочного чтения, расположилось в должном порядке, когда перед моими глазами возникла цельная картина мира. Наука тогда настаивала главным образом на закономерностях. Ничто, казалось, не могло остановить поступи прогресса, и мое освобождение от власти предрассудков тоже было закономерным. Сегодня образованному человеку трудно понять, что должен был чувствовать пятнадцатилетний мальчишка из бедной семьи, когда суровый сыноубийца Небесный лишился последней опоры в его сознании и растворился в небесной выси, а непреодолимые, как тогда казалось, социальные барьеры, призванные держать его в пределах, предначертанных ему самим Господом, вдруг превратились в шаткие изгороди, за которые можно было заглянуть, а со временем даже, как о том мечталось, их можно было перепрыгнуть или порушить.

Но прежде чем лезть через изгородь, надо еще хорошенько рассмотреть, что там за ней, а я пока был способен лишь украдкой подглядывать в щель и не притязал ни на что большее. Должно было минуть добрых десять лет, прежде чем моя мечта о свободе стала реальностью.

Глава IV
РАННЯЯ ЮНОСТЬ

1. Четвертое вступление в жизнь. Саутси (1881–1883 гг.)

Пока я в мидхерстской грамматической школе делал первые систематические шаги в современной науке, моя мать упорно искала для меня новое место. Она посоветовалась с сэром Уильямом Кингом, управляющим мисс Фетерстоноу и важной персоной в деловом мире Портсмута, и он направил ее к мистеру Эдвину Хайду, владельцу большого мануфактурного магазина на Кингс-роуд в Саутси. На Пасху я узнал, что мне еще раз предстоит непростая задача поучиться на торговца тканями, на сей раз под руководством мистера Хайда. Ни к чему иному я пока подготовлен не был. Я высказал несогласие, однако моя мать ударилась в слезы и принялась меня уговаривать. Я обещал быть хорошим мальчиком и попробовать себя в этом деле.

Впрочем, на сей раз я взбунтовался не против матери, относительно которой я начинал догадываться, что женщина она недалекая и живет трудной жизнью, а против порядка вещей, обрекшего меня в возрасте неполных пятнадцати лет на безотрадное и не сулящее лучшего будущего существование, тогда как другие мальчики, ничуть не умнее меня, имели передо мной все преимущества — преимущества эти я тогда презирал — и могли поступать в привилегированные школы, а оттуда идти в университеты. С тяжелым сердцем я отвез свой чемодан в Саутси. Меня отвели наверх в спальню и на время оставили одного, пока кто-нибудь не придет и все мне не покажет; я облокотился о подоконник и выглянул в окно, выходившее на узкую улочку; никаких иллюзий по поводу случившегося я не испытывал. До сих пор помню свое горестное смятение.

Розничная торговля, думал я, навек захватила меня в свои щупальца. Я должен был научиться этому делу и отныне верно служить своему преуспевающему нанимателю, заботясь о его доходах и рассчитывая на доброе к себе отношение. Я год гулял на вольной воле и думал, что так и будет. Но последняя надежда ушла. В окружающем мире, представшем в этот момент перед моим взором узкой улочкой, тупиком, я не мог найти ни пивной на углу, ни полоски неба над головой, ничего, что сулило свободу.

Я отвернулся от этого кусочка внешнего мира, чтобы

оглядеть свою спальню, подобно тому как заключенный изучает камеру, в которой ему предстоит отсидеть свой срок.

Не могу сказать, является ли охватившее меня в тот момент смятение обычным для современного молодого человека из низшего класса неудачников либо я был обязан ему опытом, приобретенным в пору моих предыдущих попыток вступить в жизнь, но, во всяком случае, у меня уже тогда появилась способность заглянуть дальше, чем у моих друзей по несчастью, и яснее разглядеть свое будущее. Большинство их, думается, проникаются подобным чувством заметно позже. Мой брат Фрэнк, остававшийся «хорошим мальчиком» целых пятнадцать лет, в конце концов заявил, что неспособен дальше выносить подобную жизнь, и спасся бегством, о чем я расскажу позже. Мой брат Фред проявлял покорность значительно дольше. Из нас троих он был самым «хорошим мальчиком» и все лучшие годы следовал заведенному порядку вещей.

Какой процент из тех, кто вынужден был обучаться на суконщика, добился хоть какого-нибудь успеха, я не знаю, как не знаю соответствующих статистических выкладок, но убежден, что убогая жизнь их была лишена и проблеска надежды. Карадок Ивенс{72}, подобно мне, был суконщиком, и существование продавца в маленькой лавке, которое он описывает в своей книге «Нечем платить», верно во всех главных деталях. Он рассказывает о постоянных придирках, взаимном раздражении, маленьких поощрениях и таких же штрафах, об угодничестве и интригах, о беспросветной скуке, неуютных спальнях, постоянном недоедании, неожиданных увольнениях, ужасных периодах безработицы, когда одежда приходит в негодность, а деньги тают у тебя на глазах. В те дни не существовало пособия по безработице для уволенного приказчика. Плывешь по течению, и, если не удастся пристроиться в какую-нибудь другую лавку, тебя ждет полная нищета и попрошайничество на улице. Хайд оказался на редкость хорошим хозяином с точки зрения приказчика, это место было попросту несравнимо с лавкой Роджерса и Денайера, где мне приходилось жить в жалкой клетушке. И все же я вспоминаю эти два года неволи как самый беспросветный период своей жизни. Меня наняли на четыре года, но уже через два я решил взять свою судьбу в собственные руки. Я взбунтовался и заявил: будь что будет, а суконщиком я не останусь.

И это при том, что я не пережил самого худшего — не оставался без работы и не вкусил всех прелестей лавки, описанной Карадоком Ивенсом. Я знал обо всем этом только от братьев и от приказчиков, работавших у Хайда. Но что с самого

начала меня убивало, так это монотонность и скука этой работы. Современное общество в ходе своего развития вынуждено будет как-то разрешить проблему людей, работающих в торговле; не знаю, каким путем оно пойдет, но убежден, что придется свести ее к найму на короткий срок, укороченному рабочему дню, частой перемене занятий, частым отпускам и специальному обучению, которое знакомило бы приказчика со всем, что касается продаваемых товаров и новшеств в этой области. Тогда человек становился бы за прилавок или работал на складе с ощущением, что он приносит пользу обществу; у него исчезли бы наплевательское отношение к своей профессии, вялость и раздражение, и он находил бы удовольствие в работе спорой и старался бы с огоньком исполнять свои обязанности.

Удивительно, насколько чужим и непонятным было для меня все, чем я занимался. Сначала меня определили в отдел хлопчатобумажных тканей, где я обнаружил огромное количество рулонов с непонятными названиями «бортовка», «турецкая саржа» и тому подобное, обилие серых и черных подкладок, разнообразнейшие отрезы фланели, столового полотна, салфеточного, скатертного, клеенку, холст и коленкор, дерюгу, тик и прочее, прочее. Откуда все это взялось, какая от всего этого польза, я понятия не имел, знал только, что все это появилось на свет, дабы отяготить мою жизнь. В этом хлопчатобумажном отделе были еще платяные ткани — набивные ситцы, сатин, крашеный лен, а также обивочные, — это было понятнее, но отталкивало ничуть не меньше. Я должен был содержать в порядке весь товар, разворачивать отрез и снова складывать после показа, отмерять кусок и скатывать остаток, и все это складыванье, скатыванье и заворачиванье требовало внимания, терпения и умения, а мне эти усилия были нож острый, и я так и не научился работать быстро и аккуратно. Трудно даже вообразить, какое коварство может проявлять кусок сатина, который все норовит свернуться вкривь и вкось, как трудно скатать суровое полотно, как непослушны толстые одеяла и как нелегко взобраться по узенькой приставной лесенке на верхнюю полку с неподъемными кусками кретона и уложить их так, чтобы меньший кусок обязательно лег на больший. В моем отделе были еще и тюлевые занавески. Их надо было разворачивать и держать, пока старший приказчик беседовал с покупателем. По мере того как груда занавесок росла, а покупатель желал посмотреть еще что-нибудь, безразличие, написанное на лице младшего продавца, все меньше могло скрыть бурю негодования и протеста, разгоравшихся при мысли, что скоро магазин закрывается, а ему еще надо все сложить и убрать.

В мои обязанности входила работа по складу, демонстрация товаров покупателям и уборка — на это уходила вся середина дня. Нас, учеников, поднимал неукоснительно в семь утра один из продавцов; он демонстративно проходил всю спальню с метлой, а на обратном пути стаскивал одеяла с тех, кто оставался в постели. Мы быстренько надевали старую одежонку, засовывали ночные рубашки в брюки и через четверть часа уже были в лавке, чтобы успеть протереть стекла, развернуть и разложить товар, смахнуть пыль, и все это до восьми. В восемь мы мчались наверх, чтобы успеть первыми к умывальнику, переодеться и в полдевятого получить на завтрак хлеб с маслом, а потом снова спуститься вниз. Затем мы убирали в витрине и торговом зале. Мне полагалось приносить товары для витрины и развешивать образцы тканей на медной проволоке над прилавком. Ежедневно или, во всяком случае, через день надо было еще обновлять витрину, где выставлялись костюмы, и я отправлялся на склад готового платья и приносил оттуда безголовые манекены, причем тащил их через весь магазин, избегая по дороге столкновений со стульями, газовыми горелками и своими собратьями. Еще я должен был следить, чтобы чашечки для булавок всегда были заполнены, а оберточная бумага для мелких покупок заготовлена и разглажена. Утомительное течение дня раз или два на часик-другой прерывалось, когда меня посылали в аналогичные лавки в Саутси, Портсмут и Лендпорт, чтобы доставить оттуда мотки лент или ткани, которых не оказалось у нас на складе, к тому же порой выпадала возможность отправиться в банк, чтобы снести туда наличность или принести оттуда мешочки с мелочью. Я затягивал сколько мог эти благословенные отлучки, но в половине двенадцатого или в лучшем случае в двенадцать лавка снова заглатывала меня, и некуда было деться до того, как в семь или в восемь, смотря по сезону, она закрывалась. Мне полагалось постоянно быть наготове для всякой подсобной работы. И вечно набиралась добрая сотня всяких дурацких дел — разложить получше товар, убрать его, принести, унести. Дела, прямо скажем, нетрудные, но очень уж скучные. А если не находилось ничего другого, я должен был смирно стоять за прилавком, поджидая покупателя, хотя поначалу меня к нему и не подпускали. Дни в Саутси тянулись бесконечно, все хотелось дождаться часа закрытия, зато потом до «отбоя» в половине одиннадцатого время мчалось как стрела.

За полчаса до закрытия мы в последний раз начинали все убирать, «закругляясь», но только в том случае, если в зале не было замешкавшегося покупателя. Когда ж и он уходил, дверь запиралась и продавцов отпускали домой, мы, ученики,

выскакивали из-за прилавков с ведерками мокрого песка, разбрасывали его, усердно и торопливо подметали пол, в чем и состоял наш последний дневной ритуал. В полдевятого мы были уже наверху, свободные как птицы, ужинали хлебом с маслом и сыром и запивали все некрепким пивом. И так изо дня в день — по тринадцать часов! — за исключением среды, когда магазин закрывался в пять.

В одиннадцать утра нам полагался пятиминутный перерыв, и мы поднимались наверх за куском хлеба с маслом и, если мне память не изменяет, стаканом пива. Но, может быть, то было молоко или чай. Около часа дня у нас был обед, на который нам полагалось полчаса и еще десять минут на чай. Столовая у нас была просторная, светлая, находилась наверху и не шла ни в какое сравнение с берлогой Роджерса и Денайера, и жили мы, в отличие от Виндзора, не в убогой комнатенке, заставленной раскладушками, так что некуда было даже положить личные вещи, разве что распихать их по сундукам и чемоданам, а в помещении, разделенном высокими перегородками на небольшие кабинки, так что у каждого из нас был свой комод, зеркало, вешалки, стул и прочее. Для своего времени и для дела, которым он занимался, мистер Эдвин Хайд был на редкость цивилизованным нанимателем. У него была даже читальня с несколькими сотнями книг, о чем я скажу слово-другое чуть позже.

Так что я вошел в мануфактурную торговлю через парадную дверь и все-таки находил свою жизнь невыносимой. Самым нестерпимым было то, что я не чувствовал себя вправе думать о чем-то своем. Мне полагалось непрерывно размышлять о булавках, оберточной бумаге и о том, как что упаковать. Если мне не находилось дела, я сам должен был его для себя отыскать, да побыстрее. Но та радость, которую я испытал в Мидхерсте, успешно занимаясь наукой, во мне не угасла. В течение некоторого времени для меня, как для Джуда Незаметного{73} у Гарди, латынь была символом духовного освобождения. Я пытался продвинуться в латыни; я хотел подготовиться к новым экзаменам. Я больше не искал прибежища в мечтах, напротив, у меня редко когда не было книги в кармане, и я пытался читать вместо того, чтобы расчесывать шерстяное одеяло для витрины, если мне удавалось спрятаться за грудой товаров и оказаться, как я воображал, вне поля зрения дежурного администратора.

Для тех, кто присматривал за мной, стало ясно, что я невнимателен и не слишком усерден. Это открылось, и очень быстро, Кейсбоу, заведующему отделом хлопчатобумажных тканей, и стоявшему между ним и мною «практиканту» —

старшему ученику. Кейсбоу был человеком хорошим, но ему приходилось непрестанно понукать меня: «А ну проснись!», «Живо!», «Боже мой, что ты делаешь!», «Что ты здесь околачиваешься?». Над ним и надо мной властвовал старший администратор мистер Джон Кей, статный, военной выправки человек с точеным профилем, заботливо ухоженными усами, лощеный и прямо-таки ужасающе проворный; он координировал работу всех своих подопечных и не допускал и минуты простоя. Когда я вспоминаю его, я не устаю восхищаться его зоркостью и энергией. Он таился, ни на минуту не ослабляя внимания, за маленькой конторкой в центре главного зала, откуда совершал вылазки, чтобы встретить покупателя, отвести его в нужный отдел и выкликнуть нужного продавца: «Мертон, вперед!», «Аскоу, вперед!», «Мисс Квилтер, вперед!», а если с продажей что-то не ладилось, мгновенно был тут как тут, готовый вмешаться, и, когда покупатель уже был у двери, пытался провернуть еще одно дельце: «Мы только что получили очень красивые солнечные зонтики, мадам. Вот, посмотрите» — и зонтик открывался; при этом он успевал доглядывать, чтобы никто из нас (особенно это касалось меня) не оставался без дела. Он чувствовал свою ответственность за меня, и вскоре я заметил, что действую ему на нервы. Он впивался в меня взглядом и уже не оставлял без внимания. «Уэллс? — спрашивал он. — Чем занят Уэллс? Куда провалился этот мальчишка?»

«Джей-Кей тебя ищет», — сообщали мне Платт или Роджерс.

За пять минут до этого Уэллса было не сыскать, а тут он, полный энергии, мгновенно возникал за прилавком.

— Я здесь, сэр. Я раскладывал бельевые ткани.

— Угу.

Так и шла моя жизнь под аккомпанемент этих неприязненных «угу».

Хозяина — Джи-Ви — я видел реже. Он был человек резкий, чем наводил на меня невероятный страх. Но он появлялся в отделе лишь время от времени, а затем его словно ветром сдувало. А Джей-Кей всегда был на посту, всегда за мною присматривал, не упускал ни малейшей небрежности в одежде, ни малейшей расхлябанности, ни единого признака лени, а его всегдашний знак недовольства — это самое «угу», остро напоминал мне о моем рабстве. В то время я безмерно его ненавидел. Теперь же, полвека спустя, я способен составить о нем трезвое мнение и могу сказать, что человек он был превосходный, обуреваемый желанием как можно лучше направить меня на стезю успешной торговли мануфактурой и лишенный малейших признаков злонамеренности по отношению ко мне. От него не

было ни минуты покоя, но зато он очень вовремя заставил меня понять, как я ленив, ненадежен и лишен способности к предначертанному мне делу, оказав мне тем самым большую услугу. С мгновения, когда я впервые вошел в магазин, все во мне было не по нем, начиная с того, как я через три минуты после завтрака случайно хлопнул дверью, и кончая тем, как я со щеткой и ведерком в руках злобно покосился на замешкавшегося клиента. Свертки, появлявшиеся из моего отдела, чем дальше, тем больше оказывались кривыми, словно их, по его словам, заворачивала старуха.

Он не придирался ко мне. Мои промашки были налицо. У меня все валилось из рук и шло через пень-колоду. Сколько я ни старался, оставалось униженно признаться себе — это я и делаю как честный биограф, — что с работой я не справлялся.

Не стоит прятаться за трескучей фразой, будто я был предназначен к чему-то большему. Но если уж употреблять слово «предназначен», то я был предназначен к другому. Не думаю, что я снобистски презирал бельевую ткань в сравнении с латынью, но в затянувшейся череде унижений меня утешала мысль, что в конце концов я без труда и с редкой скоростью освоил «Начала» Эвклида и «Principia» Смита, а также множество учебников по другим наукам. И эта утешительная мысль освещала мне горизонт все ярче, по мере того как угасала надежда добиться успеха в мире торговли или хотя бы достичь положения преуспевающего приказчика. Как день было ясно, что мне никогда не стать торговцем тканями, администратором, менеджером, коммивояжером или совладельцем мануфактурного магазина. Я слушал истории, которыми делились со мной старшие, о все более укоренявшемся в них отчаянии, о трудных поисках «места», о захудалых лавках, о том, как страшно потерять «рекомендации», и во мне крепло убеждение, что все это ждет и меня. И, размышляя о своих видах на будущее, я неизбежно возвращался к приятным воспоминаниям о том, как я царил, будучи первым учеником, и все чаще я спрашивал себя, неужто и мне не сыскать возможности получить стипендию и заняться наукой.

Возможно, я и сам по себе пришел бы к подобным мыслям, но меня подхлестывала фраза мистера Кея: «Я не встречал еще подобного мальчишки. Ну что из тебя выйдет?!» И в самом деле, что из меня могло выйти?

И неужто нет на свете другого Вуки, где у директора бумаги были бы в порядке?

Со второго года моего ученичества этот вопрос все больше меня тревожил. Пришел новичок, и я не был теперь самым младшим; ему достались приятные походы по другим лавкам и

прочим местам, которые дотоле выпадали на мою долю, и я теперь еще прочнее был прикован к магазину. (Этот новый ученик отличался простодушием, небрежностью манер, привычкой проглатывать слово «сэр», имел вихор на затылке и так застрял в моей памяти, что потом из этого зерна вырос Киппс, именем которого я назвал один свой роман.) Младшие ученики носили черные короткополые сюртуки, но со второго года уже с утра облачались в черные сюртуки с длинными фалдами, и в шестнадцать лет я получил это одеяние, удостоверявшее мою зрелость. Я начал обслуживать клиентов попроще. Обслуживал я их очень неважно. У Роджерса и Платта, которые были всего на год старше меня, все выходило куда лучше. А свертки у меня получались чудовищные.

«Займись этим, Уэллс», «Уэллс, вперед», «Кто-нибудь видел Уэллса?», «Зовут!», «Но вы не показали леди крашеного льна по шесть шиллингов три пенса! Молодой человек ошибся, мадам, у нас есть как раз то, что вам требуется», «То, что ты упаковал, развалится, прежде чем это донесут до дому». И у меня в ушах все громче и отчетливей звучал голос, подобный голосу Господа, повелевающего одному из своих пророков: «Брось ты это дело, пока не поздно! Любой ценой выбирайся отсюда!»

Какое-то время я никому не говорил о том, как жаждал вырваться на волю. Затем я попробовал поделиться этой идеей с моим братом Фрэнком, который был устроен на относительно приличной работе в Годалминге и даже жил не при хозяине, а снимал комнату. Я ездил к нему на Пасху и на Троицу, чтобы встряхнуться на праздники. «Но чем же еще ты можешь заняться?» — удивился он. Младший кассир в нашем магазине, по имени Уэст, получил некоторое образование и мечтал стать священником; он одобрял, что вечерами я урываю время для латыни. С ним я тоже поговорил. Я надеялся получить какой-нибудь совет. В конце концов меня осенила мысль написать мистеру Хоресу Байету в Мидхерст. Существуют ли в его школе младшие учителя? И не могу ли я быть ему полезен в этом качестве?

Он ответил, что, как ему кажется, от меня будет польза.

Но я был нанят на четыре года, а еще не отслужил и двух. Моя мать должна была заплатить за мое обучение пятьдесят фунтов и успела уже внести сорок. Она переполошилась, узнав, что я опять, видимо, остаюсь без работы. Она плакала, умоляла меня «еще постараться» — Фредди ведь старается. Мне бы помолиться хорошенько, и Господь придет на помощь. Я объяснил, что в такого рода помощи не нуждаюсь. Просто я понял, что, пойдя в суконщики, очутился в ловушке и намерен из

нее выбраться. Был призван отец, и поначалу он меня поддержал, а затем выступил против моего освобождения.

Но Байет готов был меня принять. Это и решило дело. Мой бунт получил реальное подкрепление. Мне предлагалось стать ассистентом-практикантом в грамматической школе; сперва Байет намеревался оставить меня совсем без жалованья, но затем решил назначить мне двадцать фунтов годовых, а через год увеличить эту сумму до сорока. Он верил в мою способность зарабатывать для него деньги, я оправдал его надежды сверх всяких ожиданий, и это прямо-таки воодушевило его.

Наступил решительный поворот в моей жизни; перед этим я был в полном отчаянье, связанный по рукам и ногам как договором, так и материнскими упреками. Я чувствовал себя загнанным кроликом, который вот-вот обернется и начнет кусаться. Загнанный кролик, который вдруг оборачивается и кусает, неизбежно должен удивить охотников и даже обратить их в бегство. Я открыл два принципа, которым оставался верен на протяжении нескольких лет. Первый: «Если тебе чего-то очень хочется, постарайся добиться этого, и к черту последствия». Второй: «Если ты недоволен своей жизнью, измени ее; не надо жить без надежды, ибо худшее, что может с тобой случиться, если только ты будешь биться до конца, это поражение, но поражение определяется лишь в финале, а финал — это смерть, и лишь она будет для тебя последней точкой».

В эти мрачные два года я, среди прочего, немало думал о главных жизненных принципах. Я взвешивал возможности того или иного исхода, и когда пригрозил самоубийством, чтобы поколебать намеренье матери воспрепятствовать моему освобождению, то лишь в результате долгих размышлений на берегу моря в Саутси и на набережной Портсмута. Я не считал, что самоубийство — это достойный выход из положения, но оно казалось мне все же меньшим злом, нежели примирение с жизнью. Холодное объятие быстротекущей темной глубокой воды в теплую летнюю ночь представлялось мне предпочтительней, чем перспектива бродить по улицам в поисках работы на исходе надежды. Но это, во всяком случае, от меня не уйдет. А иначе зачем изводиться, чтобы продлить свое существование? Если жизнь не хороша, зачем жить?

Возможно, я формулировал это не столь решительно в те годы и не с такой определенностью, но мысль моя тогда развивалась в этом направлении, во всяком случае, я начинал об этом подумывать.

Не могу сейчас восстановить в должном порядке этапы своего освобождения; не помню точно и того, когда я написал Байету. Но

ход событий ускорился благодаря какой-то ссоре, подробности которой я начисто позабыл. Случилось, что я проявил неповиновение, намеренно ослушался приказа. Надвигалась беда. Дело выходило за рамки компетенции Джей-Кея и должно было быть рассмотрено самолично Джи-Ви. Так или иначе, в одно утро я встал пораньше и, отмахав на голодный желудок семнадцать миль до Ап-парка, объявил матери, что больше терпеть не намерен и с мануфактурным делом покончено. Я думаю, бедняжка тогда только поняла всю силу переживаемого мною кризиса.

В «Тоно Бенге» я рассказал, как все это в точности выглядело и как я подстерег процессию слуг, поднимавшихся на Хартинг-Хилл по дороге из хартингской церкви. Я выскочил из буковых и папоротниковых зарослей на дорогу. «Ку-ку, мамочка!» — воскликнул я, бледный, усталый, стараясь обратить все в шутку.

Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит!

Я вспоминаю, какую я еще сумел, среди прочего, проявить неблагодарность. Когда под конец дело с моим договором было улажено, мистер Хайд вспомнил, что на носу летняя распродажа, когда от любого человека, даже неквалифицированного, есть польза. Может быть, я хоть на это время останусь? Но я неспособен был еще месяц провести в магазине — целых четыре недели! И наотрез отказался. Я и слышать об этом не захотел. До моей поездки в Мидхерст оставался целый месяц, каникулы кончались только в сентябре, но я уже предвкушал месяц запойного чтения. Я чувствовал, что уже на два года отстал от детей, учившихся в привилегированных школах. А я не желал от них отставать.

В моей памяти не угасает воспоминание о том, как я ехал в Мидхерст один в купе на перегоне от Портсмута до Питерсфилда, где предстояла пересадка. Мой неизменный чемоданчик стоял на сиденье передо мной. Мне не сиделось на месте, я пытался читать, но меня все носило от одного окошка к другому, и я вдруг почувствовал настоятельную необходимость выразить переполнявшие меня чувства в какой-то дикой пляске и в песне, полной непочтения к Мануфактурному центру в Саутси и в особенности к Джей-Кею (еще раз хочу повторить, что центр этот был из числа лучших, содержался в отличном состоянии, а Джей-Кей был превосходным человеком). Но эта песня и этот танец, под стук колес, к сожалению, теперь забылись.

> Нам не страшен старый Джей, старый Джей, старый Джей!
> Чертов парень был таков, был таков, был таков,

Чертов парень был таков, был таков, да, да!

Что-то в этом роде.

2. ХАМЛ и «Свободомыслящий». Проповедники и читальня

Эта глава в жизнеописании обычного человека средних способностей, появившегося на свет в последний период развития системы частного капитализма, призвана не только показать, как он, оказавшись непригодным для торговли, ощутил недовольство своим положением и спасся бегством; она должна осветить фазы, через которые он прошел, чтобы получить ясное и четкое представление о мире, нуждающемся в обновлении, и осознать необходимость его перестройки на путях, отвечающих нашей потребности в знании и счастье. То, что я приобрел в Ап-парке, осталось частью моей души и в эти два года, и в последующий студенческий период в Мидхерсте и в Лондоне. Растревоженная и жаждущая новых сведений кора головного мозга продолжала впитывать все, что помогало создать картину окружающей действительности и выделить в ней первостепенное. В нашем магазине в Саутси был один конторщик, Филд, который обратился к вере и проявил некоторый интерес ко мне. Он ввел меня в Христианскую ассоциацию молодых людей в Лендпорте, где были читальня и абонемент. Другой служащий, о котором я уже упоминал, по имени Уэст, гордился знанием теологии и интересно рассказывал о церковных службах. Воскресными вечерами, особенно зимой, я посещал церковные службы; в Саутси был один модный проповедник Высокой церкви, были пользовавшиеся признанием проповедники в католическом соборе и еще несколько вполне сносных проповедников, хоть и поскучнее, в других церквах и часовнях. На чердаке собирался также кружок сторонников отделения Церкви от государства; это были осторожные люди, втайне радовавшиеся, когда в церковь попала молния. Моему инстинктивному и неоформленному неприятию христианства пришлось пройти известное испытание.

Если не считать моего возмущения социальным неравенством и особенно обиды при мысли о том, что дети из более обеспеченных семей имеют возможность учиться в колледже, во мне не зарождалось даже начатков социальных, экономических или политических идей. В то время я и понятия не имел о социализме. У нас был свой «парламент», который собирался в читальне нашей ассоциации, и я регулярно ходил на его

заседания. Это было очередной пародией на палату общин, вроде той, что существовала в Кэмден-тауне и где блистал старший из Хармсуортов{74}. Наш парламент был заполнен честолюбивыми адвокатами, местными политиками, начинающими журналистами, овладевшими общепринятыми парламентскими выражениями, но все эти частности парламентской процедуры не укладывались у меня в голове, и я не мог разобраться в злободневных темах, вроде «превращения арендных прав в право собственности», «наша внешняя политика и Египет», «лишний пенни на подоходный налог», «лицензионное законодательство» и прочее. Меня раздражали разговоры, которых я не понимал. И при чем тут теология?

Я все еще желал докопаться до каких-то первооснов и пребывал в состоянии глубокой неудовлетворенности: ум мой был еще слишком неразвит, чтобы нащупать связь между основами жизни и текущей политикой. Мне все еще хотелось решить вопрос, как мне казалось, первостепенный: есть ли Бог, а если он существует, то христианский ли это Бог и какого рода? Если Бога нет, то на чем держится Вселенная и кто ею управляет? Когда она возникла и куда движется? К этому времени я уже кое-что знал из геологии и астрономии и обладал элементарным представлением об эволюции, но гипотезу о том, что кто-то «создал все это», с детства крепко внедрили в мою голову, и мне потребовалось много лет для того, чтобы обнаружить ее огрехи. Все эти вопросы представляли для меня гораздо больший интерес, чем желание понравиться Джей-Кею и получить хорошую рекомендацию по окончании моего ученичества. Смехотворный парламент для меня тоже оставался где-то в стороне.

Меня больше всего волновал вопрос о том, что будет, когда мое земное ученичество будет окончено. Проблема бессмертия казалась важнее, чем желание выйти в преуспевающие приказчики. Конечно, шататься без работы по набережной Темзы ужасно, но остаться бесприютным где-то в мировом пространстве куда страшнее. Насмешки над Троицей не отменяли идею Бога, а неверие в ад не исключало мысли о бессмертии. Я понимал, что, если б не плохая память, я сохранил бы представление о том, с чего не так давно начал жизнь, но мне непросто было предположить, что когда-либо меня ждет конец. Я пытался представить себе, что значит перестать существовать, но моего воображения на это не хватало. Со мной происходили странные вещи, как и со всяким в моем тогдашнем возрасте. Я, бывало, садился на постель в своей каморке, пытаясь отвлечься от внешнего мира и погрузиться в свое «я». Я лежал без движения, умоляя Неизвестное: «Заговори со мной. Подай мне весть!»

Когда меня посылали за покупками на Лендфордский мануфактурный рынок и я брел по закоулкам Саутси, мне попадался по дороге неприметный, но небезынтересный газетный киоск, где продавался еженедельник «Свободомыслящий». Каждый раз там печаталась забавная богохульная карикатура, которая отвечала моей склонности к насмешничеству. Я прямо набрасывался на него и, когда только средства позволяли, покупал себе экземпляр. Что касается религии, «Свободомыслящий» подтверждал мои худшие опасения, но оставлял открытым вопрос о моих отношениях со звездным небом.

Филд пытался спасти мою душу. Он был убежденный евангелист{75}. Воскресными вечерами он несколько раз приглашал меня на холодный ужин в свою семью, где я громко распевал со всеми гимны. Он заботился обо мне и советовал молиться об укреплении веры, но, наверное, я молился недостаточно усердно. Филд советовал мне читать те или иные богословские труды. Но они большей частью лишь углубляли мой скептицизм своими неубедительными возражениями на доводы, о которых я ранее и не подозревал. Возражения улетучивались из памяти, а доводы оставались. Одна из этих апологетических работ запечатлелась в моей памяти. Она привела меня в своеобразный восторг, и чувства мои разделил Уэст. Это была работа Драммонда{76} «Естественная история и духовный мир». Драммонд попытался сделать главные христианские догмы более приемлемыми, приводя примеры из естествознания. Непорочное зачатие он, к слову сказать, подкреплял ссылками на исследования по партеногенезу, а летнее размножение зеленых мушек привлекалось для доказательства внедрения Духа Святого в человека.

Как-то в период моего пребывания в Портсмуте мать написала мне, что пора пройти конфирмацию и стать членом Англиканской церкви. Я не внял ее словам. Тогда мистер Хайд вызвал меня в свой личный кабинет и сказал, что моя мать написала ему о том, что мне следует посетить портсмутского викария и пройти соответствующую подготовку. Я запомнил один визит к викарию. Должно быть, тогда мое ученичество уже завершалось, поскольку других визитов я не могу припомнить. Я сказал викарию, что верю в эволюцию и, основываясь на этой гипотезе, не могу понять, когда совершилось грехопадение первых людей. Викарий не согласился с моими доводами и предостерег против греха самоуверенности, но мне подумалось, что вера в Спасение есть самоуверенность ничуть не меньшая, чем его отрицание. И если было самоуверенностью

противопоставить мое личное мнение взглядам христианских святых, то еще большей самоуверенностью было противопоставлять свое суждение взглядам всех философов Китая, Индии, ислама и античности.

Эти вопросы всплывали и горячо обсуждались у нас в спальне после «отбоя», и так продолжалось до тех пор, пока Роджерс, ученик, за которым по старшинству следовал я, не поднял бунт, вскричав, что не в силах больше слушать такие богопротивные речи. Неприличие он мог еще вынести. Если оно остроумно. Но это же богохульство!

В моей памяти до сих пор жива одна картина того периода, когда скепсис мой в отношении христианства и его значения сильно обострился. Передо мной как живой встает популярный проповедник, которого я слушал воскресным вечером в портсмутском католическом соборе. Он был так называемым миссионером-«возрожденцем», и меня убедила пойти послушать его одна девушка из отдела готового платья, игравшая, как ей казалось, роль моей старшей сестры. Темой проповеди была великая заслуга Христа, который пожертвовал собой, дабы спасти избранных от ужасов ада. У проповедника был певучий, как флейта, голос и легкий иностранный акцент; на красивом, бесстрастном, бледном лице горели глаза, а движения рук проповедника были нервны и суетливы. Он был в экстазе. Он не щадил нас, живописуя все ужасы ада. Вся боль и страдания этой жизни, все отчаяние, которое мы испытали, о котором читали или которое можем вообразить, ничто перед единым мигом беспросветных адских мучений. И все в таком же роде. Ненадолго поток его речи увлек меня, но затем на смену этому пришло удивление и даже презрение. Словно вернулся мой детский кошмар — бог, крутящий адское огненное колесо, — да этим только десятилетних детей пугать!

Я разглядывал внимательные лица вокруг, спокойное серьезное лицо моей приятельницы, словоохотливого, бурно жестикулирующего проповедника на кафедре, такого серьезного, так точно рассчитывающего каждый производимый эффект. Неужели этот актер верит хоть единому слову из всех бредовых глупостей, которые он изливает на нас? Неужели кто-то способен в это поверить? А если нет, зачем он так старается? И чем объясняется явное удовольствие, которое испытывают прихожане вокруг меня? Что их привлекает? Я прозрел, и глаза, и мысли мои как бы впервые обратились к многолюдному собранию, на котором я сейчас присутствовал, в этом зале, освещенном газом и свечами, зале со стройными колоннами, сияющим алтарем, темным сводчатым потолком, зале, предназначенном вмещать в

себя потоки изливающейся на нас ужасающей чепухи. Меня охватил неподдельный страх перед христианством. Это была не шутка, здесь не было ничего занимательного, как это виделось «Свободомыслящему». Напротив, это устрашало, это касалось каждого. Мирных прихожан заставляли повергнуться ниц, и никто из нас не смел поднять голос протеста против угроз, которые обрушивал на наши головы этот субъект. Большинство из нас странным образом даже находили удовольствие в этой дребедени.

До этих пор мое сознание восставало против Бога в пуританском понимании, и это походило на поединок, но теперь все выглядело иначе, теперь я подвергся массовой атаке: на мою личность покушалась целая организация, имеющая множество сторонников, — Католическая Церковь. Я словно бы в первый раз понял, какую угрозу несут в себе эти странные, гладко выбритые люди в отороченных кружевом пышных сутанах, пытающиеся проникнуть в мою душу при помощи отработанных завываний и ритуальных жестов. В них было что-то пугающее. Они внушали людям отвратительную ложь, в которую нельзя было поверить, но никто не собирался, в отличие от меня, восстать против такой жестокости. Мне оставалось либо войти в эту огромную, светящуюся всеми огнями клетку и подчиниться, либо в открытую заявить, что Католическая Церковь — эта первооснова и квинтэссенция христианства, со всеми ее угодниками, святыми и мучениками, со многими поколениями ее приверженцев, — не заслуживает доверия.

В устах портсмутского викария слово «самоуверенность» прозвучало как бы между прочим, но теперь я осознал это как вызов. Мое неповиновение сводилось к утверждению, что доселе миром правило заблуждение и только сейчас мудрость начала проникать в головы забитых юнцов вроде меня. Как на это решиться?

Это и был тот ужасный выбор, перед которым поставила меня приятельница, который с присущим ему красноречием навязал мне коллега Уэст, когда после «отбоя» он присаживался ко мне на постель. У меня не хватило тогда ума сказать или даже признаться самому себе, что мудрость рождается заново с каждым человеком и что нет никакой самонадеянности в каждой попытке подвергнуть проверке прошлое.

Думаю, что именно эта вдохновенная фигура сладкозвучного проповедника породила во мне столь мощную волну неповиновения. Соборы убедительнее всего, когда они погружены в молчание или же эхом откликаются на музыку или человеческий голос, произносящий загадочные фразы. Католицизму выгоднее намекать, чем утверждать, и он, в общем,

так и делает, в речах же этого проповедника все приобрело плоскую прямолинейность и конкретность. Его красивые руки безуспешно пытались меня заворожить. Лицо и голос взывали ко мне напрасно. Я оставался неколебим; этот человек был актером, он старался получше исполнить свою роль. Если у него и хватало сил верить самому, то убеждать ему было не дано.

На моих глазах этот проповедник лишил Церковь со всей ее властью всякого ореола. Он испытывал страх и смирялся. Я же был бесстрашен и бунтовал. Он находил удовольствие в том, чтобы внушать другим страх, уча их смирению, он был с головой погружен в неправду, и я его презирал. Я не мог не презирать его. Не мог иначе к нему относиться, то, во что он верил, было неправдоподобно до невероятности. Неужели хоть кто-то, взыскующий истины, способен был в это поверить? И если я презирал его, не следовало ли отсюда, что презрения достойны и его единомышленники, способные ему поддаться?

Сомнение в его правдивости и презрение, которое я к нему питал, распространились на всю Церковь и на религию, символом которых стал он с его безудержными словоизлияниями насчет адских мук. Мне стыдно было сидеть там среди легковерных.

Когда человек научается видеть в идеях не просто отвлеченные понятия, а начинает различать их в архитектуре, обычаях, повседневном быте, это знаменует собой новую фазу в его умственном развитии. Прежде церкви и соборы были для меня лишь неоспоримой частью реальности, как мои собственные руки и ноги. Они казались мне неотъемлемой принадлежностью городского пейзажа, подобно тому как неотъемлемы от долины Темзы Виндзорский замок или Итонский колледж. Но портсмутский собор, может быть, потому что был сравнительно недавно перестроен, излучал энергию большую, чем дряхлые постройки, производил впечатление не столько здания, сколько некоего орудия, и притом орудия агрессивного. Он выполнял новую функцию, как и рассчитанный жест у проповедника; он тоже призван был внушать прихожанам страх перед адскими муками и тем самым держать их в подчинении. С той поры свою опасливую догадку насчет культовых сооружений и их истинной природы приводного ремня или мотора, готового вот-вот заработать, я перенес на многое в видимом мире. Я начал смутно подозревать, что все это лишь идеи, замаскированные и вооруженные материей. Но невозможно было просто сказать, что нет никакого ада, никакой Троицы и никакого искупления, и оставить все как есть; это было бы все равно, что объявить себя республиканцем или потребовать для себя равного права на образование как у других, и не прийти в столкновение с

Виндзором и Итоном. Они существовали, и не было смысла отвергать этот факт. Если я отрицал идеи, которые они воплощали, я должен был устранить их по меньшей мере с моего собственного пути.

С этой точки зрения мысли, которыми я был одержим, представлялись мне беспомощными, ничем не подтвержденными, притом, что они противостояли целой системе идей. Но они одолевали меня. Я чувствовал себя маленьким, робким, но упрямым.

Должно было пройти еще целых полжизни, для того чтобы я отчетливо понял: восставая против общепринятых идей, на которых все зиждется, необходимо представить план переустройства мира, основанного уже на иных началах, приемлемых для тебя самого, и тем самым прийти к представлению о такой системе человеческих отношений, при которой все привычное исчезло бы без следа. Но революция подобного масштаба выходила за пределы моего юношеского воображения, каким бы смелым оно мне тогда ни казалось. Я не принимал основ мира, в который пришел, но этим все ограничивалось. Понимание могущества структур, против которых я восстал, толкало меня к конформизму. Я был бунтарем, но бунтарем бессильным.

Я уже упомянул, что мой магазин гордился библиотекой для продавцов. Она состояла преимущественно из популярной беллетристики. Я взял себе за правило, которого придерживался на протяжении нескольких лет, не читать романов и не играть ни в какие игры. В этом не было, как может показаться, никакого снобизма. Просто мне очень хотелось учиться, времени у меня было в обрез, а я знал, что хороший рассказ может меня увлечь, подобно требующей искусства игре. Так что я не прикасался к книжному шкафу. Но были одна-две книги, сыгравшие для меня большую роль. Речь идет о компиляциях, возместивших мне недостатки тогдашней системы образования. Я не могу сейчас припомнить, что это были за книги. Это могло быть и «Популярное знание» Кассела{77} — наверное, я упомянул это издание Джеффри Уэсту, который тут же предположил, что я покупал его выпусками. Предположение его объясняется естественным стремлением автора к деталям, которые оживляли повествование. На самом же деле я никогда не покупал подобных выпусков. У меня для этого просто не было денег. Я склонен думать, что пользовался я компактным энциклопедическим изданием, выходившим в Эдинбурге, в солидной фирме Чемберса. Там были подробные очерки различных философских систем, обзорные работы по физике и биологии, сделанные, как мне

кажется, сведущими и добросовестными шотландцами.

Я запоем читал эти взвешенные и ясно написанные очерки. Они многое помогли мне понять и привели в порядок мои знания. Я тогда приобрел множество мыслительных навыков; я упражнял свой ум с помощью слов, фраз и концепций. Я научился соотносить такие понятия, как «субъективный» и «объективный», «пессимизм» и «оптимизм». Я размышлял (на весьма небольшом материале) над корпускулярной и волновой теориями света. Я задавался вопросом: что есть здоровье? Трудно поверить, что я ни разу не столкнулся с вопросом о противоречии между социализмом и индивидуализмом, пока в Мидхерсте не прочел Генри Джорджа{78}. Мой врожденный скептицизм колебался где-то между сохранением энергии и естественным отбором. Я научился четко различать пантеизм и атеизм, но толку от этого особого не было.

Я опробовал эти новые для себя идеи на Уэсте, Платте и на других. С Уэстом всегда можно было поспорить, но Платт не способен был прийти к какому-нибудь определенному выводу.

«Бог может быть всюду, — говорил Платт, — или нигде. Это как он сам выберет. И как бы там ни было, все равно нам надо до одиннадцати разложить по полкам эти проклятые отрезы кретона».

3. Пятое вступление в жизнь. Мидхерст (1883–1884 гг.)

Мидхерст всегда приносил мне счастье. Думаю, там тоже иногда шел дождь, но мне запомнились только солнечные дни. Грамматическая школа росла, построили жилое здание, в нем теперь обитали Байет с семьей и дюжина или даже больше пансионеров; неподалеку обосновался младший учитель Харрис, и уже при мне приехал третий из нас, Уайлдерспин, преподаватель французского и латыни. Я жил в одной комнате с Харрисом над маленькой кондитерской лавочкой у гостиницы «Ангел». Какое-то время до начала занятий я жил в этой комнате один.

В романе «Любовь и мистер Льюишем», в котором идет речь о том самом учителе из грамматической школы, коим я тогда был, рассказывается, как я приколол на стенке «Схему», где было распланировано, как мне надо с наибольшей пользой употребить свое время и возможности. Я педантичнейшим образом наименовал этот листок «Схема», вместо того чтобы назвать его просто «расписание». Каждый момент жизни имел свое назначение. Пока я бодрствовал, мне не полагалось ни минуты отдыха. Это, как и отказ от чтения романов и от игры, отнюдь не

означало, что я обладал сильным и сосредоточенным умом; напротив, показывало, что я чувствовал, насколько ум у меня рассеянный, невнимательный, а потому и нуждается в концентрации. Подобные усилия и самоконтроль не были средством подчинить себе мир, а всего лишь отчаянной попыткой избежать влияния улицы и магазинов. Я изо всех сил старался себя обуздать. Мы с Харрисом ходили на часовые прогулки, и по моему настоянию мы отмахивали за это время четыре мили. Мы двигались так быстро, что только и успевали не говорить, а перекрикиваться.

Моя хозяйка миссис Уолтон, владелица кондитерской лавки, была милая энергичная маленькая женщина, круглолицая, в очках, кареглазая, добродушная. Я ей бесконечно обязан. Платил я ей всего двенадцать шиллингов в неделю, но она меня хорошо кормила. Она любила готовить и кормить, и я впервые в жизни садился за стол с удовольствием. Она замечательно готовила тушеное мясо и потчевала меня сладким творогом со сливками и черничным или ежевичным вареньем. Благословенна будь ее память!

Я вел классы совместно с Байетом в самой большой классной комнате, он присматривал за мной и давал полезные советы. Он говорил вразумительно, все нужное умел разъяснить и во всем готов был помочь. Байет придерживался системы письменной подготовки к урокам, и его аккуратно написанные листки мне были очень полезны. Мне кажется, до того как получить диплом в Дублине, он был учителем младших классов, и его советы помогли мне управляться с малышами. Я был очень уж строгим учителем, и меня порою трудно было стерпеть, но я ведь был строг и к самому себе; я позволял себе раздавать тычки и затрещины, потому что ученики, как и я сам, предпочитали скорую расправу, но всякий раз, когда мне становилось известно о трудностях, с которыми приходилось сталкиваться моим подопечным, я облегчал их существование.

Самым блестящим из моих тогдашних учеников был «молодой Хорри», старший сын Байета; у него был быстрый и гибкий ум, и мои похвалы помогли ему уверовать в свои силы, кончить школу раньше положенного и получить стипендию, назначенную, если не ошибаюсь, фирмой готовой одежды. Полвека спустя он навестил меня в Истоне, когда он, окончив свою службу в Уганде, задумал купить дом в Эссексе; это был высушенный южным солнцем отставной колониальный чиновник, сэр Хорес Байет. Он держался со мной донельзя высокомерно, высказывал чудовищные идеи, полные имперских амбиций, и, хотя я тогда уже хорошо знал сэра Гарри Джонстона и сэра

Джеймса Кэрри и имел некоторое представление о том, в каких условиях живет колониальная Африка, я не смог пробиться сквозь его чиновничью сдержанность. Очевидно, он считал, что чем меньше радикал моего пошиба знает и рассуждает об имперских делах, тем лучше. В тот день ко мне на завтрак приехала из Лондона миссис Кристабел Макларен, решившая над ним подшутить и потому принявшаяся сверх всякой меры расхваливать Троцкого. Сэр Хорес был органически не способен увидеть в большевике человека, и было занятно наблюдать за тем, как усиливалась его к ней неприязнь. «Ну и парня ты вырастил», — сказала она, когда он ушел. Мы еще раз с ним встретились перед его смертью в 1933 году на обеде, данном городом в честь видных колониальных чиновников. Он по-прежнему поглядывал на меня с опаской. Насколько я знаю, больше никто из моих мидхерстских учеников не поднялся высоко по служебной лестнице.

Но добрую половину работы я сделал для Байета не как педагог, а совсем в ином качестве. Университетский диплом позволял ему организовать вечерние классы и давал право преподавать любой из тридцати с лишним предметов, предусмотренных планом Министерства образования и получать деньги по результатам экзаменов. Поэтому к трем или четырем обычным вечерним классам, в каждом из которых было человек по двенадцать, он добавил еще несколько, предназначенных специально для меня. По правде говоря, эти классы не давали должных знаний, там преподавались предметы, о которых он имел очень слабое представление или вообще понятия не имел, да он и не преподавал в этих классах. Процесс обучения состоял в том, что мне доставали хороший учебник, написанный специально для данных экзаменов, и я читал его в классе, а он тем временем сидел у себя за кафедрой и отвечал на письма. Именно таким путем я приобщился к физиографии, предмету, который явился попыткой Хаксли влить новую кровь в «Космос» моего старого друга Гумбольдта, к физиологии человека, физиологии растений, геологии, элементарной неорганической химии, математике и многим другим дисциплинам. В мае наступила пора экзаменов, и по их окончании Байету положено было получить по четыре фунта за каждого «отличного» ученика первой категории, по два фунта за каждого «хорошего» второй категории и в убывающих размерах за первую и вторую категорию «успевающих».

В результате мне удалось освоить весь спектр физических и биологических наук, освоить тщательно и глубоко, как того требовали письменные экзамены. Я проник в очень многое и с

большой легкостью, но кое-что потребовало упорной зубрежки. Помнится, например, какие усилия пришлось мне приложить, чтобы по старому изданию «Анатомии» Кирка с его плохими гравюрами, иллюстрирующими устройство отдельных участков мозга, освоить анатомию всего нашего мыслительного аппарата. Понять связь между желудочками, нервными узлами и соединительными тканями не так уж трудно, если идти последовательно от эмбриональной фазы развития, но с ходу штурмовать развитое мозговое вещество — да к тому же при отсутствии наглядных пособий и невозможности выяснить непонятное, это уже другое дело. Еще я помню, как нелегко было уяснить себе с помощью диаграмм и рисунков эксперимент с маятником Фуко{79}. А после гладкого введения в электричество я вступил в темный лес той части учебника Дешанеля, где речь шла об источниках энергии. Мое преувеличенное представление о собственной эрудиции уравновесилось сознанием, что на свете полно людей, которым ничего не стоит преодолеть препятствия, стоящие на моем пути.

Но во всяком случае, когда стали известны результаты экзаменов, я оказался достаточно подготовлен, чтобы собрать нужное количество отметок первой категории.

На беду хозяину, который был бы не прочь продержать своего раба лишний годик и выжать из него побольше, я сдал майские экзамены с таким блеском, что немедленно покинул Мидхерст.

Министерство образования было в это время не вполне удовлетворено уровнем естественнонаучных знаний в школах, рассеянных по всей стране, и задумало собрать эти разрозненные классы в единое учебное заведение, чтобы, взамен священников и латинистов, на которых оно опиралось ранее, выпускать хороших преподавателей научных дисциплин. Было решено провести экзамены и соответственно их результатам учредить некоторое количество мест для бесплатного обучения в Нормальной научной школе в Южном Кенсингтоне со стипендией — гинея в неделю — на период вступительной сессии и проездом за казенный счет в вагоне второго класса. Я прочитал эту официальную бумагу с некоторым недоверием, заполнил с трепетом, втайне от всех, графы анкеты, и немедленно был принят как «учитель-практикант» на годичный курс биологии у профессора Хаксли — великого профессора Хаксли, чье имя мелькало в газетах и который был славен по всему белому свету.

Байет разделил мое удивление, но никак не восторг.

Совсем незадолго до этого я появился в Мидхерсте счастливым, но еще помнящим недавнее отчаянье беглецом из торгового рабства; теперь я покидал его овеянный славой. Летние

каникулы я провел частью в Ап-парке, частью же с моим отцом в Бромли; я был уже не тем неприкаянным подростком, который, придя с натертыми ногами из Портсмута в Ап-парк, в отчаянье грозил самоубийством. Моя мать не пожелала омрачать мое счастье, но все же не сумела скрыть от меня, что слышала о профессоре Хаксли как о непримиримом безбожнике. Но когда я объяснил ей, что Хаксли — декан Нормальной школы, она успокоилась, поскольку никогда не слыхала о деканах-безбожниках{80}.

Впоследствии мать узнала больше о деканах. Я уже имел случай рассказать о ее простодушной вере в Провидение, Отца Небесного и Спасителя, согласно которой она, сколько могла, строила свою жизнь и жизнь своей семьи. Я догадывался о том, как поубавилась ее религиозность после испытаний, выпавших на ее долю в Атлас-хаусе, и потери «бедненького котеночка». Какова бы ни была природа ее веры, но в результате, хоть и заметно ослабевшая, она оставалась при ней. Я помню, как рыдала мать, когда я, взбунтовавшись, явился из Саутси и заявил об отказе пройти конфирмацию, но, я думаю, ее отчаянье имело под собой скорее социальную, нежели религиозную подоплеку. Я назвал себя «атеистом», а это слово звучало для нее непотребным ругательством. «Дорогой мой! — воскликнула она. — Не произноси таких ужасных выражений!» Но потом как верная протестантка она нашла для себя некоторое утешение. «Это все-таки лучше, чем подчиниться папистам. В любом случае лучше».

Она никогда не говорила о своей вере, разве что повторяла избитые фразы, но последние следы этой веры мало-помалу исчезали. В конце жизни ум ее казался плоским и тусклым. Она, как и раньше, ходила в церковь, но, думаю, не вкладывала в свои молитвы ни страсти, ни души. Ее мечтания приобретали все меньшую определенность и все меньшую связь с реальными обстоятельствами жизни, они были как рябь на воде, которая успокаивается, превращаясь в серебристую гладь невозмутимой пустоты.

Идея бессмертия потеряла для нее свою непреложность, и, я думаю, перспектива воскресения из мертвых стала ей не так уж желанна, как дело слишком уж хлопотное. И здесь сыграл роль Томас Хаксли. После ее смерти я нашел в ее окантованной медью шкатулке для рукоделья пожелтевший листок бумаги, исписанный ее угловатым наклонным почерком:

> Эти строки, сочиненные миссис Хаксли, были по просьбе покойного профессора Хаксли написаны на его могиле:

И если встреч не будет за порогом смерти,
И если ждет забвенье вас, молчание и мрак,
Не бойтесь, плачущие в ожидании сердцá:
В чертогах Господа Его возлюбленные спят,
И если пожелает Он, чтоб сон тот вечным был,
Да будет так.

4. Первое знакомство с Платоном и Генри Джорджем

Моей главной целью в Мидхерсте было впитывание знаний, которые могли бы пригодиться для экзаменов, но этим дело не ограничивалось. Теперь, когда мои религиозные сомнения разрешились и я пришел к своего рода деизму с его Первопричиной и Следствием, я осознал важность условий, пусть и не бесповоротно, но удерживавших меня в паутине определенных социальных отношений. Совершенно так же, как для меня явилось настоящим откровением, что католический собор в Портсмуте лишь мнимость, для меня стало открытием, что и Ап-парк — это мнимость, и лавок на улицах Мидхерста могло бы и не быть, как и фермеров и поденщиков в деревне. Земля в любом случае продолжала бы вращаться вокруг своей оси — существуй все это или сменись на что-то другое.

Я уже упомянул, что не помню точно, когда прочитал «Республику» Платона. Но это наверняка было до моей поездки в Лондон и в летнее время, поскольку мне запомнилось, как я лежал на травяном склоне перед искусственными, возведенными по моде XVIII века на вершине холма руинами башни, и любовался видом на Хартинг. Переведенные диалоги Платона были собраны под зеленым переплетом и, к счастью, лишены предисловия и комментариев. Они меня озадачили, заставили, продираясь сквозь них, листать книгу опять и опять, и только мало-помалу для меня прояснилось их огромное значение. Мне помогла в этом трудном занятии известная доля снобизма, во мне заключенная. Второй, правда куда менее значительной, книгой, которая тоже растревожила мой ум, стало шестипенсовое, в бумажной обложке издание «Прогресса и бедности» Генри Джорджа, которое я купил в газетном киоске в Мидхерсте. Оно было опубликовано какой-то налоговой организацией в качестве рекламной акции. Эти две книги дали толчок тому направлению мысли и потоку желаний, которые иначе бы угасли, не оставив следа.

Платон в особенности, чью могучую подспудную мысль я сумел различить за нагромождением скучных и не всегда

понятных слов, во всяком случае, непонятных для меня, сыграл в моей жизни роль старшего брата, сильной рукой поднявшего меня на ноги и освободившего из темницы социального примиренчества и подчинения привычным условиям существования. Я не могу понять, почему христианство и институты власти позволили Платону сохранить его интеллектуальное влияние и вознесли его, как мне кажется, над Святым Павлом и Моисеем. Почему не попытались замолчать его имя? Я подозреваю, что даже догматики так и не смогли избавиться от смутных сомнений и в каждом поколении находились умы, чуткие к ясной и честной логике Платона и Аристотеля и предпочитавшие их великую философию путаным догматам Отцов Церкви. Вот он, этот великий человек, подобный олимпийским богам, перед которым всякий просвещенный ум и всякий клирик низко склоняли голову в искреннем или вынужденном поклоне, человек, создавший произведения, полные разрушительной силы и истинного бунтарства — куда там моим темным блужданиям! До сих пор мой спор с религией был хоть дерзким и бунтарским, но все же двойственным, тайным, как и отношение к социальной системе, в которой я вырос и к чьей морали приспособился. Теперь же я поднялся до открытого признания новых идей, пришедших ко мне от Платона. Главная из них состояла в идее целиком подчинить экономический индивидуализм общественным интересам. Это было моей первой встречей с коммунистическим идеалом. До этого частная собственность была для меня чем-то совершенно естественным, подобно тому, чем монархия и Церковь были для моей матери. Я был настолько поглощен моим восстанием против монархии и Бога, что не сумел увидеть, как частный собственник во всем преграждает мне путь, диктует, чем я могу воспользоваться и насладиться, а чем не могу. Теперь же, когда перед моими глазами предстала нарисованная Платоном картина совершенно по-иному устроенного общества и появилась возможность сравнивать одно с другим, я начал задаваться вопросом: «По какому праву что-то принадлежит ему, а не мне? Почему эти люди все забрали себе? Почему все стало их собственностью и они лишили меня всех возможностей еще до того, как я появился на свет?»

Книга Генри Джорджа выглядела как лабораторный опыт, призванный подтвердить общую теорию; она была достаточно плоской, и его выпад против накопления земельной собственности, незаконного роста никак не заработанной земельной ренты и призыв к единому налогообложению, которое пошло бы на пользу обществу в целом, выглядели проще

простого. Выводы этой книги были доступны для понимания, и мне не составило труда развить их, несколько усложнив и добавив соображения, которые он упустил из виду. Это было все равно, как подвести связанные между собой математические примеры под общее правило. Не составляло труда перейти от утверждения Джорджа о неотчуждаемом праве всего общества на землю к еще более простой мысли о праве на земельную ренту и к расчету ее ставки. Я стал, если можно так выразиться, социалистом оскорбленных чувств — подобно миллионам моих ровесников в Европе и Америке. Нечто, мы не знали точно, что именно, но предпочитали называть это капиталистической системой с ее привычным характером отношений, неконтролируемой страстью к приобретательству, неравными возможностями, заедало наш век, о чем мы постепенно стали догадываться. Но по тем временам никто во всем мире не поднимался до мысли, что дело не в системе, а в ее отсутствии.

Только потом мне пришло в голову, что лишь по чистой случайности одни книги попадали нам в руки в Мидхерсте, а другие не попадали, почему до самого своего переезда в Лондон я даже и не слышал имени Карла Маркса. Я был домарксовским социалистом. Я читал кое-что о Роберте Оуэне{81}, кажется в читальном зале в Саутси, где изучал вышеупомянутое энциклопедическое издание, в котором излагались также идеи «Утопии» Томаса Мора, но саму эту книгу я прочел много позже, так что мое мировоззрение питалось только первыми ростками социализма. Я был за новое общество, но мне казалось совершенно ненужным разобраться как следует в устройстве старого и только потом начать планировать новое. Мне представлялось, что, когда придут новые порядки, хаос исчезнет сам собой. Только после года или больше работы в Нормальной научной школе я столкнулся лицом к лицу с марксизмом, но к этому времени я был уже достаточно умственно вооружен, чтобы по достоинству оценить его заманчивую, туманную и опасную идею переделки мира на основе одной лишь злобы и разрушения, именуемых «классовой борьбой». Развалить капиталистическую систему (которая никогда не была системой) было для напыщенного, самонадеянного и коварного теоретика марксизма панацеей от всех зол. Его снобистская ненависть к буржуазии приобретала характер мании. Обвинять других и злиться, что все не так, — естественное побуждение всякого человека, попавшего в беду. Маркс обратился к самым низменным из человеческих инстинктов, предложив свою нечестную и претенциозную философию, и самые активные из обездоленных охотно за ним пошли. Марксизм не несет в себе избавления от царящей

несправедливости и не является творческой силой. Перестройка человеческого общества неизбежна, она уже идет, а марксизм на ней паразитирует. Это ослабляющая разум эпидемия злобы, которой человечество оказалось подвержено в ходе сложной и трудной борьбы с обветшалым старым порядком на пути к его обновлению. Сегодня эта лихорадка трясет Россию. Нас же ждет истинная плодотворная революция, и все было бы куда легче, если бы Маркс не появился на свет.

К счастью, когда я бродил с Харрисом по пожелтелым аллеям и тенистым зеленым тропкам Мидхерста и делился с ним кипевшими у меня в голове мыслями о новом разумном обществе, которое, казалось, вот-вот придет, поскольку то, что ясно мне, должно проясниться и для всех остальных, я еще не подозревал об огромных разочарованиях, ждавших тех, кто уверовал в это общество. Мы — пара обтрепанных подростков в нескладно сидящей одежде — шли и говорили, говорили. У Харриса было серьезное лицо с точеным профилем краснокожего, и его участие в разговоре сводилось главным образом к тому, что он мне с рассудительным видом поддакивал. Или же он говорил: «В этом ты прав» и «А вот здесь я с тобой не согласен». Я рос «как на дрожжах», одежда вечно была мне коротковата, но, хотя вид у нас был не слишком-то презентабельный, положение спасали университетские шапочки с кисточкой, наподобие тех, что носили студенты Оксфорда или Кембриджа, они придавали нам, учителям грамматической школы, вид больших ученых.

Итак, с помощью Платона я приобрел представление об эре Разума, которая вот-вот должна была начаться. Не было человека, который больше меня верил в твердую поступь прогресса. Мне предстояло еще освоить элементарные правила поведения, я не имел понятия о том, как разнообразен ход человеческих мыслей и каких непохожих убеждений люди могут придерживаться. И я слыхом не слыхивал о такой заставляющей с собой считаться силе, как общественная инертность, я видел мир, каков он есть, я спустился с небес на землю, но взгляд мой был божественно бесхитростен: все, что было вокруг сложного, вскоре должно упроститься; исключения и неправильные глаголы должны подчиниться правилам, и все сведется к изъявительному наклонению. До социализма было рукой подать, а тогда все станут деятельны и счастливы.

Мой ум освободился, а взгляды приобрели здоровую простоту не только благодаря моему обращению к экономике. Меня также начали переполнять странные и возбуждающие мысли о сексуальной жизни. Сексуальные потребности росли во мне по мере того, как я становился смелее и крепче. Конечно, за

прилавками в Саутси говорилось немало непристойностей, но, подобно грязной болтовне моих школьных товарищей в Бромли, в них было больше смешного и любопытного, нежели привлекательного. Они не вызывали желания, скорее отвлекали от него. Вся эта не совсем безобидная пачкотня никак не совмещалась в моем сознании с невинным флиртом с девушками-ученицами и женщинами из числа продавщиц, чему, как и галантным формам ухаживания, я научился среди своих кузин в Серли-Холле. Женщинам из отдела готового платья полагалось иметь хорошую фигуру; они слегка кокетничали с учениками и проявляли к ним сестринское внимание, чтобы при случае заполучить кавалера, но подобного рода отношения никогда не доходили до поцелуев и объятий. Насколько я помню, «хорошая фигура» в те времена подразумевала тесный корсет, подбитый ватой, и высокую грудь, все это называлось «классические формы», но никак не напоминало пышногрудых Венер и Британий, которые впервые пробудили во мне сексуальность. Раскованная нынешняя молодежь не может даже вообразить, как основательно — от высокого, на китовом усе, воротничка до оборок на подоле платья — были скрыты от мужских взоров тогдашние женщины и какое сопротивление вызывала обнаженная натура в искусстве. Мужчины ходили в мюзик-холлы, дабы просто увидеть женские руки, ноги и формы, но у меня не было на это денег.

Чтобы проникнуть за все эти защитные сооружения и увидеть живое женское тело, надо было познать физическую любовь, но ни в Саутси, ни в Мидхерсте я ни разу не влюбился. Мать-природа не оставляла меня в покое и раздевала для меня во сне одну девочку-ученицу, которая казалась мне хорошенькой, а также продавщицу из отдела готового платья, официально считавшуюся моей «названой сестрой», но эта старая греховодница Природа обставляла сновидения таким числом условностей, преувеличений, ненужных деталей, что, встречая свои жертвы наяву, я начинал еще больше стесняться, зажиматься и кривляться. К тому же в Саутси женщины жили в одном крыле здания, а мы, мужчины и юноши, в другом, под неусыпным наблюдением. Так что похищение сабинянок и разврат вряд ли были возможны. Раз или два в Саутси или в Портсмуте меня пытались зазвать проститутки, но шиллинг карманных денег в неделю не может служить материальной основой подобной любви. В Мидхерсте у меня вообще не было знакомых женщин. У миссис Уолтон были две взрослые дочери, но она была постоянно начеку относительно жильцов, и мелкая игра в карты со старшей, за что ей попадало от матери, была единственной нашей

любовной игрой. Сколько бы природа ни вмешивалась, разукрашивая во сне наши отношения всеми цветами фантазии, в реальности они этим исчерпывались.

Однажды, впрочем, я продвинулся на шаг дальше к осуществлению своих желаний. Это было на Рождество в Ап-парке на танцах для прислуги, где собирались как старшие, так и младшие по званию. Там была кухонная девушка, которая с первого же взгляда показалась мне прехорошенькой, и я все танцевал и танцевал с ней, пока моя мать не догадалась приискать мне другую партнершу. Она была розовощекая, с влажными карими глазами и легко краснела. Ее звали Мэри, и так я к ней и обращался. Потом, в каком-то подвальном коридоре, ведущем к кухне (по-моему, я там ее подкараулил), она, прибежав, целовала меня и обнимала. Ничего большего между нами не было. Мы услышали, что кто-то идет по коридору, она в последний раз прижалась ко мне, поцеловала в губы и скрылась. Вот и все. На следующее утро я уже трясся в тележке по обледенелой дороге, ведущей к станции Роуленд-Касл, чтобы двинуться оттуда в Портсмут; это было еще затемно, а когда я в следующий раз приехал отдохнуть в Ап-парк, Мэри там уже не оказалось. Я никогда больше ее не видел, не смог узнать ее фамилии и куда она делась. Моя мать мне не сказала. Но я и сейчас чувствую, как бьется возле моей груди ее сердце, помню ее маленькую фигурку в легоньком желтом платьице, и кажется, что месяц-другой тому назад, когда я сидел за рулем своего автомобиля, я повстречал ее на Хемпширской дороге — бойкая такая, энергичная старушка.

Но после того случая я уже знал, что любовь — это не флирт и не грязь, и еще больше о ней возмечтал.

В Мидхерсте, когда я немного поумнел и взгляды мои стали не такими ограниченными, я начал острее ощущать свою сексуальную обездоленность. По всей Европе и Америке юноши и девушки чувствовали то же самое. Их сознание было не только изуродовано представлением о некоем людоеде в образе Божьем с его кошмарным адом, отягощено бесперспективностью нудной работы, на него еще влияют сексуальные лишения, поскольку молодым недоступны самые естественные из человеческих радостей. Этим их толкают к позорным и вредным подменам и всему, что служит вытеснению естественных влечений. Люди все позже вступают в брак, число брачных союзов сокращается, а противоречие между влечением и его конкретным удовлетворением растет, вызывая стрессы и раздражение. В том же газетном киоске по дороге в Лендпорт, где я от случая к случаю покупал «Свободомыслящего», я однажды обнаружил

«Мальтузианца», и номер-другой этого журнала послужили предметом наших разговоров с Платтом и Россом. Разбирательство Брэдлоу с Безант{82} в 1876 году помогло пролить хоть какой-то свет на завесу, окружавшую в Англии отношения между полами. Возможно, тенденция к установлению контроля над рождаемостью была сильнее, чем это явствует из конкретных фактов. Под влиянием платоновского утопизма и возрастающей сексуальности мое воображение пробудилось, и я начал спрашивать себя, чего ж я хочу от женщин. Я желал заключить их в объятия, и, насколько мог понять, они и сами ждали, что их обнимет мужчина. Я открыл для себя, что нелепость жизни миллионов и миллионов молодых людей по всему свету состоит в необходимости подавлять одолевающие их желания, в неспособности удовлетворять их открыто и радостно. Хватит ждать и мужчинам и женщинам! Лавины браков я не хотел. Я не собирался во что бы то ни стало жениться, напротив, у меня не было тогда ни малейшей тяги к домашнему очагу и детям. Мне хотелось только, чтоб ничто не стояло у меня на пути и я все бы узнал и понял самостоятельно; я не был сосредоточен на какой-нибудь определенной особе или каком-нибудь типе женщин. Я не был подвержен сентиментальным стереотипам, в отличие от большинства окружающих не считал, что привязанность нуждается в какой-то фиксации. В свободной жизни и свободной любви стражей платоновской «Республики» я как раз и обнаружил свой идеал, помогший мне систематизировать мои идеи. Тогда же я нашел себе союзника в лице Шелли с его концепцией свободного выбора{83}. Независимо от всего, что видел вокруг себя — законов, обычаев, социальных установлений, экономических условий, не исследованных мною особенностей женской психики, — я создал свой юношеский идеал свободной, целеустремленной, самоотверженной женщины, которая во всем бы мне подходила и шла бы своим путем, в то время как я шел бы своим. Разумеется, в жизни я еще не встречал такой женщины и даже не слышал о чем-либо подобном; я создал ее по своему разумению.

Таковы были мои фантазии о любви до того, как я столкнулся с реальностью. Они управляли моим поведением еще многие годы. Удивительно, сколь часто подобные тайные мечты влияют на наш выбор и как основательно мы уходим от мысли, что наши избранницы могут иметь систему представлений, отличную от нашей. Женщины-самураи из «Современной Утопии» (1905), самой платоновской из моих книг, полнее всего воплощают образ, который я создал в своем воображении в Мидхерсте.

Таковы, в общем и целом, были мои взгляды до того, как мне

исполнилось восемнадцать. Я проходил тот же путь, по которому быстрее или медленнее двигалась большая часть английских интеллигентов моего поколения, я шел в сторону религиозного скептицизма, социализма и сексуального рационализма. Я не имел понятия, что плыву в общем потоке. Самому себе я представлялся совершенно независимым существом, и только сейчас я понял, что миллионы умов шли в том же направлении. Одинаковые силы, влияющие на одинаковые организмы, дают одинаковый результат. Когда стая скворцов описывает круги в воздухе, каждой отдельной птице кажется, что она действует по своей воле, но это не так.

Зияющая прореха в обрисованном здесь мировоззрении должна быть совершенно очевидна для послевоенного читателя. Мне нечего сказать о моих мыслях касательно войны и международных отношений. Политическое мышление было во мне неразвито и замкнуто в пределах Империи. Флаги и солдаты, военные корабли и большие пушки уже виднелись тут и там на земных и морских просторах, но, до того как в конце века вспыхнула Англо-бурская война{84}, они не привлекали к себе внимания людей критически мыслящих. Я понятия не имел, что пушки уже стреляют, — разве что в каких-нибудь отдаленных нецивилизованных странах, в Афганистане, в Зулустане — или ведут огонь по уступающим им в численности батареям в Александрии{85}. Все это казалось таким же естественным, как горы, землетрясения, закаты. Это было где-то на заднем плане. До 1914 года происходящее не касалось повседневной жизни жителей Англии. Это была самая плотная, но отнюдь не единственная повязка на глазах либерально настроенных англичан прошлого века.

Ко всему прочему, я был совершенным невеждой в вопросе о том, как несправедливое экономическое устройство отражается на финансах. Да и какие тут финансы, если и десяти соверенов никогда еще не скапливалось в моем кармане и я ни разу не видел ни банкноты достоинством более пяти фунтов, ни чековой книжки. (Билеты Английского банка вызывали к себе тогда большое уважение, а на обладателя такого билета, когда он платил по счету, смотрели с подозрением, водяные знаки внимательно изучались, а владельца билета обычно просили расписаться и оставить свой адрес.) Мешочки с монетами и пачки бумажных денег, которые я относил в Портсмутский банк, ровно ничего для меня не значили. Я не догадывался, что деньги могут заключать в себе больше коварства, чем, скажем, меры длины или веса. Я либо не знал, либо не придавал значения тому, что, если ярд всегда точно соотносится с определенной частью метра, фунт,

франк, лира и доллар способны по-разному котироваться в отношении друг к другу, а их сравнительная стоимость самым печальным образом меняться. Да этого тогда и не происходило. Стоимость денег медленно, очень медленно падала, и товары дешевели.

В свое время я укажу и на другие прорехи и непоследовательности в сознании радикальных англичан конца девятнадцатого столетия, но те, о которых я уже рассказал, были самыми главными. Вы их обнаружите в воспоминаниях любого лейбористского лидера моего поколения.

5. Вопросы совести

В Мидхерсте я пережил знаменательный эпизод борьбы между чувством собственного достоинства и мудрым практицизмом. Я совершил поступок, больно ранивший мою гордость. Я встал на колени перед алтарем приходской церкви, склонил голову перед епископом, возложившим на нее руку, покорно и смиренно прошел конфирмацию и стал членом Англиканской церкви. Вы вправе отнестись к этому как к пустой формальности, но мне это представлялось в ином свете. Я ощущал себя словно ранний христианин, по каким-то разумным семейным соображениям согласившийся воскурить фимиам божественному Цезарю.

Но меня загнали в тупик. Байет узнал, что я не прошел еще конфирмацию, а по уставу грамматической школы каждый учитель должен был принадлежать к Англиканской церкви. Если мне предстояло, к нашей общей выгоде, поглощать, а затем изрыгать научные сведения, мне нужно было на это решиться. Я намекнул, что у меня «есть сомнения». «Мой дорогой! — взорвался Байет. — Не следует так говорить! Я дам тебе почитать „Свидетельство“ Пэли. Он тебя во всем убедит… И просто тебе следует понять, что так надо…»

И я понимал, что так надо. Во всем мире не было для меня другого дела, кроме того, за которое я взялся очертя голову в Мидхерсте. Отказаться от него было все равно что спрыгнуть с парохода посреди Атлантики. Мне следовало продумать все заранее. Если я откажусь, ответственность за мою судьбу снова ляжет на плечи матери. Чем старше я становился, тем слабее она мне казалась и тем менее хотелось мне ее огорчать. К великой ее радости, я согласился. Я думаю, в течение некоторого времени Отец Небесный снова выслушивал ее хвалы и сердечные изъявления благодарности. Байет позаботился о том, чтобы викарий без особой проволочки отдельно подготовил меня к

обряду конфирмации.

При более благоприятных обстоятельствах меня бы немало позабавили мои беседы с викарием, но я был тогда слишком расстроен и пришиблен необходимостью с ним соглашаться. Мы сидели за столом друг против друга при свете лампы у него на квартире. Это был приятный молодой человек с орлиным носом, звучным голосом священника, искренне старавшийся держаться подальше от темы нашей беседы. Но во мне взыграло упрямство, и мне захотелось заставить его высказаться. Я засыпал его вопросами о влиянии дарвинизма и геологии на Священную историю, меня интересовали точная дата грехопадения, природа ада, пресуществление, благодетельное действие божественной литургии и тому подобное. После каждого ответа я говорил: «Так вот во что я должен верить… Понятно…» Я не ввязывался в споры. Он был из людей, что легко краснеют, отводят глаза и чей голос тянется к верхам, едва возникает необходимость что-то разъяснить собеседнику.

— Это вопрос тонкий, — начинал он обычно.

— Но некоторых он может поставить в тупик. Мне бы хотелось знать, что им ответить?

— Да-да, конечно.

— Мне кажется, все это следует понимать в духовном смысле…

— Да, так лучше всего. Лучше всего. Я рад, что вам это ясно.

Орган заиграл, началась служба. Я поднялся к алтарю вместе с сидевшим во мне настоящим джентльменом моего возраста и встал на колени. Затем я причастился, получив маленькую облатку, символизирующую тело Господне, и испил подслащенного вина из чаши, содержащей, как меня уверяли, Его кровь. Вкус напомнил мне кусочек бисквита, пропитанного вином. В другой раз, чтобы доставить удовольствие матери, я повторил всю эту процедуру в Хартинге, после чего больше теофагией не занимался. От этих гомеопатических доз приобщения к вере мне было, как я успел заметить, ни тепло ни холодно.

Но рана, нанесенная моей гордости, не заживала еще очень долго, и мне нелегко было простить Церкви те ловушки конформизма, которые она расставила на моем пути к стремлению быть независимым и полезным членом общества. Я не уверен, что сумел до конца ей простить это даже сейчас.

Я запечатлел на этих страницах стыд и возмущение, которые вызвала у меня конфирмация, так как думаю, что странное и упрямое мое непокорство сыграло важную роль в моем развитии. Я и сам все это не до конца понимаю и тем более не могу как

следует объяснить. Что заставило меня придать такое значение случаю, когда мне пришлось прилюдно солгать? Я не был таким образцом правдивости, как Джордж Вашингтон{86}. Конечно, я не был и заядлым лгуном, но мог при случае и неплохо соврать. Мне было в чем себя упрекнуть и без того, чтобы мучиться угрызениями совести из-за какого-то одного греха. Я не имел каких-то иных, высших, принципов и убеждений. За мной не присматривал всевидящий боженька. И я не веровал в какого-то иного бога. Свои чувства я могу объяснить только тем, что, должно быть, по природе своей был способен на бескорыстие, почему и придавал своему неверию значение гораздо большее, чем собственной выгоде. В моем мозгу таилось что-то внеличностное, осуждавшее благополучие, достигнутое ценой сделки с собственной совестью.

Я изо всех сил старался смягчить этот конфликт с самим собой богохульными шуточками, чем начал даже немного пугать старину Харриса. Он, по его словам, не слишком верил в Бога, но все же считал благоразумным особенно с ним не ссориться. Харрис был человек бесхитростный; у него был большой нос и недоверчиво поджатые губы; по жизни он шел посмеиваясь, но с опаской, поскольку знал по собственному опыту, что Господь способен ни с того ни с сего вспылить. Он считал, что на меня в любой момент может обрушиться гром небесный и хорошо будет, если его самого минует такая же участь. «Не надо так говорить, не надо!» — твердил он. А потом меня отвлекли от всего майские экзамены, и в конце школьного семестра, после короткого пребывания в Ап-парке, до того как Южный Кенсингтон был готов принять меня, я пожил с отцом в Атлас-хаусе.

В Мидхерсте мой неразвитый ум был так поглощен усилиями выстроить для себя ясную и последовательную картину мира в главных его составляющих, картину, которая вытеснила бы из моего сознания религиозную ортодоксию, что я почти не обратил внимания на происходящее на моих глазах другое столкновение отвлеченных истин и реальных жизненных целей. Пока я прокладывал свой путь из протестантизма в одном направлении, мой старший коллега Уайлдерспин, который жил в школьном здании и не встречался постоянно со мной, был на пути к Риму.

Мидхерст принадлежит к числу английских городков, где еще с допротестантских времен сохранилась католическая конгрегация, и низкорослый католический священник порхал по улицам, готовый подружиться с каждым встречным молодым человеком, дабы обратить его в свою веру. В речи его проскальзывали двусмысленности, и это казалось мне отвратительным; он вкрадчиво навязывал вам свои шутки и

первый начинал смеяться жирным смехом; он принадлежал к школе так называемых веселых проповедников, которая старается показать, что между старой веселой церковью и этим проклятым, враждебным всякой радости пуританством нет ничего общего; поговорив и прогулявшись с ним разок-другой, я стал его избегать. Он поверил, что я, только-только прошедший конфирмацию, и в самом деле англиканец, и среди прочего затеял со мной спор о правомерности протестантских обрядов. Но что касается англиканской или католической обрядовости, я в равной мере не жаловал ни ту, ни другую. Я находился словно в иной галактике. Я разговаривал с ним сухо, потому что подозревал его в намерении извлечь какую-то выгоду из тех или иных моих широковещательных критических высказываний.

Но он поймал в свои сети Уайлдерспина, и тот исчез из Мидхерста в одно время со мной.

Годы спустя, когда у меня был свой дом в Уокинге, Уайлдерспин на несколько дней опять впорхнул в мою жизнь в качестве матерого странствующего католического проповедника. Он навестил меня и показался мне человеком неустроенным, нуждающимся и голодным. Очевидно, ему приходилось нелегко. Он рассказал мне, что, навещая католиков, попадает иной раз в места удивительные и однажды обнаружил мышиное гнездо в постели, которую ему предложили на ночь. У меня осталось впечатление, что он все еще удивляется своей жизни и правилам игры, которые добровольно для себя принял. Мы договорились, что он придет ко мне на обед, и меня поразило, с каким интересом он обсуждал со мной меню. Мы выбрали день, когда не было никаких постов. Он пришел. Мы плотно пообедали, поговорили о Мидхерсте, обсудили школу и мальчиков, посмеялись от души, как никогда раньше, выпили, покурили и расстались с теплым чувством. Очевидно, это было для него настоящей попойкой. Больше его я не видел и не слышал о нем. Может быть, веселье, царившее в моем доме, огорчило его, а еще вероятнее, что я принадлежал к числу людей, с которыми священнослужителю даже не очень строгих правил не пристало общаться.

6. Прогулки с отцом

Три года я почти не видел отца, и мне было интересно вернуться к нему и пообщаться с ним один на один и как бы на равных. В мои школьные годы он был гораздо выше меня, но сейчас я быстро его догонял. Мы стали закадычными друзьями. Атлас-хаус обветшал и опустел, сделался старее, грязнее, но мой

отец разбил свой бивак, если можно так выразиться, среди всего этого беспорядка и жил там припеваючи. Он хорошо, куда лучше матери, готовил в нашей подвальной кухне, заставлял меня мыть посуду и прибирать у себя в комнате, а что касается других сторон домоводства, то мы к ним как-то особого рвения не проявляли. Он сильно хромал и погрузнел, ходил, опираясь на толстую палку, но ковылял очень проворно. Был он лысый, голубоглазый, с розовым веселым лицом и бородой совсем как у царя Давида. Мои успехи и надежды на будущее приводили его в восторг, и он испытывал живой интерес к начаткам наук и философии, которыми я с ним делился.

Лавка наша была уже при последнем издыхании и не доставляла нам особых хлопот; единственное, на что еще был спрос, — это на принадлежности для игры в крикет. После чая отцу выгоднее было запереть лавку и послоняться вокруг крикетного поля. А если кому-то вечером очень уж хотелось прикупить что-нибудь из посуды, он барабанил в дверь до тех пор, пока подобное желание у него не пропадало. По воскресеньям же мы были совсем свободны и могли совершать далекие многомильные прогулки, завтракая по дороге хлебом с сыром, а то и холодным мясом.

Отец всегда любил книги, и сейчас ничто не мешало ему читать много и вволю. Он читал «Дейли ньюс» времен Ричарда Джефриса и Эндрю Ленга и «Лонгменс мэгэзин», когда там печатались Роберт Луис Стивенсон{87} и Грант Аллен{88}; он брал книги в библиотеке и покупал на распродажах. Мы постепенно сломали естественные в разговорах отца с сыном запреты на темы религиозные и политические и говорили все, что нам заблагорассудится.

В последующие годы я перерос отца в умственном отношении, хотя мы и продолжали оставаться добрыми друзьями, однако в его бромлейские годы мы еще были ровней, и если я превосходил его познаниями в одних областях, то он превосходил меня в других, так что нам было чем обменяться в беседе. В отличие от моей матери он имел живой ум. Не думаю, что с момента, когда мать окончила школу мисс Райли, ее осенила хоть одна свежая мысль; вынесенное из детства постепенно тускнело в ее сознании — вот и все. А отец учился всю жизнь. Он играл в шахматы по переписке с моей тещей, когда ему уже было сильно за семьдесят, и примерно в те же годы раскопал мои старые школьные учебники и занялся неизвестными ему прежде алгеброй и геометрией, без труда решая квадратные уравнения и задачи, пока ему это не наскучивало. Мои ученые занятия, а также Хадсон{89} и Грант Аллен подтолкнули его к тому, чтобы

освежить в памяти ботанику, которой он занимался, когда был садовником, и естествознание, не чуждое ему как человеку сельскому.

Отец превосходил меня во всех отношениях. Он обладал напористостью, быстротой реакции и интуицией крикетиста, он был от природы хороший стрелок и ловок в любой игре. В те дни мы принялись за шахматы, но если он играл спокойно, то я так нервничал и раздражался, что мы оставили это развлечение. Я без устали сражался с ним в шашки, наконец взял над ним верх, но на должной высоте не удержался. Все, что касалось полеводства, зеленых насаждений, птиц и зверей, он знал в мельчайших подробностях, тогда как мои сведения в этой области выглядели поверхностными или были вычитаны из книг. Лондон разрастался и постепенно поглощал поля, окружавшие Бромли, в них прокладывались новые дороги, кирпич и цемент скрывали под собой свежие зеленые луга, и еще, когда мне было лет пятнадцать-шестнадцать, бурая, говорливая Рейвенсборн, струившаяся под склоненными над нею деревьями, была внезапно заключена в дренажную трубу, но отцу удавалось находить и показывать мне сотни примет старого — трясогузку, гнездо синицы, зимородка, едва различимую невооруженным глазом форель под мостом, росянку в болотистой низине у Кестона, пыльцу, которая туманом поднимается над соснами, заросли папоротника-орляка (я тут же ухитрился вставить: «Pteris Aquilina»). «А потом мы пойдем по грибы в Кэмден, — говорил он. — Сейчас как раз грибная пора. Захватим с собой соли и будем есть их сырыми. Но никому не скажем, где тут грибные места». И когда мы приходили в Кэмден, шампиньоны уже ждали нас там — словно он вызывал их к жизни — белые пуговицы на торфяной подушке.

У него был какой-то особый дар, помогавший ему воскрешать природу в обрушившейся на пригород лавине урбанизма, подобно тому как ему удавалось выращивать виноград и заставить куст вейгелы цвести на нашем темном заднем дворе. В какой-то праздник, по-моему в Духов день, он, несомненно воспользовавшись льготным проездом, взял меня в места своего детства в Пенсхерст. Мы прошлись по парку в Тонбридже. Он хотел, чтобы я увидел, какую вольную жизнь он вел до того, как наша бедная лавка поработила его. Но он и сам был не прочь снова на это взглянуть и вспомнить прошлое. «Здесь мы играли в крикет — нет, вон там, немного подальше, — пока не темнело так, что и мяча не разглядеть. Сейчас здесь больше папоротника-орляка и меньше торфа». По дороге он рассказывал мне о прошлом наших родственников Дьюков и о своей сводной сестре,

о которой я до той поры и слыхом не слыхивал. Они вставали с восходом солнца и шли по траве, на которой еще не высохла утренняя роса, чтоб порыбачить до начала рабочего дня. Она была статная, сильная девушка, которую даже ему не удавалось обогнать. Он повторил это несколько раз. Из чего я заключил, что женщины нашей мечты были у нас во многом схожи. Он показал мне ее место в пенсхерстской церкви. Еще он много и с большим знанием дела рассказывал о том, как растет ива, как из нее изготавливают крикетные биты и как трудно научиться делать хорошие крикетные мячи. Это был великий день для меня и для моего отца.

До конца своих дней отец был счастлив и благодарен жизни. Человек непритязательный, он очень не любил выставлять себя напоказ. Он имел склонность упражнять свой ум и свое тело, биться над всякими хитрыми задачами. Но борьба за существование наводила на него скуку. То же можно сказать и о моем старшем брате Фрэнке. Нам с Фредом это тоже было свойственно, но жизнь обошлась с нами так неласково, так с первых шагов нас унижала, что нам оставалось только собраться с силами, изготовиться для битвы и, сжав зубы, бороться, побеждая себя, пока не удалось вырваться на свободу. Хорошо это было для нас или плохо?

Я склонен думать, что плохо. Ведь страсть к приобретательству и накоплению, расчетливость, стремление во что бы ни стало выбиться в люди одинаково чужды нам всем четверым. Это не в наших традициях, не в нашей природе, не в нашей крови. Мы способны хорошо работать, действовать в команде, но не умеем продавать, торговаться, ждать удобного случая, скупать вещи, чтобы со временем повыгоднее их продать, не умеем копить. В мире частной собственности мы ничего не заимели. Нас оттерли более предприимчивые. Сосредоточиться на этой стороне жизни для нас значило изменить самим себе. Мне повезло, поскольку у меня появились деньги. Я их сохранил, и мои дела тридцать лет подряд умело вела весьма сведущая жена. Но, думается, большие способности, которыми обладал мой брат Фред, были задавлены необходимостью копить деньги и вести торговлю.

В обществе, в котором жизненные блага достаются тем, у кого сильнее всего развит хватательный инстинкт и потребность урвать и сохранять то, что урвал, таланты моего отца и богатые юмор и воображение моего брата Фрэнка пропали втуне.

В мире конкуренции и приобретательства люди моего склада оказываются вытесненными на обочину людьми пробивными и ловкими. Одной из важных причин моей симпатии к социализму,

все более крепнувшей во мне, было более или менее осознанное желание опередить ловкачей и деляг и очистить мир для людей с чувством ответственности, честных, надежных и творческих. В своей книге «Труд, богатство и счастье человечества» я написал о некоем хлыще — типе, подобно крысе, мне отвратительном, от чьего приближения меня воротит. Я, естественно, предпочитаю людей своего склада и верю, что в конце концов мы восторжествуем, ведь людям дано одолеть крыс. Мы строители, и построенное нами будет стоять века.

Но на протяжении тысяч поколений, да и поныне, востроглазые, быстроногие, лезущие из всех нор крысы, куда ни глянешь, берут над нами верх, заселяют наши дома, пожирают нашу пищу, паразитируют на нас: они умело прячутся, шныряют взад и вперед, мешают нам существовать, реализовать наши способности, добиться поставленных целей, они отнимают у нас нам принадлежащее, губят миллионы хороших людей.

Отец окончил свои дни в маленьком домике в Лиссе, который я для него снял, а потом купил, и моя мать и старший брат поселились тогда вместе с ним. По мере того как я все больше начинал преуспевать, мне удалось мало-помалу улучшить положение семьи, разумеется, учитывая их скромные потребности; мой брат Фред, когда вернулся из Южной Африки, настоял на том, чтобы нести свою долю ответственности. Когда я восстал против рабства в мануфактурном магазине, мои вопли подействовали и на моего старшего брата, который не пожелал оставаться суконщиком. Он заимствовал свой идеал деревенской жизни из «Брейсбридж-холла» Вашингтона Ирвинга и поселился с моим отцом сперва в Рогейте, а потом в Лиссе и шатался по деревням, чиня часы, торгуя ими, сталкиваясь с самыми разными людьми и болтая с ними. Дело не слишком прибыльное, но для него интересное, и он чувствовал себя свободным человеком. Что-то от моего брата есть в мистере Полли — я говорю о характере, а не о сюжете книги. Отец по временам играл в «наполеон», а чаще — на биллиарде в клубной комнате в Лиссе. Мать сидела, мечтала, поглядывала из верхнего окошка на прохожих, писала чопорные письмеца нам с Фредди, одевалась все больше и больше как королева Виктория, посещала церковные службы и причащалась, хотя в Лиссе и пропускала вечерни, поскольку считала, что в них есть что-то от Высокой церкви — свечи, пышные одеяния священников, чтение нараспев.

В 1905 году как-то вечером мать поскользнулась на лестнице, упала, у нее случилось внутреннее кровоизлияние, и через несколько недель она умерла. Во время последней болезни ее затуманенный разум обратился к Мидхерсту, и она то

беспокоилась, как получше накрыть стол для своего отца, то считала петли воображаемого вязания. Перед смертью она впала в детство. В 1910 году мой отец проснулся очень бодрым, подробно растолковал домоправительнице миссис Смит, как приготовить пудинг с нутряным жиром, велел нарубить его помельче, а то куски получаются «с мой большой палец», просмотрел «Дейли кроникл», которую она ему принесла, и захотел встать. Он спустил ноги с постели и упал возле нее замертво. Для нашей семьи характерны сердечные перебои, сердце пропускает удар-другой и раньше или позже паузы увеличиваются, и наступает конец. Мой дед выглянул за калитку, чтобы полюбоваться закатом, и умер так же, как потом мой отец. Весной прошлого, 1933 года остановилось сердце у моего старшего брата; он поднялся из-за стола после завтрака, пошатнулся и упал мертвым. Но он умер рано; ему было только семьдесят семь, а мои отец и дед дожили до восьмидесяти двух. Мне ненавистна мысль оставить театр жизни, но, когда придет мой черед, я хотел бы умереть именно таким наследственным образом. Мне кажется, что, каковы бы ни были наши недостатки, умираем мы замечательно.

Глава V
СТУДЕНТ-ЕСТЕСТВЕННИК В ЛОНДОНЕ

1. Профессор Хаксли и биология (1884–1885 гг.)

День, когда я вышел из дома в Уэстборн-парке, прошел по Кенсингтонскому саду, отметился при входе в приземистое кирпично-терракотовое здание Нормальной научной школы и поднялся на лифте в биологическую лабораторию, принадлежит к числу великих дней моей жизни. Прежде все мои научные познания приобретались из вторых рук, а то из третьих или четвертых; я читал то одно, то другое, зубрил учебники, сдавал экзамены, но у меня оставалось чувство, что я нахожусь где-то далеко от реальных фактов и еще дальше от процесса исследования, ищущей мысли, определений и теоретических построений, которые и составляют плоть науки. До тех пор я имел дело только с не удовлетворявшим меня текстом учебников, часто очень плохо и небрежно написанным и невразумительно проиллюстрированным. Теперь же по воле случая у меня появилась возможность соприкоснуться со всем, о чем я прежде только слышал. Здесь были микроскопы, препараты, макеты, мастерские иллюстрации, близкие к предметам, который они отражали, образцы, музейные экспонаты, научные дискуссии. Здесь я был в тени Хаксли, тонкого наблюдателя, способного к широчайшим обобщениям, великого педагога и способного все прояснить полемиста. Я был записан на его курс введения в биологию, а потом зоологии.

В своем очень правдивом рассказе «Препарат под микроскопом» («Желтая книга», 1893) и в столь же тщательно следовавшем правде жизни романе «Любовь и мистер Льюишем» (1900) я показал материальные и социальные условия работы тогдашней биологической лаборатории. Эти истории написаны по следам событий и гораздо ближе к ним, чем нахожусь теперь я, поэтому я не собираюсь их здесь пародировать или же цитировать. Но я должен попытаться с грехом пополам показать, насколько расширился мой кругозор после того, как я перешел от заключенных в переплеты печатных страниц к короткому знакомству с реальностью и как этот круг знаний помог мне осмыслить мир.

В те дни обе части описательной биологии, ботаника и зоология находились на одинаковом уровне; они как раз перешли от элементарной классификации к морфологии и филогенезу.

Сравнительная физиология и генетика не проникли еще в сознание обычного студента-биолога. Видимо, они должны были ждать своего часа, а пока им предстояло утвердиться на древе филогенеза, родовом древе жизни, чтобы потом выйти на авансцену науки. Филогения беспозвоночных не находилась еще на стадии безумных гипотез, морфология растений ограничивалась аккуратной демонстрацией возрастающей зависимости оофоры от спорофоры, и даже сам факт эволюции не был общепризнан. Потому и механизм эволюции оставался полем безответственных рассуждений. Идеи Вейсмана{90} с его отрицанием наследования благоприобретенных свойств получали все большее распространение. Нашим же основным предметом было скрупулезное изучение позвоночных, их эмбриологии и последовательных форм развития. Мы считали своей особой задачей определить связь между разнотипными особями через как можно более подробное изучение их структуры. Доступные окаменелости, подтверждавшие эти теории, составляли лишь десятую часть от тех, что находятся в нашем распоряжении сегодня, зародыши — еще меньшую часть, но мы, совсем как теперешние студенты, горели жаждой открытий, стремились пополнить или уточнить наши знания, расширить свои горизонты, залатать дыры в эрудиции и решить головоломки, которые и по сей день встают перед студентом-биологом.

В этот год я трудился со всем усердием. Я работал на верхнем этаже Нормальной школы, или Королевского научного колледжа, как его сейчас называют; этот этаж используется ныне в иных целях. Помещение лаборатории было длинным, с окнами, выходящими на факультет искусств, там стояли рабочие столы, оборудованные стоками, кранами, полками с препаратами, над которыми висели таблицы и зарисовки срезов. На столах были расставлены микроскопы, реактивы, разделочные лотки и лежали образцы тканей или животные для препарирования, смотря по заданию. Мы записывали свои наблюдения в тетрадях. На дверях были черные доски, на которых лаборант Дж.-Б. Хоуэс, впоследствии профессор Хоуэс, набрасывал своей поразительно быстрой рукой цветными мелками учебные рисунки. Это был бледный чернобородый нервный человек, своего рода Свенгали{91} в очках; подвижный, живой, ни на минуту не застывающий на месте, он ни в чем не был похож на крепкого, основательного и медлительного профессора, своего шефа. Сам Хаксли читал лекции в маленькой квадратной аудитории, расположенной амфитеатром и примыкавшей к лаборатории; по стенам там шли черные полки, заставленные скелетами млекопитающих и черепами, нужными, чтобы показать их

гомологию, восковыми изображениями зародышей цыпленка и тому подобным. Хаксли мне запомнился желтолицым стариком с квадратным лицом, карими глазами, поблескивающими под высоким лбом, зачесанной назад седой шевелюрой. Он читал лекции ясным твердым голосом, без спешки и не слишком медленно, поворачиваясь к черной доске, висевшей у него за спиной, чтобы начертить схемы, и всегда, прежде чем вернуться на кафедру, брезгливо стряхивал мел с пальцев. Вскоре он заболел, и после небольшой заминки Хоуэс занял его место на кафедре; неловкий, раздражительный, он читал лекции с блеском, увлеченно рисовал и чертил на доске и оставлял после себя доску всю исчерканной. Позади лекционной комнаты была драпировка, отгораживающая ее от выставки беспозвоночных. Мне рассказывали, что, когда Хаксли читал лекцию, занавеска иногда слегка раздвигалась и из-за нее появлялся Дарвин и садился послушать своего друга и союзника. В мое время Дарвин уже умер, но незадолго перед тем, всего лишь год-полтора назад (в 1882 году).

Это были два великана. Они мыслили смело, просто и последовательно, доказательно, они говорили и писали бесстрашно и ясно, они жили достойно и скромно; это наши великие освободители. Жаль, что столько сегодняшних молодых ученых, ведать не ведающих об условиях, в которых развивалась научная мысль начала XIX века, и стоящих на земле, отвоеванной для них этими гигантами, находят извращенное удовольствие в том, чтобы принизить их. Конечно, в тысячах отношений работа Дарвина и Хаксли остается незавершенной, они выдвинули множество неподтвердившихся гипотез, и всякие господа Верхогляды, использующие обширные данные современной науки, способны уличить их в несовершенстве, тысяче мелких ошибок и даже неверных теоретических построениях, впоследствии отброшенных и опровергнутых; чего проще зарабатывать себе репутацию, провозглашая с кафедры или на страницах реакционной печати, что Дарвин заблуждался, а Хаксли — это вчерашний день. Предоставим же мистеру или миссис Верхогляд радоваться сознанию, что он (или она) узнали какие-то вещи, о которых Дарвин понятия не имел, и рвать в клочья гипотезы Хаксли! Маленькие люди всегда будут стоять на плечах гигантов, а только что вылупившиеся птенцы пачкать гнезда, в которых появились на свет. В распоряжении Дарвина и Хаксли была примерно сотая доля фактов о мутациях и изменчивости хромосом, доступных мистеру Верхогляду. Но это нисколько не умаляет их величия. Они так прочно обосновали и проиллюстрировали теорию органической эволюции, что даже

полемисты со стороны Римской Католической Церкви при всей их враждебности вынуждены были умолкнуть и заявить, что Церковь всегда знала о существовании эволюции и месте человека в природе, подобно тому как она всегда знала о месте Солнечной системы в мировом пространстве. Если она не высказывалась на сей счет, то лишь потому, что ее не занимали такие мелочи, хотя тут же припоминается случай с англиканским епископом Уилберфорсом{92}, воскликнувшим: «Стало быть, обезьяньи потомки! Что ж, похоже!» Дарвин и Хаксли для своего времени в своих масштабах принадлежат к той же аристократии духа, что и Платон, Аристотель, Галилей, а в душе человеческой найдется отклик, пусть нерешительный и подавляемый, на твердое слово правды.

Хаксли читал биологию как строго научный курс. У него не было иной цели, кроме как расширить и уточнить наши знания. Я никогда не слышал и не думал о каком-либо практическом применении сведений, которые мы получили за этот год, и все же гигиенические и экономические преобразования, к которым привело развитие биологической науки за последние сорок лет, огромны. Однако к условиям нашего обучения это все не имело ни малейшего отношения. Целый год я ходил обтрепанный и становился в этом смысле все неприглядней. Я был хил, жил в бедности, но это ничего не значило для меня в сравнении с открывавшимися передо мной жизненными перспективами. Работал я на износ, и год у меня выдался еще более счастливым, чем в Мидхерсте. Мне мешала несистематичность моего образования и плохая общая подготовка, но тем не менее я оказался одним из трех сдавших экзамен по зоологии по первому классу.

Первый класс в Нормальной школе означал, что вы получили более восьмидесяти процентов отличных отметок; наравне со мной прошли еще два студента: Мартин Вудворд, выходец из широко известной семьи биологов (он потом утонул, выискивая образчики морской фауны у западных берегов Шотландии) и А.-В. Дженнингс, сын владельца лондонской частной школы, с которым я завязал крепкую дружбу. Все остальные попали во второй класс или совсем провалились.

Дженнингс был единственным человеком, с кем я подружился в первый год. Он был примерно годом старше меня, стройный, одетый в серое молодой человек, румяный, с вьющимися черными волосами; он получил хорошее классическое образование и, хотя не был так широко начитан, как я, все свои знания усвоил куда как крепче. Он был отличный студент. Ему нравились мои богохульства и мое несоблюдение приличий в разговоре, и он

принимался в таких случаях одобрительно хихикать, а когда мы преодолели мою застенчивость, то начали обсуждать религию, политику и науку. Я многое узнал от него и порядком пообтесался, избавившись в общении с ним от многих предрассудков. Впервые в жизни я соприкоснулся в Южном Кенсингтоне с умами, не уступающими моему и к тому же лучше отшлифованными, так же, как и я, пытавшимися докопаться до смысла жизни. Это помогло пробить скорлупу моей опасливой и тщеславной сдержанности.

Раз или два Дженнингс проявлял обо мне заботу; я запомнил это на всю жизнь. «Учителя на переподготовке», обучавшиеся в Нормальной школе, получали пособие — гинея в неделю, что даже по тем временам было очень мало. После того как я платил за комнату, завтрак и тому подобное, у меня оставались только шиллинг-другой на обед. Деньги платили по средам, и нередко я оказывался на мели уже в понедельник или во вторник, так что от завтрака до ужина, которые я получал дома, проходило целых девять часов, и все это время я ничего не ел. Дженнингс это заметил и заметил также, что я все худел и слабел, и чуть ли не силой затащил меня в ресторан, где угостил невероятно плотным обедом — мясом с двумя овощными гарнирами, кружкой пива, сладким рулетом и куском сыра; это был настоящий пир; мы разделили его по-братски, и он навсегда запечатлелся в моей памяти. Дженнингс хотел его повторить, но я воспротивился. Во мне была какая-то дурацкая гордость, я отвергал непрошеные благодеяния, а то он бы часто меня подкармливал. «Так мы будем соревноваться на равных», — уверял Дженнингс.

В конце этого вдохновившего меня года у меня зародилась слабая надежда, что я и дальше посвящу себя зоологии, но на кафедре не было вакансий. Мне так нравился этот предмет, что, наверно, я достиг бы в этой области немалых успехов. Основа у меня была неплохая, и я мог бы двинуться дальше, стать профессором зоологии, если бы только мне удалось осуществить свои планы. В моем образовании существовали пробелы, но я способен был их восполнить. Я убежден, что по-настоящему заинтересованные студенты (а остальные просто не стоят внимания; им в науке не место) должны пользоваться в университетах и колледжах полной свободой в выборе предметов и наставников. Но, во всяком случае, мои успехи в первый год обучения произвели должное впечатление на отборочную комиссию, и я был в качестве учителя, проходящего курс усовершенствования, определен на второй, а потом и на третий год обучения в этом колледже — туда, где были вакансии.

2. Профессор Гатри и физика (1885–1886 гг.)

На беду, в Нормальной научной школе такой профессор Хаксли был в единственном числе, и курс, который мне теперь предстояло прослушать, привлекал меня куда меньше, чем тот, что я слушал в первый год, и не так расширял мои познания. Во мне угасли интерес и любопытство, и я не способен был с прежним рвением броситься на освоение нового предмета. Я страдал от резкой перемены, и это отвлекало меня от дела. Чуть ли не с первого момента я вступил в конфликт со своими профессорами и наставниками.

Мне сейчас понятнее, чем прежде, что мгновенно превратило меня из жаждущего знаний и усердного студента, каким я был в первый год, в капризного, раздражительного, неугомонного вечного бунтаря, утомительного в своем бунтарстве. Этот период я только сейчас начинаю осмысливать и представлять себе как логическое продолжение своей жизни.

В учебном заведении, куда я попал, существовали большие недостатки, не говоря уже о непоследовательности самой системы преподавания. Я не имел тогда понятия о том, что именно раздражало и не устраивало меня, и едва ли понимал грубую примитивность преподавателей, на которую реагировал, да и саму природу своих реакций, но для меня началась полоса унижений и разочарований. Я не жалуюсь: унижения, разочарования, пустая трата энергии — всего этого не избежать на стадии слепых поисков и перемен. Удивительна не эта смутная полоса, в которую я вступил, а полоса везения в Мидхерсте и у Хаксли между 1883 и 1885 годами, светлый период, который придал мне силы, укрепил веру в себя и вооружил ослиным упорством в преследовании своих целей.

Нормальная научная школа и Королевская горная школа, если припомнить полное тогдашнее название этого учреждения, была квадратным внушительным зданием на Эксибишн-роуд. Когда я, худущий, лохматый мальчишка, просунулся со своей черной сумкой в его двери, у меня возникла мысль, что наконец-то я буду защищен и руководим. Я чувствовал то, что и должен чувствовать молодой гражданин цивилизованного общества по отношению к государственным образовательным учреждениям. Я работал упорно, выполнял положенное и считал, что мне предоставлена возможность показать, на что я способен, а затем использовать свои возможности на пользу себе и обществу. Я думал, что Нормальная научная школа знает, что со мной делать. Только после первого года учебы у меня зародилось подозрение, что Нормальная научная школа, подобно другим явлениям

цивилизации на ее сомнительной стадии, ведать не ведает даже того, что ей делать с самой собой. Это был просто набор предметов. И к тому же поспешно подобранных. Их объединяло только большое здание красного кирпича.

Нормальная научная школа была порождением тех хаотичных и судорожных атак на аристократическое национальное наследие XVIII века, которые невольно предпринимала нарождающаяся современная мировая цивилизация. На протяжении всего девятнадцатого столетия делались масштабные попытки поднять уровень народного образования, приобщив учащихся к достижениям современной науки и экспериментальной практики. Уже в пятидесятые годы Хаксли бился, доказывая значение биологии. Это встречало сопротивление со стороны церковников, правящей аристократии и приверженцев того, во что выродились средневековые университеты. Образовательная система создавалась медленно, преодолевая препоны, и оказалась в результате урезанной, искаженной, уродливой.

Правящие круги признали практическую необходимость введения технического и естественного научного обучения раньше, чем оценили возможности нового научного знания. Подобно тому как реакционеры открыли дорогу начальному образованию, лишь догадавшись, что это только поможет подготовить квалифицированную рабочую силу, они санкционировали организацию научных школ исключительно при условии приносимой ими непосредственной пользы.

Образовательные учреждения, сгруппировавшиеся в Южном Кенсингтоне и известные ныне как Имперский колледж науки и технологии, поднимались к жизни на базе чисто технической школы, которая была обязана своим созданием панике, разразившейся в Англии после небывалого успеха Большой выставки на континенте в 1851 году. Первоначально школа располагалась в музее практической геологии (заметьте уничижительный термин «практической») на Джермин-стрит и носила название «Государственная школа горного дела и прикладных наук». Позднее к этому присоединилась химическая школа, появился преподаватель минералогии, а затем были созданы физические лаборатории; мало-помалу колледж был преобразован в южнокенсингтонскую Нормальную школу, предназначенную для подготовки учителей естественно-научных дисциплин, с опозданием внедрявшихся по всей стране (1873–1881). Школа продолжала вбирать новые предметы и расширяться. Сегодня она превратилась в беспорядочное скопление зданий без какого-либо видимого центра, общей задачи и объединяющей мысли. Она стала составной частью

разбросанного по городу монстра, именуемого Лондонским университетом.

Узкий уровень мышления практического деятеля, основанный на беспорядочно нахватанных знаниях, на представлении о жизни как цепи сиюминутных задач, неосознанных побуждений и абстрактных обобщений, да еще и с примесью страха, укоренившегося перед свободной ищущей мыслью, до сих пор в сотнях случаев ощущается в построении и методах работы этой громоздкой организации. Принципы ее, за которые она дерется, — это стремление к тщательной разработке частностей, технический крен в сочетании с нежно лелеемой безграмотностью и первобытным безразличием к общим вопросам. В Южном Кенсингтоне вам по-прежнему с гордостью скажут: «А мы не какие-то литераторы» — и выразят обеспокоенность тем, что в их стены грозит проникнуть гуманитарная зараза. Идеальный выпускник Имперского колледжа — это по-прежнему профессионал в области физики, химии или электромеханики, совершенно лишенный социальных амбиций, оригинальной мысли и способности выходить за рамки своей дисциплины. Конечно, тяготение технического образования к чистой науке и общественным интересам неискоренимо, так что и Южный Кенсингтон волей-неволей вынужден служить целям подлинно университетского образования, делая многих своих технократов нормальными людьми, да и теснят вырвавшиеся на авансцену другие научные центры. Но доселе эта тенденция встречает упорное сопротивление.

К моему счастью, Томас Хаксли, человек смелой, последовательной, философски направленной мысли и дальновидный, стал в шестидесятые — семидесятые годы влиятельной фигурой в департаменте науки и искусства и Южном Кенсингтоне и оказался способен не только создать «физиографию», общий очерк естественных наук, и сделать ее предметом изучения в вечерних классах по всей стране, но и имел неограниченную свободу преподавать Науку жизни в Южном Кенсингтоне. Впрочем, эта свобода подразумевала такую же полную независимость его коллег, и каждый из них, не оглядываясь на других, строил свои курсы, исходя из собственных склонностей и представлений о требуемых результатах.

Так что читавший физику профессор Гатри, в распоряжение которого я попал, скатившись с верхнего этажа Нормальной школы на самый нижний, был ни в чем не похож на декана. Это был скучный, медлительный, рассеянный бородач, словно вечно сонный и не осознававший действительности. Он казался мне тогда очень старым, хотя ему исполнилось всего пятьдесят два

года. Я только через несколько лет узнал, что делало его таким медлительным и неповоротливым. Он был болен, ему оставался год жизни, он страдал раком горла, и, хотя диагноз не был еще поставлен и никто ничего не подозревал, его постепенно покидали жизненные силы — обстоятельство, еще добавлявшее беспросветной скуки к его лекциям.

Но и безотносительно к болезни лектор он был никудышный. Курс биологии, который я перед этим прошел, был очень живым, основанным на стремлении увидеть жизнь как единое целое и рассмотреть ее ясным взглядом, вглядеться в нее, понять все ее взаимосвязи, выискать ее истоки, ее суть, ее функции и цели. И, насколько я понимаю, задача хорошо прочитанного вводного курса физики состоит в том же, хотя речь идет на сей раз о неодушевленных предметах; надо описать объекты чувственного восприятия, прояснить восходящую к Средневековью терминологию, касающуюся понятий пространства, времени, силы, сопротивления, изучить теоретическим и опытным путем Вселенную и таким образом подвести нас к самой грани непознанного в природе вещей. Но Гатри и до того, как заболел, был лишен потребности вопрошать мир, что отличает живой ум настоящего ученого. Гатри больше всего помнят как основателя Физического общества. Его собственные работы не имеют первостатейного значения. Профессиональный ученый — не больше; ведь человек науки не обязательно является истинно ученым, как профессиональный священник не обязательно принадлежит к числу истинно верующих. Гатри, по чести говоря, даже плохо выстраивал факты. Он не произнес ни слова, которого нельзя было сыскать в учебнике, и его лекции дополнял его ассистент профессор Ч.-В. Бойс, белокурый, с невнятной речью молодой человек, славившийся своим умением обращаться с лабораторными приборами. Бойс преподавал термодинамику. Мне тогда казалось, что худшего педагога не сыскать — отворачиваясь от гудящей аудитории, он адресовался к доске и, пробежав вскачь часовую лекцию, прятался в лабораторию.

Его черед пришел в то время, когда я уже научился пропускать мимо ушей лекции по физике. Я и пропустил их — от начала и до конца. Если Гатри был для меня слишком медлителен, то Бойс — слишком тороплив. Гатри оставил у меня впечатление, что я и без него знаю физику и, пусть даже что-то меня местами занимает, предмет этот не стоит изучения. Бойс промелькнул на периферии моего сознания, заронив во мне неутешительную мысль, что существует целая область поразительных вещей, к которым у меня нет отмычки. Я еще пребывал в раздражении от этого запоздалого открытия, когда

учебный год подошел к концу, и, несмотря на то, что я не справился с аппаратурой, о чем будет еще сказано, сделал кое-какие ошибки и в результате потерял в оценках, я все же оказался среди первых сдавших экзамены по второму классу. Это не поколебало моего новоиспеченного убеждения, что в физике я ничего не смыслю.

Не знаю, как сегодня преподают этот предмет, но не приходится спорить, что тогда дело с ним обстояло из рук вон плохо. Половину учебных часов на протяжении целого года мы тратили отнюдь не на наблюдения, демонстрацию результатов, математический анализ и графическое изображение увиденного, что дало бы нам возможность выстроить в своей голове отчетливую картину физических процессов. Впрочем, я не вполне уверен и в том, что такая картина существовала в голове профессора Гатри; если же говорить о Бойсе, то, буде она в его голове, ему либо не хотелось сообщить ее нам, либо он просто был не в состоянии это сделать. И вот, вместо того чтобы освоить науку физику, мы растрачивали свое время по мелочам на несистематичные глупые «практические занятия», порожденные неспокойным воображением Гатри и вызывавшие у любознательной молодежи лишь досаду. Мне хотелось бы поделиться с читателем впечатлением ужаса, которое рождали во мне эти «лабораторные занятия».

По-видимому, профессор Гатри, когда готовил свой курс, был одержим мыслью, что большинству его студентов суждено стать учителями и экспериментаторами, остро нуждающимися в научной аппаратуре. Закон экономики, согласно которому спрос порождает предложение, был ему неведом, и он решил, что нам придется самим изготовлять необходимые приспособления. В таком случае, если вдруг вокруг нас соберутся ученики вечерних классов, мы не пропадем даже на необитаемом острове или в тропических джунглях. Соответственно он нацелил нас на изготовление наглядных пособий. Он как-то забыл, что физика — это экспериментальная, но все же наука, и переориентировал нас на техническую работу. Когда я впервые вошел в зоологическую лабораторию на верхнем этаже, для меня уже была приготовлена свежая тушка кролика, я занялся его препарированием и через неделю-другую приобрел солидные знания анатомии млекопитающих, включая механизмы мозга; знания эти базировались и на собственной моей работе, и на тщательно изученных результатах чужих работ, запечатленных в зарисовках препарирования иного типа. Когда же я появился в физической лаборатории, мне вручили выдувную трубку, кусок расплавленного стекла, кусок дерева, кусочки бумаги и медные

детали, из которых следовало смастерить барометр. Вместо студента я стал стеклодувом и плотником.

Я вволю побил стекла, основательно обжег пальцы, после чего сумел запаять трубку длиною в ярд, согнул ее, открыл с другого конца, прикрепил к деревянной дощечке, наполнил ртутью, приспособил шкалу и соорудил самый неправдоподобный и уродливый барометр из всех возможных. Через несколько дней нелепой возни с раскаленной массой я узнал о барометрах, атмосферном давлении и физике в целом не более того, что узнал, покидая Мидхерст, разве лишь уяснил себе, что расплавленное стекло и слегка остыв остается все же очень горячим.

Затем мне вручили стеклянную пластинку, на которой я должен был, пользуясь фтором, разметить миллиметровую шкалу; никогда еще расстояние от одного миллиметра до другого не было столь огромно, как у меня. И снова я не расширил своих познаний в физике — разве что прожег кислотой дырку в единственных брюках.

После этого, если память не изменяет, мне поручено было изготовить из другого стекла определенного веса баллон с пробкой. Это отняло у меня несколько дней и уверило, что профессор Гатри просто дурачит меня и никак не намерен поделиться со мной своими познаниями в физике — если допустить, что он имел хоть какие-то познания или мысли в этой области.

Будь я дальновиднее и целеустремленнее, укрепясь в своем изначальном стремлении познать эту движущуюся оболочку материи, в которую заключается жизнь, я выискал бы учебники и первоисточники и, овладев математическим аппаратом, сумел бы, обойдя с флангов медлительного, неподвижного Гатри и быстрого, ускользающего Бойса, пробиться к окруженной чащобами и пустынями цитадели науки, от которой они меня отгораживали. Я же так не формулировал свою задачу, правда, в ту пору физика находилась на переходном этапе, и ясных объяснений новых открытий не было ни для студентов, ни для простых любителей. Дело даже не в том, что у меня не хватало времени и знаний, чтобы приблизиться к происходящему в науке и дать ему собственное истолкование, но в недостаточном масштабе мышления и силе воли. Я сделал слабую попытку приблизиться к основополагающим теориям, но у меня не было должной опоры.

В студенческом дискуссионном обществе, о котором я еще скажу позже, я услышал о четвертом измерении, и эта идея основательно заняла меня, породив новые представления о

физических явлениях, которые заставили меня потом послать в «Фортнайтли ревью» статью «Жесткая Вселенная». Она была отвергнута Фрэнком Харрисом{93} как заумная, зато подала мне мысль о первом моем научно-фантастическом романе «Машина времени», а также послужила основой для тонкой, проверенной на Дженнингсе и других шутки, когда я предложил создать некую «Универсальную диаграмму», откуда могли бы быть методом дедукции извлечены все общие понятия, легко применимые к частностям. Если существует жесткая, а тем самым и цельная конструкция Вселенной, то существует и взаимозависимость всех ее составляющих, а тем самым — здесь я следовал материалистическим представлениям — и их зависимость от скорости первотолчка: частица, сдвинутая с места в равномерно распределенном эфире, передает скорость своего движения другим частицам и далее по нарастающей. Но я не знал способа как-то связать эти мои изначальные интуитивные догадки с современной экспериментальной физикой, и не нашлось никого, кто помог бы мне это сделать.

Эта неудача заставила меня, естественно, как это и бывает у всех испытывающих разочарование, начать осмеивать современную физику. Я принялся всеми доступными методами издеваться над наставлениями Гатри, пропускать занятия, а призванный к порядку, приносил с собой латинские и немецкие учебники и демонстративно изучал их в лаборатории. В те дни экзамены в Лондонском университете были доступны всем желающим и проходили в свободной форме собеседования. Экзаменующемуся достаточно было показать поверхностные знания во французском, латыни, а также в немецком или греческом языках, по его выбору, и я решил, что немецкий легче. Мои познания в немецком, вызубренном самостоятельно, оказались достаточными. Занятия физикой меня не удовлетворяли, что я и продемонстрировал в январе 1886 года, сдав экзамены в Лондонском университете — дескать, не физикой единой.

Мои издевательства над практическим креном у Гатри были не слишком впечатляющими, бунт был слабеньким, но и он позабавил некоторых моих товарищей и принес мне их дружбу. Даже в тех случаях, когда я пытался соответствовать требованиям, ко мне предъявляемым, неуклюжесть и рассеянность, уже приведшие к моему краху в торговле, вносили элемент абсурда в изготовляемые мною барометры, термометры, гальванометры и другие измерительные приборы, а к тому я еще требовал подробного научного обоснования каждого из нелепых распоряжений и предлагал свое, обычно шутливое. Лаборант

Митчел не был человеком сообразительным и находчивым; не бог весть какой спорщик, он отличался приверженностью к правилам и инструкциям, которым и привык неукоснительно следовать. Это давало мне большое перед ним преимущество, так как настоять на своем ему не удавалось. Вскоре он вообще перестал появляться в моем углу, а когда обнаруживал мой рабочий стол в полном хаосе, с незаконченной работой, а в придачу и без меня, которого и след простыл, он лишь вздыхал облегченно и не докладывал о моем отсутствии.

Главное наше с ним столкновение, приведшее его в полное отчаянье, произошло по поводу инструмента, предназначенного для измерения вибраций камертона, дающего «до» первой октавы в обыкновенном пианино. Нам предстояло соорудить деревянный крест с иголками на концах перекладины и со стеклянной планкой, старательно зачерненной сажей; прибор крепился на шелковых нитях так, чтобы камертон соприкасался с иголками при вибрации. Таким образом, вибрация фиксировалась на планке и можно было определить точное число вибраций в секунду без учета сопротивления воздуха. Я с самого начала возражал против того, чтобы не учитывать это сопротивление, и пытался внушить Митчелу сомнение в точности эксперимента. Бедняга! Он только и мог возразить мне: «Это не так уж важно». Но мы совсем разошлись в вопросе о кресте. Я заявил, что как неверующий вполне могу обойтись без креста. Объяснил, что в качестве деиста я удовольствуюсь одной иголкой и планкой. И еще я настаивал, что ученый должен избирать кратчайший путь для своих умозаключений. Крестовина с двумя иглами, заявил я, обязана своим появлением всего лишь теологическим предрассудкам профессора Гатри. И я отказался ее делать, сославшись на то, что добьюсь тех же результатов монотеистическим методом. Митчел очутился в западне; ему оставалось только настаивать, что «так велено». На что я ему ответил: «А я что, студент-физик или заключенный под стражей? Я обязан учиться или подчиняться приказам?»

Очевидно, Митчелу просто деваться было некуда, и столь же очевидно, что я замучил его до смерти. Он следовал определенным правилам. Задним числом я ему очень сочувствую.

Можно было бы привести и другие примеры глупых пререканий с моими учителями на протяжении всего попусту потраченного года, но достаточно и этого. В конце концов, когда прибор был сделан и оценен, он оказался таким редкостным образцом неумения, что долго еще удивлял моих товарищей, когда они натыкались на него, как и на другие творения моих рук, хранившиеся в чулане. Если их и стоило хранить, то лишь

как наглядное свидетельство преподавательской бездарности профессора Гатри и слабости его метода преподавания. Я делал вид, что доволен своей работой, но в глубине души это было не так. Просто Гатри по-иному воспринимал мир, чем провоцировал мое некрасивое поведение. Дурная дисциплина идет рука об руку с дурными лекциями. Аудитория, заполненная ждущими звонка студентами, не лучшее место для недужного лектора. Его хриплый голос старался заглушить наш возмущенный гул. Он был раздражителен, и его легко было вывести из себя. На его лекциях то и дело раздавались иронические аплодисменты и хулиганские выкрики; в этом я не отставал от других.

Я плохо себя вел и не мог сам себе этого объяснить. Я не был достаточно взрослым, чтобы растолковать смысл своего сопротивления не только окружающим, но и самому себе. Ясно было, что я терпеть не мог поверхностной манеры, в которой преподносилась нам физика, но в то же время не способен был пробиться к сердцевине этой области знания. Я, конечно, делал эти попытки. Но в голове у меня царила изрядная путаница. Я не понимал, что в своих усилиях был подобен карлику, пытающемуся сыскать рог, через который удалось бы выпить море. Во всяком случае, этот рог не лежал на лабораторном столике. Но и для самого себя, и для своих сокурсников я был человеком, который после блестящего начала не удержался на прежнем уровне. В моей идее «Универсальной диаграммы» никто не увидел ничего путного.

Занятия по геологии, к которым я затем перешел, только укрепили мою репутацию человека нестабильного.

* * *

Пятьдесят лет спустя я возвращаюсь к моим разногласиям с преподавателями и самим предметом. Хочу сразу же повиниться в невоспитанности и нехватке житейской мудрости. Вполне допускаю, что мне недоставало понимания своих учителей и простого человеческого великодушия. Но, с другой стороны, я настаиваю на том, что моя оценка их преподавания, ведшегося на уровне детского сада, в целом была верной. Конечно, во всем этом много личного, но из трудного периода моего умственного роста можно извлечь и кое-что поучительное. Если свести все к одной фразе и «деиндивидуализировать» этот опыт, то следует заявить, что мы представляли собой блестящий пример попусту растраченных способностей в попытке постичь своим умом природу физики. В какой-то мере игра стоила свеч, поскольку мы

узнали содержание предмета в его частностях — в оптике, акустике, электричестве, магнетизме и всем остальном. В известном смысле устоявшиеся термины и определения всего, что касается пространства, скорости, силы, были достаточны для уровня моих знаний. Они были привычны для тогдашнего уровня науки. Потом все изменилось.

Ныне я понимаю, что ни Гатри, ни Бойс не были просто плохими преподавателями. Невозможно быть хорошим преподавателем предмета, не поддающегося объяснению. Я тогда и не подозревал, что эмпирические истины закона сохранения энергии, неуничтожимости материи и силы в то время оставались в тумане. Но в пределах тогдашней метафизики все отлично согласовывалось и подтверждалось экспериментами.

Наука физика продвигалась на ощупь к каким-то неведомым горизонтам, сознавая свое несовершенство. Прежде она исходила из точных предпосылок, теперь же они обернулись предрассудками. На свет выходили какие-то парадоксальные факты, делавшие все старые основы шаткими. Откуда, например, было взяться абсолютному нулю? Что в этом случае происходит с материей? Все были согласны с тем, что понятия «больше» и «меньше» сохраняются при движении. Почему же в таком случае скорость света оказывалась величиной постоянной? Ошибочным мнением выходило и то, что движение со скоростью света можно замедлить. И откуда было взяться ограниченной галактике в бесконечном пространстве? В бесконечности звездного неба туманности должны светиться своим светом.

Сегодня мир задает немало вопросов. Их число сильно возросло. Физика предлагает нам больше мучительных загадок, чем полвека назад, и их невозможно разрешить, опираясь на элементарные понятия оптики, акустики и всего остального, еще менее вразумительного; исследование ныне уходит в область математической пиротехники, и объяснение его с помощью обыденной речи с обычным значением слов и то составляет известную трудность. Туман от этих блестящих фейерверков на мгновение рассеивается, но потом снова сгущается и через него удается пробиться только профессионалам. Пространство конечно, заявляют они! Но это не то пространство, которое известно нам. Это нечто иное, куда они и направляют свои несовершенные концепции, которые пытаются сформулировать. Подумать только — звезды существовали до того, как появилась Вселенная! Вселенная расширяется во что-то, бог знает во что, а потом сократится! При том, что это бесконечное число мельчайших частиц. На нормальном человеческом языке это все совершеннейшая бессмыслица. Привычные слова тут пасуют.

Математическая физика не нашла слов, способных передать смысл выношенных ею понятий и подтолкнуть к новым исследованиям.

Легко ли мне было год спустя после проработанных в деревенской грамматической школе элементарных учебников пробиться сквозь туман, окружавший моего профессора и его ассистента?

Биология до сих пор решает практические задачи и еще может развиваться, используя понятия, лежащие в пределах повседневности. Ее предмет со всей очевидностью связан с земными представлениями и нашим отсчетом времени. Она обрамляет историю человечества и человеческой жизни и сама очерчена достаточно четко. Насколько можно, биология избегает неопределенности. Она выходит за свои пределы, только соприкасаясь с физикой и пытаясь ответить на таинственный вопрос: «Что есть жизнь?» Но физика — предмет куда более всеобъемлющий и на любом направлении выходит за пределы эксперимента и языка, способного этот эксперимент описать. Она по-новому истолковывает каждый новый термин и все время заменяет один другим. В своем развитии она все более от нас отдаляется, грозя совсем оторваться от принятых понятий и перейти в сферу философских умствований. Гатри не только никак не был Хаксли, но и его предмет не был тогда доступен любопытствующему студенту или просто образованному человеку. Впоследствии, занимаясь физикой, я сумел чем-то заинтересоваться и что-то уразуметь, но, сколько ни пытался приспособить свои общие идеи к тому, что я краем уха слышал, я оставался для этой области знаний человеком посторонним. Постичь физику мне не удавалось. Я до сих пор не понимаю, к чему идет эта наука. И я не нахожу общего языка с теми, кто ведет исследования в этой области, хотя сами по себе эти люди мне интересны. Но мне кажется, что среди физиков еще не появились свои Дарвин и Хаксли. Между фразеологией и идеологией обычного разумного человека и людьми, которые вышли за пределы повседневности и окунулись в эту обширную область экспериментов и математических выкладок, существует глубокая пропасть, и мост через нее еще не переброшен.

Любопытно заметить, что и сегодня физики в целом не способны ответить на давний вопрос о соотношении между детерминизмом и свободой воли. Он остается в сфере теологических и спиритуалистических гипотез, к которым ряд физиков тяготеет. Другие же попадают в тенета журнализма и в популярных статьях, предназначенных рядовому читателю, не столько проясняют вопросы, сколько гоняются за сенсациями.

У меня на письменном столе лежит сейчас занятнейшая и очень значительная книга. Называется она «Куда идет наука?». Она переведена с немецкого и принадлежит перу, бесспорно, великого физика и первооткрывателя Макса Планка{94}; добавления сделаны Эйнштейном; книга отредактирована очень способным журналистом, работающим в области популяризации науки, Джеймсом Мерфи. Ее интерес заключается в том, что два столпа современной физики, явно обеспокоенные ложным, романтическим истолкованием физических знаний со стороны своих менее щепетильных коллег, ставят себе целью донести содержание современной физики до обычного человека. Планк восстанавливает в правах стародавнюю идею причинности как фундамента науки. Он подчеркивает различие между объективной концепцией причинности, на которой базируется наука, и субъективным восприятием наших действий как проявление собственной воли (но не тех, которые видятся чужому взгляду). Наше поведение обусловлено свободной волей, но это не перечеркивает того обстоятельства, что для стороннего наблюдателя все наши действия строго детерминированы. Однако Планк, в отличие от ученого-викторианца, не так безусловно придерживается утверждения, что причинность всегда объективна. Он допускает возможные трудности как следствие эксперимента. Во всем понятная система причинности, на чем я настаивал в «Жесткой Вселенной» (я изложил ее в карикатурной форме в уже упоминавшейся «Универсальной диаграмме»), предполагала способность абсолютного предвидения, но в известных обстоятельствах предвидеть все последствия не удается и возникает ситуация неопределенности. В этих случаях, заявляет Планк, мы вынуждены просто опираться на веру в то, что тщательный анализ и точные измерения перечеркнут состояние неопределенности.

Но вправду ли перечеркнут?

Мои слабенькие «нет» или «да» меркнут перед решительным «да» Планка, но поскольку я пишу историю собственного духовного развития, то, думается, вправе добавить к этому отрицанию недетерминированности слово-другое, совпадающее с ходом моей мысли и помогающее, как мне кажется, понять, почему неуверенность в этом принципе всеобщей причинности так распространилась ныне в физической теории. Такой вопрос неизбежно встает перед каждым, кто ищет определение биологического вида при изучении органической эволюции и классификации, вкупе с петрографией и минералогией. Когда я готовился к экзаменам на два учительских диплома (в 1889-м и в 1891 г.), мне довелось прочитать известное число работ по логике

и почти одновременно с этим некоторое количество исследований по неорганической химии, что нужно было для прохождения промежуточного экзамена на звание бакалавра точных наук (1889 г.). Химические, биологические и логические представления о том, что такое вид, оказались тем самым в тесном и плодотворном соприкосновении. Они обогащали друг друга.

Первым плодом этого взаимообогащения явилась очень дурно написанная, но оригинальная статья «Новое открытие единичного»{95}, которая была опубликована в «Фортнайтли ревью» в июле 1891 года. По моей мысли, каждое явление, если его внимательно рассмотреть, обнаруживает свою единичность, из чего напрашивается вывод о невозможности абсолютной идентичности, и, хотя немыслимо оперировать общими понятиями без признания их связей и предварительной их классификации, в нашем сознании таится сомнение даже в том, что дважды два непременно четыре. Одна четверка никогда не будет во всем соответствовать другой. Классификация — это неизбежно упрощение, необходимое для простоты восприятия. В повседневной практике мы этого не учитываем, но стоит получше подумать — и все становится ясным как божий день. Мы просто уступаем стойкой привычке принимать сходные предметы за одинаковые. Это ведет к неоправданному представлению о полной повторяемости атомов того или иного феномена и заставляет видеть в среднестатистическом абсолютное.

В 1891 году это явилось предвидением идеи, которую современные физики называют «статистической причинностью». Идентичность атомов и большинства других физических частиц почти ни у кого тогда не вызывала сомнения. Допускать индивидуальную природу атомов казалось мыслью бесполезной и неплодотворной. В то время никто не обратил особого внимания на мою статью, но ее соображения застряли у меня в голове; я заново изложил их в опубликованной в «Сатердей ревью» в 1893 году статье «Циклическое заблуждение»; я возродил их в докладе «Скептицизм инструмента», который прочитал в Оксфордском философском обществе 8 ноября 1903 года. Доклад этот был перепечатан журналом «Майнд» (том XIII Н. С., № 51) и в исправленном виде в первом издании «Современной Утопии» (1905). Там не только еще раз говорилось о прихотливости человеческой логики; «клещи, которыми ухватывают истину наши мозги, не только ее повреждают, подобно хирургическим щипцам», но и тянут за собой опасную тенденцию использовать в положительном смысле такие негативные термины, как «абсолют» и «неопределенность».

Я раскопал эту старую кость и хорошенько ее погрыз, не добавив чего-либо нового в «Первом и Последнем» (1908). Следуя мысли о единичности любого частного случая, мы, мне кажется, способны нащупать дорогу к осмыслению видимой неточности и спонтанности каждого частного наблюдения, давших повод, к огорчению не только Макса Планка и Эйнштейна, но и множества других ученых, говорить о присутствии некой объективной свободной воли. Каждый объект чувственного восприятия теряет что-то от своей сути, вытекающей из точного его определения и логического истолкования. В классификации всегда таится элемент неточности, и всякий логический процесс заключает в себе некоторую субъективность.

В своей известной книге «Таинственная Вселенная», которую цитирует Джеймс Мерфи, сэр Джеймс Джинс утверждает, что «всякого рода несогласованности, которыми полнится система, именуемая Вселенной, опровергают абсолютную причинность, которая скорее свойственна хорошо отлаженному механизму». Но если принять за отправную точку неповторимость любого явления, не приходится ждать, что мир будет подобен хорошо отлаженному механизму, и видеть в нем не более чем систему подобий. Самое непостижимое для нас — что мир всегда последователен и никогда не безумен. Подобно живому существу он обладает собственным «характером», верен самому себе и в то же время полон неожиданностей. Он всякий раз поражает нас тем, что ломает наши предположения относительно его природы, мы убеждаемся в их незрелости, никак не объясняющей в конечном счете его внутреннюю гармоничность. Поэтому всякое научное обобщение есть робкая попытка и должна проверяться опытом, то есть ход рассуждений ученого требует непрестанного подтверждения экспериментом. Чем дальше вы уходите от экспериментальной проверки, тем более расширяется поле возможной ошибки. Самый красивый дедуктивный вывод, самая разработанная система математических умозаключений терпят крах и требуют новых обоснований, стоит им столкнуться с самым скромным противоречащим фактом.

Прагматический взгляд на природу оставляет нам представление об абсолютной причинности в качестве рабочей гипотезы. Мы по-прежнему верим, что одно и то же действие дает один и тот же результат. Нас почти неопровержимо поддерживает в этом опыт, доказывающий, что одна и та же причина приносит одни и те же плоды. Наш ум именно так изначально настроен. И тем не менее мы понимаем, что природа прихотлива и не повторяет сама себя. Ясно, что одинаковые причины приводят к результатам совершенно одинаковым лишь на первый взгляд.

Поскольку природа сохраняет уникальность во всех своих частях, включая мельчайшую частицу мельчайшего атома, у нас нет основания сомневаться в том, что мыслительный аппарат человека построен по тем же законам. Но следует быть готовым к тому, что творение подчиняется правилам бесконечно более тонким и запутанным, нежели паутина понятий и символов, которые может измыслить наше слабое и такое поверхностное сознание.

Мы вынуждены все для себя упрощать просто потому, что располагаем ограниченным количеством серого вещества. Непосредственное соотношение причин и следствий, пусть и не безусловно, остается единственной возможной рабочей гипотезой для человека, занятого научным трудом. Отказаться от нее не проще, чем отказаться от подсчета и взвешивания по той лишь причине, что нет двух предметов, одинаковых по всем параметрам. И в этом отношении следует согласиться с мнением Макса Планка: наша задача — двигаться в направлении точного наблюдения и анализа, хотя надо добавить, что, по нашему убеждению, конца этому пути не будет. Мы к нему никогда не придем по той простой причине, что верим в эту возможность лишь в силу собственной ограниченности.

Как я заметил, эта часть моей книги разрастается до необозримых размеров. Но, во всяком случае, вы получите представление о том, как я барахтался в необозримом океане философии, оставляя на лабораторном столике никуда не годные физические приборы. Употребив некоторые усилия, я выгреб все же из этих вод, вытер ноги и побегал по берегу.

В моей книге «Труд, богатство и счастье человечества» (1931) есть двадцать страниц (глава II, § 1–4), где я подвожу итог всему, что знаю об отношении человеческого разума к физической реальности. Я писал и переписывал эти страницы, проверяя на своих друзьях трудные места, и теперь мне нечего к ним прибавить; в них в общем виде содержится все, во что я верю. Вкратце я полагаю, что Вселенная ограничена севером, югом, западом, востоком и, самое удивительное, — верхом и низом. В этих рамках, подобно маленькому домику на странной, холодной, обширной и прекрасной декорации, располагается наша планета, на которой я, ее наблюдатель, вижусь незаметным недолговечным пятнышком. Этот домик мне невообразимо интересен, все полезное содержится в нем внутри. Но тем не менее у меня временами возникает настоятельная потребность выйти за его порог и окинуть взглядом окружающие его загадочные просторы. Однако для человека вроде меня все за пределами этого дома остается непостижимым, и делать там мне нечего. В конечном

счете эти метафизические дали могут значить все что угодно, но для моей практической деятельности и ее устремлений они — ничто. Наука физика становится бесконечно малой величиной, она мерцает в стеклянной колбе или уходит далеко от меня в некую туманность в иной галактике, в глубину пространства, и какое-то время спустя я перестаю высматривать другие незаметные пятнышки, глазеть на далекие звезды и возвращаюсь в свой дом.

3. Профессор Джад и геология (1886–1887 гг.)

Наверно, я был настолько избалован основательностью и красотой курса биологии, что и в геологии не зажегся тем энтузиазмом, который излучал Хаксли. Джад оказался лучшим преподавателем, чем Гатри, но и он мямлил, и лекции у него были уж больно педантичные; лицо у него было бледное, большое, глазки маленькие, голубые, почти бесцветные, у него была привычка, когда он говорил, потирать руки, словно он мыл их невидимой водой, а голосом своим он словно тебя баюкал; к тому же он не больше заботился о форме подачи материала, чем Гатри. Он глядел на вас, но при этом казалось, что у него нет ровно никакого интереса к размеренным звукам собственного голоса. Конечно, это — поверхностная характеристика; мне говорили, что не только работы Джада по стратиграфии превосходны и обнаруживают большую эрудицию, но что и сам он — человек превосходный и приятный в общении. Но случая общаться с ним мне не представилось, а антипатию я почувствовал сразу.

В любом случае, геология — предмет дурно склеенный. Это скорее собрание преданий и легенд, нежели наука. Преподавателю, желающему сделать геологию столь же последовательной и цельной, как другие основополагающие науки, биология и физика, следует изрядно потрудиться.

Принимая во внимание ординарность моего ума, стоит все же с точки зрения педагогики задуматься, почему биология, в той форме, в какой она была мне преподнесена, так меня заинтересовала и заставила на себе сосредоточиться, равно как и физика, привлекшая мое внимание как предмет, достойный первейшего интереса, хотя и мучительно непостижимый, геология же совсем оказалась вне сферы моих интересов. В отдельных своих частях она не прошла мимо меня, даже остро запомнилась, но лишь запутав и отвлекши от прочего материала. Я думаю, ответ в том, что, миновав эпоху Лайела{96}, Мерчисона{97} и других светил в этой области, геология вобрала в

себя огромное количество новых фактов без последовательной попытки их осмыслить и подчинить общей концепции, которая позволила бы изучить Землю как некую цельность, показать, что она сегодня собой представляет и чем была в прошлом, вникнуть во все свидетельства, говорящие о ее происхождении и истории, и, сосредоточившись на недоступном сейчас для нас главном, прийти таким образом к общим выводам о возникновении скал, гор, минералов, их происхождении, их будущем и всем, что отсюда следует.

Трудно сказать, где кончается настоящая педагогика и начинается подлинная наука. С первого до последнего слова интерес подхлестывается и ум начинает работать, когда перед тобой встают вопросы, требующие ответа. Но если мне будет позволено использовать несколько иную фигуру речи, то пламени, горевшего в Хаксли и сообщавшего живость и подвижность всему его курсу биологии, совершенно не ощущалось у Джада, разве что в отдельные светлые моменты, внезапно разжигавшие наше любопытство и позволявшие пробиться в темные закоулки, чаще же он был холоден и удивительно безжизнен.

Нам был преподнесен, применительно в первую очередь к британским островам, курс стратиграфии; перед нами предстали горы и геологические пласты, когда они были еще расплавленной массой. И тотчас эта теория ощетинилась кучей вопросов. При каких условиях возникла та или иная порода? Какова была география Земли, когда она возникла? Что с ней произошло с тех пор? Что говорят нам содержащиеся в ней органические окаменелости о климате той эпохи и как изменился климат с того времени? Ни один из этих вопросов не получил ответа и сегодня.

И ни один из них не был задан.

На них даже не намекали. Нам дали список формаций и напластований с указанием их расположения и перечня характерных окаменелостей, которые мы должны были зарисовать и усвоить, чтобы научиться сразу их узнавать. Это вызывало ровно столько же интереса, что и необходимость заучивать названия улиц в каком-нибудь провинциальном городе, а затем перечислять их в должном порядке с указанием расположения домов и особняков и их обитателей вкупе с предметами меблировки. Подобные данные пригодились бы для каких-то деловых целей и оказали бы неоценимую услугу, скажем, водителю мебельного фургона или золотоискателю, пытающемуся досконально изучить заинтересовавшее его место. Приведенные в порядок и систему, такие вещи запоминаются с большой легкостью, но никакого порядка в них и не наблюдалось.

Мы лишь слегка коснулись топографии, оставив без объяснения явные погрешности. Затем пошла минералогия и петрология, и день за днем мы брали в руки, рассматривали и клали на место куски скалистых пород и минералов. Это все была простая зубрежка; научный подход, который делал таким увлекательным изучение фрагментов кости в курсе сравнительной анатомии, совершенно отсутствовал. Нам объясняли, что кусок аспидного сланца — это кусок аспидного сланца, а кусок уранита — таков, потому что таков, и не более того. Особенно раздражал темп таких занятий, не оставлявший времени ни на размышления, ни на проявление любознательности и утоление ее. Мне хочется липший раз выразить свое глубокое убеждение, что для успешного обучения науке надо делать как можно меньше предписаний, давать как можно больше информации и при этом поощрять к размышлению.

Я вспоминаю, например, как у меня вдруг вспыхнул интерес к кристаллографии, причем среди неуместных и не нашедших ответа вопросов был и такой: я понял, что в различных типах минералов, например в полевом шпате, кристаллическая решетка может несколько варьироваться, что отражает известные химические сдвиги. Это приводит к заметным флуктуациям цвета и формы в основных группах минералов. Но что за всем этим кроется и по какой причине?

В те дни наша лаборатория была на редкость хорошо оборудована для занятий петрографией. Каждый студент располагал петрографическим микроскопом с поляризирующими линзами, и мы изучали множество последовательных видов скалистых образований. Невозможно описать красоту и очарование этих образчиков. Они казались совершенно неинтересными, пока лежали в коробках, но разглядеть их строение и цвет значило загореться ярким пламенем. Вашему взору представало все разнообразие кристаллов, оттеняющих друг друга с помощью расплывчатых инфильтраций и спрессованных какими-то непонятными силами. Во многих случаях обнаруживались старые вкрапления других кристаллов, тем более удивительные, что в них открывались пустоты, заполненные пузырьками газа или каплями жидкости, хотя они формировались под огромным давлением. В подобных фрагментах таилась необыкновенная красота. Они с исчерпывающей полнотой и ясностью повествовали о вековечном притяжении и отталкивании молекул. И тем самым помогали истолковать историю Земли в целом. Но курс геологии не ставил перед собой такой задачи. В нем не было места для подобных

отвлеченностей. Каждый день приносил нам лишь новую коробку образчиков и разнообразие предметных стекол. Этим и ограничивалось мое ученье.

Может быть, я с такой резкой неприязнью говорю о курсах научных дисциплин в Южном Кенсингтоне еще и потому, что мне невольно хочется как-то оправдать свой провал после первого, и успешного, года обучения. Читателю легче об этом судить, чем мне. Но в том, что я провалился, сомнений нет, и последствия это имело самые печальные. Впрочем, если даже все это принять во внимание, остается фактом, что курс профессора Джада, равно как и курс физики, нагонял на меня тоску с самого начала и что неудовлетворенность предшествовала провалу, а не вызывалась им.

С тех пор как я стал уделять немало внимания педагогике и вообще наукам общественным, мне кажется все более примечательным, что старая Нормальная школа и Королевская горная школа, именуемые в наши дни Имперский колледж науки и технологии, при том, что они вносят заметный вклад в дело подготовки преподавателей научных дисциплин, никогда не имели кафедры педагогики, не собирались ее организовывать, не старались обзавестись хорошими лекторами и как-то наладить педагогический процесс. Еще меньше они были сосредоточены на изучении социологии, политэкономии и политологии, поисках ответов на предлагаемые этими дисциплинами общие вопросы, а также на согласовании различных предметов. Для тех, кто составлял учебный план в Южном Кенсингтоне, курс геологии был курсом геологии, и ничем больше. Вы прослушали курс и, стало быть, знаете предмет. Но была ли от такого учения польза горному делу или металлургии? Ни Гатри, ни Джад не обладали профессиональными знаниями в педагогике, и ни тому, ни другому здравый смысл не подсказывал, как увлечь студентов своими предметами. А в колледже не было предусмотрено контролирующих специалистов по педагогике, которые обладали бы должными знаниями и авторитетом.

Имперский колледж, в моем сегодняшнем восприятии, — это не колледж, каким он должен быть, а просто некоторое количество лабораторий и классных комнат. Никто уже не помнит, как все это было задумано. И сейчас трудно сказать, что это такое и к чему предназначено. Здесь нет разумной цели, объединяющей идеи, философской базы, социальной направленности, способных сделать колледж чем-то единым. А я не вижу иной надежды организовать и подчинить себе мировой порядок, кроме как через объединение педагогического и философского процессов.

Я пришел в Южный Кенсингтон в уверенности, что научусь там всему на свете. Я растерялся, отчаялся, запутался в многочисленных несообразностях окружающего.

У Джада была обычная для добросовестного преподавателя потребность на каждом шагу проверять своих студентов. Он хотел непрерывно вмешиваться в наш мыслительный процесс. Хаксли учил нас науке, но не следил за тем, как мы ее перевариваем. Он занимался наукой, а не нами. Джад настаивал на том, чтобы мы не просто учились, а учились точно по его указке. Нам полагалось делать детальнейшие записи. Мы обязаны были аккуратнейшим образом повторять его формулы и зарисовки, записывать результаты опытов точно так, как это делал он. Нам положено было следовать за ним шаг за шагом, плетясь у него в хвосте. В конце года мы должны были предъявить свои тетради. В ином случае нам снижали отметки на экзамене. Приспособиться к умственному уровню Джада было все равно что пасть его жертвой. Я попытался соответствовать предъявляемым ко мне требованиям, но это оказалось выше моих сил, и меня одолела скука. Когда я занимался физикой, у меня выработалась привычка сбегать из лаборатории в учебную библиотеку или в читальню Дайса и Фостера, — привычка эта сейчас вернулась с удвоенной силой.

Доброе мнение, сложившееся обо мне на вступительных экзаменах, поддерживало меня какое-то время и в качестве студента-геолога, но этого хватило всего на полтора учебных года. Вскоре моя академическая карьера закончилась. Путь к научной работе был для меня закрыт. К этому делу я оказался непригоден. Мне не хватило усердия. Получив оценки по второму классу в конце 1886 года, я провалился на заключительных экзаменах по геологии в 1887 году.

И все же я извлек кое-что из курса геологии, поскольку, претерпев немало превратностей судьбы, сдал в 1890 году в Лондонском университете экзамены на степень бакалавра наук и, получив отличие первого класса по зоологии, сумел подкрепить это звание отличием второго класса по геологии. Не думаю, что в перерыве я хорошенько понаторел в этом предмете. Мне просто кажется, что профессор Джад из дисциплинарных соображений занизил мне оценку на заключительном экзамене, положившем конец моей научной карьере.

4. Недовольный студент ищет место в жизни (1884–1887 гг.)

Критикой материала, через который я с немалым трудом пробивался, я обязан моему последующему жизненному опыту. Теперь я сознаю, в какие условия был поставлен, но в ту пору я не мог еще понять громадных перемен, происходивших в мире. Мне было не разобраться, в какой мере Нормальная школа или Министерство образования и само по себе обучение науке отражали эти перемены; я не брал в толк, какие противоборствующие силы делали мое образование в чем-то лучше, а в чем-то хуже и что помогло мне выбраться из тенёт рабства и сделаться студентом, а потом бросило на произвол судьбы. Сначала я вознесся духом, а затем растерялся и впал в отчаянье. Я сейчас оправдываю себя куда больше, чем в былые времена. Во мне тогда глубоко укоренилось унизительное чувство, что в физике и геологии мне отнюдь не удалось так же преуспеть, как в предметах, потешивших мое честолюбие в Мидхерсте. Мне надо было что-то противопоставить вызревавшему во мне комплексу неполноценности. Я нашел эту возможность в небольших успехах в других областях. Пока я подвизался в торговле, меня выручали богохульство и самоуверенные рассуждения об общих истинах. Теперь мне помогла позиция смелого философа; она избавляла меня от депрессии, порожденной ученичеством у Гатри и Джада.

Громкий смех и изумление Дженнингса успели уже меня убедить, что я чертовски остроумен, а мои оригинальные выступления в Дискуссионном обществе имели успех и принесли мне дружбу нескольких сумевших меня оценить друзей. Первоначально их было трое — Тейлор, Портер и Э.-Х. Смит, но их я в дальнейшем потерял из виду; потом к ним присоединились оставшиеся моими друзьями на всю жизнь А.-Т. Симмонс, Уильям Бертон, Элизабет Хили и А.-М. Дэвис. Мы слонялись по коридорам, собирались в чайной комнате за ланчем, одалживали друг другу книги, научные статьи и развивали в себе способность к беседе.

Занятно, что, хотя я живо помню Дискуссионное общество, у меня из памяти совершенно выпали мои собственные выступления. Судя по тому, что мои друзья их запомнили и находили в них удовольствие, я и впрямь все это говорил. Собрания происходили в подвальной аудитории, принадлежавшей Горной школе. Газовая горелка была, по-моему, одна. Кафедра и студенческие скамейки были окружены не

слишком хорошо освещенными изображениями геологических пластов, образчиками руды и тому подобным, а также какими-то непонятными схемами. Порядок заседаний был такой: сначала читался доклад, занимавший полчаса или немногим больше, потом шли ответы на вопросы, и под конец начиналась беспорядочная дискуссия. Те, кто стеснялся говорить, вставляли отдельные замечания, что-то выкрикивали или просто стучали по столу. Да так увлеченно, что выплескивались чернила. Нам не разрешалось затрагивать религию и политику. Остальная вселенная была в полном нашем распоряжении. Я возражал против запрета на религию и политику. По моим понятиям, это были области первостепенной важности, условия человеческого существования, в особенности для людей молодых. Я сделал все возможное, чтобы ослабить и нарушить эти ограничения, держась только элементарных приличий, и один-два самых серьезных студента стали с опаской поглядывать на меня, готовые в нужный момент крикнуть «К порядку!». Однажды вечером кто-то читал доклад «О предрассудках» и насчитал их целых тринадцать. Я заговорил об их источнике. «Один странствующий проповедник, имя которого я не вправе называть в этом собрании, — начал я, — имел двенадцать учеников…»

На меня сразу же накинулись, и мы спорили почти час. Я настаивал на том, что «странствующий проповедник» — это самое точное и уместное определение человека, который был основателем христианства. Но словарь среднего англичанина набит стереотипами и затхлыми вторичными ассоциациями. Нам кажется, что слова «странствующий проповедник» приводят на ум не очень высокого пошиба священнослужителя из какой-нибудь секты. Тем хуже, утверждал я, для этой секты. Все, как я понял, были настроены против меня. Даже мои близкие друзья глядели на меня хмуро и осуждающе. Меня попросили отказаться от своих слов. Я ответил, что все свои сведения я получил из такой авторитетной компиляции, как Новый Завет. Это не помогло. Прежде всего, не приняли определения Нового Завета как «авторитетной компиляции». Президиум сделал мне предупреждение, но я настаивал на своем.

Потом меня вытащили из аудитории, хоть я и отбивался. Незадолго до этого Чарльза Брэдлоу выдворили с дракой из зала заседаний. Члены палаты общин от Ирландии покинули эту ассамблею столь же непростым, но восхитительным образом. Меня же попутно дергали за лохмы, что мне, конечно, не понравилось, но в целом об вышеупомянутом доблестном приключении остались лишь приятные воспоминания.

Впрочем, я не намерен углубляться в подобные анекдоты.

Достаточно одного примера. Дискуссионное общество было хорошей школой хулиганских выходок и непочтительности. В учебных аудиториях я тоже прославился всяческими шалостями, тем, например, что начинал завывать с закрытым ртом, в котором держал резиновую трубку, вызывая взрывы неуместных аплодисментов. Нам, студентам на стипендии, платили по средам, клерк с жестянкой и портфелем появлялся перед нами, выкрикивая наши имена тоном, казавшимся нам почему-то очень оскорбительным. Мы смеялись над ним, иронически аплодировали, но этого нам показалось мало, и последовал настоящий бунт, так что клерк помчался к нашему инспектору и впредь потребовал, чтобы его сопровождал полицейский; иначе, казалось ему, мы способны покуситься на его жестянку.

Мне кажется, я был тогда достаточно противным субъектом — худым, нескладным и обшарпанным, кандидатом на исключение, на том этапе мне не припоминается ничего для меня лестного, кроме, пожалуй, дружбы и уважения Дженнингса и других людей, оставшихся преданными мне на всю жизнь; среди них был Р.-А. Грегори{98} (теперь сэр Ричард, редактор «Нейчур»), и это подавало надежду, потом меня оставившую, что я со временем стану человеком. Мои верные друзья помогали мне сохранить самоуважение и не позволяли чувствовать себя совсем уж неудачником. Они компенсировали мне бессмысленность моих учебных занятий.

Министерство образования оплачивало проезд до Лондона студентам, лаборантам, преподавателям-стажерам, дальше начиналась полная самостоятельность. Нас не расселяли и не проверяли, как мы устроены; только на второй год позаботились о столовой, где можно было бы поесть среди дня по разумной цене, и, за исключением инспектора, отставного офицера, никто не следил, чтобы наши опоздания не превращались в систему, не смотрел, чтоб мы не курили в неположенных местах, не шумели, не шатались без дела; инспектор посылал нам расчерканные красным карандашом экземпляры правил поведения, но никого больше не интересовало, где мы и что с нами. Я был волен бездельничать, и никто не старался направить меня на путь истинный. И я не был единственным, чей образ жизни и питание отличались безалаберностью. У меня всего только слабел интеллект, но на моих глазах студенты в лабораториях дважды падали в голодные обмороки. Мне еще придется рассказать, как я расплачивался своим здоровьем за годы, проведенные в Южном Кенсингтоне. Тогдашние школы, должен повторить, не только игнорировали педагогику, но и вообще не заботились, хотя бы из приличия, о нашем здоровье.

Естественно, я постарался вернуть веру в себя, отвергнув точные науки и пестуя свои литературные амбиции. Амбиции эти были не столь велики. Но зато в социалистическом движении я сыскал самое широкое поле деятельности и приложения умственных сил, не нашедших применения в физике и геологии. Сдав экстерном экзамены в Лондонском университете, я не стал готовиться к дальнейшим курсовым экзаменам в области науки, а занялся социалистической пропагандой.

Поначалу я не связывал в единое целое научные и социалистические идеи и не строил планов нового научно организованного общества. Социалистическое движение в Англии находилось под эстетическим влиянием Рёскина{99}; его участниками были поэты и художники, например Уильям Моррис{100}, Уолтер Крейн, Эмери Уокер и Кобден-Сандерсон, блестящие интеллектуалы, такие как Бернард Шоу и миссис Анни Безант, преподаватели, прошедшие выучку в области классической философии вроде Грэма Уолласа, прогрессивные церковные иерархи, среди которых был Стюарт Хедлем, и небольшая группка чиновников, включавшая Сиднея Уэбба{101} и Сиднея Оливиера. Эти вожди не разбирались в философской стороне науки и были сбиты с толку индивидуализмом Герберта Спенсера{102}, полагавшего, что биология враждебна социализму. Не припомню, чтобы я как-то пытался в те годы развеять их заблуждение. Возможно, здесь сыграл роль подсознательный антагонизм по отношению к науке, во всяком случае к тем представителям науки, с которыми я столкнулся в последние два года в Южном Кенсингтоне.

Мы с Уильямом Бертоном и Э.-Х. Смитом объявили себя самыми отчаянными социалистами, в знак чего повязали красные галстуки. Остальные члены нашей компании придерживались тех же взглядов, но вели себя поумереннее. Мы таскались на встречи Фабианского общества, которое немного напоминало мне лендфордский парламент, и ходили на воскресные вечера в Келмсот-хаус, на Мэлл, в Хаммерсмит, где Уильям Моррис собирал людей в некоем подобии домашней оранжереи. Выступая, он обычно стоял у стены, заложив руки за спину, наклоняясь вперед на каждой фразе и откидываясь назад, когда ставил точку. На этих собраниях очень выделялись Грэм Уоллас, красивый молодой человек с юмором эрудита, и Шоу, неотесанный, напористый дублинец, записной оратор. Мелькали там еще разные иностранцы, безостановочно, с большим чувством тараторившие на языке, который они принимали за английский. Выступать на этих сборищах члены нашей маленькой группы не осмеливались, но мы громко аплодировали, а на обратном пути к

станции метро в Хаммерсмите, не стесняясь, комментировали услышанное.

После курсовых экзаменов на втором году обучения дальнейшее пребывание мое в Южном Кенсингтоне было под вопросом. Сохранилось мое письмо Симмонсу, в котором я рассуждал о возможности устроиться школьным учителем. Это письмо напоминает мне (иначе я бы о них забыл) о моих существовавших уже тогда притязаниях на литературный успех. (В этом письме я делился замыслами будущих своих работ, включая «Все о Боге» и «Очерк нового построения общества».) Опасения мои, к счастью, тогда не оправдались: мне дали возможность и дальше попробовать себя в науке, так что я, поразмыслив, не стал писать агенту, подыскивая учительское место. Отец пристроил меня на месяц к моему дяде Чарльзу, небогатому фермеру, живущему в Минстеруорте, неподалеку от Глостера. Там, едва мои сомнения, возвращаться ли мне в Южный Кенсингтон, рассеялись, я принялся за работу о социализме, предназначенную открыть осеннюю сессию в Дискуссионном обществе.

Я и минуты не потратил на геологию. Зато, насколько помню, докладом я занялся основательно. Я писал его, переписывал, сделал совсем непонятным, еще раз переписал и принялся за него заново. Я съездил на денек в Челтенхем, где Э.-Х. Смит жил у своего отца, зеленщика, чтобы обсудить с ним возможность подчинить себе Дискуссионное общество, повернуть его к обсуждению проблем социализма и основать в колледже свой журнал. Мы решили развивать в Кенсингтоне интерес к делам литературным и политическим, не оглядываясь на то, понравится это нашему руководству или нет.

Во всяком случае, мне удалось провести Министерство образования и заставить его третий год платить мою еженедельную гинею. В Южный Кенсингтон я пришел учиться и в самом деле многое узнал, но все-таки уделял меньше всего времени и внимания тому, что преподносил нам профессор Джад. При этом у меня не было тогда ощущения, что я кого-то обманываю. Я и в самом деле работал усерднейшим образом, но не в Большой геологической лаборатории и не в отделе минералов и горных пород, находящемся в Музее естественной истории, а в учебной библиотеке, в библиотеке искусств и в читальне Дайса и Фостера. Если меня и оставила потребность знать все о прошлом, настоящем и возможном будущем планеты Земля, я изо всех сил старался проникнуть в содержание социализма. Я не только читал обширную пропагандистскую литературу, но и углублялся в вопросы истории, социологии и

экономики. Мне нужно было во что бы то ни стало узнать, что думали о мире такие большие люди, как Гёте, Карлейль, Шелли, Теннисон, Шекспир, Драйден, Мильтон, Поуп, а также Будда, Мухаммад и Конфуций, и что они значат для меня. Я учился у английской прозы и оттачивал свой ум в спорах с каждым, кто готов был со мной поспорить.

Нам удалось основать «Сайенс скулз джорнал», причем мы встретили неожиданную поддержку в лице А.-Е. Таттена, страстного энтузиаста химии, рассчитывавшего найти в журнале место для своих публикаций, и он очень старался для нас, пока не обнаружил, что мы всего лишь дилетанты и настоящие наши интересы лежат в сфере литературы и социализма. Я был первым редактором этого журнала, но в апреле 1887 года инспектор, узнав от профессора Джада о моих малых успехах в геологии и обеспокоившись этим, заставил меня отказаться от этого поста в пользу Бертона. Но к петрографии это меня не вернуло. Я сделал отчаянную попытку, пока не поздно, подготовиться к экзаменам, но даже в последние две недели перед экзаменами не сумел по-настоящему сосредоточиться на этом предмете.

Как раз в это время я открыл для себя заставившую меня немало поразмыслить «Французскую революцию» Карлейля и пророческие работы Уильяма Блейка{103}. Каждый день, прихватив с собой тетради и учебники, я отправлялся в читальню Дайса и Фостера или в библиотеку искусств. Я положил себе часа два для серьезной учебной работы и конспектирования, а потом в качестве вознаграждения — полчасика Карлейля, чью книгу я держал для себя у Дайса и Фостера, или Блейка, которого я брал в библиотеке искусств. Затем предполагалась небольшая прогулка по выставке картин Чентри{104} — они тогда были в Кенсингтоне, поскольку галереи Тейта{105} еще не существовало и не было возможности поместить там эти шедевры викторианского искусства, — надо было еще осмотреть майолику, изделия из металла и тому подобное, ну а потом уж вернуться к минералам. Но задолго до того, как истекали эти два часа, меня одолевали усталость и отвращение к петрографии; меня, что называется, тошнило от минералов, они просто лезли у меня из ушей. Гранит, габбро, гнейс — мне было все равно. Какая разница? Представить себе невозможно, до чего безразлично мне было, как влияет то или иное содержание кислот калия на фельзитную основу кристалла. Ведь здесь, прямо у меня под рукой, лежал альбом Блейка с его странными рисунками, на которых передо мной представали косматые божества с резкими чертами лица, устремленные к небу взвихренные духи, искаженные фигуры в контрастах света и тьмы. Что Блейк хотел всем этим сказать об

Альбионе? Казалось, в рисунках его заключено все на свете, в то время как Джаду сказать было совершенно нечего. Я и не замечал, как кипа тетрадей и учебников отодвигалась в сторону, а загадки Блейка сами собой оказывались прямо перед моими глазами.

На это я и потратил последние дни, оставшиеся до экзаменов, которым предстояло положить конец моей карьере серьезного ученого.

5. Социализм (без компетентного восприемника) и переустройство мира

Во вступительных главах я пытался рассказать, как мой личный опыт в Академии Томаса Морли, где меня на старый лад готовили в коммерсанты, потом в новомодной грамматической школе в Мидхерсте и в Южном Кенсингтоне с его множившимися как грибы колледжами смыкался с ходом истории, отражая перемены, происходившие и набиравшие силу на протяжении XVII, XVIII и XIX веков. Во всем мире мало-помалу разрушалась феодальная система, исчезали большие поместья, разорялись мелкие торговцы, приходило в упадок мелкое производство, развивалась промышленность, росла производительность труда и формировались новые, лучше образованные слои населения, складывался единый и всеобщий тип образования, рушились политические перегородки, и человечество сливалось в одно целое. История моего отца, моей матери и всей моей семьи — это лишь частный пример того, что происходило с огромным числом людей, которых жизненные обстоятельства толкали к еще не осознанному единству. Наши умственные отклики на подобное положение дел были в конечном счете столь же важны, как и реакции физические. Как люди моего типа относились к происходящему?

Сегодня умные головы уже отлично понимают всеобщий характер сдвигов в объективных условиях нашей жизни. Множество открытий и изобретений в сфере производства, новшества и перемены в финансовой области высвободили столько человеческой энергии, что, во-первых, отпала необходимость в монотонном и отупляющем труде, во-вторых, разные части мира оказались ближе друг к другу, чем за триста лет до того Лондон и Йорк, в-третьих, разрушительные возможности человечества так возросли, что стало невозможно даже помыслить о войне, которая в наши дни охватила бы всю планету. Мы должны осознать, что плановое мировое государство, вобравшее в себя в целях общего блага различные формы человеческой активности, при всех стоящих на пути к

нему трудностях, сделалось отныне для нас чем-то неизбежным, неотвратимым и, пока мы к нему не пробьемся, история человечества останется чередой конвульсий с редкими просветлениями. Как биологический вид мы являемся частью планетарного процесса. Нам нет дороги назад, к прежней стабильности; повернуть к старому — значит продлить наши общие беды. И потому нам необходимо перестроить нашу социальную и экономическую систему и прийти к новым, приемлемым для нас условиям. Чем скорее каждый из нас это поймет, тем быстрее мы преодолеем препятствия и тем лучшее будущее нас ждет. Чем больше людей придет к этой мысли, тем скорее сформируется новое общество. Я верю в это столь же безусловно, как в то, что Земля круглая, что она вращается, что существует земная гравитация и атмосферное давление.

Но бесспорное сегодня еще вчера подвергалось сомнению, а позавчера относилось лишь к области гипотез и предположений. Нынешние элементарные истины конечно же не считались такими в 1887 году и не представали с подобной ясностью и полнотой. Они не только были недоступны обычным людям, таким как я, мои братья и школьные товарищи, а также мои друзья по колледжу и учителя, — в той же мере они находились вне сферы интересов ученых, посвятивших себя обсуждению политических и социальных вопросов и проблем социалистического движения.

Возможно, последние острее, чем остальные, предчувствовали надвигающиеся перемены и новый для нас образ жизни, но, как со временем выяснилось, они абсолютно не представляли себе, как будет выглядеть это новое. Насколько они были слепы к масштабу и в первую очередь к скорости этих перемен, и насколько слепы были все мы, я постараюсь далее показать, хоть рассказ об этом и уведет меня в сторону.

Мне хочется, чтоб вы ощутили, какое впечатление произвел на меня тогда социализм и как я шаг за шагом осознал его границы; как постепенно я пробивался к моим сегодняшним представлениям.

Занятно вернуться мыслью в те годы и припомнить все, чему я научился, пока сидел в хаммерсмитском флигеле, — начинающий студент, слушающий Бернарда Шоу — молодого, поджарого, с рыжей бородкой, оттенявшей его бледное, вдохновенное лицо, или сутулого Грэма Уолласа, который, несмотря на свою ученость, умел говорить поразительно ясно. Как ни старайся, невозможно, увы, вернуть тогдашнее мое простодушие. Я вспоминаю только то, что видел, а не то, что чувствовал. У меня осталось лишь ощущение, что я наблюдал за

людьми исподтишка. Они произносили речи, не обращая внимания на нас, а мы, юные аутсайдеры, слушали их и могли вставить от себя только слово-другое. Мы были публикой живой и достаточно критичной, но при этом оставались младшими учениками, и все в нас кипело. Мы слушали, как они планировали свои политические ходы. Они казались нам сильными духом, но осторожными в методах людьми. Моррис иногда возбуждался — когда он, например, выказывал сочувствие приговоренным к смерти чикагским анархистам, — но ведь он был поэтом. Надвигалась революция, однако эта полная доблести фабианская группа искренне желала, сколько возможно, ее ограничить. Их целью было проникнуть в существующие структуры, во власть, а не изменить сами эти структуры. Их революционные проекты не вызывали доверия. Здесь было больше протеста, чем тактики.

Чем дальше, тем больше отдаляется от меня тогдашнее ощущение стабильности порядков, которым мы противостояли. В подсознании тогда всех не оставляло иллюзорное представление об устойчивости окружающего. В Хаммерсмите разделяли ту же систему взглядов. Понадобилось потрясение мировой войны, чтобы английский народ утерял чувство неизменности жизни. А в те времена люди чувствовали и говорили так, словно все вечно стоит на одном месте и на белом свете прочно укоренилась социальная несправедливость, против которой приходится протестовать и искать от нее избавления.

Можно сказать, что социализм был реакцией группы интеллектуалов (очень различных между собой) на перемену масштаба человеческой деятельности и что появился он вместе с этой переменой. Социалисты и сами себя не вполне понимали. Никто не задавался вопросом, почему социализм появился именно тогда, а не раньше и не позже. Это направление мысли даже поначалу не интересовалось своим происхождением. Различные формы этой теории в сознании ее сторонников выглядели как героические революционные новации. А между тем социализм имел свои исторические корни в эпохах, когда люди интуитивно готовились к преобразованиям. Своим теоретикам социализм казался чем-то кардинально отличным от старого уклада жизни. Люди увлеченно решали вопрос, почему дела обстоят именно таким образом, тогда как должны в любом случае быть совершенно иными. «Мы будем жить в новом мире, и он будет называться социализмом», — говорили они. Но они не понимали, что новый мир уже формируется, отличаясь от старого своими масштабами и производительными силами.

Социализм начал развиваться сначала в Англии, а затем во

Франции, потому что индустриальная и техническая революция сперва захватила Англию, затем Францию, а потом уже остальные страны. Со времен Роберта Оуэна отдельные люди пытались под знаменем социализма создать построенные на рациональных социальных и экономических основах общины, которые искажались до неузнаваемости или вообще исчезали с лица земли под воздействием неких слепых сил. Эти социалисты не сознавали той простой истины, что старые социальные и экономические отношения будут вопреки их усилиям все равно пробиваться на поверхность.

В этих псевдоконструктивных социальных попытках не было ничего особенно нового. Англия претерпевала глубокие социальные и экономические преобразования еще со времен войны Алой и Белой Розы, и влияние этих перемен четко отразилось на ее истории и литературе. Задолго до Оуэна и ставшего привычным слова «социализм» уже появлялись отдельные социалистические мечтатели, откликавшиеся на требования дня. Таким социалистом-мечтателем был, к примеру, опиравшийся на идею города-государства Платона Томас Мор. Такой же была ранняя попытка серьезной социальной реорганизации, именуемая елизаветинским Законом о бедных{106}. Дефо и Филдинг прекрасно понимали необходимость ввести в определенные рамки расслоение общества и затем положить ему конец. Вся история Англии — это путь постепенного перехода от одной системы к другой, и отличительная черта нашего времени состоит в том, что темпы и преемственность этого перехода заметно ускорились.

Социализм с момента, когда он родился на свет, отказался от этой постепенности и начал давать прямые ответы на возникающие неотложные вопросы, четко их формулировать, а также указывать точный способ их решения. В свое время он принял вид «практического христианства», и возникли различные формы христианского социализма, восходящие к средневековому попечению о бедных. Рёскин и Моррис создали систему эстетического антимеханического социализма, не приняв грубого машинного производства, исказившего для народа саму идею искусства. Ранний французский социализм был столь же фрагментарным и эклектичным, разве что более последовательным, нежели английский. Общая тенденция нового движения была достаточно ярко выражена: стремились создать группу избранных, заставить человечество стряхнуть охватившую его апатию и направить его по пути, уводившему от возбуждавшей общее недовольство неподвижной и неизлечимо больной социальной системы. Как ни сильно мое стремление

подорвать репутацию Маркса, мне приходится признать, что он был первым, кто понял современный социальный уклад не как неизменную, устоявшуюся несправедливость и привычку к жизненным трудностям, а как переменчивую саморазрушающуюся систему.

Нам еще предстоит найти должную взаимосвязь различных социальных идей и выявить свое критическое к ним отношение, а затем (что в значительной степени уже происходит) или приспособить, более или менее сознательно, эти идеи к своим воззрениям, или же пренебречь ими, полностью их игнорируя. До сих пор все мыслители сосредоточивались на частностях. Ни один из них не смог охватить проблему в целом.

Не буду касаться дофабианского социализма — к моменту моего появления в Лондоне фабианство уже сформировалось как одно из течений социализма, если только можно вообще говорить о фабианцах как о ясной системе взглядов и единых принципов. Но в Англии не было другой достойной упоминания линии социалистической пропаганды. Фабианское общество вобрало в себя весьма противоречивые и несовместимые друг с другом воззрения, и сохранить свое главенствующее положение ему удавалось, лишь преодолевая на каждом шагу подспудные течения, которые невозможно было между собой примирить. Одни члены Фабианского общества отвергали механизацию, которую рассматривали как источник всех социальных зол, другие возлагали надежду именно на механизацию как освободителя наемного работника; одни были националистами, другие космополитами; одни были антимальтузианцами, другие, во главе с Анни Безант, неомальтузианцами, одни верующими, другие атеистами, отвергающими религию как опиум для народа, одни стояли за крепкую семью как ячейку общества, другие, вслед за Платоном, ее вообще отрицали. Многие защищали всеобщее избирательное право как единственную возможность для индивида отстаивать в обществе свои интересы, другие видели трудность выполнения этой задачи и говорили, что надо опираться на олигархию, торизм и благорасположенных к народу аристократов.

Эти разногласия надо было либо обсудить, чтобы с ними хоть как-то справиться, либо предоставить их самим себе и посмотреть, чья возьмет. А поскольку фабианство было течением политическим, а не научным, оно избрало второй путь. Я покажу позже, как это преднамеренное нежелание искать исчерпывающий ответ приводило к вопиющим противоречиям в теории. В социализме за пределами Англии не было этой британской страсти к компромиссу. Социализм там стремился преодолевать

противоречия. Но, раздираемое фракционностью, европейское социалистическое течение, при всей своей большей революционности, не было свободно от недостатков, о которых я собираюсь поговорить. И все же европейские социалисты пытались выработать общую доктрину, от отсутствия которой страдала фабианская школа; правда, на практике это не совсем удавалось.

Наша кучка любознательных студентов из Кенсингтона, которая посещала фабианцев, чтоб перенять у них основы их великой веры, мало-помалу обнаружила, что это общество так же бесформенно, как и мир, его породивший. В те далекие времена враги обвиняли социалистов, как до этого язычники — ранних христиан, что они ратуют за общность жен. Но у фабианцев не было даже общих идей. Разве что за малыми исключениями. Только одна идея их объединяла, делая их всех социалистами. Они отрицали стремление к наживе, преобладавшее в тогдашнем обществе, отказываясь видеть в нем движущую силу прогресса.

Неприятие наживы и было главным признаком социализма. В этом сходились Оуэн, Рёскин, Уильям Моррис, Маркс, Уэбб, Шоу, Гайндман{107}, Морис{108} и Кингсли{109}. Они открыто враждовали с современным убеждением, что погоня за прибылью, потребность завладеть как можно большим и соревнование с другими в этом желании есть единственная движущая сила прогресса. Убеждение Прудона{110}, что «La propriété c'est le vol»[5], было признано всеми фабианцами. Главный вклад, сделанный Марксом, состоял в наглядной демонстрации, что система погони за прибылью не может быть вечной. Он показал, что конкуренция и конечная победа главного из соревнователей (или группы соревнователей), которые в конечном счете завладеют всем на свете, приведет к тому, что эта группа попытается держать все человечество в постоянной от себя зависимости. И отсюда, утверждал он, — неизбежность революции. Социалисты все как один стремились исключить из экономики понятие прибыли и отказаться от частной собственности, оставив ей только удовлетворение элементарных житейских потребностей. Но тут же вставал вопрос: чему в таком случае будут подчинены экономические отношения? И здесь социалисты совершенно расходились во мнении, как расходятся и до сих пор.

Доклад, который я так тщательно подготовил в Минстеруорте и зачитал в Дискуссионном обществе в 1886 году, был образчиком того социализма, который тогда существовал в народном сознании. В нем речь шла о расточительстве, порождаемом конкуренцией, и о том, что я называл

диспропорцией в распределении жизненных благ. Я совсем не разбирался в проблеме инвестиций и, естественно, не мог ее со знанием дела рассматривать, не имел представления о биржевой игре, спекуляции и кредитной системе, посредничестве в получении «окончательного продукта» и его значении в торговле. Я размышлял об излишнем числе конкурирующих между собой молочных фургонов и о ненужном количестве мелких торговцев. Я расхваливал большие универмаги, которые погубили Атлас-хаус, но казались мне преддверием государственной системы распределения. Существование моего отца как мелкого торговца представлялось мне совершенной бессмыслицей. Я считал, что производство и распределение продукта должно стать еще одной функцией государства, добавленной мной к тем, что я объединял под единой рубрикой «защита». Производство, Распределение и Защита были тремя бесхитростными основами моей социальной системы. Государство должно было контролировать три эти составляющие, а не ограничиваться только «защитой». Разумеется, я не давал точного определения государства и не критиковал современного его состояния.

Этот мой примитивный социализм, несмотря на всю его узость, был принят сочувственно. В последующие дебаты Бертон привнес что-то от Рёскина, А.-М. Дэвис сделал некоторые частные возражения и процитировал Герберта Спенсера, тогда как Э.-Х. Смит энергично выступил с демократических позиций, мною упущенных. Его сентиментальная вера в массы, близкая в те дни многим в Южном Кенсингтоне, напоминала мистическое марксистское народолюбие. Я помню многие эпизоды этого заседания: Э.-Х. Смит ораторствовал, поставив одну ногу на стул, Дэвис, миниатюрный и по-иберийски смуглый{111}, был чем-то похож на ранний портрет Дж.-С. Милля{112}, он точно подбирал слова, а когда сомневался, то смущенно покашливал, а старина Бертон, по-библейски величественный, как подобало поклоннику Рёскина и человеку, избравшему Джона Брайта{113} от Манчестера, был очень красноречив и многословен. Выступали и другие, но я не помню их столь отчетливо. Мы отвергали индивидуализм и laissez-faire[6]. Земельные владения и промышленный капитал должны были быть переданы обществу. Мы не объясняли, что имеем в виду под словом «общество», не пытались определить это понятие, да и не знали, что оно нуждается в определении. Но перед нами забрезжил мир, очищенный от погони за наживой, стремления всех обогнать и потребности исказить и подавить любую творческую инициативу. Нас озарил великий свет, мешая видеть что-либо иное.

Социализм и впрямь нас тогда ослеплял. В век всеобщего

стяжательства и своеволия собственников он был для нас совершеннейшим откровением, и нам даже не верилось, что он когда-нибудь воплотит наши надежды. Мы боялись, что он нас разочарует и отнимет веру, которую породил. Тогдашний социализм пребывал в состоянии восторга от самого себя, что мешало думать о дальнейших шагах, питаясь иллюзией, что все сбудется само собой. Подобное состояние восторженной косности порой охватывает ту или иную науку. После открытия эволюции биологии потребовалось известное время на то, чтобы освоить, затвердить и разработать эту великую идею. Физика не сразу отказалась от идеи неделимого атома и сохранения энергии. Но западный социализм держится своих устоев дольше любой науки. Он не отказывается от своих первоначальных понятий целых пятьдесят лет.

Для исключительной неподвижности социалистической идеологии были свои особые причины. В Фабианском обществе потребность в политическом компромиссе приглушала споры по очень важным вопросам, но дело не только в этом. Не одна лишь боязнь фракционного распада мешала континентальному социализму стать действенной силой. Главное — в нем отсутствовал дух анализа и эксперимента. У колыбели социализма, как легко заметить, не стояли люди с научным складом ума. Социализм сложился до того, как сформировалась наука, и в нем живет страсть к окончательным решениям, от которых экспериментальная наука давно отказалась. Никто со вздохом не спрашивал: «А что дальше?» Никто не говорил: «Мы нашли великий вдохновляющий принцип и определили общие его положения. Давайте теперь трезво изучать все необходимые частности и методы его применения». Вместо этого социализм был объявлен панацеей от всех бед. Его выразили в странных мистических и догматических формулах. «Пролетариат» должен был восстать против «буржуазии», «экспроприировать» ее и так далее и тому подобное.

Старые кальвинистские теологи, столь же непререкаемые и косные, объявили о спасении через пролитую кровь, так и не объяснив более или менее вразумительно, что понимают под этим и как с этим соотносится старая библейская традиция. Не вступай в споры, не создавай трудностей, просто поверь в спасение и покайся. Усомниться значило сделать шаг к отступничеству. И точно так же социалисты заклинали буржуазию, финансовых и промышленных воротил, современных государственных мужей, не усугубляя своей вины и не задавая лишних вопросов, покаяться и добровольно признать «социализацию».

Спрашивать: «А каким это образом?» — воспрещалось.

В настоящее время (а я недавно рассматривал идею экспроприации земельной собственности и капитала в своей книге «Труд, богатство и счастье человечества», 1931) все сводится к вопросу о «компетентном восприемнике». Фабианский социализм, стараясь поскорее заполнить зияющую брешь в своих взглядах, сделал все возможное для того, чтобы добиться практического осуществления идеи социализации. Он пришел к мысли, что любая административная единица: попечительский совет, правительство, муниципалитет, парламент, конгресс — может сыграть роль «общества» и принять на себя обязанность преодолеть наиболее вопиющие экономические трудности. Сидней и Беатриса Уэбб, с непревзойденным упорством удерживая английский социализм в этих узких рамках, настаивали на том, что чуть ли не всякая организация, если в ней займут место «эксперты» или люди, им подобные, может начать действовать с должной эффективностью. С тем же успехом они могли бы «фабианизировать» царизм или совет вождей Берега Слоновой Кости.

Уэбб мыслил своеобразно, и влияние его возымело свой удушающий эффект на британский социализм. Миссис Уэбб привыкла считать себя звездой от политики, и это не давало ей в течение многих лет усвоить мысль, что может существовать какой-то правящий класс, кроме ее собственного, известного ей изнутри. Уэбб, умный чиновник в сравнении с другими, тоже был готов признать прежний правящий класс, при условии, что он предоставит частности доверенным лицам — опытным чиновникам вроде него. В действительности же члены правящего класса, с их социальными традициями, продажным либерализмом, превосходно разработанной парламентской техникой облапошивания наивных демократических избирателей, были последними, кто внял бы призывам мелких чиновников, которые требовали от них, чтоб они сами себя «социализировали». Когда дело касалось их лично, они отбрасывали феодальную мягкотелость. Но парламент был нужен им самим. А тогдашние общественные организации, избранные практиковавшимися тогда случайными методами, отнюдь не прокладывали дорогу к социализму. Другие направления мысли не просматривались, разговоры же о возможных трудностях многим экзальтированным и нетерпеливым приверженцам социалистической идеи казались злокозненным саботажем и препятствием на пути к освобождению мира.

Им казалось, что уже фырчит аэроплан, готовый к полету, и стоит ли откладывать полет только из-за отсутствия карты и

схемы аппарата: «Ждать карты и схемы слишком долго», «Так мы никогда не долетим до места назначения». И так далее. Образ можно еще дополнить — они хотели использовать для своих целей вожжи от старого кабриолета.

Я не так был связан с ними политически и организационно, как более активные члены Фабианского общества, и это давало мне возможность глядеть на него со стороны и видеть просчеты в его программе. Проблемы развития социалистического общества, поиски компетентного восприемника начали волновать меня уже в девяностые годы. Не могу вспомнить, что повернуло меня в эту сторону. Но мне предстоит еще сказать в заключительной главе, что под конец эта мысль стала доминировать в моих социальных выкладках.

Попытки поручить все дела просто знающим людям и неудачи подобных поползновений привели, мне кажется, к неразумному, но естественному обращению к бунтарской концепции, политике неповиновения и противостояния преходящим формам социальной несправедливости. В 1886 году я, подобно другим социалистам, меня окружавшим, принимал эту концепцию как нечто само собой разумеющееся, и только потом, когда мой кругозор расширился и мне стала яснее теория социализма, я осознал, сколь случайно и во многих отношениях губительно было обращение к этой концепции и какие оно имело дурные последствия.

В изначально патриархальном социализме Роберта Оуэна было совсем немного демократизма, и только Маркс окончательно соединил идеи демократии и социализма. Он преувеличил бунтарский импульс в современной демократии и начал искать движущую силу революционной перестройки мира в возмущении низов общества. Сама по себе мысль, что именно неудачники, обделенные в битве за собственность, станут ее противниками, совершенно логична, но отсюда никак не следует, что эти общественные слои примут идею коллективной собственности и согласятся с мыслью о компетентном ею управлении. От этого вопроса Маркс с проворством и ловкостью сумел увернуться. Мало-помалу идея классовой борьбы все прочнее подменяла собой идею социализма и перестала в конце концов для многих быть учением о лучшей организации экономики, а превратилась в призыв насильственным путем отобрать краденое добро и воспользоваться им всенародно, то есть всем сообща и никому в отдельности.

Даже те социалисты, которые вовсе не шли след в след за Марксом, бессознательно подчинялись его учению. Его непонимание характера и возможностей английских профсоюзов

оказались очень глубоки и заразительны. В Британии, России, Германии и вообще по всему свету социализм стал восприниматься трудящимися не просто как возможность и надежда, но как отмщение, а это уже нечто другое; фабианцы обратились к руководителям профсоюзов, привлекая их к парламентской борьбе в качестве естественных лидеров общества, поставившего перед собой величественную задачу переделки мира. Но вы бы глянули на иных из них и послушали!

Как и большинство окружающих, я поддался этому заблуждению. Я ведь задним умом крепок. Мой отход от современной демократической теории явно противоречил многим моим поступкам. На деле, во всяком случае, я никак не шел впереди своего времени. В этом смысле мои убеждения, опережавшие тогдашний день, находились в разительном противоречии с моей политической линией; здесь я тащился в хвосте. Я напоминал тогда головастика-переростка, имеющего и жабры, и легкие, и хвост, и ноги одновременно. В 1906 году я поддержал только что родившуюся Лейбористскую партию, хотя и не отождествлял ее с фабианством; и я приписывал им «идейную близость» и выступил в качестве представителя Лондонского университета официальным кандидатом от лейбористов на всеобщих выборах 1922 и 1923 годов. В ходе повествования я еще вернусь к этим срывам и расскажу, как идея классовой борьбы нет-нет да и подчиняла себе социализм. Пока же меня волнует лишь собственная непоследовательность, которая проявлялась в отношении к двум противоборствующим тенденциям, явившимся миру между 1880 и 1920 годами. Я говорю о недостатках и просчетах социалистической теории XIX века, так как она является черновым планом перестройки мирового порядка.

Руководители и теоретики социалистического движения упустили из виду еще одну проблему, тесно связанную с предыдущей. Они не поняли, что характер и размеры общества, с которым им придется иметь дело, будут совершенно иными. Не осознали, что современный социализм требует более мощной системы управления. До сегодняшнего дня социалисты все еще не поняли, сколь значительна эта перемена масштаба. Типичный выбранный лейбористами советник местного городского или сельского самоуправления меньше всего способен возвыситься над интересами патриархальной общины, которая его выбрала. Рамсей Макдональд{114} недаром возражал против пропорционального представительства в больших избирательных округах, ибо в этих условиях Рамсей Макдональд просто исчез бы с политического горизонта; подобно ему, муниципальные чиновники из лейбористов, тесно связанные с местными

строителями и дельцами, не стерпели бы и намека на самую мысль о том, что они могут утратить влияние на местные дела. В распоряжении этих социалистов была окрестная водокачка, а им пришлось бы заботиться о водоснабжении в целом. Иначе и быть не могло.

Я, наверно, остался бы так же слеп в вопросах управления и вытекающих отсюда трудностях, как и другие социалисты, если бы в 1899 и 1900 годах мне не случилось строить дом в Сандгейте. Я случайно выбрал участок на границе между Фолкстоном и городским округом Сандгейта, и мне пришлось преодолеть немало препятствий, чтобы провести у себя электричество; для этого надо было пересечь некий невидимый рубеж; когда же я узнал от Гранта Аллена средние размеры английских городков и деревень и расстояние между ними, которое первоначально измерялось часом езды на лошади или пешим ходом, это навело меня на серьезные размышления. У меня зародилась идея, которую я уже имел случай высказать, что подлинно социалистическое правительство должно быть крепче сколоченным, чем теперешние кабинеты министров; при этом не следует забывать, что наш мир не является более миром пешеходов и конных экипажей, и, следовательно, административные деления придется изменить и уточнить. Я начал догадываться о том, что ныне общепризнанно, — о том, что важнейшей переменой в наш период перемен стало изменение средств коммуникации — их ускорение и упрощение, сделавшие слишком тесными существующие границы. Тридцать лет назад этого еще не понимали. А ведь эта истина имеет первостепенное значение. Необходимость изменения масштаба преобразований открылась мне не сразу, но я уже говорил об этом в своих «Предвидениях», написанных в 1901 году. Еще до того, как я оставил эту идею, она привела меня к представлению о неотвратимости создания авторитетного Мирового государства, которое покончило бы с теперешними суверенными правительствами.

В 1903 году, после того как я вступил в Фабианское общество, я начал его тормошить, внушая ему мысль о несовместимости наших проектов социализации с теперешней системой самоуправления; я изложил эту идею в докладе «Проблема научно обоснованных административных округов в связи с преобразованием муниципалитетов». (В тот же год эта работа была опубликована приложением к книге «Человечество в процессе становления».) Я придал своей идее более доступную для читателя форму набросков, которые молодой студент принес учителю для замечаний. Я действительно думал, что открыл

новую истину. Но я польстил своим фабианским слушателям. Тогдашние фабианцы нелегко зажигались новыми идеями; они желали не слушать, а поучать, и мой доклад был воспринят так, словно он не имел никакого значения. Грэм Уоллас выразил это самым неприкрытым образом. По его мнению, фабианское безразличие к политической реформе на сей раз зашло слишком уж далеко.

Впоследствии, когда я был у Уэббов в их доме на Гровнер-роуд, я попытался убедить их в своей правоте; они тогда занимались подробным исследованием деятельности местных властей в XVIII веке и приняли по отношению ко мне позицию специалистов, столкнувшихся с надоедливым учеником; я сколько мог нагрубил им, обсуждая их работу и настаивая на том, что, поскольку речь так или иначе шла о современном самоуправлении, прибегать к методам Догберри и Шеллоу{115} — все равно что использовать практику человеческих жертвоприношений древней Этрурии. С появлением трамвая, электрического освещения, всеобщего начального образования любая проблема, касающаяся местного самоуправления, преобразуется в самых своих основах.

А эти преобразования шли безостановочно. Одно время в любом своем разговоре и во всем, что писал, я подчеркивал различие между «локализованным» и «делокализованным» типом мышления. Я был совершенно уверен в том, что разгадал очень важную сторону вопроса, которую до меня упускали из виду. А я ее обнаружил. Существующее дробление территорий, говорил я, оставляет управление всем на свете в руках людей, сосредоточенных на местных интересах, и так будет до тех пор, пока мы остаемся в пределах созданной XVIII веком системы мелких общин; что же касается человека, отличающегося более широким кругозором и непоседливостью, то он оказывается политически бесправным уже в силу своей неспособности ограничить себя пределами того, что происходит непосредственно у его порога. Он может представлять собой значительную величину в окружающем мире, но оставаться ничем в ближайшем соседстве. Мы пытались осовременить мир, в котором люди с современным типом мышления не имеют никакого влияния.

Позднее, правда не сразу, Фабианское общество с опозданием откликнулось на мою идею, задолго до того изложенную мною в устной форме, опубликовав серию трактатов «Новая гептархия». Моя идея стала предметом фабианской брошюры «Областная муниципализация», написанной У. Стивеном Сандерсом. Но рядовые члены Фабианского общества были настолько вовлечены

в сферу собственных политических амбиций, что смелое и связное изложение этой идеи было невозможно, а попытка осмыслить шестнадцать страниц, рожденных усилиями Сандерса, да еще под конец объединить сказанное с двумя последующими трактатами, была осуждена на провал. Я так настойчиво упоминаю все эти подробности, поскольку они не были освещены в написанной Пизом официальной истории Фабианского общества и социалистическое движение не дало впоследствии систематических разработок ни в области административной философии, ни в политической географии. Они не стали частью «практической политики», ибо Уэббы были администраторами, а не учеными и не задавались лишними вопросами.

Меня на время озадачило, что моя блестящая идея была так холодно встречена фабианскими наставниками, и я, надо думать, слишком поспешно признал первенство трезвых практических расчетов, выходивших за рамки моего личного опыта и побудивших отнестись к моим предложениям без должного внимания. Меня занимало множество других вещей, и я не позволил своему критическому отношению к фабианству выйти за определенные рамки. Когда я впоследствии взбунтовался против Старой Банды (в соответствующем месте об этом еще будет сказано), то по совершенно иным мотивам. Но мысль о перемене масштаба человеческой деятельности глубоко угнездилась в моем сознании, и, хотя я не нашел ей применения в своих попытках модифицировать политику Фабианского общества, она отразилась в моем фантастическом романе «Пища богов» (1903–1904), который начинается веселым бурлеском и кончается поэтическим символом. А в «Современной Утопии» (1905) я изображаю Мировое государство как нечто реальное и само собой разумеющееся.

Сегодня я думаю, что тщательное изучение оптимального размера территории, которой надлежит стать единицей государственного устройства, и должно повести за собой критическую оценку самого принципа суверенитета и сделаться предметом обсуждения для социализма, когда он на деле станет научным, сомкнувшись с современной наукой и разделив с нею приверженность к систематическому исследованию и постоянному обновлению; этот вид социализма найдет ревностных и воодушевленных сторонников. Если подобная система будет разработана, она принесет для всех нас неисчислимые блага. Но пока что она не разработана. Стремление немедленно воплотить в жизнь все политические и практические установления сделало наших социалистов людьми близорукими. Во время дискуссии «Фабианизм и империя»

немало лестных слов было сказано по адресу Теннисона как автора «Федерации мира», но эта лесть была приправлена изрядной долей презрения со стороны людей, убежденных в превосходстве собственного здравого смысла. Сам по себе этот доклад, написанный Шоу и испещренный вставками, очевидно сделанными при редактировании людьми крайне осторожными, принимал за данное, что в ближайшее время процесс разделения нашей планеты на некоторое число малых империалистических государств, ведомых великими державами, будет завершен, последующее же их слияние — дело безнадежно далекое, что наглядно подтверждала малая эффективность британского социализма. В те дни «эффективность» была модным словечком. Оно подразумевало эффективность, и военную и деловую, других держав. Совершенно так же фабианизм тридцатилетней давности не мог, не желал и не смел преодолеть границы полномочий приходских чиновников, возвыситься над парламентами, профсоюзами, мнениями людей, едва научившихся читать, и устарелыми формами законодательства, он не способен был взглянуть дальше соревнования великих держав, развернувшегося в 1900–1914 годы. Социалистический еженедельник «Нью стейтсмен», основанный Уэббами и их друзьями в 1913 году, совершенно игнорировал понятие «Мировое государство», и так было до самого начала Великой войны. Затем представление об устойчивости и желательности всех этих «Великих держав» и поддерживаемой ими империалистической системы быстро отошло в прошлое, и сегодня «Нью стейтсмен» не меньше моего стоит за Мировое государство.

А теперь хотелось бы вернуться к еще одному из главных просчетов социализма восьмидесятых — девяностых годов, помешавших ему сделаться надежным инструментом преодоления человеческих бед.

Социализм был в первую очередь отрицанием частной собственности, поскольку она препятствовала общественному благосостоянию, но при этом ни в Британии, ни за границей нет никаких признаков осознания связи между имущественными притязаниями и инфляцией или дефляцией, ни малейшей попытки изучать эти процессы. Социалистическое движение развивалось в счастливом неведении о возможном влиянии инфляции на освобождение должника и наемного работника от притязаний на права и обязанности собственника. Нигде контроль за денежной массой не был связан с экспроприацией со стороны землевладельца или капиталиста. Правда, некоторым удалось приблизиться к разрешению этой проблемы. В своей «Современной Утопии» (1905) я даже выдвинул идею денежного

обращения, для которого точкой отсчета была бы единица энергии. Я сделал это, не ведая, что покушаюсь на самые основы фабианства. Собрания фабианцев приходили в ужас при одной мысли о «финансистском крене», в котором они обвиняли всех, кто осмеливался заговорить о том, что у денег есть свои фокусы, а ведь это знает всякий студент-экономист. Президиум и аудитория возмущенно вскакивали с мест, если даже шепотом произносилась такая крамольная фраза.

Фабианцы не просто не желали задумываться о деньгах — они отталкивали от себя самую эту мысль. Один параграф из фабианского «Трактата 70», опубликованного в 1896 году, где речь идет о «миссии фабианцев», побьет все рекорды среди подобного рода литературы по уровню глупости. «У Фабианского общества нет определенных взглядов на Брак, Религию, Искусство, абстрактную Экономику, исторический процесс, денежное обращение или любую другую проблему, не касающуюся главного для нас — развития демократии и социализма». Так и слышишь голос самодовольного дурака, с нажимом произносящего эту фразу.

Тот же интеллектуальный консерватизм, то же нежелание распространить свои интересы за пределы элементарных понятий легко обнаружить в отношении к образованию и в стремлении объяснить народу задачи социализма в целом. Я уже в 1906 году протестовал против фабианского утверждения, будто, прежде чем построить социализм, требуется «вырастить социалистов», но куда более широковещательное утверждение, что в этих целях надо все население сделать социалистами, не приходило в голову даже мне, человеку с немалым воображением. В книге «Человечество в процессе становления» (1903) я показал свое сочувствие к мысли о взаимозависимости всеобщего образования и социальных структур, но моя программа была набросана еще только вчерне, и образовательные и политические предложения по-настоящему не переплетались. Я нападал на монархию как на олицетворение формализма и неискренности. Она, по моему мнению, служит лишь прикрытием действительных форм государственности. Однако лишь в своих последних книгах, таких как «Труд, богатство и счастье человечества» (1931) и «Облик грядущего» (1933), я сумел доказать, что народное образование и перестройка общества по самой природе вещей составляют единое целое.

И наконец, пятым большим недостатком социализма XIX века было, как ни трудно в это сейчас поверить, отрицание планирования. Социалисты желали построить новое общество, но при этом сопротивлялись всякой попытке начертать хотя бы

приблизительный план этого общества. С точки зрения сегодняшнего дня этот просчет кажется совершенно невероятным, но для своего времени он был неизбежен. Провиденциализм был в духе того века. Вера в Провидение была всеобщей. Даже атеисты верили в некий Промысл Божий. Самодовольство этого удивительного века кажется нашему полному сомнений, неспокойному и критически настроенному поколению чем-то неправдоподобным, но индивидуалист XIX века говорил по этому поводу: предоставь человеку полную свободу действий, исключая право грабить и убивать, — и свободная конкуренция принесет наилучшие плоды для всего человечества. Тогдашний же социалист отвечал ему: «Уничтожь капиталистическую систему, забери собственность из рук отдельных личностей и передай ее правительству, каким бы оно ни было, и все образуется». Вера в конечную благость судьбы ни у кого не вызывала сомнений.

Под влиянием Маркса склонность верить в наступление общего счастья невероятно усилилась. Маркс не был человеком с развитым воображением и тайно сознавал этот свой недостаток. Он собирал факты, внимательнейшим образом их анализировал и, опираясь на них, создавал широчайшие обобщения, но у него не было настоящей способности проникнуть в будущее, что дало бы ему возможность нарисовать собственную картину желаемого общества. Крайнее самомнение заставило Маркса придать своим теориям видимость научной доказательности и исключило для него всякие иные точки зрения. Он воспитал в своих последователях полное неприятие творческого воображения и неподвижность ума, прикрывающиеся щитом здравого смысла, так что слово «утопизм» стало в конце концов одним из наиболее распространенных ругательств в лексиконе марксистов, что очень показательно для оценки нетерпимости Маркса. Всякая попытка разработать в деталях общественную организацию, именуемую социализмом, встречала со стороны марксистов самое презрительное отношение. В лучшем случае она рассматривалась как напрасная трата времени, мешающая продвижению к разрушительной революции, автоматически высвобождающей подспудную возможность всеобщего благоденствия. А там посмотрим… Все марксисты, пока русская революция не внушила им интереса к реальной практике, были заядлыми противниками планирования. Верные последователи марксизма пытаются это сейчас отрицать, но их обширная скучная литература, направленная против планирования, которая собрана в библиотеке Британского музея и других местах, свидетельствует о противоположном. Выход только в классовой борьбе; она неизбежна, и ее достаточно для спасения. Но неистовость

марксистов, их неоправданная претензия на владение научным методом увлекли многих социалистов, далеких от их организации. Марксизм на целых полстолетия лишил социализм творческой силы. С начала до конца влияние Маркса было необоримой помехой для прогрессивного преобразования общества. Не родись на свет Карл Маркс, мы были бы куда ближе к организованной на здоровых началах системе мироустройства. Практика помогла приспособить к жизни его подчеркнуто абстрактный консерватизм и лишила систему его взглядов былой безоговорочности. Коммунистический социализм вынужден был принять прогрессивное направление, научный метод и перечеркнуть евангелический дух своего основателя. Ленин уничтожил правительство, созданное демократическим путем, создал многоярусную систему советов и превратил Коммунистическую партию в правящую элиту. Всенародно одобренный пятилетний план и последующие планы были совершенным отказом от марксистского провиденциализма в пользу дотоле презираемой утопии. Сегодня мы все мало-помалу начинаем понимать, что Россия не является более коммунистической или демократической социалистической страной, хотя она вылупилась из этого яйца. Перед нами экспериментальный тип государственного капитализма, с каждым годом приобретающий черты научного метода. Это сомнительный отпрыск старой теории, рожденный необходимостью. Социалистическая идея, в ее коммунистической модификации, постепенно оказывается подчиненной более широкой и неотложной идее планирования во вселенском масштабе. Всеохватывающее планирование сегодня использует и социализм наряду с десятками не менее важных конструктивных импульсов. Если кто-либо хочет убедиться в изначальной неплодотворности социалистического движения и увидеть его сходство с мешком, в который рассеянный, хотя и благонамеренный собиратель бросал все, что попалось под руку, ему достаточно на секунду задуматься над историей самолета. Стоит вспомнить, сколько потребовалось трудной работы, мелких изобретений, терпеливого овладения накопленным опытом и знаниями, бескорыстного обмена сведениями, чтобы полет, внушавший куда меньше надежды на осуществление, чем первоначальные социалистические построения, превратился за треть века из далекой мечты в общепризнанную реальность. Рядом с этим отважным порывом человеческой мысли социалистическая литература производит впечатление надоедливых повторов и несбыточных обещаний. Стоит ли удивляться, что слово «социализм» никого больше не зажигает и социалистическая фразеология выходит из

употребления?

Но в конце восьмидесятых годов все это для нас, студентов, выглядело совершенно иначе. Социализм был прекрасной новорожденной надеждой. Как было нам догадаться, что он, едва родившись, начнет клониться к упадку, станет самонадеянным и самодовольным и под конец превратится в агрессивную и назойливую, при всей своей недоразвитости, доктрину? Повязав красные галстуки как знак вызова и единственное украшение наших поношенных, с обтрепанными рукавами костюмов, мы проделывали долгий путь по освещенным газовыми фонарями зимним лондонским улицам, а потом — в ртутной ядовитости метро, чтобы послушать и покритиковать Уильяма Морриса, Уэббов, Бернарда Шоу, Хьюберта Бланда{116}, Грэма Уолласа, всех остальных, открывавших перед нами двери в тысячелетнее царство, посмеяться над ними и поверить чуть ли не каждому их слову.

Сегодняшние студенты знают, что осилить дорогу к социализму труднее, чем нам казалось. На каждого из нас, в сравнении с прежними днями, сейчас приходится по дюжине юношей с острым умом, более усердных и настойчивых. У людей, устремленных в будущее, нет сегодня таких блестящих, ярких и поражающих воображение учителей, какие были у нас. У них нет Шоу, Уильяма Морриса, целого созвездия художников, поэтов, ораторов, способных собрать зажигательные митинги, но это только потому, что социалистическое движение сейчас стало шире и самонадеяннее. Революционные устремления XIX века были детской игрой в сравнении с революционностью, требуемой в наши дни. Сейчас по-прежнему время великих перемен, но они совершатся должным образом лишь в том случае, если их будут направлять адекватно организованные силы. Лишь оглядываясь на то, о чем мы мечтали и что знали в Южном Кенсингтоне полстолетия назад, я могу оценить, насколько возросла во всем мире способность думать о будущем.

6. Фон студенческой жизни (1884–1887 гг.)

До сих пор я говорил о своей жизни в Лондоне исключительно с точки зрения студента, поскольку в те решающие годы это было для меня самым главным. В моем мозгу создалось представление о мире, в котором мне суждено жить в последующие годы. Каждый рабочий день студенты съезжались из разбросанных по городу домов и квартир на Эксибишн-роуд, где располагались наши школы, чтобы нащупать в тумане путь к новому научно обоснованному взгляду на мир, который путано

прочерчивали для нас на занятиях. Этот новый взгляд, хотя еще нечетко вырисовывался для нас, значил уже очень многое, потому что здесь скрывались вещи основополагающие и для нашей собственной жизни, и для планеты в целом, и он же рождал понимание драмы текущей политики и экономических отношений. Постели, в которых мы спали, пища, которой мы питались, друзья за пределами колледжа — все отступало на задний план.

Однако все это было важным, хоть и не имело большого значения. В те дни студенческая жизнь в Южном Кенсингтоне почти целиком ограничивалась пределами аудиторий и лабораторий, общежитий не существовало в природе, и после пяти вечера и до десяти утра мы всецело принадлежали только себе. После пяти мы разбредались кто куда по нашим разнообразным жилищам и приобретали свой жизненный опыт как у кого получалось.

Рассказ о систематическом образовании в области биологии и физики, о том, как расширялись, укреплялись и были пересмотрены в последующие годы мои представления, и о том, какие общественные и политические идеи, в рамках тогдашнего социализма, сумел я выработать, вывел меня далеко за пределы студенческих лет. И, по правде сказать, за пределы моей собственной жизни. Я должен сейчас вернуть читателя к еще не сформировавшемуся семнадцатилетнему мальчишке, только что из провинции, поскольку пора сообщить кое-что о его юности и о юности в целом.

Ни мой отец, ни моя мать не имели ни малейшего представления о том, как устроить меня в Лондоне, и им было не с кем посоветоваться. Прежде всего было понятно, что мне придется жить на свою гинею в неделю. У матери, думаю, было преувеличенное представление об опасностях, которые таит в себе для моей морали большой город, и не было веры в мою внутреннюю чистоплотность и здравый смысл. Она с давних мидхерстских времен дружила с женой молочника, что жила на Эджвер-роуд. Они время от времени обменивались благочестивыми письмами, потом ее подруга умерла. У той была дочь, которая вышла замуж за служащего оптовой бакалейной фирмы, и мать написала ей с просьбой меня приютить, пребывая в полной уверенности, что это и есть островок добродетели в океане столичной испорченности. Ей очень хотелось поручить меня кому-нибудь, кого она знала, и ей даже в голову не приходило, как мало она представляет себе дочь своей добродетельной подруги. На деле же моя хозяйка далеко отступила от суровых правил евангелической морали, в которых

была воспитана.

Благочестие начисто отсутствовало в этом набитом жильцами доме, где я поселился в результате переговоров. Провидение, определив меня туда, лишний раз смеха ради сыграло одну из своих шуточек с моей матерью, да еще к тому же шуточек дурного тона.

Дом, хоть и невеликий, был забит до отказа. На первом этаже обосновался мелкий чиновник с женой; их недавний брак, по всему было видно, не складывался. Второй этаж занимала моя хозяйка с мужем, а этаж выше — их двое детей; на самом верху, каждый в своей комнате, обитали я и еще один человек. Этот съемщик, как мне смутно припоминается, был чем-то вроде клерка. Все получали только завтрак, хотя я был исключением — меня в рабочие дни кормили еще легким ужином, — а по воскресеньям мы все вместе обедали. Прислуги не было. И мне что-то не помнится ванная комната — благоразумнее ограничиться этой неопределенной формулировкой. Из дома я отправлялся с небольшой сумкой, набитой книгами и всем необходимым, через Уэстборн-Гров и Кенсингтонский сад в средоточие учености, а по вечерам, когда темнело и сад закрывался, я спешил обратно, шурша опавшей листвой, нередко подгоняемый свистками сторожей и криками «На выход!». К югу от этих зеленых лужаек и зарослей располагались лаборатории, библиотеки, музеи и астрономические обсерватории, к северу — лавки Квинс-роуд и Уэстборн-Гров, освещенные газом витрины универмага Уайтли и сугубо личная жизнь плотно заселенных домов, в один из которых мать меня загнала. Переход от общего к частному нигде не был столь разителен. На промежуточной лестничной площадке моего дома находилось некое подобие гостиной, в которой я располагался с двумя мальчиками; там я делал записи и читал учебники на покрытом клеенкой столе под газовой горелкой, а они тем временем готовили уроки или затевали драку.

Обе замужние женщины были неряхи, занятые только едой, питьем, тряпками и сексом. Весь день они оставались дома и в это время «прибирали», точнее бездельничали, или, когда находило на них такое настроение, надевали все самое лучшее и отправлялись пошататься по магазинам или просто по улицам в поисках сомнительных приключений. Когда повезет, удавалось подцепить мужчину, который, глядишь, сводит поесть, разыграть перед ним таинственную знатную даму, договориться о новой встрече, которая может и не состояться, и с восторгом описывать потом свое приключение всем, кому не лень, разумеется, за исключением мужа. Слова и дела кавалера пересказывались

самым дотошным образом, поскольку надо было выяснить, джентльмен ли он, да и вообще кто он такой. Самым ценимым трофеем этой игры воображения было некое идеальное существо — светский человек, член клуба, хотя всегда оставалось неясным, таков ли трофей на самом деле. Он мог запросто оказаться заезжим деревенщиной или даже отлучившимся из лавки приказчиком.

Но по вечерам и в конце недели жизнь для жен становилась веселее. «Кино» тогда не было, но существовали мюзик-холлы, куда они ходили с мужьями и где в зале подавали горячительные напитки. По субботам делались закупки для воскресного обеда, и обе семьи одной большой компанией отправлялись по магазинам, лавкам, киоскам на Эджвер-роуд. Иногда и меня приглашали присоединиться. Мы оказывались в толчее среди орущих торговцев и лоточников, останавливались, глазели по сторонам. Наше внимание привлекали забавные уличные сценки. Мы придирчиво торговались. Здоровались со знакомыми. Выпивали что-нибудь в баре. Я позволял себе это маленькое баловство и тем самым участвовал во всех тратах, обрекая себя на голодные понедельник и вторник.

У воскресенья был свой распорядок дня. Мужчинам выдавалось с утра чистое белье с наказом прогуляться по Херроу-роуд, так что через три мили они становились «путешествующими» и могли заглянуть в трактир и выпить. Что они с виноватым видом и проделывали. «Чего изволите, сэр?» Потом домой. Тем временем жены успевали приготовить сытный воскресный обед на обе семьи. Его уплетали с большим оживлением и под веселые разговоры. Затем мальчиков отправляли в воскресную школу, и после обеда делать было больше нечего. Мужья с женами уходили в свои спальни, а мой сосед отправлялся к какой-нибудь женщине. Меня же оставляли развлекать молодую особу, приходившуюся, как я полагаю, сестрой мужу моей хозяйки. Не знаю, откуда она бралась, но она неизменно там появлялась. Я позабыл почти все, что ее касалось, кроме чувства, что развлекать ее — мука мученическая. Сидя на диване рядом с ней, я поглаживал ее, а она поглаживала меня, и я даже порывался расстегнуть ей платье и проявлял другие «знаки внимания», она же сопротивлялась игриво, но твердо. Ее любимые словечки были: «А ну, хватит», «А ну, не тронь». Помнится, она меня не очень-то и привлекала, сопротивление же, которое она мне оказывала, и вовсе охлаждало мой пыл. Не могу даже объяснить, почему я продолжал к ней приставать. Думаю, дело в том, что время было послеобеденное, я не привык так много есть и не мог сосредоточиться на работе, а что еще с ней

было делать? А если и было что, я не знал, как за это приняться.

Другим грубым развлечением были яростные женские ссоры. Совместные воскресные обеды тогда отменялись, обычное общение прекращалось. Причину этих скандалов я никогда не мог уяснить; может быть, дело касалось моего соседа, одного из мужей, или их обоих, или какой-нибудь неизвестной мне личности. В конце концов переходили к нескончаемым перебранкам на лестницах и попыткам втянуть в них мужей. Мужчины же не проявляли истинно мужской воинственности, а являлись домой запоздно, с видом побитых собак. Моя хозяйка была крайне озабочена здоровьем своей жилицы. Про былую подругу свою она говорила: «Сейчас мужчинам лучше на пушечный выстрел к ней не приближаться».

Эта фраза, громко произнесенная на лестничной площадке, застряла в моей памяти на долгие годы.

Однажды хозяйка зашла ко мне в комнату сменить наволочку; я сидел дома, и она втянула меня в некое подобие любовной игры. На ней было ситцевое платье, нечаянно или намеренно расстегнутое у ворота. Она начала упрекать меня за нескромные взгляды, которые я якобы бросал в ее сторону, и сказала, что, судя по моему поведению, я уже мужчина. А потом мой сосед, который до этого маячил в коридоре, заметил за ужином тоном заботливого друга, что если она полагает, будто я слишком молод для известных последствий, то она, по-видимому, ошибается.

Подобные мелкие происшествия в доме по ту сторону Кенсингтонского сада, где проходила моя личная жизнь, не давали мне покоя, вызывали противоречивые чувства, а порою и легкое отвращение и, к моей досаде, мешали с должным усердием переписывать лекции профессора Хаксли.

Это никак не соответствовало представлению о спокойной, безмятежной жизни вдали от дома, которую, отправляя меня в Лондон, воображала моя мать. Но мне и в голову не приходило рассказать ей обо всем начистоту, так что моей сексуальной жизни суждено было преждевременное и грубое начало, а может быть, и вообще все свелось бы к какой-нибудь постыдной истории, если б не умное вмешательство моей двоюродной сестры, которую отец попросил за мною присматривать.

Отец был из тех людей, что способны ценить дружественное к себе расположение, а своей племянницей он прямо-таки восхищался, поддерживал с ней постоянные отношения, и его мнение о Дженни Галл было очень высоким. Она работала продавщицей в отделе готового платья в до сих пор благополучно существующем магазине Дерри и Томса на Кенсингтон-Хай-стрит;

Дженни Галл предложила мне навещать ее и время от времени куда-нибудь ее водить. Это напоминало старые времена в Саутси, когда я сопровождал элегантную леди из отдела готового платья; я знал, как в подобных случаях держаться, и мы прекрасно ладили, так что в ответ на ее настоятельные расспросы я в самых скромных и обтекаемых выражениях живописал ей недостатки моей квартиры, мешавшие моим ученым занятиям, и она быстро уловила суть дела и бросилась мне на помощь.

Двоюродная сестра моего отца сдавала комнаты на Юстон-роуд; отец объяснил матери положение, в каком я оказался в Уэстборн-парке, и та, преодолев естественную для нее ревность к родственникам мужа, мешавшую ей увидеть добрые качества моей тети Мэри, не стала возражать, так что меня с моим чемоданчиком доставили, скорее всего на извозчике, на мою новую квартиру. В колледж пришлось теперь ходить лишнюю милю, но зато не нужно было в сумерках бежать домой со всех ног, поскольку моя новая дорога пролегала через Гайд-парк, а Гайд-парк открыт для самых смелых лондонцев круглые сутки.

Занятно, что я не запомнил подробностей этого переезда, но у меня начисто вылетел из головы и адрес дома в Уэстборн-парке, в котором я жил перед тем, и даже имена хозяйки и жильцов. В памяти остались только факты, мною приведенные, и еще одна-две скабрезные детали, остальное же, касающееся этого кратковременного эпизода моей жизни, совершенно стерлось. Воспоминания же никак не связаны с остальным. Мне там не нравилось, и потому я попросту выбросил из головы детали. Не могу даже сказать, как долго продолжалось мое лондонское житье до переезда на Юстон-роуд — несколько недель или месяцев, да и какая разница, неделями больше или меньше заглядывал я, если можно так выразиться, в щелку жизни, рассматривая человеческие типы, превосходившие грубостью, низостью и своей животной сущностью все, что я до той поры видел. Никто из людей, с которыми я встречался прежде или потом, не был так вопиюще мерзок, как обитатели дома в Уэстборн-парке. Ни о ком из них я не могу вспомнить хоть что-нибудь положительное, а ведь вряд ли найдутся в моем прошлом еще какие-то люди, о которых нельзя было помнить хоть что-то хорошее и тем оправдать их. Но думаю, тут сыграло свою роль то, что в доме этом мы жили скопом. Мы напоминали обезьян в лондонском зоопарке до милостивого вмешательства сэра Чалмерса Митчела{117}. Набитые в одну клетку, они казались противнейшими в мире существами. Теперь, когда они живут просторнее и не в таких ужасающих условиях, даже бабуины выглядят вполне респектабельно.

Я мало что могу вспомнить о Дженни Галл, за исключением этого ее своевременного вмешательства. Она была высокая, уравновешенная молодая блондинка, воспитывавшаяся частью в Англии, а частью на Дальнем Востоке, где она плавала со своим отцом на его корабле. Она сообщила мне однажды, что была первой белой женщиной, посетившей острова Палау{118}, но почти ничего не могла припомнить из этих ранних впечатлений. Затем она исчезла из моего поля зрения, и только потом я узнал, что она уехала в Швецию и вышла замуж за шведа по фамилии Алсинг. Я превосходно помню, как иду по Найтсбриджу и разговариваю с ней, но почти все остальное стерлось из памяти. Не помню, до или после этой прогулки зашла она в известный магазин похоронных принадлежностей на Риджент-стрит. Подробности улетучились. Но, в конце концов, это совершеннейшие мелочи.

А вот дом 181 по Юстон-роуд вырисовывается для меня в мельчайших деталях. В восьмидесятые годы Юстон-роуд, как и большинство других лондонских улиц, представляла собой длинный коридор, застроенный высокими мрачными домами. Граничила она с северной частью Блумсбери. Дома эти были прижаты друг к другу и, в отличие от таких районов, как Бейсуотер, Ноттинг-Хилл, Пимлико, Килберн, не имели красивых крылечек. Зато от улицы их отделяла полоска земли — сад, где, правда, росли самое большее чахлая сирень или поникшая бирючина. К дверям надо было подняться по полудюжине ступенек, нижняя из которых находилась на уровне кромки подвального окна.

Не берусь судить, как выглядела жизнь сто лет назад, но отдаю себе отчет, что после наполеоновских войн начался быстрый экономический подъем и вскоре пришло время железных дорог. Железнодорожное сообщение на паровой тяге дало резкий толчок дальнейшему прогрессу, его политические последствия были поистине огромны, но оно и само по себе стало результатом колоссального всплеска энергии и делового размаха. Ничем не ограниченное частное предпринимательство на своем подъеме принесло весьма заметные и достойные сожаления плоды. Была введена система девяностадевятилетней аренды на землю, неимоверно обогатившая землевладельцев и практически помешавшая за время своего существования перестройке домов. Частные землевладельцы понастроили по всему Лондону множество на редкость неудобных жилищ, в которых суждено было обитать четырем или пяти поколениям, несшим на своих плечах повседневные тяготы подобного существования.

Только сейчас, столетие спустя, прежнее поветрие и

тогдашний неудержимый поток корыстолюбцев оказались оттеснены ловкачами новой формации — почти столь же неразборчивыми в средствах и столь же недальновидными. С момента, как выросли эти уродливые здания, было уже невозможно избавиться от этих претенциозных подделок, выдающих себя за жилище цивилизованного человека. Они занимали землю. От них некуда было деться; люди поневоле селились в них и платили запрашиваемую высокую арендную плату. С точки зрения личной выгоды владельцев все здесь было хорошо и правильно. Для большинства лондонцев моего поколения эти ряды неразличимых, построенных на скорую руку домов казались таким же естественным явлением, как сентябрьский дождь, и, только обращая свой взор назад, начинаешь понимать всю неразумность и непродуманность строительства, жертвами которого все мы стали.

Неумные, лишенные воображения дельцы, которые застроили в XIX веке этими домами целые районы Лондона и на свои доходы приобрели себе более комфортабельные жилища, очевидно, думали, если они вообще не были лишены способности думать, что в городе сыщется достаточное количество преуспевающих людей среднего класса, способных арендовать подобные дома. В каждом из них были полутемный подвал с кухней и угольным подвалом и остальным, чему положено находиться ниже уровня земли. Выше располагались столовая, которая могла разделяться раздвижными дверями на малую столовую и кабинет; еще выше — гостиная, а над ней — этаж или два со спальнями, одна меньше другой. О ванной никто и не помышлял, а уборная оставляла желать лучшего. Предполагалось, что дешевая прислуга будет усердна и полна благодарности, так что и уголь, и помои, и все остальное будут таскать руками вверх и вниз по одной и той же лестнице. Таков был лондонский дом тех лет — прокрустово ложе, на которое укладывали основную часть все растущего населения самого быстрорастущего города в мире, где обитали многие тысячи промышленных рабочих и технических работников, клерков, студентов, иностранцев, которых привели сюда дела, музыкантов, учителей, художников, лиц свободных профессий, агентов, мелких чиновников, продавцов и всякого люда, занимавшего промежуточное положение между преуспевающим домовладельцем и обитателем трущоб. И множество множеств вливалось в эти шаблонные формы без малейшей возможности протестовать против подобной жизни или оттуда сбежать. С самого начала дома эти были отведены под субаренду, и их не слишком удачно пытались приспособить к реальным условиям времени. И только потому,

что история застройки Лондона в XIX веке растянулась на столетие, а не уложилась в немногие годы, нам не дано осознать, какие беды эти дома с собой принесли, сколько убийств, погубленных жизней, сколько неосуществленных желаний имело своей причиной ужасные жилищные условия, характерные для Лондона в прошлом веке.

Впрочем, биография любого обитателя пухнувших на глазах больших городов девятнадцатого столетия, который пожелал бы соотнести историю своей жизни с историческим прошлым или предвидимым будущим, включит нечто подобное тому, что я рассказал о Лондоне — с его хаотичным и неуправляемым, подобно росту раковой опухоли, разрастанием. В этом отношении Нью-Йорк немногим отличался от Лондона, а доходные дома Санкт-Петербурга были и того хуже. От такого роста веет смертью, и трудно отделаться от опасения, что мир никогда не избавится от этого наследия прошлого. Нигде не принимались и до сих пор не принимаются в расчет интересы бесконечных и все более множащихся рядов служащих-профессионалов. Нигде не найти защиты от ловкачей — главной отравы идущего процесса — и их желания выколотить из вас сколько удастся. Земля в городах так дорога, что даже те, кто приносит обществу наибольшую пользу, вынуждены возвращаться с работы в дома, где из-за тесноты и дурных условий жизни им невозможно как следует отдохнуть, да и просто как следует выспаться.

В делах дядя Уильям понимал не больше, чем мой отец, да к тому же у него не было возможности подработать игрой в крикет. Он был суконщиком и, по словам моей матери, человеком оригинальным. Однажды я видел его, темноволосого мужчину с грустными глазами, обтрепанного и одетого во все черное. Холодным зимним вечером он приехал к нам в Атлас-хаус, перекусил с нами, потихоньку поговорил с моим отцом, оторвал от наших скудных средств полсоверена и уехал, чтобы вскоре помереть в лазарете работного дома. Он был женат на одной из двух сестер Кенди, дочерей мелкого хемпширского фермера; другая сестра так и не вышла замуж, и после смерти отца они с моей овдовевшей теткой погрузили свой скарб в фургон и, имея за душой всего несколько фунтов, переехали в Лондон, чтобы жить там, сдавая комнаты. Они решили поселиться в подвале, спать в передней кухне, а готовить в задней и обслуживать весь дом сверху донизу; столовую предполагалось сдать одному жильцу, гостиную — другому, а все спальни — каким-нибудь милым молодым людям или респектабельным девушкам; на это, считалось, они и просуществуют. Они не предвидели заранее, что мебель у них изотрется и что сами они износятся и изотрутся, так

что год от года их комнаты и их обслуживание будут терять свою привлекательность. Они разделили судьбу бесчисленных вдов, старых слуг, сумевших «что-то сберечь» на черный день, жен мелких служащих, желавших хоть как-то помочь мужьям, и огромного числа неприметных немолодых женщин, лондонских квартирных хозяек, которые так безжалостно осмеяны в популярных романах. У более удачливых домохозяек, сдававших комнаты, была еще прислуга для черной работы, чтобы скрести и таскать, но моя тетка и ее сестра принадлежали к тем нищим, у кого слуг нет.

Когда кузина Дженни Галл перед моим отъездом с прежней квартиры пригласила меня субботним вечером на чай с тостами на Юстон-роуд, моя тетка и ее сестра приоделись для приема гостей — совсем как моя мать в Ап-парке — в чепчики и передники, но они все равно показались мне не слишком опрятными, да они, бедняжки, и были такими, даже в сравнении с моей матерью в самые ее трудные дни в Атлас-хаусе. А как им было выглядеть иначе в доме, который сверху донизу топился углем, так что им постоянно приходилось таскать эти ведерки (шесть пенсов за ведерко) для своих постояльцев, вытирать пыль, мыть полы, выносить помои и золу? Мэри была маленькая ясноглазая женщина, с самого начала показавшаяся мне приветливой и милой; сестра была крупнее, глаза у нее были маленькие, а в профиль она немного напоминала попугая; разговаривала она рассудительно и производила впечатление мрачноватое; к тому же она имела склонность судить и осуждать. В то время как мы сидели и чинно беседовали, в комнату вошла темноглазая девушка примерно моего возраста и остановилась, застенчиво глядя на нас; на ней было хорошенькое платье простого покроя в модном тогда «художественном стиле». У нее было серьезное и милое лицо, хорошо очерченный овал, брови широкие, губы, подбородок и шея на редкость красивые. Она оказалась моей кузиной Изабеллой, на которой мне затем суждено было жениться.

Было условлено, что мне отведут одну из верхних комнат, а заниматься я буду по вечерам в передней кухне, при свете газового рожка. Комната была вся заставлена, по стенам — книжные полки, еще этажерка и пианино, на котором моя кузина по временам не очень искусно играла несколько разученных ею мелодий. Моя тетка штопала чулки, ее сестра недовольно просматривала счета, а иногда мы играли в вист, и за этим занятием мисс Кенди, она же тетя Арабелла, выглядела в точности как миссис Бетл у Лэма{119}. Ее раздражало то, как играет сестра. «Ну, я сглупила», — говорила тетя Мэри, предвидя

ее упреки. «А ты не глупи, Мэри», — отвечала тетя Белла. Они говорили так друг другу с самого детства — с пятидесятых годов прошлого века.

Когда верхние жильцы отсутствовали или комнаты эти вообще пустовали, мы перемещались вечерами в гостиную или столовую. Если мне нужно было сосредоточиться, я поднимался к себе в спальню и работал при свече, часто в пальто, завернув ноги в чистое белье и засунув их, чтобы спрятать от дующего по полу сквозняка, в нижний ящик комода.

Большинство жильцов я забыл. Помню студентку из университетского колледжа, которая несколько лет снимала гостиную, и немку из столовой, чьи гости вызывали придирчивое любопытство тети Беллы. Среди них были мужчины, да к тому же иностранцы. «Нас это не касается», — туманно говорила тетя Арабелла, но дальше в проблему не углублялась.

На верхнем этаже жил старый бедный священник с женой; она вскоре умерла, и он последовал за ней. У него либо никогда не было прихода, либо он его потерял, так что жил на случайные заработки, иногда по праздникам или в обычные дни «сослуживая» постоянному пастырю. Так он и существовал до тех пор, пока один легкомысленный человек не послал за ним зимой на железнодорожную станцию открытую коляску и он не схватил воспаление легких. Очевидно, он пережил всех своих друзей, или они просто не объявлялись; он умер, не оставив завещания и, по сути дела, без гроша в кармане, и только мы с теткой сырым ветреным утром проводили его на Хайгетское кладбище; при нас его и опустили в могилу. Еще один отверженный из духовного сословия, старик, у которого капало из носу, торопливо прочел отходную. Я тогда впервые присутствовал на похоронах. Никогда бы не подумал, что священник может окончить свои дни столь бесславно и что Церковь может оказаться столь бессердечной к своим служителям. Церковь предстала передо мной тогда в новом свете. Моя маленькая тетка была его единственным кредитором и душеприказчиком, и, когда доктору было уплачено, старик остался еще всем должен.

Я прожил в доме под номером 181 по Юстон-роуд до конца моих студенческих дней. Изо дня в день во время сессии, если только я не вставал слишком поздно, я отправлялся в Южный Кенсингтон. Я шел с Изабеллой боковыми улицами к началу Риджент-стрит, где она работала ретушером у фотографа; там мы прощались на целый день, и я шел по Оксфорд-стрит до самой Мраморной арки и оттуда, через парк, на Эксибишн-роуд. Если я опаздывал, то уже не провожал Изабеллу, а ехал на поезде за три с половиной пенса с Говер-стрит (эту станцию сейчас называют

Юстон-сквер) до Праед-стрит. И как только я попадал на Эксибишн-роуд, Юстон-роуд улетучивалась из моей памяти и студенческая жизнь вступала в свои права в качестве отдельной и особой части моего существования. Я снова думал о световых годах и геологических эпохах и о том, как прекрасно будет, когда придет долгожданный социализм и уйдет в прошлое нищета, жизнь раздвинет свои границы, приобретет большее достоинство и во всем мире воссияет солнце.

7. Сердечная страсть

Мне бы хотелось, чтобы перед глазами читателя предстала наконец моя физическая сущность и он увидел, как я выглядел к тому времени, когда покинул Южный Кенсингтон. Я пять глав посвятил рассказу о том, как складывалась в моей голове картина внешнего мира, теперь же мне предстоит живописать то, на каких плечах держалась эта голова, какое тело снабжало ее кровью и послушно ей служило. К 1887 году я превратился в настоящий скелет. Во мне было пять футов роста, а весил я меньше восьми стоунов. Тогда как по расчетам мне положено было весить девять стоунов и одиннадцать фунтов, мой вес приближался к семи стоунам, да и то в одежде. Ну, а одежда была изрядно потрепана. Мой костюм не привлекал восторженных взглядов даже при том, что я носил целлулоидный воротничок — изобретение, сейчас, к счастью, забытое. Он был глянцевитый и словно прорезиненный, но, главное, его не надо было стирать и за это платить. Достаточно было почистить его на сон грядущий с помощью мыла и губки, и утром он был как новенький. Однако со временем он покрывался налетом наподобие зубного камня. Стоит попутно заметить, что восьмидесятые годы в этом смысле отличались от сегодняшних дней; тогда кенсингтонскому студенту и в голову бы не пришло, даже если он был очень беден, появиться в аудитории или лаборатории иначе как в белом воротничке или, во всяком случае, в чем-то на него похожем. Сейчас, по-моему, добрая половина студентов ходит просто с распахнутым воротом. Многие из нас, все педагоги и лаборанты носили к тому же цилиндры.

Я был таким тощим просто потому, что постоянно недоедал. Утром перед прогулкой на три мили я второпях съедал яйцо всмятку и тост, а после пяти, когда возвращался из колледжа, получал чай с бутербродом и на ужин хлеб с сыром. Большую часть дня я был так занят (учебой и прочими моими интеллектуальными занятиями), что ни на что другое просто не обращал внимания, но на третий год обучения мне как-то случилось посмотреть на себя критическим взглядом. Зеркало,

висевшее в спальне, дало мне возможность неприязненно оглядеть свое тело и сравнить себя с Аполлонами и Меркуриями в Музее изобразительных искусств. Нетрудно было заметить впадины под ключицами, торчащие ребра, а мышцы на руках и ногах вообще производили жалкое впечатление. Я не догадывался, что это всего-навсего следствие недоедания и отсутствия физических упражнений, и решил тогда, что с фигурой мне не повезло и, видно, ничего с этим не поделаешь. Я пришел к выводу, что безобразен, и тайное это знание было совершенно непереносимо, как, вероятно, непереносимо оно было бы для большинства молодых мужчин и женщин. А ведь в тайных уголках моей души гнездилась мечта о прекрасном теле, потому что как иначе любить? И если я посмеивался над собой в разговорах с друзьями, в письмах и карикатурах, где я изображал себя невероятно худым и неряшливым, то лишь для того, чтобы скрывать засевшее во мне чувство стыда. С каждым годом сексуальность моя возрастала, а с ней вместе росло и желание быть физически привлекательным и крепким. Не берусь судить, насколько я в этом смысле составляю исключение, но я не воспринимал любовь иначе, чем тяготение друг к другу двух тел — мужского и женского, и тела эти должны были обладать всеми свойствами красоты. Все прочее — привходящие обстоятельства. Они могут быть разными: прекрасными — тогда мы говорим о любви; не очень — тогда мы говорим о приключении, бывает, правда, что понятия эти соединяются. Думаю, так дело обстоит в девяти случаях из десяти, и это так же естественно, как чувство голода или жажды.

Непрезентабельная моя наружность, выступавшие ключицы и торчавшие лопатки не снижали накала моих страстных желаний. Конечно, понимание своих недостатков диктовало мне какие-то внутренние запреты, порождало щепетильность, столь же естественную, как первые любовные порывы, и делало меня сверх меры застенчивым, однако сдерживать желание еще не значит его ослабить. К тому же у меня существовали тогда совсем иные, интеллектуальные притязания, я хотел состояться как ученый, во мне и созрела потребность служить обществу, выразившаяся в моих социалистических убеждениях, я стремился, не всегда удачно, укрыться во всем этом, на время спрятаться здесь от иных более насущных и сугубо личных желаний.

Прекрасные девушки и женщины не встречаются на каждом шагу бедному лондонскому студенту. Он чаще сталкивается с модистками или продавщицами в мануфактурных лавках. В лабораториях и на занятиях некоторые девушки-студентки выказывали расположение ко мне, но своим поведением и

одеждой они всячески демонстрировали, что секс им безразличен. Интерес к сексу не скрывали только художницы, но мы видели их лишь изредка во время коротких посещений Музея изобразительных искусств, который был чем-то вроде нейтральной полосы между нами и Колледжем искусств. По пути домой на Юстон-роуд я разглядывал женщин на улицах, особенно на Оксфорд-стрит и Риджент-стрит, и порою в свете витрин они так поражали меня своей красотой, что все во мне вспыхивало. Вспоминалась Эллен Терри в бликах солнца на лужайке в Серли-Холле. Я видел какую-нибудь прекрасную наездницу на Роу или девушку, прогуливающую собаку в парке. Они были так же недоступны, как обнаженные женщины скульптора Чентри.

Все эти подавленные чувства и физические потребности практически неизбежно сосредоточились на одном лице, которое было мне всего понятнее и ближе, — на моей кузине Изабелле. У нас с самого начала возникло ощущение родства, которое, несмотря на все наши ссоры, женитьбу и развод, делало нас добрыми друзьями, сохранившими доверительность отношений до самого конца ее жизни, правда, я думаю, что нам с первой встречи лучше было бы оставаться братом и сестрой, тогда как ближайшее соседство, уединенная жизнь и необходимость навязали нам роль любовников, достаточно, надо сказать, невинных. Она была очень привлекательна, воспитанна, добра, обладала твердым характером, и с ее помощью я избавился от многих своих навязчивых страхов. Еще раз хочу повторить: я был ей предан, и она была предана мне. Мы были союзниками, вдохновенно готовыми вместе завоевать мир. Что ни говори, но мы были по-своему великолепны. Она делала все возможное, чтобы идти со мной в ногу, хотя внутренний голос твердил ей, что все это пустое. И когда только нам удавалось ускользнуть от присмотра тети Беллы, мы начинали целоваться и обниматься. Тетя Мэри нас не смущала, она с первого дня меня приняла.

Через провал полустолетия я смотрю с удивительной отстраненностью и в то же время с большой симпатией на этих двух обитателей Лондона, гуляющих по городу, секретничающих в полумраке лестничной клетки, обнимающихся там на площадке. Изабелла носила простые платья прерафаэлитских фасонов. Они и сейчас показались бы нам изящными, даже при том, что рукава были слишком широкие, не облегающие, а воротник скрывал привлекательную шею. Зимой она ходила в пелерине, а шляпки у нее обычно были бархатные, похожие на те, что носили еще в чинквеченто.

Разоблачившись вам в назидание, я теперь прикрою одеждой самые вопиющие свои физические недостатки. Одежда у меня

была изрядно потрепана, но весьма респектабельна; я носил двухцветный костюм, а зимой серое пальто. Воротничок был белый, хоть и целлулоидный, а на голове у меня красовался котелок. Мягкие фетровые шляпы появились много позже, а ходить в кепке в тогдашнем Лондоне считалось верхом неприличия. В наше время принято было иметь выходной костюм. По воскресеньям мы торжественно надевали все самое лучшее и шли на прогулку в Риджент-парк или заходили в церковь или картинную галерею, когда она была открыта, или посещали какое-нибудь собрание; в подобных случаях я надевал сюртук и цилиндр.

Моя страсть к деталям побудила меня тщательно и не жалея времени проследить историю пика и падения цилиндра как головного убора в тех его последовательных вариациях, что украшали мою голову. Они служат такими же приметами эпохи, как те развалюхи, в которых я провел первую половину жизни, и отмечают разрозненные этапы моего человеческого и научного становления. В неспокойном уме какого-нибудь психоаналитика эти цилиндры могут получать любопытнейшее психологическое наполнение и обозначать некие стадии борьбы человеческого ума и освоения им мирового пространства. Они были предметом свободного выбора, но тем самым и более показательной приметой индивидуального сознания, чем тюрбаны, фески, парики и прочие головные уборы, пережившие многие поколения. А историю пика и падения цилиндра предстоит еще написать. Когда я родился, цилиндр уже миновал пик своего торжества; крикетисты больше не играли в цилиндрах, хотя мой отец с этого начинал; впрочем, мне казалось вполне естественным гулять с моей кузиной по воскресеньям в подобном головном уборе. Половина молодых людей, которых я встречал в этот день, щеголяли в таких же блестящих цилиндрах. В Сити и Уэст-Энде в будни практически невозможно было встретить человека в ином головном уборе. Улицы повторяли моду, взятую с крыш у трубочистов. Помнится, я приобрел свой первый цилиндр на второй год работы в Саутси и тогда же — свой первый сюртук и фрак. Не помню, был ли это тот самый цилиндр, который я носил в Лондоне. Если да, то именно он умер естественной смертью в 1891 году в присутствии Фрэнка Харриса, редактора «Фортнайтли ревью», о чем я расскажу в свое время. По-моему, я тогда купил новый, чтобы пойти в нем на похороны, третий же отметил своим появлением предвоенный период моей социальной стабилизации. Я ходил в нем на выставку картин на Бонд-стрит и в Академию. Потом он стал реквизитом для шарад, разыгрываемых моими сыновьями в Истон-Глиб. С тех пор я больше не ношу цилиндров.

Цилиндр был знаком принятия существующих социальных порядков, что и делает этот головной убор моих студенческих лет таким показательным. Это был некий символ полного подчинения системе социальных условностей. Во всяком случае для меня он не был простым следованием моде. Мой первый цилиндр, на который я копил деньги, олицетворял мое стремление подняться наверх и был куплен потому, что его *следовало* носить.

Гуляя с кузиной по аллеям вокруг клумб Риджент-парка — они были яркие, веселые, но все же не такие прекрасные, как сейчас, — я увлеченно говорил об атеизме и агностицизме, республиканстве, социальной революции, об освобождающей силе искусства, о мальтузианстве, свободной любви и на прочие либеральные темы. Но одет я был во фрак, и на голове у меня был цилиндр. Умом я опережал себя как реальное существо, устремляясь в сады Утопии.

Моя же кузина, столь же прямодушная и честная, сколь хорошенькая и здравомыслящая, в то время просто прогуливалась по парку в лучшем, что могла надеть в воскресный день.

Мне так хотелось увидеть в ней сотоварища, что я совершенно упустил из виду очевидный факт: я жадно набросился на книги уже с семи лет, но ей не случилось сломать ногу и тем подхватить микроб чтения. В школе я выделялся развитием, она же была девочкой неразвитой и если и выделялась, то совсем иным, а от недостатка развития так никогда и не смогла избавиться. Все зависело от случая; я уверен, что мыслительный аппарат, ею унаследованный, был ничуть не хуже моего, а может и лучше, но тогда уже между нами пролегла непроходимая пропасть. Ее мир походил на интерьер голландского художника, а мой представлял собой бескрайнюю панораму истории, науки и литературы. Она старательно следовала за мной, но расстояние между нами было слишком велико. Должно быть, она считала, что я «умничаю», и утешалась мыслью, что все мои речи не имеют ни малейшего отношения к жизни. Любя меня всей душой, она не хотела меня раздражать, но кое-что из моих высказываний ей трудно было стерпеть, и она вступалась за «старую королеву», землевладельцев, бизнесменов и Церковь — за все, с чем я хотел покончить.

Ее широкая натура и добрая душа порождали стойкое убеждение, что все они «делали, что могли» и мы на их месте поступали бы не лучше. А поскольку такими словами она портила мое о ней представление, я становился груб и нетерпим.

Я пытался заставить ее читать книги, особенно книги Джона Рёскина, но, подобно многим другим людям, вкусившим плоды

нашего простого английского образования, она была совсем не приучена к чтению. Книги были написаны не тем языком, которым она пользовалась и на котором она думала. Не уверен, что за всю свою жизнь она прочла хотя бы сотню книг.

Я и сам к тому времени находился еще в процессе становления, и мне непросто было доходчиво объяснить ей мои мысли и убедить ее. Я и сам-то думал еще не вполне отчетливо. «Не все так думают», — говорила моя кузина. «Но это еще не значит, что следует вообще отказаться мыслить», — огрызался я, после чего молодая пара шла дальше в мрачном молчании, ощущая, что что-то не ладится в их отношениях, но неспособная понять, в чем все-таки дело и как все это исправить. Почему я постоянно заводил речь о чем-то ей недоступном и отвлеченном? Ведь во всех других отношениях я, в своем цилиндре, был существом вполне покладистым. И почему я так настаивал, чтоб мы занялись любовью, при том что отлично понимал полную неготовность свою к женитьбе? Но так это долго продолжаться тоже не могло. Какая-то близость, само собой разумеется, была для нас возможна, но слишком далеко заходить не следовало.

В те дни я еще не способен был осознать всю свою непоследовательность. Я, что называется, положил глаз на Изабеллу, хотел любить ее и не получать отказа. Она обречена была быть моей женщиной, желала она того или нет. Я сосредоточил на ней свои романтические и сексуальные грезы всех моих лондонских лет, и это, в такой же мере, как моя бедность, уберегало меня от незавидной участи ищущего приключений уличного фланера. С преданностью, которая была более чем наполовину ревностью, если только работа не задерживала меня в Южном Кенсингтоне, я проглатывал свой чай с бутербродами и затем отправлялся на Риджент-стрит, чтобы встретить ее и проводить домой, а в те вечера, когда она посещала уроки рисования в институте Биркбека{120}, я уж непременно шел по темной Блумсбери-сквер, чтобы встретить ее. Эти вечерние прогулки поддерживали меня физически, хотя отнимали немало времени, которое следовало бы посвятить серьезной работе. Но мне нравилась ее улыбка, ее голос, ее женственность, я любил чувствовать, в особенности пока не заходил слишком далеко, что она мне принадлежала. Я мечтал о том, что в один прекрасный день я совершу что-то необычайное, преуспею и весь мир окажется у моих ног. Ее молчаливая сдержанность уйдет в прошлое, и она поймет, что все, что я говорю, делаю и желаю, — все это правильно.

Что и говорить, дело кончилось женитьбой, и хотя мы прожили вместе не очень долго, но дружеские чувства у нас

сохранились до конца дней. Я всегда желал завоевать ее, захватить ее воображение и дождаться того момента, когда и она захочет подчиниться, пойти мне навстречу.

Каким-то чутьем моя маленькая тетя Мэри понимала меня и верила в мою сердечную привязанность к Изабелле, но тетя Белла была ко мне строже, скептичнее и обладала большим чувством реальности. Она досадовала, что мы с Изабеллой проводим столько времени вместе.

Это и была наивная, очень личная сторона моей жизни, к которой я ежедневно возвращался, когда шел домой через Гайд-парк, после лекций, лабораторных занятий, Дискуссионного общества и студенческих разговоров, описанных ранее в этой главе.

* * *

Одна из занятных особенностей человека состоит в том, что его удивляют совершенно очевидные последствия собственных поступков. Я не говорю сейчас о таких масштабных событиях, как великие войны 1914-го и, боюсь сказать, 1940 года. Но я живо вспоминаю, как не готов я был к своему исключению летом 1887 года. Я сделал все возможное, чтобы провалиться и быть выброшенным на улицу, но, когда это случилось, был поражен и обнаружил, что у меня нет планов на будущее. Думаю, подобное свойственно всем юношам — равно как и животным. Способность предвиденья — одно из новейших и не до конца еще освоенных обретений человека.

Самоуверенность, которая после исхода из мануфактурного заведения в Саутси никогда уже не покидала меня, лопнула, словно мыльный пузырь. У меня не было перспектив, должной подготовки, материальных средств, умения подчинять себя дисциплине и — здоровья.

«Ну и что теперь со мной будет?» — спросил я себя, впав в панику впервые после того, как триумфатором покинул магазин.

Глава VI
БОРЬБА ЗА СУЩЕСТВОВАНИЕ

1. Шестое вступление в жизнь, или Вокруг да около

Надо поблагодарить судьбу и кое-кого из верных друзей за то, что я в расплату за свое непослушание, пустую трату времени, неспособность сосредоточиться на деле и шараханья из стороны в сторону, проявленные в Южном Кенсингтоне, не выпал окончательно из игры. Большая часть вполне заурядных студентов моего поколения стали профессорами, членами Королевского общества, промышленными магнатами, видными чиновниками, главами целых научных школ; среди них попадаются даже люди, возведенные в рыцарское достоинство и получившие другие титулы; пожалуй, один только я оказался неудачником, выгнанным из Нормальной школы, не сумевшим угнаться за другими и все же поднявшимся на ноги и добившимся сравнительного успеха в жизни. Ко времени своего провала я почти уже достиг совершеннолетия, способен был понять, в какой нахожусь опасности, и в меру сил кинулся в бой. Но руководствовался я отчаяньем, а не хорошо продуманным планом, и действительным распорядителем моих поступков была игравшая со мною судьба, которая находила удовольствие в том, чтобы швырять меня направо и налево, дабы, хорошенько попинав, под конец покатить по гладкой дороге, показав мне мои возможности. Я уже имел случай рассказать, как я вышел в интеллигенты, а не остался за прилавком мануфактурного магазина, и о том, что помогли мне в этом две сломанные ноги — моя и отцовская. Теперь же мне предстоит поведать о том, как я пришел к умственному освобождению и житейскому преуспеванию благодаря поврежденной почке, кровохарканью, неудачной женитьбе и безотчетному новому увлечению.

Мои упрямство и самоуверенность тоже сыграли немалую роль в том, что я выжил. Когда-нибудь я умру совершенно так же, как прожил жизнь, оставаясь частью мироздания, ответственной за все на свете. Порою я делаю неловкие жесты самоуничижения, но мне это не к лицу и никого не обманывает. Я ведь типичный кокни, человек непочтительный и лишенный комплекса неполноценности. Мне нужно было выстроить систему защиты, отгородившись от неоспоримого факта, что я провалился на экзаменах и тем закрыл себе дорогу к научным успехам, и я поверил, будто я большой остроумец и будущий писатель. Всегда

ищешь себе утешение. У домашней собачки есть потребность погавкать, а у меня была потребность писать.

И я гавкал угрожающим тоном, изрыгая страницу за страницей, а мир пропускал мой лай мимо ушей.

Хотелось бы быть к себе снисходительным, но должен признаться, что каждая строчка, вышедшая тогда из-под моего пера, свидетельствовала о том, что я подражал худшим образцам, какие только мог найти в дешевых журналах. Здесь не было мысли или игры воображения. Я к тому времени располагал уже немалыми научными знаниями, но в моих писаниях на это нет и намека. Не знаю, в чем дело. Возможно, я был тогда так тщеславен, что считал необходимым подделываться под низкий вкус публики. Или, напротив, так скромен, что намеревался лишь подражанием достичь успеха. Факт остается фактом — я писал полную чушь. Единственное, что заслуживает внимания, — это мои письма друзьям, в которых я отводил душу. Желая их позабавить, здесь я действительно проявлял полную свободу. Эти письма испещрены занятными рисуночками; А.-Т. Симмонс и Элизабет Хили, да и многие другие, сочли возможным их сохранить, так что некоторая часть их дожила до наших дней. Они и правда смешные. Я не уверен, что мне удалось бы стать писателем, если б не поддержка двух этих людей. Из года в год они составляли всю мою аудиторию. Ни одного из писем кузине Изабелле не сохранилось. Я их не помню, хотя наверняка ей писал. Сомневаюсь, что я писал ей с тем же увлечением и с уверенностью, что меня поймут.

Мой способ сразиться с вполне заслуженным провалом нельзя назвать неразумным. Я был в ужасном состоянии, очень худой, физически неразвитый и неловкий, я был неповоротлив и слаб в драках, но мне казалось, что если я получу должность помощника учителя в деревенской школе, где будет свежий воздух, сытная еда и где я буду участвовать в играх (я вспомнил, как набрался сил в Мидхерсте), то наконец, о чем следовало бы подумать и раньше, возмужаю и в то же время у меня останется немного досуга, чтобы учиться и практиковаться в писательстве. В последнем я уже добился некоторого успеха и даже заработал целую гинею. Я отослал один рассказик, к счастью теперь забытый, в самый популярный тогда еженедельный журнал легкого чтения «Фэмили геральд». Успех этот лишь сбил меня с толку. Рассказ был сырой, сентиментальный, небрежный, и то, что его приняли, укрепило меня в ошибочном мнении, будто я уже научился писать.

Пока что мне пришлось заняться учительством. Хотя у меня была основательно подмоченная репутация, оставалось

множество местных школ, где я еще мог получить работу, дававшую от сорока до пятидесяти фунтов в год; я сдал экзамены на заочном отделении Лондонского университета, мог преподавать ряд предметов, и у меня был учительский опыт. Академия Холта в Рексхеме показалась мне самым подходящим местом из всех, предложенных соответствующими агентствами. Она совмещала в себе мужскую и женскую школы и колледж для молодых людей, готовящихся в священники, методистов и кальвинистов, а это сулило разнообразные преподавательские перспективы и надежду на интересные беседы и физические упражнения со сверстниками. Мне казалось, что там будут хорошая библиотека, поле для игр и мне предоставят отдельную комнату. Я предвкушал хорошую простую жизнь на свежем воздухе. Думалось, что Уэльс — это горы, озера и широкие просторы. К тому же в Академии Холта каникулы кончались уже в июле, а это сокращало для меня период безденежья, в котором я находился с того времени, как мой научный колледж растворился в воздухе.

Когда же я прибыл на место, то обнаружил всего-навсего несколько неотремонтированных домов на мрачной улице, среди совершенно безликой равнинной местности; видно, заведение это знавало некогда лучшие дни. Холт был маленький городок, усохший до размеров деревни, и самой заметной его достопримечательностью был местный газометр. Школа представляла собой запущенное здание с разбитыми грязными стеклами и каменным полом; классные комнаты располагались и в побеленной часовенке, в которой уже не служили службы. Женская школа размещалась в маленьком полуразрушенном домике в конце улицы, и в ней жила дюжина девочек разного возраста. Претенденты на должность кальвинистских священников оказались тремя коренастыми юнцами, только что из деревни, а основной контингент школьников составляли выходцы из семей фермеров и лавочников. Мой новый наниматель был толст как бочка, на его круглом плохо выбритом лице поблескивали глазки, он тараторил с заметным валлийским акцентом, одет был в черный сюртук, носил белый галстук и цилиндр, который пришелся бы очень по душе Томми Морли, — все как полагается главе школы. Правда, он был очень неопрятен — я до сих пор помню его почерневшие зубы, — и жена у него была неопрятная, со следами замызганной жизнью миловидности. Она проводила меня в комнату, где мне предстояло жить с тремя будущими кальвинистскими пастырями.

Совсем же я отчаялся, когда прошелся по школе и посмотрел, как здесь живут. Моим единственным коллегой был француз по

фамилии Ро; о нем я услышал годы спустя, когда он пытался продать якобы принадлежавшую ему рукопись какого-то моего произведения, которое я начисто не помнил и не мог признать за свое. Кормили нас в отдельной комнате, где стоял стол, застланный клеенкой, и еда была скудная и невкусная. Расписания, даже элементарного, не было. Мы начинали занятия, когда нам заблагорассудится. Вялое безделье сменялось вдруг периодами бешеной преподавательской активности, и мы оставались по вечерам. Джонс обладал даром красноречия, и эта его способность проявлялась в долгих молитвах и проповедях в обеденные часы и вообще по всякому удобному случаю. Он открывал школу молитвой. Если что случалось, он тут же принимался молиться. Вера у него была крепкая. Он без стеснения докучал Спасителю. Сам он почти не преподавал, но повсюду крутился и беспрерывно вмешивался. Временами их с женой одолевала скука. Тогда он неожиданно возникал в классной комнате, подозрительно румяный и нетвердо держась на ногах, произносил долгую, не относившуюся к делу речь ни о чем или обрушивал непонятные упреки на какую-нибудь случайную жертву. Затем день-другой он скрывался от чужих глаз в своей квартире, и мы с Ро и студенты-теологи были сами себе хозяева, и жилось нам спокойно.

Эти студенты-теологи готовились к легкому экзамену, который дал бы им право стать духовными лицами. Главным требованием, которое к ним предъявлялось для исполнения их высокой миссии, была способность к глубокому религиозному чувству и умение изъясняться по-валлийски, что им было дано от рождения. Их обучали «божественному» (бедный боженька!) и давали начатки гуманитарного образования, когда на Джонса находил такой стих. Они были не без амбиций. Как я узнал, они не собирались замыкаться в пределах своей секты; немного пообтесавшись, они могли бы стать проповедниками-уэслианцами{121}. А говорящий по-валлийски уэслианец мог бы служить и в Англиканской церкви. Англиканское священство всегда было открыто для людей, говорящих по-валлийски, так что для моих соседей по комнате впереди маячила заманчивая перспектива стать членами государственной Церкви. Не берусь судить, как далеко мог зайти этот процесс перехода в другую конфессию. Неженатый член Англиканской церкви может, я полагаю, без труда стать и католическим священником. В пределах христианской Церкви все дороги ведут в Рим, и мои соседи могли стать, хотя в это и трудно поверить, Папами Римскими.

Уроки в мужской и женской школах я вел по собственной

программе. Я учил Священному писанию на дневных воскресных уроках, играл в крикет в меру своих способностей и еще в футбол в объединенной футбольной команде и делал первые попытки приобщиться к кальвинистской методистской службе. Она была ярче и больше обращена к отдельному человеку, чем англиканский ритуал, а Рауз, тамошний священник, был красноречивее самого Джонса. Некоторые гимны затронули мою душу. Мне особенно нравился тот, что начинается словами: «Кровь агнца не искупит всех моих грехов».

Меня согревали медовые голоса, которыми хор пел эти строки, и в моем воображении возникали река Иордан, Баалоф, Ермон и Кармель.

Вновь полки мидийские
Топчут нашу землю.
Сокруши их, Господи,
Рабства не приемлю.

Но, во всяком случае, как свидетельствует сохранившееся у мисс Хили мое письмо, я понимал, что за место, хоть оно мне и не нравилось, приходилось держаться, так как денег, чтобы поискать себе что-нибудь получше, у меня не было. Мне ничего не оставалось, кроме как пробыть там, по крайней мере, еще год, чуть приодеться, подкопить деньжат, продолжать упорно писать и обдумывать способы бегства. Несколько недель подряд стояла очень хорошая погода, и я позволил всему идти своим чередом. Я без труда забыл свою романтическую привязанность к кузине, в чем сыграла свою роль ее неспособность поддерживать переписку. На какое-то время она вообще выпала у меня из памяти. Я встретил дочь священника из соседнего прихода, Анни Мередит, учительницу колледжа, занятия в котором еще не возобновлялись, мы сразу понравились друг другу и быстро затеяли оживленный флирт. Я даже, как видно из моих писем не мисс Хили, а Дэвису, хвастался этим перед ним, рассказывая, что она весьма начитанна и что «мы проводим вечерние часы на берегах реки, где я болтаю всякие глупости, а она очень умно мне возражает». Если б летняя погода устоялась и ко мне постепенно вернулись здоровье и бодрость, я забросил бы свои бесплодные литературные опыты и примирился со своей ролью второсортного помощника учителя. А проснувшись в один прекрасный день, обнаружил бы, что мне уже тридцать и я все еще обитаю в школьном общежитии.

Но здесь мой ангел-хранитель с присущим ему чувством юмора вмешался в мою судьбу. Анни Мередит вернулась в свой

колледж. Жизнь в Холте с этого момента сразу поскучнела, и пришлось открывать футбольный сезон. Играл я плохо, но очень старался; заморенный интеллектуал, делающий отчаянные попытки усовершенствоваться в играх на свежем воздухе, — отнюдь не самое привлекательное зрелище. На футбольном поле мне приходилось туго еще и потому, что деревенские парни, покрупнее меня, не выносили моего английского говора и предполагаемой учености. Один сухопарый малый однажды здорово мне отомстил. Упершись плечами мне в ребра, он приподнял меня, а потом с силой швырнул на землю.

Испачкав руки и колени, я все-таки встал и попытался опять включиться в игру. Но меня охватила слабость. Все сильнее болел бок. Храбрость меня покинула. Я не мог больше бегать. Я не мог больше бить по мячу. «Я иду домой», — сказал я, забыв об игре, и мрачно вернулся в комнату, сопровождаемый недоверчивыми насмешками.

Дома мне стало совсем плохо. Я улегся в постель. Затем мне захотелось помочиться и, взглянув в горшок, я обнаружил, что он полон крови. Никогда еще я так не пугался. Что делать? Я снова улегся в постель и стал ждать, когда кто-нибудь придет.

Мне в этот вечер никто не помог, а ночью я с трудом, чуть ли не на четвереньках, рыскал по комнате в поисках воды. На другой день привезли доктора из Рексхема. Доктор обнаружил, что мне отбили левую почку.

Он был хорошим врачом, но в одном пункте ошибся, что невероятно укрепило мой престиж в Холте. Я чувствовал недомогание, меня сильно ушибли, но я отнюдь не испытывал острой боли. Он же заявил, что я ужасно мучаюсь и это надолго. Я не стал с ним спорить. В конце концов, ему решать, он специалист, а я же всего лишь профан. И поскольку это производило должное впечатление на мистера и миссис Джонс, со мной стали обращаться куда заботливее и с большим сочувствием. Я продолжал разыгрывать роль вождя краснокожих, способного выносить адские муки. Я показывал всей школе поучительный и ничего мне не стоивший пример способности, стиснув зубы, героически все стерпеть. Сколько мог, я пролежал в постели в своей унылой комнате, раздумывая о том, что меня ждет. В постели я и отметил свое совершеннолетие. Я решил, что мне надо держаться Холта. Денег у меня не было, идти было некуда. Отец как раз продавал свою бромлейскую лавку. А обитателям Ап-парка порядком надоела семья миссис Уэллс.

Время от времени мистер Джонс заходил взглянуть на меня, а я глядел на него со спокойствием, которое приходит к человеку, не имеющему другого выхода. Поначалу, опасаясь, что я могу

помереть, и под впечатлением моего самообладания он все рвался что-нибудь для меня сделать. «Не принести ли мне какие-нибудь книги?» Он как раз ехал в Рексхем. Я сказал, что никогда не читал «Ярмарку тщеславия»{122}, а другого случая у меня, кажется, не будет. «Но зачем читать такое в вашем состоянии! — возмутился Джонс. — Чего стоит одно название! Это, наверно, очень плохая книга!»

Так я ее и не получил.

Через несколько дней он уже не был столь внимателен. Я поголадывал. Врач сказал, что мне надо еще полежать, оставаться в тепле и хорошо питаться. Джонс зашел ко мне и предложил мне вернуться домой и пожить у друзей, без жалованья, разумеется. Я объяснил, что собираюсь скоро встать и вернуться к своим обязанностям. Начинало холодать, а Джонс и не думал затопить до первого октября, так что я с болью в онемевшем боку пошел работать в классы с каменным полом. У меня начался кашель, становившийся день ото дня сильнее. Тогда я и открыл, что легкие у меня — не лучше почек, и платок, в который я кашлял, весь замаран кровью. Рексхемский доктор, который зашел проведать меня, сказал, что у меня туберкулез. Но туберкулез туберкулезом, а я все-таки решил продержаться еще полгода и вытянуть у Джонса свои двадцать фунтов. Я испытывал от этого тайное удовольствие.

2. Кровь в мокроте (1887 г.)

Тогда мы не слишком много знали о туберкулезе. Называли его чахоткой. Не догадывались, что болезнь заразна, а поскольку на нижнюю половину тела симптомы болезни никак не распространялись, ее считали подходящим сюжетом для сентиментальных романов. Вызывавший всеобщую симпатию чахоточный или чахоточная, с его (или ее) блестящими глазами, щеками, горевшими лихорадочным румянцем и возбудимостью, предвещавшей скорый конец, давали возможность безграничного самоотвержения в ответ на их, порою деспотические, требования и сочувствие со стороны тех, кто жил нормальной жизнью, поскольку болезнь эта тогда являлась неизлечимой. Так что даже ожидание скорой смерти таило в себе нечто утешительное.

В какой-то мере я и повел себя, как от меня ожидали. По мере своих сил и возможностей я изображал из себя интересного чахоточного больного, но в моей душе и теле зрели силы, сопротивлявшиеся растекавшейся по телу болезни; я еще многого ждал от жизни. Не знаю, в какой мере мой случай подтверждает нынешние представления медиков, но по тем временам он просто

их перечеркивал; речь ведь идет о восьмидесятых годах. Микробы туберкулеза тогда еще не были обнаружены, но, во всяком случае, в моих легких шел некий процесс, разрушавший ткани и сосуды. Продолжалось это, по крайней мере, пять лет, достигло в какой-то момент своего апогея, а потом подошло к концу и тем завершилось, оставив меня с больными легкими. Напавшая на меня болезнь встретила сопротивление, и в конце концов я победил. В моем случае, как и во многих других, действовало не выявленное до конца сложное сплетение обстоятельств, помогающих или мешающих возможностям организма. Моя поврежденная почка замедляла процесс выздоровления, растянувшийся на многие годы. Впоследствии, начиная с момента, когда я был приговорен к смерти рексхемским врачом, обнаружившим у меня туберкулез, я выслушал еще множество сбивавших с толку диагнозов, каждый из которых то возвращал меня к жизни, то лишал малейшей надежды, но все же мне удалось осуществить мои жизненные планы, и, значит, всякий из диагнозов оказывался неправдой. Уже в 1900 году, когда я строил дом в Сандгейте, намеренно обратив его на солнечную сторону, я расположил спальни, гостиные, лоджии и кабинет на одном этаже, поскольку предполагал, что буду сидеть в инвалидном кресле и только так передвигаться из комнаты в комнату. А тем временем мое природное здоровье восстанавливалось, стараясь вернуть меня к нормальной жизни.

Не одна только моя плоть противилась мысли о том, что я слишком хрупок и утончен для этого мира, но и разумом я не мог примириться с подобным обо мне представлением. Признаюсь, минутами я начинал жалеть себя до слез, но это было нечасто. Всем своим существом я восставал против мысли о смерти; я не способен был ее принять. Не могу сказать, что я приходил в отчаянье от сознания, что мне не дано прославиться и я не успею увидеть мир. Куда больше, до глубины души, меня огорчало, что силой обстоятельств я умру девственником. Я весь был во власти сексуальных желаний. Во мне накапливалось раздражение против моей кузины Изабеллы, которая не испытывала ко мне телесного влечения. Впору было выйти из дома и начать преследовать незнакомых женщин. Я упрекал себя за чрезмерную скромность по отношению к уличным женщинам в студенческие дни. Я не извиняю себя за такие настроения, но болезнь и боязнь приближающейся смерти разбередили мое воображение. Боязнь быть обманутым в своих ожиданиях не отступала от меня и потом, окрасив всю мою дальнейшую половую жизнь, спустя долгое время после того, как страх смерти меня оставил. В своем воображении я преувеличивал радость, которая ждет меня в

объятиях женщины, и в конце концов возжелал ее до безумия.

Во мне жило к тому же и смутное подобие клаустрофобии, когда меня охватывала боязнь совершенно исчезнуть; это чувство было очень сильным, и, хотя умом я и не верил в бессмертие, я просто не мог представить, что меня больше не будет. Я знал, что навсегда стану холодным и меня заколотят в гроб, но сторонился подобной мысли. По ночам меня ужасало приближение этого часа.

Ни в чем, я думаю, зрелый ум так не отличается от юношеского, как в этом присущем юности страхе смерти. Мне кажется, что молодой человек просто не способен проникнуться идеей конечности существования, хотя печалиться по этому поводу, сокрушаясь о финальном поражении, он может очень остро. Но, по мере того как цели осуществляются, смерть теряет свое жало. Во всяком случае, за последние четверть века мысль о моем уходе из жизни не так уж меня мучает. Я понимаю, что смерть не имеет Прямого ко мне отношения. Надо только завершить какие-то свои дела, если же смерть придет раньше, мне этого не узнать. Возможно, не у всех людей пожилого возраста это так. Весной, разговаривая в Вене с Зигмундом Фрейдом, я выяснил, что он думает о смерти иначе, чем я. Он старше меня, и здоровье у него никуда, но он необыкновенно привязан к жизни и, не в пример мне, думает о своем учении и заботится о своей репутации совсем по-юношески. Но, может быть, он просто вызывал меня на откровенность.

Впрочем, помимо страха смерти как такового, разочарования и ощущения безысходности, которые временами так отягощали мое воображение в период болезни, меня осаждали и меньшие страхи, которые не уходят из памяти и каждый раз, когда у меня начинался особенно сильный приступ кашля, я пугался, что вот сейчас во рту появится вкус крови. И я помню, словно это было вчера, как сочится тоненькая струйка, предвещая большое кровохарканье. Началось или еще нет? Сильное или не очень? Я всякий раз мучился вопросом, как долго кровохарканье продлится, обильным ли будет и чем все окончится. А когда лежишь потом совершенно измученный, боясь даже лишний раз вздохнуть, все не веришь, что приступ прошел.

Сейчас все это в далеком прошлом, и я решаюсь вспоминать и свое смятение и страх, сопровождавшие мою болезнь, но тогда я не признавался в этом ни одной живой душе. Вот за что надо благодарить Судьбу и не оставлявшее меня тщеславие. Я хотел выглядеть перед окружающими веселым чахоточным. С начала до конца я разыгрывал из себя некоего спартанца. Мои письма друзьям были исполнены веселого фатализма и еще большего,

чем всегда, богохульства.

Мой однокашник Уильям Бертон, перенявший у меня редактирование «Сайенс скулз джорнал», получил хорошее место у Уэджвудов, производивших фарфор. Эта фирма к тому времени утеряла многие былые рецепты, и работа Бертона состояла в том, чтобы проанализировать старые составы и открыть, как прежние Уэджвуды составляли смеси для своих знаменитых изделий. Он только-только женился и приехал в конце медового месяца навестить меня со своей новенькой как медяк женой. Я перекусил с ними в холтском трактире. Для меня их забота явилась большой радостью и поддержкой. Они развлекли меня, подняли мое настроение и уехали, не проронив ни слова о том, как обеспокоены еще большей моей худобой и чахлостью. Уехали — да будет благословенно их дружеское участие! — полные желания хоть чем-нибудь мне помочь.

Волшебное слово «чахотка» смягчило сердца владельцев Ап-парка. Теперь они уже не так боялись вторжения семьи миссис Уэллс. Я, как мне казалось, пришел к неплохому соглашению с Джонсом относительно моих денежных дел и отправился в Хартинг. По-моему, я провел ночь в доме 181 по Юстон-роуд, но не могу точно припомнить. Потом меня поместили в соседней с материнской комнате в Ап-парке, и я отпраздновал свой переезд таким обильным кровохарканьем, какого у меня еще не было.

Случилось так, что в это самое время в доме гостил молодой доктор Коллинс, и его попросили оказать мне помощь. Я улегся на спину, на грудь мне положили пузыри со льдом, и кровохарканье прекратилось. Я делал все, что требовалось от чахоточного больного. День-другой я пролежал неподвижно, а затем стал жить в полное свое удовольствие в солнечной, обтянутой ситцем комнате с камином. Предыдущие недели в Холте казались мне страшным сном, и такими они и остались в моих воспоминаниях. Через несколько дней пришла пачка книг от Бертона, и об этом проявлении доброты мне тоже никогда не забыть.

Я провел в Ап-парке около четырех месяцев. Это было замечательное время, я окреп не только физически, но и умственно. Я вволю читал, писал, думал. Мне стало лучше, и, хотя болезнь порой о себе напоминала, таких приступов, как по прибытии, со мной больше не случалось. Коллинс был блестящим молодым отступником от правил тогдашней медицины и куда более современным, чем мой рексхемский врач; он избавил меня от привычки изображать из себя чахоточного и даже поставил под сомнение сам диагноз. Он уверил меня, и это оказалось чистейшей правдой, что при нормальном образе жизни я через

год или два буду совершенно здоров. Разумеется, он боялся за мою поврежденную почку, причем на сей раз тоже был прав. Он говорил, что мне следует опасаться диабета, а я и стал диабетиком. Мы с ним раза два беседовали на общие темы. Он, как и его отец, был видным последователем Конта{123}, сторонником философии индивидуализма и являлся влиятельной фигурой в Лондонском университете. Сейчас он сэр Уильям Джоб Коллинс, стойкий позитивист, и всего несколько недель назад я напомнил ему в нашем Реформ-клубе, каким удивительным диагностом он себя показал.

Мой неутомимый биограф Джеффри Уэст раскопал довольно много писем, которые я отправил друзьям за время моего пребывания в Ап-парке, и больше меня знает об этой полосе моей жизни (1887–1888 гг.). Периоды улучшения и надежд на выздоровление чередовались у меня с рецидивами и всплесками стоицизма. Я делал все, чтобы поправиться, а порой шел на известный риск. Я то сидел в четырех стенах, то предпринимал семимильную прогулку по тающему снегу. Последствием были «шумы в легких». Прислуга на Рождество веселилась, и я веселился с ними. Отец распродал товар и с тем, что сохранилось из мебели, перебрался из Атлас-хауса в маленький домик в Найвудсе, недалеко от Рогейта, в трех милях от Ап-парка. Он отказался от намерения хоть что-нибудь когда-нибудь заработать и держался скромно, но достаточно твердо. Мой старший брат, на которого произвел неизгладимое впечатление мой бунт в мануфактурном магазине, тоже оставил торговлю и присоединился к отцу. Он решил жить в дальнейшем починкой и продажей часов. Фредди появился в рогейтском коттедже на рождественские каникулы, и семья в полном составе собралась в помещении для прислуги в Ап-парке, без стеснения предаваясь рождественскому пиршеству и наслаждаясь весельем и хорошим аппетитом. Письмо Дэвису, процитированное Уэстом, свидетельствует о том, что я без конца танцевал, проказничал и забавлял присутствующих представлением, которое устроил совместно с братом Фрэнком, но, что это было за представление, не помню. Я убежден, что моя мать счастливо смеялась, видя сразу четверых членов своей семьи, да еще такими веселыми. Дабы избежать лишней опеки или просто пощадить материнские чувства, я скрывал от нее, что по-прежнему харкаю кровью, но один Бог ведает, сколько похвальбы, бравады и преувеличений содержится в моих письмах друзьям.

Во всяком случае, в них явственен переход от напускной храбрости опасно больного к непоседливости, беспокойству и раздражительности выздоравливающего. Уютная обстановка

расслабляла и злила меня. Мне не с кем было поговорить, кроме священника из Хартинга, и в этом, возможно, кроется причина того, что я написал столько писем, во владение которыми ныне вступил Уэст. Были и другие огорчения. Я мечтал о любовной встрече, а ее все не было. Но я даже не заметил, сколько знаний приобрел за несколько месяцев видимого безделья. Я неустанно читал поэтов и прозаиков, исподволь развивая в себе чувство стиля, на что я раньше не обращал внимания. И я осознал просчеты во всем, что писал. Оглядываясь на минувшее, я вижу, что все написанное мною до того, как я хорошенько начитался в поэзии и прозе, не стоило того, чтобы быть напечатанным. Теперь же, с опозданием, я учился видеть и подражать. Читал я все, что попадалось под руку. Я грыз сонеты. Я боролся со Спенсером{124}, читал Шелли{125}, Китса{126}, Гейне{127}, Уитмена{128}, Лэма{129}, Холмса{130}, Стивенсона{131}, Готорна{132} и множество популярных романов. Я начал понимать, как плоско и невыразительно пишу. Я вернулся к «роману», который задумал в Рексхеме, но он мне нравился все меньше. Я никак не мог решить, продолжать с ним возиться или начать заново, и я с ним расстался. Но я ненавижу незаконченную работу и потому тут же принялся за что-то другое. Я оттачивал свои экстравагантные критические воззрения, излагая их в письмах мисс Хили, и, наверное, посылал ей и стихи. Это видно из письма, которое цитирует Уэст: «Вы говорите, что стихи у меня хромают, но размер нужен готовому платью, а не настроению, не сердечным излияниям. По вашим словам, мои стихи некрепко стоят на ногах. Но птица, чтобы петь, не нуждается в ногах, у херувимов, окружающих Богоматерь Скорбящую, вообще нет ног. Античный Пегас, изображающий поэта, быстрокрыл, а не быстроног».

Потом, в тот же год, когда я понял, как надо писать, я с чувством стыда перечитал накопившиеся страницы и почти все сжег. Я пришел к мысли, что надо еще овладеть ремеслом. Мне следовало вернуться к началам, овладеть мастерством рассказа и, может быть, элементарными правилами стихосложения и тогда уже по-настоящему строить сюжет, который и выразил бы мою главную мысль. Я обнаружил, что прежде вообще *не писал*. Просто играл в писательство. Я марал бумагу, уверял себя и своих друзей в том, будто это чего-то стоит. Мои необоснованные литературные претензии должны были помочь мне выбросить из головы воспоминания о провале в Южном Кенсингтоне. Но характерно, что я никогда и никому не показывал своих многочисленных литературных опытов. Никто, в том числе и я сам, не знает теперь, о чем был роман «Компаньонка леди Фрэнкленд». Помню только страницы и страницы детских

каракуль. Я увидел себя наконец со стороны, но от этого мне легче не стало. Неужели я никогда не откажусь от своей самоуверенности и не начну учиться делу? Я чувствовал себя человеком одаренным, не без достоинств, но догадывался и о своем тщеславии и самонадеянности, мешавших мне употребить на пользу эти добрые качества. Я разжевывал этот горький корень, когда бродил взад-вперед по буковым рощам и папоротниковым зарослям, окружавшим Ап-парк, или по тисовой долине у здания телеграфа.

Понемногу я набирался сил и прибавлял в весе, но при этом у меня росло недовольство своей праздностью и неэффективностью усилий. Мне хотелось возобновить свое наступление на мир, но имея больше за душой и обладая большими здравомыслием и решительностью. Идея найти работу, оставляющую время для писательства, сама по себе была неглупой даже при том, как мне не повезло в Холте. Я понял, что, прежде чем начать «писать набело», надо пройти стадию ученичества, и мысль эта была вполне здравой. Надо было использовать еще один шанс — если, конечно, он у меня оставался.

А тут Бертоны сообщили, что они хорошо устроились неподалеку от завода Уэджвуда в Этрурии, обставили дом, у них есть даже комната для гостей и она в полном моем распоряжении. Это совершенно меня соблазнило, и я немедленно откликнулся на их приглашение. Мне полюбились Бертоны, их книги, их разговоры, необычный ландшафт Пяти городов, отсвечивающий литейными цехами, дымящийся охладительными канавами, белой глиной в чанах, от которых поднималась пыль, полюбилась вся эта бодрящая атмосфера. Гуляя с Бертонами по улицам, я вполне мог столкнуться с другим честолюбивым молодым человеком, который работал тогда клерком у адвоката, а потом, в зрелые годы, стал моим другом и соперником, — с Арнольдом Беннетом{133}.

Сохранилось письмо, которое я написал доктору Коллинсу в феврале 1888 года; в нем отражено мое тогдашнее представление о себе. Я целиком заимствовал его из книги Уэста. Это занятный образец моей ранней прозы. Оно словно бы написано индийцем, получившим английское образование. Мой разговорный язык еще не вполне слился с литературным.

> «Когда Вы в последний раз оказали мне честь исследуя мою грудь, Вы указали, как трудно мне будет при том, что здоровье у меня неважное, получить работу без чьей-либо поддержки и без того, чтобы кто-то замолвил за меня слово. Мисс Фетерстоноу не

выказывает большого желания мне в этом помочь, а ее поверенный сэр Уильям Кинг, которому она упомянула о моих обстоятельствах, выразил весьма скептическое отношение к этой затее. Я не представляю себе социальных слоев мне недоступных, но мне кажется, что Вы, вращаясь в обществе, где люди заняты делами, и участвуя в деловой жизни, с которой отчасти соприкасается мисс Фетерстоноу, можете оказаться более влиятельны, нежели она. Сюда приезжают многие военные высокого ранга, духовные лица или же люди независимые и обеспеченные, которые только и знают, что жить припеваючи, и мне кажется, единственная работа, не считая лакейской, на которую я мог бы претендовать, даже вопреки моим принципам, — это должность домашнего учителя, для чего, правда, я подошел бы меньше, чем какой-нибудь юный джентльмен, потершийся в Оксфорде и не сумевший его окончить. Вы же, с другой стороны, знакомы с такими активными, авторитетными, с широким кругом интересов людьми, как Харрисон{134}, Бернард Шоу и оба Хаксли, пусть и очень занятыми, но все же способными помочь мне в подобной мелочи. Именно это я имел в виду, когда в беседе с Вами упомянул мое желание работать, но я боюсь, что не сумел высказать свою мысль достаточно ясно и дал Вам повод считать планы мои и стремление ко всяческим благам несовместимыми с постоянной должностью, дающей возможность самоусовершенствоваться. Мне прежде всего хочется по возможности приносить людям пользу и не следовать добрым советам, рекомендующим заботу о простом сохранении жизни предпочесть пользе этой жизни. Мне надо чувствовать свою правоту и уйти с ощущением человеческого достоинства и выполненного долга; это было бы лучше, чем влачить жалкое существование (так сказать, социализм в действии) к собственному и чужому неудовольствию. Это и заставляет меня обратиться к Вам, как к человеку, который может помочь мне в поисках работы, что для меня сейчас самое важное, а я рассматриваю Вас как личность, способную дать мне возможность не только достичь должной меры успеха и подняться к вершинам знания, но и приблизиться к людям либерального образа мысли».

Коллинс ответил мне очень любезно, но за этим ничего не

последовало, и я оставался в Этрурии еще месяца три, ожидая, когда счастливый случай меня отыщет. Думаю, я доставлял хозяевам немало хлопот, однако ни он, ни она этого мне не показывали. Я постоянно болтался в доме. И порядка от этого не прибавлялось. Я надоедал Бертону, когда он приходил с работы, бесплодными спорами. Но они уверяют, поскольку и сейчас остаются моими друзьями, что я немало развлекал их забавными зарисовками из жизни обитателей Холта и Ап-парка и всплесками буйной фантазии. Именно в Этрурии я начал писать по-настоящему. Во всяком случае, я писал что-то, что мог, не испытывая стыда, читать людям, которых уважал. И в случае нужды написанное поддавалось исправлению и редактированию.

Я задумал обширную мелодраму, действие которой происходило в Пяти городах, что-то вроде стаффордширских «Парижских тайн», выполненную отчасти в манере бурлеска или гротеска и изобилующую фантастическими и страшными эпизодами. Из всего этого уцелел только один фрагмент в сборнике моих рассказов — «В бездне». Затем я приступил к роману в манере Готорна, предназначенному для «Сайенс скулз джорнал» — «Аргонавты хроноса». Я оставил эту затею, поскольку после трех напрасных попыток понял, что не могу с нею справиться. Следовало сперва научиться писать. Это был черновой набросок «Машины времени», которая впервые принесла мне признание как писателю-фантасту, но то, что вышло тогда из-под моего пера, было еще чем-то вроде цветистой индийской прозы — стиля моего письма доктору Коллинсу. Рассказ был нелеп и полон фальшивой значительности. Путешественник во времени именовался Небо-гипфель, хотя гора Небо не имела ровно никакого к нему отношения. И впереди просвета не намечалось. Еще там была масса всякой чепухи о враждебных главному герою темных обитателях валлийской деревни, явно списанных с «Алой буквы» Готорна. И чего стоят одни «Аргонавты Хроноса», взятые в качестве заглавия! Подходило ли это выражение в стиле рококо к математически строгому сюжету? Мне уже было больше двадцати одного года, а еще предстояло учиться своей профессии. И в стиле, и в построении сюжета я проявлял ужасную некомпетентность. Если б какой-нибудь молодой человек принес мне сегодня рассказ «Аргонавты Хроноса» и спросил моего совета, думаю, я сказал бы, что писать ему больше не следует.

Однако то, что я стал осознавать меру моего несовершенства и плохую ориентацию в современном мире, почему и обратился к фантазии, — было добрым знаком постепенного умственного взросления. Фантазии — свойство молодости, в особенности

молодости, вырванной из привычного социального окружения.

Весна перешла в лето, и я день ото дня становился все крепче. Мне сделалось очевидно, что я не могу бесконечно сидеть на шее Бертонов. Одним ясным утром я вышел прогуляться по так называемой Трури-Вудс, лесному массиву, остававшемуся незастроенным в этом промышленном районе. Там разрослись дикие гиацинты, и я прилег среди них, чтобы поразмыслить. Утро было напоено солнцем и жизнерадостностью. А гиацинты были как армия, выстроившаяся с развернутыми знаменами и гремящими трубами.

«Я умирал две трети года, и пора уже перестать умирать», — сказал я себе.

С этого момента я раз и навсегда перестал умирать и, что бы ни случалось, больше не делал таких попыток.

Я отправился к Бертонам. На случай отъезда у меня были припасены две половинки пяти фунтов, полученные от матери. (Тогда, осторожности ради, люди посылали пятифунтовые банкноты, разорванные пополам, в разных конвертах.) Я сказал Бертону, что завтра еду в Лондон.

— Зачем? — спросил Бертон.

— Искать работу.

— Дорогой мой! — воскликнул Бертон, и по тону его я понял, что принес ему немалое облегчение.

Вечером я отправил письма в несколько агентств по найму и сказал, что через два или три дня к ним наведаюсь. Мне казалось странным, что я не сделал этого месяца на два раньше.

3. Второй налет на Лондон (1888 г.)

Просто не счесть, сколько раз я заново начинал жизнь. Этот возврат в Лондон был, я думаю, седьмым или восьмым.

Когда я перечитываю историю своей жизни, написанную Джеффри Уэстом, то понимаю, какими преимуществами обладает биограф. С июня 1887 года по июнь 1888 года из меня изливался поток писем, которым посчастливилось сохраниться. И Джеффри Уэст с большим прилежанием собрал целую их коллекцию. Милостью небес ему не удалось добыть «Компаньонку леди Фрэнкленд» (35 тысяч слов), и то лишь потому, что она была уничтожена вместе с другими пробами пера. Но в 1888 году поток иссяк. Кроме рисунка, который я послал Симмонсу и на котором изобразил себя — худого и обтрепанного на лондонском перекрестке, застывшего перед объявлением «Требуется сандвичмэн», и с жалостной припиской: «Я в Лондоне, ищу работу, но пока без какого-либо успеха», — других

документальных свидетельств об этих шести месяцах нет. Лишь по прошествии их, когда я устроился младшим учителем в Хенли-хаус, Килберн, эпистолярная моя энергия дает о себе знать. Теперь даже трудно точно определить даты и обстоятельства этого переходного периода. О нем сохранились только отрывочные воспоминания, связь же между ними навсегда утеряна.

Мне не хотелось беспокоить друзей или чтобы они беспокоили меня, пока я не получил работу. Я знал, что в крайнем случае могу попросить какие-то деньги у матери, но знал и то, что она должна содержать моего отца в Найвудсе и что помощь моего брата Фрэнка крайне недостаточна, так что я не мог многого от нее требовать. Да и сомнительно, чтобы она тогда располагала заметными средствами. Возможно, мне трудно было найти в это время работу еще и потому, что я был изрядно обтрепан. Я прибыл со своим старым чемоданчиком на Сент-Панкрасский вокзал и первую ночь провел на Джад-стрит в унылой комнатенке, которую счел себе по средствам. В комнате стояли три койки, и одну из них занимал, по словам хозяйки, «в высшей степени почтенный молодой человек, работавший у мясника». Я его забыл, как забыл и то, занята ли была в ту ночь третья койка. Поездка утомила меня, и я рано лег спать. Утром я позавтракал в кофейне — там можно было получить большую чашку кофе, увесистый ломоть хлеба с маслом и вареное яйцо или яичницу за четыре или пять пенсов — и отправился искать отдельную комнату между Грейс-Инн-роуд и Британским музеем.

Я снял комнату на Теобальдс-роуд за четыре шиллинга в неделю. Это была не комната, в полном смысле слова, а отделенная перегородкой и неотапливаемая часть чердака, всю обстановку составляли раскладушка, умывальник, стул и маленький комодик с зеркалом. Перегородка была такой тонкой, что я, условно говоря, жил еще и в другой комнате. Моими соседями была молодая пара, которых я никогда не видел, но отлично слышал, особенно когда доходило до интимных дел. Если они уж слишком шумели, я громко кашлял, скрипел кроватью или двигал стулом, и юная пара тотчас же затихала, словно рыбы в пруду. В этой берлоге я пробовал писать и переписываться с друзьями, из нее совершал вылазки в поисках работы, которая должна была помочь мне продержаться до тех пор, пока я не овладею своим ремеслом. Я обходил агентства, регистрировался всюду, где не требовали платы за регистрацию, и откликался на все возможные и невозможные предложения. Питался я не слишком регулярно и старался тратить на еду как можно меньше. В округе было полно маленьких заведений, сквозь

окна которых было видно, как аппетитно шипят на газовой горелке рыба или сосиски, и отбивные в тавернах тоже выглядели совсем неплохо; чайные множились как грибы, а «вырезка с двойным овощным гарниром» стоила всего каких-нибудь восемнадцать или девятнадцать пенсов. На Флит-стрит я раз или два заглянул в вегетарианскую столовую, но после этого к ночи совсем проголодался. Агенты по устройству в школы говорили, что я слишком поздно обратился к ним с просьбой о постоянном месте, но что они подумают о приработке. Выразилось это в репетиторстве по геологии и минералогии — занятиях с абитуриентом, которого я готовил в военное училище, однако на этом все и закончилось. Моим первым постоянным нанимателем оказался мой сокурсник Дженнингс.

Дженнингс пытался утвердиться в качестве репетитора по биологии. Жалованья, которое он получал в качестве младшего лаборанта на лекциях по геологии в колледже, ему не хватало, и он решил использовать часть своих средств для производства наглядных пособий по биологии. Он также читал биологию в институте Биркбека на Чансери-Лейн.

Для этой цели он нуждался в настенных наглядных пособиях, и, помня, как я хорошо рисую, он нанял меня, едва узнав, что я ищу себе занятие. Он задумал копировать изображения с учебников и дорогих атласов, прежде всего немецких, которые я мог взять в библиотеке Британского музея. Он купил для меня коленкор и краски, я же извлек из небытия один из вышедших теперь из употребления зеленых читательских билетов, сохранявших прочность, пока не разваливались в куски, и стал делать зарисовки под куполом Блумсбери, а потом увеличивать их в маленькой лаборатории, которую Дженнингс снимал на пару с микроскопистом по имени Мартин Коул в доме 27 по Чансери-Лейн. Коул срисовывал то, что видел в микроскопе, а я, склонившись над столом позади него, рисовал свое. Коул продавал познавательные изображения по дешевке, преимущественно студентам-медикам, и у него были аккуратно разложены по полкам бесчисленные пузырьки со срезами больных и здоровых легких, почек, печени, нелегально приобретенных в больницах или моргах.

Моя работа с Дженнингсом возникла не сказать чтобы слишком рано, поскольку, когда я получил от него первые деньги, мои пять фунтов подошли к концу. Мне хотелось хоть сколько-нибудь продержаться на плаву, не прибегая лишний раз к помощи матери. Я понаторел в устном счете перед витринами харчевен, ожидая того времени, когда Дженнингс мне заплатит. Но однажды вечером я вывернул свои карманы и нашел там

маленький ластик, перочинный ножик и полпенса. Даже в самые дешевые времена на полпенни съестного купить было нельзя. А поскольку и почтовая открытка стоила три фартинга, не было возможности даже кому-нибудь написать. Я протратился вчистую и, улегшись в постель, стал размышлять, что теперь делать. Часов у меня не было, кольца тоже, да и вообще чего-либо в таком роде. А поскольку я еще не приобщился к системе закладов, мне нелегко было сыскать что-либо способное привлечь внимание ростовщика. Я не мог даже вообразить, что он сочтет «ценностью». У меня была деревянная палка с костяной ручкой, которая при покупке стоила два фунта и шесть пенсов, несколько хороших смен белья, носки с дырками на пятках, два утерявших цвет целлулоидных воротничка, полдюжины обычного белья, изрядно поношенного, и тому подобное.

Проснувшись на следующее утро, я глянул случайно на свои полпенса и увидел что-то необычное в его форме и цвете. Это был шиллинг, потемневший от соседства с чернильной резинкой. Трудно вообразить, что значили для меня эти лишние одиннадцать с половиной пенсов. Пост был окончен!

В рабочие дни я трудился с утра до вечера. Британская библиотека и учебная библиотека Южного Кенсингтона были местом уютным и светлым. Пока они были открыты, никто вас не тревожил. А улицы и лавки были бесконечно интересны. Я ходил взад-вперед и наблюдал за прохожими. Меня подбадривало чувство, что стольким людям по карману еда и одежда. Но воскресные дни я не любил до отвращения. Они тянулись бесконечно долго и были лишены всякого смысла. Бесчисленные уличные лавки закрывались, идти было некуда, разве что в церкви, которые поглощали вас в определенный час и немного погодя отпускали на улицу. Кроме как в соборе Святого Павла, больше негде было присесть и спокойно подумать. В меньших молельных домах вам приходилось сидеть и делать вид, что вы участвуете в службе, стоять на коленях или толкаться в толпе. Чувство одиночества охватывало меня все больше и больше. Я начинал прикидывать, что моя кузина делает в это время и не может ли она нечаянно встретиться мне на улице. Под конец она стала мне видеться за каждым углом.

Когда Дженнингс в первый раз мне заплатил, я уступил растущему желанию встретиться с родственниками, написал им и попросил разрешения явиться к ним на воскресный чай и тем самым побыть в этот день со своей кузиной. Она неплохо теперь зарабатывала ретушером у фотографа. Унылый дом на Юстон-роуд они к тому времени оставили, тетя Белла устроилась экономкой к уилтширскому фермеру, и моя кузина с матерью

обосновались теперь в бельэтаже небольшого дома на Фицрой-роуд у Риджент-парка. Туда я и отправился, и там за чашкой чаю и тостами с маслом тетя Мэри, любившая меня как сына, побранила меня от всего сердца тонким голосом за то, что я не объявился сразу по возвращении в Лондон, и доказала мне, что экономнее и удобнее вести общее хозяйство. У них на этаже пустовала одна комната. Тетя мечтала присматривать за мною.

Через неделю я оставил Теобальдс-роуд, перенес свои зарисовки и сверток коленкора на Фицрой-роуд, и мои отношения с Изабеллой вернулись в прежнее русло. Сейчас я постоянно был с ней рядом, и мне даже не вспоминалось, что я когда-то забыл о ней. Мы повзрослели, она чувствовала себя более самостоятельной, чем на Юстон-роуд под недоверчивой и деспотической властью тети Беллы, но оставалась такой же приятной и сдержанно-милой, ум у нее был по-прежнему здравый и ограниченный, и была в ней та же нераскрытая женственность, что привлекала меня в студенческие годы. Между нами установилась прежняя близость, словно наши отношения не прерывались.

Ко мне вернулось чувство дома и защищенности, что дало свежий импульс поискам работы и денег. Я продолжал делать рисунки для Дженнингса, немного подрабатывал уроками, с тем чтобы помогать деньгами Коулу и ассистировать Симмонсу, который стал помощником учителя, во время его рождественских каникул готовил биологические препараты для его переводных экзаменов; кроме того, мне удавалось зарабатывать пусть небольшие, но заметные деньги при помощи журнализма или, во всяком случае, чего-то к нему близкого. В эти годы у старого «Фэмили геральд» появились конкуренты — еженедельники, ориентированные на учащихся; они продавались по пенсу за номер. Это были «Битс», «Ответы», немного позже «Пирсонс уикли». По-моему, именно в «Битс» впервые стали публиковаться «Вопросы и ответы», для которых мог писать всякий желающий. В номере печаталась примерно дюжина вопросов, а неделю спустя давался лучший ответ на каждый из них. Это был популярный вариант другого издания — «Ноутс энд кверис». За принятый к печати вопрос платили полкроны, за ответ — соответственно его величине. Наудачу можно было послать приемлемый ответ на самим же поставленный вопрос. Мне для этого весьма пригодились моя начитанность и биологические знания. Каждую неделю я ухитрялся что-то придумать и таким способом добавлять от двух с половиной до четырнадцати или пятнадцати шиллингов к бюджету Фицрой-роуд.

Мои легкие неплохо выдержали приход зимы. Тетя Мэри не

спускала с меня своих по-птичьи зорких глаз; она знала еще раньше меня, что вот сейчас я начну кашлять, и тотчас принимала должные меры. К концу года, сразу после Рождества, я сумел устроиться на работу в Килберне и впервые за полтора года почувствовал под ногами относительно твердую почву.

4. Школа Хенли-хаус (1889–1890 гг.)

С момента моего отъезда из Саутси в 1883 году и до самого возвращения в Лондон в 1888-м мое умственное развитие шло весьма интенсивно, и постепенно передо мной открывался мир. Мое сознание вобрало в себя столь многое, столько всего усвоило и переработало, словно у меня была голова университетского ученого. В ней сложилась последовательная картина действительности. Я научился английскому языку и основам литературной композиции. Но с минуты, когда я вышел из поезда на Сент-Панкрасском вокзале и начал искать себе пристанище и работу, я чуть ли не год был так сосредоточен на необходимости выжить, борьбе с голодом и холодом и удовлетворении элементарных житейских потребностей, что, мне кажется, в голове у меня не прибавилось мыслей или знаний. Только после семестра в школе Хенли-хаус я снова оказался способен замечать что-то не прямо меня касающееся, критически это осмысливать и объективно рассуждать о жизни в целом.

Школа Хенли-хаус была не самым процветающим учебным заведением в Килберне. Она располагалась в нескольких стоявших стена к стене особнячках, плохо приспособленных для образовательных целей. Ученики были из Мэйда-Вейл и Сент-Джонс-Вуд; родители их принадлежали к театральным, художественным, чиновничьим и деловым кругам и из любви к детям или соображений экономии предпочитали, чтобы их отпрыски жили дома. В школе было лишь несколько пансионеров. Эта частная школа принадлежала Дж.-В. Милну, не чувствовавшему какой-либо ответственности перед властями земными или небесными ни за то, чему он учил, ни за то, чему не учил. В одном из домов он жил с семьей, другой занимали классные комнаты и учительская. Спортивная площадка, вымощенная камнем и окруженная стеной, была прежде двумя задними двориками. Она не годилась для спорта, разве что для какой-нибудь кучи-малы. Оборудование оказалось немногим лучше, чем у Морли, хотя парты были поновее, а черных досок и карт было побольше. Впрочем, худо-бедно, но как-то перебиться было можно. Когда я приступил к работе, Дж.-В. подошел ко мне и сунул мне в руку золотой соверен.

— Купите себе все, что может понадобиться для обучения науке, — сказал он.

— А сдача? — спросил я, ощутив себя обладателем огромного капитала.

— Потом отчитаетесь.

Мне надо было очень осмотрительно обойтись с полученными деньгами. Наличная аппаратура была свалена в бывший спальный комод и находилась в ужасающем состоянии. Мой предшественник был француз и, очевидно, обладал исключительным упорством в достижении своих целей. Пиком его химических демонстраций должно было являться добывание кислорода путем подогрева колбы с солью марганцевой кислоты. Юный Робертс, сын комического актера Артура Робертса, рассказывал мне, что зрелище было действительно впечатляющим. Производство стекла находилось тогда на примитивном уровне, и обычная лабораторная колба, или, как ее иначе называют, флорентийская колба, изготовлялась не из огнеупорного, а из обычного стекла, так что она лопалась и разваливалась при малейшем перегреве. Мой предшественник наполнял колбу солью марганцевой кислоты, ставил ее на треножник, помещал под нею бунзеновскую горелку и надеялся таким способом получить кислород. Но прежде чем процесс образования кислорода набирал полную силу, колба громко лопалась и ее дно падало в горелку. Тогда учитель подтягивал войска и пускал в ход вторую флорентийскую колбу — с тем же результатом. Класс начинал смеяться, но он, воспрянув духом, словно француз под Ватерлоо, бросал в бой третью колбу. А результат — тот же самый; когда класс падал от хохота, демонстрация опыта прекращалась. Флорентийских колб больше не оставалось, и исчезал повод для аплодисментов. Комод, о котором шла речь, был заполнен в основном лопнувшими колбами, причем каждая из них аккуратно стояла на своем отвалившемся донышке.

Я стал думать об этом наглядном примере подступов к экспериментальному знанию, — равно как и размышлять над следами попытки использования мела для классной доски в качестве двуокиси углерода, при том что он вообще не является углеродом. И я оставил свой соверен неразменянным.

Я обсудил эту проблему с Дж.-В.

— Мистер Милн, — сказал я, — мне кажется, что проводить опыты перед классом — большая ошибка.

— Во всяком случае, это дурно влияет на дисциплину, — заметил он.

— Я предлагаю, если позволите, просто показывать ход экспериментов на доске, цветными мелками, которые я и куплю из вашего фунта, и толково объяснять, какие при этом происходят реакции, класс же должен все это записывать в тетрадки. Я еще ни разу не слышал, чтобы провалился эксперимент, записанный на доске. С другой стороны, чрезмерное стремление к

наглядности…

— Я во всем с вами согласен, — сказал он.

— Впрочем, несколько позже я начну у них на глазах мало-помалу препарировать кролика и заставлю их все записывать. Я собираюсь делать это под водой и избавить их от зрелища разложенных на столе потрохов, но мне надо сперва купить большой лоток с крышкой, грузило и иголки.

— А не будет ли все это… немного неделикатно?

— Не будет. Я покажу им на доске, что посмотреть.

— Никогда не догадаешься, против чего станут возражать родители. Но если вы так думаете…

Подобным путем я ухитрялся без излишнего оригинальничанья учить класс делать зарисовки, записи и понимать большое число вещей, которые показались бы им очень сложными, если б они столкнулись с ними во всей их реальной запутанности. Я, например, никогда не пользовался химическими весами; химические весы, особенно если они долго провалялись в темном комоде, могут сбить с толку человека, склонного к поспешным выводам, да к тому же мой предшественник потерял большую часть гирек. В результате я избавил своих учеников от шума и вони, сопровождающих научный эксперимент, и дал им систему научных принципов и отношений, а заодно и примеры, которые должны были подготовить к экзаменам, ожидающим их в ближайшие годы.

Милн произвел на меня впечатление по-настоящему способного педагога, желающего сделать все для своих мальчиков; был он человеком изначально своеобычным, и я узнал с его помощью, как поддерживать дисциплину и вести дела. Материальные обстоятельства не могли его не тревожить, но при этом он внимательно следил за своими учениками, не позволял им трудиться через силу и не заставлял их подолгу сидеть за книгами, а то и менял предмет занятий, хорошо понимая, какие у них могут возникнуть отрицательные реакции. Он думал о них по ночам. Мальчики ему доверяли, и я никогда не видел школы, в которой ученики обладали бы лучшими манерами. С первого нашего знакомства он держался со мной по-дружески и с пониманием. Он был небольшого роста, одет во все серое, голова у него была удлиненная, на остром носу очки; он отличался странным поставом головы, носил маленькую бородку, держался стеснительно и слегка шепелявил. Поначалу он предложил мне жить при школе и преподавать английский, точные науки и рисование за шестьдесят фунтов в год, но я пожелал остаться со своей тетей и кузиной на Фицрой-роуд; к тому же я терпеть не мог налагаемых на учителя воскресных обязанностей и все

свободное время хотел уделять литературным занятиям и подготовке к семестровым экзаменам в Лондонском университете. Поэтому я отказался от жилья и питания за исключением полуденного ленча и уговорился приходить в девять и уходить в пять или около того. И еще я поставил условие, что не буду преподавать закон Божий, поскольку иначе должен был бы кривить душой. Его это устроило. Ему понравилось, что я, даже рискуя не получить работу, в которой явно нуждался, следовал велениям совести.

Полуденный ленч был превосходен; я разделял его с несколькими приходящими учениками. Я не забыл еще Холт и в самых восторженных выражениях описал свои ленчи Симмонсу, расхваливая чистоту, белые салфетки и цветы на столе. В мире, в котором я жил, я доселе не видел цветов на обеденном столе. А во главе стола лицом ко мне сидела миссис Милн, озабоченная тем, чтобы я ел получше, поскольку я был, по ее мнению, до невозможности худ.

Думается, недалек тот день, когда с лица земли исчезнет последняя из частных школ. Пятьдесят лет назад их владельцы отвечали за образование или отсутствие такового у значительной части британского среднего класса. Общественного контроля за ними не было. Определенный уровень знаний не предусматривался, всякий желающий мог открыть подобную школу и преподавать в ней, родители отдавали ребенка куда считали нужным и забирали его оттуда, когда решали, что он уже достаточно образован.

Некоторые университеты и так называемые общественные комиссии проводили экзамены, на которые, дабы поднять престиж школы, посылали наиболее способных учеников, и эти организации оказывали определенное влияние на выбор предметов. Большинство частных школ готовили детей из средних классов к бизнесу или какой-либо профессиональной деятельности, не давая знания не только иностранных языков, но и родного, на котором выпускники изъяснялись и писали самым неудовлетворительным образом; их не обучали рисованию, навыкам обращения с научной аппаратурой, оставляли во тьме невежества во всем, что касалось физики, истории, экономики, исполненными презрения к выученикам закрытых учебных заведений и если и осознающими недостатки собственного образования, то лишь в той мере, чтобы испытывать недоверие и враждебность ко всем проявлениям умственного превосходства и солидного интеллектуального багажа.

Без проникновения в природу английских частных школ невозможно понять, почему огромные преимущества, которыми

Англия XIX века обладала как ведущая мировая держава, отличавшаяся огромной экспансией и подчинявшая себе другие страны, в последующие годы так быстро сошли на нет. Виной тому бездарные, невежественные, претенциозные и постоянно ошибавшиеся люди, стоявшие у кормила власти. Худший образец английской частной школы я вкратце описал, когда рассказывал об Академии Холта; Дж.-В. Милн и Джонс были, можно сказать, антиподами во всем, что касается нравственности и интеллекта; Милн завоевал мое безграничное восхищение и остался моим другом на всю жизнь, и все же нет смысла умалчивать о том, что школа Хенли-хаус была скорее наброском хорошего учебного заведения и примером добрых намерений ее руководителей, чем местом, где удалось использовать хотя бы десятую часть возможностей, которыми обладали дети, оказавшиеся в наших руках. Мы кое-чему их научили, выдали им известное число «аттестатов», сделали что-то для их воспитания, они вышли от нас с хорошими манерами, мы заронили в их головы некоторые представления о жизни, но не сумели помочь им выработать цельное и последовательное мировоззрение. Один или два мальчика, окончивших нашу школу, заняли заметное место в жизни. Нашей гордостью и нашим, так сказать, боевым слоном был лорд Нортклиф, который сделал столько для современной прессы и умер владельцем контрольного пакета акций «Таймс». Но и он может послужить превосходным примером недостатков английской частной школы и английского образования в целом.

Высказывая эти критические замечания, я ни в чем не хочу обвинить Дж.-В. Милна. Учитывая его финансовые возможности и условия, в каких он находился, Милн совершал чудеса. Он с трудом выкручивался; два неотремонтированных дома и золотая гинея, которую он вручил мне на приобретение всей научной аппаратуры, дают представление о его обстоятельствах. Когда со временем подвернулся случай выбраться из Килберна, он открыл лучше оборудованную школу на Стрит-Корт в Уэстгейт-он-Си. Но для школы Хенли-хаус ему не удалось набрать хороших помощников; необходимость непрерывно считать деньги заставляла его поступаться принципами, так что во многих отношениях дело шло как бог на душу положит, несмотря на все попытки Милна руководить процессом.

В то же время он использовал замечательную систему поддержания дисциплины, которая заметно опережала тогдашнюю педагогику. Материя эта слишком сложная для того, чтобы ее здесь объяснять, но мы добились лучших результатов, чем Сандерсон{135} из Оундла, систему которого я изучал позже. В кабинете Милна висела палка — символ насилия и права на

него в крайних случаях, но при мне он никогда не пускал палку в ход, не думаю, что это случалось и раньше. Его искренне заинтересовало мое желание покончить при обучении науке с худшими претензиями «демонстративного метода» и стремление заменить его «методом записи». Он обсуждал со мной этот метод, который я заимствовал у Байета и видел неправильно примененным у Джада, а потом, когда я по собственной инициативе обновил преподавание математики и избавил его от «практического уклона» с его упором на систему денежного исчисления, меры веса, объема и прочее, отягощавшего преподавание (да и сдачу экзаменов), и сразу перешел с детьми от шести до восьми лет с четырех арифметических действий на начатки алгебры, он был в восторге. По тем временам это было новым и смелым шагом. Всего за год мы добрались до дробей, квадратных уравнений и задач с квадратными уравнениями и заложили основу для нескольких университетских карьер в области математики. К этой талантливой плеяде принадлежали романист и драматург А.-А. Милн{136}, его брат Кен и издатель Батсфорд.

Ощущение, что Милн с интересом наблюдает за мной, стимулировало меня. Я даже придумывал для Милна и для своих учеников всякие фокусы. Было занятно, например, подойти к доске и как ни в чем не бывало начертить по памяти границы Англии, Шотландии или Северной Америки (надо было только проследить, чтобы широты восточного и западного побережья совпадали, остальное же получалось само собой). При этом можно было стоять спиной к классу, будучи уверенным, что все дети до единого не шелохнутся и не утратят интереса к происходящему. Самые ехидные лишь следили, совпадают ли контуры, начертанные на доске, с теми, что изображены в атласе, чтобы в случае чего первыми сказать «простите, сэр» и предложить исправление.

С современной точки зрения школа Хенли-хаус заслуживала упреков только за то, что она не умела сформировать у своих учеников определенных политических и социальных взглядов. Но тогда Дж.-В. страдал не столько из-за нехватки денег и необходимости, будучи новатором, заботиться о том, чтобы его частная школа окупалась и он не оказался в положении человека безответственного, сколько потому, что жил в период, когда общие цели были недостаточно выражены. Старый европейский порядок, как я имел уже случай указать в главе о своем происхождении, разлагался и терял всякое представление о целях. Новый же порядок только складывался, и ему еще предстояло осознать себя. В XVIII веке английская протестантская

школа учила, что всякой христианской душе уготовано либо адское пламя, либо вечное блаженство; нравственное и интеллектуальное воспитание было в большей или меньшей степени соотнесено с этой перспективой и ею определялось; именно к ней в конечном счете вас готовили. Это двойное сияние — алого адского пламени и золотых райских лучей — ныне померкло в нашей школе, и ничто не заняло его места. Место это по праву может принадлежать идее современного Мирового государства, которая должна подчинить себе учебный план и перечень дисциплин в расписании занятий на всем земном шаре, однако даже сегодня лишь очень немногие учителя понимают это, а в дни моей работы у мистера Милна мысль о насущных социальных и политических потребностях общества только-только начинала брезжить. В школах и университетах преподавание велось по старинке в рамках так называемого «широкого образования» — в соответствии с единственным принципом: «всегда так учили». «Зачем мы учим латынь?» — спрашивали бойкие мальчишки. «Что толку мне от химии, сэр, если все равно мне идти в банк?» А то могли задать и такой вопрос: «Так ли уж важно, сэр, в каком именно родстве состояли Генрих VII и Генрих IV?»

Тем не менее мы учили определенным «предметам», и во время экзаменов на стороне выяснялось, что учили неплохо, с результатами выше среднего уровня. Но в целом, сравнительно с реальными задачами, мы не учили ничему. Мы совершенно упускали из виду главную задачу школы, призванной направлять интеллект, волю и совесть личности на решение социальных задач. Да и сам по себе социальный процесс мы плохо себе представляли. Не одна только наша школа и частные школы в целом не воспитывали мировоззрения учащихся, но, за исключением закрытых школ, военных училищ и еще небольшого числа борющихся за честь мундира учебных заведений, где преобладали представления «правящего класса», подобное безразличие пронизывало собой всю образовательную систему. Мы не учили чему-либо относящемуся к происхождению человека, структуре цивилизации, социальной или политической жизни. Мы не готовили активных граждан и не делали попыток готовить. Мы выпускали своих мальчиков с удостоверениями о сдаче вступительных университетских экзаменов или, чаще, с обычными школьными аттестатами и с одной только надеждой как-то пробиться в жизни, если повезет.

И здесь возникает перед нами такой образец жизненного успеха, как Нортклиф. Его история блестяще показывает, как мало образование, получаемое в частной школе, значит для

социальной зрелости личности.

Он был старшим из многочисленных детей честолюбивого адвоката из Дублина, Хармсуорта, который появился в Лондоне с хорошими деньгами и энергичной женой, задумав сделать большую карьеру, что, впрочем, ему не удалось. Он занял довольно скромное положение в Совете Большой Северной железной дороги и получил еще ряд подобных должностей, однако на политическом поприще продвинулся не дальше участия в муниципальных советах Кэмден-тауна или Лендпорта, упомянутых выше липовых парламентах, никогда не занимавшихся политическими или социальными проблемами, но зато помогавших честолюбивым людям подготовиться к будущим парламентским баталиям. Там они заблаговременно упражнялись в использовании таких необходимых формул, как «мистер спикер, сэр, достопочтенный депутат от Литтл-Дитчема», «позвольте задать предварительный вопрос», и подобных условностей политической игры. Адвокат умер в 1889 году, когда его старшему сыну было двадцать четыре года, но его жена, поразительно похожая энергией и силой характера на Летицию Бонапарт{137}, прожила до 1925 года, успев за три года до кончины похоронить Нортклифа.

Алфред родился в 1865 году, годом раньше меня, и, насколько мне помнится, поступил в обучение к Милну в девяти- или десятилетнем возрасте. Он произвел на учителей очень дурное впечатление и показал себя школьником с не слишком гибким умом, но добрым нравом, одним из тех, кому неизбежно предстоит, с трудом одолев учение, занять какую-нибудь второстепенную должность. Его выручил педагогический талант Дж.-В. Примерно в двенадцатилетнем возрасте молодой Хармсуорт разжился гектографом, который давал возможность множить писанные лиловыми чернилами страницы, и принялся выпускать юмористический журнал. Руководимый здравым педагогическим инстинктом, Дж.-В. сразу обратил внимание на то, к чему тянет ученика, и стал даже во вред учению поддерживать этот его интерес, и тот, весь фиолетовый от чернил, не зная еще, хорошо ли у него получается, начал, поощряемый Милном, выпускать «Хенли-хаус мэгэзин». Первый номер появился в 1878 году, первый печатный номер, на котором было обозначено, что его редактором является Алфред Ч. Хармсуорт, — в 1881-м, и у меня хранятся все номера, вплоть до конца 1893 года, когда Милн перевел свою школу на Стрит-Корт. Пока я оставался в Хенли-хаусе, я много писал в этот журнал, а среди тех, кто принимал в нем участие, были А.-Дж. Монтефиор, который позднее стал редактором «Эдьюкейшнл

ревью», и А.-А. Милн, эссеист, романист и драматург, начавший печататься с шести лет.

В то время ни Милн, ни кто-либо из семьи Хармсуортов, которым случалось просматривать первые номера этого непритязательного издания, даже и догадаться не могли, какие возможности оно уже тогда открывало перед юным редактором. Однако в восьмидесятые годы, когда вступило в жизнь первое поколение, выпестованное законом о начальном обучении 1871 года, возникла потребность в легком дешевом чтении, немного более доступном, чем «Чемберс джорнал», и предназначенном для более широкой публики, чем чисто женский «Фэмили геральд». Хитрый аптекарь по фамилии Ньюнес{138}, задумавший сколотить небольшое состояние периодическим изданием, стал издавать «Тит Битс», первоначально являвшийся собранием рисованных заставок и отрывков из периодики, и основательно разбогател. Почти одновременно Хармсуорт, руководствуясь только инстинктом, вступил в журналистику, намереваясь заработать сотню-другую, и создал свой собственный печатный орган «Ответы корреспондентам» (1888), который, как я уже говорил, наряду с прочими сходными изданиями дал мне возможность в первый год после его появления получать так мне тогда нужные несколько шиллингов в неделю. В первый год после того, как он расстался со школой, Хармсуорт некоторое время болел (1882) и его журналистские дела шли ни шатко ни валко. Вскоре «Ответы» стали прогорать, и Хармсуорт оставил свои предыдущие планы и вступил на территорию Ньюнеса, с тем чтобы побить его, используя конкурсы с призами.

Ни Ньюнес, ни Хармсуорт, заводя свое дело, не имели ни малейшего представления о том, какие огромные силы они вызвали к жизни. Им хотелось приобрести несколько десятков тысяч читателей, а выяснилось, что они понадобились миллионам. Они не карабкались вверх по лестнице успеха, они были подхвачены ветром славы и вознеслись до небес. Не стану перечислять все головокружительные начинания Алфреда Ч. Хармсуорта и его брата Гарольда, рассказывать, как они подряд приобрели «Ивнинг ньюс» и основали «Дейли мейл» и шли от успеха к успеху, пока Алфред не воссел на высочайший трон английской журналистики, приобретя контрольный пакет акций «Таймс», а Гарольд не стал одним из богатейших людей в мире.

Говоря о том, как, подобно ракете, «взлетели» к небесам братья Хармсуорт, я остановлюсь лишь на одном эпизоде. Большим их успехом была публикация «Комических картинок». Хармсуорты занялись погоней за медяками нового читателя, поставляя все, что пользовалось спросом, без малейшей оглядки

на правила хорошего тона, качество литературной продукции и ее образовательную ценность, социальные результаты и меру политической ответственности. К этим аспектам они были слепы, как новорожденные котята. На мой взгляд, это было самой примечательной их стороной, а нашим потомкам подобные их качества станут еще более заметны. Во всех этих отношениях они сохраняли полную невинность, в них не было и намека на чувство долга, и они с невообразимой душевной энергией принялись миллионами печатных страниц вливать в неокрепший ум массового читателя всякую чепуху с единственной заботой — лишь бы она продавалась. Дж.-В. с восторгом написал в «Хенли-хаус мэгэзин» (май 1890) о «непревзойденном успехе „Комических картинок“», не позволив себе ни единого критического замечания или неодобрительного слова. Он рассказал «Краткую историю мальчиков из Хенли-хауса», упомянув вскользь, что владельцы «Ответов» получали ежегодно около десяти тысяч фунтов чистой прибыли.

> «Мистеру Алфреду Хармсуорту всего двадцать четыре года, — пишет Милн. — Он автор двух имевших успех книг: „Тысяча способов заработать себе на жизнь“, которая была продана в двадцати тысячах экземпляров, и „Все о наших железных дорогах“. Хармсуорт относит этот успех — к чему бы вы думали? — по большей части к тому, что не гнушался черной и самой кропотливой работы.
>
> „Обычно я провожу за письменным столом по двенадцать часов в сутки“, — пишет он мне. Я попросил его сообщить некоторые факты, свидетельствующие о размахе его дела, — подробности о персонале, организации производства и так далее, — добавив что-нибудь и о себе, но он ответил: „Я очень не люблю биографий. Вы вправе считать, как я и сам говорю многим, что на мою карьеру оказало огромное влияние продуманное и основательное образование, которое я получил в Хенли-хаусе. Я никогда не был особенно усердным учеником, но все же за эти три года научился мыслить и приобрел широкий круг знаний, которые и сейчас мне помогают. А впрочем, как-то даже неловко обо всем этом говорить. Вы вправе передать кому угодно мое мнение о Хенли-хаусе и не бояться преувеличений. Искренне ваш Алфред

Ч. Хармсуорт".

Теперь, когда вы прочитали слова бывшего ученика старого Хенли-хауса, позвольте и мне вставить словечко. Пусть накрепко усвоят школьные лентяи, что усердная работа — это волшебная палочка успеха. Если кто-то из вас надеется, подобно мистеру Микоберу{139}, что придет день и все само собой образуется, то хочу заметить, что „само собой" образуется обычно лишь худшее — разочарования, провалы, бедность и поздние сожаления. „Пусть минует вас чаша сия"».

Дж.-В. Милн мог сколько угодно проповедовать теории, ставившие во главу угла конкуренцию и чистейший индивидуализм. Его душа и поступки были, к счастью, лучше его теорий.

За двадцать лет эти два юных негодяя (а если речь идет о социальной ответственности, то они и были негодяями), эти два выкормыша «Комических картинок» вознеслись к небесам — контролю над акциями «Таймс» и дворянским титулам; они сделались заметным двигателем нашей неразберихи и, следуя советам своей удивительной матери и под ее бдительным контролем, подняли остальных своих братьев{140} к благосостоянию и возможности проводить в нашем хаосе свою линию. Мой друг Джеффри Хармсуорт, сын Лестера, брата Нортклифа, решил рассказать историю семейства, к которому принадлежит, озаглавив свое сочинение «Авантюра Хармсуортов». Эта авантюра до смешного напоминает наполеоновскую. Во время моего учительства в Хенли-хаусе из Хармсуортов первого разлива там оставался один Сент-Джон — малый крепкий, но уж никак не блестящий. Примерно за год до его смерти я встретил его в Каннах, сиятельного инвалида, владельца «Перье», богатого до неприличия, окруженного послушными слугами, няньками мужского пола, метрдотелями и прочее.

С Нортклифом я кое-как поддерживал дружеские отношения; в войну и некоторое время после нее я сотрудничал с ним в Кроу-хаусе, а как-то раз он приехал ко мне в Истон на ленч, чтобы поговорить со мной после моего возвращения из России в 1920 году. Но мои статьи к тому времени уже приглянулись «Дейли экспресс». Он тогда страдал непонятной болезнью, вызвавшей умственное расстройство, которое мешало ему хорошо писать и усердно работать. Врачи посоветовали ему совершать длительные пешие или автомобильные прогулки и просто смотреть по сторонам. Ему, сказали они, надо научиться бездельничать. В последний раз я встретил его одиноко бредущего по

Вестминстеру и «просто глазеющего на витрины». Это было в 1920 или 1921 году. Под конец те же врачи посоветовали ему пострансствовать по свету, и он странствовал, пока не растерял остатки здоровья. Я достаточно его знал, чтобы разглядеть огромный умственный и моральный конфликт между широтой его возможностей и задач, с одной стороны, а с другой — неполноценностью образования, полученного в Хенли-хаусе — школе, не научившей его ничему лучшему, кроме как расталкивать всех локтями и приобретать.

Поскольку я пишу автобиографию, мне позволительно сравнить его ум с моим. Мой, при всех его недостатках, сложился в процессе системного поглощения и усвоения определенных идей — это ум упорядоченный; его же голова представляла собой свалку, куда без разбору сгружалось все, что приносил ему опыт. Я продукт образования, точнее, самообразования. Он был человеком необразованным. Он так быстро вознесся к вершинам, что у него не было времени подумать о своей роли в мире. Ему никогда не случалось поразмыслить на досуге недельку, а то и месяц-другой, а у меня такая возможность была в периоды болезней и житейских неудач. Заболевая — а это случалось все чаще, — он уезжал к матери в Тоттеридж, совершенно деморализованный. К тому же он был податлив женской лести. Но при этом нередко он показывал себя человеком большого ума, далеко ушедшим вперед от той вульгарности, какая характеризовала его первые шаги к успеху. Со смешанным чувством — тут были и удивление, и восторг, и испуг — он понял, что современный газетный магнат, добился он общего признания или нет, фигура ответственная. Его живое воображение помогло ему понять, что через катастрофы и катаклизмы Запад постепенно нащупывает путь к новому социальному порядку.

Однако у него никогда не было ни времени, ни достаточной проницательности, чтобы понять это с полной отчетливостью. Впрочем, еще задолго до того как Великая война встряхнула разум Европы и заставила принять новую систему ценностей, он попытался заполнить прорехи, которые остались в его образовании после Хенли-хауса и тому подобных порождений эпохи. Он трогательно верил, что где-то, за пределами его мира, живет уйма умных людей, обладающих большими знаниями и более интересными мыслями. Он не представлял себе, как широк путь, по которому Мировое государство двигалось и движется к самореализации, и как медленно оно ступает по этому пути. Он не имел ни малейшего понятия о том, как запутаны при всей их показной упорядоченности наши экономические, социальные и образовательные построения, поскольку, в отличие от меня,

никогда не занимался этими предметами. Но он ощущал зыбкость мира, его окружающего, и, как мог, делал неуверенные шаги для того, чтобы внести в него элемент устойчивости и конструктивности. Некоторое время он отдавал полосы Норману Энджелу{141} и другим авторам, обсуждавшим проблемы борьбы за мир, а после моих «Предвидений» и «Современной Утопии» очень хотел собрать моих последователей. Я его в чем-то подтолкнул, но в чем-то и разочаровал. Я не желал, чтоб меня «организовывали», и не нуждался в том, чтоб меня торопили. Его же опыт подсказывал, что надо каждую вещь хорошенько разрекламировать и предложить премию — и тогда получишь желаемое. А потом надо кидаться в погоню за чем-то новым. Если вы желаете достичь всеобщего мира, найти средство для излечения раковых опухолей или туберкулеза, создать самолет, который мог бы облететь весь шар земной, надо только поднять вокруг всего этого шум, предложить премию, и тогда умные люди, которые всем этим занимаются, примутся за дело и, совсем как он некогда поднял «Дейли миррор», добьются должного результата. Он хотел разрешить экономические загадки задолго до того, как был поставлен диагноз, и проделать это с присущей ему энергией. Я потом еще упомяну свои статьи о «рабочих волнениях», написанные для него в этот период.

Мировая война и последовавший за ней мир явились для него колоссальным испытанием. Нам всем это тоже был урок, но что касается его, то он благодаря им поднялся на новую ступень, потеряв при этом ориентиры. По-настоящему глубокий анализ процессов, происходивших в уме Нортклифа, его честолюбия, его привязанностей и предметов нелюбви, его главных мотиваций невозможен, но если говорить о конкретном времени, то его личность — это яркий исторический пример, освещающий нашу действительность. Его можно обрисовать как типичный случай мучительных переходов от слепой веры в Провидение, подразумевавшей характерную для человеческого мышления XIX века веру в благую, при всех наших ошибках и дурных деяниях, направленность общего хода жизни, к неожиданному для нас открытию, что людям надо объединиться и восстать против холодного безразличия, безжалостного правосудия, против, если угодно, самой природы, которая определяет наше сегодняшнее отношение к миру. Попытка в результате перенесенного язвенного эндокардита начать вести себя по-взрослому после сорока лет принесшего такой успех ребячества и подкосила здоровье Нортклифа, и убила его. Повергнутый в панику катастрофой Великой войны и ее ощущаемыми доныне ужасными последствиями, закрутившийся до головокружения в вихре

руководящих постов и связанной с ними ответственности, не имеющий за собой поддержки традиции и никак не подготовленный философией, разгромленный в неловких стычках с Ллойдом Джорджем, лишенный возможности достойно участвовать в мирном урегулировании и так неожиданно выбитый из седла, Нортклиф повредился в рассудке, почти как Вудро Вильсон{142}. Он не выдержал напряжения, возраставшего с ростом его возможностей.

Я собираюсь еще поговорить о нем, когда поведу речь о том, как мой ум, образчик английского ума в целом, и английское сознание, частью которого он является, прошли через мельницу Великой войны, но после этого короткого экскурса в будущее позвольте мне вернуться в настоящее, в плохо оборудованную частную школу в Килберне, где все началось, — в маленькую школу, где Милн и его учителя, полные самых лучших намерений, не учили ни истории, ни экономике, не говорили ни слова о долге человека перед обществом и откуда они выпускали детей в сгущавшийся мрак современной цивилизации, словно то было соревнование за приз, в котором «черная и самая кропотливая работа» была «волшебной палочкой», открывавшей все двери.

Мы только сейчас начинаем подозревать, что образование должно включать в себя намного больше.

5. Университетский заочный колледж (1890–1893 гг.)

Насколько удается припомнить, в 1889 году мои попытки «писать» практически выдохлись. Надежда заработать на жизнь литературным трудом испарилась, и мне начало казаться, что единственная дорога, открытая для меня, — в учительство. В этом деле перспективы мои тоже не были блестящими, поскольку я упорно не желал исповедовать христианство, но самоуверенности во мне тоже поубавилось, и я согласен был и на самую скромную роль вопреки своим способностям. Милн породил у меня интерес к педагогике, и я решил, что, обзаведясь учительским дипломом и получив степень в Лондонском университете, я смогу, несмотря на свои атеистические убеждения, найти работу, которая позволила бы мне жениться. А я хотел жениться, я жаждал этого, и моя жизнь в близости к кузине мучила и унижала меня в степени, ей совершенно непонятной. Я сгорал от желания, она же была существом холодным и рациональным. Любой риск пугал ее. Ей казалось абсолютно очевидным, что я сперва должен устроиться на хорошее постоянное место, приобрести возможность содержать семью, а потом уже ждать

вознаграждения своим чувствам. Это и были личные причины, заставившие меня сдать в июле 1889 года экзамены, которые принесли мне всего лишь второе место по зоологии; в конце года я получил степень лиценциата Колледжа наставников.

Когда речь шла об Академии Морли, я уже сказал слово-другое о Колледже наставников. Требования там были не слишком определенными, и его дипломы старались получить главным образом учителя, не имевшие университетских дипломов. Колледж наставников выдавал темы работ по целому ряду предметов, но позволял соискателям сдавать экзамены не один за другим, а в любое время и в любой очередности, и балл обычно был невысок. Я сдал все положенные предметы в один заход и, поскольку по большинству дисциплин мне выставили восемьдесят процентов возможных оценок, получил награды по теории и практике педагогики (десять фунтов), математике (пять фунтов) и естествознанию (пять фунтов). Это было полезной добавкой к бюджету, но главная польза от моего налета на этот колледж оказалась в том, что я набрался сведений по истории и практике педагогики, начаткам психологии (находившейся тогда в зачаточном состоянии) и логике. Все эти предметы меня очень интересовали, и, даже при том, что я занимался ими поверхностно, хотя и на положенном уровне, они меня просветили и подтолкнули мою мысль еще в нескольких направлениях. Я собирался в дальнейшем заняться психологией и вопросами морали и вместе с зоологией и геологией сдавать по ним экзамены на степень в Лондонском университете, но обнаружил, что ботаника на тот период была более выгодна, и от первоначальной мысли отказался.

Вооруженный дипломом Колледжа наставников, званием лиценциата и имея за спиной награды, завоеванные на экзаменах, я стал требовать большего у Милна. Он поднял мое жалованье на десять фунтов в год и согласился сократить мою нагрузку в Хенли-хаусе. Я стал искать дополнительные заработки и очень скоро начал переписываться с неким Уильямом Бриггсом, магистром искусств, организовавшим в Кембридже университетский заочный колледж, который представляется мне сейчас самым занятным ответвлением тогдашней неупорядоченной образовательной системы. Он и теперь процветает. Бриггс не только мог предложить мне дополнительную работу, в которой я нуждался на время подготовки к экзаменам на звание бакалавра наук, но и назначил от себя вознаграждение за отличную сдачу экзаменов. Я поехал в Кембридж, чтобы с ним повидаться; он сразу же предложил мне по меньшей мере два фунта в неделю за должность заочного

репетитора по биологии, в котором он остро нуждался; на будущее же мы договорились, что в октябре, когда я получу степень, уйду из Хенли-хауса и займу постоянное место в Лондонском репетиторском колледже, который он собирался открыть, и буду получать жалованье согласно уровню экзаменационных наград. Он собирался дать мне по меньшей мере тридцать часов в неделю на весь год и платить по два шиллинга два пенса за час в зависимости от того, получу ли я третью, вторую или первую награду. Уровень наград был очень важен для него из престижных соображений. Его список репетиторов почти без исключения состоял из первых величин в Кембридже, Оксфорде и Лондоне. Люди, получившие высшие награды по биологии, редко встречались в те дни, и, что характерно для Бриггса, он вознамерился превратить в одного из них и меня — для собственной выгоды.

Я оставил Хенли-хаус в конце летнего семестра, получив первую награду по зоологии и вторую по геологии и, разумеется, искомую степень. Я уже работал в свободное время на Бриггса и занимался с учащимися сначала в комнатушке над книжным магазином на некогда оживленной, а теперь исчезнувшей Букселлерс-роу, а потом в просторном, хорошо освещенном помещении на Ред-Лайон-сквер. Там у меня была неплохо оборудованная учебная лаборатория, где на стене висели черные доски, а на потолке были укреплены большие лампы, предназначенные для вечерних занятий; такими лампами обычно освещают бильярдные. Бриггс предоставил мне достаточно часов, в среднем пятьдесят в неделю, на условиях почасовой оплаты, причем у меня была возможность объединять занятия, так что к середине 1891 года я отвечал уже требованиям своей кузины, и, сняв маленький дом в Восточном Патни, 28, по Холден-роуд, я избавил ее от ежедневного хождения в ателье на Риджент-стрит. Она, впрочем, собиралась ретушировать д*о*ма и брать учеников.

Современному читателю будет интересно узнать, как складывался наш бюджет в ту пору. Мы платили тридцать фунтов в год за восьмикомнатный дом, считая вместе с кухней, ванной и кладовой, тратили по десять фунтов с человека на питание, а в январе 1893 года я открыл в Уондсуорте банковский счет, который сохранился до сегодняшнего дня; у Бриггса я в тот момент получил 52 фунта 10 шиллингов 5 пенсов. До этого у нас было про черный день только двадцать фунтов или того меньше; мы их держали в сберегательной кассе на Фицрой-роуд; они были положены в день, когда я получил первое жалованье у Милна. До этого все наши сбережения на экстренный случай составляли несколько серебряных вещиц и старые часы тети Мэри.

Мы обвенчались без всякой помпы в уондсуортской приходской церкви 31 октября 1891 года. Моя кузина была серьезна, довольна, но обеспокоена возможным появлением детей. Тетя была по-настоящему счастлива, а мой старший брат Фрэнк, явившийся в церковь, был переполнен чувствами и даже всплакнул в ризнице.

Но о своих домашних делах я расскажу позже. Куда больший интерес представляет особая организация Университетского заочного колледжа, в котором я стал репетитором. Бриггс был человек, полный неожиданностей и не менее достойный восхищения, чем Нортклиф; он тоже являл собой пример непредсказуемости нашего мира.

Писать автобиографию как историю и приключения человеческого сознания — значит заодно рисовать на заднем плане панораму образовательного процесса. Ранее я пытался показать кризис старой, идущей от XVII и XVIII веков системы с ее мелкими и плохо организованными школами, кризис, вызванный вторжением машинной цивилизации в цивилизацию конной тяги и ремесленного производства. За какие-то быстро пролетевшие два столетия утвердились материальные основы Мирового государства. Но при этом умственные структуры не пришли с ними в соответствие. Как ни поражал воображение быстрый материальный прогресс, социальные и политические взгляды от него отставали. Это несоответствие находится сегодня в своей высшей точке. Безграмотный консерватизм общества, сказывающийся на качестве образования в частных школах, даже самых хороших, и является главным показателем отставания; впрочем, профессиональная подготовка тоже отстает, и колледжи, университеты, академии и тому подобное не находятся на должном уровне, следуют старой методике, не отвечают требованиям, которые предъявляют к ним перемены, идущие в мире.

Нет места, где бы как следует понимали, что сейчас происходит. По сути дела, я и хочу рассказать о том, что, пусть я вступил на этот путь с большим опозданием, так как голова у меня при всей моей сообразительности не очень светлая, я все же постепенно начал приходить к такому пониманию. XIX век начал мало-помалу, хоть и с неохотой, приспосабливаться к требованиям времени, в результате чего по всей Европе возникла сеть технических училищ и общеобразовательных школ второй ступени, расширилось количество предметов, преподаваемых в старых университетах, и появилось множество новых. Правда, брали они скорее количеством, чем качеством. Потребность в расширении образования была осознана значительно раньше, чем

необходимость обновления. Школы и университеты умножились в числе, но при этом не модернизировались. Они были изначально предназначены к тому, чтобы вдалбливать знания, а не развивать умственные способности. Эта консервативная система и по сей день скорее препятствует растущей творческой активности человека, чем отвечает ей.

Стремлению новых поколений понять, что с ними происходит и куда они идут, педагоги и профессора старой формации противопоставили устаревшие и бесполезные штампы, преграждавшие путь к новым знаниям и новым идеям; алчущим свежей умственной пищи предлагались лишь затхлые истины. Глубоко символично, что новоиспеченные университетские профессора напялили на себя мантии и квадратные шапочки, водворились в средневековые здания, приняли традиционные степени бакалавра, магистра, доктора. Поскольку я немного знал латынь, хотя и не учил греческий, я также отдал дань этой традиции, назвав план своих занятий в Мидхерсте «Схемой» и озаглавив мой первый набросок «Машины времени» — «Аргонавты Хроноса». Снобистское преклонение перед пышностью, великолепием и формами выражения уходящего века пронизывает весь педагогический мир. По сути дела, не было никакой возможности успешно (и получая вознаграждения) преподавать или заниматься профессиональной деятельностью, не получив университетской степени, требующей овладения множеством мертвых наук. А когда под внешним давлением были введены в программу обучения физика и биология, они тоже подверглись стандартизации и выхолащиванию.

Потребность распространять новое знание настолько укоренилась в обществе и овладела столькими умами, а сопротивление старых школ и университетов, престижных и влиятельных, но не способных к каким-либо переменам и дальнейшему развитию, было столь велико, что возникло несчетное количество скороспелых образовательных учреждений, подобных тем строительным организациям, которые, как я уже имел случай объяснить, заполонили Лондон в XIX веке и застроили его не пригодными для жилья домами. Лондонские дома были непрочны, потому что землей владела аристократия, которая и правила бал. Английское образование стало непрочно, потому что бал здесь по-прежнему правили Кембридж и Оксфорд. Британский учитель начальной школы был человеком, подготовленным очень поспешно, что я уже дал понять, рассказав о Хоресе Байете, эсквайре, магистре искусств, который с моей помощью зарабатывал на обучении предметам, ему неизвестным. Попытки готовить столь остро необходимых учителей и

университетских специалистов вне стен дорогих и престижных Оксфорда и Кембриджа были также доморощенны и неосновательны. Новые, имевшие право присваивать степень университеты возникли на основе непрочно связанных между собой разноотраслевых лабораторий и колледжей или даже вечерних классов, а то и вовсе непонятно каких учебных заведений. Наиболее типичным примером был Лондонский университет. Поначалу там просто принимали экзамены. Целью Лондонского университета было только аттестовать студентов школ и классов, разраставшихся по Большому Лондону, хотя пройти там экзамены и получить степень мог человек, явившийся с края света. Меня, например, экзаменовали профессора из научных школ Южного Кенсингтона, но ученую степень я все равно получил в Лондонском университете.

И здесь-то и возникает несравненный мистер (впоследствии доктор) Уильям Бриггс. Его вмешательство было одновременно нелепым и своевременным. Экзаменационные комиссии обычно предлагают стереотипные вопросы. От них не приходится ждать неожиданностей, поскольку это было бы даже несправедливо; студент со стороны, работающий без специальной подготовки или под руководством преподавателя, который не знает требований, предъявляемых экзаменационной комиссией, вынужден блуждать окольными тропами, не представляя себе в точности, что от него требуется для прохождения экзамена. Он не найдет общего языка с комиссией. Вы можете сказать, что это послужит только к чести студента, но подобное к делу уже не относится. Честолюбивый аутсайдер должен держаться в положенных рамках — иначе ему с комиссией не поладить. На ранней стадии расширения образования трудно было даже представить, как можно обойтись без экзаменов, предложенных Министерством образования и Лондонским университетом. Другим путем было не добиться быстрого распространения знаний. О качестве образования вспоминали в последнюю очередь. Мы импровизировали, преодолевая сопротивление и предрассудки.

Человечество неверными шагами, с большими потерями и неурядицами прокладывает путь к знанию, и, когда речь идет о ранних попытках создать общество образованных людей, не стоит недооценивать неизбежность этих потерь и неурядиц. Совершенно естественно, что людям начинает казаться, будто обладание дипломом — то же самое, что обладание знанием, которое на самом деле приобретается в ходе потаенного, сложного, глубинного процесса, а диплом в кармане — это не то же самое, что знания в голове, даже если человек и сдал все положенные экзамены. На сотни тысяч лиц с дипломами химиков приходится

в лучшем случае несколько тысяч, освоивших химию и умеющих передавать свои знания слушателям. Я сдавал в Лондонском университете экзамены по латыни, немецкому и французскому языкам, но отсюда отнюдь не следует, что я умею читать, писать или говорить на каком-либо из этих языков. На небольшое, никак не отвечающее спросу число настоящих, увлеченных своим делом педагогов приходится множество множеств тех, кто прошел соответствующие экзамены и искренне уверовал в свою пригодность к этой профессии. Бриггс вступил в жизнь как экзаменатор. Он был человеком простым и честным. До конца своих дней он, думаю, даже не заподозрил, что существуют какие-либо знания, выходящие за пределы экзаменационных вопросов. Он, если можно так выразиться, стал почти что королем для экзаменуемых. Всю свою жизнь он добавлял что-то к перечню ученых званий, стоявших после его имени: Л. Л. Д., Д. С. Л., М. А., Б. Х.{143} и так далее, и тому подобное. Это был крепко сбитый, низкорослый человек, темноволосый и круглолицый, с простыми манерами и склонностью к полноте. Я никогда не слышал, чтоб он смеялся. Он был ровно на пять лет, день в день, старше меня. Пройдя учительские экзамены где-то, как мне кажется в Йоркшире, он подготовил нескольких классных учителей, но, в отличие от большинства репетиторов, Бриггс не слишком высоко себя ставил и работал не за страх, а за совесть, по некоторым предметам просил чужой помощи и нанимал репетиторов-ассистентов. У него были организаторские способности. Мало-помалу он перешел от натаскивания на первичные учительские экзамены ко всему спектру предметов, знание которых требовалось для прохождения экзаменов в Лондонском университете. Учеников у него все прибавлялось, и он нанимал все новых репетиторов. Конечно, подобно Нортклифу, он поначалу гордился уже тем, что зарабатывал несколько сот фунтов в год, но потом он поднялся к настоящему богатству и влиянию. Когда я приехал в Кембридж, чтобы взять у него интервью как у специалиста-биолога, у него уже был штат в сорок с лишним человек, имевших награды по первому классу, он работал с сотнями студентов и зарабатывал тысячи фунтов.

Репетиторский метод Бриггса был проще простого. Он опирался на отсутствие в тогдашней педагогике и намека на интерес к каким-либо философским или психологическим основам исследуемых процессов. Профессор понимал в педагогике вряд ли больше того, на что его наталкивал элементарный опыт, и не учитывал человеческого коварства, так что, когда этот простофиля оказывался в роли университетского экзаменатора, чуть ли не первой его потребностью было

просмотреть список вопросов, опробованных в предыдущие годы. Эти вопросы он и повторял или, если они совсем уж устаревали, немного обновлял. Он редко заглядывал в программу обучения и еще реже корректировал соответствие предложенных тем этой программе. В результате почти всякий вопрос в экзаменационном списке подразумевал определенный набор ответов и разные их сочетания. Размышляя об этом, Бриггс пришел к выводу, что, если его ученики напишут сотню или около того образцовых ответов и просмотрят их перед тем, как идти на экзамены, они наверняка будут подготовлены к шести или семи вопросам, им заданным.

Поэтому он и собрал вокруг себя людей, успевших уже получить награды на экзаменах и хорошо знакомых с системой, с которой предстояло совладать, затем он велел им разделить текст на тридцать уроков, привязав каждый вопрос из списка к соответствующей части учебника, и изобрел должную форму контроля за ответами. Ученик, прочитав свои тридцать уроков, садился за стол и отвечал в письменном виде на подготовленные вопросы в специальной тетради, которую отсылал репетитору; тот ее прочитывал, исправлял, делал замечания и красными чернилами давал советы. Он, например, писал: «Вам следует еще раз прочитать параграф тридцать пятый» или «Вы упустили из виду очень важное примечание на странице одиннадцатой». Или: «То, о чем вы здесь говорите, у вас не потребуют на экзамене». Тем самым осуществлялся метод обучения через письменные работы, о котором я уже упомянул, рассказывая о своих успехах в мидхерстской грамматической школе, и который в другом случае, когда им пользовался на занятиях по геологии профессор Джад, привел меня чуть ли не на грань помешательства. Думаю, некоторые слушатели Университетского заочного колледжа тоже могли тронуться умом, но те, кто выдержал эти тридцать уроков, все, как один, сдали соответствующие экзамены. Это был, по сути дела, их тридцать первый урок, и он отличался от предшествующих только тем, что не содержал чего-либо нового.

«Основы биологии» долго рассматривались как трудный предмет. Он требовался на промежуточном экзамене для всех, кто претендовал на звание бакалавра, и на предварительном экзамене для готовившихся на медицинский факультет, так что этот предмет был камнем преткновения для всех учащихся Лондонского университета, нацелившихся на звания бакалавра, магистра и доктора наук. Не существовало учебников, которые отвечали бы специфическим требованиям университетских преподавателей и привычному способу мышления, так что рассеянный студент рисковал выучить много лишнего, не входившего в жестко очерченный круг требуемых знаний, и тем

самым прослыть неким интеллектуальным перекати-полем. Кроме того, была еще практическая часть экзамена, которая оказывалась серьезной препоной на пути тех, кто лишь зубрил учебники. Мне и предстояло выступить у Бриггса в роли изобретателя способа с легкостью сдать экзамен по биологии, как в теоретической, так и в практической его части.

Это было совершенно непохоже на обыкновенное преподавание биологии. Я проработал и пересмотрел тридцать уроков, затем превратил их в небольшой «Учебник биологии» (мою первую опубликованную книгу, за которую Бриггс по моему настоянию записал мне, не помню точно, четыреста или пятьсот часов) и еще организовал интенсивные лабораторные занятия, длившиеся часов сорок. Эти сорок дополнительных часов должны были быть спрессованы на протяжении сессии в удобное для студентов время, когда они приезжали на каникулы в Лондон или проходили там последние испытания, так что получалось по пять или шесть часов напряженнейшей работы в день в течение двух недель, по два часа каждое занятие, в двадцати или даже больше вечерних классах. Биология, которой мы обучали, была довольно странной, но не по нашей вине: всё упиралось в систему организации университетских экзаменов.

Группы у меня были самые разные — от шести до тридцати двух человек, что было уже на пределе наших возможностей. Для больших групп у меня был помощник, который «принимал эстафету», если я совсем уж выдыхался. Студенты сидели передо мной со своими кроликами, лягушками, налимами, речными раками и другим лабораторным материалом, а я стоял у доски, быстро и четко объяснял, что делать, а затем обходил их, чтобы увидеть результаты работы. Я должен был позаботиться о своевременном получении препаратов, их подготовке и, разумеется, сталкивался при этом с неизбежными трудностями. В те дни, например, невозможно было купить в Лондоне учебный микроскоп меньше чем за пять фунтов. Для многих наших студентов цена эта была недоступная, но мы узнали, что можно купить неплохой немецкий микроскоп за половину этих денег, а потом еще нашли на распродажах подержанные микроскопы. Когда я ехал на автобусе или на поезде из дома в свою лабораторию на Ред-Лайон-сквер, у меня всегда под рукой была какая-нибудь студенческая тетрадка с записями, которую я правил вечной ручкой с красными чернилами. Тетрадь отнимала у меня двадцать минут, не больше, я стал необыкновенным специалистом в этом деле и проверял тетради как орехи щелкал. Правда, мои заметки и исправления были заляпаны чернилами, что порою придавало им ценность скорее живописную, чем

образовательную, но в целом толк от них был.

Должен признаться, что некоторое время я рассматривал навыки, которые, что ни день, приобретал в качестве экзаменатора, как своего рода забаву и только потом оценил их с более широкой точки зрения. Бриггс держал книжную лавку на Букселлерс-роу, где также продавались микроскопы, о которых шла речь, у него были репетиторский колледж на Ред-Лайон-сквер и небольшое общежитие в нескольких флигельках для репетиторов и студентов, а также почтовая контора в Кембридже. Потом как-то само собой получилось, что к этому прибавились типография в Фокстоне и коттеджи с садиками для рабочих. Мне нравилось, с каким неослабным жаром он расширял свое дело. Мой успех с приобретением диплома Колледжа наставников и получение наград за сдачу экзаменов на степень бакалавра сделали меня заметной фигурой среди репетиторов и пробудили у него ко мне симпатию и уважение. В конце 1891 года я совершил новый налет на Колледж наставников, получил высшую степень действительного члена и стипендию Дорека в двадцать фунтов.

Бриггс очень тепло отнесся к вести о моей женитьбе. Ему нравились ранние браки его репетиторов — они помогали им потом лучше сосредоточиться на работе. Не берусь поручиться, что именно благодаря ранним бракам вокруг него собиралось целое созвездие людей, получивших первые награды по разным специальностям, но, думаю, это тоже играло роль. Эти отличники и соискатели наград, взбиравшиеся по лестнице науки, добропорядочные и привыкшие соблюдать приличия мальчики оказались, подобно мне, жертвами тайной неконтролируемой страсти, толкнувшей их к раннему браку. Надеясь выбиться в результате засвидетельствованных на бумаге университетских успехов, хотя и не устроившиеся тотчас же на университетские должности и не видящие в перспективе другой работы, кроме как в школе, что было затруднено из-за их неспособности к борьбе, они решили, что Бриггс распахнул перед ними врата рая, где им будут платить верных триста-четыреста фунтов в год и где по ту сторону от входа их будет ждать Ева. Быстренько выбрав жену и обставив дом, они так и застревали в Университетском заочном колледже, и им уже было трудно сделать обычную университетскую карьеру. При этом не приходится отрицать, что Университетский заочный колледж и Колледж наставников имели репутацию чего-то пиратского, подозрительного и возбуждали немалую враждебность со стороны более почтенных учебных заведений. У меня же никогда не было ложного представления, будто мои занятия в заочных группах явятся для

меня полноценной заменой дороги к настоящей науке, и я остро ощущал, что занимаюсь пиратством.

Многочисленные успехи наших выпускников на экзаменах в Лондонском университете, требованиям которого они вполне отвечали, притом что настоящего знания биологии они не обнаруживали, следовали один за другим. К нам набежала толпа студентов-медиков, которых плохо обучали биологии, к нам потянулись желавшие повысить свою квалификацию учителя, ведшие начальные научные курсы и стремившиеся добавить звание бакалавра наук к своему званию бакалавра искусств и подготовиться к тому, чтобы возглавить школу, инженеры и техники, желавшие получить степень бакалавра наук, и во время каникул наша длинная комната с черными досками заполнялась до отказа всем самым лучшим, что могла дать провинция. Мы готовили их хорошо и надежно. В один учебный год весь список практикантов первого класса составился целиком из моих учеников, мы так высоко подняли уровень подготовки к экзаменам, что все рефераты, полученные от конкурирующих организаций, прошли только по второй категории. Харли-стрит{144} до сих пор пестрит именами тех, кому мы помогли преодолеть неразумные препятствия, стоявшие у них на пути, и я раз от разу получаю все новые доказательства исключительной полезности моих замаранных кляксами исправлений и нелицеприятных замечаний, а также моего мастерства демонстратора лабораторных опытов. Одним из писавших мне был лорд Хордер, другим — покойный преподобный Э.-С. Монтегю{145}, государственный секретарь по делам Индии (1917–1922 гг.). Мы вытеснили все остальные организации репетиторов. Среди тех, кому мы затруднили жизнь, был доктор Эвелинг{146}, живший в Хайгете, зять старины Карла Маркса, и я подозреваю, что, ведать о том не ведая, я немало добавил к трудностям, которые встретил мой давнишний друг А.-В. Дженнингс, когда попытался основать собственную частную лабораторию.

Несколько раз у меня появлялась мысль написать большой, не выстроенный по строгому плану роман об Уильяме Бриггсе и его учениках; у меня было даже заготовлено название: «Мистер Миггс и Мировой разум» или что-то в подобном роде. При этом возникли многие технические трудности, но самая серьезная из них заключалась в том, что писать предстояло о чем-то от начала до конца нетипичном. Бриггсу и заодно его персоналу следовало обрести совершенную узнаваемость, поскольку на всем белом свете не сыскать было ни малейшего их подобия. Но при этом меня могли обвинить в клевете; и к тому же очень непросто было

придать отдельным лицам и ситуациям такое многообразное несходство с прототипами, которое напрочь бы разрушало впечатление жестоких личных нападок. Но при всех моих стараниях все равно нашлись бы определенного сорта читатели, которые принялись бы читать между строк, заявляя: «А, это старина Икс» или «Миссис Игрек. Теперь уж мы все про нее узнаем». А жаль, поскольку смелое и авантюрное от начала и до конца предприятие Бриггса, описанное на широком фоне представителей образовательных ведомств и невероятно самоуверенных университетских авторитетов, могло бы стать великолепной комедией. Помимо бесчисленных нелепых деталей, вся эта затея есть воплощение абсурда. Эту абсурдность я и попытался отобразить на предлагаемых страницах.

Вы обнаружите там остающиеся в тени лица, тенденции и скрытые силы, ищущие пути к разумно организованному и хорошо образованному обществу, то есть, если хотите, закладывающие основы Мирового государства, заключающиеся не столько в нас самих с нашим представлением о справедливости, сколько в просыпающемся ощущении человеческой общности. На этом полюсе реализуется потребность в накоплении биологических знаний и понимании их большого значения. Отсюда потребность привести эту новую влиятельную науку в эффективное соотношение с общим состоянием человеческого разума; добиться этого следует, насколько это возможно, в пределах формального обучения.

Однако желание внедрить в образовательную систему биологические знания сталкивается не только с пассивным сопротивлением, но и с поступками, продиктованными личными интересами и если не прямой враждебностью, то простой косностью и предубеждением ко всему творческому. Новый предмет должен преобладать в учебной программе. А значит, он грозит вытеснить из расписания дисциплины, уже занявшие там свое место. Всякий влиятельный человек, не имеющий о биологии ни малейшего представления, и всякий, кто преподает предмет, успевший уже утвердиться в программе и теснимый прогрессивными в ней переменами, будет сопротивляться этому требованию. Если они и не сумеют перечеркнуть подобные новшества, они будут искать компромиссы, для чего постараются сократить до минимума количество часов, отводимых биологии, и предоставить ее преподавателям как можно меньше оборудования.

Они обвинят биологию в «революционности» — и будут совершенно правы. Биология была и остается наукой революционной, подрывающей основы, и по этой именно причине

столь многие из нас спешат сделать ее базой новой образовательной системы. Но для того, чтобы достичь своих целей, адепты биологии преуменьшают революционность этой науки. И тем самым преуменьшают ее значение. Таким путем можно по общей договоренности выхолостить из этой науки все «сомнительные понятия». В биологии к ним относится представление об эволюции или обусловленном экологией взаимовлиянии видов и подвидов. Биология была включена в перечень экзаменов, сдаваемых в Лондонском университете, подобно барану, которого внедряют в стадо овец, чтобы улучшить породу, но всегда встречала протест, за ней внимательно присматривали и принимали меры, чтобы в нее не просочилось что-либо недозволенное.

Хотя биология в нашем заведении в той мере, в какой она была подчинена экзаменационным правилам, оказалась подцензурным предметом, это не помешало бы нам прививать студентам навыки научного мышления и потребность проверять результаты — будь мы в контакте с университетскими профессорами, занимавшимися и живой наукой, получай мы от них помощь и поддержку, но мы были насильственно изолированы от них и, хоть очень старались, никаких контактов с ними не имели.

Отличные профессора, ученые и исследователи отнюдь не всегда бывают и отличными, заслуживающими доверия педагогами, способными передать свои знания другим, но они этого не осознают, не понимают, что замкнуты в пределах своей профессии. Им представляется, что исследовательская работа и преподавание — это одно и то же. Они не понимают, что наука шире духа узкой корпоративности. Это вид культуры, а не закрытого клуба. Королевское общество отвергает саму мысль, что существуют еще и педагогика и социальная психология, а современные экономисты, объединившиеся в Британской ассоциации, не желают признать, что от них требуется планирование общественных отношений.

Об этом я еще напишу. Но и сейчас хочу отметить, что биология топчется у дверей университетов и ждет, когда эти двери широко перед ней распахнутся. Она представлена в университетских программах лишь старательно отобранными начатками элементарного курса, который читал профессор Хаксли в Кенсингтоне. Все сводится к сравнительному исследованию немногочисленных типов животного и растительного мира. Отсутствует связь с другими предметами. Связь с общими проблемами жизнедеятельности лишь подразумевается. Структурные совпадения и различия между

позвоночными, способные пояснить проблему, представляют в этом отношении наибольший интерес, давая возможность прийти к обобщениям, которые мы с моим ассистентом иной раз нащупывали в ходе лабораторных занятий в классе, обсуждая результаты препарирования. Но это удавалось лишь от случая к случаю, и бесспорно, что в результате нашей подготовки большинство студентов знали лишь, как рассечь земляного червя, выделить нервный узел двустворчатого моллюска или возвратный глотательный нерв в пищеводе кролика, умели нарисовать элементарную схему гортанного канала лягушки или костей ее тазовой лоханки, но дальше этих элементарных навыков их знания в биологии никак не шли.

Я не сразу начал понимать, что мне дали три года, проведенные у Бриггса. Требования, предъявляемые к людям, претендовавшим на дипломы лиценциата педагогики и действительного члена педагогического совета, были не очень строги, но они, во всяком случае, предполагали известную начитанность в области теории и истории педагогики; мне пришлось подготовить короткий реферат о Фребеле{147} для первого экзамена и такой же реферат о Коменском{148} — для второго. В ту пору я еще подрабатывал в соавторстве с одним из моих коллег по работе у Бриггса и моим близким другом Уолтером Лоу, до его безвременной смерти в 1895 году, во многих ежемесячных изданиях «Эдьюкейшнл таймс». В «Эдьюкейшнл таймс» я рецензировал практически каждую работу по педагогике, которая появлялась в те дни. Мне не уйти было от теории педагогики. И я от раза к разу задавался одним и тем же вопросом, который встал передо мной еще в Хенли-хаусе, и не находил на него ответа: «А чем я, собственно, здесь занимаюсь? Почему я даю уроки в подобной манере? Если человеческое общество лишь взрыв коллективного безумия в животном мире, зачем вообще учить?»

Я всю жизнь так или иначе искал ответ на этот вопрос, и поиски эти играли для меня все большую роль, о чем мне еще предстоит рассказать.

Позднее, имея за плечами уже упомянутый «Учебник биологии», легший тяжелым грузом на мою совесть, я вознамерился написать настоящую книгу по биологии для интеллигентных людей. Я привлек к работе Джулиана Хаксли и своего старшего сына Джипа, очень трезво мыслящих и напористых преподавателей биологии, и, действуя совместно, мы попытались изложить как можно проще и яснее все, что следует знать всякому образованному человеку из области биологии. Это «Наука жизни» (1931). Она преподносит основы этой науки, и мне

кажется, что, хорошо ее проработав, проверив свои знания соответствующими контрольными заданиями и системой упражнений и дополнив их работой в музеях и лабораториях, человек скорее, чем за годы обучения в университете, приблизится к пониманию общих принципов биологии, необходимых для проникновения в тайну жизненных процессов. Все прочие соображения должны быть подчинены этой первостепенной задаче.

Но я забегаю вперед. Главное, что можно извлечь из приведенного здесь короткого отчета и приобретенного в ходе моего общения с Лондонским университетом, Университетским заочным колледжем и Колледжем наставников опыта, состоит в осознании потребности не просто учиться, но еще и получать при этом знания. А оценка эффективности обучения — вещь не такая уж простая. Мы же не столько использовали Лондонский университет, сколько козыряли его вывеской. Между тем в нем самом уже гнездилась болезнь. Мы же ее выявили, доведя до абсурдности его установки.

Расширенная программа образования не давала еще реальных результатов, и широко разрекламированные Бриггсом и все более подробные вопросники лишь отражали пустоту и тщетность нашего метода.

Могла бы такая форма обучения принести реальную пользу человеческому сообществу? Я думаю, могла бы. Впоследствии Бриггс мечтал быть формально включенным в английскую университетскую систему. Полагаю, что недостатки нашей педагогики коренились и коренятся не столько в самой системе, сколько в некомпетентности и незаинтересованности университетских экзаменаторов и в недостаточной полноте и целенаправленности университетских программ. Нет ничего изначально нежелательного в заочном обучении и проверке его результатов на разумно организованных экзаменах. Но так случилось, что, с каким бы энтузиазмом и серьезностью мы ни относились к своему делу, действительных результатов все равно добиться не удалось. Мы промахнулись. Единственная цель наших усилий свелась к прохождению экзаменов, вот и все. Совершенно в духе века, сосредоточенного на индивидуализме и борьбе за место под солнцем, мы распродавали нераскрывающиеся зонтики, пустые мускатные орехи, медные соверены или патентованные продукты, которыми никогда не наешься, — список подобных товаров недобросовестных торговцев вы можете продолжить. На такого рода недобросовестность нас толкали обстоятельства. На жизнь мы могли зарабатывать лишь в качестве учителей, которые не учат, а

только помогают пройти экзамены.

6. Уход в журналистику (1893–1894 гг.)

Первой фазой моего противостояния миру было простое насмешничество. Думаю, таким способом я набирался храбрости для настоящего бунта. Я стал относиться с иронией и даже сарказмом к работе, с помощью которой зарабатывал себе на хлеб и содержал семью. Настоящее увлечение преподаванием у меня в ту пору пропало, ирония же отточила стиль моих рецензий для «Эдьюкейшнл таймс»; как раз в это время Бриггс предложил мне редактировать (за определенное число часов за каждый номер) маленькое периодическое издание «Юниверсити корреспондент», где он помещал объявления и собственные сообщения.

Мы с Уолтером Лоу были насмешниками и имели все основания для подобного расположения духа. «Эдьюкейшнл таймс» принадлежал Колледжу наставников. Эта газета платила Лоу пятьдесят фунтов в год как редактору и отпускала еще пятьдесят фунтов на гонорары. Вот мы с ним и решили, что я буду в одном лице всеми авторами. Это экономило ему массу времени, отводимого на переписку. Он был старше меня и опытнее в журналистике, так что я многому у него научился. Я начал ловчее осваивать тему, перенял у него множество навыков в подходе к рецензированию и обрел нужный словарный запас. Мы вдвоем шатались по Лондону, вполне пристойные, но отнюдь не лощеные молодые люди, оттачивая свой интеллект беседой и жадно поглядывая по сторонам, где на каждом шагу видели признаки изобилия. Я не был уже таким субтильным, как прежде. Стал более плотным и основательным. Что же касается Лоу, то он был высок, темноволос, нос у него был прямой, и он никак не походил на типичного карикатурного еврея; он был честолюбив, но не жаден, рассудителен, но склонен к мистике. Лоу говорил на многих иностранных языках и обладал обширным знанием современной литературы. Он гораздо лучше меня разбирался в политике. Мы беспрерывно спорили о еврейском вопросе, и он все хотел меня в этом отношении просветить, но я всякий раз отказывался просветиться или проникнуться сочувствием. У меня были космополитические установки, и с моей точки зрения еврейского вопроса просто не должно было существовать. И хотя мы ни в чем не могли убедить друг друга, мы никогда не ссорились, общение наше было оживленным и для обоих поучительным.

Уолтер Лоу принадлежал к многочисленной и очень любопытной семье, которая, насколько я знаю, переселилась в

Англию из Венгрии после политических беспорядков 1848 года. Его отец сперва преуспел, однако потом, видимо потеряв нюх в делах, чуть не разорился, благосостояние семьи пошло под откос. Поэтому старшие дети имели преимущество перед младшими. Сидней и Морис окончили Оксфорд, стали знаменитыми журналистами и под конец получили рыцарское звание. Одна из сестер удачно вышла замуж, а старшая, Фрэнсис, стала известной журналисткой. Она писала преимущественно в женском журнале, именуемом «Куин», и ругала там современных девушек — как всегда, безрезультатно. Младшие члены семьи пробивались к знаниям, живя на стипендию. Младшая из сестер, Барбара, — психоаналитик, написала превосходную книжечку об этом предмете. Уолтер же вошел в возраст в период, когда семью начали преследовать неудачи; он не попал в Оксфорд или Кембридж, а работал в Лондоне, где получил степень магистра искусств с отличием за знание иностранных языков. Трудности, которые ему пришлось преодолеть, он не забыл, как я свои, и он так же был недоволен жизнью. Нам было в ту пору по двадцать с небольшим, а мы все еще никак не определились. Мы не то что не сумели подняться по лестнице славы. Нам не давало покоя, что мы не поставили ногу даже на первую ее ступень. Эту лестницу от нас отодвинули.

Завоевать университетские отличия нам было непросто, но выяснилось, что это принесло нам всего лишь возможность стать репетиторами, а это нас не устраивало. Мы упорно трудились в журналистике, но обнаружили, что, чем больше научались этому ненадежному искусству, тем меньше радости получали от сделанного, потому что вынуждены были работать в спешке и пускать все на продажу. Мы оба, следуя затаенной чувственности и желанию ласки, женились и обзавелись своим домом, но ни нам самим, ни нашим женам скромная жизнь, на которую мы зарабатывали, не казалась воплощением романтической мечты, звучавшей в нас волшебной музыкой. В глубине души у обоих таилось смутное чувство, что, если бы удалось, мы начали все сначала и совершенно по-новому, но хотя это чувство окрашивало наше подсознание и конечно же отражалось на нашем поведении, оно не находило прямого выражения. Мы в нем не признавались. Только посмеивались и напускали на себя самоуверенность.

Впоследствии мне удалось начать все сначала, но Уолтеру не повезло. Он простудился, не обратил на это внимания и умер в 1895 году от воспаления легких. Он оставил вдову, которая тут же вышла замуж, и трех блистательных дочерей. Одна из них, Айви, еще в юности написала два очень неплохих коротких романа, «Все хуже и хуже» и «Вопрошающий зверь», а затем

вышла замуж за молодого русского эмигранта и подпольщика Литвинова, который сейчас очень способный министр иностранных дел в русском правительстве. Мы встречались в моем доме в Грасе, а потом в Лондоне весной 1933 года, и Айви с большой любовью и пониманием говорила о своем отце.

В период, когда я занимался с заочниками, я всеми силами старался подавить гнездившееся во мне недовольство жизнью. Рядом не было никого, кого бы я мог обвинить в собственных неудачах, и я старался не жаловаться даже самому себе. Я ни с кем не переписывался — мне хватало переписки с заочниками. Интерес к внутренней жизни во мне также угас. Я не испытывал больше острого интереса к самому себе, и у меня не сохранилось каких-либо записей о настроениях, меня в те годы обуревавших. Но мы с Лоу понимали друг друга без слов. Под его влиянием и следуя его примеру, время, которое удавалось урвать от простого зарабатывания денег, я начал использовать для серьезной работы. Я вернулся к критическому исследованию жизни. И на время я преуспел. Зимой 1890/91 года, получив степень, я заболел, у меня началось кровохарканье, и доктор Коллинс, который твердо верил в мое окончательное выздоровление, устроил мне почти месяц отдыха в Ап-парке. Там на досуге я снова захотел всерьез поразмыслить о мире и написал статью «Новое открытие единичного», которую Фрэнк Харрис напечатал в июле 1891 года в «Фортнайтли ревью». Я уже упоминал об этой статье в параграфе втором главы пятой, когда говорил о том, как складывалось мое представление о физическом мире. Этот успех окрылил меня, мне захотелось печататься, и я послал Харрису следующую статью, «Жесткая Вселенная», которую тот сразу же отдал в набор и прочитал только в гранках. Он ничего в ней не понял, так же как и его ближайшие сотрудники. В этом не было ничего удивительного, поскольку статья получилась вымученная, была плохо написана, а речь в ней шла о пространстве — времени в четырех измерениях, что выходило за круг интересов ежемесячных журналов 1891 года. «Боже мой! — вскричал Харрис. — Что этот парень имеет в виду?!» И вызвал меня в редакцию.

Это привело меня в замешательство. Мое происхождение и воспитание заставляли меня считаться с условностями, которых требовало время, так что я не мыслил себе явиться на встречу в обличии не самом официальном. Я решил надеть визитку, цилиндр и иметь при себе зонтик. Предстать перед Великим Редактором в ином одеянии было невозможно. Мы с тетей Мэри внимательно осмотрели эти жизненно необходимые принадлежности туалета. Зонтик, хорошенько скатанный и

завязанный новой тугой лентой, был не так уж плох — если его не раскрывать, но цилиндр выглядел ужасно. Он обтрепался, потерял форму и, как я впервые заметил, местами порыжел. Вызов был срочным, и нам не хватило времени поработать утюгом. Мы почистили его жесткой щеткой, а потом еще и мягкой и тщательно протерли шелковым платком. Но он по-прежнему ворсился. Затем, как моя тетя ни протестовала, я хорошенько прошелся по своему цилиндру мокрой губкой и почистил его. Это, мне показалось, принесло должные плоды. Попытка тети остановить меня оказалась тщетной, она только меня рассердила и задержала, но я поспешил и, влажно поблескивая цилиндром, кинулся вступать в литературный мир.

Харрис принял меня только примерно через полчаса, а до этого продержал внизу, в комнате, где паковали журналы. Это еще больше меня рассердило. Наконец меня пригласили в показавшуюся мне огромной комнату, посреди которой стоял большой стол, а за ним сидел Великий Редактор. Сбоку примостились молодой человек по имени, как я узнал потом, Бланчамп, и очень рафинированного вида пожилой джентльмен Силк, личный секретарь Харриса. Тот молча указал мне на стул.

Харрис был человеком с квадратной головой и очень черными волосами, разделенными пробором и решительно зачесанными назад. Он глядел на меня, жалкого и испуганного, с угрозой. Нос у него был приплюснутый и нависал над закрученными кверху пышными усами, из-под которых несся басовитый и оглушительный рык. Он показался мне человеком огромных размеров, хотя это была только иллюзия, но все равно в нем чувствовалось что-то устрашающее. — Так это вы пр-р-рислали мне эту «Жесткую Вселенную»? — прорычал он.

Я кое-как добрался до стула, уселся на него и приготовился говорить. Силы меня покинули, дышал я с трудом. Я положил перед собой зонтик и цилиндр и в первый раз понял, что тетя Мэри была права, когда советовала его не мочить. Цилиндр стал моим позором, моим бесчестьем. Глянец с него совсем сошел. Ворс где высох, где нет и торчал кустиками. Это был не просто поношенный цилиндр, это было нечто совсем неприличное. Я уставился на цилиндр. Харрис уставился на него. Бланчамп и Силк вообще в жизни, судя по всему, не видели ничего подобного. Но мы преодолели себя и перешли к делу.

— Так это вы пр-р-рислали мне «Жесткую Вселенную»? — произнес Харрис, выдержав паузу.

Он схватил лежавшие перед ним гранки, помахал ими в воздухе и бросил на стол.

— Боже мой! Да я ни слова здесь не могу понять! В чем тут

смысл? О чем это? Ради бога, объясните, о чем? Смысл тут какой? Что вы силитесь сказать?

Я не мог всего этого выдержать — а тут еще мой цилиндр. Нечего было и думать принять манеру и тон блестящего молодого ученого. Ведь передо мною находился цилиндр, молчаливо свидетельствовавший, что я собой представляю. Слова не шли на язык. Бланчамп и Силк, положив подбородок на руки и отведя взгляд от цилиндра, глядели на меня с хмурым упреком.

— Объясните наконец, о чем эта статья! — орал Харрис, становясь все безжалостнее по мере того, как я все больше смущался, и хлопая гранками по своей ручище. Он просто наслаждался.

— Видите ли… — произнес я.

— Ничего не вижу, — заявил Харрис. — Как раз это у меня не получается.

— Идея… — сказал я, — идея состоит в том…

Харрис хранил гробовое молчание, весь обратившись в слух.

— Если вы станете рассматривать время как форму пространства, то есть как четвертое измерение, тогда вы поймете…

— В хорошенькую историю я влип, — в сердцах воскликнул Харрис. — Я не могу это использовать, — сказал он в заключение. — Мы вынуждены рассыпать набор.

И виде*н*ие глубоких блестящих статей об основополагающих понятиях, которые создали бы мне имя, тут же растаяло в воздухе. К счастью, воспоминание о том, как я покинул эту комнату, стерлось у меня из памяти, но едва я очутился наедине с цилиндром в комнате на Фицрой-роуд, как тотчас расправился с ним. Чем очень огорчил тетю Мэри. А в результате этой встречи я год или больше не брался за что-либо стоящее. Решись я на это, я бы пережил еще одно унижение еще у одного редактора, а это было бы хуже, чем любое унижение моих студенческих лет. Мне понадобились поддержка и соперничество Уолтера Лоу, чтобы вернуться к писанию статей, да и тогда я ограничился статьями научно-популярными. За них платили гроши, а издатели даже не затруднялись взглянуть в лицо авторам.

Харрис рассыпал набор моей второй статьи, так что она потерялась, но кое-кто из литераторов — Оскар Уайльд был одним из них — так расхвалил ему «Новое открытие единичного», что задним числом он оценил достоинства отвергнутой статьи. Во всяком случае, когда в 1894 году Харрис стал совладельцем и редактором «Сатердей ревью» и реорганизовал редакцию, он обо мне вспомнил, и я стал одним из его постоянных авторов.

Но до этого было еще далеко, и пока что трудности

нарастали. Всегда готовая выкинуть какой-нибудь фортель насмешница-судьба, мной повелевающая, не пожелала, чтобы я так и остался женатым и высоко ценимым педагогом при Бриггсе с нечаянными вылазками в журналистку и честолюбивыми планами, и задумала сокрушить мой упрочнявшийся быт, причем самым решительным образом. Действовала она самыми разными способами и шаг за шагом доводила мое неясное беспокойство и недовольство собой до критической стадии. Я уже имел случай рассказать, как несовместимы были наши с женой взгляды на мир, и теперь хочу особо подчеркнуть несостоятельность традиционного истолкования подобных ситуаций. Оценивая разногласия между супругами, одного из них, а иногда и обоих, принято хулить или, напротив, хвалить. Утверждать, например, что виноват он — не хранил верность жене, или, наоборот, что жена оказалась недостойной мужа, или что виноваты они оба, поскольку не приложили должных усилий для сохранения брака… Но в такого рода разногласиях сторон, как правило, повинны не сами эти стороны, а отсутствие гармонии между ними — атмосфера постоянной конфронтации, все более сгущающаяся от различных запретов морального свойства, порожденных законами и обычаями, требующими невыносимо стереотипного поведения от великого множества по-своему уникальных личностей.

Встретившись с кузиной волей случая, мы в своем верном союзничестве бесконечно восхищались друг другом. Брак представлялся нам логическим завершением сложившихся отношений. В супружестве мы единодушно желали прилепиться друг к другу всецело и навсегда. И были неприятно поражены и расстроены неспособностью достичь такого единства. Мы искренне любили и простодушно желали стать друг для друга «всем на свете». Однако существовали непреодолимые различия не только в нашей умственной экипировке, но и в типах наших нервных систем. Я чувствовал и действовал порывисто, непоследовательно, бывал опрометчив и раздражителен, что явно контрастировало с ее куда более мягким, предсказуемым и спокойным характером. Сферы нашего воображения нигде не соприкасались, ее личностный мир оказался проще и благороднее моего. Если бы над нами не тяготели обязательство вступить в брак и сентиментальная убежденность, что мы во всем должны придерживаться единого мнения и действовать на основе общепринятых взглядов, все могло бы сложиться значительно удачней. Однако отсутствие общих целей и взглядов на жизнь стало той роковой преградой, которая в конце концов и развела нас.

Раздражение, которое вызывала у меня необходимость зарабатывать натаскиванием студентов к экзаменам, было ей совершенно непонятно. Она не могла взять в толк, что плохого в предприятии Бриггса, почему оно рождает во мне такую злобу и такой поток насмешек. Бесполезность усердия Бриггса до ее сознания не доходила. Экзамены были для нее чем-то вроде охоты на дичь, опасную, но зато съедобную, занятием, испокон века существующим, и мое дело как мужчины было одолеть зверя и принести домой добычу. Я же видел в них лишь издевательство над самой идеей образования, издевательство, за которое чувствовал себя в какой-то мере виноватым. Жена была лишь частью системы, тогда как я, будучи такой же ее частью, сознавал ответственность за ее несовершенство. Она заявляла вполне резонно, что Бриггс всегда относился ко мне наилучшим образом и потому не следует его высмеивать. Когда я заводил о нем речь, она мягко, но упрямо становилась на его защиту. Наши позиции были столь различны, что в суждениях о людях, о ее и моих друзьях мы редко соглашались друг с другом. И в той же мере она неспособна была понять, почему какие-то публикации в «Юниверсити корреспондент», не совпадавшие с моей точкой зрения, приводили меня в ярость. И почему я не могу оторваться от письменного стола, когда обед стынет. Ей казалось, что я слишком привязываюсь к мелочам. Она удивлялась: зачем так отдаваться работе, когда на очереди другая? И опять же ей казалось, что я переступаю границы разумного, когда начинаю возмущаться чем-то найденным в газете, дохожу до крайностей в своем озлоблении и возмущении. Я так и вижу ее прелестные карие глаза, смущенные и опечаленные моими бесконтрольными вспышками ярости. На протяжении всей нашей совместной жизни, не испытывая ко мне враждебности, вполне бессознательно она мужественно защищала все то, что меня бесило. Нейтральных тем оставалось все меньше, и разговоры наши становились все формальнее. Они сводились к случайным шуточкам и проявлениям нежности или к вещам сиюминутным — замечаниям насчет душистого горошка в саду или шалостей котенка. Моя непонятная раздражительность непрестанно угрожала миру в семье.

А вне дома мне было о чем поговорить, и я присматривался к женщинам, которые мелькали перед моими глазами и скрашивали мою беспокойную и утомительную жизнь. Так, велениями судьбы рядом со мной появилось существо, оказавшее на меня огромное влияние и ставшее мне опорой на протяжении всей моей активной деятельности. Когда однажды после полудня я вошел в лабораторию, чтобы познакомиться с новыми

студентами 1892/93 года обучения, я обратил внимание на двух очаровательных молодых женщин, дружески беседовавших за дальним столом. Одна из них была некая Аделина Робертс, такая красивая и серьезная, что не считала нужным тратить время на романы, а на мужчин обращала внимание, лишь когда они самым позорным образом начинали ползать у ее ног. Ныне эта Аделина Робертс — доктор медицины и влиятельный, умеренно консервативный член совета Лондонского графства. Другая — Эми Кэтрин Роббинс, более хрупкая, с тонкими чертами лица, очень светлыми волосами и очень карими глазами, была одета в траур. У нее недавно погиб в железнодорожной катастрофе отец, и она хотела получить в Лондонском университете степень бакалавра наук, прежде чем начать преподавать в старших классах.

Если б эти две молодые женщины попали в мою группу поодиночке, я, может быть, не сблизился ни с одной из них. Я не мог уделять кому-либо из студентов больше внимания, чем другим. Это бросалось бы в глаза. Но с двумя студентами, задающими умные вопросы, дело обстояло иначе, и было вполне естественно поставить между ними стул и пуститься в объяснения. Они обе находились в стадии формирования интеллекта, много читали, и, как следовало ожидать, сравнительная анатомия возбудила в них интерес к теории эволюции, а затем и к проблемам теологии и социологии. Мне вспомнился мой кенсингтонский период. Аделина Робертс склонялась к ортодоксальной точке зрения; ее взгляды были основаны на стойком и нерассуждающем приятии христианского вероучения; Кэтрин Роббинс оказалась начитанней, и взгляды у нее были более смелые. Она отходила от вялого, поверхностного, сентиментального, англиканского христианства, в котором была воспитана. Отрывочные четырех-пятиминутные беседы в классе скоро оказались недостаточны, и у нас троих появилась привычка встречаться после занятий или задерживаться по прошествии двух часов, отводимых на биологию. Маленькая мисс Роббинс проявляла большую любознательность и не так жалела время на них, как ее подруга, и мы вели диалог под видом дружбы втроем.

Это снова оживило мое воображение. Я мог оставить циничную позу, которую принимал, разговаривая с Уолтером Лоу, и излагать свои мысли и обрисовывать свои планы свободнее, чем когда-либо прежде. Я мог дать выход всему, что накопилось во мне со студенческих лет. Я играл с ними роль человека больших возможностей, способного эти возможности осуществить, и сам начинал в это верить. Не могу сейчас проследить путь от простого интереса к глубокому чувству. Мы

одалживали друг другу книги, обменивались впечатлениями, раз или два договорились пройтись и выпить чайку. Мы совершенно искренне верили, что это простая дружба и что мы не пойдем дальше, а на самом деле шаг за шагом двигались вперед.

Однажды ночью меня неожиданно осенило, что больше всего на свете мне хочется жить жизнью, которую символизировала для меня Эми Кэтрин Роббинс, и я сказал себе, что моя теперешняя жизнь невыносима, — открытие это долгое время подготавливалось на бессознательном уровне. Но все шло по-прежнему. Да и мои сексуальные устремления почти не сменились.

У меня возникло глубокое желание оказаться в ином окружении, но я не знал, как переменить обстановку. И не до конца понимал, в чем главная причина моих бед. Я как мог старался объяснить себе внезапное недовольство кузиной, которую все еще любил; я ею гордился, ревновал ее, чувствовал себя ее собственником, но это шло вразрез со все больше овладевавшим мною желанием быть спутником другой женщины. Я по природе расположен держаться своих обязательств, жить как живется, следовать тому, что диктует жизнь, и откликаться на ее ежедневные требования. Но так же сильна во мне не столь явно выраженная, а скорее порожденная чтением, размышлениями и спорами, противоречащая моим изначальным побуждениям потребность самому направлять мою жизнь, определять в ней верное и неверное, долг и то, что вступает порою с ним в противоречие. Оглядываясь на прожитые сорок пять лет, я достаточно хорошо это понимаю. Первоначальная тема этой автобиографии как раз и состоит в том, чтобы показать противоречие между моими намерениями и тем, как они осуществлялись, и я подошел к периоду, когда это противоречие вступило в острую фазу, но мне предстояло это еще осознать. Выяснилось, что я сам с собой не согласен и в один день изрекаю кажущееся мне абсолютной правдой, а в другой — осознаю это как совершеннейшую чепуху. Мне стало трудно объяснять и понимать себя, и чувство юмора и способность самовыражения меня покинули.

Условности требовали, чтобы я рассматривал создавшуюся ситуацию как простой выбор между двумя личностями, но в ту пору у меня не хватало проницательности, чтобы это понять. И эти же условности требовали признать, будто я просто ошибаюсь, воображая, будто люблю Изабеллу, что было совершенной неправдой, и заявить, что я нашел наконец предмет настоящей любви, но это тоже было неправдой. Мое подсознание протестовало против подобного упрощения, но все-таки к полной

ясности я не приходил.

Впрочем, представляется уместным отложить выяснение моих эмоциональных трудностей до следующей главы и продолжить разговор о той цепи обстоятельств, которые за год с лишним превратили меня из усердного преподавателя в честолюбивого и знающего себе цену писателя. Мое воспитание чувств — самостоятельная история, и этому стоит посвятить самостоятельный раздел.

В этот-то период эмоциональной неустойчивости и колебаний между противоречивыми побуждениями судьба нанесла мне несколько сокрушительных ударов, в корне изменивших мою жизнь. Материальные дела моей семьи и так шли через пень-колоду, так как отец пребывал в коттедже в Найвудсе, ничего не зарабатывая, а мой брат жил при нем и потихоньку чинил и продавал часы. А тут еще и мисс Фетерстоноу взбунтовалась против усиливавшейся глухоты моей матери и ее неспособности вести хозяйство и уволила ее, да еще почти в ту самую пору, когда мой брат Фредди, казалось хорошо устроенный в Уокинхеме, обнаружил, что вскоре его заменит сын хозяина.

Это был для него настоящий крах. Ему жилось неплохо, и на протяжении нескольких лет он был собою вполне доволен; скопив около ста фунтов, он хотел прибавить к ним сколько-нибудь еще, приобрести кредит и открыть собственное дело в том же городе. Он бросился ко мне за советом. Я вынужден был выступить в роли главы семьи. Моя мать переехала ко мне в феврале, и по забытому мною, не обозначенному определенной датой письму, сохранившемуся у моего брата Фрэнка, я вспомнил, что предпринял поездку, скорее всего в начале весны, в Уокинхем, чтобы на месте рассмотреть перспективы братьев Уэллс — часовщика и мануфактурщика. Они показались мне не блестящими.

У меня не было бонапартовско-наполеоновского стремления подчинить себе свою семью и ею распоряжаться, но мне кажется, что я вел себя опрометчиво, грубо, глупо, неосмотрительно, не считаясь с чувствами моих домашних, их достоинством, их печальным разочарованием. Я давил на них и, видимо побуждаемый матерью, их поучал. Бедняги, для них следовать моим поучениям было все равно что переводить с санскрита. Я также обнаружил в письмах, которые сохранил мой брат Фредди, что я подговаривал его расстаться с мануфактурной торговлей и попытать счастья в Южном Кенсингтоне, обучаясь изобразительному искусству. У нас были также нестойкие, таявшие, как летний снег, планы заняться совместным бизнесом.

В дополнение ко множеству мелких дел, которым я отдавал свое время, у меня тогда появилось намерение готовить студентов к сдаче экзаменов по геологии в Лондонском университете — два-три студента у меня уже намечались. Это было трудной задачей, требующей интенсивного чтения и немалого раздумья. Я так и не осуществил этот план. Фредди уволили в апреле или мае. В это время моя мать соединилась с отцом и братом Фрэнком в Найвудсе, и Фредди снял комнату на Холден-роуд, ездил каждый день в Лондон, то занимаясь безнадежными поисками работы, то вынашивая день ото дня слабевшую надежду пристроиться без заметного капитала компаньоном какой-либо фирмы. Поразмыслив, он решил, что не имеет смысла затевать общее дело с братом Фрэнком, поскольку ему, как и мне, стало ясно: с такими малыми деньгами невозможно приобрести оптом товар по сходной цене. Мы попали бы в руки перекупщиков, озабоченных желанием поглотить понадеявшихся на судьбу мелких торговцев. Мы были оба не слишком сведущи в финансовых делах, но и не совсем в этом деле невежественны.

У меня до сих пор сохранились мои чековые книжки. В начале 1893 года я открыл счет в Уондсуортском отделении теперешнего Вестминстерского банка, и счет этот, сначала совсем небольшой, все рос, так что к концу года я обнаружил на своей книжке 380 фунтов 13 шиллингов и 7 пенсов. Я получал фунтов пятьдесят в год, даже при том, что мои заработки упали к концу года до двадцати пяти фунтов пятнадцати шиллингов и одного пенса. Фунт весил тогда больше теперешнего, но все равно благосостояние семьи Уэллсов балансировало тогда на грани полного краха. Точные цифры сейчас трудно припомнить, но они составляли примерно сто девять фунтов в год. Большая часть этих денег, если даже не все они, шли на оплату счетов моих родителей в Найвудсе.

Как-то вечером я возвращался со сдвоенных занятий с моим новым студентом по геологии. Я его сейчас совершенно забыл, но, кажется, я показывал ему какие-то окаменелости. Где я их раздобыл, не помню, но, по-моему, у кого-то взял напрокат. Во всяком случае, я спешил часов в девять-десять домой по спуску от Вильерс-стрит к станции метро на Черинг-Кросс с тяжелой сумкой образчиков. И тут меня охватил приступ кашля. Я ощутил вкус крови во рту, забеспокоился и, сев в поезд и достав носовой платок, увидел, что он окровавлен. Я ехал в пустынном, плохо освещенном вагоне и старался не кашлять; сидел я тихо и уверял себя, что со мной не случилось ничего серьезного, пока не добрался до Патни-Бридж. Там я вышел. Я вернулся домой очень голодный, и, так как не хотел быть отправленным в постель,

спрятал свой красноречивый платок и даже не стал разглядывать его, уверяя себя, что мокрота была бесцветной и кровь мне померещилась, и хорошенько поужинал. Трудно было представить себе, что вернулась болезнь и мне надо будет отказаться от места. Но все равно захотелось лечь в постель. В три часа утра я изо всех сил постарался не кашлять, но на этот раз хлынула кровь и пришлось признаться, что дела мои плохи. Это была не случайность, а серьезная болезнь.

Я помню освещенную свечами комнату, пробивающийся утренний свет, жену и тетю в ночных рубашках и наброшенных халатах, срочно вызванного врача и тазик, в который все лилась и лилась кровь. Мне клали на грудь мешочки со льдом, но я скидывал их, садился и продолжал кашлять. Наверно, в эту ночь я умирал, но все продолжал думать о том, что придется наутро пропустить лекцию, и это меня злило. Все-таки кровь остановилась. Я лежал под своими мешочками со льдом, с трудом переводил дыхание, но был жив.

Сколько времени я так провел, не знаю, но, когда я пришел в себя, у меня словно прочистились мозги и все страхи были уже позади. Я был слаб, но спокоен, и все обо мне заботились. Мне пришлось с недельку поголодать и разве что принимать ложку-другую замечательного стимулятора — «валентинова экстракта». Меня охватило чувство безответственности, вроде того, которое приходило к людям, очутившимся во время Великой войны в английском госпитале. Мне нечего было больше делать, не о чем заботиться и было на все плевать. Я с честью выпутался из своего испытания, и никто не мог заставить меня чем-то заняться и ходить на уроки. Я от всего избавился. Я волен был писать или умирать. Это не имело значения. А замечательный миг моей жизни настал через неделю, когда мне дали тоненький кусок хлеба с маслом.

День-другой, пока шли все эти неприятности, я неразборчиво писал карандашом записки своим приятелям и получал немало удовольствия. Я уже собрался посылать художественные открытки, но вовремя вспомнил, что это сейчас не модно. «Преподавать я больше не буду», — писал я мисс Хили. Я получал сочувственные письма. Аделина Робертс, серьезно обеспокоенная моим положением, сочла своим долгом написать мне очень доброе и наставительное письмо, в манере религиозного поучения. Не помню, что я ответил ей, но по стилю это напоминало кокнийского Вольтера. Мне это до сих пор неприятно. Доктор Коллинс тоже услышал о моем состоянии и тоже мне написал. Я заметил, что он беспокоится о моем финансовом положении, и ответил ему, что у меня кое-что

припасено на годик-другой.

По мере того как я становился крепче, голова у меня прояснялась и я стал лучше соображать. Я выздоравливал и забавлялся игрой в шашки и шахматы с моим братом Фредом. Прежде он всегда играл лучше меня, а я вечно спешил и делал неверные ходы. Теперь же я обнаружил, что могу лучше него предвидеть ходы, и он больше у меня не выигрывал. Неожиданно я смог помочь ему и в его делах. В Южную Африку понадобился агент на заработную плату, не сравнимую с английской, и предложение это его отчасти привлекало, отчасти пугало. Вакансия очень ему подходила. Он был человек честный, трезвый, приятный и в высшей степени надежный, но в Англии ему было не продвинуться, здесь нужны были еще оборотистость и самоуверенность. В колониях условия для торговцев не так суровы, как в родных краях, у них есть надежда на успех и привлекательное чувство личной свободы; так что там их добрые качества оказываются в большей цене, а потому я и посоветовал ехать. Мне пришлось преодолеть сильное сопротивление матери, которой не хотелось расставаться с сыном, но он при моей немалой поддержке настоял на своем, и за неделю-другую наш искатель приключений снарядился в путь и отправился в Кейптаун; там он преуспел, обзавелся деньгами и под конец, когда ему шло к шестидесяти, вернулся в Англию человеком хорошо обеспеченным, женился на материной племяннице и одарил меня моей единственной племянницей. Когда Фредди устроился и от него стали поступать первые деньги — как часть расходов по содержанию Найвудса, я почувствовал некоторую свободу и занялся собственными проблемами.

Здесь тоже все постепенно налаживалось. В середине 1891 года, еще не оправившись после нового небольшого кровохарканья, я, несмотря на отсутствие денег, хотел отказаться от работы у Бриггса. Но в это время он не нашел еще мне хорошего заместителя, и едва мне стало лучше, как я опять принялся за дело. Мои классы с тех пор увеличились в числе, количество учеников тоже возросло, так что мы приняли на постоянную должность в качестве ассистента Дж. Лоусона, куда лучшего ботаника, чем я, человека очень приятного и надежного. С помощью моего друга и былого однокашника А.-М. Дэвиса, ставшего к тому времени видным геологом, я разгрузил свой день от остальных часов. Притом что мое имя по-прежнему украшало список преподавателей-биологов у Бриггса, я всего только вел заочников и приступил к работе над учебником географии, который так никогда и не вышел. Судьба вопреки моей воле толкала меня к письменному столу. Я решил, что преподавание в

Лондоне мне не по силам и следует перебраться в какое-нибудь целительное место, но еще раньше, поскольку здоровье моей тети было неважное, мы задумали втроем уехать на две недели в Истборн и там прийти в себя.

Вглядываясь в чековую книжку, я обнаруживаю 30 фунтов, снятые со счета в мае, и у меня нет сомнения, что эта грандиозная сумма связана с нашей поездкой в Истборн.

Когда я разглядываю эти пожелтевшие странички и натыкаюсь еще на одну запись: «19 мая. 10 фунтов Грегори», то вспоминаю следующий случай. Мой товарищ по колледжу Грегори не меньше моего нуждался в деньгах и в трудную минуту обратился ко мне за помощью; 19 мая я дал ему взаймы десять фунтов. (Какую смелость и доверие друг к другу мы имели в те дни!) Всего через неделю он вернул мне эти деньги. Никто за всю мою жизнь не отдавал мне долг в пять или десять фунтов — только Грегори! А после этого мы с Грегори объединили усилия и совместно накропали небольшое, но полезное пособие «Физиография на степень с отличием», которое продали издателю за двадцать фунтов, а затем разделили эти деньги по-братски.

Через два или три дня по приезде в Истборн я совершенно случайно наткнулся на книжку Дж.-М. Барри[149] «Когда человек одинок», открывшую мне путь к свободному журнализму. Позвольте мне привести несколько ценных советов, раскрепостивших мое сознание:

> «Вы, начинающие, — говорит умудренный опытом Роррисон, — не умеете излагать ничего, кроме своих политических взглядов, эстетических оценок и представлений о жизни, которые вам самим кажутся оригинальными. Но редакторы и читатели во всем этом не нуждаются… Видите курительную трубку?.. Симмс видел, как я чинил ее с помощью уплотняющего воска, и два дня спустя появилась статья об этом в „Индейском ноже“. Когда прошлым летом я отправился на каникулы, я попросил его время от времени ко мне заглядывать и переворачивать свежий сыр, который прислали мне из деревни. Конечно, он забыл мою просьбу, и я осудил его по моем возвращении за то, что он не выполнил своего торжественного обещания, а он отомстил мне, опубликовав статью „Картина Роррисона“. В ней рассказывалось о том, как Роррисон, перед самым отъездом в отпуск, получил в подарок картину, выполненную масляными красками. Поскольку картина только что была снята с мольберта и краска еще не

просохла, она осталась лежать у него на столе, и он, едва приехав в Париж, послал телеграмму писателю с просьбой убрать ее подальше, чтоб она не запылилась и ее не попортила кошка. Писатель обещал все сделать, но когда Роррисон вернулся домой, то обнаружил, что картина лежит на прежнем месте. Он кинулся к другу с упреками, столь бурными, что друг написал в своей статье: „Я никогда больше не свяжусь с Роррисоном“.

„Но почему, — задавался вопросом Роб, — он превратил сыр в написанную маслом картину?“

И здесь опять вы можете видеть, как проявляется в действии журналистский инстинкт. Кусок сыра слишком вульгарная вещь, чтобы сделаться предметом статьи в „Индейском ноже“, так что Симмс предпочел картину. Он использовал мой китайский зонтик, рассмотренный с разных сторон, еще для трех статей. Когда я играю на его пианино, я кладу на ноты бумажки, чтобы не сбиваться, а он заработал на этом три гинеи. Однажды я побудил его написать о соломинке, прилипшей к окну, и это было самым интересным из всего, что он сделал. Потом появился ящик старой одежды и старого хлама, который грозил загромоздить мою новую квартиру. Он обменял все это на пару цветочных горшков у уличного торговца и написал об этом статью. А когда я явился требовать назад свои вещи, он написал об этом еще и третью статью».

Почему я не подумал о чем-то подобном? Год от года я выискивал редкие и интересные темы. «Новое открытие единичного»! «Жесткая Вселенная»! Чем чаще меня отвергали, тем выше я заносился. И всегда промахивался. Надо было только пониже прицелиться — и выстрелить.

Я прицелился пониже и, к счастью, сразу же выиграл. Моя судьба все заранее для меня приготовила. Она устроила так, что американский миллионер, не очень сведущий в журналистских нравах Флит-стрит, переехал в Лондон и купил «Пэлл-Мэлл газетт». Едва сделка совершилась, он вызвал к себе редактора и велел сменить политику. Редактор и большая часть персонала, к величайшему его удивлению, тут же уволились, так что ему пришлось поскорей искать им преемников, и тут он встретил на званом обеде прелестного, красивого молодого человека, Гарри Каста, наследника графа Браунлоу, чье знание литературы и хорошие манеры так его поразили, что он тут же предложил ему место редактора. Каст был другом Хенли, редактора небольшого,

блестящего и задорного «Нэшнл обзервер», и он обратился к нему за помощью и советом. Сотрудники были набраны частью из опытных журналистов, частью из авторов с хорошим литературным чутьем, энтузиастов и бессребреников — не все знали, что Астор{150} мультимиллионер, — и Каст принялся делать «Пэлл-Мэлл газетт» самой лучшей и читаемой газетой. Обширное и хорошо оборудованное помещение было снято в Уэст-Энде, неподалеку от Лестер-сквер. Всякий, кто входил в литературный круг Каста и Хенли, был привлечен, чтобы сотрудничать, давать советы, критиковать. Среди необычных правил, принятых в этой газете, было и такое — ни одна рукопись не оставалась нечитанной. Гонорары были по тем временам невероятно высокие, и литературе отводилось больше места, нежели новостям и политике, чем «Пэлл-Мэлл газетт» выгодно отличалась от любой другой вечерней газеты.

Не зная еще, что в равнодушной и холодной лондонской прессе пробился этот росток, я грелся на солнце у меловых откосов Бичи-Хед и читал Барри. Читал своевременно. Как просто все у него выходило! Я предавался приятным размышлениям и думал, что, несмотря на всю серьезность жизни, она еще и очень забавна, как забавны, например, люди на пляже.

Я вернулся к себе на квартиру, приготовив очерк «На пляже», который нацарапал на обороте письма и на разорванном конверте. Моя кузина Берта Уильямс, которая жила в Виндзоре, напечатала мои каракули. Потом я отослал свой очерк в «Пэлл-Мэлл газетт» и почти сразу же получил от них гранки. Я принялся за следующую статью, и она тоже была принята. Затем я раскопал шутливую статью, которую некогда написал для «Сайенс скулз джорнал», — «Человек миллионного года» — и переписал ее под заглавием «Человек, каким он будет через миллион лет». Эта статья появилась позже в «Пэлл-Мэлл баджет». Ее там проиллюстрировали, а потом кого-то из сотрудников «Панча» эта статья позабавила и он привел выдержки из нее, снабдив их новыми иллюстрациями, и так я постепенно, год от года, учился искусству писать легко и занимательно, хотя и не понимал, что еще только учусь. «Сайенс скулз джорнал», «Юниверсити корреспондент», «Эдьюкейшнл таймс» и «Джорнал ов эдьюкейшн» были для меня, так сказать, школьными тетрадями, а письма чутким друзьям, таким как Элизабет Хили, и даже разговоры с охотно общавшимся со мной человеком острого ума Уолтером Лоу, пополняли мой словарный запас, развивали чувство стиля и способность выражать свои мысли. Под конец я обрел немалую сноровку.

Я не помню сейчас всех диалогов, очерков и эссе, которые

написал в первые годы моих занятий журналистикой. Они прямо лились из меня. Лучшие из них собраны в двух книгах, которые до сих пор лежат на прилавках, — «Кое-какие личные делишки» и «Избранные разговоры с дядей». Многие были хороши для газеты, но не достойны переиздания в книге. Одна из этих работ понравилась Барри, и он спросил: «Кстати, кто это написал?» Когда Каст передал мне его доброе мнение и попросил новых материалов, я выразил желание получать книги для рецензирования и подобной рутинной работы, чтобы мог сводить концы с концами, когда ничто другое не шло на ум; он согласился. Книги для рецензирования появлялись у меня на столе одна за другой.

За два месяца я заработал больше, чем за все годы своего преподавания. Я глазам не верил. Болезни словно и не было. Мы с женой воспряли духом, и в августе сняли на четверых новый дом в Камнор-Плейс, Саттон. Найвудс прочел мои статьи, узнал о моих ежемесячных гонорарах, порадовался за меня и выразил свое удовольствие. Редакторы газет стали мне писать. При этом я продолжал работать заочным преподавателем, писал учебник по географии и сотрудничал с Грегори.

Я жил в Саттоне до Рождества, когда я расстался с женой, о чем подробно расскажу в следующей главе. Когда мы разъехались, я соединился с Кэтрин Роббинс, и с января 1894 года мы стали жить в Лондоне на Морнингтон-Плейс, семь. Она читала и делала заметки для своей диссертации на степень бакалавра наук; мы дружно скрипели перьями, сидя рядышком в нашей гостиной на нижнем этаже, рыскали по Лондону в поисках тем для моих публикаций и были очень счастливы друг с другом.

Я продолжал усердно и увлеченно писать, мысли шли одна за другой, а рукописи отвергались все реже и реже. Издатели ко мне присматривались, я же научался видеть, чт***о*** больше им подходит. Но детально я расскажу позже, как складывались эти годы ученичества. Здесь я только сообщу, как рос мой счет в банке и жить мне становилось все легче. В 1893 году я заработал 380 фунтов 13 шиллингов 7 пенсов и еле-еле держался на плаву. Кэтрин Роббинс я увлек перспективой шикарной жизни меньше, чем на сто фунтов. Но в 1894 году я заработал 583 фунта 17 шиллингов 7 пенсов, в 1895 году — 792 фунта 2 шиллинга 5 пенсов, а в 1896 году — 1000 фунтов 56 шиллингов 9 пенсов. Год от года мои доходы росли. Мне удавалось теперь давать достаточные деньги Кэтрин и в Найвудс, притом вполне регулярно, и, оплатив свой развод, из месяца в месяц скрупулезно выделять алименты Изабелле, выдерживать вынужденные периоды безделья во время приступов болезни, правда, все более

редких, скопить денег, построить дом и вырастить сыновей. Мне даже удалось в 1896 году переселить отца, мать и брата из Найвудса в более удобный дом в Лиссе, Роузнит, и потом купить этот дом для них. Судьба моя смилостивилась наконец, видимо довольная моими успехами, и перемены были теперь только к лучшему, так что передо мной открывались новые благоприятные возможности. Последнее большое препятствие на моем пути встретилось по дороге от Вильерс-стрит к Черинг-Кросс, когда у меня пошла горлом кровь.

7. Наглядные примеры

Сейчас, думается, самое время поместить различные документы, большей частью письма, которые я написал между 1890 и 1900 годами, чтобы показать характер моих взаимоотношений с родными, а также с одним-двумя близкими людьми, сыгравшими в это время заметную роль в моей жизни. Я выбрал эти письма из целой груды скопившихся у меня материалов. Самой трудной моей задачей было произвести этот отбор, призванный показать, как развивается человек, каких много. Мне кажется, что люди не очень любят читать чужие письма и вряд ли прочитают их от корки до корки. И все же эти письма, предназначенные тому или иному адресату, а никак не печати, помогают понять происходившие во мне тонкие процессы, связанные с умственным взрослением. Некоторые странички воспроизведены факсимильно, чтобы передать еще неустоявшийся почерк и детскую манеру иллюстрировать письма смешными рисунками, остальные переписаны и набраны петитом. Поскольку письма эти часто повторяют уже сказанное, необязательно все это читать. Они предназначены для того, чтобы растолковать и расширить уже известное. Мне хотелось бы поместить их в рукописном виде. Пожелтевшие истлевшие страницы несут в себе нечто неповторимо реальное и достоверное. В них содержится мало нового, но они освещают былое и самим своим существованием служат ему подтверждением.

Эти письма содержат много домашних шуточек, помогающих воссоздать атмосферу семейства, которое, само того не желая, вынуждено было разбрестись в разные стороны. Невольно и безотчетно каждый из нас двигался к новым знакомствам и впечатлениям, которые домашние уже не могли с ним разделить. Письма эти мне кажутся сейчас чрезмерно патетичными и проникнутыми желанием преувеличить успехи, даже самые мизерные, но за эгоизмом и тщеславием чувствуется желание

сохранить близость друг к другу, чувствуется юмор. Однако внутренних побуждений к нему становилось все меньше и меньше, и в последних письмах юмор почти совсем исчезает. Смешные рисунки тоже становятся редкостью, а под конец их почти не найдешь, и они появляются лишь по случаю Рождества или дней рождения, воскрешающих семейные чувства. Под конец ощущение родства совсем замирает и остается лишь воспоминание об уходящих родственных связях.

Думаю, каждая биография, полная и последовательная, обнаруживает, что память о доме, где прошло детство, потом ослабевает, сменяясь одним впечатлением за другим. Лет до тридцати у меня была очень сильная привязанность ко всем членам семьи. Лишь на середине жизненного пути я освободился от этого чувства. Мне думается, это нормально. Путь каждого человека — это паломничество от общности к одиночеству. Я сомневаюсь в том, что последующие человеческие связи и формы зависимости от тех или иных личностей или сообществ, которыми мы возмещаем первоначальную укорененность в семье и уверенность, идущую от нее, имеют то же влияние на нас, что и врожденные связи. Мы не уходим от них, это случается само собой. Мы завязываем дружбу, оказываемся в определенном социальном кругу, в какой-то компании, клубе, движении, обществе, партии, имущественном слое, но все это на время. В конечном итоге, если жизнь наша оказывается достаточно долгой, мы остаемся один на один с самими собой, приходим к самим себе и предстаем перед лицом вселенной и подступающей смерти.

Сильнейшее влияние во второй половине моей жизни оказала на меня моя жена, которая служила для меня своеобразной шкалой морали. На протяжении многих лет мне чудилось, что я не совершил в самом деле того или иного поступка, пока ей о нем не рассказал. И даже сегодня, хотя она уже семь лет как умерла, я вдруг начинаю думать: «Это позабавило бы Джейн». И начинаю в своем воображении писать ей письмо или придумывать для нее «ка-атинку» и только потом вспоминаю, что ее нет.

Многие из приведенных ниже писем не датированы. Я их снабдил (в квадратных скобках курсивом) приблизительными датами. Некоторые из них я проверил по календарю Эфгрейва, который в этих делах большой помощник.

* * *

Колледж наставников
Блумсбери-сквер, Запад-Центр,
5 июля 1890 г.

Дорогой старина Фред!

Одна только строчка, чтобы ты вспомнил своего брата из Лондона, для которого память о тебе дороже всех полевых цветов, нужных мне для работы[7]. Маргаритки, одуванчики, фиалки, и все в этом роде, самый ничтожный цветок, который сейчас радует глаз, сложены у меня в большую корзину.

Надеюсь, ты живешь счастливо и жив-здоров. Я весь в трудах, но аппетит у меня хороший, а это для меня постоянный источник счастья.

«Наши шутки малы, но чувства огромны», Теннисон.

Остаюсь всегда уважающий тебя

Берти.

Что случилось? Почему люди в трамвае шарахаются от него? Зачем в такую жару теснятся друг к другу? Они что, увидели сатану? Или висельника? Или уайтчепелского убийцу? Нет, ничего подобного. Перед нами просто юный лаборант-биолог, который только что на занятии препарировал форму жизни, известную под названием «налим» (Scylla canicula). И от него повanивает.

46, Фицрой-роуд, Северо-Запад.
Понедельник, 15 июня 1890 г. [1891(?)г.]

Дорогой Джи-Ви!

Я послал тебе твои очки — их сделали уже давно, но я не мог отослать их по причине болезни, да я и позабыл про них.

Около трех недель я болел инфлюэнцей, и у меня в результате было осложнение в верхушке правого легкого. Мне пришлось отказаться от работы у Бриггса, и теперь я, немного окрепнув, ищу работу, которая позволила бы мне оставаться дома.

Я написал матери четыре или пять дней тому назад, но все еще не получил ответа.

Входить в подробности моей болезни не имеет смысла. Ничего хорошего. Жить теперь чуть легче, чем если б у меня не было степени. Я печатаюсь в следующем номере «Фортнайтли», и, если они пришлют мне экземпляры, один из них будет твой. Редактор пригласил меня зайти к нему по поводу следующей статьи, которую они берут, было бы неплохо, если б из этого что-нибудь вышло[8].

Твой верный сын

Берти.

Мне пришлось заплатить за пропущенные уроки. Свадьба отложена — навсегда?

Среда, вечер
[21 сентября 1892 г.]

Дорогая матушка!

Наверху ты видишь донельзя знакомую фигуру. Справляющую свой двадцать шестой день рождения. На заднем плане изображены новые книжные полки, сделанные твоим старшим сыном, который прибыл сюда в среду и все это время над ними трудился. Он прочел все, что попадалось ему под руку, и проглатывал по шесть книг сразу. Изабелла все время работает и ей удается (конец письма потерян)

[Январь (?) 1893 г.]

Дорогой Фред!

Конечно же мама приедет сюда и будет жить с нами. Ей будет, однако, не хватать Найвудса. Если я буду ее содержать, посылай мне три фунта в неделю или

двенадцать в месяц для покрытия расходов. Я намерен передать все дела Фрэнку и отдавать ему все деньги. Если ты последуешь моему совету, я за всем присмотрю самолично. Напиши мне. Я очень занят, извини за краткость.

Басс

Оставайся там, где ты есть, мой мальчик, но и не тревожься еще и об этом деле.

Напиши маме, пусть она немедленно сюда приезжает, все упакует, и уверь ее, что с Джи-Ви все будет в порядке.

[22 мая (?) 1893 г.]

Дорогая мисс Роббинс!

Когда мы шутили в среду вечером относительно того, на какие ухищрения готов пойти застенчивый человек, дабы избежать грозящей ему перспективы общения, мы и не предполагали, что на такие же ухищрения порою способна и судьба — этот Великий Шутник, занявшийся моим делом. Что до меня, то мне совсем не понравилось, когда в четверг я проснулся в предрассветный час и обнаружил, что я — объект его шуточек и он меня здорово стукнул — так здорово, что я чуть не покинул в одночасье эту забавную вселенную. Впрочем, с помощью льда и таблеток опиума, одного успокаивающего средства за другим, моя жена и доктор остановили кровь, я перехитрил этого хитреца и с тех пор лежу на спине, капризный, но выздоравливающий. Должен сказать, что при грудных болезнях не испытываешь никакой боли, остаешься веселым, и в голове прочищается, словно ты выпил крепкого чая. Моя бедняжка жена взяла на себя всю боль, все труды и переживания, она устала и боится за меня. Ну, а я что, мне все сочувствуют и в меня верят.

Было бы очень мило с Вашей стороны, если б Вы заглянули к нам утром, моя жена очень бы хотела с Вами повидаться. На той неделе, если только я опять не развалюсь, я надеюсь спуститься вниз, и гость, который бы со мной поговорил и в свою очередь меня выслушал, был бы очень кстати. Поблагодарите мисс Робертс за

сочувственное письмо, которое она, вопреки всем правилам этикета и своим опасениям, следуя вашему дурному примеру, написала моей жене.

Думаю, преподавание для меня навсегда в прошлом, и, хочется мне этого или нет, я буду теперь жить литературным трудом.

С наилучшими пожеланиями, преданный Вам

Г.-Дж. Уэллс.

[26 мая 1893 г.]
Вторник

Официальный бюллетень

Мистер Уэллс впервые со среды поел мяса и вчера, семнадцатого, повернулся на бок и с чужой помощью сел на постели; он весел. Кровохарканье не возобновляется, не лихорадит. Сон хороший. Сегодня чувствует себя лучше. Съел яйцо, вареную баранину. Пульс ровный, ни температуры, ни воспаления, ни кровохарканья, ни сгустков крови нет уже сорок восемь часов. Много крепче, способен поворачиваться и садиться без посторонней помощи. Немного капризничает. Настаивает на том, чтобы писать письма чернилами всем, кого только знает, — непослушен, исписывает по две страницы, вместо того чтобы звонить в маленький колокольчик, когда желает привлечь к себе внимание, переворачивает стол, требует книг для чтения и, если они не соответствуют его вкусу, швыряет их в сиделку, играет с Фредди в шашки и старается выиграть. Есть надежда, что он встанет в субботу. Не строит никаких определенных планов. Возможно, проведет месяц в Вентноре, а затем, если удастся, — отъезд из Лондона.

Особенно советуем в соболезнующих письмах не писать, что все может быть и к лучшему.

28, Холден-роуд
Уондсуорт, Юго-Запад.
26 мая 1893 г.

Дорогая мисс Роббинс!

Ваш недостойный преподаватель биологии до сих пор, бедняга, прикован к постели, и глядит в потолок, который уже изучил к этому времени досконально, но он явно выздоравливает, а уж в субботу наверняка, надеемся, будет днем переведен в переднюю гостиную. Но с виду он больной, исхудалый, небритый и как бы несколько придушенный общим вниманием. А вообще-то смотрите на него сколько заблагорассудится, только не смейтесь.

Пока я болел, меня очень утешали невинные сочувственные письма, но все перекрыла короткая записочка мисс Томас, подписанная Джоном Бриггсом, заместителем директора колледжа. После этого я поверил истории о любовном послании, небрежно подписанном Холройдом, Баркером и Смитом.

Передайте мои добрые пожелания мисс Робертс и мисс Тейлор, в особенности мисс Робертс. Скажите ей, что девушке не пристало шутить с бронхитом, какие бы еще за ней ни водились грехи.

И верьте мне, преданному Вам

Г.-Дж. Уэллсу.

P. S. Боюсь, что ему не удастся увидеться с Вами до воскресенья, но я Вам до этого еще напишу.

Искренне Ваша

И. У.

6, Нью-Коттедж,
Медс-роуд,
Истборн.
Вторник

Дорогая мисс Роббинс!

Ваш покорный слуга пробыл в этом веселом месте уже восемь нескончаемых дней. Его ежедневно выводят на здешний чрезвычайно каменистый пляж и раскладывают на солнце на три, четыре или пять часов, как получится, и там он самой полной грудью, какую ему только дал Господь, вдыхает морской воздух, смешанный с запахом тех крабов, что уже выбрались на тот ручей, с которого еще никто не вернулся. Ну, а вечерами я правлю экзаменационные работы и делаю замечания заочникам, по ночам же без особого удовольствия размышляю о смерти, о будущей жизни и неопределенности этого уравнения. К тому же у меня огорчения, связанные с мисс Робертс. Когда я был совсем плох, она послала мне возмутительную книгу одного богослова — само это слово мне противно, — где говорится о том, что Хаксли не принял в расчет его (богослова) возражения, согласно которым геология (а это чистая ложь) подтверждает Книгу Бытия, а Евангелие от Марка было написано за тридцать восемь лет до Рождества Христова (а это уже что-то совсем идиотское), и подобные же глупости. Эта дурацкая книга подбила меня написать два письма мисс Робертс, где я посылал проклятия ее богам и утверждал, что Господь Бог, как мне хорошо известно, — джентльмен и никогда бы не связался с богословом, который городит такую чушь. Жаль, что я был тогда так невежлив, но подобная форма религии вызвала мой протест и возмущение. Впрочем, боюсь, мисс Робертс никогда меня не простит.

Провидение позаботилось о том, чтобы умножить неприятности моей жены, и послало тяжкую болезнь ее матери. Из нас двоих она сейчас в худшем положении, хотя я пребываю в неопределенности чахоточного больного. Более серьезный человек, чем я, был бы очень обеспокоен своей неспособностью играть роль мужчины в таких трудных обстоятельствах. Все легло на плечи моей жены, а я не могу избавить ее от страхов, самый больший из которых — пока еще мое состояние.

Искренне надеюсь, что Вы упорно готовитесь к экзаменам. Я могу только пожелать Вам пройти по

первому классу и помнить при этом о бедном страдальце, которого Вы в ином случае очень огорчите. Я надеюсь на следующей неделе посетить Ред-Лайон-сквер, лишний раз увидеть Вас и обо всем с Вами поговорить.

Искренне Ваш

Г. -Дж. Уэллс.

Что до литературных трудов, к которым Вы меня толкаете, тут я не преуспел. В «Глобе» увидела свет одна моя унылая статья, пересыпанная шуточками, назойливыми, как громыханье погремушки. Короткий рассказ для «Блэк энд уайт» показался мне каким-то женственным и вместе с тем желчным, он мог быть написан мужеподобной старой девой. Что думают о нем в «Блэк энд уайт», не знаю. У меня самого голова плохо варит. В ней столько всего вертится! Когда приду и подробно с Вами поговорю, все прояснится.

[Конец июня или июль 1893 г.]

Дорогой Фредди!

Мне нечего сказать тебе кроме того, что ты должен держаться, усердно работать и знать, сколько у тебя любящих друзей, которые беспокоятся о тебе, хотят слышать о тебе — лишь бы ты писал. У нас все в порядке. Мы еще не нашли подходящий дом, но и не слишком его искали. Я все время очень занят. Я уже почти написал свою часть книги «Физиография» на степень с отличием. Книгой занимаюсь совместно с Грегори и начал ее за день до того, как ты отплыл в Кейптаун, а еще на меня свалилось множество мелкой педагогической работы, и на следующей неделе (как раз, когда ты прибудешь в Кейптаун) я буду царствовать в экзаменационной комнате, битком набитой кандидатами на степень.

Изюме шлет тебе любовь, мамочка как раз сейчас тебе пишет.

Твой любящий брат

Чмокин.

Когда я говорю о комнате, набитой

экзаменующимися, речь идет либо о Лондонском университете, либо о Колледже наставников, где я зарабатывал примерно гинею в качестве человека, присматривающего за тем, чтобы все шло чин-чином. Моя мать собиралась навестить меня в Лондоне после отъезда брата. Четыре фигурки на приложенной картинке — это я, моя мать, моя тетя Мэри и моя кузина Изабелла.

[Вероятно, начало августа 1893 г.]
4, Камнор-Плейс, Саттон.

Дорогая мисс Роббинс!

Я не последний, кто спешит поздравить Вас, но все же рад сообщить, что я первый узнал о Вашем причислении к первому классу по успеваемости. Наша Аделина сдала экзамен по биологии, а вместе с нею ее сорванцы, к числу которых, во всяком случае, принадлежат Уэллс и Джонс. Мисс Сондерс прошла по второму классу, а мисс Найт — Вы, конечно, помните романтичную девушку с выразительными темными глазами, — к моему сожалению, провалилась.

Все радуются сверх всякой меры Вашему успеху, но следует иметь в виду, что это только начало и никак не превосходит моих ожиданий. Я был бы глубоко разочарован, если б дело обернулось иным образом. Вам не стоит еще два-три года покушаться на степень, хотя в должное время Вам предстоит выбрать себе специальность. Вы обязаны получить степень с отличием, чем Вы только вернете долг своим работающим в разных областях учителям.

Выбор предмета, по которому стоит добиваться отличия, — дело очень серьезное, и об этом стоит сразу же подумать. Для того, чтобы, подобно мне, приобрести широкий кругозор, надо избрать что-нибудь из биологии. По чести говоря, я считаю математику менее интересной, нежели биология. С другой стороны, Вы достаточно уже продвинулись в математике и можете рассчитывать здесь на большие успехи, в то время как Ваша биология — это всего лишь скороспелый плод годичных занятий. Впрочем, мы все это обсудим по Вашем возвращении. Это может сильно помешать Вам в

Южном Кенсингтоне. Я рад, что визит Ваш продлится еще неделю. Патни в последние три дня был совершенной парилкой. Надеюсь, однако, что Вы появитесь раньше, чем мы отсюда уедем, поскольку мне бы очень хотелось обсудить ваше будущее подробнее, чем это возможно в письме.

Жена шлет вам самые искренние поздравления в связи с Вашим успехом. А как прошел Пейнтер? Мне, кстати, заказали статью в «Пэлл-Мэлл газетт» и подписали договор на статьи в ежедневные номера, а это явно лучше, чем все, на что мог рассчитывать бедняк вроде меня.

Ваш

Г. -Дж. Уэллс.

4, Камнор-Плейс,
Саттон.
[Ноябрь, (?) 1893 г.]

Мой дорогой Фредди!

Мне кажется, если я напишу тебе сейчас, письмо придет как раз к Рождеству, и, по-моему, тебе будет приятно получить поздравление именно к этому дню, даже если я поспешил со своим посланием. Но здесь мы начинаем думать о Рождестве, сегодня крепкий мороз, дороги заледенели, а в прошлое воскресенье был первый снегопад. Книжные прилавки завалены яркими рождественскими журналами, и в Лондоне витрины пестрят поздравительными открытками и подарками. Две мои книги (учебники биологии) были опубликованы, и я со времени твоего отъезда написал уйму статей для самых разных изданий. Мои рассказы, кажется, не пользуются большим успехом, но я нашел хороший рынок для статей, которые сущая болтовня, и пишу их все в большем количестве. Я получил позавчера чек на четырнадцать фунтов тринадцать шиллингов за статью для одного номера «Пэлл-Мэлл газетт». Неплохо? Но, может быть, мне в этом месяце просто повезло. Во всяком случае, я не трогаю сейчас, слава Богу, свои скромные сбережения, сижу дома, поправляю здоровье. А как твои дела? Надеюсь, потихоньку, и ты прочно укореняешься в Южной Африке. А ты играешь в шахматы

или шашки? Если играешь, то, надеюсь, делаешь успехи, потому что со мной ты играл в последний раз просто ужасно.

Изабелла, мамочка и кот в полном порядке, и нам неплохо живется в нашем новом доме. От нас до луга всего двадцать минут, и мы ходим в Доркинг через Банстед и Эпсом. Нас навещает много народа из Саттона, так что мы чувствуем себя больше дома, чем в Патни, где, совсем как в Лондоне, не обращают внимания на соседей.

Я не виделся ни с отцом, ни с матерью, с тех пор как ты уехал, но надеюсь на днях к ним выбраться. По-моему, у них все в порядке. Фрэнка я тоже не видел уже несколько месяцев.

Боюсь, мне больше нечего тебе рассказать. Не слишком много событий, но кто-то написал, что самые счастливые наши дни — это когда с нами ничего не случается. Мы живем счастливо изо дня в день, и, надеюсь, так будет и дальше.

Верь мне, мой дорогой Фредди.

Твой любящий брат

Чмок-Чмокин.

Изабелла и тетя шлют тебе привет.

4, Камнор-Плейс,
Саттон.
15 декабря 1893 г.

Дорогая матушка!

Я надеялся провести в Рогейте денек-другой перед Рождеством, рассчитаться с долгом отцу и пожелать Вам всем счастья, но, к сожалению, это не получится, и я посылаю только небольшой чек (выписанный на отца), чтобы заплатить за все, что он для меня сделал, и в какой-то мере скрасить тебе наступающий праздник. Фрэнк, наверно, рассказал тебе, что мне все-таки удается сводить концы с концами при помощи статей. Две мне вернули, но я написал две новые. Видел ли Джи-Ви отзыв в «Тудэй» о моей статье насчет человека миллионного года?

Мы с Изабеллой днем собираемся к миссис Роббинс

в Патни до понедельника — ты ведь помнишь мисс Роббинс, которая приходила к нам на чай как-то в воскресенье — и вечером мы с ними идем в концерт. Моя простуда и так далее прошли, иначе я не смог бы так себя вести.

Мы ждем приезда Фрэнка сразу после Рождества.

Все тебя любят.

Верь мне, моя любимая.

Твой преданный сын Берти.

Писать книги — не сахар. Вторая часть моего учебника биологии была самым жестоким образом раскритикована в номере «Нейчур» от последней недели.

7, Морнингтон-Плейс,
Северо-Запад.
8 февраля 1894 г.

Дорогая мама!

Обо мне не беспокойся. Наши неприятности были неизбежны, но мне не хочется входить в подробности. Мы с Изабеллой расстались, она — в Хемстеде, а я здесь. В разводе я виноват почти целиком. Я здесь окружен очень приятными людьми и очень занят. Вчера ходил на фабрику по производству микроскопов и написал статью для «Пэлл-Мэлл газетт», гранки которой послал Джи-Ви. Говорил ли я тебе, что сделался одним из обозревателей? Я в хорошем состоянии, по утрам не кашляю, и никаких других неприятностей. Надеюсь, Фрэнк скоро меня навестит. Сообщи мне, когда он ко мне собирается, а то меня целый день нет дома. Передай привет Джи-Ви. Я скоро займусь зоологией. Попроси его послать открытку Эллерингтону и сообщить, что работа на звание бакалавра наук по зоологии не придет к нему еще четыре недели и ему не удастся сделать дело в срок.

Твой любящий сын Берти.

Хорошо бы отец отправил мне по экземпляру программ по биологии и по зоологии, последний урок и контрольную работу по каждому из этих курсов. Спасибо.

Таскулум-вилла,
Семь Дубов, Кент.
10 августа 1894 г.

Дорогой отец!

Я хотел приехать к тебе на этой неделе, но опять не удалось, и я решил поправить дело с помощью письма. Я думал, что Фрэнк, который был у меня несколько недель тому назад, все тебе объяснит. Все очень просто. Прошлым январем я сбежал в Лондон с одной молодой девушкой, своей студенткой. Особенно распространяться об этом не стоит, что было, то было, и остается только уладить дела. Изабелла съехала из Саттона и перебралась в Хемстед, где и живет сейчас (на мои средства); она прошла уже примерно половину процедуры развода со мной. Я думаю, нас разведут в начале следующего года, и тогда я женюсь на мисс Роббинс.

Хозяин дома в Саттоне получил уже плату до июня. Пока я жил там с мисс Роббинс (она считается моей женой), но сейчас к нам присоединится и миссис Роббинс. У нее собственный дом в Патни, который она сдала на двадцать один год по девяносто фунтов за год. Мы намерены купить дом, поскольку квартира у нас не очень удобная, и там осесть. Моя жена собирается получить степень бакалавра наук (ей остался еще один экзамен) и заняться со мной литературной работой.

А теперь насчет моей работы. «Пэлл-Мэлл газетт» пока что кормит меня. Я пишу от шести до десяти колонок в месяц и получаю по две гинеи за колонку. Все это время я еще работал у Бриггса и получал примерно шестьдесят фунтов в год, но это отнимает очень много времени, и я собираюсь оставить это дело. С «Джорнал ов эдьюкейшн» я тоже расстаюсь: он отнимает по дню в месяц, а приносит всего лишь фунтов двенадцать в год. Я пишу для «Эдьюкейшнл таймс» от двух до пяти колонок в месяц по полгинеи за колонку, а когда выдается свободное время, делаю еще статьи для «Блэк энд уайт» и «Нэшнл обзервер». Есть еще рассказы, которые сейчас трудно пристроить, но я надеюсь, что мое имя появится в серии, выходящей в «П. М. баджет». За рассказы платят немногим больше, чем за статьи, но в конечном счете

подобные публикации приносят больший доход, поскольку могут быть включены в книгу. Кроме того, я пишу еще одну большую вещь впрок и связался с агентом, который опубликует некоторые мои статьи для «Пэлл-Мэлл газетт» в виде книги.

Думаю, что я верно обрисовал, как у меня обстоят дела. Некоторые трудности возникают в связи с процедурой развода, но когда этот счет будет оплачен, я не вижу, почему бы нам не полегчало. Мне придется платить Изабелле фунтов сто в год, а то и больше, но в целом мой доход превышает триста пятьдесят фунтов и еще возрастет. Миссис Роббинс хочет помочь нам с меблировкой, получив деньги по закладной. Это прибавит еще фунтов тридцать к ее девяноста фунтам ренты. Во всяком случае, я не окажусь в стесненных обстоятельствах и не сомневаюсь, что сумею выполнить свой долг по отношению к тебе и маме.

Здоровье меня совсем не тревожит, разве что простудился немного и в этом году перетрудился.

Передай от меня привет матери и верь в то, что я остаюсь твой навеки

Берти.

Конечно, ты дашь прочитать все моей матери. Мама должна помнить мисс Роббинс — она как-то приходила в воскресенье днем на чай.

Со сдачей дома у миссис Роббинс ничего не вышло. Ее жилец не уплатил решу и улизнул вечером со всей мебелью. Дом пришлось продать, а деньги положить в банк.

12, Морнингтон-роуд, Северо-Запад.
5 декабря 1894 г.

Дорогая мамочка!

Жду Рождества и посылаю тебе маленький подарок (жаль, что такой скромный). У меня все хорошо и на том же уровне. Я не так много работаю для «Пэлл-Мэлл газетт», но поставляю материал для «Сатердей», где платят много больше, и возлагаю надежды на «Нью ревью».

В этот день недели я читаю лекции в Колледже

наставников. С моими книгами ничего пока не выяснилось, но, я думаю, в марте появятся две или даже три.

Я хочу знать все о тебе. А от Фреда были какие-нибудь вести?

Любящий тебя

Берти.

Крошка Берти рад писать все, что в голову взбредет, и шлет горячий привет милому часовщику, папочке и мамочке.

12, Морнингтон-роуд, Северо-Запад.
5 февраля 1895 г.

Дорогие папа и мама!

Большое спасибо за письма, которые я получил в последние несколько дней. Очень любезно со стороны папы, что он попросил себе только сорок фунтов, но все равно я вышлю ему шестьдесят, хоть сейчас с деньгами у меня не так хорошо. Возьмите десять фунтов из пятнадцати на жизнь и в порядке эксперимента отложите пять на следующий квартал. Чеки, которые я шлю, можно класть в сберегательную кассу — они сейчас берут чеки, — а потом берите оттуда сколько нужно и сколько вам вздумается. Как только у меня появится еще немного денег, я надеюсь сделать для вас больше. Я мечтаю переселить вас в лучший дом, купив его или взяв в аренду, но когда это будет — бог весть, во всяком случае, не в этом году. Как бы я ни преуспевал, ничего бы не было, если б не вы. В детстве вы, невзирая на обстоятельства, всегда снабжали меня карандашами и бумагой, книгами из библиотеки и всем подобным, и, если бы не моя мать с ее воображением и отец с его многообразными уменьями, откуда бы у меня взялись эти качества?

Ваш любящий сын

Берти.

12, Морнингтон-роуд, Северо-Запад.
Воскресенье, 13 октября [1895 г.]

Дорогая мамочка!

Хочу сообщить тебе одной строчкой, что я уже три недели как вернулся к своей старой хозяйке (после того как женился). А неделю назад к нам пришла удача. Моя последняя книга принесла мне большой успех — все о ней слышали, — и самые разные люди хотят со мной познакомиться. Я почти никому не сказал, что мы поднялись в общественном мнении и меня уже приглашают к себе и сегодня, и завтра, и каждый вечер целую неделю, кроме понедельника и пятницы. Получил письма от четырех издательств с предложением предоставить им мою следующую книгу, но, думается, я останусь верен своей прежней фирме. Приятно обнаружить, что ты что-то значишь после многих лет разочарований и напрасных попыток.

Какой адрес у Фреда в Иоганнесбурге? Сообщи поскорей. Перед самым вашим письмом я послал ему экземпляр «Чудесного посещения» на адрес господ Гарлик. Я бы желал все о нем знать. Несомненно, эта страна быстро поднимается. Я знаком с одним тамошним банковским чиновником, который мог бы помочь Фреду. Он был моим коллегой в школе Милна. Он шотландец, умрет богатым, человек с головой, дружески ко мне расположен и при желании мог бы дать Фреду уйму полезных советов. Зовут его Джонстон. Я возьму его адрес у Милна.

Привет отцу и Фрэнку.

Твой любящий сын

Берти.

Линтон, Мейбери-роуд,
Уокинг, Суррей.
Пятница, 24 января 1896 г.

Мой дорогой братишка с поля брани!

Как ты? День или два в начале года, когда Джеймсон поражал весь мир{151}, очень о тебе беспокоился и конечно же послал бы телеграмму, чтобы узнать, все ли у тебя в порядке, но телеграфные линии были перекрыты, дабы передавать более важные сообщения. Я думаю, мы

скоро получим подробный и живой рассказ от тебя обо всем этом. Здесь царит веселье, ходят слухи о военных делах, в мюзик-холлах распевают оскорбительные для германского императора песни, только и разговору, что о морских экипажах, и никого от Края земли до Джона о'Гроутс не волнует работа борющегося за свое существование автора. Само собой, книга, которую я собирался опубликовать, не выйдет до марта. Ты видишь, как далеко отзываются ваши уитлендерские страсти.

Со мной все в порядке. Я заработал фунтов пятьсот-шестьсот за прошлый год и надеюсь в новом заработать больше, и уж никак не меньше. Я женился, со всеми моими трудностями покончено, и совсем недавно снял очень милый домик в Лиссе с семью приличными комнатами, садом и всем, что может понадобиться моим старикам. Они переезжают на той неделе. Фрэнк намерен расширить свое часовое дело, и в целом все идет как по-писаному. Я побывал у них под Рождество, все трое хорошо выглядят и веселы. Дела Фрэнка, по-видимому, пошли в гору. Новый дом — один из дюжины или около того приличных небольших коттеджей и находится близко от церкви.

Я сейчас катаюсь на велосипеде и не так давно съездил в одно местечко под названием Одихем, которое могло пробудить старые воспоминания.

Уже написав эти строки, я получил твое письмо. Хорошо, что у тебя все в порядке. Как ты пишешь, вторжение было предпринято в интересах капиталистов, хотя Джеймсон как таковой достаточно приятный человек. Но все-таки не пристало Трансваалю якшаться с немцами. Ты читаешь газеты? В «Ревью ов ревьюс» обычно упоминается обо мне.

Сходи, навести Джонстона, если сможешь. Ты увидишь, он превосходный человек. А в один прекрасный день я у тебя появлюсь. Надеюсь, у тебя все в порядке — и с голландским языком, и с твоими делами. Есть ли надежда открыть собственное дело? Если ты освоишь голландский и привыкнешь к тамошним обычаям, у тебя появится больше возможностей, чем в нашей перенаселенной стране. Но не вздумай пускаться в спекуляции с золотыми приисками или еще чем-нибудь в этом роде. И береги деньги. А если ты войдешь в какое-то дело, доверяй старине Джонстону. Он человек

первосортный, разумный, абсолютно честный. Как ты думаешь, правильно ли было уехать из Англии? В конечном счете, не так плохо, верно?

Жаль, что время летит так быстро: до конца недели я еще должен написать рассказ для одного нового ежемесячника, так что не могу больше писать тебе.

С самыми добрыми пожеланиями твой любящий брат

Чмок-Чмокин.

Бросли
[Июль 1896 г.]

Иллюстрированное письмо

Вы здесь видите не голландца, а престарелого джентльмена с хорошими манерами, который не так давно проживал в Хетерли, Вустер-парк, Суррей. Он неплохо играет в шахматы, шашки и вист — крокет он освоил очень быстро — и одинаково откликается на имена Хозяин, Папочка или Старик. По возвращении в Лисс он прихватил с собой весь табак и ящик с бруслийскими глиняными трубками. Неподалеку от него можно будет вскоре увидеть невысокую даму приятной наружности (что и следует из приложенной иллюстрации). Она, возможно, будет здесь на дне рождения своего среднего любимого сына, которого она называла когда Фредди, когда Феззи, когда Физзумс, а то и Мастер Фредди. Незачем говорить, что за его здоровье будут пить в должный день, как в Лиссе, так и в Хетерли, с самыми теплыми чувствами. Третья особа (иллюстрация) — что без лишних слов понятно — твой давно исчезнувший брат Чмок. Ты можешь заметить, что с годами и с увеличившимся благосостоянием он приобрел размеры, которые ему удается держать в определенных границах лишь благодаря усиленной езде на велосипеде. Он рад сообщить, что дела у него идут хорошо, книги продаются чуть ли не сами собой, несмотря на Тезоименитство. А если говорить о Тезоименитстве, то он, можно сказать, его и не заметил, разве что ездил посмотреть на броненосцы — сотни их стояли у Спитхеда и Солента. Он объезжал их два раза на катере в сопровождении того парня, которого ты

видишь на рисунке. А когда он плыл по морю, король Сиама вышел из Портсмутской гавани на своей яхте и каждый благословенный броненосец приветствовал его салютом (иллюстрация). Вообще-то это поздравительная открытка по случаю Тезоименитства. Я разок-другой слышал от матери, что дела твои идут очень хорошо, и рад сейчас получить от тебя собственноручное письмо. Пусть и дальше тебе сопутствует счастье, ибо ты его в высшей степени заслужил. Пусть и дальше повторяется этот счастливый день, и радости тебе, старина!

От

Чмока.

Хетерли, Вустер-парк.
Канун Нового года, 1896 г.

Мой дорогой братец Фредди!

Получил от тебя забавную открытку, за которую пришлось приплатить шиллинг и пенс, но я с большой радостью заплатил бы и больше за одно только удовольствие держать ее в руках. А поскольку сейчас канун Нового года, а я все время думаю о прошедшем годе и обо всем, что он нам принес, я не могу найти ничего лучшего, чем написать тебе это письмо еще до того, как наступил Новый год. Если начинать с самого себя, я в этом году все еще на гребне успеха и, мне представляется, иду ко все большей славе, поскольку мое имя распространяется по всему свету и люди, которых я в глаза не видал, из Чикаго, из Кейптауна и даже из такого далекого места, как Янг-Дзе-Кианг, что в Китае, пишут мне и говорят, какое удовольствие они черпают в моих книгах. До сих пор это принесло больше славы, чем денег, но я надеюсь, что в будущем году моя слава окажется оправлена золотом. В этом году я заработал от восьмисот до тысячи фунтов, в будущем году денег окажется больше, потом еще больше, и тогда я надеюсь осуществить планы, которые вынашиваю. Как ты знаешь, старики хорошо устроены в Лиссе, дела Фрэнка сдвинулись с мертвой точки. Когда я в последний раз был в Лиссе, то заметил в прихожей два ящика с часами и еще две коробки с разными деталями. А на следующий год (но пока он знать об этом не должен, чтобы не

сглазить) я надеюсь помочь ему твердо встать на ноги. Думаю, удастся устроить его в Лиссе в хорошую лавку, а стариков поместить в лучший дом, чем сейчас. Но ты знаешь старую поговорку: «Поспешай не торопясь». Я хочу, чтоб все поскорее наладилось и утвердилось. А когда Фрэнк сделается опять почтенным горожанином, мы дождемся тебя — загорелого, крепкого и с набитым кошельком. И мы присмотрим в Уокинхеме, Питерсфилде или каком-нибудь другом подходящем месте подобающее пристанище для тебя, чтоб ты все начал сызнова и с наилучшими надеждами. Договорились? Наша маленькая старушка цветет и хлопочет, так что и лет через двадцать, а то и раньше она, не сомневаюсь, будет рада увидеть всех нас троих людьми процветающими, живущими в собственных домах и невероятно довольными жизнью. Старик тоже еще не запылился, и если не придираться, то можно считать, что его хватит еще лет на сто. Вот почему в этот приближающийся Новый год я необычайно весел и полон надежд не только на себя, но и на все наше благословенное семейство.

Доброго тебе счастья, братец Фредди.

Твой навсегда

Г.-Д. Чмок-Чмокин.

Не знаю, доходит ли до тебя «Пирсонс мэгэзин», в апреле там начнет печататься мой роман, на который я возлагаю большие надежды, и так до декабря. Только не перепутай — «Пирсонс мэгэзин», а не «Пирсонс уикли».

Будь добр, передай привет Джонстону, он хороший парень — ты ведь заметил? Когда он уезжает? Если он приедет, мне хотелось бы, чтобы он у меня остановился и мы с ним поболтали о старых временах.

Посмотри «Сатердей ревью», если он тебе попадется. Ты увидишь среди еженедельных обозрений Г.-Дж. У. Это я — всякий раз.

Не забудь написать нашему парню и расскажи ему все про себя.

Бич-коттедж,
Гренвил-роуд.
18 декабря 1898 г.

Дорогой отец!

Всю прошлую неделю я собирался написать тебе и рассказать, чем я занимаюсь. Ничего не знаю о параграфе в «Букмене», о котором ты говоришь, можно мне взглянуть на него? Скорее всего, Никол что-то узнал от Барри, который нас навещал. Но параграфы в «Академии» были написаны Хиндом, редактором, после того как он сюда приезжал и мы говорили о нашей работе. Статьи о 2100 годе скоро появятся в «Графике» с цветными иллюстрациями. Я был сильно занят правкой книги, которая в апреле или мае будет опубликована братьями Харперами, и кончится мое годичное или около того молчание. Это будет вроде «Машины времени», но во всех отношениях больше и лучше. Надеюсь, люди за это время меня не забудут. Старые книги по-прежнему продаются — от четырех до шести экземпляров в неделю, принося мне пятифунтовые банкноты. Книгой, о которой говорила «Академия», занимается Линкер; это сентиментальная история в относительно новой манере. Я думаю, это он предложил ее в «Харперс мэгэзин». Называется она «Любовь и мистер Льюишем». И еще заключил договор на серию рассказов для «Стрэнд мэгэзин», но работа эта меня не привлекает. Это как разговаривать с дураками: слово лишнее скажешь — не поймут. Чуть что новое — они сразу же начинают уверять, что читатели этого не поймут. Написал два рассказа — совершенный бред, а они приняли с восторгом. Еще написал рассказ, превосходный, им же он совсем не понравился. Что ж — пойдет в другое место. Сейчас мне пишется с трудом, хотя речь идет — между нами говоря — о комическом романе в старой диккенсовской манере, со множеством забавных людей, совершающих заурядные поступки («Киппс»). Мне здесь лучше, чем где бы то ни было во времена Южного Кенсингтона, и каждый день удается хорошо поработать. Мне в один день приходит в голову столько свежих идей, сколько приходило за неделю в Вустер-парке.

Эми просила меня тебе передать, что в Скулбредс выставлена одна аппетитная индейка — как раз для тебя. Мы все вас любим. Может быть, следующей весной мы к вам и выберемся. Я не видел тебя целую вечность. Наилучшие пожелания на Рождество.

Навсегда твой

Берти.

Наш толстый кот сбежал. Тактично сообщи об этом Фрэнку.

Не слишком холодно, надеюсь?

Печень тебя не тревожит?

(На рисунке — индейка по дороге в Найвудс.)

Арнольд-хаус,
Сандгейт, Кент.
7 июня 1900 г.

Дорогая мамочка!

Так как близится срок, посылаю ежеквартальные пятнадцать фунтов и надеюсь на следующей неделе тебя повидать. Было очень приятно получить письмо от Фреда, — правда ведь? — а к этому времени, уверен, он прочитает все письма, которые ты ему послала с самого начала войны. Сколько их у него накопилось!

Мне не понравилось, что ты «отложила» пять фунтов. Я не хочу, чтоб ты экономила и копила деньги, которые я тебе присылаю. Их не так уж много, и ты должна тратить их целиком и устраивать жизнь как можно приятнее.

Посылаю тебе также первый отзыв на «Любовь и мистер Льюишем». С момента его появления они успели уже продать тысячу шестьсот экземпляров в Англии и две тысячи пятьсот в колониях, и, думаю, с точки зрения доходности, это лучшая книга из по сию пору написанных.

Передай привет отцу и Фрэнку. И поверь, что я остаюсь твоим любящим сыном

Берти.

* * *

Сохранились десятки подобных писем, но и приведенных достаточно, дабы показать стиль и манеру и что я из себя представлял в те годы. Просматривая их, я, кажется, в первый раз обратил внимание на то, как постепенно выхолащивались наши

отношения — неизбежное следствие разницы во взглядах, опыте и круге общения. Мне захотелось сопоставить эти письма с другими образчиками, тогда мною написанными, и я, пролистывая страницы «Сатердей ревью» (1894–1897) в поисках своих публикаций, обнаружил одну любопытную вещицу. В ней тоже проглядывает нечто сходное. Вещица эта из «Сатердей ревью» не была перепечатана, и, по-моему, ее уместно будет здесь привести в качестве дополнения. В ней то же чувство усталости и неуверенности и та же тоска по семейному теплу. Боязнь остаться одному в целом не имела под собой почвы. Я мало-помалу научился ладить с людьми — это не то, что Арнольд Беннет называет «умением жить», но что-то очень близкое. Мне не приходится сетовать на отсутствие друзей или любовных связей, и до сегодняшнего дня я не жалуюсь на одиночество. И хотя я никак не наездник, никогда не занимался никаким аристократическим видом спорта и не принадлежал к такого рода клубам, жизнь не обделила меня тем, что составляет ее прелесть, да и приходило это ко мне всегда своевременно.

Excelsior[9]{152}

Что бы ни говорили, но подниматься вверх по житейской лестнице не такая уж радость. Хотя юный пролетарий, счастливо барахтающийся в сточной канаве, вряд ли так думает. Едва он обретает способность к самооценке, учителя злоумышленно принимаются растравлять его честолюбие; он устремляет свой взор к далеким сияющим вершинам, и они кажутся ему донельзя привлекательными. Словоохотливый Смайлс{153} набалтывает ему о людях, которые поднялись выше некуда, не обмолвившись ни словом о том, какие опасности встречаются на этом пути. Никто не предупреждает его о цене и расплате. Толкуют лишь о том, с каким бесконечным наслаждением он будет взбираться наверх. И молодой пролетарий, чувствуя силу в мышцах, с доверием пускается в путь, обращаясь к книгам или купле-продаже — смотря по склонности.

Пусть Смайлс славословит тех, кто сделал карьеру. И при этом умалчивает о тех, кто потерпел неудачу, погиб по пути, обессиленный трудами и голодом, или затерялся в горных туманах торгашеской морали. Нас интересуют люди, выигравшие битву жизни. Они видят, что друзья детства их по-прежнему в грязи, а на тех, на кого они раньше взирали снизу вверх, теперь можно поглядывать снисходительно, и вот она — совсем рядом, земля обетованная. Казалось бы, какой восторг и какое счастье, и

есть ли участь завиднее? Может быть, и сам человек из низов так думает. Но вот он начинает озираться по сторонам в поисках товарищей, и тут обнаруживается, скорее всего не сразу, оборотная сторона медали. Оказавшись в новом слое общества, он встречает там людей достаточно приятных, но рожденных среди равных, получивших соответствующее образование и рассматривающих свой успех — возможно вполне справедливо — как успех заслуженный. Для них он незваный гость, во многом не очень понятный. А он знает, что всякое упоминание о том, как он взбирался наверх по чужим головам, — ибо всякий успех относителен, когда один человек поднимается, другой падает, — и о том, как радостно было ему это восхождение, оказывается наглядным проявлением дурных манер, вроде того как если б человек засовывал большие пальцы в прорези жилета под мышками. Обычно человек из низов достаточно чуток, чтобы держать при себе самое интересное — повороты своей судьбы. Такой человек хорошо представляет себе, каким он видится окружающим — этаким наглецом, попирающим все нормы своими приглаженными, напомаженными волосами и одной, а то и двумя массивными золотыми цепями. Он воображает, что окружающие ждут от него промашек, и он делает их из одного лишь страха.

Ты временами начинаешь чувствовать себя не в своей тарелке. Говоря языком Герберта Спенсера, человек из низов не вписывается в свое новое окружение. Но это не все; он не вписывается ни в какое окружение. Язык, на котором говорят люди из его новой среды, — это не его родная речь, их обычаи и привычки сидят на нем словно платье с чужого плеча, он научился всего лишь тому, что помогает отличить его от людей низшего слоя. Он что-то вроде социального коктейля из людей, встреченных на жизненном пути. И друг, такой близкий, на котором сосредоточилась вся жизнь и с которым можно говорить не стесняясь, чьи предрассудки совпадают с твоими, чьи привычки такие же, как у тебя, — это не тот, с кем общается человек, выбившийся из низов. Был некий А. из времен, когда ты, подумать только, зарабатывал фунт в неделю, был некий Б. из той поры, когда ты жил на три сотни, и В., появившийся, когда к тебе пришла первая тысяча, однако непонятным образом все они получают отставку и приходит время, когда кто-нибудь из них при встрече произносит фальшивым тоном: «А ты стал таким щеголем, знаешь!» Ты открываешь что-то новое в прежде вполне дружелюбном взгляде, и с этих пор между вами пролегает пропасть. Твои друзья теперь уже не спутники твоей жизни, а ее эпизоды, люди, когда-то на тебя повлиявшие. Но тебя ждут

худшие беды. Когда человек из низов женится, с ним случается одно из двух: либо он находит кого-то ниже себя, неспособного идти с ним в ногу, либо ему со временем встречается существо юное и очаровательное, за которым ему не угнаться.

И ко времени, когда человек из низов сделал все, на что способен, и, выполнив главную задачу своей жизни, поднялся к вершинам, он начинает чувствовать, что постарел. Его молодость прошла на другом этаже, и теперь он не знает, с чего начать. Вечная юность отставного генерала, который может быть вдвое старше него, его поражает. Вы замечаете, как он с удивлением наблюдает за матчем в крикет — у него никогда не было времени для крикета — или из-за ограды Роттен-роу{154} (с чувством, которое, как он инстинктивно сознает, ему не слишком подобает) поглядывает на прекрасных, здоровых, хорошо одетых людей, проезжающих мимо. Это они хозяева земли. Он по своим средствам мог бы скакать на лошади, но упустил время. Вино жизни прокисает, и человеку, которого он вытеснил, достался самый смак. Завоевателю остаются опивки.

Преуспевшего пролетария ждет разочарование. Лучше владеть маленькой бакалейной лавкой, вести беспокойную неустроенную жизнь, но любить, быть окруженным шаловливыми детьми, чем пожинать плоды, которые приносит мертвое море успеха. Можно наслаждаться борьбой, но успех сопряжен с трагедией. Счастлив бедняк, вырвав награду из рук смерти, и пусть он никогда не увидит, как награда эта рассыпается прахом.

К этим явившимся тогда под влиянием настроения мыслям я могу спустя тридцать девять лет добавить только одно: чепуха.

Но позвольте мне продолжить свой рассказ, прерванный приведенными документами. Развод отвратил меня от привычек и догм, свойственных тому времени, самым простым и дерзким образом и был мне чрезвычайно полезен. Я стал быстрее развиваться в качестве прозаика, новая жизнь глубоко повлияла на мои социальные и политические взгляды, и теперь мне предстоит подробно рассказать, какие побуждения и практические шаги определили мое существование в эти решающие годы.

ТОМ ВТОРОЙ [10]



Глава VII
ПРЕПАРИРУЮ САМОГО СЕБЯ

1. Многоголосая фуга

Если у вас нет желания исследовать чей-то эгоизм, не читайте автобиографий. Мне страшно интересна жизнь, воспринятая через себя, иначе бы я не занялся былыми записями и воспоминаниями. Я стал копаться в подзабытых сорокалетней давности перипетиях судьбы не только ради некоего гипотетического читателя, но и для того, чтобы удовлетворить собственное любопытство к жизни и к миру. Роль читателя, мысль об издании важны главным образом для того, чтобы, ощутив присутствие наблюдателя, обосновать и проконтролировать этот процесс. Избежать эгоизма нельзя. За неимением других столь же удобных образцов для препарирования, я — сам себе кролик. Чтобы научно исследовать бытие, у нас есть только наша жизнь, все остальное мы знаем понаслышке.

Основную тему этой книги я изложил во вводной главе, хотя потом она не раз о себе напоминала. Моя автобиография — рассказ о том, как постепенно увеличивалась область моих интересов и как от ограниченности мой ум переходил ко все более широкому образу мысли и, соответственно, все более богатому спектру побудительных мотивов. Я иду от задворок к Космополису; от Атлас-хауса к бремени Атласа{155}. Эта тема появляется и повторяется по-разному — в рассказе о первых прочитанных мною книгах, в истории моего бегства из магазина, в описании моих студенческих пертурбаций и моих попыток увидеть в геологии науку, а в физике — философию. Одинокий искатель приключений, распутывая родственные узы, в которых ему уготовано было появиться на свет, все сознательнее пытается стать гражданином мира. Такую форму обретает его «персона», становясь все четче. Он — индивидуум, вырастающий в осознающего себя и вполне обычного человека своего времени и своей культуры. Он — капля, взятая для образца из переменчивого океана политических мнений.

Однако стремление создать картину мира не было единственной движущей силой в описании моей жизни. Иногда оно даже не было одной из главных сил. Иное восприятие, иные мотивы пересекаются, совпадают или идут вразрез с главной темой. Иногда кажется, что они явственно связаны, углубляя и смысл ее, и цвет или ей противореча, но часто вообще нельзя

определить их соотношение. Как и во всех настоящих фугах, правила нарушены и, если судить по строгим канонам, композиция беспорядочна.

Вторая система мотивов, определивших мою судьбу, была система сексуальная. Конечно, она — не единственная. Я расскажу о страхах и тревогах, например — о несомненной клаустрофобии. Болезнь и лечение правого легкого, бесчинства и умиротворение раздавленной почки ввели свои темы, со своими неожиданными последствиями. И все же среди этих обстоятельств главное положение заняли сексуальные комплексы. Я думаю, во всякой честной и полной автобиографии сексуальная тема окажется второй, если не первой. Она подолгу влияет на наше самолюбие, играет важнейшую роль в драматизации нашей «персоны», и отрицать ее невозможно.

Разбирая историю своего развода, я убеждаюсь, как трудно писать автобиографию, не оправдывая свою жизнь, а исследуя. Я уже писал, что умственный разрыв между мной и моей кузиной увеличивался. Я продемонстрировал склонность к упрощению, представляя разногласия между собой, Кэтрин Роббинс и Изабеллой как противоречия, скажем так, между широкомасштабной и узкомасштабной жизнью. Получается довольно связная история, у которой только один недостаток — это неправда, тем более досадная, что в ней, как в плохом портрете, есть поверхностное сходство. Все было гораздо запутаннее. Сознаюсь, многих ее деталей я и сам толком не понял. Позвольте же мне приступить к новой главе, как портретисту, который, натянув свежий холст, готов начать работу сначала. Позвольте мне сменить ракурс и освещение, чтобы показать последовательные фазы эгоизма чувственного и плотского, принеся в жертву эгоизм разума, который до сих пор был в центре внимания.

Когда я просматриваю старые письма, сопоставляя дату с датой, и пытаюсь проследить, как соотносятся эти сколки памяти с тем, что я помню теперь, я все больше понимаю, что единство моей личности, сегодняшняя ее цельность определились в долгой борьбе различных мотиваций, не всегда логически связанных, и что в те годы, которые я описываю, эта цельность была скорее мнимой.

Для нормального современного человека цельность личности — самообман. Разоблачению этого самообмана он яростно сопротивляется. Он прежде всего хочет оправдать противоречия в своем поведении, изобретая невероятные истории, которые объясняли бы ему, почему он поступил так или иначе. Людям предстоит еще потрудиться над собой, пока они поймут, что

противоречия эти непримиримы, и как-то с ними справятся.

Именно это почти всеобщее желание навязать какую-то разумность переменам поведения побудило меня (и, по моим указаниям, — моего биографа Джеффри Уэста) представить мой развод — это первое свидетельство все более мощной подвластности зову плоти, как начало постепенного отрыва от мира, в котором я вырос. Отрыву этому, однако, развод способствовал лишь по совпадению. Позже сексуальной составляющей суждено было не раз отклонять траекторию моего развития.

Простая и привлекательная история, которую я почти вознамерился здесь изложить, история, в которой я предстал бы гадким утенком, презревшим ограниченность и недостаточную чуткость своей кузины и своей семьи, чтобы оказаться лебедем с Флит-стрит и Патерностер-роу, не складывается по двум причинам: зловредная память сохранила сильные чувства и важные поступки, совершенно не считаясь с тем, смутит ли это мою «персону»; друзья мои и родственники (как я уже говорил) имели склонность сберегать мои письма. Я просто поражен, сколько этих писем осталось. Сейчас мне прислали штук сто; когда я их перечитываю, прошлые события оживают, подробности восстанавливаются и я вынужден пересмотреть вроде бы очевидные оценки.

Теперь, с вашего позволения, я попытаюсь несколько подробнее описать истинную роль Изабеллы в моей жизни.

2. Первая привязанность

Выше я пересказал все, что помню о сексуальном развитии ребенка и подростка. Оно было простым и, наверное, совершенно нормальным. Проявлялись, впрочем, весьма незначительные гомосексуальные наклонности, я думаю — менее заметные, чем обыкновенно бывает. Маленьким мальчиком я обожал одного или двух подростков, а лет в двенадцать-тринадцать восхищался какими-то мальчиками, игравшими в моем туманном воображении роль девочек. То были лишь первые движения моих эмоциональных щупальцев. По мере моего просвещения и развития все это бесследно исчезло, и к шестнадцати годам я был вполне гетеросексуален в своих фантазиях. У меня сложилось четкое и ясное представление о красивых женщинах — то был тип, воплощенный в классической живописи и скульптуре, тип, которым все тогда восхищались. Я почти не связывал его с живыми, одетыми и недоступными женщинами, с которыми я иногда робко и скованно «флиртовал». Одна-две попытки

предупредили меня, что тайное блаженство секса не так уж легко достижимо. Первые попытки в Уэстборн-Гров не были красивы; видимо, моя Венера Урания не обитала в этих душных и затоптанных закоулках. Позднее (не могу уточнить дату, но это, должно быть, произошло, когда мне было за двадцать и я показывал биологические опыты) тайный позор девственности стал невыносим, и я тайком побежал к проститутке. Она оказалась начисто лишенной воображения. Смутная догадка, что тайный сад желаний окружен зарослями, где таятся грязные и убогие звериные норы, только укрепилась.

А вот моя кузина была так мила и нежна, что наша близость не могла ничего разрушить. Все мои смутные влечения и желания, все романтические грезы мало-помалу обратились к ней. Я настолько проникся дивным убеждением, что именно с ней смогу обрести прочное счастье, что все годы, от студенческой скамьи до нашей свадьбы, воображение никогда не уводило меня от нее. Я являл собой преданного и нетерпеливого влюбленного. Первая привязанность укоренилась очень глубоко.

Я знал, что она меня любит, но ее воображение было ограниченней и сдержанней. Различия в образе мыслей и широте взглядов, несовпадение масштабов не имели бы большого значения, если бы чувства наши звучали в унисон. Тогда мы бы все преодолели. На самом деле друг другу не соответствовали не умы наши, а темпераменты. К тому же она боялась, да и расхожая мудрость ретушёрной мастерской на Риджент-стрит ничуть ей не помогла. Я ни за что не хотел долго ждать, не хотел и венчаться в церкви. Я повторял, что вообще в брак не верю. Главное — не брак, а любовь. Я взывал к Годвину{156}, Шелли{157}, социализму.

Мстительные порывы отравляли мою страсть. К тому же я был не только неопытным, но и нетерпеливым. Я ничего не смыслил в искусстве обольщения. Вероятно, я считал его бесчестным. Пламень, встречающий другой пламень, — вот во что я верил. Сейчас мы куда более искушенны. В наше время невинные и пылкие женихи гораздо реже отдаются на милость невинных, боязливых невест.

Мне было не важно, что Изабелла явно любит меня, нежно любит. Я глубоко обижался, что она не отвечала на мою страсть. Потом она уступила. Этого несчастного мгновения я прождал так долго! «Она не любит меня», — сказал я в душе. Я бодрился, я осушал ее слезы, проклинал свою грубость; но торопился на поезд, вел учет корреспонденции, потрошил кроликов и лягушек и второпях, с тайным горестным чувством расправлялся с кучей повседневных забот.

Тут крылось что-то более существенное, чем различие в

интеллектуальном кругозоре. Я должен пояснить теперь, что мои чувства, мои затаенные романтические помыслы были долго и прочно сосредоточены на кузине. Правда, я увлекался и другими женщинами. Я хотел вознаградить себя за то унижение, которому она непреднамеренно меня подвергла, и к тому же жизненная энергия во мне в то время била через край. Но она все равно царила в моем воображении, и я тайно мечтал о том, чтобы страстно ею обладать.

Вскоре после моей женитьбы произошел один случай, весьма способствовавший восстановлению моей пошатнувшейся уверенности в себе. Однажды на Холден-роуд прибыла некая мисс Кингсмилл — учиться ретуши, а потом — помогать в работе. Она была радостно-распутной и вполне искушенной. До и после нашей женитьбы она бывала у нас. Мы ее занимали; возможно, моя кузина что-то ей сказала, и в ее обращении со мной стал проявляться явственный интерес. Однажды я оказался наедине с ней. Я правил работы заочников, тетя была в магазине, жена уехала в Лондон с какими-то отретушированными фотографиями. Не помню, под каким предлогом Этель Кингсмилл выпорхнула из-за своего рабочего стола и оказалась у меня в кабинете. Раньше я думал, что не склонная к любви женщина лишь подчиняется нашей власти, ей же любовные услады ни к чему. Но ей удалось рассеять мои тайные опасения. Скрежет замка, знаменовавший возвращение тети, оторвал нас друг от друга в миг достаточно бурного счастья. Я с удвоенной энергией уселся править работы, а Этель, очень довольная собой, вернулась к своим негативам. С точки зрения чувств и «морали» поступок этот можно считать возмутительным; на самом же деле он совершенно естественен.

После этого приключения я стал смотреть на мир иначе. Моего отношения к Изабелле оно ничуть не изменило. Наш разрыв не помешал ей много лет занимать господствующее место среди моих привязанностей. Я не знаю, как бы поступил, если бы во время нашей размолвки она вдруг одумалась и обратилась ко мне со страстной мольбой.

Сейчас, препарируя того, прежнего себя, как мертвого кролика, я понимаю то, чего раньше не знал, — почему после многих лет безраздельной любви к кузине взгляд мой и воображение порою уклонялись в сторону, когда она стала моей женой. Скорее инстинктивно, чем сознательно, я старался распутать затянутый мною узел и освободиться от накрепко сковавших нас, но совсем не радостных уз привычки и взаимной нежности. Я все еще хотел быть с ней, лишь бы она была более пылкой и более чуткой; и хотел выбраться из омута обманутых

надежд, который затягивал нас обоих.

Когда я разглядываю этот образчик человеческой жизни, законсервированный в письмах и неизгладимых воспоминаниях сорокалетней давности, мне кажется, что самое интересное в начале моей супружеской жизни — то, что за несколько недель я, такой порядочный в своих намерениях, дошел до измены. После шести лет помолвки, искренне стремясь к моногамии и верности, я, едва женившись, стал «крутить романы». Старая любовь ни в коей мере не угасла, но теперь я старался не упускать ни малейшего случая.

Я склонен думать — впрочем, на материале собственного опыта, — что у нормально сформировавшейся личности есть две противоположные фазы: полная сосредоточенность на ком-то единственном и полная рассеянность внимания. Каждый человек находится в той или иной фазе или движется от одной фазы к другой. Природа не обрекает нас ни на моногамию, ни на распутство, но период *сосредоточенности* у разных людей различен по длительности. Стремление к концентрации, я думаю, знакомо всем. Мы склонны привязываться, но может вмешаться случай или подсознательно выросший протест; так накапливается осадок в пробирке, которую можно нагреть или потрясти. Тогда мы на какой-то срок окажемся во взвешенном состоянии, пока не возникнет новое стремление к устойчивости. Явления эти неподвластны нашей воле или предвидению, они происходят с нами прежде, чем мы захотим. Видимо, это в какой-то мере объясняет переход от почти непреклонной верности, которую я хранил до женитьбы, к супружеским изменам, которые, в свою очередь, сменились второй, более слабой «сосредоточенностью», а она — очередным этапом «разбросанности».

Сейчас, когда я сижу и размышляю над тем, что же на самом деле произошло полжизни назад, в 1892–1893 годах, мне начинает казаться, что я по-прежнему упрощаю; что должен отыскаться еще один, иной ряд причин. Не присутствует ли в моих построениях элемент уловки? Неужели взрыв непокорности вызвала одна только мысль о том, что я связан? Насколько исключительно это, а насколько — типично? У каждого ли именно так натянута эта струна? Быть может, рывок в сторону, как и влечение, заложен во всякой любви? Я хорошо помню, как желал, чтобы кузина стала моей любовницей до свадьбы, а после — хотел снимать жилье, но не хотел обзаводиться домом.

Противоречие между намерением и действием разрешилось очень неожиданно. Судя по письму, написанному в середине декабря 1892 года в Саттоне, я хочу и дальше там жить, тогда как довольно скоро, в январе, я поселился на Морнингтон-Плейс

вместе с Кэтрин Роббинс! Обстоятельства такой внезапной перемены ускользнули из памяти. Что-то произошло, но что именно, я не могу припомнить. Прямо хоть вали все на приступ клаустрофобии. Может быть, я проснулся ночью и сказал себе: «Надо уйти отсюда»? Уж не воспользовался ли я одним из тех отчаянных решений, которые иногда преподносят нам подсознательные или полусознательные стихии? Если и так, я этого не помню. Зато я помню, что был очень нерешительным. Помню, что сразу после своего бегства я искренне убеждал кузину не разводиться со мной. Уйдя от нее, я хотел ее сохранить. И только сейчас, хладнокровно и беспристрастно препарируя свое прошлое, я признаюсь себе, каким лицемером был в то время, какими неопределенными и противоречивыми были мои планы.

Мы с Изабеллой поехали к Роббинсам 15 декабря и пробыли там до 18-го. Возможно, это и привело к кризису. Изабелла могла приревновать. Мой брат Фредди, который был всегда к ней очень привязан и обсуждал с ней все это, годы спустя говорил мне, что инициативу нашего разрыва она приписывала себе. По ее словам, она предложила мне либо прекратить все более нежную и тесную дружбу с Кэтрин, либо расстаться с ней самой. Однажды, когда я учился в Южном Кенсингтоне, что-то подобное уже было; она ревновала к тем, кто умеет «говорить». Сейчас я уже не помню, был ли такой ультиматум, но быть он мог, а визит в Патни мог его ускорить. Ответ: «Очень хорошо. Раз ты готова расстаться со мной, я уйду», тоже естественен и очевиден. Обиды и самолюбия и с той, и с другой стороны было ровно столько, сколько нужно для разрыва. Изабелла облегчила мне решение, по видимости совершенно необъяснимое.

Тут весьма полезны свидетельства моего брата Фредди. Позже он говорил мне, что она очень жалела о нашем разрыве. Я тоже о нем жалел. Она упрекала себя в том, что «не поняла» меня и довела дело до развода, когда я еще не был на него готов. Она считала, что проявила жесткость и эгоизм: она что-то сказала, я поймал ее на слове, и она решила, что путь назад отрезан. Между нами, конечно, еще сохранялась глубокая привязанность. Мы поняли это, когда улеглась обида, но раз уж дороги наши разошлись, делать нечего.

Наверное, оно и к лучшему. Мне были свойственны непостоянство и нетерпеливость, которые в конце концов перевесили бы ее умение приспосабливаться. Вероятно, мы смогли бы оттянуть наш разрыв. Вероятно, в итоге он вышел бы менее достойным.

Моя тетушка Мэри, скончавшаяся года через два, очень удивилась и расстроилась. Много лет спустя Изабелла призналась

мне, что она, то есть тетя, ее как следует отчитала за то, что она (Изабелла) не сумела меня удержать. Моя мать тоже так удивилась, что Изабелла «отпустила» меня, и так рассердилась, что ей и в голову не пришло возмутиться моей безнравственностью. Никак не пойму, в какой мере привычка женщин приписывать женам ответственность за слабости мужей обусловлена традицией, а в какой — изначальна, но мои мама и тетя поступили именно так.

В 1927 году моя вторая жена, умирая, сказала мне: «Я не уничтожила ни единого твоего письма, а теперь я и не могу их уничтожить. Они в моем бюро вместе с моими письмами, которые ты просил сохранить. Распоряжайся ими как хочешь». Вот я и могу, хотя и с небольшими затруднениями — на некоторых письмах нет дат, — восстановить основные этапы наших отношений за всю нашу долгую жизнь. Это — не только переписка. Мы не просто писали друг другу каждый день, когда разлучались, — нет, и без разлуки я из чудачества рисовал для развлечения ее и себя картинки, которые мы называли «ка-атинками». Начал я их рисовать на Морнингтон-Плейс в 1893 году. Происхождение свое они ведут от тех корявых рисуночков, которыми я украшал письма родным и друзьям. Многие пропали сразу, многие сохранились в ящиках бюро. За тридцать пять лет скопился архив, и нетрудно проследить, как развивались наши отношения. Одно ясно: письма эти писали любящие друзья, родственники, но не страстные любовники. Вот что важнее всего.

Самые ранние письма, — те, что написаны, пока дело не дошло до разрыва, — это обычные письма застенчивого юноши, который с большим усердием ведет дружескую переписку. Такие письма, наверное, дают почитать матери, так они скромны. Тон их не меняется до самого разрыва с Изабеллой. Затем идут письма, написанные во время разрыва, и тут я различаю удивительно фальшивую и неубедительную нотку. Крайне смущенный ум пытается слепить что-то благородное из мешанины импульсов. Здесь нет прямоты, но есть поза, все приукрашено и преувеличено. Нет и намека на простую, искреннюю страсть; мне бы не хотелось приводить из них ни единой строчки. К счастью, это не только излишне, но и невозможно. Они такие разные, что ни одна цитата ничего не покажет.

В этих письмах я часто и охотно прибегал к патетике. Я играл роль. Возможно, от чистого сердца, в меру своих способностей, но — играл. Ясно, что я решил во что бы то ни стало сделать так, чтобы она отдалась мне, но ни из чего не следует, что ее личные свойства мне небезразличны или что у меня есть какое-то

представление об ее истинных достоинствах. Вдумываясь сейчас в эти документы не как апологет собственной персоны, а как ученый-историк, я склоняюсь к мысли, что прежде всего я стремился освободиться от наваждения не реальной Изабеллы, а Венеры Урании, от мучений высокой и прекрасной страсти, которая не смогла воплотиться в Изабелле, но по-прежнему была от нее неотделима. Вот мне и захотелось, чтобы Эми Кэтрин Роббинс победила призрачную богиню.

Своей новой возлюбленной я тоже попытался навязать роль. Как и другие любовные истории очень молодых людей, наша должна была поистине поразить мир. Такой любви еще не бывало. Единодушно, словно сговорившись, мы стали двумя незаурядными личностями, которые имели полное право смести общепринятую мораль.

Словом, мы уехали вместе, а потом стали метаться между Морнингтон-Плейс и домом Роббинсов в Патни. Ее мать говорила, что умрет от горя, непрестанно и неправдоподобно рыдала, и на несколько дней дочь вернулась домой. Ее пытались задержать. Для увещевания и устрашения призвали друзей семьи, причем — мужского пола. Я не сдавался. Эми Кэтрин была на моей стороне. С ней спорили. В конце концов, у нее чахотка, и я чахоточный, наш эксперимент безнадежен. Мы весьма достойно отвечали, что раз уж суждено скоро умереть, остаток наших недолгих дней нам лучше провести вместе. Они сказали, чтобы я, по крайней мере, оставил ее под родительской крышей до тех пор, пока не разведусь. Я ответил, что не уверен, хочу ли разводиться. Мы не верили в Институт Брака и не собирались жениться. Да, мы оба были уверены, что жениться не собираемся.

Стремление выиграть спор может соединить двух людей так же крепко, как страсть. Победить нас не смогли и к стенке не приперли, на самом деле и стенки никакой не было, были лишь мы, и мы довели это дело до конца, невзирая на огромное, хотя и тайное разочарование. Я обнаружил, что эта хрупкая, нежная статуэтка из дрезденского фарфора совершенно невинна и невежественна в том, что касается плотской любви; вести себя с ней грубо и торопить события я просто не мог, и вожделенные объятия Венеры Урании были от меня теперь далеки, как никогда. Много лет об этом не знал никто. Мы накрепко прилепились друг к другу и из звеньев взаимной поддержки, терпения и нежности сковали цепь, продержавшую нас вместе до самого дня ее смерти. Мы справились с самой трудной задачей; мы установили *modus vivendi.* Непомерная претенциозность потихоньку исчезла из наших отношений, и мы стали от чистого сердца смеяться и подтрунивать над собой. Появились «ка-атинки». Во многом мы

были заодно. А вот сексуального влечения, какое внушала мне моя кузина, совсем не было.

Раз уж я намерен рассказать эту историю до конца, я должен рассказать о двух случаях, о которых сейчас не знает никто на свете, кроме меня самого. Мне кажется, они очень характерны; но читателю самому об этом судить. Во всяком случае, они доказывают, сколь далек я был от подлинного разрыва с кузиной и в сколь сильной степени причина нашего разрыва коренилась в ней самой, а не в ее преемнице. Первый случай произошел, когда я приезжал к ней году в 1898 или 1899-м на ферму в Твайфорд, что между Мейденхедом и Рединго́м, где она без особого успеха разводила уток и кур. Кажется, поводом для встречи был разговор о том, как расширить это дело. Приехал я туда на велосипеде и нашел ее среди зелени и птиц, в сельской обстановке, в которой прошло ее детство. Мы провели вместе целый день, без малейшего напряжения, с несвойственной нам до сих пор дружеской легкостью. Мы называли друг друга старыми ласковыми прозвищами. Внезапно я пришел в отчаяние: как мы могли расстаться? Мне безумно захотелось вернуть ее. Последний раз я стал безуспешно ее молить. Оставаться в этом доме до рассвета я просто не мог. Я вскочил, оделся, спустился вниз, чтобы сесть на велосипед и уехать. Она услышала, что я встал (возможно, и она не спала), и сошла вниз, как всегда — милая и недоступная, и, как всегда, напуганная моими чудачествами.

Видите, как все это безрассудно!

«Если уж ты собрался ехать, тебе надо перекусить», — сказала она и принялась разжигать огонь, ставить чайник. Должно быть, она слышала, как зашевелилась тетя — они занимали смежные комнаты. «Все в порядке», — сказала она и попросила ее не спускаться вниз, чтобы та не увидела моих терзаний.

Прежняя смесь сильного влечения и обескураживающей скованности была здесь в лучшем виде. «Как же это можно?» — спросила она. Я не выдержал и зарыдал. Я плакал у нее на груди, как обиженный ребенок, потом взял себя в руки, вышел в летнюю зарю, оседлал велосипед и покатил на юг, прямо в залитые солнцем глубины стыда и досады, не в силах понять, почему же мне так больно. Я ощущал себя какой-то машиной, каким-то автоматом, словно все цели исчезли; все потеряло смысл и назначение. Мир умер, умер и я и только сейчас понял это.

После нашей встречи я решил не думать о ней, подменяя ее другими женщинами. Долгое время мне это не удавалось. Лет через пять или шесть она вышла замуж; точной даты не знаю, более года она скрывала от меня свой брак. Потом произошел совсем уж удивительный случай. Узнав о ее свадьбе, я испытал

безрассудную ревность. Выразилась она в том, что я стал сознательно вытравлять все воспоминания. Я уничтожал письма и фотографии, любую ее вещицу, я бы даже запретил говорить о ней, будь это в моей власти; словом, я начисто оборвал все отношения. Приведенные здесь фотографии мне пришлось раздобывать. Эта боль никак не вяжется с жалким правдоподобием мифа о том, что она была малограмотной простушкой, которую я «бросил», поскольку она не могла соответствовать своей роли. Я сжег ее фотографии; это — символическое действие. Если бы мы жили десять тысяч лет назад, я бы взял каменный топор, нашел ее — и убил.

В завершение скажу, что, как ни странно, за пять лет одержимость моя развеялась. Ее совершенно вытеснили другие тревоги, о которых я расскажу в свой черед. Боль утихла. В 1909 году, избавившись от черной магии секса, я мог встречаться с ней по-приятельски; так продолжалось до самого конца ее жизни. Наши общие друзья рассказывали мне о ней; благодаря им общение наше возобновилось, мы встретились и стали встречаться время от времени. Поскольку она вышла замуж, алиментов ей я не платил; но, обнаружив, что ей приходится экономить, я помог ей, как подобает брату замужней сестры. Когда ей пришло в голову завести собственное дело, я, из самых братских чувств, купил для нее прачечную. Вскоре ее пришлось закрыть, кузине моей удалили аппендикс. Дома за ней было некому ухаживать, и она переехала к нам. Так мы и жили вместе, пока она совсем не выздоровела. Никто не знал, кем она была для меня на самом деле, кузина — и все тут. От ревности, сопоставлений и обвинений мы избавились совершенно. Мы бродили по саду, беседуя об однолетних и многолетних растениях, о розах и деревьях. Когда она окрепла, я взял ее на свою любимую прогулку по садам Истон-Лодж. Особенно ей понравился пруд с лилиями перед домом и золотые фазаны, которых леди Уорик пускала гулять за прудами.

Это была последняя наша прогулка.

Когда жена умерла, я получил от Изабеллы письмо, милое и простое, в котором она ее расхваливала и оплакивала. Потом она решила построить дом и попросила меня помочь. Увидев, что она очень этого хочет, я согласился, хотя не думал, что это, как сказали бы американцы, «здравая идея». Мы осмотрели место, она показала мне чертежи. Но дом едва начали, когда она умерла, он так и остался недостроенным. Умерла она неожиданно. Страдая диабетом, она несколько лет колола инсулин. Когда и у меня обнаружили диабет, я решил пригласить ее и угостить самыми лучшими блюдами, которые нам дозволены. Есть что-то

родственное в том, что мы заболели одной болезнью. Но вот произошла какая-то ошибка с инсулином, и однажды, во Франции, я получил от ее мужа письмо о ее смерти. В субботу она чувствовала себя хорошо, а в понедельник впала в кому и умерла, не приходя в сознание.

Так кончается история о том, как зародилась, оборвалась и продолжилась моя первая любовь, начавшаяся в ту минуту, когда сорок семь лет назад на Юстон-роуд моя кузина спустилась вниз к чаю. Я не предлагаю никакого урока, просто пытаюсь рассказать все, как было.

3. Modus vivendi [11]

Сочетание искренней решительности с высокопарностью, характерное для нас с Эми Кэтрин Роббинс на ранней стадии нашей совместной авантюры, заслуживает того, чтобы о нем вспомнили чуть подробнее. На самом деле мы оба просто бежали от невыносимо ограниченной жизни, однако мы не знали, как это назвать, разобрались далеко не во всем и ухватились за фразы в духе Шелли, за изображение всепоглощающей страсти. *Она* была единственной дочерью исключительно робкой, приличной женщины, не представлявшей для нее иной участи, чем замужество с надежным, приличным, *хорошим* человеком, — и потому самый союз со мной был мятежом и протестом. Как восставал я против той жизни, которую дала мне судьба, я уже писал. *Она* легко усвоила мое понимание свободы, мою социальную и умственную дерзость (в самом высоком смысле). Все это ударило ей в голову, и наш безумный порыв обусловлен скорее желанием вырваться из повседневных, всепоглощающих обязательств, чем настоящей страстью.

Этот союз ради бегства и собственного развития сумел продержаться всю нашу совместную жизнь. Мы никогда не нарушали его. Когда героизм наш испарился, мы обнаружили, что очень привязаны друг к другу, мало того — друг друга уважаем и всегда готовы обойти острые углы, пошутив и посмеявшись. Мы умели это делать. Всю нашу жизнь мы оставались истинными союзниками. А вот страстными любовниками мы не были, оттого-то целые десять лет я сохранял прежнюю сосредоточенность на кузине, а позже, когда мы достигли успеха и обрели свободу, впал в какую-то разбросанность чувств, вызывая сплетни и слухи.

Здесь снова было бы нетрудно вполне логично и правдоподобно приукрасить повествование. Но я никогда этого толком не умел. Опусти я кое-что — и записи эти стали бы на удивление гладкими. Нельзя сказать, что я не старался. Между

тридцатью и сорока годами я вложил немало умственной энергии в проблему «мужчины и женщины» и думал о ней отнюдь не бескорыстно. Мне хотелось жить последовательной, честной жизнью, я терпеть не мог притворства, и все-таки мысли мои и фантазии не поддавались контролю, а поведение удивляло меня самого своей неискренностью. Чтобы освободиться от сознания этой неискренности, я стал прямодушно и публично рассуждать о «свободной любви». Мне кажется, я проходил примерно те же фазы, которые на восемьдесят лет раньше прошел Шелли. Сотни тысяч проходят их. Я изо всех сил старался доказать, что любовь независима и свободна. Да, это дар богов, но не надо считать, что она — самое главное в жизни.

Тогда все больше узнавали о контроле над рождаемостью — мы именовали его неомальтузианством, — и получалось, что я прав, к любви можно относиться легче, чем относились в прошлом. Она должна возбуждать, поддерживать, стимулировать. Я прямо наложил это в «Современной Утопии» (1905), я проповедовал такие доктрины и не задумывался о том, что бы я сделал, если бы моей жене вздумалось привести их в исполнение, — к чему, к чему, а к этому она никак не стремилась. Что еще примечательней, не думал я и о не столь уж давних рыданиях на сельской кухоньке, вполне честно забытых. Наверное, и это совершенно обычно. Мы не замечаем, что есть два состояния. Когда мы рассеянны, разбросаны в наших чувствах, мы — за свободу. В любой человеческой общности, в любую эпоху есть сторонники свободной любви, то — те, то — другие. Каждый из них может к кому-то привязаться, страстно, ревниво, отвергая все прочее. Люди то покидают этот стан, то возвращаются в него. Любовь попеременно становится то счастливым поклонением Венере, богине красоты, нежным союзом свободных тел и душ, то священным символом могучего и загадочного соединения личностей, слияния индивидуальностей, готовых друг ради друга жить и умереть. Именно эта смена состояний не дает упростить и подчинить догме сексуальное поведение.

Видимо, сторонники свободной любви не слишком заблуждаются, стремясь освободить сексуальную жизнь личности от общественного порицания, от законов и санкций. И все же само по себе это принесет не так уж много пользы. Да, обстоятельства становятся проще, но проблема не решается. Перед нами все равно загадка — почему состояние меняется, когда мы движемся от юности к зрелости, а позже, как я уже говорил, мы то расточаем, то собираемся. Кроме того, все еще сильнее запутывается, ибо общество вправе вмешиваться каждый раз, когда дело касается детей; наконец, новые трудности связаны с

тем, что и физически, и эмоционально во всех своих последствиях любовь для мужчины и женщины — совсем не одно и то же. В мире, где все прекрасно приспосабливаются, различия эти уравновесили бы друг друга; здесь, в нашем мире, ничего подобного не происходит.

Я снова подхожу к тем проблемам и сторонам моей жизни, разговор о которых стоило бы отложить до того времени, когда речь пойдет о том, как, уже в зрелых летах, я насочинял множество не очень вразумительных, но очень дерзновенных романов о любви. Характер мой и обстоятельства вынудили меня признать: когда дело дойдет до планирования будущего, лучшего мироустройства, у мужчин и у женщин могут обнаружиться несовместимые потребности. Творческое начало и преданность делу могут у них различаться. Хотя мужчины и женщины радикальных убеждений входят в одни и те же ассоциации, выступают на одних и тех же митингах, их подлинные цели нередко расходятся. Надо бы заключить новое соглашение о взаимной терпимости полов.

Женившись во второй раз, я не подозревал поначалу о столь фундаментальных расхождениях. Мы с женой еще не завоевали права свободно рассуждать о нашем мире. То, что мы о нем думали, находилось от нас на расстоянии нескольких лет. Пока мы боролись, мы все крепче привязывались друг к другу, отбросили патетику, смеялись, шутили, работали, справлялись с физической и психологической несовместимостью и смело смотрели жизни в глаза.

Преодолев отвращение к институту брака, мы поженились в 1895 году, сразу же, как я получил такую возможность. В той или иной степени вынудили нас поведение прислуги, хозяек и соседей. Как только они обнаруживали наше положение, прислуга становилась нагловатой, соседи чурались нас или грубили. Как хорошо довелось нам изучить резкий переход от дружеской приветливости к прохладной отчужденности! Вправду ли они приходили в ужас, когда «узнавали», или просто выявлялась предрасположенность к ненависти и травле, которая ждет своего часа в каждой душе? Я думаю, за последние сорок лет пределы терпимости заметно расширились, но в наше время, если бы мы не поженились, половина наших сил ушла бы на дрязги с соседями и отражение всевозможных нападок. Вести такую войну нам никак не хотелось.

Оказавшись вместе и осознав, как быстро испаряются наши героические настроения, как улетучиваются грезы о сокровенных дарах любви, мы все-таки были связаны и внутренним, и внешним обязательством приноровиться друг к другу, чтобы

внести хоть какой-то смысл в нашу совместную авантюру. Чураясь поспешных решений и опрометчивых споров, мы ощупью и с недомолвками шли по пути преодоления наших трудностей. Она еще меньше, чем я, обладала той гибкостью речи, какая способна утопить любой вопрос в многословных оправданиях и безрассудных ультиматумах. Наша крайняя изоляция тоже помогала найти *modus vivendi.* У обоих не было наперсников, способных осложнить наши отношения веским советом; не было и тех вечных устоев, которые мы бы «уважали». Ни она, ни я не беспокоились о том, что каждый из нас может подумать. Во многих смыслах мы были странными, даже чудаковатыми, но в отношениях с обществом и друг с другом мы, возможно, больше приблизились к идеальному союзу, чем обычно бывает у молодых пар. Поиски *modus vivendi* — необходимая фаза нормальной, современной супружеской жизни.

В поисках этих очень важны совсем обыденные вещи. Хотя за всю свою жизнь я опубликовал одно четверостишие, я завел привычку, проснувшись, слагать всякие вирши, а по вечерам, когда мы сидели вдвоем и все было под рукой, я прерывал работу, чтобы нарисовать «ка-атинку». Смешные наброски, отражающие то или иное происшествие, скапливаясь в ящиках, составили что-то вроде комического дневника. Многие — возможно, большинство — утеряны, но сотни еще остались. Я придумал забавный прием, чтобы двумя штрихами изображать ее голову, и мы почему-то решили, что получается неплохо. Придумал я и носатую с зарождающейся лысиной рожу в лавровом венке, намекающем на принадлежность к сонму поэтов. Как многие пары, мы выдумали друг для друга прозвища; она стала Битс, или «Дольки», или «мисс Дольки», или «Нюхалка», или «Оно» (с вариациями), а я был Сундук или мистер Ларь. Побывав в зоологическом саду, я воспел разум и общественный порядок сусликов, и мы так развеселились, что в «ка-атинках» ввели что-то вроде сусличьего хора. Что бы мы ни делали, что бы ни происходило, суслики вторили на свой лад. В параллельный мир шутовства и фантазий мы переносили очень значительную часть повседневной жизни, и она становилась гораздо легче. Переносились туда и мы. Мисс Дольки оказалась весьма практичной и властной, а мистер Ларь — не очень хорошим, довольно скользким и запуганным. Его нередко огревали зонтиком. Все эти дурацкие шутки так похожи, что привести конкретные образчики нелегко, однако без них рассказывать попросту невозможно. Здесь, например, вы видите разные «этюды», несколько ранних набросков мисс Роббинс в ее академическом облачении, сделанных до нашего побега (именно

так сидела она, углубившись в литературные труды), а вот и четыре более поздних, года 1896-го, наброска условной головки. Как правило, это Оно, чуть рискованное, или печальное, или спящее, или впервые надевшее очки. Сбоку бордюр из одинаковых фигурок — «все то же, вчера, сегодня, вовек». На первый взгляд — чепуха, каракули, а на самом деле точные наблюдения в личной трактовке. Рисовали мы обычно на писчей бумаге, так что здесь все очень уменьшено. Как говорит мой издатель, что поделаешь!

Сатирическая «ка-атинка». На одной стороне листа написано «Дольки — такая, какой она себя *щитает*», а на другой — «настоящая Дольки, самая любимая на свете». Она пишет, спит, ест, катается со мной на велосипеде.

Далее следует добродушный, но безжалостный стишок без даты (вероятно, это 1898 год). Он еще наглядней демонстрирует, как *«оно»* «доводили до ума» для внутренней притирки.

ПЕСЕНКА

Мы прозвища даем.
Оно мы уважаем
И даже обожаем,
Но прозвища даем,
Обидно обзываем.

Мы прозвища берем
Из книг и разговоров,
Из всяких разных вздоров
И тут же их даем,
Не ведая укоров.

О, как ужасны ей
Те прозвища бывают!
Она от них страдает,
Рыдает, умирает,
Но, в кротости своей,
Обидчика прощает.

Снова рисунок на садовую тему, относящийся либо к периоду Уокинга, либо к первым дням в Вустер-парке. Изображает он встречу со слизняком. Венок на моей голове позволяет отнести рисунок к раннему периоду, возможно — к 1895 или 1896 году. Символизирует венок мои литературные амбиции и постоянно появляется в моих студенческих письмах, обращенных к А.-

Т. Симмонсу и мисс Хили, а после 1898 года из употребления выходит.

Здесь вы видите «Жуткую поэ-эму», которая должна убедить дерзкую женщину в том, что она призвана покориться своему господину. Эта длинная вариация на темы Эдварда Лира{158} выявляет странное обстоятельство: с самого начала нашей жизни в Вустер-парке все средства находились в *ее* распоряжении. Мы жили по правилам, заведенным в порядочных пролетарских семьях, — мужчина отдает весь заработок «хозяйке» и получает от нее на карманные расходы.

Нету у поббла пальцев, а раньше были,
Были, росли, цвели — и куда-то сплыли,
Но это, честно сказать, не наше дело,
Поббла принадлежит поббликое тело.
Никто не сочтет волос на его макушке,
Не пересчитает лапки, глазки, ушки.
Тети нет у него, все это враки,
Главное — чтобы у вас не дошло до драки.

Если ты его встретишь
(Не дай тебе Бог!),
Если увидишь, заметишь —
Мчи со всех ног.
Не лги и не притворяйся,
Беги, удирай, спасайся,
Он страшен, он груб, он зол,
Словно козел.
Спасайся, как от огня!
Кого же он любит? Меня,
Мужа твоего (Дж.-Г. У.),
А больше никого.

Вот ты меня не понимаешь,
Пилишь, укоряешь,
Деньги забираешь,
Пива лишаешь —
Но ничего не попишешь!
Только поббла услышишь,
Смирись и беги ко мне,
Как подобает жене.

Здесь выражен незлобивый протест против несправедливого вторжения в пространство стола. Судя по лампе, это происходит

до 1900 года, судя по очкам — после 1898-го.

А вот гораздо более поздний рисунок, помеченный 1911 годом. Мы празднуем возвращение мандаринного сезона. Мандаринами мы объедались семнадцатью годами раньше, на Морнингтон-Плейс, и я полагал, что будем объедаться еще через семнадцать лет, но в 1911 году нам было отпущено только шестнадцать, в 1927 году она умерла. Заметьте внизу слово «когда-нибудь». Эта «ка-атинка» стала удивительным маленьким резюме проведенной вместе трети века.

Снова один из ранних рисунков (31 марта 1899 г.). На нем запечатлен переезд из Сандгейта в Арнольд-хаус. Мужская беспомощность в таких домашних передрягах контрастирует с неуемной женской энергией. Первый сюжет «Вставай! Едем!», то есть «Вставай! Едем!». Растерявшийся хозяин не может найти свои брюки. Он обнаруживает, что его перетаскивают из дома в дом, и протестует: «Ну, Дольки, почему я не могу просто идти?» И слышит неумолимое: «Птмччт перьезд!» *Et cet.*

На следующих двух страницах — рисунки образца 1898 года. От читателя ждем некоторых усилий, иначе их не поймешь. Может понадобиться и лупа, при издании пришлось их уменьшить. К этому моменту читатель либо уже не интересуется картинками, либо понаторел в их таинственном языке. Мы решили построить дом. К нам зашел Дж.-М. Барри (о котором, возможно, я расскажу позже), и они с Джейн меряются ростом («мерицарость»). Из-за того, где дом строить, мы поспорили с неким Тумером. Суслики, улюлюкая, за ним гонятся. Атом размышляет о том, почему он такой маленький. Остальное можно домыслить.

Эта более дерзкая попытка изображает окончание работы над «Любовью и мистером Льюишемом». Что означают маленькие фигурки, вылетающие из левого угла, я не знаю. Наверное — для красоты.

Наконец, позвольте мне привести гимн, воспевающий первые семь лет нашей совместной жизни. Строки, написанные на этом листке бумаги:

11 ОКТ<ЯБРЯ>, 1900

Какой у нас занятный Бог! По милости Его
Дж.-Г. Уэллс поправился, не помнит ничего,
И больше не лысеет, и зубы не болят,

И вообще — совсем здоров, на свой ученый взгляд.

Какой у нас занятный Бог! Он Тумера сразил,
Хотя его бесчинства сперва и попустил,
Он дал нам Данка честного и подтолкнул дела,
Чтоб наша праведная жизнь по-прежнему цвела.

Да, Бог у нас занятный. Он утащил кота
(Ну, Господи, не стыдно ли? Какая суета!)
Но кот вернулся, да и я, вернувшись из Италии,
Совсем немного похворал — и развиваюсь далее.
Он прячет брюки и носки, но я их нахожу,
Куда они деваются, понятно и ежу.
Он ночью хлопает окном, потом перестает,
И на него, по сути, не обижен даже кот.

Короче, Бог занятный. И я, Ему в ответ,
Стараюсь быть добрее, благословлять весь свет,
Щадить и миловать людей, прощать, не проклинать,
Перед творением Его смиренно замирать.
Он дарит мне и пиво, и вкусную еду,
А я Его благодарю и терпеливо жду,
Я славословлю и хвалю, пою, Его любя,
Но все-таки — нет, все-таки! — поменьше, чем тебя.

Корзины и каминного огня избежали сотни таких картинок; все они — примерно на одном уровне юмора и мастерства. Больше их воспроизводить не стоит. Важна оболочка, в которую они облекали обстоятельства нашей жизни, создавая тем самым оживленную, душевную атмосферу. Они видоизменяли, доводили до гротеска наши отношения, и те становились вполне приемлемыми. Бурный поток стал понемногу иссякать, когда я взялся за колыбельные «ка-атинки» для наших детей, но так до конца и не прекратился. Рисовал я и тогда, когда до ее смерти оставались считанные недели. И в эти последние наши дни мы достали однажды всю коллекцию и перебирали, делясь и упиваясь воспоминаниями.

Читатель, должно быть, подумал, что я слишком далеко удалился от темы разбросанности и сосредоточенности чувств, с которой начал эту главу. На самом же деле я объясняю, как мы исхитрились заменить страсть нежной привязанностью и игрой воображения, а те столь же действенно притягивали нас друг к другу, как самое сильное влечение. Не в меньшей степени нас

объединяло рабочее и деловое сотрудничество. Вначале я посылал печатать рукописи одной кузине (дочери того самого Уильямса, который держал школу в Вуки), но моя жена сама освоила машинку, и теперь мы не зависели от почтовых неурядиц, не ждали перепечатки, чтобы ее править, а там — печатать заново. Она не просто печатала, она тщательно изучала текст, следила за моим неизбывным грехом, повторениями, критиковала, давала советы. Еще в самом начале нашей совместной жизни, как только у меня завелись кое-какие деньги, я стал отдавать их ей, и всю нашу жизнь у нас был общий банковский счет, которым каждый из нас мог пользоваться, не спрашивая разрешения. Она тратила ровно столько, сколько считала необходимым; я мог не беспокоиться о налоговых квитанциях и почти совсем не интересовался финансовыми делами, довольствуясь ее ответом: «Все в порядке». Когда она умерла, я оказался чуть ли не вдвое богаче, чем рассчитывал. Да, еще одно: мне не нравились оба ее имени, Эми и Кэтрин. Ни то, ни другое я старался не употреблять. Читатель, вероятно, уже заметил, что я почти не называю жену по имени. И впрямь, я, как правило, употреблял какое-нибудь прозвище. Когда выстроилась уже целая вереница прозвищ, я вдруг стал называть ее «Джейн»; она стала Джейн, — да так и осталась. Не помню точно, когда это произошло, но вскоре и для меня, и для наших друзей имя это стало единственным. От «Эми» она совершенно отказалась; его она недолюбливала, как и я. Мать часто, даже чересчур часто, его употребляла, давая наставления.

А вот имя «Кэтрин» ей нравилось, и, как рассказывал я в «Книге Кэтрин Уэллс», она приберегла его для литературы. Там я собрал почти все, что она писала, а в предисловии дал оценку ее почти не замеченному, но весьма незаурядному дарованию. Писала она иначе, чем я, очень это подчеркивала и никогда бы не воспользовалась моим именем или влиянием, чтобы опубликовать свои не слишком многочисленные сочинения. Мы принадлежали к разным школам. Скажем, она неумеренно восхищалась Кэтрин Мэнсфилд{159}, а меня сдерживало ощущение явственной узости этой писательницы; она питала склонность к Вирджинии Вулф{160}, на чьи изыски я всегда смотрел холодно. Ей нравилась тонкая выдумка в духе Эдит Ситуэлл{161}, к которой я отношусь с тем же добродушным безразличием, что к узору старинного ситца, рисунку на посуде или очарованию детских стишков. Кроме того, она очень любила Пруста, который кажется мне гораздо менее достоверным и увлекательным, чем, скажем, каталог двадцатилетней давности или старая местная газета, в которой больше правды и повода для

рассуждений.

Вероятно, Кэтрин Уэллс не входила в нашу семью, не сливалась с нами. Тихая, утонченная гостья, поселившаяся у нас, ускользнула от грубых прозвищ, карикатур, компромиссов, которые навязала бы ей роль мисс Дольки или роль Джейн. Она не входила целиком в наш союз. Иногда я бросал на нее беглый взгляд; она смотрела на меня карими глазами Джейн — и исчезала. Все, что я о ней знаю, я рассказал в этой книге. Много позже, после войны, когда позволили сбережения, Кэтрин Уэллс сняла в Блумсбери квартиру, которой я так и не видел. Она объяснила мне, для чего ей это нужно, и я все принял; в тайной квартире, удаленной от жизни, вращавшейся вокруг меня, она размышляла, мечтала, писала, бесконечно и бесплодно искала чего-то, что казалось ей утерянным, упущенным, оставшимся в стороне. Там работала она над замысловатой, путаной повестью, которой не было конца, переписывала, оттачивала. Там воплощалась ее мечта об острове красоты и совершенства, на котором жила она одна, бывала этим счастлива, а иногда — просто одинока. В ее мечте жил возлюбленный, который так и не появился. То был голос, следы во влажной траве, розы поутру…

За год с небольшим до последней болезни она бросила эту квартиру и оставила незавершенной книгу.

Как видите, брак у нас был достаточно своеобразный. Странности его не ограничивались полным доверием в делах и чудаковатой игрой фантазии, тем отдохновением ума, о котором я говорил. Два ни в чем не похожих мозга напряженно решали самую важную жизненную задачу, поставленную друг другу. В конце концов мы ясно поняли, что наши физические реакции и умственные реакции глубоко различны.

Джейн считала, что я вправе распоряжаться собой и что судьба жестоко обошлась со мной, связав меня сначала с невосприимчивой, а потом — с чересчур хрупкой спутницей. Она была беспристрастней, последовательней и гораздо разумней меня. На положение свое она смотрела с той же отвагой, открытостью, самоотверженностью, с какими встречала любые передряги. Ревность она подавляла, предоставляя мне столько свободы, сколько я хотел. Как и я, она чувствовала, что при всей своей сложности союз наш уже неуязвим; мы срослись, вросли друг в друга, и она, возможно быстрее меня, поняла, как мало нужна нам монополия на страстную близость. Пока мы начинали борьбу за место в жизни и всеобщее освобождение, проблема эта едва ли могла воплотиться на практике. У нас не было ни времени, ни сил на плотские похождения. Когда же я обрел успех и досуг и смог повсюду ездить, расширил круг знакомых, стал

общаться с не признающими условностей интересными людьми, мне не пришлось себя ограничивать. Тело, набиравшее силу и здоровье, стремилось к полноте и красоте взаимной страсти. Именно такое вожделение царит в книгах Лоуренса{162}. Сам я не ставил это вожделение так высоко. Если бы я мог, я бы подыскал ему оправдание, но только не ценой того совместного вызова миру, который некогда бросили мы с Джейн.

После 1900 года наше с ней согласие увеличивалось; наш *modus vivendi* был достаточно прочен, чтобы продержаться до конца жизни, но безупречным его не назовешь. Бегство личности Кэтрин Уэллс из нашего союза — только одно из проявлений его несовершенства. Заметим, что участились и мои эскапады в духе Дон-Жуана от интеллигенции. Я пишу о том, как мы понимали друг друга, потому что хочу воспроизвести все существенное в моей жизни; это — попытка адаптации, но не образец для подражания. Всякая жизнь несовершенна: несовершенство превращается в наказание только тогда, когда превышает порог терпимости. Сумев сделать терпимыми собственные несовершенства, мы вряд ли кого-нибудь обидели. Я думаю, что такие соглашения между не очень совместимыми, но близкими по духу людьми должны бы участиться в нашем движущемся вперед мире, в котором все больше утверждается индивидуальность. Чем она своеобразней, тем труднее достичь полного единства, а значит — остановиться на одной, исключительной привязанности.

И однако, всякий нормальный человек естественно тяготеет именно к единственной и совершенной привязанности, при всем ее напряженном собственничестве и всей иррациональной ревности. Фаза, которую я назвал разбросанностью, неустойчива и преходяща; полного промискуитета нет и быть не может, всегда кого-то предпочитают, и никто не застрахован от того, что предпочтение стремительно возьмет верх над всем остальным. Случайная связь — всегда на скользком пути. Французы с их нелепой логичностью различают *passade*, взаимную тягу, которая может овладеть любой парой, и настоящую любовь. Теоретически меня ожидали *passades*.

Но жизнь и латинская логика всегда расходились. Так разграничивать нельзя. Нет ничтожных увлечений, есть просто разные оттенки и степени. Частая смена *passades* еще неприятнее женщине, чем мужчине, женщина гораздо лучше сознает, как не нужна ей беспорядочная плотская любовь. Она отдает *себя*, даря не только тело, но и личность, и вправе рассчитывать на большее, чем то, что она получает. В сущности, такая любовь ущербна для обеих сторон; люди не отдают себя друг другу. Иначе было бы

проще простого компенсировать несовместимость темпераментов при помощи умелых проституток.

Конечно, мы с Джейн верили в возможность подобного решения, хотя не так грубо и прямо. Если бы мы думали иначе, нам вряд ли удалось бы жить в согласии. С другой стороны, есть немало мужчин, полагали мы, и немало женщин с излишком сексуальной энергии и фантазии. И там, и там существуют неугомонные души, ищущие разнообразия. Что может быть разумнее для них, чем отыскать и утолить жажду друг друга?

А все прочие пусть живут так, как раньше.

Однако, если не брать в расчет какие-то редкие исключения из правил, так, как раньше, не получается. Когда соединяются мужчина и женщина, преображаются два мира. Преображение это может различаться по степени, но оно неизбежно. Было бы поистине удивительно, если бы природа, при всей своей беспечной экстравагантности, распорядилась как-то иначе. Доброму нраву и чуткому сердцу Джейн, нашей безграничной нежности друг к другу еще предстояло пройти серьезное испытание. Достаточно сказать, что они его выдержали.

4. Как я пишу о проблемах пола

А теперь, наверное, самое время вспомнить хотя бы вкратце те мои сочинения, которые связаны с отношениями мужчин и женщин. Эти книги и записки выросли прямо из моих личных проблем. По большей части это — парафраза, обобщение, попытка определить, типичен ли мой случай.

В моих ранних произведениях темы пола просто нет — тогда я чувствовал, что не знаю об этом ничего, достойного передачи. Свои проблемы я пытался распутать по-своему, стыдливо, но, чувствуя, что по-прежнему ничего в них не смыслю, начал задавать вопросы.

Наверное, по мере того как река забвения будет поглощать мои писания, в самую первую очередь исчезнут те очерки, рассказы и романы, в которых речь идет об отношениях полов. Если что-то и останется, то в виде цитат, как пособие для прилежных исследователей. В свое время сочинения эти сделали свое дело, но время их давно прошло. Там были главным образом критика, неразрешенные проблемы, протесты против ограничений и запретов, словом — всевозможные «А что такого?». Они помогли освободить поколение от рамок условностей и на том себя исчерпали. В эстетическом плане они не представляют особой ценности. Никто не будет читать их ради удовольствия.

Повесть «Любовь и мистер Льюишем» была опубликована в

1900 году. «Любовь» в этой книге — это в высшей степени наивный отклик юного, девственного воображения, а содержание, в сущности, сводится к «схеме карьеры» и ее крушению. В повести, которую я назвал «многоголосной фугой», борются две тенденции. Мистер Льюишем, как и я, — учитель и молодой ученый, и затруднения его — такие же, что и у меня. Но у него есть ребенок. Из любви к Этель Льюишем вынужден изменить «схеме» и остепениться. Семейная клаустрофобия, страх замкнуться на собственном доме, которые испытывал я и которые, вероятно, сыграли свою роль в моем отъезде из Саттона, ясно видны в этой книге. Когда я ее писал (1898–1899), я не соотносил сознательно историю мистера Льюишема со своими собственными обстоятельствами, но, по всей видимости, эта фобия жила где-то в подсознании. Позднее, в 1910 году, она вышла на поверхность, и я продал дом, ибо почувствовал, что иначе я никогда оттуда не сдвинусь.

«Морская дева», опубликованная в 1902 году, а задуманная двумя годами ранее, — это история с теми же двумя параллельными пластами, но соотносится она с совершенно иной системой ценностей. Появилось нечто новое — чувственные потребности. Тут есть что-то от исповеди, но какой-то шутовской. Любовь приводит не к оседлости, а к полной неразберихе. Впрочем, мечты о бескорыстном служении рушатся точно так же. Чаттериз, влюбленный герой, кидается не в домашний быт, а в озаренное луной море. Бремя второй фазы — жажда какой-то особой, неиспытанной жизни. Не только Кэтрин Уэллс, но и я мечтал порой о волшебных островах. Чаттериз — многообещающий молодой политик, нечто среднее между Гарри Кастом и кем-нибудь из романа миссис Хэмфри Уорд{163}, помолвлен с героиней, сознательно и откровенно списанной с «Марселы», принадлежащей перу этой писательницы. Все надежды героини разрушает русалка, вышедшая на берег, когда Бантинги, у которых героиня эта гостит, купаются прямо в саду — частные сады в Сандгейте спускаются к берегу. Русалка — это красота, магия красоты. Она сводит Чаттериза с ума, он жаждет «иных грез», иной жизни за пределами разума и возможности. Книга кончается так же легко, как и начиналась, — «в разгар» лунного сияния.

Следующая книга, где описаны нерешенные сексуальные проблемы, — это «Современная Утопия» (1905). Созданием ее правил Платон, я слушался его, исключив сексуальные увлечения, уменьшив до предела различия между мужчиной и женщиной и совершенно не считаясь с фазой сексуальной сосредоточенности. Именно так решал и решает эту проблему интеллектуал. Среди

моих самураев есть и мужчины и женщины, они крепки, очень легко одеты, а любовь у них свободна, и они всегда готовы к услугам. Подобно коммуне Онейда в штате Нью-Йорк они составляют «групповую семью». Вероятно, серьезной привязанности у них быть не может, во всяком случае, я так предположил, хотя и подчеркнул их взаимную обходительность. Студентам нашим книга понравилась, привила многим из них склонность к беспечным утехам, быстро восстановила против прочности уз, ревности и обид. Словом, она сыграла немалую роль в том движении, которое освободило женщин от строгостей викторианского целомудрия.

Если вообще можно создать общую теорию сексуального поведения и законов пола, то моим последним в ней словом останется «Современная Утопия». Именно в такой свободной атмосфере каждый индивидуум должен решить для себя проблемы привязанности, сотрудничества, верности и сострадания. Для каждого человека, каждой пары — именно здесь повод для раздоров, а чаще всего — и для надежных решений. Ключ к современной прогрессивной мысли — свободное осуществление всех разнообразных возможностей и отказ от суровых, универсальных решений прошлого. Так мы ничего не решаем, но освобождаем и индивидуализируем саму проблему. Интересный парадокс: социализм в вопросах пола включает крайний индивидуализм, а «соревновательный индивидуализм» связывает человека строгими семейными отношениями.

За «Современной Утопией» последовала «Анна Вероника» (1909), где молодой героине предоставлены доселе не известные английской беллетристике свобода выражать желания и сексуальная предприимчивость. Книга вызвала бурный скандал, а нынешняя молодежь, наверное, считает ее вполне умеренной. Она довольно слабо построена, злоупотребляет монологами, но по сравнению с героями моих ранних романов Анна Вероника все-таки живая. Дело в том, что многое в ней заимствовано из жизни. По этой и по многим другим причинам роман наделал много шума.

Особенно рассердились на то, что Анна Вероника, девица, влюбилась и не стала этого скрывать, вместо того чтобы ждать, как обычные героини. То, что молодая девушка распознала свой пол раньше, чем ее успели «просветить», казалось неслыханным святотатством. Анна Вероника полюбила определенного мужчину, восхищалась им, его добивалась — и добилась, проделав все это с большим энтузиазмом. Все это лишь слабо отражало то, что бывает на самом деле, но в поведении героини было что-то убедительное, достаточно убедительное, чтобы

создать иллюзию реальности; и с самого начала на Анну Веронику нападали так, словно она — живая женщина.

Шум был сильным и продолжительным. Книгу изъяли из библиотек, ее клеймили ревностные священники. Дух порицания, таящийся в каждом обществе, пробудился и обрушился на меня. Перебрав свои записи и воспоминания этого периода, я обнаружил, что мне предъявляли слишком уж много бестолковых обвинений, и описать их невозможно. Меня упрекали несправедливо и поспешно, а я с немалой досадой и обидой отвечал, безуспешно пытаясь перейти в наступление. Нет, я не притворяюсь кротким, достойным мучеником. Меня не просто ругали в газетах, не только публично порицали, но и пытались, совершенно меня не зная, предать общественному остракизму. Идеологом и главной ударной силой всего этого был Сент-Лу Стрейчи{164}, владелец «Спектейтора». Один обозреватель, используя крайние средства нашего великого языка, собрался с духом, как и подобает мужчине, когда на карту поставлены основы основ, и просто, без церемоний назвал Анну Веронику шлюхой. Мне кажется, он необычайно расширил смысл этого слова.

Обозреватель был мастером своего дела. «Грязный мир его (т. е. моих) фантазий, — писал он, — это какая-то случка куниц и хорьков, не ведающих ни долга, ни отречения». Так изображает он «Современную Утопию». Он рвал и метал, все в том же духе, возвышая голос, вплоть до того самого, поистине мужественного слова.

Вот какой была травля, так меня возмутившая. Враждебность Стрейчи, пусть чуточку неуклюжая и непреклонная, была хоть искренней. Мы встретились как свидетели защиты (когда обвиняли автора одной книжки о контроле за рождаемостью), и он мне очень понравился. Раньше я негодовал и протестовал, но, по правде говоря, мне было грех жаловаться. Общественное возмущение не нанесло мне вреда. Оттого, что нас приговорили какие-то незнакомые люди, наша жизнь не изменилась. Знакомые не осуждали нас. Большинство моих друзей прекрасно выдержали испытание. Такие разные люди, как Честертон{165}, Мастерман{166}, Сидней Оливиер{167} с семейством, Рей Ланкестер, Шоу, Гарри Каст и леди Мэри Элчо бестрепетно меня защищали и никак не участвовали в бойкоте. Словом, никакого мученичества в современном смысле не было, а глупость кампании способствовала победе. Остракизм, словно фильтр, уберег меня от множества дураков и зануд. Плоды этой победы пожинал не я один. Фишер Анвин{168} скупил все права на мою книгу и распорядился ими очень выгодно. Книгу раскупили, ею

занялось множество издательств. После «Анны Вероники» в английской беллетристике все стало иначе; юные героини, стремящиеся к запретной любви, не опасаясь неминуемых кар, появлялись и множились не только в романах, но и в жизни.

Однако именно страсти по «Анне Веронике» совершенно извратили представление обо мне у читателей и в литературном мире. Тот факт, что в большинстве моих книг и речи нет о поле, любви и положении женщины, был забыт; будь я даже каким-нибудь Д.-Г. Лоуренсом, едва прикрытым фиговым листком, меня вряд ли могли бы счесть более непристойным. Это привлекло ко мне совсем других читателей, и такие книги, как «Киппс», «Война миров», «Первые люди на Луне» и «Чудесное посещение», раскупили нетерпеливые охотники до непотребностей — к их безмерному разочарованию. Недоуменно покопавшись в них, они решили, что я писатель поверхностный, очень переоцененный, и мой непрочный авторитет на литературных задворках быстро испарился.

В 1911 году, хотя и с меньшей силой, конфликт повторился — на сей раз вокруг моего «Нового Макиавелли». Оснований тут было больше. Сюжет о страстной деве не показался мне исчерпанным; признаю, что и в этом романе, и в последовавшем за ним «Браке» я бросал вызов — хотя бы в манере, если не в теме. Вполне демонстративно я не принял урока — и на сей раз был приговорен к полному разгрому. Но эту атаку предприняли, когда миновало уже два года. Многим было неловко из-за слишком резкой реакции на «Анну Веронику», а кому-то надоело, что самые стойкие мои оппоненты требуют разнести меня в клочья; словом, вторая попытка покончить с Уэллсом не только его не уничтожила, но даже вознесла. Я стал не изгоем, а героем.

«Новый Макиавелли» впервые был опубликован по частям в «Инглиш ревью» Форда Мэдокса Хьюфера{169}, а постоянные слухи о том, что ни один издатель не согласится его напечатать, привели к тому, что журнал повысился в цене — и читатели снова разочаровались. «Из-за чего этот шум? — вопрошали несчастные. — Да тут ничего такого и нет!» Издателей тайно обрабатывали те, кого называют влиятельными людьми, но я не знаю и знать не хочу, кто они и что при этом говорилось и делалось. Почтенное издательство Макмиллана уже заключило со мной контракт и по закону и по совести не могло отступить, но тут они виновато попросили меня, чтобы я разрешил напечатать книгу как бы в издательстве Джона Лейна, менее щепетильного в отношении своей репутации. Я согласился. Благовоспитанность Макмиллана (или что там еще могли подвергнуть сомнению влиятельные люди) оказалась вне опасности.

К откровенному эротизму «Новый Макиавелли» не имеет ни малейшего отношения. Это — новая вариация на тему повестей «Любовь и мистер Льюишем» и «Морская дева». Суть его в резком конфликте между общественными интересами и возвышенными порывами романтической страсти — симпатии всецело на стороне страсти. Похожая на Марселу героиня «Морской девы» осталась, но русалка превратилась в гораздо более убедительную особу, а любовники теперь не умирали при лунном сиянии, но ехали в Италию, где пробовали себя в литературе. Там есть несколько хороших портретов, один или два недурно написанных пассажа и забавное описание настоящего пожара на одном званом обеде, который давал Каст и на котором я присутствовал. Сам же роман довольно слабый.

Я не баловал ни себя, ни публику художественной порнографией и не нападал на то, что считал нравственным. Мне было не в чем себя упрекнуть, и я не подозревал в то время, что фабианцы с задних скамеек и отбросы литературного мира украсят мою неопытную и неповинную голову нимбом распутника. Мне было невдомек, с какой легкостью мои простые вопросы можно истолковать как полупризнания фабианского Казановы{170}, чернильного Ловеласа{171}, социалистического сатира или Купидона. Вопрос «А что такого?» вертелся у меня в голове всю жизнь, а пыл моих исканий, без сомнения, подхлестнули и сдержанность моей первой жены, и невинная хрупкость второй. В этих книгах выплеснулось то, что я долго подавлял. Впрочем, насколько мне удается припомнить отдельные фазы своей жизни, личный мой опыт в то время лишь подсознательно влиял на творчество, и думаю, что до вопроса «А что такого?» я добрался бы так или иначе. Во всяком случае, я ставил его искренне — и тогда, и позже.

Не желая оставлять своих изысканий, я простодушно решил, что могу охватить все смежные проблемы. Я пришел к выводу, что половая жизнь начинается в отрочестве, и именно этому открытию отрочество и посвящено. Кроме того, я решил, что, раз уж она началась, откладывать ее — бессмысленно. Мне казалось нелепым, что молодые люди мучаются невысказанными желаниями; что, скованные деспотическими запретами, вслепую, учась на ошибках, они обретают сексуальный опыт. Примером искусственно затянувшейся невинности, конечно, послужила моя история с первой и второй женой. Мне все больше претило целомудрие, то есть, по сути, замаскированное воздержание. Я был уверен и утверждал, что для нормального человека невозможна физическая и душевная гармония без активной сексуальной жизни, которая столь же необходима, столь же

насущна, как свежий воздух и свобода движений, и ни разу не имел повода изменить свое мнение.

Выяснилось, однако, что проповедь активной, свободной и здоровой любви — как задолго до меня понял Платон — не может быть прямой, прямолинейной. Приходится снабжать ее оговорками. Некоторые, но не все, я вынес на обсуждение. В обществе, где ограничение жизнедеятельности было нормой, отмену традиционных половых запретов пришлось чем-то компенсировать, и потому мне пришлось подкрепить свои доводы пропагандой неомальтузианства. Я взялся за нее в «Предвидениях» (1901) и открыто писал об этом тогда, когда неомальтузианство совсем еще не было таким общепризнанным, как сейчас.

Теперь мне кажется, что в некоторых ранних статьях о сексуальном раскрепощении, ввязываясь в споры из-за частных условностей, я не смог ухватить суть вопроса. Я осуждал неразумную систему подавлений и запретов, нисколько не считаясь с тем, что запреты эти столь же неразумны, сколь и естественны. Прислушиваясь только к одному роду инстинктов, я не давал слова другим. Я не задумывался, почему, собственно, раскинута та сеть отвергаемых мною ограничений, в которую угодили счастье и радость. Несмотря на свой горький опыт, я пренебрег тягой к сосредоточенности в любви, а значит, и собственничеством, и властностью, и ревностью, и ненавистью к вседозволенности. Подавляя их в себе самом, я не желал принимать их во внимание, когда спорил.

Но споры и дискуссии заходили все дальше, и внимание мое, едва ли не против воли, обращалось назад, к тем глубинным свойствам человеческой натуры, которые стоят на пути бодрой и здоровой «вседозволенности». Мне пришлось подумать о ревности. Все это хитросплетение запретов, ограничений, оговорок и страхов можно было объяснить развитием и экспансией ревности. Ревность не может быть разумной, но она ничуть не меньше, чем страсть, определяет наши поступки. Ревность — это не просто вражда между соперниками. Ревнивыми бывают и родители, и посторонние, и общество.

Я решил рассмотреть проявления ревности. Когда-то я читал «Происхождение человека» Ленга{172} и Аткинсона (возможно, под влиянием Гранта Аллена{173}), и эта книга разъяснила мне многое. Я узнал, что примитивные табу, обуздывая и направляя в нужное русло ревность самых сильных мужчин, способствовали становлению племени. Я увидел, что человеческие сообщества, создавая особые институты, управляющие ревностью, постепенно подчиняли патриархальное общество растущим коллективным

потребностям. Цивилизация постоянно развивалась, покупая и обобщая, социализируя и легализируя ревность и собственничество в половых, как и в материальных отношениях. Свободу секса отняли у нас точно так же, как и свободу экономическую, оградив общественными установлениями чрезвычайно сильный инстинкт. Брак, — говорил я, — неразрывно связан с частной собственностью. В сексуальной жизни он олицетворяет ревность, как в экономической жизни ее олицетворяет частная собственность. К великому ужасу стратегов и тактиков фабианского общества и к сильному замешательству лейбористов, я начал проповедовать эти идеи, призывая «сексуализировать» социализм.

Мне, естественно, хотелось бы показать, что размышления мои с самого начала были совершенно ясными, последовательными и целенаправленными; не будь у нас в семье обычая хранить письма и собирать записи, о котором я уже упоминал, я бы так и поступил. Сейчас никто бы и не вспомнил о моих колебаниях, если бы не этот архив. Союз с лейбористским социализмом не очень повлиял на мои романы и повести, но нашел отражение в разных памфлетах, беседах и письмах.

Сперва разберем романы. Они достаточно последовательны. Тема ревности преобладает в «Днях кометы» (1906). Мимо Земли пронеслась комета, и человеческие отношения обретают чистоту и покой, ревность же — а с ней бедность и войны — вообще исчезают. Ревность составляет зерно конфликта и в «Страстных друзьях» (1913), в «Жене сэра Айзека Хармена» (1914), а в «Браке» (1912) я вновь писал о противоречии между смелыми планами и велениями страсти, которое послужило сюжетом трех более ранних повестей «Любовь и мистер Льюишем», «Новый Макиавелли» и «Морская дева». Во всех этих книгах внимание сосредоточено не на характерах, а на столкновении естественных, целесообразных мотивов с миром социальных условностей и косных установлений. Действующие в них персонажи, таким образом, — скорее обобщения, типажи, а не яркие индивидуальности. Ничем иным они бы стать не могли. По причинам, которые я объясню позже, мой вклад в жанр «романа-дискуссии» об отношениях мужчин и женщин стал меньше, когда началась война. Кристина Альберта из «Отца Кристины Альберты» (1925) — гораздо более живая, чем Анна Вероника, да и мораль ее куда проще, но времена изменились и на этот раз не раздалось ни одного возмущенного голоса. Обозреватель из «Спектейтора» и многие другие после 1909 года успели умереть. В этом отношении либерализация свершилась.

Еще три моих произведения можно отнести к спорам о поле

— «В тайниках сердца» (1922), где я размышляю не столько о ревности, сколько о любви как источнике или утрате энергии, и, в меньшей степени, «В ожидании („Между тем“)» (1927), где мысли эти перемешаны с другими, но похоже само их направление. Возможно, мы еще поговорим о разноречивой проблематике этих двух книг. В обеих ставится вопрос, может ли женщина вообще быть достойным членом общества, а если может, то какова ее роль; позднее эта проблема представлена inter alia[12] в «Мире Уильяма Клиссольда» (1926). В завершающей части этой работы намечен один женский персонаж, «Клементина», настолько реальный и курьезный, что он стоит особняком и выглядит нечаянной шуткой.

Перейдя от романов к многочисленным документам, памфлетам и письмам того периода, я обнаружил, что в них взгляды мои и мнения гораздо менее связны. Начал я хорошо, но вскоре сбился, запутавшись в политических и пропагандистских вопросах. Вполне откровенное изложение идей я нашел в докладе, прочитанном мною в фабианском обществе в октябре 1906 года и озаглавленном «Социализм и средние классы». В нем я прямо заявляю, что «институт брака не более незыблем, чем соревновательный индивидуализм», и весь он призван это доказать. Позже я опубликовал его вкупе с другой статьей, появившейся в «Индепендент ревью» («Социализм и семья», 1906), и здесь формулировки, мягко говоря, более сдержанны. В обеих статьях я ратовал за институт, к которому ведет разрушение семейных связей, — за общественную опеку над материнством. Должна ли эта опека обеспечиваться каким-нибудь брачным контрактом или распространяется на всех матерей без исключения, я толком не решил. Есть факторы отцовского воспитания и евгеники, о них тоже нужно подумать. Жаль, что такие затруднения мешали мне определить свою позицию; вообще же тексты довольно разумны.

Но тут на меня несправедливо напал Джойнсон-Хикс{174} (так его тогда звали), участвовавший в кампании против лейбористского социализма в Алтринхемском избирательном округе (Чешир), а Дж.-Х. Боттомли, доверенное лицо консерваторов по Ньютонскому округу, принялся более или менее сознательно искажать мои слова. Джойнсон-Хикс заявил, что социалисты хотят развести жен и мужей и сделать каждую женщину чем-то вроде общественной проститутки. Чтобы обосновать это утверждение, неимоверно поразившее и верхи и низы лейбористских легионов, он попытался прикрыться выдержками из моих работ. «Достаточно прочитать мистера Уэллса, — писал он, — который ясно говорит, что „жен, как и

имущество, надо обобществить“, и „каждого ребенка надо взять у отца и матери и поместить в государственные ясли“» («Дейли диспетч», 12 окт. 1906).

А мистер Боттомли в памфлете, вышедшем для местного пользования, подал это так: «Социализм, безусловно, ведет к отрицанию собственности на людей. Освобождены должны быть не только земля и средства производства; женщины, дети, мужчины и вещи должны выйти из частного владения. Таким образом, в будущем не будет „твоей“ или „моей“ жены, а будет „наша“ жена». Выделенные слова он добавил от себя, но они каким-то образом попали в кавычки.

Две выдержки (одна из них — из рецензии на «В дни кометы» в «Таймс литерери саплмент», а другая — из статьи «Социализм и половые отношения», «Спектейтор» от 19 октября 1937 года) тоже попадают в поле дискуссии. «Таймс литерери саплмент» пишет:

> «Жены у социалистов, насколько нам удалось понять, как и имущество, должны стать общими. В основе нового общественного договора, согласно мистеру Уэллсу, должна лежать свободная любовь».

«Спектейтор» же написал буквально следующее:

> «Например, мы видим, как мистер Уэллс в своем романе „В дни кометы“ делает свободную любовь главным принципом регулирования сексуальных связей в своем обновленном государстве. Романтическое затруднение — кого из двух влюбленных осчастливит героиня — разрешается миром. В данном случае „выходом“ послужила полиандрия, в другом им запросто окажется полигамия».

Правильная реакция на такое обвинение заключалась бы в том, чтобы сказать: «свободная любовь» не подразумевает любви беспорядочной, а процитированных слов я не писал, потом же — терпеливо и доходчиво объяснить, что личная сексуальная свобода и коллективная ответственность за семью не означают ни «обобществления жен» и разлучения детей с родителями, ни полигамии, полиандрии или еще чего-нибудь в этом духе. Но вместо того, чтобы пуститься в объяснения, я, возмущаясь и негодуя, отрекся от «Свободной любви» (что и вовсе нелепо) просто потому, что, подобно слову «атеист», это словосочетание вызывало кривотолки, и вдобавок более или менее внятно отказался от того, что говорил последние пять-шесть лет. Я сам поставил себя в неловкое положение и вскоре обнаружил, что

союзники-социалисты озадачены. Мне не понравились их упреки. В «Новых мирах» (1908), впервые опубликованных по частям в «Грэнд мэгэзин» в 1907 году, я зашел еще дальше, опровергая самого себя, и сейчас в сокрушении читаю этот жуткий образец фабианских недомолвок.

> «Социализм никогда не определял, что такое разумные условия брачного контракта, и просто смешно с этим спорить. Дело здесь не в каких-то пробелах социализма, а в пробелах человеческого познания. Мы не очень ясно разбираемся в этом клубке сложнейших проблем. Социализм не предлагает теорий ни о том, должен ли брак быть долгим, или, как принято у католиков, пожизненным, или, наконец, вечным; он не говорит, как некоторые протестантские общины, что конец его обусловлен тем или иным событием, или, как предлагал Джордж Мередит{175}, истечением десятилетнего срока. Таких проблем социализм не решает и, скажем прямо, решать не должен. Он сохраняет здесь нейтральную позицию».

Позиция эта неверна. Социализм, если он больше, чем пустяковая заплатка на экономических отношениях, должен переродить общество. Семья может сохраниться только как биологический факт. Хозяйственная и воспитательная ее автономия обречена. Современное государство обязано опекать детей, помогать родителям, замещать или подчинять их как патрон, опекун и воспитатель; оно должно освободить всех от обязательств взаимной принадлежности и совершенно недвусмысленно отказаться от того, чтобы признавать или навязывать сексуальное собственничество. Тем самым оно не должно оставаться в стороне, когда узнает о подобных притязаниях. Оно не должно их позволять. Тогда же, в той статье, я был угодлив, уклончив, расплывчат и чувствителен, словно решил непременно стать премьер-министром консервативного толка.

Перепалки с политиками и памфлетистами происходили в 1906,1907 и 1908 годах, и в 1908-м я оказался в истинном клубке компромиссов и недоговорок. Ниже, когда я буду рассказывать о своих отношениях с принятыми формами религии, мне придется вспомнить снова о том, что есть во мне такая склонность к компромиссам. В сущности, это простительно. Ее можно объяснить культом скромности и цивилизованной тягой к конформизму, а в них есть свои хорошие стороны. Могучим умам она не вредит, но мой недостаточно тонок и искушен для таких

ухищрений; моя роль — говорить с предельной ясностью, нападать, высмеивать, убеждать. Лучше обидеть, чем сбить с пути. Я проигрываю, когда прибегаю к дипломатии. Мне повезло, что обстоятельства, объединившись с внутренними моими побуждениями, позволили мне писать, невзирая на отклики и не предавая своих мнений. Так было во время скандала с «Анной Вероникой» в 1909 году и во время кампании против «Нового Макиавелли» в 1910–1911 годах. После этого моя позиция вполне прояснилась, прояснилось и то, что, несмотря на красоту и уют нашего дома, на всю благопристойность нашей поистине трудовой жизни, нас с Джейн отнюдь не торопились счесть милой и достойной молодой парой, почтительно поднимающейся по лестнице английской жизни от очень скромного начала к признанию, достатку и даже «почестям».

Дело было не только в том, что я неотступно спрашивал «А что такого?», когда речь шла о семье и браке, и лейбористы с фабианцами сочли это непристойным. Идеи мои столкнулись с феминизмом. Я понял, насколько я левее официальных левых движений, и это в какой-то мере толкало меня на компромиссы, о которых я теперь жалею.

Феминистское движение начала XIX века в восьмидесятые и девяностые годы переживало вторую молодость. Выйдя из пеленок, оно набирало силы, энергию и дерзость. Женщины все настойчивее требовали экономической и политической независимости, и мне сперва показалось, что наконец-то появляется то свободное и благородное товарищество достойных женщин, мечты о котором я вынашивал с юных лет.

Когда же воительницы свободы подошли ближе и я получше разглядел их, я счел необходимым уточнить, чего же они хотят. Если они хотят свободы, им нужно получить право распоряжаться собой, но можно ли на это рассчитывать, если свободная любовь и неомальтузианство не вытеснили из их программы предписанную и обязательную любовь и принудительное деторождение? Подчиненное положение — необходимый атрибут патриархальной, основанной на собственности семьи, а экономическое неравноправие, на которое их обрекала обязанность рожать и воспитывать детей, можно ликвидировать только в том случае, если мы учредим общественную опеку над материнством. На мой взгляд, именно такие требования, а не жалкие политические свободы должны стать для них Великой Хартией Вольностей; и я принялся это разъяснять с прямотой и откровенностью, которые так раздражали политиков-лейбористов.

Но лидеры феминистского обновления не больше, чем

социалисты, хотели понять, куда идут. Возмущаясь несправедливостями, которые подпитывали их движение, они не стремились распознать его конечные цели. Столкнувшись с необходимостью откровенно противопоставить свободную женщину хранительнице очага, они струсили. Становилось все яснее, что многие суфражистки не столько стремились к свободе и к полноте жизни, сколько завидовали относительной независимости мужчин. На одну участницу возрожденного движения, жаждавшую достойной и благородной жизни, приходилась дюжина тех, кто только и думал, как бы навредить беспечному, безответственному самцу. Они стремились не к жизни, а к мести.

Им хотелось, не меняясь, внушить всем, что они неизмеримо лучше и тоньше мужчин, и потенциально намного талантливее в поэзии, музыке, живописи, общественной деятельности, науке и философии; что человек всем обязан только матери, а не отцу; что женщинам тем самым надо предоставить полный контроль над имуществом и жизнью законного супруга, чтобы они могли предписать этому грубому созданию полнейшее целомудрие и вообще все, что взбредет им в голову. Словом, вместо того чтобы установить свободное равенство, они переворачивают вверх дном отношения полов. Да, приятно и полезно сказать «Оглянись на себя» после веков мужской невоспитанности, но практически это почти ничего не дает и не раскрывает во всей глубине напряженность в отношениях полов.

Всякую связь феминизма с проблемой сексуального здоровья и счастья эти дамы с негодованием отвергали. Скромность их не уступала отваге. Секс?.. А что это такое? Отыди, Сатана! Об этом они и не помышляют. Они — добрые честные женщины, которые праведно борются за право голоса, и больше ничего. Право голоса должно стать орудием их превосходства. В это требование они вложили всю энергию набирающего силу движения. Тем самым оно было не ближе мне, чем лейбористский социализм. Для этих движений я был enfant terrible[13], и говорить обо мне было не принято.

Я не собирался описывать здесь историю этой постыдной кампании, резко свернувшейся в 1914 году, когда началась война. Не буду рассказывать, как били окна, поджигали сельские домики, почтовые ящики и церкви, как визжали на митингах «Голос для женщин!», пресекая любое обсуждение. Не скажу и о том, как после всего этого героинь выдворяли, и очень грубо; о том, как девушки из хороших семей неожиданно узнали, что в тюрьмах и полицейских участках грязно и мерзко (хоть какой-то прок!) и обо всем прочем. В «Жене сэра Айзека Хармена» я

попытался объяснить себе и читателям, какие унижения и оскорбления побуждают нежную женщину бить стекла. Я тщательно изучил прототип героини, и, мне кажется, она получилась живая, но ни одна суфражистка не узнала себя в этом зеркале. Не хотелось бы и говорить здесь о том, как, едва Европа вступила в войну, право голоса бросили женщинам, чтобы они не шумели, и привело это только к тому, что ослабели и без того угасающие силы демократии.

В те сравнительно тихие дни, когда власти еще не перешли к примитивному насилию, девушки и женщины могли донимать мужчин, полагаясь на неизменную терпимость цивилизованного общества. Но общество все больше разлагается, бандитизм и терроризм в политической жизни растет, атмосфера стала слишком жестокой и тяжелой, чтобы женщины могли объединиться в боевую социальную и политическую организацию. По-видимому, они не очень ясно представляют расклад сил и, в качестве *именно пола*, чрезвычайно мало участвуют в сознательных и полезных действиях. Когда их свободу уничтожили нацисты и фашисты, никто и пальцем не шевельнул. Война полов закончилась, в Англии о ней напоминают лишь легкий сарказм и ворчание леди Ронда{176} и всей компании умных дам из «Тайм энд тайд». Затихла она и почти во всем мире.

Теперь я могу с сочувственной усмешкой вспоминать столкновение подающего надежды и явно переоценивающего свои силы молодого писателя вдвое младше меня теперешнего со свежим и недолговечным явлением — воинствующей суфражисткой. Как удивляла она меня, как озадачивала! Молодые люди всегда хотят загнать всех женщин, во всем их разнообразии, в один-единственный класс, чтобы сперва обожествлять их, а потом — оценивать и судить. Это естественно, разумно на вид и нелепо по сути. Еще в плену иллюзий, я готовился к встрече с богинями, в их долгожданном и прекрасном бунте, чтобы сделать для них буквально все, но вместо недоступных богинь столкнулся с кишащим роем разочарованных, уязвленных существ, слегка испуганных и не понимающих, что они делают, как любая, возмущенная толпа. Полный самых радужных чаяний и замыслов, я скрупулезно обосновал их недовольство, предложил свою блестящую трактовку неомальтузианства, свободной любви (ton corps est à toi[14]), заговорил об экономической независимости, общественной опеке над материнством, изживании животного чувства ревности, но тонкое, полное исследование оказалось никому не нужным, а бунт, как все бунты — шумно и бессмысленно, — подходил к чисто символическому завершению: в данном случае — к праву голоса, а в сущности — к

разочарованию и упадку.

В 1910–1914 годах, по мере того как снижался накал антагонизма, порожденного открытой войной полов, мужчины и женщины, неотступно нуждаясь друг в друге и остро нуждаясь в сотрудничестве, вновь обратились к насущным и разнообразным проблемам взаимного приспособления, к миллиону вечных проблем, испокон века стоящих перед ними. Не знаю, насколько помогла человечеству борьба за право голоса и его завоевание, но не сомневаюсь, что принесла пользу менее шумная и более обширная кампания под лозунгом «А что такого?», в которой я сыграл свою скромную роль. Перед будущими поколениями расчищено скучное, нелепое нагромождение старомодных запретов, условностей и претензий. Нельзя сказать, что больше нет того самообмана, в который так легко впасть, когда дело идет о сексе; это заложено в природе вещей. Невозможно погасить бесконечные колебания между вечной потребностью друг в друге и вечным страхом зависимости, но теперь хотя бы ясно, что очарованию и вызванным им силам можно дать волю. Влюбленность заняла свое место, мимолетные импульсы приручили, поставили под контроль. Исчезают богини и Морские Девы, один взгляд на прародителя-шимпанзе уничтожает все Венерины гроты, но люди остаются. Вместо жесткой системы правил и ограничений, решающей женскую проблему простым и универсальным способом, нам даны бесчисленные способы добиться согласия между мужчиной и женщиной и неисчерпаемые ресурсы взаимной благожелательности.

5. Еще раз о романах

Передо мной — внушительная стопка материалов, хранившихся в папке с надписью «Романист ли я?». Привести их в пристойный вид было очень трудно. Их никак не упростишь. Это похоже на сортировочную станцию для мыслей, где столкнулось несколько поездов, и я чувствую, что в самом лучшем случае могу не столько привести поезда в движение, сколько вынести из-под обломков кое-какие мысли.

Один из поездов прибыл из предыдущей главы. Это — мысль о непреложной важности отдельного человека, его индивидуального подхода к жизни, проблема «согласия между мужчиной и женщиной и неисчерпаемых ресурсов взаимной благожелательности». Она очевидным образом побуждает увидеть в романе развернутую дискуссию на темы: «Как они относились друг к другу? Как они могли относиться? Как должны?..» Я решил писать романы, которые заметно отличаются от тех

псевдонаучных повестей, где материалом служит скорее воображаемый эксперимент, чем личный опыт, поскольку исхожу из предположения, что основной материал для романа — то, как люди приспосабливаются друг к другу. «Любовь и мистер Льюишем» целиком посвящен именно этому.

Эта колея пересекается с другой, на которой роман — не опыт этического расследования, но отражение неких впечатлений. В пухлой папке с бумагами разной ценности, которые так трудно привести к общему знаменателю, я нахожу следы бесед и споров с Генри Джеймсом, происходивших треть века назад. В литературе того времени он был весьма заметен и на удивление тонко понимал ту технику, какою она жила. Ко мне он относился хорошо, а книги мои принимал достаточно серьезно, чтобы из-за них сокрушаться. Я беспокоил его, а он — меня. Как я еще покажу, мы спорили обо всем, основываясь на различиях не только темперамента, но и воспитания. Он не считал, что роман может стать руководством к действию. Ум его отвращался от самой этой идеи. С его точки зрения, существовали не столько романы, сколько Роман, очень возвышенная штука. Роман он рассматривал как вид искусства, романистов — как особый, избранный подвид художников. Их высокий статус и репутация очень его волновали. Он видел в нас мастеров или подмастерьев, малых и великих, явно печалясь о том, что у нас не принято говорить «Cher Maître»[15]. Десяти минут с ним было достаточно, чтобы понять, как высоко он ставит свое искусство. Я же в силу натуры и образования не слишком сочувствовал таким настроениям. Я был склонен считать, что в романе — столько же искусства, как на ярмарке или на бульваре. Он не должен вас «вести»; вы идете куда хотите.

Это совершенно не вязалось со взглядами Джеймса. Вспоминаю один разговор вскоре после того, как вышел роман «Брак». Джеймс сдержанно и осторожно сообщил мне, что в этом романе есть серьезный изъян. Изъян этот он находил едва ли не у всех современных беллетристов; рассмотрев его, он извлек для себя немалую пользу — и разъяснения его перешли во всеохватную дискуссию о том, каким быть роману и для чего его пишут.

Думал он так: «Брак» — это история молодого ученого, Трэффорда, который, по-видимому без особого опыта, берется вести аэроплан своего друга (в 1912 г.!) и падает вместе с другом прямо на крокетную площадку, в семью Поупов и в жизнь Марджори Поуп. Его перевязывают, вызывают врача, суетятся, и Марджори, до того обрученная с мистером Магнетом, серьезно в него влюбляется. Она едет за покупками в запряженной осликом

повозке, встречает охромевшего Трэффорда — он тоже правит повозкой; они сцепляются колесами, завязывается беседа. Все это (не считая того, как это написано) Джеймс еще мог вытерпеть. Но вот молодые люди, чтобы не мешать движению, ставят свои повозки на полянку и беседуют там три часа. Здесь Джеймс возражал. Где беседа? Мы знаем только, что герои объяснились друг другу в любви. Нет, так нельзя! Усладившись ненужными частностями, я выбросил главное. Видимо, — спокойно, но твердо говорил он, — я сам не знаю, что происходило, что было сказано на той полянке; и вообще, в такой долгой беседе есть что-то неправдоподобное, а неясность и недостоверность в очень важном месте происходят оттого, что я недостаточно продумал характеры персонажей. Я не постарался выделить, индивидуализировать их. Кроме того, в беседах двух главных героев они, особенно он, сообщают столько о себе, словно разговаривают с читателем, а не с девушкой. Действительно, я забочусь в основном о читателе — Трэффорд говорит все, что он говорит, потому, что я торопился или просто не сумел написать это как-нибудь иначе. А может, дело в том, что, пиши я в другой манере, пришлось бы сказать гораздо больше. Генри Джеймс был совершенно прав, я не продумал толком эти характеры и они не получились естественными и живыми. Однако для меня они здесь второстепенны или, во всяком случае, не очень важны по сравнению с замыслом.

Сейчас мне уже не припомнить все тонкие и точные замечания Джеймса. Я не пытался отвечать, ссылаясь на его собственные книги; но мысль его понимал. Если роман изображает реальных людей именно как реальных людей, чувствующих себя в тексте самым естественным образом, то мои персонажи не просто схематичны, это куклы на проволоке. Речь, подготовленная, очевидно, к моему визиту, затрагивала не только меня, но и многих наших современников, которых он прочитал с любопытством и неудовольствием. Единственный довод, который я мог бы оспорить, состоял в том, что роман вовсе не обязательно изображает людей «совсем как в жизни». Правды в нем может быть и больше, и меньше, чем в жизни, но он останется романом.

Чтобы показать, с каким прелестным сочетанием правдивости и уклончивости, с какой забавно-путаной доверительностью он развивал свои идеи, приведу цитату из одного письма, где речь идет все о той же книге. Мысль его, настойчивая и беззубая, как ложноножка, по-прежнему блуждала вокруг того же злополучного вопроса.

«Я прочел Вас, — писал он, — как читаю всегда и

как не читаю никого другого, отрекшись от всех этих „принципов критики“, канонов, требований искренности, ссылок на метод и священные законы композиции, которые помогают мне идти, нет — брести по страницам тех, кто в той или иной степени доверился заманчивой, но бессильной теории. Стоит мне подпасть под Ваши чары, и я отбрасываю все это с самой бесстыдной непоследовательностью. Под властью Ваших чар я иду вперед, если только не застыну на месте, остерегаясь нарушить их и вздохом восхищения. Я живу вместе с Вами, в Вас и (поистине, как людоед!) **Вами** Гербертом Уэллсом, а не Вашими Марджори, Трэффордами и всеми прочими. Меня интересует не то, как Вы с ними обращаетесь, а то, как они водят Вас за нос (простите мне это выражение, я веду речь о Ваших возвышенных ответах на ту неотразимую приманку, которой они Вам помахивают). Именно это для меня главное; мне важно узнавать Ваш нрав, Ваши поступки, Ваши душевные порывы. Они со всею живостью проходят передо мной. Читая роман, я вижу, что делаете Вы, а не Ваши персонажи, даже если они что-то делают (я не убежден, что в „Браке“ так уж много действия). Я вижу Вас, каким бы напряжением Вы ни заряжали происходящее, каких бы ни производили эффектов. Пружина драмы — в приключении, уготованном именно для Вас, попросту в **Вашем** приключении, куда Вы вовлекаете, если хотите, этику, пыл, впечатления, чувства, самую личность; и приключение это более ценно для меня, чем те, в которые Вы попутно втягиваете своих героев. Я не говорю, что те приключения не интересуют меня, что они не „играют“, не оживляют действие, не притягивают внимание в той мере, какую я могу им уделить; я хочу сказать одно: Вы всякий раз побеждаете на их территории, и Ваша „история“ на протяжении всех пятисот страниц говорит мне больше, чем история Ваших героев. Быть может, Вы сочтете мои слова странными; что ж, тогда примите их как лепет невменяемого и потерпите, пока я не сумею говорить разумней. Помните, что оговорки, с которыми я отношусь к Вашему творчеству, признают за ним больше жизни, больше трепета и кипения, чем за какими бы то ни было книгами, которые доводится мне читать. Объяснить же я хотел, что не могу и уж никак не желаю применять к Вам уловки критика, суждения, заключения,

сравнения и подходить к Вам с эстетическими или „литературными“ мерками…»

Если судить по канонам Генри Джеймса, вряд ли хоть один мой роман заслуживает иной характеристики. В них бывают должным образом «выведенные» наметки и черточки характеров, бывают и живые образы, но ничто не удовлетворит его требований. Может сойти многое из «Киппса», кое-что из «Тоно Бенге», из «Мистера Бритлинга» и «Джоанны и Питера»; мне самому, разрешите прибавить, нравятся леди Хармен, Теодор Бэлпингтон и… Продолжать не буду. Зачем искать смягчающие обстоятельства? Главное обвинение здраво — да, я довольно грубо пишу сцены и персонажей, прибегаю и к условным типам, к символам, чтобы в очередной раз поговорить о человеческих отношениях. Мне хотелось объяснить Генри Джеймсу, что роман, с максимальной полнотой описывающий жизнь, лихо закрученный, сочно и тщательно написанный, исчерпывает возможности жанра не больше, чем картина Веласкеса исчерпывает возможности живописи.

Вопрос этот не на шутку занимал меня. У меня было странное чувство, что оба мы по-разному правы. Я написал одну или две лекции о романе, где доказывал себе и другим, что реализм и исчерпывающая полнота — не единственная его цель. Вероятно, я мог бы зайти дальше, мог сказать, что это — вообще не цель романа, а в лучшем случае его украшение, но тогда я до этого не додумался. Я мог удачно доказать, что роман обязан оставаться литературным вымыслом, а прямая аналогия Веласкесу, писавшему с натуры и королей и карликов, — это биография, образы из жизни, а не выдуманная история. Джеймс очень не любил, чтобы в романе было что-нибудь биографическое; и он, и его брат Уильям{177} осудили Вернон Ли{178}, когда та в одном рассказе («Леди Тэл», 1892) вывела кого-то, явно списанного с Генри. Но «создавать» героев от начала и до конца человеку не под силу. Если мы не списываем их с натуры, мы составляем их из частей. Любой «живой» характер в романе откровенно или исподтишка взят из жизни, весь он или его отдельные черты полностью или по лоскуткам украдены из биографии, а поступки его — это наши размышления о нравственности. Сколько бы мы ни отступали от фактов, мы приписываем любому герою какие-нибудь мотивы. Так я думаю сейчас; тогда мысли эти еще не созрели. Я принимал на веру, что существует «роман», величественная и возвышенная прибавка к реальности, некая сверхреальность с «сотворенными» людьми, а значит — признавал, что пишу безыскусные книжки, являющие миру меня

самого и неизмеримо далекие от высокого идеала, которому они должны соответствовать.

Теперь же я думаю: воплощен ли хоть где-то, хоть когда-то этот идеал и можно ли его вообще воплотить?

С тех пор многие критики обсуждали то, как важны «индивидуальность» или «характер» в беллетристике XIX — начала XX века. Интерес к образу в тот период далеко потеснил интерес к отношениям героев. Главенство личности критики эти не без оснований находят в сочинениях сэра Вальтера Скотта. Если подойти шире, оно порождено превалировавшим в то время ощущением социальной стабильности, Вальтер Скотт не столько выдумал его, сколько выявил. Он был человеком поразительно консервативным; ничего не оспаривал, добровольно принимал социальные ценности своего времени, точно знал, что правильно, а что нет, что благородно, а что некрасиво, что честно, а что низко. Словом, он воспринимал события как игру индивидуальностей в четких рамках, не подлежащих пересмотру и изменению ценностей. Беззаконное романтическое прошлое, которое он изображал, казалось ему всего лишь прелюдией к современной стабильности; в нем уже была заложена вся наша система ценностей. По мерному, плавному течению британской жизни прошлого века словесность плыла все к той же социальной стабильности. Английский роман создавался в атмосфере покоя, дабы позабавить людей, которым нравилось чувствовать, что они раз и навсегда устроены и защищены. Его каноны устанавливались в этой вроде бы несокрушимой рамке ценностей; когда же надломанная рамка стала мешать и лезть в картину, критики рассердились и задумались.

Наверное, какое-то время именно я воплощал для критиков сломанную рамку.

В первые годы начавшегося столетия я еще не вполне это понимал, но в 1911 году в статье «Современный роман», переданной в «Книжный клуб» газеты «Таймс» я выступил против увлечения «героями», которое мешало пересмотреть систему ценностей. Мне хотелось расширить границы жанра. Концепцию «сотворения героев» я обличал скорее косвенно и довольно сбивчиво. «Мы (романисты) собираемся заняться политическими, религиозными и социальными вопросами. Мы не можем выписывать характеры, пока у нас связаны руки и нет свободного пространства. Что толку рассказывать истории о людях, если нельзя откровенно говорить о тех религиозных догмах и сообществах, которые смогли или не смогли на них повлиять? Зачем притворяться, будто пишешь о любви, верности, изменах и ссорах между мужчиной и женщиной, если нельзя касаться того

многообразия физических темпераментов и природных качеств, тех пылких желаний, тех страданий, которые порождают половину всех бед? Мы хотим во всем разобраться, и недовольству провинциальных библиотекарей, враждебности нескольких влиятельных людей в Лондоне, хамству одной газеты (речь идет о Сент-Лу Стрейчи) и глубокому, упорному молчанию других не остановить грядущего вала воинственной словесности. Мы не собираемся писать обо всем — о делах, деньгах, власти и амбициях, о приличном и неприличном, пока тысячи ложных претензий и десятки тысяч обманов не зачахнут на этом очистительном ветре наших разоблачений. Мы собираемся писать об упущенных возможностях и скрытой красоте, пока людям не откроются тысячи новых дорог. Мы собираемся взывать к молодым, любознательным, устремленным вперед, обличая благополучных, добропорядочных, защищенных. Для этого мы поместим в романы всю жизнь без изъятия».

Что ж, смело. Однако роман в моих руках оказался одеялом, которое мало для постели, и, попытавшись прикрыть им сумбур моих мыслей, я махнул рукой на собственные принципы. Мне так и не удалось вместить в роман «всю жизнь без изъятия». (Ну и фраза! Кому это удавалось?)

Критика того времени путала все более популярный роман о конфликте обычая с политическими и социальными переменами и несравненно более ограниченный «роман с тенденцией», какие писали раньше, в XIX веке. Там не было глобальных идей, не поверялись ценности; боролся он с частным злом, нападал на незамеченные, но мелкие изъяны; словом, в рамке умещался. Почти все романы Диккенса — именно такие, но в них нет и речи о душевной смуте, о конфликте мировоззрений и о существенных переменах *внутри.* К роману, который проповедовал я, ближе всего роман пропагандистский. Но я не любил, когда мои романы так называли — мне казалось, что слово «пропаганда» применимо только к партии, Церкви или доктрине. Оно подразумевает руководство со стороны. Иногда я хотел внушить читателям какие-то взгляды, но — мои собственные; и действовал без всякой стратегической цели.

Вернемся к роману «Брак». Это история о том, как интеллектуальные запросы мужчины сталкиваются с женской расточительностью. Трэффорд не столько солидный господин, сколько ученый, попавший в ловушку любви, а страсть Марджори Поуп к покупкам и роскоши описана прямо, без уловок и прикрас. Самый смысл книги их бы не выдержал. Отец Марджори силой вторгается в роман — ему там, в сущности, нет места. Слегка неуместен и мистер Магнет, но тут не обошлось без лукавства;

скажем, его начисто лишенная юмора речь о юморе переписана слово в слово из газеты, где помещен доклад одного выдающегося лица.

Бесспорно, роман этот написан небрежно. Легкости и отточенности в нем не хватает. Для этого понадобилось бы время, которое я не мог на него потратить. Речь не о том, что надо бы зарабатывать меньше, а писать старательней (хотя и это соображение здравое), а о том, что у меня было очень много идей, и я стремился прежде всего, не очень заботясь об отделке, донести их до читателя. Придирчивый критик мог воспротивиться, но читателя, к которому я обращался, отточенность деталей и правдоподобие мелких мотивировок интересовали не больше, чем меня. Мне не хотелось выметать сор из-под ковра, собирая крупицы характеристик, да и мой читатель ждал от меня не этого. Он ждал, что я покажу ему суть проблемы.

Понадобились годы, опыт, попытки вроде той, которую я описал, прежде чем я понял, что путь мой пролегает вне каких-либо установленных канонов. Для традиционного объективного романа самое ценное — в типических внешних реакциях, а борьба и эволюция идей, происходящие в сознании, просто не важны. (На тогдашнем жаргоне это называлось бы «вводить спорный материал».) Меня все больше и больше интересовал внутренний конфликт, этот самый «спорный материал», бродивший в наших умах; сам конфликт — и его разрешение. Я знал только один способ показать, как думает герой: пусть он выражает мысли, уже существующие в сознании читателя. Сомс Форсайт у Голсуорси *думает* страницы напролет, но так, как обычно думают англичане. Он не хватается за идеи, которые новы и трудны для него и для читателя. Я не мог понять, как, взявшись за новые идеи, можно избежать объяснений, разъяснений и споров. Поэтому мои герои в своих монологах и диалогах позволяли себе роскошь откровенного неправдоподобия. Уже в 1902 году Чаттериз из «Морской девы» разговаривает гораздо больше, чем надо бы. Анна Вероника тоже без конца произносит монологи. В «Браке» Трэффорд и Марджори уезжают на Лабрадор, чтобы добрых шесть месяцев обсуждать свои отношения, вовлекая в обсуждение и читателя. Мистер Брамли в «Жене сэра Айзека Хармена» (1914) подвергает жестокому испытанию плавное течение романа многословными речами. «Великолепное исследование» (1915) почти целиком состоит из речей и разговоров. Здесь я ввел новшество: писатель размышляет о главном герое, становясь чем-то вроде сквозного персонажа, который беседует с читателем. Еще наглядней в этом смысле «Душа епископа» (1917).

Замечу кстати, что «Великолепное исследование» — книга неплохая, но ее практически забыли. Я с удовольствием перечитал ее и обнаружил, что она удивительно созвучна моим теперешним размышлениям. Погубила ее война. Но Аманда — очень живая, бывает живым и Бенхем.

К 1919 году, в «Неугасимом огне», я наконец вполне понял, что делаю, и решил сменить курс. Я догадался, что пытаюсь воскресить Диалог в повествовательной форме; пытаюсь не столько развить роман, сколько выйти за его пределы. В романе этом я открыто модернизирую великое подражание евреев Платонову диалогу, Книгу Иова. Схема построения соблюдена, героев узнать нетрудно. Человек из земли Уц — это мистер Иов Усс; Элифаз Феманитянин становится сэром Элифазом Бэрроузом, производящим новый строительный материал под названием «феманит». Уилдад — это мистер Уильям Дад, Елиу становится доктором Элайхью Бэрраком. Доводы у них те же; даже последовательность речей соответствует древней книге. Мне кажется, «Неугасимый огонь» — одна из самых удачных моих работ. Я по-прежнему высоко ценю ее.

А теперь, отстояв исключительность и интеллектуальность моих произведений, я признаю, что по большей части писал небрежно и наспех. Только в одном или двух романах очень важен сам человек, и то, как сказал бы Дэвид Лоу{179}, это портрет шаржированный, а не дотошное описание, которого жаждет Генри Джеймс. Такие шаржированные портреты — и Хундрайвер в «Колесах Фортуны» (1896), и мистер Полли в «Истории мистера Полли» (1910). Дядя и тетя из «Тоно Бенге» (1909), один или два второстепенных персонажа из «Мечты» (1924), «Отца Кристины Альберты» (1925) и «Бэлпингтона Блэпского» (1933) — тоже карикатуры, которых я не стыжусь. Теодор Бэлпингтон не хуже Киппса, но я сомневаюсь, что у кого-то из них хватит жизнеспособности, чтобы выстоять в иных общественных условиях. Через несколько десятилетий их, вероятно, не смогут понять; скажем, снобизм Киппса или ученое невежество мистера Полли могут стать непостижимыми. В «Мечте» я пытался показать, как более счастливые потомки увидят нашу нынешнюю жизнь. Этот роман того же рода, что и «В дни кометы».

Опыты с тем, что я назвал романом-диалогом, лишь один из путей, по которым я пытался уйти от неестественных ограничений привычного романа. Скажем прямо: я никогда не хотел придерживаться канонов или считать роман «художественным произведением». «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна» — обстоятельная история, но и она заканчивается

диалогом и монологом. «Джоанна и Питер» (1918) тоже начинается вполне традиционно и только под конец переходит в диалог. Он не завершен так же бесстыдно, как готический собор. Я собирался написать серьезный роман об образовании, но получилось так много, что пребывание Питера в частной школе, среди прочего, пришлось изъять. Из подготовительных классов он сразу попадает на войну и становится летчиком. Школу эту я описал в «Истории великого педагога». Джоанна мне нравится; ее похвалил А.-А. Милн, а больше ни у кого не нашлось для нее ни доброго, ни дурного слова. В «Мечте» (1924) есть несколько неплохих персонажей второго плана, но это не столько роман, сколько социальный трактат, написанный с новой точки зрения. Молодой человек, живущий в прекрасном завтра, бродит для отдыха по горам, повреждает руку, бредит, и ему видится наша современная жизнь. «Мир Уильяма Клиссольда» (1926) и по форме, и по смыслу совсем не каноничен. Я пытаюсь научно рассуждать о современной жизни и социальном развитии в виде мнимой автобиографии. Молодой химик, вроде Трэффорда из «Брака», жертвует чистой наукой, организует промышленное предприятие, богатеет, разочаровывается и удаляется в Прованс, чтобы все обдумать и найти себе место в жизни. Он пишет ту единственную книгу, которую хочет написать всякий человек. Здесь снова проступает основная линия моих ранних романов, растерянность человека с великими идеями и мощным созидательным импульсом, который понял, что встреченная им женщина чужда его порывам, но, не считая странной «заключительной главы», навязчивая тема, пронизывающая все мои ранние книги, намечена здесь поверхностно, преобладают проблемы экономические и социальные. Я вернусь к этому роману, когда буду рассказывать о своих политических идеях, а потом, возможно, поговорю о том, что он значил в моей жизни. Собственно, он предвосхитил куда более серьезные попытки социального анализа — «Труд, богатство и счастье человечества» (1931), «Легальный заговор» (1928) и «Облик грядущего» (1933).

«Самовластье мистера Парэма» (1930) — довольно дерзкая карикатура не на отдельного человека, а на образ мыслей типичного английского империалиста университетского толка. Можно было посвятить ее, скажем, Л.-С. Эмери. Она до сих пор меня развлекает, но мало кто со мною согласен. Реальность с тех пор превзошла литературу, и после того, как Мосли{180} резвился в Альберт-Холле со своими чернорубашечниками, затеи Парэма кажутся образцом сдержанности и здравомыслия. «Люди как боги» — откровенная карикатура на некоторых известных современников. Нарушил я каноны и в другом романе, которым я

доволен, хотя приняли его прохладно; это — «Мистер Блетсуорси на острове Рэмпол» (1928). Когда я писал и его, и «Люди как боги», и «Самовластье мистера Парэма», я веселился от души. Остров Рэмпол, по сути дела, — карикатура на все человечество. Хорошо бы узнать, что хоть кто-то читает эти три книги. Мне кажется, пресса их в свое время проглядела.

Пристальное изучение людей — удел зрелости, философское занятие. Ранняя юность у меня так затянулась, заняла такую часть жизни, я так долго знакомился с миром, что интерес к индивидуальному стал играть свою роль довольно поздно. Мне было необходимо восстановить общую картину жизни, чтобы позже сосредоточиться на том, как втиснуть в нее отдельного человека. Теперь частное бытие интересует меня больше, чем когда бы то ни было. По мере того как человечество будет осваиваться в зарождающемся сейчас новом Мировом государстве, человеческий ум все дальше отойдет от жестких требований борьбы; по мере того как сама концепция Мирового государства определит их образование и поведение, утихнут споры о самом насущном и главным станет интерес к индивидуальным различиям. Но тогда, конечно, люди разрешат себе более прямые высказывания, а беллетристика лишится своей власти над умами.

Наши запреты на обсуждение в печати живых людей давно устарели. Почему Дэвиду Лоу позволено с помощью карандаша говорить о них все что угодно, а я должен заявлять, что все персонажи романа вымышлены? Я сомневаюсь, что в будущем роман станет играть такую уж важную роль в интеллектуальной жизни — ведь мы сможем свободнее говорить о конкретных, здравствующих людях. Если роман выживет, наверное, он станет более явно карикатурным — шаржированным комментарием к общественной жизни или шаржем на каких-то отдельных людей, а может, он изживет себя и место его займут более глубокие и честные биографии и автобиографии. Рассказы, притчи, анекдоты будут сочинять по-прежнему, но это — другое дело. Племя глуповатых юнцов, оповещающих, что они пишут роман, исчезнет, как исчезли глуповатые юнцы, слагавшие эпическую поэму. В мое время роман обычно замышлялся как «трилогия». Кто знает, не захотят ли в 1950 году безрассудные молодые люди пройти по следу Литтона Стрейчи{181} и Филипа Гедаллы{182}, замыслив монументальную биографию. Они создадут необъятную мозаику мнимой реальности, галереи портретов, являющих нам современную историю в возвышенном виде.

Кто станет читать роман, если разрешат писать биографии? В этой автобиографии я ставлю опыт, хотя и робкий, над

биографическими и автобиографическими материалами. У такого занятия много ограничений, которые не идут на пользу художественной стороне, и все же биография представляется мне настолько более естественной, интересной, нужной, что я не уверен, придется ли мне снова обратиться к роману. Я могу сочинить рассказ или диалог, записать приключение или анекдот; но я никогда не попытаюсь сознательно писать роман, как я пытался, садясь за «Тоно Бенге».

Кроме «Тоно Бенге» к настоящим романам можно отнести только «Мистера Бритлинга» и «Джоанну и Питера». И там и там вполне здраво изображена современная жизнь. «Мистер Бритлинг» имел огромный успех, особенно в Америке, где доход от продаж составил 20 000 фунтов; так же было и с «Тоно Бенге»; а вот роман «Джоанна и Питер» так и не получил должного признания. Мне он гораздо больше нравится, чем «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна».

Даже «Тоно Бенге» не слишком крупная уступка Генри Джеймсу и его концепции, согласно которой романист должен старательно передавать чувства и обрисовывать характеры. Бесспорно, это роман, но скорее экстенсивный, чем интенсивный. Герои здесь представлены только как часть той или иной сцены. Я замышлял социальную панораму в духе Бальзака. Дух этот помог создать множество замечательных, умных книг, и в художественном, и в интеллектуальном смысле, и по сей день доказывает стойкость честолюбивых писателей, создающих эпохальные полотна, чаще всего грубые или банальные по стилю, легковесные по замыслу. Не представляю, как смогут они выдержать спор с настоящим историко-социальным исследованием. «Сага о Форсайтах», широко задуманная картина преуспевающего английского класса, написанная одним из его представителей, не так хороша и убедительна, как мог бы стать набор беспристрастных биографических зарисовок. Тщательное изучение архивов начала девятнадцатого столетия превратило бы саму «Человеческую комедию» в легковесное чтиво. Впрочем, «Война и мир» может оправдать приукрашивание и оживление истории вымышленными событиями и чувствами.

Признаюсь, для всего, что я хотел бы сделать, жизнь слишком коротка. Не думаю, чтобы я боялся смерти; просто хочется, чтобы она немного задержалась. При естественном ходе событий я, пожалуй, сочту себя счастливчиком, если проживу еще лет двенадцать, и буду в полном блаженстве, если протяну еще двадцать лет в здравом уме. В этот срок я худо-бедно уложился бы. Настоящая биография требует гораздо больше времени, не говоря уж о прочих замыслах. Я ведь знал невероятно интересных

людей, о которых был бы рад написать. Жаль. Если бы мне предоставили лет сорок, я сумел бы использовать каждый день и записал бы многочисленные сокровенные наблюдения над людьми, отражающими перемены ценностей и условий; но, боюсь, не успею. Зарисовки эти должны быть многочисленными. Чтобы отобразить переменчивые реалии, надо использовать много материала. В непостоянном мире к портрету нужен фон; надо показать, откуда идет свет. Здесь, на странице 265, я заверяю недоверчивого читателя, что долго и прилежно пытался сократить ее до квинтэссенции.

Глава VIII
НАКОНЕЦ СТАНОВЛЮСЬ НА НОГИ

1. Беседы у домашнего очага (1894–1895 гг.)

Я пытаюсь написать автобиографию, и, скажу снова, пишу я как для читателя, так и для себя самого. Вспоминая первую женитьбу и развод, разбирая тогдашние бумаги, я, тоже читатель, много узнал о себе и счел естественным перейти от давних и основополагающих размышлений и дел к тому, как они отразились в моих романах и в сплетнях о моей личной жизни. Рассказ об этих романах (и псевдороманах) я довел до нынешнего времени. Отступления мои принесли пользу: они, так сказать, стали запасным путем, туда можно перегнать то, что в ином случае усложнило бы главную линию рассказа. Ведь я хочу рассказать, как развивался мой разум, как постепенно возникал новый взгляд на мир, как плановая перестройка человеческих взаимоотношений в форме Мирового государства стала и целью и поверкой моей деятельности в той же мере, как Ислам — цель и поверка для мусульманина, а Царство Божие и спасение — для искреннего христианина. С тех пор как в моей жизни укрепилась основная идея, жизнь эта (по крайней мере психологически) стала религиозной, я уже служил не себе. Словом, главное здесь — воссоздать такое мировоззрение. Попытаюсь по мере сил это сделать в последней, решающей главе, в каком-то смысле завещании, которую я назову «Идея планируемого мира».

А до того, как я приступлю к ней, нужно рассказать много всяких историй, иначе будет непонятно. Мою борьбу за самостоятельность я описал только наполовину; и вот возвращаюсь к обстоятельствам, вслед за описанием которых я углубился в анализ моих любовных порывов и дел, а именно — к началу 1894 года, когда в двадцать семь с половиной лет я покинул дом № 4 по Камнор-Плейс в Саттоне и, бросая вызов обществу, стал жить во грехе на Морнингтон-Плейс, а потом — на Морнингтон-роуд.

Последнее десятилетие XIX века оказалось на редкость благоприятным для молодых писателей: и моя удача — часть общей удачи целого поколения. Нас было много, пришедших ниоткуда и сумевших «зацепиться за борт». Царство Диккенса и Теккерея, царство их наследников и подражателей, черпавших у них вдохновение, уходило в прошлое. Они истощили ту почву, которая взрастила тип романа, доведенный ими до совершенства,

точно так же, как лорд Теннисон (умерший только в 1892 г.), творец Артурова цикла, выжал все, что можно, поэтическое из современной ему буржуазии. Слава великих викторианцев, как тень могучих лесных деревьев, осеняла целое поколение, но теперь, когда забрезжил свет, у любого побега и былинки появился шанс, при том условии, что они другой породы, чем предшественники. После пожара на пепелище поднимается иной лес. Привычку к чтению переняли иные классы, с иными потребностями и запросами. Они не понимали и не ценили стиля Троллопа{183} или Джейн Остен, тонкой сатиры Теккерея; не принадлежали к «правящим классам», о которых писала миссис Хэмфри Уорд. Мрачные страсти и запреты, царившие в краю сестер Бронте{184}, или в Уэссексе Томаса Гарди и Девоншире, никогда не касались их, и даже диккенсовские настроения уже не проникали в их повседневность.

Закон об образовании 1871 года значительно расширил круг читателей; мало того — он подстегнул средние классы, ощутившие давление снизу. Вполне независимо от этого благодаря прогрессу шло брожение идей. Английский «правящий класс» захлестнула волна «интеллектуальных запросов». Под влиянием таких блистательных консерваторов, как Артур Бальфур{185} и Джордж Уиндэм{186}, люди высшего света все чаще проявляли интерес к словесности, чутко воспринимая любые признаки литературной новизны. Внесли свою лепту в общий благоприятный фон для молодых писателей и такие счастливые случайности, как вторжение в Англию клана Асторов, питавшего разорительную страсть к газетам и журналам. Требовались новые книги, свежие авторы. Возможности раскрывались повсюду — больше читателей, больше рекламы, издателей и покровителей. Теперь молодому автору не так уж легко оказаться в поле зрения. Он (или она) попадет в большую толчею. Здесь, как и везде, производство превышает возможности потребления. А в девяностых годах писателей искали. Издатели — и те гонялись за ними.

Какое-то время потребность новизны была не совсем ясна. Литературная критика тех дней сохраняла свои, особые условности. Она была научной или наукообразной. Преобладало средневековое мнение, согласно которому то, что надо знать, давно знают, а то, что стоит делать, — сделано. Удивление не пристало ученым схоластам, и отношение их к новым именам лучше всего выразит слово «признать». Со всяким новичком обращались так, словно он хочет стать преемником далай-ламы, тщательно выискивая в нем дух предшественника. Так и случилось, что тех, кто начинал в девяностых, определяли как

«второй» или «новый»… — дальше шло то или иное имя. Года два-три меня благожелательно величали вторым Диккенсом, вторым Булвер-Литтоном{187} и вторым Жюлем Верном. Побывал я и вторым Барри, хотя сам он, худо-бедно, мой современник; когда же я стал писать рассказы, я оказался вторым Киплингом. Разумеется, от случая к случаю я пытался подражать этим замечательным писателям — и тому, и другому. Позже я побывал вторым Дидро, вторым Карлейлем и вторым Руссо…

До недавних пор это бывало со всеми. Литература свелась к «череде прецедентов». Издатели хотели от нас новизны, но не хотели *странностей*, равно как и критики. Нам вручали подержанные регалии, вряд ли кто отличился сам по себе. Билеты из вторых рук годились, по ним впускали, но вряд ли стоило усаживаться на свободные места — тот, кто это делал, редко поднимался на ноги. Петт Ридж{188}, к примеру, принял ярлык второго Диккенса до конца своих дней. Я спасся от такой участи тем, что меня, как ни странно, сравнивали со многими.

Конечно, ни я, ни Джейн, начиная жизнь заново на Морнингтон-Плейс в дешевой квартирке на первом этаже, и понятия не имели, в какое удачное время мы родились. Мы не подозревали, что мы, в сущности, — надежные, хотя и мелкие акции в пору биржевого бума. Мы верили в разумность бытия и считали, что легкий успех, подхвативший нас волною прилива, причитается нам по праву. Так уж есть, думали мы, так всегда и будет. Все просто — мы блистаем талантом и умом, а признание и деньги следуют из этого естественно. Я старался писать, как все, и нескоро понял, что происхождение и образование дали мне почти неизбежную оригинальность, так что, при всех стараниях, я просто не мог стать чьим-то двойником.

Жизнь наша в 1894 и 1895 годах была почти сплошной беседой. И на Морнингтон-Плейс, и на Морнингтон-роуд у нас была комнатка с двуспальной кроватью, из которой, раздвинув дверцы, мы переходили в гостиную. Вся одежда помещалась в комоде и в шкафу, а работал я за маленьким столиком, на котором стояла керосиновая лампа под стеклянным колпаком, или за другим столом, посреди гостиной, если на нем не ели. Все мои рукописи и тетради хранились в зеленом картонном ящике с четырьмя отделениями. Первой нашей хозяйкой на Морнингтон-Плейс оказалась немка, мадам Райнах; она так вдохновенно стряпала, так пылко сочувствовала нашему романтическому союзу, так стремилась разделить наши немудреные тайны и пооткровенничать самой, что Джейн вскоре отправилась на Морнингтон-роуд и подыскала нам новое жилье.

Хозяйка этой новой квартиры — имя ее я почему-то не могу

припомнить — приняла нас с материнским радушием. То была высокая шотландка с суровыми чертами лица, для лондонской хозяйки необыкновенно опрятная, сноровистая, молчаливая и стоическая. Когда-то, если не ошибаюсь, она служила горничной у герцога Файфского. Когда выяснилось, что я все время работаю и никогда не пью, она меня полюбила. Вероятно, где-то на полпути от поместья к нынешнему промыслу ей встретился человек, лишенный моих скромных добродетелей. (Один старый приятель, у которого память получше, говорит, что ее звали миссис Льюис, а я все равно не помню.)

Просыпались мы бодрые, и, пока одевались, я сочинял стишки и «штучки», примеры которых я уже приводил. Ванной у нас не было, и небольшие наши покои становились еще меньше из-за «бадьи» — какой-то птичьей ванночки, в которой мы мылись и плескались, стараясь не столкнуться друг с другом. Порой мы заглядывали в гостиную из-за раздвижной двери, и, если там было пусто, я в штанах и ночной рубашке (пижам тогда еще не носили) или Джейн в голубом халатике, поверх которого, до самой талии, лежали светлые косы, кидались за письмами. Как правило, письма приносили добрую весть. Иногда в них был чек; иногда — предложение написать статью. Присылали нам и книги на рецензию. Пока мы читали, твердая поступь по лестнице, звон посуды, аппетитный запах, а там и стук в двери возвещали, что нас ждут кофе и яичница с беконом.

Как живо во мне воспоминание об этой веселой комнате, о Джейн, о коврике у камина, где она поджаривает хлеб, о сероватом, быть может, туманном лондонском деньке и о радостной игре углей, бросающей блики на каминный прибор и на решетку!

После завтрака я садился за работу, писал рецензию или одну из двух-трех всегда находившихся у меня в работе статей — тщательно отделывая их, пытаясь избавиться от неуклюжих оборотов, пока не останусь вполне доволен. Джейн переписывала все это, или писала сама, или отправлялась что-то прикупить, или садилась за биологию, готовясь к последнему экзамену. После утренних занятий мы делали вылазку в Риджентс-парк или шли в лавочки на Хемстед-роуд, чтобы подышать воздухом и поразвлечься до обеда, то есть до часу дня. После обеда мы добывали материал для статей.

Охоту за материалом мы считали очень важной. Мы стремились оказаться в самом неожиданном месте, в неожиданное время, чтобы увидеть его по-новому. Иногда, уже под вечер, мы шли на Хайгейтское кладбище и возмущались скудоумием тех, кто ставит надгробия; или, в манере лучших

критиков, бранили Парковый музей (имея в виду, конкретно, его санитарное состояние); или в холодный ветреный день гуляли в Эппингском лесу, сочиняя «Скорбный путь через Эппингский лес». Мы глазели на витрины Бонд-стрит, рыскали по галереям и аукционам Вест-Энда, шлифуя образ Дяди, изобретенного мною в угоду читателям «Пэлл-Мэлл газетт», — могучий был человек, из тех, кто обитает в Олбани! (Труды наши увенчали «Избранные разговоры с дядей»). Я все еще состоял в Зоологическом обществе (позднее меня исключили), и материал, а заодно и ассоциации, мы искали у клеток. Когда меня осеняла идея, а статью я написать не успевал, заметки складывались в зеленый ящик.

Промозглым днем или после ужина, когда работать уже не было сил, мы играли в шахматы (здесь тоже можно было изыскать материал на статейку) или в безик, из которого даже мой искушенный ум не мог бы выжать ничего интересного. С безиком нас познакомил мой старый соученик Морли Дэвис, который занял теперь мое место у заочников и готовился к экзамену. Жил он неподалеку, навещал нас после ужина и степенно играл с нами в карты.

В концерт, в театр и в мюзик-холл мы ходили редко, по вполне понятным причинам. Позволить себе мы могли только прогулки. Если не считать случайных вечерних гостей вроде Дэвиса или моего дальнего родственника Оуэна Томаса, которому дешевизны ради я поручил бракоразводные дела, или чашки чая с Уолтером Лоу, мы ни с кем не общались. Впрочем, я и раньше не знал «светской жизни», а Джейн, чей опыт ограничивался танцами, чаем, крокетом и теннисом в Патни, отзывалась о ней с немалым презрением.

Неудивительно, что с наступлением весны мы, несмотря на успех, стали ощущать какие-то неполадки. У меня что-то случилось с лимфатической железой на шее, но когда я пошел к доктору, он сказал, что у Джейн дела обстоят гораздо хуже и если она не хочет заболеть чахоткой, ей надо больше гулять и лучше питаться. Он прописал ей бургундское, мы купили целую бутыль «Бургундского Гилби», номер такой-то, — и Джейн стала пить его как лекарство, за каждой едой. На лето мы решили перебраться куда-нибудь за город — конечно, в Лондоне легче купить книгу и связаться с издателем, но ничего не поделаешь. Мало того, мать Джейн, миссис Роббинс, сдавала тогда свой дом и жила у друзей в Северном Лондоне, ей тоже по нездоровью был нужен свежий воздух. Примирившись с нашими необычными отношениями, она согласилась поехать с нами. Пока мы колебались, мне привалило много работы и уехать из Лондона стало совсем уж необходимо.

Меня пригласил один мой редактор, Каст из «Пэлл-Мэлл

газетт», — а может, я сам напросился, не помню. Это был мой второй визит к редактору, однако теперь на мне уже не было ни фрака, ни несуразного цилиндра, способного навлечь позор на мою голову. Вероятно, наряд мой был приличен, поскольку я его забыл. Я постигал социальную премудрость. Газета располагалась в роскошном помещении, там, где теперь Театр Гаррика. Меня направили в кабинет редактора. Да, это был кабинет! Сейчас на Флит-стрит такого не встретишь. Несомненно, там стоял рояль, а то и два рояля. Стоял и огромный письменный стол, похожий на голливудский реквизит; стояли кресла и диваны. Сперва я никого не мог разглядеть и двинулся вперед по бесшумному ковру. Тут до меня донеслись рыдания, и я увидел, что на диване, почти невидимый, лежит ничком человек, содрогающийся от горя.

В таких обстоятельствах разумнее всего покашлять.

Звуки, доносившиеся с дивана, резко оборвались, и я увидел высокого блондина. Он сел, смерил меня пристальным взглядом, убрал в карман свой платок и стал на удивление приветливым и спокойным. Что бы с ним ни случилось, это не могло помешать нашим делам. Да, он хотел меня видеть. Ему понравились мои статьи, и я имею полное право писать рецензии. Однако включить меня в штат он не может. Когда вакансия появится, он будет иметь меня в виду. Знаком ли я с Хенли{189}? Надо бы к нему зайти.

Он спросил, где я набрался навыков, как научился писать и кто я такой. Я отвечал подробно, на совесть. Он сразу расположил меня к себе. В нем совершенно не было глупой важности, как, скажем, у Фрэнка Харриса, он сочетал добродушный тон старшего брата с задушевностью сообщника. Собственно, он не предлагал мне конкретную работу, а приглашал разделить с ним интереснейшее приключение. Что до Флит-стрит, он вряд ли знал ее лучше моего. Тогда, в эту встречу, он повторил, чтобы я зашел к Хенли, и обещал познакомить меня до этого с одним человеком.

Он позвонил, и вскоре из тьмы кабинета появился Льюис Хинд, полнейшая противоположность Касту во всем, не считая чуждости журналистскому миру. Высокий, темноволосый, бледный, он был сдержан и немного заикался. Начинал он с торговли тканями и одно время колесил по Лондону с образцами кружев. Потом он прилежно учился в Институте Биркбека с Клементом Шортером и У. Петтом Риджем и с ними же отважился выйти на просторы журналистики. Элис Мейнел склонила его к католичеству. Его взяли на работу в «Мэгэзин ов арт» под начало Хенли, а затем, по рекомендации и Хенли, и миссис Мейнел — к самому Астору в «Пэлл-Мэлл». Газета скинула балласт, создав еженедельник «Пэлл-Мэлл баджет», куда поначалу шли отходы

материала. Там напечатали мой рассказ «Человек миллионного года», с занятными иллюстрациями, и в свое время это добавило мне успеха. Редактором был Хинд, который собирался отделиться, создав независимый еженедельник со своим кругом тем. Теперь он искал «козырных тузов». Он утащил меня в свои менее роскошные хоромы и заговорил о том, как использовать в будущем еженедельнике мои научные познания. Мне предлагалось создать серию коротких рассказов, по пяти гиней каждый. Тогда это были приличные деньги, и я сразу стал обдумывать рассказы, которых он от меня ждал.

Каст остался у себя в кабинете. Не знаю, справился ли он со своими невзгодами. Судя по нашему дальнейшему знакомству, скорее всего справился.

Первый рассказ из серии «за один присест», который мне удалось выдумать, назывался «Похищенная бацилла». Вскоре я научился создавать истории с помощью своих научных и квазинаучных познаний. Я расширил рынок сбыта, мне платили больше в «Стрэнд» и «Пэлл-Мэлл мэгэзин». Многие из этих рассказов (всего их — штук сорок) и поныне перепечатывают в самых разных сборниках; их можно до сих пор встретить и в газетах, и в журналах. Хинд платил мне за них пять фунтов, сейчас за перепечатку платят не меньше двадцати, а ведь во многих таятся драматические и кинематографические возможности. В ту задорную и бедную пору я понятия не имел, что понемногу откладываю себе на старость.

Примерно тогда же, когда Хинд усадил меня писать рассказы, я получил заказ от самого Уильяма Эрнеста Хенли для «Нэшнл обзервер». Я отправился в Патни к старому титану, чья «голова, вся в ранах, не склонилась». Его великолепный торс поддерживали скрюченные ножки; когда этой весной я познакомился с Франклином Рузвельтом, я увидел то же самое — такую же грудь, такую же немощь. Говорил Хенли красноречиво и приветливо, а слова свои подкреплял, сжимая в большой веснушчатой лапе агатовое пресс-папье и постукивая им по письменному столу. Годами позже, когда его не стало, его жена отдала мне этот кусок агата, и сейчас он лежит на моем рабочем столе. Я решился перед ним блеснуть — раскопал в подписке «Сайенс скулз джорнал» свое заветное сокровище, мысль о путешествиях во времени, и послал статейки две. Идея пришлась ему по вкусу; он попросил меня развить ее, чтобы заглянуть в будущее. Я только того и хотел, и с марта по июнь развил ее в семи очерках. То был второй вариант рассказа, который печатался в «Сайенс скулз джорнал» под названием «Аргонавты Хроноса», но на сей раз я вытравил все следы Готорна и англо-

индийского классицизма. Я понял, что, чем невероятнее сюжет, тем зауряднее должен выглядеть фон, и поместил своего путешественника в самую что ни на есть благополучную, респектабельную среду.

«Машина времени» писалась легко, рассказы для Хинда я придумывал, книги на рецензию были, «Газетт» печатала мои нерегулярные, даже случайные статьи, так что уехать из Лондона я мог, ничем не рискуя. Мы направились втроем в Севен-Оукс, оставив Лондон изнемогать от жары и пыли. Поначалу все шло хорошо. Мы подолгу гуляли, Джейн поправлялась и веселела. Мы исходили Ноул-парк, спускались по пологому склону к Танбриджу, уходили в любимые места моего деда, Пенсхерст-парк. Джейн готовилась к экзамену, который она так никогда и не сдала — ей предстояло сдавать ботанику, и мы приносили домой охапки цветов, чтобы она могла обучаться по естественным образцам.

Миссис Роббинс поначалу жила отдельно. Потом, когда она поселилась с нами, она прихварывала, да и не совсем избавилась от прежнего взгляда на наш свободный союз, так что ее присутствие мешало нашим обычным шуткам и непринужденности поведения. Она ничего не говорила, но иногда напряженность достигала такого накала, что она обедала у себя. Легкая, переменчивая облачность, пробегавшая над нашей идиллией, скоро сменилась настоящими тучами. Я стал получать гораздо меньше — для меня исчез «Нэшнл обзервер». Никто этого не ждал. Газета никогда не окупала вложенных в нее средств, и ее перепродали некоему Винсенту, который сел вместо Хенли в редакторское кресло. Мои материалы он счел сущей галиматьей и разом от них отказался. В то же самое время от моих статей отказалась «Газетт». Издатель Мэриот Уотсон, который был моим надежным сторонником, уехал в отпуск, а его временный преемник не жаловал мои сочинения. Всего этого я не знал и терялся в догадках, почему нет денег. Я думал, это навсегда. Впервые месячные расходы превысили поступления. В безмятежные прогулки закралась тревога. Вскоре, так же неожиданно, Астор решил положить конец короткой и блестящей карьере еженедельника, а с ней и надежному, безотказному рынку для моих коротких рассказов.

Именно тогда явился курьер из суда по бракоразводным делам с повесткой, выдержанной в сухом и жестком стиле, и, вместо того чтобы ее скрыть, Джейн положила ее на комод, удовлетворив любознательность нашей хозяйки. У нас уже возникали недоразумения — то она требовала лишние шесть пенсов за каждый обед, поданный в комнату миссис Роббинс, то

говорила, что своими цветами мы разнесли сор по всему дому, то полагала, что я перевожу керосин, работая допоздна. Ее раздражало, что Джейн не хочет сплетничать с ней, как нормальная женщина; по-видимому, она считала, что мы «воображаем», но когда она узнала, что мы вообще не женаты, она попросту возмутилась. Отчитать нас за такое бесстыдство она не могла, пришлось бы признаться в собственном любопытстве, но она стала грубить нам, а уж в услугах наметилась небрежность. Все сулило нам скорый скандал. Положение наше действительно было шатким. В конце концов, есть приличные люди, это сразу видно, а есть и неприличные. Жизнь наша становилась трудной и неприятной.

Я не знал, зачем писать статьи. Во всех изданиях, с которыми я сотрудничал, лежали мои материалы, и вряд ли стоило давать еще; того и гляди, баки лопнут, горючее выльется. И все же в глубинах сознания маячила одна мысль: Хенли как-то говорил мне, что ему, может быть, удастся начать издавать ежемесячный журнал. В таком случае имело бы смысл переписать «Путешественника во времени», чтобы печатать из номера в номер. В общем, занятие я нашел. Так я сел за работу над «Машиной времени» и переписал ее начисто.

Помню, как я писал то место, где путешественник обнаруживает, что машины нет, а с ней — и путей к отступлению. Я сидел за круглым столом внизу, в гостиной, и быстро строчил пером. На столе лежало светлое пятно от лампы под абажуром. Джейн уже легла, ее больная мать весь день пролежала в постели. За распахнутым окном стояла теплая августовская ночь. Лучшая часть моего сознания убегала от морлоков, но какие-то отдаленные участки мозга замечали и другое. Там и сям порхали мотыльки, которых я тогда и не видел, но вот один из них, шлепнувшись рядом, прочертил зигзаг на периферии моего сознания, и зародился рассказ «Мотылек, Genus Novo[16]». С улицы, из летней ночи доносился женский голос, не смолкая, только затихал, а потом опять разносился. Миссис… нет, не помню… в общем, наша хозяйка наконец отважилась на открытую вылазку. Она обращалась через ограду к охотно слушавшей соседке, а заодно — ведь окно открыто — и ко мне. Понимая, о ком идет речь, я не отвечал ей, а ей не хватало духу на меня накинуться. «Он ляжет или нет?! Как мне дом запирать, когда окна настежь? Нет, в жизни таких жильцов не было! Жаль, сразу про них не узнала. А ведь как чувствовала! Сдашь жилье, так люди днем гуляют, ночью спят! И потом, сквалыг терпеть не могу, у них шести пенсов не допросишься. Если кто хочет им сдать, пусть знают, что за народ!»

Конца этому видно не было. Я угрюмо писал под нескончаемый аккомпанемент, пытаясь спастись работой. Точку она поставила, от души громыхнув дверью. Я закрыл окно не раньше, чем кончил главу. Закрутил рычажок, задул фитиль на лампе. В этой-то маете, в сумбуре тех дней «Машина времени» как-то сама собой подошла к концу. Джейн держалась и, как могла, ограждала меня от напастей, которые осаждали ее самое с обеих сторон. И все же у нее поубавилось веселой покладистости. Для нее наступило тяжкое время. Она ходила по домам в поисках нового жилья и выслушивала неприятные вопросы.

Наше возвращение в Лондон было скорее отступлением. В ушах звенели хлесткие упреки разгневанного общества. Еще до окончательного бегства я получил письмо от Хенли, где он извещал меня, что с ежемесячником все в порядке. Он собирался запустить его в январе и за «Машину времени», его первый роман с продолжением, обещал заплатить 100 фунтов. Сто фунтов! Тут как раз закрутились жернова «Пэлл-Мэлл газетт», она вновь была готова принять мою работу. Миссис Роббинс вернулась к друзьям в Северный Лондон, а мы с Джейн въехали в пустовавшую без нас квартирку нашей прежней хозяйки-шотландки на Морнингтон-роуд, 12.

Если не ошибаюсь, мы безвылазно просидели в Лондоне до конца года. Той осенью Фрэнку Харрису, который уже не издавал «Фортнайтли ревью», удалось перекупить еженедельник «Сатердей ревью», и он стал решительно менять скучное, чопорное издание. Запомнив мои ранние статьи, первую из которых он опубликовал, а другую уничтожил, он незамедлительно послал за мной. Пригласил он и Уолтера Лоу и других, не очень известных людей. Контора его находилась на Саутгэмптон-стрит, неподалеку от Стрэнда, занимая второй и третий этаж. По лестнице, вверх и вниз, сновали какие-то люди, и знакомый голос подсказал мне, что Харрис — на самом верху. В большой комнате, среди книг и бумаг, я обнаружил Бланчампа, который мне очень обрадовался. Харрис развлекался вовсю. Он вызвал почти всех прежних сотрудников, чтобы прочитать им вырезки из их недавних публикаций и торжественно спросить у них «как перед Богом», да и перед верным Силком, почему они так мерзко пишут. Это была уже революция — и закат научного стиля. Профессора Сейнтсбери{190}, безымянного главу этого направления, вовремя предупредил Эдмунд Госсе{191}, и тот избежал публичной порки.

Священнослужители, оксфордские шишки, люди ученые и уважаемые, но строго соблюдавшие анонимность, спускались по лестнице, на все лады выражая возмущение, а диковинные

незнакомцы в странных одеждах, свидетельствующих об их владельцах красноречиво, как подпись, только и ждали, чтобы подняться наверх. Я шел по списку одним из последних, и Харрис, успевший проголодаться, позвал Бланчампа, Лоу и меня отобедать с ним в кафе «Ройал», а заодно — его послушать. Тогда состоялось мое знакомство с самым лучшим камамбером зрелых сортов и с таким бургундским, которое ни в малой мере не напоминало то, что я когда-то купил для Джейн. Пожалуй, мы уделили не так уж много времени моим будущим сочинениям, но главное я понял — мы на плаву; Оксфорд и всех старых хрычей, даже самого Гладстона, давно пора уничтожить; «Ревью» под водительством Харриса должно стать таким, какого не было в истории литературы.

И впрямь, журнал стал интересным, читабельным, примечательным. Он никогда не отличался той обдуманностью и последовательностью, как почивший «Нэшнл обзервер» Хенли, но оказался гораздо живее и читали его больше. Среди тех восходивших звезд, которые работали у Харриса, был тощий, рыжий ирландец по фамилии Шоу, уже обретший известность как музыкальный критик и оратор-социалист, который так рьяно воспротивился традиционной безымянности, что добился права ставить инициалы после своих театральных обозрений, Д.-М. Маккол (тоже ставивший инициалы), Дж.-Ф. Рансимен (см. выше), Грэм Каннингем{192} (полная подпись), Макс Бирбом{193}, Чалмерс Митчел, Артур Саймонс, Дж.-Т. Грин… Мне не вспомнить и половины. Множились подписанные материалы, с нами работало все больше известных, интересных людей. Пошла серия статей под рубрикой «Самый красивый пейзаж», началась публикация писем. Трудно себе представить, чтобы кому-то взбрело в голову написать в старый «Сатердей ревью», а если бы кто и нашелся, его бы презрели. Теперь одних просили, других просто вынуждали писать занимательные письма. Что думал об этом Сейнтсбери, мы, наверное, никогда не узнаем. Впрочем, он редко применял свой критический дар к современной словесности.

Наши городские заметки под непосредственным руководством Харриса вроде бы набирали очки. «Я мошенник», — снова и снова провозглашал он и любил, чтобы его считали акулой делового мира. Вероятно, кое-что он делал, чтобы оправдать свою похвальбу, — много позже он, кажется, рассказывал Хью Кингсмиллу о чеках и банкнотах, которые он у кого-то вырвал, но к концу пути денег явно поубавилось, и года два тому назад он умер в Ницце, отнюдь не окруженный роскошью.

В мое время Англию наводняли авантюристы-чужаки. Боттомли и Беркенхед, Рамсей Макдональд и Левенштейн, Шоу и Захаров, Монди Грегори, я{194}, несметные полчища других. У этих людей не было законной, установленной роли, они вели себя по-разному. Кто — выше, кто — ниже, но все — неведомо как, наискось прорезая общество, они возбуждали множество вопросов. Только суд, армия, флот, банковское дело и государственная служба были от них застрахованы. Такие люди неизбежны во времена, когда иссякают идеи просвещения и подгнивают социальные устои. Какими бы они ни были, они не скучны и не традиционны. Они подстегивают все, быть может — чтобы разрушить. Харрис, вне всякого сомнения, был превосходнейшим образчиком такого авантюриста. Он был блистательным и молниеносным как метеор.

Кажется, никто толком не знал, откуда он взялся. Его считали не то валлийским евреем, не то испанским ирландцем; говорил он с акцентом, но так его обработал, что и Шоу вряд ли сумел бы установить, что же это за акцент. Было в нем что-то «мегакельтское», если позволите создать такое слово. В своих в высшей степени недостоверных воспоминаниях он сообщает, что родился в Голуэе{195}. Человек дотошный может прочитать обо всем этом в книге Э.-И. Тобина и Элмера Герца и в работе Хью Кингсмилла «Фрэнк Харрис». Появился он в Чикаго, перебрался в Лондон, ударился в журналистику, а когда его послали описать, как плохо обращается с арендаторами Сесил, он прослыл честным и принципиальным, ибо не хулил, а хвалил. Его взяли на заметку. Он дорвался до издания «Ивнинг ньюс». Оттуда, пока его не прогнали, он прыгнул еще выше. Говорят, он пошел к Чепмену, когда тот был владельцем «Фортнайтли ревью», и сказал, что газета — скучная, поскольку Чепмен знает мало выдающихся людей, а потом направился к этим людям и объяснил им, как важно имя в наш демократический век, а уж тем паче — та слава, какую может дать знакомство с Чепменом. Он свел их; Чепмен был очень доволен, а сам он победоносно занял кресло главного редактора. Он вдохнул в издание новую жизнь, не убоявшись бросить вызов признанной власти «Найнтинф Сенчури». Женился он на богатой вдове, миссис Клейтон, у которой на Парк-Лейн — в ту пору весьма престижной улице — был небольшой, но прелестный дом. Тогда он достиг зенита. Он подумывал о парламенте и говорил Хью Кингсмиллу, что хочет стать «британским Бисмарком» (трудно сказать, что он имел в виду — может быть, собственные усы). Знаменитости всех мастей ходили к нему на обеды. Но он не выдержал гонки. Его мужское тщеславие не знало меры; он не только крутил романы, но и

рассказывал о них, что отдалило его от жены, от ее доходов и Парк-Лейн. Его напористость в беседе поражала, забавляла, а потом — раздражала; он замечал, что хватка слабеет. Учредители обозрения становились все строптивее и совали нос в его дела. Он много пил и орал тем яростнее, чем больше его за это бранили. Ко времени второй нашей встречи он издавал «Сатердей ревью» и владел контрольным пакетом акций этого субботнего издания, с женой расстался, лишившись и ее денег, однако на лондонском небосводе все еще летал высоко, на уровне Уистлера, или Хенли, или Оскара Уайльда, а мы, его младшие сотрудники, были рядом с ним мелкая сошка.

Наверное, он просто хвастался, называя себя мошенником, поскольку, в отличие от крупных мошенников, не попал в тюрьму и не обрел богатства — альтернатива для крупного мошенника неизбежная. Слишком он был громогласен и тщеславен, слишком любил пускать пыль в глаза, чтобы оказаться злодеем. Всю жизнь мне рассказывают о нем бог знает что, но ни разу не слышал я ничего такого, что убедило бы в его махинациях. Когда я работал для журнала, а он был хозяином, платили там честно и регулярно. В литературе он разбирался и любил ее. Читал он много и беспорядочно, но со вкусом, и делал вид, что очень образован. Он был из тех, кто к званому обеду выучивает две фразы по-гречески. Кингсмилл говорил, что иногда он повязывал итонский галстук и любил помянуть «славные денечки» в Регби. При случае он намекал, что был ковбоем или занимался чем-нибудь уж совсем романтичным. Однако за занятием более опасным, нежели болтовня, когда тебя могут поймать на неувязках, я его не помню.

Для этого он и жил — чтобы говорить, писать (то есть болтать на бумаге) и что-нибудь издавать. Для своего времени это был блистательный издатель, однако порыв иссяк, он быстро сдал. Как только он перестал работать запоем, он вообще не смог работать. Он должен был восторгаться тем, что делает. Когда уверенность ему изменяла, он неуклюже шумел и орал.

Больше всего он впечатлял при первой встрече; однако, понабравшись опыта, я стал избегать его кабинета — очень он меня утомлял. Пыжился он однообразно, врал без воображения. Не припомню, чтобы через весь этот треск проскользнула хоть одна ценная мысль: его похвалы, обличения, оценки, претензии на мужественность и злодейство — все смешалось для меня в какой-то неясный шум. Вечно он себя подавал каким-то Робином Гудом от журналистики — отважным героем, но ранимым и нежным — и все это так громогласно! Читатель может убедиться в этом, прочтя его книгу «Шекспир — человек».

Я писал для него до 1898 года, но все реже и реже. За это время в моем сознании он проделал путь от олимпийского громовержца до тявкающей шавки. Порой, набравшись великодушия, я старался как мог снова увидеть в нем великого или хотя бы занятного человека. Но для занятности ему не хватало легкости и разнообразия, он не мог уйти от своего неприглядного «я». У него не было удалой веселости, которая была у Каста. Вот уж кто поистине значителен и забавен!

В 1898 году я виделся с Харрисом от случая к случаю. Из Лондона он уехал. С «Сатердей ревью» что-то не ладилось, он продал свою долю и отправился во Францию.

Впоследствии до меня еще доносилось его рокотание, большей частью — из-за горизонта, словно отдаленный гром. В пределах моего мира он появился, став на какое-то время редактором старого и респектабельного ежемесячника «Домашний очаг». Очаг он разоблачил, а от всякой домашности избавился быстро и вчистую. До или после того (точно я не помню) он издавал журнал с несколько угрожающим названием «Искренний друг». Друг этот оказался скорее наглым, а там и вообще сгинул. Позже он испортил «Вэнити фэр», а потом — «Модерн сосаети». Ничего особого он не делал, а уж злодейского — тем паче, но обидел многих, и весьма шумно.

Пока он издавал «Вэнити фэр», мы с ним поссорились. Он прислал мне книгу под названием «Бомба». Я нашел, что первая часть — хороша, а вторая — не особенно, и спросил у него, какую написал он сам. Оказалось, попал в больное место. Он отомстил, разругав моего «Тоно Бенге», который, по таинственным причинам, обозвал «Тоно Бомби». Это, впрочем, никак не меняет того факта, что «Бомба» написана на удивление неровно.

«Модерн сосаети» сумел отправить его за решетку, правда, лишь за неуважение к суду. Он поделился своим мнением об адвокате на одном бракоразводном процессе, находившимся sub judice[17]. Его «мученичество», как он выразился, длилось месяц. Потом какое-то время о нем ничего не было слышно.

Как-то утром, году в 1915-м — уже шла война, — моя соседка, леди Уорик, величаво приплыла из своего поместья в мой коттедж. К делу, как всегда, она приступила прямо.

«А почему это Фрэнк Харрис просит меня не говорить вам, что он здесь?» — спросила она.

Здесь? Да, он жил в Брук-Энде, с женой — боялся попасть под следствие. У него были основания сбежать из Парижа, и он доверил себя ее безотказному великодушию. Брук-Энд — это меблированный домик у дальних ворот парка. Леди Уорик сдавала его любому, кто попросит. В Париже Харрис наговорил с

три короба о своих симпатиях к немцам и влиянии на индийских вельмож; французы же, люди логичные, относящиеся к словам очень серьезно, стали холодны и подозрительны. Они вполне способны расстрелять человека из-за его собственных слов. Харрис перепугался, бежал в Англию, прихватив жену и чемоданы. В каждом дереве ему чудился обвинитель, а в шорохе летней листвы за окнами Брук-Энда — шаги жандармов.

Я объяснил, что в свое время мы обменялись колкими посланиями, и предположил, что он ожидает с моей стороны таких действий, какие бы предпринял он, поменяйся мы с ним местами. Вошла Джейн, и мы решили, что самое время проявить сердечное, даже бурное гостеприимство. Миссис Харрис — милая женщина, преданная жена, и ей мы были рады. Харрис, заметно поутихший, просто расцвел, а мы постарались доставить им как можно больше радости, пока они жили в Эссексе и ждали разрешения на въезд в Америку. Он присаживался к моему столу, говорил о Шекспире, о Драйдене{196}, о Карлейле, о Христе, о Конфуции, обо мне и о других великих людях; а также о поэзии, о своей чувствительности и о том, как омерзительно кормят в брикстонской тюрьме.

Вскоре они получили разрешение и отплыли в Америку.

Через несколько дней после их отъезда у меня снова была леди Уорик. На сей раз она не сразу приступила к делу. Когда мы вышли прогуляться среди роз в саду, она спросила меня, как я *на самом деле* отношусь к Фрэнку Харрису. Неужели она не знала?

Оказывается, у нее хранились письма одной высокопоставленной особы, в высшей степени интересные.

«Вы их ему отдали?»

«Ну что вы! — воскликнула она. — Он просил меня их показать, хотел что-то посоветовать. Разве можно их уничтожить? Они имеют историческое значение!»

«И плывут сейчас с ним в Америку?»

«Да. Как вы догадались?»

Боюсь, ситуация показалась мне занятной.

«Если даже корабль подорвется, — сказал я, — Харрис их из рук не выпустит».

Разыскать, вернуть, а потом передать эти небрежные и очень личные послания лицу, способному распорядиться ими благоразумней, оказалось делом длительным и дорогостоящим. Тем временем Харрис взялся в Америке за «Пирсонз мэгэзин» и, пока Америка не вступила в войну, он был прогерманским. Тираж он сократил с двухсот до десяти тысяч. Он опубликовал там неприятное и полностью выдуманное интервью с Уэллсом, чтобы показать, как глупа и невежественна моя позиция по отношению к

войне.

Однако я пишу свою, а не его биографию. Больше я его никогда не видел. Когда я жил зимой неподалеку от Граса, мы оказались почти рядом, но на сей раз желание услышать его голос я искоренял в зачатке. Мы обменялись письмами, я обещал зайти, как только сумею, но так и не сумел, а сейчас мне жаль. Умер он в 1932 году, а к тому времени порядком состарился, ему уже было лет семьдесят семь — семьдесят восемь, и меня бы не убыло, если бы я послушал его часок-другой.

Шоу был к нему куда добрее. Когда летом 1928 года Шоу отдыхал в Антибе, ему случалось заезжать в Ниццу, и они восстановили былое знакомство. Странные это были отношения. Правда, Харрис никогда не утомлял Шоу так, как меня, вся эта мелодраматическая похвальба злодейством и мужественностью чем-то привлекала Шоу. Мало того, в споре с Харрисом он, в отличие от меня, мог взять верх. В молодости, выступая на митингах, он не боялся идти наперекор толпе. Должно быть, в общении с Харрисом он вспоминал былое время. А вот меня Харрис подминал и расплющивал, как паровой каток.

Совсем расщедрившись, Шоу позволил Харрису написать свою биографию («Жизнь»). Вышло то, что и может создать эгоцентричный, помешанный на сексе старик. Больше всего там глубокой уязвленности успехом своего бывшего автора. Шоу, пишет он, полный импотент в искусстве, делах и любви. Это — главная мысль, дальше идет мнимый психологический анализ. Шоу отнесся к этому выплеску с бесподобным добродушием и очень помог книге, написав кое-какие пояснения. Но здесь излагается моя автобиография, а для меня последние годы Харриса — только «неясный шум». Я ничего не знаю о его сомнительном труде в четырех томах «Жизнь и любовные романы Фрэнка Харриса», запрещенном цензурой и разыскиваемом собирателями «занятной» словесности, ничего — кроме того, что он, безусловно, скандален и не слишком правдив.

Что ж, оставим пылкого, безудержного человека, прогромыхавшего по жизни мимо моей куда менее громогласной личности. Мне говорили, что «Жизнь и романы» Фрэнка Харриса — предостережение всем, кто захочет написать автобиографию, и я этому верю. По-видимому, это мешанина из лжи, жалости к себе, пустых претензий и эксгибиционизма, окончившихся несчастьем и отчаяньем. Я, однако, не хотел бы, даже для своей же пользы, добывать и читать запрещенную книгу. Не думаю, чтобы мне довелось узнать что-нибудь новое об этом воплощении безудержного эгоизма. Харрис пил и орал всю свою жизнь, иначе не мог, все пытался найти себя. Развернуться и взглянуть правде в

лицо ему недоставало мужества, а чувства и ум его были слишком остры, чтобы оставить эти тщетные попытки. Еще до переезда в Лондон он в ужасе бежал от себя самого, от Фрэнка Харриса. Найди он силы развернуться, он, быть может, сотворил бы что-нибудь пристойное из своей исковерканной и лживой особы. Впрочем, не знаю. Нелегко управиться с несуразным телом, с безобразным, темным лицом, с тщеславием, замешанным на похоти, и с алчной тягой к могуществу.

После этого отступления вернемся к 1894–1895 годам, точнее — к тому, как я ходил на Саутгэмптон-стрит, брал у Харриса и Бланчампа книги на рецензию, садился в кеб и вез эти охапки к себе, на Морнингтон-роуд. Дома я устраивался за столом, мы с Джейн вымучивали рецензии, хотя огонек писательской изобретательности порою едва чадил, и первоначальный вариант отправлялся в корзину.

Я был бодр и полон надежд. Хенли принял «Машину времени», согласился заплатить мне 100 фунтов и рекомендовал ее издателю Хайнеману. Это сулило мне еще по меньшей мере фунтов пятьдесят. Книга должна была выйти весной, и я превратился бы из журналиста — причем «внештатного» и безымянного — в настоящего писателя. Поговорили о рассказах с Метьюэном, а Джон Лейн предлагал мне издать сборник статей, хотя заплатить собирался всего 10 фунтов. Но главное, я пошел в гору. Теперь обо мне напишут, хотя бы о «Машине времени», и уж точно похвалят. Если бы мне удалось выпустить следующую книжку еще до того, как утихнет первый шум, я мог бы сказать определенно, что утвердился как писатель и уже не сверну с этого пути, и могу спокойно писать дальше, не гоняясь за «идеями» и не рецензируя чужие сочинения.

В своем архиве я откопал «ка-атинку», запечатлевшую рождественский ужин в 1894 году. От первого года нашей жизни с Джейн их осталось совсем немного. Рисовал я тогда не столь уж часто, а она, пока у нас не появился дом и место для хранения, творения мои не собирала. Ранние рисунки — не особенно умелые и точные. Здесь изображена наша рослая хозяйка (дай ей Бог!), которая в последний раз окидывает взглядом стол, накрытый для меня, Джейн и миссис Роббинс. На блюде, несомненно, индейка; детали, впрочем, не слишком проработаны. Наблюдательный читатель заметит раздвижные двери. Заметит он и непонятный черный предмет слева от Джейн. Это, как ни странно, черный графин, а в нем — вино (не знаю, продают ли его в наше время), золотистое вино под названием «Кэнэри сэк». Не уверен, но, кажется, именно его пил Фальстаф. Оно

сладковатое, легкое, вроде хереса.

Вино это, даже в несколько большей степени, чем индейка или присутствие миссис Роббинс, подтверждает тот факт, что к концу первого года мы с Джейн ощутили победу в нашем поединке с миром за жизнь и за свободу мысли. Мы серьезно поговорили о наших видах на положение в обществе. Нас уже приглашали, и немало. Нас подстерегали незнакомые блюда и напитки, а Джейн была вскормлена на такой же скудной пище, как я. Из вин мы знали только портвейн и херес и решили пока попробовать все, что найдется в лучших лавках Кэмден-тауна и на Тотнем-Корт-роуд. Мы пили рейнвейн, кларет, то и се — и неудивительно, что мы «орошали» индейку этим «Кэнэри сэк». Теперь, если нам его предложат, мы знали, что к чему. Но нам его так и не предложили. Я пил его зря.

Готовясь к светским визитам, мы обсуждали, куда нам пойти обедать — в гости или в ресторан. В Холборне и в Сохо были недорогие рестораны, где можно набраться хоть какого-то гастрономического опыта.

Мне уже пришлось побывать на грандиозном обеде, «поминках». Хоть это и были настоящие поминки по «Нэшнл обзервер», но называть их так вряд ли стоило, ведь присутствовал новый редактор и владелец, собиравшийся воскресить газету. Были там и Джордж Уиндэм, Натаниел Керзон{197}, Уолтер Сиккерт{198}, Эдгар Винсент (известный в наши дни как лорд д'Абернон{199}), Дж.-С. Стрит{200}, Артур Моррисон{201}, Боб Стивенсон, Чарльз Бакстер (поверенный Стивенсона), Х.-Б. Мэриот Уотсон и многие другие их авторы. Не уверен, были ли там Барри и Киплинг, но и тот, и другой с Хенли сотрудничали. Я, последний из зачисленных в это славное братство, гордо и робко сел подальше — и оказался с краю, а потому именно мне первому предложили неведомую черную массу, какие-то крупинки. Меня позвали развлечься, и, не мелочась, я положил себе побольше. Мой сосед — кажется, Бэзил Томсон — осмотрел черную горку на моей тарелке и заметил:

— А вы любите икру!

— Обожаю, — ответил я.

Оказалось, что это не так, но я съел все, чтобы не поступиться своей гордостью.

Обедали мы у Верри, на Риджент-стрит, и я помню, как в поздний час важно и осторожно вышагиваю по кромке тротуара, чтобы убедиться, что меня не шатает. Если бы передо мной оказался канат, натянутый через бездонную пропасть, я бы, из научного интереса, на него ступил. В конце концов я заключил, что не пьян, а «немного выпил». Литературные притязания завели

меня в неведомый мир, полный странных блюд и совсем уж странных напитков. В будущем, думал я, недоверчиво поглядывая себе под ноги, надо быть осторожней.

К счастью, за раздвижными дверями на Морнингтон-роуд в это время спало чудесное, храброе создание, столь нежное и чистое, столь глубоко верящее в меня, что я бы просто не посмел появиться перед ней небритым, опустившимся, пьяным. В свою богемную пору я был таким же трезвенником, как Шоу, хотя и не таким записным.

Помню, один сотрудник Харриса жаловался мне в редакции «Сатердей ревью»: «Сидим мы как-то, прилично набрались… вдруг входит этот Шоу… трезвый, смотреть противно. И как пошел *говорить*!»

2. Линтон, Стейшн-роуд, Уокинг (1895 г.)

Новый год ознаменовался тем, что я впервые получил постоянную работу в лондонской газете. Каст пообещал, что придержит для меня следующую вакансию, какой бы она ни была, и выпала театральная критика. Меня вызвали в «Пэлл-Мэлл» телеграммой.

— Вот, — сказал Каст и сунул мне в руки два кусочка цветной бумаги.

— Что это? — спросил я.

— Театры. Идите, займитесь ими.

— Хорошо, — сказал я и задумался. — Я бы не прочь попробовать, но должен вас предупредить, что, кроме пантомимы в Хрустальном дворце да Гилберта{202} и Салливена{203}, я был в театре только два раза.

— Это мне и нужно, — отозвался Каст. — Значит, вы не из их обоймы. Пробьете в ней брешь.

— Фрак нужен?

Удивление не входило в его привычки.

— Конечно. В особенности — на завтра, в «Хеймаркете».

Мы вдумчиво глядели друг на друга.

— Ясно, — сказал я и поспешил к одному портному с Чарльз-стрит по фамилии Миллар, который знал, что заплатить я могу.

— Сошьете к завтрашнему вечеру вечерний костюм? — спросил я. — Или взять его напрокат?

Костюм был сшит к сроку. В фойе я повстречался с Кастом и Джорджем Стивенсом, готовыми написать рецензию на случай, если бы я их подвел. Однако я справился и в два часа дня опустил ярко-красный конверт с начисто переписанной статьей в почтовый ящик на Морнингтон-роуд. Играли «Идеального мужа»,

новую оригинальную пьесу из современной жизни, написанную Оскаром Уайльдом.

Было это 3 января 1895 года, и все прошло прекрасно. Пятого я отправился на «Гая Домвилла», пьесу Генри Джеймса, в театр «Сент-Джеймс». Этот вечер запомнился мне лучше, чем первый. Пьеса была очень слабая. Джеймс был странный, диковинный человек — чуткий, но заблудившийся в лабиринтах своего ума, не получившего ни научной, ни философской выучки. По природной склонности и благодаря особенностям образования он был весьма деликатен, изыскан и сверхутонченно эстетичен. В поисках самых точных средств выразительности он взирал на ближних отчужденно и горестно, словно какие-то чары заключили его в огромный шар. Жил он до удивления благопристойно, а дом его в Райе был, наверное, одним из драгоценнейших образчиков георгианской архитектуры XVIII века. Закоренелый холостяк, он не ведал нужды и полностью отдал себя искусству. Трагедий он не пережил, грубого смеха комедии остерегался, но его снедала тоска по славе драматурга. Тогда он в первый и, по сути, в единственный раз встретился с театром.

Гай Домвилл, его герой, был одним из тех изысканных англичан-католиков из древнего рода, которые существуют только в воображении американца. Он уступил любимую женщину несравненно более грубому кузену, поскольку тяга к монашеству оказалась сильнее страсти. Подробностей я не помню. Была там одна сцена, где Гай и кузен почему-то притворяются, что пьют, а на самом деле выливают вино в цветочную вазу, очень кстати оказавшуюся рядом. Гая играл Джордж Александер{204}, вначале — изысканно и важно, а затем, по мере того как выявлялось недовольство галерки и задних рядов партера, во все цепенеющем отчаянье. Особенно нелепой была финальная мизансцена. Он должен был остановиться у дверей на середине сцены, медленно вымолвить: «Будьте к ней добры… да, *будьте* добры» — и выйти. Лицо у него и так продолговатое, а тут, в ожидании провала, совсем уж вытянулось. Я в жизни не видел такой унылой физиономии. Дверь все больше закрывала его, оставив наконец полоску, а там — какую-то линию, тонкую вертикаль. Когда дверь закрылась совсем, началось светопреставление; партер вторил ему жиденькими хлопками. Вдруг, таинственным образом, смута утихла. Несколько мгновений мы ждали, потом грянуло: «Автора! Автора!» Партер, так ничего и не сообразив, удвоил свои усилия.

Александер был просто сломлен. С лицом, искаженным от ненависти к тому, кто написал роковые слова, он с неумолимой жестокостью вывел обреченного, но все еще не прозревшего

Джеймса на середину сцены, и галерка взялась за дело. Джеймс кланялся; он знал, что так принято. Наверное, он заготовил какую-то речь, но произнести ее не смог. Никогда не приходилось мне слышать более жутких звуков, чем все это улюлюканье. Слабые аплодисменты партера совершенно захлебнулись. Секунду-другую Джеймс смотрел в лицо буре, открывая и закрывая рот, совершенно побелев. Потом Александер, надеюсь — раскаявшись, утащил его за кулисы.

Так увидел я Генри Джеймса, с которым позже у нас была искренняя, но беспокойная дружба. И по происхождению, и по образованию мы были совершенно разными. Из всех артистичных натур, каких я знаю, он был самым утонченным, я же плыл по течению расхожих вкусов своего времени, восполняя их обильными, но беспорядочными, непримиримыми суждениями и стремлением быть поближе к правде, даже если пришлось бы с ней сцепиться. Джеймс к правде не придирался; он чтил ее, как прекрасную даму, не унижая сомнением, не покушаясь ни на единую оборку платья условностей, в которые она рядилась. Он считал, что любому случаю приличествуют вполне определенный костюм и вполне определенные манеры. В холле у него, на старинном столе (поистине великолепном) лежали разные шляпы, при каждой — перчатки и трость. Твидовое кепи и прочная трость — для прогулок на болоте; мягкая, удобная шляпа — для гольф-клуба; светло-коричневую, вместе с другой тростью, он брал, когда выходил прогуляться до гавани; если же он отправлялся под вечер в город, наставал черед серой шляпы с черной лентой и роскошной трости с золотым набалдашником. В установленный час он уединялся в особой комнатке (собственно, то был домик, стоял он в красивом саду) и начинал работать, медленно, осмотрительно, диктуя романы, призванные завоевать разборчивых читателей. В романах этих нет суровых сторон жизни; даже страсти настолько изысканны, что порой кажется, будто даже в самые интимные минуты их удовлетворяли какие-то вполне приличные жесты. Однако сами истории сотканы им с какой-то особенной, чуть насмешливой, тончайшей деликатностью, которая и делает их поистине несравненными. Если вам хочется что-нибудь прочитать и правда жизни кажется вам чересчур грубой, обычная проза — утомительной, Генри Джеймс вам понравится. Будущих читателей поутонченнее будут радовать «Пойнтонская добыча», «Послы», «Трагическая муза», «Золотая чаша» и многие рассказы.

Однажды я видел, как Генри поссорился с братом Уильямом, психологом. Он очень волновался, даже сердился. Чтобы рассудить спор о том, как можно, а как нельзя вести себя в

Англии, он обратился за помощью ко мне! Уильям говорил с американским акцентом, спорил с бесстыдной рассудительностью. Я заехал к нему, чтобы пригласить Уильяма с дочерью к себе в Сандгейт. В отличие от Генри, Уильям не испытывал благоговения к поверхностному глянцу; узнав, что в маленькой гостинице, чей сад начинался за высокой кирпичной стеной, отделявшей его от усадебного парка, остановился Честертон, он совершенно лишился покоя. Он состоял в переписке с нашим внушительных размеров современником и отчаянно хотел его увидеть. Дерзновенно приставив к ярко-рыжей стене садовую лестницу, он вскарабкался наверх и заглянул к соседям.

Тут его и настиг Генри.

«Так нельзя, нельзя ни в коем случае! Здесь это не принято!» Генри велел садовнику убрать лестницу, а Уильям повел себя как скверный мальчишка.

К великому облегчению Генри, я увлек за собой Уильяма и по дороге, почти сразу за городом, мы повстречались с Честертонами, которые возвращались с прогулки в Ромни-Марш. От жары Честертон разомлел и еще увеличился — он просто нависал над своей одноконной пролеткой. Медленно, но твердо двигаясь, спустился он вниз, мокрый, распаренный, но радушный, мы поболтали, и Уильям был полностью удовлетворен.

Но воспоминания меня отвлекли. Вернусь к молодому, зеленому критику, который стоит среди смущенных обитателей партера, а вокруг бушует буря. Наверное, этот рев, эта злоба и это улюлюканье способствовали моей нелюбви к любым произведениям, предназначенным для театра.

В тот достопамятный вечер я сумел познакомиться с еще одним замечательным современником — Бернардом Шоу. Я видел его в Хаммерсмите, но никогда с ним не заговаривал. Пожар и мятеж развязывают языки. Я приветствовал его как коллегу по «Сатердей ревью», и мы вместе пошли домой, на север. Он говорил прелюбопытные вещи о буре, оставшейся позади, и о месте этой салонной пьесы в иерархии вечных ценностей. Особенно настаивал он на том, что ни публика, ни, по-видимому, актеры не заметили, как изящен язык Генри Джеймса.

Шоу был тогда худым молодым человеком лет тридцати пяти. Скромный коричневый костюм с жилеткой, белое лицо и рыжие усы резко выделялись среди крахмальных воротничков и черных галстуков. (Теперь лицо у него красное, а усы — белые, но это все тот же Шоу.) Он говорил на своем милом дублинско-английском наречии и обращался ко мне как к младшему брату. Я проникся к нему симпатией, которую пронес через всю жизнь.

Тогда это был блестящий критик и эссеист, неистовый трибун социалистических сборищ. Он уже написал несколько романов, никем не оцененных, а пьесы его знали только он да Господь Бог.

С тех пор мы встречались постоянно, но не очень часто, пока лет через шесть-семь я не вступил в фабианское общество. Тогда ему было за сорок, он уже прославился, женился, в прошлом осталась бедность. Взгляды его и убеждения, как и мои, закалились, вызрели. Оказалось, что о многом мы думаем по-разному, и хотя мы работали в разных областях и различались возрастом, чтобы считать друг друга соперниками, между нами — во всяком случае с моей стороны — было какое-то ревнивое чувство.

Оба мы были социалистами и атеистами; оба нападали на незыблемые общественные устои; но эта немаловажная схожесть не мешала нам (и это сохранилось до сих пор) подчеркивать, какие мы разные. В беседе важны не столько выводы, сколько самый путь к ним, и в этом смысле пропасть между мной и Шоу даже больше, чем между мной и Генри Джеймсом. В предыдущей главе я пытался рассказать о моем формальном и неформальном образовании. Шоу не прошел такой выучки, однако с юных лет просто купался в хорошей музыке, блистательных беседах, умении ценить жизнь. Исключительная деликатность здоровья сделала его трезвенником и вегетарианцем, обстоятельства молодости (скажем, жизнь в Ирландии) подготовили к бунту и социальному протесту; но в остальном он был так же отличен от меня и так же склонен к эстетству, как сам Генри Джеймс. Ему, надо думать, я всегда казался явно, а то и ужасно приземленным, мне же его суждения, при всей их яркости, представлялись слишком легковесными. Я хочу овладеть реальностью, избавить ее от второстепенного и, если она воспротивится, скрутить; Шоу танцует вокруг нее, вьет вокруг нее прихотливую завесу, заверяя, что она — такая и есть. В отличие от меня, он полагает, что реальную жизнь можно «обдурить», он просто обхаживает ее, как дамский угодник. Я не питаю иллюзий насчет врожденной добродетели и мудрости человека и в глубине души всецело стою за просвещение. Шоу считает, что надо просто подстегнуть добрую старую Природу, тут он ни на шаг не продвинулся дальше Руссо. Наконец, я прекрасно знаю жестокую объективность естественных причин, а для Шоу эволюция куда приятней и мягче, он даже наделяет ее благосклонной Жизненной Силой, видимо, позаимствованной без всякой критики у его друга и учителя Сэмюела Батлера{205}. Это сражение мы ведем все время. Когда вышла «Наука жизни», мы бурно обменивались письмами.

Но позвольте мне вновь вернуться к тем, первым походам в

театр. Все мои рецензии были удивительно скучными. В театре я ничего не смыслил, я был там не на месте. Не думаю, что мне вообще дано разбираться в нем, однако я никогда не ломал себе голову, не спрашивал себя: «Что же там, на сцене, творится? В чем суть этого странного иллюзорного мира?» Спроси я так, появилась бы точка зрения, я мог бы писать нормальные статьи, пусть даже разнес бы в пух и прах все приемы, какие есть, и все театральные механизмы.

Шоу, как и Джеймс, как и еще более изысканный его ученик Грэнвилл-Баркер{206}, твердо верил, что Театр — нечто определенное, законченное, достойное нашего служения ему, но чувствовал, что тут что-то не так, требовал иного театра, иной критики, иной аудитории, чем «заядлые театралы», однако все-таки мог вообразить несколько сотен людей, взирающих три часа на сцену, и полагал, что театральное действо может быть прекрасным, важным и даже первостепенным. У меня такой веры не было. Я обдумывал новое, невиданное человеческое сообщество, а уж найдется ли в нем место для театральных постановок, казалось мне не столь существенным. Да, какие-то представления будут, какие-то замечательные сплавы мысли, музыки и зрелища; но только археолог сможет разглядеть там огни сцены, будку суфлера, драматургов или размалеванных лицедеев.

Разумеется, я не очень четко представлял это в девяностых годах; однако уже убедился, что не театру питать мое вдохновение, и, видимо, по этой причине рецензии писал плохо, скучно. А вот неплохие пьесы я видел. В «Как важно быть серьезным» Александер сыграл так превосходно, что я совершенно забыл Гая Домвилла, а у Пинеро{207} в «Самой миссис Эббсмит» мне посчастливилось впервые увидеть и услышать молоденькую Патрик Кэмпбелл{208}, гибкую, прелестную, с дивным голосом.

Не больше месяца носил я новый костюм, пока бесцеремонное, но благодушное Провидение поняло всю бесплодность этой подневольной деятельности. Я страшно простудился, в мокроте опять появилась кровь, и в очередной раз выяснилось, что мне нельзя ходить по городу в любую погоду. Театр я передал в надежные руки Дж.-С. Стрита, который позднее стал вполне лояльным и вдумчивым цензором драматических произведений, и приступил к поискам какого-нибудь домика среди зелени за городом, чтобы написать новую книгу и закрепить успех, который несомненно должен был выпасть на долю «Машины» и сборника моих рассказов.

В Уокинг мы переезжали очень весело. Там разместился

первый крематорий, но наши знакомые сострили по этому поводу не больше пяти-шести раз. Мы взяли взаймы сотню фунтов под залог тещиного дома в Патни, и за эту сотню фунтов, представьте, сняли полдомика на Мэйбери-роуд с миниатюрной оранжереей и видом на железнодорожные пути, где каждую ночь лязгали и гудели товарные поезда, не нанося особого урона нашему здоровому сну. Неподалеку, среди сосен, была чудесная заброшенная речушка с заводью среди трав, вербейника, таволги, незабудок, желтых водяных лилий, и мы часами блаженствовали на взятой напрокат байдарке. Повсюду простиралась нетронутая вересковая пустошь, где мы сначала бродили, а потом наловчились разъезжать на велосипедах, постепенно воскрешая былую привязанность к свежему воздуху. Здесь родился, а позже и воплотился замысел «Войны миров», «Колес фортуны» и «Человека-невидимки». Я гонял по песчаным проселочным дорогам, положившись лишь на Господа Бога, который, скажем прямо, ставил мне палки в колеса — после очередного падения я описал, что стало с моими ногами, и описание это впоследствии стало первой главой «Колес фортуны». Всюду, где катается мистер Хундрайвер, катался и я. Затем я исколесил всю округу, подмечая дома и людей, которым суждено было пасть жертвой моих марсиан. В те годы велосипед был еще примитивным — появилась ромбовидная рама, но остановиться и спрыгнуть удавалось лишь тогда, когда педаль находилась в самой низкой позиции; тормоз на переднем колесе представлял собой какой-то невразумительный поршень. Тем самым приходилось двигаться дольше, чем хочется, как в том случае, когда мистер Полли перевернул мусорные ящики у магазина мистера Распера. И все-таки велосипед был самым быстрым средством передвижения — до автомобилей было еще далеко, и велосипедист чувствовал себя удальцом, эдаким властелином дорог, чего теперь нет и в помине.

Джейн была все такой же хрупкой, невесомой, и я, освоив велосипедное искусство, приобрел тандем, изготовленный для нас по специальному проекту. Мы принялись самозабвенно колесить по югу Англии. Здесь я вновь уступаю место небольшому фото и «ка-атинкам». На одной из них изображено начало путешествия через Дартмур к Корнуоллу. На другой вы видите, как Джейн впервые нанимает служанку.

В нашем домике мы счастливо и плодотворно прожили полтора года, а потом теща захворала, и стало ясно, что какое-то время нам придется жить вместе. Вскоре мы переехали в просторный особняк в Вустер-парке. Сразу же после того, как я получил развод, мы поженились. Ко времени переезда круг наших знакомств весьма расширился. Я не собираюсь перечислять всех,

но один мой друг резко выделяется на фоне многих. Я говорю о некогда гонимом, а ныне забытом писателе Гранте Аллене. Наверное, за всю свою жизнь я так и не удосужился сказать, что ему я во многом обязан своим мировоззрением. Что же, лучше тридцатью пятью годами позже, чем никогда.

Он был лет на двадцать старше меня. В свое время, преподавая естественные науки в Вест-Индии, он пропитался молодым вином агрессивного дарвинизма. Вернувшись в Англию, он стал вдохновенно писать популярные книги по естественной истории. Популяризатором он оказался хорошим и обнаруживал явные признаки самобытного мыслителя. Однако годы учительства развили в нем склонность к догматизму, он немедленно увлекался любой идеей, которая забредала ему в голову. В те годы за научные статьи платили совсем мало, и Джеймс Пейн, редактор «Корнхилл мэгэзин», объяснил ему, что успеха и процветания лучше искать в заморских странах, где можно строчить для британских туристов незатейливые романы о местных достопримечательностях. Английские и американские обыватели, которые в те годы начинали колесить по всей Европе, с удовольствием читали легко написанные истории о чувствах и нравах, царивших в тех самых местах, на фоне тех ландшафтов, которые они только что видели. Этим работам Грант Аллен обязан громкой популярностью и немалым состоянием, которое, впрочем, лишь тяготило его. Давным-давно он заразился тем же интересом к биологии и социализму, который бередил и мою кровь. Он не мог только радоваться жизни — ему нужно было привнести в нее что-то новое. Его беспокоили социальное неравенство и сексуальные запреты, а к современным ему идеям и мнениям он относился критически. Я и сам пережил приблизительно такие же фазы внутреннего беспокойства, неустроенности и даже сильнее увлекся набиравшими силу знамениями грядущей жизни и Мирового государства.

Как и я, Грант Аллен так и не нашел ответа в современных достижениях науки: он не обладал ни терпимостью, ни взвешенностью настоящего ученого, благоговеющего перед членами Королевского общества и устанавливаемыми ими ограничениями. Такие вполне понятные книги, как «Происхождение идеи Бога» (1897) и «Эстетка физиологии» (1877), поражая своей дерзостью, не были подкреплены выверенными цитатами и ссылками на надежные источники; большинство современных исследований по незнанию или из пренебрежения он просто обделил вниманием. Для чисто популярных работ эти слишком оригинальны; для того, чтобы их всерьез принимали специалисты, слишком легковесны, но то, что

в них есть ценного, через много лет восприняли (как правило, не выразив признательности) и более серьезные мыслители. Теперь это просто ворох книг, ветшающих на заброшенных полках, а его антропология стала легкой добычей для насмешек ученого и блестящего Эндрю Ленга.

Попытка превратиться из удачливого, очень английского поставщика всякого чтива в писателя с идеалами и мировоззрением, внеся тем самым свою лепту в подлинную литературу, тоже провалилась. Он и здесь напоминал, скажем так, неуверенную амблистому, которая не может решить, правильно ли она поступила, выйдя из воды на сушу. Он был вынужден зарабатывать деньги, а остававшегося времени не хватало, чтобы выверенно и продуманно написать настоящий реалистический роман, как не хватало его для кропотливых и законченных изысканий, без которых не завоюешь признания в ученых кругах.

Позднее со мной едва не случилось примерно то же самое. Как говорится, в свободное время, не имея понятия о том, что приемы и способы создания обычных, кассовых романов никак не годятся для чего-то необычного и свежего, он написал сентиментальную мелодраму — «Женщина, которая это сделала». Попытавшись (конечно, наспех) описать женщину, которая сознательно пренебрегла суровыми условностями своего времени и родила незаконного, «своего» ребенка, он не слишком утруждал себя тем, чтобы ее понять, раскрыть ее внутренний мир, чтобы она вызывала симпатии у обычного, рядового читателя. Это очень трудно и опасно, а поскольку, чуть позже, я сам пытался сделать что-то похожее в «Анне Веронике», «Новом Макиавелли» и «Жене сэра Айзека Хармена», то могу засвидетельствовать, что совсем нелегко совершить чудо, за которое он так легкомысленно взялся. По зрелом размышлении могу сказать, что роману не дано совсем увести читателя от общепринятых условностей. Однако, думаю, что в этом отношении ему дано больше, чем пьесе. Вряд ли публика в зрительном зале поступалась хоть на йоту своими принципами, но и зритель и читатель прежде всего что-то *узнаёт* и как-то на это отзывается. Пагубней всего принять как должное, что твои новые принципы непреложны. Именно это и случилось с романом Аллена. Глупые люди никогда не станут читать то, с чем не согласны, так стоит ли до них опускаться? Да и умных привлечет странное, необычное поведение не тогда, когда его восхваляют, а тогда, когда его просто показывают: «Взгляните-ка! Что вы об этом думаете?» Пока читателям интересно, пока они могут судить спокойно, а не раздраженно ощетиниваться, вы со своей задачей справляетесь. Когда же вышел роман Аллена,

ощетинились все, в том числе и я.

Я был в ярости. Мысли автора были мне очень близки, и опрометчивую, небрежную, неумелую книгу я воспринимал как измену великому делу. Аллен, думал я, открыл ворота врагу. И вот я тщательно и обстоятельно разругал его в таком духе:

> «Мы изо всех сил постарались собрать эти кусочки воедино и представить, что из них получилась героиня. Но вообразить себе живую женщину мы все равно не можем. Она, с немалым пафосом заверяют нас, „женщина в подлинном смысле слова“. Но с самого начала зарождаются сомнения. „Живое доказательство теории наследственности“ — вот идея этого образа. По ней самой этого, пожалуй, не скажешь. Когда мистер Грант Аллен называет ее „прочным устоем нравственной решимости“, это звучит убедительней. Прочность ее подкрепляется свидетельствами о „роскошных формах“ и „изящной грации ее округлой фигуры“. Представьте себе девицу с „роскошными формами“! Лицо же ее, „помимо всего прочего, было лицом свободной женщины“, была в нем и „своего рода монументальность“, и когда на ее подбородке мистер Аллен помещает какие-то ямочки, они чуть-чуть уменьшают монументальность, но не изменяют общего впечатления. „В манере ее было столько царственной красы, что выказать кому-то свое благоволение она способна была лишь от чистого великодушия и с подлинно королевской щедростью“ (когда ее поцеловал Алан). Носит она „свободную тунику без рукавов, вышитую арабесками“, и тому подобные многозначительные туалеты. Это все должно донести до нас ее видимый образ. Пусть читатель попробует представить сам роскошные формы в тунике и царственные черты с ямочками — от нас образ ускользает. У нее „серебристый голос“. Эмоции проявляются двояко — либо через румянец, либо через „трепетное подрагивание пальцев“. Пальцы дрожат особенно часто, хотя, честно признаюсь, мы так и не сумели взять в толк, какие за этим скрываются переживания, — и не представили себе, какими их видит сам мистер Аллен. Душа у нее „непорочная“. Она никогда не делала ничего плохого. (И это „реальная женщина“!) Когда к ней пришел Алан, чтобы поговорить о каком-то пустяковом деле, он увидел „одинокую душу в ореоле совершенной чистоты“, — странное зрелище

для гостя! Чуть ли не на каждой странице она „чиста“, „прозрачна“, „благородна“. И в критическое время она „явила бы всему Лондону превосходство своей высокой нравственной веры“, если бы Алан, отец того самого ребенка, „с мужской твердостью духа“ ее не удержал.

Разумеется, это — не реальный человек. Реальности в ней не больше, чем у красоток из модного журнала. Если бы автор меньше почитал героиню, он бы ее лучше описал. Несомненно, мистер Аллен достаточно долго жил, чтобы знать, что у реальных женщин не бывает непорочных душ и такой победительной красоты. Реальные женщины что-то едят и что-то выделяют; у них тонкие чувства и сложные мысли; что же до их душ, то и на самой чистой есть какие-нибудь пятнышки. Как он отыскал свою чудовищную Эрминию{209}? Во всяком случае, не наблюдая и не вдумываясь. На наш взгляд, это гипсовый слепок „чистой, сияющей женственности“ с какой-то идеей вместо души, словом — механизм, который должен довести сентиментальный замысел до логического завершения. Алан, ее возлюбленный, — идеальный ханжа, по-своему простодушный, из самого прекрасного теста, — того, из которого и пекут героев чтива. Ее отец, настоятель, — расхожий образ милого, но ограниченного священника из современной комедии. Откуда взялась Этель Уотертон, мы не знаем; это просто „пресная блондинка с шоколадной коробки“. Долорес, которую автор не бранит и не хвалит, вышла лучше всего, видимо — по этой самой причине.

Книга претендует на исключительную жизненность; мало того, нам предлагают догадаться, что в ней — нравственный вызов. Так ли это? Проблемы брака касаются живых людей, а незаконные отпрыски гипсовых статуй не больше беспокоят нашу нравственность, чем зачатие Семелы или рождение Минотавра. В проблемных романах без правды не обойдешься. А чтобы правдиво описать отношения полов, нужен Жан-Поль Рихтер{210} или Джордж Мередит, одного желания тут мало.

Что же проповедует Евангелие от Гранта Аллена (который знает, разумеется, что жизнь — это огромное поле брани)? Женскую эмансипацию. Автор не предлагает избавить женщин от косности, черствости, полового невежества, сексуальной дикости — подлинных причин той беды, которая постигает отверженных и обездоленных. Нет, он хочет освободить их от

моногамии, этой единственной узды здоровых мужских желаний. Он предлагает отменить совместную жизнь, отменить семью, школу человеческой нежности, и за счет государства поддерживать женщин, которые решат родить ребенка. Мы должны стать найденышами, и лишь самый пытливый из нас узнает имя собственного отца. Я думаю, мистер Аллен догадывается, что и потребность в любви, и потребность в детях отнюдь не так уж велики у многих, самых лучших женщин. На тех условиях, о которых он мечтает, рожать будут распутные истерички. Почему он предлагает именно так умножать человечество, остается тайной. Нам то и дело попадаются прекрасные рассуждения о Правде и о Свободе, но даже сочувственный рецензент не отыщет оснований для предлагаемых автором идей. Союз, основанный на совместной жизни и охраняемый ревностью — в браке ли, без брака, — останется естественным уделом среднего человека, как и тигра или орла.

Хотим мы поспорить и со стилем этой книги. Если бы мистер Аллен и впрямь заботился о красоте и правде, если бы он и впрямь любил свою Эрминию, неужели он бы стал описывать ее таким языком? Для респектабельных же идиотов, которых он отождествляет с английским народом, у него находятся определения „простой“, „шаблонный“, „косный“, „низкий“. Что ж, каждое из них вполне соответствует палитре, которую он счел достойной своей героини».

И далее в том же духе. Лет через двадцать, когда я написал «Страстных друзей», меня самого примерно так же обличало молодое поколение в лице Ребекки Уэст, но я не смог убедить себя, что заслужил это в той же мере, как Грант Аллен.

Что до него, он вел себя превосходно. Он написал мне милое письмо, просил заехать и поговорить. Однажды, в воскресенье, пройдя пешком от станции Хейзлмир, я позавтракал с ним у него в Хиндхеде, который в те годы был затерян в бескрайних зарослях черного, лилового, золотистого вереска. Была там харчевня под названием «Хижина» и десяток скрытых деревьями домиков. Здесь жил когда-то Тиндейл{211}, неподалеку поселился Конан Дойл, снимал домик и Ричард Ле Гальенн{212}; до легковых авто и всеобщей тяги в пригород оставалось лет десять. После завтрака заглянул к нам Ле Гальенн. В доме гостила его сестра с мужем, актером Джеймсом Уэлшем. Мы сидели в шезлонгах под соснами

до самого вечера.

Через бездну лет я не слышу, не помню нашей беседы. Должно быть, мы говорили о писательстве и о том, как писателю преуспеть. Я в ту пору был еще зеленым и очень настырным, а мир меня принял хорошо. Наверное, говорили мы и о «Женщине» и о том, что с нею связано. Мы с Грантом Алленом продолжали традицию Годвина и Шелли, предоставляя женщинам, даже самым юным, геройски отстаивать свою независимость. Но Аллен, в ком было что-то не от фавна, не от сатира, а скорее от грозного дядюшки этого лесного народца, стоял за то, чтобы девицы проявляли силу духа. Меня несколько сковывала моя семейная ситуация. Ле Гальенн, поклонник любви, привнес в наш разговор привкус Суинберна{213} и ренессансной Италии, точнее — той Италии, которую видел Браунинг{214}.

Когда историю напишут как следует, кто-нибудь проследит сквозь века культ страстной любви. Бывали времена, когда он диктовал вкусы, костюм, обстановку, а бывало и так, что он стыдливо таился в сумерках, в кустах, на лестницах, ведущих в бальную залу. Тогда он как раз переживал подъем, а Ричард Ле Гальенн был его главой. Он сочинял фантазии, где розы, ревность и ресторан сплетались в одно прекрасное кружево, подстрекая юношей того времени ринуться на розыски Прекрасной Девы. Сам он был высок ростом, худощав, с приятным, женственным лицом, выразительными руками и копной темных волос. Меня привлекала наша несхожесть, и мы охотно общались друг с другом, пока он внезапно не покинул лондонский литературный мир и не отбыл в Америку.

Добавлю три «ка-атинки» тех времен. Кого-то они позабавят, кому-то покажутся противными, но, в конце концов, это — *моя* автобиография. На первой запечатлен триумф садовода, обычный в пригородной жизни; две другие тщеславны свыше всякой меры. Последняя из трех — сцены литературной «кухни»; можно заметить гордую Джейн, семью писателя в полном удивлении, завистника-рецензента, газетную вырезку и неблаговидные восторги по поводу гонораров. Мы были очень молоды, жилось нам нелегко, мы рисковали — и так радовались успеху!

3. Хетерли, Вустер-парк (1896–1897 гг.)

Надеюсь, я в достаточной мере смог описать новый этап своей жизни и потому не стану рассказывать подробно о том, как мы жили в Вустер-парке. Доверяю это «ка-атинкам». На первом этаже были две просторные комнаты и гостиная, вокруг дома был довольно большой сад, и вскоре мы завели привычку по субботам принимать гостей. Благодаря этому мы ближе сошлись с новыми (и многочисленными) приятелями. Среди прочих бывала у нас Дороти Ричардсон{215}, школьная подруга Джейн. У нее был явный литературный дар, она остро и выразительно говорила, очень живо вспоминала. Ее «Паломничество» — прелестные автобиографические романы, до сей поры не дождавшиеся заслуженного признания. В одном из них, «Туннель», она весьма достоверно описала нашу жизнь в Вустер-парке. Меня там зовут Хипо, а Джейн — Альмой.

На первой из «ка-атинок» запечатлена наша обычная домашняя жизнь со всем ее юмором. Это — документальное свидетельство того, что Джейн участвовала в моих ранних работах, а также тех наказаний и той суровой дисциплины, которые, судя по всему, сопровождали создание книг «Когда спящий проснется» и «Любовь и мистер Льюишем». Следующая — дань моему возвращению в «Фортнайтли ревью», а рядом — какое-то знаменательное событие, видимо, обед в клубе «Новые бродяги», куда меня пригласили в качестве почетного гостя. Третья сохранила для истории подробности этого славного пира. Официант, вероятно, обошел меня, раздавая мороженое. Человечки, которые кланяются Джейн, — Джером К. Джером{216}, Сидней Лоу{217}, Дуглас Слейден и Кеннет Грэм{218} (автор бессмертного «Ветра в ивах»). Тщеславие снова — во всем блеске.

Потом идет «ка-атинка», где запечатлены наши труды под руководством приходящего садовника (один день в неделю) мистера Тилбери. Дата их, как явствует из небольшой пометки в углу, — та самая, когда вышел «Человек-невидимка», которого, во многом благодаря великолепному фильму Джеймса Уэйла, читают больше, чем прежде. Почти для всех молодых я — просто автор «Человека-невидимки». Между прочим, у Джейн на ноге написано «глоши», что (так сказать, по-идиотски) означает «галоши». Почему я так написал, сокрыто в тумане прошлого, как брачный вопль птеродактиля или охотничьи повадки лабиринтодона.

Следом идет «ка-атинка», исполненная самолюбования. Я снова «совершенствую ум». Джейн предприняла очередную попытку получить степень бакалавра, но вскоре отказалась от этой затеи. Пополняется наша книжная полка. На обеде в память Омара Хайяма{219} я познакомился с Джорджем Гиссингом{220}, и он слезно просил нас поехать с ним весной в Италию. Мы изучаем путеводитель.

Далее следует «ка-атинка», на которой наш итальянский проект развивается. Джейн еще далеко не окрепла, и ей прописали железо. Мы подбадривали себя, страшась малярии и ужасов римской кухни. Оба мы еще не были за границей; Джейн немного говорила по-французски и по-немецки, мои же познания в языках представляли собой полуразложившиеся останки предэкзаменационной долбежки грамматических правил и исключений. Тогда я писал и теперь не столько произносил, сколько выдавливал бесформенную массу невразумительных звуков. Слово «заграница» для нас подразумевает приключения, и приключения страшноватые. Терять время на континенте мы не собирались и держали курс прямо на Рим.

Прибыли мы туда весной 1898 года. Проведя там месяц с Гиссингом, мы уже вдвоем посетили Неаполь, Капри, Помпеи, Амальфи и Пестум. Капри с Пестумом чуть позднее появились в рассказе «Армагеддон». Мы немного поднабрались итальянских слов, фотографий, воспоминаний и представлений о том, какими должны быть стол и вина. Возвращались мы через Швейцарию и Остенде. Нелегкая социальная жизнь XIX века вошла в ту фазу, когда запахло пожаром. В Неаполе люди требовали «pene e lavoro»[18], а в Брюсселе на площади у гостиницы толпа распевала «Марсельезу» и кто-то вроде бы палил из револьвера.

Джордж Гиссинг был личностью странной и трагической, неизменно трагической. Совсем нескоро узнал я всю меру обрушившихся на него несчастий. Морли Робертс написал о нем роман «Частная жизнь Генри Мейтленда» (1912), где многое искажено, а Фрэнк Суиннертон{221} — исследование, такое хорошее, что было бы наглостью и бессмыслицей его повторять. Портрет, нарисованный сэром Уильямом Ротенштейном (он помещен в книге), просто превосходен. Я восхищался романами Гиссинга «В юбилейный год» и «Новая Граб-стрит» еще до того, как познакомился с автором, и беседу нашу я начал с одного совпадения: Риардон, герой последней из этих книг, как и я, писал, боролся и жил на Морнингтон-роуд с женой по имени Эми. Было это на том обеде в память Омара Хайяма, куда меня пригласил то ли Грант Аллен, то ли Эдмунд Клод. Гиссинг тогда был необыкновенно хорош собой, строен, даже худощав,

светловолос, с четким профилем и великолепной львиной гривой; внешность его почти не выдавала того, какой яд бродит в его крови, чтобы подточить силы, привести к депрессии и в конце концов уничтожить. Говорил он по-джонсоновски выспренне{222}, однако разумно и доброжелательно. Я пригласил его к нам, в Вустер-парк, и визит его положил начало долгой дружбе.

Он жаловался на свои болезни, и я пытался приохотить его к велосипеду, поскольку он мало упражнялся физически, только ходил. Я думал о том, что неплохо бы прокатиться с ним и по Суррею, и по Сассексу, но для велосипеда он был слишком нервным и пугливым. Забавно было видеть, как этот статный викинг, отдуваясь, вприпрыжку бежит за велосипедом и боится на него сесть. «Да забирайтесь вы на свою железяку!» — крикнул я. Вихляясь то вправо, то влево, он проехал несколько ярдов и свалился на землю в истерическом припадке хохота. «На свою железяку!» — повторял он сквозь стоны, едва не катаясь от смеха по траве. Вообще он любил посмеяться, и это нас очень сближало; я был рад рассмешить его каким-нибудь забавным словцом. Удивить его и рассмешить было необыкновенно легко, поскольку он педантично избегал новых оборотов и непривычного употребления слов. Летом 1897 года мы с Джейн провели несколько недель в Бадли-Солтертон, неподалеку от дома, который он снимал. Именно в ту пору замышляли мы нашу отчаянную «заграницу».

О его прежней жизни я тогда почти ничего не знал; не знал, что в годы ранней юности он поставил крест на ученой карьере, закрутив роман с уличной девицей, который сначала привел его к денежным затруднениям, а потом — и к суду. Его вызволили друзья, а о ней, по-видимому, никто и не вспомнил. Он уехал в Америку, чтобы начать там новую жизнь, но из Бостона, тоскуя по любви, бежал в Чикаго, а оттуда побыстрей вернулся в Англию, где разыскал свою любовницу и женился на ней. Они жили в жалких меблирашках, где он пытался писать великие романы. Она такой жизни не вынесла, ушла от него и потом скончалась в больнице.

Конечно, что-то в ней было — очарование ли, тайна, особое притяжение, он так и не подыскал нужных слов. Она оказалась его «первой любовью», его Женщиной. Все прошло, но он опять создает для себя сложности — субботним утром знакомится с молоденькой служанкой в Риджент-парке, а позже на ней женится. Когда передаешь это просто как голый факт, поверить почти невозможно, а исследовать его мотивы — слишком долго. Учился он дома, стал очень необщительным и раздражительным. Ему казалось, что связь с женщиной, к которой он мог бы

отнестись как к равной, — дело чересчур тонкое, хлопотливое, обременительное. Он боялся, как ему казалось, неизбежных расспросов о здоровье и состоянии его финансов, а потому — польстившись на неровню себе в социальном отношении, вновь нырнул вниз, на дно, где ожидал найти покой и благодарность. Вторая попытка жениться закончилась таким же провалом; ничем другим она закончиться и не могла. Вторая жена оказалась злобной, ревнивой скандалисткой. Впрочем, мы ее никогда не видели, и судить я их не могу. Гиссинг для нас всегда был холостяком. «Я не могу пригласить вас, — говорил он, — это невозможно, решительно невозможно. Да-да, решительно. Мне и в голову не могло бы прийти. У меня нет дома».

Наверное, раньше подобное в голову ему все-таки приходило, но к нам это отношения не имело. Он никого не знакомил и со своими родными, которые душили его в детстве правилами, и очень боялся, что мы с ними не сойдемся. Его ранимость невыносимо отягощала все отношения, он был слишком необычен для повседневной жизни.

Словом, Гиссинг, каким я его знал, был исключительно сложным, тонким, чувствительным, и мне представлялось, что жизнелюбивое существо искалечили наследственность, оглядка и классическое образование. Ему хотелось смеяться, шутить, радоваться жизни, идти против ветра, шуметь, «осушать огромные кубки». Но детство, проведенное в доме уэйкфилдского аптекаря, где слова «Что *подумают*?!» грознее, чем глас Божий, вконец пришибло его. Наша образовательная система со свойственным ей безумием поместила в этот йоркширский городок вполне классическую школу. Директором ее был энтузиаст, который усердно пичкал свежие головы классикой и презрением ко всему иному. Гиссинг, бежавший от домашних запретов и умолчаний, угодил в ловушку велеречивого бахвальства, тяжелой римской помпезности. Влюбленный в нимф и богинь, он бродил по своему Уэйкфилду, мечтая о патрицианской свободе среди викторианских недотрог. Люди с классическим образованием делятся на «римлян» и «греков». Гиссинга пленял римлянин, склонный к риторике, а не к науке, прямой, одномерный, втайне — надменный. Особенно он любил триумфальные арки.

Знал он Рим удивительно. Он водил нас по городу, позабыв обо всем на свете, и без устали рассказывал. Порой, смущенно негодуя, он замечал нечестивые отметины, оставленные Средневековьем и Возрождением; но то были поздние наслоения, вроде полипов на плитах затонувшего дворца. Сознанием его, Олимпом наших римских походов, владели облаченные в тогу сенаторы, великолепные Лукреции{223}, матроны, гладиаторы,

которые только рады умереть, Горации, готовые ринуться в пучину pro patria[19], словом — цвет человечества, неподсудный, совершенный, знающий лишь язык эпитафии и эпоса. Именно это он исповедовал, когда описывал мирскую суету в «Юбилейном годе». Тонкий и острый юмор, благодушную стойкость, беспечную доверчивость, бурный гнев и бесподобное, а то и безумное великодушие, которые расточает нам любимый Лондон, он оценить не мог. Я так и не решил, в какой мере этот изъян вкуса — прирожденный, а в какой его вызвала семья и та классическая муштра, которой был отдан на растерзание незрелый разум. Сам я, вспомнив приступы неудержимого хохота, предпочел бы последнюю гипотезу. Смех высвобождает; значит, что-то мы раньше подавляли. Он любил говорить: «Неподражаемо!» Как-то он мне рассказал, что в Лондоне ему пришлось проснуться в три часа ночи от клацанья молочных бидонов под окном. Он лежал в постели и хохотал при мысли, что цивилизация возводит роскошные гостиницы во двориках, где каждую ночь звенят бидоны.

В глубине души я считал его полным неучем, он же почти не скрывал, что убежден в моем вопиющем невежестве. Каждый втайне посмеивался над другим. Он знал наизусть греческие пьесы и поэмы, непринужденно их цитировал, но, видимо, безоговорочно верил античным философам и никогда не поверял их истин, полагая, что современная наука и мысль — лишь жалкое переложение возвышенно-недосягаемой мудрости. Все, что преобразует нашу жизнь, он приписывал некой, весьма неприятной «механической изобретательности» англичан. Он полагал, что стоит грамотею-классику пролистать несколько книг, и он с легкостью овладеет всем тем, что привнесли в этот мир наука и современная философия, причем его не смущало, что сам он так ничем и не овладел и не видывал человека, которому бы это удалось. Он с головой укрылся в редутах защитных фраз и нарочитой брезгливости к «подлым» порядкам и «низкопробным» типам. Заливаясь хохотом, он именовал этот мир «неподражаемым», а если прорваться к реальности и смеху ему не удавалось, он называл его «гнусным». Такие слова, как «низкий», «подлый», «гнусный», «убогий», в его книгах встречались гораздо чаще, чем в его обычной речи. Многими из его книг будет зачитываться еще не одно поколение, но из-за крена в сторону мрачности книги эти обретут больше читателей, чем поклонников. Когда читаешь Суиннертона, просто видишь, как мягкого, доброго человека, начавшего с искренней симпатии к своему герою, постепенно охлаждает эта несправедливая, несколько жестокая, манера третировать тех, кому не очень

повезло.

Благодаря Гиссингу я укрепился в подозрении, что ортодоксальное классическое образование, которое было когда-то мощным антисептиком против закоснелой, поистине египетской догмы и естественных предрассудков, уже перестало быть той крепостью, где можно укрыться от невежества. Оно стало собранием надгробных памятников, кладбищем в мутном свете сумерек, через которое новые идеи виновато и поспешно спешат на дорогу, ведущую в город, поскольку ни ночлега, ни пропитания им здесь не найти. Это именно кладбище, и, как погост за Атлас-хаусом в Бромли, оно не даст ничего, кроме бликов в водах пруда, и ничего не породит, кроме привидений, болотных огней да инфекций. Там уже не учат, там место только археологу и специалисту по социальной психологии.

Итак, по-дружески споря, Гиссинг, Джейн и я отправились в Рим, жадно схватывая впечатления и обмениваясь ими. То был Рим, еще не исковерканный мэром Натаном и не ведающий того, что уродливая махина мавзолея Виктора-Эммануила{224} загубит всю площадь Венеции, где основной магистралью оставалась Корсо. Под Форумом мирно почивали ненайденные захоронения этрусков, а на месте нынешних клумб цвели полевые цветы и зеленели сорняки. Когда мы бродили возле Тиволи, мне в голову пришел сюжет «Сердца мисс Уинчелси», и я даже помню, как поделился им с Гиссингом.

Гиссинг, как и Гиббон{225}, считал, что христианство загубило классицизм, и позволил нам разделаться с Ватиканом и собором Святого Петра собственными силами. В сумрачных, пропахших ладаном храмах я ощутил дыхание Египта и его древних тайн, а в папском городе, среди снующих взад-вперед паломников, библиотек, галерей, обсерваторий, ренессансной архитектуры, скорее растерялся. Во всем этом было нечто большее, чем пышность и помпезность, — чувствовалась традиция и ее упадок. Вавилонская блудница моих юношеских предрассудков не имела к этому отношения. Я ощутил, что протестантство несправедливо к Риму эпохи Возрождения.

Здесь, совершенно явно, была великая система, искренне стремившаяся объять ширившуюся вселенную — связный план человеческой деятельности. Простенькое слово «предрассудок» ее не исчерпывало.

Я догадывался, что была католическая Реформация, не менее решительная, а то и более глубокая, чем Реформация протестантская; что мышление римского священства вовсе не застыло in saecula saeculorum[20], но, пережив еще в те времена немыслимые потрясения, и сейчас, как все живое, применяется к

обстоятельствам. Несмотря на свои нехристианские настроения, в глубоком космополитизме католической доктрины я обнаружил что-то мне родственное. Да, Католическая Церковь соединяет древнее, дряхлое богословие и явную оторванность от мира земного, но — по-своему и как бы частично — остается «легальным заговором», в противовес собственной природе, с целью перестроить всю человеческую жизнь. Если бы Папы во времена своей силы смогли воплотить то, на что замахнулись, католицизм бы куда больше походил на того компетентного судью дел человеческих, которого я так искал всю жизнь, чем на выразителя беспорядочного провиденциализма, пропитавшего политическую и общественную мысль XIX века. Католицизм гораздо шире и масштабнее в духовном смысле, нежели любое из националистических протестантских учений, и уж конечно несравненно выше дремучего возвращения к ненависти, которое являют нам гитлеризм или ку-клукс-клан. Я бы даже поостерегся назвать его «реакционным», не сделав необходимой оговорки.

Долгие годы я открыто враждовал с католичеством, и, хотя ревнители благочестия вполне законно бранили меня, я считаю воинствующего католика честным бойцом и человеком цивилизованным, достойным той великой культурной системы, в которой могли созреть и выразить себя такие гении, как Леонардо и Микеланджело. Философия его, древняя и реалистическая, порой придает ему вызывающую жесткость, но это — совсем другое дело. Я не так тонок, чтобы решить, убежденный я атеист или отъявленный еретик на самом краю католичества, дальше ариан и манихеев; в любом случае я — ветвь с его древа.

Вернемся, однако, с ватиканской экскурсии к Джорджу Гиссингу. Желание вырваться из сети запутанных обстоятельств, почти всегда свойственное тем, кто живет своим воображением, в его случае приводило к отчаянным попыткам унести ноги любой ценой. Он сбежал с нами в Италию от второй жены. Жуткое уединение с той, с кем нет ни единой общей мысли, эту беспрерывную ссору больше терпеть он не мог. Известная специалистка по воспитанию, восторженно относившаяся к Гиссингу, предложила взяться за миссис Гиссинг и их детей, установить с ней приемлемые отношения, в сущности — воспитать ее, пока Гиссинг ищет мира и покоя в обожаемой Италии. Ничего из этой затеи не вышло; доброхотливая дама лезла в то, чего не понимает, а жена, растерянная и безмерно возмущенная этим загадочным, завладевшим ею человеком, шла сквозь истерики и сцены к душевному расстройству. Она и впрямь вела себя возмутительно — в римский отель Алиберти приходили письма, после которых Гиссинг ходил весь белый, трясясь то ли

от ярости, то ли от слабости. Лучше всего было отправиться с ним в окрестности, в какую-нибудь придорожную таверну, к Мильвийскому мосту, или в Тиволи, или по Аппиевой дороге, чтобы он попивал грубоватое красное вино, болтал по-итальянски с крестьянами, пускался в споры об обществе, истории, этнографии, — и в конце концов загонял донимавшую его тоску поглубже.

Этот несчастный, истерзанный мозг, столь искушенный в учености и эстетической восприимчивости, столь неискушенный, столь трепетный и податливый в реальном противостоянии жизни, уехал от нас в Калабрию и написал там «У Ионического моря», а позже, в Англии, — «Записки Генри Райкрофта». Интерес к этим книгам, где он так силится казаться образованным бездельником восемнадцатого столетия, в немалой мере способствует тому что, под всеми стараниями сохранить личину, можно распознать безжалостность обстоятельств, тех устрашающих препятствий, которые ему выпали на долю как бы в возмездие за неверный старт, за дурацкий, необдуманный выбор. Наверное, Гиссинга всю его жизнь травила судьба, но он не обернулся, не вступил с ней в схватку, а только прятался и убегал.

Вскоре мы вернулись в Вустер-парк, а он вместе с какой-то «достойной хозяйкой» — в сущности, кухаркой — обосновался в Доркинге. Жена, под опекой лондонской дамы, не ведала, где находится муж. В Доркинге ему жилось очень плохо и одиноко. Однажды он пришел к нам с просьбой. Одна француженка предложила перевести его книги на французский, он хотел что-то обсудить с ней. В Доркинге, объяснил он, просто немыслимо ее принять, нельзя ли устроить встречу у нас?

Мы пообедали все вместе, а потом они спустились в сад и долго беседовали. Она была из образованной буржуазной семьи, в темном изящном платье, с гладкими темными волосами. Говорила она чуть нараспев, тщательно следя за интонацией, на наш английский вкус — многовато и чересчур откровенно, и казалась слишком уж изысканной и ученой. Для Гиссинга она была первым знамением европейской славы и, по-видимому, воплощала то общение, то понимание, по которому он тосковал. Нормальные мужские склонности, которые я уже проанализировал в себе, у него получили невиданное развитие. Он на редкость нуждался в материнской нежности, но как любовник совершенно не собирался жертвовать собою.

Вскоре, из случайной фразы, мы поняли, что она посетила Гиссинга в Доркинге, причем уже стала просто Терезой. Других признаний мы от него не услышали. Он покинул Доркинг и уехал

в Швейцарию, где поселился с Терезой и ее матерью. Он дал понять, что они «будут жить вместе», и, дабы рассеять возможные осложнения с французской родней, мать пустила в обращение визитные карточки, на которых фамилию Терезы переправили на «Гиссинг». Все это, разумеется, хранилось в строжайшей тайне от его жены и большинства английских друзей. Те же из нас, которые знали правду, полагали, что, раз этот выдающийся ум сможет обрести условия, которые помогут ему справиться с достойной его работой, потворство столь мелкому обману можно не принимать в расчет.

Вскоре появился «Венец жизни», самый слабый его роман, но много о нем говорящий. «Венец жизни» — это любовь, любовь во фраке. Так думал Гиссинг о любви или, по крайней мере, осмелился думать. Мы решили, что в конце концов что-то подобное должно было случиться, зато теперь он напишет великий роман из времен Кассиодора{226}.

Наши надежды оказались тщетными. Годом позже, возвращаясь из Швейцарии, мы с Джейн навестили его в Париже и застали в беспросветной тоске. Квартира была изысканно-унылой, на изящный французский манер. Он исхудал, осунулся, ничем всерьез не занимался, горько сетовал на мнимую тещу, заправлявшую домом и, по его словам, моривщую его голодом. Встреча с нами нежданно-негаданно вызвала у него приступ англомании, некой животной ностальгии, и вскоре он примчался к нам в Англию. К нему пришел его школьный товарищ Генри Хик, врач, о котором чуть погодя я еще скажу, и на самом деле установил истощение. Джейн принялась его откармливать, аккуратно взвешивая через равные промежутки времени, и очень быстро достигла превосходных результатов.

Я был рад, что он у нас гостит, но вскоре последовало и наказание. От Терезы стали приходить длинные письма на тонкой линованной бумаге, в которых она в изысканнейших выражениях уведомляла меня, что написать ему не в силах и потому просит моего участия. В который раз я обратил внимание на особую романскую способность раздувать самые обыденные ситуации. Гиссинг отправился на несколько дней погостить к Хику и в свою очередь стал присылать мне письма, предназначенные Терезе, — длинные послания, написанные изящным убористым почерком.

У меня хватало своих забот, и после двух-трех скоропалительных дипломатических шагов я решил взять быка за рога. Я заявил, что лучше бы всего Гиссингу не возвращаться во Францию, раз уж у него с его дамой настолько не совпадает аппетит, а если, паче чаяния, между ними еще теплятся какие-то живые чувства, он должен поставить ей условие: отстранить тещу

от хозяйства и заниматься им самой, под его руководством. Сообщил я и о том, что больше не буду читать Терезины письма, их обдумывать и тем более отвечать на них. Что бы от нее ни пришло, я перешлю это ему. Я умыл руки.

Он вернулся к ней на предложенных мною условиях; наверное, они еще любили друг друга. Вскоре три несчастных немых существа, тая в душе обиды, страдая от несходства характеров, сняли меблированный домик в Сен-Жан-де-Люз, а потом переехали в горы, в Сен-Жан-Пье-де-Пор. Там он приступил к тому, что при лучших обстоятельствах могло бы стать историческим полотном, описывающим Италию времен готских королей, — к роману «Веранильда». Сколько я помню Гиссинга, он постоянно думал об этой книге, ради нее в 1898 году читал Кассиодора. Под Рождество 1903 года к ним приехали какие-то Терезины родственники. Отправившись с ними на прогулку, он подхватил простуду, которая перекинулась на легкие. Ни Тереза, ни ее мать на роль сиделки явно не годились. Его охватила внезапная ненависть к этому неуютному дому, к затерянной в горах деревеньке, к скаредному французскому рациону, ко всему, что его окружало, а потом накатил ужас перед грозными хрипами и постоянным жаром в крови. Еще в ноябре он писал о том, как тоскует, Морли Робертсу. А накануне Рождества нам обоим пришла телеграмма: «Джордж умирает. Умоляет приехать. Незамедлительно».

Я сам прихварывал, видимо, простудился, но Робертс был недосягаем, на телеграмму мою он не ответил, и я решил ехать. Был канун Рождества. Я побросал кое-что в саквояж и, в чем был, устремился к Фолкстонской пристани, спеша попасть на вечерний пароход. Рождественский ужин (ветчину) я ел на станции, в Байонне.

Картину я застал неприглядную. «Тещи» я так и не увидел, — или, по крайней мере, ее не помню; вероятно, она отсиживалась у себя. Тереза горевала и, на мой взгляд, вела себя очень бестолково. В доме толпился какой-то народ, но я настоял на том, чтобы посторонние немедленно удалились. Правда, один очень милый англиканский священник с женой помогли нанять сиделку (точнее, монахиню, что не совсем одно и то же) и приготовить крепкого бульона, прежде чем отправиться к себе в Сен-Жан-де-Люз.

Гиссинг умирал от двустороннего воспаления легких и бредил все время, что я там находился. Лед достать было невозможно, приходилось отмачивать в метиловом спирту носовые платки и класть ему на грудь. Рот ему приходилось отирать. Я не отходил от него всю ночь, пока монашка набиралась

сил, дремля у камина. Потом сквозь густой туман я побрел в гостиницу, в другой конец селения. Сен-Жан-Пье-де-Пор — глухая деревенька поблизости от границы, и по ночам на ее пустынные улицы с воем выбегают огромные псы, готовые показать запоздалому путнику свою свирепую удаль. Я напоминал себе бесплотную душу, бредущую вслед за Анубисом{227} по тропе мертвых, мимо загадочных, сбивающих с толку поворотов. Гостиницу я совершенно забыл, а вот комнату, где лежал больной, никогда не забуду.

Одна из странностей моей уединенной жизни — в том, что до смерти Гиссинга я ни разу не видел, как распадается и окончательно угасает разум. Я не видел, как умирают, и не слышал предсмертного бреда. Конечно, я ожидал, что найду его ослабевшим и беспокойным; я уже придумал, как выхлопотать пособие у мистера Бальфура, чтобы дать образование его мальчикам, и как ему об этом сказать, чтобы его подбодрить. Но пылающий в жару человек об этом и не думал. Прежний Гиссинг проглянул лишь однажды, когда стал умолять и требовать, чтобы его увезли в Англию. Все остальное время исхудалое, взъерошенное, небритое, горящее румянцем существо с огромными глазами, которое, сидя в постели, едва поводило тощей рукой, пребывало в предельном возбуждении. Оно ушло в тот мнимо-античный мир, основу которому заложила школа в Уэйкфилде.

«Кто эти чудные создания? — говорил он. — Кто это явился? — И снова: — О, как они прекрасны! Что сулит их краса?»

Он что-то бормотал по-латыни; он распевал отрывки григорианских хоралов. То, что отобрал он для «Веранильды», да и не только для нее, все быстрее и ярче всплывало в его сознании, пока там навек не воцарилась тьма.

Англиканскому священнику, чья жена сварила бульон, послышалось, что Гиссинг пел что-то божественное. Он дал волю воображению и написал в газеты, что тот скончался в «страхе Божьем, в утешении и силе католической веры». Это привело к неприятным недоразумениям. Эдвард Клод и Морли Робертс возмутились «похищением трупа» и среди прочих камней осыпали доброго человечка такими словами, как «ворон», «ястреб» и «церковный стервятник». Он этого не заслужил; он искренне полагал, что пение «Te Deum»[21] что-то означает.

Страдала в ту ночь и Тереза. Я обращался с ней сурово. Она меня раздражала. Я заметил, что она вытирает ему рот тем носовым платком, который отмачивался в спирте, и потребовал принести чистые платки, а ее бережливая натура воспротивилась. Чувство меры у нее не было развито, потребность в сочувствии

проявилась в неподходящий момент. Когда я пошел за чем-то необходимым, она выросла у меня на пути и, всплеснув руками, заговорила красивым, мелодичным голосом:

«Вы только подумайте, мистер Уэллс, как мне тяжело видеть бедного Жоржа в таком состоянии!»

Я с трудом сдержался и сказал:

«Вы совсем замучились. Идите отдохните. Мы с сиделкой позаботимся о нем».

И мягко, но настойчиво вывел ее из комнаты…

Так кончилась та беспорядочная работа серого вещества, которая звалась Джорджем Гиссингом. Он был печальный писатель. Большой и прекрасный мозг он потратил на то, чтобы принижать жизнь, ибо не пытался, да и не мог, открыто взглянуть ей в глаза — ни обстоятельствам, ни условностям, ни препятствиям, ни себе самому. Что больше виновато в этой трагедии, характер или школа, сказать я не могу.

4. Нью-Ромни и Сандгейт (1898 г.)

Вернувшись в Вустер-парк из Италии летом 1898 года, я в последний раз в жизни, перед окончательным выздоровлением, вступил в схватку с болезнью. Поначалу я и представить себе не мог, какие испытания меня поджидают. Я приписывал плохое самочувствие и отсутствие работоспособности (а писал я тогда «Любовь и мистер Льюишем») недостатку физической активности и, чем больше я уставал, тем больше понуждал себя двигаться. На самом же деле на моей раздавленной почке разошлись швы, сгустки крови закупорили соседние сосуды, и трудно было придумать что-нибудь вреднее для меня, чем велосипедная прогулка вдвоем к южному побережью. Но именно это мы и сделали. Я стыдился, что мне плохо — лет до сорока я вообще стеснялся физического несовершенства, и мук моих не могла унять никакая философия, — и потому изо всех сил жал на педали, хотя в голове была какая-то вата, а кожа просто мешала мне. Где-то в дороге я простудился.

Мы дотянули до Льюиса, потом — до Сифорда. Тут мы поняли, что я и в самом деле немного перестарался, и, сняв комнаты, решили немного отдохнуть. Все это возвращают мне иероглифы «ка-атинок». Вот одна, помеченная 29-м июля. Наша гостиная, как видите, на удивление благочестива. Нам неудобно в ней, и это выливается в ярость по отношению к другим посетителям Сифорда. Джейн жалуется, что совсем отупела. В моей голове мелькают полузабытые шутки о шляпе; возможно, я использовал ее как корзину для бумаги; раздражает меня и шум

наверху. Раз уж я оказался на отдыхе, я мертвой хваткой вцепился в «Любовь и мистера Льюишема». Стоило мне заболеть, как я немедленно загорался желанием покончить с книгой, которую я тогда писал, поскольку незаконченная книга ничего не стоит, а законченная может принести несколько сотен фунтов. Еще до отъезда в Рим я на скорую руку закончил роман «Спящий просыпается» (который позже назвал получше — «Когда спящий проснется») и собирался дописать «Любовь». Однако нагноение в боку усиливалось слишком быстро. Роман мой я старательно и дотошно дописывал через несколько месяцев. Моя несчастная почка, похоже, стала выделять чернила. Джейн забеспокоилась — и придумала купить термометр. Оказалось, что у меня 102 по Фаренгейту.

Домашнего врача у нас в ту пору не было, но я познакомился с другом Гиссинга, Генри Хиком, который представлял в Ромни-Марш Министерство здравоохранения и, узнав, что мы отправляемся на велосипедах, просил заехать к нему. Нью-Ромни был совсем неподалеку, мы обменялись телеграммами, и я пустился в путь по боковым, местным линиям, с пересадками. Боли значительно обострились, от тряски они усиливались, я страдал от жажды, воды достать не мог, поездка длилась бесконечно. Нежно, терпеливо, как бы и не уставая, Джейн сопровождала брюзжащий комок боли, бывший некогда ее «Сундуком». Хик был хорошим диагностом и сразу все понял. Он сказал, что без операции уже не обойтись, уложил меня в постель и заставил голодать, чтобы легче было резать, но, когда прибыл хирург из Лондона, выяснилось, что больная почка практически отмерла и удалять уже нечего. Я стал выздоравливать, и через несколько лет беспокойного ожидания и спорадических колик почка прекратила подавать даже отдаленные сигналы бедствия.

Как я вижу, через месяц-другой стали появляться новые «ка-атинки». До октября я не вставал и за это время нарисовал несколько, а потом стал их раскрашивать, тем самым приостановив рисованный дневник. Миссис Хик только что родила дочь; я стал ее крестным и принялся за иллюстрированный рассказ, посвященный этой юной леди, назвав его «Томми и слон». Книжечка сохранилась. Годы спустя, когда моей крестнице понадобились деньги, чтобы открыть свой кабинет, она продала и ее, и (с моего согласия) авторские права, после чего вышло факсимильное издание. Людям нравилась ее безыскусность, она неплохо расходилась и до сих пор продается под Рождество, для подарка.

Если верить «ка-атинкам», 5 октября я создал новый проект

под названием «Киппм», а также покончил с «Любовью и мистером Льюишемом». К тому времени я покинул добрых Хиков и, не совсем еще оправившись, принялся за работу. В удобном экипаже меня отвезли в Сандгейт, и, проведя с неделю в пансионе, мы обосновались в меблированном домике у моря под названием «Бич-коттедж»[22]. Хик не советовал мне возвращаться в Вустер-парк, и больше я там не был.

Восьмого октября, видимо, был рисовальный день, мы составляли отчет обо всех событиях двух прошедших месяцев. Эти «ка-атинки» напоминают мне о тех неприметных мелочах, которые иначе совершенно бы стерлись из памяти. Я припоминаю, что принимал «жуткую отраву» и пил какую-то воду; здесь же — растерянная Джейн, она боится операции. Рядом Хик совещается со специалистом. Мне кажется, Джейн, глядящая на нож и восклицающая «О-ой!», — одна из вершин моего творчества. Вот я впервые облачаюсь в халат, поднимаюсь и, тяжело опираясь о Джейн, к большой ее тревоге, скачу (галопом) от радости. Вот она везет меня к морю в кресле на колесиках. Вот силы мои прибывают, я уже могу разгуливать сам по себе, и Джейн идет купаться (в купальном костюме, совсем старинном), я же покупаю панаму, «на сей раз это — не нимб».

Следующий рисунок показывает, как на наш пикник пожаловали бесцеремонные коровы. Джейн смерти не боялась. Я дважды видел, как она считала, что сейчас умрет, и ни капли не струсила, но она выросла в городе и боялась коров. Она не доверяла этим добрым, приятно пахнущим созданьям.

На следующей «ка-атинке» показано, как мы стреляем из духового ружья, а дальше — ищем новый дом. Доктора уверяли, что выздоравливать я буду долго, и я смирился с тем, что выслан из Лондона. Жить мне предстояло там, где воздух сухой, почва не содержит влаги, а солнца — как можно больше.

Бич-коттедж был жилищем временным и к тому же стоял так близко от моря, что в непогоду волны разбивались о его крышу. Разместив меня, Джейн направилась в Хетерли, чтобы перевезти оттуда мебель в пустой дом под названием «Арнольд-хаус», где мы решили жить до тех времен, пока не найдем чего-нибудь получше. Это было трудно. Из приведенных «ка-атинок» ясно, что уже в то время мы думали построить дом и в конце концов решили рискнуть. «Ка-атинку», отобразившую наш переезд из Бич-коттеджа в Арнольд-хаус, я уже приводил в третьем

параграфе седьмой главы.

Было бы несправедливо опустить внезапное появление Генри Джеймса и Эдмунда Госсе, которые прикатили на велосипедах. Они пили чай с нами и доктором Хиком и были до того милы, что мы с Джейн совсем разумилялись. Мне и в голову не пришло, что посещение это продиктовано не дружеским участием. Через некоторое время, когда я жил в Бич-коттедже, ко мне заехал Дж.-М. Барри. Я предположил, что ему вздумалось провести денек у моря, а заодно навестить и меня («ка-атинку» см. в § 3 седьмой главы). Барри обстоятельно и мудро рассуждал о том о сем, особенно — о собственных былых невзгодах и тяжкой доле молодых писателей. В те времена небольшое вспомоществование могло значительно облегчить жизнь, если ты на мели. Я никак не считал, что я «на мели». Как только займешь денег или получишь субсидию, сказал я, к работе охладеваешь. Опасно, а то и гибельно лишать чеки того пикантного запаха наживы, который так остро ощущаешь, когда деньги не надо отдавать.

«Может быть, вы и правы, — сказал, подумав, Барри и рассказал мне, что, когда он сам приехал в Лондон, он не понимал предназначения чеков. — Я просто складывал их в ящик и ждал, когда мне пришлют настоящие деньги, — говорил он. — В чеках я смысла не видел».

Он намазал маслом булочку.

«Когда я приехал в Лондон, — заметил он, — я жил почти полностью за счет субсидий…»

Последующие годы открыли мне, что Королевский литературный фонд наводил обо мне справки, и положение мое было не настолько вне его ведения, как я воображал. Но никаких субсидий я не получил, да к тому времени в них и не нуждался. Я получал сотни фунтов и подумывал о том, чтобы построить домик. О том, что деньги можно вложить в дело, я еще не знал, и полагал, что собственный дом — это прекрасное помещение капитала.

5. Несколько поучительных встреч; разные люди и темпераменты (1897–1910 гг.)

Арнольд-хаус мы сняли на три года, и я жил там весь этот срок, потихоньку приводя себя в порядок и накапливая силы, чтобы противостоять простудам и прочим инфекциям. То была вилла, рассчитанная на две семьи; от нее шла полоска травы, кончавшаяся перед живой изгородью у самого моря. Однажды на пляже появилась Морская Дева, прелестная, в купальном

костюме, с солнцем в волосах, и завладела моим письменным столом.

Нашими ближайшими соседями оказались очень милые люди, Пофемы, небогатые рантье с изысканным вкусом, начитанные, даже стремившиеся изменить мир. То были чада того серьезного нонконформизма, который в разгар викторианской эпохи создал немало процветающих предприятий, превратил их в акционерные общества и предоставил уже своим детям возможность путешествовать, забавляться искусствами, создавая самый хребет новой британской интеллигенции. Пофемы были легки на подъем. Они учили меня плавать, если меня вообще можно этому научить, — мы ставили плот на якорь ярдах в двадцати-тридцати от берега, и я пытался до него добраться. Пофем оказался таким же заядлым велосипедистом, как Боукет, и мы надолго отправлялись колесить по Кенту. Миссис Пофем приходилась свояченицей Грэму Уолласу{228}, которого я уже знал по давним встречам в оранжерее Уильяма Морриса. Вскоре он появился в Сандгейте с женой, и мы легко нашли темы для разговора.

Уоллас был довольно ленивым и чересчур педантичным, но очень благородным человеком, и трудно переоценить влияние, какое оказала на меня его бескорыстная жизнь. Видимо, оно было огромным. Уолласы, Оливиеры и Уэббы были лучшими среди главных фабианцев — Шоу типичным фабианцем я не считаю; до конца своих дней они жили «общим делом». Зарабатывали они как бы между прочим, от случая к случаю; кое-какие деньги у них были так или иначе, а «общему делу» они посвятили себя не раньше, чем жизнь их как-то устроилась.

Из моего рассказа, я думаю, уже можно сделать вывод, что я в те дни стал весьма деловит; понятия «оптовой цены за тысячу штук» и «цены за ходкий материал» присутствовали в моем сознании так же явственно, как показано на «ка-атинках». Не думаю, что я оборотист по природе, но борьба с миром, которую я вел за Джейн, за себя, за нашу семью, подталкивала меня к практичности. Я обретал к ней вкус, обретал я и вкус к покупкам, находя удовольствие в кредитоспособности. На свою литературную репутацию я все чаще смотрел как на товар, имеющий определенную стоимость. Прогулки с Уолласом были для моей души тем, чем бывает горный воздух для чахоточных. Мы уходили в иные пространства, где не было места ценам, агентам, выпускам, «правам». Мы даже отправились недели на две в Швейцарию, бродили по тропам Вале, по Жемми, через ледник Алеч поднимались к Бель Альп, к Церматту, к Фурке, на Сен-Готард, — и разговаривали.

Уоллас был прежде всего собеседником и лектором. Он любил раздумчиво и дотошно разбирать предмет по кусочкам; это занимало его куда больше, чем создание целого. Журналистское ремесло со студенческой скамьи привило мне привычку спешить — надо успеть отослать материал к сроку или даже раньше. Всю свою жизнь я «поставлял товар», порою — брезгуя упаковкой, заботясь о том, чтобы товар «смотрелся», даже если он сшит наспех. Расстаться с привычкой нелегко. Я предполагал, что провожусь с этой книгой годы, может быть, вообще ее не издам. Два года тому назад я набросал начало — и вот она подстегивает меня к завершению. Слабость Уолласа, неотмирность этого рантье, заключалась в том, что у него не было внутренней потребности что-то сделать. Если бы он не имел явных академических амбиций, если бы не любил отвечать на вопросы, он бы погрузился в стерильную мудрость эрудита. На самом же деле Лондонская Экономическая Школа может подтвердить, насколько Уоллас в опубликованном виде уступает Уолласу-человеку. Среди его любимых учеников были Альфред Циммерн и Уолтер Липман, и едва ли среди нынешних молодых публицистов найдется хоть одно значительное имя, никак не обязанное своей известностью его неспешным, витиеватым, умным и поучительным наставлениям. Занимался он античностью, скорее — Грецией, чем Римом, в отличие от Гиссинга; а любил скорее Платона, чем Гомера. Знал он и современную философскую науку.

Швейцарские наши беседы сводились к общему для нас ощущению, что для общественной и политической деятельности нужна более продуманная система, более надежная основа. Огромное впечатление произвела на него книга профессора Острогорского{229} «Демократия и организация политических партий», один из первых прорывов к реализму в политической науке. Автор ее прямо взглянул на парламентаризм, отвергнув теории, созданные юристами. Уоллас не сомневался, что кислота реализма должна проесть еще глубже политические условности. Он хотел психологически исследовать воздействие политики на общественное сознание и на этой основе пересмотреть концепции управления; назвать это исследование он думал «Введением в политику». Позже он выпустил его в свет под названием «Человеческая природа в политике» (1908). Под влиянием этой книги Уолтер Липман написал свое «Введение», и альпийский блеск наших бесед ощутим в моей «Современной Утопии» (1905). Все мы так или иначе двигались в направлении, которое указал Острогорский.

Я никогда не терял связи с Уолласом. За несколько месяцев

до смерти (1932) он сидел у меня в кабинете, читал и делал исключительно меткие и нужные комментарии к политическим главам моей книги «Труд, богатство и счастье человечества». В то время он много читал Бентама{230}, выкапывал откуда-то забытые труды, и я помню, как, утонув в моем кресле, благодушно поблескивая очками, он вещал о том, как широко «старик» смотрел на вещи. Бентам тоже был в некотором смысле энциклопедистом. Я не думаю, что Уоллас когда-либо писал именно об этих его качествах, хотя, насколько мне известно, он не раз упоминал его в своих лекциях о местном управлении; он занимался им ради удовольствия, как бы желая нарвать букетик идей, чтобы бросить его у дороги.

Наверное, где-то между моею безудержной тягой к окончанию работы и неизбывной медлительностью Уолласа и лежит идеальный студенческий принцип «не откладывай и не спеши».

Я очень высоко ценил разум Уолласа, самую текстуру его ума, но не меньше уважал интеллект другого представителя раннего фабианства, Сиднея Оливиера, впоследствии лорда Оливиера. Уэббы тоже нравились мне, хотя я не всегда с ними соглашался. Беатриса обладала (и обладает) очаровательной и редкой способностью смело и обобщенно судить обо всем в самом воинственном тоне. Я бы назвал этот стиль экспериментальным догматизмом. Попробуйте не согласиться, попробуйте сказать ей: «Какая чепуха!», попробуйте выразить ее мысль покорректней — и она напустится на вас, круша и громя. Сидней не так агрессивен; убеждения его более гибки, не так заострены, он стремится прежде всего убедить, даже ценою истины; он больше политик, чем философ. Что касается Шоу, о характере его ума я попытался дать представление в предыдущих разделах.

Описывая социализм fin de siècle[23], я уже критиковал особую ограниченность мнимой «практичности» и нелюбви к утопиям, свойственных тем фабианским обществам, которые состояли из ученых или чиновников. В частности, я показал, что они не желали замечать проблемы «компетентного восприятия». Здесь я имею в виду не столько идеологическую ограниченность, которая меня позже отпугнула, сколько то, что они придавали такое значение общественной работе, и то, как они на нас повлияли. Может быть, в нас, особенно в Джейн, многое уже было, однако именно они вывели это наружу. Наверное, отчасти благодаря их стараниям и усердию я преодолел ту тягу к успешной, чисто литературной карьере, которая стала особенно явной в ранние сандгейтские дни. Я вполне мог бы стать просто служителем искусства, рабом литературного успеха, может быть

— известным, и мой старый приятель Осборн из «Нэшнл обзервер» и «Морнинг пост» не назвал бы мои книги «социологическими коктейлями».

В созвездии фабианских умов, обучавших меня тому, как ведут себя люди, ум Хьюберта Бланда казался ярким. Когда наши фабианские связи расширились, мы узнали, что у Бландов есть дом в Димчерче, где они проводят лето. До него можно было с легкостью доехать на велосипеде. Чета эта была престранная и в фабианской комедии исполняла весьма заметную роль. Дорис Лэнгли Мур не так давно (1932) очень правдиво описала их в своей прекрасной работе, посвященной миссис Бланд (Э. Несбит{231}), и я выражаю ей благодарность. Э. Несбит была высокой, эксцентричной, нервной и одаренной, в молодости — красивой, да и в то время выглядела очень хорошо. Бланд же был коренаст, широколиц и воинствен, вроде кота; говорил он высоким голосом, носил монокль на черной ленте, соответственно вел себя и одевался. Жизнь оба они превращали в театр, а я тогда этого почти не встречал. Они обожали сцены и «ситуации», упивались сильными чувствами. К правде и пользе они стремились гораздо меньше, чем их более тонкие единомышленники. Воображение у них работало иначе.

Миссис Бланд главным образом писала стихи, не слишком искренние, довольно сентиментальные повести для взрослых и прелестнейшие сказки для детей. Их героев, Бестэблов, до сих пор обожают читатели от десяти до семнадцати. Семейная казна в основном пополнялась за счет ее гонораров. Она вела большой, шумный, богемный дом в Уэлл-холле, старый, обнесенный рвом и каменной оградой, с прекрасным садом. Те, кто ее любил или хотел ей угодить, величали ее «мадам» или «герцогиня», — и впрямь, была в ней какая-то надменная властность. Множество людей бывали и там, и в более скромных димчерчских владениях — Гилберт и Сесил Честертоны{232}, Лоренс Хаусмен, Энид Багнольд, Хорес Хорснел, Артур Уоттс, Освальд Баррон, Эдгар Джепсон, Алфред Сатроу, Берта Рак, Джек Сквайр, Клиффорд Шарп, монсиньор Бенсон, Фредерик Рольф («барон Корво»), множество молодых писателей, актеров и честолюбцев, в атмосфере бесед, шарад, розыгрышей и споров. Бывали там и мы с Джейн, учились играть в бадминтон, сплетничать и бесконечно спорить.

Поначалу казалось, что все это многолюдье существует для того, чтобы в нем, под присмотром высокой, неугомонной, блестящей, ветреной и занятной дамы распускались литературные почки и бутоны. Потом посетитель замечал неприметные с первого взгляда русла и ручейки отношений и

вдыхал идущие откуда-то снизу, словно изо рва, не очень приятные запахи. Люди прибывали и отбывали, многие — навсегда. Происходили «недоразумения».

Когда-то я думал, что их дом был для нас новым сообществом, теперь же полагаю, что это был совсем новый мир — мир ролей, а не реальностей. Может быть, это мир самый обычный, мир, где говорят не «я такой-то», но «я буду таким-то». Из рассказанного в первых главах видно, что родственники мои, родители, братья, тетя, кузен и так далее, и те, с кем я тогда общался, были простыми людьми, или же обладали простотой и последовательностью, которую дает наука, или, наконец, находились со мной в простых, легких отношениях. До Бландов я не встречал путаных, замысловатых людей, которые не могут опереться на простую идею. После двух-трех недоразумений я понял, что их ум, не уступая в живости и силе большинству мне известных, никогда не ведал философии, не утруждал себя постановкой определенных задач. Всегда и везде они начинали с поз и фантазий.

Облик Бланда не соответствовал его богемным замашкам. Носил он серый или черный фрак, гетры, монокль на черной ленте, и, будь я тогда способен придавать этим приметам смысл, я бы понял, как кропотливо создает он свой образ, миф о поистине светском, деловом человеке (хотя в нем не было и намека на деловые качества), который из своих тайных соображений очутился в среде длинноволосых интеллектуалов. Миф этот, наверно, развился в нем и устоялся, ибо его эгоизм не мог принять того очевиднейшего факта, что жена его — талантливей и ярче, чем он, и друзья у нее — более утонченные. Мисс Мур говорит, что ее героиня долго вела переписку с Лоренсом Хаусменом, и я подозреваю, что Бланду приходилось отстаивать себя. Угнаться за женой он не мог. Что до переписки, она оборвалась после того, как жена вслед за мужем, вопреки собственному нраву и взглядам, присоединилась к антифеминистам в спорах об избирательном праве для женщин.

В конце концов она превратилась в истинную страдалицу, однако острый, беспокойный ум и несомненная живость придавали ей взыскательность и непредсказуемость. Я думаю, именно потому, что она была максималисткой и анархисткой, Бланд закостеневал в образе светского консерватора. Он представлялся заядлым тори, оказался (неведомо почему) весьма родовитым, перешел в старую добрую Католическую Церковь. Благонадежность его и основательность должны были уравновесить ее живость и остроту. Он чрезвычайно заботился о социальных приличиях, публично ратуя за подчиненность

женщин и чистоту семьи. Все современные штучки — не про него! В этом социализме только и смысла, что естественная реакция на либерализм XIX века, причем в сторону тех добрых порядков, которые процветали у нас в Англии до Адама Смита{233}.

В этой борьбе поз она ему уступила; иначе, наверное, он извел бы ее спорами, а голос и решимость у него были. Но за правильными словами у нее журчал веселый родник, который и питал ее творения. Бестэблы — народ анархический. Душа ее всегда восставала против любой власти.

Несоответствие — и внешнее, и внутреннее — бросалось в глаза сразу. Почти все мы, появляясь в их доме, принимали сторону подвижной, как ртуть, жены, а не пресноватого, занудливого, твердолобого мужа. Потом прибавлялось что-то еще — случайный шепот, обрывки ссоры, внезапная досада, громкие голоса в соседней комнате, быстрые шаги в коридоре, хлопанье дверей.

Миссис Лэнгли Мур в обстоятельной и обоснованной работе излагает все прямо, с неведомыми мне подробностями. В личине Бланда, оказывается, были совсем уж грубые черты! Он хотел слыть обольстителем, в лучших традициях XVIII века. Именно это, а не консервативный социализм, занимало его по-настоящему; вот о чем он размышлял, оставшись наедине с собой. Может быть, воображение влекло его к этому еще до того, как он встретил жену, так часто бывает, но сшибка этих двух людей укрепила тенденцию. Тогда-то, я думаю, он заметил остроумие, причуды, фантазии, а заодно и физическую холодность, и отомстил ей, ставя ее в сложноватое положение. Изумленному посетителю внезапно открывалось, что почти все дети рождены не Э. Несбит, а являются жертвами его побед; что мать одного из них — ближайшая подруга, которая в ту пору вела хозяйство; что молодая мисс N, серьезно играющая в бадминтон, — последнее из завоеваний неуемного Хьюберта. Все это Э. Несбит не только терпела и сносила, но, преодолевая себя, даже, я думаю, находила ужасно интересным.

Чтобы примирить эти недоразумения с образом старорежимной благовоспитанности, заключали самые немыслимые соглашения, шли на умолчания, и через некоторое время вы начинали понимать, что в доме их — не столько какая-то своя атмосфера, сколько паутина интриг.

В обществе, письменно или устно, Бланд распространялся о социальных и политических проблемах со сноровкой присяжного поверенного, но стоило нам остаться наедине, как его основной интерес настойчиво заявлял о себе. Он ощущал мой немой упрек, я не мог остановить его хвастливые самооправдания. Поговорить

об «этом» он любил. Он намекал на свою доблесть. Он бахвалился. Он вворачивал анекдот для «иллюстрации», разглагольствуя о распущенности света. Он извлекал из кармана смятый лист бумаги и читал отрывки письма — «исключительно ради психологического интереса». Он делал все возможное, чтобы как-то оправдать скрытую погоню. Как-то он сказал мне, что считает себя не столько Дон-Жуаном, сколько доктором Жуаном. «Я исследователь, я ставлю опыты недозволенной любви».

«Недозволенной любви!» И верно, ей приходилось быть недозволенной, в этом заключалась для него самая суть. Ей предназначено было стать клубком ревности, лжи, тайн, разоблачений, скандалов, жертв, непомерного великодушия, — словом, истинной драмой. Видимо, дороже всего он ценил победу страсти над искренностью, верностью и разумом. Он непременно хотел одолеть другого. Чем запутаннее ситуация, тем ему лучше.

Даже странно, до какой степени образ мыслей этого человека, взявшего за образец распутного повесу XVII–XVIII веков, был непохож на новый, рациональный, либеральный, в духе Шелли, к которому я тяготел в те годы. Я считал, что надо снести барьеры между полами, — а Бланд перескакивал через них, подползал под ними, проникал за них. Чем больше препятствий, тем лучше. Я считал, что недозволенной любви нет — всякая любовь *дозволенна.* Тем самым между частной жизнью Бланда и его ревностным отношением к внешним условностям никакого несоответствия не было, и весьма логично, что оба мы были поборниками одного и того же, но шли в противоположных направлениях. Он полагал, что роман — интересней и значительней, если тебя могут проклясть; я же не верил, что за такую прекрасную близость можно проклинать вообще. Он превозносил целомудрие, оно повышало цену будущей жертвы, пожалуй, высшей победой он счел бы инцест или совращение монахини. Он искренне раздражался, когда я пытался лишить его излюбленные пороки моральных терзаний. Я хотел покончить с гонениями на плотскую любовь, уменьшить ее значимость, подчинить напряженную связь полов борьбе за счастье человечества.

Так определяю я теперь, когда прошло полжизни, те причины, которые влекли меня в их дом, и те, которые меня оттолкнули. В то время я не обладал такой проницательностью, и эта чета, атмосфера, дом, полный детей и самого разного народа, совершенно сбили меня с толку. При первом посещении все казалось необычайно радушным и радостным. Потом неожиданно вы видели злую досаду; миссис Бланд вдруг оказывалась необъяснимо ехидной; двери, так сказать, превращались в стены,

полы — в западню. В таких условиях вы переставали узнавать самого себя. Как Алиса в Зазеркалье, вы не только замечали Белую Королеву, Черепаху Квази, Болванчика, но с удивлением обнаруживали, что меняетесь в размерах.

Паутина заговоров и интриг, которая тянулась в разные стороны от четы Бландов, пересекалась с похожими, хотя и не такими путаными нитями, связующими любопытных и предприимчивых людей, составлявших Фабианское общество, и наконец, подобно плесени, покрыла всю эту организацию. Бланды одни из первых создали «Сообщество новой жизни», которое стало прообразом Фабианского общества. Они первыми вошли в него, и Бланд, не слишком обремененный заботами о пропитании семьи, свободный от идейной последовательности, да и вообще не ставивший каких-либо творческих целей, смог вложить в «общее дело» время и энергию, свободное от порхания по светским голубятням. Он был всегда на виду, как и сухонький старичок Эдвард Пиз, человек квакерской закваски, добросовестнейшим образом справлявшийся со своею платной должностью секретаря, по натуре — честный, дотошный педант, тогда как Бланд был, несомненно, политиком. Бланд был так же распущен, как Пиз — подтянут, они подогревали друг друга естественным антагонизмом. Это крохотное общество собиралось осуществить самое великое, на что отваживалось человечество, — построить Новую Жизнь (вы только подумайте!); и хотя позже новизну ее стали усматривать лишь в экономических преобразованиях, она все равно предполагала долгий, тяжкий труд. Общество было бедным, маленьким, действовало неумело — и с первых дней попало в зависимость от этих двух людей, которые, словно микробы врожденного недуга, поглощали и рассеивали его энергию.

Задолго до того, как я принес Обществу свою невинность, глубокая вражда между Пизом и Бландом, начавшаяся тогда, когда Пиз стал платным секретарем, все эти загадочные исчезновения, умолчания, альянсы, планы и тактики обличения совершенно поглотили всю нашу проповедь социализма среднему классу. Идеи Уолласов, Уэббов, Шоу долго наталкивались на непременное «А что скажут Бланды?». Их приходилось брать в расчет, потому что они обросли сторонниками, союзниками и просто вассалами. В неразберихе, в которую они втягивали все новые силы, бродили темные слухи и шуршали, словно летучие мыши, анонимные письма. К тому времени, что я вошел в Общество, Бланд, способный политик, жил в сознании Шоу как неизбежное зло, а Пиз — как непременный союзник. Стоило Шоу выдвинуть какой-либо социальный или политический вопрос, как

неугасаемая свара разгоралась с новой силой, принимая в его глазах такие грозные очертания, что иногда затмевала звезды.

«Человек и политика» (если воспользоваться заголовком Грэма Уолласа) — тема необъятная, — тут было из-за чего страдать и было чему учиться. Следуя за Острогорским, Уоллас рассматривает ее с точки зрения массовых реакций, я же пытаюсь здесь приблизиться — или подобраться — к ней с прямо противоположных позиций, через посредство биографии. Что делать с полными жизни, энергичными людьми, которые ни за что не подчинятся большой, серьезной цели, но выбирают позы, подстраивают казусы, движутся по касательной и не обнаруживают истинных намерений? Неужели мы так и не сумеем держать свои пристрастия и антипатии при себе? Так ли неизбежны личные «недоразумения»? Как далеко может простираться откровенность? Что можно сделать, чтобы общественные задачи сохраняли четкость, определенность, чистоту?

Не просуществовав и полдюжины лет, Фабианское общество уже отчаянно нуждалось в психоанализе, да и не было еще правительства или партии, училища или религии, которые бы в очень короткий срок не втянулись во внутренние раздоры и противоречия. Неужели так всегда и будет?

Если бы мы лучше понимали друг друга и могли сработаться (ведь каждый вроде бы хотел добра), если бы получили более широкое, правильное образование, если бы лучше планировали и управляли, много ли дольше продержалось бы наше Общество? Неужели неизбежны и неисцелимы странности Бландов, умственные взбрыки Шоу, нелады всех этих энтузиастов?

Федерация новой жизни минула как сон, но когда-нибудь, через годы, если человечество не погибнет, возникнет другая, и подлинная, Федерация. Я едва удерживаюсь от того, чтобы бросить и так достаточно обширную автобиографию и перейти к, видимо, бесконечным рассуждениям о том, как ведут себя люди, к синтезу, к выжимкам всех доступных биографий. Самое время окликнуть мое неуемное перо, как окликает хозяин расшалившуюся собаку, и вернуться к собственной истории, от космобиографии — к автобиографии, рассказывая дальше, как, несмотря ни на что, справившись со всеми метаниями, я нашел наконец простую, четкую цель в идее образовательного, политического и экономического единения всех людей.

Об этой умственной и нравственной консолидации я поведаю в последней главе. В те первые сандгейтские дни меня не только все больше пленяла общественная деятельность à la Webb[24], служение благородным и полезным целям, но и сильнее или так

же сильно влекло в другую сторону — к искусству. Я никогда не мог вполне оправдать «позицию художника», но понимаю и принимаю доводы в ее пользу. Ее на разные лады, весьма заманчиво излагали те блестящие люди, в чью орбиту я попадал. Профессор Йорк Пауэлл, познакомившись со мной через Уотсона и «Пэлл-Мэлл газетт», рьяно доказывал, что «художник» живет сам по себе, ибо его задача — служить своему «дару». Он может, если хочет, иметь деньги, а в свободное время заняться политикой, но основной его долг — выражать то божественное, чем он наделен.

Йорк Пауэлл, крупный бородатый человек, охотно и звучно смеявшийся низким смехом, часто наведывался в Сандгейт, где у него был друг — старый, грубоватый лодочник, большой чудак. Звали его Джим Пейн. Я всячески старался, чтобы Пауэлл приобщил меня к волшебному миру рыбной ловли и особой терпкой мудрости Джима Пейна, однако не преуспел. Пауэлл пытался ради меня разговорить Джима, но из того нельзя было вытянуть и слова. Ничего не вышло.

В сандгейтский дом заезжал и Боб Стивенсон, которого его кузен Роберт Луис в «Беседах и собеседниках» окрестил Джеком-Попрыгунчиком. Он недавно перенес удар и уже не оправился. Я знал его еще до болезни и помню, как блистательно он говорил. Однажды он рассказывал, что сделает, если получит в наследство два миллиона. Один миллион он не тронет — нельзя же лишить себя последнего миллиона! — а уж второй спустит или раздаст. Вначале он закатит шикарный обед, причем, что важно, посыльные из банка принесут ему шкатулку, набитую чековыми книжками, а сами будут в алых куртках и с *новой* позолоченной тесьмой на цилиндре. И друзей он пригласит тех, чье присутствие и совет помогли бы разумнее и щедрее жертвовать; он замышлял удивительнейшие дары и траты. Некоторое представление о его безудержной фантазии я попытался дать в рассуждениях Юарта о Городе Женщин в «Тоно Бенге». Юарта, впрочем, не назовешь даже карикатурой на Боба: я дал ему только его манеру речи. Боб Стивенсон, как и Йорк Пауэлл, стоял за то, чтобы сосредоточиться на эстетике, махнув на все прочее рукой. Он никак не мог понять, чего хотят эти фабианцы. В его вселенной им места не было.

Генри Джеймс тоже превратил выразительность в особую, тщательно разработанную философию. Наука литературной критики сильно пострадала от того, что он умер раньше, чем его медленно разворачивающаяся автобиография дошла до момента, когда он смог бы изложить свои зрелые суждения. В разных беседах мы попытались нащупать контуры этой темы, однако

даже вечеров в Лэм-хаусе хватило лишь на предварительные замечания.

В те же первые месяцы состоялось еще одно важное для меня знакомство — с американцем Стивеном Крейном{234}, которого теперь недооценивают. Одним из первых среди американских писателей он сумел порвать с условностями и нормами викторианского письма. Писал он просто и прекрасно. Рассказы его представляются мне истинным сокровищем. Известен он стал благодаря небольшой книге о Гражданской войне — «Алый знак доблести». Это истинное чудо вдохновения и мудрости, написанное, по словам Амброза Бирса{235}, не чернилами, а кровью. После этой книги американские газеты ринулись на него, пытаясь заполучить его в военные корреспонденты. Во время американо-испанской войны его послали на Кубу, а в 1897 году отправили освещать войну греко-турецкую. Был он тощ, светловолос, хрупок, наблюдателен и восприимчив, говорил медленно, болел чахоткой, дерзновенность мешала ему знать меру, а непрактичность просто поражала. Любил он сидеть и говорить, причем очень мудро. Представить не могу, как он справлялся на театре военных действий. Не думаю, чтобы он особенно в них углублялся, однако углубился достаточно, чтобы вконец сгубить свое здоровье.

В Греции он женился на энергичной девушке, которая, работая там по заданию американской газеты, стала первой в истории военной корреспонденткой. Молодого хворого супруга она взялась ублажать с несколько даже избыточным пылом. Мортон Фруин (состоятельный отец Клер Шеридан{236}) снял для них старинный, красивый дом под названием «Брид-хаус», близ Райя, и они зажили веселой, экстравагантной и гостеприимной жизнью. Обстоятельства нашей первой встречи я успел позабыть, а вот Рождество, которое мы с Джейн праздновали у них, вспоминаю очень живо. Мы получили приглашение, к которому была приписана просьба захватить с собой как можно больше одеял и простынь, и прибыли в загруженном доверху экипаже раньше, чем успели съехаться гости из Лондона. Нам отвели комнату над главными воротами, с решеткой и совиным гнездом. И все же то была отдельная комната. Другие не получили и этого — пригласили человек тридцать, а то и сорок, а в доме было три-четыре спальни. Одна из них, впрочем, была достаточно велика. В нее поставили взятые напрокат раскладушки, назвали ее дортуаром для девиц, а на чердаке кое-как разместились мужчины. Мужья и жены спали порознь.

Вскоре выяснилось, что «удобства» восходили к XVII веку, представляли исторический интерес, а попасть туда можно было

только через дортуар. Соответственно, наутро зимний пейзаж разнообразили печально бредущие кто куда фигуры приглашенных мужчин.

Но в огромных каминах полыхало пламя, а самый праздник оказался удивительно веселым, хотя виднелись и багровые всполохи надвигающейся беды. Внизу, в большой, обшитой дубовыми панелями комнате мы танцевали при свечах, установленных в подсвечники, которые Кора Крейн соорудила при помощи местного кузнеца. К несчастью, она не додумалась обезопаситься от свечного нагара, и вскоре на спинах появились заплаты из воска, вроде звезд на мундирах валлийских стрелков. В перерывах между танцами и играми мы вощили полы и репетировали пьесу, на скорую руку написанную А.-Э.-В. Мейсоном, Крейном, мною и другими гостями. Речь в ней шла о привидении, она была хаотична, изобиловала намеками, а показали мы ее в местной школе. Представление потешило и авторов и актеров. Что думали зрители, неизвестно.

Мы кутили до двух-трех часов ночи, а к полудню спускались к завтраку — яичнице с ветчиной, американскому сладкому картофелю и пиву. Крейну как-то взбрело в голову под утро обучать мужчин покеру, но мы не поддались. Выяснилось, что Мейсон знаком с моим школьным приятелем Сиднеем Боукетом и мог про него кое-что рассказать. «В любом уважающем себя салуне, — сказал Крейн, — вас бы пристрелили за эти разговоры во время покера».

Вот обстановка, в которой мне запомнился Крейн. Если бы мне хватило ума, я бы разглядел, что он измотан болезнью, но он казался мне просто скрытным и хмурым. Он был беспомощным служителем искусства, а не хозяином праздника, не хозяином дома. Он плыл по течению и — правда, с затухающим рвением — цеплялся за свое ремесло. Его легко увлекала живая работа; вкусом к точному слову он обладал безупречным — это видно по его рассказам, однако критической жилки был лишен начисто. Мы делились впечатлениями о том или ином современнике. «Великолепно!» — говорил он, или просто: «Здорово!» «А такой-то вам нравится?» — «Нет, совсем не нравится».

Я спросил его, пишет ли он что-нибудь.

Он приуныл. Линкер, литературный агент, *заказал* ему несколько рассказов.

«Придется писать, — сказал он, — что ж, придется».

Он познал трагическую паутину, в какую попадает профессионал. Удивлять и выражать — выражать прекрасно — он любил, это оправдывало его жизнь. Вот он и творил, не зная меры, под бдительным оком достойного Линкера, следящего за

тем, чтобы «материал был вовремя готов» и не превысил нужного объема. Лучшие годы он тратил впустую.

Поздно после спектакля к нам зашла миссис Крейн. У него было легочное кровотечение, которое он пытался от нее скрыть, не хотел «никого беспокоить». Не съезжу ли я за доктором?

Велосипед в доме был, и последнее, что я запомнил из этого фантасмагорического Рождества, как на излете холодной зимней ночи, сквозь сырую мглу рассвета я качу по мокрому шоссе, в Рай.

Кризис миновал, но в наступившем, 1900 году Крейна не стало. Он делал все, чтобы скрыть симптомы болезни и умирать незаметно. Только в самом конце жена вдруг прозрела и просто потащила его в Баден-Баден. Молчаливого, понурого, стоически терпеливого, она привезла его на автомобиле в Фолкстон и, не считаясь с расходами, заказала отдельный поезд, который должен был ждать в Булони. Умер он почти сразу после того, как прибыл в Германию.

Идеал чистого служения искусству, — впрочем, с некоторыми оговорками, — олицетворяли для меня еще два известных писателя — Форд Мэдокс Хьюфер и Джозеф Конрад{237}. Первым из них — из-за изъянов его характера и неаккуратности мемуаристов — пренебрегают, последнему в истории литературы все еще отводят немного завышенное место. Настоящее имя Джозефа Конрада — Юзеф Теодор Конрад Коженёвски. Вполне разумно он расстался с фамилией и для английского читателя стал просто Джозефом Конрадом. Ему очень понравилась моя рецензия в «Сатердей ревью» на его «Каприз Олмейера». О нем еще толком не писали, и он очень хотел со мной познакомиться.

Поначалу он показался и мне, и Генри Джеймсу очень странным. Он был невелик ростом и сутул, голова словно ушла в плечи. Смуглое, удлиненное лицо заканчивалось тщательно ухоженной, остроконечной бородкой. Лоб бороздили горестные морщины; горестным был и взгляд темных глаз. В размашистых жестах виделось что-то восточное. Он напоминал Свенгали, героя Дю Морье, а благодаря морской подтянутости — капитана Кеттла, описанного Катлифом Хайном. По-английски он говорил своеобразно, хотя совсем неплохо. Речь свою (особенно если обсуждали культуру или политику) он пересыпал французскими словами. Читать по-английски он начал задолго до того, как научился говорить, и у него сложилось неправильное представление о том, как звучат многие слова. К примеру, он обнаруживал неистребимую склонность не опускать конечное непроизносимое «е». Невозможно было предугадать, верную ли грамматическую форму он выберет. Когда он говорил о мореплавании, все было безупречно, но стоило затронуть менее

знакомую тему, как ему не хватало слов.

И все же английский его был на удивление живописен, щедр, богат и своеобразен, почти начисто избавлен от штампов и клише, заморские выражения и обороты чередовались с неожиданными словами, в непривычном употреблении. Наверное, именно эта тонкость, свежесть, даже экзотичность, этот «иностранный» привкус, который обычный англосаксонский ум отождествляет с культурой, помешали критикам заметить, как сентиментальны и мелодраматичны его книги. Его глубочайшая тема — элементарный ужас от чуждых мест, от джунглей, ночи, непредсказуемого моря. Конечно, как моряк, он вечно боялся что-то неправильно рассчитать, проглядеть изъяны судна, расположения груза, ненадежность команды; вместе со своей способностью удивляться он передавал и то, что путешественники, моряки, искатели приключений обычно подавляют. Другая важная его тема — раскрытая главным образом в прекрасной повести «Эми Фостер», эдакой карикатурной автобиографии, — это непреходящее ощущение себя «чужаком». Гонялся он и за призраком «чести», — например, в «Лорде Джиме». Юмор его «Негра с „Нарцисса“» довольно угрюм. Ни в одной его книге не найти ни нежности, ни истинной любви или страсти. Однако он решил, что станет великим писателем, художником слова, и, чтобы добиться признания и трофеев, неотделимых, по его мнению, от этого звания, писал с такой самоотдачей, так подчиняя себя конечной цели, что сосредоточенность Генри Джеймса меркла и казалась вялой, неполной, блеклой. Сам у себя он больше всего любил «Зеркало моря», видимо, проявляя здоровый критицизм.

В поле моего зрения он попал с Фордом Мэдоксом Хьюфером, и они остались вместе в моей памяти, несхожие и нерасторжимые. Форд был высоким блондином, говорил нараспев, походил как две капли воды на своего брата Оливера, но манерой поведения и самой личностью странным образом напоминал романиста Джорджа Мура{238}. Кто он такой и есть ли он на самом деле, не знал никто, тем более — он сам. Он стал сложной системой ролей и личин. Ум у него — удивительный, и, появившись впервые, он постарался предстать даровитым отпрыском прерафаэлитов, колеблющимся между музыкой, поэзией, критикой, прозой, земледелием в духе Торо{239} и простым наслаждением жизнью. Он уже создал прекрасные стихи, хорошие исторические романы, две-три книги вместе с Конрадом, и немало более или менее автобиографических фантазий. Как наследник прерафаэлитов, он, помимо прочего, владел тихой фермой у подножия Доуна над Хайзом. Ферма называлась Чердак,

и жили на ней раньше Кристина Россетти{240} и художник Уолтер Крейн. Он сдал ее Конраду, и на письменном столе, на котором, быть может, создавался «Базар гномов», тот писал «Сердце тьмы» и «Тайного агента». Туда мы и направлялись вместе с Хьюфером на встречу с ним.

Когда спускаешься к этой ферме с холмов, окна кажутся совсем низкими, и первое впечатление мое от Конрада — смуглое лицо, выглядывающее откуда-то снизу сквозь небольшое окошко.

Он говорил со мной главным образом о приключениях и опасностях, с Хьюфером — о критике, стилистике, языке, и встреча наша положила начало довольно длительным, дружественным, но несколько натянутым отношениям. Конрад заезжал в Сандгейт с женой и белокурым, ясноглазым мальчиком в экипаже, которым правил сам, щелкая хлыстом, словно бы ехал на дрожках, и озадачивал кентского пони то громкими понуканиями, то ласковыми польскими присловьями. В сущности, мы так и не «сошлись». Наверное, я был непримиримей и беспощадней к Конраду, чем он ко мне. Я для него скорее всего был ограниченным, туповатым и слишком английским; он не верил, что я могу серьезно относиться к политическим и социальным проблемам, и постоянно пытался пробиться в самую глубь моей души, нащупать, что мной владеет, и понять, чего же я, в конце концов, хочу. Его удивляли и раздражали небрежности письма, наукообразность и неумение прорабатывать детали, равнодушие к эффектам. Почему я не *пишу*? Почему не забочусь о своей репутации?

«Дорогой мой, а что такое ваша „Любовь и мистер Льюишем“?» — говорил он. Но мог и пытливо спросить, ломая пальцы и морща лоб: «А эта Джейн Остен, что вы в ней нашли? Что в ней такого? О чем это?»

Вспоминаю один спор, который завязался, когда мы лежали на пляже в Сандгейте и смотрели на море. Конрад поинтересовался, как бы я стал описывать лодку: лежит на воде, дрожит или приплясывает? Я ответил, что в девятнадцати случаев из двадцати предоставил бы лодке полную свободу действий. Пока она мне не очень важна, я и не подумаю удостоить ее особых слов, а если интерес возникнет, все зависит от того, что именно мне нужно. Сверхчувствительный Конрад вынести этого не мог. Он хотел увидеть ее по-своему, как можно живее, а я — в той мере, в какой она нужна чему-то еще, рассказу, теме. Наверное, если бы меня расспросить хорошенько, обнаружилась бы моя склонность связывать то, что я пишу, с чем-то более важным, а там — со всем моим мировоззрением.

Теперь, если я вправе привести Конрада и иже с ним, не

исключая и себя, в качестве примеров, скажу кое-что важное для педагогов-теоретиков. Рассказывая о днях своей школьной юности (гл. 3, § 1), я упомянул о том, как отличался от меня мой одноклассник Сидней Боукет, который воспринимал, замечал и слышал гораздо живее, чем я. Это давало ему много преимуществ, но холодность и определенность восприятия помогали мне легче и точнее улавливать соотношения, и я лучше учился по математике и рисованию (которое в конце концов что-то вроде созидания отвлеченных форм), а позднее облегчили мне усвоение законов физики и биологии. Наверное, в Кенсингтоне я схватывал все с такой легкостью, потому что не имел дела с яркими, жгучими впечатлениями, когда же я проходил курс, где важнее всего были сенсорные впечатления, как в минералогии (см. гл. 5, § 3), я затосковал и сдался. Мой ум стал, так сказать, образованным, то есть организованным в единую систему, потому что я не отличался живостью реакций. Меня было легко «образовывать».

А вот замечательных писателей, с которыми я тогда встречался, образовывать, — в том значении, в каком я понимаю это слово, — было нелегко. Они воспринимали все с исключительной живостью. Их изобильные, яркие впечатления было куда труднее претворять в связную, отлаженную систему. Подобный ум может быть сколь угодно глубоким и изощренным, но так и останется необразованным. Чем следовать одному философскому направлению, он начинает метаться; он сумбурен, недисциплинирован, своеволен. Отсюда следует, что необразованными я считаю и Конрада, и Стивена Крейна, и Генри Джеймса, и почти всех «художников слова». Образованность Шоу я уже опроверг. Наука и искусство не смогли укротить и достойно использовать таких впечатлительных людей — те непрестанно тяготели к намеренно непоследовательным парадоксальным способам мышления и образу жизни. При более взвешенной и обоснованной образовательной системе все могло сложиться иначе; а так — сохранив свой масштаб и свои свойства, люди эти ударились в произвольность и ирреальность, в какой живет обычный, необразованный человек.

Сам я не только был сравнительно лучше подготовлен к рациональному восприятию и имел к нему склонность; случилось так, что в те годы, когда ты открыт для впечатлений, я общался с людьми, не делавшими из жизни драму и думавшими логично. Правда, мать ощущала себя на сцене, но так бездарно, что я взбунтовался. Научное образование укрепило привычку воспринимать все четко и как можно более связно. Я с подозрением относился к романтическому вымыслу в поведении,

я защищался, подтрунивая над собой, рисовал карикатуры, так что обилие рисунков в этой книге — не для украшения, они тесно связаны с историей моего ума. Я удерживаю себя от тщеславной, заманчивой позы. А ведь опасность эта была рядом и подстерегала меня. Человека изобличает то, над чем он смеется.

Умственному складу моей жены, Грэма Уолласа, Уэббов, да и социалистическим идеям я немало обязан тем, что мне удалось и в дальнейшем упорядочивать свой ум. Когда мне пришлось повстречаться с такими самозабвенными лицедеями, как Бланды, или с таким явным импрессионистом, как Конрад, я уже сложился и был защищен своими убеждениями. Я сражался (то удачно, то нет) с распространенной человеческой слабостью — рядиться в чужое платье, чтобы защитить себя. У меня были, да и есть, определенные «комплексы». На мой взгляд, лучшее средство против них — образование. Насколько это возможно, я видел себя как есть, без претензий, держал свою *персону* под контролем, даже если это грозило унижением. Я боялся позы не только перед самим собой, но и перед миром. Самолюбование меня отпугивало. И потому Конрадова *персона* романтичного, авантюрного, чрезвычайно артистичного бессребреника европейской закваски, хранящего в нашем гнусном мире кодекс незапятнанной чести, претила мне не меньше, чем то сочетание деловой хватки и незамысловатой, католической набожности, которое измыслил для себя Хьюберт Бланд.

Познакомившись у меня дома с Конрадом, Шоу сразу заговорил с ним с обычной для себя раскованностью.

«А знаете что, мой друг, — сказал он, — ваши книги не пойдут».

И, объяснив это как-то по-своему, продолжал в том же духе.

Я куда-то вышел, и вдруг Конрад меня догнал. Он был очень бледен.

«Шоу хочет меня оскорбить?» — спросил он.

Мне очень хотелось ответить «да», спровоцировав дуэль, но я сдержался.

«Он шутит», — сказал я и отвел Конрада в сад, чтобы он немного поостыл. Его всегда можно было озадачить такой фразой. «Шутит», «юмор» — какие-то непонятные английские фокусы.

Позже он пытался заставить Форда Мэдокса вызвать на дуэль меня. Если бы он добился своего, пески Димчерча обагрились бы кровью, моей или Хьюфера. Я сказал, что хьюферовская статья о Холле Кейне — гнусность и что тон ее — тон разжалованного лакея. Конрад передал это ему. Хьюфер пришел ко мне и обо всем рассказал. «Я пытался втолковать, что теперь не дерутся», —

объяснял он.

В те дни Хьюфер подходил к жизни рационалистически. Его резкий сдвиг в сторону театральной позы — он даже переименовал себя в капитана Форда — стал заметен нескоро, после военных потрясений. Поэтому последнюю его книгу «То был соловей» читаешь с удовольствием. Вероятно, Конрад многим обязан их тогдашнему общению: Хьюфер очень старался «англизировать» и его, и его слог, показать ему английскую литературную жизнь того времени, дважды писал с ним вместе и тратил уйму времени, разъясняя ему точное значение того или иного слова.

Именно они побудили меня обдумать и определить свои воззрения на этот вопрос. Действительно ли мне это так важно? Как и всякому, мне нравятся удачные обороты, я всячески добиваюсь точности, когда она кажется необходимой; некоторые места, например первые разделы (§ 1–4) в главе «Как человек научился думать» («Труда, богатства и счастья человечества»), я переписывал по многу раз. Но я чувствую, что удачное слово — это дар, прихоть богов. Ему нельзя *научиться*; как бы вы ни старались писать ярко и убедительно, иногда вы все равно будете писать вяло и скучно. Писательское дарование так же неотчуждаемо, как божество. Можно пришпоривать прозу, «оживлять», но это не отвечает ее задаче. Конрад очень часто кажется мне назойливым, излишне цветистым, как индийское шитье, и лишь отдельные его пассажи да некоторые рассказы смогут, на мой взгляд, выдержать сопоставление с простой силой Стивена Крейна. По-моему, «Море и джунгли» Томлинсона{241}, хотя далеко не так отточено, тоньше и ярче описаний моря и джунглей у Конрада.

Все эти беседы с Хьюфером и Конрадом о метком слове и совершенном выражении, «вышло» что-то или нет, задевали меня, я обращался к себе с вопросами, напряженно обороняясь. Не стану притворяться, я не сразу все ясно разглядел в свете их критики, у меня от нее рябило в глазах, я метался и хотел было привести себя в соответствие с их хаотичными, загадочными и невразумительными запросами. Однако в конце концов я взбунтовался и отказался играть в их игры.

«Я — журналист, — сказал я. — Изображать из себя „художника“ я не желаю. Если я иногда бываю им, то это прихоть богов. А журналист я всегда, и то, что я пишу, идет *сейчас*, а потом умрет».

Этим словам я верен и по сей день. Я пишу как иду, просто хочу куда-то дойти, пишу прямо, без околичностей, ведь именно так дойдешь быстрее всего. Вот почему я преодолел барьер,

отделявший Конрада от Уолласа, и недвусмысленно противостою эстетическому отношению к литературе. Такое отношение в лучшем случае — личное восприятие, размытое, изменчивое. Все эти впечатлительные критики лишь позируют. Они вертятся у зеркала, разглаживают складки, накладывают последний мазок — и, как старые повесы, кидаются искать свежих «приключений среди шедевров». Я натыкаюсь на шедевр по случаю; иногда он выпадает на мою долю, а если нет, то и ладно.

Всю жизнь я прежде всего хотел расставить разнообразные *персоны* по положенным им местам в общей панораме реальности. Это основная идея моего «Великолепного исследования». В следующей главе я скажу больше об этих попытках. Но сама тема изменчивой *персоны*, драматизации своего «я», возникает и возвращается на разных стадиях сложности и самообмана и в мистере Хупдрайвере из «Колес фортуны», и в сновидениях мистера Парэма («Самовластье мистера Парэма») и в «Отце Кристины Альберты», а в самом проработанном виде — в «Бэлпингтоне Блэпском». Последняя книга — прямое и карикатурное исследование безответственного, бессвязного, эстетствующего сознания. Наука по-дружески подставляет плечо словесности. Между прочим, у Эдит Несбит есть несколько рассказов, в которых она пытается описать нереальное существование, как она его знает, а уж ей было чем поделиться в этом смысле даже из наблюдений над собой. Рассказы эти собраны в книжку «Смысл словесности».

Итак, в этой главе я пытался показать те две группы личностей, чье влияние накладывало отпечаток на первые годы сандгейтской жизни, и также выявить существенные особенности своей позиции. Это влияние, скажем так, шло и слева и справа; я ощущал его притяжение. Клан научный оказался более знакомым, а влияние его более действенным; я еще дальше отмежевался от художественности с ее взлетами и падениями, от само драматизации и укрепился в своем стремлении к социально значимой цели. Эта твердость во взглядах и была главным достижением тех лет. Но я бы все упростил, если бы представил эту фазу своего сознания как перетягивание каната, в котором верх одержало стремление к политической целесообразности. Нет, я не остался чужд поветриям и стихиям, интересам и увлечениям, не сводимым к вопросу, сосредоточу ли я разум на преследовании точно избранных целей или буду парить в эмпиреях.

К примеру, в то же самое время я был занят тем, чтобы «пробиться». На это, как правило, уходит много времени. Уже приведенные выдержки из писем родным и «ка-атинки»

показывают, как неотступно и живо занимала нас в молодости эта проблема. Мы с Джейн без всякого стеснения поднимали вопрос о «правах» и гонорарах. Мы и не притворялись, что нам безразлична известность, были в полном восторге от скопившейся у нас пачки газетных вырезок и сердились, если синие пакетики приходили редко и были тощими. Именно с этими заботами, а не с раздумьями над тем, первично ли писательство как таковое или это — лишь средство для чего-то еще, связано в моей памяти появление Арнольда Беннета, чей сильный, яркий ум бурно работал на свой манер. Мы с ним пробивались плечом к плечу, что доставляло нам немало удовольствия. Позже мы друг от друга отошли.

Он написал мне первый, — в сентябре 1897 года я получил письмо на бланке небольшого периодического издания «Женщина», которое он издавал. Он полюбопытствовал, откуда мне известны «его города», о которых я пишу в «Машине времени» и еще в одном рассказе. Завязалась переписка. Во втором письме он замечает, как «рад, что „города“ произвели такое впечатление», — видимо, я говорил о живописности этих городков, — и добавляет: «Только за последние годы я это увидел». В следующем письме он благодарит меня за то, что я рассказал ему о Конраде. В романах, отобранных им для статьи, не было «Каприза Олмейера», и я обратил на это его внимание. Тут уж я взял свое. И вот не без моего влияния он смеется над «Негром с „Нарцисса“»: «Откуда он нахватался такого стиля, такой способности собирать общие впечатления и затем обрушивать их на вас? Но он сознает, что он — художник. Вот Киплинг — тот совсем не художник. Киплинг не знает, что такое „искусство“, то есть „искусство слова“ — il ne se préoccupe que de la chose racontée[25]». Дальше идут похвалы Джорджу Муру. Казалось бы, зачем писать по-французски, но это очень характерно для Беннета. Он уже вполне обдуманно взял курс на Францию и ее культуру, изучал французский, учился играть на рояле, затыкая бреши в обычном мещанском образовании, — и все с поразительным успехом. Вскоре он навестил нас в Сандгейте, и я позавидовал тому, как он ныряет и плавает.

Никогда не видел я такого радостно непредвзятого человека. Мир его был ярок и твердо определен, как фаянс; собственная *персона* его была китайской статуэткой, с ее безукоризненной четкостью. Того, что не точно, не насущно, не современно, он вообще не понимал. Он был добродушен и уверен в себе, твердо зная, что оба мы на пути к успеху и к нескольким тысячам в год. Я думал иначе. Я по-прежнему зарабатывал тысячу-другую и совсем не был уверен, что буду получать больше. Однако Беннет

не сомневался, что главное — впереди. У него был билет без пересадки, он изучил расписание — и не ошибся.

Мы добились успеха тем, что писали понятные, простые рассказы, здравые и доходчивые статьи, «хорошо сделанные» пьесы. Он гордился мастерством, а не «художественной выразительностью», и не гнался за ней, не нагнетал мистики, как Конрад. Наверное, предки его относились так же к своей работе, к своим горшкам и чашам. Он был готов писать что угодно, только бы хорошо. Немало написал он для своего маленького еженедельника под названием «Женщина», даже ответы на письма о самых деликатных предметах он писал сам за подписью, если не путаю, «Тетушка Эллен», и все — как нельзя лучше. Он говорил, что старается вовсю, что больше сделать нельзя. Предки его, гончары, создавали сосуды «на горе и радость». Почему бы ему не браться за то, что ему закажут? Несколько лет тому назад один ловкий рекламщик пригласил его, Шоу и меня писать рекламу для магазинов «Хэрродз» за большие деньги. Все мы попались на эту удочку, написав ему ответ, который он тут же использовал, бесплатно. Мы с Шоу встали в позу: мы — жрецы, мы не продаем своих мнений. Беннет искренне горевал, что приходится отказаться, так как это «не принято». Он не видел, почему бы писателю не писать рекламных объявлений, строит же архитектор магазины.

Мы были с ним почти ровесники, точнее, он — на полгода моложе. Оба много работали; оба при помощи литературы проделали немалый путь наверх из нижних слоев среднего класса, где будущее не сулило ничего, кроме жалкой службы; оба почувствовали, что путь этот нам дается на удивление легко. Мы учились одному и тому же, преодолевали те же препятствия, воевали против тех же предрассудков и нападок, попадали в те же социальные перипетии. У нас обоих была естественная жажда жизни, и оба мы вышли из доброй старой английской радикальной традиции. Мы были либералами, скептиками, республиканцами. Однако во всем остальном мы отличались друг от друга. Я все больше стремился к переустройству мира, полному его обновлению; Беннет, в отличие от Конрада, который творил и вымучивал свой насыщенный, густой стиль, принимал вещи как есть, с простодушной и бодрой живостью. Он видел их ярче, чем они были, но не вглядывался в них и не искал, что за ними. В сущности, он был как мальчик на ярмарке. Его занимало только одно — втиснуть в отведенное ему время и музыку, и живопись, и книги, и театр, и еду, и питье, и одежду, и замечательные трюки, которые можно придумать, и новых людей, и их странности, и всю восхитительную, непрестанную,

многоголосую радость мира.

Вот так. Чего же еще?

Поскольку я недавно рассуждал про «образованных» и «необразованных», видимо, меня спросят, образованным ли был Беннет. Пожалуй, в моем смысле, он был надежно защищен от образованности и в ней не нуждался. Образование от него отскакивало. Он все схватывал на лету. Он очень много знал, многое умел. Яркая мозаика впечатлений непрерывно пополнялась, и каждый камушек стоял на своем месте; Беннету не требовалась философия или что-то еще, чтобы их удерживать. Одна из самых показательных, если не самых лучших, его книг «Империал Пэлэс» — набор разнообразных сведений, но поданный с увлечением и даже экзальтацией. Объяснить самого себя — именно объяснить, а не анализировать — он попытался в «Козыре». Там он показывает, что видел свое «я» так же ясно и просто, как и все другое. Он не изображал себя героем драмы, а радостно себя принимал, всего, со всеми несуразностями. «Великий человек» — снова со вкусом написанная карикатура на себя самого, где описаны даже его юношеские приступы желчности. Если относительно своей *персоны* он и обманывался, то только в том, пожалуй, что твердо считал, будто «козырям», настоящим «козырям» всегда сопутствует удача. К примеру, деньги он вкладывал несколько опрометчиво. Когда он умер — а в жизни он успел сделать многое, — остались какие-то русские облигации, которые он приобрел в надежде на скорую прибыль, но так ее и не дождался.

Писал он на редкость неровно. Когда с изощренным, отточенным мастерством он работал над тем, что знал, выходили настоящие шедевры. Мало нынешних романов можно поставить рядом с «Повестью о старых женщинах» и «Ступенями Райсимена», а рассказов — с «Матадором из Пяти городов». Но вот он пишет о вечности, о смерти, скажем, во «Взгляде», где заглядывает не в глубины, а в пустоты своего сознания. Написал он и много добротной, но безжизненной беллетристики, ради которой ему приходилось отрываться от более важных работ.

С первого же его визита в Сандгейт мы никогда не теряли связи. Мы не ссорились; решимость «пробиться», надо заметить — очень сильная, не мешала нашей взаимной симпатии; мы были интересны друг другу, и мы себя все время сравнивали. Я считал чудаком его, он — меня. Меня все больше занимали общественные и политические проблемы, о которых я расскажу в следующей главе, у меня появилось много знакомых вне литературного круга, я, скажем так, расширялся, а может — и размывался, а он собирался и сосредотачивался. У меня

очертания становились все менее четкими, а у него — наоборот. Я уже говорил, что отдал банковские дела в распоряжение жены и понятия не имел, сколько денег на счету, не занимался хозяйством, приглашениями и тому подобным. За всю мою жизнь у меня не было дома, где я играл бы иную роль, чем роль квартиранта. Беннет же охотно и дотошливо (слово это он очень любил) вникал во все обстоятельства своего быта. Ему нравилось заправлять делами, что видно по «Империал Пэлэс». Дом его в Торп-ле-Сокен, дом на Кадогэн-сквер содержались в образцовом порядке благодаря ему. В «Реформ-клубе» мы с уважением замечали, как удачно сочетаются у него рубашка, галстук, носки, платочек, и выпытывали у него, стоит ли посылать белье в парижские прачечные. Я всегда советовался с ним, где купить шляпу или часы. «Можно, — обычно спрашивал он, — я поправлю вам галстук?»

Должно быть, наше различие, особенно в более поздние годы, интереснее проследить с психологической точки зрения, однако я не знаю, как выразить это на языке психологии. Чем больше мы писали, тем глубже расходились в том, как смотрим на внешний мир. Он развивал свои отношения с миром, меня занимали отношения мира со мной. У него возрастала точность, но слабели обобщения. Я все меньше внимания уделял деталям, а обобщения умножал. Это похоже, хотя не совсем, на недавнее сопоставление людей с научным складом ума и научным образованием, и тех, кем движет склонность к неподконтрольному и спонтанному самовыражению.

Отважусь на предположение, которое приведет психиатра в ужас. Артистический ум (по сравнению с умом систематического склада) отличается большей возбудимостью коры и более вместительными артериями, кровь легче и полнее обогащается кислородом. И все же различие между дотошливым умом и подвижным, *размашистым* скорее всего проистекает не из особенностей коры, а из более глубинного различия нервных узлов. Где-то совершаются отборочные и оценочные действия, возникают концепции и ассоциации, устанавливаются или отвергаются условные связи, и я не думаю, чтобы с этим могла справиться кора. Работа мозга до сих пор описывается метафорами, и я бы рискнул сказать, что «управление» по координации и контролю у таких, как Беннет, — вместительное, щедрое, свободное, а у людей моего типа — тесное, централизованное, экономное и придирчивое. Мне кажется, различие это связано с анатомическими особенностями мозга.

Беннет много знал, полагался на себя, а потому, вероятно, был свободен от столь обычного мужского инфантилизма. В

отличие от многих из нас, он почти не нуждался в женщинах для душевного комфорта и самоуважения; в этом смысле они его не слишком занимали. Он и не слишком обольщался на их счет, как это тоже свойственно нашему полу. Женщины в его книгах, как правило, — смышленые, сноровистые, беззаветно преданные и острые на язычок. Вероятно, он видел их занятными строптивыми созданьями, к которым надо подходить с шутливой осмотрительностью. У любви есть свои радости, но радости эти — в ряду прочих радостей. Он чувствовал, что любовница-француженка должна входить в писательский набор; а позже ощутил, что быстро идущему в гору литератору нужна умная и привлекательная жена, непременно — хорошо одетая. Так решил он жениться, как решил найти и купить дом. Для него это было дело под стать остальным. Брак не имел ничего общего с естественным союзом, случайным и в то же время неизбежным, с той кровной близостью, которую представляют себе менее ясные умы.

Однако холоден он не был, он был очень ласков. Он источал и притягивал любовь, но по неясной для меня причине его любовные дела не связывались с общим течением его жизни. Личность его, скажем так, даже на время не сливалась с личностью женщины. Никогда не казалось, что он тесно связан со своей очередной избранницей. Получалось так, словно они — не вместе.

Я думаю, именно это и составляет некий странный изъян его облика, некий шрам от нанесенной в юности раны, который лишил его того самозабвения, того бесхитростного отсутствия эгоизма, которые отличают подлинных влюбленных. Наверное, с этим связано и то, что он всю жизнь заикался. Очень давно, в ранние годы, за гранью памяти, с ним случилось что-то такое, из-за чего он утратил нормальную веру в себя и всю жизнь говорил с трудом.

Найти жену оказалось не так просто, он не смог проявить полную беспристрастность. В английский дом, который он подобрал себе в Торп-ле-Сокен, он ввел француженку, свою давнишнюю приятельницу, в высшей степени яркую и очаровательную, но весьма своеобразную и не совсем совпадающую с его представлениями о жене преуспевающего лондонского писателя. Не буду вдаваться в подробности того, как отдалялись они друг от друга, как разошлись, как он переехал на Кадогэн-сквер, да и его незаконного союза, который ему простил «весь Лондон», с матерью его единственного ребенка. Огорчений все это ему причиняло много, но подлинной бедой не стало. Думая о том о сем, он внезапно разражался смехом. Но это никак

не связано с моей автобиографией.

После себя он оставил клубок раздоров, обещавший перерасти в нескончаемые препирательства и тяжбы. Завещание его оспаривали в суде; одна из дам написала о нем воспоминания, которые, по-моему, показывают прежде всего, как плохо понимает женщина даже того, с кем жила. Быть может, я сужу здесь несколько предвзято — подлинный Арнольд Беннет, хранящийся в памяти друзей, имеет на удивление мало отношения к этим истинным и мнимым бракам.

Всерьез разочаровавшись в том, что удастся жить с покладистой женой в двух образцовых домах, городском и сельском, он снова стал тщательно и осознанно совершенствовать свое «я». Он не делал себя героем драмы, не компенсировал свои недостатки какими-то выдумками — нет, он холодно, обстоятельно эксплуатировал собственные странности. К себе он относился так же объективно и с интересом, как и ко всему на свете. Некоторая расхлябанность в движениях сменилась нарочитой осанистостью, отрабатывал он и жесты. Густые, но уже седеющие волосы он красиво взбивал. Заикание, которое он так и не смог преодолеть, превратил в особый метод беседы, с паузами и внезапными речевыми всплесками. Он стал как-то хмыкать, прежде чем начать фразу, словно трубил в игрушечную трубу. Одевался он так, как, по его мнению, должен одеваться богатый, солидный человек. Он носил брелок. Он входил в клуб или в ресторан так, что это было целым событием. Конечно, это тешило его тщеславие, и почему бы не потешить себя подобным образом, ведь тешим же мы себя хорошим вином! Все это он делал по-своему, с особым юмором. А непобедимый козырь в нем тайно радовался. Беннет знал, где положить конец причудам, чтобы они не приелись. Почти всех они развлекали, не обижая никого.

Хорошо бы Фрэнк Суиннертон, который был близок к нему в последние годы, хоть как-то сыграл роль Босуэлла{242}, пока не поблекли воспоминания. Один Суиннертон способен описать, как Беннет подзывает шеф-повара в «Савое», чтобы сообщить, будто изобрел новое блюдо; одному Суиннертону по силам рассказать, как Бегает заправлял салат. Он же может поведать о том, как Бегает писал акварели и ходил на яхте. Да, ходил на яхте, но никогда мне эту яхту не показывал. Она была яркой, чудесной игрушкой, и, наверное, он побаивался, что я взгляну на нее, а потом на него как-то косо. Был он членом яхт-клуба. На моей совести — недоброе слово по поводу его акварелей. «Арнольд, — сказал я, — вы рисуете как член королевской фамилии».

Позвольте мне теперь вернуться от Арнольда Беннета к

повести о том, как мы с Джейн «выходили в люди» между 1895 и 1900 годами. В начале этой главы я довел историю наших светских успехов до моего знакомства с икрой и наших опытов с «Кэнэри сэк» тех сроков выдержки, какие мог предложить нам Кэмден-таун. Вскоре эти незамысловатые открытия себя исчерпали. Горизонты наши расширялись с потрясающей быстротой, но умений, которые от нас при этом требовались, оказалось не так много, как мы воображали.

Наверное, то, что я подметил ненароком в Ап-парке, как-то помогло мне быстро освоиться в новых условиях. Слуга в богатом доме становится или мерзким снобом, или поборником равенства. В Ап-парке был лакей, заносивший в особую тетрадь образцы дурной речи и «невежества», которые он слышал у стола. Он читал избранные пассажи с датами, с именами и, вероятно, в немалой мере развеял какие бы то ни было иллюзии, нашептывающие нам, что высшие слои общества — высшие не только по положению. Я никогда не разделял веры, которая сквозит в романах Джорджа Мередита, Генри Джеймса, Гиссинга и других, — веры в то, что «где-то там» есть истинные леди, тонкие, чуткие, изысканные, куда умнее обычных женщин. Почти все, кто стремится «вверх», ищет этих дам, как испанцы искали Эльдорадо, а не найдя — выдумывают.

Мы с Джейн никогда этим не занимались. Мы не столько карабкались в свет, сколько туда забрели. Вдруг оказалось, что мы обедаем, ужинаем, отдыхаем в конце недели с очень здоровыми, покладистыми людьми, которые живут легче и богаче других наших знакомых. Они больше, чем обычные люди, занимались спортом, гуляли, путешествовали, ленились. Женщинам не приходилось носить то, что им не к лицу, и их наряды поражали Джейн дороговизной; наконец, каждый был на зависть ухожен и устроен. Они вели себя непринужденней, чем наши прежние знакомые, но едва ли могли показать нам или сказать что-то новое. Меньше всего им хотелось бы проникать за поверхность жизни, которой они так приятно жили.

Среди интересных вечеров в те ранние годы я припоминаю вечера у леди Десборо в Тэплоу-Корте и у леди Мэри Элчо в Стэнвее. Там я встретил таких людей, как Артур Бальфур, разные Сесилы{243} и Седжвики{244}, Джордж Керзон, Джордж Уиндэм, сэр Уолтер Рейли{245}, судья Холмс, леди Кроу{246}, миссис Макгуайр, Морис Бэринг{247}. Но не в том дело, списки имен хороши для каталогов. Случались и хорошие беседы за обедом, но обычно мы просто болтали или сплетничали. Бальфур по большей части выступал в роли чуткого и любознательного собеседника. Высказывать собственные мнения он не рисковал. «Скажите-

ка», — обычно начинал он, как все ленивые люди, предпочитая спрашивать. В Сандгейте, неподалеку от нас, жил сэр Эдвард Сэссун. Леди Сэссун, высокая, умная женщина, в девичестве — Ротшильд, любила порассуждать об устройстве Будущей Жизни и сочинениях Фредерика Майерса{248}. Мыслители вроде Мактаггарта{249}, от которых она ждала ответа, встречались у нее с политиками вроде Уинстона Черчилля, который много говорил за столом, и такими эдвардианцами, как маркиз де Совераль. Чаще всего прием или визит в усадьбу в конце недели был так же отдохновителен и приятен, как цветочная выставка, где видишь, что могут сотворить из хорошей, отборной рассады любовный уход и благодатная среда. Любила приглашать нас миссис Коулфакс (ныне — леди Коулфакс) и сэр Генри Льюси{250} (депутат парламента), издававший тогда «Панч». За столом бывало человек двадцать-тридцать, самых разных — скорее «знаменитостей», чем «людей с положением»; во всяком случае, гвоздем программы были знаменитости, а поскольку нас с Джейн очень занимало наше противоборство с жизнью, мы прежде всего хотели выяснить, как можно тактичнее, с кем мы говорим и почему. К тому времени, когда мы это выясняли, обед кончался, гости расходились.

После мы обменивались впечатлениями: «Я познакомился с тем-то и тем-то». «А что он тебе сказал?» — «Да так, ничего».

Ни один из этих светских приемов даже отдаленно не оказал на меня того влияния, как встречи с политическими и общественными деятелями, серьезными писателями, художниками. В лучшем случае милые посиделки с сильными мира сего изгнали из нас всякое ощущение, что мы «где-то внизу», и утвердили мою естественную склонность вести себя так, словно я ничуть не хуже других и тоже в какой-то степени ответственен за наше национальное поведение и мировоззрение.

Итак, мы выходили в люди. Поначалу это было интересно; потом восторгов поубавилось. Мы все еще шли в гору. Помню, как-то раз — а если быть точным, 24 января 1902 года — меня попросили выступить в Королевском обществе, и я написал и прочитал там «Открытие будущего». Впечатление от аудитории удачно завершит эту главу. Для меня эта «ка-атинка» — шедевр, вроде рисунков времен палеолита в пещерах Альтамиры. Мы вступаем в мир влиятельных, важных людей. Помню, сэр Джеймс Крайтон-Браун{251} (который казался тогда не старше, чем сейчас, — он родился в 1840 г.) был очень мил и учтив, а после окончания лекции меня представили женам Алфреда{252} и Эмиля Монда (никакого лорда Мелчета тогда еще не было и в помине, а Браннер Монд & Кº представляли собой лишь зародыш будущей

компании). Все они хотели залучить нас к себе — и вдруг, через восемь лет после наших отчаянных попыток на Морнингтон-Плейс, мы поняли, что представляем собой некоторую ценность.

6. Мы строим дом (1899–1900 гг.)

Здесь, в этом разделе, писать почти не нужно. Несколько фотографий[26] и две «ка-атинки» расскажут все. Мы подыскали место для дома, нашли архитектора — Ч.-Ф.-А. Войси, который первым стал избегать тесных претенциозных вилл, предпочтя им удобные, просторные, хотя и не совсем классические коттеджи. У нас оказались необходимые деньги и еще тысяча фунтов сверх того. Здоровье мое становилось день ото дня лучше. Дом еще строили, когда нам пришла свежая, прекрасная мысль — обзавестись потомством. Чудесный кабинетик, где я закончил «Киппса» и за десять лет написал «Предвидения», «Современную Утопию», «Тоно Бенге», «Анну Веронику», «Нового Макиавелли» и другие романы, вполне вписывается в эту картиночную главу.

Войси решил поместить на входную дверь большое «W», вроде сердца, но я совсем не хотел выставлять свое сердце на всеобщее обозрение, и мы поладили на карточном знаке «пик». Дом мы так и назвали: «Дом Пик». Люди, на подъемнике, который курсировал вверх и вниз между Фолкстоном и Сандгейтом, проезжая мимо моего сада, принимали меня за другого Уэллса — «Ну, того, который сорвал банк в Монте-Карло», — и разъясняли пассажирам, что весь фокус «в тузе пик». Я уже не был тощим и голодным на вид, я «набирал весу» (смотри вторую «ка-атинку») и, чтобы его хоть немного скинуть, на виду у праздной публики, не ведавшей поначалу о моей спортивной доблести, таскал за собой по нарождавшемуся саду валик для выравнивания грунта. Вскоре, как вагнеровский герой — всегда со своим мотивом, — я разгуливал так по Сандгейту и Фолкстону — всюду, где поблизости можно было кликнуть мальчишку на помощь.

Дом наш выходил к югу лоджией, буквально собиравшей солнечные лучи. Гостиные были на том же этаже, что и спальни, так что, если бы мне пришлось ездить в кресле на колесиках, я бы легко перебирался из одной комнаты в другую. Но все вышло иначе. Еще не достроив дома, Войси изменил проект, и наверху появились детские комнаты, дневная и ночная. Вскоре я уже дописывал «Киппса» и делал наброски для книги, которая должна была стать первой из длинных, настоящих моих романов, «Тоно Бенге», в духе Диккенса и Теккерея. Я снова оседлал велосипед и приступил к изучению Кента. Я вошел в местный магистрат, перед нами забрезжила благополучная и добропорядочная жизнь.

Меня вполне могли сделать «сэром», могли дать мне орден или степень, и я бы сфотографировался в мантии. Вот что подстерегало меня в зарослях, у моей тропы. Но Анна Вероника (дай ей Боже!) и мое явное республиканство меня уберегли. Одной только чести хотел бы я удостоиться, но о ней умолчу, мне все равно ее не дождаться; и лишь одно разочарование довелось мне пережить — когда Джейн не выбрали в магистратуру графства Эссекс, хотя она того заслуживала.

Глава IX
ИДЕЯ ПЛАНИРУЕМОГО МИРА

1. «Предвидения» (1901) и Новая республика

В только что построенном доме под знаком «пик» я начал писать «Предвидения», которые можно считать замковым камнем в своде моих работ. Основание этому своду положили, естественно, мои первые фантазии — «Человек миллионного года» (написан в 1887 г.) и «Аргонавты Хроноса» (напечатаны в «Сайенс скулз джорнал», 1888). Следуя логике развития, они приводят к «Облику грядущего» (1933) и к нынешним моим усилиям. Я до сих пор стараюсь понять и объяснить другим людям, населяющим мой мир, как можно осуществить всемирный «легальный заговор», который вырвет общество из опутавшей его сети традиции и преобразует по общепланетному замыслу.

Естественно, этот свод, или, скажем так, лейтмотив моей жизни, имеет первостепенное значение и для меня, и для картины моего мира. Тем самым я временами пишу так, словно я, как Атлас, который стоял в витрине у моего отца, держу на плечах весь мир.

В автобиографическом обзоре без этого не обойтись. Каждый человек, переросший младенческую веру в разумность окружающего и достигший общественного самосознания, несет свой мир на плечах. В автобиографии он вынужден сказать об этом. Он не может притворяться, что этого не замечает. Волей-неволей он становится всеобщим судьей. Нельзя же добавлять к каждой фразе: «по моему мнению» или «хотя не мне об этом судить». Если он боится, что его сочтут слишком самонадеянным и высокомерным, ему лучше вообще отказаться от рассказа о собственных мыслях. Но что в таком случае останется?

Как-то я встретил одного очень известного американца, который меня позабавил. Он сказал:

«Я однажды видел Авраама Линкольна».

«Да?» — с интересом откликнулся я.

«Вот как вас. Что там, ближе!»

«Ну и что?»

«Я его *видел*».

«Что вы видели?»

«Авраама Линкольна, что ж еще! Вы ведь о нем слыхали?»

Вот это поистине скромная автобиография! Один факт — и все. Иначе пришлось бы хоть что-то сказать о Линкольне.

Если бы я решил подробно и связно рассказать, как мысли о будущем заняли первое место в моей сознательной жизни, я бы, наверное, расфантазировался, что-то домыслил, что-то упростил. Однако, видимо, немалую роль сыграло то, что в самом восприимчивом возрасте я познакомился с теорией эволюции. Я не могу судить и не знаю, как судить, началось ли мое пристрастие к этой теме с того, что я в самом начале написал две книги — об отдаленном будущем и о путешествиях во времени. Может быть, после небольшого успеха в области предсказаний мне показалось естественным предложить публике еще раз что-нибудь в том же духе, а может, у меня природная склонность к столь необычным вещам. Идею о времени как четвертом измерении я, кажется, не заимствовал; во всяком случае, не помню, чтобы я ее где-то подхватил. Впрочем, мог и подхватить, она носилась в воздухе. Если это не так, тогда это идея врожденная.

Будущее, описанное в «Машине времени» (1895), — просто фантазия, основанная на мысли о том, что человечество развивается в разных направлениях. А вот в романе «Когда спящий проснется» (1899–1900) будущее, по существу, усиливает современные тенденции — здания выше, города больше, капиталисты еще порочней, рабочие еще несчастней. Все крупнее, быстрее, многолюднее; больше полетов, больше дичайших финансовых спекуляций. Это воспаленный и раздувшийся современный мир. Почти то же самое — в «Открытии будущего» (1902) и в «Армагеддоне» (1901). Наверное, для писателя с воображением вполне естественно избрать такой ход в эпоху материального прогресса и политического бесплодия, пока он не нашел ничего лучшего. Майкл Арлен{253} сделал то же самое в «Смертном человеке» в 1932 году. Но я в 1899 году уже начал понимать, что возможны и более точные предположения о тенденциях будущего.

Подоспел конец века, как раз вровень с моими размышлениями, и я договорился с Кортни, сменившим Фрэнка Харриса в «Фортнайтли ревью» о цикле статей, где попытаюсь угадать возможности нового столетия.

«Предвидения» были не только новым началом для меня, но, как вскоре выяснилось, и новым поворотом в общественной мысли. Труд мой — слабый, весьма уязвимый и все же новый, словно только что снесенное яйцо. Как-никак это — первая попытка предсказать будущее в целом, оценить относительную силу тех или иных зон влияния. В ту пору не было недостатка в частных предсказаниях и прогнозах. Подсчитывали, что произойдет, когда будут исчерпаны мировые запасы угля, когда

мир окажется перенаселенным, если уровень рождаемости не понизится, что станет с нашей планетой, если угаснет Солнце (тогда считалось, что это случится очень скоро); но выводы эти основывались на столь скудно подкрепленных расчетах, что всякий мог опровергнуть их, усомнившись в правомерности исходных данных. Попытка оценить и взвесить все, выработать общую равнодействующую социальных изменений, прогнозировать трезво, то есть без пропаганды, сатиры или фантастики, было настолько ново, что моя книга, какой бы она ни была сырой и невнятной, взволновала достаточно многих. Моих английских издателей Макмилланов спрос на нее застиг врасплох, и все первое издание распродали прежде, чем ее переиздали. Раскупали ее не хуже романов.

Среди прочих, тема взволновала и меня. Вероятно, на первых порах я хотел прежде всего написать несколько злободневных очерков, но, еще не дойдя до середины, я понял, что такая книга не может оставаться простой публицистикой. Вероятно, я не создал ничего особенно глубокого, но я по меньшей мере сделал немаловажный набросок. Касательные линии истории я заменил на кривые. Я разыскал, и, пожалуй, даже предоставил новые данные, исключительно важные для логически обоснованной политической и экономической борьбы. Я писал о перспективах человечества.

Мне бы очень хотелось дожить до того дня, когда учредят несколько кафедр, где бы преподавалась в новом духе одна старая дисциплина. Если бы я принадлежал к стремительно исчезающему классу щедрых мультимиллионеров, я бы создал кафедру аналитической истории. Чем преподносить непереваренные или плохо переваренные факты, которые все еще загромождают историю академическую, мои профессора делали бы систематически и толково именно то, что, пусть и неубедительно, делал тогда я. С биологической точки зрения, они стали бы экологами человеческого рода; и в самом деле, «экология человечества» — подходящее название для новой истории в том виде, в каком я ее себе представляю. Тогда не придется бросать вызов тем, кто вцепился в «историю» как таковую. Мои новые историки и их студенты устанавливали бы, какие биологические, интеллектуальные, экономические тенденции следуют из тех или иных причин. Эпохи, нации и расы интересовали бы их лишь постольку, поскольку те предоставят им реальные факты. Их отношения с привычными историками были бы подобны отношениям физиологов, экологов и морфологов с ботаниками старой школы, собирающими гербарий, охотящимися за редким экземпляром и считающими тычинки. Цель разумного

анализа — расчистить путь синтезу. Чем совершеннее становилась бы эта, новая история, тем ближе были бы они к рациональному планированию мира. Все это очевидно сейчас, но не так было в 1900 году. Я и сам далеко не сразу понял важность собственного открытия.

Рано или поздно *экология человечества* под тем или иным названием проложит себе путь в академические кущи и займет подобающее место в учебных заведениях (в Америке, вероятно — скорее, чем в Европе); но старая история, сотканная из потрепанных временем сплетен и пустой фальсифицированной политики, глубоко укоренилась в литературе и в жизни. Научный дух медленно и с опозданием в нее проникает. Старая история, варварски перегруженная подробностями и поразительно бесплодная, прочно закрепилась в школах и университетах; она тесно переплетена с юриспруденцией и политикой, положение у нее высокое, сдаваться она не думает. Боюсь, молодым еще долго придется изучать новые доказательства того сомнительного факта, что королева Елизавета была девственницей, зубрить Кларендонские установления{254} и Билль о правах{255}, рассуждать об удивительной политике, изобретенной специально для экзаменов университетскими профессорами, склонными отождествлять себя с Юлием Цезарем, Наполеоном Бонапартом, Карлом V{256}, Дизраэли или с кем-нибудь еще из тех раздутых животрепещущих фигур, вокруг которых и нагноилась история. У всех этих сведений не больше образовательного значения, чем у детектива, пока их не подвергнут серьезной аналитической обработке, которая включила бы их в ткань современных событий и указала в их переплетении основные тенденции будущего.

Впервые я попытался сформулировать эту идею, когда выступал в Королевском обществе в январе 1902 года. В своей лекции, которую я озаглавил «Открытие будущего», я четко разграничил то, что называл законническим (обращенным в прошлое) и творческим (обращенным в будущее) сознанием. Я утверждал, что мы не правы, когда говорим, что будущее темно, — разобравшись в современных процессах, мы можем его узнать и даже как-то проконтролировать. Человечество, говорил я, стоит на пороге великого перехода от жизни, воспринимаемой как цепь причин и следствий, к жизни, воспринимаемой как творческое усилие. Собственно, предсказать можно не будущее, а его условия. Мы должны все меньше связывать себя обязательствами прошлого, все больше понимать, что дадут наши действия, последовательно высвобождаясь от мертвой хватки прошедших лет.

Отсюда следует прямая атака на теорию, согласно которой

историю делают «великие люди», скажем, Наполеон или Цезарь. Я утверждал, что они — такие же симптомы некоего процесса, как прыщи у молодых людей. Именно сейчас прыщи эти выступают повсюду; всюду есть диктаторы и «вожди», всюду есть движения, нарывающие вокруг чего угодно, от сильно раздувшегося Муссолини до нашего угорька Мосли. Человечество еще молодо, вот оно и пошло прыщами. Идея Великого Человека проходит последнюю стадию.

Мою лекцию напечатали в «Нэйчур» 6 февраля 1902 года, а позже переиздали книжечкой. Сегодня, подходя к ней с мерою моего нынешнего, точного знания, я нахожу ее невнятной, неопределенной, выспренней, но это и показывает, как далеко мы ушли за прошедшую треть столетия. Тогда, в 1902-м, она вполне соответствовала своему времени.

В том же году я снова обратился в «Фортнайтли ревью», где вышли в свет «Предвидения», и предложил второй цикл работ под общим заголовком «Человечество в процессе становления», который был опубликован отдельной книгой в 1903 году. Здесь не так ощутим дух аналитической истории, скорее речь идет о некоем общем плане для всего человечества. В 1905 году я опубликовал «Современную Утопию», тоже сперва напечатав ее в «Ревью»; там представлены не столько ожидания, сколько мои желания, связанные с будущим человечества.

Но вернусь ненадолго к «Предвидениям». Полное название этой книги — «Предвидения, касательно влияния механического и научного прогресса на человеческую жизнь и мысль». Сперва я утверждаю то, что теперь общепризнанно — в корне изменился весь спектр человеческих отношений и задач, а вызвано это тем, что необычайно возросли возможности общения. Потом вывод этот последовательно прилагается к основным потребностям человечества, чтобы показать, как оно влияет на границы между политическими группами, масштабы и характер общественных объединений, отношение рабочих к хозяевам и нужды образования. Никакого нового закона я не открыл, слишком уж это было очевидно и к тому времени очень убедительно показано Грантом Алленом в эссе о расстояниях между городами, не претендующим на открытие. Я в жизни не читал ничего, что так возбуждало бы мысль, как эта журнальная статья, кроме, может быть, книги Ленга и Аткинсона «Основной закон и социальные истоки». Благодаря ей я понял связь между возможностями передвижения и размерами сообществ и вдруг догадался, что происходит с миром. Вероятно, я первым приложил эту связь к историческому анализу. Если я и не открыл этот закон, то, во всяком случае, одним из первых привлек внимание к его

немаловажным последствиям.

«Предвидения» начинаются с двух статей о транспорте и о перераспределении населения, вызванном его эволюцией. Затем я исследую, каким образом изменение масштабов разрушает давно установившиеся общественные отношения и создает общественную неразбериху, в которой никакие новые классификации пока не просматриваются. Тут я снова вступил в область вероятного; все это оставалось тогда почти не исследованным. Две главы посвящены этому общественному сдвигу и некоторым предположениям о том, возможна ли новая «кристаллизация»; отсюда естественно вытекает «Биография демократии». Я показываю, что современная демократия — совсем не естественный способ организации общества, но лишь политическое выражение той стадии, когда оно потеряло плотность. Эта глава, «Великий синтез», и заключительная глава, «Вера, мораль и государственная политика в двадцатом веке», составляют, на мой теперешний взгляд, самую несовершенную и самую любопытную часть книги. Предсказания насчет современной войны (частично сбывшиеся, что удивительно), взаимопроникновения языков, вероятного поражения Германии, которая уже угрожала нам, возрождения Польши и вероятных перемещений границ свидетельствуют о немалой прозорливости, но настолько отстали от событий, подтвердивших или опровергших их, что незачем на них отвлекаться. Есть там и большой промах — я и не предполагал, что современный, планируемый строй возникнет в России. Чего-чего, а этого я не думал. Я видел, как дичает Ирландия, и писал, что Россия станет еще одной, необъятной Ирландией. Вот тут я попал впросак.

Однако в 1900 году я уже осознал неизбежность Мирового государства и полную непригодность современных парламентских методов демократического управления, а это важно не только для автобиографии. Тогда все дружно отмахивались от необходимости больших политических преобразований. Сама постановка вопроса вывела мою книгу за границы «практической политики», как ее тогда понимали.

Уже в то время я так или иначе видел несовместимость великого мирового порядка, предвещаемого научным и промышленным прогрессом, и существующих социально-политических структур. И в собственном уме, и в окружающей действительности искал я идеи, касающиеся политической и общественной воли и разума, идеи, востребованные неотвратимыми процессами. Я считал себя абсолютно чуждым политике и, кажется, был напрочь лишен того конформизма, который весьма помог бы карьере в рамках устоявшегося

политического и образовательного механизма; должно быть, именно поэтому я был достаточно свободен, чтобы в этом разобраться, и достаточно бескорыстен, чтобы об этом написать. Ни в малой мере не надеясь на устоявшиеся структуры и не желая использовать их для карьеры или защиты, я мог атаковать избирательный и парламентский порядок, университеты и правящий класс, монархию и патриотизм. Моя политическая недостаточность помогала мне научно разработать теорию управления. Я пользовался той же свободой слова, какой обладал ребенок из сказки о голом короле. Говорить я мог именно то, что думаю, поскольку нельзя было и помыслить, что из меня получится удачливый придворный.

Рассмотрев претензии современной демократии, я выразил в «Предвидениях» невысказанную мысль поздних викторианцев: «Это не сработает». Затем я перешел к нынешним правительствам и влиятельным силам и заявил столь же внятно: «Это уже не работает», хотя самые оптимистичные люди говорили: «Это еще поработает». Словом, благодаря скорее обстоятельствам и наивности, чем особому уму, я, опередив всех, прямо поставил главный вопрос, который все откладывали на завтра: «Что же тогда сработает?» С тех пор я только и пытаюсь найти на него ответ.

В «Предвидениях» на пробу предлагалась Новая республика. Ответ был очень общий, в духе XIX века. В пятом параграфе пятой главы я уже писал о том особенном легковесном оптимизме, который свойствен XIX веку, и вот пожалуйста, — я верен своему времени.

Эта Новая республика должна была объединять людей всего света, чей разум приспособлен к требованиям и масштабам современности.

«Я стремился показать, — писал я, — что миром и войной двигал и движет один и тот же процесс, которому присущи вся неизбежность и все упорство сил природы. Благодаря ему непомерно разросшаяся, бесформенная, гипертрофированная общественная масса должна наконец породить образованный класс, организованный естественно и неформально, беспрецедентный тип людей, некую *Новую республику*, главенствующую во всем мире. Ни одно из наших официальных правительств не справится с этим величайшим проектом; его осуществит то сочетание ума и силы, которое сосредоточено вдали от рубежей официальных структур власти. Этот новый Геракл в колыбели задушит драконов войны и национальной розни <…>. Поначалу, вероятно, возникнет сознательное объединение умных, а иногда — и состоятельных людей;

движение, имеющее отчетливые социальные и политические установки, добровольно пренебрегающее большей частью существующих механизмов политического контроля или использующее их лишь в качестве одного из подсобных средств для достижения цели. На ранних своих стадиях оно будет очень нежестко организовано. Просто некая группа, двигаясь в определенном направлении, обнаружит, что у всех ее членов есть общая цель».

Видите? Полагаясь на судьбу, я считал, что Новая республика появится сама по себе, просто «возникнет». Это — либерализм в духе Теннисона. Но даже тогда некоторое сомнение затаилось в глубине души: не придется ли ей *посодействовать*? Ждать прихода великой цивилизации — недостаточно. Год от года я понимал это все яснее. Судьба, как ветхозаветный Бог, не дает безоговорочных обещаний.

В пятом параграфе пятой главы я уже критиковал социализм наступающего столетия и как представитель младшего поколения говорил о том, что думаю об его притязаниях и недостатках. Я все сильнее чувствовал, а в нескольких книгах — писал, что и марксизм, и фабианский социализм не исполняют своих первоначальных намерений и, в сущности, «выходят из моды». Здесь я снова должен этого коснуться, но под другим углом. Сейчас меня интересует история моего личного раскрепощения, а также то, как использовал я свой авторитет и писательские возможности, чтобы в виде фантастики представить размышления о воле и власти. Александру Поупу{257} казалось, что ему легче говорить о богословии в стихах, так и мне было удобнее говорить о социологии в притче. В фабианском обществе я поднимал вопрос о «Научном административном управлении» (1903) и писал роман, основанный на той же идее. То была «Пища богов», напечатанная по частям в 1903 и опубликованная в 1904 году. Начиналась она с дикой фантазии — ученые придумали, как увеличивать рост живых существ, а заканчивалась героической борьбой «гигантской» жизни с жизнью мелкотравчатой. Никто меня не понял, многие просто растерялись. Читателей развлекли и напугали огромные осы и крысы, но Кэдлз был выше их разумения. Позже, думая о том, как отучить людей от склонности принимать решения скопом, я написал притчу «В дни кометы» (1906), где газ из хвоста кометы попадает в атмосферу, в мгновение ока совершая то, что достигается веками нравственного прогресса — люди становятся здравомыслящими, отзывчивыми и бесконечно терпимыми.

В книге «Человечество в процессе становления» я планомерно искал, как же можно создать Новую республику. Я понимал, что

ей должно соответствовать новое воспитание, и книга эта — сбивчиво, непоследовательно — толкует о том, какие же элементы формируют социальную магму. Лучшая часть книги — та, где я критикую и отрицаю селекцию, которая манит надеждой на немедленное улучшение человечества Вообще же я избегал более трудной задачи — пристального изучения «человекообразующих сил в обществе» ради довольно легковесных фраз и риторических пассажей. Иногда я просто бранился. Вот почитайте, что я думаю в самой забытой из моих книг. Вы заметите, что она — совсем не по делу; это какая-то проповедь человека, которому еще не удалось установить «рабочих контактов» для осуществления своих идей. И вот он заклинает читателей не меньше, чем себя, чтобы они шли вперед.

> «Если и впрямь грядет заря нового времени, — несомненно, молодежь придет к нам. Без высокой решимости молодых, без постоянного их притока, их жизнестойкости поступательное движение невозможно. Именно молодым в конечном счете адресована эта книга — подросткам, студентам, учащейся молодежи, пусть прочтет ее тот, кто еще не утратил гибкости и способен понять бесконечную гибкость мира. Да, именно тем, кто еще сформирован не до конца, предстоит стать созидателями… После тридцати в нашей жизни меньше перемен, меньше дерзких начинаний; люди идут той тропой, которую они успели себе наметить. Воображение становится жестким и прямолинейным, если не иссякает вовсе; тридцатилетние не в силах избавиться от убеждения, продиктованного их куцым опытом, словно почти все, что существует, существует именно так и не может существовать иначе. Нас одолевает уже завершенное…
>
> С каждым годом молодые все определенней и сознательней участвуют в нашей деятельности. Эти созданья, эти хнычущие комочки розовой плоти, которые беспомощней любого животного, эти личинки душ, беспомощные в наших руках, попадают в наш мир — смешно представить! — из какой-то неистощимой бездны, мы же лелеем их, хотим для них лучшей жизни — и как-то незаметно они становятся нашими помощниками в борьбе. Вот — прелестные дети, вот — подростки, вот — юноши и девушки, ненасытно жизнелюбивые, радостные, восприимчивые; они идут с нами, стремясь узнать, куда мы держим путь, куда ведем

их и зачем… Вот — молодые мужчины и женщины, взрослые люди, во всем подобные нам, только сильнее. Мы помогаем им, а там — и уходим; и для них наступает наконец время ответственности и свободы, анализа собственной души и сердцеведения, познания всего, что можно познать. Каждый, кто хочет созидать Новую республику, должен знать себя и других, ничего не принимать на веру кроме того, что познано быть не может в силу природной нашей ограниченности <…> действовать быстро, но не поспешно, додумывать до конца, энергично, но не агрессивно, следить за собой, насколько позволяет природный дар. Приверженец Новой республики, подобно пуританину, своему предшественнику, должен пропитать свою жизнь совестью и дисциплиной. Он руководствуется долгом и порядком. Каждый день, каждую неделю он выкраивает время для чтения и размышления, общается с другими и с самим собой; как древние левиты, радеет он о здоровье и силе. Если мы сможем в нынешнем поколении насчитать хотя бы несколько тысяч таких мужчин и женщин, которые не боятся жить, людей с общей верой и общими взглядами, — тогда мы выполним нашу работу. В свое время они возьмут этот мир, как скульптор берет мрамор, и придадут ему очертания более прекрасные, чем мы о том мечтали».

Это — образчик того, каким корявым может быть мой слог, какими скудными — мысли. Цитируя его, я понимаю тех критиков, которые, мягко говоря, относятся ко мне сдержанно. Но именно в этом месте моего рассказа надо отразить то время, когда я всплыл на поверхность и извергал такие откровения, пока не сделал глубокий вдох и не нырнул еще глубже.

2. Самураи в утопии и в Фабианском обществе (1905–1909 гг.)

«Современная Утопия» по форме приближается к фантастическому рассказу; я снова пытаюсь подступиться к воплощению Новой республики. Несомненно, я понимал, что разглагольствования в «Человечестве» не ведут никуда; сносно в них только одно — как ясно и просто я прихлопнул евгенику. Однако надо было найти способ толкового рассказа о том, как организована Новая республика; и я попытался атаковать проблему с тыла — бросил исследование существующих условий

и задал вопрос: «Что же делать? Какой мир нам нужен?» Тут я следовал Платону, и, надо сказать, в немалой степени. Только после того, как проклюнется ответ на этот вопрос, можно будет думать о том, как же обрести этот мир.

Разумеется, я бросал вызов могучим и священным догмам, это я уже показал, критикуя Фабианский социализм и классический марксизм. Обе школы настолько не умели использовать воображение в научном исследовании, что считали утопизм «ненаучным», а снобистский ужас перед этим словом описать невозможно. Но это не значило, что мне нельзя атаковать при помощи жанра утопии проблему социалистического управления.

Случилось так, что в феврале 1906 года я защищал свои взгляды на собрании социологического общества, а доклад мой именовался «Так называемая социологическая наука»; позже его напечатали в книге «Англичанин смотрит на мир» (1914). Я настаивал на том, что социология не имеет классификационных единиц, что она изучает человеческое общество в целом, а значит, рушится обычный метод анализа и обобщения.

> «Мы не можем поместить человечество в музей или засушить его; наш один, единственный, все еще живой экземпляр — это вся история, вся антропология, постоянно меняющийся мир. Его невозможно расчленить и не с чем сравнить. У нас есть лишь туманнейшие представления о его „жизненном цикле“, несколько реликтов, говорящих о его происхождении, да мечты о его предназначении… Социология должна быть не искусством и не наукой в узком смысле слова, но знанием, которое воплощается с помощью воображения и не без личного начала; то есть в высочайшем смысле слова — литературой».

Я доказывал, что существуют две литературные формы, в которых воплотится реальная социологическая работа: можно толковать историю; можно создавать и критиковать утопии. Вторая форма встречается реже, ее недооценивают, ею пренебрегают, но именно этим, говорил я, должно заняться любое социологическое общество. Очерк мой не совпал с общей линией, и дискуссия ни к чему не привела. Уилфред Троттер{258} решил, что я «нападаю на науку», а Суинни{259} защищал Конта{260} от меня, неблагодарного.

(Может быть, я и впрямь несправедлив к Кошу и просто не хочу признать, что он, в некотором смысле, первым сформулировал современный взгляд на эти вещи. Но его, как и

Маркса, я просто не люблю и не хочу ни в чем уступать ему лидерство. Видимо, причина в том, что я вообще не люблю лидеров, а уж тем паче — обожествленных вождей. Мне кажется, вожди должны вести, пока могут, — а потом исчезать. Их пепел не вправе тушить то пламя, которое они зажгли.)

Хотя ее никогда не покупали нарасхват, «Современная Утопия» остается одной из самых актуальных и успешных моих книг. Она настолько жива, насколько «Человечество» мертво. То было мое первое приближение к форме диалога, и литературное качество удовлетворяет меня почти настолько же, насколько и в «Неугасимом огне». Движение к диалогу показывает, как обязан я Платону. «Современная Утопия» вытекает из «Государства» не меньше, чем «Утопия» Мора.

В «Современной Утопии» я предложил разделить граждан по характеру на четыре типа — поэтический, кинетический, заторможенный, то есть необразованный, и низший. Правительство должно препоручить кинетическому классу всю исполнительную и административную работу, предоставив поэтической части участие в предложениях, критике и законодательстве; кроме того, оно держит под контролем низших и дает заторможенным стимул к какой-нибудь деятельности.

Орден самураев в том виде, какой я там его предлагаю, решает, по-моему, задачу лучше, чем кто бы то ни было. Вступают в него добровольно, но через сложный отбор и суровые проверки. Кроме того, действует правило, что «лук нельзя все время натягивать»; из ордена можно выйти и вернуться туда в любое время, при определенных условиях. Свобода слова и обширные области личной инициативы ревностно ограждаются от любого и всяческого репрессивного контроля и подавления. Кинетическому классу прививается уважение к соответствующим ценностям. «Низшие» — это те, кто обнаружил сильные антисоциальные наклонности; только они ни в коем случае не могут стать самураями. Принадлежность к любому из четырех классов регулируется фильтрами образования и общественной деятельности; наследственной она быть не может.

События тридцати лет, прошедших с тех пор, как я предложил этот проект, в особенности — появление столь эффективных организаций, как коммунистическая партия и итальянские фашисты, весьма упрочили мою веру в то, что именно таким должен быть правящий класс. Орден самураев, взращенный той идеологией, которую я с тех пор пытался сформулировать, возникнет непременно, если Мировому государству суждено воплотиться полностью. Мы хотим, чтобы миром управлял не кто попало, а политически мыслящая

организация, при определенных гарантиях — открытая для всех. Проблема мировой революции и мировой цивилизации в том и состоит, чтобы как можно скорее выкристаллизовать из магмы общества как можно больше подходящих людей и привлечь их к действенному, сознательному сотрудничеству.

До «Современной Утопии» я был склонен думать, что правящий класс, который я называл сначала Новой республикой, возникнет сам по себе. Когда я напечатал мой очерк и увидел, какой он произвел эффект, я понял, что орден самураев не приходит сам собой. Если ему суждено возникнуть, нужно приложить целенаправленные усилия. В 1906 году я поехал в Америку и написал «Будущее Америки», где подробно останавливался на случайных, хаотических элементах американского прогресса, замечая, что там нет никакого «чувства государственности», и рассуждая о том, как восполнить этот недостаток. Вернувшись, я начал запутанную, утомительную и плохо продуманную кампанию, пытаясь превратить маленькое, уже вянущее, хотя и не дряхлое Фабианское общество в зародыш чего-то вроде самурайского ордена, который это чувство воплотил бы.

Я представлял себе, что общество, во главе которого с помощью пропаганды встанут в основном молодые люди, превратится в руководящее звено реорганизованной социалистической партии. Мы возьмемся за подрастающее поколение на уровне старших классов, технических колледжей, университетов, и организация наша перерастет в конструктивный слой общества.

Идея была хороша, но воплотить ее не удалось. Жизнь часто давала мне случай убедиться, как я тому ни противился, что я могу быть глупым и нелепым, но ничто не терзает так остро мою память, как воспоминание о вздорности суждений, необузданности порыва и поистине непростительной бессмысленности этой бури в Фабианском стакане воды. Побуждения мои сразу же поняли неверно, их надо было объяснить. Например, воинственным тоном я задел Шоу и Беатрису Уэбб, хотя оба они с тех пор доказали отношением к фашизму и коммунизму, что думали о грубой демократии примерно то же, что так неуклюже пытался выразить я в 1906 году. По сути я был прав, но вел себя неверно. В конце концов я оставил Общество в еще более склонном к парламентаризму и неэффективном состоянии (чем то, в каком его нашел). Не стану излагать все перипетии мелкого и нудного конфликта, начавшегося с моей статьи «Ошибки фабианства» (февраль 1906 г.) и закончившегося моим уходом в сентябре 1908-го,

читателя бы это утомило. К счастью для него, меня еще больше утомили бы поиски документов и описания былых битв, а никто иной этого не сделает.

Упомяну лишь многолюдные собрания в Клиффордс-Инн, скопления «интеллигенции», столь непривычной тогда для английской жизни. Там были старые радикалы и бурлящая молодежь; красноречивый Шоу; Сидней Уэбб, говорящий быстро, не поднимая глаз и немного шепелявя, и потому очень похожий на выступающего с докладом государственного мужа; Бланд в сюртуке и монокле с черной лентой, истинный вельможа, вещающий в духе рококо, как бы на передних скамьях парламента; рыжеволосый, живой как ртуть Хейден Гест и необоримо педантичный Эдвард Пиз; сам я говорил невнятно, обращался сквозь висячие усы к собственному галстуку, запинался, поправлял себя, словно держал корректуру, делал неуместные отступления. Возбужденные социалисты вносили предложения и поправки, спорили с председателем, голосовали, бурно аплодировали; наконец, продолжая спорить, высыпали на филистерские Флит-стрит и Стрэнд, уносясь водоворотиками к Аппенродту и разговаривая вперемежку о политике и личных делах. Мы были напряженно серьезны. Мы печатали, размножали, выпускали отчеты, «реплики», запросы, заявления; и намерения мои в конце концов исчезли под пышущей жаром кипой каких-то второстепенных изданий.

Орден Фабианских самураев погиб, не родившись. Я ездил с лекциями в студенческие и местные отделения, в Оксфорд, Кембридж, Глазго, Манчестер, следуя логике наших споров. Общество не хотело ни отдаться на мою волю, ни изгнать меня. Его вполне устраивало такое развлечение. Наконец я увидел, что трачу силы впустую, и прекратил наступление. Нет, решил я, не здесь строить *Новую республику* и, уж во всяком случае, не мне.

Отражения этого странного конфликта видны в «Новом Макиавелли» (1911). Какое-то время я был потерпевшим поражение революционером. Я не знал, что делать дальше. Теория самурайской революции повисла в воздухе, и я не видел ни малейшего способа опустить ее на почву реальности. В то самое время, как я терпел неудачи, Ленин, под давлением более серьезных обстоятельств, неуклонно развивал поразительно схожую структуру — преобразованную коммунистическую партию. Существовала ли генетическая связь между нашими планами, я так и не выяснил. И в моем проекте, и в российской действительности человек может вступить в организацию, а потом устраниться от ее обязанностей и привилегий; и там, и здесь на ее активных членов налагаются обязательства и

ограничения; и там, и здесь признается, что хорошие граждане, которые неплохо живут и работают, есть и вне ответственной, управляющей организации. Еще больше похоже требование воспитывать активных членов в духе определенных идей. Если даже Россия ничего больше не сделала для человечества, одно создание коммунистической партии оправдает русскую революцию и поставит ее гораздо выше того буйного выплеска эмоций, который зовется революцией Французской.

3. «Планирование» в «Дейли мейл» (1912 г.)

Какое-то время моя работа над проектом Новой республики не двигалась, но это не помешало мне предпринять еще одну попытку. В 1912 году Нортклиф попросил меня написать для его «Дейли мейл» о рабочих волнениях. Здесь я снова показал определенную способность к пророчеству, примерно на год опередив общее движение. Сегодня все говорят о планировании, но в 1912 году читателям ежедневной грошовой газеты было довольно странно прочитать за завтраком:

> «Ни одному обществу до сих пор не хватало воли и воображения, чтобы переделать и радикально изменить всю социальную структуру. Мысль эта не покидала человечество со времен Платона, но она невиданно окрепла благодаря достижениям современной науки, которым и обязана тем, что метод проб и ошибок сменился анализом и продуманным планированием. Но в эту идею до сих пор еще недостаточно верили и недостаточно ее поняли, чтобы приложить какое-либо реальное усилие к вариантам переустройства. Такой эксперимент всегда казался слишком грандиозным, чтобы в него поверить; мешают и страх перед излишней самонадеянностью, и интересы преуспевающих слоев, и врожденная наша леность. Мы только выходим из сознательной беспечности, избавляясь от влияния Герберта Спенсера{261}, который, в сущности, возвел общественную бездеятельность в ранг национальной философии — жизнь все уладит сама, если только оставить ее в покое.
>
> Однако не все можно уладить при помощи мелких замен. Скажем, это невозможно, если нужно перепрыгнуть пропасть, или убить быка, или спастись из горящего дома. Тут уж придется выбрать линию поведения и следовать ей. Если вы будете медлить в

горящем доме, пока не припечет, а потом слегка повернетесь или передвинетесь, если на краю пропасти вы шагнете в ту сторону, в которую вас потянет, за такую умеренность вы поплатитесь катастрофой. Мне кажется, организация труда на новой основе (а именно этого, и никак не меньшего, требует наша задача) — одно из тех преобразований, которые не осуществятся при помощи коллективной бессознательной деятельности, при помощи конкуренции, рынка, борьбы за выживание. Человеколюбие противится современным условиям существования рабочего класса, и я не вижу, каким образом наш сегодняшний принцип понедельного заработка можно незначительными изменениями превратить в новую систему заработной платы и пенсионного обеспечения — а совершенно очевидно, что только с такой системой мы положим конец нынешним недовольствам. Нужны всеобъемлющие изменения — или никакие. Нужен всего-навсего национальный план социального развития.

Да, как сказали бы американцы, это дело нешуточное, но мы живем в эпоху все более всеобъемлющих планов, и тот лишь факт, что такого обширного плана до сих пор не бывало, никак не означает, что его быть не может. Сегодня мы спокойно думаем о здоровье целой нации, а наши отцы считали болезнь скрещением случая с особым промыслом; мы систематизировали водные ресурсы, образование, всевозможные службы; наконец, благодаря Германии, нашим собственным вечным неудобствам и уродству мы осознали самую возможность плановой застройки наших городов. И это лишь новый шаг к планированию приемлемых условий, которые позволили бы организовать труд всех рабочих и уйти от нынешней неразберихи».

И дальше:

«Я попытался поставить диагноз одному из наших национальных недугов. Я показал, что почти все общественные силы, словно тайно сговорившись, стремятся, чтобы рабочий класс вообще исчез, а труд и промышленность были преобразованы на новой основе. Преобразования потребуют от страны беспрецедентных усилий и должны привести к составлению национального плана. Если это нам не удастся, мы,

скорее всего, будем обречены на хронический социальный конфликт, а возможно — и революцию, что либо уничтожит нас, либо превратит в нацию немощную и ничтожную…»

(Все это я осложнил пропагандой «пропорционального представительства» и еще одной или двух незначительных реформ. Воспроизводить мои доводы мне бы не хотелось — не столько потому, что я в них разуверился, сколько потому, что идеи эти второстепенны и только исказят масштабы основного предложения. Стоит о них заговорить, как люди восклицают: «Так вот она, ваша панацея!» — не замечая остального.)

4. Великая война и мое обращение к «Богу» (1914–1916 гг.)

Три года — от Агадирского инцидента{262} (июль 1911-го) до захвата Бельгии в августе 1914-го — Великая война зловеще маячила перед нами. Неизбежность катастрофы становилась все более явной, и эта непосредственная угроза цивилизации волей-неволей приковала мое внимание. В 1913 году в коротком цикле статей я писал о модернизации военного дела. (Эти статьи вместе с циклом о рабочих волнениях переизданы в книге «Англичанин смотрит на мир» в 1914 году.) А в начале 1914 года я напечатал роман «Освобожденный мир», в котором описывал крушение всей структуры общества из-за использования «атомных бомб» в войне, которая пророчески и в то же время вполне естественно начиналась у меня с германского вторжения во Францию через Бельгию.

После катастрофы поднимается волна здравомыслия (вера в эти спонтанные волны, видимо, — одна из моих неискоренимых слабостей), и некий совет чудотворцев, собравшийся в Бриссаго (возле Локарно!), берется установить новый мировой порядок. В конце концов прием, оказанный народом президенту Вильсону в 1919 году, больше напоминал волну здравомыслия, чем все предшествующие события мировой истории. Уже в 1908 году, в «Войне в воздухе», написанной задолго до того, как вошли в обычай полеты, я доказывал, что военные действия в воздухе, переход войны в третье измерение сотрут линию фронта, а вместе с ним — и различия между гражданскими и военными, а также саму возможность полной победы. Я утверждал, что это совершенно изменит отношение простого человека к войне. Он уже не сможет смотреть на нее так, как мы смотрели, например, на войну Англо-бурскую, — словно это захватывающее зрелище, в

котором ему отведена роль зрителя, купившего билет на крикетный или бейсбольный матч.

Каждый здравый ум, прошедший испытание Великой войной, претерпел глубокие перемены. Наше мировоззрение изменилось и в общих чертах, и в деталях. Мне, как и большинству людей, стала видна нестабильность общественного строя. Стали видны и возможности коренных преобразований, открывавшиеся перед человечеством, и некоторые опасные стороны коллективного сознания. Я был поистине возмущен ростом милитаризма в Германии; убежденный республиканец, я воспринимал ее действия как крайнее выражение монархической идеи. Вот вам, по-журналистски бурно негодовал я, логическое продолжение всех ваших парадов и униформ. Что ж, поборем борцов!

Люди забывают, как много значил тогда личный империализм Гогенцоллернов{263}. Я тоже писал чрезвычайно воинственные статьи, однако не понимал, какие моральные и интеллектуальные силы действуют в мире. Я не хотел взглянуть в лицо страшной правде. Я ожидал, что здравый смысл возмутится и взрыв его сметет не только Гогенцоллернов, но и всю политическую систему, милитаристское государство и его символику, а вся планета станет конфедерацией социалистических республик. Даже в очерке «В четвертый год» (1918) я отвергал комбинацию «Крупп{264} — Кайзер» и считал почти само собой разумеющимся, что военная индустрия с частной прибылью не сможет пережить войну. Вероятно, когда-то, по мере выхода из катаклизма, исчезнет и военная индустрия, но должен признать, что выход этот запаздывает самым трагическим образом. Его задерживает то, что никто не может понять: «суверенное государство» по самой своей сути неисправимо воинственно. Мои собственные действия в 1914–1915 годах — прекрасный пример такого непонимания.

Неистощимый поток внутреннего оптимизма затопил во мне склонность к осторожному и критическому анализу. Я написал памфлет, который, видимо, повлиял на тех, кто колебался между участием в войне и сопротивлением; назывался он «Война, что положит конец войнам». Название стало крылатым. Эту фразу, эту разбитую надежду до сих пор язвительно используют крайние пацифисты, споря с теми, кто не принимает догму непротивления во всей ее полноте. Однако так или иначе вооруженные силы, участвующие в войне, надо разоружить, и я все еще убежден, что необходима последняя схватка, чтобы для всего человечества воцарился мир. По всей вероятности, это будет не война между суверенными государствами, а война для их подавления, где бы они ни обнаружились.

Примерно так относился к войне Анатоль Франс{265}. Мы встречались несколько раз до 1914 года и очень друг другу понравились. Когда составлялась и издавалась «Книга Франции» в пользу опустошенных войной областей, он дал для нее статью «Debout pour la Dernière Guerre» и попросил, чтобы я ее перевел. Я перевел ее под названием «Поднимемся и покончим с войнами».

Когда я перебираю свои работы, поспешные, сбивчивые и многословные, написанные в начале войны, и делаю все возможное, чтобы воспроизвести подлинное состояние моего ума, мне становится ясно, что, не считаясь с моими предвидениями, мировая катастрофа на какое-то время поглотила мой рассудок и я поневоле ответил ей этим ложным толкованием. Несмотря на глубокие и поначалу неясные опасения, я утверждал, что идет битва между старым и новым миропорядком. Прогресс был остановлен, форпост его разбит у меня на глазах и до сегодняшнего дня (1934 г.) не восстановлен полностью, а я убедил себя, что разваливается старый закосневший строй и возникает всемирный союз, Мировое государство. Для того чтобы ко мне вернулось здравомыслие, потребовалось почти два года. До самого 1916 года мой разум так и не мог трезво и ясно осмыслить войну.

Я хорошо помню, как впервые пошатнулось мое заблуждение. Это был странный, незначительный, но примечательный случай. Некоторые наши читатели ужаснутся, когда прочтут о нем, — но не в том смысле, в каком ужаснулся я. В этой книге я неоднократно и недвусмысленно предупреждал, что я — республиканец и что снедающий меня дух отрицания глубже, чем богословские убеждения моих соотечественников. Вероятно, они толком не почувствуют, почему я был так потрясен.

Я шел из Сент-Джеймс-Корт пообедать в «Реформ-клубе». На стене дома, который в ту пору назывался Мальборо-хаус, я увидел что-то вроде афиши. Место для нее показалось мне необычным, и я остановился. То было обращение короля. Не помню сейчас, о чем шла речь; но меня поразила сама манера. Король Георг говорил: «мой народ». Не «мы», не «наш», а «я» и «мой».

Я был занят борьбой цивилизации против традиции, я свыкся с восприятием монархии как чего-то живописного, безвредного и устаревшего, и, когда внезапно понял, что король ставит *себя* во главе своего народа, ощущение было такое, словно перед самым моим носом разорвалась бомба. На какой-то миг мой рассудок замер.

«Господи! — сказал я в величайшем возмущении. — Какое *он* имеет отношение к нашей войне?»

И пошел дальше, переваривая эту мысль.

«*Мой* народ»! Значит, мне подобные — это *его* народ!

Если вы позволяете кому-то называть себя вашим пастырем, рано или поздно вы почувствуете, как пастушья палка с крюком обхватит вашу лодыжку. Не мы ведем войну с Германией, а наш король распоряжается нами в своей войне против Германии.

Через несколько месяцев скрепя сердце я понял неприглядную правду: «война за цивилизацию», «война против войны» была утешительной выдумкой, а жутковатая реальность заключалась в том, что Франция, Великобритания и союзные державы, следуя своим интересам, договорам и тайным намерениям, воспользовались проверенным историей средством и под водительством законных военных властей вступили в войну с противником. Никакая другая война в современных условиях невозможна. Ни «мы», ни «противник» не имели никакого отношения к моему Мировому государству. Мы воевали за «короля и родину», они — за «кайзера и фатерланд»; что же до Мирового государства, это было всем безразлично.

Наверное, далеко не я один пытался постигнуть всю бездонность насилия, слабости и покорности, которых, стремясь к новому государству, так долго не желал замечать. Не я один пытался направить свою *персону* к этому нелегкому прозрению. Мы не смогли оглядеться и все обдумать — что уж говорить о молодежи. Она обдумывала это в окопах и на ничейной земле. А я, освобожденный от службы, имеющий возможность свободно выражать свои мысли, не предложил ей ничего лучшего, чем «война, что положит конец войнам»!

Естественно, что в этой истории разочарования, коль скоро о ней повествует моя автобиография, центральное место должен занимать мой ум — ведь и кролик на столе свидетельствует за всех кроликов. Но сознательные и подсознательные противоречия, о которых я рассказываю от своего лица, были повсеместными. Я очень подробно закрепил их на бумаге, вот и все отличие. 1914 год еще не кончился, а я вовсю фиксировал стадии, пройденные моим сознанием, в романе «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна». Автобиографичным его можно считать только в самом общем смысле — помимо прочего, я не терял на войне сына. Но историю этой утраты и прежнего образа мысли можно повторить в тысячах вариаций. Мистер Бритлинг представляет не столько меня, сколько мой человеческий тип и социальный класс. Кажется, мне удалось показать не только потрясение и трагическое разочарование цивилизованного ума, нарастающее по мере того, как жестокая действительность войны захватывает остальную жизнь, но и страстное желание найти в омуте катастрофы некую спасительную опору.

Пройдя множество испытаний, мистер Бритлинг «нашел Бога». Он потерял сына; и вот в кабинете, поздно вечером, пытается написать родителям одного немца, который когда-то был у них репетитором. Того тоже убили.

«Этих мальчиков, эти надежды убила эта война».

На какое-то время слова застыли в его мозгу.

«Нет! — сказал мистер Бритлинг решительно. — Они живы!»

И вдруг неожиданно он понял, что не одинок. Таких, как он, — тысячи и десятки тысяч; так же, как он, всем сердцем мечтают они произнести слова примирения. Не только его рука остановилась, не в силах продолжать. Смущенные не меньше него, неподвижно застыли французы и русские; были и немцы, пытавшиеся проложить к нему путь, даже сейчас, пока он сидит и пишет. И он в первый раз ясно почувствовал Присутствие, о котором много раз думал в последние недели, Присутствие, которое так близко, что он ощущает его в глазах, в мозгу, в кистях рук. То была не игра воображения — он ощущал непосредственную реальность. Здесь был Хью, которого он считал мертвым, здесь был юный Генрих, тоже живой; здесь был он сам, здесь были те, кто ищет, здесь были они, и — мало того — здесь был сам Господь, Кормчий человечества. Здесь был Бог, он был рядом, и сам он знал, что Бог — здесь, словно все это время двигался на ощупь впотьмах, думая, что он — один среди скал, волчьих ям и безжалостных вещей, и вдруг рука, крепкая и сильная рука прикоснулась к его руке. Он слышал голос, повелевавший ему быть мужественным. Перевоплощения не было, он остался таким же слабым, уставшим, малодушным краснобаем, исполненным благих намерений, и беспомощным писателем; но он больше не был одинок и жалок, он не был во власти отчаяния. Бог был рядом с ним, и внутри него, и вокруг… Вот он, решающий миг его жизни, невесомый, как облачко апрельским утром; великий, как первый день творения. Несколько секунд он по-прежнему сидел, откинувшись в кресле и уткнувшись в грудь подбородком; руки его свисали с подлокотников. Затем он выпрямился и глубоко вздохнул…

Он уже несколько недель лелеял в уме эту мысль. Он говорил с Летти об этом Боге, который властвует над нашими блужданиями в пространстве и во времени. Но до сего момента Бог был для него чем-то рассудочным, теорией, построением, чем-то таким, о чем говорят не понимая… Мысль о Боге была подобна человеку, вошедшему в пустой дом, красивый и опрятный, хранящий отпечаток изысканной прелести чьего-то доброго присутствия. Пока вошедший все рассматривает, он слышит

приветливый голос Хозяина…

Не нужно отчаиваться, что сам он немощен духом. Бог воистину с ним, и он — с Богом. Властитель возвращается в свои владения. Среди тьмы и неразберихи, жестокостей и глупостей Великой войны Бог, Кормчий Мировой Республики, отвоевывал свой путь к владычеству. Пока человек делает все, что может, в столь грандиозном замысле, важно ли, если делает он очень мало?

«Я слишком много думал о себе, — сказал мистер Бритлинг, — о том, что буду делать. И забыл о том, что *рядом со мной*…»

На самом деле он забыл о том, что *внутри*, о внеличном, о человеке вообще, о том, что передается нам по наследству, как человеческий облик. Он пытался вынести вовне свое врожденное мужество, чтобы оно было отдельным, независимым, вечным. То же самое делало тогда бесчисленное множество людей.

Я зашел достаточно далеко в этой попытке обожествить человеческое мужество. Многие друзья удивились; появился хлесткий памфлет Уильяма Арчера{266} «Бог и мистер Уэллс». В конце концов я признал, что, по сравнению с прежними определениями Бога, Бог мистера Бритлинга — совсем не Бог. Но прежде, чем я пришел к такой полной искренности, меня еще ожидали богословские вывихи. На меня, должно быть, слишком повлияло то, что очень много тонких, умных людей держится не столько за религию, сколько за удобство религиозных привычек и слов. Остатки этой детской зависимости были созвучны моему стремлению к «поддерживающей вере». На самом деле рассудок в отчаянии и тревоге просто возвращается в детство. Хорошо иногда услышать: «Да не смущается сердце ваше и ничего не убоится», особенно если кто-то говорит это как власть имеющий. Хорошо в бессонную ночь поверить, что рядом — тот, кто тебя понимает, и, утешившись, словно ребенок в колыбели, заснуть снова. В первые годы катастрофы люди повсюду искали путеводную звезду. Мне стало жаль, что им приходится служить «королю и родине» и прочей чепухе, когда они могли бы жить и умирать ради чего-то большего, и я постарался воплотить это в образе «Невидимого владыки Бога». Так совершил я coup d'état[27], превратив на время Новую республику в Царство Божие.

Пожалуй, я не смог бы сейчас, — а вернее, не мог и раньше, — отделить то, что говорил тогда просто и прямо, от того, что говорил *с политическим расчетом.* Не могу судить, в какой степени я бывал честен, а в какой — «морочил голову», пытаясь навязать свое неореспубликанство под другой вывеской

тому бессчетному большинству, которое вроде бы не может обойтись без королевской власти. Людям, нуждающимся в Боге, нужно ощутить Отца, на Которого они могут положиться. Их тянет в детство, к инстинктивной младенческой вере, что все в порядке. Они напуганы и хотят услышать, что нет нужды напрягать все силы перед надвигающимся суровым испытанием. При всем желании я не смог бы изобразить такого Бога. Я мог изобрести Бога ободряющего, но не Бога, приносящего временное облегчение. При всем моем старании божество мое гораздо меньше походило на Небесного Отца набожных католиков, мусульман или иудеев, чем, скажем, на олицетворение пятилетнего плана. Коммунист мог бы принять его как метафору. Ни одному мистику не удалось бы его использовать — он не совершал чудес, не мог ясно и утешительно ответить. Такой Бог, какого я изображаю в трактате «Невидимый владыка Бог», — просто доброжелательный, очень занятой друг и строгий руководитель.

В своих деистских рассуждениях о Боге я не шел на уступки христианской доктрине. Я делал благочестивые жесты, но руки мои оставались чисты. Я никогда не продавался официальному правоверию. При всей своей искусственности моя религиозность была пламенной ересью, а не злободневным компромиссом. Я никогда не подходил к христианству ближе, чем манихеи, — на что давно указал сэр Джон Сквайр{267}.

За трактатом «Невидимый владыка Бог» последовал роман «Душа епископа» (тоже 1917 г.), где я четко разграничиваю Бога Англиканской церкви и это олицетворение человеческого прогресса; а обе книги — «Джоанна и Питер» (1918) и «Неугасимый огонь» (1919) сильно отдают обожествленным гуманизмом. К Питеру в больницу является другой Бог, Бог Создатель, странный и нелепый. Несомненно, это комический и довольно виноватый мужской двойник того, что в другом месте я называл «старой греховодницей Природой». А дяде Джоанны и Питера, Освальду, открывается в размышлении, что «Бог» — это имя, потерявшее всякую ценность и всякий смысл.

«Неугасимый огонь» очень хорошо задуман и не без блеска написан; я уже говорил, что это лучший из моих «романов-диалогов». Он венчает и завершает мое богословствование. Это — закат моего божества. Вот что услыхал мистер Хасс от своего Бога, когда наконец встретился с ним лицом к лицу:

> «Спящий будто перемещался по опушке огромного леса, готовясь шагнуть на простор, только путь свой он прокладывал не через заросли, но сквозь решетки, сети и

переплетения многоцветного огня. Впереди, за ними, маячила светлая надежда. Сейчас он вырос до невероятных размеров, так что уже не земля была у него под ногами, а прозрачный путь, чья глубина вмещала звезды. Он приблизился к открытому месту, но так туда и не вышел; радужная сеть стала тоньше — но снова сгустилась; он пробивался вперед, и черные сомнения, на миг было оставившие его, снова обступали его душу. И он понял, что это сон, который стремительно идет к концу.

— О Господи! — крикнул он. — Ответь мне! Сатана посмеялся надо мной. Ответь мне, пока я снова не потерял тебя из виду. Прав ли я, что борюсь? Прав ли я, что явился со своей маленькой земли в этот надзвездный мир?

— Прав, если дерзнул.

— Ждет ли меня победа? Обещай мне!

— Ты можешь побеждать во веки веков и отыскивать новые миры, чтобы победить их.

— **Могу**, но **буду** ли?

Поток расплавленных мыслей вдруг остановился, и все остановилось с ним.

— Ответь! — крикнул он.

Сияющие мысли неспешно возобновили свой ход.

— Пока тебя держит мужество, побеждать ты будешь…

Когда мужество есть, пусть ночь темна, пусть битва кровава и жестока, а конец ее зол и странен, победа за тобой. Ты поймешь почему, только не теряй мужества. Все зависит от того, сколько мужества в твоем сердце. Именно мужество велит звездам день за днем продолжать свой путь. Одна лишь воля к жизни разделяет небо и землю… Если мужество не устоит, если священный огонь померкнет, тогда ничто не устоит, и все померкнет, все — добро и зло, пространство и время.

— Ничего не останется?

— Да, ничего.

— Ничего, — повторил он, и слово это покрыло, как темнеющая маска, лицо всего сущего».

Но еще раньше, следуя за Иовом, мистер Хасс сказал:

«Я не пытаюсь объяснить то, чего объяснить не могу. Быть может, есть только предвестие Бога. Вы скажете, доктор Бэррак, что тот огонь в сердце, который я

называю Богом, — такой же результат вашего **процесса,** как все остальное. Спорить не буду. То, что я вам сейчас говорю, связано не с верой, а с чувством. Мне кажется, что творческий огонь, который горит во мне, — иной природы, нежели слепой материальный процесс, что это — сила, идущая наперекор распаду… Одно я знаю точно: если этот огонь загорится в тебе, разум твой засияет. Огонь управляет совестью с неодолимой силой. Он требует, чтобы ты прожил остаток дней в работе и борьбе за единство, освобождение и торжество человечества. Ты можешь оставаться подлым, трусливым, низким, но ты знаешь, для чего предназначен… Некоторые старинные фразы удивительно живучи. В глубине души **„я знаю, что мой Спаситель жив…“**».

Не правда ли, кажется, что я уклоняюсь от ответа? Но, уклоняясь, я иду по стопам знаменитого образца. Думали вы когда-нибудь о том, как уклончив апостол Павел в своем Послании к Коринфянам (см.: 1 Кор. 15: 35)? Можно ли более ловко уклониться от темы, говоря о воскресении тела, «одухотворить» его и приспособить толкование к любому вкусу?

После «Неугасимого огня» Бог исчезает из моих книг, если не считать краткого и довольно прискорбного случая, когда он появляется в лунном свете, с луком и стрелами Купидона в «Тайниках сердца» (1922). Слог мой незаметно вернулся к стойкому атеизму младых лет, а дух с ним и не расставался. Если я вообще упоминал имя Божие за последние десять лет, то в устойчивых выражениях вроде «Боже упаси!» или «Наконец Наполеон переполнил чашу Божьего терпения». Я все старательней избегаю поминать это имя всуе, в личных целях.

В книге «Что нам делать с нашей жизнью» (1931) я полностью отрекаюсь от этого периода терминологической неискренности и прошу прощения. Несмотря на то, что его плодами стали сон Питера — Бог в паутине — и «Неугасимый огонь», мне жаль, не столько из-за себя, сколько из-за моих преданных читателей, что довелось через него пройти. Это многих сбило с толку и ввело в заблуждение, а сам я, стремясь найти путь для людей, сделал ненужный крюк.

5. Военный опыт невоеннообязанного

Крюк этот был не единственным; еще дольше блуждал я в дебрях международной политики. В своих сочинениях я, так сказать, занялся любительской дипломатией, и это тоже нужно

объяснить. В те дни едва ли не каждый заключал воображаемые договоры, но у меня все это зафиксировано в документах.

Для начала вернусь к тому, как я сперва (1914 г.) попытался оправдать «нашу войну», а потом (1915–1917 гг.) понял, что пользы она не принесет. Я не перешел в «антивоенный лагерь». Убежденность тех, кто отказывался служить в армии по нравственным соображениям, — это для меня слишком просто. Я был вполне готов бороться на стороне закона и порядка, если речь зашла бы о Мировом государстве. То же самое думаю я и сейчас. Мир придется охранять силой, так было и так будет. Различие между силой духовной и силой физической тонко и непрочно. Жизнь — это борьба, и единственный путь к всеобщему миру лежит через подавление и уничтожение любой самой незначительной организации, связанной с применением силы. Общество должно запретить, чтобы один человек или многие имели оружие. Противники войны особенно раздражали меня тем, что многое в их критике было справедливо. Вероятно, я побаивался, что стоит мне примкнуть к ним, и я буду отброшен далеко назад, к бесплодности чистого отрицания. Я соглашался с их словами, но то, что они делали, было попросту саботажем. В общем, они меня раздражали.

Не слишком напирая на слово «вероятно», скажу, что мне не хотелось признавать, как серьезно скомпрометировал я себя в первый месяц войны своей непомерной воинственностью и опрометчивой, страстной убежденностью в либерализме, уме и добросовестности иностранного и военного ведомств. Мое воинственное рвение шло вразрез с предвоенными заявлениями и было противно моим глубочайшим убеждениям. Когда я, так сказать, пришел в себя после первого шока и снова начал обличать правительство и общественный строй, я обнаружил, что не внушаю доверия многим своим коллегам, примкнувшим к левому крылу пацифизма. Они относились ко мне как к изменнику, продавшемуся «поджигателям войны», а реакционеры с не меньшим основанием и, вероятно, лучше видя мои истинные свойства, относились ко мне, мягко говоря, с подозрением. Труднее всего идти посередине, особенно если не слишком тверда поступь; мой колеблющийся курс вызвал недоумение многих дружелюбно настроенных наблюдателей. Что бы я ни писал и ни говорил, это еще больше разжигало недоверие левых, и я ощущал «благородное» негодование, естественное для человека, сознающего в глубине души свою неправоту. Я ошибался, а то, что я написал в «Войне и будущем» о тех, кто отказывался от военной службы по нравственным соображениям — совсем уж непростительно. В «Джоанне и Питере» я набросился

на пацифистов, учинил им жесточайший разнос, уличал их, не замечал их достоинств и нанес им немалые раны. Некоторые пацифисты никогда не простят меня, и я не вправе на них сетовать. Вину свою я с опозданием загладил в «Бэлпингтоне Блэпском». Но все это — не главное. Меня прежде всего занимало, как извлечь из военной неразберихи пользу для мировой революции, а прогерманские настроения, уклонение от участия в войне, оправдания врага и принижение боевой мощи союзников мне тогда никак не казались шагами к этой цели.

Я листаю множество выцветших и забытых сочинений, пытаясь рассудить и подытожить то, что я делал в эти переломные годы. Вот немаловажный набросок — «Дикие ослы дьявола» в моем произведении «Бун». Значит, в 1915 году я уже писал о «Мире во всем мире» и об «Отказе от военных союзов». В 1916 году из газетных статей 1915 года я составил сборник «Что грядет?». Листы авторского экземпляра пожелтели, найти другие экземпляры, если бы кто решил их искать, — непросто; и, ставь я свою репутацию выше автобиографической честности, мне следовало бы предоставить этой книжке истрепаться, рассыпаться, исчезнуть, не говоря о ней ни слова. В ней самой и без того многое сказано всуе и наобум. Так и чувствуешь, что я ощупью, наугад прокладывал путь не столько среди идей, сколько среди того, что считал в ту пору неискоренимыми предрассудками. Моя склонность к пропаганде и практической пользе еще преобладала над научной и критической склонностью. Я хотел, чтобы что-то делалось, и не хотел, чтобы в моих предложениях усматривали одно чудачество и неосуществимость.

Большая часть статей 1915 года представляет собой любопытную смесь неуклюжего миролюбия с еще более неуклюжей угрозой — видимо, я понимал, что статьи могут цитировать в Германии. В них много невежества, неопытности и самомнения. Мне казалось, что лучше необдуманно высказать что-то, чем дальше это замалчивать. В этой книге я говорю, что Германия потерпит поражение, истощив свои силы, и что на заключительных стадиях урегулирования Великобритания должна тесно сотрудничать с Соединенными Штатами (не участвовавшими тогда в войне). Предсказывал я и падение Гогенцоллернов, и установление республики, но не предвидел, что это произойдет так скоро. Есть и проблески подлинной интуиции. Мысль о том, что банкротство всей системы можно ликвидировать, повысив цены и изменив цену на золото, имела не так много сторонников, как сейчас; но я вышел на нее в той незрелой книжке. Стою я и на том, что для любого окончательного урегулирования государства должны

объединиться в более крупные структуры. Я говорю о некоем гипотетическом союзе («присягнувших союзниках»), который должен определять общее направление послевоенной политики, и предполагаю, что республиканской Германии намного легче найти взаимопонимание с таким союзом, чем монархии. Союзники, давшие обещание не заключать сепаратного мира, должны, на мой взгляд, определить эту политику еще до окончания войны и поклясться, что они будут ее отстаивать. Здесь предвосхищается идея мирной конференции, которая должна стать чем-то вроде постоянного всемирного органа с контролирующими функциями. Самая смелая статья в этом любительском сборнике предлагает объединить тропические владения великих держав, чтобы прекратить империалистическое соперничество. Именно эта статья заканчивается эскизом Лиги Наций, что показывает, какого уровня достигла в то время (1916 г.) конструктивная либеральная мысль.

> «Итак, обсуждая будущее заморских „империй“, мы снова приходим к выводу, который подразумевало обсуждение почти любого значительного вопроса, возникшего в результате этой войны, — к выводу о том, что необходимо создать большой совет, конференцию, некий постоянный властный орган (назовите как угодно), чья деятельность неизмеримо шире, чем может себе представить любой „национализм“ или „патриотический империализм“. Этот орган должен стать неотъемлемой частью человечества. От смелости и воображения сегодняшних государственных деятелей зависит, воплотятся ли призрачные предчувствия, которые не покидают сейчас всех политически мыслящих людей, просто и недвусмысленно, или же построение такого органа будет оплачено веками крови и тьмы».

Так, уже в 1916 году я стремился к тому, чтобы целью войны признали Мировое государство.

В конце лета я посетил итальянский, французский и германский фронт. Тогда возникла мода приглашать писателей и художников, чтобы они посмотрели своими глазами, что такое война, а потом отчитались о своих впечатлениях. Без всякого дела я примерно на неделю задержался в Париже и повидал рара[28] Жоффра{268}, который торжественно преподнес мне набор цветных открыток с портретами всех главных французских генералов; надо сказать, открытки были хорошие. Я поехал через Северную Италию в Карсо, вернулся во Францию на фронт возле Суассона, а затем, уже по собственному почину, посетил

британский фронт вблизи Арраса, чтобы сравнить британскую и французскую организацию аэрофотосъемки.

Поездка была интересная, но достаточно бесцельная. В Аррасе я встретился с О.-Г.-С. Кроуфордом и дальше ездил вместе с ним. Тогда он прекрасно читал аэрофотоснимки, что меня так восхищало, а сейчас издает вместе с другими интересный журнал «Антиквити». Все, что он почерпнул из военного дела, он использовал с благородной целью — чтобы создать научное обозрение. В Амьене я находился, так сказать, под крылышком у Монтегю{269}, автора книг «Разочарование» и «Грубая справедливость». В нем странно смешались англиканская сентиментальность подростка (которого умиляют добрые лошадки, совсем уж добрые собачки, смелые леди, настоящие джентльмены, старая школа, родная страна, честное предпринимательство и прочее в духе какого-то преувеличенного Голсуорси) и самый что ни на есть авантюрный ум. Заправский радикал, туго вбитый в шкуру консерватора, он был на год моложе меня, но, когда началась война, скрыл свой возраст, покрасил седые волосы и записался добровольцем. Поручение взять меня под опеку он принял без особого пыла. Меня предупредили, что проводник он не самый надежный, но мы с ним прекрасно ладили. Я живо помню, как мы шли по открытому полю, среди воронок и проволоки, к окопам переднего края. Солнце ярко светило, в воздухе витало едва уловимое дуновение свежести и опасности. Вряд ли нас могли накрыть; артиллерийский огонь, который мы слышали, вели англичане. Решив, что пробираться вслепую по сырой и узкой траншее при таком солнце невыносимо, мы вылезли и пошли со шлемами в руках, держа их как корзинки. Мы признались друг другу, как нам надоела война, как давит на нас ее чудовищная нелогичность, и, ковыляя дальше, радостно беседовали о стилистических приемах Лоренса Стерна{270}.

На переднем крае Монтегю потребовал, чтобы я держал голову ниже бруствера, но сам шел спокойно, поднимаясь в полный рост и вытягивая шею, чтобы разглядеть, не покажется ли немец.

«В сумерках иногда видно, как они прыгают из воронки в воронку».

В тот день ничего не происходило. Ночью случился налет, но он кончился, в окопах все спали, и мы вернулись обратно через тихое запустение, споря о том, можно ли ожидать после войны взрыва литературной активности. Он считал, что можно, а я утверждал, что взрывы эти происходят по причинам второстепенным и очень трудно проследить их непосредственную

связь с великими событиями…

Время, потраченное на эту бесцельную экскурсию, я мог бы с успехом использовать дома, делая что-нибудь важное для военных нужд. Я все еще был убежден, что войну должны выиграть союзники, и потому рвался жертвовать временем, рисковать удачей и жизнью, чем угодно, только бы эффективно себя использовать, это я ставил во главу угла. Я ни за что не хотел идти добровольцем, подвергаться муштре, отдавать честь, защищать железнодорожные мосты и водопроводные трубы от воображаемых немцев, рыскающих по ночам на проселочных дорогах Эссекса, охранять пленных в лагерях и тому подобное. Один мой старинный замысел, «Сухопутные броненосцы» («Стрэнд», 1903), воплощался в виде танков, и просто удивительно, что мое воображение не мобилизовали для их разработки. Уинстон Черчилль силой насаждал это мощное оружие наперекор консервативным рефлексам армии; Китченер{271} отверг «механические игрушки», и после долгих проволочек их испробовали в деле так нерешительно, оценили так неадекватно, что колоссальные возможности их внезапного использования, которые могли бы предрешить окончание войны, были совершенно упущены. Позже часть танков увязла во фландрской грязи к величайшему удовольствию военных мыслителей. Раз уж появление танков предотвратить не удалось, с точки зрения ветеранов неплохо было их испортить. «Да эти чертовы штуки никуда не годятся! Полюбуйтесь-ка!» В наше время ситуация внешне изменилась, но британская военная мысль, обладающая безупречным чутьем, помогающим ей отставать от времени на десятилетие-другое, страдает открытой и опаснейшей формой помешательства на танках.

Когда я услышал о них, я почувствовал горечь и разочарование, что не уберегло меня позже от стычки с косностью профессиональных военных.

Как-то ночью я лежал, свернувшись в постели, и не мог уснуть. Окно было открыто, лил дождь, и вдруг, словно выхваченные светом вспышки, предстали в моем воображении затопленные, залитые грязью ходы и жалкое шествие навьюченных «Томми», пробирающихся к передовой по мокрым доскам. Некоторые спотыкались и падали. Я знал, что люди часто тонут во время этих мрачных странствий, а тот, кто добирается до передовой, попадает туда без сил и весь покрытый грязью. Мало того, припасов, которые они несут, всегда оказывается недостаточно. И вдруг я увидел, что всего этого перенапряжения можно с легкостью избежать. Я скатился с кровати и весь остаток ночи составлял план мобильной системы перемещения по

подвесной дороге. Моя идея заключалась в том, чтобы установить столбы в форме буквы «Т», которые при помощи троса можно по мере необходимости поднимать или класть плашмя. На перекладинах этих столбов работают два тягача. Электроэнергия могла бы поступать с движка.

То ли незадолго до этого, то ли сразу вслед за этим мне довелось повстречаться с Уинстоном Черчиллем в мастерской Клер Шеридан в Сент-Джонс-Вуд. Видимо, это все-таки случилось раньше. Я не делал секрета из своего разочарования с танками, и чувствовал себя вправе без долгих вступлений изложить проект подвесной дороги. Уяснив суть дела, он связал меня с людьми, способными восполнить недостаток моих познаний в области механики. По его указаниям Хейг, работавший в Министерстве военной промышленности, привел в движение военный Департамент коммуникаций, и лейтенант Лиминг — кажется, из Ланкашира — с группой помощников воплотили мою мечту.

Мы изобрели поистине новое военное оборудование; мне принадлежали только изначальная идея и некоторые пояснения. До конца войны действовала его улучшенная конструкция, хотя и не в том объеме, чтобы произвести ощутимый эффект. «Стальные шлемы» его не любили, а оно могло бы предотвратить немало потерь и значительно облегчить, хотя бы вначале, объединенное наступление 1918 года.

Наша подвесная дорога не была стационарной — ее можно перемещать почти с той же скоростью, с какой двигалась пехота; каждую ее часть может унести один человек; ее можно воздвигать, а потом складывать. Приводилась она в действие с помощью обычного грузовика, размещенного в надежном укрытии, — того самого грузовика, который перевозил столбы и проволоку. Кроме того, дорога могла перевозить раненых на носилках и бесконечный поток грузов — продуктов или боеприпасов. В Клэпем-Коммон мы изготовили пробный отрезок дороги больше мили длиной и установили его в Ричмонд-парке; испытания прошли блестяще. Если линию повредит снаряд, ее очень легко починить и заменить, а для переноски она никаких затруднений не представляет. Она практически незаметна с воздуха, поскольку ее эксплуатация не оставляет следов; ее можно перемещать, а разбирается она так же легко, как и устанавливается. (Описание переносной складной воздушно-канатной дороги Лиминга с гравюрами и фотографиями, помеченное 26 ноября 1917 года, находится в архиве Министерства военной промышленности.)

Благодаря этой работе я ближе, чем когда-либо, столкнулся с военной кастой. Я знал многих людей, политиков и иже с ними,

которые какое-то время служили в регулярной армии, но те, с кем я познакомился теперь, представляли собой подлинную армию как таковую. Передо мной была квинтэссенция армейского мышления, и я ужасно удивился. Мои воспоминания о них, возможно, искажают их сущность, но они остались в моей памяти как немыслимая карикатура.

Я живо помню совещание в укрытии на берегу Темзы. Военные явились «при полном параде» — в небывало красивых фуражках с красной каймой, в золотых галунах. Короны и звезды, ленты, эполеты, ремни, какие-то очень важные перевязи украшали их. Война была делом их жизни, для нее они и наряжались. Они уселись с таким видом, словно немало думали над тем, как получше сесть. Они вещали, а не просто выговаривали, как мы, довольно смутные мысли. Если слушать только звук их голосов, можно было подумать, что они простые, трезво мыслящие люди, говорящие здраво и решительно, но изрекали они, по моим понятиям, почти невероятные глупости. Напротив них сидели мои гражданские коллеги, и только Дэвид Лоу мог бы передать, как жалко выглядели мы в своей неопрятной будничной одежде, в котелках, потрепанных воротничках, кое-как выбранных и кое-как завязанных галстуках военного времени. Держались мы так, словно у нас вообще нет грудной клетки. Словарь наш был богаче, но мы не блистали. Мы говорили сбивчиво и нелепо, с шотландским, ланкаширским, лондонским акцентом.

Этот контраст засел в моей памяти и долго преследовал меня. Я никак не мог от него отделаться и стал размышлять о том, что многие, если не все виды жизни, ни за что не хотят приспосабливаться к среде. Люди готовы идти на какие-то уступки, применяться к обстоятельствам до известного предела и в мелочах, но главного не уступают — уж лучше смерть. Размышляя об этом, я даже заколебался, едва не изменив отношения к классовой борьбе. Вот *они* — разодетые, статные, выхоленные, посмеивающиеся господа, порождение вековой армейской традиции, их внешний вид продуман до мелочей, на них приятно смотреть, они не безвкусны и не вульгарны. Они точно знают, что такое война, что на войне допустимо, а что нет, что почетно и что позорно, где можно действовать и где нужно остановиться — словом, весь набор этикета. А вот мы и нам подобные, со своими трубами и проволоками, пробирками и танками, со своими бесчисленными предложениями, пришли к импозантным, но совершенно несостоятельным воинам и робко просим позволения дать им победу, но такую, за которую им пришлось бы заплатить всем, что привычно и дорого. Скорее

всего, они поняли, что мы не станем отдавать честь, что мы любим говорить за обедом о деле, что у нас нет ни стиля, ни выдержки, что мы служим неизвестно чему, что «ребятам» мы придемся не по вкусу. Значит, нас надо обмануть, обдурить, отвергнуть, обидеть — что они и сделали.

То был не заговор, а чистый инстинкт. Ни один из них не признался бы, даже в глубине души, что хотел сделать то, что сделал. Да черт с ними, с этими изобретениями! Гораздо легче понять своего брата офицера из Берлина или Вены, чем всяких изобретателей. Образцовые порождения нашей военной и государственной системы скорее стремились бить нас, чем немцев; и безотчетно это чувствовали. Ну что это! Мы пытаемся перехватить *их* войну и завести ее бог знает куда — прямо, как с теми дурацкими танками. Они ничего не забыли. Войну нельзя отдать нам, она принадлежит только им. А то она, чего доброго, и впрямь превратится в «войну, что покончит с войнами» — и со всем, что к ней относится.

В поведении военного и иностранного ведомств, в усердном и напряженном стремлении монарха авторитетно держаться на авансцене по мере развития событий все четче проявлялось яростное желание удержать все на своих местах, не допустить никаких новшеств. Еще предстоит написать историю Великой войны как углубляющегося конфликта между старым и новым. Именно этот конфликт — важнее всего. Война союзников против Центральных Держав была войной с себе подобными; вот — прочная, устоявшаяся вертикальная структура, как в любой войне прошлого, разве что масштабнее. Война объявлена, одна сторона нападает, другая обороняется — все как положено. Но внутри этой структуры, в каждом воюющем государстве скоро началась новая борьба, горизонтальная, между классовой традицией и насущной потребностью в ярких, оригинальных изобретениях и новых методах. Военные изобретать не могли, эту способность начисто выбили муштрой. Еще больше борьбу эту осложняло разочарование простых людей, не имевших статуса ни общественного, ни военного. Они все больше противились тому, что их убивают — по-старому или по-новому. Сперва они были яростными патриотами, но затем, по мере того как в 1917 и 1918 годах расшатывалась дисциплина, они становились все мятежней и непокорней. В каждой из воюющих стран эти три составляющие взаимодействовали в разных пропорциях и с разными результатами. Чтобы проследить их взаимосвязь, мне пришлось бы выйти далеко за рамки автобиографии, в область новейшей истории.

В Англии, как и во Франции, старый порядок все-таки

удержался в седле. Его упорная преданность себе самому продлила борьбу на два года бессчетных, никому не нужных потерь и убийств. Одержимые марксистскими идеями радикалы склонны приписывать продление войны только изощренности вооружения и финансовым интересам. Это верно, но не совсем. Гораздо легче разоблачать «капитализм», чем что-нибудь реальное — конкретные учреждения, способные тебе ответить. Военная промышленность и финансовые влияния, несомненно — дурные, могли проявить себя только через легальные формы старого порядка. Стальные тиски препятствий, чинимых нам повсюду, породило упорное стремление властей сохранить контроль за собой, а это не допускало компромисса, тем паче поражения. Конечно, те, кто на войне наживался, старались подольститься к правительству, использовали его, но им не командовали. В гораздо большей степени они были его побочными продуктами. Козни их совершались под надежным прикрытием его непримиримого противления прогрессу.

До самого конца войны ни один из генералов, гарцующих по этой странице истории, не сумел держать огромные армии и все, что с ними связано, даже под условным контролем. Не создалось и гибкого, эффективного взаимодействия сторон. Великая война была Дурацкой Войной. Но этого не признавали. Система попросту продолжала бессмысленные убийства до тех пор, пока дисциплина не развалилась начисто, сначала в России, а затем, к счастью и для нас, и для измученной Франции, в Германии. Как только Германия рухнула, простой наш народ позабыл свои нараставшие сомнения. Чтобы никто не поинтересовался, как же закончилась Последняя Война, монархия важно и бесстыдно прошествовала по украшенным флагами улицам Лондона, в сверкании униформ, в звоне военных маршей, чтобы в соборе Святого Павла поблагодарить нашу добрую старую англиканскую Троицу, которая, как выяснилось, все это время держала события под контролем.

Девушки, дети, женщины, школьники, студенты, не попавшие на фронт по болезни, люди средних лет, старики, солдаты внутреннего фронта заполонили улицы, радуясь, что мукам пришел конец, и ничуть не желая бранить армию, флот и короля. Конечно, мы потеряли миллион человек, и половина этих смертей, даже с военной точки зрения, не имела никакого смысла, но в конце концов мы победили. Мертвые мертвы. Стоило бы начать расследование, но это так неприятно!

Помню, во время одного из этих помпезных, людных празднеств мы с Джейн попытались добраться с Уайтхолл-Корт на Ливерпуль-стрит к станции, чтобы убежать в наш не столь

верноподданный загородный дом. Наш кеб зажали со всех сторон, нам пришлось его бросить и самим, как получится, пробираться с сумками в этой давке. Наконец мы протиснулись сквозь толпу и попали на поезд позже, чем рассчитывали. То был один из тех случаев, когда любовь к ближним покидает меня. Каждое лицо в огромной толпе светилось самодовольством выживших. Все проявления личной скорби были сдобрены сантиментами, со слезой наготове. «Бедный мой Томми! Как бы он *радовался*!»

Мы собирались повесить кайзера и наказать немцев. Страну предстояло сделать «достойной героев». Боже, храни короля!

«Вот, — думал я, — такова демократия. Вот он, тот самый пролетариат доброго старого Маркса! Вот они, люди. На эту массу косных, некритичных мозгов рассчитывал старый догматик со своей диктатурой пролетариата, ей он доверил руководить новым, сложным устройством лучшего мира!»

От этой мысли я рассмеялся вслух, после чего мне стало легче пробиваться и помогать Джейн в толпе, окружившей Лондонскую биржу…

Но я отвлекся и рассказ мой беспорядочен.

Олдершот, как я теперь понимаю, решительно не хотел иметь ничего общего с нашей подвесной дорогой — по крайней мере, в том виде, в каком мы ее изобрели. Военные и так достаточно натерпелись с танками, а все эти столбы и проволоки — еще хуже. Сперва заводные игрушки, теперь — плетенки какие-то! Тут ум за разум зайдет, что тогда прикажете делать? И все-таки, серьезно стремясь сохранить дело в руках профессионалов, Олдершот представил свои альтернативные варианты. Они оказались намного тяжелее и нелепей, чем наш; в том варианте, который больше всего нравился автору, по трассе должны были следовать люди, а значит, разъясняли мы профессиональным военным, всю систему легко было и расстрелять, и сфотографировать с воздуха. Особенно боялись эти неподатливые умы, что наши линии, которые мгновенно опускались и убирались за час, помешают «передвижениям по фронту».

И это на ничейной полосе с воронками, старыми окопами и джунглями колючей проволоки! Сама мысль о «линии», любой линии, гипнотизировала этих воинов, точь-в-точь как линия, проведенная мелом, гипнотизирует курицу.

Непостижимые препятствия совершенно смутили меня. Я остро почувствовал свою беспомощность. Я не знал, к кому обратиться, как дать делу ход, весьма смутно догадываясь о силах и инстинктах, которые не позволяют извлечь пользу не только из нашего небольшого изобретения, но и из огромного числа других новшеств, способных изменить лицо войны. Тем временем

каждую ночь падали и захлебывались в грязи тысячи бедолаг, а передовые отряды, лишенные их поддержки, гибли в контратаках. Я не мог спать. Я так истерзал себя, так измотал нервы, что стал лысеть, это бывало тогда у летчиков — волосы вылезали клочками на нервной почве. То в одном месте, то в другом проступали смешные блестящие лысинки, которые продержались не меньше года, потом покрылись седым пухом, а уж потом — заросли волосами. Это, конечно, не боевое ранение, но при всей своей скромности я не стал бы сбрасывать его со счетов.

С Западного фронта я вернулся в 1916 году и вынес оттуда, в числе прочего, твердое убеждение, что кавалерия там совершенно не нужна. Я написал несколько критических заметок о фуражных повозках, забивавших дороги, о шпорах и вообще о нашей военной организации; получился цикл статей, составивший затем книгу «Война и Будущее» (1917). Но существовала военная цензура, и безупречный джентльмен, полковник Светтенхем (а может, генерал, не помню), которого по какой-то неясной причине поставили надзирать за всей мыслящей Англией, вызвал меня к себе и увещевал над корректурой моей книги. Я взял корректуру, исчерканную синим карандашом полковника, и размышлял над поправками. Получалось так, что главное — спасти авторитет военных властей, а не страну; ведь если таким, как я, нельзя бранить эти власти, рассказывать о них правду, то кто осмелится это сделать? Военные продолжат и дальше кровавую неразбериху — продолжат до тех пор, пока не обеспечат катастрофу.

Я взял другой экземпляр корректуры, почти ничего не изменил и послал его издателю, заверив, что цензор все видел. Потом, хотя мне было очень жаль уничтожать плоды мучительных усилий полковника, я сжег тот, первый, экземпляр. Книга вышла, и он, должно быть, прочел ее с некоторым изумлением. Поразмыслив, он написал мне очень милое письмо, где просил вернуть ему корректуру с его исправлениями. Я написал ему еще более милое письмо, где объяснял, что корректуру найти невозможно, и уверял его в моем глубочайшем почтении. На этой достойной восхищения галантной ноте переписка наша прекратилась, и цензура меня больше не беспокоила.

Самое лучшее в той книге — настойчивая мысль, что прогресс в механизации военного дела не позволит вести войну странам, у которых нет высокоразвитой промышленности и соответствующих природных ресурсов. Вести современную войну могут пять, ну, шесть держав, и разумное соглашение между ними навсегда покончит с войной — таково мое убеждение и по сей день, и я не устаю привлекать к нему внимание общества. С

1916 по 1933 год я буквально осыпаю мир повторениями этой немаловажной истины. Особенно я настаивал на ней в цикле статей «Азбука мира во всем мире», напечатанном в «Дейли геральд» в марте 1930 года и включенном в книгу «После демократии» (1932). Согласие всех суверенных государств здесь совсем необязательно. Внедрить прочный, нерушимый мир могут три-четыре страны. Позже эта мысль будет откровенно выражена в меморандуме Кроу-хауса, который я вскоре процитирую.

«Война и Будущее», впрочем, весьма неоднородна. Иногда я с таким энтузиазмом описываю военные сцены, что невольно заподозришь: тот государственный муж, тот стратег, тот эмбриональный Гитлер — Кромвель{272}, который в 13 лет одерживал победы у Мартин-Хилла, в Бромли, был еще жив в 1916 году.

6. Мировое государство и Лига Наций

Вернусь к тому, чему научила меня Великая война. 1917 год отмечен в моих записях письмом, напечатанным в «Дейли кроникл» 4 июня под заглавием «Требуется объяснение имперской политики», статьей «Мир разумного человека» в «Дейли ньюс» от 14 августа и статьей «Не уклоняемся ли мы от сути? Дискуссия о целях войны», напечатанной в «Дейли мейл» и заказанной издателем.

По этим статьям заметно, что убеждения мои стали намного тверже. Все они собраны в книге под названием «В четвертый год» (май 1918 г.), которая гораздо лучше книги «Что грядет?», смелее, сильнее и бескомпромиссней. Именно здесь я определенно предлагаю создать Лигу *Свободных* Наций, предвестницу Мирового федерального государства. Одну из этих статей, «Мир разумного человека», дважды переиздавали отдельной брошюрой, и тираж ее — около четверти миллиона.

Идея наднационального союза государств во имя сохранения мира очень стара, история ее выходит за пределы моего рассказа, но о том, как попала она в мое поле зрения, я расскажу. Происхождение самого термина неясно. Книга Теодора Марбурга{273} «Развитие идеи Лиги Наций» (1932) посвящена не столько истории, сколько его активному участию в мировой политике, так что достоверные факты вычленить непросто. По сути дела, это автобиография в форме писем; с исторической точки зрения, она сильно преувеличивает его собственную роль в развитии идеи, которую предложил Вильсон. Несомненно, «Лига для укрепления мира» появилась на свет в нью-йоркском клубе «Столетие» в январе 1915 года и, видимо, чем-то обязана личным стараниям сэра Джорджа Пейша{274}. Название же «Лига Наций» — британского происхождения; кажется, его ввела небольшая группа людей, собиравшаяся в доме Уолтера Ри, куда входили сэр (ныне — лорд) Уиллоуби Дикинсон{275}, Дж. Лоуэс Дикинсон, Реймонд Анвин, Дж.-А. Хобсон{276}, миссис Клермонт и Эньюрин Уильямс{277}. В своей биографии Лоуэса Дикинсона (1934) Форстер старается приписать название этому писателю; вероятно, тот воспользовался им, чтобы обозначить проекты двух возможных «лиг», которые он разработал в первые недели войны. Люди эти создали в начале 1915 года Общество Лиги Наций, президентом которого был лорд Шоу. Л.-С. Вулф{278} тоже был связан с этой группой, но, кажется, не с начала.

Мир был готов к тому, что заложено в этих словах, и название быстро прижилось. Я оценил его с запозданием.

Кажется, еще в 1916 году я им не пользовался, зато потом подхватил его сразу и очень рьяно, им пестрят все мои военные работы 1917 года, причем с характерным усовершенствованием, за которое я несу полную ответственность, а именно — словом «свободных». Вставил я его, надеясь на то, что в России, в Германии, а может, и в Великобритании, установится республика. Я не верил во всемирный мир без революции и очень старался сохранить связь между революционным порывом и миротворческим движением. В книге «В четвертый год» я выражаю признательность таким более ранним работам, как «Лига Наций» Марбурга (1917–1918), «Société des Nations»[29] Андре Матера (прекрасный французский комментарий, впервые напечатанный, кажется, около 1917 года и переведенный полностью в замечательном сборнике ранних проектов сэра Джорджа Пейша «Нации и Лига», 1920), и «Лига Наций» Г.-Н. Брейлсфорда{279} (1917). Несколько организаций, использовавших в своих названиях такой термин, действовали в 1917 году по обе стороны Атлантики. В том же году я вступил в Лондонское общество, а через год присоединился к Обществу Лиги Свободных Наций, созданному в 1918 году. Разум мой сосредоточился на слове «Лига», поскольку именно оно выражало то, что могло дать идее Мирового государства первую конкретную форму. Все это помогло обобщить и заострить мои взгляды на будущее. «В четвертый год» — кристаллизация бессвязных стремлений, выраженных в книге «Что грядет?», и вообще всего моего прошлого. Там есть откровенные высказывания о «будущем монархии», что считалось тогда вопиющей бестактностью. Английскому народу еще предстоит свыкнуться с тем очевидным фактом, что мир во всем мире невозможен, если монархия не исчезнет, а уж тихо это произойдет или нет, зависит от монарха.

За годы войны мои и без того дружеские отношения с лордом Нортклифом стали еще теснее. В четвертом параграфе шестой главы я рассказал, как мы с ним познакомились и что вытворял этот чужак в сословии пэров и в общественной жизни, чтобы использовать как следует свои колоссальные возможности. Когда мы встречались, я говорил с ним прямо, и он слушал с уважением, даже если не соглашался. Он так и не освоился в старой системе; титул его не подкупил; он знал, что общество принимает его и других недавних дворян, его братьев вынужденно, и над ним постоянно витает угроза предательства и помех. Иногда он напоминал мне большого шмеля, который бьется о стекло. Двор, военные, дипломаты обращались с ним очень изысканно и учтиво, но смотрели пристально и

настороженно. Когда произошла первая русская революция (март 1917 г.), я устроил небольшой скандал, подбив его напечатать в «Таймс» письмо, которое взывало к открытому проявлению республиканских чаяний. Это страшно оскорбило высшие круги. «Плакал теперь мой графский титул», — говорил мне Нортклиф с обычным для него неискоренимым мальчишеством. За сценой началась суета; младшим офицерам Третьей Армии, которые играли у нас в Итоне в хоккей, принимали ванну, пили чай и ужинали каждое воскресенье, офицеры старшие неожиданно запретили водить со мной знакомство, я стал прокаженным. «Король и родина» надежно прибрали их к рукам; это была *«его* война», война «стальных шлемов». Война за мировую цивилизацию ушла в небытие. Один или двое из этих молодых людей написали мне, прося прощения за навязанное им неучтивое верноподданничество.

Правительство создало два новых министерства, чтобы охранять старинные тайны Министерства иностранных дел от любопытных носов Нортклифа и его младшего конкурента, лорда Бивербрука. Незаметней всего это можно было сделать, определив их в какое-нибудь другое место. Министерство информации не позволяло лорду Бивербруку узнавать слишком много, а Министерство пропаганды делало то же самое в отношении лорда Нортклифа, занимая и отвлекая его излишне живой ум. Как-то он попросил меня заехать к нему в Кроу-хаус, где располагалось новое министерство, и мы поговорили об его новых обязанностях.

Сидели мы с ним в гостиной, наскоро приспособленной под нужды министерского штаба.

«Вы хотите социальной революции, — говорил он. — Мало вам того, что мы здесь с вами сидим?»

Я мог бы ответить, что все дело в том, насколько хорошо мы сумеем распорядиться временем, нам здесь отпущенным.

Результат у нашего разговора был. Начиная с мая 1918 года я в сотрудничестве с прекрасным ученым, доктором Хедлемом (который позже стал сэром Дж.-У. Хедлемом Морли), принял самое непосредственное участие в подготовке пропагандистской литературы против Германии. Почти тогда же вышла книга «В четвертый год», где есть здравые мысли, до сих пор не утратившие своей привлекательности:

> «Лига Свободных Наций должна, если желает, быть действенной, превратиться в реальный фактор политики. Она должна иметь полномочия определять и ограничивать военную, морскую и воздушную технику

каждой державы. Это — больше, чем простое ограничение вооруженных сил того или иного государства. У Лиги должны быть власть и свобода, позволяющие ей инспектировать военные, военно-морские и военно-воздушные силы всех составляющих ее стран. Вместе с тем она должна получить возможность эффективного контроля над военной промышленностью. Не всегда легко определить, что такое военная промышленность. Можно ли, например, назвать вооружением аэропланы? Я считаю, что ее полномочия должны распространяться даже на ограничение военной пропаганды, то есть обычных рекламных кампаний любого военного производства. Нужно, например, чтобы она могла поднять вопрос о праве собственности военно-промышленных кругов на газеты. Разоружение — первейшая задача любой Лиги Свободных Наций, но достичь разоружения, не давая Лиге этих полномочий, попросту невозможно. Само ее существование предполагает, что она, и только она, должна иметь и использовать военную силу. Любые другие военные действия, подготовка или подстрекательство к ним становятся мятежом, а любые попытки вооружения прочих стран — угрозой мятежа в мировой Лиге Свободных Наций.

И все же до конца ли мы отдаем себе отчет в том, что означает такое предложение? Во всех воюющих великих державах промышленные круги сейчас очень могущественны, у них огромная власть. Одна только фирма Круппа в Германии обладает не меньшей властью, чем император. В каждой стране солидно субсидируемая „патриотическая“ пресса будет отчаянно бороться против того, чтобы предоставить международному органу такие обширные и действенные полномочия. Конечно, пока Лига Свободных Наций остается бесплотным проектом, пресса эта будет добродушно посмеиваться над „утопией“ и даже милостиво покровительствовать ей. Но как только Лига приобретет облик, логически продиктованный основными посылками ее существования, в кругах, связанных с вооружением, начнется паника. Вот тогда-то мы услышим, как громко забьют патриотические барабаны в защиту торговли человеческой кровью. Неужели мы доверим наши внутренние дела „каким-то иностранцам“? Среди „иностранцев“, упоминание о которых должно

повергнуть в ужас патриотические души англичан, окажутся и „американцы“. Неужели мы, люди английской крови и традиции, позволим, чтобы наши дела контролировали Вильсон, Линкольн, Вебстер{280} или Вашингтон? Боже упаси! Их же должны контролировать Дизраэли, Веттинсы, Маунтбэттены{281}! И так далее. Агенты Круппа и агенты родственных фирм во Франции будут озабочены национальной гордостью французов. В Германии они уже породили огромное недоверие к Англии.

На нашем пути стоит великан…

Но не забудем, что пропаганде этой гнусной и грозной промышленности нужно нанести поражение только в четырех ведущих странах…

Мое предложение состоит в том, что Лига Свободных Наций должна практически контролировать армию, флот, военно-воздушные силы и военную промышленность всех народов мира. Какая может быть альтернатива? Делать все, что нам нравится? Нет, альтернатива такова: любое злонамеренное государство сможет обрушить на все остальные столько боевой мощи, сколько захочет. Мы говорим, что Франция с 1871 года свободна в военном отношении. Но чего стоит ей эта свобода! Она находится в рабстве у Германии, следит за Германией, как раб следит за хозяином, запускает подводную лодку в ответ на подводную лодку, отливает ружье в ответ на ружье, отправляет в армию свою молодежь, подчиняет торговлю, литературу, образование, всю свою жизнь приготовлениям, навязанным ей унтер-офицером из-за Рейна. И немецкий Михель является рабом своего имперского хозяина по той же самой причине — по той причине, что и Германия, и Франция гордятся своей независимостью. Обе страны — рабыни Круппа, потому что они **суверенны** и **свободны**! Так будет всегда. До тех самых пор, пока патриотическая болтовня сможет настраивать обычного человека против международного контроля за военной мощью его страны, до тех самых пор человек этот будет беспомощным рабом иностранной угрозы, а „мир“ останется названием передышки между войнами…

Словом, правда в том, что если Лиге Свободных Наций суждено стать реальностью и способствовать установлению настоящего мира, она должна ни больше ни меньше как заменить собой империю. Ей придется

покончить не только с новым германским империализмом, который с первобытной одержимостью сражается за право владычества в мире, но и ликвидировать империализм британский, империализм французский, которые сейчас владычествуют в мире безраздельно. Более того, по отношению к Центральной Африке встают под сомнение прилагательные „бельгийская“, „португальская“, „французская“ и „британская“ равно, как и прилагательное „германская“. Еще решительней Лига запрещает те порождения футуристического сознания, вроде империализма Италии и Греции, которые представляют открытую угрозу миру наших детей. Вполне ли мы поняли эту несовместимость? Пока люди не столкнулись лицом к лицу с очевидным противостоянием империализма и интернационализма, они и не подозревают о том, как важен проект Лиги Свободных Наций. Они даже не начали понимать, что мира даром не купишь».

С таким заявлением я отправился в Кроу-хаус. Наверное, Нортклиф представлял, что у меня на уме. Иногда, в минуты прозрения, он, вероятно, сочувствовал этим идеям и хотел им способствовать. Но его несомненно сильный и несомненно беспорядочный ум был похож на метеорологическую карту во время шторма — фазы высокого и низкого давления, роста и падения душевного барометра обгоняли друг друга. Казалось, мыслит он целостно, но в голове его смешались десятки нереализованных замыслов. Большую часть времени он жил на острове Тэнет и метался между этим мирным пристанищем и лондонской суетой. Вероятно, по его вине мы так и не уразумели, что должно делать Министерство пропаганды. Ведь именно он должен был ясно определить наши цели, чтобы мы не тратили сил впустую.

До создания министерства мы распространяли листовки через секретные службы и разбрасывали их с аэропланов; издавали мы и поддельные немецкие газеты, подрывающие дух читателя. Когда я приступил к своим обязанностям, все это было поставлено на очень широкую ногу, подробности найдете в «Тайнах Кроу-хауса». Я стремился ускорить и усовершенствовать работу, но мне казалось, что она не исчерпывает наших возможностей. Распространять ложь, а иногда и тайную правду, среди немецких солдат и в немецком тылу (это называлось «моральные атаки»), наверное, необходимо в той новой войне, которую мы вели; однако, если мы хотим настоящего мира,

гораздо важнее делать то, что помогло бы жителям воюющих стран понять друг друга. Лучшее противодействие самой яростной военной пропаганде — честная пропаганда мира, и я делал все, чтобы превратить Кроу-хаус в организацию, способную помочь не только победе, но и тому, чтобы конец войны имел для нас и наших союзников столь же недвусмысленные последствия, как и для общего врага.

У меня не осталось иллюзий, я не верил в мудрость британского и французского Министерства иностранных дел. Я понимал, что там правят ограниченные, мелочные люди, которыми руководит прежде всего верность традиции. В том, что происходит в мире, они разбирались гораздо хуже, чем средней руки интеллектуал, так что каждый, у кого был хоть какой-то шанс, просто обязан был подтолкнуть их к тому «миру разумного человека», который обретал очертания в свободолюбивых умах.

Словом, я собирался открыто назвать «цели войны» перед лицом остального мира. Тогда воюющие стороны понимали бы, на каких условиях она может прекратиться. Я убеждал министерство, что такое заявление, заверенное Министерством иностранных дел, неизбежно вытекает из самой нашей работы; наконец, вместе с Хедлемом Морли мы подготовили меморандум и представили его в Консультативный комитет, где он прошел всестороннее обсуждение. В Комитет этот, между прочим, входили граф Денби, Роберт Дональд{282} (в то время — редактор «Дейли кроникл»), сэр Родерик Джонс, сэр Сидней Лоу, сэр Чарльз Николсон{283}, мистер Джеймс О'Грейди{284}, мистер Г. Уикэм Стид{285} (редактор иностранного отдела, а позднее главный редактор «Таймс»), доктор Хедлем Морли, мистер Г.-К. Хадсон (секретарь) и я, а меморандум, который мы одобрили, среди прочего содержал следующее:

> «Уже очевидно, что для эффективной пропаганды в пользу Объединенных Сил в нейтральных и вражеских странах жизненно необходимо полностью раскрыть наши военные цели. Необходим некий авторитетный текст, к которому пропагандисты могли бы прибегать с полным доверием и который мог бы служить мерилом их деятельности. Недостаточно просто перечислять грехи Германии и заявлять, что поражение Германии — это военная цель Объединенных Сил. Весь мир хочет узнать, что произойдет **после** войны. В мире все более осознают, что подлинная военная цель воюющей страны — не просто победа, но то, что из этой победы возникает мир определенного качества, такой, какой нужен воюющей

стране. Какого же мира добиваются Объединенные Силы?

Не стоит даже вкратце перечислять здесь главные доводы, поясняя, почему ведут войну Объединенные Силы, противостоящие военной агрессии Германии, поддержанной венгерскими земельными магнатами, турками, а также царем Болгарии, и направленной против всего остального человечества. Это война против милитаризма, против агрессии и разжигания агрессии. Такой она была вначале, такой и остается. Но нелепо притворяться, что настроения правительств и народов, объединенных против Германии, за годы войны не претерпели весьма значительных изменений… В необъятном мире, который простирается за рубежами Центральных Держав, возникает и приобретает исполинские масштабы воля, окончательно посрамляющая пресловутую **волю к власти** немецких юнкеров и эксплуататоров, — это **воля к миру во всем мире.** Противостояние это подобно противостоянию умудренного опытом человека и упрямого, своенравного юнца. Военные цели Объединенных Сил все определенней приобретают форму стремления объединиться в лигу, чтобы установить над собой верховенство единого закона, представлять взаимные различия на рассмотрение высшего трибунала, оберегать слабые страны и народы, сдерживать и подавлять угрозу войны и приготовления к войне по всему земному шару… Мысли всего мира кристаллизуются сейчас вокруг нескольких слов, и слова эти — „Лига Свободных Наций“. С духом и смыслом этих настроений сейчас все откровенней связываются военные цели Объединенных Сил.

Как любое подобное словосочетание, „Лига Свободных Наций“ оставляет широкое поле для подробных толкований, но и сегодня без опасения вызвать кривотолки можно обозначить ее общие задачи и цели. В идеале Лига должна, конечно, включать все страны мира, в том числе и покончившую с агрессивным милитаризмом Германию. Подразумевается создание Международного Конгресса, который будет проверять, систематизировать, исправлять и толковать нормы международного права и Высшего Суда, в который государства смогут обращаться и который сможет их рассудить, принимая решения, которые Лига обязана

выполнить; а также наблюдение, ограничение и использование вооружений под руководством Международного Конгресса… Состав этого конгресса пока остается неопределенным; над решением этого основополагающего вопроса работают лучшие умы планеты. Предполагается, что он удовлетворит всех, и можно смело предсказать, что имперские державы из числа Объединенных Сил сейчас готовы в общих интересах человечества пойти на значительные и благородные ограничения своего владычества в том, что касается вооружений, тропических колоний и зависимых государств… Две основные имперские державы среди Объединенных Сил, считая по протяженности территорий, которые они контролируют, — Британия и Франция; каждая из этих стран больше, чем прежде, готова к тому, чтобы рассматривать самый факт своих имперских владений как долг перед их жителями и человечеством, а свое положение в наиболее плодородных и наименее обустроенных областях земного шара — как положение поверенного или попечителя…

Взяв на вооружение слова „Лига Наций“, стоило бы рассеять определенные недоразумения, возникшие из-за того, что некоторые общества и частные лица с той или иной степенью безответственности разрабатывали детальные планы Лиги. Например, печатались и публиковались предложения создать Суд Всемирного Примирения, в котором каждое суверенное государство — и Черногория, и Британская империя — представлено одним голосом. Обсуждались и проекты Конгресса Лиги Наций, в котором такие государства, как Гаити или Абиссиния, будут представлены одним или двумя представителями, а Франция и Великобритания — пятью или шестью. Проекты эти надо полностью сбросить со счетов, когда слова „Лига Свободных Наций“ употребляет ответственный представитель Объединенных Сил. Составители их упустили из виду немало очевидных соображений. Так, например, более мелким державам невыгодно иметь чрезмерное представительство в Конгрессе любой подобной Лиги; быть может, предпочтительнее даже, чтобы некоторые из них вовсе не имели представителя с правом голоса, поскольку великая держава, все еще лелеющая мысли об агрессии, несомненно попытается сначала вынудить

соседние мелкие государства к тому, чтобы они послали туда представителей, которых выберет она сама. Суровая правда состоит в том, что достаточными экономическими ресурсами, чтобы вести войну в современных условиях, располагают только пять или шесть великих держав, а именно: Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, Германия, Япония и, при известном допущении, Австро-Венгрия. Италию в невыгодное положение ставит отсутствие угля. Таким образом, мы можем сказать, что эти пять или шесть держав способны вести войну как таковую и могут ее предотвратить. В настоящее время они по необходимости оказываются стражами всеобщего мира, и только педант откажется признать, что это дает им практическое право преобладать на первом Конгрессе Мировой Лиги…»

Этот меморандум с сопроводительным письмом лорда Нортклифа послали лорду Бальфуру, чтобы получить одобрение Министерства иностранных дел. Мы не знали, что наши дипломаты заключают секретные соглашения, не подозревая поэтому, что наши ясные и обоснованные предложения уже невыполнимы. Нас не поставили в известность. Доктора Хедлема Морли и меня пригласил для беседы лорд Тиррелл{286}, который тогда был сэром Уильямом Тирреллом. Возможно, он собирался намекнуть на секретные договоры, но намерения своего не выполнил или намек оказался чересчур туманным. Тиррелл, плотный, самоуверенный человечек, не говоря ни слова, отложил наш меморандум в сторону, облокотился на него и прочел нам лекцию о наших отношениях с Францией и Германией и о «характере» этих стран, которая сделала бы честь способному, но чересчур патриотически настроенному школьнику лет восьми. Разъяснив нам все это, он выпроводил биолога и историка, не соблаговолив их выслушать. Вероятно, на веру он это принял еще в раннем детстве, услышав всю эту белиберду от гувернантки. Почти все мысли нашей знати — от гувернанток. Если судить Тиррелла по законам, которые он вынес из нежного возраста, он был идеально честен и патриотичен, разве что с легким «профранцузским» уклоном.

Страшно подумать, что такими силами, как Министерство иностранных дел, почти полностью заправляют мелкие, посредственные умы, надежно защищенные от критики и не подвластные никакому реальному контролю просвещенного мнения. А ведь то, что они делают, влияет на миллионы жизней и подвергает их опасности.

Вот и все, чего Кроу-хаус добился от Министерства иностранных дел. Мы чересчур поспешно решили, что наш меморандум получил молчаливое одобрение, и вели пропаганду так, как там указано. С дипломатической точки зрения, это просто замечательно — мы давали сомневающимся немцам неофициальные заверения, от которых можно было официально отказаться. В сущности, мы служили приманкой, как Лоуренс Аравийский{287} невольно стал приманкой для арабов. Все впустую! Азбука дипломатии явно оказалась мне не по зубам.

В то время Лигу Наций поддерживали мелкие организации. Мы удачно попытались объединить их в особый союз, который не только распространял бы, но и развивал эту идею. На развитии я особо настаивал. Бесспорно, идее в ту пору не хватало четкости; она была вроде мешка, в котором есть и нужные, и ненужные вещи. Как показывает меморандум Кроу-хауса, я уже понимал опасность псевдопарламентской организации с ослабленным составом и чувствовал, что мы должны опередить эти планы, выработав более четкое заявление. Вот мы и создали «Исследовательский комитет», который мог взять на себя предварительную работу. Состоял он из членов, большинство из которых, признаться, не выполняли никакой работы. То были Эрнест Баркер{288}, Лайонел Кертис{289}, Лоуэс Дикинсон, виконт Грей Фаллодонский{290}, Джон Хилтон{291}, профессор Гилберт Меррей{292}, Г. Уикэм Стид, Дж.-А. Спендер{293}, Л.-С. Вулф, Циммерн{294} и я; секретарем был Уильям Арчер. Успев выпустить всего две брошюры — «Идея Лиги Наций» и «Путь к Лиге Наций», Комитет был сметен ходом событий.

Первая из этих брошюр заканчивается так:

> «Мир как отсутствие войны — не наша цель. Разумеется, он дает отдых от мучений и от того, чтобы мы мучали других; но еще важнее добиться свободы, а именно мир освобождает. Он дает свободу жить, думать, делать что-нибудь достойное, создавать, а не разрушать, созидать, а не тратить все время на то, чтобы сохранять себе жизнь. Мир — пустая чаша, которую мы можем наполнить, чем пожелаем; возможность, которую мы используем или упустим. Если мы это поймем, мы избавимся от иллюзии, что мир во всем мире установят какие-то юристы и высшие чиновники в укромных кабинетах. С тем же успехом трое портных с Тули-стрит могут объявить, что наступило тысячелетнее царство. Установление прочного мира — сложнейший процесс, сложнее любой войны, поскольку он включает

предвидение, распознавание и предотвращение любого военного процесса и предполагает сознательное, решительное и добровольное соучастие огромного большинства людей. Люди, верящие в возможность такого мира, не вправе скрывать от других, как огромен и труден самый план работ, как бесконечна череда необходимых усилий. Если какие-то политические институты и общественные системы вредят наступлению этого великого блага, бессмысленно мечтать о компромиссе с ними. Всемирная организация, которая борется за мир, неминуемо должна обрести вселенский характер.

Если мы хотим, чтобы Всемирная Лига стала прочной и жизнеспособной, каждая образовательная система должна объяснять ее идею, ее необходимость и справедливость. Любая религиозная организация должна поддержать ее или вступить с ней в конфликт. Лига войдет в жизнь каждого не для того, чтобы освободить мужчин и женщин от лояльности, а для того, чтобы потребовать лояльности к себе. Кто-то скажет, что всеобщий мир отучит мужчин служить, но всеобщий мир — и есть служение. Он требует не смерти, как война, но большего дара — жизни. Лига Наций не может быть маленькой, она должна быть вселенской, главной идеей Мирового государства — или ничем. Любое государство в конечном счете стремится к воспроизводству определенного типа людей, и потому было бы праздной, пустой дипломатией, потворством робости и фальши, притворяться, что Всемирная Лига Наций — не есть государство, стремящееся создать благородную личность, для которой родина — весь мир».

Вот докуда мы дошли. И тут президент Вильсон, неверно информированный, ограниченный старомодной американской концепцией истории, глубоко уверенный в себе и в собственной правоте, приехав в Европу, даже не взглянул в нашу сторону. Беспомощные, безгласные, совершенно сбитые с толку люди моего образа мыслей остались за чертой версальского поражения. Врата всемирного контроля, казалось бы приветливо распахнутые, с грохотом захлопнулись у нас перед носом.

Мой друг Филип Гедалла, обсуждая со мной на днях тот период, когда мы писали меморандумы, вспомнил о письме, которое, по его словам, я послал президенту Вильсону в ответ на его запрос через Бейнбриджа Колби{295} в ноябре 1917 года. Он

считает, что этим письмом я внес весомый вклад в создание президентских «Четырнадцати пунктов». Я невысокого мнения об этих «Пунктах» и не смог припомнить никакой связи, подтверждающей такое обвинение, но, покопавшись, я нашел копию письма. Оригинал сам Гедалла и переправил в Париж, обойдя военную цензуру.

Я не уверен, что Вильсон читал это письмо, хотя Колби дает слово, что оно побывало на президентском столе. Во всяком случае, никакого ответа я не получил. Полковник Хаус приезжал в Истон-Глиб, когда президент был в Англии, но он и миссис Хаус так спешили «осмотреть» Хэтфилд, давнее владение Сесилов, что не было никакой возможности вести политические разговоры. Мое письмо, таким образом, не сыграло исторической роли, но, если посмотреть на него в свете последних фраз предыдущего параграфа, оно имеет существенное автобиографическое значение.

Вот оно:

«Дорогой мистер Бейнбридж Колби!

После нашего разговора в „Реформ-клубе“ четырнадцатого ноября Вы просили меня изложить на бумаге мои взгляды на роль, которую может и должна сыграть в этой войне Америка. Нас не занимала военная сторона вопроса, хотя я остро ощущаю, что благодаря смелому использованию научных изобретений американский интеллект, привыкший решать экономические проблемы в крупном масштабе, свободно отметая устаревшие данные и методы, может оказать огромную пользу и поддержать усилия союзников; мы говорили скорее о политической роли Америки. Я предупредил Вас, что я, возможно, не такой уж типичный англичанин, у меня научный склад ума, я республиканец и Америку люблю. Повторив это предупреждение, я излагаю здесь мои взгляды, а уж Вам судить об их ценности.

Основываются они на одном принципиальном убеждении. Из войны нельзя выйти — точнее, могут быть разные варианты мира, которые приведут лишь к новой вспышке, — если не установить новый порядок. Этот порядок и намечен словосочетанием „Лига Наций“. Кроется он и за более расплывчатым, а потому более

опасным выражением „справедливый мир“. Я убежден, что мы должны повернуться лицом к этому порядку, к справедливому миру, **независимо от масштаба победы, которая нам выпадет.** Как только немецкое сознание будет готово отвергнуть воинственный империализм, мы немедленно получим возможность установить такой порядок через переговоры. Если бы, по нежданному благоволению судьбы, Германию покинули союзники и она оказалась у наших ног, войска наши — в Берлине, а ее лидеры — в плену, мы и тогда не могли бы предпринять что-то большее. Мы навредили бы самим себе и будущему человечества, если бы затеяли что-то, выходящее за пределы „справедливого мира“ или Лиги Наций. Мне кажется, в международных отношениях должна существовать вполне определенная **целесообразностью** существуют принципы, основываясь на которых можно проводить границы, устанавливать и распределять права проезда или привилегии в торговле (под охраной всеобщей Лиги), столь же беспристрастно, как картограф чертит горизонтали.

Я полагаю, что именно к такому убеждению толкает нас научная подготовка. Именно оно более или менее отчетливо сформировалось у рационально мыслящих людей всего мира. Так думает и президент Вильсон. Это убеждение должно доминировать в мире.

Мир к нему готов. Ни в одной стране не наберется и одного процента населения, стремящегося продолжать войну. Девяносто девять процентов беспомощно ищут выход, который способно дать лишь беспристрастное решение вопроса о справедливом мироустройстве. В состоянии войны их удерживают страх и привычный образ мышления. Немногим людям хватает мужества для собственных убеждений. Обычно людей надо подвести к убеждениям, указать им дорогу. Они боятся своих алчных противников, новых войн, нового насилия и множества осложнений, которые могут возникнуть, если покажется, что они согласились на что-то, кроме триумфа. Невозможно читать газеты любой воюющей страны, не ощущая, что в продолжении борьбы огромную роль играет страх. Германия, как и любая страна, продолжает сражаться, покорно подчиняясь своей военной касте, **потому что и там нет уверенности в возможности справедливого мира.** В Лондоне, Париже и Нью-Йорке тоже не хватает этой уверенности. Создать

ее повсеместно — так же важно в нашей борьбе за справедливый мировой порядок, как не допустить немцев в Кале или Париж.

Легко недооценить в людях стремление к миру и переоценить злонамеренность. Все люди по природе неоднозначны, нет людей безусловно жадных, низких, мстительных. После перенапряжения и потерь такой схватки они по „природной склонности“ готовы вцепиться врагу в горло и мстить ему, как только чаша весов качнется в их сторону. Не нужно придавать слишком большого значения агрессивному патриотизму прессы в воюющих странах. Давайте толковать побуждения врага, не теряя юмора и помня, что, хотя в природе человека осталось многое от обезьяны, это еще не делает из него сущего беса. Тот же самый немец, который с ликованием прочтет, что подводные лодки потопили британский пассажирский транспорт, или склоняется над картой Европы, размышляя над идеей великой Германии, простирающейся от Антверпена до Константинополя, стоящей на крови и правящей всем миром, в другие минуты охотно примет план всеобщей доброй воли, при том условии, что он обеспечит ему и его близким достаточно процветания и счастья. В каждом человеке есть доля воинственности, но чаще всего это поправимо. Неисправимо воинственных людей в любой стране очень мало. Почти в любом человеке таится разумный пацифист, и, только его пробудив, мы можем положить справедливый конец войне.

Здесь перед Америкой и президентом Вильсоном открываются особые возможности. Америка на три тысячи миль удалена от войны; у нее нет ни утраченных земель, которые надо отвоевывать, ни вражеских колоний, которые надо захватить; по сравнению с любым из наших союзников, кроме Китая (если Китай вообще можно назвать воюющей стороной), она воюет хладнокровно. Ни одна другая сторона не может говорить о мире, не отказываясь от своих притязаний или не примиряясь с насилием. Только Америка может без страха и смущения выступать за разумное урегулирование, отвечающее чаяниям народов. Только от Америки может исходить решение, которое выведет человечество из этой войны. Именно в Америке, в президенте Вильсоне я вижу единственного посредника, который помог бы нам выбраться из чудовищной

военной схватки.

Именно сегодня, как никогда, мы нуждаемся в безоговорочно справедливом мире. Чтобы связать народы воедино, нам нужно нечто большее, чем фразы. Америка сказала: „Лига Наций“, и весь мир отозвался единым эхом. Сейчас мы хотим, чтобы Америка сделала следующий шаг и предложила устройство этой Лиги, определила в общих чертах ее характер, подчеркнула логическую необходимость консультативного, законодательного и исполнительного собрания и созвала тех его участников, которые воюют на стороне Объединенных Сил. **Такое собрание не будет созвано, пока этого не потребует Америка.** Не будет ни общей политики союзников, ни твердых предложений относительно условий мира, пока на этом не настоит Америка. Война может затянуться еще на год бессмысленного кровопролития и окончиться взаимными обвинениями, потому что никто из союзников, кроме Америки, не способен ясно сказать то, что устроило бы всех.

Помимо морального преимущества, которое дает сама удаленность, у Америки есть и другое преимущество — ее глава, истинный представитель и выразитель ее чаяний. Именно поэтому она может говорить. Из всех участников блока только Америка способна на внятную речь. Россия обезглавлена и пребывает в смуте; Италия разделена и враждует; во Франции и Британии политики и партийные лидеры произносят речи, которые принимают одни и поносят другие. Выразить главенствующее мнение, которое устроило бы всех, сейчас никому не под силу. Для такого наблюдательного американца, как вы, не секрет, что Британию и Францию раздирает ссора между реакционерами и прогрессистами, между агрессивным национализмом и современным либерализмом. Союзников в Европе связывают и обременяют тайные сделки и пакты, продиктованные алчностью. Помыслы их осквернены планами аннексий и эксплуатаций Сирии, Албании, Месопотамии, Малой Азии. Россия хотела было овладеть Константинополем, и так далее. Отвратительное наследие старой дипломатии безнадежно стреножит наших государственных мужей. Когда сами они готовы отказаться от этих планов, их связывает верность союзникам, и они молчат. В их

военных операциях не было настоящего единства, поскольку их политика, их военные цели были различны. Великое объединение против Центральных Держав представляло собой систему сделок, а не союз единомышленников. Государственные деятели союзников в ответ на вопросы об их военных целях снова и снова твердят о доблестном решении „покончить с милитаризмом“, освободить малые народы, и тому подобное, весьма решительно отворачиваясь от таких спорных вопросов, как контроль над тропиками, будущее Оттоманской империи и условия международной торговли. Видимо, так будет и дальше. Любой голос, который требует от Объединенных Сил четкого заявления, тонет в возмущенных криках. В Британии и Франции все более рьяно „водворяют тишину“, угодную дипломатам. Выпутаться из этого клубка нам поможет только Америка, когда утвердит свое толкование общей военной цели и потребует полного единодушия от союзников. Войну начали, чтобы нанести поражение германской империалистической агрессии. Европейские державы очень туго пойдут на то, чтобы принять единый путь спасения, то есть отказаться от любой империалистической агрессии и принять общий международный порядок. Лига Наций останется пустой фразой, пока не будет воплощена в реальный орган, обладающий верховной властью и превышающий по значению любой национальный флаг; в Африке, между Сахарой и Замбези, в Армении, Сирии (где она будет опекуном) и на всех территориях земного шара, чей политический статус уничтожен войной. Орган этот к тому же должен контролировать морские просторы и жизненно важные проливы (скажем, Дарданеллы).

За последние три года Америка прошла значительный путь от традиционной изолированности к сознательному участию в общей судьбе человечества. Она должна идти дальше. Будущее Америки и мир в Европе неразрывно связаны, поскольку мир этот нельзя надежно обеспечить, если не держать под контролем такие источники раздоров, как запасы сырья в южных странах или условия торговли и перевозок. Легко возразить, что у Америки „нет интересов“ в Центральной Африке или Западной Азии, а решать эти вопросы должны „заинтересованные стороны“. Именно потому, что у Америки нет этих „интересов“, необходимо, чтобы

Америка выразила определенную волю в отношении Африки и Западной Азии. Ее удаленность придает ей авторитет. „Заинтересованные стороны“ никогда ничего не решат по собственной инициативе. Они слишком глубоко заинтересованы и потому будут торговаться. Боюсь, что совершенно бессмысленно ожидать благородных проектов, которые помогли бы совместно обустроить эти земли, от держав, веками культивировавших привычку строить проекты захвата и присвоения. Но в настоящее время ни одна из этих держав не сможет ради своих корыстных интересов противостоять той ясной воле к порядку, которую выразит Америка.

Имеется в виду не отказ от суверенитета и не введение непосредственного „международного контроля“ над Тропической Африкой, а учреждение верховного органа, в который войдут делегаты от заинтересованных сторон — француз, англичанин, африканец, португалец, бельгиец, итальянец и (в конце концов) немец, органа, которому будут доверены определенные функции, так же как штаты доверяют полномочия правительству Соединенных Штатов. Его функции должны включать контроль за перевозками, торговлей, вооружением и торговлей спиртным, пересмотр законодательства, пагубного для туземцев и их земель, учреждение верховного суда для Центральной Африки, обеспечение высшего образования для туземцев и последовательного разоружения всех африканских владений. Подобный же орган, орган протектората, мог бы наблюдать за перевозками, водными сообщениями, таможней и разоружением бывшей Оттоманской империи. Только учреждение таких органов может дать нам надежду на то, что с окончанием войны эти территории не станут полем ожесточенного международного соперничества, почвой для еще более зловещих конфликтов. Лишь через создание и поддержку этих особых органов, а также органов, отвечающих за разоружение, международное здравоохранение, контроль за производством и финансами, Лига Наций может воплотиться в нечто реальное. Европа увязла в хитросплетении сталкивающихся и воюющих интересов, так что, сбросив со счетов инициативу Америки, можно усомниться, хватит ли сейчас миру созидательной умственной энергии для того, чтобы достичь подобного

синтеза, хотя необходимость его очевидна и люди приняли бы его с великой радостью. Во всем мире нет такой личности, которую бы мир захотел выслушать, нет человека, чей голос слышен везде — в Японии и в Германии, в Риме и в Бостоне, — кроме Президента Соединенных Штатов. Любого другого перекричат мелкие группки. От него, и только от него, может исходить требование такого единства, без которого мир погибнет, и ясные указания на справедливое устройство Лиги Наций, которых мир от него ждет.

Существует еще одна территория, которая выходит за пределы международного контроля и остается областью неисчислимых возможностей, поскольку здесь миру пока что не навязано главенствующей идеи. Это Восточная Европа от Польши до Адриатики. У Объединенных Сил здесь нет единого мнения, никогда его не было, и непохоже, чтобы они были способны его выработать. Они даже не знают, хотят они разрушить или расширить Австро-Венгерскую империю. За невнятными разглагольствованиями о правах наций скрывается бесформенная мешанина самых разных целей и намерений. Если Объединенные Силы не собираются разделить Австро-Венгерскую империю на части, если они не ставят цели ослабить и расчленить Болгарию, исключительно важно, чтобы они сказали об этом сейчас. Никто не заставит австрийца или болгарина сражаться так, будто он сражается за свою страну, тогда как на самом деле он сражается за Германию. Вся мировая либеральная мысль согласна с тем, что хотелось бы видеть независимую Польшу, объединенную, сохранившую чувство собственного достоинства Венгрию, освобожденную Богемию и автономное Югославское государство. Ни одна из этих четырех стран не обладает достаточной величиной и мощью, чтобы устоять в одиночестве, и есть немало оснований считать желательным включение их в лигу совместной протекции, совместных ограничений и совместных гарантий. Добавьте еще в эту систему немецкие области Австрийской империи, и такая лига фактически станет ее продолжением. Но Европейским Объединенным Силам недостает коллективной интеллектуальной мощи, недостает глашатая, недостает беспристрастности и определенности целей, необходимых для того, чтобы заявить об их намерениях, и скорее всего они придут на

мирную конференцию с неподготовленным решением, представляя собой разобщенную и потому ослабленную группу, если только Америка еще до окончания войны для своей собственной и для их пользы не потребует четко объявить цели войны. Только президент Вильсон и Америка могут этого добиться. Мы в Европе уже мало отличаем своих государственных деятелей от граммофонов с прорезью для монетки, которые на каждый вопрос относительно их военных целей бубнят одно и то же: „Вывести войска из Бельгии, вернуть Эльзас и Лотарингию Франции, а разобщенные области Италии — Италии, отказаться от милитаризма и… буль-буль-буль!“ Граммофон замолкает на самом интересном месте. Из-за того, что он останавливается, война продолжается. Война продолжается потому, что из Объединенных Сил сейчас невозможно извлечь ничего, что побудило бы достойного болгарина или австрийца, демократически мыслящего немца, рассматривать достижение мира как реально осуществимую задачу. Сейчас они приперты к стенке и стоят, таким образом, бок о бок с германскими милитаристами — то есть со своим подлинным врагом, ибо мы не желаем предоставить им иного выбора, кроме смерти в бою.

Таковы, дорогой мистер Бейнбридж Колби, те соображения, которыми вы просили меня поделиться. Вы сами их спровоцировали. Вы видите, какую роль, по моему мнению, может сыграть Америка под руководством президента Вильсона — роль толкователя и защитника нового порядка. Ясная речь, и только ясная речь, может спасти мир. Других способов у нас нет. А президент Вильсон — единственный из всех, кто может говорить и найти нужные слова».

7. Мировое образование

Я понял довольно быстро, что в 1919 году толком ничего не урегулировали. Поначалу я никак не мог выразить свое возмущение той видимостью Лиги Мира, которую навязывали Европе. Я был смущен и растерян, когда обнаружилось, что люди, на которых я полагался как на соратников, — Гилберт Меррей, Циммерн, Эрнест Баркер, Дж.-А. Спендер и даже величавый Грей, этот напыщенный свадебный генерал, — удовлетворены жалкой, педантичной фикцией. Несмотря на то, что все они подписали обращение, осуждавшее создание этого подобия мирового

парламента, бесконтрольную торговлю оружием и беззубую лигу, из которой исключались все бывшие враждующие государства, они не только поддержали эту невероятно беспомощную организацию, но стали ее рьяными апологетами. Я придерживался изначальных требований и обещаний Кроу-хауса и Союза Лиги Наций. Нам же предлагали что-то совершенно неприемлемое.

Я ничего не мог поделать с этим торжеством убогой косности, прикрывшейся личиной здравого смысла. Представьте, как ответил бы доктор Джонсон человеку, который стал бы говорить с ним об электрических лампах и аэропланах. В неизбежной и неистовой перепалке прав был бы не великий доктор, а его собеседник, что не помешало бы ему выглядеть и чувствовать себя полным дураком. Мне самым настойчивым образом давали понять, что мои идеи нелепы и неприемлемы. Мой слабый голос вливался в жалкие протесты нескольких умных людей, прятавшихся за ширмой, когда залы конференций просто гудели от «государственных деятелей» и их помпезных «политических речей». Пожалуй, первым из умных людей, который вышел из-за ширмы и заставил себя услышать, был Дж.-М. Кейнс{296} в своих «Экономических последствиях мира» (1919).

Я не буду здесь больше рассуждать о Вудро Вильсоне. Я с ним не встречался, а суть того, что я могу о нем сказать, содержится в пятой книге, главе б очень многословного романа, который я назвал «Мир Уильяма Клиссольда». Там я противопоставляю его триумфальный прием в Риме в январе 1919 года и похороны Дэвида Дубина{297}, когда процессия, кружа по боковым улицам, пробирается к кладбищу. Не стану распространяться о странном периоде покорности и ожидания в конце 1918 года, который показал нам, сколь смешны ограниченность Вильсона, Ллойда Джорджа и Клемансо. Я уже говорил об этом (в основном ссылаясь на д-ра Диллона и Дж. Кейнса) в «Очерке истории» (гл. XXXIX, разд. 3 и 4 в изд. 1932 г.). Понемногу я понял все значение процитированного выше отрывка из «Идеи Лиги Наций», где речь идет о гигантском и трудоемком плане работ и бесконечной череде встречных усилий, требующихся от нас, и начал подумывать о том, как можно в новых условиях разработать и внедрить до сих пор не существующие принципы реального и жизнеспособного Мирового государства.

Пока шли заседания, дискуссии и конференции, чтобы объединить первоначальные организации Лиги в новый Союз, меня удивляли и огорчали постоянные рецидивы интеллектуальных расхождений, словно люди прочли разные куски из истории, а то и вообще ничего не читали, и потому их

представления о методах и возможностях человеческого сообщества различаются самым вопиющим образом. Меня осенила любопытная мысль: я — не «ученый», педанты не заставляли меня бездумно зубрить какие-нибудь «периоды», у меня студенческие познания в биологии и археологии, а потому я мог бы гораздо шире охватить историческую реальность, чем большая часть моих коллег, которые, составив Союз Лиги Наций, хотят стать властителями дум. Все решительней говорил я о том, как нужна «общая история», и выразил это мнение в книжке «История — одна на всех» (1919). Я предложил, чтобы наш исследовательский комитет помог написать и издать историю человечества, которая ясно показала бы всем мыслящим людям: если мы хотим, чтобы цивилизация не погибла, политические, общественные и экономические сообщества должны перерасти в мировую федерацию.

Поначалу я думал, что надо написать очерк истории, начиная с Римской и Китайской империй, переходя в христианскую эру и кончая современностью. Собственно, мы бы дополнили Гиббона сведениями о Восточной Азии и довели до нынешних дней. Однако вскоре я понял, что такой широкий, но при этом сжатый исторический синтез не может написать никто из авторитетных историков. Они всегда жили в атмосфере взаимных ограничений и просто не решатся на такой труд, боясь допустить неточности и ошибки. Сотрудничать они не привыкли и просто связали бы воедино множество мелких историй, написанных разными авторами, и назвали это синтезом; а если мне удалось бы убедить их, прошло бы, конечно, немало лет, прежде чем они осуществили бы мою идею. Чтобы побольше узнать и лучше спорить (я чувствовал, что споры надвигаются), я завел особый блокнот, и мне все больше хотелось просто опубликовать его, поделиться рассуждениями об истоках современной ситуации, хотя бы для того, чтобы показать, что историк может не только нанизывать факты.

Я не думал, что этот блокнот или очерк хорошо разойдется. Я хотел набросать в общих чертах, как надо делать эту работу, а не делать ее самому. Прежде чем начать, я очень серьезно поговорил с женой о нашем финансовом положении. Небольшой пакет ценных бумаг, который мы накопили к 1914 году, война обесценила. Его цена, примерно 20 000 фунтов, упала больше чем в два раза, но успех «Мистера Бритлинга» с лихвой возместил этот ущерб и положение мое в журналистике улучшилось. Мы решили, что я могу позволить себе год напряженной работы над этим очерком, хотя он не обещал большого спроса, и временно уйти из поля зрения читателей романов. На самом же деле я

выпал из этого поля зрения навсегда. Я потерял связи с обозревателями и библиотеками и так и не восстановил их; напиши я теперь роман, он попал бы в руки крупного критика, поскольку считался бы произведением особой значимости, а не образцом «беллетристики». Словом, я решил не оглядываться на горящие корабли и принялся за работу, держа под рукой «Британскую энциклопедию», чтобы набросать общий очерк истории. План возникал сам собой, по ходу дела. Предполагал я написать историю человеческих связей и взаимной зависимости. Она превратилась в очерк о том, как возрастало объединение, с первых общин у животных. Начало этого процесса я отнес к периоду, когда еще не появились живородящие, к тем рептилиям, которые укрывают свои яйца, оберегая потомство; дальше я описывал, как умножаются взаимосвязи, заканчивая современным человечеством, которое объединяют аэропланы и радио. Очерк неожиданно разросся, но главное в нем осталось — я неизменно подчеркивал, что связи становятся все действенней, люди зависят друг от друга все больше. Читатель это заметит, пробежав взглядом оглавление.

Я не стану подробно разбирать, как возрастало ощущение важности темы, пока я писал. Так уже было с «Предвидениями». Я все яснее видел, что именно в такой форме надо преподносить историю обычному гражданину современного государства; именно такую историю, а не басни о «короле и родине», нужно вводить в образовательные программы. Мне показалось, что даже мои заметки, если их «просмотрят» профессиональные, авторитетные люди, можно использовать, пусть временно, как самый общий обзор, который очень нужен, если мы хотам, чтобы в мире поддерживалось постоянное политическое единство. Я уговорил сэра Рея Ланкестера, сэра Гарри Джонстона{298}, Гилберта Меррея, Эрнеста Баркера, сэра Денисона Росса{299}, Филипа Гедаллу и других знакомых эрудитов просмотреть машинописный текст. Дж.-Ф. Хоррабин{300} по моей просьбе начертил несколько исключительно удачных карт. Наконец я предложил «Ньюнесу & Кº» опубликовать «Очерк» по частям, прежде чем он выйдет отдельной книгой у Касселса. В Америке Дж.-П. Бретт, представитель «Макмиллане & Кº», сомневался в успехе этой книги, однако в конце концов выпустил ее по довольно странной цене — 10 долларов 10 центов.

И в Англии, и в Америке откликнулись на удивление бурно. По обе стороны Атлантики распродавалось одно издание за другим. Это принесло мне новую, более широкую известность, а заодно и немало денег. С 1919 года продали два с лишним миллиона экземпляров; кроме того, книгу перевели на множество

языков, кроме итальянского — в Италии ее запретили, потому что она умаляет величие Рима при Муссолини. Раскупают ее и теперь. «Краткая история мира» (1922) тоже пользуется большим спросом. Война пробудила в обычном человеке живой интерес к прошлому; ему хотелось простых и достоверных сведений об истории планеты и человечества, а поскольку «историки» этого не делали или сделать не могли, он обратился к моей книге. Никто не мешал светилам науки проделать тот же труд, да еще с гораздо лучшими результатами, но у них не хватило смелости, и людям оставалось либо по-прежнему не иметь цельного представления об этом увлекательнейшем предмете, либо и дальше читать меня, Ван Лоона{301} или другого дилетанта, которого не обрекли на бесплодие ученые претензии.

Не преградив читателю доступ к раскрывавшейся перед взором новой истории человечества, профессиональные преподаватели истории, как это ни прискорбно, сумели не допустить ее в школы. В школах и школьных программах все так же царствуют король, родина и фраза, только чудом умный мальчик или девочка могут по-своему, иначе истолковать исторический факт. А начинать изучение истории со средневековой Англии не логичней и не разумней, чем начинать изучение химии с кулинарных рецептов или патентованных лекарств.

Огромная популярность «Очерка» меня обрадовала. Мое самомнение всегда легко возрождалось; теперь оно ожило, и я увидел еще более широкие возможности — я мог рассказать обычным людям не только о прошедших событиях, но и об основных фактах, касающихся жизненных процессов вообще, а также социального, экономического и политического положения в мире. Проверил я это в нескольких лекциях, которые написал, но не прочел (они были рассчитаны на Америку), а потом собрал в книгу «Спасение цивилизации».

Сперва я разработал план, который назвал «Книгой необходимых знаний» или «Библией цивилизации». Первым выдвинул эту идею Ян Амос Коменский, а незадолго до меня — доктор Битти Кроузиер{302}, из чьей книги следует, что каждой культуре нужна своя Библия, так что самое слово выдумал не я. Опыт, полученный мною в Союзе Лиги Наций, укрепил мою убежденность в том, что новое мироустройство предполагает новую систему образования и что подлинно мировая цивилизация зиждется на объединяющих идеях, которые должна закладывать всемирная система начального образования, отражающего единое видение действительности. Кто-то должен был первым совершить переоценку образовательных идей. Я ни в коей мере не считал

себя пригодным, но никто другой не решался, и вскорости я уже обдумывал, кого привлечь к работе, чтобы завершить хотя бы вчерне идеологию гражданина мира, частью которой и был мой «Очерк». Чем бесконечно спорить о деле, проще и действенней показать пример, хотя бы в виде наброска.

Замысел этих книг принимал все более ясные очертания, и я бы, пожалуй, назвал их «Очерком биологии» и «Очерком общественной и экономической науки», однако после «Очерка истории» на книжный рынок выплеснулось множество всяких «Очерков» — искусства, литературы, науки, — которые весьма энергично рекламировались и распространялись. На самом деле то были не очерки, а сборники разных статей, в которых едва ли отслеживался единый лейтмотив, но они настолько исковеркали значение самого слова, что, когда после долгих трудов и мучений книги мои обрели желанный вид, я назвал их «Наука жизни» и «Труд, богатство и счастье человечества».

Писать «Науку жизни» мне очень помогли и знакомство с практической биологией, и еще два обстоятельства: мой старший сын стал учителем биологии, а талантливый внук моего профессора, Джулиан Хаксли, был мне другом. Человек этот на удивление полно и подробно знает самые разные области биологии. В 1927 году мы собрались втроем и составили план, который охватывал каждый раздел нашего необъятного предмета. На протяжении всей работы мы действовали очень согласованно и, после журнальной публикации, выпустили книгу в 1931 году.

Я подыскивал подходящих помощников, чтобы писать краткое изложение общественной, политической и экономической наук, но тут преуспел меньше. Мне попался плохой соавтор, пришлось с ним расстаться. Не буду рассказывать подробно мои неприятности. Задуманный мною план был более смелым и новаторским, чем планы любого из моих предшественников; я, ни много ни мало, хотел переработать и слить всю группу упомянутых «дисциплин» в единый, понятный рассказ о человеке на его планете. Начинался он с описания физической жизни и ее эволюции, затем шли описания общественных, правовых, политических и образовательных институтов, неизбежных спутников прогресса. «Очерк истории» был экспериментом в области аналитической истории; здесь же предполагался эксперимент в области синтетической, описательной экономики и политики. Самым точным названием стал бы «Очерк экологии человечества», но я отказался от него, поскольку слово «экология» тогда еще мало кто знал.

Замечу, что Хендрик Ван Лоон написал три книги, которые совершенно в ином ключе сближаются с жанром общедоступного

очерка. Называются они «История человечества», «Освобождение человечества» и «Дом человечества», а если он напишет еще и «Труд человечества», он охватит практически всю мою территорию, не занятую «Наукой жизни», прибавив к ней область топографической географии. Я пишу по-своему, он — по-своему, и многие читатели, возможно, найдут, что его обзор увлекательней. Какое-то время мне казалось, что хорошо бы дополнить «Труд, богатство и счастье человечества» широким географическим обзором.

Из-за неудачи с соавтором почти вся работа за полгода пропала впустую. Две частным образом напечатанные брошюры, которые мы дали комитету Общества писателей, спасли от забвения этот утомительный спор. В конце концов я привлек новых советчиков и написал «Труд, богатство и счастье человечества» так же, как «Очерк истории», — «зазубрил» материал, написал или переписал все самостоятельно, а потом каждую часть просмотрели и проверили специалисты. Одну из частей я переписал заново. Книга вышла в 1931 году и расходилась неплохо, но все же несравнимо хуже, чем «Очерк истории». Только сейчас она выходит в популярном издании. Вообще же, учитывая новаторство проекта, я ничуть не меньше удовлетворен ею, чем двумя ее сестрами.

Вероятно, эти три работы и по сей день представляют собой самое четкое, полное и компактное изложение того, что должен знать обычный гражданин современного государства. Они намечают контуры другого, более совершенного исследования. Относительно небольшой успех двух последних частей трилогии чем-то вызван, — но я не понимаю чем. Должно быть, их надо бы еще больше упростить и обобщить. Надеюсь, я лишен непомерных иллюзий и знаю им цену, и все же, вероятно, я чересчур высоко оцениваю общую концепцию.

Я убежден, что информативную структуру системы образования надо представить в виде трех сторон очерченного мною треугольника — биологии, истории, экологии. Ребенок должен начинать с естественной истории, истории изобретений, основ обществознания и описательной географии, которые составят первую картину мира, причем обучение этим предметам мы расширяем и углубляем вплоть до того, как начнется специализация. Ум, опирающийся на это тройное основание, будет достоин гражданина мира, и я не верю, что существует иное основание для взаимопонимания, без чего невозможно мировое сообщество. Я не хочу сказать, что мои книги — нечто большее, чем первый опыт. Однако это опыт серьезный, и, как никакие другие книги, они возвестили, что в образовании

наступает новая эра.

Здесь я должен в описание моего жизненного и творческого пути включить в скобках две-три сопутствующие истории, которым иначе не найдется места в повествовании. В 1920 году я ненадолго ездил в Россию, беседовал с коммунистическими лидерами, в том числе — с Лениным, и впечатления свои опубликовал в книге «Россия во мгле», а в 1921 году поехал в Вашингтон и написал серию газетных статей с Конференции по разоружению, превратившихся затем в книгу «Вашингтон и надежда на мир». Раз уж книги эти стали частью моей биографии, я должен их упомянуть, хотя и не очень подробно.

Должен я упомянуть, тоже без подробностей, и о «деле Дикс», которое длилось пять лет, до 1933 года. Мисс Дикс, старая дева из Канады, решила почему-то, что ей принадлежит авторское право на историю человечества. Кто-то посоветовал ей привлечь меня к суду, а также предъявить некую рукопись, которая, по ее словам, существовала в том же виде до публикации моего «Очерка». По мнению мисс Дикс, мне следовало выплатить ей в качестве компенсации 100 000 фунтов стерлингов и изъять из обращения свою книгу. Каких-либо доказательств никто от нее не добился, и она со своим нелепым иском стала обивать пороги одного суда за другим, причем каждый суд брезгливо отклонял иск, возлагая на нее судебные издержки. Так дошло до Тайного Совета. Когда в конце концов этот суд решил ее участь, тоже возложив на нее издержки, она объявила, что неспособна заплатить ни пенни из тех 5000 фунтов, которых стоили мне все эти утомительные и беспокойные разбирательства. На том все и кончилось. Жизнь слишком коротка, мне слишком много нужно успеть, чтобы тратить время и внимание, допытываясь, могли ли у мисс Дикс остаться какие-то скромные сбережения после того, как она заплатила адвокатам и экспертам. Так или иначе, ей надо жить дальше, а вред она уже причинила. Надеюсь, она в полном порядке и по-прежнему считает себя чем-то вроде интеллектуальной героини. Я видел ее в суде, когда мне пришлось давать показания под присягой, и она показалась мне скорее приятной. По-видимому, она вполне честна, но глупа и тщеславна, а воображение ее слишком возбуждено таким сенсационным иском, чтобы подсказать ей, как она всем надоела. Было что-то трогательное, напоминающее диккенсовскую мисс Флайт{303}, в том, как она суетилась со своими адвокатами, шепталась, шуршала бумагами, многозначительно поучая, как разрушить наш страшный сговор; и потому я возмущаюсь не ею, а теми, кто ее подстрекал.

Начиная с 1914 года я дружил с Ф.-У. Сандерсоном{304}, директором школы в Оундле, и, когда началась война, отправил к нему своих мальчиков. Сандерсон был своеобразным и сильным учителем, который нащупывал свой путь к обновленному образованию. Непосредственно общаясь с мальчиками, родителями и начальством, он был занят практической стороной дела, а я шел с другого края, через контакт с общественными делами и Лигой Наций, и в беседах наших возникали любопытнейшие точки соприкосновения. Мои мальчики, дети домашние, очень неплохо знали французский и немецкий, и я, только недавно вернувшись из первой поездки в Россию в 1914 году (см. «Джоанна и Питер»), уговорил его взять ради них учителя русского языка — наверное, первого такого учителя в частной школе для мальчиков.

Сандерсон, румяный полнокровный человек с гортанным голосом, любил поговорить. Ум его лучше всего выражался в этих школьных выступлениях; текущие заботы школы, идеи педагогов далеко отставали от его устремлений. Незадолго до смерти он начал строить особый корпус — Дом Созерцания, куда мальчики могли бы уходить, чтобы подумать о жизни. Там, как в музее, были бы представлены всемирная история и мир в целом; проект этот был сродни трем моим книгам, воплощая некое единое представление о мировой драме, в которой школьникам предстояло сыграть свою роль.

Сандерсон становился все умнее; дерзость его и находки множились до самого дня смерти. Умер он очень неожиданно летом 1922 года, и смерть его меня потрясла: он читал лекцию в университетском колледже, и вдруг, под конец несколько сбивчивого рассуждения, его многострадальное и усталое сердце перестало биться, и он рухнул замертво рядом со мной.

Лекция эта должна была открывать совершенно новую тему, и готовился он к ней очень серьезно. Вдобавок к своей и без того тяжелой работе он решил обратиться к ротарианцам{305} и людям этого типа, а лекция должна была стать ключевым выступлением. Конечно, я остро ощутил утрату такого друга и сотрудника, но меня мучило и то, что работа его оборвалась так внезапно. Ему было всего шестьдесят пять лет, и казалось, что он исполнен огромной жизненной силы, которой хватит на многие годы.

Я сделал все возможное, чтобы увековечить его память, прежде чем это славное имя будет предано забвению. Я написал официальную «Биографию» (1923), но, чувствуя, что мне мешают сдержанность и недоговоренность, обычные для таких компиляций, описал свои впечатления о нем в «Истории великого Учителя» (1924). Впечатления эти настолько личны и теплы, они

так ярко выражают и его, и мои взгляды на образование, что я бы охотно включил их в эту и без того непомерно раздувшуюся автобиографию, как хотел включить свое вступление к «Книге Кэтрин Уэллс». Его преемник ни в малейшей степени не был наделен его духовными и умственными способностями, и потому в Доме Созерцания так и не загорелся свет. Я описал, как пришел туда через полгода после его смерти и обнаружил, что этот светильник творческой мечты заброшен и в запустении. Чтобы воплотить его проект, школе не хватило и не хватает тонкости или благоговения.

Вскользь упомяну еще такие малопримечательные книги, как «Год пророчеств» (1924) и «Путь, по которому идет мир» (1928). Это сборники газетных статей, где я упорно и не всегда тактично повторяю свои основные мысли. Тот редкий читатель, которому придет в голову пролистать их, быть может, обнаружит там вариации в подходе, но ничего нового не найдет.

На этом я заканчиваю свой отчет об еще одной составляющей моей работы — о том, как я пытался очертить круг информации, которую должно давать современное образование. Отчет этот неизбежно однобок, почти в духе Марбурга; работа и мысли других людей отступают на задний план. К примеру, я ни словом не обмолвился о такой книге, как «Разум в процессе становления» Джеймса Харви Робинсона{306}, или об американском движении Новой Истории. Но я пишу не историю новых идей, а рассказ о новых идеях в уме одного человека — Г.-Дж. Уэллса.

Когда я смотрю на стол, заваленный моими и чужими книгами, корреспонденцией, брошюрами (небольшую стопку, куда входят, среди прочего, «Путеводитель к очерку истории» Хилэра Беллока{307} и «Некоторые ошибки Г.-Дж. Уэллса» доктора Дауни, епископа Ливерпульского, которых я и вовсе обошел молчанием, если не считать мимолетной ссылки на католических критиков в третьем параграфе восьмой главы), я никак не могу определить, превратились ли миллионы слов в мертвый хлам или по-прежнему трогают и будоражат умы. Оказывают ли эти и подобные им труды хоть какое-то ощутимое, протяженное во времени влияние на школу и университет? Многое, разумеется, тотчас забыли, потому что это написано второпях или попросту скверно, или рассчитано не на того читателя, или вошло в соединение с менее благородными металлами — предубеждениями, вспышками злости — и покрылось ржавчиной. Но вправе ли мы махнуть на все рукой? Здесь, в нашем мире, мы никогда не узнаем, что же дали эти книги.

Есть у меня тщеславная причуда, не без снобистской подражательности — мне хочется время от времени сравнивать

свою судьбу с судьбой Роджера Бэкона. Я ряжусь в его одежды. Об этом свидетельствует первая глава «Труда, богатства и счастья человечества». Когда меня особенно угнетает, что мои многочисленные книги ни на кого не действуют, когда я сомневаюсь в том, что школу мы успеем обновить именно так, как я предложил в своем трехстороннем очерке, спасая тем самым наш общественный строй, приятно сравнить себя с Бэконом, царапавшим в своей камере длинные трактаты о новом методе познания, которые так и не дошли до единственного читателя, до его друга Папы, с которым он связывал свои надежды, и уж никак на того не повлияли. Однако в последующем идеи его принесли огромные плоды. Я играю в ту же игру: будто и я совершенно одинок, никем не понят, не приношу немедленной пользы и, вдохновленный идеей мира будущего, убежденный в его реальности, все же не могу его приблизить.

Я лелею это мнимое оправдание, эту тайную слабость, но стоит мне воплотить ее на бумаге, как ее нелепость и необоснованность становятся очевидны. Одностороннее это ощущение возникает потому, что я упоен собственной работой. Когда пишешь автобиографию, неизбежно воспаляется «я», а оно у меня и так раздуто. На самом деле я не одинок и не отвергнут. Просто себя самого я знаю лучше, чем тех многочисленных людей, мысль которых движется в моем направлении. Я не создаю рукописей, которые останутся непрочитанными или удостоятся за несколько столетий одного случайного взгляда; мы печатаем и распространяем свои идеи миллионными тиражами.

Как уже говорилось, в мире, вероятно, от двух до трех миллионов моих книжек, но гораздо больше книг и статей, лекций и докладов, написанных другими людьми, которые избрали тот же путь. Каждый день несколько тысяч умов откликаются на малую часть наших идей: учитель слегка изменит свою методу, читатель задумается над каким-то местом и вступит в спор с другом, журналист проникнется новыми представлениями и выразит их в статье, священник-ортодокс в чем-то усомнится. Не надо ожидать, что в один прекрасный миг все школы вдруг раскаются, сожгут учебники на одном большом костре и ни с того ни с сего начнут учить по-новому; бессмысленно жаловаться и на то, что даже те, кто поддерживает новое обучение, не совсем верно представляют цель нашего пути. Творение Эрика Йарроу, Дом Созерцания, стоит в Оундле недостроенный и ненужный, но это — лишь орудие, взорванное снарядом на долгом пути к победе.

Нельзя доказать, что посеянное нами зерно умерло. Напротив, все больше признаков указывает на то, что оно дает

всходы. То это уроки в какой-нибудь начальной школе, то беседы по радио, вроде тех, которые вел Кинг-Холл, то книга для детей или газетное сообщение о лекции в маленьком городке. Все это обнадеживает, как свежий росток, пробивающийся к свету. В *наше* время новая идеология исподволь распространяется по миру. То, что делается теперь, ничуть не похоже на время, в котором жил опередивший его человек, первым догадавшийся об удивительных возможностях экспериментальной науки. Наша эпоха гораздо больше походит на XVII век, чем на XVIII, она осуществляет перемены и использует возможности.

Мысли Роджера Бэкона были похожи на сон, который приходит перед рассветом. Спящий поворачивается на другой бок, забывает все и спит дальше. То, что Бэкон писал, подобно словам, сказанным во сне. То, что происходит сейчас, можно сравнить с пробуждением. Во сне мы можем за миг проследить всю цепочку событий, они не встречают помех со стороны мозга. Новый день замечают тысячи, а уж потом — миллионы. Поначалу свет почти незаметен, он касается всего, почти ничего не выделяя. Неприхотливая медлительность скрывает твердую, уверенную непрерывность.

8. Мировая революция

Когда я с трудом, мучительно пытался предвосхитить то, чем надо бы наполнить новое образование, мысли мои возвращались к проблеме, которую я впервые поднял в «Предвидениях» и которая принесла плоды в «Современной Утопии», — как из недр существующего уклада возникают основные признаки грядущего мирового порядка.

Деятельным, целеустремленным людям всегда хотелось уйти от этой проблемы, отсрочить ее, заменить сиюминутной, приемлемой, но уклончивой формулировкой. Первая французская революция проходила под лозунгом «естественной» добродетели, а революция американская дала политическое и экономическое освобождение от мнимой, преувеличенной «тирании», которое едва ли изменило саму систему. Правда, от этой проблемы не уходил Маркс. Моя привычная полемическая склонность относиться к нему с пренебрежением не мешает мне признать, что он первым увидел эти сложности. Он сумел понять, что движение, стремящееся преобразовать общество, вряд ли получит немедленную и горячую поддержку большинства — тех, кто вписывается в это общество и материально с ним связан.

Разумеется, такие люди могут способствовать переменам, на которые вовсе не рассчитывали. Например, любопытство джентльменов из Королевского общества или бурная деятельность на Тихом океане породили изобретения, открытия и усовершенствования, глубоко потрясшие мир, причем совершившие их не подозревали, каких опасных драконов выпускают на волю. Прежде чем будет возможна сознательная революционная борьба, надо найти недовольных; настаивая на этом, Маркс вел за собой свое поколение. Всю свою жизнь я упорно твержу, что он чересчур грубо противопоставлял собственников и неимущих, путая лишения и нищету с более редкими и более значимыми поводами для активного недовольства. Сам он был слишком энергичен и поглощен собой, чтобы осознать, как покорно люди дают себя дурачить, если за них взяться смолоду, как восприимчивы они к массовому и личному самообольщению, как не хотят признать свою приниженность и бороться против нее. Многие готовы посочувствовать обездоленным; мало кто признает обездоленным себя. Не понимал Маркс и того, как остро может существующий порядок вещей раздражать и мучить людей с достатком и положением. Поэтому в *мятежном пролетарии*, отпрыске собственного воображения, он видел единственную движущую

силу революции и с пагубной решимостью на все человеческие действия ставил клеймо *классовой борьбы.*

Как я уже говорил, безнадежное положение социализма в начале XX века вызвано тем, что не было реальной концепции, объясняющей, кто же «компетентно воспримет» обобществленную собственность и предприятия. Неподготовленная масса неимущих явно не способна ими распорядиться. Необходимо было искать какое-то решение. Коммунистическая «диктатура пролетариата» — это и есть наскоро состряпанный «восприемник». Он не слишком пригоден для такой работы; это скорее полемическое, а не практическое решение. Однако преобразованная Лениным Коммунистическая партия оказалась гораздо более действенным шагом к тому, чтобы организованно принять имущество.

Отбросив теорию революционной классовой борьбы, мы откажемся от очень эффективного наркотика и начнем решать сложнейшую задачу. Для непосредственных, сиюминутных целей одурманенные наркотиком борцы могут сгодиться лучше, чем здравомыслящие, но хватит их ненадолго.

Приходится признать, что в периоды относительного процветания (скажем, в Америке вплоть до 1927 г.) или устоявшегося упадка (скажем, в Англии при Ганновер ах) надежда на прямую революционную борьбу невелика. Чтобы человеческий разум настроился на созидательную работу, полную тягот и разочарований, иллюзию стабильности нужно так или иначе подорвать. В прошлом бурное недовольство, как правило, выражалось в столкновениях между угнетенными и угнетателями, в классовых или расовых столкновениях, и до сих пор мы толком не понимаем, что нынешнее недовольство и нынешняя нестабильность не соответствуют этому стереотипу. Это многосторонние, а не двусторонние вопросы, и обращаться мы здесь должны не к социальным, а к интеллектуальным классам.

На одном из просмотров в Обществе кино (11 марта 1934 г.) я видел волнующий фильм Эйзенштейна «Октябрь», в котором благородные пролетарии вдохновенно выдворяют из Зимнего дворца продажных, закормленных империалистов и капиталистов с их прихвостнями. Особая роль третьей силы, русского флота, в фильме преуменьшается. Никогда еще мне не приходилось сталкиваться со столь упорным предубеждением. Моряки сыграли значительную роль в революционной истории, особенно заметную в Турции, Германии, России. Любая вооруженная, технически оснащенная сила — это живое, скрепленное солидарностью, оружие, которое может обернуться против интеллектуально немощного правительства, не способного его эффективно использовать. Реальные, никак не организованные

пролетарии играли, если не в фильме, то в жизни, роль хора при Октябрьской революции. Такой же будет их участь и в любой другой.

Созидательная революция в современных условиях должна начаться в самых разных местах, причем к ней примкнет разный сброд, просто эксцентричные, взбалмошные, раздраженные, сомнительные личности. К ним нужно подходить с большим вниманием и осторожностью. Революция начинается с неудачников. Любой революционный процесс складывается из возрастающей неустроенности и диспропорций. Особенно же интересно в нашем положении то, что сейчас нет социального слоя, организации, государства, народа, школы, армии, обычного флота или воздушного, банка, закона, промышленности, чьи представители не осознавали бы все острее, как невозможны существующие порядки. Надо карикатурно исказить истинное положение вещей, чтобы рассматривать наш западный мир как самоуспокоенную «капиталистическую систему», беспощадно обирающую миллионы порабощенных жертв, которым всего-то и нужно, что восстать и положить начало новому золотому веку. Свергнув капиталистическую систему в том виде, в каком она существовала под властью царя, Россия через несколько проб, спотыкаясь и ковыляя, откатилась к государственному капитализму, и хотя она отделалась от некоторых очень обременительных традиций и институтов и поставила важные эксперименты, она, по сути дела, во власти тех же неразрешимых вопросов, что и западный мир.

Если эта посылка верна, отсюда, видимо, следует, что в общественном организме мы *всюду* встретим одни и те же типы психической реакции, зависящей от врожденных или очень личных свойств. Мы встретим самую многочисленную группу людей, которые продолжают жить так, как во времена видимой стабильности, — хранят верность налаженным, знакомым с детства обычаям, пытаясь до последнего мгновения сохранить веру в то, что ход событий будет следовать известным им образцам; встретим все увеличивающееся число людей обиженно-оборонительного типа, готовых бурно воспротивиться любому покушению на привычный уклад; встретим и людей, восприимчивых к новшествам, готовых признать, что многое надо приспособить и переустроить, даже если придется принести в жертву старые обычаи, привилегии, давно сложившиеся понятия. По мере того как возрастает чувство нестабильности, численность двух последних групп — революционеров и яростных реакционеров — будет возрастать за счет первой, удовлетворенной группы, стремящейся избежать волнений;

причем особенно оживятся интеллект и стремление к переменам у третьего, последнего типа. Определенные социальные группы, главным образом в зависимости от того, преобладают ли в них люди с живым умом, могут обнаруживать и тенденцию к непримиримому противлению, и высокую готовность к переменам. Такие искусственно созданные профессии, как биржевой маклер или профессиональный игрок, естественно, привлекают людей ловких и ограниченных, которых вряд ли привлекут общественные переустройства, угрожающие биржевой игре; да и рантье, удалившиеся от дел, гораздо менее склонны к революционным преобразованиям, чем, скажем, работники здравоохранения или инженеры. Но в большинстве сфер — в юриспруденции, в общественном управлении, медицине, технике, промышленности, образовании, даже в армии — усиливающийся беспорядок вполне может привлекать к созидательной деятельности все больше пытливых, организованных умов. Только от них можно ждать творческого импульса. Для революционной теории прочее человечество имеет не больше значения, чем речной ил для проектирования землечерпалки, которая очистит реку.

Пытливые, склонные к планированию и организации умы, получив стимул, то есть осознав социальную неустойчивость и незащищенность, начнут, в каждом случае, с некой устоявшейся системы понятий. Их непосредственные реакции и непосредственная деятельность будут поначалу определяться заведенными порядками, от которых они едва освобождаются, так что ранние этапы скорее всего окажутся не только очень пестрыми и хаотичными, но и противоречивыми. С другой стороны, яростные реакционеры будут солидарны во всем, что касается существующего порядка. Революционная теория должна непременно найти общие формулы, которые свели бы к минимуму ненужные потери, проистекающие из несходства и недопонимания, и привели бы к отлаженной, действенной, творческой согласованности.

Я уже рассказывал о возникшей в 1900 году идее Новой республики, о том, как развивается эта идея в «Современной Утопии» (1905), и, наконец, о том, как я пытался превратить Фабианское общество в орден самураев, — что очень взволновало Пиза, Шоу, Бланда и Сиднея Уэбба и привело к полнейшему крушению моих собственных планов. После конфликта с фабианцами я пытался отступить, сохраняя достойный вид, но это было нелегко. Пришлось проглотить горькую пилюлю и примириться с тем, что я пытался что-то сделать, но не смог. Пришлось признать, что у меня нет организаторских

способностей, я не умею вести за собой. Чтобы как-то утешиться, я говорил себе, что оно и лучше для писателя. «Новый Макиавелли» (1911), где я выступаю как эдакий публицист, ушедший на заслуженный отдых, — явная попытка вознаградить себя. «Великолепное исследование» (1915) показывает, что я все еще пытаюсь найти какой-то метод, позволяющий эффективно воздействовать на общество. Эта книга не была и наполовину написана, когда зловещий взор и мрачная тень Великой войны упали на ее страницы, и в моем образовании начался следующий этап.

Выше я уже рассказал о том, какие вихри в моем сознании подняла война, как внимание мое переключилось с социального устройства на международные дела, а там — на взаимосвязь между общим образованием и чувством интернационализма. Я так стремился во что бы то ни стало перестроить образование, что несколько лет это определяло всю мою интеллектуальную жизнь и формировало мою деятельность. Какое-то время я был занят тремя книгами, воплотившими новую всеобщую идеологию, и мало, непозволительно мало задумывался над тем, найдет ли моя основная идея хоть какой-то отклик. Потом я почувствовал, что витаю в облаках и в лучшем случае создаю ходкие, но бесполезные книги. Видимо, я взял совершенно неверный прицел. Мне страшно захотелось ощутимых результатов.

Новые идеи образования должны были так или иначе проникнуть в соответствующее ведомство, в школьные программы и в школы. Поскольку никто больше вроде бы этим не занимался, я почувствовал, что обязан попытаться сделать это сам, даже если ничего не выйдет. Снова, с большой неохотой, я стал ходить на собрания и заседания, чего не бывало после моего ухода из Фабианского общества. С неприязнью и тревогой слушал я, как мой собственный голос снова начинает произносить сбивчивые речи. Я так ненавижу свой голос на собраниях, что начинаю говорить раздраженно и вообще теряю нить рассуждения. Я все еще думал, что Лейбористская партия должна быть самой восприимчивой к таким конструктивным идеям, и, чтобы обеспечить себе надежную почву, принял участие в выборах 1922 и 1923 годов в Лондонский университет от партии лейбористов. Я думал не о том, чтобы меня избрали, а о том, что при помощи предвыборных обращений и листовок, скажем «Лейбористского идеала образования» (1923), смогу добиться обновления школьных программ как партийной задачи и хотя бы поставлю на подобающее место общую историю, которую преподают в начальной школе.

В лондонском университетском клубе я произнес речь (март

1923 г.), напечатанную позже под заголовком «Социализм и наука — движущая сила». Видимо, я пытался убедить себя и моих либеральных слушателей в том, что эти две вещи по сути своей идентичны; однако себя я не слишком убедил. Я говорил о желаемом как о действительном. В политические материи я полез не потому, что надеялся так достичь своих целей, а потому, что на самом деле не знал, как их достичь, а это был хоть какой-то шанс. Но людей постарше меня, которые руководили в то время Лейбористской партией, совершенно не интересовала реформа образования. Они не понимали, что можно учить по-разному. Школа, любая школа, была для них просто школой, а колледж — колледжем. Образование они одобряли, оно им импонировало, вроде городской картинной галереи, и вообще им хотелось, чтобы рабочий класс имел доступ ко всему самому лучшему, но очень уж важным образование они не считали. Сами они в этом смысле довольствовались малым.

В 1923–1924 годах начался период глубокого внутреннего разлада. Я делал то, что считал нужным, пытаясь создать пригодное для обычного читателя изложение современных знаний и идей, однако это не завладело моим воображением. Я не мог смириться с мыслью, что на большее не способен. Я выступал, говорил и, когда читаю записи, не могу поверить, что сказал так мало. Я давал интервью — и ощущал их полную бессмысленность, когда они ударяли по мне самому. Я писал статьи — и все больше чувствовал, что только подступаю к чему-то. Меня придавило ощущение каких-то помех, потраченных впустую сил, упущенного времени.

В предисловии к автобиографии я уже говорил о том, что в интеллектуальной жизни в качестве составляющего всегда присутствует желание куда-нибудь сбежать; но только сейчас, собирая факты и даты, я понимаю, какую роль сыграли эти порывы в моей истории. Снова и снова я говорил, в сущности, так: «Надо все это бросить. Надо освободиться. Надо выбраться из этого, подумать и начать заново. Вся эта суета просто душит меня, затягивая в трясину избитых, заученных ответов. Надо увидеть что-то новое, услышать, удивиться, не то я совсем выдохнусь».

Впервые это случилось, когда я взбунтовался против мануфактурной лавки и бежал в мечту о счастливом, нищем учительстве и ученичестве. Конечно, в меньшей степени и с меньшими неудобствами такое настроение возвращалось, но не проявилось в полной силе до моего развода. Тогда оно, как я теперь понимаю, стало мечтой о веселом, дерзком сочинительстве. Скрывалось под этим и то, что работа у Бриггса

мне наскучила. Я не просто сменил одну жену на другую, я сменил самый образ жизни, прорвавшись к работе нового склада.

Все признаки того же самого желания бежать я снова замечаю в году 1909-м, хотя полного, глубокого разрыва с устоявшейся жизнью не произошло. Однако в «Новом Макиавелли» я, безусловно, в очередной раз высвободил энергию побега, если не в реальности, то в воображении. Сейчас (да, как ни странно, только сейчас) я понимаю, что мысль уехать куда-нибудь — скажем, в Италию, подальше от фабианских споров, утомительной и маловразумительной политики, литературной рутины — захватила целиком мое подлинное «я», а в истории Ремингтона, Маргарет и Изабеллы я просто инсценировал это желание. Ремингтон заместил меня самого, ослабил мое напряжение. Он вырвался из моего мира вместо меня — и в величавом спокойствии делился отвлеченными политическими соображениями à la Макиавелли, как о том мечтал я сам.

Мы переехали из Сандгейта в Лондон (1909 г.), потом из Лондона в Истон-Глиб (1912 г.), и там я снова угомонился. Обо всем этом вполне достаточно сказано в «Книге Кэтрин Уэллс». Глобальные вопросы войны и мира не выходили у меня из головы несколько лет. В 1924 году меня снова посетило то же настроение, настолько явное, что сейчас я удивляюсь, почему не сразу его опознал. На сей раз я не поехал писать в Италию в образе нового Макиавелли, я отправился на юг Франции. Разница небольшая. Я частично воплощал фантазию двенадцатилетней давности, с попустительства и при содействии жены, которая почувствовала, что мне очень тяжело, и поняла, что со мной происходит. Во Францию я устремился не сразу. Сначала я полетел на Ассамблею Лиги Наций, чтобы отправиться оттуда в кругосветное путешествие. Там, в Женеве, я изменил планы и повернул на юг, к Грасу. Я обнаружил, что могу, почти как Ремингтон, уйти от всех дел, по крайней мере на несколько месяцев, укрыться среди холмов, забыть о насущных заботах Англии, просеять все свои соображения и намерения, а потом — писать.

Началась двойная жизнь. Основное течение моей видимой, официальной жизни все так же проходило через дом в Эссексе — там разбирали мою корреспонденцию, вели мои дела, а на маленькой ферме (mas) под названием Лу-Бастидон, неподалеку от Граса, я, не хуже пророка Осии, изображал Уильяма Клиссольда, удалившегося на покой промышленника, заставляя его рассмотреть и обдумать мир. Три зимы с небольшими перерывами жил я в этом прекрасном солнечном уголке, очень просто и бесхитростно — сидел на солнышке, гулял среди

цветущих олив, ходил и дальше, к холмам, и почти совсем не видел светской жизни, которая протекала так близко от меня, на Ривьере. Все это время я думал и писал о Новой республике, о том, как же действительно ее создать.

Жаль, что эти сезонные затворничества продолжались недолго. Неприметные сложности и затруднения — тоска по ванной, по электричеству и, может быть, по небольшому автомобилю — измучили меня. Попытался я возвести Лу-Бастидон на более прочном основании — и что же? Попал в западню. Я начал заигрывать со строительством и садоводством. Развлечение это наглядно, оно немедленно удовлетворяет творческий импульс и очень легко может отвлечь от действительности. К строительству и к садоводству можно пристраститься, как к алкоголю, отвлекая свой ум от всего мира и от собственных притязаний; Ривьера усыпана виллами, свидетельствующими о том, как обычен такой порыв. Я приобрел участок земли с прелестным утесом, виноградом, жасмином и бегущей неподалеку речушкой, построил дом, который назвал Лу-Пиду. После этого опрометчивого шага тяготы хозяйства и хлопоты автомобилевождения, а также садоводческие заботы стали затягивать меня. Ривьера, пронюхав обо мне, протянула к моему убежищу свои щупальца. Лу-Пиду был любительским, милым строением со своей особой прелестью, но настойчиво стремился разрастаться и усложняться. Он все меньше походил на убежище и все больше превращался в западню. Заботы и нужды множились, рвение и силы угасали, я проводил там все меньше времени, и, соответственно, становилось все меньше прекрасных, солнечных часов, отведенных размышлениям. Наконец, в мае 1933 года, настал день, когда я понял, что работать там толком не могу.

Как раз в начале 1933 года написал я вступительную часть автобиографии и настроение той поры передал вполне.

В конце концов я бросил Лу-Пиду, как змея сбрасывает кожу. Для этого требовалось усилие, но тяга к освобождению снова взяла верх. Я решил, что продам его или, если нужно, подарю. Совершив последнюю прогулку по оливковой роще на холме, я попрощался с апельсиновыми деревьями, которые сулили так много, с кустами роз, благословил ивы и ирисы, которые посадил по берегу, побыл на террасе бок о бок с серьезным черным котом, к которому очень привязался, и в последний раз спустился по знакомой дороге на станцию, в Канны.

Возвращаясь в Лондон, я угодил сначала на неистовый, но небезынтересный Международный конгресс ПЕН-клубов в Рагузе, на котором был председателем, а затем заглянул в совершенно

новую для меня Австрию, которая поразила меня зеленой свежестью раннего лета. Теперь моя лондонская квартира — мой единственный дом. Два мальчика, о которых говорится в конце восьмой главы, сегодня уже сами отцы семейств, и у них свои дома, сыновья и дочери, а Истон-Глиб, описанный в «Книге Кэтрин Уэллс», я продал после ее смерти в 1927 году. Для меня он слишком велик и слишком пуст. Теперь я просмотрел всю свою семейную жизнь от начала и до конца. Этот этап завершен. Квартира над грохочущими Бейкер-стрит и Мэрилебон-роуд подходит для работы ничуть не меньше, чем любое другое место; ее легко содержать; я могу уехать, когда захочу, куда захочу и на сколько захочу; Лондон, несмотря на весь мой неистовый радикализм, очень мил и дружелюбен ко мне. Хотя у меня нет собственного сада, Риджент-парк у самых моих дверей и с каждым годом все прекраснее; нет садов, подобных Кью-Гарденс, и нет в мире людей, более приятных, чем лондонские жители.

«Мир Уильяма Клиссольда», над которым я работал в Лу-Бастидоне, хаотичен, хотя на самом деле я отвлекаюсь меньше, чем кажется. Суть, до которой я добрался только в книге пятой (первые четыре книги написаны в основном, чтобы привести в мир братьев Клиссольд), суть эта в том, что можно объединить творческие силы, рассеянные по миру, чтобы они, плодотворно сотрудничая, составили что-то вроде «легального заговора». Я представляю себя на месте мудрого промышленника, наделенного научным складом ума, и вот как он это видит:

> «Бессмысленно думать о созидательной революции, если только в ее руках не будет определенной власти, и очевидно, что созидательная власть принадлежит в мировом масштабе, с одной стороны, современной промышленности, связанной с наукой, а с другой стороны — финансистам. Люди, осуществляющие руководство в этих областях, могут конструктивно изменять условия жизни в пределах своих полномочий. Никто другой не может осуществить такие перемены.
>
> Вся остальная власть в нашем мире — либо долевая, либо ограниченная; либо откровенно обструкционистская, либо откровенно деструктивная. Власть признанного и пассивного права собственности, например, — всего лишь власть удерживать цены. Власть толпы — в забастовках, она воплощается в разрушении машин, в ненависти к специалистам… Только при помощи сознательного, легального и всемирного сотрудничества людей науки, знакомых с

промышленностью, людей, способных контролировать основные артерии, по которым поступают кредиты, людей, способных контролировать газеты и политиков, — запущенную ими почти бессознательно колоссальную систему преобразований можно привести хоть к какому-то обнадеживающему порядку развития.

Такие люди, хотят они того или нет, и есть настоящие революционеры. Я считаю, что мы, промышленники и финансисты, становимся все образованнее, расширяем свой кругозор, по мере того как предприятия наши растут и переплетаются друг с другом. Если мы сумеем привить современному бизнесу достаточную ответственность, критическое взаимодействие и взаимодействующую критику, свойственные среде ученых и вообще компетентных людей, мы сможем отладить всемирную систему валютной и экономической деятельности, тогда как политики, дипломаты и военные никак не могут расстаться со своей исконной привычкой к фиглярству, чтобы понять бизнесменов и финансистов… В денежном и экономическом отношениях нам вполне по силам построить мировую республику средь бела дня, прямо под носом у тех, кто представляет старую систему. Я все больше убежден, что понять нас — значит быть с нами; мы нисколько не растеряем преимуществ своего положения и не подвергнемся риску проиграть, если будем совершенно открыто говорить о наших проектах и методах и просто воплощать их в жизнь.

Именно это я и понимаю под „легальным заговором“… Многие явления, которые сегодня представляются нам безнадежно антагонистическими, — например, коммунизм и мировые финансы, — в ближайшую половину столетия могут развиться настолько, чтобы двигаться вперед бок о бок, параллельными путями. В настоящее время крупные компании, занимающиеся сбытом, резко противостоят кооперативным потребительским ассоциациям; однако одна или две такие крупные компании уже заключили важные договоры с этими массовыми экономическими организациями, представляющими общественность. Обе стороны основываются сейчас на очень грубых представлениях об общественной психологии и общественной справедливости. Обе склоняются к интернационализации под давлением одних и тех же

существенных причин.

Я не вижу повода сомневаться в том, что улучшатся личные качества и укрепится солидарность людей, которые в следующем столетии будут стоять у руля большого бизнеса. Они обретут бóльшую широту и ясность кругозора, более глубокие моральные устои. Быть может, в силу своего характера, желаемому я придаю черты действительного. Но мне кажется нелепым предполагать, что те люди, которые сегодня так крепко держат банковские рычаги, — люди ограниченные, заурядные, беспечные или склонные к начетничеству, — являют собой окончательный и неизменный тип банкира. Столь же неразумным кажется мне предположение, что такие полуобразованные, опытные дельцы, как мы с Диконом, а также наши партнеры и современники — нечто большее, чем паллиатив промышленного лидера, и что не появится кто-нибудь получше. В конце концов, Дикон и я — в лучшем случае ранние образцы, модели 1865 и 1867 годов…»

Все это написано тогда, когда еще никто не вспоминал об американском президенте по имени Франклин Рузвельт и о его поразительной попытке так упорядочить свободную капиталистическую систему, чтобы быстро сдвинуть ее в сторону государственного социализма. У легального заговора в варианте Клиссольда («Мир Уильяма Клиссольда») есть одно уязвимое место — там попросту упущен тот факт, что, хотя созданные частным образом производственные, промышленные и занимающиеся сбытом организации в значительной степени поддаются прямой национализации, *частный капитал по духу своему и способам управления решительно и неизменно отличен от любого общественного капитала.* Это просто попытка извлечь выгоду в сфере, которая не находится под контролем общества, такая же антисоциальная, как попытка извлечь выгоду, подделав эталонный ярд. Теперь мы хорошо это знаем. Усердный читатель сможет найти это, еще не до конца выясненное, положение в «Труде, богатстве и счастье человечества». Общественный контроль над кредитами и научная реорганизация мировой денежной системы — необходимый предварительный этап в создании планируемой мировой экономики. Как мне самому, так и нашим лейбористским лидерам, и, по сути дела, практически каждому в 1926 году, Уильяму Клиссольду еще необходимо подумать об отношениях денег и кредитов к частной собственности.

Более того, преувеличивая мое собственное отвращение к доктрине классовой борьбы, Клиссольд в своем мире создал слишком уж широкую пропасть между промышленником-организатором и техническим ассистентом или искусным ремесленником. Рабочих он отвергал, поскольку они всего лишь рабочие, совершенно не учитывая политических возможностей и способностей их более образованного слоя. Я почти полностью отождествил себя со своим воображаемым дельцом. Очевидно, меня еще слишком огорчала Лейбористская партия в том виде, в каком я ее застал. В негативной реакции на массовую демократию, которую воплощали ее основные глашатаи — Макдональд{308}, Сноуден{309}, Томас{310}, Клайнс{311} и тому подобные, я недооценивал постоянно возрастающий интеллектуальный уровень лучших рабочих-специалистов, да и наиболее честолюбивых представителей молодежи. У них, во всяком случае, я должен просить прощения за то, что воплотился в Клиссольда.

Книга эта вышла в 1926 году. Преподнесли ее как весьма значимую, и она получила изрядную порцию благотворной отрицательной критики, так что я пересмотрел идею «легального заговора» почти сразу. Чутье меня не подвело, я был прав, когда писал от третьего лица. Вскоре я изо всех сил пытался высвободиться из сети опрометчивых обязательств, которые дал Клиссольд, и выработать новую точку зрения. Мой первый опыт политического трактата мне вручили обратно с многочисленными поправками, и я ими воспользовался.

Весной 1927 года меня попросили прочитать лекцию в Сорбонне. Я выбрал тему «Демократия в процессе пересмотра» и настаивал на том, что необходима некая организация вроде моих самураев, которая заменила бы грубые методы, применяемые на выборах современными политиками. Я, так сказать, пропагандировал легальный заговор, приспособив свою пропаганду к исключительно узким взглядам французов. Должен сказать, что на сей раз в Париж я отправился с женой. Нас чествовали и развлекали, мы были очень счастливы вместе, и никто из нас не догадывался, что смерть уже приступила к своему делу и через шесть месяцев мы расстанемся навсегда. Титульный лист этой лекции — последний титульный лист, на котором я нарисовал для нее «ка-атинку». Воспроизвожу его здесь в память о пронесенном через всю жизнь союзе и той постоянной, неприметной помощи, без которой не было бы описанных здесь трудов. О наших последних шести месяцах я рассказал в «Книге Кэтрин Уэллс».

После ее смерти я принялся изменять и объяснять свою

концепцию легального заговора — себе самому, а затем и другим. Я написал небольшую книжку «Легальный заговор. Проект мировой революции» (1928) и был настолько убежден, что это — набросок, проба, что организовал ее публикацию так, чтобы при случае изъять ее, переделать и издать года через два. Новое ее название — «Что нам делать с нашей жизнью?» (1931). Когда я писал этот, уже третий, вариант «легального заговора», я чувствовал, что наконец-то приступаю к разработанному проекту. Книг а «Труд, богатство и счастье человечества», выпущенная после многих мытарств в 1931 году, в главах, посвященных политике и образованию, содержала еще более разработанный план, основанный на изучении современных условий. Определял я все яснее, писал — все уверенней.

Во всей этой работе я, по сути дела, лишь избавлялся от липшего, заострял проблемы, расставлял точки над і. Легальный заговор — Новая республика плюс опыт длиной в треть века; рабочий план вместо «предвидений». Я продвигался вместе со своим поколением от умозрительной сказочной страны к четко разработанному проекту.

В книге «После демократии» (1932) я собрал разные работы — лекции, прочитанные в берлинском здании рейхстага (1928) и мадридской Residencia de Estudiantes[30] (1932), меморандум о положении в мире, подготовленный по просьбе одного или двух влиятельных американцев в 1932 году и поначалу распространявшийся частным образом, лекцию в оксфордской летней школе либеральной партии (1932) и вытекающую из нее статью «Всемирная либеральная организация», где я дал дополнительное определение все той же концепции с либеральных позиций. Опробовал я свою основную идею и в «Дейли геральд» (декабрь 1932 г.) под заголовком: «Нужны общие убеждения для всех левых партий в мире», но отклик был незначительный. Эту статью перепечатали как вступление к «Манифесту» нового Содружества прогрессивных обществ, представлявшего собой что-то вроде «Сообщества новой жизни» пятьдесят лет спустя. Исследовательская нотка в этих работах сводится к минимуму, поскольку идеи мои стали определенней, изменения — все мельче и мельче.

«Облик грядущего» (1933) — последняя значительная книга, которую я написал. Писалась она так же кропотливо и трудно, как и предыдущие мои книги, тем более что я старался сделать ее увлекательной и легкой, не жертвуя содержанием. В одном или двух эпизодах повествование совсем живое; я приобрел такую уверенность, что давал поиграть воображению. Мой прием — частично расшифрованная рукопись, состоящая из отдельных

фрагментов, — преодолел бесчисленные технические трудности, непременно возникающие, когда надо писать историю заранее. Надеюсь, мне удалось ясно представить свою детально разработанную теорию революции и мирового управления.

«Мир Уильяма Клиссольда» был написан, когда мировая экономика переживала «бум» и еще не выяснилось, как глубоко прогнила денежно-кредитная система. Вот Клиссольд и погряз в социальной апатии, вызванной тем, что промышленные, технические изобретения не употребляют по назначению; он хотел пробудить недовольство, необходимое для революционных перемен. Но к тому времени, когда я писал «Труд, богатство и счастье человечества», строя, так сказать, мастерскую для «Облика грядущего», искусственность и несостоятельность этого бума стала очевидной. Все категории рабочих, ученые, изобретатели, организаторы крупных производств, инженеры, авиаторы, педагоги, писатели, работники социальной сферы, искусные ремесленники, словом, все честные и творчески мыслящие люди, повсюду и повсеместно, осознавали: если они хотят, чтобы новая механизированная цивилизация, за счет которой они живут, не погибла, они должны подняться и действовать. Легальный заговор Клиссольда был умозрительным, необязательным и дилетантским. Легальный заговор Де Виндта, который завладел покинутым миром, — логическое последствие жестокой необходимости. Только личная катастрофа или явная ее угроза может подвигнуть рядовых представителей человечества на то, чтобы они попытались изменить свое положение революционным путем.

Шаг за шагом, через эту поступательную логику событий, я вел свой новый план революции от утопии и смутной концепции Новой республики к соприкосновению с современными движениями и политической действительностью. Вместе со своим классом и типом я продвигался ко все большей определенности. Появляются небольшие группы и общества, ставящие целью объяснить и воплотить «компетентного восприемника»; возникают периодические издания, специально ему посвященные; связанная с ним фразеология употребляется в политических дискуссиях. Независимые друг от друга, но близкие по духу проекты вступают во взаимодействие, они отдают и получают. Эти люди не просто пропагандируют идею. Каждый из них, в соответствии со способностями и возможностями, готовится к государственной службе, к преподаванию ремесел, к несению обязательных повинностей при новом общественном порядке. Искусные ремесленники, технически образованный средний класс, братство просвещенных умов скорее дадут ему силу, чем

пролетарские массы. Нельзя делать вид, что конструктивная революционная организация уже сейчас продвинулась вперед хотя бы в такой же степени, как обновленное образование или распространение космополитических идей. Она по-прежнему в зачаточной стадии. Чтобы придать революции новую ориентацию (точно так же, как для того, чтобы обновить образование), следует смириться с тем, что Уэбб так удачно назвал «неизбежной постепенностью», помня при этом, что «постепенно» не всегда совпадает с «медленно».

Я не сомневаюсь, что мы действительно приближаемся к созидательной мировой революции. Революционные организации всегда растут, как снежный ком. Легальный заговор под тем или иным названием или дух его под разными обличиями завоюет школы и колледжи, привлечет молодых людей, достойных и умелых, честных и прямых, решительных и непоколебимых. В конце концов он охватит все человечество. Он придаст внешнее оформление тому «компетентному восприемнику», отсутствие которого неизбежно вызвало крах раннего социализма. Это закон и порядок, обновленный и облагороженный. Он принесет с собой всеобщую занятость; жертвы же, которых он требует, временны и условны. Представленный во всей своей полноте, он может снискать прочную и заслуженную преданность; по мере того как к нему привыкнут, он будет все привлекательнее; людям необходимо ощущение преданности, а лучший объект подыскать нельзя.

Здесь, во всяком случае на некоторое время, я прерву рассказ об основном своде моих работ. В центре повествования постоянно находился мой мозг, но и о новом образовании, и об идее мировой революции как основном и направляющем интересе в жизни, думал не я один, а бесчисленное множество людей. Рассказ мой прежде всего о том, как сам я проделал путь, по которому идет все больше народу, но этот эгоизм — скорее мнимый. В дни моей молодости любили стишок о том, как Билл Адамс выиграл битву при Ватерлоо. Да, конечно, «Герцог» появлялся, но победу, в сущности, одержал Билл. А ведь битву действительно выиграл Билл Адамс, только помноженный на десятки тысяч, и он не так уж виноват, что был слишком занят своими действиями, чтобы обращать особое внимание на остальных.

Сейчас мне ясно, что современное Мировое государство, которое в 1900 году было мечтой, сегодня — вполне различимая реальность. Собственно, это — единственная разумная политическая цель для здравомыслящего человека. Она возвышается над веками, она бросает вызов, но достичь ее можно

разумными средствами, путь намечен, и настойчивая потребность в ней набирает силу. Жизнь в наше время — лишь борьба или некое «пока что». Тридцать четыре года назад мировое государство как идея неясно вырисовывалось в тумане, на дальнем берегу, в сказочной стране. Свод моих работ перекинул мне мост на этот берег, и висячий веревочный мост, как и все прочие веревки или доски, которые туда перебрасывали, — лишь предшественник виадука и широкого шоссе. Социалистическое Мировое государство стало завтрашним днем, таким же реальным, как сегодняшний. Туда мы идем.

9. Работа мозга вообще и ум в ключевой позиции

Тот конкретный мозг, за чьими взлетами, падениями и скитаниями по миру вы следили в этой автобиографии, в итоге пришел к тому, что надо установить социалистическое Мировое государство. Это стало его главным стремлением, это сделал он своей религией и конечной целью. Стоит ли говорить, что пришлось выработать очень четкие, очень определенные нормы, позволяющие судить и о личном поведении, и о государственных делах? Этот ум беспрерывно встречался и сталкивался с другими умами, вкупе и по отдельности; он оценивал их, узнавал от них, что надо делать и чего не делать; а значит, уместно завершить детальное описание моего интеллектуального роста несколькими замечаниями о других интеллектах, с которыми я сталкивался в работе над запутанными проблемами, которые завладели моим умом и цементировали его.

Общественная жизнь стала в конце концов казаться мне огромной политико-образовательной проблемой. Ее можно уподобить бурлящему морю деятельных умов. Моя частная жизнь — лишь звено, участвующее в этой многообразной жизни, в сознании человеческого рода. Общая проблема невероятно проста, хотя вариации бесконечны. Надо направить все это разнообразное множество умов — теперь их около двух миллиардов — в одном конкретном направлении, чтобы выработать новую мораль, новое руководство в жизни. Если мы этого не сделаем, нас ждут страшные последствия. В обозримом будущем человечество должно образовать единое государство, единое братство; иначе, сметенное обвалом катастроф, оно безвозвратно погибнет.

То, что жизнь ставит проблему объединения, совсем не ново. По крайней мере, двадцать пять столетий люди все отчетливее понимали это. Именно к объединению стремилась привести человечество любая из мировых религий — буддизм, христианство, ислам, когда находилась у своих славных истоков. Правда, ни одной из них не удалось достичь этой всемирности. В пору прилива сил они поднимались, но проходило время, и подъем прекращался. Мир так и не стал ни буддистским, ни христианским, ни мусульманским. Когда появлялась новая вера, словно намагничивали железный стержень в электрической катушке, и многие миллионы частиц, изначально направленных куда попало, обращались к единой цели. Однако всегда возникал предел; стержень оказывался слишком велик и большая его часть выходила за пределы действия или слишком быстро слабел,

прекращая индуцировать ток. Но из этого не следует, что вообще невозможно достичь всеобщего мира, общей веры и закона для человечества. Наоборот, успех этих вер — родоначальниц, несмотря на философскую недостаточность и промахи местных теологических общин и неоправданные претензии на чудотворство, провозглашенные слабыми людьми при неблагоприятнейших обстоятельствах — успех этот показывает, как восприимчивы к таким призывам обычные люди. Животное под названием «человек» скорее предрасположено к объединяющим формам общественной жизни, к миру и к сотрудничеству, и то, что сделано за сравнительно небольшой промежуток времени — двадцать пять веков, нескольких десятков поколений — лишь первая демонстрация будущих побед.

За тот недолгий срок, что я живу на свете, мы видели, как немыслимо развились наши знания в биологии и психологии, а именно психология таит в себе особые возможности, к которым мы почти не подступались, — как обуздать себя, как себя вести, как любить друг друга и вместе работать. Искусство поведения до сих пор остается в младенчестве, хотя материально-технический прогресс вывел возможности умственного взаимодействия на такие высоты, о которых мы и не мечтали. С небывалой легкостью мы можем друг с другом говорить и друг друга видеть. Вспомним, как начинались мировые религии. Слабый голос Основателя, обращающегося на маленькой и пыльной рыночной площади к случайной толпе, блуждания ничем не примечательных учеников, нечеткие и ненадежные записи, несовершенные евангелия, туманные послания, недоразумения, ошибки слуха, еретические толкования, сложности, связанные с проверкой и исправлением… Сравните все это с легкостью и ясностью, когда связь обеспечена и можно положиться на согласованность действий, — и широкий, хотя и частичный успех этих давних посевов станет для нас вернейшим предзнаменованием того, что новый образ жизни, к которому стремится не один Основатель, но бесчисленное множество оживающих, пробуждающихся умов, установится быстро и прочно. Теперь ученики и апостолы связаны не с тем или иным человеком, но с логикой человеческой потребности. Раньше кто-то получал откровение, понимал, что необходимо, скажем, по-новому подойти к образованию, и создавал план, согласно которому надо преобразовать экономические и политические отношения. Наше откровение целый век готовили наука и изобретения, а провозвестил его сам ход событий.

Я уже описал несколько встреч, которые очень повлияли на окончательное формирование моей *персоны* и моих идей. Здесь, в заключительной части, я предполагаю описать то, что имел

возможность разглядеть с близкого расстояния, и поделиться соображениями о некоторых умах, которые, видимо, занимали исключительное положение в мире, обладая небывалыми возможностями направлять и указывать. Их поступки в такой же степени определялись внутренними побуждениями, влияниями и обстоятельствами, как и жизнь Гиссинга, Крейна, Беннета или моя собственная, но получилось так, что они занимали несравнимо более выигрышные позиции, а потому влияли на огромное множество умов гораздо сильнее и непосредственней. Им выпала роль вождей. Все они принадлежат к моему поколению — познавшему разочарование, растерянность, интеллектуальный шок, и ни один из них не обладает той ясностью рассудка, той уверенностью и решимостью, которая, по-видимому, будет свойственна людям завтрашнего дня.

Когда мне было лет сорок, одной из выдающихся фигур стал Теодор Рузвельт. Он приложил огромные усилия, чтобы направить страну по верному пути. Он был настоящим хозяином Америки и принес ей освобождение. Политическая ее жизнь уже почти безнадежно выродилась в набор низкопробных приемов, на положение дел в мире она смотрела с узким, сентиментальным, эгоистичным патриотизмом, но он, прорвавшись сквозь все это, по чистой случайности стал президентом и живейшим образом использовал свои возможности. Из всех его предшественников со времен Линкольна не было более видной личности и более слышного голоса. Когда я обосновался в Спейд-хаусе и мне казалось, что никто меня не слышит, что я никак не могу повлиять на события, я, что естественно, преувеличил ту власть, которой он наделен, и стал искать с ним встречи. Мне еще предстояло понять, как призрачна и туманна власть политическая. Мне предстояло усомниться в том, есть ли вообще люди, обладающие в наше время реальной властью.

В 1906 году я поехал в Америку, чтобы написать серию статей для лондонской «Трибьюн». Президент пригласил меня на поздний завтрак, и мы погуляли с ним по лужайкам Белого дома. Говорил он непринужденно и откровенно, как в свое время говорил Артур Бальфур. Видных политиков того времени он громил направо и налево. Он ничуть не боялся, что какую-то из его фраз обратят против него; это необычно для политиков и очень привлекло меня. Я спрашивал — правда, не так прямолинейно, — как он себе представляет свои «виды на будущее», и, кажется, он отвечал мне честно.

В те дни еще только начинали приспосабливаться к мысли, что человеческие взаимоотношения меняют масштаб. Никто не осознавал его во всей необъятности, хотя повсюду ощущалось

волнение умов. Речь президента была полна рассуждений о будущем и в то же время оно внушало ему опасение. В своей книге я назвал ее «соединением воли и критического замешательства».

Едва ли кто-нибудь в то время решился бы принять идею планового Мирового государства. Рузвельт находился примерно на той же стадии, на которой был Сесил Родс ко времени своей смерти. Вероятно, он вообще многим обязан взглядам Милнера{312} — Киплинга — Родса. Он смутно представлял себе, что нужно свободное объединение — скорее соглашение, чем союз — свободных северных держав, чтобы контролировать следующий этап развития человеческих дел. К Центральной Европе он относился скептически, к Азии — презрительно и, как все мы в то время, совсем не видел революционных возможностей России. Ни один из нас не ощущал даже отдаленных толчков, предвещающих катаклизмы, которые поджидали мировую денежную систему.

О социализме он слышал, но, по-видимому, не мог представить его как что-то реальное, организованное и более осуществимое на практике, чем законное усовершенствование привилегий крупного бизнеса через введение правительственного контроля. Нужно помнить, что тогда еще не было разительных доказательств того, что частно-капиталистическая система разрушает сама себя. В сущности, это — суть марксистской теории, но немногие об этом знали и почти никто в это не верил. Предполагалось, что существующая система будет существовать и дальше, как бы петляя по циклам депрессии и восстановления; да она и производила впечатление жизнеспособного механизма, который, может быть, и дает сбои, но никогда не развалится окончательно; только после 1928 года люди нехотя начали понимать, что так называемые циклы совсем необязательны и депрессия может продолжаться бесконечно, так и не сменяясь реальным подъемом. Об этом Рузвельт и не догадывался. Естественно, при такой ограниченности идей он был искренним индивидуалистом, убежденным в том, что, если человек ищет работу, он непременно ее найдет, что есть место любому количеству здоровых рабочих рук (он страстно сопротивлялся «вымиранию нации» в результате снижения рождаемости), а для того, чтобы мир двигался вперед, нужен лишь хороший толчок. Самую большую опасность, грозящую славному течению индивидуалистической жизни, он видел в том, что растущие монополистические объединения могут ограничить и задушить конкуренцию, но считал, что это легко пресечь при помощи очень решительного антимонопольного законодательства и большей

осторожности при передаче частным лицам предприятий общественного пользования и особых прав на использование природных ресурсов. Он рвался защищать фермера-гражданина, легендарного фермера, первопроходца Запада, а сомнения отметал в какой-то мистической экзальтации. Я пытался исподволь, намеками высказать еще не вполне сформулированную критику существующего порядка; пытался передать свою убежденность в том, что все системы, строящиеся на конкуренции, непременно разрушают себя…

Но лучше я процитирую собственную книгу:

> «Любопытно, что когда я разговаривал с президентом Рузвельтом в саду Белого дома, меня с новой силой начали одолевать те скрытые сомнения, которые не давали мне покоя в течение всей поездки. В конце концов, действительно ли та великолепная личина прогресса, какую являет сейчас миру Америка, есть ясный и недвусмысленный залог поступательности и реальной выполнимости намеченного?.. Не страдает ли эта исполинша исполинским же бесплодием? Быть может, это — лишь позднейшая стадия в долгой череде экспериментов, которой была поныне и, возможно, будет еще несметное число лет — если не всегда — история человеческого общества? Трудно сейчас вспомнить, как задержался на этой теме наш чуть сбивчивый разговор, но я не сомневаюсь, что сумел схватить схожую нить рассуждений у самого президента. Он сказал, что не может веско опровергнуть мои пессимистические предвидения. Если бы кто-то счел нужным сказать, что Америка вскоре непременно утратит свой стимул и ей, как всему человечеству, суждено достигнуть предела, а затем исчезнуть, он не смог бы обоснованно отвергнуть такую вероятность. Просто сам он считает нужным жить так, словно этого не случится.
>
> Этот поворот темы не прошел для него незамеченным. Вскоре он сам заговорил о том же. Он как будто начал оправдывать прожитую жизнь, отметая сомнения и скепсис, которые, боюсь, таятся в глубине души каждого современного человека, наделенного живым умом. Он упомянул мою „Машину времени“… Жесты его стали выразительнее, напряженный голос забирался все выше. Пессимизм этой книги был для него неприемлем, он иначе представлял себе участь рода человеческого. Очередным резким движением он

опустился на колени в садовое кресло — мы стояли, собираясь прощаться, под колоннадой — и очень серьезно обратился ко мне через спинку, то надавливая на нее, то излюбленным жестом разжимая и сжимая кулак:

„Хорошо, — медленно сказал он, — предположим, что все это подтвердится, что все кончится вашими бабочками и морлоками. **Сейчас это не важно**. Реальны наши усилия. Они стоят того, чтобы продолжать. Стоят. Даже в этом случае — стоят“.

Я и сейчас слышу его немелодичный голос, повторяющий: „Сто́ят… сто́ят“, вижу движение сжатой руки и — как описать это? — то, как добродушно и сердито он щурился, словно от солнца. Таким он мне и запомнился — истинным символом творческой воли, со всей ее ограниченностью, сомнительной адекватностью, со всем героическим упорством среди всевозможных препон. Он стоит на коленях, возвышаясь над всей декорацией, причем декорация — Белый дом, а задник — вся Америка.

Я мог бы написать „а задник — весь мир“, ибо не знаю буквально никого, кто мог бы олицетворять творческий замысел и **добрую волю** с таким же правом. Своей недисциплинированностью, поспешностью, ограниченностью, предубежденностью, необъективностью, частыми ошибками — и своей силой, мужеством, цельностью, открытым умом он символизирует свой народ и свой человеческий тип».

Я написал бы так и сегодня. У «Тедди» был ум, с которым полезно познакомиться, а описание этого знакомства дает представление о том, в какой степени мысли о конструктивном плане мирового устройства посещали передовые умы двадцать восемь лет назад. По нынешним нашим меркам это, впрочем, едва ли можно назвать планом. То была беспорядочная смесь «прогрессивной» организации и демократии «маленького человека». Лесонасаждения, «охрана национальных ресурсов», законодательство, направленное против любых «объединений, ограничивающих торговлю», — вот на чем держалась его платформа, а кроме этого — политика «большой дубинки» под настроение, да слова о том, как прекрасны упорные усилия, которые, если подумать, в умственном отношении не так уж упорны.

Из всех умов, вознесенных на заметные посты в политике к

1906 году, когда сам я приближался к сорокалетию, этот, полагаю, был самым жизнеспособным. Радикальная теоретическая мысль ушла вперед, но так далеко, как он, ни одно облеченное властью лицо не заходило.

Человеком, которого я никогда не встречал и который, должно быть, представлял собой любопытную смесь широты восприятия и особого рода невежества, был Сесил Родс. Что до невежества, сэр Сидней Лоу рассказал мне, что он так и не научился правильно произносить имя своего главного противника и говорил «Старый Кругер». Хотелось бы мне знать побольше о процессах, происходивших в его мозгу, когда он думал о Южной Африке! Должно быть, там возникали идеи, очень похожие на те, которые порождал я около 1900 года, — о великом сообществе людей, говорящих и думающих по-английски, которое ведет человечество к прогрессивному единству самой мощью своей численности, богатства, технического оснащения. Он, конечно, не был ни узколобым приверженцем Государственного Флага, ни самозабвенным поклонником дражайшего ее величества. Учреждение его стипендий, переступавших все политические границы и прямо стремившихся к чему-то вроде взаимопонимания и взаимодействия между всеми западными, точнее — «нордическими», народами (уровень его этнологических познаний был как раз таков, чтобы уверовать в превосходство нордической расы) указывает на подлинно грандиозные намерения, пусть даже искаженные предрассудками и ничем не оправданными предубеждениями.

Становление этого ума я представляю себе недостаточно, но еще больше я хотел бы знать историю мозговой деятельности Редьярда Киплинга, с которым тоже не был знаком. Для меня он — самый непостижимый из моих современников. Иногда он поднимался до подлинного величия и великолепия и вдруг опускался до уровня всех этих мелких и гнусных садистов, «Ловкача и компании»{313}. Я не понимаю ни его отношения к Родсу, ни отношения Родса к нему. Он немыслимо популярен у нас, среди среднего и высшего класса; он — святой покровитель наставников по военной подготовке, неиссякаемый источник «мужественной сентиментальности», и один из мощнейших факторов, способствующих резкому иссыханию британского политического мышления за последнюю треть века.

Единственный представитель имперской группы участников Англо-бурской войны, которого я знал лично, — лорд Милнер. Он показался мне смело мыслящим, но стесненным тактическими хитростями и оговорками. В 1918 году он написал предисловие к моей брошюрке «Элементы реконструкции». Я сошелся с ним в

одном любопытном заведении вроде клуба — туда приходили поговорить и пообедать — под названием «Коэффициент», проводившем каждый месяц с 1902 по 1908 год заседания, на которых обсуждалось будущее нашей загадочной империи, то подающей надежды, то их мгновенно разбивающей. Эти разговоры сыграли важную роль в моем образовании. Благодаря им я впервые в жизни составил себе достаточно полное представление о многих процессах, происходящих в современной английской политике, и о мышлении среды, в которой организуются и принимаются решения.

В этом смысле наш клуб был именно тем, что, видимо, прочно исчезло из нынешней английской жизни. Там витал дух свободного сомнения, по крайней мере — потенциально в виде благого намерения. Мы как бы постоянно спрашивали: «Что мы делаем с миром? Что собираемся делать?» Возможно, правильнее сказать так: «Что делают с нашим миром? Что мы сделаем в ответ?»

Клуб соединял самые разные и занимательные умы. Основать его предложила, кажется, миссис Сидней Уэбб. Начало было положено собранием у сэра Эдварда Грея и мистера Холдейна (ни один из них тогда еще не был пэром) в Уайтхолл-Корте, где присутствовали одновременно столь несочетаемые по природе своей элементы, как Бертран Рассел (ныне лорд Рассел), Сидней Уэбб (который теперь стал лордом Пасфилдом), Лео Макзи (уже в 1902 году заявлявший о германской угрозе и требовавший Великой войны), Клинтон Даукинс{314}, который связывал нас с миром финансов, Карлайон Беллэрс — бывалый моряк, Пембер Ривз{315} — прогрессивный новозеландец, обосновавшийся в Англии, У.-А.-С. Хьюинз, Л.-С. Эмери и Г.-Дж. Маккиндер, готовые восстать втроем под началом Джозефа Чемберлена против свободной торговли. Позже к нам присоединились лорд Роберт Сесил, Майкл Сэдлер{316}, Генри Ньюболт{317} (тот, «Барабаны Дрейка»), Дж. Бирчинаф, усиливавший финансовое крыло, Гарвин, способствовавший уничтожению последних следов энциклопедизма в «Encyclopaedia Britannica»[31], Джосайя Уэджвуд{318}, лорд Милнер, Джон Хью Смит{319}, полковник Репингтон{320}, Ф.-С. Оливер, Ч.-Ф.-Г. Мастерман и другие. Мы дорожили нашим общением и почти всегда ходили на встречи. Несколько лет мы собирались в отеле «Сент-Эрминс» в Вестминстере, а позже — в Уайтхолле, в ресторане, на месте которого сейчас находится театр.

Большая часть этих людей уже освоила определенные политические роли, и только мы с Расселом были вполне свободны и безответственны. Из нашего общения я черпал

большую пользу, чем другие, поскольку восприятие мое было меньше сковано традицией и политической корпоративностью. Самые первые, посвященные общим проблемам дискуссии, были, по-моему, и самыми лучшими. Можно ли превратить Британскую империю в самостоятельную систему в рамках Zollverein[32]? Вопрос этот поначалу для большинства из нас был открыт. Я с этой идеей спорил. Британская империя, говорил я, должна быть предтечей Мирового государства или исчезнуть. Я обращался к географии. Немцы и австрийцы могли держаться вместе в своем Zollverein, потому что они — как крепко сжатый кулак в центре Европы. Британская империя подобна открытой ладони, простертой надо всем миром. У нее нет естественного экономического единства, и она не может обеспечить его искусственно. Соединяет ее единство великих идей, воплощенных в английской речи и литературе.

Я был очень доволен своей метафорой — кулак и открытая ладонь, — но восприняли ее слабо.

Сейчас, глядя через пропасть в тридцать два года на эти кофейно-ликерные беседы, я вижу Англию на перепутье. Тогда я еще очень дорожил своею убежденностью в том, что англоязычное сообщество может сыграть роль вождя и посредника на пути к мировому содружеству, словно живительный поток, несущий человечеству освобождение, свободу торговли и свободу слова. Вероятно, к тому же склонялись тогда Рассел, Пембер Ривз и, возможно, Холдейн с Греем, хотя и не выражали это столь непосредственно. Однако на обеденный стол легла темная тень Джозефа Чемберлена, который на «бескрайних вельдах» Южной Африки получил не то солнечный удар, не то откровение, подобно Павлу{321}, обратился к протекционизму и, вернувшись, начал настойчиво требовать того, что он называл «реформой тарифов», а надо было назвать национальным торговым эгоизмом. Его очень раздражал непрактичный либерализм Бальфура, Сесилов и либералов, иностранные державы, как он полагал, извлекали из наших отдаленных планов немедленную выгоду. У него отдаленных планов не было. Он начал борьбу за то, чтобы внедрить грубый здравый смысл и жесткие методы бирмингемского фабриканта-монополиста в международные отношения. Все больше и больше тень его разделяла нас на две партии. Год за годом на собраниях «Коэффициента» я видел, как идея Британского Содружества дичает и «империализируется». Я видел, как у англичан зародилось отвращение к нашим претензиям (для многих это было больше, чем претензии) на то, что мы одни великодушны, мужественны и вправе вести мир.

Несомненно, в первое десятилетие нового века

мировоззрение британцев сузилось, что было серьезным испытанием для моего ума; но, боюсь, если бы я попытался в этом разобраться, то вороха исписанной бумаги, которыми уже стала эта книга, превратились бы в неподъемную кипу. Благодаря экономическому развитию Америки и военной дерзости Германии вера в мировое лидерство Англии постепенно выдохлась. Долгое правление королевы Виктории, пора недорого доставшихся процветания и прогресса, породило привычку к политической праздности и легкомыслию. Как народ, мы оказались совершенно не подготовленными, и когда стало очевидно, что новые соперники бросают нам вызов, мы тут же стали задыхаться. Мы не знали, как на это ответить. Мы неохотно давали образование широким слоям британцев; наши университеты не поспевали за нуждами нового времени; правящий класс, чьи преимущества охранял всеобщий снобизм, обладал широкими взглядами, беспечностью и исключительной ленью. Эдуардовская монархия — и королевский двор, и общество — была мила и бесхребетна. «Эффективность», слово графа Розбери{322} и Уэббов, казалась педантичной и вульгарной. Наш либерализм утратил размах, превратившись в возвышенную блажь. Но многие умы пробуждались. За нашим столом в отеле «Сент-Эрминс» ожесточенно спорили Макзи, Беллэрс, Хьюинз, Эмери и Маккиндер, уязвленные небольшим, но унизительным перечнем поражений в южноафриканской войне, ощущающие угрозу экономического спада и глубоко встревоженные агрессивностью Германии на море и на суше. Спорили они в основном с либерализмом, чью сторону по-прежнему отстаивали Ривз, Рассел и я, насильно поворачивая нас от широких обобщений к конкретным проблемам.

Эти новые империалисты не видели разницы между национальной энергией и патриотической узколобостью. Сужая взгляды, можно быстро и без особых затрат увеличить эффект. Они защищали вооружение, военную подготовку, оборонительные союзы, а на широкое, действенное образование, в котором и заключено подлинное величие народа, смотрели с полнейшей беззаботностью, если не пренебрежением. Я пытался подойти к делу основательней, проследить скрытые истоки нашей инертности. Я говорил (что в основном списывали на простительную эксцентричность) о вреде монархии, о недоброжелательности высших кругов к подлинному таланту, а также о том, что всю сферу образования монополизировали Оксфорд и Кембридж. Я полагал, что если бы Великобритания стала республикой еще в начале XIX века и вместо привилегированных средневековых заведений и расцвета личной,

едва ли не феодальной, преданности основала современную, распространенную по всей империи систему университетов с центром в Лондоне, она бы во многом вернула былое единство с Америкой и совсем иначе смотрела в лицо всему миру. Наш образ мыслей, доказывал я, все еще связан с родовыми поместьями, все еще служит высшему обществу в духе XVIII века, ибо мы упустили свою революцию. Как видите, сплошные «если» и «бы», но так я тогда рассуждал.

Вскоре Бертран Рассел решительно порвал с клубом. Произошел спор, при котором я, к сожалению, не присутствовал. Хьюинз, Эмери и Маккиндер заявили, что они фанатично преданы империи. «Это моя империя, права она или нет», — говорили они. Рассел отвечал, что массу вещей он ставит выше империи. Он бы скорее дал погибнуть империи, чем пожертвовал свободой. Если эту преданность клуб и собирается проповедовать… И ушел, как типичный либерал-эгоцентрик, не посоветовавшись со мной. Позже мне передали общий смысл спора. Я сказал, что полностью на его стороне. Империя — удобство, но не божество. Хьюинз, протестуя, почти расчувствовался. Он империю любил. Объяснить свою любовь он мог не лучше, чем муж, которому предложили объяснить, почему он любит жену. Мне пришлось сдаться. Я сказал, что никогда не испытывал вкуса к изгойству, а потому не последую за Расселом, если только они сами меня не прогонят. Чем громче звучала в клубе эта империалистическая чушь, тем нужнее было, чтобы ей противостоял хотя бы один голос. Словом, прибив свой флаг к мачте, а себя — к обеденному столу, я остался, и мы продолжали прекрасно ладить друг с другом.

Как ни странно, из всех членов клуба самым близким по складу ума я считал Милнера. Он понимал, что мы должны построить новый мир; другое дело, что у него совершенно не было моей безответственной дерзости. Поэтому он впал в империалистический монархизм — чему, возможно, способствовало то, что он учился в Германии. Но по многим более мелким вопросам мы были согласны.

Холдейн{323}, наоборот, был мне интеллектуально чужд, хотя в целом его политическая позиция была ближе к моей. То был сибарит с крупным белым лицом и учтивой речью; он словно бы подносил слова на подносе, и они казались приятными даже тогда, когда приятными не были. «Души» — бальфуровская группа — в приступе вульгарности прозвали его «Пупсом». Он наплодил великое множество философских творений по немецкому образцу, в стиле, достойном хорошего юриста, но, на мой взгляд, безнадежно пустых. У него был целый букет ученых степеней, которыми его наградили такие же философы. Наблюдая

его во время наших собраний, я обычно гадал, чем он держится. Наверное, его возносили и баюкали облака собственных эманаций. Ему доставляли видимое удовольствие плавные движения его ума. По большей части он был очень занят тем, что делал сейчас — своими доводами, своей речью, своим изложением, своим ответом, своей лекцией, — и, вероятно, ему редко случалось погружаться в себя. Другие лежат без сна в предрассветные часы и пытаются разобраться в себе, испытывая угрызения совести и странную тревогу, вскрикивают, вскакивают, ходят по комнате, а Холдейн, несомненно, невозмутимо общался с Абсолютом, этим пузырем пустоты, пока не засыпал снова.

Когда после войны Англию посетил Эйнштейн, его принимал и развлекал Холдейн. Эйнштейна я знаю и могу вести с ним интереснейшие беседы на каком-то оллендорффском наречии французского языка о политике, философии и прочем; а потому жалею, что я не увидел, как исследуют друг друга эти совершенно несовместимые умы. Должно быть, Эйнштейн был похож на веселого, умного котенка, который пытается подружиться с воздушным шариком, очень большим и на удивление прочным.

Холдейн находил время писать философские труды. В академических кругах о них еще говорят с глубоким уважением, старательно избегая подробностей, но историю человеческой мысли они не перевернули. От грубой реальности во всех ее видах они уводят в особый мир словес. Собственно говоря, «Тропа к реальности» не написана; ее текст попросту перенесли со стенограммы гиффордских лекций, прочитанных сладостным голосом и откорректированных для публикации. Книга напоминает огромный мыльный пузырь, который по необъяснимой причине не переливается радужными красками. Издал он и перевод Шопенгауэра{324}, опустив не совсем приличные, но очень важные мысли об извращении.

Его сильный, методичный ум лучше всего выражал себя, когда надо было что-то организовать. Все признают, что благодаря его реформе армии в 1905 году в августе 1914-го смогли быстро отправить во Францию Британский экспедиционный корпус. Интеллект его, несомненно, был богаче и тренированней, чем у британских военных властей, и мог бы принести огромную пользу во время боевых действий. Но, увлекаясь тевтонской метафизикой, он заявил, что Германия — его «духовный дом», и Нортклиф в припадке шпиономании выгнал его из ведомства, как только началась война. Это глубоко его огорчило, поскольку он был наделен острым стратегическим чутьем. Впрочем, если сравнивать с Китченером и Френчем{325}, стратегическое чутье есть у всех.

Я не стану здесь рассуждать о том, что было бы, если бы взамен Китченера с его пьяной тупостью, по-армейски глупого Френча, бездарного Хейга{326} и вялого профессионализма военных вообще войной ведал Холдейн. Это уведет меня от петляющих троп автобиографии в дебри увлекательных, но бесплодных гипотез; кроме того, я уже сделал несколько прочувствованных замечаний об армейской касте в более ранней главе. Мало того, порассуждав на тему: «Если бы Холдейн был в военном ведомстве в 1914 году», пришлось бы написать и о том, что было бы, если бы нашим военачальником — конечно, блестящим, хотя и ненадежным — стал Уинстон Черчилль, а там дойти до самых странных предположений. Меня здесь интересует Холдейн как человек со своим мнением о судьбе человечества. Насколько этот, без сомнения, крупный ум был озабочен главной, неодолимой проблемой человечества и необходимостью перемен? Я уже говорил, как глубоко волновало это Теодора Рузвельта. Волновало ли это лорда Холдейна?

Не думаю, что между сиюминутным практицизмом и Абсолютом есть некий промежуточный уровень, на котором задерживался его разум, чтобы поразмыслить о том, что он делает с миром. Ум его не был развит сколько-нибудь серьезным изучением биологии или космологии; он представлял себе науку как полезные технические навыки, а не как более ясное и широкое видение, и в свою картину мира вряд ли мог включить возможность неограниченных коренных перемен. Занятия юриспруденцией, как правило, направляют разум к справедливости и устойчивости, а не к прогрессу. *Абсолют* же вреден для ума. Скорее всего, он просто думал, что «история продолжается примерно так же, как всегда», и ставил точку.

Еще одним членом нашего «Коэффициента», для которого вера в надежное постоянство навсегда обусловленной истории была, несомненно, исчерпывающей и достаточной основой политических воззрений, был сэр Эдвард Грей (ставший виконтом Греем Фаллодонским). Опять-таки, ум его казался мне удивительно неподвижным, не замечающим, как меняется все вокруг. Производил он впечатление глубокомысленного, ответственного человека, который ведет других, но это было обманчиво — как можно вести людей, если не движешься? Я не знаю никого, кто в меньшей степени наделен стремлением к результатам. Богатство и знатность словно бы ожидали его появления; он унаследовал землю и титул баронета в двадцать лет, а в двадцать три, при всеобщей поддержке, — ну как же, такой очаровательный молодой человек! — вошел в парламент. Он был высок ростом, красив неподвижно-классической красотой,

прекрасно играл в теннис, едва ли не лучше всех в Англии ловил рыбу. Об этом искусстве в тридцать семь лет, в пору наивысшего расцвета, он написал превосходную книгу. Его никогда особо не занимала внутренняя политика — кому-кому, а ему не приходилось сетовать на состояние страны, однако, когда в тридцать лет государственный и партийный долг призвал его стать заместителем министра иностранных дел, вокруг него и в нем самом стало крепнуть убеждение, что он в них разбирается. Разбирался он в них примерно так, как лорд Тиррелл, чьи взгляды я уже критиковал, рассказывая о том, что было со мной и Кроу-хаусом.

Я уже говорил, что ум Тиррелла сформирован гувернанткой. Можно отнести это почти ко всему штату иностранного ведомства. За людей этого класса берутся в раннем возрасте, когда еще не успеет развиться способность к защитной критике, и рассказывают им всякие истории о мифических существах — Франции, Германии, Англии, Испании, — да так уверенно, что те становятся реальней, чем папы и мамы. Им вбивают, что «Испания» — жестокая, «Голландия» — маленькая и смелая, «Германия» — промышленная и протестантская, а «Ирландия» — трагическая, покорная священству. Они считают, что есть плохие страны и хорошие. Как только обновленное образование прояснит эту область знаний, такие широко распространенные заблуждения станут немыслимы; читатели не захотят поверить в то, что я здесь пишу. Но умы этих людей застыли в этой форме, так черепа племени мангбету в Бельгийском Конго, которые с детства туго бинтуют, приобретают форму сахарной головы; немногим из них суждено развить в себе здоровый скепсис. В своем «Очерке истории» я попытался ясно показать, как вера в эти благовидные измышления, столь же мифические, как Ваал или Джаггернаут, за последние два столетия извратила жизнь человеческую и погубила миллионы. Правда о человеческих отношениях постепенно распространяется, но Грей вещал со свойственной ему важностью — точно так же, как трещал Тиррелл, — на тему «что чувствует Франция» или «когда Германия сделает то-то и то-то» и о том, что «для нас настанет время действовать». Он даже не считал нужным расширить эти персонификации настолько, чтобы сказать «они».

До самого августа 1914 года Грей казался мне человеком с неторопливым умом, хорошими манерами и привлекательным чувством собственного достоинства. Только тогда я понял, какую опасность может представлять для человечества упрямство зашоренного ума.

Вероятно, он хотел, чтобы война началась скорее всего

именно в это время. Раньше или позже на той международной шахматной доске, которую он видел вместо реальности, Германия должна была напасть. Что ж, лучше, чтобы она напала, пока ее военно-морские силы количественно уступают нашим, а паутина альянсов, которую мы заблаговременно сплели, держится крепко. Он никогда бы не принял участия в нападении, в превентивной войне, как говорят теперь во Франции, это не по правилам, так не поступают благородные державы. Но если Германия считает нужным напасть первой — очень хорошо. Значит, Господь отдает ее в наши руки.

Его обвиняют: он не предупредил толком Германию, не дал ей понять, что мы непременно вступим в войну, двусмысленные его решения подтолкнули ее к риску, и делал он это умышленно. Я думаю, эти обвинения обоснованны.

Вера в реальность национального самовыражения государств пережила войну. Когда я работал над созданием Союза Лиги Наций, я с некоторым отчаянием обнаружил, что все хотят сделать Грея нашим официальным руководителем, но для него Лига Наций неминуемо превращалась в Лигу Иностранных Дел. За вывеской «Франция» или «Россия» его разум не видел многообразия человеческих личностей, как медведь в зоопарке не думает об отдельных атомах в булочке.

Еще одним знакомым мне обладателем выпестованного гувернанткой ума был лорд Керзон. Он работал в Министерстве иностранных дел в 1920 году, когда я вернулся из Советской России. Я отправился к нему, чтобы предложить рабочее соглашение с нею. Я пытался объяснить, что речь идет о единственно возможном на тот момент режиме — если его свергнут, Россию постигнет такой хаос, какого еще не знал род человеческий, и о режиме слабом, остро нуждающемся в промышленной продукции, научных приборах и технической помощи всех видов. Говорил я и о том, что, сколь бы ни были велики наши возражения против марксистской теории, каким бы непримиримым ни был русский марксизм, какие-то знаки великодушия и сочувствия, готовность прийти на помощь неизбежно должны привести к взаимным уступкам. Я видел в Советской России возможность нового полезного вклада — и в моральном, и в политическом смысле ничего лучшего еще не предлагали Британии. Наше иностранное ведомство это отвергло, словно добродетельная дева известного возраста, которая отказалась бежать с возлюбленным и родить ему десять детей. Почти все это я описываю в моей книге «Россия во мгле».

Лорд Керзон слушал меня с тем видом, с каким слушают чужой язык, не желая признаться, что не понимают. Россия

представлялась ему такой же цельной и лично ответственной, как какая-нибудь тетя Салли или преступник на скамье подсудимых. Когда настала его очередь, он заговорил, слегка подчеркивая ключевые слова, примерно в таком духе: «До тех пор, пока *Россия* поддерживает *пропаганду* против нас в *Персии*, я не вижу никакой возможности предпринять что-либо из того, что вы предлагаете…»

Я утверждаю, что величайшую опасность для рода человеческого представляют сейчас выпестованные гувернантками умы, которые, по-видимому, монополизировали иностранные ведомства всего мира, а отношения людей представляют себе как игру между огромными, по-детски туманными абстракциями, которые мы зовем нациями. Некоторые говорят, что причины войны, по крайней мере в наши дни, — экономические. Это слишком разумно. Причины гораздо более призрачны. Такие люди, как Грей, Керзон, Тиррелл, предстают перед миром в очень недурном виде, но грубая правда — в том, что по образованию и по неумению подвергнуть хоть что-то критике они — слабоумные младенцы, которых надо учить начаткам человеческой экологии или признать невменяемыми и изолировать, как слабоумных, которые не пригодны к государственной службе.

Другим выдающимся человеком, с которым в канун Великой войны мне довелось обмениваться мнениями, был Бальфур, «мистер Артур». Как правило, мы встречались в Стэнвее, в Тэплоу-Корте, и в разных лондонских домах. Он, во всяком случае, выгодно возвышался над уровнем детской, где царит гувернантка. Так и чувствовалось, что он умен, рядовых соратников это даже смущало. Ум у него был активный и любознательный. Ему понравились мои ранние книги, и благодаря ему и Касту я узнал кое-что о людях, которые объединялись вокруг него и леди Мэри Элчо, о «Душах». Это тоже было что-то вроде «Легального заговора». Они пытались уйти от самодовольной тупости и уклончивой мещанской порочности, которые отличают Англию конца века, пытались по-новому увидеть жизнь. Бальфур вырос в атмосфере научной мысли; Фрэнсис Бальфур{327}, его младший брат, был превосходным биологом, чей «Учебник эмбриологии» первым оповестил меня о существовании этого семейства. У Артура совершенно не было мощной энергии Теодора Рузвельта; то был долговязый, непритязательный, хотя и потакающий своим слабостям холостяк. На образцового британского джентльмена он походил еще более, чем сэр Эдвард Грей. Он был так богат, так знатен и так хорошо пристроен, что некоторая отчужденность от пыльных, тяжких склок, которыми полна повседневность, вошла у

него в привычку.

Трудно сказать, где пролегает в отчужденности граница между возвышенностью и трусостью. Он мог проявлять мужество (например — в бытность свою министром по делам Ирландии, когда жизнь его подвергалась постоянной опасности) просто потому, что не верил, что его могут убить. Однако когда его исконный либерализм столкнулся лицом к лицу с низостью торгашеского империализма, то, при всей своей стойкости, он сплоховал. Он позволил отбросить себя на задний план людям с более узкими взглядами и более близкими целями.

О религии он спорил как скептик. Бога он защищал, спрашивая: «А что ваша наука знает доподлинно?» — и укрывался под сень правоверия в пыльном облаке философских сомнений. Он предвосхитил мое замечание о том, что человеческий разум — такой же продукт борьбы за выживание, как свиное рыло, и, вероятно, столь же мало приспособлен для того, чтобы откапывать основополагающую истину. Но он щедро поддерживал Англиканскую церковь, которая, может быть, точно так же права или не права относительно конечных истин, как и все прочие, а я использовал свою свободу от жестких убеждений, чтобы снова и снова толковать свой мир с точки зрения здравого смысла.

В годы затишья перед 1914 годом и во время последующих катастроф я восхищался Бальфуром. Когда я писал замысловатый и путаный роман «Новый Макиавелли» — один из худших и самых показательных моих романов, — я вставил туда что-то вроде карикатуры на него под именем Ившем, причем несообразно его возвеличил. (В этой же книге, между прочим, есть и условный набросок «Коэффициента» в виде клуба «Пентаграмма».) В уста Ившема я вложил разные рассуждения, явно свои собственные. А вот пассаж, показывающий, какого уровня я достиг к 1912 году:

> «Разве не видел я в парламенте, как он, упорный, убежденный, неутомимый и, по всем моим меркам, прискорбно несговорчивый, склоняется над столом, упрямо рассекая рукой воздух, а то раскачиваясь взад-вперед и ухватившись за отворот пиджака, с дьявольской искусностью отстаивает то, что на самом деле представляет собой проверку на религиозность, — проверку, которая, как он прекрасно знал, оскорбит, унизит, горько уязвит сознание и совесть некоторых, возможно лучших молодых учителей, которые приходят работать в начальную школу?
>
> Стремясь набрать очки в пользу своей партии,

Ившем иногда вполне бессовестно использовал свой острый ум. Сидя на скамьях либералов, я смотрел на него, слушал его бархатный голос и понимал, что очарован им совершенно. Действительно ли все это его волновало? Принимал ли он это близко к сердцу? А если нет, почему же он с таким рвением старался оградить узкие страсти своей партии? Или, видя дальше моего, он сознавал, что мелкое прегрешение оправдано величественными целями, о которых я и не ведал?

Его обвиняли в непотизме{328}. Несомненно, друзья его и родственники были хорошо обеспечены. В личной жизни он был добр и привязчив; он радовал других, пленяясь и радуясь сам. Иногда можно было подумать, что перед тобой — просто умный и удачливый человек, охотно занявшийся политикой, но потом, словно ты увидел орла сквозь стеклянную крышу, мелькала мысль: „Да он же велик! Таких политиков сейчас нет“. Кроме политики у него, кажется, не было горячих пристрастий, только интересы, привязанности и праздность; жизнь его раздирали те же конфликты, что и меня. Он умел видеть и мыслить; но иногда мне казалось, что величие его стоит над реальностью его жизни или позади нее, словно безукоризненный слуга, который застыл в ожидании за стулом не очень важного хозяина и думает о чем-то своем».

Есть в этом отрывке что-то очень юношеское. С тех пор я стал тверже и мудрее. Одно дело, когда тебе тридцать восемь, и совсем другое, когда за плечами у тебя холодноватая перспектива длиной в шестьдесят восемь лет. Позже я понял, что Бальфур не раз и не два позволял выкручивать себе руки уступающим в силе соперникам. Так, он пустил «Таймс» с торгов; она досталась тому, кто предлагал наивысшую цену; она попала к Нортклифу, но могла попасть и в гораздо худшие руки, причем Бальфур бы пальцем не пошевелил. Кажется, никто из наших состоятельных аристократов не захотел в то время рисковать и частью денег, чтобы эта газета оставалась рупором общественного мнения. Впрочем, контроль над нею был весьма существенной частью их господства. Они уверовали в закоренелый снобизм *нуворишей* и получили Нортклифа, который был кем угодно, только не снобом. Так через должное время возник коммерческий консерватизм, на знаменах которого было начертано «Б.Д.У.» (Бальфур Должен Уйти). Не сумев обуздать новую породу людей, он попытался вставлять им палки в колеса, и тогда они ополчились на него

самого.

Вероятно, Бальфур и впрямь мог бы стать величайшим из моих современников, но пристрастиям его недоставало пыла, а привязанностям — стойкости. Из-за своей нерешительности, из-за нежелания сделать жесткий выбор эти утонченные люди в конце концов становятся жертвами тщеславных потуг и легкой склонности к лицедейству. Так и случилось. Он лицедействовал и знал это, как недавно поведал Вольф Хамберт{329} в «Инглиш ревью» (июнь 1934 г.). По мере продолжения войны к лицедейству его все больше побуждала самозащита.

Средь суматохи и бесчинств военного времени он постепенно превращался из «начальства» во влиятельную личность. Однажды мне довелось получить мимолетное свидетельство тех раздоров, которые кипели и в нем самом, и вокруг него. Мы были у леди Вемис на Кадогэн-сквер, разговор шел о том, как реагировали на войну разные классы. Ему захотелось что-то мне объяснить. «Хуже всех, — сказал он, — повели себя наши бизнесмены». «Хуже всех» он выделил.

Разумеется, он мог многое добавить, но мне не хватило ума или решительности его разговорить.

После войны он окончательно лишился власти. Он стал просто высокопоставленной особой, под конец, пожалуй, — одной из самых высокопоставленных особ во всей Англии. Последняя вспышка его обаяния и энергии пришлась на Вашингтонскую конференцию 1924 года. Благодаря ему это была самая мирная конференция, какую только можно вообразить. Взаимная симпатия между Вашингтоном и Вестминстером значительно возросла. Встречаясь и общаясь с ним в Вашингтоне, я, однако, не удержал в памяти то, что тогда говорили. Конечно, и он и Грей были истинными джентльменами, но их содержание дорого обходилось обществу, не получавшему соответствующей дозы умственных усилий или плодотворной решимости взамен своих трат, взамен парков, замков и прочих почестей.

Как-то раз — кажется, в 1920 или 1921 году — я пошел вместе с Джейн в Институт международных дел, где выступал Бальфур. Свет падал на него, и у меня вдруг возникло странное ощущение — совсем недавно я видел очень похожий череп. В один миг мысль моя перенеслась в Москву, и я шепнул Джейн: «У него голова совершенно такая же, как у Ленина… Это невероятно».

Возможно, все дело в освещении, так что не буду настаивать. Ленин во всех отношениях был переменчив, деятелен и агрессивен, Бальфур устойчив и ленив, но обоих отличал острый ум с жилкой скепсиса, что неизмеримо возвышало их над

глупостью и узостью Грея и Керзона или прихотливым миром иллюзий, в котором жил Холдейн. Видимо, ни один из них не был ортодоксален; Ленин верил в догмы марксизма примерно настолько же, насколько Бальфур — в Троицу, но оба обнаружили способность к самому разрушительному конформизму. Ленин использовал марксизм для того, чтобы подстегнуть процессы ради необходимых перемен, а Бальфур использовал христианство и христианские организации, чтобы помешать переменам, которые, при любом стечении обстоятельств, неизбежно нарушили бы беспредельно благостное спокойствие его жизни. В моей книге «Россия во мгле» я рассказываю, как был в России. Мы с Лениным долго беседовали; разговаривал я и о нем.

Во-первых, это был ум совершенно непривычного мне типа и занимал он такую позицию, какая до войны вообще не представлялась возможной. Казалось, что он — полновластный хозяин всего, что осталось от России; однако владычество его было не таким уж безграничным. Ему приходилось держать в узде строптивую команду сторонников и такое орудие, как ОГПУ, которое могло выскользнуть из рук и ужалить его самого — скажем, когда казнили великих князей после его распоряжения об отсрочке. Кроме того, он был очень зависим от священных текстов Маркса. Подлинное или притворное их почитание объединяло всех его последователей, и тем, кто был призван привести ленинский вариант Священного Писания в соответствие с *его* задачами, приходилось быть до крайности изобретательными. Все эти препятствия и затруднения сковывали Ленина. И все же слава, окружавшая его имя, была поистине грандиозна.

Своим авторитетом он был обязан тому, что разумно рассуждал и здраво видел ситуацию во время революционного кризиса. Тогда он и стал человеком, которому каждый готов поверить свои страхи или сомнения. Сила его была в простоте замысла, сочетавшейся с изощренностью мысли. Едва заметными изменениями, важность которых можно осознать лишь теперь, после его смерти, ему удалось переделать марксизм в ленинизм. Из учения доктринера-фаталиста он создал гибкую, творческую тактическую схему. Пока Ленин держал рычаги управления этой схемой, его нимало не волновало, что на ней стоит ярлык марксизма. Но в том году я увидел, что и портрет его, и образ в России тихонько оттесняют бородатого предшественника. И впрямь, сам он обладал куда более живым и тонким умом.

Как любой человек, он принадлежал своему времени и стадии собственного развития. Каждый из нас на эту встречу принес определенные убеждения. Мы говорили о том, что

необходимо заменить крестьянское хозяйство широкомасштабным сельским хозяйством (за восемь лет до первого пятилетнего плана!) и об электрификации России, которая была тогда его личной мечтой. Я отнесся к этому скептически, поскольку не знал, в какой степени возможно использовать в России энергию воды. «Приезжайте и посмотрите на нас через десять лет», — сказал он в ответ на мои сомнения.

Когда я разговаривал с Лениным, меня гораздо больше интересовал предмет нашего разговора, чем мы сами. Я забывал о том, высокие мы люди или маленькие, старые или молодые. Я заметил, что он — небольшого роста; заметил, что он очень увлечен, а замысел его прост. Но сейчас, когда я просматриваю книгу четырнадцатилетней давности, воскрешаю свои воспоминания и сравниваю его с другими знакомыми мне людьми, находившимися у кормила власти, я начинаю понимать, какой он был выдающейся исторической личностью. Я не хотел бы подписываться под концепцией «великих людей», решающих ход истории, но если уж говорить вообще о величии применительно к человеку, должен признать, что Ленин, по самым скромным меркам, был велик.

Раз уж в 1912 году я применил это слово к Бальфуру, я почти обязан отвести здесь этому приступу энтузиазма приличествующее ему место, сопоставив его с тем, как я оцениваю сейчас Ленина. Позвольте мне со всей ответственностью признать, что, когда я взвешиваю достоинства этих двух людей, у меня даже не возникает вопроса о том, куда качнется стрелка весов, — Бальфур сразу взлетает наверх и ударяется о перекладину. Неопрятный человечек в Кремле умственно посрамил и неизмеримо превзошел его. Ленин до конца оставался живым, а конец Бальфура наступил, когда он еще пытался действовать. Когда мы виделись, Ленин уже болел, ему приходилось часто отдыхать; в начале 1922 года врачи запретили ему ежедневную работу. В то лето он был частично парализован, а в начале 1924 года умер. Таким образом его безраздельное влияние длилось меньше пяти донельзя насыщенных лет. За это время, наперекор всем трудностям, он сумел придать России импульс созидательного ускорения, которое продолжается и в наши дни. Только благодаря ему и созданной им Коммунистической партии русская революция не обернулась варварской военной автократией и полной катастрофой. Задействовав, вне всякого сомнения, жестокие, но необходимые средства (иначе бы эксперимент не выжил), партия его сумела обзавестись тем дисциплинированным персоналом для создаваемого экспромтом, но добросовестного

административного аппарата, без которого в современном государстве невозможно совершить революцию. Сохранив в полной мере гибкость ума, он с поразительной быстротой перешел от революции к перестройке общества. В 1920 году, когда состоялась наша встреча, он с юношеской энергией изучал возможности «электрифицировать Россию». Пятилетний план (ему он представлялся, правда, в виде череды губернских планов), российская энергетическая система, достижения Днепрогэса уже обретали очертания в его мозгу. Словно закваска в тесте, он продолжал напряженно работать еще долго после того, как рабочие дни его завершились. Вероятно, он и сейчас работает так же мощно, как всегда.

Во время моей последней поездки в Москву в июле 1934 года я посетил его Мавзолей и снова увидел этого небольшого человечка. Он казался еще меньше обычного; лицо его было очень бледным, воскового отлива; беспокойные руки лежали неподвижно. Борода была более рыжей, чем мне запомнилось. Выражение лица его было очень достойным, простым и немного трогательным; в нем были и детскость, и мужество — главнейшие качества человека; и вот он уснул — так рано для России! Убранство было скромным и возвышенным, атмосфера пропитана религиозным чувством, и я вполне готов поверить, что женщины там молятся. Снаружи, на площади, все еще красуется надпись: «Религия (под которой, напомню, в России всегда разумеется православие) — опиум для народа». Лишенная этого опиума, Россия обращается к новым наркотикам. Как-то вечером в Москве мне показали новый фильм Дзиги Вертова{330} «Три песни о Ленине». Это истинный апофеоз, настоящие «Страсти»; он и впрямь стал Мессией. Нужно увидеть и услышать этот фильм, чтобы понять, как удивительный русский образ мысли подчинил социализм эмоциям, превратил его в личное почитание пророков, и насколько важно, чтобы западные ветры снова продули эту землю.

Весной 1934 года мне очень захотелось увидеть и сравнить Франклина Рузвельта и Сталина. Мне захотелось понять, насколько эти два мозга стремятся к созданию социалистического Мирового государства, в котором я вижу единственную надежду для человечества.

Всем предшествующим изложением я добросовестно, а по возможности достоверно и ясно, пытался объяснить своему неутомимому читателю, какая концепция мировых проблем обретала очертания в моем мозгу в годы, минувшие с той поры, когда я играл на заднем дворе Атлас-хауса. Я постарался показать

сменявшие друг друга фазы, в которых моя вера становилась все определенней, пока я (как и многие другие) не понял, что надо создать организацию, подобную той, которую я называю «Легальным заговором». Более разумно и совершенно она воплотила бы в жизнь первый коммунистический опыт, компетентно осуществив принципы либерального социализма, способного в конечном счете охватить весь мир системами, ответственными за просвещение, принуждение и администрирование. Я верю, что именно к такой идее спланированного Мирового государства движутся наша мысль и наше знание. Она понемногу пронизывает человеческий разум, потому что факты науки и ход истории сообща способствуют этому. В отдельных проявлениях или опытах она осуществляется повсюду. Меня нисколько не пугает, что до сих пор нет особой политической организации, которая бы ее усвоила. По самой своей природе на формальное политическое противостояние она повлияет едва ли не в последнюю очередь. Когда случай наконец придаст ей ускорение, все произойдет сравнительно быстро. Не успев опомниться, мы включимся в новую политическую проблематику, в которой все усилия открыто и сознательно объединятся, чтобы перейти от разрозненных суверенитетов прошлого к социалистическому Мировому государству.

Я отказываюсь гадать, сколько времени должно пройти, прежде чем социалистическое Мировое государство станет политической реальностью. Иногда мне кажется, что это уже не за горами; иногда — что пропаганде и образованию предстоит подвергнуть еще не одно поколение. И опасность войны, и экономическое давление принудят разум человечества обратиться к единственному выходу. Эти жестокие наставники могут очень хорошо возместить безразличие и отсталость учителей. Планы политического синтеза и экономического преобразования, видимо, становятся все более смелыми и получают все большее распространение. Словом, не было ничего неестественного в том, что я под воздействием порыва и несколько преждевременно отправился в Америку и в Россию, чтобы спросить, не настало ли это время. «Что общего, спросил бы я, между *Новым курсом* Америки и *Новым планом* России? Какое отношение имеют они к созданию Мирового государства?»

Некоторые читатели могут сказать, что это политическая дискуссия, а не автобиография. Что ж, это и дискуссия, и автобиография. Чем ближе мы к концу своей жизни, тем больше нас заботит политика. По-моему, демократическое толкование прав человека выражает себя не столько в праве голоса (чаще всего за кандидатов, выдвинутых другими), сколько в том, чтобы

спрашивать, получать ответы и выносить собственные суждения. Вот я и спрашиваю. Эти две поездки очень важны в моей жизни, и рассказ о них — самое частное, самое личное завершение моей истории, какое только можно вообразить. Современная жизнь — это сначала экспансия, а потом убыль, но мы не завершаем, а открываем. Уходя, мы не произносим напутствий — мы открываем двери и отступаем в тень.

Перед отплытием в Америку мне довелось увидеть, как тщетные усилия полностью разоблачили себя в Альберт-Холле. Собрались чернорубашечники, и трудно вообразить что-нибудь более безмозглое. Сперва медленно и помпезно появилось нелепое полоумное существо, одетое как инструктор по фехтованию, но с каким-то индийским поясом. Выпятив грудь и зад, Мосли степенно прошествовал по центральному проходу, а кончилось все единым взрывом мальчишеских криков: «Хотим Мосли!» Руки взметнулись, и я заметил, что кричит только его дисциплинированное окружение.

Мосли я встречал годами — как многообещающего молодого консерватора, как многообещающего неофита лейбористов с коммунистическим уклоном и, наконец, в том качестве, в каком он пребывает сейчас. Он всегда казался мне скучным и тяжеловесным, в политике — подражательным, в речах — плоским и пошлым, поэтому меня не интересовало, что он собирается сказать на этой встрече. Когда его банальности, без проблеска остроумия или мудрости, гулко зазвучали в зале, а тупость их непомерно подчеркивали громкоговорители, мы заметили, что он странно чавкает (по какой-то причине он изобрел что-то вроде собственного говора), а потом стали обсуждать время, проведенное им в Сандхерсте, и его военные воспоминания, которых я не знал. Но вниманием моим завладели его сторонники и публика в целом. Публика была разношерстная, любопытная и не слишком отзывчивая; оставалось много пустых мест. Какие-то милые мальчики и симпатичные молодые люди, а также другие, не столь симпатичные, в черных рубашках и серых брюках, выполняли роль распорядителей, раздавая тексты идиотских песенок о своем прославленном Вожде, обеспечивая рукоплескания, заполняя зал и вообще следя за тем, чтобы все не провалилось. По-видимому, они в основном представляли средний и высший класс. Многие смущались, было в них что-то отчаянно серьезное, то ли настырное, то ли виноватое. Они не отдавались своей роли, как волосатые молодые итальянцы, которым они подражали, в них не было романтической убежденности, и я никак не мог понять, зачем они все это делают. Какие жалкие фантазии, гадал я, должны бродить в симпатичных,

юных мозгах, чтобы подвести к такому выбору?

Этот вопрос следовал со мной через Атлантику. Есть ли в Англии то, что мы могли бы назвать образованием? Может, мы называем так систематическое размягчение мозгов? Какой истории учили этих юношей, какое представление о жизни они получили, если начинают политическую жизнь с *такого* выбора, с Мосли?

Только выиграв войну за культуру, мы можем надеяться на Мировое государство. Есть разные способы осуществить «легальный заговор», но решающей станет битва за образование, битва за то, чтобы сделать наличные знания доступными, понятными и действенными. Мир прошел путь от повозок и ветряных мельниц до аэропланов и машин, образование же такого скачка не сделало. Новые умы, входящие в мир, берут в оборот некомпетентные, непросвещенные педагоги; их подстерегают неверные устаревшие представления; им навязывают окостеневшую и плоскую фальсификацию истории и политики. С такими людьми у нас ничего не выйдет. Мы не сможем построить новую цивилизацию с двумя миллиардами оболваненных существ. Нам приходится иметь дело с убогим, испорченным материалом. Косное, покалеченное сознание могло бы еще сгодиться для относительно крепких социально-политических порядков девятнадцатого столетия; сегодня оно себя изжило. Своей зловещей инертностью оно столь же опасно, как высокие, день ото дня растущие кучи рыхлого песка по сторонам котлована.

Вечером, нервно меряя шагами прогулочную палубу, я размышлял о том, как мало мы делаем для образования, как мало сделал я. Мне вдруг захотелось подхватить какой-нибудь особый вирус, чтобы кусать людей, заражая их бешеной тягой к образованию. Я держал путь из одной удручающе невежественной страны в другую, но, ничего не попишешь, это самые просвещенные страны в мире. И потому, что бы я ни знал, как ни думал, я надеялся найти семена новой жизни, которые уже прорастают и дают побеги.

> Еще не наступила весна золотого века.
> Век золотой вернется вновь,
> И юная земля
> Стряхнет изношенный покров,
> Как мудрая змея.{331}

Это написано сто лет назад и до сих пор остается пророчеством.

Нью-йоркская гавань была окутана туманом, очень уместным и очень неприятным. То здесь, то там с пароходов звучали сирены, обладавшие тем сходством с политическими лидерами, что невозможно угадать, о каком курсе они извещают. Наш «Вашингтон» в Амброз-Чэнел чуть было не столкнулся с «Балином». Неожиданно выскочив из тумана, немецкий лайнер прошел от нас в десяти ярдах с неположенной стороны. Услыхав совсем близко от себя невнятный шум голосов, я выглянул из иллюминатора и увидел крупным планом изумленные лица пассажиров на их палубе. «Балин» проскользнул мимо и исчез в тумане, а я поднялся на палубу послушать, что думают другие. Мнения разделились; расстояние между нами оценивали от шести футов до двадцати ярдов. Когда суда сблизились, их притягивало друг к другу водоворотом. Некоторые пытались представить, что произошло бы, если бы они столкнулись. Впрочем, никто особенно не беспокоился; все воспринималось в ключе «жизнь вообще теперь опасна».

Приехав в Нью-Йорк, я стал выслушивать суждения о «Новом курсе». Мне хотелось изучить атмосферу, в которой работает президент, прежде чем я его увижу. У моих хороших друзей собирались, чтобы поговорить, компании самого разного состава. Кроме того, я написал определенным людям, которые могли дать сведения из первых рук. Все говорили свободно, и не буду точно передавать, что сказал тот или иной. Как-то я оказался рядом со скромным юношей, чье имя я толком не расслышал. Он стал раскрывать мне свое видение мира, которое на редкость совпадало с моим, только все было упорядоченней и реалистичней. Оказалось, что это А.-О. Берл из так называемого «мозгового треста». «А сколько *вас* еще?» — хотел я спросить его, и не спросил.

Потом, как бы для контраста, я выслушал сидевшего напротив руководителя крупного концерна, красивого седовласого джентльмена со звучным голосом, который клеймил все американские новшества, начиная с президента и кончая последним человеком в очереди безработных, и требовал, чтобы его немедленно вернули в счастливые дни 1924 года. (А может быть, 1926-го?) С тех пор он не видел ничего существенного. «А сколько *вас*?» — думал я. Его вера в экономический анархизм и бесконечную череду экономических циклов была тверда. Поскольку данная депрессия, говорил он, оказалась особенно длительной и сильной, восстановление экономики будет особенно блистательным. Идеи Герберта Спенсера и Мартино{332} он смело привил к взглядам посла Чоута{333}, доблестного оптимиста, описанного мной в «Будущем Америки» как мистер

Зет, «богатый дядюшка Пиппа».

Между этими двумя полюсами, между пониманием и отрицанием реальности встречались самые разные типы. Я поспорил с приятной парой нью-йоркских «красных», таких же рьяных и нетерпимых, как их предки пуритане. Они были выходцами из вполне обеспеченного слоя, а свою веру в Карла Маркса, в его философию и психологию, в его божественную мудрость излагали так, словно Ленин прожил жизнь впустую; при этом они были столь же полными и последовательными противниками Нового курса, как седовласый президент концерна. Рузвельт, говорили они, «пособничает капитализму». Он пытается ускользнуть от социальной катастрофы и полностью отрезать путь их драгоценной диктатуре пролетариата, что никак не совпадает со Священным Писанием. Чем лучше он поступает, тем хуже выйдет, ведь на нем нет подлинной благодати, убеждали меня эти правоверные красные.

В Нью-Вилларде, в Вашингтоне, я видел цвет американского повстанчества, моих старых друзей Кларенса Дарроу{334} и Чарльза Рассела{335}. Их вызвали в столицу для доклада о том, как применяются разные законодательные акты, и они отчитывались со всей непримиримостью и бесполезностью, на какую были способны. Они всегда и во всем были «пр-ротив правительства». Зарево свободы полыхало в зрачках Дарроу.

Я очень его люблю и прекрасно понимаю. Я и сам склонен противостоять властям и враждовать с догмой, но он лет на десять старше меня, это — другое поколение; воспитавший его американский радикализм совсем не похож на ту атмосферу, в которой вырос и которую описал я. Я верю в коллективный свободный разум, в здравый смысл, открытый любой критике, а Дарроу суеверно верит в обычного, отдельного, неорганизованного человека, дорожащего своей свободой. Другими словами, он — чувствительный анархист. Он — за воображаемого «маленького человека», против монополии, против правил, против любых законов.

Поразительно, как широко распространена среди американцев эта фантазия об упорном, независимом, «здоровом» и компетентном маленьком человеке, изначально праведном, — о западном фермере, лавочнике, настойчивом, экономном, трудолюбивом предпринимателе. На первые шаги в создании всеохватной экономической структуры, находящейся под контролем общества, нью-йоркский президент концерна и крайний радикал Кларенс Дарроу реагировали почти одинаково. «Оставьте нас в покое», — запальчиво говорили они. Тот же идеал, то же стремление увековечить исконный индивидуализм

маленьких людей явно просматривались в антимонопольном законодательстве Теодора Рузвельта. Это иллюзия. Проблему личной свободы нельзя решить, дробя экономику; этот самый фермер уже давно потерял независимость и вынужден выращивать одну-единственную культуру; владелец магазинчика прислуживает в шикарном универмаге или стал агентом по продаже патентованных товаров, а мелкий предприниматель — игроком, а там и банкротом. Однако иллюзия жива. Позаимствовав выражение у русских, можно сказать: это кулацкий идеал. Я обнаружил, что он до сих пор процветает даже среди вашингтонских директоров А.А.А.{336}.

И Дарроу и Рассел усмотрели в новом законодательстве определенный умысел. Героического маленького человека, по их мнению, умышленно приносили в жертву, *продавали* крупному бизнесу. Но не Новый курс приносит его в жертву широкомасштабным торговым сделкам — это звезды, это судьба. Как бы то ни было, в этом вопросе два анархистски настроенных старых радикала могли бы объединиться и с теми состоятельными молодыми коммунистами, которые считали, что Ф.-Д. Рузвельт «пособничает капитализму», и с тем сердитым ревнителем общественной пользы, который заявлял, что из-за Нового курса капитализм гибнет. В основе этого неожиданного единодушия лежит что-то подсознательное.

Больше всего в нью-йоркской атмосфере обращала на себя внимание та смесь восхвалений и стремления умалить, с какой говорили о президенте. В Вашингтоне впечатление это усилилось. Такой поворот разговора почти вошел в ритуал. Сперва толковали о мужестве Рузвельта, о его честности, обаянии, а потом шло «но…». Контекст этого «но» был разный, но все они, вместе взятые, показали мне, что Франклин Рузвельт, как никто, потряс расхожие представления американцев. Надо помнить, что мнения, которые человек может формулировать и выражать, — одно, а то, что он молчаливо или подсознательно принимает, — другое. Предвестия нового общественно-экономического строя, которые до сей поры оставались безобидной болтовней немощной интеллигенции, внезапно охватили традиционный бизнес и политический обиход. Треснул освященный временем панцирь выспренней лжи, и оказалось, что Америка может принять суровую действительность. С таким видом, будто он решил заново сдать карты из прежней колоды, предназначенной для старинной игры в политический покер, президент взял новую колоду, с другими картами, другими ценностями, и невозмутимо и решительно приступил к другой игре. Что это за игра? Знает ли он сам? Понимает ли, что это революция? Воображаемые ответы

на эти каверзные вопросы — ответы гипотетические и экспериментальные — и вызвали все эти «но».

Чего же они хотели: понять его или прогнать? Я растерянно слушал. Скорее всего, и они растерялись, а растерявшись — испугались. Кое-что признавая за ним, они не хотели такого президента, но понятия не имели, чего же потребовать взамен. Американский мир достатка и деловитости был настолько спокоен за свои свободы, настолько убежден в своих возможностях, настолько верил в свою ценность и необходимость, что попытку чуть пристальней изучить его деятельность принял с какой-то преувеличенной клаустрофобией. Он готов бороться и отвергать любой вид регулирования. Сам он завел в тупик экономику и производство, всего год назад он бледнел и трясся перед надвигавшейся катастрофой, а сейчас, когда непосредственная опасность миновала, оправился и заявляет, что ее и не было. Теперь он будет мешать и обличать в полную меру своих возможностей. В 1906 году в книге «Будущее Америки» я высказал вполне очевидную мысль: у американцев, и богатых и радикальных, нет «чувства государственности». Сейчас им на скорую руку пытаются привить это чувство, и они сопротивляются.

Они отшатываются от президента, решившего перестроить фасад государства, намерены мешать ему всеми возможными способами, но реальной политической альтернативы у них нет. Это безотчетное, инстинктивное сопротивление, как у мула, который тянет назад. Но пути назад у Америки сейчас нет. Если Рузвельт и его Новый курс потерпят поражение, ее ждут дальнейший упадок в финансовой и деловой сфере, тяжелые общественные беспорядки, политический гангстеризм и бурное одичание больших регионов. И первыми пострадают все эти влиятельные люди, которые бранят его и чинят ему препоны.

Отсутствие какого бы то ни было государственного чувства, безответственность, выпестованная тем, что историю начинают с восстания, а завершают прославлением личной предприимчивости и загадочной власти «нар-рода», — вот истинная помеха, мешающая спасти в последний миг огромные материальные накопления прошлого века, пока они не погибли, и навести порядок в управлении новыми ресурсами человечества, пока еще не поздно. Порядок и коллективное управление требуют деятельных и преданных государственных служащих.

Очевидная неспособность нынешних чиновников справиться с задачами, которые неизбежно будут на них возложены, и внушает сейчас сомнения в том, успеет ли Америка осуществить грандиозные перемены и тем самым избежать катастрофы. Можно

ли заменить их? Самое важное для американского общества — в сжатые сроки найти министров, чиновников, функционеров, которые достаточно честны, мужественны и компетентны, чтобы довести до конца неизбежные преобразования.

Тем временем за пределами Федеральной государственной службы, которой не хватает ни людей, ни денег, намечается умственное брожение в различных кругах — университетских профессоров, писателей, научных и технических работников, мыслящих людей свободных профессий — всюду начинают размышлять об исконных пороках американского общества, все более в нем заметных. Появилась интеллигенция, гораздо более многочисленная, чем в Англии. Мыслит она грубее, чем британская, но и смелее, не так осторожно. Американские бизнесмены этих людей нарекли «длинноволосыми радикалами», «салонными социалистами» или просто «психами», стараясь не замечать, как растет их влияние. Когда кризис достиг роковой черты, обнаружилось, что эти «психи» могут оказаться «экспертами». С весьма смешанными чувствами бизнесмены осознали, что новый президент не внемлет голосу солидного, досточтимого «опыта», дабы излечить или хотя бы подлечить экономику этак процентов на восемь, а консультируется с «новыми мозгами». Один журналист, не совсем уверенный в том, обиден или же лестен намек на умственную деятельность, придумал выражение «мозговой трест», и сообщение об этом «тресте» обошло весь мир.

Я столько думал о том, возможен ли всемирный «легальный заговор» здравомыслящих людей, что сообщение это очень меня возбудило и заинтересовало. Я хотел знать, какая объединяющая сила скрывается за всеми этими разговорами и как подключить ее к творческой революционной мысли в Европе.

Теперь я знаю достаточно, чтобы сделать вывод: движение это — никакой не заговор; в основе его не лежат идеи, общие для всех участников. В нем нет согласия, которое есть у радикалов, установивших республику в Мадриде, нет прочного единства дореволюционных большевиков. Общность между разнородными, непохожими людьми поддерживают, в сущности, лишь стремление провести вместе научный анализ финансовых и промышленных процессов и применить на практике его результаты в общих интересах. Члены движения разобщены и традицией, и личными свойствами. Собрал их президент, и именно из них, а не из нечестных политиков и профессиональных взяточников, он будет пополнять и расширять государственный аппарат, если есть хоть какая-то надежда на спасение Америки.

Реймонд Моли{337}, интересовавшийся историей «мозгового

треста», очень доходчиво объяснил мне ее, когда мы беседовали в нью-йоркском Хэнгар-клубе. Он выделил три основные группы людей, имеющие интеллектуальное влияние: монетарные реалисты, такие как профессор Ирвинг Фишер{338} и профессор Роджерс, которые создают зачатки научного контроля за денежной массой; организаторы экономики, такие как Джонсон, Тагуэл{339} и Берл, ратующие за то, чтобы государство увеличило число рабочих мест и обеспечило занятость; и адвокаты, — из которых я знаком только с Феликсом Франкфуртером{340}, — занятые тем, чтобы разработать и ввести законодательные ограничения, которые сдерживали бы деятельность, разрушающую общество, и мешали бы использовать организацию для личного обогащения. Многие из этих людей никогда не встречались. Связь между ними осуществлялась через резиденцию губернатора в Олбани, когда Франклин Рузвельт был губернатором штата Нью-Йорк, а теперь — через Белый дом. Вместе их свели вопросительные знаки, которые поставил президент, и они сотрудничают, не завися друг от друга.

Если говорить о форме, то именно в этом разительное различие между Вашингтоном и Москвой. Здесь созидательные усилия направляет и координирует мозговой трест; там — централизованное, личное руководство, но цель у них одна — все более организованное широкомасштабное сообщество.

Я четыре раза побывал в Белом доме и дважды — в Кремле, чтобы увидеться с их хозяевами, но ни разу не был, и навряд ли когда-нибудь буду, в Букингемском дворце. Может быть, это связано с впечатлениями очень раннего детства. Я уже рассказывал, как противился материнскому помешательству на «дорогой королеве», как ревновал к королевскому отпрыску; но главная причина такого республиканского упрямства — видимо, в моей убежденности, что некоторые институты в Англии давно себя изжили, что они ничего не делают. Конституционная монархия, подменяя главу государства номинальным главой, дробит и обезличивает руководство обществом. Тем самым британская система становится слабой, как беспозвоночное, у которого нет головы, и совершенно не способной к целенаправленному движению. В военное время монархия возвращает себе или пытается вернуть централизованную власть; о том, к чему это приводит, я уже говорил, когда рассказывал о войне. Как и подобает безголовому беспозвоночному, империя проявляет завидную живучесть: ее можно разрезать на части, ампутировать Южную Ирландию; вывести из строя флот, развалить тяжелую промышленность. Она может мириться с хронической безработицей и с тем, что половина ее молодых

людей деморализована, и все же твердо верить в свой счастливый удел, благодаря фальшивому бюджету или летнему солнышку. Так и вышло, что я, почти безотчетно, как свидетельствуют приведенные мною документы Лиги Наций, привык смотреть на Запад в поисках ориентира для англоязычного сообщества — и где угодно, только не в Лондоне, искать такой ориентир для человечества.

Я уже рассказывал о том, как бывал у Теодора Рузвельта. Тогда я как будто побывал в богатом, удобном загородном доме, где можно полениться и поговорить. Визит к президенту Хардингу{341} напоминал политический прием в официальном здании — шумное радушие, сердечные рукопожатия; убранство же и мебель изменчивого Белого дома напоминали о популярном клубе. Визит к президенту Гуверу{342} принял форму непрошеного вторжения к перегруженному, изможденному человеку, который на месяц опаздывает со своими делами и не надеется их сделать; Белый дом в знак солидарности стал неряшливым, бестолковым, с массой каких-то передних, где торчали вешалки, неожиданных, ненужных дверей, через которые шныряли растерянные чиновники. Президент вообще не разговаривал со мной; он сказал речь о том, что Америка может сама себя обеспечить, предназначенную, видимо, Лавалю{343}, уехавшему во Францию примерно за неделю до этого. Мне она интересной не показалась. Еще при Хардинге в Вашингтоне развился какой-то глупый этикет, и иностранный посетитель времен Кулиджа{344} и Гувера шел к президенту не как человек к человеку, но попадал в Белый дом — после надлежащих формальностей — в сопровождении своего посла. Решили, что Англия и Америка могут общаться только через дипломатическую пипетку. Сэр Рональд Линдси{345} виновато меня привел и сидел рядом со мной во время встречи, словно взял в гости незнакомую собаку и не знает, как она себя поведет. Но я проявил должный политический пиетет, так что дипломатических последствий не было. Я просто слушал и сдерживался. Наверное, дипломатическая выучка не позволит сэру Рональду опубликовать мемуары: «Те, кого я сопровождал в Белый дом».

К 1934 году, впрочем, от этих обычаев не осталось и следа. Я уже немного переписывался с президентом, так что явился к нему сам от себя и обнаружил, что его волшебная резиденция снова стала роскошным частным домом. Неприбранность гуверовской поры куда-то исчезла. Все было просторным, невозмутимым, налаженным и неспешным. Кроме мистера и миссис Рузвельт с нами обедали их дочь миссис Долл, личный секретарь президента мисс Ле Хэнд и еще одна дама, а потом почти до полуночи мы

легко и непринужденно беседовали с хозяином, его женой и мисс Ле Хэнд, словно мировой кризис угрожал чему угодно, только не Белому дому.

Как всем известно, президент — калека. Он напомнил мне Уильяма Эрнеста Хенли. У него такой же крупный торс и почти бездействующие ноги, но, в отличие от Хенли, он не может проворно передвигаться при помощи палки и костылей. Однако за обедом и после, когда он занял кресло в своем кабинете, его физическая беспомощность была совершенно незаметна. Миссис Рузвельт показалась мне весьма приятной и начитанной; меня предупреждали, что она жуткая «училка», но с классной дамой ее роднила только особая тщательность в подборе слов. Ни в нем, ни в ней не было ни малейшей рисовки. Они не заботились о том, оправдают ли они чьи-то ожидания или какое производят впечатление; они просто с какой-то странной непредвзятостью интересовались положением в мире. Говорили они о нем отстраненно, словно их это не касалось. Касалось это нас всех, мы должны были сыграть свою роль, но ответственное положение — не повод изъясняться загадочно, напыщенно или с туманным всеведением.

Даже если бы память меня не подводила, я бы не стал описывать течение и перепады нашего разговора. Упомяну только одно: президент был явно озадачен последними шагами британской дипломатии и хотел понять, как и все мы, что замыслил сэр Джон Саймон{346} и соответствует ли его поведение каким-то смутным реалиям британского мышления. Если это не так, почему же на Дальнем Востоке, да и вообще повсюду, два больших англоязычных сообщества постоянно ссорятся и не считаются друг с другом? Естественно, на авансцену разговора выплыла навязчивая идея насчет мира во всем мире. Если бы не огрехи политического механизма, говорил я, не косные традиции, не умственная недоразвитость британского Министерства иностранных дел или что там еще, англоязычные массы уже сейчас могли бы вместе с русскими, заручившись ярой поддержкой французов, решительно заявить, что в мире должен царить мир. И он бы царил. Какие бы мечты о завоеваниях и владычестве ни таились в умах немногих вояк и патриотов за пределами такого сообщества, они обречены бессильно тлеть под холодным душем мощного согласия. А что, собственно, ему мешает?

Это была лишь одна из затронутых нами тем. Меня сейчас больше интересуют не сами суждения, а то, как мы думали о них и их выражали. Меня прежде всего занимает здесь не политика, не правительственный курс, а встреча с новым типом сознания. У

меня вполне устойчивые и развернутые представления о социалистическом Мировом государстве. Но я убежден, что есть они и в сознании каждого человека, разум которого открыт неограниченным преобразованиям. Я не хочу сказать, что президент разделяет эти революционные идеи в том тщательно разработанном и исчерпывающем виде, в каком их вижу я; вероятно, это не так. Я не думаю, что он — сознательный участник упоминавшегося «заговора»; конечно, установки его по необходимости ограничены рамками расхожих истин, с которыми он обязан считаться. Но эти идеи повсюду окружают его, и если только я в нем не ошибся, скоро им завладеют. Ход истории работает на них и побуждает его к действию. Оба они — и он, и миссис Рузвельт — показались мне людьми непредвзятыми, у них современный открытый ум и новая логика действий. В этой главе я достаточно свободно употребляю слово «зашоренный». Здесь, в Белом доме, властвовало сознание незашоренное, открытое.

Этого мало, если говорить о супругах Рузвельт. Артур Бальфур обладал в высшей степени открытым умом, но не решался воплотить те самые идеи, которые так легко воспринял. Многое он принимал по привычке — Церковь, двор, общество, империю; и, в сущности, не верил в те новые мысли, что будоражили его ум. Президент Рузвельт в них верит. Ум у него такой же восприимчивый, как у Бальфура, но он одержим редкой жаждой действия и воплощения своих идей, которой у Бальфура не было и в помине. Человек, который может так откровенно делиться своими мыслями в непринужденной беседе, помимо прочего, тонкий политик, умелый организатор людей и масс. Как президент задумал, так он и делает. И ему, и его жене свойственна простота, которая выражается формулой: «Если это правильно — сделаем». Без малейшей экзальтации, не оправдываясь и не смущаясь, они делают то, что в данную минуту представляется нужным. Такое единство нетрадиционной мысли и практической воли — нечто новое в истории. Не стану пускаться в рассуждения о тех специфически личных или специфически американских условиях, которые могли это породить. По мере того как они будут осмыслять окружающие их проблемы, они все решительнее осознают и конечную цель — «легальный заговор». Франклин Рузвельт воплощает не эту цель, а продвижение к ней. Он — самое действенное передаточное устройство, посредством которого можно достигнуть нового мирового порядка, поскольку исключительно «благоразумен» и в высшей степени непримирим. На собственном примере он показывает, как можно принять, испытать и применить в самых крупных масштабах великие идеи современности, не впадая при

этом в жесткий догматизм. Он — последовательный революционер, но в совершенно новом роде, ибо ни в малой мере не стремится к революционному кризису.

До того, как я посетил Вашингтон, я был склонен думать, что силы, противящиеся перепланированию социальной и политической системы, способному приостановить Америку на пути к краху, — индивидуалистическая традиция, эгоистическая вседозволенность, хитрая и безжалостная изворотливость политических и законодательных приемов — очень велики, и президент Франклин Рузвельт обречен на поражение. Я написал статью «Место Франклина Рузвельта в истории» («Либерти мэгэзин», октябрь 1933 г.), в которой давал слово, что у него ничего не выйдет. Но тогда я думал, что он придерживается устоявшегося, самодостаточного набора идей, подобных тому, какой сложился у меня самого. Теперь же я чувствую, что он гораздо гибче и сильнее. Он смел и непредвзят в своих суждениях, поскольку ум его — дальновиден, а мужество — велико; особые же свойства перворазрядного политика-любителя не позволяют ему уйти от реалий и возможностей политической жизни. Он не дает им воли и не подчиняется им. По-видимому, он никогда не уходит вперед настолько, чтобы рисковать своим лидерством, но всегда держит в уме передовые ориентиры. Он знает толк в современной экономической науке, в финансах, в международной политической психологии и при этом умеет выступить по радио через голову партийных организаторов, владельцев газет и т. п., чтобы ясно и убедительно изложить свои взгляды рядовому избирателю.

Словом, он — нервный узел, ответственный за восприятие, выражение, передачу, соединение и воплощение, то есть именно такой, каким, по-моему, должно быть современное правительство. Если в конце концов окажется, что по-человечески он не совсем такой, не важно, тут много верного, во всяком случае — достаточно, чтобы я отвел ему место важнейшего сопутствующего персонажа в этой политико-психологической автобиографии.

Двадцать первого июля мы со старшим сыном отправились в Москву. Сын хотел лично познакомиться с некоторыми русскими биологами, труды которых он изучал, а заодно побывать у них в лабораториях. Днем мы вылетели из Кройдона, провели ночь в Берлине и дальше летели через Данциг, Ковно и Великие Луки. 22-го вечером еще до темноты мы прибыли в Москву. До самого Амстердама погода была ясная, потом, между ним и Берлином, мы дважды угодили в грозу. Зарево ярко освещенного Берлина мы увидели с опозданием. В дождливой тьме то и дело вспыхивали

молнии; наш пилот, заходя на посадку, зажег сигнальные фары, а внизу трепетало желтое марево огоньков на фоне красных и белых ламп. На следующий день мы летели из Великих Лук в Москву. Этот последний перелет на Восток, проходивший невысоко над землей, в золотистых лучах послеполуденного солнца, был просто волшебным.

В 1900 году, когда я писал «Предвидения», такое путешествие было бы невероятным, как полет на ковре Аладдина; в 1934 году достаточно обратиться в одну из туристических фирм, и она без малейших хлопот его устроит. Это — доступная каждому небольшая экскурсия, и стоит она меньше, чем обошлось бы путешествие по железной дороге тридцать лет тому назад. Скоро она покажется таким же пустяком, как сейчас — вызов такси. Только одряхлевшая политическая организация да ретроградное сознание тормозят полную победу над пространством.

Москва очень преобразилась, это видно даже с воздуха. Под нами было не тяжеловесное, живописное, черно-золотое, окруженное, как во времена варваров, стенами, расположенное возле огромной крепости военное поселение, которое я видел в первый мой приезд 1914 года. Не осталось и следа от запущенного, полуразрушенного, тревожного города, каким Москва была при Ленине; сейчас он беспорядочно и деловито возрождался. Повсюду царила строительная лихорадка — возводились заводы, фабрики, рабочие кварталы, в пригородных лесах строили дачи и клубы. Никакой план с воздуха не просматривался; так и казалось, что город разрастается сам собой — это свойственно скорее городам, где царствует индивидуализм. Мы пронеслись над лоскутным одеялом посадочных площадок и увидели множество аэропланов, стоявших возле ангаров. Быть может, у Москвы сосредоточена вся русская авиация; во всяком случае, такая мощь воздушного флота оставляла сильное впечатление. Двадцать шесть лет назад в своей «Войне в воздухе» я изобразил широкие поля, усеянные самолетами, но даже самые отчаянные потуги моего воображения не подсказали бы мне, что я их увижу.

Признаюсь, я ехал к Сталину не без подозрительности и предубеждения. У меня к тому времени сложилось представление о скрытном и эгоцентричном фанатике, лишенном слабостей деспоте, ревниво взыскующем абсолютной власти. В его противостоянии с Троцким я склонялся на сторону Троцкого. У меня было высокое, возможно, слишком высокое, мнение о военных и административных способностях последнего; и мне казалось, что Россия, которой позарез нужны талантливые руководители, не должна с такой легкостью отправлять их в

изгнание. Суждение это было несколько поколеблено, когда я прочитал автобиографию Троцкого, в особенности — второй ее том; но я по-прежнему рассчитывал увидеть в Москве безжалостного, черствого, самонадеянного человека, по всей вероятности — доктринера, эдакого грузинского горца, чей дух на веки вечные обречен обитать в родных ущельях.

И все же я должен был признать, что он не просто угнетал и тиранил Россию — он управлял ею, и Россия под его руководством набирала силы. Хотя все славословия *первому пятилетнему плану* я сурово просеивал сквозь сито скепсиса, возрастало впечатление, что он вообще-то удается. Любая сплетня из первых рук, которая могла мне поведать что-то новое об этих двух людях, возбуждала мое любопытство. Я уже сомневался в том, что встречу в Москве Синюю Бороду, злодея, заправляющего Россией. Впрочем, если бы мне не хотелось отрешиться от собственного предубеждения и приблизиться к истине, я бы не поехал снова в Москву.

У этого одинокого властолюбца, думал я, должно быть, чудовищный, невыносимый характер, но ум его, безусловно, свободен от шор догматизма. Если мое представление о мире хоть в чем-то верно и если он действительно так незауряден, как мне начинает казаться, то у нас обнаружится определенная общность взглядов.

Я собирался рассказать ему о своем разговоре с Рузвельтом, о перспективах мирового сотрудничества, которые открываются перед человечеством. Особенно мне хотелось подчеркнуть, — как и раньше, в Белом доме, — что и англоязычные, и русские, и жители стран, географически связанных с ними, то есть проживающие в умеренном климатическом поясе, включают в себя огромное количество людей, представляющих, как необходимы взаимопонимание и взаимное сотрудничество, чтобы создать Мировое государство. Помимо этих двух важнейших предпосылок моего плана есть и третья мощная сфера потенциального сотрудничества — испаноязычное сообщество. Народы, которые вместе с китайцами составляют подавляющее большинство человечества, вопреки своим так называемым правительствам, страстно хотят мира, развития промышленности и организованного процветания. Такие явления, как японский империализм, национальная самодостаточность Кэ д'Орсэ{347} и Муссолини, инфантильная изворотливость британского иностранного ведомства и германская политическая паранойя, окажутся просто жалкими помехами на пути к единству, когда взаимное тяготение обогатится способностью понять друг друга и общностью терминологии. Воинственность Японии — не столько

угроза человечеству, сколько полезное напоминание о том, что мы должны отбросить различия и как можно шире распространить одну ясную и определенную волю, волю к миру во всем мире. Япония, как возможный, но крайне маловероятный союзник Германии, — последняя действенная угроза цивилизации со стороны реакционных сил. Франция по духу своему неагрессивна; Великобритания же никогда не избавится от нерешительности. Для начала мне хотелось выяснить, насколько такой взгляд на международное положение близок Сталину. Если бы он в общем согласился, я постарался бы понять, до какой степени он разделяет мою убежденность в том, что нынешней своей неспособностью обуздать жалкие, хотя и свирепые потуги агрессивного патриотизма, широкие массы обязаны вовсе не каким-то коренным свойствам человеческой натуры, а старым бестолковым традициям, дурно поставленному образованию и неверным истолкованиям; то есть, в сущности, тому, что мы не можем передать населению наших стран правдивые представления об истории человечества и о той объединяющей цели, которая перед ним стоит. Цель эта — высокоорганизованное мировое сообщество, в котором идеал служения займет место выгоды. Различия между политическими диалектами, на которых выражалось стремление к этой цели, совершенно бессмысленны и лишь приводят к трате времени и сил. Творческие порывы пропадают втуне из-за педантизма и недоразумений.

Неужели никак нельзя привести общие политические установки в соответствие с духом времени, чтобы интеллекту западного мира созидательные намерения России перестали казаться чем-то чуждым и отталкивающим, поскольку она не хочет расстаться с устаревшим политическим жаргоном, лексиконом классовой борьбы, который вышел из оборота лет пятьдесят тому назад? Любая частица этого мира, выполнив свое предназначение, должна умереть; пора признать, что умер — не только физически, но и умственно — сам Карл Маркс. Цепляться за эти надоевшие фразы так же нелепо, как электрифицировать Россию при помощи электрических машин или цинковых и медных батарей образца 1864 года. Марксистская теория непримиримой вражды классов уже мешает планировать новый мировой порядок. И в нашем, англоязычном, сообществе это особенно очевидно.

Устаревшая доктрина, предписывающая безоговорочное право на истину пролетариату или политику, его представляющему, отталкивает компетентных технологов, которые жизненно необходимы для решения великой задачи, и

насаждает мистический массовый энтузиазм, который противостоит дисциплинированному сотрудничеству. Я собирался твердо сказать, что Россия лишь на словах способствует единству и солидарности человечества, а на самом деле движется своим курсом к своему, особому социализму, который все больше утрачивает какую-либо связь с социализмом мировым, и при этом внушает несметным массам своего народа недоверие и даже враждебность к огромным неофициальным слоям западного общества, ратующим за всемирную консолидацию. Неужели и впрямь невозможно выработать общую линию созидательной пропаганды? Ведь мы, чего доброго, эту возможность упустим.

Нам со Сталиным пришлось говорить через переводчика; это очень типичный пример того, как условия общения отстают от материального прогресса. Он говорит по-грузински и по-русски, но не может связать и пары слов ни на одном западном языке. Поэтому с нами все время был представитель МИДа, господин Уманский{348}. Достав блокнот, в котором быстро записывал по-русски то, что каждый из нас говорил, он оглашал по-русски мои мысли, почти так же проворно читал мне английские ответы, а потом сидел, с напряженной готовностью глядя поверх очков. При такой постановке дела какие-то мои фразы неизбежно пропадали, восполняясь фразеологией Уманского. Беседу замедляли и мои настойчивые попытки удостовериться по ответу в том, что до Сталина верно донесли хотя бы суть моих рассуждений, оставляя в стороне вопрос об оттенках смысла.

Все мои подспудные опасения увидеть перед собой сурового и непреклонного горца рассеялись с первой минуты. Он — один из тех, кто на фотографиях и портретах выглядит совершенно иначе, чем в жизни. Его непросто описать, и многие описания преувеличивают мрачность и неподвижность лица. Скованность в общении, личная простота породили толки о коварном лицемерии; сделали его предметом изобретательной, падкой на скандал, глухой молвы. Обычные обстоятельства его частной жизни так старательно замалчивались, что это плохо сочеталось с его исключительным положением в обществе, и, когда около года назад его жена неожиданно умерла от какой-то болезни мозга, людское воображение сочинило легенду о самоубийстве, что было бы невозможно, будь здесь хоть немного больше стремления к открытости. Стоило нам начать беседу, и все мои мысли о подводных течениях и скрытом душевном напряжении исчезли бесследно.

Я увидел ничем не примечательного человека в вышитой белой рубахе, темных брюках и сапогах, который что-то

высматривал в окно, стоя в просторной и почти пустой комнате. Он чуть застенчиво взглянул на меня и с дружеской открытостью пожал мне руку. Ничем не примечательны были и черты его лица; их нельзя было назвать ни безупречными, ни, уж тем более, «утонченными». Взгляд блуждал где-то в стороне от меня, но не потому, что мой собеседник избегал смотреть мне в лицо — он был начисто лишен того непомерного любопытства, которое понуждало его предшественника на протяжении всей беседы пристально смотреть на меня из-под ладони, прикрывавшей больной глаз.

Начал я с того, что рассказал ему, как Ленин в конце разговора заметил: «Возвращайтесь и посмотрите на нас через десять лет». Я протянул все четырнадцать, но теперь повстречался в Вашингтоне с Франклином Рузвельтом и, пока мои вашингтонские впечатления еще свежи, захотел встретиться с мозговым центром Кремля, поскольку считаю, что именно эти два человека, и только они, определяют будущее человечества. Он ответил обычной формулой ложной скромности — все это мелочи, сущие пустяки.

Мы никак не могли преодолеть застенчивости. Оба были настроены дружелюбно, нам хотелось добиться непринужденности, но ее не было. Его, по-видимому, очень смущало неравенство нашего положения, но он держался естественно и понимал, что разговор затронет очень значительные темы. Он предложил сесть за стол; господин Уманский сел рядом с нами, достал свой блокнот, открыл его и разгладил с видом деловитым и ожидающим.

Я чувствовал, что мне придется нелегко, но Сталин с такой готовностью и желанием объяснял свою позицию, что скоро паузы, необходимые для перевода, почти перестали ощущаться, поскольку я был занят подготовкой ответов. Я полагал, что у меня в распоряжении не больше сорока минут, и, когда они прошли, неохотно предложил прервать беседу, но он выразил твердое намерение продолжать ее хоть три часа. Так мы и сделали. Нас обоих остро интересовало, что думает собеседник. В общем, мне удалось сказать ему все, что я хотел. Свою точку зрения я излагал выше, поэтому интересно здесь только то, как отвечал мне Сталин.

Не знаю, кого из нас это больше поразило, но я по ходу беседы сильнее всего удивился тому, что он не желает видеть и отдаленного сходства между процессами, методами и целями Вашингтона и Москвы. Когда я заговорил с ним о планируемом мире, я изъяснялся на языке, которого он не понимал. Выслушивая мои предложения, он никак не мог взять в толк, о

чем идет речь. По сравнению с президентом Рузвельтом он был очень скупо наделен способностью к быстрой реакции, а хитроумной, лукавой цепкости, отличавшей Ленина, в нем не было и в помине. Ленин был насквозь пропитан марксистской фразеологией, но эту фразеологию он полностью контролировал, мог придавать ей новые значения, использовать ее в своих целях. Ум Сталина почти в той же степени вышколен, выпестован на доктринах Ленина и Маркса, как выпестованы гувернантками те умы британской дипломатической службы, о которых я уже написал столько недобрых слов. Его способность к адаптации так же невелика. Процесс интеллектуального оснащения остановился у него на точке, которой достиг Ленин, когда видоизменил марксизм. Ни свободной импульсивностью, ни организованностью ученого этот ум не обладает; он прошел добротную марксистско-ленинскую школу. Иногда мне казалось, что я сумею сдвинуть его в нужном направлении, но, как только он чувствовал, что из-под ног уходит твердая почва, он хватался за какую-нибудь освященную временем фразу и устремлялся назад, к ортодоксальности.

Я никогда не встречал более искреннего, прямолинейного и честного человека. Именно благодаря этим качествам, а не чему-то мрачному и таинственному, обладает он такой огромной и неоспоримой властью в России. До нашей встречи я думал, что он, вероятней всего, занимает такое положение потому, что его боятся; теперь же я понимаю, что его не боятся, ему доверяют. В русских есть что-то и детское, и утонченно-лукавое, и перед этим качеством — в себе и в других — они испытывают естественный страх. Сталин же — грузин, не ведающий тонкостей. Его непритворная ортодоксальность убеждает соратников, что все задуманное будет осуществляться без головоломных осложнений, самым лучшим из возможных способов. Околдованные Лениным, русские как огня боялись отступить от его магических заветов. Закоснелость Сталина, мешающая увидеть современные реалии, лишь отражает, без малейших признаков оригинальности, охранительную закоснелость его соратников.

Сначала я набросился на него, утверждая, что наше время автоматически требует крупномасштабного планирования под контролем общества, частичной национализации транспорта и основных производств; собственно, это и происходит и в советском мире, и за его пределами. Потом я долго критиковал старомодную пропаганду классовой борьбы, в которой под понятием буржуазии смешиваются самые разные типы людей и занятий. Это одно из самых губительных и ложных упрощений в том массовом буйстве умов, каким была русская революция. Я

сказал, что представители «буржуазии», например техники и ученые, медики, мастера, опытные производители, авиаторы, инженеры, — могли бы, да и должны, стать самым подходящим материалом для созидательной революции на Западе, но сегодняшняя коммунистическая пропаганда, упорно отстаивающая мистическое правление масс, устранила и противопоставила себе как раз этих самых ценных людей. Опытные рабочие и руководители знают, что простой работяга не так способен, как его хозяин. Сталин понимал мои доводы, но его сковывало привычное почитание пролетарской массы, которая на самом деле представляет собой не что иное, как полновластный «нар-род» старомодной демократии, только под новым именем; другими словами, — это очередная выдумка политиканов. Я знал факты Октябрьской революции, и мне показалось забавным озадачить его таким очевидным и неортодоксальным заявлением, как: «Любую революцию делает меньшинство». Честность вынудила его признать, что «сначала», наверное, так и было. Я пытался снова вернуться к тому, что Запад и Восток могли бы объединиться, чтобы создать социалистическое Мировое государство, процитировав слова Ленина, сказанные после революции: «Теперь коммунизм должен учиться торговать», и добавил, что в отношении Запада это нужно понимать наоборот. Бизнес должен учиться обобществлению капитала — только этого, в сущности, достиг сегодня русский коммунизм. Это — не что иное, как государственный капитализм с некоторыми космополитическими традициями. Запад и Восток начинали свой путь, имея совершенно разный исходный уровень материальных достижений, а теперь у каждого из них — то, чего не хватает другому; и я ратую за планетарное завершение революционного процесса. Сталин, к тому времени уже вполне раскованный и заинтересованный ходом беседы, вдумчиво пососал трубку (он очень вежливо попросил у меня разрешения курить), покачал головой и глубокомысленно сказал: «Nyet». Мысль о таком взаимодополняющем сотрудничестве, очевидно, возбудила его худшие подозрения. Теперь мне, по-видимому, предстояло услышать главное. Он поднял руку как школьник, который хочет прочитать стихи, и стал диктовать ответ, пересыпанный партийными формулировками. Процесс обобществления в Америке — это не подлинная пролетарская революция; «капиталисты» стремятся спасти свою шкуру, притворяясь, будто отказываются от власти, а на самом деле — прячутся за угол, чтобы потом вернуться. Теперь все ясно. Единственная истинная вера — в России, другой миру не дано. Америка должна совершить свою собственную Октябрьскую революцию и

следовать за русскими вождями.

Затем мы обсуждали свободу слова. Он признавал необходимость и достоинства критики, но предпочитал, чтобы она была домашнего, партийного изготовления и не выходила за пределы партийной организации. Там, сказал он, царит критика необыкновенно принципиальная и свободная. Критика же извне может быть предвзятой.

Под конец я, как и собирался, снова подчеркнул, что и он и Рузвельт занимают исключительное положение и могут обращаться к миру вместе. Вышло нескладно, так как надежда, что человек, управляющий Россией, хотя бы частично поймет преимущества конвергенции, которая помогла бы создать коллективный капитализм на Востоке и на Западе, была подорвана. Он отвечал отрицательно, оставаясь при своем мнении. Мне следовало хорошо выучить русский язык или пригласить другого переводчика, тогда я сократил бы разделявшую нас дистанцию. Обычные переводчики питают склонность к штампам. Ничто не страдает так сильно при переводе, как свежесть незнакомой идеи.

В ходе моих московских встреч я все больше обнаруживал в себе склонность психоаналитически исследовать то сопротивление, которое встречает здесь любая созидательная идея, если она — с Запада. Это просто бросается в глаза. Если так пойдет и дальше, через несколько лет мы услышим от Москвы: если не «Россия для русских», то «Советы для марксистов-ленинцев! Тех, кто не поклоняется пророкам — долой!» — а в отношении мира и мирового единства это одно и то же. Вызвано это очень глубоким, неисправимым патриотизмом, который особенно действен из-за того, что его скрывают, как скрывали неизбывный французский патриотизм за призывами к всемирному братству во времена первой французской революции.

Примерно через день я довольно долго говорил о контроле над рождаемостью и о свободе слова с Максимом Горьким и более молодыми русскими писателями. Встретились мы в красивом, прекрасно обставленном доме, который правительство ему выделило. Внешне Горький очень мало изменился с 1906 года, когда я навещал вечно встревоженного, многострадального беглеца на Стейтен-Айленде. Нашу первую встречу я описал в «Будущем Америки». Следующий раз мы виделись с ним в 1920 году («Россия во мгле»). Тогда он был близким другом Ленина, но относился критически к новому режиму. Теперь он превратился в законченного сталиниста. Между нами, к сожалению, снова встал переводчик — Горький, несмотря на годы в Италии, окончательно забыл все языки, кроме русского.

Несколько лет назад при содействии Джона Голсуорси мы создали международную сеть литературных обществ, получивших название ПЕН-клубов. Поначалу они служили дружескому общению писателей и в отдельных странах, и между ними, однако жестокие преследования еврейских и левых писателей в Германии, а также попытка захватить Берлинский ПЕН-клуб и использовать его для нацистской пропаганды поставили перед организацией новые серьезные вопросы. Как раз в это время Голсуорси умер, и я занял его пост. Как президент и председатель собрания я был вовлечен в два бурных спора, произошедших в Рагузе и в Эдинбурге. Слабой, но очень широкой организации поневоле пришлось вступить в борьбу за свободу слова в искусстве и литературе. У этой организации много недостатков, но она может гласно проповедовать свои идеи, а гласность в таких вопросах имеет первостепенное значение. Местные битвы за свободу и достоинство литературы происходили в берлинском, венском, римском клубах, и теперь я спросил новых русских писателей: не пора ли освободить от государственного контроля литературную деятельность в России и создать в Москве свободный и независимый ПЕН-клуб? Я говорил о том, как необходима свобода письменного высказывания, устного слова, изобразительного искусства в любом высокоорганизованном государстве, что, чем жестче нравы в политической и общественной жизни, тем нужнее, чтобы критика время от времени бросала им вызов. Для всех моих слушателей эти идеи были полным откровением, хотя Горький, должно быть, когда-то их разделял. Но если и так, он их забыл или постарался от них отрешиться.

Сидя за длинным чайным столом, который был накрыт в высокой, белой, залитой солнцем галерее, где над капителями колонн сновали ласточки и кормили своих птенцов, мы ожесточенно проспорили около часа. Было там с полдюжины молодых русских писателей, приехали и Литвиновы{349} из такой же роскошной виллы на другом конце Москвы. Для меня, без сомнения, самым примечательным в этом разговоре было то, что каждый был убежден: литературу нужно контролировать и ограничивать. Кроме того, они всюду подозревали козни «капиталистов», умы, включая и горьковский, прошли основательную выучку. Мне не понравилось, что Горький стал противником свободы. Это меня больно задело.

Должен сознаться, что я был глубоко разочарован. Он сильно изменился. То человеческое, страдальческое начало, которое располагало к нему в годы его странствий, совершенно испарилось. Он стал Пролетарским Гением с твердыми

классовыми установками. Его авторитет в Советском Союзе огромен — и создан совершенно искусственно. Его литературный труд, каким бы значительным он ни был, не может оправдать такую непомерную славу. Горького раздули больше, чем Роберта Бёрнса в Шотландии или Шекспира в Англии. Он стал чем-то вроде неофициального члена правительства, и как только властям нужно придумать название для самолета, улицы, города или организации, они легко выходят из положения, давая им его имя. По-видимому, он спокойно принимает то, что его забальзамируют и положат в мавзолей, когда ему настанет черед превратиться в спящее советское божество. Сейчас же он собирает вокруг себя и критикует молодых писателей. И вот он сидит рядом со мной, мой старый друг, бывший изгнанник, страдалец, которого я пытался поддержать и утешить, а теперь — почти обожествленный, позабывший всю свою печаль, косит на меня своими татарскими глазами и хитроумными вопросами пытается вывести меня на чистую воду, желая разоблачить происки «капиталиста», тайно плетущего свою паутину. Если все время плыть на запад, в конце концов приплывешь на восток; здесь, в послереволюционной России, когда перемещение налево описало полный круг, пороки правой ориентации предстают в еще более неприглядном свете, а свобода слова ограничена угодливыми мнениями.

Горького, кажется, мало волновало, что наш жалкий ПЕН-клуб все это время боролся за права левых экстремистов вроде Толлера{350}, что все свои битвы он вел во имя свободы для левых. В новорожденном мире догматического коммунизма нельзя признать ни белогвардейских, ни католических, ни каких бы то ни было левых писателей, как бы прекрасно они ни писали. Так, в 1934 году Максим Горький, к моему изумлению, приводил те же самые аргументы, с помощью которых американцы в 1906-м выжили его из Нью-Йорка.

Я тщетно пытался возразить, что люди все же имеют право спорить насчет конечного совершенства ленинизма. Очень важно, чтобы посредством искусства и литературы они могли поделиться тем, что сформировалось в их сознании — общепринятым и неортодоксальным, дурным и хорошим. Политическая деятельность и общественное поведение должны регулироваться правилами и законами, но в мире самовыражения нет ни законов, ни правил. Творчество нельзя запереть на замок. Нельзя сказать: «Творить вы можете до сих пор, не дальше». Социализм существует во имя достоинства и свободы человеческой души, а не душа для социализма. На попытку переводчика как можно лучше передать такое странное утверждение ответили

скептическими улыбками. Быть может, заговорив о душе, я поставил перед Горьким непосильную задачу.

Преобразившийся изгнанник медленно покачал головой и начал приводить доводы, чтобы оправдать контроль властей над новой мыслью и инициативой. Свобода, настаивал я, должна быть основой русского ПЕН-клуба в России, если его можно создать. Что ж, отвечал он, может быть, она и уместна в более стабильном англосаксонском мире, где вправе себе позволить игру с заблуждениями и ересью; но Россия, в сущности, ведет войну и не может быть снисходительной к оппозиции. Я слышал все это раньше. В Рагузе Шмидт-Паули, защищая нацистов, в Эдинбурге фашист Маринетти{351} приводили точно такие же доводы в пользу ограничений и запретов.

Я почувствовал вдохновение и стал возражать в духе Гегеля. Ничто, сказал я, не может существовать без своей противоположности, и, если полностью уничтожить противоположность какого-либо явления, само оно тоже обречено на смерть. Жизнь — это реакция, и мысль может достичь ясности только в том случае, если вполне представляет свою противоположность. Отсюда, доказывал я, с неизбежностью следует, что, если подавлять людей, которые так или иначе воспевают свободу личности, прелести частной торговли, тайны веры, чистое искусство, собственные причуды, королевскую власть, грех, разложение, порок, ленинизм утратит жизненную силу и перестанет существовать. Думаю, что перевели правильно, но обладатели несгибаемого русского характера, затруднились с ответом.

Литвинов пресек их колебания, спросив, хочу ли я, чтобы высланные белогвардейские писатели вернулись в Москву. Я сказал, что ему решать. Возвращение это принесло бы пользу им самим и всей России, как и возможность их выслушать, но в любом случае принцип ПЕН-клубов таков, что ни один подлинный художник, ни один писатель, каковы бы ни были его общественные или политические убеждения, не может быть лишен права в них вступить. Я пообещал, что оставлю свое предложение в письменном виде, чтобы его прочитали на предстоящем съезде советских писателей. Если они решат вступить в свободное братство ПЕН-клубов, очень хорошо. Если же нет, я приложу все силы к тому, чтобы об их отказе узнал весь мир. Именно русское интеллектуальное движение больше всего пострадает от такого упорного стремления строить все культурные связи с внешним миром в одностороннем порядке — Россия предлагает свои идеи и не принимает никакой критики. Человечеству, в конце концов, может просто наскучить осознанно

героическая и неосознанно мистическая Советская Россия, заткнувшая уши воском.

Спустя несколько дней у Алексея Толстого{352} в Детском Селе (так окрестили Царское Село) мне довелось погрузиться в несколько другую атмосферу. Там я тоже встретился с писателями и представил им на обсуждение все ту же идею — раскинуть по всему миру тонкую сеть сообществ, которые объединяет свобода и достоинство искусства и литературы. Между Ленинградом и Москвой всегда существовал очень отчетливый контраст в том, что касается умственного склада, темперамента и политических убеждений. Манеры и поведение жителей этих городов совсем разные; бывшая столица обладает строгой величавостью в духе семнадцатого столетия и северной холодноватостью, весьма непохожей на беспорядочную суету многолюдных улиц и ярмарочное оживление Москвы. Даже служение новой вере здесь иное. В этом северном городе нет ничего, что обладало бы таким же эмоциональным пафосом, как ленинская гробница; даже антирелигиозный музей в огромном Исаакиевском соборе напротив гостиницы «Астория» — просто какая-то наглядная агитка, занесенная с улицы в невозмутимое великолепие почти совершенно недуховного храма. Христианство в Ленинграде никогда не было таким живым, как у Иверской в Москве; не стала живой здесь и новая, красная, религия.

После беседы у Горького я сделал выводы и ленинградским писателям изложил все искусней. Ничего похожего на подозрительность и твердые предубеждения той, первой, встречи я здесь не встретил. Оказалось, что они вполне готовы принять идею ПЕН-клубов и отстаивать свободу научного и художественного выражения перед соображениями политической целесообразности. Они обещали поддержать на Съезде мой меморандум, где я предлагаю учредить российский ПЕН-клубовский центр, в котором был бы обеспечен свободный обмен мнениями; и я с огромным интересом буду ждать сообщения об их схватке с откровенной нетерпимостью московских умов. Сейчас, когда я это пишу, Съезд еще не собрался.

Спорил я с Горьким и о контроле над рождаемостью. Ничем не отличаясь от множества других вождей, у которых созидательный оптимизм в конфликте с подсознательным патриотизмом, он целиком и полностью за то, чтобы население России достигло четырехсот или пятисот миллионов; ему безразлично, что будет с остальной частью человечества. России могут понадобиться солдаты, чтобы защищать Русскую идею, — Муссолини точно так же проклял самую мысль о контроле над рождаемостью в Италии. Раньше Горький был записным

пессимистом, не скрывавшим пристрастия к мрачным тонам, но теперь оптимизм его просто безграничен. Видимо, он желает сказать, что под красным знаменем земля сколь угодно долго прокормит растущее население, — конечно, если останутся стоячие места. Для пролетариата при новом режиме, как для Бога при старом, нет ничего невозможного. Чем больше ртов, тем больше еды. Для этого и существуют советские ученые, которым, по-видимому, всегда можно дать соответствующие указания, а если нужно, то и приказания.

Горький держит в кабинете огромный альбом с разными проектами, который он мне с гордостью продемонстрировал. Был там проект немыслимо роскошного дворца биологической науки, которому, вероятно, предстоит превзойти самые смелые постройки времен царизма. Во дворце предполагается обеспечить места для постоянных занятий сотням пяти (а может быть, и тысяче) студентов и ученых из-за границы (это помимо всей прочей деятельности). «А где он?» — спросил я. Он достал план Москвы и показал. Я заметил, что хотел бы пойти посмотреть. «Его еще не построили, — улыбнулся он, — нет смысла туда идти». Тут меня осенило. Я сказал, что хочу посмотреть на фундамент. Фундамент еще не заложили! «Вот приедете, — отвечал мне Горький, — и посмотрите. Не беспокойтесь о том, какая у нас наука. Она соответствует всем требованиям, какие бы только к ней не предъявляли».

После встречи с Горьким, пытающимся с помощью чертежей вызвать расцвет биологии там, где литература — под контролем, мы испытали огромное облегчение в новом павловском Институте физиологии под Ленинградом. Познакомились мы с самой что ни на есть значительной из биологических работ. Институт — в рабочем состоянии и быстро расширяется. Это самый скромный и самый практичный комплекс в мире. Репутация Павлова{353} очень важна для Советов, и его материально поддерживают. Здесь нельзя не отдать должного нынешнему правительству. Старый ученый здоров и бодр; проворной рысью водил он нас с сыном от одного здания к другому, подробно и пылко рассказывая о своей новой работе. Занимается он теперь интеллектом животных. Мой сын, который всегда пристально следил за его работой, засыпал его вопросами. Потом мы сидели у него, пили чай и часа два его слушали. У него румяные щеки и белая борода; если бы Бернард Шоу подстриг и причесал волосы и бороду, их нельзя было бы отличить. Сейчас ему восемьдесят пять, дожить он хочет до ста пяти, просто чтобы увидеть, что выйдет из его работы.

Однажды в 1920 году мы с сыном уже посещали его (см. «Россия во мгле»), когда Джип еще кончал Кембридж, так что

сравнение России 1920 года и России 1934 года возникло в ходе нашего разговора вполне естественно. С двумя помощниками-коммунистами, которые тоже сидели за столом, он говорил как с мальчишками; говорил же он то, что никому другому в России просто не позволили бы сказать. До сих пор, по его словам, новый режим еще не дал достойных результатов. Пока это грандиозный, неуклюжий эксперимент, проводимый без надлежащего контроля. Возможно, окончательный успех — за ним; конечно, он очень мешает добропорядочным людям со старомодными вкусами, но сейчас не время о нем судить, да и нет той свободы. По-видимому, он находит очень мало блага в том, что поклонение Распятому заменили поклонением забальзамированному, сам он ходит в церковь, считая, что это хороший обычай. Он произнес целую речь, которая мне очень понравилась: если мы хотим, чтобы технический прогресс и вообще любой прогресс продолжался, нужна абсолютная свобода разума. Когда я спросил его, как он относится к диалектическому материализму, он сделал насмешливый жест. Вниманием к мелочам он себя не утруждает, пользуется старыми названиями дней недели, а его предельно простой образ жизни, как и ход его блистательных исследований, почти не претерпели изменений со времени великого перелома. Кстати, у двоих его внуков — детская с настоящей гувернанткой! Сомневаюсь, есть ли еще хоть одна гувернантка на всей советской территории. Когда мы вышли от него, мой сын сказал: «Как странно провести целый день вне Советской России!»

«Неплохо замечено, — подумал я. — Но если мы вне Советской России, где же мы были в гостях? Все не так просто. Назвать это *прошлым* — нельзя. Может быть, это — маленький островок интеллектуальной свободы? Кусочек мировой республики ученых? Краткое вид*е*ние будущего?» В конце концов мы решили, что просто были у Павлова.

Со Сталиным, Горьким, Алексеем Толстым и Павловым мне приходилось общаться через словесную решетку, но были и другие, знающие английский язык люди, которые то ли сознательно, то ли нечаянно являли нам очень интересные приметы новой России. Конечно, когда политический контроль становится чрезмерным, репрессивным, планы и проекты (по крайней мере, в Москве, в Ленинграде я вообще не заметил следов новой планировки) составляют в спешке, по-любительски и часто — на редкость некомпетентно. Повсюду перекосы; все десять дней, без малейшего на то желания, я постоянно подмечал несообразности. Например, для печатания книг, даже самых нужных, не хватает нормальной бумаги и используется бумага

вроде оберточной; от этого страдает просветительская работа, которая так важна. Уличное движение в Москве, хотя его интенсивность не идет ни в какое сравнение с Лондоном или Парижем, плохо организовано и опасно; если вы не принадлежите к привилегированному классу — такие классы все-таки существуют, — передвигаться по улицам вам очень трудно, вы еле двигаетесь. Распределение товаров по магазинам с разными ценами и с разными деньгами доходит до полного абсурда. Москва растет очень быстро, но перепланировка и перестройка продуманы, по-моему, очень бездарно. Поскольку в других крупных городах есть подземный транспорт, Москва пытается построить что-то вроде метро, хотя в аллювиальной почве очень трудно прокладывать туннели на той недостаточной глубине — около тридцати футов, — на которой их собираются проложить. Это будет самый ненадежный метрополитен в мире; бесспорно, можно было отыскать другой, более оригинальный способ решения. От всевозможных апологетов я слышал, что Москва не дает представления о том созидательном труде, которым живет Россия; что в разных местах — как правило, отдаленных — достигают изумительных успехов. Но я подозреваю, что там живут точно такие же люди, как в Москве, а в Москве те, кто стал проектировщиками или конструкторами, не обнаружили своих талантов.

При всем этом у нового режима есть выдающееся достижение — поведение изменилось, новое поколение полностью отрешилось от рабских традиций и отважно смотрит в глаза всему миру. С этим связана «ликвидация неграмотности». Но так ли уж это беспрецедентно? Сто лет тому назад, в век Невинности, простой народ Соединенных Штатов был свободен, равноправен, уверен в себе — и посещал начальные школы. Что же необыкновенного в том, чтобы почти самая последняя из всех стран Европы поняла, как важно научить грамоте рядового гражданина? Поистине, здесь не имеют представления о том, что творится в мире. «Подождите, увидите, на что способна эта молодежь», — говорит мой гид-большевик. Сто лет назад точно такой же, подающей надежды, была Америка.

Русские преобразования больше напоминают пропагандирование уравнительных лозунгов и поспешное введение уравнительных отношений после Первой французской революции. Ни американской, ни французской демократии не удалось предотвратить неравенства в распределении власти и капиталов. Плутократия сменила аристократию. «В нашем случае, — утверждают большевики, — мы от этого застрахованы». Но даже если им удалось искоренить спекуляцию и перепродажу,

они не искоренят прочие способы извлечения выгоды. Их оборонительный обскурантизм погружает общество в тот самый мрак, в котором и могут зародиться новые посягательства на человеческое достоинство. Когда революционный энтузиазм спадает, бюрократический аппарат, огражденный от независимой критики, неминуемо изыскивает возможности для обогащения и привилегий. Благодаря абсурдной системе «торгсинов» в десятках мест в Москве и в Ленинграде вы можете раздавать взятки в иностранной валюте, и обычные жители привыкают быстро и почтительно отпрыгивать, как только завидят лихо мчащийся «линкольн». Коммунистическая пропаганда явно переоценила силу и уникальность этой революции.

Постоянные ссылки на что-то великое где-то совсем рядом либо в самом недалеком будущем напомнили мне испанское mañana[33]. «Возвращайтесь и посмотрите на нас через десять лет», — говорят они каждый раз, как увидишь очередную несообразность. Если вы замечаете, что новое здание еле держится или просто неуклюже, они тут же уверяют, что это временная постройка: «Да его скоро снесут!» Кажется, они больше любят сносить и переносить, чем создавать. По необъяснимым для меня причинам Академию наук переводят из Ленинграда в Москву. Возможно, так легче надзирать за фундаментальной наукой. Им вполне хватает Павлова; больше свободных умов старого образца с их беспредельной критикой, их скепсисом, их насмешками они не допустят. Люди науки должны стать рабочими пчелами без жала и жить в горьковском улье.

Народный комиссар просвещения Бубнов{354}, прощаясь со мной после прекрасной выставки детских рисунков, своеобразных, как всегда и везде, пустился в светлые раздумья о жизни, которой заживет новое поколение в обновленной России. «Все это временно», — сказал он, указывая на кучу строительного мусора, которым был завален небольшой садик. Можно подумать, что строители нового метро только что сложили мусор и на минутку отошли. «Раньше здесь был чудесный парк, — сказал Бубнов. — Ничего, через десять лет опять все будет в порядке».

Бубнов, как и Сталин, — один из немногих оставшихся в живых вождей, непосредственно руководивших революционными событиями; и он говорит, что оба они всерьез собираются дожить до ста лет, чтобы увидеть обильный урожай, который дадут эти всходы. Но кроме детей, обучающихся в образцовых школах, существуют несметные толпы снующих по улицам беспризорников. Мне кажется, даже если Сталин и Бубнов доживут до двухсот лет, Россия останется страной недовыполненных обещаний, мечущейся от одного начинания к

другому.

Уезжал я, обманутый в своих нетерпеливых надеждах. Мне не удалось сделать хоть что-то, чтобы приблизить взаимопонимание между двумя, по сути революционными, движениями. И Америка и Россия могли бы построить организованный социализм. Если же они не поймут друг друга, они будут двигаться врозь, расходиться все дальше, по крайней мере — до тех пор, пока у коммунистов не возобладает новый тип мышления. Если бы я умел говорить по-русски, если бы я мог переиначивать марксистскую фразеологию по примеру Ленина, тогда, наверное, мне удалось бы сделать больше. Быть может, мне удалось бы установить желанный идейный контакт, и необязательно с самим вождем. Но я потерпел поражение, взявшись за дело, которое мне не по силам.

Когда я обдумывал все это в самолете по дороге домой, у меня не пропадало ощущение, что Россия меня подвела, хотя истинная подоплека, по всей видимости, в том, что я позволил своему сангвиническому, нетерпеливому нраву предполагать понимание и ясность в мыслях там, где до этого еще далеко. Я никогда не смогу смириться с тем, что очевидное для меня не очевидно любому встречному; и вот, решив найти короткий путь к «легальному заговору», я обнаружил, что при моих возможностях этого краткого пути не найдешь.

Я ожидал увидеть Россию, шевелящуюся во сне, Россию, готовую пробудиться и обрести гражданство в Мировом государстве, а оказалось, что она все глубже погружается в дурманящие грезы советской самодостаточности. Оказалось, что воображение у Сталина безнадежно ограничено и загнано в проторенное русло; что экс-радикал Горький замечательно освоился с ролью властителя русских дум. Быть может, в делах человеческих вообще нет коротких путей; каждый живет в своем собственном мире, закрывая глаза более или менее плотными шорами. Наверное, после этой неудачной попытки я должен найти утешение в тех редких и малоприметных признаках взаимопонимания, какие есть в нашей западной жизни. Для меня Россия всегда обладала каким-то особым очарованием, и теперь я горько сокрушаюсь о том, что эта великая страна движется к новой системе лжи, как сокрушается влюбленный, когда любимая отдаляется.

Лишний раз подтвердилась все та же истина: теперь, в нашу эпоху, всеобщей свободе и изобилию способны помешать только оковы мышления, эгоцентричные предубеждения, навязчивые идеи, неверные толкования, алогичные принципы, подсознательные страхи, да и просто непорядочность,

возобладавшая над человеческими умами, в особенности — над теми, которые занимают ключевые позиции. Всеобщая свобода и изобилие вполне достижимы, но не достигнуты, и мы, Граждане Будущего, бродим по сцене современности, как пассажиры на палубе корабля, когда порт уже ясно виден, и только неполадки в штурманской рубке мешают в него войти. Многие люди, занимающие ключевые позиции в мире, для меня более или менее доступны, но мне не хватает силы, которая могла бы соединить их. Я могу с ними говорить, даже выбить из колеи, но не могу сделать так, чтобы они прозрели.

10. Заключение

Из Москвы в Ленинград я ехал в поезде, который назывался «Красная стрела» — советский отзвук «Flèche d'Or»[34], — а дальше пересел на самолет и отправился в Таллин. Заканчиваю я эту автобиографию в мирном, уютном домике на берегу небольшого эстонского озера.

Я постарался в общих чертах описать состояние и развитие современного сознания в его реакциях на то, что разъединяет и соединяет людей в наше время. Книга получилась большая, хотя я опустил огромное множество примечаний и подробностей, которые не так уж важны в истории о том, как пробуждалось чувство гражданской причастности к Миру в душе довольно заурядного человека. Не всегда легко было пожертвовать отклонениями, не рискуя при этом обескровить главную тему. За шестьдесят восемь лет накопилось столько мыслей и происшествий, что, если бы я не выпрямлял русла собственной речи, поток воспоминаний длился бы бесконечно. Сейчас, когда я приближаюсь к концу, я с тяжелым сердцем признаю, что не воздал должного огромному числу любопытнейших событий, радостям и красотам жизни, ее диковинным странностям, если они выходили за рамки самого существенного. Кажется, я так сосредоточился на главном тезисе, особенно — в этой длиннейшей главе, что мне не удалось выразить, насколько я благодарен жизни за ее щедрую способность быть чем-то, чего тезис этот никак не исчерпывает. Возможно, я слишком стремился к обобщению, и жизнь моя оказалась здесь каким-то голым скелетом. Пытаясь дать правдивый портрет очень определенной личности и адекватно отразить склад мыслей определенного типа и времени, сохранив прозрачность замысла, я сознательно вычеркнул множество воспоминаний и эпизодов, оставил без внимания массу интересных людей, пренебрег второстепенными пристрастиями и привязанностями и ни словом не обмолвился о пестрой веренице прекрасных или приятных впечатлений, которые проносились через мою жизнь, кружа мне голову, а потом отлетали прочь. Сколько радости доставили бы мне описания путешествий, прогулок в горы, берегов, городов, садов, музыки, пьес…

Осталась история одного из самых избалованных и безответственных «передовых мыслителей», незваного искателя приключений, решившего, что он вправе свободно, без всяких ограничений критиковать устоявшиеся порядки, посвятившего большую часть жизни планам их искоренения и, сколько бы он ни

бунтовал, встречаемого с почти необъяснимой терпимостью. Да, на меня сердились, меня запрещали и бойкотировали от Бутса до самого Бостона; начальники частных школ и тюремные священники требовали оградить от моего влияния своих подопечных; мои книги сжигали нацисты; протест заявляли Католическая Церковь и итальянские фашисты; а добрый старый Генри Артур Джонс{355} в многословной, сердитой книге «Мой дорогой Уэллс!», да и многие другие, более изощренные писатели — Хилэр Беллок, архиепископ Дауни — чувствовали, что обязаны выступить со страстным обличением. Меня не слушали, меня осуждали — но это отнюдь не подавление, и передовому мыслителю жаловаться тут не пристало. По сути, это признание, пусть даже не меня, «самого передового мыслителя», а моих последователей, единомышленников и тех великих процессов, о которых я рассказал. Оценивая честно свой статус неприкосновенности, предположу, что революционные заявления такого рода никак не покажутся неслыханными и дерзкими. Я открыто и внятно писал о том, о чем, несомненно, думают очень многие. Да, там и сям эту мысль подавляют, но идея Мирового государства неуклонно распространяется по свету. Подавляют ее жестоко и кроваво, скажем — в Германии и в Италии; но меры эти какие-то вымученные, истерические. Это — не те репрессии, которые власть творит уверенно и с размахом; это — не столько плоды нетерпимости, сколько упрямое сопротивление, попытка защититься от себя. Жестокость их чаще всего похожа на конвульсии слабеющей хватки. Сторонники существующего порядка вещей, по-видимому, всюду затронуты сомнениями. Еще очевидней это, когда речь идет о реакционерах. Мы, прогрессисты, обязаны нашей сегодняшней неприкосновенностью тому, что даже те, кто формально считается нашими противниками, двигались, пусть не так быстро и явно, в том же направлении. В глубине души они верят, что мы правы по существу, но им кажется, что мы заходим слишком далеко, а это опасно и самонадеянно. И все же мы, люди такого типа, существуем именно для того, чтобы обгонять обычных пешеходов…

Я начал писать автобиографию, чтобы подбодрить себя в минуты усталости, беспокойства и раздражения, и эту задачу она выполнила. Написав ее, я вывел себя из смутной неудовлетворенности; рассказывая о своих идеях, я забыл о себе и о комариной туче мелких забот. Моя заплутавшая *персона* восстановила силы. Изложив идею современного Мирового государства, я увидел в их подлинной ничтожности личные, преходящие тревоги и напасти. Человека, существующего как

частное лицо, всегда подстерегают и пугают суета, апатия, промахи, противоречия; однако мне удалось убедиться, что вера в созидательную мировую революцию и служение ей могут объединить мои разум и волю в некое господствующее единство; что вера эта придает существованию смысл, превозмогает или сводит к минимуму все случайные, минутные разочарования и лишает мысль о смерти ее острого жала. Поток жизни, из которого мы возникаем и в который возвращаемся, снова возобладал над моим сознанием, и хотя отведенная мне роль, вероятно, существенна и необходима, она имеет смысл только благодаря целому. Участник «легального заговора» может повторить — или, если угодно, обновить — слова мистика; он может сказать: «Когда я изучаю себя, сам по себе я ничто»; и в то же время он вправе утверждать: «Бог и я — одно»; или, низводя Бога на королевский уровень: «Мировое государство — c'est moi»[35].

Зрелые убеждения разумных людей непременно похожи, мозг устроен по единому образцу и следует единым путем развития. Могут различаться слова, краски, символы, но не суть мыслительного процесса. С тех пор как первый человек начал мыслить, он вынужден был мыслить в заранее положенных пределах определенных, заданных форм. Ему пришлось продвигаться тропой, которую проложили его предки, и установленных ими ограждений ему не преодолеть. Мистическое христианство, исламский мистицизм, буддизм, — в тех случаях, когда они чисто и пылко устремлялись к прозрению, — создали почти одинаковые формулы для своих таинств. Процесс обобщения, в котором разум спасается от личных неприятностей, от мелких забот, волнений и обид, сопутствующих эгоцентричному образу жизни, повсюду один и тот же, какие бы ярлыки на него ни вешали, какие бы попытки ни предпринимали, чтобы заполучить на него исключительные права. Все религии, как и любая сублимирующая система, неизбежно выходили на одну и ту же тропу, ведущую к спасению, поскольку никакой другой тропы быть не может. Идея созидательного служения Мировому государству, к которой склоняется современный разум, своей определенностью, упорядоченностью и практической необходимостью немало отличается от идей *всего сущего, внутренней жизни, конечной истины, воплощенного Бога*, который роднее брата, ближе, чем дыхание, и тому подобных спасительных средств, но отдельную *персону* она освобождает и обволакивает почти в точности так же.

Разница между нашими методами утешения и тем, что им соответствует в религиях и философиях прошлого, почти

сводится к тому, что те — монистичны. Они предполагают отказ, выраженный явно или неявно, от такого безрассудного допущения, как дуализм материи и духа, который тысячи поколений преследовал человеческую мысль. Чтобы перейти от эгоизма к жизни более масштабной, нужно полностью изменить перспективу; сейчас уже невозможно просто отбросить исходные условия и одним прыжком перемахнуть в «другой мир». Мы по-прежнему исповедуем отказ от эгоизма, от ненасытности, но это уже не уход от фактов. Благодаря прочной и недвусмысленной связи с внешней реальностью, современный выход к внеличному становится действенным и необратимым. Мы уже не можем вернуться окольным путем, сквозь сумрак ирреальности выбраться к эгоизму более высокого уровня. Ум современного образованного человека, вынужденного смотреть только вперед, сосредоточен, не рассеян. При всей своей включенности в бытие, при всей готовности подчинить второстепенное главному участник «легального заговора», будь он коммунист или позитивист-ученый, остается до самого своего конца столь же последовательно *актуальным*, как актуальны кровь или голод.

На этом я заканчиваю описание того, как созревал и действовал мой разум, который тужился, пускал пузыри, протягивал свои слабенькие ручки, пытаясь ухватить этот мир, шестьдесят восемь лет назад, в бедной спальне над лавкой фаянсовой посуды, называвшейся Атлас-хаус, на Хай-стрит, в Бромли, графство Кент.

ДОПОЛНЕНИЯ



Герберт Джордж Уэллс
ВЛЮБЛЕННЫЙ УЭЛЛС[36]
Постскриптум к «Опыту биографии»

Именно эта мыслящая личность… осознала, что движущей силой ее жизни должно быть создание Мирового социалистического государства, и отныне это стало ее религией и целью.

Другие чувства и побуждения пересекались с главной темой, поддерживали ее или входили с ней в противоречие… Думаю, в каждой честной и полной автобиографии сексуальная тема оказывается если не первой, то, по крайней мере, второй.

Г. -Дж. Уэллс. Опыт автобиографии

Что представляет собой «Влюбленный Уэллс»

Книга моего отца «Опыт автобиографии» появилась в 1934 году, когда ему было шестьдесят восемь лет. Спустя пятьдесят лет выходит настоящий том, «Влюбленный Уэллс», расширяющий и завершающий ту более раннюю работу.

По причинам, о которых читателю нетрудно догадаться, в «Опыте автобиографии» отец едва касался своих многочисленных любовных связей, хотя иные из них были для него очень важны. Вскоре после появления «Опыта» он принялся за другую книгу, названную им «Постскриптум к „Опыту автобиографии“», с подзаголовком «О любовных историях и Призраке Возлюбленной». Этот публикуемый впервые «Постскриптум» — самый полный вариант книги «Влюбленный Уэллс».

Но прежде, как завещал отец, идет «Вступительное слово к книге Кэтрин Уэллс», написанное им в 1928 году. Этот сборник произведений моей матери, большей частью прежде не опубликованных, отец составил в память о ней вскоре после ее смерти. Множество подробностей их совместной жизни можно найти в «Опыте автобиографии». А яркое «Вступительное слово»

посвящено сущности их отношений. Его непременно следует прочесть каждому, кто хочет понять «Постскриптум к „Опыту автобиографии“», публикуемый вслед за ним[37].

«Она так безоговорочно верила в меня, что в конце концов я и сам поверил в себя», — пишет Уэллс о Кэтрин в своем «Вступительном слове». — «Ума не приложу, чем бы я был без нее. Она стала моей опорой. Одарила мою жизнь достоинством и домом. Оберегала ее целостность». Все это несмотря на многочисленные любовные связи отца при жизни матери. А после того, как в октябре 1927 года она умерла от рака, он был выбит из колеи, чувствовал себя незащищенным, брошенным на произвол судьбы. «Чтобы писать, нужен покой, но бесконечные неотложные дела выводят меня из равновесия, а каждодневные обязанности и раздражающие мелочи не дают сосредоточиться. И нет ни малейшей надежды избавиться от них, ни малейшей надежды целиком отдаться творчеству, прежде чем меня одолеют недуги, а за ними и смерть. <…> Пытаясь справиться с создавшимся положением, я просто веду записи — для себя». Это написано в 1932 году «однажды во время бессонницы между двумя и пятью часами утра», — и два года спустя эти записи легли в основу «Опыта автобиографии».

Отец возродился отчасти благодаря тому, что провозгласил главной целью своей жизни служение будущему Мировому государству, а еще — по уши влюбился (или влюбил себя) в Муру Будберг{356} и убедил себя, что она будет ему отличной женой и той самой опорой, в которой он отчаянно нуждался.

Но у Муры — как ни странно — не было охоты выходить за него замуж. Внезапно, как следует из «Постскриптума», он разочаровался в ней из-за неосторожных слов, услышанных на каком-то приеме в Москве в июле 1934 года, и «в одночасье от образа моей великолепной Муры не осталось и следа».

За шоком от разочарования последовала глубокая, грозившая чуть ли не самоубийством депрессия. Преодолеть ее отцу удалось очень нескоро. Важнейшую роль в его исцелении сыграл самоанализ, пронизывающий «Постскриптум», к написанию которого он приступил в конце 1934 года. Он не был связан сроками публикации и потому работал с перерывами — иногда напряженно, а иногда надолго — на восемь лет! — откладывая в сторону. В «Постскриптуме» отчетливо видны два раздела, различных по стилю и цели.

Первый, «О любовных историях и Призраке Возлюбленной», писался, чтобы дополнить «Опыт автобиографии» тем, что прежде было опущено. «В „Постскриптуме“ речь идет отнюдь не о главной линии моей жизни, — подчеркивал отец, — а о

поддерживающей ее жизни сексуальной, бытовой и личной». Но, как ясно из авторской «Записи в дневнике по поводу издания „Постскриптума“», раздел безусловно не предназначался для отдельной публикации.

Начал отец с того, что составил список названий глав, который почти не отличается от нашего оглавления, а потом уже писал все подряд (лишь иногда возвращаясь назад, чтобы исправить какую-нибудь предыдущую страницу), пока 2 мая 1935 года не заключил книгу словом «Конец», дважды подчеркнув его. Но это не был конец его трудам. Он покончил лишь с тринадцатью главами из нашего оглавления — «Листкам дневника» и еще двум главам, в которых подробно раскрывалось понятие «Призрак Возлюбленной», еще только предстояло появиться. Эти две главы в июне 1935 года он перенес в другую книгу, которую тогда писал, — «Анатомию бессилия», — «попытку обозреть и синтезировать нынешнюю жизнь»[38].

Полтора года, с мая 1935 года по сентябрь 1936-го, он бился над тем, чтобы систематизировать и выразить свои основные убеждения, касающиеся образа жизни человека. С одной стороны, он задумал и писал «Анатомию бессилия», а с другой — снова и снова правил раздел «О любовных историях и Призраке Возлюбленной», особенно последние главы. Первоначальная рукопись и все в дальнейшем исправленные и замененные страницы были сохранены. По ним видно, что за эти полтора года рукопись правилась множество раз, пока 18 сентября 1936 года отец не написал в последний раз «Конец» и не сопроводил его примечанием, которое позднее вычеркнул: «В каковой день я весьма склонен написать Finis всему»[39].

Глава «Мысли о самоубийстве», написанная в 1935 году, помогает понять это примечание.

К тому времени раздел «О любовных историях и Призраке Возлюбленной» был практически закончен. В последующие годы предстояло внести кое-какие изменения, касающиеся прошлого, по большей части весьма незначительные и почти все на последних страницах главы «Мура». В основном отец сделал все, что намеревался. Эта работа объединена с «Опытом автобиографии», чтобы дать расширенное представление о его жизни вплоть до середины 30-х годов.

После этого он стал уделять основное внимание другим занятиям, но время от времени снова возвращался к «Постскриптуму», исправлял уже написанное, а также добавлял новый материал в конце, чтобы довести повествование до настоящего времени. Он начал новую, одиннадцатую, главу, включил в нее эти дополнения и назвал ее «Листки дневника», а

позднее изменил название на «Последний этап». Я воспользовался этими двумя названиями, чтобы выделить одиннадцатую главу в отдельный, второй, раздел книги, так как он сильно отличается от ранних глав «Постскриптума» по форме и идее. «Листки дневника» продолжают не только раздел под названием «О любовных историях и Призраке Возлюбленной», но и весь свод мемуаров, и повествуют о жизни чувств, а также «об истории моей интеллектуальной жизни, как я изложил ее с самого начала в „Опыте автобиографии“».

Первые фразы «Записи, сделанной другой рукой» (с. 564[40]) относятся к 1936 году, когда у отца, очевидно, зрело решение продолжать эти записки до конца своих дней. На самом же деле они кончаются в 1942 году словами: «Теперь мне больше нет до вас дела» (с. 564[41]). После этого он прибавил лишь несколько бранных фраз о людях, которые ему досаждали, и дал первые залпы по современным университетам.

Отец не намеревался публиковать «Постскриптум» при жизни, но распорядился (с. 567[42]), чтобы, когда придет время, он был опубликован не сам по себе, но под одним переплетом с «Опытом автобиографии» и «Вступительным словом к книге Кэтрин Уэллс», «так что мой жизненный опыт и переживания будут соизмеримы». Мы ослушались его в том, что касается публикации всего под одним переплетом. Книга получилась бы слишком громоздкая. При публикации отдельными томами тот, у кого уже есть «Опыт автобиографии», сможет купить только дополнительный том. Отец нигде не предложил название для будущего всеобъемлющего тома, и для дополнительного тома в настоящем компромиссном издании я наскоро придумал «Влюбленный Уэллс». Следует, однако, заметить, что мое название вводит в заблуждение — здесь не найти подробной истории двух браков отца, первого — с его кузиной Изабеллой, и второго — с моей матерью, Эми Кэтрин, известной под именем Джейн. Читатель найдет рассказ о них в «Опыте автобиографии».

«Постскриптум» потребовал некоторой редактуры. Отец оставил три машинописных текста книги: первый экземпляр и две копии; в первый экземпляр его собственной рукой внесено немало окончательных поправок. Осталось множество рукописных текстов и изъятых машинописных страниц. Первый экземпляр хранился в старомодной папке с пружиной, и поправки отец делал от руки, карандашом, на этом экземпляре. Изъятые страницы сохранялись, так что можно было, хоть и не без труда, проследить, как с годами менялся текст. Поправок оказалось много, и, готовя текст к изданию, надо было решить, какую именно версию того или иного отрывка предпочесть. В качестве

канонического текста я почти всегда брал первый машинописный экземпляр. Трудности возникали в тех случаях, когда дополнения или поправки были внесены в 40-е годы в главы, написанные много раньше, особенно если изменялась прежняя оценка. В этих случаях я обычно отдавал предпочтение раннему варианту, написанному когда события были еще относительно свежи в памяти отца.

Мне посоветовали прибавить, что я не беру на себя ответственность за то, насколько точно отец излагает события. Как я понимаю, моя задача — публиковать написанное им, а не править, но в некоторых случаях, о которых идет речь в «Постскриптуме» и которые в других биографиях изложены несколько иначе, я сам, непосредственно, знаю, как все было в действительности, и уверен, что версии, представленные здесь, верны.

В одном-двух случаях я счел желательным кое-что (совсем немного) вычеркнуть. Особенно трудно было с главой «Мысли о самоубийстве», так как за эти годы отец несколько раз изымал ее из рукописи и потом опять возвращал. Последнее его решение было опустить эту главу, но слишком она, на мой взгляд, интересна и слишком важна для истории его жизни, чтобы ее терять. Единственный большой кусок, который я исключил, — это его рассказ о долгом и сложном споре с Одеттой Кюн по поводу ее узуфрукта{357} на Лу-Пиду; в него входит и обширная переписка, иногда яростная, иногда неприличная, а иногда не брезгующая клеветой, — в общей сложности около 15 000 слов. Спор шел в 1936 и 1937 годах, после того как они расстались; и мне показалось, что едва ли это так уж важно, чтобы оправдать столь длинное отступление.

При обдумывании всех этих проблем большую помощь мне оказал мой брат и, подобно мне, доверенное лицо, Фрэнк Уэллс, а после того, как он заболел и умер, его сын Мартин и моя дочь Кэтрин Стой. Ответственность за окончательные решения несу я,

Дж.-Ф. Уэллс.

Пролог
Вступительное слово к «Книге Кэтрин Уэллс»

1

За свою жизнь моя жена написала и опубликовала немало рассказов и еще один или два в соавторстве с нашим младшим

сыном, но напечатано было далеко не все. Кое-что из написанного ею я знал, но не так уж много — она хотела состояться как писательница независимо от моего влияния. Хотела писать и преуспеть в писательстве самостоятельно. Литературные занятия отнюдь не были настоятельной потребностью ее натуры. Она вовсе не испытывала неудержимой тяги выразить себя. По природе она была даже скорее сдержанна, нежели склонна к самовыражению. Но поскольку жила она в атмосфере напряженной литературной работы, в которой особую роль играла наивозможная точность высказывания, свойственное ей стремление избегать разъяснений даже самой себе постепенно ослабевало, и она начала писать, сперва, вероятно, чтобы понять, какие, в сущности, мысли и чувства вызывает в ней жизнь, а потом чтобы передать это, пусть не всему миру, но какому-то воображаемому, близкому ей по духу читателю. Она писала не для меня, хотя изо всех сил старалась дать почувствовать мне и чувствовать сама, что не отгораживается от меня. Она не любила привлекать к себе внимание, однако чем дальше, тем чаще начинала подумывать об издании своих работ. Она послала их в разные периодические издания и через разных агентов, указав чужой обратный адрес, чтобы ее имя не связали с моим. Ее воображаемый читатель так никогда и не дал о себе знать, да и, случись ему объявиться, она, я думаю, не очень бы ему обрадовалась. Она искала выражения чему-то, что, как ей представлялось, сама толком не осознала, и, должно быть, решительно не согласилась бы ни с кем, кто стал бы утверждать, будто ему все ясно и понятно.

Пробовать себя в сочинительстве, робко и тайно от всех, она начала вскоре после замужества, но со временем стала писать куда больше и куда более зрело. Найти собственную манеру письма ей стоило особых усилий, оттого что в первые двадцать лет нашей совместной жизни она привыкла исполнять обязанности моего секретаря и машинистки и потому переняла многие мои писательские склонности и предубеждения, от которых избавилась с трудом. Но, я полагаю, прочитав страницы, следующие за вступительным словом, нельзя не согласиться, что в конце концов ей все-таки удалось достичь тонкого своеобразия стиля. В этом собрании рассказов и горсточке стихов она выразила настроение, состояние души, ступень развития личности, можно сказать, таинственной, не напористой, однако стойкой, ничем не впечатляющей, но светлой, чистой и по своему складу весьма и весьма утонченной. Эта сторона ее натуры пронизана некой задумчивой печалью, она сродни ярким, но тронутым вечерней мягкостью мирным ландшафтам и исполнена

состраданья. Жажда ощущается здесь, но не напористая, не деятельная. Это жажда красоты и нежного дружества. В истоках этой жажды смутно маячит возлюбленный, так и не увиденный, так и не узнанный. Разочарованье следует по пятам за этой жаждой. И всегда поблизости страх, загадочный страх, будто из детского сна. Таково настроение книги, почти всего, что в нее входит. Стоило моей жене взять в руки перо, и, совершенно очевидно, это состояние духа тотчас возвращалось. Я даже не уверен, преобладало ли оно в ее прихотливой и тонкой натуре. Но оно глубоко укоренилось в ней, было, я думаю, естественным фоном ее девических грез и, как бы ни заглушалось и ни отодвигалось в часы активного бытия, обнаруживало себя, едва она оказывалась наедине с собой.

Я издал эту книгу под именем Кэтрин Уэллс совершенно сознательно — этим именем она неизменно подписывала свои сочинения, но это не полное ее имя (полное — Эми Кэтрин) и не то, под каким она всего лучше была известна своим друзьям. Для каждодневной жизни и нашего общего удобства я придумал ей имя, которое она охотно приняла, и мы назвали эту ее ипостась Джейн. Большинству наших друзей и знакомых она была известна только как Джейн. Они едва ли примечали в ней Кэтрин. Джейн была человеком куда более практическим, нежели Кэтрин. Она представляла собой Кэтрин, обращенную к реальной жизни, и легко принимала решения, тогда как подлинная Кэтрин оставалась на заднем плане, дружески остраненная. Джейн отлично вела дом и умело делала покупки, она помогала людям, оказавшимся в беде, и не давала спуску водопроводчику. В ее домашней аптечке хранились лекарства на любой случай. Она окончила курсы Красного креста, чтобы знать, как оказать дома первую помощь. У нее была картотека с адресами магазинов, где можно купить все необходимое. Ее сад непрестанно цвел и хорошел, она была членом Королевского садоводческого общества, имела садовую книгу и вела дневник, чтобы проверять себя и совершенствовать свои навыки. Каждый год она отправляла садовников на выставку в Челси. Она вела дела и распоряжалась капиталом своего беспомощного и нерешительного мужа и оказалась при этом мудра, осмотрительна и прозорлива, освещая его мир ярким, но мягким светом порядочности. Люди безмозглые бежали ее спокойного взгляда. Она сталкивалась по преимуществу с одним особым видом безмозглых людей и заставляла их поступать, как считала нужным, — с непостижимым племенем переводчиков и так называемых переводчиков, которые в иноземных изданиях перевирают и оглупляют авторов. Для них она придумала некий

порядок и тип соглашения и создала систему взаимоотношений, превзойти которую не мог ни один литературный агент. Вот она какая была, Джейн.

И она, несомненно, занимала вполне определенное место в моей жизни. Не могу выразить, сколь многим я ей обязан. Но, в сущности, моя жена была и не Джейн, которая воплощала деятельную, практическую сторону ее личности, и не Кэтрин, именем которой звалась ее сокровенная мечта и ее литературная жизнь. Моя жена была ими обеими и еще многими, в зависимости от того, как менялось освещение.

2

Вспомнить лики существа, чью ипостась, именуемую Кэтрин, представляют эти пронизанные тончайшим настроением и, на мой взгляд, поистине прелестные сочинения, — значит перелистать страницы нашего совместного почти тридцатипятилетнего пути. Последние полгода я был обращен в прошлое, как никогда прежде. Я рисую здесь ее портрет примерно того времени, когда мы впервые встретились. Ее первый лик — мисс Роббинс. Вот она вошла в аудиторию, где я вел практические занятия по биологии, натаскивая соискателей на получение в Лондонском университете степени бакалавра естественных наук. В ту пору она носила траур по отцу, который незадолго до того погиб в железнодорожной катастрофе; он не оставил, можно сказать, никаких средств, и она изо всех сил старалась получить степень, чтобы стать учительницей и зарабатывать на жизнь матери и себе.

С сумкой, в каких школьницы носят книги, и немыслимо старомодным, неуклюжим микроскопом, который кто-то дал ей напрокат, она тогда казалась мне очень привлекательным и, право же, героическим созданием, и вскоре я пришел к мысли, что она — самое замечательное из всего, что есть у меня в жизни. В те дни я был упорным, неотесанным молодым человеком, который одно время посещал Королевский колледж естественных наук при Лондонском университете и потому получил свидетельство, что прослушал там курс. Я был широко, но беспорядочно начитан — суждения, заимствованные у Шелли и Хаксли, переплетались с мыслями, почерпнутыми у Карлейля, Морриса и Генри Джорджа — и мой житейский и общественный опыт был примерно на уровне мистера Льюишема. Я враждовал со всем светом и вовсе не был уверен, что окажусь победителем. В религии, общественной жизни, политике я придерживался

крайних взглядов, что мешало мне преподавать в нормальном учебном заведении, и я радовался, когда с помощью своих учеников мог посрамить принимавших у них экзамены штатных преподавателей университета. Очень скоро эта новая ученица стала для меня олицетворением того понимания и тех человеческих достоинств, которые я жаждал отыскать в жизни. Мы беседовали, склонясь над лягушками и кроликами. Заведение, в котором я работал, опубликовало расширенный конспект моих лекций под названием «Учебник биологии», обильно, однако непрофессионально проиллюстрированный мной самим. Мисс Роббинс чертила настолько четче и уверенней, что для второго издания перечертила по моей просьбе все мои диаграммы. Нам очень быстро стали тесны границы дружбы, и я был поражен, поняв, что она питает ко мне те же чувства, что и я к ней. Когда я ей рассказал, что, играя в футбол, отбил почку и лишился большей части одного легкого, это, по-моему, послужило для нее лишь поводом для немедленных действий. Думаю, ни она, ни я не надеялись прожить даже десяток лет, но каждую отпущенную нам минуту мы желали жить полной жизнью. Мы были такими безрассудными любовниками, каких не сыскать в целом свете; мы бросились в совместную жизнь, когда у нас едва ли было и пятьдесят фунтов на двоих, да еще моя болезнь, а мы выжили. Мы никогда не попрошайничали, никогда не влезали в долги, никогда не жульничали, мы работали и сперва достигли кое-какой обеспеченности, а потом и настоящего достатка.

И теперь мне вспоминается, что на всем этом пути нам было не занимать веселости.

Я оглядываюсь назад, на наши ранние совместные годы, и вижу печальное создание в трауре, которое в один прекрасный день появилось в моей лаборатории, и постепенно, совсем незаметно превращалось в спутницу жизни более легкой, жизни в расширяющемся мире. Джейн развивалась, и в ней начала проступать Кэтрин. Тридцать лет назад мы впервые «поехали за границу». Это были наши первые каникулы и явный знак того, что в борьбе за существование мы начали одерживать верх. Мы отправились прямиком в Рим — Джордж Гиссинг как-то пообещал показать нам тамошние достопримечательности. В те дни Рим был еще в расцвете своей красоты. Из Рима мы уже одни поехали в Неаполь и на Капри, а потом, на обратном пути в Англию, побывали во Флоренции. Моя жена была не только самая надежная и деятельная помощница, но в дороге, когда все заботы я брал на себя, и самая благодарная спутница. Во время этого путешествия и многих других я откладывал в сторону работу и занимался чемоданами и прочим багажом, а она, глядя на это

зрелище, радостно сияла. Мы вооружились зигфридовскими картами и отправились бродить по Швейцарии, на горы мы не карабкались, но искали снежные, безлюдные тропы. Она влюбилась в Альпы, и мы задумали и осуществили несколько длинных переходов через перевалы, ведущие в Италию. Мы ухитрялись ускользнуть из нашего дома в Фолкстоне недели на две, чаще всего в июне, до наплыва публики, когда сезон только начинался и вновь открывались гостиницы. И к нашим услугам были весенние цветы и ненатянутые улыбки.

Джейн воспылала страстью к высокогорью. Сам я из-за уменьшенного объема легкого и поврежденной почки был не большой мастак взбираться в горы, а после войны и вовсе утратил эту возможность, но тогда уже подрастали сыновья, и она отправлялась в горы с ними и каждый год ставила перед собой все новые задачи. После войны я видел ее такую ликующую только на моментальных снимках, которые она мне посылала. Она мужественно одолевала длинные переходы, пешком или на лыжах, никогда не двигалась особенно быстро или ловко, но никогда не сдавалась, — неутомимая фигурка, вся в снегу от нередких падений. Я писал ей, окруженный агавами и оливковыми деревьями, и она отвечала из своего снежного окруженья, а потом мы сидели, склонясь над подробными швейцарскими картами, и вместе прочерчивали путь, который она проделала или собирается проделать во время очередного похода.

3

Первые несколько лет у нас не было детей — уж слишком неопределенным нам казалось наше будущее, и мы не считали возможным подвергать риску никого, кроме самих себя. Но когда мы построили себе дом, отложили тысячу фунтов и я нашел страховую компанию, которую не испугали мои небольшие неприятности с легким и почкой, мы решили, что пора нам обзавестись детьми. У нас появились два сына. За жизнь первого из них и за свою собственную Джейн боролась больше двадцати четырех ужасных часов. В этом сражении она казалась такой маленькой и хрупкой, и, боюсь, тогда-то и было заронено зерно ее гибели.

Но теперь кроме Джейн и Кэтрин проявилась третья из важнейших сторон ее личности. Наше жилье стало домом, когда в нем зазвучал голос того, кто теперь — многообещающий молодой биолог, мистер Дж.-Ф. Уэллс, и, вероятно, с его легкой руки новая

ипостась моей жены была названа Мамулей. Однако истинное значение Мамули открывалось постепенно. В наши ранние родительские годы большую часть забот о детях можно было доверить умелой няне и опытной гувернантке. Жена следила за температурой и поведением мальчиков, и мы проводили с ними, должно быть, час в день и заботились, чтобы они учились четко произносить слова, правильно считать, свободно рисовать и чтобы любили с нами играть. Но в школьные годы между ними и Мамулей установились куда более тесные и близкие отношения. Они приглашали домой своих друзей по школе и Кембриджу, и Мамуля стала центром жизнерадостного, полного надежд мира молодых людей.

Особо отличали Мамулю ее несомненные актерские способности, которые не проявлялись ни в Джейн, ни в Кэтрин. В последние годы она была на редкость веселой, изобретательной и забавной актрисой. Многие наши друзья, вероятно, помнят потешные и, однако, достоверные фигурки, вызванные ею к жизни — наводящего ужас сыщика, злобный глаз которого сверкал меж опущенными полями шляпы и поднятым воротником пальто; множество ехидных старух, от церковных служительниц и поденщиц до герцогинь, с их изумительными репликами «в сторону», которые смешили до колик; величественных особ с невероятным чувством собственного достоинства в престранных старомодных шляпах; ее миссис Ной, которая бормотала про свои тайные страхи «уж больно все дорого», а ведь надобно «всех их содержать в чистоте», была исполнена материнской заботы и тревоги о появляющихся на свет один за другим крупных и, как правило, совсем никудышных детях.

Многие годы нас развлекали и веселили шарады. Поначалу нам приходилось сражаться с жизнью, можно сказать, в одиночестве — знакомых у нас было раз, два, и обчелся, друзей и того меньше, и мы мало с кем водили компанию. Мы болтали много всякой чепухи и много шутили, что помогало нам пережить суровую пору. Но об этом рассказывать ни к чему. Однако едва наши дела пошли на лад, мы завязали знакомства с самыми разнообразными людьми и очень полюбили проводить свободное время в их обществе. В 1897 или 1898 году, когда мы занимали домик в Сандгейте, нам пришлись по вкусу наши ближайшие соседи — некий мистер Артур Пофем с женой и двумя общительными детьми, да еще с наезжающими к ним кузинами, кузенами и друзьями, — и мы впервые смогли «валять дурака» в комнате, полной народу, давать волю своей склонности подражать и пародировать. Мы начали наши представления с «шарад-пантомим». Потом почему-то пристрастились к театру

теней. Мы уже давным-давно потеряли к нему интерес, но в те дни он был так важен для нас, что, когда мы строили в Сандгейте Спейд-хаус, мы просили, чтобы посреди одной из комнат была арка, что позволяло бы использовать глубину помещения: показывать на белой простыне увеличивающиеся и уменьшающиеся тени. Затем мы обратились к шарадам, немым и звучащим, ко всякого рода перевоплощениям, к сценическим карикатурам на пьесы текущего репертуара и неожиданно стали сочинять собственные пьесы. Иногда мы разыгрывали сценки путешествий или преподавали «нравственные уроки», изображая непривлекательность порока и прелесть добродетели. Нередко мы обращались к истории, священной или светской. Мальчики приохотились к быстрым драматическим импровизациям, и в этом развлечении им принадлежала чем дальше, тем большая роль, а Мамуля становилась все изобретательней.

Я перебираю свои воспоминания об этих затейливых, причудливых играх, которым общество предавалось с поразительным жаром. Из ранних дней в памяти всплывает замечательная мелодрама, которую мы представляли в Сандгейте, со сценой на набережной Темзы и скаковой лошадью, которой дали допинг (переднюю ее половину изображал Пофем): Форд Мэдокс Хьюфер{358} был единственным крупье за зеленым столом в дивной сцене в Монте-Карло, а Джейн — азартной и безрассудной герцогиней. Далее — сцены на вокзале в Хемстеде, с Г.-В. Невинсоном{359} в роли типичнейшего немца, швейцара у дверей в зал ожиданий, объявляющего поезда, и Джейн в роли мамаши, обремененной большим семейством, рядом с ней такая же крохотная, как она, Долли Рэдфорд в роли няни и вереница детишек, жующих булочки, все в белых носках, с голыми икрами, в соломенных шляпах на затылках, да еще лопатки, и ведерки, и масса всякого багажа. Помнится, одним из этих малышей был мой друг Э.-С.-П. Хэйнс, а другим У.-Р. Титтертон, и когда наконец объявили, что прибывает нужный поезд, и Джейн тотчас повернулась к Долли, указала пальцем на Хэйнса, произнесла: «Зигфрида понесете вы» — и с миной брюзгливого недовольства стала ждать, чтобы та выполнила распоряжение, ее наградили громкими аплодисментами.

Огромным успехом у нас пользовался Сидней Оливиер — с трогательным правдоподобием он играл младенца Моисея в сочиненной Джейн «Дочери фараона», а еще ему прекрасно удавался могучий Самсон со спутанной гривой. Устрашающего вида железяка, на которой пекли лепешки, дар Филипа Гедаллы, на время обратила наши мысли к аду. «Нэнси Парсонс», нынешняя леди Мерси Дин, царила среди обреченных, а для себя

Джейн избрала роль невозмутимой брюзги с книжкой установлений и тарифом мук, от которой главный злодей приходил в нескрываемый ужас. «Но, сэр!» — настаивала она, указывая пальцем на то или иное установление. Ко всем ужасам ада прибавился еще один.

Таких воспоминаний у меня хватит на целую книгу. За эти годы в наших шарадах с восторгом участвовали, наверно, сотни людей. Они сейчас все у меня перед глазами, выглядывают друг у друга из-за плеча, — как та могучая плеяда, что изображена на опускающемся занавесе лондонского «Колизея»: Арнольд Беннет, сэр Фредерик Кибл{360}, Лилла Маккарти, Бэзил Дин{361}, Ноэл Коуард{362}, Роджер Фрай{363}, в виде скелета с белыми бумажными костями на черном трико, Клаттон-Брок{364} в роли прусского генерала, Филип Сноуден{365} (его первое и единственное театральное выступление) в роли пожилого злющего раджи, который ведет переговоры с охотниками за концессиями, и в роли Папы в красной шапке, еще злее раджи, и Фрэнк Ходжес в белом фартуке и с множеством пивных кружек в руках в роли низкопробного хозяина низкопробной гостиницы. Покойный Джордж Мэйр{366} замечательно изобразил миссионера, из самых непривлекательных, а Фрэнк Суиннертон — ужасающего прожигателя жизни. Сэр Гарри Джонстон создал изумительного Ноя, а Ной Чарли Чаплина был и того изумительней, только совсем в другом духе. Но каждый персонаж, что мне вспоминается, ведет за собою других. Я не могу назвать даже и десятой их доли. И среди всей этой веселой кутерьмы проходит моя жена, сдержанно сияющая и неутомимая. Она хранила в шкафах множество красочных костюмов для шарад и всегда безошибочно чувствовала, какой из них окажется самым эффектным.

Все, что касалось шарад, в конце концов полностью перешло в ведение Джейн. Поначалу, мне кажется, я подбрасывал кое-какие идеи, но она настолько больше была ими захвачена, настолько лучше во все вникала и мои мальчики отдавались этому с таким упоением, что постепенно я совсем отстранился и перешел в ряды восторженных зрителей. При появлении Джейн я никогда не мог угадать, что за сюрприз она измыслила на сей раз. Ей никогда не изменял дар поражать меня — заставить смеяться и восхищаться. Не могу передать, с какой бесповоротностью я теперь ощущаю, что этот причудливый и разнообразный мир счастливых забав закрылся для меня навсегда.

Закрылся навсегда потому, что это была не столько моя жизнь, сколько жизнь Джейн. Наше старое жилище, возможно, останется домом для молодого поколения, но для меня оно

теперь не более чем прибежище воспоминаний. В этом же тоне счастливых реминисценций я мог бы писать и о множестве других сторон той созданной Джейн домашней жизни, которая была так определенно именно ее жизнью. В конце концов шарады были всего лишь одним из развлечений среди огромного разнообразия схожих забав. У Джейн была страсть неожиданно затевать танцы, и для танцев у нас имелся большой сарай, к тому же вместе с нашими мальчиками она поставила несколько пьес в деревенском театре. На конец недели к нам собиралась самая разнообразная, казалось бы несовместимая, публика. Приезжали обычно днем в субботу, несколько отчужденные, не испытывая особого доверия друг к другу, а в понедельник уезжали, чудесным образом объединенные, успев понаряжаться в маскарадные костюмы, потанцевать, выступить в какой-нибудь роли, погулять, поиграть и помочь приготовить воскресный ужин. Она никогда никому не навязывала свою волю, но от нее исходило такое доброжелательство, такой безусловно радостный жар, что самые холодные воодушевлялись и самые чопорные оттаивали.

Все это было в порядке вещей меньше года назад. Я вспоминаю праздничную атмосферу приездов и отъездов, множество гостей за чайными столиками в беседке, освещенные окна по вечерам, из которых на газоны и кусты падали пронзительно зеленые лучи света, радостное оживленье, смех. Занавес опустился, скрыв эту милую сердцу картину, и никогда уже мне ее не воскресить. Она исчезла так же безвозвратно, как наши первые робкие разговоры в моей крохотной классной комнате на Ред-Лайон-сквер{367} или наши отважные усилия, когда мы поднимались по крутым дорожкам, на которые нас неудержимо влекли волнующие зигзаги зигфридовской карты.

«Как весело нам было!» — написал один мой старый друг, и это могло бы стать эпитафией тому ее лику, что был обращен к жизни в кругу семьи и друзей-приятелей.

4

Рассказывая все это, я сознаю, что лишь едва приоткрываю самое существо моей жены. Я пишу о ее ликах, о разных сторонах, которыми она поворачивалась к миру. Я хожу вокруг да около личности, которая на самом деле оказалась на удивленье робкой и ускользающей от понимания. Джейн Уэллс, Мамулю и хозяйку Истон-Глиб знали десятки людей, но я проникал в самую ее суть. За ее улыбающимися масками таилось что-то, что старалась выразить Кэтрин Уэллс и в конце концов в некоторых из

рассказов выразила превосходно. В мягком свете настольной лампы, когда она писала то, что вполне могло остаться ненапечатанным, она позволяла себе отправляться на поиски своего сокровенного «я».

Я рассказал, как мы вдвоем бросили вызов ходячей мудрости мира и выиграли, и вдохновляли нас Шелли и Хаксли и глубокое презренье к нерешительности и лицемерию нашего времени. Куда труднее рассказать о постепенно открывавшихся нам глубочайших различиях в наших характерах и темпераментах и о сложностях, которые у нас возникали из-за этих различий. В основе натуры моей жены лежало страстное стремление к счастью и всему прекрасному. Она прежде всего была мягкой и доброй. Она преклонялась перед красотой. Ей казалось, красота — нечто вполне определенное, подлинная драгоценность, которую необходимо найти и хранить. На мой взгляд, красота свойственна всему сущему, неотъемлема от него, и потому нечего о ней особо задумываться. Я куда менее устойчив, чем была она, но есть во мне напористость, что противостоит моей неустойчивости. Во мне больше энергии, нежели силы, и мало терпения; в житейских делах я тороплив и неумел, так как чуть ли не всю свою энергию и волю устремляю на решение тех задач, что всецело мной завладевают. Только в таком случае, мне кажется, я и способен их решать. Я загоняю себя, чтобы справиться со своей работой, и за это плачу дорогой ценой — спешка идет в ущерб изяществу и законченности. Во всем этом мы были полной противоположностью и конечно же противостояли друг другу.

Мне кажется, сегодня молодым людям ощутимо помогает приспособиться друг к другу современная психологическая наука. Ее анализ мотивов поведения чрезвычайно способствует пониманию и снисходительности. А в наше время психология была еще в основном поверхностным и ни к чему не пригодным умствованием. Нам пришлось справляться главным образом с помощью данного нам от природы разумения. И, страшно подумать, сколько терпения, мужества и жертвенности Джейн вкладывала в наши отношения, без чего невозможны были бы никакие компромиссы. Не помню случая, чтобы она преувеличила те или иные возникшие между нами разногласия, подтолкнув нас к неверным решениям. Два важных обстоятельства были в нашу пользу: во-первых, нас обоих отвращала не только лживость, но и неискренность; и во-вторых, мы питали друг к другу истинную любовь и уважение. И опять же подвиг совершала она. Мне легко было сохранять веру в ее чувство справедливости и великодушие. Она никогда не говорила неправды. Ее слово перевесило бы для меня клятвы всех на свете свидетелей. А она ухитрялась

сохранять уверенность, что ради меня стоит жить, хотя это было непросто, ведь я непрестанно пробивался сквозь путаницу настроений и побуждений, которые по самой ее природе ни в коем случае не могли быть ей симпатичны. Она так безоговорочно верила в меня, что в конце концов я и сам поверил в себя. Ума не приложу, чем бы я был без нее. Она придала моей жизни устойчивость, одарила ее достоинством и домашним очагом. Оберегала ее целостность. Это невозможно было бы без неизменного внимания и труда. У меня сохранились сотни воспоминаний о неутомимой машинистке, которая продолжает работать, несмотря на боли в спине; о серьезной зоркой читательнице гранок, которая сидит под навесом в саду, вознамерившись не пропустить ни одной неточности; о решительной маленькой особе, трезво мыслящей, но не подготовленной к ведению дел, которая стойко сражается с нашими счетами, хотя они приводят ее в замешательство, и все держит в своих руках.

Несходство наших характеров отражалось в наших убеждениях. Хотя Джейн изо всех сил и со всей преданностью помогала мне и поддерживала, я не думаю, что она так уж разделяла мои верования. Она их принимала, но могла бы обойтись и без них. Я буквально одержим тем, что могло бы быть, и недоволен настоящим; я бы с радостью обзавелся собственной косой и обогнал седое Время; я исполнен веры в возможности человека, и она стала основой моей жизни; а вот жена пристальней вглядывалась в происходящее сегодня и была к нему куда терпимей. Она была человеком более реалистическим, чем я, и менее творческим. Она острее видела и прелесть, и скорбь, и жестокость мира. Она многим восхищалась, многим дорожила, многое оберегала и многому сострадала — куда больше меня. В ее подходе к жизни было гораздо больше стоицизма, чем в моем, — не могла она ни так надеяться, ни так возмущаться, как я. Если вы это поняли, вам, я думаю, откроется та мечтательная прелесть, которой отмечены такие рассказы этого сборника, как «Изумруд», «Прекрасный дом» и «Беглецы».

Ей в высшей степени были свойственны сострадание и неизменная готовность помочь. Она старалась щадить чувства окружающих, не унижать их и не озадачивать. Она замечала, когда кому-нибудь из бедняков бывало не по себе из-за больного зуба или иных мелких, но докучных недомоганий, и не упускала случая облегчить их положение. Своевременное обращение к дантисту или окулисту могло превратить жизнь из мучительной в радостную и успешную, и она не раз этому способствовала. Она заботилась и о подходящих подарках — небольшой автомобиль,

граммофон, пианола — для семей, которым это было недоступно. Она стала очень умелым дарителем: то своевременно даст отпуск уставшему рабочему, то пришлет кому-то к случаю новое платье. Она всегда старалась подыскать нужный подарок для глухих, который облегчил бы их жизнь, но такой еще только предстояло изобрести.

После войны мы издали книгу «Очерк истории». Мы не надеялись, что книга будет прибыльной, но чувствовали, что написать ее необходимо, и не видели никого, кто мог бы за это взяться. Не сказать, чтобы мы были особенно подготовлены для такой задачи, а потому нам обоим пришлось изрядно потрудиться. Мы работали в Истоне далеко за полночь, делали выписки из груды книг, что-то набрасывали, что-то печатали прямо на машинке, но никто и подумать не мог, что работа эта окажется для нас столь выгодной. Мы разбогатели, но, по-моему, жене и в голову не приходило как-то воспользоваться этим только для себя лично. Ей нравилось, когда людям весело, нравился приятный открытый дом, но в ее натуре не было и намека на светские амбиции. Ей нравилась красивая одежда — а красивая одежда иногда стоит больших денег, — однако ей вовсе не свойственно было выставлять себя напоказ. У нее почти не было драгоценностей, да они ее и не привлекали. Но теперь, когда денег у нас действительно было сверхдостаточно, ее неброские, деликатные благодеяния стали более систематическими. Об очень многих я, вероятно, и понятия не имел — у нас был общий счет в банке, и она распоряжалась им по своему усмотрению. Она советовалась со мной о расходах «серьезных», а не о малых, которые я, по ее мнению, одобрил бы. И к тому же для трат, которые мне, более жестокосердому, могли показаться излишними, у нее существовал свой собственный фонд.

Сострадание, великодушие, любовь к красивым вещам, к благородным мыслям и щедрость! Как прекрасна она была в своей тихой скромности! И самое главное — она обладала мужеством. Ему суждено было проявиться до предела. Пять месяцев, когда ей становилось все хуже и хуже, она смотрела в лицо неизбежной смерти и не падала духом.

5

Пять месяцев нам пришлось быть свидетелями того, как к ней приближалась смерть, но первый знак этого безжалостного наступления оказался для нас полной неожиданностью. Мы всегда думали, что будет как раз наоборот; что первым скорее

всего умру я, и, должно быть, внезапно. Потому мы так распорядились своими делами, чтобы по возможности смягчить удар, который нанес бы мой уход. Наш дом в Истоне велся таким образом, чтобы, если вместо моих частых исчезновений на время — а каждую зиму я ненадолго уезжал, желая побыть на солнце, — мне случилось бы исчезнуть навсегда, в доме все оставалось по-прежнему, шло своим чередом. В январе этого последнего года она вместе с нашим младшим сыном и его суженой была в Аросе, а я — в более мягком климате, на Ривьере. В марте мы приятно провели неделю в Париже, где я прочел лекцию в Сорбонне, а очаровательные мадам Кюри{368} и профессор Перен были к ней на редкость внимательны. Она загодя предвкушала эту поездку и, что характерно для нее, тайком занималась с преподавателем, чтобы освежить свои знания французского, и в Париже поразила всех беглостью речи. Мы вернулись в Лондон, и казалось, ей слегка нездоровится. Нам и в голову не пришло, что у нее какое-то серьезное заболевание. Я опять уехал за границу, в автомобильный вояж, но перед отъездом взял с нее слово, что она покажется доктору.

Мой старший сын тоже отправился во Францию, намереваясь провести там медовый месяц. Мы поспешно возвратились, получив телеграмму младшего сына. Ей сделали диагностическую операцию, о характере которой она ничего мне не сообщила, и хирурги обнаружили у нее неоперабельный рак, процесс зашел очень далеко, так что ей оставалось жить едва ли полгода.

Когда я приехал, оказалось, она все это ясно понимает. Она сразу расспросила докторов и вынудила их сказать ей правду. Видя, что они расстроены, она старалась их утешить — я знаю это с их слов. «Я понимаю, вы ничего не можете сделать, — говорила она. — И незачем вам горевать».

Мы попробовали бесполезную рентгенотерапию, но чем меньше о ней говорить, тем лучше. Тогда мы решили наилучшим образом воспользоваться временем, пока она еще с нами. И такой у нее был ясный и здравый ум, что большую часть этих ста пятидесяти дней нам и впрямь удалось провести интересно и радостно. Поначалу мы надеялись, что силы в значительной мере вернутся к ней, но она так и не сумела преодолеть слабость, наступившую после рентгенотерапии, которую проводили, когда она еще не оправилась от операции. Первые недели ей удавалось подниматься и спускаться по ступеням истонского дома, но потом мы стали носить ее в кресле. Мы нашли замечательное кресло-каталку для прогулок, с большими колесами, надувными шинами и хорошими пружинами, и она могла отправляться на довольно

далекие прогулки — в соседний парк Истон-Лоджа и в Гайд-парк. Какое-то время она способна была переносить поездки в автомобиле с мягким ходом, и мы побывали у многих наших друзей, а когда ей страстно захотелось к морю, даже провели несколько дней в гостинице в Феликстоу. Сад, который она взрастила в Истоне, великолепно цвел. Друзья, которых она любила, ее навещали, и она даже устраивала своего рода приемы на теннисных кортах после игр, и смеялась, и аплодировала игрокам.

Она запоем читала, и к ее услугам была вся та музыка, которую можно слушать на патефоне. Некоторые новые пластинки обладали замечательно чистым и выразительным звучанием. Мы усаживались вместе на солнышке и слушали Бетховена, Баха, Пёрселла и Моцарта, а когда она стала слабее и ей трудно было сосредоточиться, мы сидели рядом в тишине, в сумерках, и с удовольствием и интересом смотрели, как среди только что занявшихся поленьев мерцают первые голубые огоньки и разгорается пламя.

Она четко и методично привела в порядок все свои дела. День за днем она слабела, но голова оставалась ясной. Нередко при развитии этой болезни яд, что накапливается в крови, отравляет мозг и больного одолевают неведомые страхи и странная враждебность — и к этому последнему ужасу я пытался себя подготовить. Однако ничто подобное не омрачило те последние дни, хотя часы ясного сознания сжимались. Все большую часть суток поглощал сон и наркотическое забытье.

Вначале я приходил к ней во время завтрака, и она бывала весела, а часам к одиннадцати сиделки вывозили ее в сад. Потом она стала уже начинать день с ленча, после которого спала до чая, и только между чаем и отходом к ночному сну приходила в себя и как-то оживлялась. Она худела и стала совсем тоненькая, но в изнуренном лице было странное очарование, что-то напоминавшее Джейн в юности. Она усохла и стала поистине крохотной. При этом вид у нее был не изможденный и не пугающий, и она неизменно ухитрялась не приводить окружающих в отчаяние. Еще за месяц до смерти она провела час или даже больше со своим парикмахером из Лондона, и он завил и уложил ее все еще прелестные волосы. Она тщательно одевалась до тех пор, пока у нее хватало сил одеваться.

До самых последних дней она распоряжалась в доме. За две недели до конца заказала новые кусты роз, чтобы их посадили в саду вместо тех, что выродились. Двадцать четвертого сентября она велела повалить дерево, которое не пропускало свет в комнаты слуг, и сама наблюдала за этим. То был ее последний

день в саду. Меня там не было, я уезжал в Лондон, чтобы привезти специалиста из Франции, который, я надеялся, облегчит ее страдания. Когда дерево с треском обрушилось, она, по словам сиделок, отвернулась, не захотела смотреть.

Непомерная усталость подкрадывалась к ней. Она все с большей готовностью ждала ночи, когда наркотик погрузит ее в блаженный сон. Она еще любила жизнь, но хватка ее была уже не та. Она мне говорила, что готова заснуть навеки. Она очень хотела, чтобы я не горевал о ней и твердо знал, что она была со мной счастлива. Лишь одно еще привязывало ее к жизни. Она очень любила нашего младшего сына Фрэнка и его невесту, которую он выбрал, еще когда был студентом, и хотела дождаться их свадьбы. Они втроем несколько раз весело проводили время в Швейцарии и в Италии.

Она сама заказала свадебный завтрак. Никому на свете не позволила бы она сделать это вместо себя. Присутствовать в церкви она не могла бы, но надеялась, что ее снесут вниз и она будет сидеть за столом. Свадьба была назначена на седьмое октября. Она вспомнила, что седьмое — день рождения маленькой племянницы и что где-то припрятан загодя купленный для нее в Берлингтонском пассаже подарок. Велела его разыскать и отослать. Потом, шестого, она стала заметно терять силы. Она лежала не шевелясь, и мы думали, что она в забытьи. Но она услышала, когда по пути в гараж под ее окном проехал автомобиль сына. Он вернулся с работы из Лондона и завтра вступает в брак. Она поджидала этот знакомый звук. Она ожила. Узнала сына и ласково и бессильно потянулась к нему и что-то пробормотала ему о свадьбе. Потом уже ничего не замечала. Больше она не сказала ни слова, сознание оставило ее, и примерно через час, когда ее бесчувственная рука покоилась в моей, она перестала дышать.

Казалось, эта свадьба такое органичное завершение ее жизни, что мы решили ничего не откладывать. Мы перенесли церемонию с одиннадцати на девять, чтобы избежать стечения народа. Под утренним солнцем мы поехали в старую приходскую церковь в Данмоу, дождались там невесты и ее родителей, и после венчания молодые отправились вдвоем в жизненное плавание, а я со старшим сыном и его женой вернулся в наш дом.

Так хороши были лиловые и белые хризантемы в то октябрьское утро! Казалось, просто невероятно, что я уже не могу принести их ей полюбоваться.

Среди последних желаний, которые она слабеющей рукой кое-как записала в памятной книжечке за несколько дней до смерти, она очень отчетливо вывела: «Я хочу, чтобы мое тело кремировали» — и подписалась с решительным росчерком. Вероятно, опасалась, что, если не будет ее письменного распоряжения, могут возникнуть юридические трудности.

Все сложилось так, чтобы сделать это последнее прощанье особенно красивым. Я безмерно страшился его — в памяти сохранилось лишь несколько подобных служб, в которых не ощущался холод и мрак. Мне хотелось найти для этих похорон нецерковную форму прощального слова: уже не в первый раз меня уязвляли умствования святого Павла в его Послании к Коринфянам, которые составляют сущность англиканской заупокойной службы. Я посоветовался с доктором Хейуордом, и он дал мне небольшой сборник надгробных речей, подготовленный Ф.-Дж. Гулдом. Я выбрал одну и принялся ее переделывать. В конце концов я основательно ее переписал. И не потому, что думал, будто теперь она станет лучше, но потому, что все искал какой-то новый поворот, который больше подходил бы именно для нашего случая. Я писал между строк и поверх строк, пока от прежней речи едва ли осталось хоть что-то, кроме некоторых цитат и основного строя. Она стала очень личной, а оставшиеся от первоначального текста цитаты и связанные с ними соображения выпирали из нее, как часть здания, включенная в новую постройку, но не приведенная с ней в соответствие.

Прочел эту речь доктор Т.-Э. Пейдж{369}. Он сидел за кафедрой лицом к небольшому серому гробу, с которого все цветы и венки были убраны и сложены в стороне, и читал очень отчетливо и хорошо, обращаясь к нашим друзьям, которых собралось множество. Мы известили всех о желании покойной, чтобы никто не носил по ней траур, и все эти добрые, расположенные к нам, исполненные скорби люди были в своем привычном виде, а не переодетые в незнакомые черные одежды. Оттого атмосфера была куда более сердечная и трогательная. Собрались наши старые друзья и приятели, чтобы вспомнить каждый этап наших совместных тридцати пяти лет, и многим, наверно, приехать было непросто, пришлось что-то отложить, так как мы предупредили их очень незадолго.

Стоя мы слушали, когда мистер Реджиналд Пол исполнял на органе «Pièce Héroïque»[43] Сезара Франка, потом сели, и доктор Пейдж произнес надгробное слово:

«Мы собрались сегодня в этой часовне, чтобы в

последний раз поклониться нашему дражайшему другу Кэтрин Уэллс.

Мы пребываем в великой печали, ибо смерть пришла в срединную пору ее жизни, когда мы все могли надеяться, что еще долгие годы будем свидетелями ее отважного и сладостного присутствия среди нас. Она стала жертвой рака, до сих пор не побежденного врага человеческого счастья. Многие месяцы силы ее убывали, но неизменны оставались ее мужество и доброта. До самого конца она спокойно встречала свой удел, и ее мягкая улыбка была неизменно обращена к тем, кто за ней ухаживал. Нелепо делать вид, будто случившееся не заставило нас с особой остротой ощутить чрезвычайную краткость жизни рода человеческого. Дни человека „как трава“, сказал Псалмопевец, и еще: „Дней лет наших семьдесят лет; а при большей крепости восемьдесят лет; и самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим“. Однако такая жизнь, как эта, может научить нас, что настоящую пользу можно извлечь из кратких дней и что мужество того, кто привержен стоицизму, — противовес отчаянию.

Это была жизнь, свободная от страхов перед всем сверхъестественным и от иллюзий, порожденных суевериями. Сегодня мало кого тревожат грешные домыслы о том, что может лежать за миром и покоем, которые снизошли на нашего друга. Жизненный путь дорогой усопшей как исполненная задача, как повесть о годах, прожитых отважно и щедро, теперь отлетевших за пределы досягаемости, так что их уже не переиначишь. И хотя мрачная тень прерванной, остановившейся жизни легла нам сегодня на душу, это тень, из которой мы можем выйти. О ценности такой жизни, какую прожила она, мы можем думать с радостью даже перед лицом смерти. Есть мудрость и утешение для нас в словах Спинозы: „Свободный человек всего менее думает о смерти, и мудрость его заключается в размышлениях не о смерти, но о жизни“.

Город живших на свете — нетленный город, он основан в незапамятные времена, в глубине веков, и поднимается в будущее, за пределы нашей видимости, стены его сложены наподобие мозаики из таких жизней, как эта. Не было бы этого города и не на что было бы ему надеяться, если бы не здравость и правильность таких жизней. Все достохвальные жизни вечны. Мир

человеческих достижений существует в них и благодаря им; в них его пребывание и надежда, и в мире этом они, бессмертные, продолжают сражение со смертью и муками конца.

Иные жизни возвышаются над морем людским и служат маяками для всего человечества. А иные, что еще прекрасней и совершенней, сияют в более узких пределах и лишь благодаря случайным проблескам и отраженьям становятся известны внешнему миру. Так было и с нашим другом. Самое лучшее и достойное умиления в ней известно лишь одному-двум из нас; таинственное и тайное, оно не поддается разгадке. Верная, мягкая, мудрая и бескорыстная, она поддерживала того, кто оплакивает ее здесь сегодня, ему она отдала свое сердце, и свою юность, и самое лучшее в своей прекрасной жизни, разделила с ним добрую молву и злую, разделила тяготы и неудачи нашего трудного, исполненного опасностей мира. Она была превосходная жена, счастливая мать и создательница открытого, радушного и гостеприимного дома. Возможно, она была слишком деликатна и ненастойчива, что мешало широкому и разнообразному знакомству, но ее неиссякаемое добросердечие распространялось на многих и многих. Она не упускала случая незаметно сделать добро. Никто не мог бы рассказать обо всех ее заботливых дарах, которые она делала чуть ли не извиняясь, о щедрой помощи, о многих благодеяниях, потому что никто не знает их все. По ее мнению, доброе дело, о котором говорят или даже помнят, наполовину обесценивается. У нее была большая душа. Она умела простить неблагодарность, не обижалась из-за небрежности. Никогда никого не осуждала. „Бедняжки“, „Какие же они глупые, бедняжки“, — говорила она обычно, когда узнавала о какой-нибудь отвратительной истории или читала о какой-нибудь безобразной ссоре, — ей казалось, что дурные поступки отзываются болью и стыдом даже у тех, кто их совершил. У нее для всех хватало сострадания и милосердия, только не для себя. К себе она всегда была взыскательна. По натуре она была правдива, никогда не лгала, не играла ни в какие закулисные игры. Безмерно любила все красивое и изящное, и с годами вкус ее как будто становился еще изощренней. В живой природе ей всего милей были розы в ее любимом саду и освещенные солнцем заснеженные

горы…

Не увидит она больше ни цветов, ни солнца, и боли и нарастающая слабость последних месяцев тоже для нее кончились; но дух ее жизни еще с нами — дух сострадания, доброты, чести, снисходительной цельности — еще среди нас, в памяти всех, кто ее знал.

А теперь дорогое нам тело должно проследовать от нас к всепоглощающему пламени. Ее жизнь была звездой, огонь устремляется к огню и свет к свету. Она возвращается в горнило всего сущего, из которого была извлечена ее жизнь, но она остается, бережно хранимая в глубине наших сердец, и живет вечно в самой сути свершенных ею дел».

Тут чтец замолчал и гроб медленно проследовал в преддверие горнила. Все встали. Двери закрылись, и опять раздался голос чтеца:

«Мы вверили нашу дорогую усопшую пламени, и скоро здесь останется лишь горсть пепла как след существа, которое мы знали и любили.

И пока мы стоим здесь, мы, чьи тела вскоре должны последовать за ней туда, где нам уготовано то же упокоение и рассеяние, давайте задумаемся на миг о том, как лучше распорядиться еще оставшимся нам временем.

И пусть память об этом нежном и сияющем духе станет неким талисманом, благодаря которому наша жизнь будет исполнена доброжелательства, правдивости и великодушия».

Вот и кончилось чтение. Большие сводчатые двери часовни при крематории выходили в обширный сад, где в безмятежном солнечном сиянии прекрасного октябрьского дня пламенели цветы. Тишина, царившая там, была пронизана ожиданием. Как сказал мне один ее близкий друг, казалось, она вот-вот выйдет к нам привычно улыбающаяся, со своей садовой корзинкой и большими ножницами с красными ручками. Когда отзвучало надгробное слово, мистер Пол исполнил ее любимую «Пассакалию» Баха.

Мне бы не пришло в голову последовать за гробом, если бы не стоявший рядом Бернард Шоу. «Возьмите мальчиков и пройдите следом, — сказал он. — Это прекрасно».

Я было заколебался, и он прошептал: «Я видел, как там сжигали мою матушку. Вы не пожалеете, если пойдете».

Это был мудрый совет, и я очень благодарен Шоу. Я поманил сыновей, и втроем мы прошли к печи. Маленький гроб стоял на тележке перед ее дверцами. Они отворились. За ними видна была прямоугольная камера, ее стены из огнеупорного кирпича рдели тусклым красным жаром. Гроб медленно вдвинули в камеру, через минуту-другую пляшущие языки огня охватили его дальние углы А еще через секунду весь гроб был объят белым пламенем. Дверцы печи медленно закрылись за этим белым сиянием.

Это и вправду было очень красиво. Как хотелось бы, чтобы она знала о тех первых трепещущих ярких огнях, — такие они были чистые и так походили на нетерпеливые, но доброжелательные живые существа.

Возвращение с похорон всегда связано с тяжелыми переживаниями, ведь неизменно преследует мысль о том злосчастном теле, которое заточено в ящик и в холодной мокрой земле ждет наступления сумерек. Но, я чувствовал, Джейн ушла из жизни вся целиком, не оставив ничего, что стало бы разлагаться и загрязнять землю. Так она пожелала. Хорошо было думать, что она ушла из жизни как должно уходить духу.

Глава I
О любовный историях и Призраке Возлюбленной

1. Призрак Возлюбленной

В книге, которую я назвал «Опыт автобиографии», я пытался проследить, как развивается человеческий ум, мой ум, — с самого моего рождения в 1866 году и по 1934 год. Сколько я понимаю, это довольно живой и смелый тип ума, но по своему складу явно заурядный, и интересен он скорее как пример повседневного движения мысли и устремлений той поры жизни человечества, нежели как нечто исключительное само по себе. Некоторые критики говорили, что, утверждая, будто ум у меня совершенно заурядный, я неискренен, и были склонны переоценивать мой калибр и обвинять меня в своего рода вывернутом наизнанку высокомерии, но я имел в виду именно то, что сказал: ум у меня был весьма ординарный. Он обладал единственным выдающимся свойством — завидной склонностью к прямоте. Я рассказал со всей возможной полнотой о сексуальном пробуждении этого ума, о первоначальных эмоциях и чувствах и об игре безотчетных побуждений на фоне укоренившихся норм поведения, вплоть до 1900 года, когда у нас с женой установился некий, как я его назвал, modus vivendi. С этого времени события сексуальные и

моя интимная жизнь должны были отступить на задний план повествования. Они перестали быть событиями главнейшими, формирующими личность, и стало возможно сделать основной темой последующих глав развитие моего мировоззрения. Но я сожалел, что непринужденная откровенность начала книги была в них приглушена. Любовные истории в дальнейшем имели для меня немалое значение: после 1900 года их у меня завязывалось немало, о чем я говорил совершенно недвусмысленно, по крайней мере в общих чертах, — но отсутствие подробного разговора о них привело к тому, что в повествовании образовались отдельные пустоты.

Эти умолчания объяснялись главным образом тем, что многие из тех, кто в 1934 году был еще жив, были бы неминуемо очень задеты откровенным обсуждением их роли в моей жизни. И, мне кажется, единственная возможность завершить мою попытку дать представление о существенных фактах истории личности — это незамедлительно рассказать все как есть о тех порожденных воображением и эмоциями сложностях, о которых я умолчал по ходу дела, и пусть мои теперешние записки будут опубликованы позднее, когда эти соображения деликатного свойства отпадут.

Что до моей первой жены, и второй, и моего развода, я совершенно ясно рассказал обо всех важных обстоятельствах и повторяться здесь не стану. В обоих случаях между нами существовала глубокая взаимная привязанность. И неудовлетворенность. Я так и не смог разобраться: слишком велика у меня потребность в сексе или она в пределах нормы. Для подобных дел еще нет измерителей. Я склонен думать, что сексуальные желания и игра воображения донимали меня меньше, чем рядового мужчину. Изредка завладевающие нами любовные фантазии, острые приступы желания в природе человека, но у меня они никогда не главенствовали над научными интересами, политико-социальной направленностью или чувством долга. При этом я никогда их не подавлял; подавлять что бы то ни было ненавистно моему душевному складу. Я мирюсь с заповедями чрезвычайно неохотно и внутренне постоянно протестую. И обстоятельства мои были таковы, что я жил необычайно свободно. Никакие внешние ограничения не мешали мне дать выход моему творческому воображению. Меня не касались запреты, какие мы налагаем на адвокатов, врачей или школьных учителей. Я знал лишь сдерживающие начала, порожденные привязанностью, а в остальном делал все, что мне заблагорассудится, так что каждый мой сексуальный порыв находил свое выражение. Я подозреваю, что у большинства прочих мужчин сексуальной энергии,

возможно, столько же, а то и больше, но выход ее меньше. Обстоятельства вынуждают их жить более скрытой сексуальной жизнью, и потому они больше подвержены комплексам. Пока мы с Джейн вели отчаянную каждодневную борьбу с миром, я не имел возможности давать волю своим желаниям, и мы ухитрялись обходиться ограниченными ласками и сдержанной близостью, что было вызвано относительной хрупкостью Джейн и относительным недостатком у нее нервной энергии и энергии воображения. Но когда пришли успех и достаток и окрепло здоровье, наше тесное, не допускающее отклонений партнерство ослабило свои путы. Я стал подумывать о более заманчивых чувственных впечатлениях и стал спрашивать себя: «А почему бы и нет?» В той мере, в какой позволяет литературная речь и насколько позволяет мое отношение к Джейн, я совершенно открыто написал об этом в моей «Автобиографии» в главах под названием «Modus vivendi» и «Как я пишу о проблемах пола», но конечно же не о том, что касалось других людей. Здесь я хочу рассмотреть, насколько сумею, этапы эмоционального развития и личные встречи, сопутствовавшие — что видно каждому проницательному читателю — этому моему бунту против общепринятых сексуальных установлений нашего времени.

Чтобы сделать это достойным образом, мне, я думаю, следует прежде всего поразмышлять о некой движущей силе, которая, несомненно, существует в каждом правильно устроенном мозгу. Я пытался анализировать свою умственную деятельность и, возможно, позднее сумею опубликовать выводы в научной или художественной форме, на мой взгляд, они весьма интересны. Но здесь я буду записывать их просто так, как они приходят мне в голову. Я думаю, в душе каждого человека, вероятно с очень ранних лет, зарождается и постоянно зреет, становится все утонченнее совокупность ожидания и надежды; некий конгломерат сладостных и волнующих мыслей; представления о встрече и отклике, почерпнутые из наблюдений, описаний, драматических событий; грезы о чувственных усладах и восторгах; грезы о взаимопонимании и взаимности; все то, что я назову Призраком Возлюбленной. Я думаю, это понятие в первую очередь сексуальное, а уже потом социальное — я хочу сказать, сексуальное по своему источнику, ведь, как я понимаю, живое существо оказывается не эгоцентриком только благодаря развитию его понятий о сексуальной, семейной и социальной жизни. Я думаю, Призрак Возлюбленной(ого) почти так же важен в жизни человека, как его самосознание. Это дополнительное сознание. Ни единый человек осознанно не противостоит миру в одиночестве; ни единый человек конечно же не живет и не может

жить без того неопределенного, изменчивого, многообразного, но вполне ощутимого присутствия рядом с его *персоной* той, что говорит или как будто говорит: «Согласна!», или «Да», или «Я спешу на помощь», или «Дорогой». Именно это я и подразумеваю под Призраком Возлюбленной. В жизни каждого из нас он неразделен с его *персоной.* Он может быть лишен каких бы то ни было признаков, его можно не узнать, можно отрицать, но он существует. Даже когда человек поет:

Никого не люблю, нет уж,
И никто не любит меня, —

он поет своему Призраку Возлюбленной. А иначе он не стал бы петь. И опять же, когда пьяный матрос на берегу объявляет во всеуслышание: «Бабу хочу», это он в самой что ни на есть грубой форме взывает к своему Призраку Возлюбленной. Его потребность, наверно, прежде всего телесная, но он получит должное удовольствие, только если будет удовлетворена и его *персона.* Со шлюхой матрос будет разговаривать, будет похваляться, будет слушать про ее жизнь и сочувствовать.

Книги, стихи, картины — все они написаны для Призрака Возлюбленной. Очень и очень многое в поведении человека можно объяснить лишь постоянной тягой души увидеть во плоти Призрак Возлюбленной, если не совсем такой, как представлялось, то хотя бы какую-то ее ипостась, какой-то отсвет этой совокупности тоски и надежды. Естественно стремление, особенно у подростка и молодого человека, увидеть Призрак Возлюбленной полностью или хоть отчасти воплощенным в ком-то, в друге или чаще в возлюбленной. Наиболее сложным млекопитающим Призрак Возлюбленной рисуется довольно ясно, но, должно быть, не во всех подробностях. Когда мы ухаживаем за женщиной, мы стараемся увидеть в ней олицетворение или хотя бы символ Призрака Возлюбленной, что таится у нас в душе; и когда мы влюблены, это значит, что мы нашли в избраннице хотя бы некоторые из главных качеств нашего Призрака Возлюбленной или обещание их. Любимая на время отождествляется с нашей мечтой — исполняет ее роль и в своей ослепительности все прочее отодвигает в тень.

Если мы по уши влюблены, тем прекрасней, сложнее становится наш Призрак Возлюбленной — и тем незаметней на фоне полного надежд волненья, и лишь когда волшебству приходит конец, мы осознаем, что более достойная нашей *персоны* избранница только дожидается своего часа, мы представляем ее и уже другими глазами оцениваем, строго судим

— сравнивая с ней — ту, которой только что были заняты наши мысли и чувства.

(Как я понимаю, наша *персона* и Призрак Возлюбленной — это герой и героиня той личной драмы, в которую большинство из нас превращает свою жизнь, но я не хочу сказать, будто это и есть весь состав ее исполнителей. Много других участников появляются на этой сцене и исполняют свою роль: например, страхи и антипатии, способности и увлечения. Однако это второстепенные, управляемые, а не управляющие персонажи).

В «Опыте автобиографии» большое место занимает тема развития и становления моей *персоны* как приверженца, хотя и заведомо слабого, идеи создания Социалистического Мирового государства. Если я не проследил с той же тщательностью и последовательностью развития моего Призрака Возлюбленной и смены его воплощений, я, по крайней мере, обрисовал в общих чертах, как все это начиналось. Рассказал, как складывалось мое представление о нем. Почти с самого его зарождения, еще совсем смутного, Призрак Возлюбленной был для меня безусловным олицетворением женственности, как моя *персона* — безусловным олицетворением мужского начала; я был, несомненно, гетеросексуален, что определилось чрезвычайно рано. У меня было, вероятно, не просто нормальное мужское воображение, а сверхмужское. В моих грезах Призрак Возлюбленной всегда отличался отвагой и благородством, вероятно, из-за моей потаенной незрелости, которой я обязан широтой и простодушием взгляда на жизнь. Но моя *персона* отнюдь не боготворила Призрак Возлюбленной. Для меня, в отличие от многих других, Призрак Возлюбленной никогда не становился неким ангелом или небесным созданием. Мое глубинное самомнение и социалистические идеи мироустройства, которые чем дальше, тем больше пронизывали мое отношение ко всему сущему, были слишком сильны и не допускали и мысли о подчинении моей *персоны* Призраку Возлюбленной. Это красивое и чудное создание, коему предстояло стать мне верным другом, должно было быть исполнено сочувствия, должно было понимать меня и борьбу замыслов во мне. Сколько я помню, в начальную и формирующую пору моей жизни у меня и в мыслях не было искать в Возлюбленной что-то загадочное и учиться ее понимать. Головоломки мне были ни к чему. Ей следовало быть милой, мудрой, великодушной и безоговорочно преданной мне. Ее объятия должны были стать моей твердыней, опорой, должны были способствовать самому главному — чтобы я состоялся. Призрак Возлюбленной обрел земные черты в моем воображении так рано (свой пол я остро ощущал годам к девяти-десяти), что я

уже никогда не представлял Ее ни в какой божественной ипостаси. Еще прежде, чем у меня мог возникнуть образ небесного создания и сложилось бы к нему какое-то отношение, его место заняла Возлюбленная в образе земной женщины из плоти и крови. Мне кажется, это тоже было нормально. Умы, для которых фразы типа «Иисус, возлюбленный души моей» или «Спаситель, Ты солнце души моей» отражают какое-то отношение к реальности, составляют меньшинство человечества. Они, несомненно, существуют, но находятся вне сферы моего опыта и художественного восприятия.

Этот огромный Призрак, такой женственный, возвышался надо мной вместе с моей *персоной* — которая в грезах виделась мне человеком науки, лидером в делах общественных — даже когда, как я уже рассказывал, пятьдесят лет назад, воскресным днем, я прогуливался в своем потертом цилиндре с Изабеллой по Риджент-парку. Это был эталон, и в дальнейшем мне предстояло равнять по нему ее, и себя, и нашу совместную жизнь. Сей фантом подавлял нас и властвовал над нами. И все та же мечта о недосягаемом взаимопонимании и устремленной мне навстречу женственности ждала своего осуществления и при разводе, и в годы, когда я притирался к Джейн, а тем временем выкидывал бесконечные престранные фортели, что обратили физическую ущербность и компромиссы моего второго брака в некую любовную фантасмогорию, и таким образом куда более крупномасштабный мир мечты оставался свободным.

Призрак Возлюбленной сулит и плотские восторги любви. Вся мировая поэзия утверждает это. В царстве фантазий нет чувства меры. Космогония тинторе́ттовского «Рождения Млечного Пути» никогда не казалась человечеству чем-то неестественным. В жарком поиске возможности удовлетворить снедавшее меня желание я невольно перебирал девиц и женщин из моего расширяющегося круга знакомых. Иные из них, как подсказывала мне и баламутила кровь моя мужская интуиция, могли бы, должны были бы дать моей *персоне* возможность осуществиться, испытать, пусть мимолетно, те плотские восторги, которых я еще не знал. Романтический ореол Призрака Возлюбленной, стоявшего особняком на авансцене моей жизни, не связанного с повседневностью, распространялся вширь и вдаль. Я рассказываю здесь о себе и, вероятно, чуть ли не то же самое можно было бы рассказать о любом человеке, равно мужчине или женщине. «Муж ищет то забвения, то славы, а женщина — единственно забавы»[{370}], — сказал Поуп, а дабы придать этому утверждению законченность, прибавлю: и каждый мужчина тоже. При огромном разнообразии степени и меры.

2. Призрак Возлюбленной в Пимлико и Сохо

Вероятно, если бы я попытался хоть как-то рассказать об искусных и тонких экспериментах, благодаря которым мне удалось обнаружить несовместимость Призрака Возлюбленной с реальностью моих обоих браков, память и мои защитные силы сговорились бы и сыграли со мной множество шуток. Я рассказал в «Автобиографии» о радостной вспышке чувственности в моих отношениях с помощницей Изабеллы, и, не потеряй я ее след в сумятице развода, я бы, вероятно, позднее опять к ней прибился. Поначалу я был крайне неискренен с собой в том, что касалось этих блужданий моего воображения. Многое во мне желало сохранить уверенность в нашем с Джейн полном и счастливом согласии, но еще того больше было стремление поддержать видимость полного и счастливого согласия. К тому же я любил свою работу и свой успех и не хотел повредить своей репутации или помешать своей работе. Но мне вспоминаются настроения и полосы в совсем еще раннюю пору, в пору Уокинга, когда я странствовал на велосипеде по шоссейным и проселочным дорогам Суррея отнюдь не в поисках романтических приключений, однако жаждал, чтобы сбылось хоть что-то, что еще сулил мне Призрак Возлюбленной. Однако из моих одиноких поездок не получилось ничего, кроме книги под названием «Колеса фортуны».

В «Автобиографии» я рассказал о своем однокашнике Сиднее Боукете{371} и о том, как мы помогали друг другу набираться знаний. Он исчез из моей жизни и уехал в Америку еще прежде, чем я уехал из Мидхерста в Лондон, и появился, когда я только стал приобретать известность как писатель и еще жил в своем первом доме в Уокинге. Я встретил его имя в газете в качестве ответчика в деле о плагиате; Бирбом Три{372} с успехом поставил в Лондоне инсценировку романа Дю Морье «Трильби», а Боукет, кажется, ездил по провинции с незаконной версией, основанной на стенографической записи пьесы Бирбома Три. Это был, несомненно, он, Сидней Питт Боукет, и я написал ему своего рода письмо-привет.

Он приехал в Уокинг и узнал, что я начинающий пользоваться известностью романист, с не меньшим удивлением, чем я обнаружил, что он довольно своеобразный драматург, и нас чрезвычайно позабавило, когда оказалось, что в жизненных перипетиях у нас было немало схожего. Он отправился в Америку в составе небольшой драматической труппы и стал своего рода дублером Теда Хенли, брата моего У.-Е. Хенли. Его яркая юношеская привлекательность заинтересовала различных

опытных актрис, встреченных им на актерском пути, и он вернулся в Европу в значительной мере в той же роли, какая увлекла его в Америку, но куда более разговорчивый, наполовину актер (не мог он хорошо играть — слишком был застенчив), наполовину театральный прихлебатель. Он влюбился в жгучую, синеглазую красотку-еврейку, изучавшую изобразительное искусство; она была одних лет с Джейн; они тайно сочетались гражданским браком в Отделе записей актов гражданского состояния Сент-Панкраса, а мы поженились в Мэрилбоне; он поселился с ней в небольшом коттедже в Темз-Диттоне, намереваясь писать пьесы, а я — в Уокинге, намереваясь писать книги. Но он не обладал моим упорством. В Америке он научился нюхать кокаин (неустроенность — такова она, актерская жизнь); писал он мало, и добрые намерения, которые у него были, когда он женился, стали уступать место метаниям и авантюрам, которым предстояло кончиться наркоманией и безумием. В ту пору я не понимал, что он становится морфинистом. Читтерло в «Киппсе» — его портрет в пору жизни в Темз-Диттоне.

Поначалу, пока его усиливающееся пристрастие к монологам и наше взаимное едва различимое раздражение не отдалили нас друг от друга, мы много времени проводили вместе. Работали мы оба, когда охватывала потребность писать, часто потом вместе отправлялись на полдня или на целый день кататься на велосипедах по узким дорожкам Суррея и Сассекса, и нам обоим было ясно, что он знает все на свете про пьесы, тогда как я, для равновесия, был кратким руководством по литературному мастерству. Но как у Фрэнка Харриса и Бланда, главная тема Сиднея Боукета была чудо-женщины. В своем повествовании я теперь попытался показать, как у меня появился Призрак Возлюбленной и что это был очень серьезный, ярко выраженный комплекс желания. А поток беспутного бахвальства захлестывал это зреющее во мне побуждение и, как я теперь понимаю, повлиял на него куда сильнее, чем я осознавал в ту пору. Он его опошлял и приземлял. Натура моя была такова, что я хотел встретить в жизни и полюбить свой Призрак Возлюбленной и быть любимым, но из-за внушения и духа соперничества, как своего рода ответ на откровенную похвальбу и скрытые намеки приятелей, похвальбу и намеки, непрестанно звучащие со сцены и в романах, я, ради сохранения собственного достоинства, хотел владеть разными женщинами. Я начинал чувствовать, что Призрак Возлюбленной — это пустые мечты. В действительности женщины рады и счастливы, когда ими похваляются такие бахвалы, как Боукет, Харрис и Бланд. В «Постскриптуме к „Опыту автобиографии“» тонко чувствующий читатель различит во всем, что касается

секса, оттенок пошлости, появившийся как немедленная реакция на эту озабоченную гульфиком братию. Я готов приписать их влиянию свойство, которое во мне уже было. Даже сейчас, если кто-то высказывает предположение, что в этих делах я был парень не промах, я ухмыляюсь.

Итак, моя ярко выраженная склонность к шеллиевскому свободомыслию в сексуальном поведении, которую я описал в «Автобиографии», дополнилась растущим во мне более грубым, не слишком разборчивым стремлением владеть девушками и женщинами, и, поскольку у меня появилась большая свобода распоряжаться собой и своим временем и умножились благоприятные возможности, оказалось, что, стоит женщине меня хоть сколько-нибудь заинтересовать, я прежде всего стараюсь завладеть ею и чувствую себя в обращении с женским полом все увереннее. Думаю, называть эти amours «любовными приключениями» — значит злоупотреблять словом «любовь». За всю жизнь я, вероятно, любил по-настоящему только трех женщин: мою первую жену, мою вторую жену и Муру Будберг, о которой речь впереди. Не знаю, любил ли я Ребекку Уэст, хотя к концу нашей связи я конечно же был в нее влюблен. У меня был единственный в жизни взрыв страсти, острейшего сексуального желания, виновницей которого была Эмбер Ривз{373}. Все остальные женщины, которых я целовал, домогался, обнимал и с которыми жил, никогда не входили органически и глубоко в мою эмоциональную жизнь. Они мне нравились, казались привлекательными, возбуждали меня, забавляли, льстили затаившемуся во мне распутному хвастуну. Я ревновал их, как ревнуют партнера, и ревновал к ним, как ревнуют в состязании, — и, сдается мне, я получал не больше, чем давал. Меня любили, как любил я. Однажды я поднял бурю безумной любви-ненависти, которая показалась мне поистине отвратительной и жалкой, но в остальных случаях обмен был совершенно равноценный — встречались два вольнодумца — и когда я владел женщиной, женщина владела мужчиной.

Однако каждый роман, пусть даже не слишком горячий, имел свое лицо. В этих встречах, по крайней мере в некоторых из них, была несомненная прелесть, часто совершенно неожиданная. Романы бывали точно выставки цветов, или весенние прогулки, или поход в горы. Иной раз они кончались ожесточеньем, но по большей части от них оставалось ощущение дружелюбия и понимания. Мне не кажется, что о каком-нибудь из них я сожалею. И однако, вопреки разуму и логике, все такого рода воспоминания окутаны дымкой сожаленья. Главная любовь моей жизни — Призрак Возлюбленной, и она всегда маячила передо

мной и терялась из виду в этих приключениях.

Первые блужданья моих вожделений проследить трудно. Я был готов покуситься на жену Боукета, а когда Дороти Ричардсон приехала в Уорчестер-парк, мы всерьез заинтересовались друг другом. (Я — Хипо в цикле ее романов «Мириам».) Такие вспышки грешных страстей случаются в жизни любого викария. Я понял, что безусловно хочу завладеть какой-нибудь женщиной, лишь когда строился Спейд-хаус.

Мои занятия журналистикой свели меня с Е.-Ф. Низбетом, театральным критиком газеты «Таймс», умным чудаковатым шотландцем, чье воображение привело его к череде тайных совращений. Он в какой-то мере мне доверял. У него была незаконная дочь, которая училась в школе в Кенте, и когда вскоре после нашего с ним знакомства он неожиданно умер, не оставив своему ребенку ни гроша, я взял на себя расходы по ее образованию, приглашал ее на каникулы в Сандгейт и делал все, что мог, чтобы она стала учительницей музыки. Эти обязательства я взял на себя, когда еще и в глаза ее не видел, — под влиянием сентиментальных сожалений о старине Низбете. Позднее я оплатил год ее пребывания в Школе драматического искусства.

Мэй Низбет оказалась неотесанной и довольно угрюмой девицей лет пятнадцати-шестнадцати, но за какой-нибудь год превратилась в расцветающую молодую женщину. Она не блистала интеллектом, и между нами никогда не было ни взаимопонимания, ни дружеских отношений, но однажды на пляже в Сандгейте она подошла ко мне в плотно облегающем купальном костюме и тотчас показалась мне олицетворением озаренной солнцем юности, и меня захлестнуло желание и тесно связанное с ним творческое волненье.

Я никогда не удовлетворил этого своего желания, и, сколько помню, история наших отношений — это смесь моих попыток исполнить свои благотворительные намерения на ее счет, а также других, по-своему не слишком низких и гадких, — завладеть ею. Но пути к этому, не слишком низкого и гадкого, не существовало; она не была одарена романтическим воображением, которое помогло бы ей ответить на мои подходы и дать им развернуться; не было у нее для меня ничего, и в результате этой истории появилась книга «Морская дева», своего рода замещение моих неосуществленных желаний. Как симптом, «Морская дева» весьма интересна — она показывает, что в ту пору в моем Призраке Возлюбленной мне всего важнее была женская и чувственная красота.

Я ухаживал за Мэй Низбет, но слишком неопределенно и

безрезультатно; в наших натурах не было ничего общего: ни сходства темпераментов, ни родства душ; позднее напряжение между нами ослабело, и вполне доброжелательно я вытеснил ее из своей жизни. Она стала преподавательницей музыки и не слишком преуспевающей актрисой; она вышла замуж и исчезла из моего окружения. Ее муж был немец, и война их разделила. Она преподавала музыку в собственной школе. Время от времени я то так, то эдак понемногу ей помогал; совсем недавно я ее видел, и теперь она нисколько меня не влекла. Однако тогда она воспламеняла мое воображение и я желал ее, такую красивую, озаренную солнцем. И каким-то образом желание надо было погасить.

В эту тревожную для меня пору на каком-то многочисленном сборище писателей я познакомился с Вайолет Хант, молодой женщиной чуть старше меня, которая уже написала и опубликовала несколько романов, пользующихся немалым успехом. У нее был живой беспокойный ум, сдобренный французскими специями, ибо ее мать была француженка. Ее отец был художник-прерафаэлит. На одном-двух полотнах Боутона ее тело и поныне кажется пленительно живым. Мы беседовали о социальных проблемах, о литературной работе и о неудобствах и беспокойстве жизни в одиночестве. Она выросла в кругах прерафаэлитов; одно время была любовницей авантюриста по имени Кроуфорд; он оставил ее, и, как раз когда мы познакомились, она, подобно мне, жаждала оказаться в объятиях человека, который оценил бы ее по заслугам.

Таким образом, мы нашли общий язык, и среди разного другого, во что она меня посвятила, были тайны Сохо и Пимлико. Мы обследовали вдоль и поперек мир меблированных комнат и уютных ресторанчиков с отдельными кабинетами наверху — хозяевам приходилось туго, и они были рады каждой возможности сдать комнаты хотя бы ненадолго. И без особых помех для наших литературных занятий и повседневной жизни мы вместе обедали и ужинали и наслаждались объятиями друг друга. Преследующий меня Призрак Возлюбленной мы заместили увлекательнейшей эскападой и тем самым на время удовлетворили наше желание. А когда вскоре Призрак Возлюбленной возвратился и заявил о своих правах, мы опять его изгнали. Тем самым большую часть умственной энергии я мог направить на свои более широкие интересы.

Мы с Вайолет Хант не пытались делать вид, будто поглощены исключительно друг другом. В это же самое время у меня были еще один-два такого же рода passades, в которых мы тоже устраивали друг друга. Меня пригрела Элла Д’Арси, которая

написала один-два ярких рассказа для «Йеллоу Бук», и завершалось рискованное приключение с Дороти Ричардсон. В ее «Левой руке зари», в рассказе о любовной истории с «Ипохондриком», ей изменила и точность, и присущая ей правдивость. Она забыла о ночи и дне, которые мы провели между Эриджем и Френтом, и о том, как мы занимались любовью среди папоротника-орляка. Для меня это была история чувственная, ибо Дороти была тогда пылкой блондинкой. Она же, как видно из ее книги, хотела неких сложных интеллектуальных отношений, а я был совершенно не в силах с ней разговаривать. Она хотела, чтобы я с удивлением и восторгом открывал для себя ее душу, но ее неуловимая склонность к эгоцентрическому мистицизму меня раздражала; казалось, она обещала чудесную интимную дружбу; при улыбке у нее появлялись очаровательные ямочки; на теле презабавно росли тонкие золотистые волосы, а она — нате вам — начинала бубнить какие-то скучные умности-разумности, которыми была забита ее довольно крупная, отличной формы белокурая головка; принималась читать мне лекции по филологии и разглагольствовала о следах выговора кокни в моей речи, и это в минуты, когда мы оба были в чем мать родила. Отважный любитель приключений, которому придет охота заглянуть в «Левую руку зари», может все это подтвердить.

Некая австралийка написала мне о «Киппсе» и пригласила зайти к ней. Я побывал у нее несколько раз и до сих пор ее помню из-за ее красноватой, обожженной на солнце кожи и соломенных волос.

И в эту пору беспорядочных отношений с женщинами, да и в другие времена, я редко имел дело с проститутками. В любовной связи мне необходимы были и дружеские, сугубо личные отношения, необходимо было представлять, что я нужен женщине не меньше, чем она мне. Встречи с Venus Meretrix[44] по большей части происходили за границей, когда я оказывался один и мне было одиноко — когда угнетало меня скорее одиночество, чем Призрак Возлюбленной, — и я вспоминаю их с добрым чувством. Эта категория женщин мне по нраву. Меня привлекает в них реалистический взгляд на жизнь и непритязательная доброта. Им приходится много терпеть от пьяниц, грубиянов и мужчин, которые их стыдятся, опекают, хвастаются перед ними и рисуются, и совсем нетрудно вести себя с ними цивилизованно, чтобы какой-нибудь час они не чувствовали себя униженными своим занятием.

Как я писал в своей «Автобиографии», в 1906 году я поехал в Америку и разговаривал с президентом Рузвельтом Первым{374}. Беседа проходила на высоком уровне. Я вышел от президента

взволнованный. День был теплый, навевающий истому, и до обеда делать мне было нечего. Впереди было ничем не заполненное время, и меня это ужасало, думать же о своей беседе в Белом доме я тогда больше не хотел. Я подозвал такси и велел шоферу везти меня в «веселый дом». Это было еще до морального очищения Вашингтона. «В Белый или в Негритянский?» — спросил он. Мне казалось, я должен сполна вкусить местный колорит. «В Негритянский», — сказал я.

Я очутился в своего рода гостиной и принялся угощать спиртным темнокожих, дешево одетых женщин с жесткими курчавыми волосами. Мы благовоспитанно разговаривали о летнем Вашингтоне и о том, будет ли когда-нибудь закончен памятник Вашингтону (он не закончен по сей день). Меня привлекло лицо тоненькой женщины с блестящими глазами. Я подсел к ней, и немного погодя мы пошли в ее комнату.

Мы разговорились и еще больше понравились друг другу. В ней смешалась кровь белых, индейцев и негров, она была темноволосая, с кожей цвета гладкого морского песка и, по-моему, куда умнее большинства женщин, которых встречаешь на званых обедах. Она любила читать и показала мне несколько своих стихотворных опытов; она изучала итальянский — хотела побывать в Европе, посмотреть Европу и вернуться «белой», якобы итальянкой. Явно расположенные друг к другу, мы вскоре занялись любовью и не вспоминали о характере наших отношений, пока я не собрался уходить. «Надеюсь, мы еще увидимся, — сказала она. — Ты мне нравишься». Но я ничего не мог обещать — назавтра мне предстояло уехать из Вашингтона. Я сказал, я постараюсь еще увидеться с ней. Когда дело дошло до прощального подарка, я дал ей чек на сумму большую, чем принято.

Она взглянула на счет и спросила невесело:

«Ты не ошибся?»

«Нет».

«Тогда все ясно, — сказала она. — Значит, больше я никогда тебя не увижу! Я понимаю, милый. Что ж, ничего, я понимаю. Не спеши уходить. Я хочу побыть с тобой еще немного».

В три часа мы еще не знали о существовании друг друга, а в половине шестого расставались как любовники. Нас связало взаимное расположение. И ни на каком примере не увидишь лучше, что нити интереса, возникшего из чувственности и волнения, порожденного воображением, стремительно протягиваются ко всей личности, пронизывают ее всю. Никакая, даже случайная сексуальная встреча не оставляет двух людей безразличными, они или ненавидят, или любят. Ни я, ни она не

знали имени друг друга, а она вообще ничего обо мне не знала, разве только, что я англичанин, и однако мы сплелись так крепко, что мне трудно было удержаться от безрассудного предложения отправиться в ту поездку по Европе вместе или хотя бы прихватить ее в Нью-Йорк, или отложить мой отъезд. В нас возобладал здравый смысл, но долгие годы я временами думал о ней с нежностью, и, возможно, временами она с такой же симпатией вспоминала меня.

Мы рассматриваем Призрак Возлюбленной с сексуальной стороны; мы удовлетворяем, насыщаем наше воображение в чисто сексуальном приключении, и вдруг секс приводит нас в восторг, и мы оказываемся в его власти. Мы ускользаем в ресторанчик, в дом свиданий, мы крадемся вверх по лестнице и по коридору, мы прячемся вместе в зарослях, и стоит нам хоть на миг дать волю своим желаниям, мы не успеваем оглянуться, как в нас вспыхивает глубинная потребность завладеть и чтоб тобой завладели раз и навсегда, вспыхивает этот извечный голод души по всепобеждающей взаимной любви.

Когда я думаю об огромных пространствах всех огромных городов, о ресторанах, местах встреч, тайных квартирах, о сотнях, тысячах тысяч людей, изо дня в день занятых беспокойными, опасными, не приносящими удовлетворения поисками временного утоления извечной тоски по Призраку Возлюбленной, я почти готов посочувствовать Оригену{375}, его воплю о покое и воздержании любой ценой. Ибо с развитием души человеческой эти поиски стали мучительны да еще отнимают бездну времени. Нам не отстать от них, но и не обрести надолго мира в душе. Вероятно, чтобы продуктивно работать, большинству из нас необходимо заниматься любовью, сохраняя известные приличия, собственное достоинство и свежесть чувств. Речь идет отнюдь не об удовлетворении прозаической потребности. Эта потребность столько же физическая, сколько душевная и эстетическая. Порою она возмущает меня так же, как постоянная необходимость есть и спать.

3. Дуза

В «Автобиографии» я рассказал, как, Самурай из «Современной утопии», я пытался превратить Фабианское общество в своего рода коммунистическую партию, и намекнул на слабохарактерность и нерешительность героя, из-за которых его попытка не удалась. Причиной неудачи послужило мое мужское самомнение, которое подогревалось особой взволнованностью, что была вызвана этими напряженными

усилиями. Логично было призывать к преданности делу социализма, к более тесной связи с лейбористскими политиками и к распространению пропаганды на молодых, на сыновей и дочерей социалистов и либералов и на молодых бунтовщиков, непременно существующих в каждом поколении университетских студентов. Фабианские собрания, которые были трезвыми, чинными дебатами, лишь слегка сдобренными выходками Хьюберта Бланда, вдруг стали весьма острыми и оживленными сборищами молодежи. Слух о кутерьме и разноголосице быстро привлек на все откликающихся школьных учителей, секретарш, студентов и прочую подобную публику, молодых женщин с ограниченным кругом общения, не знающих куда себя девать, которые наводняют большие города в поисках развлечений и случая в чем-то участвовать. В Англии вдруг появилась «интеллигенция» — о чем я написал немного позднее в «Анне Веронике».

Многие молодые женщины пожелали пойти ко мне в ученичество. Последовали серьезные обсуждения политических проблем в маленьких группах из двух-трех человек, стали завязываться своеобразные дружбы, начались пешеходные прогулки-диалоги. В политические и социальные темы вклинивались биографии и то, что можно назвать взаимопроникновением в характеры. Конечно же, иным из этих содержательных дружб вскоре предстояло приобрести более теплый оттенок. Послевоенная сексуальная распущенность была еще впереди, а пока шло никак не обозначенное, произвольное разрушение барьеров, мешающих заниматься любовью. В тепличной атмосфере семейства Бланда в Димчерче и Уэлхолле, которую я уже описал в «Автобиографии», мне, как я понял, была, можно сказать, предназначена роль человека, вызывающего особый интерес Розамунд, темноглазой, крепкого сложения дочери Бланда и гувернантки мисс Хоутсон. Розамунд говорила о любви и о том, как отец стал оказывать ей отнюдь не отцовское внимание. Я почувствовал, что никоим образом не приемлю кровосмешения и, чтобы как можно вернее избавить от него Розамунд, жажду завладеть ею сам. Мисс Хоутсон, которую жизненные перипетии сделали чрезвычайно терпимой и которая питала ко мне необъяснимую симпатию, похоже, вовсе не думала, что для дочери это было бы несчастьем, но вскоре вмешалась миссис Бланд — она ощутила нарастающее возбуждение Хьюберта в окружающей нас напряженной атмосфере, обрушив на нас град обвинений, вступила с нами в противоборство. Бланд пробудил ее неприязнь к сексуальным отношениям. Она писала оскорбительные письма Джейн, возмущалась, как та может

мириться с моим недостойным поведением, что в ее устах звучало престранно. Розамунд поспешно оградили от меня и в последовавшей за всем этим сумятице выдали замуж за рьяного сторонника моей партии в Фабианском обществе, Клиффорда Шарпа, и тем самым оградили также от Хьюберта, страстно желавшего вступить с ней в недозволенные отношения. Это был удушающе беспощадный эпизод, полоса острейшего, притом заемного желания, ибо я вовсе не находил Розамунд такой уж привлекательной. Жаль, что мне пришлось об этом сказать, но в окаянной атмосфере, что окружала Бландов, каждого, казалось, тянуло к подобным сложностям, а это заразно, и я хочу, чтобы читатель имел понятие о такого рода душевных инфекциях.

Это мое уклонение с пути истинного породило кое-какие намеки, и слухи, и анонимные письма, и тому подобное, да еще прибавились раздоры из-за переустройства Фабианского общества, и вскоре из-за моего второго промаха в том же духе все это разрослось и стало мне докучать.

Опасные страницы, выходившие из-под моего пера, о групповых браках самураев, идея которых была почерпнута непосредственно у Платона, увлекли самых живых, обладающих богатым воображением студенток, что хлынули в Фабианское общество, когда моя кампания пробудила его от сна. Кое-кем из них овладела жажда осуществить это на практике. Среди них была Эмбер Ривз, дочь человека, который несколько лет относился ко мне очень по-дружески. Она влюбилась в меня пылко и решительно и вызвала во мне ответную бурю страсти.

Супругов Ривз связывали весьма запутанные отношения. Пембер Ривз{376} был подающим надежды новозеландским политиком с ярко выраженной социалистической направленностью. У него была хорошая голова, но мыслил он неоригинально — подражал тем представителям английского правящего класса, что пришли из университетов. Он воображал себя либералом, ученой личностью. Ему нравилось считать себя выходцем из хорошей семьи с добрыми традициями. Он не отличался ни предприимчивостью, ни стяжательством, но очень ясно понимал, что такое право собственности. Он женился в Новой Зеландии на прехорошенькой молодой женщине, значительно моложе него, с примесью венгерской крови. Как многие мужчины показного целомудрия и незапятнанной репутации, он вбил жене в голову, что сексуальная сторона брака мерзопакостна, болезненна и причиняет неудобства — в виде немедленных последствий. У него были две дочери и сын (позже убитый на войне). Характерно для Ривза, что, отправляясь с женой в свадебное путешествие, он ее спросил, есть ли у нее при

себе деньги. «У меня они будут целее», — сказал он и с тех пор регулярно выдавал ей небольшие суммы и требовал отчета, на что она их потратила. Он ни за что не позволял ей знакомиться с новыми по тому времени идеями контроля над рождаемостью. Она проходила через тайные страхи и тайный бунт и выбирала между открытым вызовом и искусными хитростями и уловками, что было и, возможно, остается до сих пор уделом сотен тысяч молодых женщин, состоящих в почтенном браке. Не думаю, чтобы ей когда-нибудь приходило на ум кинуться в объятия любовника. Это было вне ее жизненной философии и ее возможностей. Снова заняться этими мерзостями с другим насильником! — Да она бы скорей бросилась в клоаку. И Пембер Ривз отлично знал, как уберечь свое прелестное сокровище, с которым обходился прескверно, от ухаживаний развратных мужчин.

Он сумел найти путь к успеху на политическом поприще в Новой Зеландии, но враждебность Седдона{377} помешала его дальнейшему продвижению. Чтобы избавиться от опасного противника, его послали в Лондон в качестве Генерального представителя, и — при горячем одобрении жены — Пембер Ривз приехал в Лондон. Он не столько примирился с поражением, сколько расширил свои честолюбивые устремления, ибо уже знал о примере Боба Лоу и скоро ему предстояло узнать о Бонаре Ло, человеке колониальной выучки, который делал блестящую политическую карьеру в Англии. Но Пемберу Ривзу недоставало подлинной предприимчивости, чтобы отличиться в лондонском мире. Он сумел завязать немало знакомств; перед семейством Уэбб он, например, выступал в роли почтенного либерала левых воззрений; он был членом того разговорного клуба, «Коэффициент», о котором я рассказал в «Автобиографии», и оставался Генеральным представителем Новой Зеландии — позднее он именовался Специальным полномочным представителем. Его жену находили очаровательной, но он все еще, так сказать, держал ее в узде; его разговоры были скорее содержательны и вызывали желание поспорить, чем прихотливы и занимательны, и в обществе он успехом не пользовался.

Впервые я с ним повстречался на обеде в Королевском обществе, куда меня пригласил Рэй Ланкестер, и Ривз чрезвычайно ко мне расположился. Он тогда писал эссе «Утопии, древние и современные». Он настоял, чтобы я побывал в Сэвил-клубе; вместе с Генри Ньюболтом он приехал погостить в Спейд-хаус, и вскоре наши семейства стали часто и легко оказывать друг другу гостеприимство. С ним самим у меня не возникло особенно близких отношений; он толком себя не знал, придерживался традиционных взглядов на мир, разговор его сводился к

рассуждениям о сегодняшних политиках и политических возможностях, но в его жене мы с Джейн увидели на редкость тонкого и интересного человека. Ей было тогда лет сорок; превосходная рассказчица, она еще не утратила чувства юмора и старалась вновь обрести свое «я», утраченное в супружестве. Я ей нравился, и она очень доверительно обсуждала со мной, что ее озадачивало в жизни.

Она сумела любопытнейшим образом придать возвышенный характер своему тайному бунту против мужа; он еще и осознать не успел, что происходит, как она стала ведущей суфражисткой. Такой же путь спасения избрала жена другого деспотичного мужа, миссис У.-У. Джекобс{378}, и подобное противодействие послужило мне основой для книги «Жена сэра Айзека Хармена», которая, по-моему, может представлять интерес как часть истории общества. Миссис Ривз начала высказываться на сборищах в гостиной или в других местах; казалось, это довольно безобидно, а потом она серьезно и решительно принялась разъезжать по всей стране — то на собрания, то на конференции, то туда, то сюда. Всяким другим поездкам ее супруг тут же положил бы конец, но благословенное «Движение» он еще раньше одобрил. Она долгими днями пропадала из дому — отправлялась на окраины с какой-нибудь миссией; одетая для званого обеда, куда ехала одна, она встречалась на лестнице с усталым Титаном, возвращавшимся после трудов на благо империи, которые требовали государственной прозорливости. «Я еще несколько недель назад говорила тебе об этом обеде». У нее теперь были кое-какие собственные деньги; умерли какие-то ее тетушки, и на сей раз она ухитрилась не отдать унаследованные деньги ему, чтобы они были целее. Воспользовавшись его сотрудничеством с фабианцами, она тоже вошла в комитет Фабианского общества. Она преданнейшим образом поддерживала меня во всех моих неуклюжих и безуспешных попытках расширить концепцию социализма, включив в нее сексуальную эмансипацию, и добиться, чтобы лейбористское фабианское движение занялось пропагандой нового образа жизни.

Одну сторону своей жизни супруги Ривз в ту пору охраняли от моих нападок: склонность, переросшую потом в необходимость, принимать всерьез «Христианскую науку». Они, вероятно, чувствовали, что мое отношение к ней может оказаться для них пагубно; а их обоих неким странным образом привлекала возможность не принимать всерьез болезни и медицинские авторитеты. Это позволяло отнести свои болезненные ощущения и полосы немощи и подавленности на счет некоторого недостатка у них веры и воли. По-моему, ее первую потянуло к этому

непродуманному материалистическому мистицизму, и приход к нему тесно связан с ее мятежным феминизмом. Она возмущалась общепринятым мнением, что ежемесячное нездоровье женщины делает ее в эти периоды неполноценной, и полагала, что для этого нет никаких оснований. Тем самым она отправляла своих подрастающих дочерей кататься на велосипеде или гулять под дождем, когда им следовало бы отдыхать дома, и с начинающимися простудами она на сверхмодный британский манер боролась с помощью сквозняков. Я не знал другой семьи, где так твердо были бы убеждены, что окна на то и существуют, чтобы стоять открытыми настежь.

У Ривза была очень уязвимая нервная система, и, по-моему, это было врожденное свойство; виной тому был, возможно, какой-то сбой в наследственности; он страдал частыми приступами несварения желудка, сильными головными болями и полосами бессонницы, и, так как он утратил свою былую властную энергию, а жена при столкновении их воль обрела уменье и решительность ему противостоять, он обнаружил, что в разгар его ипохондрии она старается влить в него бодрость и призывает осознать, что он совершенно здоров. Он никогда не советовался ни с одним доктором по поводу своих болей, апатии и дурного настроения, которые с годами мучили его все больше. По мере возможности он не обращал на них внимания, он виделся себе потомственным английским джентльменом-переселенцем, который в своем доме в Новой Зеландии ощущал дыхание «огромных открытых пространств», совершил там предназначенную ему работу и вернулся в метрополию, чтобы сыграть свою роль в прогрессе либерализма.

Следуя лучшим традициям английского либерализма, он заинтересовался Юго-Восточной Европой и «отстаивал» греков, как Тревельяны{379} отстаивали итальянцев, а Бакстоны{380} — болгар. У себя дома он без помех мог разглагольствовать о политике Восточной Европы, о земельной реформе Новой Зеландии и о прочем в том же роде. В семье с ним никогда не спорили и не затевали разговоры о предметах, способных вызвать у него раздражение. Рядом с ним они вели свою собственную жизнь; они обходили его. Их растущее безразличие к его удобствам и заведенному в доме порядку, основанное на неприятии Христианской наукой любых поблажек, привело к тому, что он стал завсегдатаем Сэвил-клуба и Реформ-клуба.

В сущности, когда в 1904 году мне довелось познакомиться с семьей Пембера Ривза, она уже распадалась.

Вскоре его старшая дочь Эмбер пришла в нашу группу. Она тогда подавала блестящие не по летам надежды. У нее было

точеное, яркое лицо левантинки, копна очень красивых черных волос, тонкая, очень подвижная фигурка и живой жадный ум. Она стала моей сторонницей и ярой пропагандисткой уэллсизма в Ньюнхемском колледже.

Ее мать поощряла становление нашей на редкость глубокой дружбы. Ей не приходило в голову, что наше постоянное общение может быть чем-то опасно. Она самозабвенно отрицала некоторые наиболее существенные проявления человеческой натуры. И так же, как она и слышать не хотела ни об усталости, ни о несварении желудка или периодическом нездоровье, она делала все возможное, чтобы сбросить со счетов любовь, любовную связь, а всего более желание — как некую непостижимую глупость, что не могла быть свойственна людям, среди которых она жила и которых хорошо знала. Все это плоды воображения, полагала она, и их можно упразднить, просто не позволяя себе о них думать. Она старалась жить своей собственной, полной надежд жизнью, ораторствовала, посещала разные комитеты, бывала в обществе, и в этом ясном, определенном мире подобные фикции переставали для нее существовать. Ее уменье ускользать от Пембера Ривза с помощью всевозможных маленьких хитростей и обманов переняла дочь, и он оказался в своем собственном доме главой семьи, которая систематически его избегала. Эмбер с поразительной легкостью могла исчезнуть во время обеда или ужина, отправиться к неведомым друзьям или на какие-то не поддающиеся проверке совместные чтения. Какое-то время я удерживал наши отношения в рамках большой взаимообогащающей и аскетической дружбы. Мы ходили на прогулки и с подлинной серьезностью рассуждали о социальной философии и прочем в том же духе. Эмбер готовилась к дополнительному экзамену по этике (у нее были высшие оценки и за первую и за вторую части), чтобы получить еще и отличие, а я пытался привести в порядок свои идеи и писал различные статьи, из которых образовался трактат «Первое и последнее». Некоторые мои мысли неожиданно сказались на ее экзаменационных работах и переплелись с ее собственным самобытным подходом, а четкость, которой она систематически училась у своих университетских преподавателей, особенно у доктора Эллиса Мактаггарта, серьезно и с пользой отразилась на моей манере формулировать свои мысли.

Но наши разговоры неизбежно становились все более и более личными, и у нее появилась милая прихоть лестно именовать меня «Учитель», а мне она раскрыла свое домашнее имя «Дуза». (Это было сокращение от Медуза, потому что в школьные годы она ухитрялась изобразить голову челлиниевской Медузы.) Я

старался подавить свои чувства к ней, но однажды она разбила тонкий лед моей сдержанности, сказав, что влюблена, а когда я спросил, «в кого», бросилась в мои, конечно же охотно раскрывшиеся ей навстречу, объятия. Идея группового брака и взаимного утешения, как я воплотил ее в «Современной утопии», всячески способствовала быстрому взаимопониманию, и мы с величайшим жаром принялись заниматься любовью. В ту ночь мы легли вместе нагие в постель, это было своего рода обрученье; мы исхитрились встретиться в Сохо, и тогда стали любовниками в самом полном смысле этого слова, и, прежде чем вернуться в Кембридж, чтобы сдать вторую часть экзамена для получения отличия, она уехала, якобы с целью почитать в одиночестве в несуществующем коттедже несуществующей подруги в Эппинг-Форест, а на самом деле решив присоединиться ко мне в Саутенде, где я снял квартиру. Там мы несколько дней никак не могли насытиться друг другом, что ни в малой мере не помешало ее успеху у экзаменаторов по этике. Помню, я лежал с ней на пляже и составлял план работы, которую ей предстояло написать, когда она приедет в Лондон. После Кембриджа ей предстояло продолжить занятия в аспирантуре в Лондонской школе экономики. Помню также, что, когда нашу кладь погрузили в поджидавшее такси, мы замешкались на лестничной площадке, недоуменно подняли брови и радостно вернулись в комнату, в которой жили, чтобы в последний раз с готовностью кинуться в объятия друг друга.

Как только она вернулась в Лондон, я снял комнату неподалеку от Эклстон-сквер, и раз в восемь-десять дней мы проводили там целый день или ночь. Мы имели обыкновение совершать долгие прогулки по Лондону, потом обедали в каком-нибудь ресторане или она покупала холодную курицу и салат, и, как два нагих дикаря, мы весело уплетали это в своей комнате. И во время долгих прогулок, когда мы оказывались за городом, мы не упускали случая обняться; ощущение было совсем новое и острое — заниматься любовью в ветреных сумерках среди кустов неподалеку от Хита, и как забавно было взять у церковного сторожа ключ, чтобы осмотреть колокольню — кажется, Пэдлуортской церкви? — и обниматься в комнате под самыми колоколами. И опять в лесу по дороге домой. Нам нравилось ощущать легкий привкус греховности, который нам придавали мерки того времени, и мои воспоминанья о тех приключениях по сей день отнюдь не омрачены раскаянием, но освещены приятным возбужденьем и радостью.

Когда я раздумывал о наших отношениях, я полагал, что эти экскурсы в чувственность были тайной нитью, которой

предстояло связать нас в некой грандиозной творческой работе. Все это время я выдавал на-гора ничуть не меньше продукции, чем обычно, работал так же энергично, как всегда, и отмахивался от ненужных мне развлечений — ведь я знал, что уже через несколько дней буду гладить мягкие, пушистые черные волосы Эмбер. Предполагалось, что она тоже усиленно работает. Как я написал в своей «Автобиографии», меня никогда не удовлетворяла социалистическая, а особенно коммунистическая теория, трактующая мотивы общественного поведения человека, и я хотел, чтобы в своей лондонской работе она попыталась более объективно классифицировать мотивы и препятствия служения обществу, как они проявляются в различных социальных слоях. Я хотел, чтобы она выяснила: «Почему и как человек становится гражданином?» Я и сейчас нахожу, что это могло бы стать очень важным исследованием. Но оно так и не было доведено до конца.

Оно не было доведено до конца, во-первых, потому, что Эмбер мыслила еще слишком несамостоятельно, ум ее был еще слишком ученический, так что ей не по силам было осознать поставленную перед ней задачу и довести исследование до конца, и еще потому, что наша связь перестала быть тайной, разразился чудовищный скандал, и нас вынудили расстаться. Что до ее собственных возможностей, она всегда была способной, очень понятливой ученицей, по натуре пластичной и не напористой; в ней не было ничего похожего на то упрямство и способность к противодействию, которые я так свободно развил в себе под эгидой профессоров Гатри и Джада; и коль скоро больше не существовало курса лекций, который давал бы направление мыслям, не было списка рекомендуемой литературы, ничего, что можно было реферировать и резюмировать, она растерялась. Она была совершенно не подготовлена к тому, чтобы отправиться в заросли фактов с вопрошающим топориком и вырубить каркас какого-либо ответа. Я видел, как такое случается со многими преуспевающими студентами; путешествия по протоптанным тропам и проложенным дорогам не готовят к походам в чащобах, и к тому же профессор Хобхаус{381}, которому она принесла свои первые предложения в надежде, что он их одобрит, не уловил ее основную мысль. Она пришла в уныние, замедлила темп, утратила направление, и работа у нее застопорилась. Из-за этого ее захватывающее любовное приключение оказалось ничем не уравновешено и заняло в ее душе невероятное место; оказалось, у нее масса свободного времени и ей некуда себя девать; тогда как я крепко хранил нашу тайну, она дала волю своему желанию говорить о ней и размышлять вслух. Она невероятно гордилась содеянным. Она купалась в своей чувственной раскованности и

гордости.

Она рассказала кое-кому из преподавателей Ньюнхемского колледжа, рассказала своим однокурсникам, рассказала матери, которая пришла в смятение, но, исполнившись отваги, постаралась посмотреть на все как человек передовых взглядов. Мы оказались нарушителями множества моральных и общественных норм. Окружающие возмущались и спорили — вполголоса, украдкой, — и какое-то время мы без помех шли своим путем. Наши стремления и ожидания достоверно переданы в «Великолепном исследовании». Но об одной стороне нашего положения я рассказать не отважился. Я теоретизировал о свободной любви, но Эмбер держал для себя. Я старался создать треугольник. Джейн конечно же оставалась женой, а Эмбер была молодой любовницей; и мы утверждали, что прекрасно понимаем друг друга.

Между тем тоненький ручеек молвы подмывал наш неустойчивый треугольник, и рассеянный ум Эмбер подвергался атакам различных уводящих в стороны идей. Интеллигенцию охватила любовь к воспроизведению потомства, и Эмбер захотелось родить от меня ребенка, чаще и подолгу жить со мной под одной крышей. При моей одержимости работой, при постоянном стремлении «продвигаться вперед» и склонности рассматривать любовь как случайный отдых, меня это вовсе не устраивало. Я предпочитал не понимать, что связывающие нас отношения — это обыкновенные отношения мужчины и женщины, и лелеял мечту об интеллектуальной дружбе и тесном сотрудничестве в делах общественно-политических еще долго после того, как Эмбер потеряла к этому интерес.

Теперь, с расстояния в четверть века, легко понять всю невозможность того неустойчивого положения, в какое мы себя поставили, но в ту пору мне это было невдомек; происходящее касалось меня ничуть не больше любого другого, замешанного в этой истории; я не управлял положением. Будь у меня более ясное представление о нем, я бы, вероятно, «ликвидировал» (как говорят обольшевиченные русские) этот клубок. Раз я не мог оставить Джейн, чтобы жениться на Эмбер, я должен был как старший и потому более ответственный за наше положение помочь Эмбер освободиться от меня. Должен был понять, что великолепная дружба не оправдала ожиданий. Должен был тотчас извлечь из этого хороший урок и встретить поражение достойно. Но не способен я был так поступить, я был одержим страстью к ней и не потерпел бы расставанья. Эта ревнивая страсть стала навязчивой идеей. О других женщинах я и думать не мог, а мысль о том, чтобы отказаться от Эмбер в пользу любого другого

мужчины, была мне нестерпима.

В промежутках между нашими встречами Эмбер бывала беспокойна и деятельна. Она много болтала, и у нее был хвост поклонников. Она либо флиртовала с молодыми людьми, своими ровесниками, либо всячески старалась их заинтересовать и была с ними чрезвычайно приветлива. Один или двое хотели на ней жениться. С одним из них, Дж.-Р. Бланко Уайтом (он отличился на экзамене по математике в Кембридже, а теперь стал барристером), она проводила особенно много времени. Они имели обыкновение по воскресеньям отправляться вдвоем на долгие загородные прогулки. Она рассказала ему о нашей близости, и его это чрезвычайно огорчило. Он был здравомыслящий, добросовестно последовательный молодой человек и куда яснее меня понимал, как обстоит дело и как мне приличествовало поступить. К сожалению, из жестокого чувства соперничества он задался целью вынудить меня непременно отказаться от Эмбер. Он стал сравнивать меня с собой. Он решил любой ценой спасти ее от самой себя — для себя.

До сих пор Пембер Ривз шел своим путем среди всех этих любовных перипетий, ничего не замечая вокруг. Какая-то дама из Фабианского общества, любительница писать анонимные письма, пронюхала про нашу историю, но удостоила своим вниманием одну только миссис Ривз. Правда, угрозы, что нас выведут на чистую воду, достигли ушей Эмбер, а тлеющие обиды Бланда разгорелись, и он стал тайно действовать. Теперь, когда я разрывался между всем тем, что значили для меня Джейн и моя работа, и постоянным желанием оказаться в объятиях моей возлюбленной, я вдруг узнаю, что наши отношения уже ни для кого не секрет. Я вовсе не думаю, будто Эмбер ясно представляла, что своими действиями она вынуждает меня развестись и жениться на ней, но как все-таки могло быть, чтобы эта мысль не пришла ей в голову? Думаю, ее тоже тянуло в противоположные стороны. В ее воображении я занимал огромное место, и она не хотела причинять мне боль, но ее жизнь теперь была лишена целостности; в Лондонской школе экономики она била баклуши, и в конце года стало ясно, что она не оправдала блестящих надежд, которые на нее возлагали, — а была она одной из самых ярких звезд на горизонте интеллектуалок феминизма. Она не могла не желать, чтобы поскорее разразился кризис. Бланко Уайт положил конец неопределенности — он пошел к Пемберу Ривзу, объяснил ему, что я ее «обесчестил», и сказал, что готов на ней жениться. Пембер Ривз повел себя в точности как положено было отцу в XVIII веке. Он устроил из этой истории настоящий публичный скандал; объявил о своем намерении застрелить меня

и с ревностной добросовестностью «пришел в ярость». Он накинулся на бедную миссис Ривз с криками и обвинениями. Ей же только одно и было важно — утаить от Ривза, что она столько месяцев молча потворствовала нашей связи. Она испытывала отвращенье к общепринятым нормам. Теперь хочешь не хочешь Эмбер предстояло выйти замуж за Бланко Уайта, да еще быть ему невероятно благодарной.

Я изо всех сил стараюсь не оправдывать себя в этой истории, а рассказать, как все возникло и что все мы делали. Из-за разных поворотов моей натуры во мне сосуществовали два совсем разных человека; для одного спокойствие и чувство собственного достоинства Джейн, наши дети и моя работа были дороже всего на свете, а для другого всего необходимей стала Эмбер, и необходимость эта сводила его с ума. Иногда мной управлял один из этих людей, а иногда другой. Быть может, Эмбер тоже мучительно разрывалась между жаждой уединиться со мной и предаться страсти и совершенно естественным желанием восстановить свое доброе имя и жить в кругу своих друзей, бывать у них в гостях и принимать их у себя. Ей было понятно, какие силы раздирают меня, и она знала, что я могу обещать ей лишь героическую жизнь парии, которая была бы для нее невыносимо тяжела.

Когда одержимость сексом брала во мне верх над всем остальным, я забывал о своих теориях свободной жизни Самурая. Я хотел завладеть ею целиком. И я не знаю по сей день, так ли уж ее это привлекало, но при прочих равных условиях она, несомненно, была готова целиком завладеть мною.

Наше поведение определялось не логикой развития наших отношений, а лишь бурными всплесками множества противоречивых побуждений. Я рассказываю о том, что мы делали, но не могу ответить на вопрос: «Почему мы это делали?» Хотя над нами собирались тучи, Эмбер ухитрилась мне дозвониться, и мы в последний раз уединились в нашей комнате неподалеку от вокзала Виктория. «Что бы ни случилось, я хочу от тебя ребенка», — сказала Эмбер, и мне это казалось героизмом. Я не стал задаваться вопросом, чем вызвана эта ее внезапная любовь к потомству, и мы тут же принялись за дело. Она сказала об этом Бланко Уайту, но он остался верен своему решению разлучить нас и жениться на ней. Она упаковала несколько саквояжей, ускользнула из дому и приехала на вокзал Виктория, где я ее ждал. Я увез ее во Францию, в Ле-Туке, и снял там меблированный домик. Там мы оказались в полном одиночестве.

Мы гуляли и говорили о серебристых дюнах, и сидели у моря, и занимались любовью в теплой ночной тьме под молчаливыми,

широко расходящимися лучами двух маяков, и обсуждали, что нас ждет впереди. И когда вся сила сексуальной романтики была исторгнута, перед нами угрожающе замаячила наша главная тревога, никоим образом не связанная с этим комплексом. У нас и мысли не было завершить побег, как было принято в XIX веке. Я и подумать не мог о разводе с Джейн. Ни Эмбер, ни меня не прельщала перспектива странствовать по Европе в таком незавидном положении, да еще, вполне вероятно, испытывая денежные затруднения. Нам нужен был Лондон со всеми его возможностями для жизни деятельной. Я был за Лондон и за жизнь без оглядки на общество, но мне это было легче, чем Эмбер, — ее мать повернулась против нее, а собственного положения в обществе у нее не было. К тому же сейчас вести себя таким образом гораздо легче, чем было до войны. Эмбер пала духом. «Я вернусь и выйду замуж за Риверса». Я повез ее в Булонь, посадил на пароход и поехал назад, в Ле-Туке.

Там я прожил еще несколько дней, не в силах сразу вернуться к благопристойной, лишенной плотских радостей жизни Сандгейта и к работе. Потом я пригласил к себе Джейн вместе с мальчиками и изо всех сил старался их развлечь. Не помню, что именно происходило тогда у меня в душе, но, мне кажется, это был поистине мудрый шаг. Рядом были веселые мальчишки, и я гулял с ними, бегал наперегонки, купался и сумел перебраться через пропасть, которая разверзлась между мной и Джейн, назад к ней. Когда душевное смятение становилось невыносимо, я отправлялся один на прогулку, проходил миль двенадцать по незнакомым, а значит, живительным окрестностям. И я принялся за работу, за одну из моих хороших книг, «История мистера Полли». По-моему, свадебный пир мистера Полли написан очень неплохо, и странно вспомнить, что иные из этих лучших страниц я писал, горько рыдая, как разочарованное дитя. Джейн была поразительна. Она не обнаружила ни обиды, ни возмущенного себялюбия. Она никогда не полагала и не чувствовала, что наши отношения в первую очередь сексуальные или что их определяет сексуальное предпочтенье. Джейн всегда рассматривала пылкость моего сексуального воображения как некое органическое заболевание; она ни во что не вмешивалась, терпеливо и ненавязчиво пережидала, когда мое лихорадочное возбуждение схлынет. Если бы не ее невосприимчивость к подобным лихорадкам, я, возможно, не сбился бы с пути. Вскоре мы уже разговаривали о происшедшем так, словно речь шла не обо мне, а о ком-то другом, о ком мы оба беспокоились.

Мы решили распрощаться с Сандгейтом и его чересчур здоровым, в сущности убаюкивающим, образом жизни.

Необходимо было покончить с однообразием наших дней и вечеров, лишенных каких бы то ни было событий. Вот продадим дом и заведем новый в Лондоне. У меня появится возможность видеться с множеством людей и разнообразить источники радостного волнения. Джейн изголодалась по музыке, а там она сможет посещать концерты, картинные галереи и художественные выставки, которые ее привлекают. Мы оба перестанем замыкаться в себе. Я избавлюсь от мук ревности, время от времени позволяя себе вступать в сомнительные связи.

Но на этом наши отношения с Эмбер не кончились. Она вышла замуж за Бланко Уайта, а потом содрогнулась от содеянного. И безжалостно преподнесла все мне. Это непростительно, но так уж оно было. В совершенном отчаянии она кинулась ко мне и опять уехала, а я вел себя как непостижимый, нерешительный осел. Она пожелала, чтобы до рождения ребенка Бланко Уайт и близко к ней не подходил и чтобы она была вольна видеться со мной. Не стану рассказывать в подробностях, что из этого проистекло, что пережили и как негодовали все, кто имел к этому отношение. Кроме Джейн и Бланко Уайта, ни у одного из тех, кто имел отношение к происходящему, не было определенных намерений, и всего меньше у Эмбер.

И она и я отчаянно цеплялись за наше представление, что мы поддерживаем некий новый тип отношений мужчины и женщины, противостоящий тупому и низменному миру. На самом же деле мы сдали позиции давно, еще когда позволили воспрепятствовать нашей связи. Нам следовало оставаться любовниками и послать всех к черту. А если бы нас на время разлучили, мы должны были бы добиваться свободы и права выбора. Нам следовало что-то предпринять. Ребенок тогда был совсем ни к чему. Мысль о нем в тот вечер казалась заманчивой, но ей суждено было стать источником весьма озадачивающих запоздалых раздумий. Даже из этих объяснений, составивших подлинную картинку-загадку, можно понять, что ему в ней места нет.

Фальшивое положение, в котором мы оказались, повинно и в том, что побег в Ле-Туке обернулся для нас неудачей. С тех пор нам нечего было сказать в свою защиту. Нам только и оставалось, что признать свое поражение и получить по заслугам. С моей стороны последовали многословные объяснения, но чем многословней объяснение, тем меньше оно объясняет. Бледный отсвет некоторых сторон нашего положения — или скорее связанных с ним чувств — появился в «Анне Веронике» и в «Новом Макиавелли». В этом крылась основная причина развернутой против обеих книг кампании, о чем я уже писал в

«Автобиографии». Потом последовало несколько недель ménage à trois[45] в Кейтерем-Вэли, в доме, который я снял у Элизабет Робинс; были интимные встречи где-то еще, и до самого рождения дочери Эмбер я навещал ее в родильном отделении лечебницы в Кембридж-террас и торжественно, у всех на виду, прогуливал в Гайд-парке.

И еще некоторое время после этого знаменательного события мы с Эмбер ухитрялись встречаться, но уже не чувствовали себя победителями, и нашей гордости как не бывало.

Несколько предвоенных лет мы не виделись совсем. Потом опять стали видеться. Однажды в воскресенье она и ее муж обедали у нас с Джейн в Истон-Глиб. После смерти Джейн наши встречи стали более регулярными; раз-другой Эмбер и Бланко Уайт приезжали ко мне на ужин, и у нас установились подлинно дружеские отношения. Возможно, это произошло бы раньше и с большей открытостью, если бы не страх, что об этом прознает Пембер Ривз и поднимет шум. При жизни Джейн подобный шум причинил бы ей боль. А когда ее не стало, меня бы он нисколько не задел. Но с Бланко Уайтом я вижусь нечасто — на мой взгляд, он любитель изрекать расхожие истины и лишенный воображения спорщик. Теперь, когда мы не нарушаем приличий, я предпочитаю развлекать одну Эмбер. Время от времени я приглашаю ее в театр или в оперу или мы обедаем в ресторане; мы работали вместе над одной из моих книг, а ее дочь, дитя нашей переломной поры, теперь считает меня своим настоящим отцом и вместе с мужем бывает у меня постоянно. Нас с Эмбер более не связывает ни страсть, ни ревность, только глубочайшая душевная близость и доверие. Надеюсь, она чувствует, что в случае надобности всегда может на меня рассчитывать, а я надеюсь, что могу рассчитывать на нее.

Когда мы с Джейн продали Спейд-хаус, мы поселились в прелестном обветшалом доме XVII века на Черч-роу в Хемстеде, и вскоре — для работы и нервной разрядки — я снял квартирку на Кэндовер-стрит в стороне от Грейт-Портленд-стрит. Там у меня был письменный стол, и я писал, и среди множества самобытных, непоседливых личностей, что мелькают на обочине мира людей интеллектуального труда, туда заглядывали разные дружески расположенные ко мне женщины. Туда, среди прочих, приходила Дуза, и, как я почувствовал, горечь оттого, что я ее потерял, пошла на убыль. По-моему, заключительный всплеск неверности был спасителен для нас обоих. Я опять дал волю воображению и уже явно приходил в себя после нашего буйства.

Мне тогда хорошо работалось, я писал романы и рассказы. К этой поре относятся «Мистер Полли» и «Новый Макиавелли». Но

Дуза в этих книгах не присутствует. Я смог бы изобразить нечто схожее с ней, лишь когда все отойдет в прошлое. Что-то от ее ранней предприимчивости есть в «Анне Веронике». Но в «Великолепном исследовании» (1915) в образе Аманды время от времени появляется именно Дуза — в самом своем бессовестном виде. И я рассказываю о ней там больше, чем здесь, и гораздо больше того, что происходило на самом деле; я превратил ее в тип, который, похоже, виделся мне в довольно безжалостном свете, и в главе под названием «Цена ревности» я довольно откровенно показываю вызванные этим трудности и собственное расположение духа. Леди Марейн, тоже из этой книги, написана с личности, которую я знал весьма близко, о чем расскажу в следующей главе.

Однако я все еще никак не могу приступить к этой новой главе. Что-то я еще упустил. Изображая Дузу, я показал ее предприимчивость и чувственность и намекнул на ее потаенную бессовестность. Но ей присуще и постоянство в дружбе, и мужество смотреть в лицо действительности, даже унизительной действительности, чего в моей картине нет. У нее был дисциплинированный ум. И у Джейн тоже. За исключением Марджори Крейг, моей невестки и к тому же моего секретаря, я больше ни разу не соприкоснулся с женским умом, который был бы воспитан в таком стремлении к достоверности, пусть даже речь идет о чем-то неприятном или унизительном. Если одна из этих трех лгала, она знала, что делает. Дуза лгала, но по мелочам, скорее хитрила. Большинство женщин лжет и себе и другим. Они, как правило, даже в большей степени, чем мужчины, живут в вымышленном мире. Им важно пробудить в себе личность и добиться, чтобы мы ее признали. Им невмоготу жить, когда их личность не принимается в расчет. Но самая суть любви, что дарила мне Эмбер, пережила все истолкования и все связанные с ней плотские восторги. Она выжила, и своеобразная любовь, которую я питаю к Эмбер, тоже выжила несмотря на то, что жизнь совершенно нас развела и многие годы мы встречались от случая к случаю. У нас была возможность поразмыслить друг о друге, и оказалось, в каждом есть что-то стоящее, что нам захотелось сохранить в памяти. Существует некое естественное нежное взаимопонимание, которое при встречах очевидно без слов.

Возвращаясь к Эмбер, должен сказать, что она была хорошей матерью, не только интуитивно, но и благодаря уму и добросовестности. Она воспитала всех троих своих детей в относительной и отважной бедности, и они выросли трудолюбивыми и нравственными, а когда обе ее дочери —

весьма современные молодые особы, желающие полагаться только на самих себя и открыто идущие своим путем, — одна за другой стали ее озадачивать, она обратилась ко мне, чтобы обсудить, как следует к этому отнестись. Бланко Уайт был человек щепетильный, а я — нет, и в таких делах я разбираюсь. Эмбер вовсе не казалось странно, что она советуется со мной не только о моей дочери, но и о дочери Бланко Уайта.

В 1930 году наша дочь с отличием сдала экзамен на степень бакалавра наук и стала восходящей звездой Лондонской школы экономики. Ей поведали, кто ее настоящий отец, и она приехала ко мне, чтобы я мог должным образом с ней поговорить. Она знала мои сочинения, и новость, что нас связывают кровные узы, показалась ей и романтической и привлекательной. Я же увидел в ней чистую духом, страстно увлеченную работой, в меру честолюбивую молодую женщину. Но не стану выходить за рамки собственной автобиографии. Не думаю, что дочь, которую в глаза не видел с младенчества до зрелости, может быть истинной дочерью, но я вижу в ней, можно сказать, любимую, очень ко мне расположенную племянницу, и всякий раз, как она приезжает в Лондон, мы вместе где-нибудь обедаем, и бываем в театре, и очень мило друг с другом обходимся.

А теперь, как своего рода постскриптум, отрывок из письма, которое я получил 25 августа 1939 года. Мне чрезвычайно приятно, что из него будет видно, какими представляются наши отношения самой Эмбер.

> «Вчера вечером мы вернулись из Уэльса и нас ждала твоя книга — теперь будет о чем поразмыслить, это замечательно. В пору, когда жизнь, какой мы ее знали, похоже, для всех нас подходит к концу, мысленно возвращаешься в прошлое, и не будь этой книги, за которую следует поблагодарить, я, вероятно, все равно бы написала, чтобы сказать тебе спасибо. То, что ты дал мне столько лет назад, — любовь, которая казалась мне совершенной, влияние твоего ума и нашу дочь — с тех самых пор поддерживает меня. Я ни разу ни на миг не почувствовала, что игра не стоила свеч».

4. Эпизод с Крошкой Элизабет

Среди милых дам, что в предвоенную пору оказывали мне честь своими визитами на Кэндовер-стрит и помогали остудить жар в крови, виной которому была Эмбер, вскоре появилась одна, которая положила конец этому обыкновению. То была на редкость живая, своеобразная маленькая дама, графиня фон Арним{382}, автор книги «Элизабет и ее немецкий сад». Она была ирландка, со свойственным ирландцам пристрастием ко всяческим нелепостям и смеху, якобы сентиментальная, и в ее мировосприятии титулы и успех в обществе играли не последнюю роль. Она не способна была ни к философским раздумьям, ни к размышленьям о политике. И к тому же отличалась практичностью, здравомыслием и остроумием. В ней самым очаровательным образом переплелись авантюризм и крайняя приверженность условностям, и я пленил ее. Против воли семьи (ее брат, доктор Бичем, был хорошо известный в Дублине врач) она сбежала с фон Арнимом в Померанию, и там, чтобы скоротать время в томительные месяцы беременности, написала книгу, на долю которой выпал поразительный успех, а когда после нескольких книг и еще нескольких младенцев ей стало ясно, что фон Арним намерен навязать ей бесконечный хвост отпрысков, она от него ушла. Она ничего не знала о современных противозачаточных средствах, и до того, как окончательно рассталась с мужем, он успел одарить ее пятью детьми.

Она могла себе позволить уйти от него и приехать в Англию, поскольку благодаря гонорарам за ранние книги оказалась состоятельней его. К тому времени, как она стала моей любовницей, он уже умер и она была вдовой, еще ходила в темном, и ей принадлежал прелестный дом, который она построила в Швейцарии между Сьером и Монтаной. Занятия любовью с фон Арнимом она полагала делом важным и докучным, но представляла, что оно может быть не столь тягостным и более приятным. Однажды, проезжая через Фолкстон, она побывала у нас в Сандгейте и я ей понравился; до нее доходили слухи о моей скандальной жизни, и ей казалось, я в высшей степени подхожу для того, чтобы избавить ее от некой неполноценности. Так вышло, что мне нужно было закончить одну работу и я снял для себя коттедж, Котчет-Фарм, неподалеку от Хейзлмира, а она жила тогда у своей сестры, миссис Уотерлоу, в нескольких милях от меня в сторону Липхука. Не помню, сговорились ли мы о таком близком соседстве или это было делом случая. Мы вместе гуляли по заросшему вереском склону,

превесело болтая о жизни, и легко нашли общий язык.

Мы нравились друг другу, вместе смеялись, распрекрасно занимались любовью, но отношения, в которых было бы меньше страсти, чем в наших, даже и представить невозможно. Они, несомненно, были очень удобны. Джейн неизменно восхищалась книгами Элизабет, и наша близость не вызывала у нее ни малейшей неприязни. Она как-то заметила, что «у Крошки Элизабет даже немецкий может зазвучать приятно». После солнечных и лунных ванн на Котчет-Фарм у меня на Кэндовер-стрит уже не бывал никто, кроме Элизабет. Вскоре мы с Джейн расстались с нашим домом на Черч-роу, обзавелись квартирой на Сент-Джеймс-Корт и сняли у леди Уорик Истон-Глиб, чтобы проводить там конец недели. У Элизабет тоже была квартира на Сент-Джеймс-Корт. Наша связь продолжалась с бесстыдной безнаказанностью. Мы упархивали за границу и презанятно проводили время в Амстердаме, Брюгге, Ипре, Аррасе, Париже, Локарно, Орте, Флоренции — и никто об этом и ведать не ведал. Я гостил у нее в Chalet Soleil[46] в Монтане. Когда этот дом строили, она расстаралась, чтобы в комнате для гостей, где я обычно жил, была тайная дверь, скрытая гардеробом, петли которой хорошо смазывались, — придумать такое было очень в ее духе. Перед тем как разойтись по своим комнатам, мы желали доброй ночи друг другу и гостям, что оказывались там, и потом в коридоре уже не слышалось никакого скрипа, не отворялись и не затворялись двери. Нарушать подобным образом приличия ночью Элизабет ни в коем случае не желала — ей казалось, это безусловно подтвердило бы подозрения, которые могли возникнуть оттого, как мы вели себя днем. Когда мы бывали в доме одни, мы по утрам напряженно работали, а после полудня бродили по горным склонам и, случалось, занимались любовью под соснами на устилавшей землю сбрызнутой солнцем хвое. Обычно мы брали с собой хлеб, нарезанную ломтями ветчину, пиво и фрукты. Привычным путем проходили по своим делам крестьяне, мы знали, где они могут нам попасться, а где нет, и, кроме них, никогда не встречали ни души.

Однажды в номере «Таймс», который мы прихватили с собой, мы увидели письмо миссис Хэмфри Уорд, которая осуждала нравственный климат молодого поколения, а заодно и молодой писательницы Ребекки Уэст; мы прочитали его вслух и решили, что надо нам что-то предпринять. И вот мы разделись под деревьями, словно были одни в целом свете, и прямо на этом «детище» миссис Хэмфри Уорд занялись любовью. Потом мы опять оделись, чиркнули спичкой и подожгли его. «Таймс» возмущенно вспыхнул, опал и, сгорая, скорчился, почернел, стал

хрупким, распался на обрывки, и они улетели.

И мы много такого вытворяли. Вместе с ее немецкой компаньонкой Теппи мы отправлялись в туристические походы и останавливались в маленьких сельских гостиницах. Дважды мы ломали кровати — не очень-то крепкие они были, но так или иначе мы их ломали, и забавно было слушать, как Элизабет (она и сорока килограммов не весила) объясняла на своем превосходном и таком милом немецком, почему ночью ее кровать рухнула.

Так вот, эта веселая и безобидная связь могла бы продолжаться еще долго и избавила бы нас обоих от дополнительных сложностей, но ей пришел конец, вероятно, по той же своеобразной причине, по какой она началась. У Крошки Элизабет нрав был вздорный, и она любила мне досадить — внезапно меняла планы, что было мне неудобно, или принималась что-то критиковать, и, случалось, это приводило меня в негодованье. Ей хотелось от меня большего, чем веселье и дружество, которыми я ее одарял. Ей хотелось, чтобы мы вместе переживали всю остроту жизни — вопреки решению обоих, что невозможность этого ни в коем случае не будет нас огорчать. Она со странной враждебностью стала относиться к Джейн. Ей не нравилось, что я каждый день пишу домой в Англию, и она ревновала, видя, что ответные письма нередко меня забавляют и радуют. Ее все больше и больше возмущало мое легковесное отношение к нашей любви. Ей понадобилась глубина чувства. Плакал ли я хоть раз из-за нее, сотрясала ли меня дрожь, когда я оказывался с ней рядом? У настоящих любовников без этого не бывает. Готов ли я пожертвовать собой ради нее? Готов ли хотя бы прервать свою работу? «Ни в коем случае, — сказал я. — Ни ради тебя, ни ради кого другого». Она принялась бранить меня; она способна была усесться под солнышком на земле в горах и бранить меня и растолковывать, как, по ее нынешнему понятию, должен вести себя Истинный Любовник. Потом она стала придумывать прозвища для Джейн, пародировала ее манеру разговаривать, сочиняла про нее всякие небылицы. Была она и комична, и зла, и невыносима.

«Мы так не договаривались», — сказал я.

«Мы так не договаривались», — передразнила она.

Элизабет черпала веселье из наших отношений, и как раз веселье нас и связывало.

И вдруг мы вовсе перестали поминать Джейн, взялись разговаривать друг с другом наиучтивейшим образом о том, что нисколько нас не интересовало. Теппи была откровенно озадачена, когда мы начисто отказались от шуток и

подтруниванья, а по ночам никто не тревожил гардероб с его пресловутыми петлями. Я думаю, и она и я часами лежали без сна в ожидании, что другой все-таки появится — а значит, капитулирует.

Потом я сказал, что мне пора возвращаться в Англию, и мы расстались, можно сказать, нежно, — но о дате следующей встречи не условились. Через несколько недель ей предстояло вернуться в Сент-Джеймс-Корт. Разговаривая в ее лондонской гостиной, мы ожесточились друг против друга.

«Это твоя вина, — сказала она. — Ты горе-любовник».

«Нет, твоя, — сказал я. — Ты, в сущности, не любила».

«Ты понятия не имеешь, как сильно я тебя любила».

«Имею, имею».

«Ты мне изменял, когда вернулся в Лондон».

«А что тут такого, раз мы расстаемся?»

«Эх ты, горе-любовник, — пропела она. — Горе-любовник».

Ну, не спорить же с ней.

После этой встречи мы не виделись несколько лет. А была она в конце 1913 года. Элизабет вздумалось обратить свой взор на графа Рассела, который жил в ту пору в своем доме, Телеграф-хаусе, к северу от Хартинга, как раз поблизости от Ап-парка, где когда-то моя мать была домоправительницей. В начале нашего романа мы с Элизабет заезжали к Расселам, и я ощупью пробрался в ее комнату по неосвещенному коридору. Во тьме я наткнулся на какой-то угол, что изрядно озадачило меня, а оказывается, тогдашняя графиня имела обыкновение спать с распахнутой на лестничную площадку дверью. Крошка Элизабет еще в те времена сочла Рассела непонятым, но весьма привлекательным человеком, и ей казалось, чтобы в обществе его оценили по заслугам, ему только и не хватало, что умелой жены. А его жену общество не жаловало.

Не знаю, как далеко зашли отношения Рассела и Элизабет перед войной, но из-за разразившейся в августе 1914 года катастрофы ей стало весьма желательно снова получить британское гражданство. С великим трудом возвратилась она из Швейцарии в Англию — по закону она считалась немецкой подданной. Расселы развелись, и она стала новой графиней Рассел.

Брак спас ее имущество от конфискации в качестве неприятельской собственности, но в остальном он не был удачным. Изъяны характера и чудачества графа изображены с захватывающей дух злой занимательностью в ее романе «Вера». Думаю, она не стала бы писать эту книгу, не выведи он ее из себя: сочинил и пустил по рукам довольно грубую пародию на ее

безликую сентиментальную книгу «В горах». Она изобразила его причуды и тиранство и его дом правдиво до неправдоподобия, а в холле Телеграф-хауса поместила увеличенные фотографии разных представителей рода Расселов. Это переполнило его чашу терпения. Однажды он повстречался со мной в Реформ-клубе.

«Вы знаете мою теперешнюю жену, — сказал он, — и знаете Телеграф-хаус. Вы читали эту „Веру“? Скажите, в ней правда написано, будто в холле Телеграф-хауса висят увеличенные фотографии моих родных?»

«Нет, неправда, — ответил я. — Однако книга так написана, что вполне можно это предположить. Но ведь „Вера“ — роман… Вы думаете, он метит в вас, Рассел?»

«Бр-р», — произнес Рассел, сообразив, что попался на крючок.

Я заговорил о чем-то другом.

Крошка Элизабет ушла от Рассела, но разводиться не захотела, и он так до самой смерти и оставался ее мужем. Я встретился с ней снова на званом обеде в Йорк-террас; теперь я уже совсем не помню, кто был хозяйкой дома; мы ушли с Элизабет вместе, и оказалось, мы добрые друзья. Она рассказала мне о прегрешениях Рассела. Они полностью затмили мои собственные. С того времени мы и вправду добрые друзья и не питаем друг к другу никаких злых чувств.

Она построила дом во Франции, в нескольких милях от моего Лу-Пиду, который я опишу позднее, и мы вместе завтракали, обедали и болтали до тех пор, пока позволяли цепи ревности и подозрений, что держали меня в Лу-Пиду. Нам всегда был по вкусу нрав друг друга, и теперь, когда мы не делали вид, будто нас связывает романтическая любовь или страсть, способные исказить наше поведение, мы могли смеяться сколько душе угодно. Ее злость на Джейн бесследно исчезла.

В феврале 1935 года я вместе с Мурой Будберг{383} навестил ее, и мы очень приятно провели время, а в Спорт-клубе в Монте-Карло я дал обед в ее честь, который доставил ей массу удовольствия.

Она все еще пишет (1935 г.), но покидать свой Mas des Roses[47] в Мужене, похоже, не собирается. Она там обосновалась. Mas des Roses — последний из множества домов, которые она построила. В этом, как и кое в чем другом, мы с ней схожи — мы оба одержимы жаждой заиметь совершенный дом где-нибудь еще. Мало того, что я переезжал с места на место, я возвел Спейд-хаус, наполовину переделал Истон-Глиб, построил Лу-Пиду — меня все еще не оставляет неосуществимое желание стать хозяином совершенного дома. Элизабет снесла еще больше архитектурных яичек, чем я, широко их разбросала. Построила дом неподалеку

от Эксетера, другой поблизости от Вирджиния У отер, потом Chalet Soleil выше Sierre и еще Mas des Roses.

Между 1910 и 1913 годами, когда Элизабет была моей любовницей, я написал несколько романов, которые вышли в свет, разумеется, несколько позднее. Это «Брак», «Страстные друзья», «Жена сэра Айзека Хармена» и «Великолепное исследование». Ни один из них не принадлежит к моим лучшим произведениям, а «Билби» — явно ниже уровня «Мистера Полли». В них меньше искренности и глубины, чем во всем остальном, что я написал. Помню, однажды, солнечным днем, на горных склонах над Chalet Soleil, я читал Элизабет куски из «Освобожденного мира», и она упала — так яростно она меня ругала и колотила руками в меховых перчатках, вообразив, будто мне «любо разрушать мир». Будь Элизабет Господом Богом, на земле не было бы ни землетрясений, ни тигров, ни войн, но вечно дул бы легкий ветерок да нежданно-негаданно мог хлынуть дождь; растения иной раз преподносили бы сюрпризы — комичные безделицы, но от них исходили бы ароматы, тончайшие и разнообразные. И среди душистых трав прыгало бы несметное множество пушистых зверюшек. У Элизабет было поразительное обоняние. Она говорила, что от фон Арнима, право же, всегда пахло не так, как следует; в этом она обвиняла сего «зловещего человека» чаще всего, и она могла войти в комнату и сказать, кто из ее близких был там с час назад, а то и раньше — и всегда безошибочно.

И пока я вспоминаю все это о Крошке Элизабет, у меня в памяти всплывает еще один случай, который показывает, до чего здравыми были наши отношения. Мы повздорили, затеяли перебранку, обменялись весьма нелестными выражениями, которых всякому литератору не занимать, она вскочила из-за стола и кинулась прочь из лоджии. А чуть погодя, когда я сидел и размышлял о жизни, что крайне не удовлетворяет меня, вошла Элизабет, спокойная, решительная, с бутылкой касторки и большой столовой ложкой.

«Нам обоим это полезно. Выпей-ка», — сказала она, и о случившемся больше не было сказано ни слова.

Когда в 1940 году я читал лекции в Америке, я получил от нее длинное, веселое письмо о моей последней книге. Крошка Элизабет была во Флориде. Я ответил так же нежно, а потом, когда вернулся в Англию, услышал, что она умерла во сне.

5. Ребекка Уэст

Когда осенью 1913 года Крошка Элизабет утратила для меня привлекательность, в мою жизнь вошла поистине незаурядная

молодая женщина. Сперва я обратил внимание на ее фамилию под разными остроумно и смело написанными критическими статьями в журнале «Свободная женщина» и других. (Я уже рассказывал, как мы с Элизабет праздновали, когда Ребекка Уэст шокировала миссис Хэмфри Уорд.) В одной из статей она обрушилась на меня, обвинила в псевдонаучности, и я пригласил ее к себе и поинтересовался, что, собственно, она имела в виду. В ней ощущалась наступательная энергия, которая, по-моему, была бы уместней при более солидных знаниях, чем те, какими она, мне кажется, обладала. Когда я приглашал ее к себе, у меня, я думаю, и в мыслях не было заводить с ней роман. Сознательно или бессознательно я, вероятно, подражал великодушному жесту Гранта Аллена по отношению ко мне после того, как в 1893 году я разнес в пух и прах его «Женщину, которая это сделала».

На обед в Истон пришла молодая женщина, в которой чувствовалась любопытная смесь зрелости и инфантилизма. У нее был красивый высокий лоб и темные, выразительные, беспокойные глаза; большой, нежный рот и маленький подбородок; она хорошо владела речью и, видно, много читала, обладая при этом отличной памятью. Мы спорили, и она возражала мне весьма решительно, но и весьма разумно. Такую женщину я еще никогда не встречал, да и вряд ли другая такая сыщется на свете. Или когда-либо появится. Ее настоящее имя было Сесили Фэрфилд; была она весьма смешанного происхождения: отец шотландец, а мать — из Вест-Индии, учительница музыки, которую она очень живо изобразила в эдинбургской главе своей книги «Судья». Нервная система у Ребекки была конечно же чрезвычайно возбудима, но, я думаю, на ее эмоциональном развитии сказалась и неожиданная, ужасная встреча с неким бродягой, когда она была еще совсем ребенком. Ее отец был чудовищный распутник, а мать была отчаянно предубеждена против секса — даже сильнее, чем миссис Бланд или миссис Ривз. Она хотела видеть всех трех своих дочерей преуспевающими незамужними женщинами. Старшая стала доктором медицины, а потом юристом, вторая получила степень магистра гуманитарных наук в Эдинбурге. Ребекка, младшая, никаких институтов не кончала; из-за слишком напряженных занятий в школе у нее случилось воспаление мозга, а оправившись, она принялась писать, причем великолепно. У нее был превосходный, хотя и расстроенный ум, и это ощущается во всем, что выходит из-под ее пера.

Когда мы познакомились, я ничего не знал о ее прошлой жизни. Видел только решительную молодую женщину, которая тотчас заставила меня забыть, что ей всего двадцать один год.

Она казалась одновременно и юной и зрелой. После встречи мы обменялись несколькими короткими письмами, и однажды она приехала ко мне на Черч-роу. Она мне понравилась и весьма меня заинтересовала, но в те дни мне было хорошо с Элизабет, и с Ребеккой мы не выходили за рамки разговоров о книгах и статьях. До тех пор, пока однажды у меня на Черч-роу лицом к лицу с книжными полками, посреди разговора о стиле или о чем-то в этом роде, а в общем ни о чем, мы вдруг не замолчали и не поцеловались.

И тут чувство Ребекки вырвалось наружу, и она призналась в своей страсти.

Легко представить, как сильно я должен был подействовать на ее воображение. Ею владели честолюбивые мечты о литературном поприще, и в моем невероятном успехе для нее, должно быть, таилась особая привлекательность. Моя репутация неразборчивого ловеласа нисколько ее не смущала. Она была исполнена стремленья вступить в единоборство с жизнью, что в молодости будоражит кровь, и ее вовсе не прельщали банальные романы со сверстниками. Она хотела стать моей любовницей и сказала, что виной тому мой поцелуй. Я подал ей надежду, сказала она. Я и сам склонен был думать, что поцелуй должен означать надежду. Но уж слишком он был неожидан, этот поцелуй.

Меня невероятно влекло к ней, однако из-за отношений с Элизабет я не мог дать себе волю.

Ее взволнованность ощущалась в том, что она тогда писала. От матери не укрылось состояние ее души, и она увезла Ребекку передохнуть в Испанию, но ее нервное возбуждение не унялось. Той осенью, в Лондоне, я ссорился с Элизабет. И мы с Ребеккой стали любовниками.

Видеться нам приходилось тайком — из-за враждебности ее матери и сестер. Однажды после полудня она пришла ко мне в квартиру на Сент-Джеймс-Корт, когда в любую минуту нам мог помешать мой камердинер; то была наша вторая встреча, и Ребекка забеременела. Это получилось совершенно неожиданно. Ничего подобного у нас и в мыслях не было. Она хотела писать. Этого не должно было случиться, а поскольку я был человек опытный, вина целиком лежала на мне.

Я поселил ее в Ханстентоне в Норфолке и старался жить там вместе с ней как можно чаще и дольше. Она продолжала рецензировать и писать. Наш сын родился в памятный день, 4 августа 1914 года, когда Британия объявила войну Германии. Я тотчас снял дом в Броинге в Хартфордшире, милях в двенадцати от Истона, так что мог ездить туда и обратно на велосипеде или

на автомобиле, иными словами, мог жить одновременно и дома и у нее. Я водворил ее туда с няней и домоправительницей, и там мы с ней по нескольку месяцев жили вместе.

Еще едва зная друг друга, мы оказались тесно связаны повседневной жизнью. Все мы, в том числе Джейн, были застигнуты врасплох. Все мы хотели великодушно поддерживать друг друга, — в той мере, в какой способны были примениться к новым обстоятельствам. Ребекка с самого начала хотела, чтобы нас с ней связывал пронизанный всем богатством воображения и страсти роман, ничего другого ей не требовалось, а вышло так, что нам теперь предстояло испытать всевозможные механизмы эмоциональной совместимости, о которых мы имели весьма смутное представление.

Нам так и не удалось приспособиться друг к другу. Мы только невероятно полюбились друг другу и невероятно досаждали друг другу и были в постоянном противоборстве. Ребекка способна была так пространно и с такой безудержной фантазией толковать любые действия и обстоятельства, что по сравнению с ней моя собственная довольно значительная творческая фантазия сильно проигрывала. Мы не были предоставлены самим себе. Ребекка выросла младшей в семье, причем ей была отведена роль самой одаренной и самой многообещающей; на ней постоянно было сосредоточено внимание матери и сестер, и у нее вошло в привычку ждать их одобрения и моральной поддержки. Она в этом нуждалась, даже когда открыто не повиновалась им, и, что бы она ни делала, она ощущала уверенность в себе лишь после того, как они одобряли ее и подтверждали ее правоту. Глубокое мужененавистничество матери заметно сказалось на обеих старших сестрах Ребекки, по крайней мере на их поведении, так что, появись у нее любовник, семья отнеслась бы к нему враждебно. И когда их необыкновенная любимица-сестричка воспылала любовью к женатому мужчине, пользующемуся дурной репутацией, они пришли в неистовство. Они ни за что не желали с этим мириться, но и пальцем не пошевелили, чтобы ей помочь. Они не сочувствовали ее пылу, и, вероятно, всем им не давали покоя их собственные возможности, которыми они не сумели воспользоваться. Душу старшей сестры, несомненно, уродовала ревность, которую она подавляла, — не ко мне, но к плотской любви. Она обожала сестренку, а теперь и ненавидела.

Что бы мы с Ребеккой ни делали, что бы ни задумали осуществить, для нее все было отравлено беспощадным и неизменным неодобреньем ее семьи. Они не давали ей гордиться моим положением и успехами; они приходили в ужас и

негодование всякий раз, как мы пытались справиться с чем-то вместе. Они принуждали ее к нелепой лжи и обманам; например, что наш Энтони — приемный ребенок; не давали ей вести себя прямо и открыто со слугами всякий раз, как мы создавали общий дом, — в Броинге, в Пиннери, в Саутенде-он-Си, в Лондоне. Они губили один дом за другим и ничего не предпринимали, чтобы спасти положение. Они упорно добивались, чтобы мы полностью порвали друг с другом или чтобы я развелся и «должным образом» женился на Ребекке.

Надо сказать, что, если делаешь секрет из такого существенного обстоятельства, как истинный характер отношений главных членов семьи, вести дом невозможно. В наши дни любовникам совсем нетрудно жить общим домом и подыскать слуг, которые будут делить с ними жизнь и сочувствовать им; слуги с легкостью вписываются в эти отношения; но если делаешь вид, будто ты замужем, а потом как-то себя выдашь, или говоришь, будто гость, который останавливается у тебя постоянно и со скрипом пробирается ночью по коридору, просто друг или кузен, слуг это безмерно возмущает. Если вашим слугам покажется, что вы стыдитесь своего положения, они конечно же будут чувствовать себя униженными. Они станут вас оскорблять или шантажировать. Но если вы будете вести себя открыто и решительно, они вас поддержат. Короче говоря, в годы нашей связи у Ребекки, по натуре дерзкой и непокорной, однако сохраняющей безотчетную преданность семье, у Ребекки, которая одновременно и педант и бунтарь, отношения со слугами и соседями не складывались.

Мы без конца меняли жилье — переезжали из дома в дом, с места на место и переводили Энтони из школы в школу. Иногда, приходя его навестить, Ребекка представлялась его тетушкой, а иногда матерью или приемной матерью. Иногда мы путешествовали вдвоем как любовники, а иногда как друзья. Ни она, ни я никогда не знали точно, на каком мы свете, и вечно тащили за собой опутавшую нас сеть взаимных неудовольствий, что не давала углубляться истинному расположению и привязанности, на которые мы оба, несомненно, были способны. Ведь временами мы действительно любили друг друга. Мы до сих пор любим друг друга. Нам обоим присущ грубоватый юмор, острый интерес к очень многому, сильные желания, и, когда они совпадали, мы бывали очень счастливы. Мне нравилась ее насмешливость и игра воображения. В эти счастливые полосы большую роль играла ее своеобразная фантазия, которой она дала волю в своей явно недооцененной книге «Гарриет Хьюм».

Но верх брали несогласия. Мать и старшая сестра Ребекки не

уставали внушать ей, что по сравнению с Джейн у нее положение «незавидное». На самом деле не такое уж оно было незавидное. Я открыто появлялся с ней всюду, разве что она сама этого не желала; мы обедали, ужинали и проводили субботу и воскресенье в загородных домах у наших друзей, притом в превосходном обществе. Благодаря умению уверенно вести беседу и хорошо писать она постепенно завоевала свое собственное место в жизни. Общество, с которым стоило считаться, склонно было терпимо отнестись к нашей связи при условии, что мы будем вести себя в согласии с его правилами и не станем вносить в него ненужных диссонансов. Но Ребекка чем дальше, тем решительнее настаивала на браке. Со временем письма Джейн стали вызывать у нее такое же возмущение, как прежде у Элизабет. Она не могла понять ни нашего взаимного доброжелательства, ни нашей нескрываемой привязанности друг к другу. Джейн полагалось бы выплакать все глаза как особе с несложившейся семейной жизнью, либо завести любовника и каким-то отвратительным или вызывающим образом меня «проучить». Враждебность Ребекки была куда ощутимее капризного неприятия Элизабет, к тому же у нее была определенная цель.

Мы ссорились. Я с полным основанием упрекал ее в непостоянстве. С еще большим основанием она упрекала меня, что я не принимаю в расчет ее трудности.

«Пошли своих к черту, и мы покорим Лондон. Ты окунулась в жизнь, потому что хотела стать независимой», — сказал я.

«Но разве я виновата, что мне приходится быть независимой матерью? Такого уговора не было».

«Со всем этим можно справиться. Но нас губят негодные попытки сохранить в тайне наши истинные отношения и делать хорошую мину при плохой игре».

«Добейся развода и женись на мне».

«Джейн создана быть женой, а тебе это не дано, — возражал я. — Ты сама нуждаешься в жене — тебе, как и мне, недостает здравомыслия, заботливости, мужества и терпимости».

«Ты никогда обо мне не заботился».

«А ты обо мне!»

Нам обоим это было несвойственно. Мы продолжали ссориться, на тысячи ладов вели все тот же нескончаемый спор. И однако, в иные полосы нашей совместной жизни, бывали счастливыми любовниками и наслаждались обществом друг друга. Мы подходили друг другу физически, по темпераменту и по свойственной обоим живости ума.

Куда глубже разногласий, вызванных нашим положением, были, однако, другие разъединявшие нас силы, что толкали нас к

разрыву. В общих чертах я уже говорил об этом в своей «Автобиографии» (гл. VIII, 5), где сравнивал себя с некоторыми своими современниками. Я трезво оценил свой ум и сознаю, что его отличает не столько живость восприятия, сколько острая потребность находить связи между всем тем, что он постигает. Если говорить об этих двух свойствах, мы с Ребеккой находились на разных полюсах. Она видела и чувствовала поистине пронзительно, но не стремилась ничего планировать и до такой степени не замечала противоречий, что для меня это было мучительно, и постепенно ее сочинения стали вызывать неприязнь у меня, а мои — у нее.

К своему писательству мы оба относились серьезно. Я докучал ей настояниями продумать план и загодя представить объем большого романа «Судья», который она тогда писала, а она возмущалась, что я занят «Очерком истории» вместо того, чтобы дать разгуляться своему воображению в художественной прозе; «Очерк истории» стал вызывать у нее почти такую же ненависть, как Джейн. Ей хотелось видеть историю как мир чудес. И ненавистно было, что в моей книге она предстает как картина развития взаимосвязей. Ей никак не верилось, что у истории может существовать некая закономерность. Зиму 1922/23 года мы провели вместе в Амальфи; мы совершали дальние прогулки, занимались любовью, над чем только не потешались и ссорились из-за наших сочинений. Она была поглощена «Судьей», а я писал с нее «В тайниках сердца». Она восприняла склонность моей героини к разжиганию страстей как личное оскорбление. Возможно, так оно и было.

В ее подходе к «Судье» воплощалось все то, что я не принимал в ней. В 1918 году мы провели часть лета в пансионе в Мейденхеде, и однажды, гуляя по городу, она увидела судью, который направлялся на выездную сессию суда присяжных. Он шествовал со старомодной величественностью, а перед ним шли судейские чиновники. Ребекка сразу его невзлюбила.

Из этой встречи родилась книга, в которой обесчещенной, доведенной до нищеты женщине, той же, что была так превосходно нарисована в «Возвращении солдата», предстояло играть главную роль. (Ее прототипом была хозяйка комнат, что мы держали за собой в Пимлико, к которой мы с ней были очень привязаны.) Есть старая сплетня про некоего английского судью, который умер от апоплексического удара в борделе, и Ребекка вдруг представила, как тот напыщенный судья, с которым она повстречалась утром, инкогнито выскользнул на улицу поздним вечером после чересчур обильного ужина и подцепил нашу женщину — десять, не то двенадцать лет назад он приговорил к

смерти ее любимого мужа. Она сразу его узнает, а он понятия не имеет, что ему уготовано в ее жилище. Когда в предвкушении удовольствия он раскинулся на ее кровати, она решает его убить. Она приносит хлебный нож, и в эту минуту судья вдруг поворачивается и смотрит на нее, видит у нее в руке нож, а в глазах намерение его убить и умирает от разрыва сердца. Такова была поначалу эта история. Но сперва Ребекка осознала, что необходимо дать читателю понять, что преступление, за которое осудили мужа этой женщины, было трагической необходимостью, вызывающей сочувствие, а кроме того, что женщина, должно быть, всем сердцем любила мужа. Книга Ребекки начинается весьма необдуманно, еще до того, как будущие муж и жена познакомились. И вся огромная книга, полная замечательно написанных и замечательно читающихся страниц, — в сущности, попытка Ребекки пробиться сквозь насыщенные парами ее неисчерпаемой фантазии джунгли от девичества в Эдинбурге и отрочества в Рио до «Судьи». До судьи она так и не добралась. В конце этой массы написанного, причем написанного очень неровно, однако сплошь и рядом великолепно, она дошла всего лишь до убийства, и на том завершила книгу, сохранив название «Судья» — по той причине, что издатели уже два года сообщали о ее предстоящем выходе.

Три года я твердил ей «Построй, построй все загодя», и наконец она яростно накинулась на меня и обозвала меня «занудным учителишкой».

Она пишет как в тумане, возводит обширное, замысловатое здание, едва ли представляя, какую форму оно в конце концов обретет, тогда как я пишу, чтобы заполнить остов своих замыслов. Как писатели мы были вредны друг другу. Она бродила в зарослях, а я всегда держался поближе к тропе, ведущей к Мировому государству. Она не скупилась на краски, она превозносила Джеймса Джойса{384} и Д.-Г. Лоуренса{385}, словно бросая вызов мне, Джейн и всему упорядоченному, рассудительному и продуманному. А я писал с нарочитым равнодушием ко всяческим украшениям, не употреблял самобытных выражений, если можно было обойтись расхожими, представал в ту пору более чем когда-либо журналистом. На мой взгляд, экскурсы Ребекки в литературно-художественную критику, такие как «Странная необходимость», претенциозны и несерьезны, а на ее взгляд — любовные линии в моих последних романах неисправимо умозрительны и неглубоки. Я думаю, в наших суждениях друг о друге мы не вовсе неправы. Любовная линия в моих романах существует, безусловно, не ради нее самой, но как иллюстрация того или иного умозаключения. И обычно

моим романам недостает психологической тонкости.

Мы постепенно отдалялись друг от друга, и мне было горше потерять ее, чем ей избавиться от меня. Одно время мы враждовали и выходили из себя — оба мы импульсивны и несдержанны в выражении чувств, — но этому противостояли крепкая взаимная привязанность, правда, с моей стороны, мне кажется, она была крепче, и привычки, сложившиеся за годы близости.

Рассказывать, как после войны мы разрывали связывавшие нас нити, — скучное занятие. Не будь у нас сына Энтони, мы расстались бы раньше. В 1916 году я на свой страх и риск отправился на французский и итальянский фронты («Война на трех фронтах»), а в 1920 году поехал в Россию («Россия во мгле»). После этих разлук я вернулся слегка изменившимся, и в России что-то произошло с моим творческим воображением, с чего позднее мне еще предстояло собрать богатый урожай. Я все еще больше Ребекки хотел продолжать нашу связь, ведь моим потребностям она, несомненно, отвечала куда больше, чем я ее. В нашем ближайшем окружении я не видел никого, кто так бы меня привлекал и мог бы составить мне такую хорошую компанию. Мы расстались с Пимлико. Ребекка приехала из Ли-он-Си и поселилась в Лондоне, в Кенсингтоне. Я часто хаживал туда из своей квартиры на Уайтхолл-Корт и проводил там долгие сладостные часы среди дня и по вечерам. Мы устраивали себе дни отдыха и отправлялись на загородные автомобильные прогулки по большей части на юг и на запад, а вскоре поехали вместе за границу. Мы долго прожили вместе на юге Италии, в Амальфи, в 1920 году и вернулись, побывав прежде вместе в Риме. В 1921 году я отправился в Америку писать о Вашингтонской конференции, а оттуда, не возвращаясь в Англию, поехал в Испанию. Ребекка присоединилась ко мне в Алхесирасе, и мы провели там три месяца и посетили Севилью, Гранаду и Мадрид. В январе 1923 года мы были в Париже. Все это время Ребекка негодовала из-за того, какие узы нас связывают, требовала, чтобы мы или поженились, или расстались, а я держался за нее. Мне следовало ее отпустить. От наших отношений я получал куда больше, чем она; но у меня не было никого, кто мог бы занять ее место, а она и любила меня, и возмущалась мной, и у нее не было никого, кто мог бы занять мое место.

В дневничке для записи предстоящих мне встреч 20 июня 1923 года была сделана единственная сохранившаяся у меня запись, что касалась странной небольшой интерлюдии, которая, как ни удивительно, на время теснее сблизила нас с Ребеккой. Однажды в апреле не то в мае хрупкая и очень хорошенькая

женщина с лицом Моны Лизы приехала из Вены в Лондон и настоятельно просила о встрече со мной, хотела рассказать мне об ужасном положении, в котором находилась тогда Австрия. Меня заинтересовало ее письмо, и она пришла к нам с Джейн в Уайтхолл-Корт на чай. Она поведала нам о множестве тревожных событий, которые происходят в Вене и касаются образованного сословия и людей интеллигентного труда, и попросила разрешения перевести на немецкий мою книгу о Сандерсоне, директоре Оундлской школы. Ее отец был, кажется, страстно увлеченный своим делом педагог; книга же моя немецких издателей не слишком заинтересовала, и я дал ей временное разрешение провести подобный опыт. Это послужило ей поводом приехать снова, чтобы попросить меня прояснить различные аллюзии. Ее следующий приезд пришелся на день, когда Джейн была в Истоне. От разумной оценки моих взглядов на образование она довольно неожиданно и ловко перешла к страстным признаниям. Мне всегда была не по душе роль Иосифа; испытывать стыд, оттого что ведешь себя свободно, казалось мне пошлым и недостойным; к тому же я терпеть не могу относиться с пренебреженьем к отчаявшейся изгнаннице, а она была еще и на редкость аппетитная молоденькая женщина. После происшедшего ей было отведено в моей жизни место весьма неудобной маленькой тайны. Она стремилась ко мне, докучала мне любовными письмами и твердила о необоримой страсти. Она обострила мои чувства, и я при всяком удобном случае утолял ее страдания — и всякий раз клялся, что ничего подобного больше не будет. Субботу и воскресенье она проводила в Фелстеде близ Истона и однажды попросила меня приехать днем на автомобиле, чтобы познакомиться с ее хозяевами, учителем и его женой, которых отрекомендовала как истинных поклонников моего творчества. Я приехал, и оказалось, их и след простыл, а ее оставили присмотреть за домом до их возвращения. Она присматривала в нарядном платье для неофициальных приемов, под которым едва ли было что-нибудь еще.

«Этому надо положить конец», — сказал я, позволяя увлечь себя вверх по лестнице.

Она очень неохотно возвратилась в Австрию. Я переписывался с ней по поводу переводов, и вдруг ей взбрело на ум, что она вела себя недостаточно решительно, что ее роман со мной мог бы стать куда значительней и развиваться совсем на другом уровне.

Она внезапно опять объявилась в Лондоне.

«Я вернулась», — сообщила она мне по телефону.

Но к тому времени я уже понимал, что по отношению к

Ребекке вел себя предательски, — прежде я оправдывал себя тем, что Ребекка принялась было флиртовать с Синклером Льюисом{386}, — и решил прервать наши отношения. Я отказался с ней увидеться и, так как у нее была привычка нет-нет да нагрянуть в Уайтхолл-Корт, распорядился, чтобы горничная ее не впускала. Обороняясь от нее таким образом, я чувствовал себя нелепо, но делать было нечего.

Однажды вечером, одеваясь, чтобы ехать на обед, я услышал, что кто-то входит ко мне в кабинет. Она заявилась к нам домой, и, как на грех, горничную, что обычно отворяла дверь, заменяла другая девушка, которая и впустила ее. Я вошел к себе в кабинет, уже одетый к обеду, и увидел на каминном коврике сию молодую даму. Она распахнула плащ и предстала передо мной обнаженной, на ней только и было что туфли да чулки.

«Люби меня, не то покончу с собой, — заявила она. — У меня есть яд. И бритва».

Я понял, что загнан в угол. Она намерена устроить чудовищную сцену. Так что же, попытаться отобрать у нее яд и бритву? А если ненароком ее раню? Да, чем меньше произойдет без свидетелей, тем лучше для меня.

Я широко распахнул дверь, позвал горничную и велел ей позвонить вниз швейцару, который был человеком весьма разумным и заслуживал доверия. Пришлось кричать ей через весь коридор — я не хотел оставлять незваную гостью у себя в комнате одну. Но едва я повернулся к ней спиной, она выхватила старую бритву и до того, как я осознал это и кинулся к ней, успела полоснуть бритвой по запястьям и под мышками. Я вырвал у нее бритву и усадил на стул, кровь лилась вовсю, и, удостоверившись, что яда не видать, пошел за холодной водой, чтобы остановить кровотечение.

«Дайте мне умереть, — вновь и вновь повторяла она так громко, что можно было не тревожиться из-за ее ран. — Я люблю его. Люблю его».

Швейцар появился поразительно быстро, и по тому, как умело он себя повел, вполне можно было предположить, что ему не впервой иметь дело с психически больными. Он вызвал двух полицейских. Все трое отнеслись ко мне печально-сочувственно, словно романтически настроенные молодые особы с бритвой — неприятность столь же обыденная, как инфлюэнца, и в два счета препроводили ее в Черинг-Кросскую больницу, а она все твердила, что ее страсть ко мне неизлечима.

Я вернулся в свой кабинет. Ковер выглядел так, будто тут было совершено три самоубийства. Сорочка и манжеты были в крови. Я посмотрел на часы, и оказалось, что обед с Монтегю,

министром иностранных дел по делам Индии, начался уже три четверти часа назад. Я позвонил, извинился и сел, чтобы обдумать, что мне предстоит дальше.

Если эта история докатится до кого-нибудь в полиции или в прессе, кому я не по нраву, она будет предана весьма неприятной для меня огласке. Но столь же вероятно, что полиция и пресса поведут себя по-дружески. Я попал в такой переплет, когда замешательство или утечка информации могут привести к катастрофе.

Пресса и полиция повели себя с пониманием. Я посоветовался со своим другом лордом Бивербруком{387}, и совместно с лордом Ротермиром{388} они отдали распоряжение всем подвластным им газетам, чтобы в ближайшие две недели «о Герберте Уэллсе не печатали никаких сообщений». Репортеры постоянно наведываются во все лондонские больницы, и кое-кто кинулся в редакцию в нелепой надежде опубликовать сенсацию. Но никаких заголовков вроде «Трагическое происшествие в квартире знаменитого писателя» на следующий день не появилось, а после публикаций в «Вестминстер-газетт», в «Стар» и в иностранной прессе публика и думать забыла об этом случае. Люди протерли глаза и решили, что никаких таких сообщений и видеть не видели.

Полицейские повели себя с разумным бесстрастием. Они предупредили больничную администрацию, что к этой пациентке репортеров допускать не следует, кое-кого допросили и, прихватив с собой все свидетельские показания, явились ко мне. (У меня к тому же была интересная беседа с леди Астор{389}, которая, по своему обыкновению, вела собственное расследование. Ибо, несмотря на то, что многие относились к ней весьма скептически, она многие годы была — как бы это сказать? — блюстительницей лондонских нравов.) Как я узнал, за несколько лет до этой истории сия молодая особа уже попыталась совершить самоубийство в апартаментах британского атташе в Вене. Таков был стереотип ее поведения. Где-то, быть может в госпитале, она научилась перерезать вены без риска умереть. Это лишило всю историю романтического ореола, зато дало возможность куда легче с ней управиться. Полиция предупредила ее, что ей грозит судебное преследование за попытку совершить самоубийство, но они предпочитают, чтобы она покинула Англию. В Англии у нее не было ни родственников, ни друзей, и мне пришлось взять на себя роль ее «лучшего друга» — поручиться, что она будет вести себя должным образом, и гарантировать, что она вернется в Вену. И еще нам пришлось купить новый ковер для моего кабинета.

Ее любви как не бывало, и сама она больше не давала о себе знать, но мне говорили, что она вышла замуж и все у нее в порядке.

У меня записано (июль 1937 г.), что в день моего семидесятилетия я получил от нее милое письмо. Она замужем, счастлива в браке и живет в Англии. После этого мы однажды встретились с ней и с ее мужем, и я дал ей какой-то толковый совет касательно издания одного из ее романов.

Этот эпизод был бы тут неуместен, не бросай он дополнительный свет на мои отношения с Ребеккой в 1923 году.

Помню, наутро после той сцены самоубийства у меня в квартире, когда нашим отношениям грозила нешуточная опасность, мы с ней сидели в Кенсингтон-Гарденс. (Мне стало известно, что та молодая особа накануне побывала у Ребекки в качестве поклонницы ее таланта и, возможно, репортера — полагаю, она намеревалась образовать треугольник.) Помню это, поскольку для нас обоих то был хороший день. Так часто мы нападали друг на друга, осыпали друг друга несправедливыми обвинениями и нелепыми упреками, что день, когда мы сидели и спокойно и разумно беседовали, был чрезвычайно важен для моих воспоминаний. Мы заткнули рты репортерам и избежали беспардонных расспросов; мы отобедали вдвоем у всех на виду в ресторане Айви, и наши отношения какими были, такими и остались. Так что те, кто прослышал про эту историю, сочли за благо с нами о ней не заговаривать.

Наши отношения с Ребеккой продолжались и летом. По дороге в Тополкани, в Словению, на встречу с президентом Масариком{390} я заехал в Мариенбад, где она лечилась, и провел с ней часть июля, а большую часть сентября мы прожили в Суонджи с нашим сыном и его няней. Мы, кажется, совершили несколько экскурсий на Юго-Запад и в Уэльс. Как обычно, живой интерес друг к другу сменялся влечением, а там и неладами. Между нами то вспыхивала страсть, то начинались взаимные оскорбления; мы были несовместимы по самой своей сути.

Решительный шаг к разрыву сделала Ребекка. Она подписала контракт, обязывающий ее отправиться в октябре 1923 года с лекциями в Америку, и мы попрощались, имея твердое намерение расстаться. В Америке она обзавелась новоиспеченными друзьями и новыми знакомыми; у нее там было множество всяких приключений, и она научилась полагаться только на себя. Без нее жизнь в Лондоне показалась мне пресной, а разные приключения нисколько меня не утешали. Мелкие измены мне не по вкусу; подругу — вот кого я всегда искал. Джейн хотела поехать с мальчиками в Альпы, чтобы заняться зимним спортом, а для моих

легких горный воздух уже не подходил. Зимой я отправился наслаждаться солнцем в Эшториле поблизости от Лиссабона, и оказалось, в соседнем отеле остановилось семейство Голсуорси. Я завязал близкие отношения с очень приятной рыжеволосой вдовушкой, — она приехала с деверем, чтобы проследить за установкой памятника мужу, который год назад внезапно скончался в Лиссабоне. Мы с ней совершали далекие прогулки, играли в теннис с Голсуорси, вскоре стали устраивать совместные званые обеды и ужины и занимались любовью. Она воспитывалась в доме приходского священника и вышла замуж девятнадцати лет за типичного военного много старше ее. Лето они проводили в Англии, посещая бега, а зимы — на Ривьере, за карточным столом, скромно, но неизменно. Так что мы жили в совсем разных мирах, и нам явно было о чем поговорить. Мы расстались в апреле в Сен-Жан-де-Люз и с тех пор были поистине добрыми друзьями. Она из тех женщин, которые живут тихо-мирно и в попытках увеличить свои средства пускают их на ветер, обзаводясь прелестными и вовсе ненадежными мебельными лавками, магазинчиками дамских шляп и т. п., и она по-прежнему очень веселая и обходительная дама. Мы вместе обедаем — примерно раз в год.

В апреле на возвратном пути из Эшторила я встретился в Париже с Джейн, мы провели там неделю, и я вернулся в Англию.

Не надо мне было ездить в Лиссабон. Не надо было возвращаться в Англию. В 1920 году, в России, я влюбился по уши, неподдельно, как никогда прежде. И в 1923 году едва я порвал с Ребеккой, надо было добиваться этой женщины. Когда буду рассказывать об этом романе подробно, я попытаюсь пояснить, почему я этого не сделал.

Той весной и Ребекка и я вновь оказались в Лондоне. Мы оба остро ощущали присутствие друг друга и, осаждаемые воспоминаниями, были мрачны и раздражены. Я встречался со своей вдовушкой и еще с одной-двумя дамами; интересы мои были распылены, и я был сильно недоволен собой. Мне нужна была Ребекка, очень нужна — на одних условиях, и ей тоже еще нужен был я — на других условиях. У обоих условия значительно изменились. Обоим разрыв давался нелегко. Вокруг было полно мужчин, но разговаривать с ними как со мной она не могла, и полно женщин, которые выступали в чересчур незатейливой роли и быстро мне приедались. Раз-другой мы с ней увиделись, а потом она уехала в Австрию с нашим сыном Энтони и несколькими друзьями. Я почувствовал, что Англия надрывает мне сердце, и решил один отправиться вокруг света. Лучше бы мне поехать в Неаполь, где в качестве секретаря Максима

Горького жила моя русская приятельница Мура Будберг, и снова на нее глянуть, но в 1921 году она покинула Россию; вышла замуж за балтийского барона Будберга, потом разошлась с ним, и я подумал: должно быть, она любовница Горького. Мне казалось, вряд ли от нашей вспышки страсти в 1920 году так уж много осталось. Но мы переписывались — «Дорогая Мура», «Дорогой Герберт». Время от времени обменивались ничего не значащими сдержанными письмами. Похоже, ни она, ни я не знали истинную цену и прочность того, что произошло. Мы не были уверены, произойдет ли между нами что-то еще, и все же не могли полностью оставить друг друга в покое.

В Женеве я пережил странное душевное состояние. Хотя я был, безусловно, очень занят и встречался с великим множеством самого разного народу — посещал законодательное собрание, присутствовал на званых обедах и ужинах, устраивал приемы, катал по озеру на моторной лодке мою приятельницу миссис Том Ламонт, ужинал во Франции с Джорджем Мэйром или на Сале в с той или иной небольшой компанией, — в глубине души я был невероятно несчастен и совершенно одержим мыслями о Ребекке. В ту пору чувства мои были слишком обострены, где уж мне было разбираться, что со мной происходит. Теперь же я понимаю, что Ребекка стала для меня воплощением Призрака Возлюбленной, и я попросту не мог ни представить себе Возлюбленную в каком-то ином воплощении, ни существовать без нее. Она стала мерещиться мне на балконах, напротив ресторанов. В каждой темноволосой женщине мне виделась Ребекка. Я чувствовал: надо любой ценой вернуть ее и вернуться к ней. Я послал ей в Австрию телеграмму, предлагал втроем провести зиму в Монпелье, с ней и с Энтони, сделать еще одну попытку зажить совместной жизнью. Но теперь Ребекка бунтовала, была непреклонна. Нашему воссоединению препятствовало не только то, что мне было известно, и она прислала телеграмму с отказом. И чуть ли не в ту же минуту зазвонил телефон, и я услышал напряженный голос.

«Кто говорит?» — спросил я.

«Одетта… Одетта Кюн. Я столько раз вам писала».

«Что же вы хотите?»

«Я приехала издалека, из Граса, чтобы увидеть вас. Я хочу, чтобы вы пришли ко мне в гостиницу».

Я задумался. И после недолгого молчания сказал:

«Я приду».

Как я пошел к ней и что из этого вышло, расскажу в следующей главе. Этот телефонный звонок обозначил начало приключения столь яркого и увлекательного, что оно избавило меня от одержимости Ребеккой. Тогда сердце мое словно только

что народилось и было готово к новому союзу, жаждало его. И я совсем не знал, что Мура, которую я любил в 1920 году и обречен был полюбить снова, находилась в Вене, исполненная готовности и желания вновь со мной увидеться. Чтобы ее обрести, только и надо было, что пересечь Швейцарию и явиться к ней. Ну что бы мне знать! Мимолетное впечатление о ней того самого времени можно получить из шестой главы книги Брюса Локкарта{391} «Отказ от славы». Но должны были пройти пять тревожных лет, прежде чем мне суждено было снова ее увидеть, снова ощутить то особое очарование, которое таилось в ней для меня. Она ворошила пепел их давней любви, о которой Локкарт весьма откровенно рассказал в своих «Воспоминаниях британского агента», и не нашла в нем ни единой живой искры.

Но я не могу закончить эту посвященную Ребекке главу, не сказав хотя бы несколько слов о ее особом складе ума, благодаря которому в лучшие ее дни отношения с ней делались такими теплыми, живыми, как ни с кем другим, поистине невозместимыми. Она наполняла наш с ней мир фантазиями и прозвищами. Вообразила, например, себя хозяйкой трактира, а мне отвела место на козлах брички. В иные дни нам казалось: эта бричка вот-вот материализуется. Или мы превращались в диковинных и грустных зверушек, пушистых Коше мишек. Или она представала в виде причудливого гибрида из себя самой, Эммы Голдмен и Вайолет Хант; она читала лекции на темы весьма изысканные и допускала ошеломляюще грубые промахи и в этом воплощенье называлась — не помню, почему — «Легендарная пантера». От имени Легендарной пантеры мы сочиняли длинные пассажи — лекции и беседы, в которых она устремлялась от фразы к фразе, тщетно пытаясь совладать с иносказаниями и непостижимыми аллюзиями, к неминуемо ошеломительному завершению. Ее речь неизбежно оказывалась так же неудобоварима, как пьеса мастеровых из «Сна в летнюю ночь». На званых обедах Легендарную пантеру неудержимо влекло к епископам. Она устремлялась к ним, выгнув спину круче арок римского акведука. На что-то весьма своеобразно им намекала, но всегда безуспешно. Она шла по жизни увлеченно, с размахом. Она была замечательная выдумщица. Но, увы, ни одна ее выдумка так и не была запечатлена на бумаге. Большая часть того, что было так забавно и интересно, навсегда потеряно.

Кроме наших фантазий — об их характере можно получить кое-какое представление по ее прелестной книжке «Гарриет Хьюм» — у нее бывали причудливые вспышки диковинного, неподражаемого остроумия. Расскажу здесь только о двух таких вспышках.

Кто-то сказал, что Сесил Честертон, у которого лицо было грязно-серое, на самом деле чистюля. Это вовсе не грязь, а плохой цвет лица. Когда он искупался в Ле-Туке и вышел из воды все такой же землисто-синий, Ребекка спросила:

«А в Ла-Манш-то вы погляделись?»

Роберт Линд был угрюмый, унылый ирландец, обладал дурным нравом и жалобным голосом. Его жена Сильвия заразилась кельтской печалью, да и здоровьем не могла похвастаться.

«А все оттого, что спит с потным мужем», — сказала Ребекка.

6. Психологический и родительский

В «Постскриптуме» речь идет не об основной истории моей жизни. Это рассказ об одной ее существенной стороне, которую не следовало раскрывать читателю в «Опыте автобиографии». Будем помнить, что «Постскриптум» лишь приложение к «Автобиографии». В «Автобиографии» освещены все основные линии моего развития, кроме одной, о которой я умолчал; она касается Призрака Возлюбленной, что поддерживал мою *персону*, а после 1900 года совершенно исчез со страниц книги. Невнимательному читателю оставалось предположить — его чуть ли не побуждали к этому, — что преданности и любви Джейн и моего собственного высокого мнения о себе было довольно, чтобы поддержать во мне душевное и творческое равновесие. Более вдумчивый читатель улавливал в случайных намеках и признаниях, в проблесках света, позволявших ему читать между строк, кое-что о любовных историях, которые были не просто отдыхом и развлечением, но творческими экскурсами и попытками возродиться. «Постскриптум» с его теорией Призрака Возлюбленной раскрывает всю эту исключенную из «Автобиографии» сторону моего существования.

Психологически и физически человек составляет единое целое — я, во всяком случае, устроен именно так, — и у всех моих «романов» есть одно общее свойство: они все — попытки или, по крайней мере, на иных стадиях были попытками, воплотить и увидеть наяву, в том или ином создании, Призрак Возлюбленной. Отнюдь не каждый, подобно мне, склонен видеть Призрак Возлюбленной воплощенным наяву, и отнюдь не для каждого Призрак Возлюбленной так тесно связан с сексуальными отношениями, как для меня. Поскольку для меня зов тела не менее важен, чем зов души, все мои влюбленности требовали физического выражения; и поскольку я безусловный гетеросексуалист, я никогда не знал ни любви, ни интимной

дружбы с мужчиной; любовные отношения меня всегда связывали только с женщинами. В моем окружении сколько угодно дружески расположенных ко мне мужчин, приятелей и единомышленников, но ни один никогда не стал по-настоящему необходим мне, ни один не оказался незаменимым, как бывало с воплощением Призрака Возлюбленной. Потеря ни одного из них не могла выбить у меня почву из-под ног.

Не думаю, что в отношении к Призраку Возлюбленной (Возлюбленного) между мужчиной и женщиной есть какая-то разница, кроме степени и меры одержимости. Вероятно, пока я пытался превратить Джейн, а впоследствии — с оговорками — Эмбер или Ребекку в воплощение моего Призрака Возлюбленной, каждая из них, в свою очередь, пыталась превратить меня в воплощение своего Призрака Возлюбленного — с той степенью эготизма, какой ей был свойствен. Мое долгое сражение с Ребеккой было конечно же стремлением двух чрезвычайно своевольных людей заставить друг друга принять условия неподходящего Призрака Возлюбленной (Возлюбленного). Наши телеграммы из Австрии и Женевы положили конец всем надеждам на дальнейшую близость между нами. Мы переписывались и иногда встречались, если того требовали дела нашего сына, но неизменно ощущали при этом слабый привкус раздражения. Когда Ребекка написала свою худшую книгу «Странная необходимость», в письме к ней я отозвался о книге весьма неодобрительно. Ради ее блага, разумеется. Но лучше бы я похвалил книгу или вовсе ничего не написал. По стилю мы с ней словно из разных миров.

В 1931 году (если не ошибаюсь) она однажды пожелала, чтобы я пригласил ее на чай. Мы оба держались непринужденно и дружески, разговаривали о работе нашего сына, а потом она сказала, что выходит замуж. По-моему, она поступила по-сестрински — пришла и рассказала о предстоящем замужестве, — и я стал относиться к ней теплее. Она вышла замуж, и вышла счастливо, и они с мужем сняли квартиру в Орчард-Корт, в другом конце Бейкер-стрит, ближе к Чилтерн-Корт. Ее муж — преуспевающий коммерсант; он безмерно восхищается ею; и с ним она живет, не зная вечных разногласий, вызванных несовпадением душевного склада и противоборством литературных амбиций. Мы относимся друг к другу чем дальше, тем мягче.

Меж тем наш сын повзрослел и стал верным другом и мне, и своим сводным братьям и сестре. Я никогда не видел ни у кого из них ни малейшего намека на ревность из-за различий в их правовом статусе. У этих четырех новых индивидуальностей

развились собственные таланты и свойства, и должен с удовлетворением заметить: в этот трудный период истории человечества они живут достойно. Но я не стану следовать за ними и включать их в мою автобиографию. Они много значат для меня, для ощущения дружелюбия, интереса к жизни, для счастья, но они не играют существенной роли во внутренней жизни моего «я». Они строят свои собственные отношения, а я — свои, на старый лад. В наши дни мы в глубине души еще гордимся сыновьями и дочерьми, они отчасти воплощение нашей *персоны*, но не имеют никакого отношения к Призраку Возлюбленной — во всяком случае, не в большей мере, чем ближайшие друзья и знакомые. Иной раз они заговорят, не без смущенья, о моей работе или о том, чем заняты сами, и я, в свою очередь, с еще большим смущеньем что-нибудь посоветую или о чем-то отзовусь неодобрительно. Соблюдая все правила этикета. Мне довелось сотрудничать с обоими Уэллсами — с Дж.-Ф. в «Науке жизни», а с Ф.-Р. в создании фильмов, — но при совместной работе мы никак не ущемляли друг друга и были так же корректны, как бывает при сотрудничестве людей схожих, но не состоящих в родстве. Эта потребность сохранять дистанцию возникала не столько преднамеренно, сколько по естественной склонности натуры. Как и быть должно, я конечно же был взволнован, когда родился мой первый сын; а в «Страстных друзьях» (1913), когда Джипу, моему старшему, было двенадцать или тринадцать, поймал себя на том, что рассуждаю об отцовстве и сыновстве. Так сложилось, что мы образовали взаимно преданное, готовое помочь друг другу сообщество, и обе мои невестки присоединились к нам всей душой. Марджори Крейг, которая до того, как вышла замуж за моего сына Джипа, была, и остается до сих пор, одной из двух моих секретарш, стала, так сказать, нашим деловым центром. Все мы доверяем друг другу и полагаемся друг на друга. Но нас объединил свободный выбор, предпочтенье и интерес, а не родство. В «Постскриптуме» же я пишу о психологическом взаимопроникновении и поддержке друг друга *персонами* и Призраками Возлюбленной. В отношениях с сыновьями и невестками ни о чем подобном не могло быть и речи, не то возникло бы ощущение неловкости, будто мы участвуем в некоем кровосмесительстве.

Быть может, в прошлом семейные узы были психологически более глубокими и разнообразными; но интеллектуальная атмосфера, в которой выросли мои дети, оказалась, должно быть, чрезвычайно современна, несомненно враждебна эмоциональным узам, пронизана вполне определенными мыслями о Мировом социалистическом сообществе и ссылками на него. Мы не хотим,

чтобы в наших отношениях главенствовали чувства, не хотим быть ничем связаны. В моей семье это другая сторона той свойственной мне от природы клаустрофобии, о которой я говорил в «Автобиографии». Нам отвратительно, когда люди сбиваются в стаи. Я всегда был склонен презирать тех, кто сбивается в семьи, компании, кланы и нации. Именно это свойство я более всего не приемлю в евреях. И в шотландцах. И в провинциальных французах. Когда я говорю, что эта свойственная человечеству склонность жить в стае у англичан развита, можно сказать, далеко не так сильно, это, вероятно, равноценно утверждению, что сыворотка, добытая из самой болезни, способствует невосприимчивости к ней. Я полагаю, что мировой социализм означает более дерзновенный и более бесстрашный индивидуализм, мужество продвигаться вперед на свой манер. Этой попыткой определить и проанализировать роль Призрака Возлюбленной в моей жизни я прокладываю собственный путь к свободе; и любопытно, что заключение, к которому приводит опыт сексуальных отношений, совершенно неожиданно оказывается справедливым и для отношений с детьми.

7. Вопиющая перемена в Одетте Кюн

Вероятно, мне следует писать об Одетте Кюн возмущенно и неприязненно, как о Дурной женщине. С определенных точек зрения, она была совершенно несносная, пренеприятная особа: тщеславная, шумливая и вызывающе слабовольная. Но я знаю о ней и кое-что хорошее, о чем другим людям узнать трудно: в ее характер безусловно вплетена нить несчастливости и самоистязания — и это само по себе умеряет мою неприязнь. А еще была в ней искаженная, но невероятная нежность. Одетта волновала меня, и смешила, и, несмотря на все свои судорожные попытки уязвить меня, ни разу в этом не преуспела. Временами ей хотелось это сделать экстравагантно, однако она неизменно промахивалась. Я перебираю в уме свои воспоминания о ней и понимаю, что, если бы не угрызения совести из-за того, что она так жалка, она, без сомнения, была бы самой забавной из всех моих забав. Будь в ней заряд энергии, рождающей тот глубинный смех, что способствует слиянию душ, сегодня я, возможно, жил бы с ней.

Но непреодолимый барьер ограждал ее от ее собственного чувства юмора. Она была чудовищно тщеславна. Ей невыносима была самая мысль, что она смешна. Невыносимо было думать, что над ней могут смеяться. И что бы она ни натворила, она твердо стояла на своем. Самые дикие ее выходки следовало принимать

всерьез, принимать в почтительном молчании, как существенную часть ее неповторимой личности. Она желала, чтобы ее представляли благородной, великолепной, поразительной, хитроумной, всемогущей и самой главной Одеттой Кюн — и добивалась этого таким гнусным образом, что даже ее четвероногие любимцы возненавидели ее и сбежали из дому. Она конечно же была не в своем уме; стоило задеть ее тщеславие — и она приходила в неистовство и жестоко мстила. По-моему, время от времени она становилась невменяемой не фигурально, а по-настоящему. Я чего только не делал для нее, хотя, как я понимаю, делал весьма неуклюже. Я несомненно обманывал ее, когда молча соглашался с ее утверждением, будто мы возлюбленные, и если кто и мог ее спасти от грозящего ей полного одиночества, так конечно же я. Но злое начало в ней набирало силу, и терпеть дальше я был не в состоянии. Я понял, что люблю Муру, о которой скоро расскажу, и оттого все становилось еще труднее.

Одетта была дочерью главного толмача голландской миссии в Константинополе и, что очень на нее похоже, всегда говорила, будто выросла не в миссии, а в посольстве. Ее отец, как она мне рассказывала, был тоже донельзя тщеславен и горяч. Безумно чадолюбивый, он наплодил немало незаконнорожденных детей. Его снедало недовольство из-за того, что его не продвигали на голландскую дипломатическую службу, и в конце концов на каком-то банкете он пришел в неистовство — разразился угрозами, стал бахвалиться, и, совершенно обезумевшего, его унесли умирать.

Мать Одетты была итальянка, вдова и стала второй женой Кюна. У нее тоже был буйный нрав. Домашнее хозяйство вели главным образом греческие слуги, и у Одетты были еще единокровный брат, единокровная сестра, незаконнорожденная единокровная сестра, которую удочерили, и две младшие сестры. Она выросла в атмосфере криков, взаимных упреков и побоев. За стенами большого сада раскинулся Константинополь Абдулы Хамида, город бродячих собак, грязных опасных улиц и вечного стремления устроить армянскую резню.

В ту пору англичане основали в Константинополе школу для девочек, во главе которой стояла некая мисс Грин, и туда приходили девочки из всех посольств, миссий, дети преуспевающих купцов, экспедиторов и всякого рода левантинцев. Мисс Грин оказалась весьма энергичной наставницей; Одетта была остроумна и считалась одной из самых блестящих ее учениц, к тому же она превосходно изучила английский и французский, научилась у слуг современному греческому, и у нее был запас сочных разговорных выражений,

неплохо знала немецкий и немного итальянский и турецкий. В школе, как и во всем Константинополе, попахивало межнациональным соперничеством и снобизмом. Одетта, которой пренебрегали и холодно высокомерные англичанки, и вызывающе высокомерные немки, нашла отмщение в школьных занятиях. При отличной памяти она с жадностью поглощала великое множество книг. После того как Кюн умер, оставив своему семейству весьма скудные средства, мисс Грин держала трех его дочерей в школе за символическую плату, но настоятельно и постоянно требовала от них не оговоренной заранее помощи, что жестоко возмущало Одетту.

Ни разу в жизни ей не выпал случай обрести хоть какую-то устойчивость. И она стала чувствовать себя увереннее только благодаря довольно суровой привязанности мисс Грин. Одетта отвечала на нее порывисто и пылко. К тому же у нее прорезалась ворчливая, покровительственная привязанность к младшим сестрам. Но бедность, вечная униженность из-за не удовлетворявшего ее положения в обществе и неблагоприятных условий существования, безумная жажда жить, радоваться и одерживать победы — это было уже слишком для ее неуравновешенной нервной системы. Она повела себя чудовищно. Речь шла не о сексуальной распущенности. Слишком ей было худо, не до занятий любовью. Она сбежала из дому, когда ей еще и двадцати не было, переправилась через Босфор и скиталась по Малой Азии. Ее водворили обратно, голландский консул ее выбранил, а она дала ему пощечину. У константинопольских девиц пощечина, похоже, считалась весьма мужественным и доблестным ответом на выговор. После всяческих обсуждений, приходов и уходов ее отправили в Голландию в монастырь урсулинок.

В монастыре она процветала. Впервые она долгое время жила упорядоченной жизнью. В школе мисс Грин она занималась вполне определенным делом, но тогда она приходила из своего дома, пребывающего в вечном возбуждении, и туда же возвращалась, а соученицы третировали ее и всячески донимали, и она всегда должна была быть готовой к отпору. До сих пор она была пресвитерианка, как ее отец, но благодаря упорядоченности, строгому покою и определенной мягкости уклада монастырской жизни у нее сложилось новое представление о христианстве и человеческих возможностях. Она упорно работала и сумела получить нечто вроде диплома, который удостоверил, что она прошла хорошее обучение. Да, это было обучение, но отнюдь не образование; никогда я не встречал никого, кто знал бы так много и был бы при этом так ограничен и необразован, как она. Она все

быстро усваивала, блестяще помнила и никогда не обобщала.

Я не знаю, что и в какой последовательности происходило в ее жизни в следующие несколько лет. Она рассказывала мне все по отдельности, и я никогда прежде не пытался выстроить все события по порядку. Все здесь рассказанное произошло с ней до 1914 года. Главное событие — ее обращение в католичество, после чего ее приняли в Дом доминиканских монахинь в Туре. Когда она вернулась из Голландии в Константинополь, все это уже было у нее на уме, но она была не вправе осуществить свое намерение, пока ей не исполнится двадцать один год. Жизнь, к которой она возвратилась, внушала ей отвращение. И она, и ее сестры были слишком бедны и не могли рассчитывать на хорошую, по левантинским понятиям, партию, и, хотя кровь в ней бурлила, она так была нетерпима, что и помыслить не могла о том, чтобы принадлежать любовнику. Похоже было, с младых ногтей ее тянуло писать; мисс Грин поощряла ее стремленье, и теперь она выпустила небольшой роман «Mesdemoiselles Daisne de Constantinople»[48] (1916). В нем пересказаны любовные истории ее сестер и, с невольной правдивостью, отражена та левантинская атмосфера низкопробных злонамеренных сплетен и бессовестных обвинений, в которой они жили. В нем совершенно очевидно стремление изобразить все в сатирическом духе, «разоблачить» вся и всех и, унижая и причиняя боль, ощутить могущество своего пера. Не могу судить, насколько это стремление Одетты было вызвано ядом, разлитым в атмосфере ее мирка, и в какой степени оно рождено ядом, разлитым у нее в крови. Тут могло сыграть роль одновременно и то и другое. Дух журналистики оскорбительных светских сплетен каким-то образом ухитрился приобщить к себе Одетту.

Во всех опубликованных сочинениях Одетты есть что-то ругательское, и к тому же, по собственной воле и по привычке, она стала сочинительницей бранных писем. Она источает оскорбительные письма и адресует их знакомым и незнакомым людям; это либо просто угрозы, либо всякие мерзости, либо близкие к истине домыслы; в сочинении этих писем она находит утешение, опору, сознание непререкаемости своих суждений, которого не может ей дать ничто другое. Она вовсе не «владеет слогом», как это называется у пишущей братии, и, однако, она прирожденный писатель. Вам не понять, что такое Одетта Кюн, если вы не представите, как сосредоточенно, не замечая ничего вокруг, она быстро и решительно строчит по бумаге, причем карандашом, — так скорее. И мигом на почту, пока какие-нибудь запоздалые соображения не потребовали дополнительных усилий.

Иногда я склонен поразмышлять о том, в какой мере мое

«самовыражение» отлично от чернильного рукотворчества Одетты. Я полагаю, разница в качестве, но, похоже, нами обоими движет одна и та же «странная необходимость», как назвала бы это Ребекка. «Бери перо и изложи все на бумаге», — стучит в голове и у нее, и у меня. Я могу представить ее потребность самосохранения, что заставляет ее взяться за перо и изложить все не так, как есть, но не могу представить, что за потребность самосохранения побуждает взяться за перо меня.

Итак, Одетта была писательницей уже тогда, когда решилась уйти в монастырь. Она провела там два года, после чего ее выставили. Матушка Церковь подозрительна и многоопытна; неумолимая в своем противостоянии вечно обновляющейся современности, она нуждается в послушных орудиях и простых душах, а Одетта так и осталась новообращенной, пока ее не отвергли.

Ей отвратительны все земные возлюбленные, заявила она и на время отдала свое сердце Небесному Возлюбленному, Христу. В нем воплотился ее Призрак Возлюбленного. Он, может быть, услышит ее. Может быть, поймет, может быть, даже ответит. Но некая реалистическая жилка в ней, или излишняя нетерпеливость, мешали ей превратиться в исступленную христианку. Ее не посещали видения. Ее стала одолевать ужасающая скука. Ничто не говорило о том, что любовь Христа к ней возрастает и хоть как-то даст о себе знать. Она стала ссориться с матерью настоятельницей из-за пустяков, связанных с распорядком дня и правилами поведения.

Ее душу стало разъедать «Сомнение». Она прочла что-то об Эволюции в Голландии, а своего исповедника заинтересовала множеством вопросов, на которые не находила ответа. Среди монахинь она выделялась смышленостью и была на редкость живым существом, он же был честолюбивым молодым человеком и находил, что борьба с ее недоумениями способствует его собственному развитию больше всех прочих его обязанностей.

Он боролся решительно. В их встречи вкрались разговоры о глубокой духовной дружбе. Одетта могла бы стать еще одной Святой Терезой и быть могущественной силой в Церкви. Однажды он поцеловал ее в лоб, а немного погодя — в губы. Тогда он пришел в смятенье и отправился к своему исповеднику, которому во всем признался.

Церковь куда больше нуждается в способных священниках, нежели в сомневающихся, неуравновешенных монахинях, и Одетту безжалостно и грубо вышвырнули. Она оказалась в Париже, и, кроме одежды, которую брала с собой в монастырь, у нее почти ничего и не было. Матушка Церковь очень ясно ей

показала, что ей наплевать (в данном случае слово вполне уместное) на заблудшее дитя, которое она на время приютила. Следуя установлениям ордена, Одетта два года не смотрелась в зеркало. Теперь она увидела себя в зеркале зала ожидания на вокзале и не узнала — так она расплылась и побледнела на монастырских хлебах.

В Париже она отыскала свою замужнюю сестру, но, как дальше развивались события, я в точности не знаю. Шла война, и, по-моему, она ухаживала за ранеными, не имея диплома медицинской сестры. Она опять принялась строчить письма и задумала потрясающий роман или «разоблачение» Католической Церкви. Каким-то образом она познакомилась с профессором Лилльского университета, социологом Бернаром Лавернем. Он принадлежал к хорошей состоятельной протестантской семье; оказалось, он читал ее первую книгу и пришел от нее в восторг. Он был женат, но предложил Одетте стать его любовницей. Она согласилась, и ее невинности, которую она сохраняла, вероятно, во вред себе, пришел конец. Не без труда.

Здесь я склонен сделать отступление, касающееся душевных и нравственных последствий затянувшейся девственности у людей творческих, с легко возбудимой нервной системой. Это одна из сторон сексуальной психологии, которую еще предстоит разработать (1934 г.). Как правило, затянувшаяся девственность вовсе не свидетельствует об аскетической непорочности. Сексуальное наслаждение ведет к глубокой сосредоточенности на себе самом — только не тогда, когда земля уплывает у тебя из-под ног. Непроявленная сексуальность развивается вне связи с общей жизнедеятельностью. Она не отвечает обычным требованиям тщеславия. Освобождение может прийти слишком поздно. Я полагаю, это объясняет многое из того, что озадачивает в жизни Бернарда Шоу и помогает понять Одетту Кюн. По существу, они онанисты. Со мной Одетта жила нормальной сексуальной жизнью, но иногда, если мы бывали в ссоре, или меня не было с ней рядом, или из-за одолевавших нас время от времени житейских треволнений, старые привычки уверенно утверждались в правах и в ней брало верх ее второе «я». Она заметно дурнела, у нее портился цвет лица. Она делалась на редкость самоуверенной, на редкость злопамятной и коварной, весьма тяготела к «разоблачительной» манере письма.

Лаверн немногого стоил как любовник. У него были дела в Алжире, связанные с войной, и он взял Одетту с собой. Она попыталась работать с арабскими женщинами в роли медицинской сестры, но ей мало что удалось. В конце концов она забеременела от Лаверня и сделала аборт. Она была не создана

для родов — слишком у нее был узкий таз. Потом она страстно влюбилась в одного французского офицера и ради него бросила Лаверня. Лаверн повел себя в высшей степени великодушно — уж очень ему полегчало, оттого что его роману пришел конец. Мужчины в гарнизонах влюбчивы, но французские офицеры-католики проводят четкую грань между любовницей и женой, и вскоре, найдя подходящее приданое, молодой офицер порвал с Одеттой и женился. Одетта разразилась романом, который должен был безжалостно выставить его на посмешище, а ее саму показать в самом лестном свете, «Une Femme Moderne»[49] (1919). Он был посвящен мне. «A H. G. Wells. Tu nous as imposé tes songes»[50], но у меня так никогда и недостало любопытства его прочесть. Это был второй выброс ее комплекса «безжалостного пера», как я бы его назвал.

После этого она вернулась в Париж, потом поехала в Рим, познакомилась с каким-то итальянцем, отправлявшимся в Грузию, и поехала в Тифлис. Отношения развивались бурно, неровно, и что-то из них она увековечила в своем любовном романе «Prince Tariel»[51], теперь запрещенном из-за пронизывающей его безудержной клеветы, которой он обязан ее комплексу «безжалостного пера». Когда Одетта была в Грузии, туда приближались большевики, и она оказалась среди множества таких же, как она, случайных личностей, которые возвращались в Константинополь на корабле для беженцев. Всем заправляли тогда англичане со свойственной им неуклюжестью; совершенно непонятно почему и вопреки ее мольбам вызвать кого-либо из тех, кого она знала в Константинополе, ее в числе многих других бедолаг отправили в Крым. Там ее сразу арестовали как английскую шпионку, которая пытается проникнуть в Россию в роли неблагонадежной депортированной личности. Прошло больше полугода, прежде чем ей удалось вырваться из тисков прощупывавшего ее ОГПУ, и она привезла с собой материал для своей, пожалуй, лучшей и самой занимательной книги «Sous Lénine»[52].

Как-то в 1923 году Мидлтон Мэрри{392} попросил меня написать рецензию на эту книгу, вышедшую в переводе на английский язык, для его журнала «Адельфи». Я отозвался о книге одобрительно, назвал автора Забавницей и получил от нее большое письмо. Я всегда был ее героем, писала она. Ей рассказывала обо мне мисс Грин, мой «Очерк истории» она возила с собой в Грузию; свою книгу она уже посвятила мне и надеется как-нибудь увидеть меня воочию. Последовали и еще письма, и, чем дальше, тем настойчивее в них звучали личные нотки; приключение с молодой австриячкой не вызывало у меня

никаких опасений, и я отвечал коротко, но приветливо. В английском переводе «Sous Lénine. Мои приключения в большевистской России» были клеветнические измышления, но я этого не заметил.

В пору, когда началась наша переписка, большая часть того, что я рассказал о ней, была мне, разумеется, совершенно не известна. Я только и знал, что она бывшая послушница доминиканского монастыря, которая пристрастилась к писательству и приключениям, побывала в Грузии и в России. Ее письма отлично меня развлекали, хотя и были чересчур многословны. Тогда она очень старалась вести себя по отношению ко мне наилучшим образом. В 1923 году она написала мне из Парижа длинное письмо, в надежде вызвать меня на решительный шаг. У нее нет никакой работы, ей не на что жить. Может быть, я приеду в Париж и «подберу» ее, пока она еще не умерла? Она только и просит что два-три дня, чтобы осчастливить меня. А потом nunc dimittis[53]. Как я уже признавался, роль Иосифа внушала мне неосознанный ужас, но я ответил, что, как известно всему узкому кругу интеллигенции, мне довелось стать любовником Ребекки Уэст, и, я полагаю, в таких делах следует соблюдать верность. Она ответила с той же мерой благородства — и какое-то время ее письма приходили реже.

Однако в 1924 году поток писем возобновился. Очевидно, мне предназначалась роль ее Призрака Возлюбленного; и, безмерно заинтригованная свойствами избранной личности, она сотворила в своем воображении мой образ, как до меня сотворила образ Христа. У нее был непоследовательный ум, который она пускала в распыл. Иногда она бывала остра, а по большей части — как бы это сказать? — радужно банальна и всегда многословна. Я отвечал изредка и коротко. Она жила в небольшой квартирке в Магагноске неподалеку от Граса, который описывала весьма соблазнительно; она стремилась сыграть в жизни некую роль, которая ей не давалась. В августе я известил ее открыткой, что собираюсь в непредвиденное кругосветное путешествие и отправлюсь из Женевы. Каждому, не ей одной, приходится не раз перестраиваться в жизни, писал я. И в это самое время до нее докатился слух из Парижа, что я окончательно расстался с Ребеккой. Одетта, не долго думая, уложила чемодан и отправилась по моему женевскому адресу. Что приводит меня к тому месту моего повествования, которого я достиг в конце 6-й главы.

В отеле она распорядилась, чтобы меня направили в ее номер, и я оказался в тускло освещенной комнате наедине с

изящной темноволосой молодой женщиной в воздушной шали, которая источала аромат жасмина. Она принялась меня уверять, что преклоняется предо мной, что только ради меня ей и стоит жить. Она мечтает посвятить мне всю свою жизнь. Только о том и мечтает, чтобы быть мне полезной.

«Ну раз вы так чувствуете», — сказал я…

Я полагаю, все эти торжественные заявления Одетта тогда делала от чистого сердца. Она и вправду была сбита с толку и испугана жизнью и подобно тому, как прежде думала навязать ответственность за свое поведение Католической Церкви, так теперь повернулась ко мне в поисках защиты, поддержки, чуткости, понимания, иными словами, в поисках Призрака Возлюбленного для своей алчной и разочарованной *персоны.* То был призыв, обращенный к возлюбленному, как делаем мы все, — но с присущим уже именно ей оголтелым себялюбием. По видимости она отдавала, а по существу захватывала.

Такого рода добровольный дар ни в коем случае не следует принимать. Я же расстарался его принять. Я не влюбился в Одетту, хотя она показалась мне волнующей и привлекательной. Тогда я думал только о себе. Я жил неспокойной и неполной жизнью. Мне нужен был дом где-то в солнечном краю, куда бы я мог в любую минуту сбежать из Англии, чтобы работать в тишине и покое. Мне нужен был кто-то, кто будет вести мой дом, и нужна была любовница, которая будет умиротворять меня и составит мне компанию. Я хотел, чтобы она всегда была там. Никогда не ездила со мной в Париж или в Лондон и не посягала на мою английскую жизнь. Я буду ее содержать и обеспечивать. Она тоже будет писать и, когда я буду в отъезде, может делать что пожелает. Все это я так прямо и выложил ей, и она призналась, что в восторге от моего предложения. Открыто встречаться в Женеве мы не могли, и все мое время там было расписано. Я подарил ей день на озере в каноэ, мы провели ночь в ее отеле, и я отослал ее обратно в Магагноск, чтобы она ждала меня там.

Несколько дней спустя я к ней присоединился. Она жила в деревне в убогом домишке, а я остановился в пансионе поблизости, но она знала, что неподалеку от Малбоска сдается меблированный дом Лу-Бастидон и есть женщина, которая могла бы для нас стряпать. Мы отправились пешком к этому дому и посмотрели, в каком он состоянии, после чего я познакомился с предполагаемой поварихой, Фелисией Голетто, и пришел от нее в полный восторг. Я снял этот дом, провел зиму с Одеттой, а потом вернулся в Лондон за своими вещами.

Лу-Бастидон — это «Вилла Жасмин» в «Мире Уильяма Клиссольда». Клементина, какой вы ее видите в главе «Расцвет

мимозы» — один ракурс, живое и не слишком приукрашенное изображение Одетты на ранней стадии наших отношений. В этом доме мы прожили в общей сложности около трех лет, и то были довольно приятные и успешные годы. Я проводил там зиму, когда Джейн устраивала каникулы себе и нашим сыновьям и отправлялась с ними в Альпы, а летом мы проводили каникулы таким образом: Джейн — в Шотландии или за границей, мы же с Одеттой писали среди олив. В Истоне и Лондоне жизнь протекала вполне приятно, а в Лу-Бастидоне мы с Одеттой марали бумагу, и дискутировали, и совершали далекие прогулки, и изредка кое с кем виделись. Она сокрушалась из-за моих отъездов и отправлялась в Париж к сестрам или в Алжир, одна, желая изведать, что он такое. Я разыгрывал из себя ее возлюбленного, временами — довольно убедительно, и она уже чуть ли не была довольна своей судьбой. Она работала над романом о своей жизни в монастыре, который обещал удасться, и я был как никогда близок к тому, чтобы влюбиться в нее. Мне нравится разыгрывать из себя влюбленного, и мои письма, которые она очень хочет продать и в конце концов продаст, именно в эту полосу больше всего походили на любовные.

У Одетты были довольно смутные представления об истинной ценности денег; я хотел жить просто, и в Лу-Пиду у нас на все про все уходило, вероятно, меньше пятисот в год. Она с превеликим удовольствием «экономила», очень тщательно вела счета и огорчалась, когда я покупал ей платья в Ницце и настаивал, чтобы она больше заказывала у сестры, которая была портнихой в Париже. Она знала, что я довольно хорошо обеспечен, но поначалу понятия не имела о моих средствах. Целый год, даже больше, у нас не было автомобиля; мы всюду ходили пешком, делали покупки в Грасе и оттуда носили их в Лу-Бастидон, а потом купили мощный «ситроен» и наняли мужа Фелисии, Мориса, на неполный рабочий день как бы в качестве шофера, чтобы он содержал автомобиль в порядке. Во время этой добродетельной стадии Одетта чувствовала себя обязанной писать Джейн, в письмах выражала свою преданность мне, с пониманием расспрашивала о моем здоровье и диете, клятвенно обещала никогда не нарушать покой моего английского дома. Джейн отвечала дружески. Они обменивались небольшими подарками. Когда мы построили Лу-Пиду, Джейн купила и послала ей картину Невинсона.

Я начал знакомить Одетту со своими друзьями, которые приезжали в Канны или в Ниццу. Постепенно я давал ей понять, что материально чувствую себя гораздо свободнее, чем она могла представить вначале. Я стал задумываться о ее будущем и

обеспечил ей независимый доход.

Однако читателю вовсе не следует думать, будто во время так называемой добродетельной стадии Одетты мы постоянно жили в атмосфере тишины и безмятежности. У нее нередко менялось настроение, и в плохом настроении она беспричинно ссорилась по пустякам. Каждый месяц она день-два бывала не в себе. Распекала слуг, не желала разговаривать за трапезами и донимала мелкими оскорблениями живущую поблизости владелицу нашего дома, баронессу де Ривьер. К тому же она вела язвительную переписку с зятем из-за денег, что он взял у нее в долг, и тайно от меня писала ядовитые письма разным людям, которые пробудили в ней злые чувства во время ее похождений в Грузии и в России. И когда в нашу совместную жизнь стали входить еще какие-то люди, особенно новые для нас обоих, в ней постепенно стала обнаруживаться подспудная нервозность, которую было очень трудно преодолеть. Если бы мне вздумалось рассказывать эту историю достаточно подробно, я мог бы показать, что, по мере того как увеличивались наши траты и расширялся круг знакомых и перед Одеттой открывалось все больше возможностей, в ней оставалось все меньше первоначальной приниженности и она все чаще бывала неуравновешенно перевозбуждена и самовлюбленно уверенна в себе. Ошеломленная и успокоенная тем, что ей посчастливилось меня заполучить, — а вначале она видела меня сквозь возвеличивающую дымку престижа, себя же ощущала нищей неудачницей, — она какое-то время вела себя вполне хорошо. Потом стала самоутверждаться. Она забыла наш первоначальный уговор и вспомнила свои сомнительные устремления. То было возвращение в мир подавленных порывов и перечеркнутых воспоминаний. Одетта возвращалась туда освеженная и успокоенная. Она возобновила свои неудавшиеся попытки завоевать выдающееся положение в мире.

Мне, тесно с ней связанному и эгоистичному, она стала надоедать.

Я заметил, что она понятия не имеет, как занять людей, только и знает, что «выхваляется» перед ними, как это называют школьницы. Когда мы жили вдвоем, вне общества, в нашу лубастидонскую пору, только я и был ее публикой, причем публикой, которая не давала ей развернуться. Одетта вела себя осмотрительно, исполняла роль преданной подруги. Но с появлением новых людей я оказался в тяжелом положении, стал, так сказать, покровителем актрисы, и перед новой публикой, которую я для нее собрал, она позволяла себе рисоваться и позировать, что до сих пор я запрещал. Она принялась шумливо

выставлять себя напоказ, куда как громогласно рассказывала о своих ранних годах в «посольстве», о своей глубинной духовной жизни в пору монашества, о своем религиозном опыте, о своих удивительных исследованиях Кавказа и Северной Африки, о местах, которые до тех пор были недоступны культурным женщинам (и почему), о книгах, ею написанных, и о тех, что собирается написать, о ее удивительном проникновении в психологию людей и своеобразном изобразительном даре, о ее огромной, удивительной любви ко мне. Всякий раз, как я пытался перевести разговор на что-нибудь, кроме ее персоны, она мне перечила и не давала слова сказать. Потом разыгрывала ссору со мной и тут же меня прощала — вскакивала из-за стола и кидалась меня обнимать. А то принималась рассуждать о чуде нашей интимной близости, да еще с живыми подробностями.

Я сидел в стороне, не принимая в этом участия, сперва изумлялся, а потом приходил в ярость.

Когда гости наконец не выдерживали и уезжали, я уходил прогуляться под оливами, чтобы обрести душевное равновесие, а Одетта удалялась в свою комнату, и дулась, и плакала — ведь я ее не поддержал, подвел, пытался унизить. За обедом она не переставая сетовала.

«О Господи! Заткнись!» — взрывался я.

«Я же посвятила тебе жизнь!»

За этим, быть может, опять следовало прощение, а потом длинная тирада по поводу уехавших гостей — моих друзей. Английские женщины все скучны и неизящны, а мужчины плохо воспитаны, и так далее и тому подобное…

Я сидел и дулся, точно мальчишка, и размышлял о том, что осталось всего две недели (или, кажется, десять дней?) до моего отъезда в Англию.

После обеда каждый возвращался к своим занятиям, и, случалось, я не видел ее до самого вечера, когда она впархивала ко мне в комнату, соблазнительно полураздетая, надушенная жасмином, чтобы «пожелать спокойной ночи», заявить о своей непоколебимой преданности мне и подтвердить ее.

«Ну почему ты не понимаешь меня? Все это я делаю ради тебя. Я хочу, чтобы ты мог мной гордиться».

Несмотря на эти бури, на то, что все яснее становилось, насколько мы несовместимы, в Лу-Бастидоне я много и плодотворно работал; жизнь там была на редкость здоровая; Одетта представала в обрамлении солнечного света, кипарисов, синих гор и отдаленного моря — и на время мне удавалось разрядить смехом набухающие раздражением тучи, что предвещали очередную грозу из-за ее все возрастающей

агрессивности.

Передо мной всегда открыта возможность уйти, размышлял я, но в ту пору мне на ум не приходила ни одна женщина, которая могла бы заменить Одетту. Я ни в коей мере не был в нее влюблен, но достаточно успешно проделал уже почти все, что свидетельствует о любви. Мне казалось, ничего другого жизнь и не могла мне предложить. Одетте не следует занимать в моем существовании больше места, чем я ей отвел, мне не следует знакомить ее с друзьями, которым она может не понравиться, и, чтобы быть твердо уверенным, что у меня всегда есть возможность уйти, я перечислил деньги на ее имя и учредил траст в Америке, который даст ей независимый доход. Все же пока я был настроен оставаться с ней и меня настолько удовлетворяла эта прерывистая жизнь под провансальским солнцем с неизменными отъездами и возвращениями, что, изрядно утомленный излишней простотой санитарно-гигиенических устройств и многими практическими неудобствами Лу-Бастидона, я вскоре начал строить mas, больше и красивее Лу-Бастидона, с ванными комнатами и хорошей кухней, с гаражом, с комнатами для гостей, и так далее, в очень красивом месте, за четверть мили от нашего теперешнего жилища, где громоздились скалы, стремился поток и росли замечательные деревья. То был Лу-Пиду, и строительство закончилось в 1927 году. Я купил второй автомобиль, нанял Мориса Голетто, мужа Фелисии, в качестве моего шофера и подготовил все необходимое для постоянного проживания в Провансе. Одновременно я распорядился таким образом, чтобы на случай, если я переселюсь в Англию, Одетта стала независимой, ибо я оформил на нее узуфрукт на Лу-Пиду, и тем самым, если она станет невыносима, я смогу в любую минуту покинуть Лу-Пиду и, пока не истечет срок узуфрукта, мне незачем будет всерьез беспокоиться ни о доме, ни о ней самой. Я пытался все это ей растолковать, но подобный отказ от собственности был недоступен ее левантинскому складу ума. С каждым предупреждением и с каждым примирением ее уверенность в своей власти надо мной возрастала. К тому времени, как она окончательно убедилась, что незаменима, она стала совершенно невыносима.

Я строил Лу-Пиду с удовольствием и сделал немало, чтобы польстить Одетте и способствовать ее уверенности в себе. По моей просьбе каменщик вывел над камином надпись «Сей дом построили двое влюбленных» и разукрасил ее, и она и сейчас там, а на некоторых окнах я написал vers libre[54] о виноградной лозе, об оливах и о любви. Для Одетты это было равносильно

свидетельству о браке.

Возвращение ее прежнего «я» — ее, так сказать, подлинного «я» — происходило одновременно со строительством дома. Страх потерять меня, который в начале нашей связи оказывал самое благотворное действие на ее поведение, казалось, совершенно исчез. Кто бы к нам ни приходил, она тут же принималась хвастаться своим домом, своим автомобилем, своим личным состоянием — оно исчислялось восемью-, девятьюстами фунтов в год, но она предпочитала говорить о тысяче — и все эти деньги шли только от меня. С каждой новой свободой, что я ей предоставлял, я спускался все ниже с той божественной высоты, на которую она возвела меня вначале. Теперь она строила планы не только относительно своего будущего, но и моего тоже. Ей требовались жемчуга, ей требовался салон в Париже, где под ее влиянием я смогу играть более значительную роль в мире политики. Французской политики, надо понимать!

Чем дальше, тем она становилась несносней. В свои нелепые тщеславные замыслы она вкладывала слишком много страсти. Порой напряженность бывала такова, что мы оказывались на грани разрыва. И однако, она ведь была Забавница, и потому ее вполне можно было терпеть. И по-прежнему я там на редкость плодотворно работал…

Иногда ей удавалось задеть во мне пружины богатых источников смеха.

Вот, например, однажды мы принимали сэра Уилфреда Гренфелла{393} с женой. Он был весьма заинтересован получить мою подпись в поддержку его Лабрадорских миссий. Чета Гренфелл прожила в нашем домике для гостей два или три дня. Одетта страстно желала, чтобы ее пригласили на Лабрадор, желала заполонить побережье своими разговорами, своей личностью, а быть может, и продолжить свои замечательные «очерки», которые по выходе в свет любознательный читатель, вероятно, все же сочтет пригодными для чтения: «Иностранец посещает Британский Судан», «Au Pays du toison d'or»[55], «Dans l'Aurès inconnue»[56], «Год, проведенный в Советской России» и «Les Oasis dans la montagne»[57]. Очень осторожно я предупредил Одетту об ограниченности сэра Уилфреда и его супруги, и первые два дня в Лу-Пиду не было сказано или сделано ничего такого, что было бы неприемлемо в доме англиканского священника. Но вот как-то вечером я сказал — и, надо признаться, было это неумно: «Завтра за обедом вы познакомитесь с одной дамой, с мадам Казенов. У нее есть сынишка — говорят, последний уцелевший потомок великого Казановы».

«Казанова! — воскликнул сэр Уилфред. — Казанова? Дайте-

ка подумать… чем он занимался?»

Я увидел, у Одетты загорелись глаза, но вмешаться был бессилен — я знал, что она сейчас скажет.

И она объяснила ему одним словом. Оно прозвучало, это ужасное слово, самое грубое, самое неприличное из непристойных слов. Воцарилась чудовищная тишина, которую я наконец нарушил.

«Казанова написал знаменитые „Мемуары“», — сказал я, будто и не слышал этого недвусмысленного слова.

«Ах да, „Мемуары“», — подхватил сэр Уилфред, и разговор возобновился.

Немного погодя к нашей благовоспитанной беседе о мемуарах присоединилась и Одетта. Она сообщила нам кое-какие сведения о мадам де Севинье…

Но на Лабрадор ее не пригласили.

И еще один забавный взрыв произошел, когда в Лу-Пиду нагрянула миссис Сесил Хэнбери{394}, муж которой приобрел (для нее) тот парк в Ла-Мортола, что я избрал местом действия для романа «В ожидании». Она привезла с собой сэра Уильяма Джойнсона-Хикса (позднее он стал лордом Брентфордом) и огромную свиту. Все уселись за стол, и началось шумное чаепитие. Другого такого благонравного министра внутренних дел, как Джойнсон-Хикс, не сыскать, но его покорила миссис Сесил Хэнбери. В нем стала проявляться свойственная пожилым людям чувствительность, как я бы это назвал, которая иной раз досаждала леди Хикс. Миссис Хэнбери привезла его, желая, чтобы наш ménage шокировал его, — и он был шокирован.

Тогда много спорили об одном романе, очень сдержанном и пристойном, трактующем проблему однополой любви, — о романе «Источник одиночества» мисс Рэдклиф Холл{395}. Одетта была чрезвычайно взбудоражена его запрещением, это стало постоянной темой ее разговоров, и она довольно энергично напала на Хикса, считая его ответственным за случившееся, — ведь он был министром внутренних дел.

Большинство присутствующих ничего не знали о происходящем; в комнате стоял гомон — все разговаривали, и вдруг наступило молчание, что часто случается среди ненатуральных шумов, сопровождающих прием гостей.

«Но, Джикс, — сказала Одетта; с той минуты, как я представил ее Хиксу, она стала звать его этим газетным прозвищем. — Я не могу взять в толк, почему, когда женщина спит с женщиной, это должно вызывать больше возражений, чем когда с женщиной спит мужчина. Что бы они ни делали, им, во всяком случае, не грозит произвести на свет какого-нибудь

несчастного ребенка».

Джойнсона-Хикса, смущенного еще и присутствием своего серьезного, не по годам степенного сына, который, по всей видимости, яростно осуждал все здесь происходящее, это высказывание Одетты окончательно вывело из себя.

«Я бы предпочел больше не обсуждать это», — сказал он.

Общая беседа возобновилась — шумно и беспорядочно.

А в другой раз, примерно в это же время, мы встретились с Матиасами, и они повезли нас, вместе с сэром Алфредом Мондом{396} и леди Монд, обедать в Монте-Карло. Одетту посадили рядом с сэром Алфредом. Из их беседы до меня через стол докатились две жемчужины.

Одна — такие слова Одетты:

«Когда вы говорите „Ми“, сэр Алфред, что вы имеете в виду: „Ми англичане“ или „Ми евреи“?»

Потом я ненадолго упустил нить беседы. Затем услышал слова чрезвычайно разгневанного сэра Алфреда:

«В Иудее мы побили бы вас камнями — и поделом!»

Одетта опять заговорила о том незначительном предмете, о котором идет речь в «Источнике одиночества».

Невозможно испытывать лишь неприязнь к женщине, которая способна поставить себя в такое положение. И она сама, и молва о ней отпугивали несметное количество нудных, благовоспитанных людей, которые иначе неожиданно сваливались бы мне на голову. Но, с другой стороны, она позволяла себе извергать такие потоки непристойностей, что от этого становилось и скучно и тягостно; удачные бестактности срывались у нее с языка гораздо реже. Если она спохватывалась, что зашла слишком далеко, она из-за стола показывала своими длинными руками в мою сторону и выкрикивала: «Я узнала все это от него. — Каждое слово, которое я знаю, все от этого господина».

Это было правдоподобно, но неверно. Полдюжиной запретных слов, которые она употребляла в разговоре наподобие ручных гранат, она овладела задолго до того, как я с ней познакомился.

Постепенно она стала понимать, что я знаком с великим множеством людей, имена которых появляются в газетах, и куда чаще бываю в обществе, чем ей казалось. Это совпало с ее растущими светскими претензиями. Я остро чувствовал, как несправедливо оставлять ее одну во Франции, когда сам возвращаюсь к более полноценной жизни в Англии, и поскольку ее не удовлетворяло и не гармонировало с ней то смешанное общество, которое ей предоставляла Ривьера, мы подумывали о том, чтобы завести квартиру в Париже. В мое отсутствие взяться

за перо она была не в силах. Задуманная большая книга об ее опыте жизни в монастыре оказалась ей не по плечу, а оттого, что никто, кроме ее друзей, которым она подарила экземпляры записок о своих путешествиях, не сумел оценить по достоинству этот плод ее упорного труда, она пришла в уныние. В Париже у нее были две сестры и несколько таких же громкоголосых бывших учениц мисс Грин; были и еще разные знакомые; с моей помощью она могла завязать новые знакомства, и, похоже было, в мое отсутствие она смогла бы там жить — не тужить.

Но когда у нас только еще зарождались парижские планы, вскоре после того, как мы стали владельцами Лу-Пиду, пришла ужасающая телеграмма от моего сына Фрэнка — он сообщил, что у Джейн рак и ей осталось жить всего полгода. Я поспешно возвратился в Лондон и провел в Англии эти полгода, как уже рассказал во «Вступительном слове к книге Кэтрин Уэллс».

После смерти Джейн я поехал в Париж, чтобы встретиться с Одеттой. Я не знал, как мне теперь строить свою жизнь. Я всегда полагал, что жена переживет меня, — ведь она моложе меня, — и что счастливая, достойная жизнь на широкую ногу, которую она вела в Истон-Глибе и в Уайтхолл-Корте в Лондоне, будет продолжаться до конца ее дней. Она любила свой дом и сад; она, как я уже говорил, полностью распоряжалась нашими финансами и неизменно пеклась о все большем комфорте и красоте нашего дома. К ней многие хорошо относились, и у множества людей были основания любить ее за отзывчивость и щедрость. В наших домах я равно был и дружески настроенным гостем, и хозяином, и даже в самые последние, горькие и величественные месяцы ее жизни мы проводили вместе много счастливых, исполненных покоя дней.

Прованс и моя жизнь там были вызваны необходимостью находиться на солнце, переменить обстановку, набраться сил, а домом там и не пахло. Одетта, голос которой не умолкал ни на минуту, ее вечные придирки к слугам, ее неспособность быть незаметной не давали мне почувствовать Лу-Пиду своим домом. И самая мысль о том, чтобы привезти ее в Англию — безвкусно одетую, дурно воспитанную, лихорадочно агрессивную, неуправляемую и не способную к обучению, — казалась несообразной. Я бы ни на минуту не отдал под ее начало ни моего добропорядочного садовника Граута, ни моих милых английских горничных, ибо госпожа она была требовательная и безжалостная. Она бы оскорбляла моих лондонских секретарш и навязывала им всякую случайную работу для себя. Она до неузнаваемости исказила бы и подчинила себе все мои отношения с друзьями.

Итак, в Париже я сказал Одетте, что намерен сохранить Истон для себя и соблюдать наш с ней уговор, как если бы Джейн была жива. Одетта оставляет мне Англию, я же отдаю ей Францию. И для нее настала пора благоприятных возможностей. Настала именно тогда, когда я скорбел и глубоко страдал из-за Джейн, из-за ее смерти, из-за того, что позволил несочетаемости темпераментов разрушить основанное на чувстве совершенство нашей совместной жизни; именно тогда у Одетты появилась возможность добиться какого-то понимания и нежности! Тогда мне казалось, я уже не могу надеяться, что меня полюбит еще какая-нибудь женщина. Речь могла идти лишь о случайных связях, но никак не о продолжительной близости. В ту пору от Одетты требовалось только быть разумной и любящей, чтобы наконец-то завоевать мое доверие, и это могло бы послужить для меня основанием взять эту, по сути низкопробную и глупую женщину, в жены. Правда, мне требовалось какое-то время, пусть небольшое, до того, как я смог бы подумать о другой женщине в качестве моей жены. Одетта не дала мне такой возможности. Она встретила меня взбудораженная, одержимая безрассудными планами. Она заявила, что теперь мне следует продать Истон-Глиб, завести для нас квартиру в Париже и даже стать французом, французским mari[58], а когда я ей сказал, что и думать не думаю ни продавать этот дорогой для Джейн дом, ни отдавать его ей, она разразилась упреками и слезами — ей стало жаль себя.

Я мог бы с успехом выступить в защиту Одетты против самого себя. Я был виной ее безмерного разочарования. В свою защиту заявляю, что никогда не занимался с ней любовью так, как положено возлюбленному, — не обращал к ней мольбы и не восхищался ею. Никогда даже не обещал хранить ей верность. Она предложила мне себя, и я принял ее на определенных условиях. Она всегда пыталась это забыть. Всегда пыталась обходиться со мной как с мужчиной, которого она покорила, — но я вовсе не был покорен ею. И нисколько не восторгался ни ее смелостью, ни нежностью. Она доставляла мне чувственные радости, и это прежде всего нас и связывало. Я не был захвачен ею, как был захвачен Ребеккой, ни в чем не ощутил богатства ее ума; в лучшем случае ум у нее был не созидательно творческий, а критичный; и она всегда страстно спорила с фактами, когда старалась представить дело так, будто я вправду ее возлюбленный. Она всегда старалась утаить от самой себя свою невероятную жажду обрести власть надо мной. Но не было и нет на свете мужчины, которому пришлась бы по вкусу такая самовлюбленная женщина, как Одетта.

В 1928–1930 годах я был поглощен своими книгами «Наука

жизни» и «Труд, богатство и счастье человечества» и в это самое время по мере сил разрабатывал наш с Одеттой modus vivendi. Я хотел работать в Лу-Пиду и хотел обходиться с ней по чести. Я любил этот мой дом, и Одетта на свой зловредный лад вела его вполне умело. Я снял ей квартиру в Отей и очень мило ее обставил. Здесь она выступала в роли хозяйки перед самой разнообразной публикой. Но после смерти Джейн и перед тем, как она была торжественно введена во владение этой квартирой, с Одеттой приключилась беда — воспаление гайморовой полости, потребовалась операция, которую хирург в Грасе сделал неудачно, и потребовалась вторая операция в Париже. Это заболевание сопровождается не только сильными болями, но и затрудненностью дыхания.

Как известно, в нашем мире нормы поведения в болезни очень и очень различны. Не только характер, но и воспитание заставляет людей, подобных Джейн и других членов моей семьи, держаться скромно. Мы все хотим справляться со своими недугами сами и как можно меньше докучать кому бы то ни было, хотим все делать, как нам предписано, и быстро поправиться. Когда хвораем, мы чувствуем себя виноватыми. Но я в жизни не видел, чтобы Одетта хоть в чем-то чувствовала себя виноватой.

Левантинская натура, с ее неизменной склонностью к драматическим эффектам, устраивает из болезни настоящее представление. Болезнь — повод для бурного проявления чувств всех вокруг. Больной страдает так явно, что не увидеть этого просто нельзя, угодить ему невозможно, он требует невероятного сочувствия и утешения от всех, от кого, по его мнению, вправе этого ожидать. И поскольку после пяти лет периодической близости Одетта все еще была намерена навязать мне роль богатого и преданного любовника, мое поведение, на ее взгляд, было совершенно недопустимым. Я не мог сокрушаться из-за этого ее заболевания. Я видел, как вела себя Джейн в безусловно мучительной болезни и, не дрогнув, приближалась к неизбежной смерти, поэтому суета, поднятая Одеттой, была мне отвратительна. Джейн умерла, нежная, мужественная и бесконечно усталая, держа меня за руку. Что ж мне теперь — ломать комедию в Париже из-за каких-то там неприятных ощущений на лице?

Я предоставил Одетте лучших сиделок и хирургов, позаботился обо всех необходимых удобствах и уехал в Лондон и Истон, чтобы продолжить работу, пока Одетта вновь не обретет достоинство и не возьмет себя в руки.

По-настоящему помочь ей мне было нечем. Врачи были вполне готовы пустить в ход болеутоляющие. Но ей требовался я

— чтобы вопить, и изливать чувства и страхи, и хвататься за меня, и поражать силой чувств; ей требовался я, чтобы предъявить меня всем своим парижским знакомым как чудо терпения и заботливости. Но я уехал, и ей пришлось рисовать другую картину и бурно переживать из-за моего бессердечия и своей поразительной безответной любви, которую она питала ко мне по сей день.

Операция была сделана мастерски, прошла вполне успешно, и, выздоравливая, Одетта не только засыпала меня письмами-упреками, но ухитрилась закрутить роман со своим доктором. Для этих левантинок доктор — искушение, перед которым они не могут устоять. Его роль предоставляет пациенткам такие возможности, что грех ими не воспользоваться.

В ее письмах стали частенько появляться упоминания о докторе. У него голубые глаза — как у меня, он твердый и решительный — как я. От него исходит ощущение силы — как от меня. Казалось, нет предела ее открытиям нашего сходства. Похоже, его и вправду нет. Вероятно, при ее странном складе ума она думала, что, чем больше мы похожи на близнецов, тем незначительней ее измена.

К тому времени Одетта и ее бесконечные причудливые самооправдания так мне надоели, что я стал подумывать, как бы нам разъединиться. Если бы мне удалось поселить ее в квартире в Париже, я мог бы постепенно все больше отдаляться от нее, не обрекая ее на позор из-за того, что она потерпела фиаско. В Париже она нашла бы подходящее общество, людей, которые бы ее поняли. А мой прелестный дом в Грасе я хотел бы сохранить для себя — мне хорошо там работалось. Я очень любил атмосферу этого дома, и там все еще находилась очень подходящая для меня чета Голетто. (Позднее Одетта разругалась с ними и уволила их.) В ту пору я был в полном смысле этого слова вдовец. У меня не было на примете никакой другой женщины, с которой я предполагал бы вместе жить; я неважно себя чувствовал — у меня начинался диабет, чего я еще не знал, — и я склонен был считать Одетту возможной спутницей или, говоря прямо, сожительницей-домоправительницей.

Мы обставили квартиру в Отей, и я стал чем-то вроде пансионера, что время от времени туда наезжал. Я никогда там не претендовал на роль хозяина. Мы принимали гостей, но по-французски я изъяснялся не слишком свободно, да и светская жизнь, которую она там вела, наводила на меня скуку. И потому, едва она достаточно окрепла, я посадил ее в свой автомобиль, повез в Бретань, а потом, увидев, что она несчастна и душевно нездорова, отправился с ней в Швейцарию, в Женеву и наконец

вернулся в Лу-Пиду. Как я уже говорил, во время болезни у Одетты был роман с ее доктором. Она по собственной воле представила мне несколько версий случившегося — они сильно отличались одна от другой. Он испортил ей жизнь, говорила она. Не думаю, что он так уж виноват. Я не стал волноваться из-за того, что угодил в треугольник, но мне было жаль, что она так взбудоражена и расстроена. Ей даже взбрело на ум застрелить его, но не из того она теста, чтобы стрелять. Она, кажется, зашла так далеко, что обзавелась пистолетом — а я не стал его отбирать. Я повез ее в Швейцарию, пытался отвлечь от мрачных мыслей, проявив интерес к чрезвычайно скучному роману, который она задумала, — «Капитуляция».

Я жаждал работать. У меня созрели замыслы двух серьезных книг, и я надеялся их осуществить, — «Наука жизни» и «Труд, богатство и счастье человечества», но в ту пору я был одержим мыслью, что силы мне изменяют и что, если я хочу довести работу до конца, надо это делать немедленно. В январе у нас в Лу-Пиду гостил Джулиан Хаксли, и мы вместе обсудили заключительные разделы «Науки жизни». Затем я взялся за «Труд, богатство и счастье человечества».

Весной 1929 года в Лондоне я познакомился с Энтониной Валлентин, секретарем Международного института сотрудничества (до 1931 г.), которая потом вышла замуж за Люшера. В то время она исполняла роль хозяйки на собраниях либеральных немцев, которые группировались вокруг Штреземанна{397}. Она была деятельная, способная женщина; ее книга о Штреземанне превосходна, а ее «Поэт в изгнании» (Гейне) — классическое произведение; и она исполняла обязанности секретаря весьма жизнеспособного общества, которое проводило собрания в здании рейхстага и приглашало выступать там знаменитостей из-за границы. Она предложила мне войти в эту избранную группу лекторов, и я согласился. Я хотел кое-что высказать перед широкой аудиторией. Я назвал свой доклад «Здравый смысл и мир во всем мире» (он напечатан в моей книге «После демократии»), и благодаря героическим усилиям Энтонины Валлентин он был переведен на немецкий и напечатан как раз вовремя, чтобы раздать его на лекции.

Я отказался взять с собой в эту поездку Одетту. Ее вопиющие суждения о Германии, Франции и о войне нестерпимо досаждали бы мне. Я поехал один и познакомился с Штреземанном, Эйнштейном и рядом других людей, которые мне понравились, и я встретил там еще кого-то, кто был куда важнее для меня, — Муру.

В Эден-отеле я застал письмо, написанное ее неразборчивым

русским почерком. Она будет на лекции, если сумеет достать билет, — она снова хочет меня видеть.

Она ждала меня, когда публика расходилась после лекции, высокая, с твердым взглядом, в убогом платье, исполненная достоинства, и, увидев ее, я потянулся к ней всем сердцем.

«Это ты!» — сказал я.

«А как же», — отозвалась она.

«Тебе было слышно?»

«Я слышала каждое слово, мой дорогой».

«Нам надо встретиться и поговорить. Помнишь, в последний раз мы вместе вышли после заседания Совета Северного района в Ленинграде, там еще все пели „Интернационал“?»

Но об этом я расскажу позднее. Несмотря на то, что я был связан с Одеттой, назавтра Мура пришла ко мне в номер, а на следующий день она обедала с Гарольдом Николсоном и со мной в Эдене, а после провела со мной долгий вечер, который закончился в ее убогой квартирке. С первой минуты встречи мы были любовниками, словно никогда и не расставались. Для меня она всегда была неодолимо привлекательна, и если только она не величайшая в мире актриса, есть и для нее какая-то неизъяснимая магия во мне.

Мы не давали никаких клятв, не строили никаких планов на будущее, мы просто были вместе все то время, что нам удавалось выкроить, пока я оставался в Берлине. Никто, кроме Николсона, ничего об этом не знал. Это касалось лишь нас двоих.

Но то была крутая перемена, ничто здесь не походило на мир Одетты Кюн. Я вспомнил, что значит быть действительно влюбленным. Стоицизму, с каким я принимал семейную жизнь, что устроил для себя в Лу-Пиду и Париже, пришел конец.

8. Высвобождение и попытка усовестить

В 1928 году я почувствовал, что уже изрядно устал от Одетты; а в 1929-м вновь открыл для себя Муру, но с Одеттой окончательно не порвал и до 1933 года не был явным и признанным любовником Муры. Любовниками мы были, но втайне. Это долгая полоса колебаний и нерешительности, и, хотя все происходило в последние пять лет — я пишу в начале 1935 года, мне, оказывается, почти так же трудно разобраться в мотивах моего поведения на разных этапах наших отношений с Мурой, как в свое время, когда я писал основную «Автобиографию», в колебаниях и поворотах моих чувств, обращенных к Изабелле и Джейн. Совершенно очевидно, что при таких настроениях и в такие полосы я конечно же не был полностью в ладу с самим собой, толком не представлял, что со мной творится, и, вероятно, с той поры и дальше я с самыми лучшими намерениями невольно пытаюсь дать происходящему разумное объяснение. Я не только даю разумное объяснение, но склонен к самооправданию. События, о которых идет речь в этой главе, ближе по времени, и тем самым я менее объективен и беспристрастен.

Я постараюсь изложить по порядку множество важнейших мотивов, которые, как я думаю, порождают все эти колебания. Вероятно, это будет не так скучно и гораздо ясней, чем длинный, запутанный и неизбежно неточный рассказ о моих уходах и возвращениях.

В моей жизни главной движущей силой, главной, но, по-видимому, не всегда самой мощной, был тот мыслительный и плодотворный процесс, который я бы назвал, скажем, мой труд. Он, безусловно, самая надежная моя опора. Обо всем этом я подробно писал в последней части «Опыта автобиографии». Я представил это как труд жизни Стила в «Анатомии бессилия» в 1936 году. Снова рассказывать об этом здесь нет надобности, но следует помнить, что в «Постскриптуме» речь идет не об основной линии моей жизни, но о поддерживающих ее сексуальной, бытовой и личной сторонах.

В 1928 году меня стали одолевать тревога и беспокойство — я думаю, из-за кое-каких изменений в моей гормональной системе, а может быть, из-за того, что смерть Джейн заставила меня острее осознать, что и я смертен; я думал, мое время на исходе, и мне не терпелось продвинуться в работе, в ту пору воплощенной в книгах «Наука жизни», «Труд, богатство и счастье человечества», «Облик грядущего» и в различных менее

значительных сопутствующих им статьях, лекциях и т. п. Оттого я не хотел никаких кардинальных перемен в условиях работы. Постоянные переезды из Лу-Пиду в Англию и обратно (Отей я всегда рассматривал всего лишь как перевалочный пункт) были мне на пользу. В моем распоряжении оказывались дни и недели, когда я мог, ни на что не отвлекаясь, пораскинуть умом и писать. Я уже ясно понимал, что люблю Муру, как никогда не любил ни одну женщину, однако полагал, что мы сошлись слишком поздно. Я хотел, чтобы она постоянно была рядом, но никак не чувствовал, что впереди у меня довольно времени и сил, чтобы разрушить теперешнюю мою жизнь и начать все сначала с ней. Я думал, для нее будет лучше, если ей придется найти себе место в жизни, независимое от меня, — по крайней мере, я приписываю себе эту альтруистическую мысль.

В 1929 году Муре было тридцать шесть, она была очень привлекательная, живая, правда, ее темные волосы были тронуты сединой. Я был счастлив тем, что она мне давала, но тогда вовсе не намерен был полностью завладеть ею, что было бы естественно для действительно разумного мужчины. Мне казалось, ей следует хорошо выйти замуж, обзавестись мужем, который будет ей служить и боготворить ее, как она, на мой взгляд, заслуживала. Я питал к ней огромную нежность и тревожился за нее. Она явно была очень бедна, и это причиняло мне боль. Как только я вернулся в Англию, я установил ей небольшую ренту (двести фунтов в год), выдавая любовь за товарищество; я думал, вполне возможно, что мы никогда больше не увидимся, еще я думал, что она из тех беспечных людей, которые с легкостью могут оказаться в крайней нужде; я предполагал в дальнейшем завещать ей некоторую сумму, поддерживал с ней переписку и устроил так, что, когда она вскоре приехала в Англию, мы увиделись. Мы опять были любовниками, но я сказал ей без обиняков, что Одетта будет по-прежнему жить у меня в Лу-Пиду, что мы не должны заводить ребенка и что я не требую от нее верности. Теперь все это мне кажется нелепым педантизмом и душевной грубостью. Я подчинил ее, разумеется, не Одетте, но моей работе и моей позе обдуманного самосохранения. Мне конечно же следовало завести этого ребенка и вместе с Мурой нести ответственность за последствия. Я сказал ей, что рассматриваю наши встречи всего лишь как счастливые случайности, что считаю себя свободным и что она тоже свободна.

«Хорошо, дорогой, — сказала она. — Как тебе угодно. Если мне случится сохранить тебе верность, это уж мое дело».

Она дважды приезжала в Истон-Глиб, в 1929 и 1930 годах, до того как в июле 1930 года я его продал. Весной 1930 года я

устроил Одетте каникулы, подарил ей поездку в Египет и Судан — просто чтобы выбросить ее из головы и не угрызаться и без ее ежедневных писем со свободной душой видеться с Мурой в Лондоне. Все с большим доверием я предавался счастью, которое испытывал в обществе Муры. Однако еще не вовсе распрощался с другими своими романами и никак не осмеливался сделать решительный шаг к разрыву с Одеттой.

Теперь все это мне странно и непонятно. Мои мотивы сгруппировались безо всякого смысла и порядка. Поглощенность работой и тревогой из-за досаждавшего мне спора с Ассоциацией авторов; ужас перед крушением привычного порядка; некая скрытая ущербность моей любви к Муре; неуверенность, что такая прелесть, какой мне казалась Мура, может и вправду существовать на свете; подсознательный скептицизм; нежелание признавать некоторую Мурину беспомощность и уклончивость и прежде всего непостижимые гормональные приступы, подавляющие мою волю и энергию, — я кидаю читателю горсти этих предположений и не могу оценить их относительную значимость, как не сможет и он.

В 1931 году я работал уже не так напряженно. В книге «Труд, богатство и счастье человечества» завиделся конец. Однако я по-прежнему чувствовал себя старым и усталым. Я чувствовал, что силы мои убывают. Я приехал в Лондон и обратился к доктору Норману Хейру за советом по поводу кое-каких озадачивающих меня симптомов. Некоторое время он тоже был озадачен, а потом его осенило: «У вас диабет!» Он проконсультировался у лучшего из известных ему специалистов, доктора Робина Лоуренса, работающего в диабетической клинике больницы Королевского колледжа, и мне пришлось привыкать к жизни диабетика.

Поджелудочная железа (недостаток инсулина) становится главным действующим лицом в истории моей жизни. Я подчинился правилам поведения диабетика — прибегать к помощи инсулина мне не было надобности, — и у меня появился такой заряд сил и бодрости, словно я заново родился. Я стал действовать с удвоенной решительностью и твердостью и, уже не поглощенный мрачными мыслями о том, что смертен, лучше видел происходящее. Я склонен думать, что приливом бодрости я обязан не только удалению избыточного сахара из крови, но и тому, что строго следовал предписанию не допускать избытка углеводов. Я стал действовать более осмотрительно и уже не пускал все на самотек. Во всяком случае, к весне 1932 года я стал отдавать себе отчет в отношениях с Одеттой и у меня складывался план, как от нее освободиться.

Но тогда я еще не жаждал ограничить свою жизнь Мурой.

Мне по-прежнему нравилось быть ее временным любовником — до тех пор, пока она меня любит. Сейчас трудно вспомнить мои весьма изменчивые чувства к ней между нашим знакомством и 1933 годом. У меня пока не было ощущения, присущего настоящему любовнику, что она принадлежит мне, а я — ей, которое дало бы мне возможность начать освобождаться от Одетты достаточно осмотрительно и с немалой заботой о ней. Я хотел, чтобы она, так сказать, стояла на собственных ногах, не зависела от меня; хотел перестроить свою работу и жизнь, перенеся центр своей деятельности в мою квартиру на Чилтерн-Корт; хотел обходиться без постоянного женского присутствия и чтобы Мура приходила (и уходила), когда ей заблагорассудится. Так все складывалось между 1929 и 1932 годами. Я уже почти перестал притворяться, будто хочу, чтобы Мура была, так сказать, свободна и моя собственная свобода становилась чем дальше, тем все больше понятием сугубо теоретическим, но в наших нерегулярных встречах была какая-то особая простота и прелесть, а в нас обоих нет-нет да обнаруживала себя некая авантюристическая жилка, что удерживало нас от противоборства друг с другом, от необходимости вникать в частности жизни и быть практичными, без чего не обойтись, будь мы женаты, живи под одной крышей или роди ребенка.

Я старался как мог, чтобы Одетта не проведала о существовании Муры. Я хотел расстаться с ней, не посвящая ее в истинное положение дел, не то она непременно оповестила бы о нашем треугольнике всех на свете и все опошлила. В моих еженедельниках этих лет едва ли найдется хоть намек на существование Муры; я опасался любопытных и ревнивых глаз Одетты и по той же причине до минимума сократил нашу с Мурой переписку. Уж не знаю, свидетельствует ли это о том, что я несколько туповат или что я глубоко верил в Муру, но мне и в голову не приходило, будто такое ограничение может вызвать ее гнев. «Франция принадлежит Одетте», — сказал я.

Я надеялся, что мой расклад покажется Муре разумным, и, как ни удивительно, я не ошибся. Благодаря ему наши встречи были особенно пылкими и время, когда мы оказывались вместе, было словно насыщено электричеством, а при расставании, вероятно, ни у меня, ни у нее и в мыслях не было, что, может случиться, мы никогда больше не увидимся. В 1931 году, в Берлине, Муру сбило такси, и у нее на лбу остался глубокий шрам. Она не помянула об этом ни в одном письме. «Зачем бы я стала тебя тревожить?» — сказала она, когда я спросил про шрам.

Но этот шрам был мне укором, и мне становилось все больше не по себе, оттого что я живу на пять-шесть тысяч в год, тогда как

Мура живет где попало и носит старые и дешевые вещи. Она, правда, принимала от меня деньги и подарки, но с неохотой. Я думаю, на ее взгляд, это портило всю картину.

Мои еженедельники за 1932 год свидетельствуют, что в моей лондонской жизни ее роль становилась все значительнее. Мы все более открыто появлялись вместе на людях. Мы провели субботу и воскресенье у лорда Бивербрука в Чиркли. Я дал ей ключ от своей квартиры.

Так обстояли мои дела с Одеттой в 1930–1932 годах. Меня все больше возмущало ее поведение; я грозился, что оставлю ее, и отрицал, будто в свое время был от нее без ума, но про Муру не заикался.

Первоначальная поза Одетты — глубоко преданной мне возлюбленной — исчерпала себя и исчезла без следа. Теперь она играла роль блестящей красавицы, у которой богатый любовник, что пляшет под ее дудку, а когда убедилась в моем нежелании исполнять эту новую, навязанную мне роль, стала выходить из себя, устраивать сцены и впадать в уныние. В Париже, где ее светские претензии и затеи были мне невыносимо скучны, я старался проводить как можно меньше времени; а в Лу-Пиду я учил ее играть в бадминтон, чтобы самому побольше двигаться; гулял в одиночестве, ускользал поболтать к Крошке Элизабет (она построила виллу в Мужен), или с Моэмом, или с приятелями Буасвенами и старался совладать с препонами, которые возникали в работе над книгой «Труд, богатство и счастье человечества». К обеду у нас нередко бывали гости, и сами мы тоже обедали и ужинали вне дома, но за столом Одетта была особенно склонна пускать пыль в глаза и устраивать невероятные сцены. Вскоре она выехала из парижской квартиры, обставить которую мне стоило тысячу фунтов. Она ни в чем не преуспела, и у меня создалось впечатление, что, когда я в очередной раз уехал, она с кем-то спуталась, из-за чего Париж потерял для нее свою прелесть, к тому же ей было неловко перед нашими слугами. Так или иначе она внезапно в запале уволила их, и по ее просьбе я отказался от квартиры до того, как истек трехлетний срок аренды.

Когда в августе 1931 года у меня обнаружили диабет, дела приняли новый оборот. Я скрывал от Одетты свою болезнь, пока не оказалось, что не могу вернуться к ней в обещанный срок. Пришлось объяснить, что я прохожу курс лечения и мне понадобится еще несколько недель, и она тотчас прикатила в Лондон. Это было существенное нарушение нашего договора, но она всегда хотела приехать в Лондон; она нашла, что англичане — хорошие, доверчивые слушатели, а у англичанок тихие голоса

и их без труда можно переговорить. И вот тут-то наконец мне представился удобный случай.

Она драматизировала положение. Ее богатому и знаменитому любовнику предстоит стать инвалидом, и она приедет в Лондон, пройдет обучение в больнице и будет за ним ухаживать, посвятит ему, беспомощному, остаток жизни. Результатом будет брак — брак с послеполуденными и вечерними выездами и поистине блестящими светскими раутами. То была прекрасная мечта. Она написала Эмбер и рассказала ей о романтическом сюрпризе, который мне подготовила, а также Норману Хейру, который обедал с нами в Париже. Ей требовались адреса гостиниц и прочая информация. Эмбер немедля предупредила меня по телефону, а я в свою очередь позвонил Норману Хейру, догадываясь, что он тоже осведомлен о ее налете, и склонил его к предательству, за которое он потом был наказан потоком оскорбительных писем. Эмбер же осталась вне подозрений. Должным образом оценив действия Одетты, я в последнюю минуту попытался ее остановить.

«Черт тебя подери! Во всяком случае держись подальше от Лондона!» — сказал я ей по телефону, пренебрегая ролью хворого Тристана в ожидании Изольды.

Я не желал видеть ее в своей квартире, лишь однажды позвал на обед, которым из вежливости угощал одних моих знакомых, побывавших у нас там, и без обиняков объяснил ей, что, чем скорее она возвратится во Францию, тем лучше.

Но она храбро держалась своего представления о происходящем. Она прошла курс обучения по уходу за больным, страдающим диабетом, в клинике Королевского колледжа, хотя Лоуренс и все подряд говорили ей, что я вполне способен позаботиться о себе сам. Был август, каникулы; почти никого из тех, с кем она познакомилась во Франции, в городе не было, и через неделю мне удалось вернуть ее восвояси. Я склонил ее уехать, пообещав присоединиться к ней позднее; мне предстояла огромная работа с гранками «Труда, богатства и счастья человечества», за которую невозможно было браться в августовском Лондоне, тем самым в конце августа я тоже уехал в Лу-Пиду и несколько недель провел там с ней, работал, играл в бадминтон с художником Джоном Уэллсом и с Буасвенами{398}, и обсуждал положение, в котором оказался.

Я всегда знал, что в Лондоне Одетта будет не к месту, но, пока не увидел (и не услышал) ее на фоне Лондона, и представить не мог, что стану ее так стыдиться. Она была достаточно сварлива, шумна, агрессивна и разодета даже для Парижа, а в неброской приглушенности Лондона оказалась уж

вовсе нестерпима. Среди пламенеющего прованского ландшафта, особенно дома, в Лу-Бастидоне или Лу-Пиду, где она носилась по парку, бранила садовника, бранила слуг, бранила рабочих, сплетничала с соседями, присматривала за послушными собаками, которых сочла необходимым завести, вела дом так, что в нем все блестело, ездила в Ниццу, куда я ее возил, чтобы угостить и дать радостную возможность походить по магазинам, отправлялась со мной на далекие прогулки, и вообще пребывала по преимуществу на воздухе, — она была другим человеком, совсем не похожим на тщеславную и настырную городскую Одетту.

И сам я тоже, вероятно, был там другим. У меня выработалась привычка заниматься с ней любовью именно там; у нас были общие интересы: мой утес, где рос падуб, и полевые цветы, и ирисы, наш новый розарий, агавы, апельсиновые деревья, постоянные усовершенствования в доме, и была у нас некая традиция, сохранившаяся от первого успешного года в Лу-Бастидоне, к которой можно было вернуться (см. «Мир Уильяма Клиссольда»).

И еще одно позволяло нам ладить в Лу-Пиду — я был ее единственным слушателем и зрителем. Соответственно она старалась выставить себя передо мной в выгодном свете и уже начинала понимать, с чем я способен мириться. Но стоило появиться другим лицам — и ее преданность мне уступала место другой роли, которая почти всегда вызывала у меня резкий протест. После того как временные пришельцы отбывали, она пыталась оправдать свое поведение либо дулась и избегала меня. Она была страшно уязвлена поражением, которое потерпела в Лондоне, но у нее хватило ума попытаться сохранить лицо. Я вернулся в Лондон перед своим днем рождения в сентябре, так как, изменив своему обычному пренебрежению к празднованию годовщин, хотел, как и два предыдущих, провести его с Мурой, а потом, в конце месяца, отплыл в Америку, чтобы увидеть «Труд, богатство и счастье человечества» глазами прессы и попробовать оценить, что значит для Америки спад тех лет. Англия как раз отказывалась от золотого стандарта, и, с точки зрения экономики, это было чрезвычайно волнующее время. Пока я был в Америке, Одетта вывезла мебель из парижской квартиры и поместила ее на ферме, примыкавшей к Лу-Пиду, которую я купил у четы Голетто. Тогда у меня и в мыслях не было продавать дом. После того как Одетта покончила с этими делами, ее охватило беспокойство, и она отправилась в поездку по Марокко.

В конце ноября (1931 г.) я на итальянском судне вернулся в Канны, силы мои прибывали, и я был полон рабочих планов. До

конца 1932 года я написал, как мне кажется, три хорошие книги: «Облик грядущего», «Самовластье мистера Парэма» и «Бэлпингтон Блэпский» и еще много всякого другого. В мае 1932 года я поехал в Мадрид, чтобы прочесть публичную лекцию и посмотреть, что там за новое правительство. Брать с собой Одетту я не собирался, но потом смилостивился, отправил ей телеграмму, и она на автомобиле, с шофером, приехала в Барселону. Оттуда мы отлично проехались по Испании — наши последние совместные каникулы. Мы ссорились, но не ожесточенно, — теперь она уже не настолько меня интересовала, чтобы я стал ей возражать, и у нее уже зарождалось подозрение, что она теряет власть надо мной. Мы вернулись через Мадрид и обедали с Бибеско{399} (князь Бибеско был румынским послом, а его женой была Элизабет Асквит{400}), и тут Одетта опять нарушила правила приличия: пришла в возбуждение, расшумелась, высказывалась так чудовищно, что гувернантка вдруг встала и вместе с дочерью Элизабет удалилась из комнаты.

«Возможно, это в последний раз ты навлекаешь на меня такой позор», — сказал я и из Барселоны отослал ее домой поездом, а сам, без шофера, поехал в автомобиле.

Мы пытались найти какой-то modus vivendi. Она все время твердила о непомерной любви ко мне, и, наверно, так и чувствовала, на самом же деле в ней говорил инстинкт собственника, привыкшего выставлять себя напоказ, в сочетании с необоримой физической страстью. Она никогда меня не оставит, скорей умрет, и так далее в том же духе. Она наложит на себя руки. С возрастающей неловкостью я мирился с тем, что стал предметом пересудов, но ясно дал ей понять, что в мои английский и американский миры ей ходу нет, и я буду вести себя там как мне угодно; что вне Лу-Пиду она ничего для меня не значит; и что к тому же я все равно могу от нее уйти (ведь мне шестьдесят пять, а она на двадцать лет моложе), лучше ей вообще обзавестись другими интересами в жизни. Часть времени она всегда будет предоставлена самой себе, на этот счет может не сомневаться, а вскоре я умру и она вовсе останется одна.

Я рекомендовал ей взяться за ее монастырский роман и развивать и использовать свою склонность к описательным и критическим статьям, но она и слушать об этом не хотела. Католицизм посеял в ней идею богоугодных дел как достойном занятии для благородной женщины; пребывание в Алжире научило ее, что, чем дальше от цивилизации окажется цивилизованная женщина, тем интереснее она станет; и потому она задумала пройти в Швейцарии курс обучения на сестру милосердия, с тем чтобы в будущем, весьма отдаленном будущем,

о котором она распространялась все больше, отправиться с филантропической миссией в самую глубь Африки. С тех самых пор она и играет в этот курс обучения и с важностью повествует о своих походах в различные учреждения по делам колоний. Теперь, по-моему, ее устремления переместились в Южную Америку. Как бы долго она ни прожила, она так до самой смерти и не закончит курс обучения и так и не осуществит свой филантропический замысел. Однако я горячо поддержал эти ее идеи; в июле она водворилась в Женеве, а я с огромным облегчением вернулся в Лондон. Июль и большую часть августа я провел в Англии, потом вернулся в Женеву, подхватил ее там в конце августа и повез через Col de Galibier[59] в Грас (к стыду Мориса Голетто, на этом перевале вода в моторе моего автомобиля закипела и нам пришлось засыпать в радиатор снег), а в сентябре доставил в Экс, откуда она поехала в Женеву и прожила там почти до конца ноября.

В конце ноября 1932 года я приехал в Лу-Пиду и оставался там до 4 марта 1933 года. То была моя последняя зима в этом доме. Одетте не нравились дисциплины, которым ее обучали в больнице, к тому же она размышляла о наших отношениях и начинала понимать, что нити, которые привязывают меня к ней, медленно ослабевают. Она посмотрела даты моих приездов и отъездов, и оказалось, с каждой зимой я приезжал все позже и уезжал все раньше, но ее это не насторожило, лишь послужило поводом для недовольства. Она чувствовала, что власть надо мной ускользает у нее из рук, и не могла понять, что виноват в этом кто угодно, только не я. Я стал иначе вести себя по отношению к ней. Стал избегать всяких нежностей, особенно на людях, и отказывался ссориться с ней. Интуиция подсказывала ей, что нельзя верить любовнику, который становится обходителен. В прошлом она так меня однажды довела — и похвалялась этим среди прочего, — что я ее ударил. Что же я затеял? Кроме того, она теперь так хотела в Лондон, что это становилось навязчивой идеей. Она сочинила легенду, будто после смерти Джейн я хотел на ней жениться, а она великодушно предоставила мне свободу.

Я поразмыслил над этим ее голодом по Лондону.

«Несправедливо не допускать тебя в Лондон, — сказал я. — Но мой Лондон будет для тебя недоступен. Если ты приедешь в Лондон, ты будешь там сама по себе, без меня, встречаться мы не будем, в мою квартиру тебе путь заказан. У тебя будут свои друзья, у меня — свои. И предупреждаю тебя: возможно, это будет конец нашим отношениям».

«Но ведь зимы тебе придется проводить здесь».

«Даже и это не обязательно».

«Я приеду в Лондон».

Я дал ей пожизненный узуфрукт на Лу-Пиду, а мои подарки и акты, в которых я предоставлял ей право распоряжаться различным имуществом, гарантировали ей от восьмисот до тысячи фунтов в год, тем самым я мог покинуть ее, не мучаясь угрызениями совести. Это значило бы, что я отошел от нее, но никоим образом не бросил на произвол судьбы. И теперь, страшась, что я все дальше отхожу от нее, она сделалась проницательно ревнива. Она чувствовала, что я сравниваю ее со своими английскими приятельницами, что она весь день у меня на глазах и предстает передо мной в невыгодном свете, тогда как те, с кем я встречаюсь в обществе, готовятся к встрече. В Лондоне у меня, должно быть, есть любовница или любовницы и тем самым под нее ведется подкоп. Но кто она, эта женщина? Одетта тщетно мечтала о яде и пистолетах и жаждала написать потрясающее письмо, серию писем, всем подряд, в том числе одной или нескольким неведомым личностям, об этих самых личностях. Я всегда подозревал, что она роется в моей корреспонденции, и, хотя я никогда не делал вид, будто храню ей верность вне Франции, она вечно допытывала всех приезжих из Англии, кто попадался ей на глаза, о моих передвижениях и встречах.

В Лондоне было несколько интересных женщин, с которыми меня связывали тесные дружеские отношения. Не всякой женщине по вкусу, когда домогаются, чтобы она занималась любовью, но большинству женщин нравится, когда мужчина так себя ведет, будто в любую минуту готов стать ее любовником. Тут поцелуи и нежности, заигрывания и полные сожалений отступления, секреты и полупризнания. Это дружба, которая может быть достаточно искренней, и неискренний флирт, который обходит острые углы, опасаясь стать искренним. Многие годы у меня были особенно близкие отношения такого рода с Кристабел Макларен, теперь леди Эберконвэй. Мы познакомились, когда она была блистательной молодой хозяйкой дома, в царствование Элизабет фон Арним, и еще до того, как я впервые взглянул на Муру; мы беседовали, и беседа шла весело; мы понравились друг другу, чувство это окрепло, но иногда на годы иссякало. Мы были настороже, стараясь не дать волю ревности, и оттого, — видя, что оба мы не отличаемся особой добродетелью, — не кинулись в объятия друг друга. Она слишком вросла в свой мир — куда входили семья, дети, положение в обществе, — чтобы когда-либо стать моей в подлинном смысле этого слова, а обычный адюльтер нас не привлекал. И для нее, и для меня это было бы и слишком много, и недостаточно. Мы с

полной откровенностью рассказывали друг другу о том, что нас тревожило, и находили, что время от времени видеть происходящее глазами близкого по духу человека весьма полезно. Мы пишем друг другу весело и раскованно. То, что мы никогда не были любовниками, мы называем нашей «позорной тайной». Почти никто из наших близких и не подозревает о ней.

И вот однажды, когда я поехал в Грас, Одетта, одолеваемая подозрениями, заглянула в мою почту и наткнулась на конверт с короной; не в силах устоять, она его вскрыла и увидела письмо, которое начиналось обращением «Милый», и разговор в нем шел о том, почему у каждого из нас, людей, заслуживающих всяческого поощрения, жизненный путь отнюдь не усеян розами. Прочитав это, Одетта взорвалась, что послужило мне поводом, в котором я нуждался, чтобы порвать с ней, не втягивая Муру в шумную публичную ссору. Последовали чудовищные сцены. Одетта грозилась, что сделает копии этого возмутительного письма, опубликует его для сведения всего света, пошлет Макларену. Я прекрасно понимал, что ничего она не может опубликовать и ничего не сделает такого, о чем Макларенам стоило бы затевать друг с другом разговор. Я слушал ее спокойно, отчего она только больше негодовала, — для меня все было решено, казалось, решено окончательно.

«Раз ты вскрываешь мои письма, — сказал я, — мне здесь больше делать нечего».

И давнее намерение порвать с ней, которое я все откладывал и откладывал, высказанное вслух, упало между нами как опускная решетка.

Только диву даешься, как молниеносно могут наконец порваться износившиеся узы. Я уехал обратно в Англию, а потом вернулся в Лу-Пиду, чтобы запаковать мои личные, самые дорогие для меня вещи. Одетта видела, как я уезжаю и приезжаю, и не могла поверить, что я действительно ухожу. В конце мая я попрощался с ней в последний раз, и мне ясно было, что она думает, будто это просто еще одна ссора в бесконечной чреде наших ссор и что я конечно же вернусь — не столько к ней, сколько к нашей жизни в Лу-Пиду. О своем отъезде из Лу-Пиду я рассказывал в «Автобиографии». Я проехал через всю Италию в Рагузу, там мне предстояло председательствовать на конгрессе ПЕН-клуба. Оттуда я поездом отправился в Зальцбург, где меня должна была встретить Мура.

Одетта устремилась в Лондон. Она настаивала на своем приезде, так что я оплатил месяц ее пребывания в отеле Беркли и предоставил ей полную свободу — пускай по своему усмотрению видится с друзьями, принимает их и осматривает Лондон. Это

был своего рода прощальный подарок, который со свойственной ей неблагодарностью она восприняла не как дар, но как свое право. Когда я вернулся из Австрии, ее требования по-прежнему выходили за рамки нашей договоренности.

Некоторых ее друзей я не знал — то были журналисты, директора издательств и т. п., или друзья двух ее английских зятьев, или случайные знакомые, которых она подцепила в Египте и Северной Америке, а еще были люди, которым я ее представил, вроде леди Ронда{401} и ее свиты или сэра Сент-Джона Эрвина{402} и его жены, игравшие не слишком значительную роль в моей жизни.

Как-то раз я повел ее обедать в ресторан Зоологического сада, чтобы обсудить кое-какие детали наших договоренностей о будущем. Это было не столько обсуждение, сколько монолог, прерываемый моими замечаниями, которых она будто и не слышала. Она объясняла наши отношения, как они видятся ей, говорила о книге, которую пишет, «Я открываю для себя англичан», распространялась о своем невероятном «успехе» в Лондоне, о новых друзьях, которых приобрела, о задуманной ею филантропической экспедиции, — она предполагала повезти в Центральную Африку автомобиль с лекарствами и т. п. При содействии моего друга сэра Джеймса Кэрри{403} она добилась, что в Министерстве по делам колоний к ее фантазии отнеслись вполне серьезно. Она эффектно подала себя там как особу, у которой есть возможность снарядить такую миссию. Я не стал говорить, что ее утверждения и надежды, на мой взгляд, далеки от реальности. Чем больше она воображала себя блестящей и значительной писательницей, обозревателем и исследователем с филантропической жилкой, тем лучше было для нас обоих. Примириться с тем, что я для нее потерян, она не могла. Слишком она старалась развернуть перед моим ошеломленным взором эту призванную ее защитить легенду. Тон нашей встречи в целом был вполне дружелюбный, и, когда я надлежащим образом доставил ее в Беркли, она, с внезапно вспыхнувшей страстью, пригласила меня подняться к ней в номер. Но к ней в номер я не пошел.

Однако ничто не стояло на месте. Одетта возвратилась во Францию и вновь стала практиковаться в Швейцарской больнице. Некоторое время она продолжала мне писать, повествуя обо всем, что было интересного в ее жизни, включая историю о том, как она соблазнила одного из служащих больницы, у которого, вроде того парижского доктора, было, кажется, лестное для него сходство со мной. Она рисовала довольно переменчивый, противоречивый автопортрет блестящей и предприимчивой чаровницы. Ее все еще

озадачивала моя неспособность взять в толк, что я в ней потерял. Но постепенно тон писем менялся, в них стала проступать горькая потаенная обида из-за того, что я устранился от ее личной драмы.

Она взбудораженно прочесывала Лондон, где постоянно слышала обо мне, но никогда меня не видела и где я был не только невидим, но по отношению к ней и глух и слеп.

Я не обращал на нее внимания. Я занимался своими собственными делами и, к ее досаде, вовсе не принимал ее в расчет, чего нельзя было сказать о ней. У нее была потребность орать на меня, бросать в меня камни, позорить меня, разоблачать, донимать и ранить; более того, устраивать сцены и встречаться со мной лицом к лицу. Она выдумала историю, будто я оставил ей узуфрукт на невероятно дорогой дом, который ей приходится содержать на собственные деньги (которые, как она забыла объяснить, дал ей я). По ее словам, выходило так, будто я несправедливо с ней обошелся, и в конце концов она сама в это поверила и вынудила моих наиболее доверчивых друзей написать мне протестующие письма. Разные коварные особы, например леди Ронда, владелица «Тайм энд Тайд», встали на защиту обманутой женщины, с которой так дурно обошлись. В это были вовлечены Этти Рут, Иден Поле, Стелла Кобден-Сандерсон, художник-портретист Джон Уэллс. С разной степенью учтивости, как того заслуживал каждый из них, я всем им порекомендовал не вмешиваться не в свое дело. Требования Одетты сверх всякой меры возмутили моего милого поверенного в Грасе, Жюля Рейно, он доподлинно знал наши отношения и написал мне, умоляя не давать ей возможности получать еще больше денег и никак ее не поощрять. Ей недостает элементарной честности, и, чем больше я буду с ней считаться, тем упорнее она будет добиваться своего.

У Одетты было несколько сот писем от меня — главным образом интимных и в основном неприличных, какими и должно быть большинству любовно-сексуальных писем, — и именно эти письма она грозилась продать. Я разрешил ей их продать и заверил ее, что нисколько их не стыжусь, стыжусь разве только одного, что посылал любовные письма не кому-нибудь, а ей.

Она стала поговаривать о том, что напишет книгу, которая раскроет самые сокровенные глубины моей натуры. Я посоветовал ей поторопиться, так как работаю над своей «Автобиографией» и не собираюсь молчать об интимных проявлениях моей натуры. Ею двигала странная жажда шантажировать, она и помыслить не могла, что мне совершенно безразлично, кому станет известно, что я с ней спал, или какие подробности наших ласк она пожелает довести до общего

сведения. Если ей хочется описать, что делала она и что делали с ней, мне только и остается, что пожать плечами. Я ничуть этого не стыжусь. Не мне об этом рассказывать, но если дама настаивает…

Вскоре леди Ронда опубликовала в «Тайм энд Тайд» серию ее статей «Герберт Уэллс — жонглер». Очень были глупые статьи. Возможно, редактору пришлось вычеркнуть из них пикантные подробности касательно личности того, о ком шла речь. Потом, я полагаю, они были распространены — с восстановленными пикантностями — среди разных мелких издателей, но и Лейну и Кейпу уже приходилось платить за прежнюю клевету Одетты, и потому предложение никого не привлекло, и эти пикантности лишь доставили тайную радость леди Ронде и ее друзьям-приятелям, и еще несколько издательских рецензентов обратили внимание на их веселую откровенность.

В последний раз мы встретились с Одеттой в Лондоне в Куинз-ресторан на Слоун-сквер. Мы с ней обедали, и она излагала свой взгляд на положение дел, будто читала хорошо обдуманное заявление. Она не прервала свою речь ни на миг, не дала мне вымолвить ни слова.

Она назвала условия, при которых не станет продавать письма, но мне было совершенно все равно, кто завладеет этими клочками постельных принадлежностей, этими свидетельствами здоровой потребности организма. Я равно не склонен был выкупать ее чудовищную книгу. «Весь Лондон» станет потешаться надо мной, когда она будет опубликована, утверждала Одетта. Я сказал, что готов рискнуть.

«А ты делай, что задумала. И постарайся получить у издателя деньги вперед, а уж потом и я получу с него компенсацию за причиненный мне ущерб, а также, моя милая, с доверенного твоему попечению и завещанного тебе имущества. Неужели ты не видишь, что я совсем не хочу обижать тебя, но ты упорно на это напрашиваешься, и неужели не видишь, что тебе не уйти от наказания?»

Она пыталась заключить со мной сделку — чтобы я оставил ей Лу-Пиду на прежних условиях и еще выплачивал ей ежегодную ренту.

«Хватит с тебя, — сказал я. — Ты можешь забавно писать. И если пожелаешь, могла бы зарабатывать еще тысячу в год. В конце концов так и будет. Я ушел от тебя, и это лучшее, что я для тебя сделал. Когда и ярость и разочарование останутся позади, ты поймешь, хотя никогда в этом не признаешься, что я обошелся с тобой по справедливости».

Потом она вдруг встала и кинулась наверх, в дамскую

комнату, где ее отчаянно стошнило. Вскоре она вернулась как ни в чем не бывало, освеженная и бодрая. Ее способность мгновенно физически восстанавливаться всегда меня поражала. Я отвез ее на такси в ее временное жилище на Тайт-стрит, и в автомобиле это несчастное существо, в котором переплелись страсть, жадность, всевозможные желания, кинулось на меня с поцелуями и стало звать к себе.

«Милая моя, ты будто ребенок, — сказал я. — Ты и вправду ребенок, несносный ребенок. Не можешь понять, что, когда что-то рвешь, оно порвано, а когда убиваешь, оно мертво».

В следующий раз я услышал ее голос как-то осенью 1934 года. Около двух часов ночи меня разбудил телефонный звонок, и, сняв трубку, я услышал ее голос:

«Мне не спится, Пидукаки, не спится мне. Я слишком взволнована, и мне не спится. Ты мою книгу видел? (Речь шла о книге „Я открываю для себя англичан“.) Она пользуется бешеным успехом. В Лондоне она у всех на устах. Я была на одном приеме, на грандиозном приеме, десятки столиков, и там были мистер Ллойд Джордж и мистер Болдуин{404}».

«Я рад, что ты хорошо проводишь время, дорогая. Это замечательно. Продолжай в том же духе».

«Почему ты так дурно со мной обходишься, Пидукаки? Я говорила о тебе. Говорила блестяще… весь вечер».

«Ну что ж», — сказал я.

«Но я говорила о тебе бог знает что… бог знает что. Все слушали меня затаив дыхание. О тебе и о твоей Муре. Знаешь, я придумала для нее имя. Его узнает весь Лондон. До чего ж смешное имя. Над тобой будет хохотать весь Лондон. Я зову ее не Будберг, а Шлюхберг, баронесса Шлюхберг, я…»

Я положил трубку, поразмышлял о том, что есть в Одетте какая-то забавная безответственность, уверил себя, что сделал для нее все, что мог, полностью себя оправдал на ее счет, повернулся на другой бок и мирно уснул.

Потом некоторое время наши отношения были намеренно непрямые. Я слышал о ней от разных общих друзей, а Жюль Рейно из Граса постоянно пишет мне об ее противоречивых намерениях относительно моего дома. Давным-давно я стал выплачивать тысячу франков в месяц ее сестре Мэгги, отважной вдовушке с тремя детьми, живущей в Париже. Я не видел причин наказывать Мэгги из-за того, что порвал с Одеттой, и потому она получает деньги, и мы переписываемся по сей день. Мэгги питает ко мне на удивленье теплые чувства и потому время от времени шлет мне письма, в которых рассказывает об успехах детей и поносит сестру, у которой хватило глупости меня отпустить. (Но

справедливости ради должен заметить, что все обстояло совсем не так просто.)

Зимой 1934/35 года я самолетом отправился с Мурой в Палермо, чтобы отдохнуть там три недели, но в Марселе мы узнали, что на аэродроме в Остии наводнение, а так как мы оба слишком устали и долгое путешествие по железной дороге нам было не по силам, мы остановились на Ривьере. Мы жили в Ментоне и в Ницце; неделю гостили у Сомерсета Моэма на его «Вилле Мореск» на мысе Ферра и у Крошки Элизабет в ее доме в Мужен-Сарту. В один из дней, с видом еще более страдальческим, чем обыкновенно, Моэм пробормотал мне:

«Я получил письмо от Одетты».

«Пакость?»

«Да… именно».

«У меня их сотни. Надеюсь, вас это не слишком заботит. Я не представляю, как положить этому конец».

«Я напишу ей, что именно я о ней думаю».

«И потом весь день будете не в себе. И едва отправите письмо, тотчас захотите его переписать. Самый лучший и самый простой путь дать ей понять, что именно вы о ней думаете, — молчание».

Но он в конце концов написал ей короткое, исполненное достоинства письмо, и если она потом и писала ему, мне об этом неизвестно. Когда подобную же «пакость» получила Элизабет, она на письмо просто не ответила.

Итак, уход Одетты из моей жизни сопровождается прощальными слабеющими залпами. Чем дальше, тем все больше она видится мне неким странным существом, обуреваемым страстью защититься от всех и вся. Время от времени она пишет мне о моем коте или моих ласточках, и соловьях, и лягушках, и розах, и жуках-светляках, обитающих в Лу-Пиду. Что и говорить, жаль терять все это очарование, но на свете есть и множество иных услад. Мне думается, она пишет обо всем этом, чтобы возбудить во мне сожаление и ревность. В ее письмах то вспышки безмерной любви, то чудовищная брань. Я редко сержусь на нее, но и не испытываю никакой любви. По ее милости у меня бывали пренеприятные минуты, но никогда она не причинила мне никакого вреда, о котором стоило бы говорить, и в лучшем своем виде она была поразительно искрометна и занятна. Если ее хороший, практический, ограниченный «латинский» ум был направлен на мою рукопись или гранки, она могла не столько покритиковать меня, сколько предостеречь, что то или иное высказывание может быть неправильно истолковано, а это часто было мне чрезвычайно важно. Она посоветовала мне заострить и

сжать многие мои умозаключения. Ум Одетты обладал несколькими драгоценными свойствами. Люби я ее больше или будь у меня более глубокий, более всеобъемлющий ум, я, вероятно, сделал бы для нее куда больше и обошелся бы с ней куда лучше. Но где уж мне.

Что-то есть отвратительное в ее тщеславной самовлюбленности, что мешает длительной близости с ней. С Одеттой невозможно ладить, никак невозможно. Ей невозможно помочь, разве что на ее собственных нелепых условиях. Даже когда она в здравом уме, она не видит никого, кроме самой себя, эдакая лавина самоуверенности, притворства и напористости, и рано или поздно над головой самого верного из ее союзников разражается буря. Requiescat in pace[60].

9. Мура — широкая душа

Мне думается, со времени моей крайне примитивной, детской, чувственной и безотчетной страсти к Эмбер и до смерти моей жены в 1927 году я ни разу, за исключением каких-то мимолетностей, не был по-настоящему влюблен. Я неизменно и безусловно любил и доверял Джейн. А другие романы занимали в моей жизни примерно то же место, что в жизни многих деловых мужчин занимает рыбная ловля или гольф. Все они служили дополнением к моим общественно-политическим интересам и литературной деятельности. Они были сплетены с моим пристрастием к перемене обстановки и с необходимостью вести мой дом за границей — и благодаря им я был бодр, энергичен и избавлен от однообразия. Во время нашей связи с Ребеккой я всегда был на пороге влюбленности в нее, как и она часто бывала на самом пороге влюбленности в меня, и я изо всех сил старался эмоционально соответствовать неистовым ласкам Одетты. После разрыва с Ребеккой я, как уже рассказано выше, сделал попытку всерьез приспособиться к Одетте и продолжать свою работу, но начиная с 1920 года в моем воображении присутствовала иная личность, то далекая, то близкая и наконец оказавшаяся совсем рядом. Ее я любил естественно и неотвратимо, и, несмотря на все ее недостатки и связанные с ней волнения, о которых речь впереди, она полнее кого бы то ни было удовлетворила мою тягу к подлинной плотской близости. Я еще и сейчас до такой степени «принадлежу» ей, что не могу оторваться от нее. Я до сих пор ее люблю.

В моем убеждении, что Мура неимоверно обаятельна, мне думается, нет и намека на самообман. Очень и очень многие любят и обожают ее, восхищаются ею и жаждут доставить ей

удовольствие и служить ей. И однако довольно трудно определить, какие такие свойства составляют ее особость. Она, безусловно, неопрятна, лоб ее изборожден тревожными морщинами, нос сломан; ей сорок три года (1934 г.), в темных волосах седые пряди; она слегка склонна к полноте; очень быстро ест, заглатывая огромные куски; пьет много водки и бренди, что по ней совсем не заметно, и у нее грубоватый, негромкий, глухой голос, вероятно, оттого, что она заядлая курильщица. Обычно в руках у нее черная, видавшая виды сумка, которая редко застегнута как положено. Руки прелестной формы, всегда без перчаток и часто весьма сомнительной чистоты. Однако почти всякий раз, как я видел ее рядом с другими женщинами, она определенно, причем не только на мой взгляд, оказывалась и привлекательнее, и интереснее всех остальных. Женщины влюблялись в нее с первого взгляда, а мужчины спрашивали о ней и говорили о ней, делая вид, будто не так уж она их и заинтересовала.

Мне думается, людей прежде всего очаровывает известная вальяжность, изящная посадка головы и спокойная уверенность осанки. Ее волосы особенно красивы над высоким лбом и спускаются на затылок широкой нерукотворной волной. Карие глаза всегда смотрят твердо и спокойно, татарские скулы придают лицу выражение дружелюбной безмятежности, даже когда она поистине дурно настроена, и сама небрежность ее платья подчеркивает ее силу, дородность и статность фигуры. Любое декольте обнаруживает свежую и чистую кожу. У нас обоих кожа на редкость гладкая и чистая. В каких бы обстоятельствах Мура ни оказалась — а я видел ее в весьма непростых обстоятельствах, — она никогда не теряла самообладания.

Я пытался запечатлеть на пленке хоть что-то от ее внешней прелести, но фотоаппарату это не давалось. Ни к кому из тех, кого я знал, не считая моей невестки Марджори, он не был так враждебен. На фотографии от Муры мало что остается; лишь моментальный снимок в полный рост дает хоть какое-то представление о ее замечательной осанке и еще один, в полупрофиль, — о загадочной детской прелести пребывающего в покое лица. Обычно же на фотографии чистое уродство: лицо дикарки с маленьким, приплюснутым, сломанным в детстве носом и раздутыми ноздрями. Она невероятно походит на портреты своего предка Петра Великого. Однажды я заказал ее портрет художнику Роджеру Фраю в надежде, что он сумеет уловить ту Мурость, что делает Муру Мурой. Он взялся за дело с жаром; по его словам, у него никогда еще не было такой очаровательной модели; и он написал портрет

непривлекательной женщины, которая с неудовольствием вглядывается в свое будущее. Ей скучно было позировать, и только это ее настроение он и передал. Я поспешно отдал портрет одной из ее приятельниц, та повесила его в столовой, но, промучившись несколько дней, выставила на чердак, лицом к стене.

Мы оказались с ней на одном званом обеде в Петербурге в 1914 году — она об этом помнит, а я нет, — но познакомился я с ней и обратил на нее внимание в квартире Горького в Петербурге в 1920 году Она была в старом плаще цвета хаки, какие носили в британской армии, и в черном поношенном платье, ее единственный, как оказалось, головной убор представлял собою, я думаю, не что иное, как черный скрученный чулок, и, однако, она была великолепна. Она засунула руки в карманы плаща и, похоже, не просто бросала вызов миру, но была готова командовать им. Ей было тогда двадцать семь; представление о жизни она получила в дипломатическом мире Петербурга и Берлина; с одним мужем, Энгельгардтом, она разошлась; с ее вторым мужем, Бенкендорфом, зверски расправился эстонский крестьянин; у нее был потрясающий роман с Брюсом Локкартом, о котором он подробно рассказал в книгах «Мемуары британского агента» и «Уход от славы»; она попыталась сбежать в Таллин, чтобы соединиться там со своими детьми, просидела полгода в тюрьме и была приговорена к расстрелу. Но ее освободили. Теперь она была моей официальной переводчицей. И она предстала передо мной любезной, несломленной и достойной обожания. Я влюбился в нее, стал за ней ухаживать и однажды умолил ее, и она бесшумно проскользнула через набитые людьми горьковские апартаменты и оказалась в моих объятиях. Я верил, что она меня любит, верил всему, что она мне говорила. Ни одна женщина никогда так на меня не действовала.

Одинаково трудно сказать что-либо определенное и об ее уме, и о нравственных устоях, хотя я стараюсь изо всех сил. Я поймал ее на мелком вранье и на уменье довольно долго утаивать правду. И то и другое, мне кажется, часто никак не мотивировано. Она обманывает непреднамеренно. Просто такая у нее манера — небрежно обращаться с фактами. Она хочет, чтобы к ней хорошо относились. В каждом случае и для каждого человека у нее своя роль, но ей недостает последовательности; во многих отношениях она еще точно подросток, одаренный богатым воображением. Она так же верит тому, что говорит; и недоверие возмущает ее, очень возмущает. Я же теперь не верю ни единому ее слову, пока не найду солидных подтверждений. Она лжет, а еще невольно себе потакает. Я понял это лишь в последние год-два. Она может

выпить невесть сколько водки, бренди и шампанского, и на ней это никак не скажется. На днях мы обедали у Мелчетов, и лорд Моттистон{405}, заметив, что ее бокал снова и снова наполняется, заявил, что не может уступить первенство женщине, и стал, как и она, осушать бокал за бокалом — в конце концов он превратился в болтливого зануду с хриплым голосом, тогда как Мура своим обычным голосом как ни в чем не бывало беседовала с дамами. Сколько бы она ни выпила, ее манеры, осанка, цвет лица остаются неизменными, и, только присмотревшись к ней и поразмыслив, я понял, что алкоголь делает ее чуть менее самокритичной и дает ей видимость уверенности в себе. Алкоголь просто слегка расковывает ее. Освобождает от застенчивости и последовательности и больше ни в чем себя не обнаруживает. У нее появляется ощущение, что с ней все обстоит нормально и не о чем беспокоиться. И она не беспокоится.

Ум у нее не выдающийся и не оригинальный, но очень живой, широкий и проницательно острый. Гибкий ум, не стальной. Она мыслит чисто по-русски — пространно, извилисто и с той философической претенциозностью, что присуща речи русских, которые всегда идут к заранее известному им заключению окольными путями. Я говорю, что она мыслит чисто по-русски, потому что, как я подозреваю, в самой структуре русского языка и в традиции русской литературы есть известная вялость, которая и сообщается тем, кто изъясняется по-русски. Мура — личность развитая, у которой мышление не научное, а литературно-критическое. В русском характере, кажется, весьма существенную роль играет детский романтизм и намеренное, высоко ценимое своеволие. Естественно, что Мура не приемлет рассказы Чехова о России и «Тщету» Джерарди{406}, ведь первые — критика ее склада ума, а последний — карикатура на него. У Одетты было куда больше ясности в мыслях и проницательности, правда, в пределах латинского воспитания. У Джейн, Эмбер и моей невестки Марджори ум куда упорядоченней, и любое их утверждение и толкование куда осознанней, чем у Муры. В образовании Джейн, Эмбер, Марджори и моей дочери определенное место занимала наука, и они мыслят на английский манер. Необходимость управлять собой у них в крови. У Муры этого и в помине нет. Такого порывистого существа я в жизни не видел. Однако ей присуща и удивительная мудрость. Она может вдруг пролить свет на какой-нибудь вопрос, точно солнечный луч, прорвавшийся сквозь облака в сырой февральский день. И если она подвластна порывам, порывы ее прекрасны и благородны.

В Петербурге в 1920 году она изо всех сил старалась мне

объяснить, что происходит в России, и высказать свою точку зрения на происходящее; с величайшей готовностью она однажды пришла мне на помощь — посоветовала, как себя вести, чтобы не попасть в ложное положение. В ту пору у большевиков было принято приглашать любого знаменитого гостя на заседание Ленинградского Совета. Во время заседания кто-нибудь вдруг объявлял о его присутствии, превозносил его и просил выступить. В таких обстоятельствах трудно было в свою очередь воздержаться от похвал и не выразить надежду на успехи во всех делах. Выступление тотчас переводили, превращая его в безответственный панегирик марксистскому коммунизму, публиковали в «Правде» и где-нибудь еще и по телеграфу передавали в Европу, куда выступавший затем приезжал в тщетной погоне за отправленным материалом. Мура посоветовала мне заранее написать мою речь и, когда меня попросят выступить, прочесть ее, она же загодя переведет ее на русский язык. Я последовал совету, а когда встал Зорин{407}, чтобы пересказать ее, превратив в обычное прославление нового режима, я протянул ему Мурин перевод: «Вот то, что я говорил, прочтите». Он был застигнут врасплох, и ему ничего не оставалось, как прочесть. Таким образом благодаря Муре мне не приклеили ярлык красного перебежчика, и для женщины, уже находящейся под подозрением, это, по-моему, был мужественный поступок.

Когда я уезжал из Петербурга, она пришла на вокзал к поезду, и мы сказали друг другу: «Дай тебе Бог здоровья» и «Я никогда тебя не забуду». В душе и у нее и у меня осталась, так сказать, половинка той самой разломленной надвое монетки. Как множество подобных половинок, они не всегда давали о себе знать и, однако, всегда существовали.

Я уже говорил, что мы писали друг другу лишь изредка. В те дни письма в России пропадали, и было неразумно поверять бумаге даже свои личные секреты. Мы не виделись восемь лет или больше, и вдруг при встрече в фойе рейхстага на нас нахлынули и загорелись ярким светом воспоминания о шепоте во тьме и жадных, ищущих касаниях рук.

«Ты?!»

Я всегда, мне кажется, был склонен слишком истово относиться ко всему, что полагал своим долгом. В 1929 году меня связывали отношения с Одеттой, так же как в 1920-м отношения с Ребеккой. В 1929 году в определенный день и час я должен был быть в Грасе, так же как в 1920-м — в Лондоне. Мне кажется, прежде всего из-за этого я и уехал и оставил Муру в Берлине. Но зачем же я не вернулся в Лу-Пиду и без промедления не

«ликвидировал», пользуясь русским выражением, свою связь с Одеттой.

Мне кажется, вернись я той весной в Берлин и настоятельно предложи Муре соединиться со мной бесповоротно и навсегда, это подействовало бы на ее воображение. А я мешкал четыре года и вместо этого посылал ей жалкую, грошовую ренту.

Не могу в должной последовательности изложить все, что происходило между нами в 1929–1930 годах. Я очень рискую изменить порядок событий и фальсифицировать их и не знаю, как этого избежать. До 1929 года Мура не могла приехать в Англию из-за каких-то осложнений с паспортом. Потом преграда, какова бы она ни была, — по-моему, против приезда Муры возражал Джойнсон-Хикс, министр внутренних дел, из-за какой-то версии ее отношений с Локкартом, — была разрушена, и с тех пор она приезжала в Англию и жила там сколько угодно, подчиняясь обычным правилам для иностранцев. И поскольку мы не женаты, мы бываем вместе ровно столько, сколько хотим.

Но, думаю, я не пытался немедленно соединиться с Мурой не только из-за моих уз и привычек. Я думаю, с самого начала у меня было очень ясное ощущение, что есть много такого, чего мне лучше не знать. Я не хотел слышать историю ее жизни, не хотел знать, какие неведомые мне воспоминания о прошлом или нити чувств переплелись у нее в мозгу. Позади был бурный роман с Локкартом, а я считал и считаю, что Локкарт — презренный прохвостишко. Она вышла замуж за Будберга в Эстонии, когда уехала из России уже после того, как мы были любовниками, и я не желал знать подробности этого замужества. Она развелась с мужем — это был так называемый немецкий развод: Будберг — отчаянный игрок — оказался замешан в каком-то темном деле и сбежал в Бразилию, но иногда он все еще писал ей. Я думал, и так думает большинство людей, которые ее знают, что, когда она жила в Сорренто у Горького в роли его домоправительницы и секретаря, она была его любовницей. Мне известна безрадостная, замысловатая суетность и сложность горьковского ума, и я не представляю, чтобы он мог оставить ее в покое, но Мура всегда утверждала, что сексуальных отношений между ними не было. Однако у него на письменном столе лежал слепок ее руки. Он невероятно расхваливал ее. Она с ним переписывалась — об этом я еще расскажу. Горький доверял ей и полагался на нее — до такой степени, что, когда умирал, захотел, чтобы она была рядом.

По ее словам, у нее было всего шесть любовников и она никогда не принадлежала никому, кроме них — Энгельгардт, Бенкендорф, Локкарт, Будберг, один итальянец в Сорренто и я. Она не такая шалая, похотливая особа, как Одетта; она не

проявляет сексуальной активности, напротив, ей нравится, когда активен мужчина, и она охотно ему отвечает. Она говорила мне, что находит неестественной и нестерпимой самую мысль о возможности отдаться кому-то без любви. Ей вовсе не обязательно было мне это сообщать — а она сказала как-то в 1933 году, — но тогда я просто жаждал ей поверить. Верю этому и сейчас. Однако вначале я вовсе не был в этом убежден. Я судил по себе. Я думал, у нее было такое же множество партнеров, как у меня женщин, и все эти отношения могли с таким же успехом продолжаться. В ту пору я не донимал ее вопросами. Она держалась непринужденно и дружелюбно со всеми, и у меня не было оснований предполагать, что она физически так уж разборчива. Однако ей была свойственна эмоциональная разборчивость и целостность чувств. Она, несомненно, никогда не отдавалась из корысти, но все в ней говорило, что она свободна в проявлении чувств и податлива. Многие женщины этого прелестного типа, к примеру Эллен Терри{408}, были и свободны в проявлении чувств, и податливы.

Оттого, что я так о ней думал, мне легче было принимать нашу неупорядоченную связь во всей ее неупорядоченности; полагая, что мы оба находимся на перепутье, я продолжал привычные дружески-сексуальные отношения с тремя-четырьмя женщинами в Лондоне, когда она уезжала за границу, и откладывал разрыв с Одеттой. Ведь если бы Мура ушла от меня, как однажды ушла ко мне, горе было бы поправимо. Рассуждая таким образом, я, должно быть, неправильно ее понимал.

Все эти годы, пока я мешкал, мое умышленно легкомысленное отношение к Муре постепенно менялось, и в конце концов моя любовь целиком сосредоточилась на ней. Мы становились все ближе друг другу, и она делалась мне все необходимей. А может быть, со временем я просто стал яснее осознавать свое истинное отношение к ней, к ее незаурядной натуре. Когда ее не было рядом, мысли о ней буквально преследовали меня, и я мечтал: вот сейчас заверну за угол, и она предстанет передо мной — в таких местах, где этого никак не могло быть. Однажды, когда я был в ссоре с Одеттой, а Мура уехала в Германию, я отправился по одному адресу в Париже, который она как-то дала мне, в смутной надежде, а вдруг каким-то образом она окажется там (это был адрес гостиницы, и, как выяснилось, там ничего о ней не знали); к тому же я чрезвычайно дружески и внимательно относился к одной своей соседке в Лу-Пиду, русской даме лет шестидесяти, просто потому, что она была высокая и слова произносила как Мура — говорила «энергия» (с мягким «е») и точно так же, как Мура, вместо «этот»

говорила «тот».

Совершенно невозможно сказать, в какой мере в то переходное время меня отвращала Одетта и пленяла Мура, но думаю, что магнетизм Муры перевешивал. К концу 1932 года я готов был сделать все и на все посмотреть сквозь пальцы, лишь бы Мура целиком принадлежала мне.

В апреле 1932 года мы провели несколько дней в отеле Фодергилла в Аскоте, и тогда я заговорил с ней о браке.

«Давай не будем ничего менять», — сказала она.

«Но почему?»

Вот тогда-то мы и условились встретиться в Австрии после конгресса ПЕН-клуба в Рагузе.

«И тогда мы встретимся, чтобы уже никогда не расставаться», — сказал я.

Вечерами приходил Фодергилл в бутылочно-зеленом фраке с медными пуговицами и в туфлях с пряжками и заводил разговор о еде и питье, о содержании гостиницы, о России и о способности баронессы к языкам. Этот поразительный хозяин гостиницы даже написал о себе книгу, и наше пребывание у него в номерах было особенно приятно из-за того, что среди постояльцев оказались и три слона. То были слоны из цирка, привезенные на гастроли; они занимали часть необъятной конюшни Фодергилла, каждый день упражнялись с дрессировщиком на лугу и, когда мы выходили посмотреть на них, устремлялись к нам, вытянув хобот, — знали, что мы угостим их яблоками.

«Слониха вытащила яблоко у меня из кармана!» — восклицала Мура, сияя от удовольствия.

Мы были поистине счастливы в Зальцбурге и Вене; мы бродили по зеленым окрестностям Эдлаха и поднимались в Альпы.

«Это только начало нашей совместной жизни, — сказал я. — Немного погодя мы поженимся».

«Но жениться-то зачем?» — спросила Мура.

Мы заспорили о браке.

«Я приеду к тебе куда угодно», — сказала она.

«Но зачем уезжать?»

«Если я постоянно буду с тобой, я тебе наскучу».

Но в Зальцбурге происходило что-то, с чем я не стал разбираться. Тогда поведение Муры еще не настораживало меня. Она слала телеграммы в Россию и чем-то была встревожена. Она мне рассказала, что ее зовет Горький. В ту пору она тоже еще не относилась ко мне особенно настороженно. Горький серьезно болен, быть может умирает, и очень хочет ее видеть. Он потерял сына, и ему одиноко. Ему хочется поговорить о былых временах в

России и в Италии.

«Не поеду я сейчас!» — сказала Мура по дороге на телеграф, похоже, возмущенная столь настойчивой просьбой. Об этом я вспомнил позднее, а тогда жаждал одного — чтобы это неуместное вторжение не докучало нам. В свое время Мура дала мне слово, что с Горьким ее связывает только Большая Дружба. На той стадии наших отношений ничто не могло встать между нами.

Мы вместе доехали из Австрии до самого Парижа, и там я ее оставил, она хотела навестить сестру. Немного погодя она присоединилась ко мне в Лондоне, и я стал открыто появляться с ней повсюду и всем представлял ее как свою будущую жену. Вот тогда-то я лишился способности трезво оценивать все, что касалось Муры; я дал волю воображению; я размечтался сверх всякой меры, стал питать невероятные надежды и, в сущности, «по уши влюбился» в нее и всячески это выказывал. Вопреки всему, что я знал, я измыслил новую поразительную Муру; я до неузнаваемости раздул свою любовь; и когда огромный мыльный пузырь моих упований наконец не выдержал и лопнул, оказалось, что за время пути Мура былых дней, дней нашей свободной, доверчивой близости, исчезла. Мы ранили друг друга, и наши раны постоянно кровоточили, и, не желая того, она наносила мне удары куда более ощутимые, чем я ей.

Мы все еще близки (весна 1935 г.) и можем флиртовать друг с другом и заниматься любовью. Мы большие друзья и с удовольствием делим кров и ложе. Но апрельский свет уже не пронизывает все вокруг и мимолетное сияние счастья исчезло навсегда.

Тогда я хотел, чтобы она вышла за меня замуж в полном смысле этого слова. Хотел, чтобы она окончательно связала со мной свою жизнь, чтобы мы слились не только телом, но и душой, чтобы в большое рискованное путешествие мы отправились вместе. Я не сомневался, что мир уже достиг той стадии, когда мои политические представления могли быть претворены в жизнь. Я не считал, что мог бы сам, как говорится, играть заметную роль в политике, но был уверен, что мог бы дать могучий толчок развитию идей. Я полагал, что пришло время использовать для этого кино и что это можно было бы сделать задолго до того, как начнут действовать противоборствующие силы.

Я хотел поехать в Америку и втолковать тамошней публике свои идеи, хотел поехать в Россию и донести те же идеи до нее, хотел выступать в Европе, и при том, что Мура легко объясняется почти на всех ведущих европейских языках и живо, осмысленно

интересуется политикой, я полагал, мы могли бы многого достичь. Мне казалось, в этом совместном путешествии ее невозмутимость и присутствие духа были бы бесценны. Уже тем, что она была бы рядом, она поддерживала бы меня и придавала мне бодрости, а это удесятеряло бы мои силы и уверенность в себе. В моих мечтах ее возможности помогать мне и вдохновлять меня были безграничны. Наконец-то, думалось мне, я нашел себе пару.

Но начиная с австрийского медового месяца было ясно, что мысль о браке и супружестве ей решительно не по вкусу. Наша связь ее вполне удовлетворяла и радовала, а моя мечта оставляла ее совершенно равнодушной. Казалось, она и думать об этом не желает, хотя, возможно, она была не столько равнодушна к ней, сколько опасалась, по силам ли нам воплотить ее в жизнь.

Несколько месяцев наши отношения складывались трудно. Я бывал с ней у своих друзей; мы вместе ездили по западу и югу Англии, вместе прожили три недели в Борнмуте, и я всюду представлял ее как свою будущую жену, но она со сдержанным упрямством противилась осуществлению моей мечты. Мы провели в Борнмуте больше месяца в январе — феврале 1934 года, и я пожил бы там подольше — я тогда работал над своим пропагандистским фильмом «Облик грядущего», кроме того я выступал по радио, делясь со слушателями мыслями о перспективах нашего мира, — но Мура была так явно встревожена, без конца вела такие долгие телефонные разговоры с Лондоном, что я вернулся с ней туда, уже глубоко разочарованный и рассерженный. Я начал понимать, что, хотя для нее я восхитительное приключение и ее официальный любовник, у нее множество разнообразных интересов и привязанностей, которые кажутся ей куда необходимей и реальней, чем эта моя высокая и трудноосуществимая мечта. Ее душа обреталась главным образом в мире русских беженцев, в делах ее семьи, за кулисами международного журнализма, в хитросплетении воспоминаний о прошлой деятельности. У нее были близкие друзья, с которыми она делила тюрьму и нищету. Она вращалась в среде странных личностей, эмигрантов и авантюристов, любителей одолжаться и тех, кто нуждается в помощи, сознавая при этом свое превосходство. Она любит помогать, любит дарить. Для такой публики она была «чудесной Мурой», и эта легкая роль ей нравилась. Она все еще поддерживала дружеские отношения с великим множеством мелкой дипломатической сошки и газетчиков, промышляющих на обочине дипломатии, и с людьми из породы Брюса Локкарта; политика ей все еще представлялась смесью дипломатических интриг, конференций, газетных

материалов и анекдотов. Она любила занятие, которое давало ей средства к существованию и состояло в продаже переводческих прав и в иных подобных делах. Она гордилась своей независимостью. Это и была для нее подлинная реальность, тогда как мои замыслы отнюдь не казались ей реальными.

Она находилась в плену своих привычек, и они влияли на нее куда больше, чем я. Если жизнь озадачивала ее или приводила в уныние, если ее одолевали сомнения или лень, она пила бренди. Если жизнь все еще приводила ее в уныние или озадачивала, она опять пила. Я понятия не имел, до какой степени ее неспособность примениться ко мне и соответствовать моим нуждам поддерживалась этим легкодоступным утешением.

Я стал выходить из себя и ревновать. Она уехала на Рождество в Эстонию; сказала, что это необходимо, а мне было невдомек, почему это всего важней.

«Но я же всегда проводила Рождество в Эстонии!» — сказала она и вернулась через три недели.

«Я хочу, чтобы ты поехала со мной в Америку, — сказал я. — А чтобы там нам было комфортно, мы должны быть женаты. Нельзя, чтобы неизбежные в противном случае осложнения сказались на результатах нашей поездки. И я хочу побывать с тобой в России, без тебя я там слеп. А с тобой… Это благодаря тебе я в 1920 году увидел Россию. Надеюсь, и теперь так будет».

Она по-прежнему противилась браку и уверяла, что никак не может сопровождать меня в Россию. Она убедила меня, что в Россию ей путь заказан. И говорила это, глядя мне прямо в глаза.

«Я хочу поехать в Америку и побеседовать с Рузвельтом, — сказал я. — Если ты со мной не поедешь, я вынужден буду отправиться один».

Она позволила мне уехать одному, в апреле, а сама опять устремилась на Восток, якобы по своим эстонским делам.

Я вернулся из Америки тверже, чем когда-либо настроенный ехать в Россию и побеседовать со Сталиным. Мура повторила, что сопровождать меня в Россию она не может, и в июле 1934 года я решил ехать туда со своим сыном Джипом. Я договорился о полете в Москву, и примерно за неделю до того, как мне предстояло улететь, мы условились с Мурой, что она поедет в Эстонию. Тогда на обратном пути из России я поживу у нее в Таллине и расскажу ей обо всех происшедших там переменах. Я проводил ее из Кройдона. Мы расстались очень нежно. Помню, она улыбалась, прижавшись к стеклу, когда аэроплан двинулся прочь от меня.

Тогда я последний раз представлял себе Муру в роли возможной помощницы в большом политическом предприятии.

В Москве мне мешало полнейшее незнание русского языка и претил «Интурист», опекой которого я был ограничен. Мне нездоровилось, и я был изрядно раздражен. Беседа со Сталиным, которую я описал в своей «Автобиографии» и опубликовал отдельной брошюрой, получилась нескладная.

Через день-другой после нее я поехал в автомобиле к Горькому в его большой загородный дом — повидаться и вместе пообедать. В «Автобиографии» я описал наш скучнейший спор о свободе выражения. Со мной был Андрейчин, мой официальный гид, и Уманский, переводчик во время беседы со Сталиным.

«Каким путем вы возвращаетесь в Лондон?» — спросил Уманский без всякой задней мысли.

Я ответил, что возвращаюсь через Эстонию, где собираюсь пожить несколько недель в Таллине у своего друга баронессы Будберг.

«А она была здесь неделю назад», — сказал Уманский, не ведая, какой наносит удар.

Я был так ошеломлен, что не смог скрыть удивления.

«Но три дня назад я получил от нее письмо из Эстонии!» — сказал я.

Вмешался Андрейчин, явно желая остеречь Уманского, и в дальнейшем тот предпочел держать язык за зубами.

«Вероятно, я ошибся», — солгал он в ответ на мои расспросы.

Я изо всех сил постарался собраться с мыслями, но никак не мог прийти в себя. Я продолжал разговаривать с Горьким, и, пожалуй, не слишком бы удивился, если бы вдруг с улыбкой вошла Мура, желая со мной поздороваться. Но она вновь улепетнула в Эстонию. Встречаться со мной в России никак не входило в ее планы. Я бы стоял ей здесь поперек дороги. Мог бы что-то понять или чему-то помешать. Когда мы с Андрейчиным спускались к ужину, я попросил его сказать Горькому:

«Мне недостает нашей прежней переводчицы, Горький».

Он был застигнут врасплох.

«Кого вы имеете в виду?»

«Муру».

Последовал торопливый разговор по-русски между Андрейчиным и Горьким.

«Горький говорит, что за последний год она была тут трижды», — сказал Андрейчин.

Значит, на Рождество и когда я был в Америке, тотчас сообразил я. Мне было сказано больше, чем я рассчитывал услышать.

«Вот как, — сказал я. — А я и не знал. Понятия не имел».

После моих слов они о чем-то заговорили вполголоса. Вскоре

Андрейчин объяснил мне, что Мурины приезды в Россию в некотором роде тайна — они могли бы поставить ее в неловкое положение в Эстонии и перед русскими друзьями в Лондоне. Так что лучше бы мне никому о них не поминать. То была торопливая попытка восстановить мое пошатнувшееся доверие, но с моей точки зрения она никак не объясняла, почему Мура утаивала эти свои поездки от меня.

«Разумеется», — сказал я, словно просьба была самая заурядная.

Итак, вечером от созданного мной образа великолепной Муры не осталось и следа. Почему она так странно, тайком поехала в Москву? Почему, опять тайком, уехала? Почему ничего не сказала мне об этой эскападе? Если в ее поездке не было ничего предосудительного, почему не дождалась меня и не вернулась вместе со мной? Почему хотя бы не дождалась меня, чтобы увидаться и спросить, чем может быть мне полезна? Почему предоставила мне справляться со всеми трудностями одному? Какая ее маска была бы сорвана, если бы мы с ней встретились в доме Горького? Каких разоблачений она боялась? Возвращаясь ночью в Москву с Уманским и Андрейчиным, я всю дорогу угрюмо молчал.

До самого отъезда из России я не сомкнул глаз. Самолюбие мое было безмерно уязвлено, я был обманут в своих надеждах. Ни разу в жизни никто не причинял мне такой боли. Это было просто невероятно. Я лежал в постели и плакал, словно обиженный ребенок, либо метался по гостиной и размышлял, как же проведу остаток жизни, который с такой уверенностью надеялся разделить с Мурой. Я отчетливо осознал, что теперь я один как перст.

«Почему ты так со мной обошлась, Мура? — снова и снова вопрошал я. — Почему ты так со мной обошлась, дуреха ты этакая?»

Я сидел за письменным столом, большим, неуклюжим, резным столом, который утащили из какого-нибудь дореволюционного дворца, с громоздкими тумбами и чернильным прибором из меди и камня и раздумывал, как теперь быть. В какую-то минуту мной овладела жажда мести.

Я отказался от билетов и номеров в гостиницах, которые заказал заблаговременно, чтобы мы могли не спеша вернуться вместе из Эстонии через Швецию и Готский канал. Это путешествие я мысленно совершил один. Я сделал дополнительное распоряжение к завещанию, аннулируя пункт о весьма значительном содержании, которое ей назначил, и засвидетельствовал это в Британском посольстве, когда обедал там на следующий день. Я распорядился аннулировать

банковское поручительство, которое обеспечивало ей в Лондоне открытый кредит. В Швеции и Норвегии у меня было назначено несколько встреч, так что я счел за лучшее лететь из Ленинграда прямо в Стокгольм и провести там те три недели, что собирался пробыть в Эстонии. Вся адресованная мне почта приходила в Эстонию, а ведь там были и срочные письма. Я написал и порвал два-три письма к Муре. Этим были заняты мои московские ночи. Рассвет заставал меня за письменным столом. Все осложнялось еще тем, что из-за махинаций некоторых недобросовестных литературных агентов, которые не имели никакого отношения к тому, что произошло в Москве, я должен был не позднее чем через три недели отправить из Эстонии экземпляр заключительной главы своей «Автобиографии»; а ее еще надо было написать; так что все те непродуманные чудеса, которыми Советская Россия потчевала меня днем, воспринимал совершенно изнуренный зритель. Под конец я все-таки решил встретиться с Мурой лицом к лицу в Эстонии. Я послал ей открытку, написав, что до меня дошел нелепый слух, будто она побывала в Москве, и сообщил день, когда приеду в Таллин. Таким образом я намекнул, на какие вопросы ей придется ответить.

Она встретила меня на Таллинском аэродроме, нисколько не встревоженная, ласковая и, похоже, без всяких задних мыслей. Она меня поцеловала.

«У тебя усталый вид, милый. Усталые глаза».

«Я и вправду устал как собака, Мура. И мне не нравится эта твоя новая Россия».

«Едем ко мне, тебе необходимо отдохнуть».

Мы забросили мои чемоданы в Балтийский клуб и поехали в ресторан на окраину города завтракать, так как поезд на Калли Ярве, где она жила, отправлялся лишь в полдень.

Я был в Таллине, когда он еще назывался Ревелем, в 1920 году, до того, как мы познакомились, и я сравнивал свои впечатления от города, который видел сейчас при дневном свете на пути с аэродрома, с воспоминаниями о том, как высадился тогда в гавани поздним вечером.

Наступило молчание.

«Забавная это была история о твоем пребывании в Москве», — сказал я.

«Как ты ее услышал?»

«Просто обрывок разговора. В доме у Литвинова, кажется? Да, вероятно».

«Понятия не имею, о чем речь».

«Разумеется».

Но я не в силах был продолжать в таком духе.

«Ты обманщица и лгунья, Мура, — сказал я. — Почему ты так со мной обошлась?»

Она держалась великолепно.

«Я бы тебе непременно рассказала. Это получилось неожиданно, уже когда я была в Эстонии. Таня знает. И Микки. Они тебе расскажут».

Таня — это ее дочь, а Микки — ее старая гувернантка и компаньонка, родом из Ирландии.

«В Эстонии, куда, по твоим словам, ты поехала отдохнуть. Где, по твоим словам, ты набиралась сил».

«Это получилось неожиданно».

«И ты оставила письмо, чтобы мне его послали в Москву из Эстонии».

«Пойдем позавтракаем. Все равно нам надо позавтракать. А потом я все объясню».

«Ладно, — сказал я и засмеялся. — Ты, верно, помнишь тот рисунок в „Иллюстрасьон франсез“ — жена раздета, смущенный молодой гвардеец натягивает брюки, и тут же муж, который свалился как снег на голову. „Не торопи меня, и я все объясню“», — молит жена.

«Ты болен и устал», — сказала Мура.

Мы сидели за столиком в тени больших деревьев, и перед нами было блюдо с лангустами и бутылка белого вина. Мы привыкли, что вдвоем нам всегда хорошо.

«Винишко хоть куда, — обрадовался я, но тотчас вспомнил о нашей драме. — А теперь объяснись, Мура».

Она объяснила, что возможность поехать в Москву представилась неожиданно. Она не видела в этой поездке ничего дурного. Горький договорился обо всем с наркоматом иностранных дел. Ей хотелось снова увидеть Россию.

«Но почему было не дождаться там меня? Почему не стать моим гидом и не помочь мне?»

«Потому что в Москве меня не должны были видеть».

«Ты поехала прямо к Горькому».

«Я поехала к Горькому. Ты ведь знаешь, он мой старый друг. Я хотела снова увидеть Россию. Ты не представляешь, что для меня Россия. Если бы меня там увидели, это поставило бы его в ложное положение перед партией. Если бы меня увидели с тобой, все пошло бы колесом. Нам с тобой вместе ехать в Россию немыслимо, я тебе всегда говорила: это немыслимо».

«Но ты могла бы встретиться со мной у Горького. Никто бы про это и знать не знал».

«Я хотела вернуться в Эстонию и все тут для тебя приготовить. Я не хотела там больше оставаться».

«Но ведь ты оказалась в России впервые с тех пор, как десять лет назад уехала в Эстонию. Наверно, это было интересно. Как тебе показалось?»

«Я была разочарована». — «Вот как?» — «Россией, Горьким, всем на свете». — «Ну что ж ты все лжешь, Мура? За последний год ты была в России трижды». — «Нет». — «Была». — «Откуда ты взял?» — «Мне сказал Горький». — «Как он мог тебе сказать, он же не знает английского». — «Через моего переводчика Андрейчина». — «Я побывала в России впервые с тех пор, как уехала к детям. Андрейчин что-то напутал при переводе».

Мы пристально смотрели друг на друга.

«Хотелось бы тебе верить», — сказал я.

Ничего больше я так никогда и не узнал. Дорого бы я дал, чтобы поверить ей, дорого бы дал, чтобы стереть из памяти следы той московской истории — она точно открытая, незаживающая рана и с тех пор разделяет нас. Рана у меня в душе; неиссякаемый источник недоверия.

Мура твердо стояла на своем: она была в Москве лишь однажды. Либо чего-то не понял я, либо Андрейчин. Как мне известно, напомнила Мура, после ее отъезда из Сорренто она виделась с семьей Горького в Варшаве и однажды, еще до того, в Берлине. Но обе встречи были не в последний год. Возможно, Горький сказал, что она была у него, а Андрейчин подумал, что это происходило в России.

«В последний год, — заметил я, переваривая сказанное. — Но что бы там ни было, тебе все равно, каково мне пришлось в России, — размышлял я вслух. — И тебя нисколько не волновало, что после нашей дивной встречи в тысяча девятьсот двадцатом году я впервые оказался в России. Но послушай, Мура, и знай, для меня это чрезвычайно важно. Я ни за что не поверю, что ты не была трижды в России, пока ты не прояснишь эту историю с ошибочным переводом. Мне очень жаль, но так уж я устроен. Ты вполне можешь это сделать. Можешь написать Андрейчину. Можешь выяснить. Есть телефонная связь с Ленинградом. Ты звонила мне вчера, справлялась, в котором часу я прилечу. Соедини меня с ним. И еще: у меня будет душа не на месте, пока я не пойму, что за отношения у тебя с Горьким, кем ты была его покойному сыну и в какой мере тебе важна эта сторона твоей жизни. Что бы там у тебя ни было в прошлом, меня это нисколько не волнует при условии, что сейчас ты будешь со мной искренна. Я давно выложил перед тобой все свои карты, Мура, теперь раскрой ты свои. Повернись ко мне лицом. Или я для тебя не более чем авантюра, еще одна авантюра в прорве твоих авантюр?»

«Ты — мужчина, которого я люблю…»

«Мне так казалось… и это было очень важно для меня».

Она пообещала, что непременно устранит это недоразумение. Ее отношения с Горьким всегда были чисто дружеские. Горький — ее большой друг. Когда ее жизни угрожала опасность, он буквально своротил горы ради нее. Всем известно, ввернула она, что Горький давным-давно импотент. Она пробыла в России всего четыре дня. (А я полагал, что десять.) Мы поехали к ней домой, и в ту ночь она пришла ко мне в комнату.

Но из этого ничего не проистекло. Никаких разъяснений через Андрейчина не последовало, а ведь и с Ленинградом и с Москвой была хорошая телефонная связь. И ничего Мура толком не объяснила про свои отношения с Горьким — было в них явно что-то такое, чего она и сама не понимала. Ее поведение зависело от великого множества причудливых мотивов; у нее в душе уживалось немало несовместимых отношений, и она не отличалась ни бесхитростностью, ни мужеством, так что неспособна была рассказать мне все как есть. Тем самым ничто не могло рассеять мое недоверие к ней. Мы занимались любовью, но эта разъедающая душу история стояла между нами. Я разговаривал с ней о случившемся — пытался все поставить на место, но, пробираясь сквозь дебри, мы ссорились. Не умела она объяснить, что ею движет, а я был вне себя и оттого не понимал, что ей это просто не дано. Я был подобен школьному учителю, который наказывает учеников за то, что они с ходу не постигают тригонометрию. Я ее бранил и думал, этого довольно, чтобы все наконец выяснилось. Накануне празднования дня рождения ее сына, которому исполнялся двадцать один год, я в отчаянном настроении один уехал в Швецию. Портить всем праздник мне не хотелось, а управлять собой я стал что-то плохо. Я ревновал Муру к сыну, к ее гостям, к ее дому в Эстонии, к России. Всего более к России. Из-за этого мои суждения о России в течение нескольких лет были чересчур суровы и несправедливы…

Мура приехала в Таллин проводить меня — как любовника, единственного своего любовника. Она любит расставания и встречи. И прекрасно умеет их обставить. Мы пообедали в Таллине и вместе отправились к стокгольмскому гидроплану. В последнюю минуту она объявила о своем намерении присоединиться ко мне в Осло.

Она так и сделала, но, словно оплакивая новую стадию наших отношений, в Норвегии все время лил дождь; мы провели воскресенье в Бергене, а в сравнении с бергенским воскресеньем даже шотландская суббота покажется карнавалом, и Северное море, когда мы плыли, было неспокойное, так что Мура не выходила из каюты — ее мучила морская болезнь, моряк она

никудышный, — а я в одиночестве размышлял на палубе.

А потом…

Мы оставались вместе, неспособны мы были разойтись. Она крепко держалась за меня (июнь 1935 г.). Но мы уже были не те счастливые, уверенные любовники, что прежде, и я, во всяком случае, был глубоко неудовлетворен. С того времени я стал требователен, а она, чем дальше, тем больше была по-женски настороже.

Требователен я стал потому, что был теперь подозрителен и ревнив. В теории я всегда осуждал эти отвратительные душевные свойства, но тем не менее и через год с лишним после того московского потрясения меня упорно мучила эта постыдная душевная болезнь. Я был бы рад, если бы мы вернулись к прежней свободе отношений. Мура все еще могла быть восхитительной спутницей и любовницей. Какое у меня право возражать, даже если она позволяла себе поводить меня за нос, если таила от меня значительную часть своей жизни и своих намерений? Она никогда не брала на себя обязательство поступать иначе. Почему же и мне не обходиться с ней таким же образом, и пусть бы наша связь была легкой и радостной?

Не мог я этого — тогда не мог. Я все больше и больше уподоблялся тревожно-мнительному супругу. Я стал приметлив. Я поймал себя на том, что контролирую ее приходы и уходы, наблюдаю за ней, — уже не глазами восхищенного зрителя, но глазами сыщика, хоть и не очень проницательного. Она и вправду обманывала. И лгала. Почему, спрашивал я себя, она так неискренна? Это просто в заводе у хорошеньких женщин, или это ее особая манера обходиться с людьми, или вообще женская манера? Ради моего же блага?

После того как в сентябре 1934 года мы вернулись в Англию, я поехал в Боднант и остановился у Кристабел. Мы гуляли по тамошним нескончаемым садам и разговаривали. Я рассказал ей кое-что из того, что меня тревожило, и она раскрыла мне весьма распространенную женскую точку зрения.

«Мы все обманываем, — сказала Кристабел. — Мы вас обманываем так же, как вынуждены обманывать своих детей. Не оттого, что мы вас не любим, но оттого, что вы существа деспотичные и не позволили бы нам шагу ступить, если бы мы обо всем вам докладывали…»

«Это палка о двух концах».

«Думаешь, я когда-нибудь сомневалась, что ты говоришь мне только ту часть правды, которая тебе выгодна в настоящую минуту?»

«Мы все лжем. Сами наши представления о себе таковы, что

защищают нас и возмещают то, чего нам недостает. И все же, дорогая моя, разве эти женские обманы всегда ради блага мужчины?»

Конечно же мы оба знали, что это не так. Мы оба ясно понимали неискоренимую сложность личной жизни, поддерживающих ее иллюзий и мнимых упрощений. Невидимое «я» скрывается под разными масками, прячется даже от самого себя. Зачем докапываться до всего этого? Неужели, чтобы убедиться, что у женщины есть сердце, нужно его разбить? «Никто не может выдержать такого безжалостного экзамена, какой ты учинил Муре, — сказала Кристабел. — Держись Муры, Герберт, и закрывай глаза на все. Мне приятно было видеть вас тут вместе летом, когда вы приехали из Портмейриона. Вы безусловно любите друг друга. Разве этого недостаточно?»

Но слишком глубоко было мое чувство к Муре, чтобы я стал поддерживать отношения на этом поверхностном уровне. Она была мне нужна либо вся — ее тело, ее нервы, ее мечты, либо, как мне казалось, не нужна вовсе. Не мог я быть счастлив, не зная, что таится под ее масками. Мне нужна была правда и ее подлинная любовь. Не мог я верить ей на слово.

Однажды в эту скверную пору, в конце 1934 года, мне приснился неприятный сон. Как уже бывало не раз, сон изверг, в жестокой, чудовищно преувеличенной форме, те мои мысли, которые, в своем стремлении оставаться непредубежденным, доверчивым и ни во что не вникать, я старательно подавлял. Но, прежде чем рассказывать его, я должен объяснить, что, когда мы возвращались из театра или из гостей, Мура частенько заходила ко мне и мы занимались любовью, после чего она натягивала платье на голое тело, а белье сворачивала и, полуодетая, лучезарно улыбаясь, с этим постыдным свертком под мышкой уезжала на такси домой.

Мне снилось, будто поздно ночью я брожу по какому-то смутно различимому зловещему проулку — нелепому и, однако, знакомому, который годами был своеобразным фоном моих снов, и думаю о ней, как где только не думал, с тоской и раздирающей душу надеждой. Потом вдруг она оказывается предо мной, моя Мура, и в руках у нее ее знаменитый объемистый саквояж.

«Что у тебя в саквояже?» — спрашиваю я и хватаю его, прежде чем она успевает воспротивиться.

А потом, как бывает во снах, саквояж ни с того ни с сего исчезает и появляется ее белье, завернутое в газету. В этом-то проулке!

«С кем ты была?» — кричу я и вот уже яростно ее колочу.

Я рыдаю и колочу ее. Она падает, но не как живое существо, а

как манекен — конечности картонные, полые, а голова — глиняная и катится прочь от меня. Я ударяю по ней, а она полая, и мозгов в ней нет…

Я проснулся вне себя от возмущения и ненависти. Снова, как бывало уже много раз, я угрюмо вглядывался в ночь, перебирая в уме все мельчайшие подробности того московского обмана. Даже если у нее были веские причины не ехать со мной в Россию в качестве моей переводчицы, они все равно не оправдывали ее безразличия к тому, как мне там пришлось. Если бы, как она уверяла, ее отношения с Горьким носили платонический характер, она обсудила бы мою поездку с ним; она могла устроить так, чтобы я посетил Горького, когда она находилась у него, — даже если ей хотелось сохранить в тайне факт ее пребывания в России; даже если она не могла появляться на людях в качестве моей переводчицы, она могла быть со мной наедине, могла быть подле меня, чтобы обсуждать со мной мои впечатления; могла опять любить меня в России; могла вернуться в Таллин вместе со мной. Вот что ей должно было прийти в голову, вот чего ей должно было хотеться, будь она моя настоящая возлюбленная. Вот как она поступила бы в 1920 году. Совершенно ясно, что ее отношения с Горьким — даже если они и вправду не замешаны на сексе — по своей природе так интимны, так пронизаны чувством, что не могла она быть в том месте, где находимся мы оба. Возможно, как многие душевно щедрые, живые натуры, она была увлечена двумя потоками романтических, как ей казалось, отношений, которые не смогла сочетать. Чтобы преуспеть в этом, ей нужно было бы от чего-то в себе отречься в отношениях либо с одним человеком, либо с другим, а этого не позволяли ни ее гордость, ни нрав. Кого-то надо было принести в жертву. И на этот раз принесен в жертву и обманут был я. Горький мог быть удовлетворен, если нуждался в удовлетворении, узнав, что ради встречи с ним она оказалась способна одурачить меня. Оказалась способна обречь меня на постоянное, опустошающее душу раздражение, вызванное путешествием с «Интуристом», от чего могла бы меня избавить, — и все ради того, чтобы не осложнить отношения с ним. Этой цели она подчинила и все прочее. Мне было ясно, что я никогда не смогу ни умерить эту ее привязанность, ни развеять и что Мура не способна положить ей конец.

«Так обстоит дело, — сказал я. — И ничто на свете не может теперь это изменить».

Рой воспоминаний о нашей близости, воспоминаний нежных, восхитительных и страстных, не мог перевесить эти железные факты.

Тот сон и угрюмое настроение, в котором я пребывал пробудившись, были, я думаю, кульминацией и концом моего неистового единоборства с едва переносимым поначалу разочарованием и крушением иллюзий. Сон был убедительный. Это было чудовищное преувеличение — представлять, будто ее драгоценная, хорошенькая головка — глиняная и полая, тогда как на самом деле она набита до отказа всяческими затеями, но совершенно ясно, что в лучшем случае моя Мура непоследовательна и так же неискренна, как, должно быть, все непоследовательные люди, послушные интуиции. Я мог не сомневаться и не сомневался, что нравлюсь ей, что она меня любит, но то не была любовь простая, преданная, от всего сердца. Ничего на свете она не любила просто, преданно и от всего сердца. Она говорила, что безусловно верна мне, и, наверно, так и было. Во всяком случае, сама она в это верила. Мечты, которым я предавался, о последней, хорошей полосе жизни, когда подле меня будет великолепная спутница, рассеялись как дым под напором преувеличенного представления о ее недостатках — о мелочности, интриганстве, врожденном неряшестве, о приступах тщеславия и отсутствии логики. Как можно доверять уму, лишенному логики, который, похоже, не ведает о своей непоследовательности? — спрашивал я. Я забыл о тысяче свойств, возмещающих эти недостатки, — об ее мужестве, импульсивной щедрости, о минутах невероятной нежности и вспышках мудрости.

Через день-другой я поймал ее на пустячном обмане. Я ее упрекнул, и она, по своему обыкновению, убежденно и решительно все отрицала. Прежде я относился к ее словам с полным доверием, но в этот раз почувствовал, что не верю ей. Тогда я рассказал ей о моем сне и как я лежал и думал о ней и что именно думал, и мы опять затеяли долгую ссору, которая, начиная с тех первых моих упреков в Таллине, то вспыхивала между нами, то затухала. Мура стояла в моем кабинете и защищалась, и все не шла на ту полную откровенность, которая одна могла восстановить подорванное доверие и близость.

«Ну зачем ты подвергаешь меня такому испытанию и все портишь?» — сказала Мура.

«А зачем ты так себя ведешь, что приходится подвергать тебя испытанию?»

«Но все не так, как тебе кажется», — решительно заявила она, будто могла оспорить даже сами факты.

Мне казалось, она словно запутавшееся в сетях прелестное животное. Сети были настоящие, хоть она и сплела их сама. Я не мог их разорвать за нее, и конечно же ей не разорвать их самой. Я

горько жалел ее, не меньше, чем себя. Потерпевшими были мы оба. Рядом с нашей несомненной любовью, которая, думалось, вот-вот состоится, но выскользнула у нас из рук и разбилась, все то, ради чего Мура принизила ее, ничего не стоило.

«Что тут скажешь, моя дорогая», — произнес я в тайной надежде, что она еще скажет или сделает что-то невероятное и мы будем спасены.

Я бы махнул рукой на то, что она делала или что с ней происходило в прошлом; если бы она все отбросила и, ничего не тая, без задних мыслей пришла ко мне, я бы помог ей освободиться от любого комплекса, выйти из любого затруднительного положения; но она внутренне согласилась, что ничего тут больше не скажешь, — не могла она поделиться тем, что таила от меня.

Мы поцеловались и на том кончили наш неразрешенный спор. Поцеловались и легли вместе в постель. В последующие несколько дней мы едва ли хоть что-то прибавили к сказанному. Но этот неразрешенный спор так и стоит между нами. Все связанное с Москвой так и остается необъясненным. Была Мура там три раза или один? Я не знаю. Мне уже начинает казаться, что это не важно. Но та Мура, которая на самом деле существовала только в моем воображении, теперь исчезла навсегда, и уже ничто не сможет ее вернуть. Мы все еще были любовниками и близкими друзьями. Все еще могли вместе смеяться и разговаривать обо всем на свете. Но мы сознательно отстранились друг от друга. И уже не стремимся друг к другу, как прежде.

Время от времени я возвращался все к тому же щекотливому вопросу. Не мог я его не касаться. Мура разгневанно плакала. Разыгрывала сцену великого расставанья, говорила «Прощай», выходила из моего кабинета, хлопала дверью — и прочь из квартиры. Через пять минут она снова была у парадной двери и стучала молоточком.

«Не убежать тебе от меня, — горестно говорил я, впуская ее в дом. — Не убежать и мне от тебя. Я знал, что ты вернешься».

Наконец она нашлась.

«Ты садист, — говорила она, меряя шагами мою комнату. — Ты жестокий».

«Так как стараюсь, чтобы ты увидела себя самое?..»

Я ломал голову над этим обвинением в жестокости. Уж не мучаю ли я ее как раз тогда, когда она не жалеет сил, чтобы сблизиться со мной? Возможно, в прошлом ей мнилось, будто она одержима Горьким и Россией, а нынче эта одержимость слабеет. Возможно, сознательно и подсознательно она старалась

прильнуть ко мне и не знала, как это сделать, и в ее душе не было согласия. Она по-женски, по-детски ждала полного интуитивного сочувствия в том, чего никоим образом не могла объяснить. Она не умела никому уступать, а судьбе было угодно, чтобы она оказалась неправа и ее любовник стал ее обвинителем. Не было ли тут чего-то, что, как она надеялась, я пойму без всяких объяснений? Неужели она наделась, что, никак не дав знать о своем раскаянии, будет молча прощена? Неужели думала, что я все уразумел, и должен простить, и забыть, и начать все сначала?

Но ведь были еще и другие мелкие обманы, крупицы лжи, крупицы предательства, которые, на мой, теперь уже слишком придирчивый, взгляд основательно портили картину.

Эти волнения и перерыв в отношениях длились три месяца, до конца 1934 года. В декабре мы решили вместе отправиться в Палермо — мы надеялись, что одни, в новой обстановке, станем ближе друг другу; но сбой в итальянском авиаобслуживании задержал нас в Марселе, и утомительной железнодорожной поездке в Сицилию мы предпочли Ривьеру. Рождественскую неделю мы провели у Сомерсета Моэма на «Вилле Мореск».

Я чувствовал себя не в своей тарелке, ревновал Муру, и, что бы она ни говорила и ни делала, все было не по мне. Моя былая гордость за нее поуменьшилась, и от нашего былого доверия не осталось и следа. Иной раз мы славно проводили время, а иной раз были безжалостны друг к другу. Я привык просыпаться в семь или раньше, а она оставалась в постели до десяти-одиннадцати. И наоборот, хотела, чтобы ее развлекали до поздней ночи. Ей требовались выпивка и разговор — тот чисто русский, лишенный анализа, беспредметный, неторопливый разговор обо всем на свете, который куда только не уводит и никуда не приводит, — и выпивка, чтобы он не угас. Желая заполнить три-четыре утренних часа, я садился за работу над фильмом, в который превращал свой рассказ «Человек, который мог творить чудеса», и чувствовал: работа идет хоть куда. Чувствовал, что мои творческие силы возрождаются и голова полна новых свежих идей. В одиночестве этой утренней свежести я создавал новую жизнь.

Потом, совершенно неожиданно, Мура захотела вернуться в Англию — из-за детей; хотела позаботиться об экипировке сына для колледжа, и дочь сейчас в расстроенных чувствах, сказала она, нужно ее повидать.

Это опять привело к ссоре, в которой мой эгоцентризм проявился во всей своей беспощадности и нетерпимости.

«Только у меня пошла работа, стоящая работа, и мне хорошо с тобой, как ты опять готова улететь и оставить меня одного, в

трудном положении, в этом проклятом отеле. Твой Павел уже совершеннолетний, а в Танином возрасте ты уже развелась с мужем. Пусть справляются со своими проблемами сами, — негодовал я. — Вот так ты всегда и оставляешь меня. Бросаешь на произвол судьбы. И тебе дела нет, что со мной будет…»

И так далее. Настоящий мужнин выговор.

Мура уехала, не посчитавшись со мной, и я остался возмущенный до глубины души, а назавтра получил записку от одной американской вдовы, которая держала скаковых лошадей и с которой я познакомился на обеде у Моэма. Более нейтральное определение, чем «американская вдова», мне не приходит в голову. Внешне у нее было немало общего с Мурой, — она была высокая, темноволосая и улыбающаяся, открытая в тех случаях, когда Мура бывала закрыта, подтянутая и бодрая в тех случаях, когда проявлялась Мурина разболтанность. Не могу передать, как отдохновенна оказалась ее открытость. Она была вся в веснушках, и золотые крапинки очень ей шли. Первоначальное образование она получила в основном, идя на поводу у своей состоятельной и порывистой матери; отца какое-то время носило по свету, а потом его «держали на привязи». Знания у нее были с бору да с сосенки. Она сохранила милую американскую откровенность и простодушие; она слышала от Моэма, что я один в «Эрмитаж-отеле», и прислала мне написанное почерком школьницы приглашение пообедать с ней в ресторане «Негреско».

Уже при первой нашей встрече мне понравилась ее прямота, и в тот вечер я нашел ее в чем-то наивной, в чем-то искушенной и занятной. Она вела в Ницце странно упорядоченную и деятельную жизнь — по моим меркам жизнь презабавную. Такая жизнь не была для нее органична и, так сказать, досталась ей в наследство. Она столь же горячо любила утреннее солнце, как Мура его ненавидела, и прогуливала свою собачку еще до завтрака. Выпив кофе, она садилась за газеты и просматривала груду интересующих ее заметок и отчетов и прилежно, со знанием дела, работала три часа над «прогнозом» текущих скачек. Мне говорили, она обладала в этой области широкими и глубокими знаниями и превосходно во всем разбиралась. Подготовившись таким образом к сражению, она выходила из дому и — если то был день скачек — отправлялась делать ставки, а если скачки в этот день не происходили, тогда — в казино, причем доверилась там системе, чрезвычайно утомительной и наводящей скуку (которая несколько недель вела ее от успеха к успеху, а потом подвела). Она обедала с большой осторожностью, придерживаясь диеты, чтобы для столь серьезных обязанностей голова оставалась свежей и ясной. Ее светские встречи были

связаны все с теми же занятиями. Поближе к ужину она могла позволить себе расслабиться и выпить коктейль.

На людях она была молчалива, но слушала великолепно и мигом все понимала. В узком кругу она говорила презанимательно, очень откровенно, со вкусом к подробностям. Она мало где бывала, ужинала обычно одна, в отеле, и вечерами предавалась чтению. Читала много, с детским любопытством, и ее рассуждения о прочитанном были наивны, трезвы и невежественны, типично американские рассуждения. В отличие от европеек она не выставляла напоказ свою начитанность. Отрывки, которые ей нравились, она выписывала несформировавшимся почерком школьницы. Она билась над книгой Данна{409} «Бессмертие» и над одной из книг Уайтхеда{410}, не припомню какой. Шпенглера{411} она еще воспринимала всерьез. Она не расставалась с книгой Бертрана Рассела, и читала и тончайшим образом понимала «Письма» Кэтрин Мэнсфилд{412}. Она любила беллетристику и отлично в ней разбиралась, вот только детективы находила неестественными, будто жестяными. Нам было очень интересно друг с другом, и мы сидели и анализировали том стихов Томаса Элиота{413}.

Она знала и чувствовала современную поэзию несравнимо лучше меня, но, я думаю, ей это было невдомек.

Когда мы вместе ужинали в тот первый раз и говорили о книгах, и бессмертии, и любви, и о том, чем следует заполнить жизнь и что следует из нее изъять, и когда мне пришло время отправляться из «Негреско» в свои апартаменты в «Эрмитаж-отеле», я встал, и, кажется, не было ничего естественней, как обнять ее и поцеловать, а ей — ответить на поцелуй, и потом я оставался там еще около часу.

После этого мы неделю были вместе каждую свободную минуту. Нам просто нравилось быть вместе. До полудня я занимался своей «работой», а она своей, а потом ее «испано-суиза» останавливалась у моих дверей и, с ощущением, что первая половина дня потрачена не напрасно, мы ехали в какой-нибудь занятный ресторан. Мы поднимались в горы или устремлялись вдоль побережья. Вечером мы любили отведать какие-нибудь неизвестные нам блюда, какие только можно было найти в Ницце, и я угощал ее в Старом городе bouillabaisse[61]. А еще к нашим услугам было кино, к которому она относилась весьма серьезно.

Но тут вдруг Мура решила ко мне вернуться. Быть может, она подумала обо мне несчастном, прикованном к своему письменному столу в «Эрмитаж-отеле», а быть может,

собственнический инстинкт повелел ей не оставлять меня слишком надолго. Или, скорее всего, она вовсе не беспокоилась о том, что я делаю, просто снова захотела быть со мной. Я не предлагал ей вернуться. Она прислала телеграмму: «Если ты не против, вернусь в среду». Но этому мешала какая-то путаница с уже назначенными встречами, и, к немалому Муриному удивлению, я ответил: «Удобнее в субботу». Она телеграфировала: «Всегда как тебе угодно» — и приехала в субботу.

«Что ты затеял?» — был ее первый вопрос.

«Дружбу», — ответил я.

Мура не столько ревновала, сколько была изумлена, и постаралась не ударить лицом в грязь. Мы встретились втроем и отлично поладили. Мы совершали разные поездки, вместе обедали и ужинали и побывали у Моэма, к чему он отнесся с величайшим интересом. Мура внимательно и ненавязчиво за мной наблюдала.

«Никогда не видела тебя откровенно влюбленным в кого-то еще», — сказала она.

«Тебе повезло».

«Вы смотрите друг на друга. Ты не сводишь с нее глаз. Благодаря тебе она чувствует, что не лыком шита».

«Тебе полезно это знать», — сказал я.

Мы условились возвращаться в Париж на автомобиле. Но по воле случая Мура с нами не поехала. Она получила телеграмму из Эстонии, что Микки, миссис Уилсон, ее старая гувернантка и гувернантка ее детей серьезно заболела и хочет ее видеть. Хитростью тут не пахло. Мура держала в руках телеграмму и плакала навзрыд, кулаками утирая слезы, точно несчастная девчонка.

«Бедняжка Микки, — сказала она. — Дорогая моя бедняжка Микки».

«Ты можешь к ней поехать».

«Если я поеду, ты опять рассердишься».

«Если Микки умрет, ты себе этого не простишь», — возразил я и помог ей собраться и пуститься в долгий путь по железной дороге в Эстонию. А назавтра сел в «испано-суизу» и отправился в Париж.

Мы провели ночь в знаменитом отеле в Маконе, по-моему в «Отель де Франс», в котором на кухне правил бывший повар кайзера. Там меня ждала телеграмма от Муры из одного слова — «Любить».

«Это нам предписание?» — вопросил я.

«Мы не нуждаемся в предписаниях. Правда славный ужин?»

Утром нам показалось, что кофе и булочек недостаточно, и мы заказали еще по паре яиц в мешочек, и я сел к ней на постель, срезал верхнюю часть и показал, как их есть на английский манер, и таким образом мы весело доехали до Парижа. А на следующее утро я улетел в Лондон.

Мура была в Эстонии, и я не сомневался, что она уехала туда только для того, чтобы ухаживать за Микки, но я знал, что, стоит ей задержаться с возвращением в Англию, и меня, вероятно, опять одолеют прежние обиды и подозрения. Я делал все возможное, чтобы не дать им воли, и когда вскоре получил предложение от «Кольерс уикли» из Нью-Йорка провести три недели в Америке и написать о «Новом курсе», я его принял. Я приехал в начале марта 1935 года; обедал с президентом в Вашингтоне и с кем только не беседовал; превосходно провел время и написал четыре статьи, которые потом вышли отдельной книгой — «Новая Америка: новый мир».

И еще я надеялся, что эта поездка в Америку будет способствовать тому эмоциональному отчуждению от Муры, которому помог мой роман, но оказалось, она по-прежнему глубоко тревожит мне душу. Вновь я думал о ней как о прелестной Муре моей мечты; мне хотелось, чтобы она была со мной на пароходе, хотелось показать ей Нью-Йорк и разговаривать с ней обо всех забавных отличиях Америки, и всякий раз, как я шел в гости или на прием, хотелось, чтобы она была рядом.

Одиночество все больше выводило меня из равновесия. И возмущала Мурина неспособность понять, как я нуждаюсь в ее обществе. Я приходил в ярость оттого, что она не желала ради меня отказаться от своей ничтожной, убогой эмигрантской жизни; от бесконечных сплетен, от хаоса дома номер 88 в Найтсбридже, от злоупотребления водкой и коньяком, от ночной болтовни и лежанья в постели до полудня. Я возмущался ею и оттого, что по ее вине не смог сохранить ей верность и, похоже, готов вернуться к беспорядочным связям. В Вашингтоне раз-другой в гостях я ощутил, что женщины не утратили для меня привлекательности, и, кажется, не утратил для них привлекательности и я.

Благодаря этому во мне росла решимость добиться полной ясности в отношениях с Мурой или порвать с ней. Вот чего я опять хочу, думалось мне. Вот каков выход. Я послал Муре ультиматум. «Либо полностью войди в мою жизнь, либо исчезни из нее, — написал я. — Вытесни из своей жизни все, что стоит между нами. Либо встреть меня в Саутгэмптоне, и это будет означать, что ты всецело мне подчиняешься, либо верни мне ключ от моей квартиры».

В Саутгэмптоне Муры не было, но, едва я вернулся в Лондон, она мне позвонила. У нее стало очень худо с горлом, объяснила она, и она слегла. Не приеду ли я к ней? Для возвращения ключа то была неподходящая обстановка.

Я сел к ней на постель, с трудом удерживаясь от привычного желания погладить ее, и она принялась рассказывать о своей болезни и о болезни Микки. В Калли Ярве у нее самой была пневмония, но она надеялась быстро оклематься. Она словно забыла о моем ультиматуме так же, как в Эстонии — о моем требовании внести ясность в то, что произошло. Она порой ведет себя на манер моего черного кота в Лу-Пиду — как бы он ни набедокурил, он ни капельки не сомневается, что стоит ему взобраться на стол поближе ко мне, потереться об меня головой — и можно вести себя как заблагорассудится.

Назавтра она мне позвонила.

«Нам надо поговорить, — сказала она. — Где будем обедать?»

Я не хотел, чтобы она приходила ко мне, и предложил встретиться в сербском ресторане на Грик-стрит. Казалось, от ее болезни не осталось и следа.

«А теперь, дорогой, не вернуться ли нам на Чилтерн-Корт?» — серьезно сказала Мура, когда мы отобедали.

Мы вернулись на Чилтерн-Корт.

Ее лицо было совсем рядом с моим на подушке, она смотрела на меня, и ее всегда сонные глаза светились лукавством.

«А ты был в нее влюблен», — сказала Мура.

«Ни в кого я не влюблен. Или влюблен во всех. Я отдал тебе всего себя целиком, а ты опять подставила меня всем ветрам. Ну и вот они мы — и как нам теперь быть?» Мы уже никогда не поженимся, однако никогда в жизни я не чувствовал себя до такой степени и так нелепо женатым.

Подробная история моих отношениий с Мурой подходит к концу. Мой ультиматум остался без ответа, и ключ от двери не был возвращен. Она не собиралась с ним расставаться. В скором времени я задался целью найти себе дом на Ганновер-террас, неподалеку от Риджент-парка, и стал раздумывать, каково оно будет, мое жилище в таком приятном районе, где я проведу свои последние годы, но для Муры я не приберегал там места.

«Отвести этаж тебе, Тане и Павлу, чтобы у тебя была собственная гостиная и собственный колокольчик? — спросил я, когда в последний раз размечтался о браке. — Мы еще можем это устроить».

«Разве мы это уже не обсуждали, милый?» — уклончиво ответила она.

«Хорошо, — сказал я. — Держись своего восемьдесят восьмого и всего, что он для тебя значит. Скоро там все снесут и построят доходный дом, и все вы, русские, кинетесь врассыпную, словно уховертки из-под камня. А потом, наверно, по своему обыкновению, опять соберетесь. Но, поверь мне, от дома на Ганновер-террас у тебя ключа не будет — и не вини меня, если тебе это не понравится».

Однако Мура ни за что не поверит, что дверь для нее закрыта, пока не убедится, что она заперта и на ее стук никто не отзывается. Но я не смогу не отозваться на ее стук. Когда она постучится, я, вероятно, ее впущу — но с каждым разом буду все более отдален от нее.

(И в самом деле — прибавляю я в июле 1936 года — она получила ключ от нового дома, когда в мае вернула тот, которым отпирала дверь на Чилтерн-Корт.)

Возможно, есть предел отдаленности, как у планеты есть афелий. Наверно, мы с ней никогда окончательно не расстанемся. Между нами существует иррациональное притяжение. Похоже, нам суждено пребывать в этом состоянии свободной близости, подобно двойным звездам, которые обращаются одна вокруг другой, но никогда не сливаются воедино. Сама наша свобода предотвращает окончательный разрыв. Нас соединяют привычки и обыкновения, у которых бывают приливы и отливы. Дико говорить, будто я все еще влюблен. И однако, я люблю — на свой лад. Вряд ли мы любим друг друга крепко, неизменно и постоянно, но у нас все еще бывают полосы тесного общения, и оно удовлетворяет обоих. И мы гордимся друг другом и чувствуем, что принадлежим друг другу. Все еще. Ей приятно слушать, когда хвалят меня, а мне — когда хвалят ее.

Это было написано в июне 1935 года. В августе Мура уехала в Эстонию, и я написал ей из Англии несколько жестко откровенных писем, повторяя все свои резоны, по которым нам следовало окончательно и бесповоротно расстаться. Она отвечала нежно. «Отчего ты так лютуешь в письмах?» И кажется, предполагала подробно ответить на мои обвинения. Вернулась она в сентябре, чтобы с неизменной своей невозмутимостью возобновить наши отношения. Она неожиданно появилась на приеме, который как президент ПЕН-клуба (Мура тоже его член) я устроил для Института журналистики. Я увидел, что она направляется ко мне, как всегда, с самым безмятежным видом, а глаза ее светятся насмешливой нежностью, и обрадовался. Мы оба обрадовались…

Дом 88 в Найтсбридже снесли, как тому и быть должно, и

осенью 1935 года, вопреки моему пророчеству, тамошнее сообщество эмигрантов исхитрилось весьма благополучно обосноваться в доме 81 на Кадогэн-сквер.

Многое из вышесказанного могут счесть обвинением в адрес Муры, но если так, значит, я неточно выражал свою мысль. Если это обвинение, так обвинение самой жизни, несоответствию мужских и женских желаний, мужской и женской логики. Это одна, индивидуальная точка зрения на главную трудность в отношениях между современными мужчиной и женщиной, осложненных глубоким различием между причудливым русским мышлением Муры, способным вычеркнуть из памяти все, что ей неприятно, и образом мысли человека, привыкшего к мышлению упорядоченному. Это еще и свидетельство моих собственных неразумных, чудовищных требований к Призраку Возлюбленной, которые основаны на обременительной крупности той *персоны*, какой я хотел себя видеть. Я знаю: я стремлюсь быть такой величиной, до которой мне не дотянуться. Болезненно чувствительный, по-детски тоскующий о помощи, я недостаточно велик для «великого человека».

История моих отношений с женщинами — это главным образом история ненасытности, глупости и больших ожиданий, и об этом не стоило бы и рассказывать, если бы речь шла просто о моей сугубо личной истории. На самом же деле это повесть о мире беспорядочных сексуальных отношений и напрасных попыток мужчины и женщины приспособиться друг к другу. От Муры на своем последнем этапе, как от Изабеллы на первом, я требовал невозможного. Мне, мужчине интересов необъятных, нужна была женщина той же широты интересов. Мне нужна была спутница, соответствующая моему складу ума… Что это? Самовлюбленность, фанатизм, современный подход, культ? В Джейн эта широта интересов была. Мне нужна была помощница в работе. Но Мура никогда не делала вид, будто ей нужно от меня что-нибудь, кроме романтической близости, сексуальной и душевной; она хотела появляться и исчезать, движимая порывами и прихотями, и, пока я не ушел от Одетты и не стал настаивать на браке, общем доме и неразрывном союзе, наши встречи были неизменно ярки и радостны. На том этапе мы не слишком допытывались друг у друга, кто чем занимался между встречами, и не отказывали друг другу в праве на свободу воображения и чувств. А когда я сосредоточил на Муре все свои упования и пытался решительно ею завладеть, говоря, что она должна быть целиком и полностью моей и слить все в своей жизни со мной, а я — с ней, у нее достало трезвости и определенности защитить от

моего жесткого, напористого вторжения свое глубинное «я» и свои привычки, свою леность и потворство себе. Она знала: ей все равно не удовлетворить мои требования. Тогда зачем пытаться?

Я уже говорил, что Мура обманывала меня, но она, по крайней мере, никогда не уверяла, будто ничего от меня не утаивает. Она никогда не делала вид, будто все мне отдает и вся мне открыта. Но в моем понимании, раз мы были любовниками, это предполагало, так сказать, неприкрашенную правду и самоотдачу. Вот самое большее, в чем я могу ее обвинить.

После московского кризиса в наших отношениях мы бродили по Эстонии, Франции, Англии, по лесам, и рощам, и полям, и огромным паркам и вздорили, и сражались друг с другом, уже не те беспечные любовники, какими были прежде, когда с наслаждением разбирались в наших чувствах и придумывали, что бы такое приятное друг другу сказать. Нам изменило прежнее очаровательное лукавство, откровенное, волнующее, искреннее плутовство, грубоватая игривость любовной близости. Наши привязанность и жалость, может быть, стали глубже, как, наверно, и наша готовность помочь, и взаимная терпимость. Но узнать друг друга куда основательней, чем прежде, благодаря обвинениям, обидам, ссорам и разочарованиям вовсе не значило достичь единства во взгляде на жизнь. Напротив, это помогло обнажить наши колоссальные расхождения и, не уменьшив их, лишь чуть-чуть друг друга утешить.

Со временем споров стало меньше. Мы сумели этого достичь. Все, что только можно, было уже сказано, и много раз. Я наконец-то согласился с Мурой, что жениться нам ни в коем случае не следует, что мы видимся ровно столько, сколько нам на благо, и что наши отношения не должны нам мешать отдаляться друг от друга. Кто знает, насколько мы отдалимся к концу жизни. Я не рассчитываю на Муру, и с ее стороны было бы опрометчиво рассчитывать на меня. И однако — при всей необъяснимости этого — мы до сих пор принадлежим друг другу (лето 1935 г.).

(Кстати, в очень хорошем рассказе Ребекки «Пожизненное заключение» из книги «Грубый голос» идет речь примерно о такой близости.)

Эти колебания между притяжением и отталкиванием лишают меня надежды на пригодный для работы общий дом, но вовсе не лишают желания иметь такой дом. Я все еще мечтаю жить вместе с женой, со своей женой, в собственном доме с садом. Я все еще хочу этого; это неразумно, но я хочу именно этого; и понимаю, что никогда этому не бывать. Я устал от своей квартиры и от вторжений Муриного ключа в средоточие моей жизни.

Я не хочу бывать на людях с женщиной, присутствие которой требует объяснений и которая не желает или не может колесить со мной по свету.

Я хотел, чтобы моя жена была одной со мной веры, то есть чтобы в душе она была фанатической поборницей того, быть может, недостижимого мироустройства, которому служу я, и не хочу, чтобы наши вожделенья и развлеченья шли вразрез с продуманной целью моей жизни. Я хотел, чтобы, когда я поглощен своими мыслями, женщина относилась ко мне терпеливо и снисходительно. Я хотел, чтобы у нее было свое занятие, причем такое, которое я мог бы уважать, и тогда у меня достало бы для нее терпения. У нас с ней был бы дом и сад, и мы бы вместе ели, и забавлялись, и в полном согласии вместе работали, а когда нам требовались бы перемены или новые стимулы, мы вместе отправлялись бы путешествовать, или уезжали в Лондон и навещали наших многочисленных друзей, которые куда подлинней, объемней, занимательней, куда больше насыщают, когда смотришь на них не один, но через конвергентные линзы совместного видения. Я хотел постоянно ощущать присутствие моей милой у себя в доме, слышать, как сверху доносится любимый голос, или выглянуть из окна и увидеть, что моя милая идет по саду мне навстречу.

Но Мура никогда не пойдет мне навстречу по этому саду — из-за ее неизлечимого пристрастия к скитаньям не будет этого сада, нашего сада вокруг нашего с ней дома. Я хочу, чтобы в саду моих желаний мой Призрак Возлюбленной воплотился наконец в Идеальную Возлюбленную; и теперь мне совершенно ясно, что это не Мура, а Джейн плюс Мура плюс игра воображения — существо, сотворенное из умершей женщины, возвышающего меня самообмана и последних, исчезающих следов иллюзорной надежды. Нет у меня ни права, ни основания хотеть этого, но это обычная мечта нормального деятельного мужчины, у которого есть еще над чем поработать.

Природа не позаботилась о каком-нибудь утешении для своих созданий — после того как они послужили ее неясным целям. Нет в жизни человека последнего этапа, отмеченного истинным счастьем. Если мы в нем нуждаемся, мы должны сотворить его сами. Я все еще готов лелеять эту иллюзорную надежду. Я вовсе не похоронил свои надежды у ног Муры. Но вряд ли для меня теперь найдется какая-нибудь другая женщина. Дружба, быть может, еще и улыбнется мне, и мимолетная бодрящая близость, но завладеть кем-нибудь нечего и мечтать. Я вышел из игры. Слишком я любил Муру и не могу опять взяться за создание нового полнокровного союза. По крайней мере, так я чувствую

сейчас.

Мне, безусловно, еще предстоит справиться с этим последним этапом жизни. Может статься, это будет совершенно особый этап, и, возможно, я несправедлив к Природе, когда в приступе уныния говорю, что после окончания любовного цикла она не находит для нас биологического применения. Я чувствую, работа, которой я сейчас занят, стоит потраченного на нее времени (август 1935 г.).

Этот «Постскриптум к „Опыту автобиографии“» все больше и больше становится личным дневником. Из уже написанного я мало что стану менять, и многие из суждений, что я полагаю сейчас безусловными, могут оказаться весьма предварительными еще до того, как будут закончены последние страницы.

10. Возраст берет свое: мысли о самоубийстве

В общем и целом я обычно все еще отнюдь не несчастлив. Если я не бываю теперь безоблачно счастлив, я, во всяком случае, могу развить бурную деятельность и ненадолго разогнать сгущающиеся тени одиночества и безнадежности. Я подготовил для себя довольно работы, чтобы в любое время дня и ночи не дать воли отчаянию и избежать отчаянного исхода. Я встаю, надеваю теплую пижаму, халат и берусь за перо. Однако я не застрахован от острых приступов отчаяния. Они бывают когда угодно, в дневные часы или среди ночи. Случается, я слишком утомлен и не могу ни работать, ни спать, тогда мне больше нечем восстановить силы. Я тупо смотрю в лицо действительности. Я не чувствую необходимости действовать. Тогда меня охватывает неразумный страх за наш мир и я безмерно разочарован всем на свете.

Должно быть, такие полосы отчасти вызваны физическим нездоровьем; это одно из проявлений диабета; но так или иначе с ними надо справляться. Когда они наступают, они выражаются в подавленном душевном состоянии, и надо бороться до тех пор, пока им не придет конец. Мой Призрак Возлюбленной опять исчез, и нет у меня никого, к кому я мог бы пойти, уверенный, что обрету утешение, и убежище, и поддержку, которых жаждет измученное сердце. В минуты, когда я всего менее защищен, я вполне сознательно помышляю о самоуничтожении, либо в открытую, путем самоубийства, — и это будет откровенное признание, что жизнь оказалась мне не по силам, что она недостаточно хороша и что я побежден, что и я, и моя вселенная оказались несостоятельны; либо втайне — можно пустить на самотек свою болезнь, начать потакать себе, и тогда, поболев

несколько месяцев, можно умереть от диабета, а то и еще проще, быть может, от спровоцированной пневмонии. В моем случае этот последний выход был бы сродни тому, какой так часто избирают, спасаясь пьянством от напряжения жизни.

Однако ничего подобного я не делаю. Я еще никогда не испытывал таких страданий, чтобы у меня недостало духу им противостоять, справиться с депрессией и вскоре вновь обрести бодрость. Я продолжаю свой путь. Если однажды я вздумаю проглотить два десятка таблеток аспирина или еще что-нибудь, это будет совершенно исключительным, не свойственным мне помрачением ума, и не будет говорить ни о чем другом, на этот счет у меня сомнений нет; это будет несчастный случай — меня сразит упадок духа, словно упавший из космоса метеорит. Это будет случайное проявление старости или тромб в душе, как тот тромб, который застрял в сердце моего отца и был причиной его смерти.

Вообще я не способен на самоубийство. По натуре я полная противоположность меланхолику. Большую часть жизни я был неколебимо уверен, что все, что я собой представляю и чем дорожу, может потерпеть крушение лишь по причине куда более значительной: если буду думать, что развитие человеческого общества приняло катастрофический оборот; и моя философия была философией неутомимой борьбы с обстоятельствами, возможно, и очень тяжелыми обстоятельствами. Хотя весьма маловероятно, что будет создано мое Мировое государство или появится иная возможность исцелить человечество, я никогда не считал, что из-за этого следует отказаться от борьбы. Наоборот, тем больше оснований делать все, что в твоих силах. Я решительно утверждал это, и ответом был стойкий героизм уж и не знаю скольких родственных душ, и потому малейшее мое добровольное отступление от позиции жизненно необходимого упорства, просто оттого, что ненадолго нахлынула усталость и изменила надежда, было бы самым подлым предательством.

Решающим доводом в пользу самоубийства мне кажется уверенность, что я ничего не стою. Тут мне есть что сказать. Иногда я обнаруживаю в себе что-то такое нелепое, судорожное и совершенно не способное воспользоваться благоприятной возможностью, что даже по моим собственным меркам я никак не гожусь для жизни. Я готов покончить с собой из чистого отвращенья. В такие минуты я чувствую: эксперимент, в сущности, завершен, те крохи, что мне остались от жизни, ничего не значат. Но тогда я начинаю размышлять, что, хотя теперь я окончательно познал самого себя, есть множество людей, которые не представляют, что по самой своей сути я слаб и бессилен, и

которые держатся меня и мной. Как они отнесутся к подобному самоубийству?

Вероятно, нравственный долг требует вести себя так, словно ты лучше, чем ты есть. Все окружающие — это кредиторы и должны получить то, что им положено. Если бы я распрощался с жизнью по собственной воле, я думаю, это было бы ужасно и для членов моей семьи, и для моих друзей. Дело меньше всего в том, что они нуждаются в моей помощи и защите. Никто из них не стал бы теперь особенно горевать, умри я как надлежит джентльмену, до последнего часа стараясь поправиться, или если бы я честно погиб при какой-нибудь катастрофе. У меня нет подопечных, из-за которых я был бы вправе избегать разумной опасности. Но уйди я из жизни преднамеренно — у них под ногами разверзнется отвратительная пропасть, и мне неприятно представлять, как они вглядываются в нее…

Короче говоря, на этом пути для меня выхода нет. Придется влачить жизнь через эти перемежающиеся органические депрессии. И мне недоступно обезболивающее, которое дарует вера. Просто придется жить, проходя через эти безрадостные полосы[62].

Глава II
Последний этап

1. Листки дневника

В мае 1935 года я принялся за книгу «Анатомия бессилия», в которой анализировал и освобождал от посторонних наслоений те настроения неудовлетворенности и отчаяния, что охватывают творческую личность в пору отлива созидательной энергии. Это современный вариант «Истории меланхолии». Я работаю над ней сейчас (летом 1935 г.), но пишу и не знаю, в какой мере она мне удастся. Я хочу исследовать весь процесс утраты иллюзий в наши дни и извлечь из него, в той мере, в какой сумею, мужество и стимулы для себя и других. Быть может, я найду при этом новую форму выражения, с помощью которой смогу не только обратить во благо собственные приступы подобных настроений, но и обрету новый творческий интерес. Книга под таким названием и с такой идеей может оказаться любопытной.

И в октябре 1935 года я записываю, что мои ожидания оправдались, книга удалась и послужила своей цели — внесла ясность в мои мысли. Некоторое время я ее придержу, с тем чтобы еще вернуться к ней, и опубликую, вероятно, в 1936 году.

В январе 1936 года я прибавляю к этому, что объем книги и мое мнение о ней все еще растут.

А в феврале — что книга, можно сказать, закончена и я ею удовлетворен. Некоторые части я провентилирую в «Спектейторе», посмотрю, какие будут отзывы.

Шестого апреля 1936 года «Анатомия бессилия» закончена чуть ли не до последней запятой и последней словесной поправки. Она невероятно прочистила мне мозги. Это реальный шаг вперед в попытке изложить, что собой представляет мой мир. И однако, книга недостаточно хороша. Неужели то, о чем я постоянно говорю, я так никогда и не смогу высказать должным образом?

Теперь мне с каждым днем яснее, что именно работа, которую «Анатомия бессилия» пытается полностью охватить и подытожить, и делает меня значительной личностью. В большей части «Постскриптума» об этой стороне моей жизни говорится лишь между прочим. Все остальное, что можно было бы назвать «Персоналии», посвящено случайным встречам, прелестям бытия. Они накладывают отпечаток на жизнь: внушают человеку надежду, делают его несчастным, больным или здоровым,

убивают или прибавляют сил, но едва ли всерьез меняют его отношение к жизни и представление о его коренном благе.

Я подумывал о том, чтобы написать сценарий фильма как самостоятельное произведение литературы. Постановка любого фильма связана с миллионом неприятностей и разочарований. И я не уверен, сумею ли так уж успешно сражаться в киносъемочном павильоне и в монтажной, добиваясь осуществления своих замыслов, хотя конечно же затею драку; но сценарий, который я предполагаю опубликовать в форме книги, я могу, вероятно, написать таким образом, что его влияние на постановку фильма будет куда значительней и противостоять ему будет трудно. Для меня это может оказаться обходным путем к желанному мастерству. В современном кино таятся такие непроявленные силы и такие неиспользованные возможности, о каких я сперва и не подозревал, и подобная исследовательская работа как нельзя более в моем духе. Тем самым у меня прибавился еще один интерес, из которого в эти свои заключительные годы я могу черпать стимулы и необходимый мне душевный покой. Похоже, я понемногу освобождаюсь от мыслей о самоубийстве, в которые погрузился из-за разочарования в Муре.

Уже в августе 1935 года я был поглощен этими новыми интересами, и роль Муры в моей творческой жизни становится чем дальше, тем менее значительной. Она уехала в Эстонию, и я, можно сказать, не тоскую по ней и не любопытствую, чем она занята. Мы обменялись четырьмя-пятью отнюдь не любовными письмами. Сейчас, пока семья моего сына Фрэнка в отъезде, я живу в его прелестном доме с садом в Дигсуэлл-Уотер-Милл. Там, у старой мельницы, в бывшем русле ручья насажено множество водяных растений, а в саду очень славный павильон с кушеткой, куда жаркими лунными ночами можно принести одеяло и спать или предаваться мечтам. Я взял напрокат автомобиль и вновь пристрастился на нем разъезжать — и все больше времени все с большим толком и уверенностью провожу среди разнообразной и занятной публики в киностудиях Айлуорта и Денема. Я возобновил одну-две старые связи и завел новую. В октябре отправлюсь в Нью-Йорк, я уже хорошо продумал не один сценарий и, вероятно, полечу в Голливуд. Когда вернусь в Англию, не знаю. Может случиться, перезимую в Калифорнии…

В конце октября 1935 года приписываю, что забронировал билет в Америку на 7 ноября и что полоса мыслей о самоубийстве, кажется, окончательно миновала. Кино интересовало меня и интересует до сих пор скорее как средство выражения, чем как развлечение. И «Облик грядущего», и

«Чудотворец» набирали силу, какой я от них и не ожидал. Они безусловно годились для работы, и с Александром Кордой{414} мы нашли общий язык. (Позднее, в 1936 г., наступило разочарование.) Я подготовил для него еще два сценария, один — обработка старой «Пищи богов», а другой — расширенный вариант моего рассказа «История покойного мистера Элвишема», который хочу назвать «Новый Фауст». Они должны быть поставлены в 1936 году, и оба вполне меня удовлетворяют. Испортить их при постановке будет, я полагаю, трудно…

Я отправился в Америку, как и намеревался, 7 ноября 1935 года. Несколько дней провел в центре Нью-Йорка с Дж.-П. Бреттом из компании Макмиллан, а потом, через Большой Каньон, перелетел в Голливуд и там пять недель прожил в доме Чарли Чаплина, бывал на киностудиях и узнал очень много о постановке фильмов и финансовой стороне дела. Калифорнийское солнце омолодило меня. Я побывал на ранчо у Херста, у Сесила Б. де Милла{415} и в Палм-Спрингс. Теперь я уже не думал о себе как о разочарованном и конченом человеке. Возвращался я на Рождество — самолет оледенел, и пришлось полтора дня ехать в Нью-Йорк поездом из Далласа через Вашингтон.

По приезде в Лондон в январе 1936 года я шел по перрону вокзала Уотерлоу, уклоняясь от фотографов и репортеров, и вдруг увидел перед собой Муру — высокая, приветливая, уверенная в себе и в своем особом мире, голова поднята, на лице привычная затаенная улыбка. Совсем как когда она встречала меня в Зальцбурге и на аэродроме в Таллине после Москвы. Она пришла, чтобы сопровождать меня в мою квартиру.

«От тебя не убежишь», — сказал я, целуя ее.

«А ты пытался?» — спросила она.

«Потому-то и уехал в Америку».

«Опять мне изменял?»

«Еще как».

«Вот и верь тебе после этого», — с улыбкой сказала Мура.

«Таких красивых гор, как в Аризоне, я в жизни не видел».

«Ты там был не один?»

«Если мужчина начинает отвечать на вопросы, на нем можно ставить крест. Но я ведь знаю, что именно тебя интересует, и потому, так уж и быть, на этот вопрос отвечу: один».

«Тогда, значит, в Коннектикуте…»

Я спросил о детях, но по тому, как я держался, нам обоим вдруг стало ясно, что случилось невероятное и от одержимости Мурой, так надолго захватившей мое воображение, не осталось и следа. В моих глазах она спустилась с небес на землю. И ровным

счетом ничего не значит, что мы вместе пришли ко мне домой и вместе ели и спали в ту ночь. Былого восторга как не бывало. Я отношусь теперь к ней почти так же, как относился к своему большому черному коту, такому ласковому, уверенному в себе, привыкшему ластиться ко мне, которого, увы, пришлось оставить в Лу-Пиду. Уже не вызывает она у меня ни вражды, ни восторга, только истинно дружеское расположение.

Назавтра мы с ней беседовали.

«Ты плохо о себе заботишься, — заметил я. — Ты, право же, слишком много пьешь. Жаль, что нельзя снова ненадолго посадить тебя за решетку — в качестве лечения. Ты становишься ленивой и апатичной. Я пророк. Я знаю, каков будет конец наших отношений. Когда я превращусь в сморщенного старика с еле слышным голосом, ты расхвораешься у меня на руках и помрешь. Да, непременно, а обо мне и не подумаешь позаботиться. Будешь есть и пить, когда не велено, и на этом тебе придет конец. А я, несчастный старик, буду каждый день приходить и сидеть у твоей постели. У меня достанет чувства долга. Буду приносить цветы и разное прочее, чтобы ты думала, будто я все еще тебя люблю и поддерживаю в тебе веру в себя самое. В таких делах я всегда был даже чересчур внимателен. Сам не знаю почему, но я буду вести себя именно так».

«Ты меня любишь».

«И никогда не стану напоминать, как ты была безответственна, как подтачивала мои силы, и истощала, и опустошала меня».

«Ого! Ого-го!»

«Когда будешь умирать, я постараюсь, чтобы уход из жизни не был для тебя мучителен. На твоих похоронах я, наверно, заработаю двустороннюю пневмонию. Ты не желаешь, чтоб тебя кремировали, как всех порядочных людей. Ты настаиваешь, чтобы тебя закопали в землю, и, разумеется, будет по-твоему. День будет промозглый. Да, именно так. Ты уж постараешься, ведь это так на тебя похоже. Я провожу тебя в последний путь и приду домой подавленный, укутавшись в пальто, с первыми признаками простуды, которая меня доконает».

«Но прежде, чем все это случится, ты должен позволить мне сыграть толстуху в чаплиновской интерпретации „Мистера Полли“, ты мне обещал».

«Только на это ты и годишься. Но даже и тут ты наверняка меня подведешь. В самый разгар съемок либо захвораешь, либо укатишь в Эстонию».

Молчание.

«Милый ты мой. Что ж ты все рассуждаешь про любовь, а обо

мне так неверно судишь?»

У нее отсутствует логика, и ничего с этим не поделаешь.

В духе такой вот насмешливо-нежной терпимости и кончается история моей любовной жизни. Я никогда не был большим охотником до любовных приключений, хотя нескольких женщин любил глубоко. Я постарался как можно полнее представить отношение Муры ко мне и мое к ней. Постарался воспроизвести нашу манеру разговаривать друг с другом. Я поведал обо всех ее недостатках, и слабостях, и провинностях, какие мне известны. Рассказывая о них, я раскрыл и свои собственные. И теперь, когда все сказано и сделано, самое главное совершенно ясно (надеюсь, я дал это понять): Мура та женщина, которую я действительно люблю. Я люблю ее голос, само ее присутствие, ее силу и ее слабости. Я радуюсь всякий раз, когда она приходит ко мне. Я люблю ее больше всего на свете. При такой любви все, что во благо, и все, что во зло, в крайнем случае интересно, но самое главное, глубинное, что моя любовь к Муре все равно неизменна. Мура — мой самый близкий человек. Даже когда в досаде на нее я позволяю себе изменить ей или когда она дурно со мной обходится и я сержусь на нее и плачу ей тем же, она все равно мне всех милей. И так будет до самой смерти. Нет мне спасения от ее улыбки и голоса, от вспышек благородства и чарующей нежности, как нет мне спасения от моего диабета и эмфиземы легких. Моя поджелудочная железа не такова, как ей положено быть; вот и Мура тоже. И та и другая — моя неотъемлемая часть, и ничего тут не поделаешь.

Я попытался поместить мои умозаключения обо всем, что касается любви, в завершающую главу книги «Анатомия бессилия» и надеюсь дополнить ее главой «Половая распущенность»[63]. Все написанное в этой книге тщательно продумано. Иногда мне кажется, в ней сказано именно то, что я намеревался сказать, а иногда чувствую, в ней нет необходимой ясности.

Качество жизни в значительной мере зависит от жилища. На Ганновер-террас, 13, начнется новый, последний этап моей жизни. Обставляли дом главным образом мой сын Фрэнк со своей женой Пегги и леди Коулфакс, но решающий голос принадлежал мне, и, должен заметить, мне вдруг остро захотелось поместить в столовой бюст Вольтера. Для меня это было очень важно, вероятно, он был символом того, какой мне мерещилась эта последняя глава моей истории; что-то вроде Вольтерова довольства в Фернэ. Как я понимаю, я намерен быть пожилым джентльменом с Ганновер-террас, который еще несколько лет, до самого своего конца, будет высказывать разные соображения и

предложения. Надеюсь, голова у него будет работать до конца. У моего отца работала, у матери — нет.

Поживем — увидим.

Мой первый фильм «Грядущее» появился на экране кинотеатра на Лейчестер-сквер 21 февраля 1936 года после широковещательной рекламной кампании. Он имел немалый успех с коммерческой точки зрения, но для меня явился колоссальным разочарованием. Было совершенно ясно, что он претенциозный, топорный, сработан недоброкачественно. При его постановке я действовал неумело. Не смог как должно проследить за съемками. Камерон Мензис{416} оказался некомпетентным режиссером, он любил улизнуть на выездные съемки, любил тратить деньги на всякие ненужности, а Корда этому не препятствовал. Мензис был своего рода Сесил Б. де Милл, только не обладал таким же богатым воображением; его прельщала грохочущая техника и эффектные многолюдные сцены, а моими идеями он не проникся. Подсознание подсказывало ему, что собственный его ум весьма банален. Разговоров со мной он старательно избегал. Самая трудная часть фильма, и притом всего больше возбуждающая воображение, — та, где события происходят через сто двадцать лет после наших дней, но трудности ее воплощения испугали Мензиса; он предпочел уклониться от них и большую часть денег потратил на невероятно дорогую и тщательную разработку предшествующих двух третей сюжета. Добрую половину моих драматических сцен он либо вовсе не сумел поставить, либо поставил так скверно, что в конце концов их пришлось вырезать. Корда тоже меня разочаровал, да к тому же я и сам себя разочаровал. Трудности, которые мне следовало предвидеть, застали меня врасплох. Я недостаточно быстро понял, что собой представляет Корда, и не сразу научился на него влиять. Поначалу я заявил, что мы с ним схожи, и так оно и есть — мы оба умеем произвести впечатление и не заслуживаем доверия. Я устал писать дополнения к разработкам киносценария, которые потом неверно осмыслялись или опять вырезались.

В конце концов «Облик грядущего» был истолкован всего-навсего как эффектный, зрелищный намек на Мировую столицу, которой правят ученые и деловые люди. В виде Всемирной лиги воздухоплавателей здесь представлена идея «Нового курса», как она истолкована в «Анатомии бессилия». Но хотя я был весьма разочарован в своем первом опыте работы в кино и сознавал, что именно эта полуграмотная публика, с ее шумной тяжеловесностью, на умонастроение которой я хотел повлиять,

нанесет вред, и, быть может, непоправимый, моему престижу, это вовсе не кончилось для меня депрессией и потерей надежды, как после поездки в Москву. «Анатомия бессилия», несомненно, помогла мне прийти в себя, и я учился не падать духом при поражении.

«Чудотворец» последовал почти сразу за «Обликом грядущего». Он оказался далеко не так податлив режиссеру, как его предшественник. Ставил его Лотар Мендес{417}, который как режиссер сильно уступал даже Мензису. Фильм невероятно скучный; в нем упущено великое множество возможностей блеснуть остроумием и развлечь, но в целом он куда более последовательное произведение искусства, чем предшествующая картина. Оказывается, я все еще учусь, я расту; в семьдесят лет сделать такое открытие весьма приятно.

Семнадцатое июля 1936 года. Я не открывал свой «Дневник» несколько месяцев, а теперь открываю лишь для того, чтобы записать кое-что из происшедшего за это время. Новый дом удался, он доставляет мне и физическое и эстетическое удовольствие. Я испытываю радость. Здесь хорошо работается. Я принялся за роман, который развлекает меня, как бывало в прежние времена — «Представление хоть куда» (в дальнейшем название стало «Брунгильда»), и я открыл энергичную кампанию по подготовке к изданию современной энциклопедии, хотя мне не дожить даже до его начала. Мура на старый лад то появляется, то исчезает. Мы вместе проводим субботы и воскресенья то там, то здесь, обмениваемся сплетнями и, совсем как супруги, занимаемся любовью.

В конце мая 1936 года Мура стала испытывать странное недомогание. Она вдруг принималась рыдать, что ей вовсе было не свойственно. Ее охватило желание уехать одной во Францию. На нее надвинулась тень приближающейся жизненной перемены. В эту пору ей изменила ее неодолимая самоуверенность. Она не в силах была обсуждать это со мной, не в силах была обсуждать этот этап и с самой собой, она хотела быть одна. И тут произошло событие, которое сразу вывело ее из депрессии. Газета сообщила, что в Москве смертельно болен Горький[64], и несколько дней спустя я получил от нее телеграмму из России. Не думаю, что, уезжая во Францию, она замышляла поездку в Россию, она отправилась к нему внезапно. Она помогала за ним ухаживать, оставалась с ним до конца, когда он был уже без сознания (она мне описывала это его состояние); что-то непонятное делала с его бумагами, выполняла давным-давно данное ему обещание.

Вероятно, там были документы, которым не следовало попадать в руки ОГПУ, и Мура спрятала их в надежное место. Вероятно, она кое-что знала и пообещала никому об этом не говорить. И я уверен, она сдержала обещание. В таких делах Мура — кремень. Когда она исчезла из моего мира, я пожал плечами и приготовился жить без нее. Я не верил, что, когда Горький призвал ее, он действительно умирал, — и оказался неправ. Он уже столько раз умирал. А если и сейчас все то же самое? Как тогда поступит Мура?

Три субботы и воскресенья я провел без Муры; один конец недели гостил у прелестной пары Зигфрид Сэссун{418} в Уилтшире, еще один — у Холдейнов в Сассексе, и один — на престранной международной конференции в Лондоне, на которой изо всех сил старался провалить проект марксистской энциклопедии. После той первой телеграммы о Муре не было ни слуху ни духу, и я думал, Россия ее поглотила. Вечером в воскресенье я возвратился от Холдейнов, и около часу ночи позвонила Мура, все та же неисправимая неизменная Мура, — любовь к которой явно и потребность естества, и необходимость, — словно никуда и не уезжала…

Похоже было, она вернулась домой.

Этот раздел возвращается da capo[65]. Вряд ли со мной еще будет происходить что-то такое, о чем было бы интересно рассказать. Жизненный успех, любовь, познание мира — все это практически позади. Я не страшусь смерти и, можно сказать, примирился с приближением старости. Моя жизнь вступает в спокойно-деятельный последний этап. Мне нравится обстановка, в которой я живу; дом на Ганновер-террас мил мне во всех отношениях, и ход моей жизни мне теперь почти постоянно приятен. Я больше не испытываю одиночества; меня интересует кино, интересует продвижение мирового сообщества в различных областях, интересует создание энциклопедии власти, но интересует так, как ученого интересует собственная работа, которая важнее для него, чем он сам, и он находит в ней постоянное и нескончаемое удовлетворение. У моего сына Джипа, моей невестки Марджори и еще у одного-двух человек из моего окружения, кажется, тот же подход к жизни и ими движет в значительной мере то же, что и мной. Не знаю, насколько важна может оказаться моя работа с точки зрения человечества. Но весьма существенно, что для меня самого она достаточно важна, чтобы держать меня в форме.

Я почти ничего не говорил о своих финансовых делах. Я был в них довольно практичен и жаден, несколько небрежен, что не слишком вредило мне, и заурядно честен. Я старался уклониться

от уплаты налога всякий раз, как это можно было сделать без особого риска, полагая, что не только для меня самого, но и для мира, в котором я живу, лучше жить легко и работать в охотку, чем перенапрягаться ради болванов, которые строят бомбардировщики и линкоры, и ради расточительства некомпетентных администраторов и чиновников.

(В 1938 году я попал в трудное положение из-за неуплаты налога с дохода, оставленного в Америке. Переговоры все еще продолжаются (февраль 1939 г.), но, оказалось, эта история, которая может лишить меня половины моего капитала, не слишком меня волнует. Я вовсе не чувствую себя виноватым. Просто, уклоняясь от уплаты налога, я действовал небрежно и неловко. Прибавлю к этому: в марте 1939 года я уладил эту неприятность, уплатив 23 000 фунтов.)

Больше всего я себя упрекаю главным образом за разные болезненные мелочи: за бестактность и раздражительность в отношениях с родителями, старшим братом и людьми, которые зависели от меня; за то, что в иные времена заставлял Джейн страдать и иногда оставлял ее в одиночестве, без поддержки; за приступы злости, по большей части никому не причинившей вреда, за унижения, которым был виной, — иные из них точно незаживающие ранки на моей памяти — угнетал глупых мальчишек и был жесток в бытность свою школьным учителем, тростью убил беззащитного крысенка. И за разные другие подобные проявления тупости. Я никогда ничуть не сожалел о своих сексуальных связях на стороне. Они меня развлекали и освежали, и хорошо бы, их было еще больше. О них помнишь как о событиях, которые, безусловно, происходили, но никакие подробности в памяти не сохранились. Это все равно, что пытаться воскресить в памяти ощущение весны.

Девятнадцатое июля 1936 года. Итак, я завершаю свою «Автобиографию». Я могу прожить еще добрую дюжину лет, а то и больше, но вряд ли появится необходимость добавить к ней еще хоть что-то существенное. Благодарение Богу, мое «я» как тема исчерпано, и я рассказал обо всем, что смог почерпнуть из любви. Мы с Мурой, несомненно, будем держаться друг друга на свой особый лад, сохраняя независимость друг от друга. Если не я, то уж она-то, во всяком случае, об этом позаботится. Мне остается работа, и она скажет сама за себя; кое-какие обязанности, не слишком значительные; и, вероятно, немощи, о которых чем меньше говорить, тем лучше. Не дело тревожиться заранее.

Под этим заключением я подписываюсь в канун своего семидесятого дня рожденья, 21 сентября 1936 года, которое

(прибавляю я б октября) мы с Мурой превесело отпраздновали вместе, как праздновали уже восемь годовщин.

Оказывается, чуть не полгода у меня не было желания возвращаться к автобиографии. Сегодня — 21 февраля 1937 года. Ничего существенного со мной за это время не произошло. Дом тринадцать на Ганновер-террас остается отличным жилищем, и вот уже десять месяцев у меня не появлялось желания куда-нибудь из него уехать. В столетний юбилей Лондонского университета мне присвоили степень доктора литературы, и я втайне был раздосадован — предпочтительнее было бы получить степень доктора естественных наук. Мой нелепый ПЕН-клуб 13 октября дал в мою честь грандиозный обед, и такое было придано значение моему семидесятилетию, что я даже стал ощущать его бремя. Недавно мне удалили все оставшиеся зубы, и тогда я был отчаянно унижен этим. Но, кажется, ко мне возвращается способность быстро оправляться от ударов. Я закончил и отшлифовал очень неплохой, на мой взгляд, небольшой роман «Брунгильда» и две повести, которые явно доставляют мне удовольствие: «Игрок в крокет», уже опубликованный книгой, и «Рожденные звездой». «Игрок в крокет» заслужил одобрительные отзывы прессы и книгопродавцев. Я посвятил его Муре. К тому же дал согласие стать председателем комиссии по образованию на конференции Британской ассоциации, которая состоится в Ноттингеме в сентябре, и уже написал свое выступление. Более того, я подготовил лекцию, посвященную Всемирной энциклопедии, которую прочту в октябре в Америке. Идея создать такую энциклопедию кажется мне чем дальше, тем плодотворней; в ней заложены большие творческие возможности. Направление мыслей в этих двух выступлениях то же, что в «Рожденных звездой» и в «Анатомии бессилия». Оно берет начало в «Облике грядущего». Я обретаю своего рода стереоскопическое видение будущего; при каждом новом взгляде на него оно становится все реальнее и убедительнее. Система идей, которые я развиваю, вероятно, будет оказывать куда большее влияние на человечество, чем можно предположить сегодня. Идея Всемирной энциклопедии включает в себя идею Компетентного воспреемника и легального заговора.

Весь этот мой труд, несомненно, мог бы быть лучше спланирован и лучше написан; он мог бы быть более убедительным и иметь более прямой результат, но меня это не огорчает. Он должен был развиваться на свой лад; его невозможно было спланировать загодя. Понимая, что я собой представляю, мне кажется, я неплохо собой распорядился. Уже

остался позади возраст честолюбивых устремлений, разочарований и самобичевания. Я таков, каков есть, и я знаю, чего хочу и какое место в мире занимаю. И Мура остается собой; она немного пополнела, поседела, иногда утомительна, чаще очаровательна и по-прежнему близкая и дорогая.

В последние несколько дней я вернулся к роману, который начал давным-давно, — «Долорес, или Счастье». Он уводит меня от моих глобальных проблем и поворачивает к тому, что я назвал бы комизмом жизни. Это, можно сказать, я сам, en pantoufles[66]. Я позабавлюсь им и пальцем не пошевелю, чтобы его опубликовать. 9 июля 1937 года смотрю на свою рукопись, но к ней мало что можно добавить. У меня был жестокий приступ неврита, и несколько месяцев я ни на что не был способен, но теперь мне полегчало. Во время приступа я был сильно угнетен, но, выздоравливая, чувствовал себя победителем, и так приятно выздороветь и понять, что способность работать мне не изменила и что у меня есть запас сил. Я был в ванной и чувствовал себя совсем больным, да еще ушиб палец ноги и, признаюсь, взвыл от жалости к себе. Но тут меня охватил гнев и отвращенье к самому себе же. Вместо того, чтобы лечь в теплую приятную ванну, я встал под холодный душ. Я хотел испытать настоящую боль. Я махнул рукой на болеутоляющие и повел себя так, будто нет у меня никакого неврита. И только подумать! Неврита как не бывало. То ли я к тому времени как раз выздоровел, то ли сделал именно то, что надо, чтобы избавиться от этой болезни. Сколько я понимаю, причиной болезни был недостаток витамина B2, вызванный слишком строгой диабетической диетой.

Но я старею, это очевидно, во всяком случае — телом. Ум у меня еще деятельный. Я закончил третью повесть, «Братья», отложил четвертую, фантастическую, «Посещение Кэмфорда» — в ней безжалостно критикуется ничтожность устремлений наших университетов — и опять вернулся к роману «Долорес, или Счастье», название которого изменил на «Счастье, или Злое сердце» («Добросердечная, зловредная» — 30 августа 1937 г., и в конце концов на «Кстати о Долорес» — февраль 1938 г.). По-моему, это занятный роман, и я изобразил в нем Одетту, достаточно вольно и, по-моему, не слишком зло.

Пусть это будет неторопливый, непоследовательный роман, над которым я стану работать, когда мне заблагорассудится, еще год или около того. (И вот теперь, в марте 1938 года, он закончен!)

Я определенно стал ближе, чем прежде, к своей семье, и все они нравятся мне все больше и больше. Каждый на свой лад они славная компания. С Мурой мы видимся чуть не каждый день,

когда мы оба в Англии, и очень довольны друг другом, терпимы и приятно проводим время. Мир, в котором мы существуем, беспорядочен и полон угроз, но ничего с ним не поделаешь, остается лишь с максимальным упорством и дальше разрабатывать тот, вполне возможно неосуществимый, план нового порядка, который я сделал основой своей жизни.

В сентябре 1937 года я председательствовал в комиссии по образованию на Британской конференции в Ноттингеме. Я не упустил случая обрушиться на недостаток информации в современном школьном преподавании, за чем последовала оживленная дискуссия. Моя речь как председателя и представленная мной схема опубликованы в моей небольшой книжке «Мировой интеллект».

Добавляю 28 ноября 1937 года, что я побывал в Америке. Поездка дала заряд творческой энергии, прибавила сил и бодрости. Я продвинул проект Всемирной энциклопедии, но, к чему это приведет, сказать трудно. Впечатлениями от поездки поделился в статье «Осень в Америке 1937 года», которая перепечатана в «Мировом интеллекте» вместе с моими лекциями и эссе на эту тему. Я снова зажил своей привычной жизнью на Ганновер-террас, где Мура и все и вся движется по накатанной колее.

И теперь (4 апреля 1938 г.), необычно ранней, восхитительной весной должен отметить, что чувствую я себя очень неплохо, просматриваю последние главы «Краткой истории» и начинаю новый и, полагаю, многообещающий роман «Священный ужас» — о диктаторе, которому ничто человеческое не чуждо. Мура та же, что всегда, — широкая натура, отнюдь не совершенство, мудрая, глупая, и я ее люблю.

Мир вошел в полосу острого предчувствия войны; подготовка к войне и резкий финансовый спад, неблагоприятно влияющие на дела и собственность почти каждого, распространились по всему свету. Тень этих событий, естественно, прямо или косвенно коснулась и нас с Мурой. За всех наших детей и многих друзей мы беспокоимся куда больше, чем за самих себя, ибо нам обоим свойствен некий безрассудный стоицизм. Я вижу, как моя концепция Мирового государства отступает — отступает, но не исчезает, — и наступление десятилетий трагической тщеты и неразберихи, которые я не предвидел, не хотел предвидеть, кажется все вероятнее. Но ничего тут не поделаешь, остается только и дальше разрабатывать проблемы Мирового государства. Заниматься этим должны люди упорные, и их должно быть много. Никакие скороспелые крайние решения не могут ускорить

постоянное совершенствование этого разумного замысла жизнеустройства человечества. Мы с Мурой не слишком склонны беречься от физических опасностей и душевных стрессов, которые, кажется, уже на подходе. Мы будем жить каждый согласно своим собственным убеждениям, следуя своей системе представлений, но, при коренящейся в наших характерах общности, будем и дальше истинной поддержкой друг другу. Мы не подчинимся обстановке. Ни за что не станем служить войне или просто участвовать в пацифистском движении. Нас могут убить, но до тех пор мы будем идти своим путем и оставаться самими собой. В конечном счете в мире установится порядок, и тогда какая-нибудь сочувствующая душа, может быть, перелистает эти страницы и удивится, как же это мы в наше время могли сомневаться, что этого не миновать.

Двадцать восьмого ноября 1938 года я дополняю, что пакую чемодан, собираюсь отправиться в качестве одного из гостей в Канберру на конференцию Австралийско-Новозеландской ассоциации по распространению науки. Полечу до Марселя, потом морем до Фримантла, потом самолетом и автомобилем до Канберры, а возвращусь через Сидней, Бали, Батавию, Медан, Рангун, Джайпур, Багдад и Афины. Предвкушаю три теплые отдохновенные недели в Индийском океане. Вернусь в Афины, где меня встретит Мура, и, прежде чем отправиться домой, проведу неделю или около того в Греции.

Военный кризис прошел через несколько удивительных этапов. Я ощутил прилив творческой энергии и написал о нем статьи и выступал с беседами по радио. Мне становится все ясней, что для спасения человечества необходим решительный сдвиг в области образования, основанный на идее всемирного порядка. Делается все очевидней, что история, исходя из которой мы формируем нашу политику, не что иное, как фальсифицированная летопись бесконечных кровавых беспорядков. Человек никогда не был хозяином своей судьбы, и ему еще предстоит этого достичь. Я твержу об этом на все лады. Во многих мелочах я начинаю чувствовать свой возраст: не так ходко хожу, меньше курю, ем, пью, но пока не улавливаю, чтобы мне хоть в малой степени стала изменять способность размышлять, или писать, или живо откликаться на все, что входит в сферу моих интеллектуальных интересов. Книга «Кстати о Долорес» удостоилась нескольких весьма одобрительных рецензий, а «Священный ужас» взбудоражил иных редакторов, издателей и тому подобную публику, как ничто другое из написанного мною за последнее время.

Тридцатое ноября 1938 года. На прошлой неделе у меня были две довольно интересные беседы. Одна — с Бенешем{419}, свергнутым президентом Чехословакии. Я встретился с ним в июне в Праге, когда он был еще во Дворце в Градчанах, и, несмотря на приближающийся тогда политический кризис, мы беседовали главным образом о сравнительных перспективах русского и немецкого языков как языков культурного развития Юго-Восточной Европы. Я был в Праге с ПЕН-клубом. Мы с Бенешем встречались прежде, во время президентства Масарика, и, по-моему, он нашел мою точку зрения многообещающей. Через несколько недель Гитлер (поддержанный этим несносным болваном Чемберленом{420}) с воплями выдворил его из Праги, и он уехал в Лондон. Некоторое время он не желал ни с кем встречаться, а потом сказал Масарику, который еще оставался в чешском дипломатическом представительстве, что хотел бы увидеться со мной. Оказалось, он полностью согласен с моим истолкованием разразившейся осенью военной паники, что стало содержанием моей новогодней статьи в «Космополитене» и «Ньюс кроникл». Мы беседовали о философии жизни, и я объяснил, что именно вкладываю в понятие «мистический стоицизм», в котором обретаю равновесие, как объяснил это в заключительной главе «Священного ужаса» и в последней части «Кстати о Долорес». Бенеша мой взгляд заинтересовал, как заинтересовал и Фрейда, к которому я зашел вчера проститься. Он был весел и как-то нехорошо взбудоражен из-за подготовленной им книги о Моисее и истоках религии, и, несмотря на разрушающуюся нижнюю челюсть, изо всех сил старался разговаривать. Он склонен был утверждать, что абсолютно зрелый человек чужд религии. Я же держался того мнения, что по существу я человек религиозный, хотя и абсолютно зрелый. А в общем мы были с ним в полном согласии. Обоим ненавистна подкрадывающаяся к нам дряхлость, но, будь у нас возможность приостановить ее, мы рады были бы прожить еще лет пятьдесят. Обоим ненавистно зарывать в землю свои способности, пока мы их еще полностью не использовали. Зашла Мура, чтобы забрать меня с собой. Она впервые встретилась с Фрейдом, когда мы с ней были в Вене в пору Дольфуса. Интересно было видеть, как Фрейд просиял, когда она появилась. Кто-то подарил ему камелии, и одну он преподнес ей. Я думаю, мужчина нашего с ним склада при виде улыбающейся женщины просияет и в сто лет.

Двадцать пятое мая 1939 года. Я заканчиваю еще одну книгу — «Судьба Homo Sapiens[67]». На сей раз я действительно сказал

то, что намеревался. Со времени последней записи я побывал в Канберре и вернулся самолетом, посетив на обратном пути Бали, Рангун, Джайпур и Афины. В Афинах меня ждала Мура, и мы посетили вместе Суниум и Дельфы. Путешествие я перенес хорошо, но в Багдаде подцепил какой-то микроб, который теперь, после трехнедельного инкубационного периода, наградил меня опоясывающим лишаем и спастическим колитом, с чем мне предстояло справиться. Я разразился серией горьких и презрительных статей в «Ньюс кроникл», пока одна из них, о королевской семье, не положила конец терпению редактора. Тогда я сосредоточился на «Судьбе Homo Sapiens». Теперь с книгой покончено, и у меня нет ни малейшего представления, чем я займусь дальше.

Первого сентября 1940 года я снова открываю эту папку. Мне кажется, я уже целиком рассказал историю своей жизни и в этом более узком смысле покончил с собой. Мне, пожалуй, только и осталось прибавить о все возрастающей и все более глубокой привязанности к семье да еще обобщить свою интеллектуальную жизнь. С тех пор как я впервые принялся за «Автобиографию», у меня будто начался этап погружения в себя, а теперь я освобождаюсь от этой потребности. Эта смена может означать нормальную смену жизненных циклов или отмечать этапы, когда здоровье меня подводит и я приспосабливаюсь к своей новой физической форме. Более того, изложив весь этот автобиографический материал, я, надо думать, застраховал себя от посмертных искажений моей жизни, опасаться которых у меня были серьезные основания. Это тоже освобождение от своего «я». Этой осенью намереваюсь отправиться с лекциями в Америку и вернуться к Рождеству.

В прошлом году в это время я был в Швеции, у издателя Хьюбша во Фленсе, между Гётеборгом и Стокгольмом, перед лицом готовой разразиться войны пытался добиться единения на Конференции ПЕН-клуба. Мура, которая провела несколько недель в Эстонии, присоединилась ко мне во Фленсе. Когда 3 сентября 1939 года Германии была объявлена война, мы находились в Стокгольме. Я дал некоторое представление об атмосфере Стокгольма тех дней в романе «В темнеющем лесу». После небольших осложнений мы улетели в Амстердам и там томились целую неделю, пока не представилась возможность отправиться последним отплывающим в Англию пароходом. Мы проследовали мимо выходящего из устья Темзы конвоя и видели авианосец «Мужественный», который той ночью был торпедирован.

Война серьезнейшим образом подхлестнула мой ум и весьма способствовала приглушению моей личной жизни. Содержанием дальнейших страниц «Постскриптума» становятся мои книги, газетные статьи и вызывающие оживленную полемику сочинения — «Судьба Homo Sapiens», «Новый мировой порядок», несколько статей для «Экстренных выпусков Пингвина» — а именно: «Путешествие республиканца-радикала в поисках горячей воды», «Права человека» и «Здравый смысл во времена войны и мира»; а также «В темнеющем лесу» и богохульная шалость «Все плывем на Арарат». В последний стремительный год они были сутью моей жизни.

В сентябре 1940 года, в мой день рожденья — мы праздновали его накануне вечером, — я сел на корабль «Скифия» в Ливерпуле, и после трех ночей интенсивной бомбежки, пока мы дожидались конвоя, мы поплыли в Нью-Йорк. (Мура проводила меня до Ливерпуля и еще до начала налетов вернулась в Лондон.) Там я примерно неделю прожил у Ламонтов, а потом отдался на попечение моего агента Пита. Я тринадцать раз выступал с лекцией, с одной и той же, которую неустанно совершенствовал, лекция называлась «Два полушария или единый мир» — главным образом о том, как сокращаются расстояния, и о необходимости для Америки, Британского Содружества Наций и России прийти к взаимопониманию относительно мира во всем мире. Настаивая на этом, я почти на год опередил время, и последняя лекция вызвала оживленную дискуссию с аудиторией. Америка тогда была настроена тупо, невежественно — антибольшевистски и пробритански сентиментально, но без особого толку. Я облетел всю страну, проделав по воздуху более 24 000 миль.

И с путешествием, и с работой я отлично справился. Пит замечательный агент: он сочетает обязанности денщика с мудростью умелого импресарио. Куда бы он ни приехал, по его зову тотчас являются услужливые молодые особы — он внимателен к нуждам своего клиента. У меня была, по-видимому, последняя вспышка радостной чувственности. Это пришлось мне по вкусу, но рассказывать тут не о чем. Из Нью-Йорка я отправился в Сан-Франциско, из снегов Коннектикута — на солнечные лужайки Флориды, Денвера и Далласа, Бирмингема и Детройта, Техаса и Толидо и всюду читал свою лекцию и много писал, а потом включил написанное в свой «Путеводитель по Новому Свету». Обратный путь был трудный и утомительный, но я перенес его хорошо. Панамериканская авиационная компания доставила меня на Бермуды и высадила, предпочтя мне мешки с почтой, — у нее был контракт на срочную доставку писем. На Бермудах я насладился теплом, а потом сел на «Экскалибур» и

приплыл в Лиссабон и таким образом, задержавшись там на несколько дней, 4 января 1941 года возвратился домой. С тех пор я чего только не делал, но главным образом трудился над своим лучшим и самым всесторонним романом «Необходима осторожность». Позавчера, 10 августа 1941 года, я отослал его издателю Уорбургу (и 16 декабря он был опубликован, с запозданием из-за бумажного голода, нехватки искусных переплетчиков и так далее).

Довожу свое повествованье до того дня, когда делаю эту запись, до Рождества 1941 года. Начиная с бомбежек весной 1940 года война разворачивается со все большей скоростью, подтверждая мои прогнозы. Я писал множество статей, резко протестуя против того, как она велась, но постепенно самый характер цензуры ограничил мою активность, и стало ясно, что на непосредственный ход событий я могу повлиять лишь весьма незначительно. Похоже было, что лучше всего записать определенные мысли так ясно и внятно, что, если неустойчивый мир наконец-то опомнится, они будут к его услугам, доступны родственным душам, желающим проводить их в жизнь. Я переписал свою небольшую устаревшую книжку «Первое и последнее»; склонил нескольких разумных людей прочесть ее в новой редакции, оценить и обсудить со мной, а когда довел ее до кондиции, заменил в списках издательской ассоциации «Рационалист» название «Первое и последнее» на «Побежденное время». Кроме того, я вкладываю все, что знаю по истории войны, в сжатую, но чрезвычайно содержательную книжку, которую назову «Искушение воинов». Она должна быть сдана в печать к июню 1942 года. Она стоит особняком, но, вероятно, может ознакомить многих молодых людей с основами военной проблемы.

Третья книга, которая уже в печати, — это обогащенная новыми мыслями выжимка из опубликованных в последние два года книг и статей о текущих событиях, — «Судьба Homo Sapiens», «Новый мировой порядок», «Путеводитель по Новому Свету», «Здравый смысл во времена войны и мира». Эти книги выходят; время от времени их следует читать. Какое действие они окажут, предвидеть трудно. Новая книга будет называться «Что ожидает Homo Sapiens», и Уорбург выпустит ее в начале 1942 года. Кроме того, я коренным образом переработал «Очерк истории», запасы экземпляров которого в Англии были уничтожены бомбой, попавшей в здание Кассела.

Нападение Японии показало, что правители Америки и Великобритании лишены воображения, некомпетентны и бездеятельны. Ни в армии, ни во флоте не ощущается духа

сотрудничества. После Крита, Японии, Бирмы они все еще не понимают, что необходимо создавать аэродромы — это способствует успешным налетам и дает возможность закрепиться на каждой отвоеванной позиции. Их дурацкие стремительные операции десантно-диверсионных «командос» (кстати, чего ради проклятые болваны заимствовали это слово из лексикона южноафриканских бойскаутов и заменили простое привычное слово «налет» — увы, тому виной Уинстон, допустивший это в минуту слабости!) вынуждают местное население подняться в счастливой надежде, что это наконец настоящий налет, а те снова отходят, предоставляя беднягам, поверившим в серьезность их намерений, быть расстрелянными. Теперь, вместо того чтобы готовить налеты при непосредственной поддержке местных сил, как я требовал еще полтора года назад, они, кажется, склонны повторить глупость 1941 года и послать смешанные, чисто символические силы, не приученные к совместным действиям, в сущности, обрекая их на верную гибель. Они все погубят, ничего глупее не придумаешь, даже если задаться такой целью. Их не остановишь. Эту дурацкую «Британскую империю» следует рассеять, и, чем скорее, тем, вероятно, лучше. Но я англичанин; все, чем я дорожу в своих соплеменниках, вовлечено в эту катастрофическую феерию, и происходящее надрывает мне сердце.

Темп событий превзошел все мои ожидания. Всего за несколько десятилетий нам предстоит пройти через что-то аналогичное раннему средневековью. Но даже если нынешние десятилетия будут вмещать в себя столетия, вряд ли я доживу до нового этапа и увижу, как всемирное содружество окончательно отъединится от потерпевшего крушение прошлого. Вряд ли я увижу конец этой неразумной монархии, этой лживой религиозной организации, этого подлого надувательства с образованием, этого переплетения снобизма с хитростью — всего того, что было неизбежным фоном моей жизни. Я глумился над ним, высмеивал его и, возможно, приложил руку, чтобы приблизить его конец. Если я буду еще работать, мне, вероятно, надо будет написать книгу под названием «Реконструкция» — своего рода собрание и критика чаяний и проектов. Надо это продумать…

И вот в апреле 1942 года я ее продумал. Мой замысел быстро вылился в серию глав, стремительно следующих одна за другой; в последних главах первого тома «Феникса» — это замечательное название для заключительной книги придумала Мура — я постарался прояснить их последовательность. Сейчас отчаянно боюсь, что какое-нибудь непредвиденное обстоятельство

помешает этой неотложной завершающей работе. Дни тянутся еле-еле, и временами я готов вопить от нетерпения.

О Муре мало что можно прибавить. Ей сейчас пятьдесят. Наша близость началась двадцать лет назад. Тогда она была высокая, изящная молодая женщина, а теперь, как я ей сказал, она точно ватиканский херувим в три ее роста, но все равно очаровательная полная дама; она очень заметно поседела, но странные отеки, которые уродуют голеностопные суставы множества женщин ее лет, ее пощадили.

Я написал это на Рождество 1941 года, но с тех пор жизнь приняла еще более скверный оборот (апрель 1942 г.). Очень горькое событие, безобразные подробности которого я сейчас рассказать не могу, глубоко опечалило Муру — был нанесен удар ее гордости и ее привязанностям. Я лишь благодарю судьбу, что в ее характере есть неискоренимая детскость. Обрадовавшись нежданной бутылке вина или яркому пламени, она может тотчас забыть о подлинном несчастье. Мне это не дано. Я видел, что всемирная катастрофа подкрадывается все ближе и засасывает то, что мне дорого. Я в отчаянии от того ужаса, который грозит моим внукам и который я не могу предотвратить. И хотя я не испытываю особых физических страданий, боюсь, я неспешно и навсегда отвернусь к стене и махну рукой на этот последний фрагмент моей жизни. Я изжил все, что было сущностью моего жизненного пути. Престарелые люди нынче ложатся в постель и в лишающие сил предутренние часы испускают дух. Диагноз в этих случаях — остановка сердца. Что и говорить, завидное освобожденье.

Смерть чуть ли не лучшее из того, что случилось с жизнью. Она не изначальна. На длинном пути вверх по ступеням жизни есть конъюгация — клетки сливаются, образуются новые, они размножаются путем деления, а вот умирания нет. Смерть приходит как завершение и определение жизни лишь с появлением отдельных особей, что рождаются, борются за существование, принимаются или отвергаются, изменяют или не способны изменить свой вид. Особь упорно сражается за продолжение жизни, и, чем упорнее особь, тем больше у нее запас энергии, необходимой, чтобы выжить. Так что даже когда, как нынче, в час крушения мира, все охвачены отчаянием и горьким разочарованием и существование становится уж вовсе не приемлемым, все равно обычай и инстинкт не велят умирать.

Стефан Цвейг{421} совершил самоубийство по здравом размышленье, он чувствовал: ему больше нечего делать в мире. Все существенные, необходимые связи были оборваны. Он чувствовал себя изгнанником, от которого никому нет никакого

толку. Его поступок мне кажется вполне оправданным, но что касается меня, я знаю: есть работа, важная, не терпящая отлагательств, ради которой меня вскоре, возможно, призовут, так что последовать его примеру я не могу. Я на месте, и у меня под рукой все мои книги и преданные домочадцы.

Молодой мозг подобен зеленому лугу и полон возможностей, а старый, чем дальше, тем больше напоминает кладбище, переполненное воспоминаниями. В нем могут соединяться знания, мудрость и критическая сила, но только если в нем никогда не иссякал интерес к жизни. А раз уж это случилось, я думаю, его не восстановишь. Я же представляю собой особый случай: я держусь и буду держаться до конца, и мне предстоит оправдать это утверждение.

В скором времени мне не миновать возродиться — когда «Феникс» будет спущен со стапелей, мой последний разумный предлог сочтут симуляцией, — но пока я отвернулся к стене и намерен оставаться в таком положении сколько удастся. И, лежа лицом к стене, упорствуя в этом своем настроении, я принял несколько весьма определенных решений. И первое: не иметь больше дела с надоедливыми личностями. Чего ради мне теперь опять станут надоедать?

И вправду, чего ради? Мой бунт, который начался едва я родился, успешно завершен и окончен. В дневнике моей матери записано, что в купели я отчаянно вопил. Хотелось бы думать, что я ударил священника своим слабым кулачком, но достоверных свидетельств тому нет. Чтобы ответить на мой молчаливый вопрос: «Что же это за мир, в который меня ввели?» — мне потребовалось почти семьдесят шесть лет, но наконец я узнал ответ, ясный и простой. До сих пор еще никто в целом свете не был способен на такое длительное усилие, не сумел довести его до такой завершенности, и теперь можно отодвинуть в сторону множество незначительных споров и мнений, подобно тому, как исследователь-химик отодвигает в сторону контрольные опыты, которые вели к завершающему открытию. Теперь существует книга «Феникс». Она написана с воинствующей простотой и ясностью. Если вы ее не поняли, прочтите снова либо отмахнитесь от нее, но только не докучайте мне.

Помимо «Феникса» мое ясное, тщательно продуманное представление о том, что такое человечество в системе вещей, — книга «Необходима осторожность». Она рассказывает с наивозможной жесткостью и определенностью, какова подлинная сущность этого животного — современного человека, моя, ваша, всего рода людского. Вы можете возражать, что вы куда благороднее, мудрее, красивее телом и душой, чем Эдвард Элберт

Тьюлер. Спорить с вами я не стану. Что бы вы ни сделали, что бы ни говорили, мне все равно. Я сказал все, что считал нужным. В этой книге я ответил вам полностью и окончательно, разделался со всевозможными вашими тьюлеризмами. Прочтите ее еще раз, а мне не надоедайте. Теперь мне больше нет до вас дела (28 апреля 1942 г.).

2. Запись, сделанная другой рукой

Теперь мой рассказ придется подхватить другому и вставить в него кое-какие подробности, о которых я могу только догадываться. Мой так называемый пророческий дар угасает. Догадываюсь и надеюсь, что сердце остановится ночью, — а все мои дела в порядке…

«Г. Уэллс умер…» — будет гласить эта глава…{422}[68]

* * *

…13 августа 1946 года, за месяц до восьмидесятилетия. В последние годы его все больше одолевала болезнь, и он становился все беспомощней — дело было не столько в болях, сколько в слабости — и потому два с лишним года при нем ненавязчиво дежурили днем и ночью и помогали сестры милосердия. Он отказался покинуть Лондон и провел годы Второй мировой войны в своем доме на Ганновер-террас под немецкими бомбами (за исключением нескольких месяцев в конце, когда бомбежки прекратились). У него постоянно бывала Мура, навещали многие старые друзья.

После «Феникса» были и другие книги. «Crux Ansata», полемическая работа, критикующая Римскую Католическую Церковь, вышла в 1943 году, а годом позднее «От сорок второго к сорок четвертому». Это сборник статей на разные темы, в том числе диссертация, которую он представил в Лондонский университет, чем изрядно его озадачил, и получил за нее степень доктора естественных наук. В том же году он отправил в печать последнюю редакцию своей «Краткой истории мира» (1922), прибавив заключительную главу под названием «Интеллект исчерпал свои возможности», и, к удивлению читателей, объявил, что у человечества нет будущего. Homo Sapiens вымрет, подобно динозаврам.

Почему он пришел к такому заключению? Потому что снова и снова настойчиво утверждал, что если человек хочет выжить, он должен сознательно приспособить свои взгляды и образ жизни к

новой среде обитания, которую породил его ум. Он должен «приспособиться или погибнуть». И прежде всего надо положить конец войнам, а для этого создать наднациональное Мировое государство либо Союз государств — для сохранения мира. Чтобы добиваться своей цели, это объединение, разумеется, должно обладать властью ограничивать и сокращать вооруженные силы любой страны, и любая страна должна отказаться в его пользу от значительной степени своей независимости.

В последних главах «Опыта автобиографии» отец рассказывает, как во время Первой мировой войны он и другие, кто испытывал те же чувства, настаивали, чтобы после войны было создано Федеральное Мировое государство, но вместо этого была создана Лига независимых суверенных государств во главе с советом девяти, чьи решения должны были быть единогласными — один несогласный мог наложить вето на любое предложение. Говоря словами отца, это означало «полное признание неотъемлемого суверенитета каждой страны и отказ от идеи главенства союза».

Он все еще боролся, не жалея своих убывающих сил, а тучи снова сгущались, и в 1939 году война разразилась.

Последняя из его многочисленных редакций «Очерка истории» (1920) была завершена в конце 1940 года[69], когда Великобритания сражалась с Германией и Италией, Франция была разбита и оккупирована, а Япония пока ограничилась нападением на чанкайшистский Китай. Россия и Америка формально еще сохраняли нейтралитет, и это вселяло в отца надежду, что Вторая мировая война может кончиться для человечества образованием Федеративного Мирового государства, «при условии, что Америка и Россия смогут об этом договориться». Война не должна быть выиграна или проиграна. Лучше ни то, ни другое. Две могучие державы, сохраняющие нейтралитет, могли бы совместно выработать условия мира, создав всемирную организацию, «федеральную и интернациональную в полном смысле этого слова <…>, члены совета которой не будут представлять отдельные державы», и «когда силы воюющих государств окажутся на исходе, а сами эти государства на грани хаоса, им можно было бы предложить согласиться на эти условия <…>. Это не утопическая мечта, совершенно ясно, что теперь именно так и следует поступать. Это так же необходимо, как пахать, сеять, шить одежду <…>. Мир, заключенный на любых других условиях, был бы не чем иным, как передышкой между военными действиями. Тем самым рано или поздно должен быть заключен мир, не то человечество будет вести бесконечные войны, которые приведут его к гибели».

В январе 1941 года отец вернулся из Америки, где разъезжал с лекцией, в которой развивал эти идеи, но скоро стало ясно, что Всемирной федеральной организации не быть. Две великие нейтральные державы были вовлечены в войну из-за нашествия Германии на Россию в июне 1941 года и неожиданного нападения Японии на Перл-Харбор в декабре того же года. Четыре года спустя Германия и Япония капитулировали, и победители встретились в Сан-Франциско, и вместо Лиги наций появилась Организация Объединенных Наций, которая на старый лад состояла из «пропорционального количества членов, представляющих отдельные державы». В центральном Совете Безопасности, куда входили одиннадцать человек, любой из пяти постоянных членов мог, не объясняя мотивов, наложить вето на любое решение, которое всегда принимается большинством. Таким образом вместо федерации там существовало разделение, и мир увидел начало гонки вооружений с оружием небывало хитроумным и смертоносным.

Мне кажется, именно понимание, к чему идет человечество, породило книгу «Разум на пределе возможностей», как и горечь последних записей в «Листках дневника». «Человечество не может оставаться в его теперешнем состоянии, оно не должно остановиться на своем нынешнем уровне <…>. Если в грядущие, чреватые важнейшими событиями десятилетия человек не покатится вниз по наклонной плоскости, то лишь потому, что ум его наконец-то созреет, чтобы начать крутой подъем». Так он написал в 1940 году в «Очерке истории», а теперь он полагает, что человек не способен начать крутой подъем. То есть не способен выжить.

Нет, отец не переставал работать, и, случалось, к нему нежданно-негаданно возвращалась надежда. В 1945 году вышло несколько статей и две его последние книги; мрачная — «Разум на пределе возможностей», переработанная и дополненная, и веселое собрание аллегорий и снов под названием «Счастливый поворот»[70].

Последней его прижизненной публикацией была статья в «Нью Лидер» за июль 1946 года, в которой он резко критиковал «всю не способную к обучению пожилую публику, все консервативные слои общества нашей страны, живущей сложной и запутанной жизнью». Статья появилась меньше чем за полтора месяца до того, как его сердце перестало биться, — не ночью, как он предполагал, а после полудня. Его земные дела были более или менее в порядке — спасибо его секретарю, которая была еще и моей женой.

Дж.-Ф. Уэллс.

3. О публикации «Постскриптума»[71]

Не знаю, будет ли когда-нибудь опубликован этот «Постскриптум» к моей «Автобиографии». Я хочу, чтобы он был опубликован, как только это представится возможным, но позаботятся ли об этом мои наследники и сохранится ли достаточный интерес к моей жизни, который оправдал бы это издание, я предвидеть не в силах. Можно напечатать несколько экземпляров в качестве семейных документов, чтобы их могли прочесть мои дети; я хочу, чтобы они знали обо мне все. (Трудно предугадать, что произойдет с публикацией и чтением книги в грядущие годы. Может последовать вполне практическое предложение воссоздать облик Г. Уэллса с той полнотой, какую я собираюсь предложить, или, может статься, это будет нелепо и невозможно в переживающем тяжелые времена, малообразованном и доведенном до нищеты мире.) Если покажется, что это [осуществимо и] того стоит, через некоторое время после моей смерти, когда ***** и Мура, и Дуза либо умрут, либо дадут добро — ибо мнение Одетты можно ни в грош не ставить, Ребекка, Бог ее благослови, конечно же способна сама о себе позаботиться, ***** и возражать не станет[72], а больше ни у кого нет оснований быть недовольным, — *если тогда покажется, что таким образом стоит завершить мою попытку автопортрета мыслящей личности в эпоху, когда начиналось противоборство нового этапа жизни и [эгоизма, разобщенности], жизни, ограниченной традицией, тогда, надеюсь, будет возможно опубликовать этот «Постскриптум» — не сам по себе* (на этом я настаиваю), *но под общим переплетом с остальной «Автобиографией» и с вступительным словом, которое я написал для «Книги Кэтрин Уэллс». «Опыт автобиографии», «Вступительное слово к „Книге Кэтрин Уэллс“» и этот «Постскриптум» должны быть напечатаны именно в такой последовательности. Тогда все основные события моей жизни и мое к ним отношение будут соответствовать друг другу.* В отдельности ни одна из составляющих не полна, но вместе они создают достаточно стереоскопический автопортрет души — в той мере, в какой она сумела в нашу переходную эпоху подвигнуть себя на исповедь. Как уже вскользь упоминалось, я уклонился от рассказа об одной-двух мелочах — о злодеяниях не слишком серьезных — и презреньем наградил себя сам.

(Не представляю, чтобы общество когда-нибудь отважилось издать полное посмертное собрание моих сочинений, но мне

приятно предаваться размышлениям о такой долговечности, и, если тому быть, все вышеперечисленные автобиографические материалы, вероятно, следует поместить после всего прочего.)

Надеюсь, никто из редакторов более позднего времени не станет сокращать основную «Автобиографию» из-за того, что наука, или философия, или упоминания о политических условиях того или иного времени покажутся им устарелыми или трудноватыми для понимания. Если необходимо, их можно прокомментировать, но они — История, и без них не удастся должным образом понять ни всю прочую мою собственную историю, ни их самих без прочих моих опытов жизни. Я был одержим идеей заряженного созидательной энергией Мирового государства, что означало появление искреннего, способного к совместным действиям, заряженного созидательной энергией Гражданина мира — пусть даже этой идее пришлось черпать движущие силы из моих не достигших необходимой высоты сокровенных желаний.

По происхождению я англичанин, но, в сущности, — Гражданин мира, опередивший время и живущий изгнанником, вне желанного сообщества. Через поколения я приветствую тот лучший, более широкий мир и его умы, которым мы уступаем, и, может быть, в перспективе время от времени кто-то, какая-то еще не успевшая исчезнуть крупица моего Призрака Возлюбленной, оглянется назад и оценит по достоинству приветствие предтечи.

4. Запись о судьбе и индивидуальности [73]

Листаю страницы этой рукописи, которую никогда не увижу опубликованной, и одна мысль приходит на ум; не хочу ее особенно подчеркивать, но, поскольку она вполне правомочна, отмахиваться от нее, думаю, не должно.

Мне кажется, когда пишешь автобиографию с той степенью искренности, к какой я стремился, — рассказывая об ограниченности своих возможностей, утрате иллюзий, изначальной несостоятельности и признанных поражениях, — непременно, чем дальше, тем больше думаешь о предначертанности судьбы, тем определеннее чувствуешь, что твои опыты жизни сродни опытам человека, наделенного от природы различными побуждениями, которого обстоятельства связали по рукам и ногам, и он напрасно барахтается, пытаясь освободиться, точно муха, угодившая на липучку. Короче говоря, на ум пришла мысль о предопределении. Моя «Автобиография», которая, несомненно, повествует о характере и воле, на самом деле слепок противостояния внутренних и внешних сил, равно

предначертанных и неумолимых. Я, разумеется, написал не автобиографию, но всего-навсего краткий несовершенный очерк своей жизни, сделал слепок с того, «как было написано изначально».

Это сторона жизни, которую мой воинствующий инстинкт никогда не был склонен замечать и против которой бурно протестует каждый активный ген моего существа. Но если я не признаю, что она присутствует у меня в сознании, что-то существенное будет изъято из реальной картины моей жизни; картина будет менее цельной, плоскостной. И еще я сознаю, что иные мухи (пусть и слегка вымазанные в клее и скованные в движениях) все-таки ухитряются оторваться от липучки обстоятельств.

Под конец меня не оставляет неодолимое ощущение, что моя собственная индивидуальность весьма существенна — первична. В заключение я говорю о своем «Я», которое рассматривал со всех сторон, говорю, что этот человек *обладал и обладает свободной волей и проповедует ее.* Не так уж она велика, эта свободная воля, не так уж велики мужество или уверенность в себе, но ему в них не откажешь. Их больше, чем у мухи на липучке. Они прибывают. А свободная воля и есть индивидуальность, и индивидуальность не что иное, как свободная воля. Индивидуальность есть подлинная уникальность и самопроизвольная инициатива. Самопроизвольная инициатива есть творчество, а творчество есть божество. И, как я понимаю, именно об этом я заговорил в своей первой опубликованной статье «Новое открытие единичного» в «Фортнайтли ревью» за июль 1891 года, которая была написана в Ап-парке, в Питерсфилде, сорок пять лет назад (1936 г.).

Уилфред Б. Беттерейв
Подробная история одного литературного мошенника{423}[74]

Приступая к исследованию жизни и творчества Г.-Дж. Уэллса, следует ясно отдавать себе отчет в том, что этот господин, несмотря на непонятным образом завоеванную репутацию, — человек весьма низкого происхождения и не имеет систематического образования. Его родословная слишком хорошо известна, чтобы он мог скрыть свои корни, поэтому со свойственной ему наглостью он пытается извлечь из своего происхождения какие-то преимущества. Его ранние сочинения, героями которых являются главным образом представители низших социальных слоев, созданы отчасти в диккенсовской манере, хотя Диккенс был гораздо более образованным человеком. Уэллс родился в семье садовника и профессионального игрока в крикет, решившего заняться бизнесом и потерпевшего крах. По этой причине мать будущего писателя вернулась к работе домашней прислуги, в качестве которой и начала свою трудовую деятельность после разорения ее собственного отца-почтмейстера, когда железные дороги оставили не у дел почтовых лошадей.

Уэллс провел большую часть детства в подвальной кухне и получил начальное образование в скромной школе, которая занималась обучением не отличавшихся образцовым поведением и происхождением мальчиков из Лондона, готовя из них клерков для местной газовой компании. Он лишился возможности сделать карьеру на этом вполне подходящем для него поприще из-за болезни глаз, поскольку был не в состоянии с необходимой быстротой и тщанием заниматься долгими арифметическими подсчетами. В прежние времена не существовало гуманных законов, предусматривающих льготы и компенсации для граждан с врожденными физическими недостатками, не было и социально ориентированной медицинской помощи, с которой мы вынуждены мириться сейчас. Каждый надеялся только на себя самого и видел только то, что Господь положил ему видеть.

Мать Уэллса пожертвовала своими скромными сбережениями, чтобы приковать сына рабской цепью к нескольким пустячным должностям, но врожденная непокорность заставляла его всякий раз рвать эти цепи. Драка с одним из коллег, который не упускал случая задеть его самолюбие, закончилась немалым количеством разбитых склянок и привела к

увольнению Уэллса из аптеки. Поскольку бедной женщине некому было передоверить бремя ответственности за буйного отпрыска, она определила сынка в открытую незадолго до этого Грамматическую школу в Мидхерсте, надеясь подыскать ему позднее какое-нибудь новое, еще не испробованное рабское занятие. Несчастная пролила над сыном немало слез, умоляя всегда следовать двум простым правилам: выполнять все, что прикажет начальство, и молиться, если не ради самого себя, то хотя бы ради нее. Но он не слишком-то усердствовал ни в том, ни в другом.

Уэллс, первый пансионер новой школы, имел лихорадочно-восприимчивый ум, характерный для больных туберкулезом, быстро читал и запоминал прочитанное, выгодно отличаясь тем от своих скудоумных товарищей. По этим причинам директор, озабоченный поисками дополнительной прибыли, счел его кандидатуру вполне подходящей для этих целей. Сломанная в семилетнем возрасте нога заставила мальчика провести несколько недель в постели, и в это время отец приносил ему, едва научившемуся читать, книги из публичной библиотеки Бромли, которую можно считать Alma Mater нашего искателя приключений.

Итак, великий маленький Эйч-Джи Уэллс, как назвал его после совершения им очередной низости Эдвин Пью, один из его друзей, был выпущен в наш многострадальный мир. Он разочаровал достойного директора Мидхерстской школы, подав за его спиной прошение о приеме в Школу наук в Южном Кенсингтоне, известную ныне под гордым названием Королевский научный колледж. Лишив, таким образом, человека, давшего ему путевку в жизнь, возможности пожинать плоды своих трудов, Уэллс отряхнул прах Мидхерста со своих ног и стал восторженным студентом известного безбожника Т.-Г. Хаксли, изобретателя слова «агностик», чья преподавательская деятельность к тому времени близилась к завершению. Уэллса как будто забавляло великое беспокойство матери, вызванное неподобающим обществом, в которое он попал. Она, впрочем, почувствовала значительное облегчение, когда узнала, что Хаксли является «деканом» учебного заведения, поскольку быть «деканом» означало для нее быть служителем Церкви. Сын лишь ухмылялся, не делая никаких попыток развеять это заблуждение и открыть бедной матушке глаза на истинную сущность своего наставника. Казалось, он намеренно старается подорвать веру престарелых родителей в рай и ад, что было легко в отношении его беспечного отца, который никогда не был по-настоящему религиозным человеком. В рабочей же шкатулке матери Уэллс

впоследствии нашел следующий текст, переписанный ее трепетной рукой:

> И если встреч не будет за порогом смерти,
> И если ждет забвенье вас, молчание и мрак,
> Не бойтесь, плачущие в ожидании сердца:
> В чертогах Господа Его возлюбленные спят,
> И если пожелает Он, чтоб сон тот вечным был,
> Да будет так.

Он даже предлагал высечь эти пронизанные явным неверием строки на ее могильном камне, однако они оказались неуместными на христианском кладбище. Остается надеяться, что добрая женщина будет принята в сонм избранных душ благодаря твердости в вере, проявленной ею в зрелом возрасте и вопреки сомнениям, в которые она впала в старости не без влияния младшего сына — этого зловредного кукушонка, подкинутого в простую мирную семью не без участия сатаны.

Корни разногласий Уэллса с матерью уходят в его раннее детство. Они усугублялись ненавистью, которую он испытывал к собственной покойной сестре, умершей за пару лет до его рождения, — это ужасное признание я услышал из его собственных уст. Сестра была чрезвычайно смышленым и послушным ребенком, и мать старательно и благоговейно обучала ее, используя в качестве пособий произведения раннего христианского благочестия, которые играли огромную роль в воспитании в более серьезных семьях в более серьезные времена. Сестру Фанни звали в семье Посси, а после смерти и достижения ею вечного блаженства она стала именоваться *«бедняжка* Посси». Я никогда не мог понять причину появления этого эпитета, возможно, ею является необходимость долгого ожидания Судного дня. Однако от наших земных умов эти подробности мудро сокрыты, и дети, задающие слишком много вопросов, отправляются в постель, получив выговор, но не получив ужина, поскольку *все* вопросы кладут начало скептицизму и, следовательно, их нельзя поощрять.

Посси умерла от болезни, которая называлась тогда воспалением кишок и которой современные медики присвоили звучное название «аппендицит». Природа спокойно и упрямо уничтожала носителей такого уродства, как аппендикс, и если бы современным хирургам хватило ума не вмешиваться в этот процесс, ненужный отросток в конце концов исчез бы сам по себе. (Друг-медик сообщил мне, что рентгеновское исследование показало наличие аппендикса у Уэллса, однако слишком

незначительного, чтобы привести к фатальному финалу. Приступ аппендицита настиг Уэллса, вероятно, летом 1887 года, однако вместо того, чтобы умереть, он, ради облегчения боли, совершал долгие прогулки, упражняясь в богохульстве. Да, пути Господни неисповедимы и нам не дано постичь Его Промысл.)

Несчастная мать была убеждена, что причиной болезни Посси стало угощение на чаепитии у знакомых, и это послужило причиной вечной распри с ними, поскольку д*о*ма Посси не могли предложить ничего, способного принести ей вред.

Когда эта добрая женщина забеременела снова, она убедила себя в том, что Всемогущее Провидение так восхищалось воспитанием Посси, что решило, пока не поздно — ведь миссис Уэллс была уже немолодой женщиной, — утешить ее скорбящее сердце и послать в мир другого маленького ангела. Но вместо второй Посси родился грубый и непривлекательный Эйч-Джи Уэллс. На его ранних дагерротипных снимках можно увидеть хмурого маленького мальчика с длинной верхней губой и сжатыми кулаками. Вероятно, окружающим пришлось приложить немало усилий, чтобы заставить его сидеть смирно. По капризу ли судьбы, по недосмотру ли мастера, но на самом раннем снимке Уэллс сидит в опасной близости к чернильнице и перьевой ручке.

Бедная мать вымаливала другую Посси и вот что получила взамен. Она пыталась возбудить в нем дух соревнования бесконечными рассказами о доброте и прелести Посси и невыгодным для него сравнением его поведения с образцовой добродетелью оплакиваемого ребенка. Более отзывчивая натура, несомненно, откликнулась бы на трогательные призывы стать маленькой Посси в мальчишеских штанишках, однако дьявольский характер Уэллса заставил его проникнуться неприкрытой ненавистью к сестре, как к сопернице, не оставившей ему места в материнском сердце. Посси была образцом благочестия, поэтому он богохульствовал, призывал братьев следовать его примеру и подниматься на борьбу против легенды о Посси. Это в конце концов привело к восстанию столь явному и возмутительному, что бедная мать замкнулась в молчании. Ей больше не с кем было поговорить о своей дорогой девочке, поэтому она стала думать и говорить о других вещах. Посси уходила все дальше в прошлое. Мать заботливо ухаживала за ее могилой на кладбище Бромли, сейчас совершенно запущенной, и праздновала день ее рождения как день памяти святой, но, увы, в одиночестве. По мере того как мальчики подрастали и становились самостоятельными личностями, внимание матери к ним становилось все более пристальным. Она

безжалостно пресекала любые инициативы их отца, которые, по его мнению, могли бы поспособствовать сыновьям благополучно войти в жизнь.

Следует признать, что мать была женщиной твердых убеждений, рано попавшей в сети некоего лавочника, впоследствии разорившегося. Однако близившееся господство крупных супермаркетов, принимающих заказы по телефону и доставляющих товары по всей стране три или четыре раза в неделю, угрожало существованию мелких коммерсантов довикторианской эпохи. Отец Уэллса, житель лондонского предместья Бромли, к тому времени глубоко увязший в долгах, сумев предугадать грядущие перемены, вознамерился эмигрировать в Соединенные Штаты, которые очень нуждались в притоке европейцев, особенно англоязычных и особенно англоязычных рабочих, как наиболее способных к быстрой ассимиляции. Переселенцы отправлялись за океан в качестве добровольного человеческого балласта. Все было упаковано и готово к дальнему путешествию, когда семья узнала о скором приходе в мир Посси номер два.

Когда миссис Уэллс уверилась в этом, она наотрез отказалась покидать Англию. Ничто не могло поколебать ее. Джозеф Уэллс метал громы и молнии, однако не решился тащить жену через океан силой. Никто, замечает Уэллс со свойственной ему неделикатностью, не допускал и мысли о том, чтобы эмигрировать без нее. Возможно, она и смирилась бы в конце концов с необходимостью подняться на корабль, пока не убрали трап, однако, поскольку Джозеф был рожден неудачником, неспособным добиться поставленной цели, Уэллс стал англичанином, а не американцем.

Уэллс сделал эту упущенную возможность предметом особой гордости. Он утверждает, что существует традиция, согласно которой пассажиры океанского лайнера собирают по подписке пожертвования для каждой беременной женщины и для каждого родившегося на борту ребенка, чтобы облегчить его вхождение в наш деловой мир. Он все время твердил: «Мы должны были уехать в Америку, и я родился бы состоятельным американским гражданином, имеющим право стать президентом, — какая необыкновенная самоуверенность! — и при желании мог бы задирать нос перед нашей аристократией и королевской семьей». Таковы скромность и патриотизм этого восхваляемого многими «английского» писателя. Он высмеивает страну, давшую ему образование, совершенно им не заслуженное, и демонстрирует черную неблагодарность, изливая хулу на ее наиболее почтенные учреждения. А мы, между прочим, могли бы прекрасно обойтись и

без него.

> Едва ль найдется столь бездушный человек,
> Готовый вымолвить без трепетанья сердца:
> Земля сия родная мне навек!

Найдется: это Эйч-Джи Уэллс.

А ведь даже презренный немец, жестокий и свирепый, сражался и продолжает сражаться, как герой, за свое отечество. Уэллсу следовало бы провести некоторое время с героическими поляками (если бы, конечно, те согласились терпеть его общество), с замечательным, хотя и импортированным, англичанином Т.-С. Элиотом, монархистом и христианином; с патриотом де Голлем — постоянным объектом его критики, или с жителем какой-нибудь страны в Центральной Европе или на Балканах, который, даже если небо упадет на землю, будет храбро сражаться за свою маленькую родину. Но нет! Эйч-Джи Уэллс, как всегда, представляется космополитом и республиканцем. Он ссылается на множество не вызывающих симпатии имен — от Платона (разве мы не краснеем при упоминании о непристойностях «платонической» любви?) до вероотступника Джозефа Маккейба, который, раскаявшись в грехах на смертном одре, может, как я опасаюсь, избежать справедливого гнева Господня. Для подкрепления своей республиканской позиции и в оправдание своего республиканского кривляния Уэллс обращается к сомнительным страницам истории Англии, утверждая, что Мильтон был республиканцем, так же, как Шелли и Оливер Кромвель, этот жестокий покоритель католической Ирландии, как Годвин, Байрон, английские чартисты и Джордж Вашингтон, который, по его мнению, был англичанином (!). Что было хорошо для этих героев вероломства, то достаточно хорошо и для него. Возможно, но, по мне, не иметь Бога — все равно, что не иметь короля. Кому же тогда отдавать почести, кому подчиняться? Я, к примеру, делаю и то и другое, хотя пока еще ни Бог, ни король не вознаградили меня за стойкость и преданность.

Уэллс заявляет (не знаю, насколько правдиво это заявление), что встречался со множеством коронованных особ и никогда не чувствовал того благоговейного трепета, который испытывают нормальные люди в присутствии помазанников Божьих. Возможно, он и раболепствовал, но затем рассказывал о своей несгибаемости. Мне нравится думать, что так оно и было, но, поскольку свидетелей нет, утверждать этого с уверенностью нельзя. Он описал встречу с нынешним королем Италии, который общался с ним настолько просто и непринужденно, что Уэллс

некоторое время не подозревал, кем является его собеседник; он был знаком с неблагоразумным и неразборчивым в личных привязанностях Эдуардом VIII; он нестерпимо фамильярничал со слишком демократичным королем Хоконом, но все это случаи общения Уэллса с королями, которые можно подтвердить. После падения Эдуарда VIII наша королевская семья держала Уэллса на расстоянии, и правильно делала, но и он сам никогда не позволял себе никаких связей с тем, что находится под ее покровительством. Он не подозревает о безграничном обаянии и снисходительности представителей нашей правящей фамилии, но даже если бы он имел незаслуженное счастье встретиться с ними, они не смогли бы покорить его. Но довольно, я не последую за ним в бездну его нелояльности. Чаша его беззаконий и без того переполнена.

Таковы постыдные черты натуры и поведения этого человека, и я полагал, что он в его преклонном возрасте вряд ли согласится с тем, чтобы они были выставлены на всеобщее обозрение. Я сказал ему об этом в максимально мягкой форме, однако он ответил: «Но ведь это Ваша работа. Рвите меня на части. Мой мальчик, Вы получили carte blanche. Поливайте меня грязью. Предоставляю Вам полную возможность для этого; что-нибудь да прилипнет, не может не прилипнуть. Да я и сам не слишком высокого мнения о себе».

«Ну грязью-то вас не забросают», — заметил я спокойно.

И он вызывающе рассмеялся мне в лицо. «У вас превратное представление о грязи», — сказал он и предоставил мне полную возможность поразмышлять над этим бессмысленным ответом.

Прежде чем разобрать, что называется, «по косточкам» репутацию этого человека и дать ей справедливую оценку, хотелось бы отметить противоречивость нынешней позиции Уэллса. Он является, по общему мнению всех почтенных инстанций, лицемером и мошенником: несмотря на социалистические убеждения, продает многотысячные издания собственных сочинений по огромной цене и под хитроумным предлогом отказывается делать скидку своим товарищам-пролетариям. Более того, заявляет, что при необходимости цена еще более повысится. Он предпринимает яростную атаку на Римскую Католическую Церковь. Причем его опусы изобилуют столь многочисленными ошибками, что их трудно даже сосчитать, поэтому никто и не пытается этого сделать. По сходной цене он распространяет свои зловредные измышления и в радиоэфире. К счастью, благодаря энергии и бдительности здравомыслящих граждан, убедивших многих книготорговцев, что литературную рухлядь Уэллса не стоит даже выставлять на

продажу, сегодня на полках книжных магазинов найти ее так же трудно, как и прочие «произведения», цены на которые безбожно вздуты авторами. Его достойный восхищения сосед сэр Томас Мур, чей общественный темперамент и твердая гражданская позиция проявились в требовании вернуть в уголовный кодекс такой вид наказания, как порка, потратил немало усилий, чтобы разоблачить хитрости, к которым прибегал мистер Уэллс, пытаясь взвалить на правительство ответственность за нежелание потворствовать его, Уэллса, намерениям выкрасить свой дом в красный цвет и выставить на всеобщее обозрение надписи, оскорбляющие религиозные чувства ближних.

Как все социалисты фабианского толка, он стыдится, я полагаю, погрязшего в неверии сброда, но боится в этом признаться. Отрицая, что когда-либо выступал за отмену того, что королевская власть не желает отменять, он утверждает, что его поступки — следствие вероломного поведения Мура, который не замедлил воспользоваться ослаблением бдительности Уэллса. Уэллс сказал также, что не понимает, чем иным мог руководствоваться его сосед, если не намерением сбить цены на недвижимость и купить по дешевке принадлежащую Уэллсу террасу. Позже он взял назад это отвратительное обвинение и признал, что единственным оправданием враждебного поведения сего достойного противника может служить разве что стремление держать на расстоянии своих нежелательных сотоварищей. Частный дом должен быть частным домом, а не местом политических дискуссий, говорит этот сторонник социализма, отрицающий священное право собственности. Личную жизнь — можно отменить, но частную собственность — нет! Старый пройдоха!

В первую очередь он обещал оказывать поддержку левым органам печати в противовес влиянию Армии спасения, однако не торопится этого делать. Наверное, обдумывает способы воплощения в жизнь своих зловещих планов.

А теперь давайте тщательно проанализируем различные стороны его «гениальности» и посмотрим, устоят ли они под напором критики.

Уэллс вошел в литературу как не ведающий стыда подражатель. Идеи Жюля Верна он смешал с претенциозным метафизическим бредом теории относительности немецкого еврея Эйнштейна и превзошел в своих измышлениях самого Хенли, этого калеку-безбожника, который похвалялся тем, что уцелел, несмотря на многочисленные удары, обрушенные на его голову взыскательным, но справедливым Всемогущим Провидением. Хотя Хенли считал сочинения Уэллса

«беллетристическим бумагомаранием» (так же оценивал их и сам Уэллс), став редактором «Нью ревью», он дал ему возможность опубликовать выпусками «с продолжением» «Машину времени». Нелепое произведение, где люди носятся туда-сюда во времени и пространстве.

Благодаря некоторым обычным ухищрениям профессионального литератора Уэллсу удалось избавиться от своей «машины» до того, как она была подвергнута надлежащему изучению. Он обманывает читателя, как какой-нибудь сочинитель рассказов о привидениях; здравый рассудок восстает против мысли о том, что человек может копировать самого себя, попадая без особых усилий в будущее и возвращаясь обратно. Он существовал бы тогда в двух экземплярах. Повторите действие, и вот их четверо, и так до тех пор, пока весь мир не наполнится бездушными копиями путешественника во времени. Нормальный человек не может представить подобного развития событий и, вопреки всем уэллсовским заклинаниям, чувствует, подобно мне, естественное отвращение к этому издевательству над разумом.

Многие уверены, что он проявил незаурядный дар предвидения. Но данное им в 1903 году в «Сухопутных броненосцах» описание устройства и функционирования танка, бесстыдно похищено у сэра Эрнеста Суинтона: те, кто читал отчет сэра Эрнеста о том, как эта идея пришла к нему во всем ее блеске в 1914 году, поймут, кто является настоящим изобретателем танка. *Уэллс просто похитил идею до того, как она возникла у господина Суинтона.*

Цитируя отрывок из книги Суинтона, Уэллс с недоброжелательностью заметил, что даже если этот джентльмен и изобрел танк, он не знал, как его использовать. Это полнейшая чепуха. Если наши военачальники и оставили «предупреждения» Уэллса без внимания, то они, несомненно, имели на это веские причины. Лорд Китченер, например, считал танк «механической игрушкой», создание которой является вызовом всем принципам военного дела.

Уэллс является также автором подробного описания поведения жителей штата Нью-Йорк во время бомбардировок, предпринятых воздушными силами Германии, которое поверхностный читатель может принять за отчет о событиях, имевших место в последние пять лет. Между тем это описание дано в «Войне в воздухе», опубликованной в 1908 году. Читатель с основательной военной подготовкой сразу поймет, что уэллсовские воздушные корабли оказались более тяжелыми и не более маневренными, чем любая воздушная машина, и с презрением и облегчением отметет претенциозное уэллсовское

«предвидение», не желая тратить на него драгоценное время.

Мы не считаем нужным подробно рассматривать другие случаи нежелательных уэллсовских анахронизмов. Некоторые из его так называемых предсказаний получили известность, другие, оставаясь незамеченными, ждут времени своего осуществления, и мы можем принять их, не требуя для себя несправедливых преимуществ над нашими храбрыми противниками. Они хорошо сражались и заслуживают уважения.

Тема «экспериментов со временем» проходит через долгий период творчества Уэллса. Он так пресытился нашим прошлым, что оно стало вызывать у него тошноту. «Предвидения» не только принесли ему известность, но и заставили периодически отрываться от реальности. Его тщеславие требовало обращения и к другим темам, которые оставались без внимания в тот период, когда он зарабатывал на жизнь сочинением псевдонаучных небылиц. В Америке, где люди хотят быть твердо уверенными в существовании той или иной вещи, они продавались плохо. Он предпринял попытку смешать в определенных пропорциях научную фантастику и то, что называл юмористическим наблюдением жизни; результатом стал состоящий из трех частей роман «Тоно Бенге». Однако такие книги, как «Киппс: история простой души» (1905), — вот уж действительно простой! — имели успех лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств, в частности тому, что его друг Генри Джеймс замолвил за него словечко, обращаясь к американской публике. Уэллс отплатил тому черной неблагодарностью, когда между ними возник спор о реализме Арнольда Беннета, которому присуще чрезвычайное внимание к деталям. А потом Уэллс спародировал и стиль мистера Джеймса в романах: «Колеса Фортуны» (1896), «Любовь и мистер Льюишем» (1900), «Анна Вероника» (1909), «История мистера Полли» (1910), «Брак» (1912), «Страстные друзья» (1913) и «Жена сэра Айзека Хармена» (1914), выдавая себя за автора простодушных и безыскусных романов.

Появление в одном из вышеупомянутых сочинений титулованной особы указывает на неуклонный рост социальных амбиций Уэллса. «Страстные друзья» являются, если угодно, отпрысками некоего представителя духовного сословия и «Леди» Мэри Кристиан. «Великолепное исследование» (1915) — это безыскусное признание мучительного стремления незадачливого автора подняться вверх по социальной лестнице. Это поиск пути к успеху и славе, как он их понимает. Пытаясь решить эту проблему на основе неприглядных реалий собственной жизни, он тонет в самооправданиях. Неприкаянный герой его романа Бенем, являющийся олицетворением автора, вызывает презрение у своей

живой и привлекательной жены и толкает бедную женщину на супружескую измену. В это время он занимается «великолепными исследованиями» за пределами родной страны, а потом погибает в Иоганнесбурге в 1913 году, когда разъяренная толпа забастовщиков вынуждает власти открыть по ним огонь.

В течение многих лет его книги раскупали неразборчивые читатели, однако после выхода в свет таких произведений, как «Душа епископа», которое является, очевидно, результатом напряженного подслушивания у задних дверей церкви, «Отец Кристины Альберты», героиня которого Кристина Альберта — это Анна Вероника, повзрослевшая, но нисколько не поумневшая и не ставшая более порядочной, и, в особенности, романа «Мир Уильяма Клиссольда» — вздорного, нелепого сочинения, также состоящего из трех частей, терпение как читателей, так и книготорговцев лопнуло.

Непомерно раздутой репутации мистера Уэллса пришел конец, после чего он получил возможность писать то, что ему хотелось, и делать то, что ему нравилось. Рецензенты еще хвалили его, а простофили, количество которых все сокращалось, еще раскупали его книги, но постепенно эти «творения» исчезали с витрин магазинов и с письменных столов культурных людей. Такие «блестящие» повести, как «Рожденные звездой», «Игрок в крокет», «Братья» и «Посещение Кэмфорда», да и более пространные опусы — например, «В ожидании» (1927), «Самовластье мистера Парэма» (1930), «Бэлпингтон Блэпский» (1933), «Кстати о Долорес» (1938), «В темнеющем лесу» (1940), «Необходима осторожность» (1941) — только способствовали дальнейшему и неминуемому упадку его как сочинителя. Иногда люди, которых ему удавалось когда-то водить за нос, упоминают о нем как о фигуре, имеющей кое-какое значение в истории английской литературы, но в *ответ* со стороны тех, кто больше его не читает и ничего не может сказать о нем появляется гримаса отвращения, как если бы вдруг дурно запахло. «А, Уэллс!» — говорят они и замолкают. Так что Уэллс сгниет еще заживо и умрет совершенно забытым. Вот только не могу понять, каким образом он смог заставить меня все так предельно ясно объяснить.

ПРИЛОЖЕНИЯ



Ю. И. Кагарлицкий
Наперегонки со временем

> «Большинство людей, по-видимому, разыгрывают в жизни какую-то роль. Выражаясь театральным языком, каждый из них имеет постоянное амплуа. В их жизни есть начало, середина и конец, и в каждый из этих тесно связанных между собой периодов они поступают так, как должен поступать изображаемый ими тип <…>. Они принадлежат к определенному классу, занимают определенное общественное положение, знают, чего хотят и что им полагается; когда они умирают, соответствующих размеров надгробие показывает, насколько хорошо они сыграли свою роль.
>
> Но бывает жизнь другого рода, когда человек не столько живет, сколько пробует жизнь во всем ее многообразии. Одного вынуждает к этому какое-то неудачное стечение обстоятельств; другой выбивается из привычной колеи и в течение всей остальной жизни живет не так, как ему хотелось бы, перенося одно испытание за другим.
>
> Вот такая жизнь выпала мне на долю <…>»[75].

Так сказал о себе Джордж Пондерво — один из героев Уэллса, — написавший нечто вроде романа.

> «Я полагаю, что в действительности пытаюсь описать не более и не менее, чем самое Жизнь — жизнь, как ее видел один человек. Мне хочется написать о самом себе, о своих впечатлениях, о жизни в целом, рассказать, как остро воспринимал я законы, традиции и привычки, господствующие в обществе… И вот я пишу роман — свой собственный роман»[76].

Сам Уэллс тоже всегда писал «свой собственный роман» и при этом ставил себе целью «описать не более и не менее, как самое Жизнь». Что и говорить — непростая задача! Ведь рассказать нераздельно о себе и о жизни способен лишь человек, хоть сколько-нибудь соразмерный жизни.

Был ли таким человеком Герберт Уэллс?

Он этого не знал.

Он писал о судьбах человечества, путях прогресса, законах мироздания, и он же — о «маленьком человеке». В те же годы —

даже чуть раньше, — когда чаплинский Чарли, помахивая тросточкой и все чаще печально вглядываясь в глаза зрителя, зашагал своей нелепой походкой по экранам мира, отправился в свое путешествие уэллсовский приказчик Хупдрайвер. Потом перед читателем явился нескладный и добрый Киппс, а еще спустя какое-то время взбунтовался против судьбы мистер Полли, пустил красного петуха — и не где-нибудь, а в собственной лавке — и пошел куда глаза глядят, получая наконец-то удовольствие от жизни. Ибо маленькие герои Уэллса — существа неспокойные. Нет, они не стремятся пробиться наверх, а когда случайно попадают в «хорошее общество», с облегчением возвращаются в свой круг. Но им как-то не сидится на месте. Куда-то хочется вырваться.

Уэллсу хотелось того же. С той только разницей, что возвращаться к старому он не собирался — разве что в собственном воображении, за письменным столом. Он упорно и целеустремленно прокладывал свой путь от книги к книге, от успеха к успеху, от известности к мировой славе. Бросить все и бродяжничать, как мистер Полли? Но у него было дело, требовавшее времени, отдачи всех сил, жизни устроенной и стабильной. Он никогда бы не поменялся местами с мистером Полли. Ко всему прочему, он умел ценить возможности, которые давало принесенное славой богатство, что не мешало ему завидовать этому беглому лавочнику. Ведь благополучие всегда грозило обернуться рутиной. Позднее он написал, что в его превосходном кабинете не хватает лишь одного — чтобы пейзаж за окном все время менялся. Беспокойство, импульсивность, безотчетность порывов были свойственны ему не меньше, чем его героям. В литературе у него не было устойчивого амплуа. Он писал учебники, рецензии, бытовые очерки, потом прославился научной фантастикой и сразу задумал поскорее от нее отказаться, но успех в области бытового романа (правда, он и эту традицию, сколько мог, постарался нарушить) не успокоил его — он задумал преобразовать педагогику, а с ее помощью — не только мировые порядки, но и, если удастся, человеческое существо как таковое. С этой целью он выпустил «образовательную трилогию», которая должна была по-новому ориентировать умы всего человечества. Разумеется, ему было не с руки повторять мысль Гельвеция, с которой спорил еще Дидро, о том, что в человеке все зависит от воспитания. Он достаточно уже знал законы наследственности, но с удовольствием забыл бы о них. Ему хотелось вмешиваться в ход мировых событий самым непосредственным образом. Всех всему научить. Или даже, что, как известно, труднее, — переучить. Но, едва лишь начинало казаться, что Уэллс-художник куда-то ушел,

он возвращался — то как романист, то как фантаст, то в новом для себя качестве сценариста. Это принято называть «приключениями мысли». Но Уэллсу и их не хватало…

В любом из нас, должно быть, дремлет страсть к поучительству. Заведя разговор о писателе, так и тянет представить его образцом всех добродетелей. В разговоре об Уэллсе этой потребности лучше все-таки противостоять. Иначе грозит опасность сказать неправду. Уэллсу не трудно отыскать оправдание. Все, что он делал в литературе и в жизни, было грандиозным экспериментом. И ценность этого эксперимента — так, во всяком случае, полагал Уэллс — необыкновенно возрастала из-за того, что он поставлен на человеке выдающихся способностей, но при этом весьма заурядном. Или, если быть совсем уж точным, человек выдающихся способностей ставил эксперимент на человеке заурядном. Одном из многих.

Да, Уэллс всегда писал «свой собственный роман», но ему давно уже хотелось рассказать о себе без обиняков. Мешало одно обстоятельство. Как сообщил он в апреле 1930 года одному из своих издателей, любая правдивая его биография вызвала бы неудовольствие его жены: она хотела видеть любимого мужа в самом лучшем свете. Но Эми Кэтрин (он называл ее Джейн) уже три года как умерла, и Уэллс теперь давал разрешение писать о себе, снабжал авторов материалами, а потом и сам обратился к этой как-никак близкой ему теме. Мысль написать автобиографию подал ему учитель русского языка его детей С. С. Котелянский, имевший отношение к издательскому делу, и Уэллс с энтузиазмом за нее ухватился. В январе 1933 года он сообщит Котелянскому, что уже занимается книгой, которая потом получила название «Опыт автобиографии». В ней предстояло напрямик рассказать о себе. Все как есть.

О себе? Но о себе как об объекте эксперимента? Или о себе как об экспериментаторе?

Уэллс разделил эти задачи и первую часть автобиографии посвятил рассказу о том, как выбивался в люди и какой человеческий опыт в результате приобрел. С удивительной скрупулезностью прослеживает он, к примеру, свою родословную. И делает это отнюдь не в надежде отыскать какого-нибудь знатного или знаменитого предка — напротив, с удовольствием выясняет, что таковых у него нет. С незапамятных времен все Уэллсы и Нилы были слугами, в лучшем случае лавочниками. Они принадлежали к замкнутому классу, со своими традициями, своими обязательными занятиями, своей гордостью. Этот класс, спаянный единством понятий и представлений, просуществовал не одно столетие и был очень сплочен благодаря общим страхам

и общим надеждам. Уэллс весьма дотошно анализировал собственные мировоззрение и характер выходца из «низшего среднего класса», как в Англии вежливо именовали мещанство. И неизбежно приходил к выводу, что и то и другое прочно обусловлено двумя факторами: происхождением и полученным образованием. Когда Уэллс говорил о себе как о мелком буржуа, он имел в виду не только то, что был сыном лавочника. В гораздо большей степени речь шла о духовном родстве с этим исторически сложившимся классом, пронесшим через века свою демократическую традицию, доказавшим свою гибкость, жизнестойкость, приспособляемость, а теперь, по мнению Уэллса, изживающим такие отрицательные свои качества, как косность, необразованность и враждебность прогрессу. Именно на рубеже XIX и XX веков, когда Уэллс вступал в жизнь, из среды мелкой буржуазии впервые начала быстро рекрутироваться интеллигенция, и собственная судьба представлялась Уэллсу в этом смысле типичной.

Впрочем, стать даже не писателем, а просто человеком интеллигентной профессии оказалось для Уэллса не просто. Имея выдающиеся способности, он уже подростком и юношей напрягал все силы, пользовался каждой свободной минутой для того, чтобы по возможности залатать колоссальные прорехи в своих знаниях. Школа готовила из него приказчика, не более того, а он мечтал о карьере ученого. Но этого меньше всего от него ожидали. Сын лавочника должен быть лавочником. Такова освященная веками традиция, а традиции в Англии всегда почитали, и Министерство просвещения в этом смысле не составляло исключения.

Уже став прославленным писателем, Уэллс потратил немало времени и сил для того, чтобы улучшить и демократизировать систему народного просвещения в Англии. Он написал несколько сочинений по педагогике, популяризировал по всей стране опыт передовых учителей, помог основать в Англии школу с преподаванием русского языка. В эту школу он и отдал впоследствии собственных детей.

Мануфактурная лавка, аптека, Ап-парк, провинциальная школа… Стань Уэллс ученым, как он мечтал, такое медленное продвижение к цели дало бы его сверстникам, получившим систематическое образование, преимущество перед ним, но Уэллс, не осознавая того, делал из себя писателя. Люди, которых он встречал, да и он сам, вскоре станут его героями, а мануфактурная лавка, аптека, Ап-парк и школа — местом действия его книг. С приказчиком из мануфактурной лавки мы встретимся потом в романе «Киппс», аптека и Ап-парк — место действия «Тоно Бенге», школа появится в романе «Любовь и

мистер Льюишем». В своей статье о Льве Толстом Уэллс писал, что для настоящей реалистической литературы необходимо как воздух знание всех мелких деталей жизни, ее подробностей. Этих подробностей Уэллсу было не занимать. Они открылись ему не как стороннему наблюдателю, а как посвященному. Он запечатлел в памяти черты мира своего детства и юности, чтобы вспомнить о них потом с грустью, юмором, раздражением… Уэллс справедливо называл себя мелким буржуа. Много писал о мещанстве, но ведь он не просто поднялся над своим классом. Он из него вырвался, поборов и обстоятельства, и что-то внутри себя. Те люди, которые его окружали в детстве, были не просто средой — в определенном смысле это были его противники, старавшиеся удержать его при себе. Весь *викторианский мир* казался ему мещанским и ограниченным.

Вступить в противоречие с повседневным бытом — значит сделать первый шаг по дороге, ведущей к конфликту с определенным социальным укладом. Такой путь проделал до Уэллса видный английский писатель и общественный деятель Уильям Моррис. Он начал с возмущения неэстетичностью и стандартностью быта и человеческих душ и пришел к социализму. Уэллс, который с молодых лет хорошо знал работы Морриса и не раз посещал его публичные лекции, соглашался с ним далеко не всегда и не во всем, но высоко его ценил и отдал ему дань уважения своей повестью «Чудесное посещение». Ангел в этом произведении — это ангел искусства, освобождающего человека от сковывающих норм повседневности и приобщающего его к Человечеству.

Своим освобождением Герберт Уэллс был немало обязан искусству. Для него, как и для Горького, книга была прорывом в большой мир — мир подлинных чувств, мир мысли, недоступной его среде. С юных лет он читал запоем. И если в чтении этого юноши из людской появилась какая-то система, то он обязан этим библиотеке Ап-парка, собирать которую начали еще в XVIII веке. Он с жадностью поглощал произведения Свифта, Вольтера, Платона, Томаса Мора — просветителей, философов, утопистов.

Еще большим он был обязан науке. Страсть Уэллса к системе и обобщению нашла благодатную почву в Королевском научном колледже, где он слушал годичный курс биологии, прочитанный Томасом Хаксли. В развитии этой науки произошел к тому времени качественный скачок от систематизации Линнея к теории Дарвина. Биология осталась на всю жизнь увлечением Уэллса, сказавшимся на всем его творчестве. Ее методы остались для него олицетворением научного метода как такового. Изучение зоологии, как об этом писал Уэллс в «Опыте

автобиографии», складывалось из системы тонких, строгих и поразительно значительных опытов. Это были поиски и осмысление основополагающих фактов.

Приход Уэллса в Южный Кенсингтон, как по месту нахождения называли его колледж, означал приобщение не только к миру науки, но и к миру литературы. Здесь от Дарвина шла та гуманитарная традиция, воспринятая и с таким успехом продолженная любимым соратником великого ученого и любимым профессором Уэллса — Томасом Хаксли. Дарвин не только писал о законах природы, он наслаждался ею. Она открывалась ему, как открывается только поэтам. Он умел ценить ее красоту, как красоту подлинного искусства. Огромный успех «Происхождения видов» у широкого читателя О. Мандельштам в своих заметках справедливо объясняет не одними лишь открытиями, заключенными в этой книге, но и тем, что «ее приняли как литературное событие, в ней почуяли большую и серьезную новизну формы»[77].

В еще большей мере был литератором Томас Хаксли. Авторитет его в этом отношении был неоспорим, некоторые его эссе еще при жизни вошли в круг обязательного чтения по литературе для средней школы.

Стиль Хаксли — стиль научной беседы, в которой еще больше, чем у Дарвина, поражает, по словам Уэллса, открытость, «приветливость» научной мысли и самого способа изложения. Это всегда разговор о науке, но затеянный человеком, уверенным, что не должно быть резко очерченных границ между литературой и наукой.

Наука и искусство, с точки зрения Хаксли, тем больше сближаются, становятся проявлениями общей культуры, чем более помогают ответить на важнейший общефилософский «вопрос о месте человека в природе и его отношении ко вселенной. Как произошло человечество; каковы пределы нашей власти над природой и власти природы над нами; к какой конечной цели все мы стремимся — вот проблемы, которые всякий раз заново и со все большей актуальностью встают перед каждым, кто появился на свет»[78].

Это были положения новые, яркие, звучавшие вызовом по отношению к викторианской Англии с ее догмами и предрассудками. В те годы, писал позднее Уэллс, «наука бросила вызов традиции и догме, и разыгравшаяся в умах война была эпической войной. Именно в это время была завоевана теперешняя свобода мысли»[79].

Можно без преувеличения сказать, что на примере Хаксли Уэллс учился быть писателем-просветителем. Теория эволюции

казалась ключом современного знания, а биология, носительница этой теории, — царицей наук, отрешившихся от своей былой замкнутости. «Широкое просветительское значение биологических и геологических исследований наполнило мое поколение надеждой и верой»[80], — писал много лет спустя Герберт Уэллс. Биология была для него еще более гуманитарным знанием, чем для его учителя. «Биология, бесспорно, гораздо больше принадлежит по материалу и методу к тому, что мы называем историей и общественными науками, чем к наукам естественнонаучного ряда, с которым ее обычно ассоциируют»[81], — продолжает он. Однако для Уэллса, как и для Хаксли, биология вносила свой вклад в культуру, нисколько не отказываясь от своих научных методов.

Год, проведенный в ученичестве у Хаксли, дал Уэллсу больше, чем любой другой год его жизни. И Уэллс никогда не забывал, чем обязан учителю. «Я считал тогда, что он величайший из людей, повстречавшихся на моем пути, — писал Уэллс в 1901 году, — в этом же я уверен и сейчас — даже еще более твердо»[82].

В Южном Кенсингтоне, как мы узнаем из «Опыта автобиографии», задумал Уэллс и несколько трактатов философского рода. Если какие-то наброски были сделаны, они до нас не дошли. Однако уже в 1891 году в июльском номере журнала «Форнтайтли ревью» была опубликована статья Уэллса «Новое открытие единичного», обратившая на себя внимание читателей. В «Опыте автобиографии», написанном сорок три года спустя, он все еще вспоминает этот очерк. Такой неугасающий интерес писателя к ранней «пробе пера» не случаен. В 1891 году «идентичность атомов и большинства других физических частиц почти ни у кого тогда не вызывала сомнения. Допускать индивидуальную природу атомов казалось мыслью бесполезной и неплодотворной» (с. 122 наст. изд.[83]). Правильно найденный принцип повлек за собой цепочку открытий. В лекции «Скептицизм инструмента» Уэллс, развивая найденное в «Новом открытии единичного», сформулировал мысли, предвосхитившие важные положения физической теории будущего. Классификация, говорит он, имеет свои пределы. По мере того как вы непосредственно приближаетесь к объекту исследования и забываете о сугубо практической цели, ради которой создан ваш метод, возрастает ошибка. Картина, такая ясная при самых общих заключениях, начинает смазываться, когда увеличивается точность[84]. По мнению профессора Ритчи Колдера, Уэллс подобной постановкой вопроса предвосхитил принцип неопределенности Гейзенберга (1927 г.)[85].

Уэллс не просто предсказал будущее физическое открытие — он сразу дал его наиболее широкое философское истолкование. Можно сказать, что принцип неопределенности был открыт Уэллсом в общефилософской сфере еще до его открытия Гейзенбергом в одной из отраслей физики. О том, какое значение имело это открытие, можно судить по тому, что именно в философском истолковании этот закон ставит непреодолимый рубеж для всех последовательных детерминистов. Единственный способ построить последовательную детерминистскую систему сегодня состоит в том, чтобы ограничить принцип неопределенности квантовой механикой, лишить его общефилософского смысла[86].

При знакомстве с «Опытом автобиографии» замечаешь, что временами Уэллс отсылает читателей к своим романам, где уже описан тот или иной период или эпизод его жизни. Объясняется это отнюдь не тем, что он, как принято говорить, списывал с себя самого, — просто у всех этих сцен был какой-то общий реальный источник, от которого Уэллс, что называется, не мог отделаться: то или иное жизненное впечатление все время возвращалось к нему, и казалось, что он все никак не передаст его во всей полноте. Так и с идеями. Они, конечно, модифицируются на протяжении его жизни. Какие-то их стороны выходят на передний план, какие-то, наоборот, прячутся в тень. Но идеи эти в целом — одни и те же. Главную из них можно определить как страх перед растратой человеческих жизней. Нет, не времени, а именно жизней в целом. То, что осталось от детства, отрочества и юности — боязнь не осуществиться как личность, оказаться на задворках жизни, — понять легче и легче всего передать в привычных литературных терминах. Это ведь не новая тема. Когда Горький задумал свою «Историю молодого человека 19-го столетия», перед ним не возникло трудностей в нахождении материала. Жизненный успех — кто к нему не стремился? Но тема эта не оставляет ни Уэллса, ни его героев, когда жизненный успех уже давно достигнут. Перейдя в другой социальный слой, общаясь с самыми значительными фигурами литературной и общественной жизни, будучи богатым и расточительным, Уэллс продолжал мучиться тем же самым. И крупный капиталист Уильям Клиссольд, герой его сравнительно позднего романа «Мир Уильяма Клиссольда», такой же «alter ego» автора, как и герои его «приказчичьих» романов. Успех ничего еще не определяет во внутренней жизни героев Уэллса — разве что увеличивает меру их ответственности перед человечеством.

Второй том «Опыта автобиографии» Уэллс посвящает осмыслению своих теоретических концепций по очень широкому

кругу вопросов. И это тоже неотъемлемая часть автобиографии, то, чем Уэллс жил и что, следовательно, составляло часть его личности.

Писарев как-то заметил, что Гейне всегда писал только о себе, но о таком человеке нам интересно все знать. С Уэллсом все так и не так: он писал о себе, даже когда писал о чем-то весьма отвлеченном. Такой уж это был писатель.

Уэллс упорно на протяжении многих лет доказывал, что он — художник, а занятия теорией предприняты исключительно в интересах того же художественного творчества. Это своеобразный опыт изучения среды. «Прежде чем описывать жизнь тех или других личностей, мне понадобилось, самому для себя, так сказать, для своего собственного назидания, изучить и изложить те условия общественной жизни, в которых мы плаваем как рыбы в воде»[87], — писал он в предисловии к первому русскому собранию своих сочинений. Это этюды к большой серьезной работе, не более того.

Не приходится после этого удивляться тому, что Уэллс чуть ли не каждую свою теоретическую работу объявлял последней. Справедливым это оказалось только по отношению к трактату «Разум на пределе возможностей» (1945) — последнему, что написал Уэллс в своей жизни.

Подобные высказывания, сколь ни странное впечатление они производят сегодня, когда окидываешь их общим взглядом, были все же вполне искренни и легко объяснимы. Каждое новое теоретическое произведение Уэллса появлялось, как считал он, исключительно потому, что предыдущее не удалось довести до совершенства. Но, вопреки убеждению самого Уэллса, теоретические работы давно перестали быть для него этюдами к художественным произведениям. Они приобрели самостоятельное значение, подчинились собственной логике. Каждая из затронутых проблем, по мере того как Уэллс развивался в качестве теоретика и по мере развития самой жизни, оборачивалась своими новыми сторонами.

И все же, когда Уэллс говорит об отношении собственных теоретических работ к художественному творчеству, он по-своему прав. Как справедливо и обратное: к работе над трактатами его часто подталкивало художественное творчество.

В этом сложном движении стиля сказался просветительский характер дарования Уэллса. Как известно, процесс творчества для просветителей не обладал той мерой цельности, какой достигли до них художники Возрождения, а после них — мастера критического реализма. Этот процесс был расчленен на несколько стадий. На первой — мир осмыслялся в рациональных понятиях.

Затем искались «примеры», способные выстроиться в сюжет, подтверждающий схематический набросок. И лишь на последнем этапе произведение «возвращалось к жизни»: «примеры», «иллюстрации», заботливо перед тем отобранные, вновь врастали в почву действительности и приносили порой неожиданные плоды.

Уэллс на первом этапе творчества заметно преодолел ограниченность этого метода. Вслед за Томасом Гарди и предвосхищая Дж. Голсуорси, Р. Роллана, Т. Манна, он стремится вернуть литературе эпическое начало. Научная фантастика давала ему возможность быть в этом смысле последовательнее и современнее по мироощущению, чем Гарди. Новая физика, дополнив в романах Уэллса новую дарвиновскую биологию, помогла создать достаточно цельный и масштабный взгляд на мир. Но по мере приближения к конкретному социальному бытию положение менялось. С утратой космического масштаба утрачивалась и прежняя цельность. Мир снова распадался на отдельные элементы, и их единство приходилось искать заново. Сочетание теоретического творчества с художественным, а равно и прорастание одного в другое, стало с тех пор закономерным и объяснимым.

Создать новый синтез значит для Уэллса не уступить ни в общих идеях, ни в реалистической конкретности — в тех частных проявлениях жизни, из которых умный наблюдатель извлекает эти общие законы. В статье «Так называемая социологическая наука», написанной в 1906 году, он отрицает право позитивистской социологии на существование, поскольку ее функции гораздо успешнее может выполнить литература. У литературы для этого больше возможностей — ведь жизнь не укладывается в рамки науки, она текуча, изменчива. Поэтому истинная социология — это та же литература, а истинная литература — нечто подобное идеальной социологии[88].

Первую серьезную попытку создать «синтетическое» произведение Уэллс предпринимает уже в 1908 году, работая над романом «Тоно Бенге». В «Опыте автобиографии» рассказывается, какие большие надежды возлагались на него. Они оправдались только отчасти. Роман не составил эпоху в английской прозе.

В статьях «Сфера романа» (1911) и «Современный роман» (1911) Уэллс пишет о том, что у романиста не должно быть никаких ограничений, никаких искусственно поставленных рамок. «Мы приложим все силы, чтобы всесторонне и правдиво показывать жизнь. Мы намерены заниматься проблемами общества, религии, политики <…>»[89]. Эта декларация прав романиста не была, впрочем, последним словом писателя. И в

романе «Мир Уильяма Клиссольда» он заявил, что дать полное представление о человеке можно, лишь начав с сотворения мира и кончив его ожиданиями вечности.

Роман, по словам Уэллса, должен вобрать в себя всю жизнь.

Подобное представление связано не только с возросшим знанием о мире и человеке, но и с убыстряющимся ходом бытия, ломкой привычных понятий, ролью романа как побудителя перемен. На романе, на самой его форме, сказывается не только время, но и политическая позиция автора. Много позднее, в «Опыте автобиографии», Уэллс выразил эту мысль, постоянно к нему возвращающуюся, наиболее полно. Примером послужил на этот раз Вальтер Скотт.

> «Он был человеком поразительно консервативным; ничего не оспаривал, добровольно принимал социальные ценности своего времени, точно знал, что правильно, а что нет, что благородно, а что некрасиво, что честно, а что низко. Словом, он воспринимал события как игру индивидуальностей, в четких рамках не подлежащих пересмотру и изменению ценностей. Беззаконное романтическое прошлое, которое он изображал, казалось ему всего лишь прелюдией к современной стабильности <…>».
>
> *(с. 260 наст. изд.[90])*

Поскольку сейчас подобное представление о жизни невозможно, невозможна и старая форма романа.

В современной литературе, говорит Уэллс в статье «Современный роман», легко найти «все предпосылки к дальнейшему развитию гибкой и свободной формы романа»[91]. Эта форма обрела уже свою традицию. Наилучший пример подобного рода — роман «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» Л. Стерна. Однако действительным образцом для подражания оказался не столько спокойный и ироничный роман Стерна, сколько субъективная и страстная «Исповедь» Руссо.

Как известно, «Исповедь» трудно назвать автобиографией в строгом смысле слова. Это скорее роман, где автор сам заместил героя и где вольности в обращении с фактами так же допустимы, как и во всяком другом романе. «Исповедь» — это автобиография, удивительно причастная роману. Романы Уэллса, в свою очередь, причастны автобиографии. Они приближаются к биографическому жанру уже по охвату событий. Стремясь к полноте охвата, Уэллс берет жизнь своего героя в наибольшем возможном для отдельного человека временном масштабе — от

рождения до смерти.

И здесь столько же сходства с «Исповедью», сколько и различия с ней. В «Опыте автобиографии» Уэллс, рассказывая о себе, не старался выглядеть ни лучше и ни хуже, чем был. В романах он, напротив, стремится по возможности отойти от истории своей жизни. Но только до тех пор, пока речь идет о внешних фактах.

В отличие от писателей, называвших свои автобиографии «историями своей жизни» или «историями своей души», Уэллс назвал «Опыт автобиографии» историей своего интеллекта. Так и в романах. Духовный опыт героя мгновенно становится его умственным опытом. Житейские передряги и радости оказываются лишь внешними побудителями мысли. Уэллса больше интересуют реакции на события, чем сами события, и больше реакции рациональные, чем эмоциональные. Его герои любят, негодуют, сражаются, но Уэллс говорит не о страстях — он говорит о механизме страстей. Страсти надо познать, чтобы их победить. В «Великолепном исследовании» (1915) он даже цитирует известное место из Платона о необходимости победить страсти и возвыситься над ними.

И все-таки романы эти — исповедь, хотя и особого рода. Притом исповедь достаточно страстная. Перед читателем развертывается история приобщения человека к миру. Каждая фаза овладения им — огромный духовный подвиг. Герой каждого из этих романов — сам Уэллс: мыслитель, ученый, писатель — тот Уэллс, который видел свою задачу и гордость в том, чтобы «вобрать в себя» всю вселенную. Но и этот «большой Уэллс» достаточно изменчив, чтобы являться в различных качествах. В «Новом Макиавелли» мы видим его в кругу политиков, и современность открывается для него преимущественно в политическом аспекте, в «Браке» знакомимся с ученым, ищущим ключ к мирозданию, в «Мистере Бритлинге» — с писателем, чья совесть и сознание потрясены войной, в «Мире Уильяма Клиссольда» — с крупным промышленником и ученым, заинтересованным в рациональной перестройке мира. В поисках людей, которые осуществили бы его идеи, Уэллс словно «примеряет» эти идеи к представителям разных прослоек. Мысль о реконструкции мира кажется ему достаточно объективной для того, чтобы возникнуть в сознании самых разных людей. Обратиться к образу Клиссольда Уэллса заставила его политическая установка 20-х годов XX столетия, когда на процессы внутри капиталистической системы, получившие потом наименование «революции менеджеров», возлагалось столько надежд. Процесс овладения этим образом выглядит двояко.

Повествование ведется в форме своеобразного дневника, причем первоначально цель этого приема состоит не в том, чтобы помочь самовыражению автора. Дневники, написанные от лица героя, — довольно распространенная форма писательского «вживания» в образ. Тургенев, например, создавая роман «Отцы и дети», около двух лет вел дневник от имени Базарова. Другой дневник велся им от имени Шубина («Накануне»). Но, вживаясь в образ, Уэллс, в отличие от Тургенева, не столько позволяет герою проникнуть в себя, сколько сам заполняет собой телесную оболочку героя. В «Опыте автобиографии» он по этому поводу писал, что слишком уж отождествил себя со своим воображаемым бизнесменом.

Самая множественность попыток Уэллса создать «синтетический» роман приводила к тому, что каждое отдельное повествование оказывалось в художественном отношении фрагментом по отношению к некой, существующей вне его биографии. Оно раскрывало один или несколько из возможных ее аспектов, но тем самым лишалось внутренней завершенности. Уэллс был прав, когда много лет спустя написал в «Опыте автобиографии», что не столько расширил рамки романа, сколько вышел за них. Личного опыта оказывалось недостаточно, синтез все чаще нарушался, роман слишком явно начинал тяготеть к трактату.

Неспособность Уэллса найти художественную меру отвлеченного и частного легко объясняется, если вспомнить о присущем его философии делении мира на мир науки с ее абстрактными законами и мир личного опыта. «Синтетический» роман должен был соединить то, что, с точки зрения самого Уэллса, существовало, в объективном смысле, раздельно. Искусству предстояло создать иллюзорный синтез на месте действительного.

Легко представить себе систему суждений, согласно которой искусство, осуществляя подобную задачу, тем самым снимает противоречие между субъективным и объективным: они синтезируются в пределах самого искусства. Однако Уэллс никогда не занимал такую позицию. Его литературные бои с Джозефом Конрадом и разрыв с Генри Джеймсом, критика, которой он подверг Джойса, а в какой-то мере и его замечания по адресу Голсуорси, объясняются самым решительным неприятием таких взглядов. Вторичность искусства по отношению к жизни была для Уэллса вне всякого сомнения.

«Синтетический роман», какой мечтался ему, Уэллс не создал. Его произведения десятых годов многие исследователи справедливо называют интеллектуальным романом. И в его пределах, на его уровне реализма Уэллс нередко достигает

желаемого синтеза: это роман, а не перевоплощенный трактат. Он посвящен «приключениям» человеческой мысли, но мысль эта истинно человечна — она настолько субъективно окрашена, что мы через нее воссоздаем и образ человека. Интеллектуальный роман Уэллса — и в этом его особое качество — изначально лиричен. Если роман Уэллса и не «вобрал в себя весь мир», то личность, стоящая в его центре, действительно покусилась на эту задачу. Поэтому субъективное здесь служит выражению мира не меньше, чем в «Исповеди» Руссо, этом интеллектуальном романе, написанном антиинтеллектуалистом.

В «Современной утопии» Уэллс решает задачу, весьма сходную с той, что стояла перед ним в работе над «синтетическим» романом. Можно даже сказать, что задача решается та же самая, только подход к ней другой. Речь снова идет о том, чтобы возможно полнее совместить теоретическое и художественное. Разница лишь в материале. Теперь за отправную точку принимается не традиционный роман, а собственные трактаты «Предвидения» и «Человечество в процессе становления», и на их основе предполагается создать новую форму, представляющую не только теоретический, но и художественный интерес. Он стремился обогатить и развить утопию как литературный жанр. Это ему удалось потому, что направление развития было выбрано поразительно верно: в XX веке утопия приняла форму научно-фантастического романа. Одна же из частных причин успеха Уэллса в данном случае состояла в отказе от фигуры безымянного рассказчика, обозначенного в «Современной утопии» как «говорящий», и введении автохарактеристики в трактате «Первое и последнее» (1908). Выступив открыто как теоретик, Уэллс им и останется, но в каждом из своих теоретических произведений он не только теоретик, но и личность со всеми своими слабостями и достоинствами, обиходными мнениями, бытовыми пристрастиями и антипатиями. Высшего воплощения подобная тенденция достигла в «Опыте автобиографии», этой по существу своему теоретической книге, которую можно было бы назвать «романом большой дороги»: личность автора выходит здесь на первый план и связывает собою все эпизоды, все приключения «на дороге мысли».

Оба тома «Опыта автобиографии» вышли в конце 1934 года. Подзаголовком послужили слова: «Открытия и заключения одного вполне заурядного ума (начиная с 1866 года)». Отсчет Уэллс повел с самого начала: в 1866 году он родился. Зато кончил свой рассказ 1900-м годом. В письме Котелянскому он объяснил это тем, что живы еще многие люди, о которых хотелось

бы написать. И никто не подозревал тогда, что он все-таки о них напишет! Не обо всех, правда, преимущественно о женщинах. Здесь ему было что рассказать (личная жизнь Уэллса была весьма непростая), и он знал, почему об этом стоит рассказывать. В поставленном эксперименте эта сторона жизни тоже играла немаловажную роль.

Третий том он озаглавил «Постскриптум к автобиографии» и запретил издавать его до тех пор, пока не уйдет из жизни последняя из упомянутых в тексте женщин. Этой «последней из упомянутых» была видная английская писательница и общественная деятельница Ребекка Уэст. Когда Ребекке показалось, что она навеки соединила свою судьбу с судьбой Уэллса, ей было всего двадцать лет, а Уэллсу — сорок шесть. Умерла, когда ей было девяносто с лишним, пережив своего возлюбленного на тридцать семь лет. И все это время книга лежала под спудом. Никто не подозревал, что у старшего сына Уэллса хранится некий «Постскриптум к автобиографии».

Итак, в 1983 году умерла Ребекка Уэст, и начались подготовительные работы к изданию третьего тома «Опыта». В качестве редактора выступил сын Уэллса Джордж Филип Уэллс, который дополнил его рядом других материалов, снабдил примечаниями и придумал для книги свое, гораздо менее скромное, название: «Влюбленный Уэллс». Думаю, причин для этого было несколько. Известную роль здесь сыграли соображения коммерческие. Книга сразу пошла нарасхват, и рецензии на нее появились, наверно, во всех английских газетах, не говоря уже о специализированных издательских журналах. Однако нетрудно заметить и другое: для постскриптума книга великовата и, кроме того, новое название нисколько не противоречило содержанию.

Появление в 1984 году книги «Влюбленный Уэллс» стало сенсацией, но сенсация всегда все-таки не более, чем сенсация. И наш случай не исключение. В Англии, США, Франции, России об Уэллсе написаны на сегодняшний день около сотни литературоведческих и биографических книг. В них рассказано о знаменитом писателе достаточно много. Поэтому, надолго отложив публикацию своих последних признаний, Уэллс сделал рискованный шаг. Дело в том, что архив Уэллса был после его смерти продан Иллинойскому университету (США), причем хранитель этого архива, профессор Гордон Рэй, приобретший в свое время широкую известность своей книгой о Теккерее, тут же очень решительно закрыл к нему доступ всем посторонним лицам. Он объявил, что следующей его работой будет большая книга о Герберте Уэллсе, и не отвечал даже на письма, где его

просили уточнить тот или иной частный вопрос. Однако гора обещаний родила литературную мышь. Гордон Рэй в 1959 году выпустил (взяв себе в соредакторы Леона Эдела) сборник материалов «Генри Джеймс и Герберт Уэллс» со своим предисловием. А много лет спустя, в 1974 году, воспользовавшись материалами, предоставленными в его распоряжение Ребеккой Уэст, написал фактографическую и очень отстраненную по авторской позиции книгу «Г.-Дж. Уэллс и Ребекка Уэст», содержащую множество иллюстраций. К этому времени он получил ответственный и хорошо оплачиваемый пост главы одного из крупнейших благотворительных культурных фондов, и его интерес к Уэллсу, а может быть, вера в то, что у него когда-нибудь достанет времени и сил написать обещанный труд, совершенно угасли. Во всяком случае, он открыл наконец доступ к материалам Уэллсовского фонда, в результате чего в 1960 году появились книги «Джордж Гиссинг и Уэллс» и «Арнольд Беннет и Уэллс». Это, впрочем, было только началом. По-настоящему пробиться к материалам Уэллсовского архива удалось лишь Норману и Джинн Маккензи, и ради своей книги «Путешественник по времени» они буквально опустошили его. В результате, если говорить о чисто фактической стороне дела, «Постскриптум к автобиографии» сделался не очень нужен, тем более что женщины, о репутации которых заботился Уэллс, за это время сами многое рассказали о своих отношениях с ним. Многое было известно из давно уже опубликованных дневников Беатрисы Уэбб. В отличие от своего мужа Сиднея Уэбба, Уэллса не выносившего, она относилась к нему строго, но с пониманием и интересом и оставила чуть ли не летопись той части его жизни, что протекала у нее на глазах.

Названные книги широкого распространения не получили. Рассчитанные с самого начала на академическую аудиторию, они вообще остались вне сферы внимания тех, кого принято называть «читающей публикой».

Однако к 1984 году даже те, кто в свое время прочитал эти книги, основательно их позабыли, и вдруг — «Влюбленный Уэллс»! Неизвестная книга, написанная самим Уэллсом! Третий том знаменитого «Опыта автобиографии»! Так что Ребекка своим долголетием оказала немалую услугу человеку, с коим за шестьдесят с лишним лет до этого рассталась нельзя сказать, что совсем по-хорошему. Когда в том же 1984 году появилась еще и книга воспоминаний об Уэллсе его сына от Ребекки Уэст, Энтони Уэста, где он иногда оспаривал феминистские взгляды матери, наступило своего рода «уэллсовское Возрождение». Были переизданы первые два тома его автобиографии и огромное число

книг, иногда не самых лучших. В издательском деле вступила в действие та сложная и не всегда уловимая цепь взаимозависимостей, которая и приводит к книжному буму.

Но не странно ли, однако, что широкую публику так заинтересовали любовные дела писателя, умершего почти за сорок лет до того? Не вернее ли предположить, что новый интерес вызвала скорее сама его личность, раскрывшаяся еще с одной стороны? Ибо даже те факты, о которых многие знали, осветились теперь по-новому. Все увидели, как они преломлялись в сознании Уэллса. И это оказалось самым интересным.

Автобиографический элемент есть почти во всех книгах Уэллса, но помимо этого в них есть еще и нечто очень важное от биографии современного мира, рассказанной так, словно это тоже автобиография. И подобно тому, как с годами мы научаемся по-новому осмысливать события собственной жизни, сейчас, в начале нового столетия, людям — самым обычным людям — хочется окинуть взором ушедшее. Уэллс для них, для этих обычных людей, незаменимый помощник, ибо он принадлежал своему времени, закреплял его приметы и далеко выходил за его пределы.

К тому же он умел понимать этих обычных людей. В «Опыте автобиографии» Уэллс рассказывает, почему ему так трудно было сформироваться как писателю. Он считал, что историю всякого человека надо начинать с зарождения жизни на земле. Он привык думать о законах, управляющих миром, и никак не мог приблизиться к отдельно взятому человеку с его повседневными заботами. Многие писатели пробивались к самостоятельному творчеству, изучая своих предшественников. С Уэллсом дело обстояло иначе. Литературным откровением для него была книга очень милого, но и достаточно незначительного (исключение составляет только «Питер Пэн») писателя Джеймса Барри «Когда человек один». С Барри он потом подружился — Барри вообще со всеми дружил и всем нравился, — но особого интереса к нему не испытывал, да и испытывать не мог: они были люди разного масштаба дарования. Друзьями Уэллса были Бернард Шоу, Генри Джеймс, Арнольд Беннет, Джордж Гиссинг, Джон Голсуорси, а предтечами своими он считал Джонатана Свифта, Томаса Мора, Томмазо Кампанеллу, Чарльза Диккенса. Однако Барри он был благодарен необычайно: тот научил его придавать значение мелочам и писать о них!

Для литературоведа эта история, наверно, куда поучительнее, чем для писателя. Мы ведь живем концепциями. И поневоле отстраняемся от человека, который дал нам материал для этих концепций. Это несправедливо, ибо литература — дело очень

личное, интимное, и как бы ни велико оказалось впоследствии общественное значение того или иного произведения, оно никогда бы не возникло, не пройдя через душу и ум человека, его создавшего. Оно выражает всю его органику. И проникнуть в нее совершенно необходимо.

В истории английского театра заметную роль сыграла пьеса «Всякий человек». Уэллс и видел в себе этого извечного «обычного человека» («common man»), которому довелось прожить последнюю треть XIX и почти половину XX столетия. Он не считал свою жизнь исключительной, ее ценность он видел в ее типичности и заявлял, что только благодаря этому она и сохраняет свой интерес. В словах «открытия и заключения одного вполне заурядного ума, начиная с 1866 года» не было никакого кокетства, и Уэллс приходил в ярость, если его в чем-то подобном подозревали. Излишней скромностью он не отличался и, когда его однажды назвали гением, ответил без затей: «Да, я гениален». Своеобразие собственной личности он вполне понимал, чему-то в себе радуясь, о чем-то сожалея, но видеть себя хотел непременно «обычным человеком», через ум и душу которого проходят веянья века. Вот только быть этим «обычным человеком» он желал больше кого бы то ни было на свете, полагая, что при всем при этом можно оставаться и ни с кем не сравнимым.

И конечно, как у «всякого человека», у него было детство, юность, зрелость, старость.

* * *

В середине XX века Хорхе Луис Борхес признался в статье о «раннем Уэллсе», что книги этого английского писателя были первыми из им прочитанных и, возможно, станут последними; они, по мнению латиноамериканского классика, «должны врасти в общую память рода человеческого», им суждено выйти «за пределы своей сферы и пережить славу и того, кто их создал, и язык, на котором они написаны»[92]. Борхес заглянул дальше заявленного в заглавии и сформулировал свое отношение к творчеству высокоценимого им писателя в целом:

> «Подобно Кеведо, Вольтеру, Гёте и еще немногим, Уэллс не столько литератор, сколько целая литература. Он сочинял книги многословные, в которых в какой-то мере воскресает грандиозный, счастливый талант Чарльза Диккенса, он придумал много социологических притч, сооружал энциклопедии, расширял возможности

романа, переработал для нашего времени Книгу Иова, это великое дренееврейское подражание диалогу Платона, он издал превосходную автобиографию, свободную от гордыни и смирения, он боролся с коммунизмом, нацизмом и христианством, полемизировал (вежливо и убийственно) с Беллоком, писал историю прошлого, писал историю будущего, запечатлевал жизнь людей реальных и вымышленных»[93].

Не только для Борхеса, но и для многих других отправной точкой отсчета в знакомстве с Уэллсом послужила «Машина времени» — роман столь небольшой по объему, что Уэллс позднее включил его в свой сборник рассказов, еще не подозревая, какое невероятное количество подражаний вызовет к жизни это произведение, в основу какого огромного пласта — целого направления в литературе XX века! — ляжет. В связи с «Машиной времени» в другой своей статье Борхес вспоминает неоконченный роман Генри Джеймса «Чувство прошлого». Отчасти предшествовали Уэллсу и «Взгляд назад» Эдварда Беллами, утопия Уильяма Морриса «Вести ниоткуда», отдельные рассказы Вашингтона Ирвинга, Эдгара Аллана По, «Янки при дворе короля Артура» Марка Твена и многое другое. Но «Машина времени» произвела настоящую революцию в научной фантастике. Повлияла она и на творчество писателей-реалистов. Вспомним хотя бы, как Пристли прихотливо поворачивает назад время в своих пьесах.

Уэллса часто сравнивали с Жюлем Верном. И тот и другой протестовали против этого. Поначалу к Жюлю Верну прислушивались больше. Он был привычнее. Франция — родина позитивизма, а для правоверного позитивиста именно технический прогресс — двигатель прогресса морального и, следовательно, социального. Жюль Верн, не будучи правоверным позитивистом, был человеком, преданным прежде всего научным фактам, а именно тем из них, которые воплотились в реальность, выдержали экспериментальную проверку и скоро принесут громадную пользу человечеству. На путях к процветанию, конечно, могут возникнуть препятствия. Например, какой-нибудь маньяк способен завладеть мощнейшим оружием, чтобы угрожать существованию соседнего города, где прогресс уже привел людей ко всеобщему братству и благополучию («Пятьсот миллионов бегумы»). Но, по Ж. Верну, с маньяками и террористами в конце концов всегда удается справиться.

Французский мэтр любил Англию и не раз там бывал.

Вальтер Скотт и Чарльз Диккенс принадлежали к числу писателей, которыми он увлекался в детстве и всю жизнь перечитывал, жюльверновские чудаки-ученые конечно же вышли из «Посмертных записок Пиквикского клуба», причем они тоже иногда объединялись в клубы — в «Пушечный клуб» («Из пушки на Луну» и «Вверх дном») или в клуб рыболовов «Дунайская удочка» («Прекрасный желтый Дунай»). Создатель «Таинственного острова» очень ценил «английское воображение», но сам был писателем вполне французским — легким, шутливым и при этом рациональным. Все заимствованное у англичан перерабатывалось им почти до неузнаваемости. Во Франции еще от Вольтера шла традиция восприятия англичан как народа, приверженного в обыденной жизни «линейке и циркулю», но в то же время поражающего неорганизованностью художественного мышления. Пугающим примером этого литературного сумбура для Вольтера был, как известно, Шекспир — гениальный, по его мнению, человек, погубленный своей страной и эпохой. Жюль Верн, воспитанный на влюбленных в Шекспира романтиках, почитатель Гюго, единственной встречей с которым всю жизнь гордился, ученик и друг Александра Дюма, никогда бы не стал повторять вольтеровских инвектив против английской литературы. И все же что-то в ней оставалось для него глубоко чуждым. На его отношении к Уэллсу это тоже не могло не сказаться.

Уэллса, судя по всему, он впервые прочел лет через пять после того, как появились первые переводы английского писателя на французский язык. Верну они были специально присланы — сейчас уже трудно установить, кем именно, — и он не остался к ним равнодушен. Но вот что любопытно: великий француз обратил прежде всего внимание на недостаточный интерес Уэллса к выверенной технической детали или, если совсем быть точным, на нехватку таких деталей. И это было истинной правдой, сам подход английского коллеги к таким вопросам был совершенно иным, что, естественно, не могло понравиться старику Верну.

Жюль Верн не любил встречаться с прессой, но за два года до смерти, в 1903 году, принял известного английского журналиста Роберта Хорборо Шерада, чтобы поговорить с ним об Уэллсе. Вот отрывок из их беседы:

> «Я очень доволен, что вы пришли спросить меня про Уэллса. Книги его занятны, они очень английские, но нет никакой возможности сравнивать его работу с моей. Мы идем разными путями. В его произведениях, по-моему,

нет настоящей научной основы. <…> Он выдумывает, я — пользуюсь данными физики. Я отправлюсь на Луну в снаряде, которым выстрелили из пушки… Он летит на Марс на воздушном корабле, сделанном из металла, не подвластного закону тяготения. Занятно получается! Пусть покажет мне этот металл! Пусть его изготовит!»[94]

Это интервью Жюля Верна не отличалось особенной точностью. Говоря об Уэллсе, он перепутал «Войну миров» и «Первых людей на Луне», а говоря о себе, забыл упомянуть, что именно в романе «Из пушки на Луну» тоже пренебрег известным законом физики, согласно которому ни одно, даже самое мощное, орудие не способно придать выпущенному снаряду вторую космическую скорость, необходимую для преодоления земного притяжения. И тем не менее общий смысл сказанного совершенно ясен: Уэллс просто выдумщик.

Через год из второго интервью Жюля Верна английскому корреспонденту Чарльзу Даубарну выясняется, что выдумщиком он считал Уэллса все же очень хорошим.

«На меня произвел сильное впечатление ваш новый писатель Уэллс. У него совершенно особая манера повествования, и книги его очень любопытны. Но путь, по которому он идет, в корне противоположен моему. Если я стараюсь отталкиваться от правдоподобного и в принципе возможного, то Уэллс придумывает для осуществления подвигов своих героев самые невероятные способы. Например, желая выбросить героя в пространство, „изобретает“ металл, не имеющий веса. <…> Уэллс больше, чем кто-либо другой, — представитель английского воображения»[95].

В известном смысле Жюль Верн оказал этим интервью большую услугу Уэллсу, которого непрерывные сравнения со знаменитым французом изрядно раздражали. Конечно, газетчики не хотели сказать ничего дурного. Жюль Верн в те годы пользовался в Англии куда большим уважением, чем во Франции, но Уэллс никак не хотел быть «вторым Верном». Он хотел быть «первым Уэллсом» и ради этого готов был еще и еще раз повторять аргументы французского коллеги через много лет после того, как они были высказаны.

В 1934 году вышли под заглавием «Семь знаменитых романов» «Машина времени», «Остров доктора Моро», «Человек-невидимка», «Война миров», «Первые люди на Луне», «Пища богов» и «В дни кометы». В предисловии к этому сборнику Уэллс

писал:

> «Эти повести сравнивали с произведениями Жюля Верна. Литературные обозреватели склонны были даже когда-то называть меня английским Жюлем Верном. На самом деле нет решительно никакого сходства между предсказаниями будущего у великого француза и этими фантазиями. В его произведениях речь почти всегда идет о вполне осуществимых изобретениях и открытиях, и в некоторых случаях он замечательно предвосхитил действительность. Его романы вызывали практический интерес: он верил, что описанное им будет создано. Он помогал своему читателю освоиться с будущим изобретением и понять, какие оно будет иметь последствия — забавные, волнующие или вредные, многие из его предсказаний осуществились. Но мои повести, собранные здесь, не претендуют на достоверность: это фантазии совсем другого рода. Они принадлежат к тому же литературному роду, что и „Золотой осел“ Апулея, „Правдивая история“ Лукиана, „Петер Шлемиль“ и „Франкенштейн“. Сюда же относятся некоторые восхитительные выдумки Дэвида Гарнета, например „Леди, ставшая лисицей“. Все это фантазии, их авторы не ставят себе целью говорить о том, что на деле может случиться: эти книги ровно настолько же убедительны, насколько убедителен хороший, захватывающий сон. Они завладевают нами благодаря художественной иллюзии, а не доказательной аргументации, и стоит закрыть книгу и основательно поразмыслить, как понимаешь, что все это никогда не случится»[96].

Но вот что интересно: в период, когда писались эти романы, Уэллс говорил нечто совершенно противоположное. По его словам, он ограничивал себя исключительно тем, что считал возможным, не хватался за любую смелую идею, какая приходила в голову, и не искал сенсаций. Он рисовал будущее таким, каким предположительно оно и будет. Он готов был допустить, что, говоря о будущем, можно ошибаться, но был уверен в том, что перемены, им предсказанные, — ничто по сравнению с теми, которые действительно произойдут в течение ближайших двух столетий.

В 1920 году, вспоминая о «Войне миров», Уэллс назвал достоинством этого романа то, что от начала до конца в нем нет ничего невозможного.

Более того, в 1932 году, всего за три года до статьи к «Семи знаменитым романам», в предисловии к новому изданию «Машины времени» Уэллс не как условное допущение, а совершенно всерьез обсуждал с научной точки зрения несколько положений своего романа. Да и в предисловии к «Семи знаменитым романам» он, словно забыв, что только что объявил эти произведения не более чем фантазиями, с удовольствием вспоминал об одном своем литературном открытии, сделанном в те годы:

> «Мне пришло в голову, что вместо того, чтобы, как принято, сводить читателя с дьяволом или волшебником, можно, если ты не лишен выдумки, двинуться по пути, предлагаемому наукой»[97].

«Двинуться по пути, предлагаемому наукой». Роман, в котором «от начала до конца нет ничего невозможного». Разве это не противоречит высказыванию о «захватывающем сне», рассеивающемся утром при пробуждении?

Действительно, Уэллс является родоначальником не только новой фантастики. Он стоит у истоков жанра фэнтези. К примеру, рассказ «Чудотворец» — сказка, но сказка, опирающаяся на закон ньютоновской физики. Этот прием получил особое развитие в 1940–1950 годы, когда фэнтези приобщала научную фантастику к другим литературным направлениям, став в результате чем-то вроде современного интеллектуального реализма, причем с изрядной «примесью» романтизма. Примеры тому — «Босоногий в голове» выдающегося мастера современной английской литературы Б. Олдиса, «Остановка на Занзибаре» Дж. Браннера и «Выставка зверств» Дж.-Г. Балларда, смыкающиеся в каком-то отношении с романами К. Воннегута и Дж. Хеллера.

В 1960–1970-е годы самой заметной фигурой так называемой «новой волны» английской и американской фантастики стал Майкл Муркок, близкий к английской классике нонсенса (Льюис Кэрролл, Эдвард Лир), базирующейся на индивидуальной фантастической идее, а не на наукоцентрической концепции мышления.

Задолго до этого Уэллс практически продиктовал своему другу Арнольду Беннету статью, в которой себя, а отнюдь не Жюля Верна, считал родоначальником фантастики, основанной на положениях новой физики.

Кем же все-таки был Уэллс? Сказочником, который «шел по пути, предлагаемому наукой»? Это очень заманчивое предположение. Разве Уэллс не писал сказок? Вспомним «Волшебную лавку» или «Мистера Скелмерсдейла в стране фей»?

Но вот беда: в сказках Уэллс был очень далек от «путей, предлагаемых наукой», а в своих научно-фантастических романах — от сказок. Конечно, и те и другие завладевают нами благодаря художественной фантазии автора, но это же можно сказать о всяком достойном литературном произведении любого другого жанра.

Нет, Уэллс все-таки научный фантаст, и притом в гораздо более точном смысле слова, чем Жюль Верн. Французского писателя с должными оговорками можно назвать «техническим фантастом». Он не искал новых научных принципов, а говорил о техническом воплощении старых. Он был представителем той эпохи, когда ньютоновская механика и ряд других, созданных в XVIII — начале XIX века отраслей знания дали свои наиболее ощутимые плоды. Уэллс, напротив, двигался в сторону новой науки.

Нельзя сказать, что у Жюля Верна порой не мелькала мысль о близящемся конце «старой науки». Становилось все яснее, что утвердившиеся научные принципы почти исчерпали возможности своего технического воплощения. Жюль Верн писал о подводной лодке, когда она уже существовала. Он только увеличил ее размеры и «обеспечил» ей новое энергетическое оснащение. Он писал о воздушном шаре, тоже давно изобретенном, но заметно усовершенствовал его. Он даже предсказал самолетостроение, но и здесь ни в чем не отступил от понятий, науке давно известных и даже в какой-то мере «обжитых» техникой, ибо игрушечные геликоптеры (первые летающие аппараты тяжелее воздуха) появились за несколько лет до его предсказания.

По мере того как приближался XX век, Жюль Верн все чаще задумывался о необходимости новых научных или технических принципов. В романе «Пятьсот миллионов бегумы» (1879) герой говорит пушечному фабриканту Шульце: «Вы вот все строите пушки все больших размеров. А теперь назрела потребность в принципиально новых средствах войны». И честолюбивый заводчик посвящает его в свою тайну. Его «секретным оружием» оказывается… гигантская пушка — некое предвосхищение «Большой Берты», построенной во время Первой мировой войны. Она стоила огромных денег, но каждый ее выстрел поражал в среднем одного человека. При всей своей потребности в принципиально новых открытиях Жюль Верн долго не мог их сделать. В романе «В погоне за метеором» он нащупал наконец нечто действительно новое — аппарат, способный управлять полем тяготения, в «Необыкновенной экспедиции Барсака» ввел в действие недавно изобретенный беспроволочный телеграф и предсказал дистанционное управление машинами и

приспособлениями — словом, заметно отошел от элементарной механики, которая была своего рода «рабочим инструментом» в его ранних произведениях.

В качестве предсказателя будущего начинал и ранний Герберт Уэллс. Речь идет не о его научной фантастике, которая была оценена не сразу, а о книге «Предвидения о воздействии прогресса механики и науки на человеческую жизнь и мысль», изданной в самом конце 1899 года в английском журнале «Фортнайтли ревью» и вскоре опубликованной в виде отдельного издания, причем несколькими тиражами, и не в одной только Британии[98]. Попутно Уэллс вносил дополнения и примечания в каждое новое издание.

В начале века недостатка в предсказаниях на следующие сто лет не наблюдалось, но все равно книга Уэллса сразу же выделилась из числа остальных. В связи с этим Бертран Рассел называл Уэллса освободителем мысли и воображения, который, рисуя привлекательные и непривлекательные картины возможного общества, «открыл молодым людям глаза на разные варианты будущего, о которых они иначе бы не задумались»[99].

Некоторые из его предсказаний осуществились гораздо раньше, чем предполагал фантаст. За два года до полета братьев Райт он заявил, что летающий аппарат тяжелее воздуха будет создан только к 1950 году, а тот построили сразу после очередного издания этой книги. Но особого значения это не имело: Уэллс ведь писал не столько о самом научном и техническом прогрессе, сколько о его влиянии на человеческую жизнь и мысль. В области материального прогресса как такового он более или менее подробно разрабатывал только вопрос о средствах транспорта и путях сообщения. Да и то потому лишь, что это оказалось отправным пунктом всей его концепции. Уэллс решил поговорить о мире, в котором практически «исчезнут расстояния». Тем самым народы сблизятся и возникнут предпосылки для Мирового государства. Именно эта идея начинает проглядывать, пока еще робко, в первом политическом трактате Уэллса. Со временем она целиком завоюет его мысль. «Человечество в процессе становления» (1903) назовет он свой следующий трактат. И хотя книга получилась неудачная, заглавие ее определило ход мысли Уэллса на всю оставшуюся жизнь. Человечеству предстоит еще долгий путь развития, в том числе и духовного. А духовно объединившееся человечество потребует и новых, более широких, ломающих национальные границы форм государственной организации. Человеческая мысль становится все сильней — почему бы и миру не объединиться на рациональной основе?

Правда, в «Предвидениях» требования рациональности настолько подчиняют себе требования гуманности, что порой этот трактат начинает напоминать рассуждения солдата-артиллериста из «Войны миров».

Вряд ли стоит говорить о многочисленных частных промашках Уэллса, из которых основной можно назвать предсказание о ходе будущей войны и ее главной военной силе — отрядах велосипедистов, вооруженных неким подобием современного автомата. На военные предсказания Уэллса очень повлияла изданная по-французски книга поляка И. Блиоха «Возможна ли ныне война»[100], а кроме того, начавшая в то время только формироваться «теория малых армий» (ее приверженцами были и М. Н. Тухачевский, и Шарль де Голль), приобретшая популярность в 20-е годы XX века, но довольно быстро отвергнутая. Однако в основном Уэллс поражает точностью многих своих предсказаний. Так, говоря о влиянии средств транспорта на всю экономическую жизнь страны, он интересовался и многими частностями. Им было предсказано, например, появление вагонов-ресторанов, функционирование железных дорог в связке с автомобильным транспортом: индивидуальным легковым и грузовым. В пределах этой книги Уэллс начинает спорить со своей недавней идеей о безграничном расширении больших городов, где главным средством сообщения станут бесконечные движущиеся платформы, продемонстрированные перед этим на Всемирной выставке в Париже. На этот раз Уэллс говорит о том, что люди будут жить в уютных пригородах, наслаждаясь общением с природой. И там же разместятся больницы, магазины, школы. В области градостроительства этот англичанин до мозга костей отдает предпочтение отдельным коттеджам, хотя и по-новому оборудованным — горячим водоснабжением, электричеством и другими удобствами. Людям не придется, как его матери, бесконечно мыть полы и выносить мусор. Отпадет необходимость в прислуге, для приготовления пищи будут использоваться электрические плиты. И никто не захочет работать на других. В этой связи Уэллс делает обширный экскурс в историю демократии: рухнет разделение на лендлордов и многочисленный рабочий класс; большую часть общества составят инженеры, техники и лица, связанные с обслуживанием машин, таких как тот же велосипед или — в недалеком будущем — автомобиль. Останется в стороне, пожалуй, духовенство, но и оно преобразуется, поскольку люди грядущих поколений будут изначально религиозны, из-за сильно развитого чувства долга. В корне изменится положение женщины. Брак станет расторжимым.

Государство возьмет на себя заботу о детях, рожденных в браке или вне брака. Все это составит основу Новой республики, в которой возобладают элементы социализма. Впрочем, путь к становлению подобного рода социализма окажется очень не простым. «Загромождать» его будут войны, конфликт языков, расовые неурядицы.

Из общественных тенденций XX века, которые действительно предугадал и вернее всего предсказал Уэллс, — та, которая в реальном воплощении его ужаснет и оттолкнет, — фашизм. А в своем романе-предупреждении «Освобожденный мир», посвященном книге физика-атомщика Фредерика Содди «Интерпретация радия» (1908), Уэллс на заре XX века с тревогой писал о необоснованности оптимизма большинства ученых, связанного с открытием ядерной энергии. Он изобразил наш мир с его возможностями технологической и социальной революций стоящим на пороге самоуничтожения.

Сейчас «Предвидения» сохраняют немалый исторический интерес как один из лучших образцов прогностики начала минувшего века. Однако изложенные в книге идеи предстают ныне в ином свете, чем они являлись критикам — современникам Уэллса.

Описывая в «Предвидениях» возможные и желаемые общественные перемены, Уэллс не увидел в современном ему обществе силу, которая помогла бы создать в будущем строй, совместивший целесообразность и свободу. А это, в свою очередь, повлекло за собой отказ от требования свободы личности. По мнению Уэллса, способна создать целесообразное, хоть и несвободное, общество только «аристократия интеллекта» — технократия.

И в самом деле, какой еще выбор оставался Уэллсу при той системе взглядов, которая сформировалась у него к моменту написания «Предвидений»? Он справедливо считал, что время устойчивых, замкнутых в себе сословий прошло и старые «традиционные» классы находятся в состоянии распада. Буржуазия распадается на паразитическую, рантьерскую часть и на руководителей производства, которым необходимо овладеть всей потребной для этого суммой знаний и, следовательно, превратиться в интеллигенцию. Рабочий класс делится на неквалифицированных и квалифицированных рабочих, и если первая прослойка осуждена на постепенное вымирание, то вторая с развитием техники и автоматизации производства тоже превратится в интеллигенцию. Чем скорее осуществится этот процесс, тем лучше.

Словом, ни буржуа, ни рабочие не способны ни осознать, ни

осуществить свои общие цели. Растет и консолидируется только интеллигенция. Из ее возможностей и надо исходить, говоря о построении нового общества. Кто его построит? Интеллигенция — отвечает Уэллс. Однако, чтобы не отрываться от действительности, добавляет: та ее часть, в руках которой находится реальная власть, — иными словами, «просвещенные буржуа». А так ли сильно они будут отличаться от своих непросвещенных собратьев? По Уэллсу, занятия наукой сами по себе не способствуют вызреванию в душе человека моральных понятий, скорее — наоборот. Кто же воспитает это общество в духе гуманности? И кто воспитает воспитателя?

В романе «Когда спящий проснется», как и в трактате «Предвидения», Уэллс возложил эту задачу на религию, но, похоже, эта идея не убедила даже его самого. Уэллс нарисовал общество антигуманное. Вопрос, как совместить целесообразность и гуманность, по-прежнему стоял перед ним, и он по-прежнему искал на него ответ.

Уэллс всю жизнь метался из одной крайности в другую, и забывал то о гуманности и демократизме, то о целесообразности, и, только соединяя обе стороны своего учения — если не в отдельных произведениях, то в творчестве в целом, представал оригинальным мыслителем и художником своего времени.

Впрочем, для того чтобы оценить диапазон противоречий Уэллса, необязательно обозревать все его творчество. Достаточно сравнить, например, «Предвидения» и написанный сразу же после них роман «Первые люди на Луне» (1901). В своем трактате Уэллс превознес общество технократов. В романе его осмеял.

Человек сумел выжить перед лицом природы лишь как общественное существо, доказывал учитель Уэллса Т. Хаксли. «Коллективизм» Хаксли восходил к самым истокам человечества. Таков же был «коллективизм» Уэллса, заставивший его с равным рвением написать популярное введение в биологию «Наука жизни» и популярнейший в свое время (он вышел тиражом в два миллиона экземпляров) очерк истории человечества от самых его доисторических начал, даже раньше — от формирования нашей планеты. Именно *человечества.* Писать историю отдельных стран уже казалось Уэллсу уступкой национализму. Человеческая жизнь, по мнению Уэллса, должна быть отдана служению человечеству. Если ты сумел ему послужить, значит, прожил свою жизнь не зря.

* * *

Тринадцатого января 1914 года на перрон петербургского вокзала сошел прибывший из Берлина маленький, полноватый, но очень живой англичанин средних лет. Не было ни речей, ни любопытной толпы. Официально о его приезде нигде ничего не сообщалось. Из личных знакомых приезжего в Петербурге жили только английский поэт, романист и очеркист Морис Бэринг — автор книг «Русский народ»[101] (1911) и «Движущие силы России»[102] (1914) — и журналист Гарольд Вильямс, женатый на Ариадне Владимировне Тырковой, видной публицистке из союза «Освобождение», преобразованного в 1905 году в кадетскую партию. В 1904 году Тыркову арестовали на финляндской границе с тиражом подпольного революционного журнала и приговорили к двум с половиной годам тюрьмы, но она бежала за границу, где и дождалась амнистии. С Вильямсом Ариадна Владимировна познакомилась в Париже.

Так Герберт Уэллс впервые ступил на российскую землю.

Скромность встречи отнюдь не объяснялась тем, что его здесь плохо знали. Скорее наоборот. На русский писателя переводили с 1898 года. С 1909 по 1917-й год было издано многотомное собрание его сочинений — первое в мире[103]. В Петербурге, Москве, Киеве, Одессе и многих других городах, названий которых Уэллс даже не знал, жили тысячи его поклонников. Им увлекалась не только читающая публика, но и писатели. Его называли «гордостью и славой Англии». И как раз именно это заставляло его скрывать свой приезд. Он приехал не для того, чтобы получить дань читательской благодарности и себя показать, а для того, чтобы как можно больше — насколько это возможно за двенадцать дней — узнать об этой удивительной и странной стране — России.

Что знал он о ней до той поры?

Уэллс не причислял себя к страстным любителям русской литературы. На фоне всеобщего увлечения английской интеллигенции 1890-х годов Толстым и Достоевским его отношение к первому можно было назвать прохладным, а ко второму — прямо враждебным. Правда, он с интересом следил за творчеством Чехова и Горького. Нет, не литература, а реальные исторические события заставили Уэллса прибыть в Россию — события 1905 года. Для него Россия была страной открытой борьбы сил реакции и прогресса.

Вряд ли Уэллс достаточно глубоко понимал здесь

происходящее. Россию он представлял как страну страждущую, а не борющуюся. Первая русская революция не предвещала, по его мнению, вторую, и все же инстинкт провидца заставлял Уэллса весьма часто мысленно обращаться к нашей стране.

В апреле 1906 года он встречался с Горьким. Об этой встрече рассказано в книге «Будущее Америки»[104]. Горький приехал в США на несколько дней позже Уэллса, и Уэллс наблюдал, как Америка готовилась торжественно встретить посланца русской свободы, какой энтузиазм охватил всех при его появлении и… какой бешеной газетной травле он тут же подвергся: Горький, будучи женатым человеком, приехал в США со своей возлюбленной, актрисой Московского художественного театра М. Ф. Андреевой. Их обливали грязью, выгоняли из гостиниц. Уэллс возмущался до глубины души. В 1934 году в Москве он, по свидетельству Л. Никулина, говорил Алексею Максимовичу, что неприязнь к США, высказанная в книге «Будущее Америки», в значительной мере объясняется тем, как тогда в Америке отнеслись к Горькому[105].

Это, разумеется, было преувеличением. В 1906 году радикализм зрелого Уэллса достиг апогея, что отразилось в его статьях, написанных еще до поездки в США (одна из них, кстати, и стала потом первой главой книги «Будущее Америки»). Однако, с другой стороны, эпизод с Горьким, в цепи других событий, мог открыть глаза Уэллсу на природу американского общества, послужить эмоциональным толчком, для логического анализа, который в «Будущем Америки» отличался поразительной точностью.

> «Приехать в Америку из любой европейской страны — это все равно, что от сложности перейти к совершенной ясности, — писал он. — Отношения между наемным работником и нанимателем, администратором и рабочим, трудом и капиталом, которые в Англии преобразованы, смягчены и запутаны сотнями застарелых привычек и традиционной системой соподчинения, выступают здесь во всей своей определенности, рационалистичности, пронизывающей холодности. <…> Пересечь Атлантический океан — значит из переливчатого тумана выйти на яркое солнце. <…> Долговязая Свобода, которая в своей утыканной шипами короне стоит в нью-йоркском порту и светит миру электрическим пламенем, это на самом деле свобода Собственности, и здесь она достигла своего апогея»[106].

Но если Горький невольно помог Уэллсу определиться в отношении Америки, то, как легко догадаться, в заметно большей мере русский собрат по перу повлиял на его суждения о России. Когда разразилась газетная буря, Уэллс, успевший познакомиться с Горьким, немедленно кинулся его разыскивать. Это удалось не без труда. В гостиницах отвечали, что подобных «персон» сюда не пускают. В конце концов Уэллс нашел Алексея Максимовича в частном доме, где два писателя и провели вечер в разговорах о России. Горький произвел на Уэллса огромное впечатление. «Горький — не только большой мастер в том виде искусства, которым я тоже занимаюсь, но и блестящий человек»[107], — писал он в книге «Будущее Америки». Год спустя Горький и Уэллс встретились в Лондоне, где проходил V съезд РСДРП. Затем они виделись в Петрограде (Уэллс жил у А. М. Горького) и в Москве — в 1920 и 1934 годах. И хотя отношения между ними менялись, Уэллс всегда считал Горького человеком со многими элементами гениальности, тогда как себе в заслугу ставил только хорошо организованный ум. Горький всегда был из числа людей, через которых Уэллсу открывалась Россия, и его интерес к ней год от года возрастал.

При всем при том представления Уэллса о нашей стране были не слишком точны.

> «Когда я думаю о России, я представляю себе то, что читал у Тургенева и моего друга Мориса Бэринга, – пишет он в предисловии к русскому собранию сочинений 1909 года. – Я представляю себе страну, где зимы очень долги, а лето знойно и ярко; где тянутся вширь и вдаль пространства небрежно возделанных полей; где деревенские улицы широки и грязны, а деревенские дома раскрашены пестрыми красками, где много мужиков, беззаботных и набожных, веселых и терпеливых, где много икон и бородатых попов, где плохие пустынные дороги тянутся по бесконечным равнинам и по темным сосновым лесам. Не знаю, может быть, все это и не так; хотел бы я знать, так ли это»[108].

Вряд ли было уместно говорить о русских мужиках, «беззаботных и набожных, веселых и терпеливых», после революции 1905 года, еще более удивительно было слышать это от человека, непосредственно общавшегося с Горьким, а потом с другими русскими, бывавшими или жившими в Англии, например с К. И. Чуковским или известным переводчиком Ликиардопуло, но это представление о «веселом русском мужике» стало у Герберта Уэллса предрассудком, а со своими

предрассудками он не любил расставаться. З. А. Венгерова, известный литературовед и переводчица, встречавшаяся с Уэллсом во время его первого пребывания в России, писала в заметке, появившейся в те дни, что по дороге из Петербурга в Москву Уэллс был намерен заехать в русскую деревню и в том, «что он там увидит счастливую жизнь, в этом нашего гостя из Англии никак нельзя переубедить»[109].

Личный опыт, по-видимому, оказался убедительней слов. После поездки в деревню Вергежа Новгородской губернии Уэллс больше никогда не говорил о «веселом русском мужике, терпеливом и набожном».

Когда Уэллс выразил желание побывать в русской деревне, Ариадна Тыркова направила его к своему брату Аркадию Владимировичу Тыркову, у которого было имение в Вергеже. Уэллс и Тырков вместе ходили к крестьянам и расспрашивали их о жизни. Тырков был народовольцем, участником покушения на Александра II, успевшим отбыть двадцать лет на каторге и в ссылке, где познакомился с Лениным. Трудно сказать, что почерпнул Уэллс из общения с Тырковым и из двухдневного пребывания в деревне. Сам он не оставил никаких свидетельств на этот счет, но, во всяком случае, старое представление о русской деревне с той поры исчезает из его произведений. На смену ему придет другое, куда менее радужное. Уэллс осознает всю важность крестьянского вопроса для России и впоследствии, в разговоре с Лениным, выскажет мнение, что психология русского крестьянина может оказаться главным препятствием в строительстве нового общества. Из всех планов большевиков, как он вскользь отметил в заметке о Ленине, опубликованной в 1924 году, его интересовал в первую очередь крестьянский вопрос.

Сейчас трудно восстановить многие и, возможно, существенные, детали пребывания Уэллса в Петербурге и в Москве в 1914 году. Попытки подобного рода предпринимались только в 60-е годы[110], когда немало свидетельств, надо думать, было уже безвозвратно утеряно, но и то, что известно, представляет интерес. В Москве Уэллс побывал на вечере одноактных балетов в Большом театре (танцевала Гельцер), в Третьяковской галерее и, наконец, на «Трех сестрах» и «Гамлете» в Художественном театре. Эти два спектакля привели его в совершеннейший восторг. После «Трех сестер» он прошел за кулисы и стал уговаривать Станиславского, Книппер-Чехову и Немировича-Данченко привезти чеховские спектакли в Лондон. Свое восхищение Художественным театром — а заодно и его публикой — он выразил потом в романе «Джоанна и Питер»[111].

Старина не привлекала его. День в Троице-Сергиевой лавре

(23 января) — вот и вся дань, отданная ей Уэллсом. Другие предложения осмотреть памятники старины он отклонил, зато его интересовали люди. Весь первый день в Москве он провел на улицах, потом ездил на Хитров рынок, ходил в ночные чайные. Инкогнито, разумеется, долго соблюдать не удалось. Уже через два дня, 15 января, в либеральной газете «Речь» появилась беседа Уэллса с В. Д. Набоковым, в то время известным журналистом[112]. После этого он все время был на виду. Его тепло приветствовали, от него требовали интервью. Всероссийское литературное общество преподнесло ему адрес (лежавший потом на видном месте в кабинете писателя). Каждый день чуть ли не с утра Уэллс беседовал и спорил с людьми, но в любых обстоятельствах он пытался как можно больше сам увидеть, запомнить и узнать.

Все это по-своему важно. Когда Уэллс снова появился в Москве и Петрограде в 1920 году, он уже не смотрел на эти города глазами иностранца, ищущего живописные приметы «русской жизни». Экзотика вообще мало интересовала Уэллса, в России тем более, — он стремился докопаться до сути происходящих здесь процессов.

Шесть лет между первой и второй поездками Уэллса в Россию были годами крупнейших мировых потрясений. Поколение, к которому принадлежал Уэллс, ожидало их, и он лучше других выразил это смутное предчувствие в своей «Войне миров» (1898). 20-е столетие было чревато грандиозными переменами, и Уэллс, человек, которого многие читатели воспринимали как пророка, еще на пороге века заявил твердо и определенно: единственный выход для человечества, если оно хочет избежать ловушек, расставленных перед ним историей, — это социализм. К такому выводу он подводил читателя в уже упоминавшемся «Будущем Америки» и написанной вскоре книге «Новые миры вместо старых»[113]. Уэллс никогда не был «социалистом по Марксу». Скорее он относил себя к числу домарксовых, утопических социалистов. Тем не менее о создателе «Капитала» английский писатель говорил в этот период с большим уважением. Маркс первым поставил социализм на историческую основу, утверждал он в «Новых мирах вместо старых»[114]. Однако все это не мешало ему спорить с Марксом, настаивавшим на неизбежности классовой борьбы и революции. При современных условиях, с точки зрения Уэллса, агитация социалистов и усилия разумных людей могут привести к социализму без всяких классовых конфликтов, а, поскольку классовую борьбу он отрицал, оставалось ждать каких-то других общенациональных или мировых катаклизмов, способных изменить мир.

И предвестником гибели буржуазной цивилизации, на развалинах которой будет построено новое общество, стала для Уэллса надвигающаяся война. В 10-е годы XX века он уже не называет гипотетическое новое общество социалистическим, слово «коллективистское» кажется ему более подходящим. Во всяком случае, он понимает, насколько неизбежная война по своим социальным последствиям будет непохожа на предыдущие.

> «Каждое современное европейское государство более или менее напоминает плохо построенный, с неверно найденным центром тяжести, пароход, на котором какой-то идиот установил чудовищных размеров заряженную пушку без откатного механизма, — писал он в статье „Возможное крушение цивилизации". — Попадет эта пушка в цель, когда выстрелит, или промахнется, в одном мы можем быть уверены: пароход свой она обязательно отправит на дно морское»[115].

Еще больше укрепилась в Уэллсе эта точка зрения во время войны, особенно к 1916 году, когда он выпустил антивоенный роман «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна»[116]. В феврале 1916 года в гостях у писателя побывали три члена приехавшей незадолго перед тем по приглашению английского правительства группы русских журналистов — А. Н. Толстой, К. И. Чуковский и В. Д. Набоков. Говорили прежде всего о войне. «Он, конечно, не сомневается в ее колоссальных последствиях, которые отразятся на всех сторонах жизни, на индивидуальной и общественной психологии, на политическом и социальном строе. И он хочет угадать, какую форму примут грядущие изменения»[117], — рассказывал потом Набоков.

Революция в России, казалось Уэллсу, подтвердила его прогнозы. Ни он сам, ни его окружение в Англии, ни русские знакомые, к каким бы партиям они ни принадлежали, не испытывали к царизму никакого уважения. Гибель этого «плохо построенного, с неверно найденным центром тяжести, парохода» была закономерна. Царская Россия, по мнению Уэллса, сама собой разваливалась, не выдерживая тяжести войны. Однако за Февральской революцией последовала Октябрьская. Среди тех, кто приветствовал «зарю русской свободы», произошел раскол. Очень многие из них выступили против большевиков, «узурпировавших власть». Некоторые знакомые Уэллса, такие как Ариадна Тыркова и Владимир Набоков, покинули Россию и стали убежденными противниками Советов. Какую позицию должен был занять в это время Уэллс? С одной стороны, он никогда не ставил

высоко буржуазную демократию, давно ждал кардинальных общественных и социальных перемен, которые должны были последовать за войной, и не был склонен оплакивать ни царизм, ни Временное правительство, но, с другой стороны, его «коллективизм» решительно противостоял марксизму. Уэллсу, всю жизнь размышлявшему о будущем мира, надо было определить свою позицию. Потому-то (как рассказывает Уэллс) в сентябре 1920 года, когда Каменев, член советской торговой делегации в Лондоне, предложил ему снова посетить Россию, он «тотчас же принял приглашение и в конце сентября выехал туда»[118]. Результатом этой поездки и была книга «Россия во мгле».

«Россия во мгле» написана не единомышленником большевиков. Уэллс 1920 года значительно дальше от них, чем Уэллс 1906 года. Вопрос о противостоянии труда и капитала уже не стоит для него так остро и прямо, как в «Будущем Америки». Напротив, подобные разговоры кажутся ему примитивными и догматическими, он все больше, все ожесточенней критикует Маркса. Уэллс 1920 года был органически не совместим с революцией. Это чувствовали все, кто с ним сталкивался. Он был чужой в Петрограде и Москве 1920 года — и по облику своему, и по многим своим реакциям. «Каким сытым он нам показался, каким щегольски одетым и, увы, каким буржуа!» — рассказывала в 1946 году в «Стейтсмен энд нейшн» Дженни Хорстин, которая в 1920 году петроградской девочкой Женей Лунц видела Уэллса во время посещения им тенишевской гимназии.

> «Я выругал этого Уэллса с наслаждением в Доме искусств, — вспоминал В. Шкловский. — Алексей Максимович радостно сказал переводчице: „Вы это ему хорошо переведите“»[119]. Он казался слишком благополучным на фоне всеобщей нищеты, слишком рассудительным в одних случаях, слишком придирчивым — в других. Он был эмоционально неприемлем для людей, привыкших к тяготам этих лет и считавших их неизбежными в деле построения новой жизни. Уэллс не просто не умел **слушать** музыку революции — он просто **не слышал** ее. И не от глухоты, а от того, что эта «музыка», по крайней мере для него, музыкой не была. Но «Россия во мгле» — честная книга. Она, при всем, что стояло между Уэллсом и революцией, исполнена искренней доброжелательности к нашей стране. «Перед лицом величайших трудностей они (т. е. большевики. — Ю. К.) стараются построить на

обломках прошлого новую Россию. Можно оспаривать их идеи и методы, называть их планы утопией, можно высмеивать то, что они делают, или бояться этого, но нельзя отрицать того, что в России сейчас идет созидательная работа»[120].

«Все время думаю о России и обо всех нас, — пишет Уэллс Горькому 20 октября 1920 года по приезде из Петрограда в Ревель. — Нашел здесь книги по научным вопросам, присланные моим другом сэром Ричардом Грегори в Британское консульство… Надеюсь, это начало того потока книг и брошюр, который потечет теперь в Россию с Запада»[121]. «Проконсультировался в Лондонском Королевском обществе. И на следующем заседании Совета будет организован комитет по снабжению Дома ученых научной литературой, — пишет он Горькому 24 октября, немедленно по возвращении в Лондон. — Кроме того, налаживаю связь Королевского общества с Британской академией и с Обществом авторов, чтобы совместно разработать план снабжения книгами Дома ученых и Дома литературы и искусства в течение зимы. Я и дальше буду извещать Вас о том, как развиваются события»[122].

Но главная польза от поездки и книги Уэллса была, конечно, в том, что они оказали огромное воздействие на общественное мнение Запада.

С Уэллсом немало спорили. В характере его взглядов никто не обманывался — да и сам Уэллс сделал все возможное, чтобы не породить в этом смысле никаких недоразумений. И вместе с тем отклики советской прессы на «Россию во мгле» в первое время были благоприятными. «Мы, коммунисты, можем быть довольны результатами поездки Уэллса в Советскую Россию. Это совсем не дурной результат»[123], — писал в апреле 1921 года А. Воронский в статье «Г.-Д. Уэллс о Советской России». В дальнейшем публикации этой книги в России мешало то обстоятельство, что в ней было много упоминаний о Троцком.

Иной была реакция эмигрантской прессы. Она встретила книгу Уэллса в штыки. Н. С. Трубецкой, снабдивший опубликованный перевод книги своим предисловием, заявил:

«Книга должна быть признана вредной», поскольку пропитана «безграничным презрением к русской душе и России как нации. Помимо этого Уэллсу очень хочется торговать, и вот он с этой точки зрения интересов английского торговца и подходит к русской проблеме. Большевики люди смелые, энергичные. Англия сможет извлечь из России при большевистской власти

значительную пользу; нужно ей помочь извлечь из этой площади земли как можно больше сырья, в котором так нуждается Западная Европа»[124].

В бурцевском «Общем деле» ее критиковал И. А. Бунин; такие же статьи были помещены в «Руле» и в ряде других эмигрантских газет. Можно сказать, что ни одна из книг о большевиках не наделала столько шуму за границей, как «книга Уэллса о России»[125]. Впрочем, сам Уэллс еще раньше и столь же недвусмысленно определил свое отношение к эмиграции. «Политическое лицо русских эмигрантов в Англии, — писал он в „России во мгле“, — заслуживает лишь презрения»[126]. Отношения разладились и со многими интеллигентами из тех, с кем Уэллс прежде был близок. Так, сын В. Набокова рассказывает о том, насколько была не похожа встреча его отца (теперь эмигранта) в конце 1920 или в начале 1921 года на их предшествующие две встречи:

> «На этот раз не было ни банкетов, ни речей; не было даже игры в мяч с Уэллсом, которого никак не удавалось убедить, что большевики — это особая, жестокая и всеобъемлющая форма варварского угнетения, столь же древняя сама по себе, как пески пустыни, а вовсе не новый революционный опыт, за который его принимали многие иностранные наблюдатели»[127].

Разумеется, досталось автору «России во мгле» и от многих соотечественников. Они засыпали его негодующими письмами и открытками, появилось множество крайне резких статей в британской прессе. Но самое известное выступление против Уэллса принадлежит Уинстону Черчиллю.

Уэллс и Черчилль прежде отнюдь не были противниками. В 1908 году Уэллс решительно поддержал Черчилля во время парламентских выборов. Черчилль был кандидатом от либералов, ему противостояли кандидаты от консерваторов и лейбористов, и Уэллс, к возмущению многих своих друзей, опубликовал в печати письмо «Почему социалисты должны голосовать за мистера Черчилля». Он доказывал там, что лейбористский кандидат все равно не имеет шансов на избрание, тогда как Черчилль, победив с помощью лейбористов, окажется чрезвычайно полезен делу социализма. В молодом Черчилле он видел человека с широким, активным, быстро развивающимся умом. Он считал, что Черчилль чужд реформистских идей. К тому же Уэллс вынес наилучшие впечатления из общения с Черчиллем во время Первой мировой войны. Именно в бытность Черчилля министром военного

снаряжения Уэллсу и другим сторонникам танка как боевого средства удалось добиться производства этого вида военной техники вопреки Китченеру, которой отвергал эти «механические игрушки»[128].

Однако с 1920-х годов отношения добрых знакомцев резко переменились. Черчилль стал для Уэллса почти что синонимом реакционера. В такой роли он дважды появлялся в произведениях писателя. В утопии «Люди как боги» (1923) он принял обличье Руперта Кетскила. Уэллс потом рассказывал, как в процессе создания этой утопии один из персонажей совершенно вышел из-под контроля и стал все больше походить на Черчилля. Автор не успел опомниться, как его персонаж начал войну против утопийцев[129]. В романе «Самовластье мистера Парэма» (1930) Черчилль выступает под прозрачным псевдонимом Бристон Берчиль, который оказывается прямым пособником диктатора Парэма.

Вторая мировая война на время вновь сблизила их. Уэллс писал о Черчилле как о великом военном руководителе и о человеке, всю жизнь восставшем против косных традиций, но незадолго до окончания войны, в декабре 1944 года, Уэллс в «Дейли трибьюн» потребовал отставки Черчилля, этого «будущего английского фюрера»: «Или мы покончим с Уинстоном, или Уинстон покончит с нами»[130].

Однако переломным моментом в отношениях Уэллса и Черчилля было все-таки столкновение из-за «России во мгле».

Пятого декабря 1920 года в том же еженедельнике «Санди экспресс», где перед этим печаталась по главам «Россия во мгле», была опубликована статья Черчилля «Мистер Уэллс и большевизм». Она и послужила началом дальнейшей полемики.

Статья Черчилля открывалась небольшим вступлением, где комплименты самым затейливым образом перемежались с иронией.

> «Если такой писатель, как Уэллс, чьими философскими романами мы все зачитывались, решил столь беспрекословно разъяснить нам один из важнейших политических вопросов современности, — писал он, — мы обязаны отнестись к его словам со вниманием. Тем более что Уэллс не только писатель, но и историк. Если человеку удалось за год написать историю мира от образования туманностей до Третьего интернационала и от протоплазмы до лорда Беркенхеда, не приходится сомневаться в том, что в России он за две недели сумел досконально во всем разобраться и стать

специалистом по русским делам»[131].

Черчилль не сомневается в огромном влиянии Уэллса на умы современников и своей статьей стремится это влияние свести на нет. Эту цель он провозглашает в конце статьи со всей откровенностью. Уэллс, пишет он, ничего не понял в России. Поэтому «мы <…> должны позаботиться о том, чтобы народы Великобритании, Франции и Соединенных Штатов не пребывали в неведении и чтобы у них не осталось сомнений в причинах и характере этой ужасной катастрофы. Уэллс не прав, — продолжает Черчилль, — страдания русского населения объясняются отнюдь не блокадой, а тем, что коммунизм подорвал дух предпринимательства. Если коммунисты купят на ворованные деньги несколько паровозов, они у них все равно станут. Есть только один способ помочь России — освободить ее от большевиков. Тогда она сумеет использовать собственные ресурсы и не будет нуждаться в экономической и продовольственной помощи»[132].

Уэллс реагировал на статью Черчилля быстро и бурно. Неделю спустя в следующем же номере «Санди экспресс» он выступил с ответом и остался доволен результатами этой полемики.

«Книга, когда она еще печаталась в виде газетных статей, вызвала такой шум, что Черчилль счел необходимым на нее ответить. Я выступил с контрответом. И убил его»[133], — писал Уэллс Горькому 21 декабря 1920 года. А два года спустя он вспоминал об этой полемике в таких выражениях: «Мы затеяли с ним (т. е. с Черчиллем. — *Ю. К.*) основательную перебранку по поводу России несколько лет назад, и, если память мне не изменяет, мистер Черчилль получил по заслугам. Я сохранил об этой истории наилучшие воспоминания. Он, конечно, мог вынести иные впечатления»[134].

При этом мера неприятия революции и марксизма у Уэллса по-прежнему достаточно велика. От своих убеждений Уэллс не отказался ни в 1920 году, ни позже, хотя довольно высоко оценил деловые и политические качества Ленина. Ленин, пишет Уэллс, говорит «быстро, с увлечением, совершенно откровенно и прямо, как разговаривают настоящие ученые»[135]. В книге «Труд, богатство и счастье человечества» (1931) Уэллс назовет Ленина «человеком научного склада»[136].

> «Ленин, от чьей откровенности, вероятно, захватывает дух у его последователей, окончательно отверг всякое лицемерие и заявил, что революция в России — это не что иное, как наступление эпохи

беспредельных поисков, — рассказывал Уэллс в главе, посвященной встрече с Лениным. — Он писал недавно, что люди, перед которыми стоит огромная задача ниспровержения капитализма, должны быть готовы к тому, что им придется испробовать один за другим множество методов, пока они не найдут метод, наиболее соответствующий их цели»[137].

Разговор Уэллса с Лениным был, по словам самого Уэллса, разговором между «эволюционным коллективистом и марксистом». «Наш многоплановый спор остался неоконченным»[138], — констатирует Уэллс.

На протяжении 1920–1930 годов Уэллс самым внимательным образом следил за событиями в нашей стране и пользовался каждым удобным случаем дать английскому обществу как можно более обширную о них информацию. В 1931 году Британское радиовещание организовало серию из восьми передач под общим названием «Россия в плавильном огне». Перед микрофоном выступали инженеры, экономисты, педагоги, побывавшие в Советском Союзе. Беседы касались очень многих тем: быта, сельского хозяйства, транспорта, технического образования, промышленности, пятилетнего плана в целом. Итоги подводил Герберт Уэллс. Россия, говорил он, являет собой наиболее разительный пример перемен, происходящих в мире. «Совершенно очевидно, что в мире назрела острая необходимость в какой-то форме верховного контроля, который покончит с застоем в нашей экономике и вычеркнет войну из числа возможных явлений, — заявил он. — Если наши руководители и государственные деятели не соберутся вместе и не сумеют добиться этого, мы еще потопчемся немного на краю того же плавильного котла и свалимся в него»[139].

На последних страницах «России во мгле» Уэллс высказал надежду на то, что пример России и необходимость с ней торговать подтолкнет западные правительства на путь «коллективизма», общего контроля над мировой экономикой и установления системы коллективной безопасности.

В 1931 году, продолжая пропагандировать коллективистские формы ведения хозяйства, Уэллс пишет о Советском Союзе в книге «Труд, богатство и счастье человечества»:

«Его порыв в будущее не имеет прецедентов в истории»[140]. А себя причисляет к «искренним его доброжелателям»[141].

«При всем, что удивляет и огорчает или даже отталкивает нас в сегодняшней России, мы не должны

забывать, — продолжает он, — что Россия высоко держит потрепанное в боях знамя мирового коллективизма, и, когда охватываешь единым взглядом современное человечество, она являет собой великолепное, внушающее надежду зрелище»[142].

Главы этой книги, посвященные Советскому Союзу, поражают обилием материала. Мимо Уэллса не проходит ничто, касающееся нашей страны. Советские издания, впечатления иностранцев, посетивших Советский Союз, работы социологов и экономистов, посвященные «русскому эксперименту», политические обзоры, советские кинофильмы — все это нескончаемым потоком переливается на страницы книги Уэллса. Он словно готовится к новой поездке в СССР.

В 1934 году эта поездка действительно состоялась. 22 июля, сойдя с самолета, он заявил звукооператорам «Союзкинохроники»:

> «Ленин во время нашей встречи в 1920 году сказал мне: „Приезжайте через десять лет и тогда посмотрите нашу страну“. Прошло четырнадцать лет, и я снова здесь»[143].

Это была самая короткая из всех непродолжительных поездок Уэллса: в 1914 году он пробыл в нашей стране двенадцать дней, в 1920-м — пятнадцать, на этот раз — только одиннадцать, — но Уэллс не мог не заметить огромных перемен, которые произошли в жизни страны. Изменились лица людей. В 1920 году, рассказывал Уэллс в «России во мгле», «почти все, с кем мы встречались, казались удрученными и не вполне здоровыми». На этот раз «контраст по сравнению с 1920 годом поразительный»[144].

Главной целью этой поездки была встреча со Сталиным. В беседе, состоявшейся 23 июля 1934 года, Уэллс упорно отстаивал свои коллективистские идеи, утверждая, что понятие классовой борьбы устарело. В отказе от этого понятия Уэллс видел условие сближения Советского Союза с Западом. Опубликованный текст беседы вызвал комментарии, в большинстве своем неблагоприятные для Уэллса. В лондонском еженедельнике «Нью стейтсмен энд нейшн», где 27 октября появился этот текст, возникла дискуссия. Против Уэллса выступил Бернард Шоу, в защиту — Дж.-М. Кейнс. После выступления немецкого драматурга-антифашиста Эрнста Толлера и нескольких читательских писем, опубликованных еженедельником, Уэллс отказался от дальнейшей полемики.

* * *

Удивительно, какими неожиданными и странными путями мы приходим к тому, что составляет потом главный предмет наших занятий!

Как всякого ребенка 1930-х годов, меня учили в школе немецкому языку, но мне очень хотелось прочитать несколько английских книг, имевшихся у нас. Одна из них и сейчас стоит у меня на полке, поражая викторианской безвкусицей оформления, но для детского восприятия она была на редкость красива, и я с трудом уговорил мать учить меня этому языку. Она его преподавала сначала в нефтяном институте, потом в МГУ, и ей совсем не хотелось делать дома то же, что и на работе, но в конце концов свою первую английскую книжку я прочитал. Нет, это был не Уэллс, а «Робинзон Крузо». Потом, окрыленный успехом, принялся за филдинговского «Тома Джонса» и, к ужасу своему, ничего в нем не понял. Пришлось возвращаться к адаптированной серии, и тут-то мне и попался Уэллс. Это был юмористический рассказ «Каникулы мистера Ледбеттера». Как сейчас помню превосходную обложку этой брошюрки, на которой был изображен симпатичный и глупый очкастый школьный учитель, решивший окунуться в мир приключений. Было мне тогда лет одиннадцать-двенадцать, и то, что Уэллс — знаменитый фантаст, я просто не знал, как не знал и вообще о существовании западной фантастики. Конечно, и «Пятнадцатилетнего капитана», и «Детей капитана Гранта», и «Таинственный остров» я прочитал, но Жюль Верн казался мне просто приключенческим писателем, только похуже Дюма, а «Восемьдесят тысяч километров под водой» (роман, до сих пор убежден, скучнейший) вообще на долгое время прекратил мои с ним отношения. Кстати, прочитав в одном из выпусков «Альманаха библиофила» статью О. Н. Трубачева «Книга в моей жизни», я убедился, что был не одинок в своем восприятии Жюля Верна как «приключенца», а не фантаста.

И вдруг мне в руки попалась «Фантастика» Уэллса с предисловием А. Старцева. Это было второе издание, вышедшее в 1936 году, через год после первого, от меня ускользнувшего, но я не решаюсь точно сказать, когда именно я его прочел. Думаю, через год или два. Вообще это издание сыграло очень большую роль в истории «русского Уэллса». Уэллса много издавали в 20-е годы, но затем наступил перерыв в шесть лет, и для людей моего возраста он заново возник лишь во второй половине 30-х годов. В этом, «старцевском», как я его до сих пор называю, издании были «Машина времени», «Человек-невидимка», «Война миров», повесть «Страна слепых» и множество рассказов. Какое-то время я ни о

чем другом не мог думать и принялся доставать Уэллса, где только удавалось, так что когда много позже я взял его темой курсовой работы, то был к ней, по стандартам того времени, уже неплохо подготовлен. А еще через несколько лет мне предложили в Гослитиздате написать крошечное, без подписи (подпись потом все-таки поставили) предисловие к «Человеку-невидимке». Я обратился за разрешением к Старцеву. «А я Уэллсом давно не занимаюсь», — сказал он. Помнится, меня это донельзя удивило. Как можно?!

Так вошел в мою жизнь — на этот раз литературную — Герберт Уэллс.

Впрочем, я бы не стал разделять эти понятия. Писать о ком-то, по-моему, нельзя, не сделав этого автора в известном смысле частью себя самого. Так у меня произошло с Уэллсом. За долгие годы я «сроднился» с ним, меня привлекает его могучий интеллект, определенность суждений и одновременно юмористическая жилка, понимание людей и редкостная изумительная простота. Да, он писатель без фокусов. Ему важно не себя показать, а пробиться к сознанию как можно большего числа читателей и заставить их задуматься о самом существенном в себе и других, о человечестве в целом. Этим-то он меня и притягивал. И чем дальше, тем больше.

В занятиях литературой есть еще одна особенность. Всякая новая работа, если хочешь, чтобы она получилась, должна вытекать из предыдущей. Иногда эти взаимосвязи бывают очень сложными. Для меня они на первых порах оказались удивительно естественными. 1950–1960-е годы были периодом большого подъема фантастики — сначала в США, потом у нас, но писали о ней немного. Мне и захотелось заполнить этот вакуум. Поначалу для себя самого. В 1960 году я закончил книгу об Уэллсе (три года спустя ее издали) и убедился, что о фантастике как таковой знаю явно недостаточно. Я решил написать статью «Что такое фантастика?». К моему удивлению, она оказалась никому не нужна. Пришлось писать книгу. Сейчас она издана в Германии, Польше, Чехословакии, Венгрии, Испании, но это лишь малая компенсация за все, что мне пришлось претерпеть…

Пословица «На ловца и зверь бежит» оправдалась относительно меня самым буквальным образом. Едва я начал в МГУ заниматься Уэллсом, Александр Абрамович Аникст, выдающийся шекспировед, а в те времена молодой доцент, часто посещавший букинистические магазины, сообщил мне, что в одном из них продается «Опыт автобиографии» Уэллса; о такой удаче я и не мечтал. С тех пор разные издания Уэллса чуть ли не сами стали занимать место на моей книжной полке. Я не ставил

себе специальной целью собрать полную уэллсовскую библиотеку, поскольку скоро понял: это невозможно. Самая большая (хотя и неисчерпывающая) коллекция книг Уэллса и литературы о нем, собранная в публичных библиотеках Бромли — города, где он родился, — содержала, согласно каталогу 1974 года, 1296 названий. Сейчас их значительно больше. Русская библиография, составленная И. М. Левидовой и Б. М. Парчевской, указывает 867 названий, но она кончается 1965 годом, следующий же год, юбилейный (сто лет со дня рождения Уэллса), прибавил так много нового, что этот список сразу стал неполным. Нетрудно понять поэтому, сколь многого у меня недостает, но зато некоторые книги, счастливым обладателем которых я стал, — подлинные вехи в русском познании Уэллса. Прежде всего это, конечно, первый том первого завершенного русского собрания сочинений Уэллса, выпущенного издательством «Шиповник» в 1908–1909 годах с очень интересной вступительной статьей и под редакцией В. Г. Тана, и том зифовского «Полного собрания фантастических романов» под редакцией М. Зенкевича. С Михаилом Александровичем я потом познакомился. Человек он был совершенно очаровательный, удивительно интеллигентный и доброжелательный.

Вообще Уэллс свел меня с немалым числом интересных людей.

Как-то, когда я вернулся из Ленинской библиотеки, жена встретила меня на пороге словами: «Ты знаешь, твою книгу издают в Англии». Происходило это в 1965 году, других книг у меня тогда не было, и я без труда догадался, о чем идет речь. Как выяснилось впоследствии, это вообще была первая монография об Уэллсе, написанная иностранцем и переведенная на английский, и, разумеется, это не могло не сказаться на моей дальнейшей судьбе. Думаю, и премией «Пилигрим», которую мне дали потом в США, я обязан в первую очередь именно этому обстоятельству. Но вот что странно: тогда это сообщение не произвело на меня особого впечатления. Приятно, конечно, но к текущим-то моим делам какое это имеет отношение? А уж дальнейшие слова жены и вовсе меня огорчили. Как выяснилось, приехала моя переводчица и уже назначила мне время для встречи — завтра, в десять часов утра. А у меня недочитанные книги! Но адрес, который мне сказала жена, привел меня в некоторое смущение. Да это же особняк Горького! И зовут переводчицу Мария Игнатьевна. Сейчас уже не могу припомнить, каким путем, но я пришел к заключению, что речь идет о Марии Игнатьевне Закревской, которой посвящен «Клим Самгин», она же — баронесса Будберг, она же — Мура Будберг, многолетний

секретарь Горького, помогавшая Уэллсу во время его второго приезда в Москву (он очень тепло писал о ней в «России во мгле»), и его последняя любовь. Сейчас я, разумеется, знаю о Марии Игнатьевне гораздо больше, чем тогда, — частью из книг, частью благодаря изысканиям эстонского литературоведа, писателя и поэта О. В. Крууса, которыми он со мной поделился, и, само собой, из многих с ней разговоров в Москве, куда она часто наезжала, и в Лондоне, где постоянно жила, — но и в то утро, когда я вошел в квартиру на верхнем этаже Дома-музея Горького, я был исполнен живейшего любопытства. За столом, вокруг которого могли бы разместиться полторы дюжины гостей, завтракали две очень уже немолодые женщины. Мне тоже предложили перекусить и даже выпить рюмочку. Что я там ел — не помню, что пил — помню отлично. В этом доме (не знаю, может быть, лишь при Марии Игнатьевне) экзотических напитков не пили — только водку, дорогих сигарет и папирос не курили — один «Беломор»…

Мария Игнатьевна оказалась женщиной крупной, грузной, но при этом держалась так прямо, двигалась так легко (даже потом, когда взяла в руки палку), была исполнена такой простоты и непринужденного достоинства, что словно бы и не прошло сорока лет с тех пор, как в нее — тоненькую, молоденькую — влюблялись с первого взгляда. По-английски она говорила с ужасающим акцентом, но зато настолько свободно, точно и остроумно, что, наверное, ее собеседники-англичане начинали сомневаться, правильно ли говорят сами. Как она разговаривала на других языках, не знаю, наверное, точно так же, но говорила она на всех европейских языках. Включая русский. Увы, о родном ее языке тоже приходится упоминать. В памяти современников сохранилось немало интереснейших ее фраз. Я запомнил только одну: «У вас сейчас происходит дурная погода». Но сила этой женщины была такова, что невольно закрадывалось сомнение: а может быть, так и полагается говорить? Книгу мою Мария Игнатьевна перевела превосходно. Я не раз слышал, как восхищались этим переводом. Но вот цитаты мои из Уэллса она, вероятно, ради экономии времени, не списала с книг, а сама и перевела. Неплохо. Жаль только, что у Уэллса — иначе.

В Лондоне она жила на богатой Кромвель-роуд, в доме со швейцаром, в большой квартире, где вдоль стен стояли грубо сколоченные книжные полки (я без труда обнаружил там издания Уэллса, в которые она при желании могла бы заглянуть). Общество ее составляла полубезумная компаньонка, за которой она заботливо ухаживала. Никогда не забуду, как мы переходили однажды эту самую Кромвель-роуд. Я хотел дождаться зеленого

света, но Мария Игнатьевна взглянула на меня с удивлением, подняла палку и пошла через улицу. И машины остановились!

Ее вообще почему-то все слушались. Мой лондонский издатель пытался меня обмануть. «Он немедленно перед вами извинится», — сказала Мария Игнатьевна. Так и случилось.

В чем тут дело? Думаю, прежде всего в редкостном своеобразии личности, принесшем ей даже в Англии, стране, столь богатой людьми своеобычными, широчайшую известность, и в абсолютной независимости взглядов, суждений, поступков. Однажды я ее спросил, почему она переводила книжку никому не известного литератора — после своих переводов из Горького и других классиков. «А она мне понравилась», — ответила она. К этому времени я уже знал о полном безразличии Марии Игнатьевны ко всяким литературоведческим концепциям и поинтересовался, чем же книга ее подкупила. «А вы написали ее так, словно были знакомы с Уэллсом». Исчерпывающим ответом я бы это никак не назвал, но, право, большего комплимента я в жизни не получал… В том же, что ею переведенную книгу сразу напечатают, она, видимо, нисколько не сомневалась.

В последние годы Мария Игнатьевна много болела. Дважды ложилась на серьезные операции, но работать не переставала и в больнице. Конечно, она могла себе позволить отдельную палату в частной клинике, но денег на ветер бросать не любила и ложилась в городскую больницу. Нисколько от этого, кстати говоря, не страдая. Об одном таком случае она рассказала нам так:

> «Берет сестра мои вещи и ведет меня в общую палату. Проходим мы одну пустую одиночную палату, другую, третью. Я ее спрашиваю: „А это что за палаты? Мне ведь надо работать“. Она мнется, не отвечает. „Душка, — говорю я ей, — что это все-таки за палаты?“ Она смутилась, говорит: „Это для умирающих“. „Вот и прекрасно, — говорю я ей, — это как раз для меня“. Вхожу в одну из этих палат, она несет за мной мои вещи <…>».

Когда ей стало совсем плохо, журналист Бернард Левин потихоньку сговорился с «Таймс» и заранее заготовил некролог, но кому-то проболтался, и Мария Игнатьевна, разумеется, сразу про это узнала — Лондон ведь «город маленький». Мария Игнатьевна страшно возмутилась, позвонила Левину и велела ему немедленно к ней прийти. «И некролог свой захватить не забудь». Это, собственно, и было главной ее целью. Некролог она внимательно отредактировала и отдала обратно — «пусть пока

полежит». Редактором она, впрочем, оказалась совсем непридирчивым. В тексте сохранилась, например, такая фраза: «На ее приемах можно было встретить людей блестящих и знаменитых, а рядом с ними — никому не известных зануд». Цитирую я, правда, по памяти (текст ксерокопии с тех пор почернел, и в нем не разобрать ни слова), но, надеюсь, достаточно точно: фраза так выразительна, что ее не забыть. Должен признаться еще в одной вольности: медсестру она, конечно, назвала по-английски darling — «дорогая моя», но по-русски она всех молодых женщин называла «душками», и никак иначе. Слово это из лексикона начала века не всегда, может быть, точно характеризовало женщину, к которой было обращено, но зато удивительно вписывалось в манеру речи Марии Игнатьевны.

Ни до, ни после я не встречал столь независимых людей. Уэллс рассказывал, что после девятилетнего перерыва встретил ее в Берлине, явно голодную, чуть ли не оборванную, но держалась она с неизменным достоинством. Вскоре он предложил ей выйти за него замуж — и она отказалась! Они давно уже были близки, он был богат и находился на вершине славы. Тогда никто из английских писателей, за исключением Шоу, не мог с ним в этом соперничать. Его общества искали люди, формировавшие общественное мнение во всем мире и возглавлявшие государства, не говоря уже о великом множестве женщин. А она сказала «нет!». Трудно передать, как он был обижен. Но порвать с ней так и не смог.

При видимом безразличии к тому, что о ней подумают, как к ней отнесутся, она умела быть удивительно приятной и поведение свое контролировала очень точно. Как это уживалось все вместе, не знаю, но уживалось.

Последний раз мы видели Марию Игнатьевну в 1973 году, за год до смерти. У нас изменился номер телефона, она появилась в нашем доме неожиданно, меня не застала, и я на другой день поехал к ней в гостиницу. Она лежала в постели, глаза у нее слезились, голос был старушечьим, и все-таки оставалась в ней какая-то твердость. Умерла она восьмидесяти двух лет в Италии, у своего сына Павла. Уже потом в Лондоне, когда я сидел в гостях у русистки Аманды Калверт, нашей приятельницы, туда пришла познакомиться со мной дочь Марии Игнатьевны Татьяна Ивановна Александер. Разговаривали мы с ней по-русски.

Но пора вновь вернуться к началу этой истории. Книжку мою отослала Марии Игнатьевне Екатерина Павловна Пешкова (объяснила она мне свой поступок точно так же, как Мария Игнатьевна: «…понравилась»), и таким образом благодаря Уэллсу я познакомился с еще одной замечательной женщиной. В Москве

и сейчас еще много людей, которые знали ее лучше меня, и не мне подробно о ней рассказывать. Скажу только несколько слов. Незадолго до смерти Екатерины Павловны я последний раз ей позвонил и поздравил с Новым годом, и она не сразу меня вспомнила, но как она при этом извинялась, как объясняла, что вообще стала последнее время забывать людей, с которыми знакома не слишком давно!

Про фантастику говорят, что она в чем-то сродни приключениям. В справедливости этих слов я убедился на собственном опыте. Благодаря моим занятиям Уэллсом, а потом и другими фантастами начались главные приключения моей жизни.

Писательские приключения — особые. Это встречи с новыми людьми и жизненный опыт, благодаря этим встречам приобретаемый, это встречи с новыми городами и впечатления, без которых ты сам был бы немного иным, это книги, которые в других обстоятельствах не были бы написаны.

В 1966 году, как я уже говорил, праздновалось столетие со дня рождения Уэллса. Меня пригласили на юбилей. Опыта заграничных поездок у меня не было никакого, я верил, что все мероприятия, отмеченные в программе, состоятся (с моим участием), и заранее радовался каждому из них. Особенно хотелось попасть в дом Уэллса Спейд-хаус, куда я не попал из-за опоздания поезда, но, несмотря на это, покидая Лондон, понимал, что большего количества впечатлений в меня просто бы не вместилось.

В Лондон я летел через Париж, но из аэропорта меня не выпустили. Прилетел я утром, мой лондонский рейс был вечерним, и я решил его поменять. Девчонки из «Эр Франс», однако, не пожелали мною заниматься: у них были какие-то свои дела, о которых они тараторили без умолку. Я покорно присел на лавочку, но понял, что долго так не высижу — во мне уже все кипело. И тут я увидел английского летчика. «Помогите мне выбраться из этой проклятой страны!» — чуть не закричал я ему. В какой он пришел восторг! Его стюардесса (а он оказался командиром корабля) подошла к тем же самым девчонкам, и они мгновенно поменяли мне билет на его самолет, летевший, кстати говоря, чуть ли не пустым; я прошествовал к трапу рядом с каким-то толстым английским командированным, он тащил, отдуваясь, две полные сумки французской еды, а когда мы поднялись в воздух, мой летчик вышел ко мне со словами: «Ну, как, чувствуешь себя как дома на борту английского самолета?» В руках он держал два бокала виски, мы сказали друг другу «привет» и выпили.

В те времена полеты над городом не были еще запрещены, мы

заходили на посадку через лондонские окраины, и город этот сразу меня поразил; какое-то бескрайнее море крыш…

И все-таки на другой день, проснувшись ранним воскресным утром, я понял, что в Лондоне, каким я увидел его за минувшие полдня, мне чего-то не хватает. Я вышел из гостиницы и направился куда-то, сам не знаю куда, в первом же, наверно, только что выехавшем из парка автобусе, болтая по дороге с кондуктором. От служебных дел я его не отвлекал: других пассажиров не было. И вдруг я понял: вот сюда-то мне и надо. Мы пожали друг другу руки, я вышел и остался один на старинном мосту и тут же увидел высеченное на камне объявление: «Отправлять естественные надобности с моста запрещается. За нарушение штраф». Судя по состоянию камня, за те полтораста-двести лет, что он простоял, никто его не почистил, но никто на него и не покусился. Потом я прошел на маленькое заброшенное кладбище во дворе церкви, рядом был полицейский участок с закрытыми ставнями — воскресенье! На доске объявлений висели призыв к жителям района опекать выпущенных на свободу преступников и просьбы самих жителей. Один просил помочь ему найти потерянную кошку по кличке Киска, другой — собаку по кличке Собака. Конечно же, это был диккенсовский Лондон! Под мостом, через который я перешел, хоть разок, а переночевал Сэм Уэллер в те времена, когда Тони Уэллер определил его в надежнейшую из школ — школу жизни. В этот участок, конечно, таскали Сайкса, на этом кладбище наверняка похоронен маленький Поль Домби… Из ворот участка тихонько выехал полицейский в черном комбинезоне, но и он не нарушил иллюзию, поскольку был как две капли воды похож на одного из двух мотоциклистов — спутников Смерти из фильма Кокто «Орфей»…

И вдруг я вспомнил, что Уэллс родился за четыре года до смерти Диккенса и что Диккенс умер достаточно молодым. Значит, этот диккенсовский Лондон был и уэллсовским. Именно в этом Лондоне Уэллс написал свои самые знаменитые фантастические романы. Таким он застал этот мир, но виделся он ему совершенно иным. И, по глубокому его убеждению, он скоро должен был измениться и стать похожим на мир, покуда воображаемый. Свое первое путешествие Диккенс совершил одиннадцатилетним ребенком в почтовой карете, железным дорогам суждено было появиться два года спустя. Начало им положила в 1825 году крохотная линия между Стоктоном и Дарлингтоном протяженностью в двадцать миль. Газеты тогда обсуждали вопрос, не вредна ли для здоровья поездка с такими невообразимыми скоростями. Потом, конечно, сеть железных

дорог быстро покрыла страну, газетные споры подобного рода прекратились, но Диккенс «чугунку» не любил, героев своего «Пиквикского клуба» отправил в путешествие в каретах (не для того ли он отнес действие романа, написанного в 1836 году, к 1827 году?). Правда, поезд под окнами прогрохочет и в «Домби и сыне», но, в частности, для того, чтобы под него бросился Каркер. Уэллс о поезде как чуде века думал не больше, чем мы сейчас. Однако мечтал о самолетах и успел на них полетать, мечтал о космических полетах, и до полета Гагарина не дожил какие-то полтора десятилетия, и уже в 1913 году предостерегал против атомной войны. Но ходил он по тем же, мало изменившимся со времен Диккенса, улицам, общался с людьми, вышедшими из старых времен, и тот динамичный мир, в который он юношей вступил, был ему самому немного в диковинку. Он говорил о нем то с восторгом, то с ужасом, но всякий раз со свежестью чувств, которая доступна лишь тому, кто умеет видеть новое. Да и так ли уместно здесь слово «видеть»? Черты будущего были еще расплывчаты, аналогии с прошлым ненадежны. Они всегда ненадежны на пороге какого-то огромного переворота. А Уэллс его-то как раз и предвидел. И многое предугадал по малейшим намекам. Не удивительно ли это для родившегося в позапрошлом веке мальчика из провинциальной мещанской семьи?

Впрочем, Уэллс принадлежал к числу тех, кто умеет нужду обращать в добродетель. То, что грозило ему приземленностью, обычно обращалось у него в человечность. Меня отвращают романы и фильмы, где изображены некие отвлеченные «люди будущего» с напрашивающимися на пародию именами. Наверное, это потому, что я начитался Уэллса. Конечно, он и сам разок-другой поддался подобному искушению, но не потому ли он ненавидел поставленные по его книгам фильмы, где это выразилось сильнее всего! В его лучших сочинениях необыкновенное случается с самыми обычными людьми. Конечно, с людьми не без странностей, но кто знает, какие странности были у тех, кто лежит сейчас вот на этом кладбище?

Не стану утверждать, что думал так среди могил на кладбище близ полицейского участка в каком-то забытом Богом лондонском закоулке, но атмосфера, которой я тогда надышался, со временем навела меня на эти мысли.

Вообще, если б я потом больше не попал в Лондон, то считал бы время своей первой поездки потраченным самым бессмысленным образом: я не посетил ни одного из положенных туристических объектов, за исключением разве Тауэра (но у меня был к нему совсем особый интерес, связанный с моими занятиями), не видел даже смены караула у Букингемского

дворца… Вместо этого все свободное время просто шатался по городу, разглядывая улицы со знакомыми с детства названиями, разговаривал с папами и мамами, гулявшими с детьми в Кенсингтонском парке у памятника Питеру Пэну, всматривался во всякие мелочи, пытаясь понять, что такое лондонская повседневность. Мне удалось даже провести вечер и утро в рабочем районе, и все британские музеи мне заменило зрелище того, как местные работяги заскакивают в паб, хлопают по заднице хозяйку, опрокидывают по маленькой, чтоб веселей начинать день, закусывают куском пирога и бегут себе дальше…

Конечно, свободных часов было не слишком много — я все-таки приехал на «мероприятие», вернее на целую серию мероприятий, и не всюду удавалось быть просто зрителем. Как ни странно, легче всего далось выступление по телевидению, хотя опыта в этом отношении у меня не было никакого. Нас с Марией Игнатьевной и еще одним журналистом, выступавшим с нами, так мило приняли, что я почувствовал себя как дома, да и разговор оказался очень простой — меня попросили рассказать о пятнадцатитомном собрании сочинений Уэллса, которое я за два года до этого редактировал. Из вопросов и комментариев ведущего я понял, что оно произвело на англичан очень большое впечатление. В год юбилея, после долгого перерыва, в Англии было опубликовано более двадцати книг Уэллса, но все равно о таком предприятии, которое в 1964 году осилили в Москве, никто не мог и помыслить. Впрочем, уэллсовский бум 1966 года тоже говорил сам за себя, и я, помню, выразил удовлетворение, что слава Уэллса, распространяясь по миру, достигла наконец Лондона. Все засмеялись, и я совсем успокоился: шутки здесь понимают. А вот выступление в международном ПЕН-клубе далось куда труднее. Перед поездкой я обещал «Литературной газете» дать подробный отчет об этом заседании, и все время, пока выступали, минут по пять-десять, английские писатели, съехавшиеся чуть ли не в полном составе, я сидел и старательно записывал то, о чем они говорили. И чем дальше, тем больше приходил в ужас: я все больше убеждался, что моя речь, заранее заготовленная в Москве, никак не вписывается в происходящее. Все здесь было как-то очень по-своему, в манере, одним англичанам, наверно, присущей, — сразу и очень простой, вроде бы совсем неофициальной, и очень деловой. Почти обязательно с каким-нибудь занятным поворотом мысли, но без лишних слов. И ко всему прочему — незнакомая аудитория. Я уже работал к тому времени несколько лет в ГИТИСе, а до этого и в других местах, так что некоторый лекторский опыт имел, и этот опыт подсказывал, что будет трудно. Меня тут не знают, и я никого не

знаю. Особенно подавлял Пристли. Он вел заседание, и у него были все повадки великой личности. Я понимал, что нормальному человеку трудно пережить ту огромную славу, которая обрушилась на него в годы войны, когда его голос по радио изо дня в день поддерживал веру и надежду в миллионах англичан. Но одно дело понимать, а другое — видеть. Перед заседанием нас познакомили. Он дал мне минутку полюбоваться на себя, сказал, что, да-да, в Москве тоже был, хорошо принимали, и куда-то исчез. Потом, много лет спустя, я с искренним чувством написал статью к девяностолетию со дня его рождения: я очень хорошо представлял себе, как тяжело было такому человеку пережить ослабление интереса к его драматургии после прихода в 1956 году «рассерженных», а тогда я только с возрастающим нетерпением — чтоб не томиться больше — ждал, когда он меня объявит. Наконец этот момент наступил. Пристли сказал несколько слов, сделал величественно-снисходительный жест в мою сторону, и я вышел на трибуну. Глянул в зал и увидел перед собой человек триста. Все — писатели, все — английские, все пишут на родном языке — и понял, что спасения ждать неоткуда, надеяться не на кого. Выручило то, что я не стал подделываться под их манеру — все равно бы не получилось — и начал просто разговор, ожидая момента, когда между нами протянутся какие-то человеческие нити. И вот кто-то посмотрел на меня повнимательней, кто-то улыбнулся, значит, можно было переходить к делу. Московский текст все-таки пригодился: я, во всяком случае, не думал, о чем говорить дальше. Меня дослушали, даже похлопали, и я достаточно твердым шагом дошел до своего места в первом ряду, где сидели все выступающие, но когда попробовал записать речь следующего оратора, то обнаружил, что не понимаю ни слова…

К счастью, заседание скоро закончилось. Все стали понемногу подниматься и переходить в соседний зал, где был накрыт банкетный стол. Я не сдвинулся с места. И тут ко мне подошел огромный молодой парень (мы потом выяснили, что он на год старше меня) и сказал: «Здравствуй, Юлий! Я Брайан Олдис. Ты знаешь — я писал про тебя!» Да, я знал, что Олдис написал одну из рецензий на мою книжку, и притом очень умную и доброжелательную. «Спасибо, Брайан, — сказал я, — но я, кажется, разучился говорить по-английски». «Ничего, пойдем выпьем, заговоришь». В самом деле, я скоро заговорил…

Олдис был начинающим писателем, на литературные гонорары существовать не мог, поэтому работал в газете, придерживался откровенно левых взглядов и жил в деревне в трехкомнатном доме под соломенной крышей. Я побывал у него в

гостях. В деревню мы почему-то въехали на самой малой скорости. У каждого домика стоял и чем-то занимался его хозяин. Потом Брайан объяснил, что соседи специально просили показать им русского. Сейчас Олдис живет в большом доме в Оксфорде. В Бодлеанской библиотеке, так называют библиотеку Оксфордского университета, по имени ее основателя сэра Томаса Бодли (1545–1613), существует постоянная выставка его книг, он признанный стилист, что достаточно редко можно сказать о писателе-фантасте, и, кажется, перестал жалеть, что у него нет университетского образования. Зато теперь он чаще вспоминает, что начинал приказчиком в книжной лавке — в эту лавку Олдис специально меня возил.

Позднее Уэллс нас связал еще раз. И об этом стоит рассказать.

Году в 1970-м Мария Игнатьевна попросила меня помочь Норману Маккензи, работавшему прежде в лейбористском еженедельнике «Нью стейтсмен», и его жене Джинн. Они решили написать книгу об Уэллсе. Я охотно откликнулся, и мы вступили с супругами Маккензи в оживленную переписку. Переписка оборвалась в тот самый момент, когда авторы, чья дотошность мне очень нравилась, получили от меня все сведения, в которых нуждались. Книгу свою они мне, разумеется, не прислали: она как-никак стоила около шести фунтов. Я получил ее из журнала «Лейбор мансли», редактором которого был тогда Палм Датт, с просьбой написать рецензию, и примерно месяц спустя после того, как я рецензию отослал, получил от Олдиса ксерокопию его собственной рецензии на ту же самую книгу. Называлась эта заметка из «Оксфорд мейл», где Олдис работал редактором, не очень, я бы сказал, для газеты привычно — «Как варил котелок у одного человека». И там (честное слово, мы не сговаривались!) было написано почти то же, что я написал для «Лейбор мансли»! Олдис тоже отдавал должное обилию материалов, собранных в маккензиевском «Путешественнике во времени» (1973), но при этом напомнил, что Уэллс был не только человеком со сложной, запутанной и не во всем безупречной биографией, но и чем-то большим, чего авторы не сумели ни понять, ни по достоинству оценить. Кончалась рецензия Олдиса так: «У Герберта Уэллса было много недостатков, но для миллионов людей по всему свету его присутствие в нашем мире сделало жизнь лучше».

Но пора вернуться к уэллсовскому юбилею 1966 года.

Случилось то, о чем я раньше не смел и мечтать: я побывал в Бромли — городе, где родился Уэллс, — сел в поезд на одном из лондонских вокзалов и отправился в путь. И хотя старательно смотрел в окно, я не заметил, где кончился Лондон и начался

Бромли. Жители по-прежнему считают его отдельным городом, но административно он уже вошел в состав Большого Лондона и официально именуется «лондонский боро Бромли». Переводить слово «боро» просто как «район» было бы не совсем точно. Это историческое понятие, связанное с правом посылать депутата в парламент, нечто вроде избирательного округа или, скажем, самоуправляющейся административной единицы, но дело, в конце концов, не в том. Бромли, хотя его не отделяет ныне от Лондона даже узкая полоска полей, до сих пор все же отдельный город со своим центром, своей хозяйственной жизнью и, главное, своим самосознанием. Город старательно хранит память о прошлом, и ему есть что вспомнить. Здесь родились Уильям Питт и Герберт Уэллс, долго жил Кропоткин, неподалеку находилось имение Дарвина. Но Бромли стремительно растет. Прошлое нуждается сейчас в специальной заботе, и если дом Кропоткина по-прежнему в целости и сохранности, то жалкая лавчонка, где вырос Уэллс, да и соседние лавки давно разрушены. Ушла в прошлое Большая улица с прижавшимися друг к другу домиками, исчез великолепный мясник, сфотографировавшийся некогда около развешанных на улице туш, погибла приспособленная под классную комнату судомойня, в которой проходил курс наук восьмилетний Уэллс. Удивительное совпадение: и дом Уэллсов, и вся эта улица разрушены в 1934-м, в тот самый год, когда Уэллс на обратном пути из Москвы, в Калли-Ярве (Эстония), завершил два тома своей автобиографии. Дом и улица словно перешли на бумагу, сделались достоянием литературы, и им незачем было существовать, в действительности. На их месте возвели большой новый дом с магазином; в 1959 году на его стене появилась мемориальная доска. К юбилею в его витринах устроили выставку мод времен детства Уэллса.

В том месте, где была дверь, лежат оставшиеся от Уэллсов ключи — большие, почти амбарные, на огромном кольце. Такие ключи плохо умещались в кармане, их, должно быть, носили у пояса и с внушительным клацаньем открывали дверь маленького, приземистого домика.

Впрочем, если не точный вид, то, во всяком случае, дух Большой улицы Уэллс запечатлел еще раньше, задолго до того, как ему пришла в голову мысль, что он будет писать, а сотни тысяч людей читать «Опыт автобиографии». Прославился он тогда «Киппсом», но лучшая его вещь подобного рода — это, по-моему, «История мистера Полли». Сам Уэллс, во всяком случае, любил этот роман больше всего. Ему он пытался потом подражать в «Билби», и повесть получилась совсем неплохая, но, как он считал, уровень «Мистера Полли» был выше.

В Бромли мне довелось познакомиться с совершенно замечательным человеком — мистером Уоткинсом, директором бромлейских публичных библиотек. Он водил меня по городу и показывал достопримечательности. А потом мы пришли в муниципалитет, часть которого представляла в эти дни особый интерес: в нескольких залах с 15 сентября по 1 октября демонстрировалась выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Уэллса.

Выставка была так хороша, с таким знанием дела и любовью подобрана, что о ней стоит рассказать подробней. Открывалась она всеми имевшимися в то время фотографиями той части города, где жил Уэллс, и мест, которые он любил посещать. Для людей, только что пришедших с бромлейских улиц, словно бы открывался старый Бромли — похожий и непохожий одновременно. Тут же висели фотографии всего семейства Уэллс — аккуратной, чопорной матери, прожившей часть жизни в услужении у господ, а часть — в вожделенной независимости, которая неожиданно оказалась сопряжена с бедностью, по временам ужасающей; его братьев и, что показалось мне всего интереснее, отца, в прошлом младшего садовника в том же поместье, где служила горничной, а потом домоправительницей его будущая жена, затем неудачливого торговца посудой и профессионального игрока в крикет. Этот человек совсем не походил на мелкого лавочника. Лицо у него было правильное, можно сказать красивое, взгляд прямой, твердый и просветленный. Так вот кто впервые прославил имя Уэллсов — пусть и не в пределах целой страны, и не в литературе и биологии, как его сын-писатель и внук, ставший профессором зоологии и членом Королевского общества. Разве не он, когда маленький Герберт (тогда еще Берти) сломал ногу, заваливал сынишку библиотечными книгами о путешествиях, животном мире, истории? Книги эти предназначались для взрослых, но мальчик проглатывал их одну за другой. Эти месяцы он считал впоследствии поворотными в своем умственном развитии. А потом Уэллс покидал семейный стенд и проходил фотографиями через всю выставку — сперва взрослея, затем старея и становясь все более и более грустным. Его настроение соответствовало моему. Почему-то всегда грустно смотреть на череду фотографий сначала ребенка, потом старика — даже тогда, когда этот старик успел добиться славы. И может быть, особенно грустно, когда речь идет о таком человеке, как Герберт Уэллс. Ведь Уэллс не просто хотел оставить свой след в мире. Он хотел мир изменить. Удалось ли?

Оружием Уэллса было слово, речь. Он много выступал на

всякого рода собраниях и политических митингах, особенно в 1922 и 1923 годах, когда безуспешно пытался пройти в парламент, ездил с лекциями по стране, читал их за границей, излагая свои идеи о переустройстве общества и ликвидации угрозы войны. Одним из самых интересных экспонатов оказались представленные Би-би-си записи выступлений Уэллса. Не того, конечно, периода, когда он начинал карьеру оратора и, по воспоминаниям современников, от смущения «адресовался к своему галстуку», в те времена звукозапись была достаточно сложна, а Уэллс недостаточно известен. Посетителям проигрывалась запись конца 30-х годов его диспута с Бертраном Расселом. Но и здесь Уэллс не отвечал тому идеалу, который сам для себя создал, — слишком велик был этот идеал. Когда Уэллс заканчивал свою журналистскую карьеру, ему неожиданно предложили место театрального критика, о котором он хлопотал довольно давно. Теперь ему это было не очень нужно — на подходе была «Машина времени», — но он с готовностью принял предложение и чуть ли не первый раз в жизни пошел в театр. Там он увидел высокого рыжего ирландца, в котором сразу признал Бернарда Шоу, подошел к нему, познакомился и потом дружил и ссорился с ним всю жизнь. Шоу и был на протяжении десятилетий лучшим непарламентским оратором Англии. Как завидовал ему Уэллс! И как остро на каком-нибудь публичном диспуте чувствовал разницу между собой и другом-соперником! Слушая запись голоса Уэллса, я отчасти понял, почему так получалось. Уэллса никак нельзя назвать прирожденным оратором: голос высокий и тонкий, речь чересчур возбужденная, а манера говорить — после стольких-то лет успеха! — довольно «простонародная».

Зато Уэллс был силен в слове, перенесенном на бумагу. И разумеется, большая часть выставки отводилась его книгам. Точнее — рукописям. За перо он, оказывается, взялся еще ребенком — посетители могли увидеть детские сочинения писателя и очень много рисунков. А рисовал Уэллс всю жизнь, притом в очень своеобразной манере. Этими своими смешными «ка-атинками», как их называл Уэллс, он часто заканчивал письма, а иногда ими заменялись письма — внизу оставалось место только для одной строчки. Есть у Уэллса и целая книга с собственными иллюстрациями, довольно большая по формату. Это коротенькая детская сказка «Приключения Томми» — о мальчике, который спас из воды спесивого богача, и тот подарил ему слона.

Думается, на этой выставке многие впервые узнали, что Уэллс в молодости писал и философские работы. Его статья

«Новое открытие единичного» — о детерминизме и свободе воли — была представлена на одном из стендов. Когда она впоследствии мне понадобилась, я понял, как трудно ее добыть.

Уэллс начинал как журналист, но его журналистское наследие серьезно никто не изучал. Только в 1964 году вышла превосходная книга молодого американского профессора Уоррена Уэйгера «Г.-Дж. Уэллс: Журнализм и пророчество», но и в ней ранней публицистике писателя уделено очень мало внимания — литературоведов больше интересует, что другие писали об Уэллсе, чем то, что писал он сам, будучи молодым журналистом. В 1962 году в Норвегии появилась академически добротная книга Ингвальда Ракнема «Уэллс и его критики», в 1972 году в Англии и США — антология Патрика Парриндера «Г.-Дж. Уэллс. Критическое наследие». Уэйгер и Парриндер мне свои книги прислали. Ракнема я тоже где-то достал, но воспользоваться по-настоящему этими исследованиями не успел, лишь добавил кое-что в итальянское издание 1972 года своей книги.

Для меня выставка была источником не просто интереса, но, я бы даже сказал, радости. Я почувствовал себя как никогда приобщенным к Уэллсу. Здесь были практически все первые издания книг моего любимого писателя и книги, в которых он так или иначе принимал участие. Их число достаточно велико: Уэллс считал своим долгом помогать молодым авторам, а лучший вид помощи видел в том, чтобы писать предисловия к их книгам. Увы, эти предисловия остались чем-то вроде акта благотворительности, не более; ни одного значительного литературного имени Уэллс не открыл. И тем не менее эти «проходные» вещи тоже по-своему определяли характер выставки. Она оказывалась чем-то гораздо большим, нежели просто собранием книг, чем-то похожим на музей Уэллса, где он был представлен самым главным — своим творчеством.

Посетителям раздавались крохотные буклетики. Я знал, сколько трудов вложил в устройство выставки мистер Уоткинс, и удивился, не увидев его имени в перечне тех, кого благодарили за помощь. Мистер же Уоткинс, в свою очередь, удивился моему вопросу: он ведь муниципальный служащий, это его обязанность, не может же он, в конце концов, сам себя благодарить!

Многие годы я продолжал с ним переписываться, прежде всего по делам Уэллсовского общества. В своих последних письмах мистер Уоткинс рассказывал о печальных событиях, связанных с именем великого фантаста. Умер младший сын Уэллса, кинематографист, работавший еще с Александром Кордой, но не слишком преуспевший в своей профессии. Потом за ним последовал в мир иной его старший брат, зоолог. Умерла

Ребекка Уэст.

С Ребеккой Уэст я так и не познакомился. Насколько помню, в дни юбилея ее просто не было в Лондоне, а вот Уэллса-ученого и Уэллса-кинематографиста встретил на большом юбилейном приеме, устроенном Обществом писателей. Первый очень походил на отца, хотя, как мне говорили, был совсем лишен его обаяния. Сразу бросалось в глаза, что этот человек в жизни преуспел. Второй, напротив, казался образцом застенчивости. Он сунул мне руку, минуту постоял, глядя в пол, пробормотал весь положенный набор вежливых фраз и куда-то заспешил.

Прием Общества писателей был устроен в помещении лондонского планетария. Поначалу он походил на великосветский раут. Дамы в вечерних туалетах, мужчины, одетые к торжественному случаю, вдоль стен — столы с напитками и какими-то умопомрачительными закусками, веселое оживление среди присутствующих, обмен улыбками, рукопожатиями, любезностями… Но то ли натура у меня прозаическая, то ли я не рожден для высшего света, но меня больше всего заинтересовали вопросы практические. Кто, например, эти юные девушки, стоящие за праздничными столами? Выяснилось — писательские дочки. И это пиршество — дело их рук. Они всё сами дома приготовили, сами принесли и здесь разложили. Признаться, подобная самодеятельность показалась мне весьма симпатичной. В писательских семьях слуг ведь не держат и в роскоши не купаются…

Прием проходил в фойе. Постепенно шум стал стихать, и мы повернулись к лестничной площадке, от которой широкие ступени вели в зал планетария. На площадке стоял Уэллс — восковая фигура из расположенного по соседству Музея мадам Тюссо. И вот рядом с Уэллсом начали возникать фигуры ораторов. Уэллс в жизни был маленького роста, и музей ему не польстил.

А потом, один за другим проходя мимо «восковой персоны», мы поднялись к звездным мирам в зале планетария. Нам показали самую обычную программу, но от этого все происходящее сделалось только значительней и интересней. Мы слушали об Уэллсе, Гагарине, Гленне, о будущих полетах к далеким галактикам, и было радостно знать, что именно этот текст слышат изо дня в день тысячи жителей Лондона и других городов — гостей в английской столице бывает в день до миллиона.

Самый известный фильм, снятый по сценарию Уэллса, называется «Облик грядущего» (сценарий его, кстати, дважды публиковался в русском переводе). Уэллсовский вечер в ПЕН-

клубе, о котором я немного раньше говорил, назывался «Облик прошедшего». И это название вполне соответствовало увиденному нами в этот вечер…

Я уже успел пожаловаться, что не попал в Спейд-хаус — дом, в котором Уэллс прожил много лет, но два дома, к которым он имел отношение, я в тот приезд все-таки посетил. Первый из них — Истон-Глиб. В нем и находится международный ПЕН-клуб, председателем которого Уэллс был с 1933 по 1936 год, заняв этот пост после смерти Голсуорси. Другой не имеет названия. Он, в нарушение всех английских традиций, как мне тогда показалось, обозначается просто адресом — Ганновер-террас, 13. Там Уэллс провел последние одиннадцать лет своей жизни, там и умер. Дом этот он очень любил. И мне, конечно, страстно хотелось его увидеть.

Когда это случилось, я понял, почему дом безымянный. Сразу расшифровалось для меня и название улицы. Дом Уэллса оказался просто одним из подъездов длинного красивого особняка на высоком холме. Улица пролегала где-то внизу, а вдоль всего дома шла большая каменная терраса.

На этой террасе и собрался митинг, посвященный открытию мемориальной доски. Она появилась на стене этого дома 21 сентября 1966 года — большой металлический овал, покрытый синей эмалью: «Здесь жил и умер писатель Герберт Джордж Уэллс (1866–1946)». Только именем эта доска отличалась от всех других мемориальных досок, установленных в Лондоне. Они в этом городе подчинены строго определенному стандарту. В этот день и час мы думали именно о том человеке, который жил здесь, за этими дверями. О нем сказал превосходную речь Чарльз Сноу.

Да, это был не весь дом, а только часть, но, во всяком случае, Герберт Уэллс заставил свой подъезд выделяться среди других. Ему достался тринадцатый номер, и эту цифру он написал фосфором слева от дверей — такую большую, какая только могла уместиться; она и горела ночами высоко над улицей. Новый хозяин замазал зловещую цифру, а заодно, не подумав, и фрески, нарисованные Уэллсом во дворе, на стене сарая, и долго, до 21 сентября 1966 года, стоял дом, ничем не отличаясь от остальных…

Я сейчас нечаянно сказал «дом», но, пожалуй, все-таки не оговорился. Потому что, когда после митинга гостеприимно распахнулись двери за спиной Сноу и новые хозяева пригласили нас в гости, я увидел, что это действительно целый дом — просторный, светлый, с красивой лестницей, ведущей на второй этаж. Какая разница, стоит ли дом отдельно или пристроен к полутора дюжинам других?

Южный Кенсингтон, как по месторасположению называли педагогический факультет Лондонского университета, который в свое время окончил Уэллс, я увидел уже в другой свой приезд. Здание стоит неподалеку от естественнонаучного музея, и это не случайно — факультет был создан специально, чтобы поднять уровень преподавания естественных наук в английской школе, и назывался поначалу, в подражание знаменитой парижской Нормальной школе, Нормальной школой науки. Потом его переименовали в Имперский научный колледж. Некоторая неопределенность названия (наука вообще) объяснялась достаточно просто: этот факультет готовил учителей широкого профиля. Срок обучения был три года, причем каждый последовательно был отведен биологии, физике с астрономией и минералогии. Для человека с таким широким кругом интересов, как Уэллс, в этом были свои преимущества. Да вот беда: его собственный план занятий, включавший социологию, искусство и литературу, не совпал с академическим, и в конце третьего года он не сумел сдать экзаменов и был отчислен. Степень бакалавра он, в отличие от большинства своих однокашников, получил только три года спустя, и эта ранняя неудача мучила его всю жизнь. Уэллс всегда завидовал своим друзьям, достигшим высоких степеней и отличий в науке, забывая, что сам он как-никак — великий писатель. Когда в 1936 году Лондонский университет присвоил ему звание доктора литературы, он отнесся к этому более чем равнодушно — ведь это не означало, что он входит в элиту ученых-естественников. Он болезненно пережил свой предыдущий провал: его не избрали ректором университета в Глазго, к чему он очень стремился. Произошло это в 1922 году, но даже степень доктора литературы, присвоенная четырнадцать лет спустя, никак его не утешила. Он к этому времени уже шесть лет как был автором огромной популярной (но при этом и вполне самостоятельной по концепции, и очень достоверной по материалу) книги «Наука жизни», написанной в соавторстве с двумя признанными биологами: сыном Джипом и внуком своего учителя Джулианом Хаксли. Но и эта широко распространенная работа по общей биологии не принесла ему научных лавров, реванш он взял лишь за три года до смерти: в 1943 году Лондонский университет присвоил ему звание доктора биологии за работу, специально для этой цели написанную.

А сейчас я стоял и смотрел на здание, с которым было связано столько надежд и разочарований Уэллса. Сюда он пришел, окрыленный мечтами о великой научной карьере. Здесь он, незаметно для самого себя, сформировался как личность. И здесь же голодал, мучился больным самолюбием, замечая (или

воображая), что студенты из интеллигентных и обеспеченных семей не признают его за ровню, здесь познал крах ранних надежд.

Здание из красного кирпича, характерного для викторианской готики, оказалось гораздо оригинальнее и красивее, чем я ожидал, — с белыми колоннами, поддерживающими стрельчатые аркады у входа, квадратными эркерами и белой балюстрадой вдоль верхнего этажа, украшенной спереди колоннами. По бокам здания возвышались стройные башенки. На человека, приехавшего из захолустья, да и в Лондоне обитавшего первое время почти что в трущобах, это здание должно было произвести немалое впечатление. На противоположной стороне улицы в стеклянной будке была выставлена легковая машина 1900-х годов, и весь уголок, довольно в тот час безлюдный, выглядел как заповедник.

Внутрь меня не пустили: уже накатывала на Европу новая волна терроризма, в вагонах метро висели предупреждения: «Увидев оставленный без присмотра предмет, не касайтесь его и сразу же заявите поездной бригаде или полиции». Даже у входа в Британский музей (а тем самым и в столь нужную мне библиотеку) два дюжих веселых охранника просматривали сумки и определяли наметанным глазом, не топорщится ли у кого карман. В «Британке», как я скоро стал называть про себя Британскую библиотеку, меня подобные предосторожности не касались: проницательные старички скоро поверили, что взрывать музей не входит в число моих первоочередных дел, да и не с руки, а может, просто неловко было им каждый день обыскивать человека, с которым уже и о погоде успели поговорить, и о ценах, и о жизни вообще. Однако столь же бодрый старик у входа в Южный Кенсингтон был не из таких. Огромное чувство долга заменяло ему все на свете. Студент по имени Герберт Джордж Уэллс, он знал точно, в списках не числится, профессор Хаксли, если такой и есть, работает, наверно, где-то в другом месте, узнать всегда можно в ректорате, но это не здесь, в другой части Лондона. Может дать адрес… Так я и ушел, испытывая разочарование, но отнюдь не какие-либо недобрые чувства по отношению к этому старику в некоем подобии униформы: во-первых, его для этого и поставили, чтобы не пускать, ибо специально для того, чтобы пускать, никто еще никого никуда не ставил, а во-вторых, он конечно же разглядел во мне «проклятого иностранца» — одного из тех, от кого все беды. В общем, в зал, где в числе двадцати студентов низкорослый, исхудалый и обшарпанный юноша в целлулоидном воротничке слушал некогда лекции Томаса Хаксли, я не попал. Зато, как легко понять,

постоял какое-то время у двери, где единственный раз в жизни Уэллс непосредственно общался с Хаксли. Увидев, что его любимый профессор подходит к подъезду, Уэллс посторонился, распахнул перед ним дверь и сказал: «Доброе утро…»

Когда в 1987 году я вознамерился все-таки осмотреть Имперский колледж, мне показали прекрасное новое здание на той же улице. Старое здание давно уже отдали естественнонаучному музею.

Ну а первое мое свидание с Южным Кенсингтоном произошло в 1976 году, и моя неудача была тем обиднее, что к тому времени — через тринадцать лет после выхода книжки и будучи уже автором многих других работ об Уэллсе — стало очевидно, как мало я о нем знаю.

В 1986 году Уэллсовское общество устроило в Лондоне научную конференцию, посвященную современному осмыслению творчества этого писателя. На нее съехались неожиданно много ученых из разных стран мира. Я был уже к тому времени вице-президентом этого общества, но на конференцию почему-то не попал и приехал в Лондон со своим докладом восемь месяцев спустя. И тут снова соприкоснулся с «уэллсовской Англией». Ничего не потерявшей, скорее приобретшей.

Конечно же, я сразу поехал в Бромли к милейшему мистеру Уоткинсу. С момента нашей первой встречи ему прибавилось два десятка, и, должно быть, поэтому он просил меня звать его просто Бобом. И он, как прежде, горел желанием показать мне в Бромли все, что связано с Уэллсом.

Главной гордостью Уоткинса была новая библиотека, действительно во всех отношениях превосходная. В этом здании Уэллсу стало очень просторно — ему отдан целый отдел.

К одной из витрин Боб подвел меня с видом таинственным, почти заговорщицким. Это была постоянная выставка моих работ по Уэллсу. Увы, мне не хотелось разочаровывать этого милого человека, и я скрыл от него, что давно уже про нее слышал. Но одно обстоятельство и в самом деле меня поразило: эту небольшую экспозицию венчала фотография всей моей семьи! Я немного оторопел, но вспомнил, что нахожусь в Англии, и успокоился. Так, наверно, у них, патриархальных англичан, полагается!

По-настоящему меня поразила, конечно, не эта витрина, где, право же, я не увидел ни одной книги, прежде мне неизвестной, а возможность наконец побывать в Ап-парке. Осуществилась долгожданная моя мечта. Ап-парк перешел в ведение организации по охране памятников старины — «Национального треста». Парк приведен в полный порядок и открыт для широкой

публики.

Здесь я понял — слишком поздно, конечно, для человека, всю жизнь занимающегося Уэллсом, — с какой наглядностью явился некогда Уэллсу, совсем мальчишке, образ «верхнего» и «нижнего» мира, легший в основу «Машины времени». Господский дом этого огромного поместья отделан и обставлен со всей роскошью, присущей XVIII веку, а служебные помещения под ним, где распоряжалась одно время в качестве домоправительницы мать Уэллса и где он сам провел немало времени, больше всего соответствуют позднейшему понятию функциональности. Здесь ничего не предназначено для «услады глаз» — все только для работы. Эти подвалы соединены подземными тоннелями с другими службами, расположенными поодаль. Тоннели сырые и проветриваются при помощи вентиляционных колодцев, во всем напоминающих описанные в «Машине времени». До чего прозаическими оказываются порой реалии, легшие в основу будущих литературных символов!

В «Опыте автобиографии» Герберт Уэллс повернулся к своему читателю новой гранью. Он возвращается к нам уже не только в качестве автора ставших классикой или просто нашумевших в свое время книг, а как реальная фигура. Или, может быть, точнее сказать — как фигура литературная? Как персонаж существующего лишь в неоформленных фрагментах, но тем не менее психологически чрезвычайно изощренного романа.

В XVIII веке принято было завершать повествование женитьбой героя. Позднее от этого обычая отказались. Однако в рассказах о жизни писателей и сейчас порой продолжает действовать почти то же правило. Мы очень любим рассказывать, как тот или иной автор пробивался в литературу, какие претерпел лишения, как набирался житейского опыта, но вот он добился успеха, и отныне человек куда-то исчезает, теперь перед нами писатель, и ему, бедняге, остается только сидеть и писать, и писать… Хорошо бы так. Но, увы, жизнь литератора подвержена тем же случайностям, что и жизнь остальных смертных, не говоря уже о том, что его преследует страх, другим не знакомый, — боязнь исписаться, истощить запас впечатлений, выпасть из времени, не выдержать однажды нервного напряжения, которого требует каждая книга. Да и жизненный опыт приобретается не только в юности. Приобретается он всегда, если даже специально его не ищешь.

Все это стоит помнить, когда речь заходит об Уэллсе, каким он явился нам в последнее время. Особенно после выхода третьего тома автобиографии. Факты все те же, но разве Уэллс заботился о том, чтобы оставить нам свой донжуанский список?

Нет, он рассказал, как мучительно жил все эти годы. Виделся он сам себе без всяких прикрас, писать о себе старался со всей возможной объективностью, хотя, надо сказать, и без лишнего недоброжелательства. В отличие от Руссо с его «Исповедью», он отнюдь не пытается выпячивать одни свои пороки для того, чтобы скрыть другие.

О своих слабостях, например мнительности, он говорит неохотно, но за него это с видимым удовольствием делают другие. Ребекка Уэст со смехом рассказала Гордону Рэю, как однажды, когда они отдыхали на Гибралтаре, у Уэллса слегка заболело горло. Диагноз местного доктора его не удовлетворил, и он потребовал от хозяина гостиницы, чтобы тот немедленно связался с врачом из английского посольства. «Передайте, что тяжело заболел Герберт Уэллс! — кричал он. — Пусть срочно пришлют своего врача!» Об этом и других подобных случаях в книге Уэллса, конечно, ни слова. Но ведь Герберт Уэллс, этот сгусток энергии, был очень больным человеком, а потому и пугался малейших своих недомоганий. Что же до приступов величия, на него находивших, то сохранилось и много свидетельств необыкновенной его простоты, легкости в обращении с людьми и готовности помочь!..

Сложный это, как принято говорить, был человек. Но что значит «сложный», разве одним словом отделаешься?

Передо мной снова лежат фотографии, успевшие перекочевать с выставочных стендов на страницы книг. Десятилетний мальчик сидит в богатом кресле, какие ставили во всяком уважающем себя фотографическом ателье, перед столиком-вертушкой. На столике — раскрытая книга, но он смотрит не в нее, а, как полагается, прямо в объектив — взгляд твердый, губы застыли в легкой усмешке. Неужто ему только что сказали: «Вот посмотри, вылетит птичка», или фотограф был человек умный (занятия фотографией вообще числились тогда среди интеллигентных профессий) и догадался: *этому мальчику* такого говорить не следует. И вот что удивительно: кресло чужое, столик чужой, книга, очевидно, тоже чужая, а сидит он так, словно все это — его. Издавна и по праву. Костюмчик на нем аккуратный, узенький белый воротничок накрахмален, и если одет он небогато, то кто же дома надевает выходные костюмы? А он здесь как дома!

Уэллсы старательно скрывали свою бедность, но у маленького Берти вид независимый. Младший сын, на котором сосредоточилось тревожное внимание матери, мальчик слабого здоровья, но при этом необыкновенно живой и драчливый и уже, видно, начинающий догадываться, какими необыкновенными

способностями он обладает, — такой отсвет лежит на старой фотографии, сделанной в провинциальном ателье.

А вот еще одна фотография. Тридцатилетний Уэллс сидит в свободной позе, полуобернувшись к аппарату, уже за *своим* столом, внушительного фолианта перед ним нет, лишь пачка бумаги, из которой еще предстоит возникнуть книге — *им же самим и написанной.* Костюм на нем чуть мятый, в самом деле домашний, он оторвался на минуту от работы и сейчас снова без промедления за нее примется. А пока тебя фотографируют, можно чуть расслабиться. Важно только не потерять мысль… Всего год, как вышла «Машина времени», критики поносят «Остров доктора Моро» и не догадываются, какие сюрпризы ждут их впереди.

И еще одна фотография. Под ней подпись: «Уэллс — фигура мирового значения». Что ж, лучше не скажешь! Ему здесь лет пятьдесят, но возраст как-то не чувствуется. Уже написаны все прославившие его фантастические романы, уже вышли в свет «Предвидения», ошеломившие современников и заставившие супругов Уэбб пригласить его вступить в Фабианское общество, где он вскоре подверг критике все старое руководство, включая, разумеется, и самих Уэббов; уже читаются «Новые миры вместо старых», одна из лучших книг, созданных в Англии социалистом; уже стали литературным открытием и откровением романы о судьбе «маленького человека». Ни капельки позы, фальши, самолюбования. Но лицо из тех, что запоминаются сразу и навсегда, — умное, волевое, значительное, серьезное и сильное, с правильными и нестандартными чертами. Поза, исполненная достоинства и свободы. На этой фотографии — человек, имеющий, по его собственным словам, доступ к любой самой важной особе в мире и желающий разговаривать с ней на равных. А между этими фотографиями и вслед за ними есть еще и другие. И они тоже говорят нам о многом. Вот худой мальчишка, позирующий с черепом в руке в обнимку со скелетом обезьяны, который Томас Хаксли использовал в качестве наглядного пособия на своих лекциях о происхождении человека. Мальчишка явно гордится этим родством, которое удостоверил любимый профессор, но и превосходство свое прекрасно осознает: он ведь совсем скоро, совсем как Хаксли станет великим ученым. Конечно, придется еще потрудиться, но он к этому готов: посмотрите, какой у него сосредоточенный вид! Вот тот же мальчишка, только что отпустивший усы, но выражение лица уже совершенно иное: в глазах застыло выражение какой-то легкой растерянности…

Приступов отчаянья, нападавших на Уэллса после того, как с

Южным Кенсингтоном не повезло, фотоаппарат не фиксировал, о них нам рассказал он сам. Нет, он никогда не терял ощущения, что в мире ему предназначена какая-то особая миссия, но череда неудач, а потом и открывшееся кровохарканье сильно поколебали его уверенность, что миссия эта осуществится. Он истово мечтал овладеть миром, но с годами желание это сопровождалось уже не радостной надеждой, а страхом: он знал, что если он не одолеет мир, то мир одолеет его.

Между Уэллсом-победителем, чья фотография украшена такой торжественной подписью, и мальчиком, расположившимся как дома в ателье бромлейского фотографа, и находится тот Уэллс, о котором следует больше всего говорить, ибо книги, составившие славу Уэллса и славу английской литературы, написал не первый человек и не второй, а кто-то третий, не совсем, разумеется, им чужой, но и не во всем им тождественный. Этот третий Уэллс прежде всего необыкновенно человечен. Он столько узнал о самом себе, что научился наконец-то понимать и окружающих. Его самососредоточенность, для писателя неизбежная, порой оборачивалась комичнейшими приступами самовлюбленности, а замечательное чувство независимости, от природы ему присущее, приводило иногда (к счастью, не слишком часто) к тому, что он позволял себе позорнейшие высказывания и поступки. Что там говорить, он не был ни интеллигентом в русском понимании слова, ни джентльменом — в английском, а потому немало злился на тех и на других, но как в глубине души мечтал таким именно казаться и как часто это ему удавалось! Притом без всякого лицемерия, ибо и интеллигентом и джентльменом какой-то стороной своей натуры он тоже был. И потому так легко забывал о своей мировой славе и становился просто веселым, бесшабашным товарищем, готовым на какую-нибудь мальчишескую выходку, потому во Франции больше всего дружил не с Франсом и Барбюсом, с которыми, разумеется, был знаком, а с семьею садовника своего французского поместья и потому же приходил в исступление, когда видел, что кто-то обнаруживал в нем нечто, ему самому неприятное. Однажды он получил от Элеоноры Рузвельт телеграмму: «Позор, мистер Уэллс!» Боже, что с ним творилось!

В воспоминаниях гувернантки его детей есть такой эпизод. Однажды Уэллс (он лежал больной) попросил ее принести ему какие-то книги. Она принесла, и он поблагодарил ее с той теплотой и тем обаянием, которыми она всегда в нем восхищалась. И вдруг, выходя из комнаты, она услышала за спиной дикий крик и в нее полетели книги: оказывается, она принесла не те! Но рассказала она об этом без всякой обиды. Да и

сам Уэллс не знал потом, куда деваться от стыда. Что, впрочем, дела не меняло и изменить не могло: во вспыльчивости обвиняли еще его отца, Джозефа Уэллса; образ Гриффина-невидимки, существа до крайности импульсивного, он рисовал с себя, но тогда ему едва исполнилось тридцать, а теперь шло к пятидесяти…

Да, Уэллс оставался Уэллсом. И все-таки в чем-то он продолжал меняться. На фотографии, о которой все время заходит речь, — ум, воля, сила. На последующих фотографиях все яснее прочитывается новое качество — человеческая умудренность.

Он внимательно следил за мировыми событиями, и предсказанные им катастрофы надвигались с непредвиденной быстротой. Порой он даже начинал бояться своего мрачного пророческого дара. Как всякий человек, он не раз ошибался, оптимизм его подводил. К возмущению многих своих друзей, стоявших на левых позициях, он поддержал Первую мировую войну, потому что верил: в конечном счете она приведет к установлению Мирового государства, построенного на социалистических принципах. И в самом деле, в России ведь произошла революция. Но на Западе — все по-старому. Не напрасной ли была моральная жертва, которую он принес своей книгой «Война, что положит конец войнам»? Мир оставался ужасен.

Но были и другие причины для недовольства собой, на этот раз личного свойства. Когда Уэллс начал сражение за преобразование Фабианского общества в социалистическую партию, у него появилась довольно обширная группа молодых последователей — «Фабианская детская», как ее именовала «старая банда» (иначе Уэллс их не называл), руководившая обществом. В значительной своей части это были взбунтовавшиеся дети старых членов общества, что, как легко понять, нисколько не улучшало отношений между его руководителями и обитателями «детской», мечтавшими ее скорей покинуть. Особое беспокойство родителей вызывала Эмбер Ривз, дочь одного из директоров основанной Сиднеем Уэббом на деньги Фабианского общества Лондонской школы экономики. Родители гордились ее блестящими успехами в Кембриджском университете, где она сумела организовать ячейку юных фабианцев, но ужасались ее политическим симпатиям. 8 ноября 1906 года Уильям Пембер Ривз писал, например, Уэллсу о том, что Эмбер недавно выступила со своей первой речью и целью ее было выразить солидарность русским, которые бросают бомбы и грабят банки!

Окружающих она пугала еще больше, чем родителей. Так, Беатриса Уэбб, встретившись с дочкой Ривзов в 1907 году, сделала запись в дневнике, из которой следовало, что Эмбер — существо необыкновенно живое и очень умное, но при этом тщеславное, сосредоточенное исключительно на себе и совершенно не желающее считаться с мнением окружающих. Она заметила, какая дружба успела уже завязаться между девушкой и Уэллсом, и сочла, что жене Уэллса есть чего остерегаться. Она оказалась права. В 1908 году все уже знали, что между Эмбер Ривз и Гербертом Уэллсом установились близкие отношения.

То, как повела себя при этом Джейн, всех поразило. Близость между супругами прекратилась навсегда, но дом Уэллса продолжал оставаться его домом, Джейн по-прежнему трудилась не покладая рук. Она не только вела хозяйство, принимала многочисленных гостей, занималась его литературными делами и растила детей. Ни разу себя не выдав, она встречалась и у себя, и у общих знакомых с Эмбер, а когда та родила дочку, подарила ребенку приданое. Она, видимо, никогда не забывала, что и сама в молодости увела Уэллса от его первой жены. Так считали многие. Ясно одно — за всегдашним спокойствием, деловитостью и приветливостью маленькой хрупкой женщины таилась железная воля. Чего нельзя было сказать об Уэллсе. Он не мог устоять, когда на шею ему, сорокадвухлетнему мужчине, бросилась девочка, за которой тянулся хвост поклонников, но он мучился, метался между возбуждавшей горячую страсть Эмбер и Джейн, которую не переставал любить и которой все больше восхищался. Когда Эмбер забеременела, он впал в совершенную панику, но ни для кого не мог покинуть Джейн и мальчиков. Эмбер вышла замуж за другого.

Отныне Уэллс вел беспорядочную жизнь, то появляясь с чемоданами в собственном доме, то исчезая, и, постоянно мечтая о том, чтобы целиком сосредоточиться на работе, порой растрачивал свои душевные силы самым бессмысленным образом. Его десятилетний роман с Ребеккой Уэст превратился в одну бесконечную ссору, в десятилетней связи с Одеттой Кюн — немного писательницей, немного авантюристкой — ему виделось что-то унизительное, он, чем дальше, тем больше, ее не выносил, хотя, судя по всему, сначала предполагал именно с ней начать новую жизнь. Но, когда в их дом во Франции дошла весть о том, что Джейн заболела раком, он немедленно все бросил, вернулся в Истон-Глиб и до последнего дня оставался рядом с терявшей силы женой — всегда внимательный, заботливый, ласковый, преисполняясь час от часу все большего восхищения этой женщиной. Джейн умирала как жила. Каждое утро появлялась за

завтраком аккуратно причесанная, в отутюженном платье, сперва держась за стену, потом в кресле-качалке, но с неизменной улыбкой, приветливая с мужем, детьми, прислугой, больше всего боявшаяся кого-то чем-то обременить. И, сколько могла, предлагала свою помощь. Однажды она перестала выходить из комнаты. У нее была теперь одна мечта: дожить до свадьбы Фрэнка, младшего сына, назначенной на 7 октября 1928 года. Не хотелось портить торжества своей смертью. Она умерла шестого…

На похоронах, писала Шарлотта Шоу, было «ужасно, ужасно, ужасно!». Заиграл орган, и Уэллс начал плакать. Сначала он пытался скрыть слезы, но потом зарыдал как ребенок. А орган все играл и играл… Но вот музыка прекратилась, и священник начал читать прощальное слово, написанное Уэллсом. При словах: «Она никогда в жизни никого не осудила» — воцарилось гробовое молчание. И тут из горла Уэллса вырвался какой-то протяжный вой… Это было ужасно, пугающе, страшно!

Однако он не хотел сдаваться. Он продолжал упорно отстаивать свои идеи и по-прежнему верил, что послан в мир с определенной миссией. Он знал и другое: мир не перестал сопротивляться ему, напротив, сопротивляется еще упорнее. Уступчивый в мелочах, в главном мир стоял на своем. Все, что было в избытке — слава, женщины, деньги, — сделалось для писателя неважным. Вопрос о том, удалось ли осуществить свою миссию, оставался нерешенным. И все чаще начинало казаться, что нет, не удалось. «Надо жить так, словно всего этого нет», — сказал себе Уэллс в юности, размышляя о проклятом вопросе физики — об энтропии. «Надо жить так, словно всего этого нет», — повторил он, когда речь зашла о более близких опасностях, грозящих человечеству; надо уметь радоваться солнцу, любви, добрым душевным порывам. Но последнее, что произнес Уэллс, было криком отчаянья. Эта маленькая книжка была озаглавлена «Разум на пределе возможностей».

Ночью, во сне, он все чаще возвращался в детство. В минувшие времена ему снились кошмары. Теперь пришло просветление. В снах, по словам Уэллса, торжествовала более взрослая, современная, цивилизованная часть его существа. Страх, отчаянье, растерянность куда-то уходили, старые друзья, покинувшие мир, опять были рядом. А потом он возвращался к реальности. Записывал процесс своего духовного угасания, подобно тому как великие врачи диктовали окружающим развитие своей смертельной болезни. Он до последнего дня пытался оценить себя, винил себя за то, что часто обижал людей, даже близких. И задавался вопросом, состоялся ли он как

личность. Уэллс верил в предопределенность, в то, что личность зависит от двух факторов: внешних обстоятельств и заданной психологической структуры. Кроме того, существует еще, считал он, свобода воли. Да, свобода воли ограничена достаточно узкими пределами, но там, где она есть, есть и личность. И когда он думал о прожитой жизни, его утешало одно: кажется, личностью он все-таки был. Это удается не всем.

Себе ли одному задавал Уэллс подобный вопрос? Нет, конечно. Он ведь рассматривал себя как частицу мира и если ставил эксперимент на себе, то всегда на общую пользу.

Е. П. Зыкова, М. П. Тугушева

Г.-Дж. Уэллс и английская традиция документальной прозы

В английской литературе мемуарно-документальные жанры играют весьма заметную роль, поскольку индивидуализм, поддерживаемый протестантской духовной традицией, можно назвать чертой английского национального характера. Соответственно, и интерес к личным достижениям индивида очень высок. Неудивительно, что дневники, письма, путевые заметки, мемуары, биографии составляют важную часть английской словесной культуры и пользуются неизменным читательским интересом, который, как это ни парадоксально, поддерживается и своеобразным чувством национальной солидарности, так называемой «englishness», «английскостью». Несмотря на социальные контрасты, и верхи, и низы всегда гордились своей принадлежностью к Англии, и английская мемуаристика в полной мере отразила и индивидуализм, и стремление отдельной личности к самоидентификации «со всем английским».

Среди мемуарно-документальных жанров автобиография занимает особое место, отличаясь от биографии, с одной стороны, и мемуаров, дневников, писем, записок — с другой. Биографию автор обычно пишет о *чужой* и уже завершившейся жизни. В центре ее — человек, который представлял и по-прежнему представляет интерес для общества главным образом своими выдающимися достижениями в той или иной сфере деятельности[145]. Создатель же автобиографии — одновременно и герой своего повествования. И даже если он берется за перо на склоне лет, подводить окончательные итоги ему еще рано. Его главная задача — не столько фиксация и своеобразное «сохранение» пережитого, сколько попытка *интерпретации* того, что выпало на его долю. В свою очередь, дневники, письма, путевые заметки пишутся, в отличие от автобиографии, спонтанно, изо дня в день или от случая к случаю и не предполагают, как правило, целостной интерпретации жизни; они могут служить *источником* для автобиографии, оживляя прошлое в памяти автора. Мемуары же (и дневники мемуарного типа) повествуют не столько об их авторе, сколько о других знакомых ему людях и о событиях, свидетелем которых он стал. И тут главное не глубина понимания собственной личности, а широкая панорама жизни, конкретность и достоверность деталей. При

этом все документальные жанры тесно между собой связаны и постоянно влияют друг на друга.

Итак, интерпретация собственной жизни — главная задача автобиографии. Подобная интерпретация может иметь цели и внешние: показать и объяснить побудительные причины поступков автора, которые могли быть неправильно истолкованы современниками, — и внутренние: осмыслить собственную жизнь, осознать ее движение. В первом случае автобиография сближается с биографией, во втором — с дневником, однако, в отличие от дневника, который ведется для себя лично, это сочинение адресуется читателю; ибо автор предполагает, что его жизненный опыт может быть поучителен для окружающих — своей особенностью или, напротив, типичностью.

Основная установка автобиографии — на искренность и достоверность. Таковы в большинстве случаев субъективные намерения автора и ожидания читателя, хотя, например, Марк Твен заявлял, что сам никогда автобиографию писать не станет, поскольку писатель, рассказывая о себе, обязательно «приврет»[146]. Но ведь интересно и то, как и насколько «приврет». В самом деле, описание своей жизни — процесс творческий, обязательно включающий отбор и оценку событий, их упорядочение и осмысление. Поэтому здесь с полным правом можно говорить о творении автором новой реальности, в разной степени отличной от того, что действительно произошло в жизни[147]. Некоторые критики вообще называют автобиографию литературным, а не документальным жанром[148].

Задача автобиографии весьма непроста: человек в ней выступает одновременно и как герой, и как автор повествования; исследователи жанра особенно подчеркивают этот момент «раздвоения» личности: автор с высоты своего «настоящего» рассматривает и оценивает себя таким, каким был прежде[149]. Автобиография требует высокого уровня самосознания и ощущения значимости собственной личности. Закономерно поэтому, что как жанр она расцветает в период становления и развития индивидуализма в западном обществе, а именно в эпоху Нового времени.

Как известно, практически у любого жанра европейской литературы есть свои предшественники в античности. Говоря об автобиографии, английские исследователи относят к таким предшествующим «документам» «Апологию» Сократа (речь Сократа на суде, воспроизведенную в «Апологии» Платона и «Воспоминаниях о Сократе» Ксенофонта; 399 до н. э.) и «Записки о Галльской войне» Цезаря (между 52 и 49 до н. э.), а если брать средние века — «Утешение Философией» (523) Боэция,

автобиографические отрывки в «Истории англов» (731) Беды Достопочтенного, «Исповедь» (400) Аврелия Августина и такие произведения предренессансной эпохи, как «Новая жизнь» (1292–1293) Данте и «Дом славы» (1370-е годы) Чосера[150].

В средневековой литературе первыми биографиями были жития святых. Они повествовали о тех, кто был уже прославлен Церковью, и являли читателю назидательный пример высоких духовных достижений, хотя могли содержать и упоминания о грехах и заблуждениях человека, особенно в период, предшествовавший его обращению к вере. В Англии житийная традиция постепенно сошла на нет в XVI в., когда государственной религией стало англиканство, не признававшее (как и более радикальные пуританские секты) ни святых, ни святости. Таким образом, в английской национальной мемуарно-документальной традиции, в том числе и в религиозном ее варианте, уже в период ее становления формировалось неприятие апологетических установок. И хотя в XVIII–XIX вв. писались хвалебные биографии, особенно пасторов и членов нонконформистских сект, за пределами своей общины они не считались значимыми ни в литературном, ни в общекультурном отношении. Неприятие апологетики можно назвать отличительной чертой английской документальной прозы.

Если первыми образцами биографии в средневековых литературах были жития святых, то первым образцом автобиографии стала уже упоминавшаяся выше знаменитая «Исповедь» Аврелия Августина (354–430) — повествование о духовной жизни человека, который, пройдя искус философских школ античности, нашел истину в христианстве и внес немалый вклад в развитие этого вероучения. Однако в жанровом отношении «Исповедь» для Средневековья — скорее исключение. В Англии она была хорошо известна, но интерес к ней определялся ее богословским содержанием, а не жанровой формой.

Беглые сведения о создателе произведения встречаются во многих английских поэмах и исторических сочинениях, но первым образчиком действительно автобиографической прозы считается небольшое по объему «Моление о призвании» (1553) Джона Бэйла, которое охватывает один год из жизни автора. На дальнейшее развитие в Англии биографического жанра огромное влияние оказал изданный в 1579 г. перевод «Сравнительных жизнеописаний выдающихся греков и римлян» Плутарха и творение знаменитого пуританского писателя и проповедника Джона Беньяна (1628–1688) «Благодать, в изобилии ниспосланная Господом Нашим величайшему из грешников» (1666). Некоторые

английские историки склонны ставить «Благодать» в один ряд с «Исповедью» Августина как классический пример пуританской исповеди. Здесь, возможно впервые в английской литературе, уверенно и энергично используется местоимение первого лица, авторское «я». Беньян написал свою автобиографию для вступления в Бедфордскую нонконформистскую конгрегацию: как и многие другие протестантские секты, она осторожно принимала в свои ряды новых членов, требуя от них длительного испытательного срока и устного рассказа о своей духовной жизни. Этот-то рассказ Беньян и решился со временем опубликовать.

Беньян обращается в автобиографии к собратьям по вере, таким же бедным людям, как он сам, и рассказывает о личном религиозном опыте простым языком, сопровождая повествование множеством бытовых деталей. Он описывает свое духовное становление начиная со времени «внешнего» благочестия, когда он еще ходил в государственную англиканскую церковь, историю своего истинного «пробуждения» и обращения к Богу, трудного движения по духовному пути. Собственная жизнь осмысляется им «типологически», через аналогию с эпизодами ветхозаветной истории: египетского плена, бегства от фараона, блуждания по пустыне, обретения своего Ханаана (Книга Исход). Такая содержательная аналогия была пригодна для осмысления духовного опыта практически каждого христианина, что и сделало Беньяна родоначальником английской духовной автобиографии, предлагавшей готовую и ясную концепцию человеческой жизни, понимание того, в каком направлении и во имя какой цели развивается личность.

Эта традиция, заложенная в Англии Беньяном, активно развивалась в XVIII в., особенно в среде квакеров и методистов, и просуществовала до середины XIX в. Ее среди прочих весьма оригинально использовал поэт Уильям Каупер, попытавшийся в зрелые годы разобраться в причинах собственных психологических проблем и житейских неудач в «Воспоминаниях о ранней жизни Уильяма Каупера»[151]. Главную ошибку поэт увидел в неправильной интерпретации одного судьбоносного эпизода своей юности, впечатлившего его чисто эстетически, но не воспринятого как указание перста Господня. Последним важным произведением, созданным в традиции духовной автобиографии, была «Apologia pro vita sua» («Оправдание моей жизни», 1864) лидера Оксфордского движения, впоследствии кардинала Джона Генри Ньюмена (1801–1890), рассказавшего историю своих духовных исканий и попыток обновить англиканство, которые окончились обращением автора в

католичество. Образцом для Ньюмена послужили одновременно сочинение Беньяна и «Исповедь» Августина[152].

Альтернативой духовной автобиографии явилась автобиография публичная, историческая, своеобразная хроника человеческих свершений. Одним из первых ярких сочинений такого рода явилась «Автобиография графа Кларендона, лорда-канцлера Англии» (создана в 1668–1672 гг., впервые опубликована в 1759 г.). Кларендон выступает в ней преимущественно как политик и историк, пытается объективно и по достоинству оценить свою жизнь и свои деяния на государственной службе. При этом он почти не касается личных проблем, частных и домашних дел. В его интерпретации автобиография сближается с исторической хроникой и биографией; перед нами «внешний» человек, цель которого — служа отчизне, достичь славы в потомстве.

Другой альтернативой духовной автобиографии стала история «жизни и приключений», в том числе и приключений любовных. Большую известность, например, снискала леди Анна Хокет, весьма откровенно рассказавшая в автобиографии (1678) о своих трех любовных связях. Ее повествование отличается проницательностью и беспристрастием, поэтому английский литературовед Д. Стауффер утверждал, что, живи леди Хокет в XIX в., она создала бы роман, равный по художественной силе и правдивости «Джейн Эйр»[153].

XVIII век, век Просвещения, в полной мере осознал ценность биографии и автобиографии, эти жанры становятся чрезвычайно популярны. Если раньше «достойными» биографии считались либо люди выдающиеся, либо те, чья жизнь могла служить для других положительным или отрицательным примером, то в XVIII в. в английской культуре складывается мнение о том, что биография любого человека, даже самая скромная и бессобытийная, представляет определенный интерес для общества. Свою жизнь описывают актеры и актрисы, ученые и священники, политики и авантюристы, издатели и государственные деятели, эмансипированные дамы из Клуба «Синий чулок» и разведенные жены, обиженные на бывших мужей. Успехом пользуются также дневники и мемуары, собрания остроумных высказываний и анекдоты о знаменитых личностях[154]. В XVIII в. рождается новая разновидность романа из современной жизни — *novel*, одной из форм которой становится утвердившийся в творчестве Даниэля Дефо роман-автобиография: герои «Робинзона Крузо» (1719), «Капитана Сингтона» (1720), «Молль Флендерс» (1722), «Полковника Джека» (1722) и «Роксаны» (1724) на склоне лет сами

рассказывают поучительные истории своей жизни. В романах Дефо, которые мы привыкли воспринимать как приключенческие, английские литературоведы находят многие черты, характерные для пуританской духовной автобиографии[155].

Идейную, теоретическую ясность внес в документальные жанры XVIII в. знаменитый лексикограф и литератор, составитель первого толкового словаря английского языка Сэмюел Джонсон (1709–1784). Его перу принадлежит множество биографий, в том числе цикл жизнеописаний английских поэтов XVII–XVIII вв. Он был убежден, что правдивое повествование о жизни реального человека может быть интереснее художественного вымысла. В эссе в журнале «Рэмблер» (1750) Джонсон утверждал, что сердце читателя бывает тронуто лишь тогда, когда он отождествляет себя с героем повествования, а читателю легче поставить себя на место героя реальной биографии, чем отождествиться с героем трагедии или рыцарского романа. Джонсон полагает, что любая правдивая биография, написанная со вниманием к деталям, точно воссоздающая характер человека, принесет читателю и удовольствие, и пользу, так как все мы по большому счету решаем в жизни одни и те же проблемы[156].

Девять лет спустя, в другом эссе Джонсон утверждал превосходство автобиографии над биографией, поскольку человек, рассказывающий свою собственную историю, обладает «первым необходимым для историка качеством — знанием истины»[157]. Конечно, рассуждает Джонсон, он может попытаться приукрасить собственную жизнь, но ведь и биограф часто бессилен перед искушением сделать своего героя лучше, чем тот был на самом деле. Честность — одна из главных христианских добродетелей, а также и особо ценимая добродетель английского просвещенного джентльмена[158], поэтому Джонсон, человек религиозный и в то же время один из лучших выразителей классической просветительской культуры, все-таки верил в возможность искреннего и правдивого описания собственной жизни, обусловленного внутренним стремлением человека к истине. «Полная» правда о жизни человека, неминуемо обнаруживающая как его достоинства, так и недостатки, особо поучительна для читателя, полагал он, так как в ней мы находим сходство своих и чужих жизненных проблем и получаем великолепные образцы для подражания. Идеализированное же жизнеописание только отдаляет героя от читателя.

Джонсон считал, что и биография, и автобиография должны рассказывать о частной жизни, входить в подробности бытового поведения даже в тех случаях, когда речь идет о великих людях. Исторические деяния героя не должны заслонять того, каким он

был в повседневной жизни, в общении с близкими. В этом требовании Джонсона отразился характерный для просветителей интерес к «частному человеку», а также установка просветительского гуманизма на идеал универсальной личности, согласно которому у каждого из пришедших в этот мир есть множество обязанностей и ролей, и жизнь наша может считаться успешной лишь в случае достойного исполнения каждой из них. Это означает, что самый великий полководец, гениальный поэт или выдающийся ученый не заслуживает звания великого человека, если он не был одновременно почтительным сыном, любящим мужем, заботливым отцом, преданным другом, великодушным кредитором, верным слугой отечества[159] и т. п.

Превыше всего ставя истину, Джонсон требовал документальной точности материала. Так, жизнеописание известного прозаика XVII в. сэра Томаса Брауна он заканчивает следующим образом:

> «Мнения человека лучше узнавать от него самого; что же касается совершенных им поступков, то тут надежнее полагаться на свидетельства очевидцев. Там, где эти свидетельства совпадают, достигается наибольшая степень исторической достоверности. В случае с Брауном именно так и произошло — он действительно был ревностным приверженцем веры во Христа, жил в послушании Его заповедям и умер с уверенностью в Его милосердии»[160].

Комплекс просветительских идей («естественная религия», «естественная природа» человека, всегда равная самой себе, вера в научный разум, который способен перестроить и освободить общество) противопоставляет себя христианским ценностям, но на практике многие английские просветители, будучи гораздо менее радикальными, чем французские, сохраняли верность традиционным жизненным устоям, основанным на христианстве. В их числе и Джонсон, один из ведущих просветителей, сохранил неформальную верность религии, что отразилось во всех его сочинениях. За это английские историки часто называют его «великим христианским моралистом». Вслед за мыслителями Возрождения, но уже на новом этапе Джонсон пытался осуществить синтез гуманистической и христианской культур, что и сделало его символической фигурой английского Просвещения, пафос которого (в отличие от пафоса Просвещения французского) был скорее созидательным, чем разрушительным. И недаром середину XVIII в. в Англии именуют «эпохой Джонсона». Собственная жизнь Джонсона на основе многолетних

дневниковых записей и других документов была блестяще описана его младшим другом и учеником Джеймсом Босуэллом в обстоятельной «Жизни Сэмюела Джонсона» (1791), одном из шедевров английской документальной прозы.

Французская революция конца XVIII в. ознаменовала кризис просветительских идей, покончила со всякой нормативностью, открыла эру романтического субъективизма. Представление о множественности истины, равно как и об уникальной неповторимости каждой личности и ее судьбы заставляют биографов и мемуаристов отказываться от готовых схем и прежних критериев оценки личности. Терпит крах и гуманистическая идея, а затем и по-новому развитая просветителями идея универсальной личности. В новой буржуазной действительности им уже нет места.

Общество раскалывается в глазах романтиков на серую обывательскую массу, лишенную собственных воззрений, и возвышающихся над ней творцов — титанов мысли, наделенных глубокими и сильными чувствами. Теперь только талант, индивидуальные способности дают человеку возможность прикоснуться к подлинным ценностям жизни, обрести личные убеждения, творить историю и собственную биографию. За талант человеку прощается все, наличие особого дара переводит его в ту категорию людей, которые, по словам Раскольникова, «право имеют». Сфера быта, повседневная жизнь, столь важная для просветителей, отныне становится почти презренной.

В творчестве романтиков создается новый тип духовной автобиографии. Как для скептика Байрона и пантеиста Шелли, так и для верующих христиан Вордсворта и Колриджа духовная биография означает теперь не историю борьбы с грехом и спасения души, а историю становления творческой личности, ее интеллектуального развития и воспитания чувств в контексте эпохи[161]. Возобладавшее в романтической поэзии индивидуальное начало способствует новому пониманию поэтического творчества как лирического излияния, автобиографические мотивы пронизывают и лирику, и большие поэтические жанры. Так, духовный облик Байрона полнее, чем биография, созданная Томасом Муром, и даже полнее, чем сохранившиеся дневники и письма[162], раскрывает его поэтическое творчество. Особенно это касается автобиографического образа Чайльд Гарольда, который оказал сильнейшее влияние на самоосмысление и самооценку многих людей романтического склада. Иной, самоуглубленно-медитативный тип романтической личности воплощал Уильям Вордсворт, который в автобиографической поэме «Прелюдия»

(первая редакция — 1805 г., окончательная — 1850 г.) рассказал о становлении своей личности, о пережитом им во Франции кризисе, вызванном революцией, и постепенном его преодолении. Вордсворт справедливо считал свои переживания переживаниями целого поколения и надеялся, что поэтому они окажутся полезными и интересными для читателя. «Biographia Literaria» (1817) друга Вордсворта, С.-Т. Колриджа, повествует уже в прозе о жизни его поэтического духа, о поиске им философско-эстетической истины, об авторском понимании сущности творчества.

Гениальным биографом романтического направления считается Томас Карлейль (1795–1881), автор «Истории французской революции» (1837), историко-философской книги «О героях, поклонении героям и героическом в истории» (1841), «Жизни Шиллера» (1825), цикла эссе о Гёте, литературных портретов С. Джонсона, Р. Бёрнса, Вольтера и др. Жизнь великого человека Карлейль трактовал как творческий процесс. Уже в ранних работах, посвященных Гёте, он утверждал, что произведения немецкого гения — лишь побочный продукт его духовного роста, направленного на достижение совершенства и гармонического сочетания всех сил и способностей души. В своей героической концепции истории Карлейль настаивал на первенстве религиозно-этического начала, но понимал его в духе романтического плюрализма: для него и скандинавский Один как обожествленная язычниками личность, и Мухаммад, и Лютер в равной мере способствовали духовному росту своего народа.

Вслед за романтиками мыслители ранневикторианской эпохи, стремящиеся воссоздать историю внутренней жизни, ощущают неадекватность религиозной модели развития личности своим устремлениям. Теоретик искусства и социолог, вдохновитель братства прерафаэлитов Джон Рёскин создает автобиографию «Praeterita» (1886–1889) в виде разрозненных, эстетически осмысленных воспоминаний, уклоняясь от религиозной интерпретации событий, а вместе с тем и от целостной интерпретации своего характера и судьбы. При этом он отрицает опыт Беньяна, к чтению которого пытались его в юности приохотить родители, и использует опыт Байрона, создателя Чайльд Гарольда.

Ближе к концу XIX в. философия позитивизма и дарвинизм предложили новый, опирающийся на научные достижения способ интерпретации человеческого опыта. Речь шла о том, как под влиянием жизненных обстоятельств, физических и социальных причин проявляются и развиваются заложенные от природы способности личности. Первой эту смену идеологической

ориентации отразила в «Автобиографических очерках» (1869) Гарриет Мартино, чей полный «Автобиографический мемуар» был опубликован посмертно в 1877 г. Будучи удачливым популяризатором научных достижений и переводчицей О. Конта, она рассказала, как произошел в ее жизни поворот от юношеской религиозности, воспитанной родителями, к научному образу мышления. Другим любопытным образцом «переходной» биографии было документальное произведение Эдмунда Госсе «Отец и сын» (1907), в котором рельефно продемонстрирован конфликт поколений на примере семьи, где отец-священник, делая все для традиционного религиозного воспитания сына, получает результат, обратный ожидаемому. Но Госсе не всецело воспринял новое научное мировоззрение, он, подобно Тургеневу в «Отцах и детях», постарался показать, что своя правда есть и у той, и у другой стороны. Госсе первым в истории английского литературоведения, дав научное определение жанра автобиографии, поставил успех жизнеописания в прямую зависимость от того, насколько точно переданы «индивидуальность» личности и «актуальность» окружающего мира.

В 1876 г., следуя своему научному методу, практически закончил автобиографические заметки Чарльз Дарвин (изданы во фрагментах его сыном в 1887–1888 гг., а полностью — внучкой в 1958 г.; рус. пер. — 1959 г.). Он построил их как собрание многочисленных фактов, иные из которых не поддавались научному объяснению. При этом автор всячески избегал «спекуляций», то есть пространных и абстрактных рассуждений и объяснений, выходящих за пределы точно доказуемого. Более концептуальной получилась «Автобиография» одного из родоначальников английского позитивизма Герберта Спенсера. Опубликована она была лишь в 1904 г. Спенсер попытался на своем примере проследить «естественную историю личности», описать психофизические особенности и черты характера своих предков, показать, как его индивидуальность формировалась под влиянием факторов наследственности и среды.

* * *

Итак, развитие автобиографии, как и других документальных жанров Нового времени, шло от религиозной интерпретации духовной жизни личности к чисто светским попыткам ее «научного» объяснения; от общеобязательной морально-религиозной проблематики к ее постепенной редукции, а затем к

открытому бунту против «ханжества» и «морализма»; от представления о единой и неизменной религиозной истине к интеллектуальному плюрализму. Герберт Уэллс, подключившись к этой традиции, выступает как убежденный «прогрессист» и даже революционер, стремящийся иногда самым радикальным образом порвать с традиционной культурой прошлого.

Уэллс во многом ориентируется на опыты научных автобиографий Ч. Дарвина и Г. Спенсера. Он в полной мере осознает новизну этого типа автобиографической прозы. Ему хочется «научно» и «экспериментально» постичь на своем примере человеческую личность в ее биологических и социологических истоках, в ее развитии (прежде всего интеллектуальном), в ее отношениях с людьми. Уэллс пытается как можно объективнее оценить свои природные способности, а также описать привычки и традиции той мещанской среды, в которой вырос. Тот факт, что ему удалось вырваться из нее и стать интеллигентом, он приписывает случайности — «двум сломанным ногам», своей и отцовской: полученная в семилетнем возрасте травма пристрастила будущего писателя к чтению, а несчастный случай с отцом стал причиной денежного кризиса семьи, из-за которого Уэллс, выбирая жизненный путь, не пошел по стопам старших братьев.

Однако замысел автобиографии Уэллса шире рамок научно-позитивистской автобиографии. В отличие от Ч. Дарвина и Г. Спенсера, он осмыслял свою жизнь на фоне предшествующего развития английской культуры, встраивал повествование в контекст развития европейской цивилизации. Поэтому у него мы находим отголоски всех важнейших этапов и направлений развития английской автобиографии.

Активное неприятие беньяновской традиции слышится в постоянном и настойчивом подчеркивании автором своего антирелигиозного бунтарства, в ироническом описании неразмышляющей веры его малообразованной матери, в настоятельных усилиях доказать, что «тупая» вера ничем в жизни не помогла этой женщине. Многое в собственном духовном облике унаследовавший от Просвещения, Уэллс, подобно Джонсону, полагал, что преимущество автобиографии — в истине, полученной «из первых рук», и автор, что бы ни говорили, в частности, фрейдисты (а впоследствии — представители «новой критики»), способен высказать правду о себе. Развивая идеи Джонсона о преимуществе биографического жанра перед литературой художественного вымысла, Уэллс утверждал: «Я сомневаюсь, что в будущем роман станет играть такую уж важную роль в интеллектуальной жизни <…>, он изживет себя и место

его займут более глубокие и честные биографии и автобиографии» (с. 264 наст. изд.[163]).

Уэллсу был не чужд байронический дух бунтарства, неприязнь к консервативности английского общества, желание взрывать устоявшиеся стереотипы, эпатируя благополучного обывателя, плывущего в жизни «по течению». Уэллс унаследовал от романтиков нелюбовь к быту, даже некоторый страх перед ним. Во вступлении к автобиографии он поведал о мечте освободиться от повседневных забот и всецело отдать себя творчеству на пользу человечества. А рассказывая о том, как устраивалась его совместная жизнь со второй женой Эми Кэтрин, Уэллс приводит стишки и картинки, юмористически отражавшие и преображавшие бытовую реальность. Он занимается своего рода жизнетворчеством и, так же как и романтики, привносит творческое начало в «прочнеющий» быт, который без этого был бы невыносим.

Что же касается осмысления своей жизни в ее целостности, то Уэллс честно признается, что стремился и стремится вырваться из бедности и добиться успеха в жизни, однако не любой ценой; у него есть два важных условия: первое — то, что он делает, должно быть интересно; второе — нужно непременно приносить пользу людям и работать на благо человечества. Уэллс, подобно Карлейлю, утверждает идеал единства жизни и творчества и стремится показать, что его романы вырастали из его внутренних противоречий, из потребностей собственного духовного развития, и, стало быть, их можно рассматривать как «побочный продукт» его личностного роста.

Вместе с тем, подхватывая у просветителей идеи «единства жизни и творчества», Уэллс на новом этапе развития европейской культуры имел в виду нечто иное. Как и многие деятели Просвещения, он проявил себя в разных сферах деятельности: в естественной науке (прежде всего биологии), журналистике, литературе, политике, педагогике, всюду стремясь способствовать распространению новых идей. При этом свое личностное развитие он понимал как развитие интеллекта, расширение мыслительных горизонтов, формирование всеобъемлющей картины мира. В отличие от Гёте, он радел не о развитии целостной личности, а о развитии и воплощении в жизнь своих идей; и романы он писал не для того, чтобы выразить себя в совершенном произведении искусства, а для того, чтобы познакомить читателя с новым пониманием человека и общества. Уэллс рассуждает на эту тему, рассказывая о литературном споре с Генри Джеймсом. Ценность своих романов Уэллс видит в первую очередь в их актуальности, он пишет их быстро, торопясь

донести до современников новые мысли, сознательно не задерживаясь на углубленной проработке характеров, тщательной художественной отделке. Это делает их по-особому автобиографичными, отмечающими каждый новый этап духовного роста писателя, документальными свидетельствами того, чем он жил в период их создания.

Уэллс берется за автобиографию не только ради читателя, но и для того, чтобы лучше разобраться в себе самом. Его цель — не самооправдание, а истина, по возможности приближенная к научной. Однако, будучи человеком XX в., он отчетливо понимает все сложности самопознания и самоописания и, пользуясь термином К.-Г. Юнга, говорит о своей *персоне*, о том *представлении* о собственной личности, которое складывается у любого человека и во многом определяет его поведение. Подобной *персоне*, всегда идеализированной, реальная личность человека может соответствовать в большей или меньшей степени, так же как и идеальному образу возлюбленной в большей или меньшей степени соответствуют конкретные женщины. При этом, анализируя побудительные мотивы своих поступков, Уэллс осознает, что человек далеко не всегда последовательно действует в соответствии с потребностями и установками своей *персоны*, так как в нем живут как бы многие личности. И все же с годами, представляется Уэллсу, он все более сближается с собственной *персоной*, тем самым достигая своего идеала. Хорошо сознавая все сложности описания и анализа реальной личности в ее современном понимании, Уэллс тем не менее ставит задачу высказать истину, он уверен, что в принципе эта задача выполнима. Таким образом, развивая жанр автобиографии, Уэллс отходит от позитивистски-натуралистической трактовки личности и создает сложный, многогранный и часто противоречивый образ творческого человека XX столетия в его взаимоотношениях с эпохой.

* * *

Каково же духовное и нравственное содержание личности по имени Герберт Джордж Уэллс?

Если мы попытаемся проанализировать менталитет Уэллса, то обнаружим, что основной костяк его убеждений составляли идеи, выработанные еще в эпоху Просвещения. Юношеское сознание Уэллса впитало и на всю жизнь усвоило просветительский в своих истоках комплекс идеологем: вера в абстрактный человеческий разум, способный при помощи

достижений науки, «совершенного» законодательства и «правильного» воспитания перестроить жизнь; представление о неразумности традиционного общества; отрицание религии, постулаты которой не подтверждаются наукой; неприятие семьи, спаянной религиозной традицией; убежденность в универсальности истины; отрицание национальных форм жизни как «предрассудка» и «узости» (в частности, и той «английскости», о которой речь шла выше и с которой он окончательно расстался, по собственному признанию, где-то между 1916 и 1920 годами, то есть в пятьдесят с лишним лет).

В эпоху Просвещения этот комплекс либеральных идей не сразу пробил себе дорогу. Одно дело — абстрактные идеи сами по себе и совсем другое — повседневная жизнь, которая привычно течет в соответствии с общепринятым порядком, традицией. Вначале просветители считали нужным искать компромисс между традицией и новым мышлением, примером чему может служить творчество С. Джонсона, но постепенно отдельные люди, сначала робко, а затем все более и более последовательно стали пытаться привести свое существование в соответствие со своими убеждениями. Таких людей в истории европейской культуры Нового времени принято было называть «новыми людьми».

«Новые люди» XVIII века, например Юлия и Сен-Пре в «Новой Элоизе» Руссо, усвоив просветительские идеи, обрели новые, «свободные» чувства в отношениях друг с другом, но, когда дело дошло до столкновения с родителями Юлии, людьми старого склада, поступили в соответствии с «традиционными ценностями», еще господствовавшими в обществе, причем эти ценности определили не только их поведение и жизненный выбор, но и внутренние установки, в частности отношение к избранному отцом мужу Юлии Вольмару. Собственно, именно ориентация на традиционные ценности придает героям Руссо внутреннее благородство, которое выделяет их среди других «новых людей» и делает столь привлекательными.

Первыми «новыми людьми», оставившими яркий след в английской культуре, были представители предромантического поколения — Уильям Годвин (1756–1836), автор «Исследования о политической справедливости» (1793) и романов «Вещи как они есть, или Приключения Калеба Вильямса» (1794), «Сен-Леон»[164] (1799), «Флитвуд, или Новый человек чувства» (1805), и Мэри Уолстонкрафт (1759–1797). Оба они придерживались радикальных просветительских воззрений, обоим был свойствен интеллектуальный рационализм, сочетавшийся с сентиментальностью, и страстная вера в необходимость борьбы за новое общество и новые человеческие отношения. Перу Мэри

принадлежали «Мысли о воспитании дочерей» (1787), «Оригинальные рассказы о реальной жизни» и «Правдивые рассказы из реальной жизни» (1788) для детей, которые иллюстрировал Уильям Блейк, а также политические сочинения «Защита прав человека» (1790), «Защита прав женщины» (1792) и вышедший посмертно незаконченный социально-исторический роман «Мария, или Обиды, чинимые женщине» (1798). В 1797 г. она вышла замуж за У. Годвина. Совместная жизнь их была недолгой, однако, по-видимому, счастливой и полной взаимного доверия (Мэри умерла от родильной горячки). После ее смерти Годвин опубликовал «Жизнь автора „Защиты прав женщины“» (1798), где с большой теплотой и откровенностью поведал о ее нелегком существовании в семье родителей, о ее чувствительной душе и, что было особенно необычным, о двух ее любовных связях, предшествовавших браку, в частности — с американским писателем Гилбертом Имлеем, от которого она родила дочь Фанни. Младший современник Годвина, один из лидеров английского романтизма Перси Биши Шелли, претворяя в жизнь идеал свободного чувства, бросил жену и двоих детей, чтобы соединить судьбу с Мэри Годвин, дочерью Годвина и Уолстонкрафт. Шелли преклонялся перед Годвином и перенял его пылкую веру в необходимость революционного преобразования человечества. Его союз с Мэри Годвин тоже был, по-видимому, счастливым, несмотря на сопутствовавшие ему два самоубийства (первой жены Шелли и приемной дочери Годвина, Фанни, также влюбившейся в поэта) и громкий скандал, связанный с лишением поэта родительских прав. Именно на Годвина и Шелли ссылался Уэллс, проповедуя идеал свободной любви.

Русский читатель может вспомнить, что и у нас в середине XIX в. появились «новые люди»: их литературные портреты были созданы Н. Г. Чернышевским в романе «Что делать?» и И. С. Тургеневым в «Отцах и детях». Герои Чернышевского внутренне уже вполне освободились от «традиционных ценностей» и лишь заботятся о том, чтобы не слишком шокировать общественное мнение, разыгрывая комбинацию с мнимой смертью Лопухова, позволяющей Вере Павловне, не нарушая общественных приличий, «законно» выйти замуж за Кирсанова. Герои Чернышевского могли бы быть близки Уэллсу своими социальными идеалами, равно как и идеалами личной жизни, Базаров же — своей верой в науку.

В Англии середина и вторая половина XIX в. — время правления королевы Виктории — эпоха консолидации общества на основе консервативных нравственных идеалов и продуманной политики постепенных реформ, время возрастания имперской

мощи страны, ощущения стабильности и социального благополучия. Свободно проповедовать идеалы «новых людей» и открыто строить свою жизнь в соответствии с ними немыслимо. Тем ожесточеннее окажется бунт против викторианства на рубеже XIX–XX вв.

Герберт Уэллс был как раз представителем поколения, которое наконец решительно пошло против религиозных устоев и моральных запретов, против всего того, что стало именоваться «викторианским ханжеством». Он с удовольствием называет себя в «Опыте автобиографии» безбожником и мятежником, строит жизнь на основах научного разума, уже не испытывая нужды в оглядке ни на религиозные запреты, ни на мнения и предрассудки родителей, ни на традиционный образ мыслей своей среды. В романах, трактатах, лекциях и выступлениях в Фабианском обществе он проповедует домарксовый социализм, Мировое государство и свободную любовь, идеи которой решительно претворяет в собственной жизни.

Все, что рассказывает Уэллс о своих отношениях с женщинами в «Опыте автобиографии», особенно в последней его части, опубликованной посмертно, весьма любопытно для историка культуры 20-го столетия[165]. Его любовные увлечения сами собою выстраиваются в своего рода целостный литературный сюжет, в котором можно при желании обнаружить и «мораль». По молодости и неопытности Уэллс еще не осмеливается открыто бунтовать и в полном соответствии с законами благонравия женится на кузине Изабелле, однако ей совершенно чужд его мятежный дух, и он оставляет ее ради своей студентки Эми Кэтрин. Здесь он уже предпочел бы обойтись без женитьбы, удовлетворившись одним родством душ, но общество в лице соседей, домовладелиц, слуг, родных Эми вынуждает его пойти на новый брак. Обзаведясь домом, двумя детьми, достигнув известности, Уэллс чувствует, что положение позволяет ему наконец строить дальнейшие отношения с женщинами на своих условиях.

Начинается череда романов, которые писатель вовсе не стремится утаить от общества, ведь он не какой-нибудь Дон-Жуан, а «новый человек» и живет в соответствии со своими убеждениями. Его убеждения разделяет и жена, которая безропотно сносит все светские скандалы и даже время от времени в знак дружеского расположения делает подарки очередной любовнице мужа, например Эмбер Ривз. Она запросто гостит с детьми в швейцарском шале графини Элизабет фон Арним, новой героини нового романа Уэллса, которая позднее станет главным действующим лицом «Страстных друзей» (1913).

Единственным неудобством для Уэллса является то, что «свободная любовь» не освобождает от появления на свет детей. Он чувствует, что женщины, родившие ему детей, оказываются в двусмысленном положении и одними деньгами тут делу не поможешь. Государство, рассуждает Уэллс, должно оказывать помощь таким матерям. Отдавать собственных детей в приют он, однако, не собирается, в отличие от одного из своих учителей — Руссо, заставившего сожительницу отправить туда четверых детей. Тем не менее рождение ребенка приводит Уэллса к разрыву с еще недавно любимой женщиной. Так было с Эмбер Ривз, потом с Ребеккой Уэст, однако и дочь от Дузы, и особенно сына от известной писательницы и журналистки Ребекки Уэст, в будущем тоже известного писателя Энтони Уэста, Уэллс искренне любит, заботится о них и, когда придет черед, внебрачный сын Энтони, вместе с законными сыновьями Джипом и Фрэнком, развеет прах отца, согласно его завещанию, над Северным морем.

В 1934 г. в журнале «Тайм энд Тайд» Одетта Кюн, эротическое приключение с которой переросло в утомительную связь, опубликовала три статьи, которые можно рассматривать как своеобразную (и негативную) духовную и творческую биографию Уэллса. В конечном счете «правда» любовницы, с которой было невозможно показаться в приличном английском обществе, сводилась к шаблонной фрейдистской схеме: мальчик, родившийся в бедности и убожестве, жаждет отомстить миру за годы лишений, постоянное непонимание в семье, за то, что не получил полноценного (т. е. университетского) образования. Поэтому, повзрослев, Уэллс стал социалистом. Поэтому пером своим создал фантастические миры и теперь, как доктор Моро, манипулирует человечеством и его сознанием и, как новый Казанова, играет любовью женщин.

Конечно, Одетта подстраивала под факты общественной деятельности Уэллса собственные представления о нем. Их постоянные, иногда вульгарные стычки она старалась возвести до степени интеллектуальных разногласий. Кое в чем Одетта была права — недаром она прожила с Уэллсом десять лет и много узнала о свойствах его характера. Однако образ, созданный в ее минибиографии, оказался искаженным. Уэллс ответил на ее инвективы позднее, в форме автобиографического во многом романа «Кстати о Долорес» (1938). Это была непримиримая и жестокая отповедь. Он постарался уничтожить репутацию бывшей подруги, «олицетворения всепожирающего, ненасытного эгоизма», неинтеллигентной, лицемерной, истеричной, с развращенным воображением.

Совсем иначе складывались его отношения с баронессой

Мурой Будберг, бывшим литературным секретарем А. М. Горького, таинственной и очаровательной русской женщиной, первой, кто не пытался женить его на себе, кому свобода оказалась еще нужнее, чем ему самому. Но вот парадокс! Понять и принять последнее обстоятельство Уэллс, апологет свободной любви, так и не смог. Его возмущает, что у Муры есть тайны, что она исчезает неизвестно куда, а вернувшись, никогда не рассказывает, где была! Уэллс становится ревнивым и подозрительным. Предлагает, даже требует заключить законный брак. Встреча с Мурой для Уэллса — своего рода возмездие, их отношения заставляют «нового Казанову» желать возвращения к обычной семейной жизни. Но этого не хочет Будберг. Она отказывает ему. Конфликт с Мурой ставит его на грань самоубийства…

Впрочем, такая трактовка содержания третьего тома автобиографии удовлетворит, пожалуй, только читателя, придерживающегося традиционных семейных ценностей. Самому же Уэллсу собственная личная жизнь в целом представлялась вполне удачной, такой же, скорее всего, покажется она и тем, кто разделяет его либеральные взгляды на отношения полов. Уэллс пропагандирует контрацепцию и планирование семьи, идеи, тогда называвшиеся неомальтузианством. И мечтает о новой «формуле» истинно свободной любви — без ревности, без слез, без драм, без жертв…

* * *

Что же касается других составляющих жизненной программы Уэллса — либерального социализма и Мирового государства, — то идея построения счастливого общества на земле заняла в его сознании место религии: «я хочу рассказать, как развивался мой разум, как постепенно возникал новый взгляд на мир, как плановая перестройка человеческих взаимоотношений в форме Мирового государства стала и целью, и поверкой моей деятельности, в той же мере, как Ислам — цель и поверка для мусульманина, а Царство Божие и спасение — для искреннего христианина» (с. 266 наст. изд.[166]). Уэллс называет себя человеком «религиозным» в том смысле, что он служит некой высшей идее и подчиняет свою жизнь этому служению. Он постоянно противопоставляет «веру» в Мировое социалистическое государство христианству, которое эта новая «вера» призвана сменить. Интеллектуалы и управленцы должны охватить весь мир сетью своих организаций, составив «легальный заговор», подобно

тому, как прежде раскинуло свои «сети» по всему миру христианство.

«Новая религия» Уэллса лишена трансцендентального плана, и вся нацелена на достижение счастья в земной жизни, реализацию утопического проекта идеального государственного устройства. Подобная «социальная религия», как нам уже известно из собственного исторического опыта, отменяет традиционную (христианскую) мораль и подменяет ее понятиями целесообразности и пользы. Служение этой идее для человека, искренне стремящегося ко благу, таит в себе огромные опасности.

Идеолог переустройства мира начинает мыслить о своих собратьях в масштабах больших цифр. Рассчитывая на созидательную деятельность передовых умов, Уэллс пишет: «Только от них можно ждать творческого импульса. Для революционной теории прочее человечество имеет не больше значения, чем речной ил для проектирования землечерпалки, которая очистит реку» (с. 375 наст. изд.[167]). Он, конечно, предполагает обойтись минимальными потерями, но и большевики, проводя революционный террор по отношению к разным слоям русского народа, тоже надеялись, что людские потери будут минимальными и необходимыми.

Мыслитель, одержимый абстрактной социальной идеей, перестает любить окружающих — реальных и конкретных людей. Всматриваясь в свой внутренний мир, Уэллс с некоторой грустью признавался, что эксплуатировал любовь тех, кто был щедрее его и обеспечивал ему удобную жизнь. В отличие от них, он был сосредоточен на себе и ни разу не проявил бескорыстной любви к какому-нибудь лицу или месту. «Любить бескорыстно мне не дано. Не раз я по уши влюблялся, но это уже нечто иное». Время от времени он «судорожно» начинал делать деньги, но теперь, весной 1932 года, когда ему уже 65 лет, он «молит» судьбу дать возможность пожить спокойно и сделать нечто великое во искупление вины. Это серьезное признание, и оно не является просто фактом личной биографии. В свое время Джонатан Свифт, скептически относившийся к идеям Просвещения и заслуживший за это прозвище Мизантроп, говорил, что ему «ненавистна разновидность под названием человек», однако он питает «самые теплые чувства к Джону, Питеру и Томасу»[168]. Наследник просветительской мысли Герберт Уэллс, напротив, искренне признается, что неспособен любить отдельного человека, но желал бы, в виде искупления, сделать счастливым все человечество.

Возводя социальную идею в ранг религии, Уэллс поневоле проявляет нетерпимость ко всякому инакомыслию, тем более

поразительную, что он сам (и вполне справедливо) называет свой образ мыслей либеральным. В эпоху Просвещения, когда слово «либеральный» перешло из бытового языка в идеологический и политический, оно означало человека широких взглядов, восприимчивого к новым идеям, терпимого к чужому мнению. Таким представлялся самому себе и таким до известной степени действительно являлся Уэллс. Приехав в Россию в 1934 г., он был неприятно поражен «догматизмом» и «зашоренностью» и советских руководителей, и писателей во главе с Горьким, не поддержавших идею либерального ПЕН-клуба. Но, читая его рассказ о спорах и несогласиях с разными западными политиками, начинаешь замечать, что Уэллс расправляется со своими оппонентами самым безжалостным образом: люди, не усвоившие его образа мыслей, выставляются малолетними недоумками, учениками ограниченных гувернанток. Ту же категоричность мы находим в его концепции образования: написав очерк истории человечества в духе дарвинизма, Уэллс уверен, что по такой программе следует учить детей во всех школах мира, тогда и воспитается поколение интеллектуалов, которые будут мыслить одинаково. Эти интеллектуалы и станут правящим слоем в новом Мировом государстве, где инакомыслие будет просто «не в природе вещей».

В зрелом возрасте Уэллсу пришлось с сожалением признать, что человечество странным образом не желает идти туда, куда толкает его утопическая мысль; что человечеству, видимо, вообще не по силам великая задача обновления мира, и его, Уэллса, идеи остаются невостребованными. Более того, эти идеи подвергаются критике, особенно в становящемся все более популярным в XX в. жанре антиутопии. Начало ему (что тоже знаменательно) положил внук столь почитавшегося Уэллсом ученого Томаса Хаксли, известный романист Олдос Хаксли, сатирически изобразивший в романе «Прекрасный новый мир» (1932) внешний комфорт жизни и внутреннее убожество личности, попавшей под тотальную опеку «совершенного» государства, вкусившей «преимущества» свободной любви, признающей лишь безответственное наслаждение и аплодирующей «мудрости» государственной политики искусственного воспроизводства потомства.

Параллельно с творческой деятельностью Уэллса еще с конца XIX в. в западной философии появились и стали развиваться течения, доказывавшие, что понятие «разум», созданное философией и естественной наукой Нового времени, есть в сущности некая абстрактная условная конструкция, имеющая к реальному человеческому разуму и его работе слабое отношение.

Такие философские течения, как «философия жизни», а затем феноменология и экзистенциализм, набиравшие силу на протяжении первой половины XX в., сосредоточились на исследовании самоощущения и самосознания отдельного конкретного человека в его отношениях с окружающими людьми и социальными институтами. Именно к литераторам этих направлений стало все больше приковываться внимание читателей. Уэллс же со своим «планетарным мышлением» оказался отодвинутым в сторону. Рядовому западному «частному человеку», ищущему в литературе изображения и истолкования своей жизни, глобальные научно-утопические построения перестали быть интересны. Более того, пройдет еще полстолетия и взгляды «лондонского» мечтателя многим покажутся не менее опасными, чем взгляды мечтателя «кремлевского». На пороге XXI в. поднял голову Франкенштейн глобализма. «Новые люди», просвещенные менеджеры, ловкие управленцы, которых так мечтал воспитать Уэллс в едином планетарном государстве, стали заклятыми врагами людей «сверхновых», больше всего на свете опасающихся потерять свою самобытность, идентичность, яростно протестующих против любых манипуляций общественным мнением, готовых сражаться со всем, что стирает спасительное разнообразие мира.

И тем не менее «Опыт автобиографии» очень интересен и очень поучителен. В творческой личности Уэллса — его достоинствах, недостатках, достижениях, поражениях — проявился дух его эпохи, сконцентрировались многие противоречия интеллектуальной жизни Европы XX в. Вдумываясь в идейное развитие Уэллса, мы имеем возможность яснее понять исторические события недавнего прошлого и, следовательно, вернее представлять себе порожденный ими день сегодняшний. Альтернатива, перед которой ставит нас Уэллс, действительно важна. Ратуя за свободу личных отношений и Мировое государство, он боролся против того, что мешало их окончательной победе: основанного на христианских ценностях традиционного общества, традиционной морали, традиционной семьи, национального самосознания и национального образа жизни. Одержал ли Уэллс в своей борьбе победу? Вряд ли. Однако главная ценность его итоговой книги, возможно, даже не в изложенных в ней идеях и мыслях, а в том, что благодаря им, на контрасте с ними проясняются, делаясь совершенно очевидными, мысли иные: да, прогресс неостановим, изгонять из жизни новое глупо и бессмысленно. А с другой стороны — нет ничего новее старых истин. Потому-то они и вечные.

Основные даты жизни и творчества Г.-Дж. Уэллса

1866. Родился 21 сентября в Бромли, Кент. Мать до замужества — горничная, впоследствии — экономка в усадьбе Аппарк (Верхний парк). Отец — садовник, игрок в крикет, лавочник.

1874–1880. Учится в Коммерческой академии Морли, Бромли.

1880. Ученик в магазине тканей «Роджерс и Денайер», Виндзор.

1881. Один месяц работает у аптекаря Сэмюела Кауэпа, Мидхерст, Сассекс. Затем — два года ученичества в магазине тканей Хайда, Саутси.

1883–1884. Работает младшим учителем в начальной школе Хореса Байета, Мидхерст.

1884–1885. Профессор Хаксли и биология.

1885–1886. Профессор Гатри и физика.

1886–1887. Профессор Джад и геология. Поступает в Лондонский университет на от деление зоологии.

1887. Преподает в Академии Холта (Северный Уэльс).

1889–1890. Домашняя школа Хенли, Килберн, Лондон.

1890–1893. Работает ассистентом в колледже для заочников, Кембридж.

1890. Получает научную степень бакалавра естественных наук (по зоологии и геологии), Лондонский университет.

1891. Женится на двоюродной сестре Изабелле Мэри Уэллс. Публикует статью «Новое открытие единичного» (журнал «Фортнайтли ревью»).

1893. Оставляет жену ради студентки колледжа Эми Кэтрин Роббинс. Статья «Похвала физиографии» (в соавторстве с Р.-Э. Грегори), «Учебное пособие по биологии».

1895. Расходится с Изабеллой Мэри Уэллс и женится на Эми Кэтрин Роббинс. «Избранные разговоры с дядей», «Машина времени», «Похищенная бацилла», «Чудесное посещение».

1896. «Эволюция человечества: искусственный процесс» (журнал «Фортнайтли ревью»), «Остров доктора Моро», «Колеса Фортуны».

1897. «Моральные принципы и цивилизация» (журнал «Фортнайтли ревью»), «История Плэттнера», «Человек-невидимка», «Кое-какие личные делишки», «Тридцать рассказов о необычайном», «Звезда».

1898. «Война миров».

1899–1900. Строит Спейд-хауз (Пиковый дом), архитектор Ч.-Ф.-А. Войси. «Когда спящий проснется», «Рассказы о Пространстве и Времени».

1900. «Любовь и мистер Льюишем».

1901. Родился сын Джордж Филип Уэллс. «Первые люди на Луне», «Предвидения», «Армагеддон».

1902. «Открытие будущего» (лекция в Королевском институте). «Морская дева».

1903. Родился сын Фрэнк Ричард Уэллс; Г.-Дж. Уэллс вступает в Фабианское общество. «Человечество в процессе становления», «Двенадцать рассказов и Сон», «Сухопутные броненосцы» (рассказ о танках в журнале «Стрэнд мэгэзин».

1904. «Пища богов».

1905. «Киппс: история простой души», «Современная Утопия».

1906. Первое посещение Америки. «В дни кометы», «Ошибки фабианства», «Будущее Америки», «Социализм и семья», доклад «Так называемая социологическая наука».

1907. «Чтобы не жали башмаки».

1908. Выходит из членов Фабианского общества. «Первое и Последнее», «Новые миры вместо Старых», «Война в воздухе».

1909. Переезд из Сандгейта в Лондон. «Анна Вероника: история современной любви», «Тоно Бенге».

1910. «История мистера Полли».

1911. «Новый Макиавелли», «„Страна слепых“ и другие рассказы», «Игры на полу» (для детей). Статья «Современный роман».

1912. Переезжает в новый дом Истон Глиб, Эссекс, но оставляет за собой квартиру в Лондоне. «Брак», «Великое государство в Прошлом» в книге «Великое государство. Статьи о конструктивном развитии».

1913. «Страстные друзья», «Маленькие войны» (для детей).

1914. Родился Энтони Уэст (сын Г.-Дж. Уэллса и журналистки Сесили Фэрфилд, известной под псевдонимом Ребекка Уэсг). «Война, что положит конец войнам», «Англичанин смотрит на мир», «Освобожденный мир», «Жена сэра Айзека Хармена».

1915. «Бун» (под псевдонимом Реджинальд Блисс), «Великолепное исследование», «Билби».

1916. Поездки на фронты Италии, Франции и Германии. «Основы переустройства мира», «Что грядет?», «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна».

1917. «Война и Будущее», «Невидимый владыка Бог», «Душа епископа».

1918. Подготовка антигерманского материала для лорда Нортклифа (Министерство пропаганды). «В четвертый год» (включая «Мир разумного человека»), «Джоанна и Питер».

1919. «Идея Лиги Наций» (соавтор), «История — одна на всех», «Неугасимый огонь».

1920. Встреча с Лениным в Москве. «Очерк истории», «Россия во мгле».

1921. «Спасение цивилизации» (конференция в Вашингтоне).

1922. Безуспешно баллотируется в парламент от Лондонского университета как официальный кандидат Лейбористской партии. «В тайниках сердца», «Краткая история мира».

1923. Участвует в выборах на должность ректора Университета Глазго, но терпит поражение: избран лорд Беркенхед. «Вашингтон и надежда на мир во всем мире», «Социализм и наука — движущая сила», «Люди как боги».

1924. Переселяется на Французскую Ривьеру — дома Лу-Бастидон близ Граса, потом Лу-Пиду. «Год пророчеств», «История Великого Учителя», «Мечта».

1925. «Отец Кристины Альберты».

1926. «Мир Уильяма Клиссольда», «Возражение мистеру Беллоку в связи с „Очерком истории“».

1927. Смерть Кэтрин Уэллс. «Полное собрание рассказов», «В ожидании» (др. название «Между тем»), «Демократия в процессе пересмотра» (лекция в Сорбонне).

1928. «Книга Кэтрин Уэллс (с предисловием Г.-Дж. У.)», «Легальный заговор», «Путь, по которому идет мир», «Мистер Блетсуорси на острове Рэмпол».

1929. «Здравый смысл и мир во всем мире» (обращение к рейхстагу в Берлине), «Король по праву» (киносценарий), «Приключения Томми» (для детей).

1930. Продает дом Истон-Глиб. «Самовластье мистера Парэма».

1931. «Наука жизни» (в соавторстве с Джулианом Хаксли и Дж.-Ф. Уэллсом), «Что нам делать с нашей жизнью?», «Труд, богатство и счастье человечества».

1932. «После демократии».

1933. «Бэлпингтон Блэпский», «Облик грядущего».

1934. Поездка в Москву и встреча со Сталиным. «Опыт автобиографии. Открытия и заключения одного вполне заурядного ума».

1935. Покупает дом № 13 на Ганновер-террас, Лондон. Пишет о Новом американском курсе. Встреча с Ф.-Д. Рузвельтом. «Новая Америка: Грядущее» (киносценарий).

1936. Получает почетную степень доктора литературы в Лондонском университете, «Анатомия бессилия», «Чудотворец» (киносценарий), «Игрок в крокет», «Идея „Энциклопедии мира“».

1937. «Некролог на собственную смерть» (журнал «Коронет»), «Посещение Кэмфорда», «Рожденные Звездой», «Брунгильда».

1938. «Мировой интеллект», «Братья», «Кстати о Долорес».

1939. Узнает в Стокгольме о начале Второй мировой войны. «Судьба Homo Sapiens», «Странствия республиканца-радикала в поисках горячей воды», «Священный ужас».

1940. «Права человека», «Здравый смысл во времена войны и мира», «Все плывем на Арарат», «В темнеющем лесу», «Новый мировой порядок». Последнее посещение Америки.

1941. «Путеводитель по Новому Свету», «Необходима осторожность: очерк жизни 1901–1951».

1942. «Что ожидает Homo Sapiens?», «Наука и мировой разум», «Побежденное время», «Феникс», «Что необходимо для создания Международной организации».

1943. «Crux Ansata: Осуждение Римской Католической Церкви».

1944. Лондонский университет присуждает Уэллсу степень доктора наук за исследование «Иллюзорность некоторых представлений о продолжительности жизни многоклеточных организмов, в частности, вида Homo Sapiens», «От 42-го к 44-му: современные мемуары».

1945. Участвует во всеобщих выборах 1945 года. «Счастливый поворот», «Разум на пределе возможностей».

1946. 13 августа умирает в своем лондонском доме на Ганновер-террас.

Иллюстрации



Г.-Дж. Уэллс у микрофона Би-би-си (январь 1943 г.).



Фредерик Джозеф Уэллс и Герберт Джордж Уэллс (1869 г.).



Мать Г.-Дж. Уэллса Сара Уэллс в Ап-парке (1890-е годы).



Отец Г.-Дж. Уэллса Джозеф Уэллс (1902 г.).



Г.-Дж. Уэллс (1876 г.).



М. И. Будберг в старости.



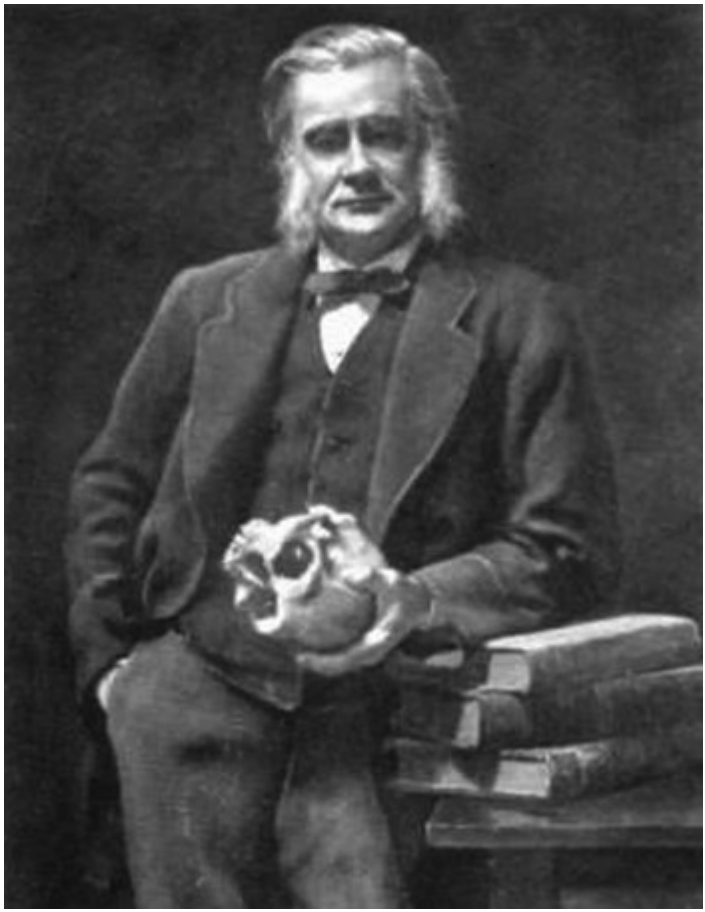
В Лу-Пиду: Энтони Уэст, его знакомая, Одетта Кюн, Г.-Дж. Уэллс.



М. И. Бенкендорф (Мура), Москва (1918 г.).



М. И. Будберг с Г.-Дж. Уэллсом в Брайтоне (1935 г.).



Томас Хаксли.



Изабелла Мэри Уэллс (1886 г.), первая жена Г.-Дж. Уэллса (1891–1895 гг.).



Г.-Дж. Уэллс и Сара Уэллс.



Иллюстрированное письмо от 21 сентября 1892 г.



Вайолет Хант.



Эмбер Ривз (1908 г.).



Элизабет фон Арним.



Ребекка Уэст.



Уэллс на комиссии по расследованию дела о поджоге рейхстага (1933 г.).



Портрет Г.-Дж. Уэллса работы Хоуарда Костера (1935 г.).



Уэллс за письменным столом.



Дороти Миллер Ричардсон.



Little Bertie writing away for dear
life to get little things for all his
little People sends his love to
Little Clock Man & Little Daddy &
Little Mother.

Иллюстрированное письмо от 5 декабря 1894 г.



Г. -Дж. Уэллс (1890-е годы).



Г.-Дж. Уэллс (конец 1920-х годов).



Эми Кэтрин Уэллс (1920-е годы).



Г.-Дж. Уэллс (1895 г.).



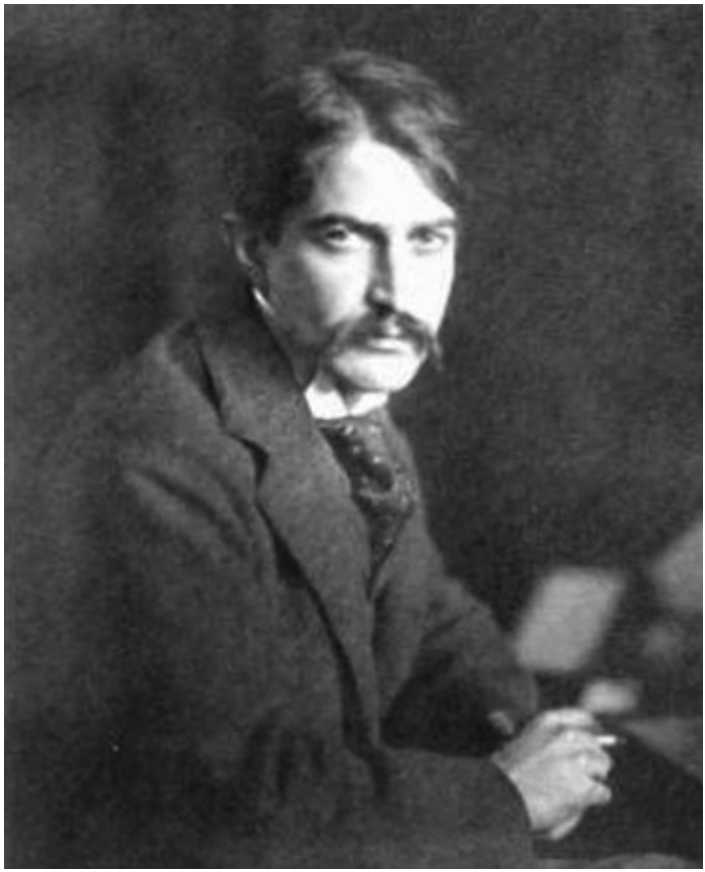
Изабелла Мэри Уэллс (1900 г.).



Эми Кэтрин Роббинс (1893 г.), вторая жена Г.-Дж. Уэллса (с 1895 г.).



Джордж Гиссинг (1901 г.).



Стивен Крейн (1899 г.).



Уэллс, сфотографированный женой (1920-е годы).



Уэллс с женой и детьми в Спейд-хаусе.



Герберт Уэллс и Максим Горький в Петрограде (1920 г.).

Их переводчица — Мария Игнатьевна Бенкендорф, впоследствии баронесса Будберг.



Эми Кэтрин Уэллс (Джейн).



Грэм Уоллас (1898 г.).



Супруги Уэбб (1902 г.).



Г.-Дж. Уэллс и супруги Шоу (1902 г.).



Джозеф Конрад с сыном (1902 г.).



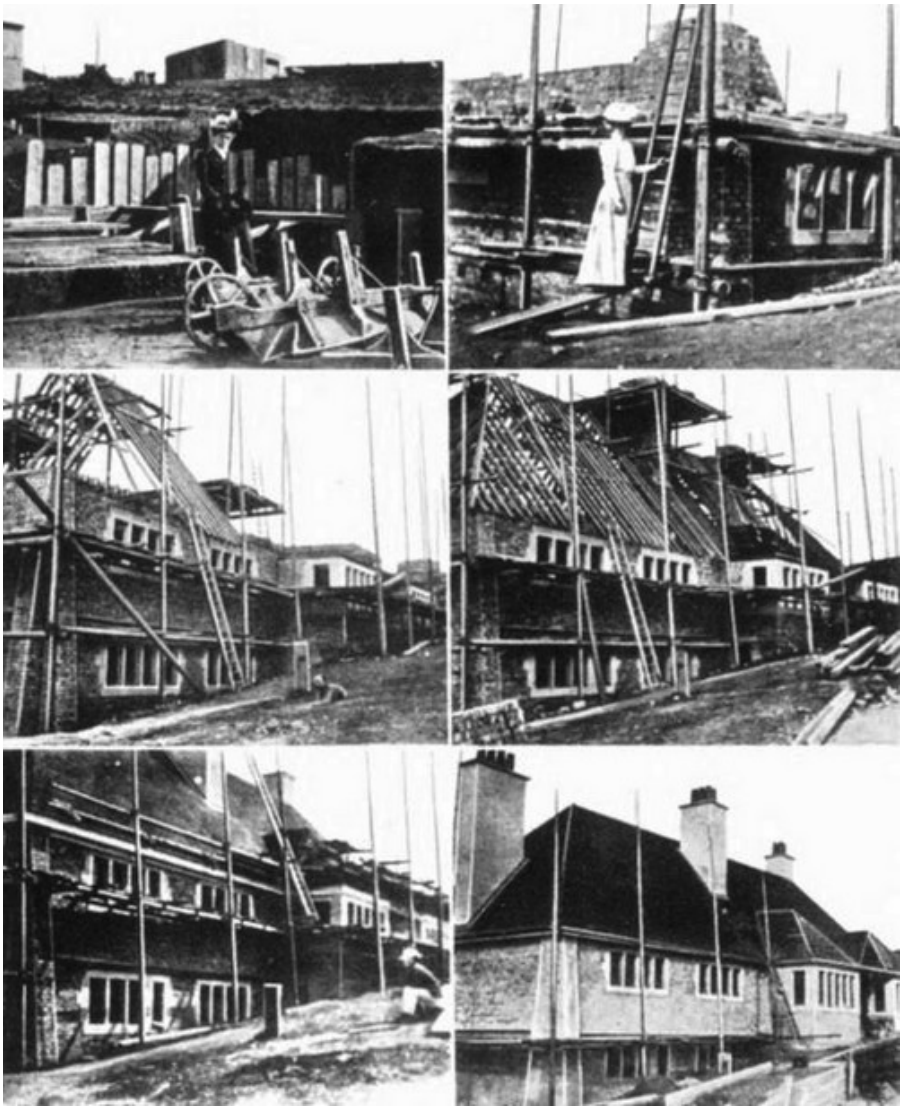
Сыновья Г.-Дж. Уэллса.



Г.-Дж. Уэллс и Эми Кэтрин Уэллс (1895 г.).



На велосипеде.



Строительство дома.



Строительство дома.

Указатель имен [169]

Августин Аврелий (Augustinus Aurelius).

Авраам.

Адамс Билл (Adams Bill).

Акройд У.-Р. (Ackroyd W.-R.).

Александер Джордж (Alexander George).

Александр II.

Аллен (Чарльз) Грант Блэрфинди (Allen Charles Grant Blairfindie).

Алсинг (Alsing).

Анвин Реймонд (Unwin Raymond).

Анвин Томас Фишер (Unwin Thomas Fisher).

Андреева (урожд. Юрковская) Мария Федоровна.

Андрейчин Георгий Ильич.

Аникст Александр Абрамович.

Анубис.

Аполлон.

Апулей.

Арабелла — *см.* Кенди Арабелла.

Аристотель.

Арлен Майкл (Arlen Michael).

Арним Геннинг Август, граф фон (Amim Henning August, Graf von).

Арним Элизабет (урожд. Мэри Аннет Бичем), графиня фон (Amim Elizabeth (Mary Annette Beauchamp), Griffin von) (Крошка Элизабет), в дальнейшем графиня Рассел (Countess Russell).

Арчер Уильям (Archer William).

Асквит Элизабет (Asquith Elizabeth).

Аскоу (Ascough).

Астор Уильям Уолдорф (Astor William Waldorf, 1st Viscount Astor).

Астор (урожд. Ленгорн) Нэнси Уитчер, леди (Astor (Langhome) Nancy Witcher, Viscountess Astor).

Асторы (Astors).

Аткинсон (Atkinson).

Атлас.

Багнольд Энид Алджерин (Bagnold Enid Algerine).

Байет Хорес (Byatt Horace).

Байет Хорес младший.

Байрон Джордж Гордон, лорд Байрон (Byron George Gordon, 6ht Baron Byron).

Бакстер Чарльз (Baxter Charles).

Бакстоны (Backstones).

Баллард Джеймс Грэм (Ballard James Graham).

Бальзак Оноре де (Balzac Honore de).

Бальфур Артур Джеймс, лорд (Balfour Arthur James, 1st Earl of Balfour).

Бальфур Фрэнсис (Balfour Francis).

Барбюс Анри (Barbusse Henri).

Баркер (Barker).

Баркер, сэр Эрнест (Barker, Sir Ernest).

Барри, сэр Джеймс Мэтью (Barrie, Sir James Matthew).

Баррон Освальд (Barron Oswald).

Батлер Сэмюел (Butler Samuel).

Батсфорд Герберт (Batsford Herbert).

Бах Иоганн Себастьян (Bach Johann Sebastian).

Беда Достопочтенный (Bede the Venerable).

Безант Анни (Besant Annie).

Белла, тетя — *см.* Кенди Арабелла.

Беллами Эдвард (Bellamy Edward).

Беллок Джозеф Хилэр Питер (Пьер) (Belloc Joseph Hilaire Peter) (Pierre).

Беллэрс Карлайон (Beliaks Carlyon).

Бенем (в замужестве Нил) Сара (Benhem (Neal) Sarah), бабушка Г.-Дж. Уэллса.

Бенеш Эдуард (Benes Eduard).

Бенкендорф Иван Александрович.

Бенкендорф Павел Иванович, сын М. И. Будберг.

Бенкендорф (в замужестве Александер) Таня (Татьяна Ивановна), дочь М. И. Будберг.

Беннет (Инок) Арнольд (Bennet (Enoch) Arnold).

Бенсон Роберт Хью (Benson Robert Hugh).

Бентам Джереми (Benthamjeremy).

Беньян Джон (Bunyan John).

Беркенхед, сэр Джон (Bkkenhead, Sir John).

Берл Адольф Огастес, младший (Berle Adolf Augustus, Jr.).

Берт, Берти — *см.* Уэллс Герберт Джордж Бертон Уильям (Burton William).

Беттерейв Уилфред Б. (Betterave Wilfred B.), псевдоним Г.-Дж. Уэллса.

Бетховен Людвиг ван (Beethoven Ludwig van).

Бёрк Эдмунд (Burke Edmund).

Бёрни Фанни (Burney Fanny).

Бёрнс Роберт (Bums Robert).

Бибай (Beeby).

Бибеско Антуан (Бибеску Антон), князь (Bibesco Antoine, Bibescu Anton).

Бивербрук, сэр Уильям Максуэлл Эйткен, лорд (Beaverbrook, Sir William Maxwell Aitken, 1st Baron).

Бирбом, сэр Макс (Максимилиан) (Beerbohm, Sir Max (Maximilian)).

Бирбом Три, сэр Герберт (Beerbohm Tree, Sir Herbert).

Биркбек Джордж (Birkbeck George).

Бирс Амброз (Bierce Ambrose).

Бирчинаф Дж. (Birchenough J.).

Бисмарк Отто фон (Bismark Otto von).

Бичем Сидней (Beauchamp Sidney).

Бланд, миссис — *см.* Несбит (в замужестве Бланд) Эдит.

Бланд Хьюберт (Bland Hubert).

Бланды (Blands).

Бланко Уайт Джордж Риверс (Blanco White George Rivers).

Бланчамп (Blanchamp).

Блейк Уильям (Blake William).

Блиох (Блох) Иван Станиславович.

Бодли, сэр Томас (Bodley, Sir Thomas).

Бойс, сэр Чарльз Вернон (Boys, Sir Charles Vernon).

Бокер (Boker) — *см.* Боукет Сидней Питт Болдуин Стэнли, граф Болдуин (Baldwin Stanley, 1st Earl Baldwin of Bewdley).

Бонапарт (урожд. Рамолино) Летиция (Buonaparte (Ramolino) Maria Letizia).

Бондарев Александр Петрович.

Борхес Хорхе Луис (Borges Jorge Luis).

Босуэлл Джеймс (Boswell James).

Боттомли Горацио Уильям (Bottomle Horatio William).

Боттомли Дж.-Х. (Bottomley J.-H.).

Боукет Сидней Питт (Bowkett Sidney Pitt).

Боутон Джордж Генри (Boughton George Henry).

Боэций Аниций Манлий Северин (Boethius Anicius Manlius Severinus).

Брайт Джон (Bright John).

Браннер Джон Килиан Хьюстон (Brunner John Kilian Houston).

Браун, сэр Томас (Browne, Sir Thomas).

Браунинг Роберт (Browning Robert).

Браунлоу (Brownlow).

Брейлсфорд Генри Ноэл (Brailsford Henry Noel).

Брентфорд, лорд — *см.* Джойнсон-Хикс, сэр Уильям, лорд Брентфорд Бретт Джордж Платт (Brett George Platt).

Бриггс Джон С.-Т. (Briggs Jonh C.-T.).

Бриггс Уильям (Briggs William).

Бронте, сестры, Анна (Энн), Эмили Джейн, Шарлотта (Bronte Anne, Emily Jane, Charlotte).

Брэдлоу Чарльз (Bradlaugh Charles).

Буасвены (Boissevains).

Бубнов Андрей Сергеевич.

Будберг Йоханн, барон фон (Budberg Johann, Freiherr von).

Будберг (урожд. Закревская, в первом браке Бенкендорф) Мура (Мария Игнатьевна), баронесса, переводчица.

Будда.

Булвер-Литтон Эдвард Джордж Эрл, лорд Литтон (Bulwer-Lytton Edward George Earle, 1st Baron Lytton).

Буллок, мисс — *см.* Фетерстоноу, мисс.

Буллок Фрэнсис — *см.* Фетерстоноу, леди.

Буль Джон (Bull John).

Бунин Иван Алексеевич.

Бэйл Джон (Bale John).

Бэкон Роджер (Bacon Roger).

Бэринг Морис (Baring Maurice).

Ваал.

Валлентин Энтонина (Vallentin Antonina).

Ван Лоон Хендрик Виллем (Van Loon Hendrik Willem).

Вашингтон Джордж (Washington George).

Вебстер Ной (Webster Noah).

Вейсман Август Фридрих Леопольд (Weismann August Friedrich Leopold).

Веласкес Родригес де Сильва (Velasquez Rodriguez de Silva).

Веллингтон Артур Уэллсли, герцог (Wellington Arthur Wellesley, 1st Duke of).

Вемис (урожд. Мориер) Виктория, леди (Wemyss (Morier) Victoria, Lady).

Венгерова Зинаида Афанасьевна.

Венера (Венера Урания).

Верн Жюль (Verne Jules).

Вертов Дзига (наст. имя — Денис Аркадьевич Кауфман).

Веттинсы (Wettinses).

Виктор-Эммануил II (Vittorio Emmanuele).

Виктория (Victoria), принцесса, с 1837 г. королева.

Вильгельм IV (William IV).

Вильсон (Томас) Вудро (Wilson (Thomas) Woodrow).

Вильямс Гарольд (Williams Harold).

Винсент Эдгар — *см.* Д'Абернон Эдгар Винсент, лорд.

Войси Чарльз Фрэнсис Ансли (Voysey Charles Francis Annesley).

Вольтер, Франсуа-Мари Аруэ (Voltaire, Francois-Marie Arouet).
Вольф Хамберт (Wolfe Humbert).
Воннегут Курт (Vonnegut Kurt).
Вордсворт Уильям (Wordsworth William).
Воронский Александр Константинович.
Вуд Джордж (Wood George).
Вудворд Мартин (Woodward Martin).
Вулф Вирджиния Аделина (Woolf Virginia Adeline).
Вулф Леонард Сидней (Woolf Leonard Sidney).

Гагарин Юрий Алексеевич.
Гайндман Генри Майерс (Hyndmann Henry Mayers).
Галилей Галилео (Galilei Galileo).
Галл Дженни (Gall Janie).
Гамильтон, сэр Уильям (Hamilton, Sir William).
Гамильтон Эмма (урожд. Эми Лайон) (Hamilton Emma (Amy Lyon)).
Ганноверы (House of Hanover).
Гарвин Джеймс Луис (Garvin James Louis).
Гарди Томас (Hardy Thomas).
Гарлик (Garlick).
Гарнет Дэвид (Garnett David).
Гаррик Дэвид (Garrick David).
Гатри Фредерик (Guthrie Frederick).
Гегель Георг Вильгельм Фридрих (Hegel Georg Wilhelm Friedrich).
Гедалла Филип (Guedalla Philip).
Гейзенберг Вернер Карл (Heisenberg Werner Karl).
Гейне Генрих (Heine Heinrich).
Гельвеций Клод-Адриан (Helvetius Claude-Adrien).
Гельцер Екатерина Васильевна.
Гемп Сара (Gamp Sarah, Sairey).
Генрих IV (Henry IV).
Генрих VII (Henry VII).
Георг IV (George IV).
Геракл.
Герц Элмер (Gertz Elmer).
Гест Хейден (Guest Haden).
Гёте Иоганн Вольфганг фон (Goethe Johann Wolfgang von).
Гиббон Эдвард (Gibbon Edward).
Гилберт Уильям Швенк (Gilbert William Schwenck).
Гиссинг Джордж Роберт (Gissing George Robert).
Гиссинг (урожд. Андервуд) Эдит (Gissing (Underwood) Edith).
Гитлер Адольф (Hitler Adolf).

Гладстон Уильям Юарт (Gladstone William Ewart).
Гладстоны (Gladstones).
Гленн Джон Гершел (Glenn John Herschel).
Гогенцоллерны (Haus Hohenzollem).
Годвин Мэри, в замужестве Шелли (Godwin Mary, Shelley).
Годвин Уильям (Godwin William).
Голдмен Эмма (Goldman Emma).
Голетто Морис (Goletto Maurice).
Голетто Фелисия (Goletto Felicia).
Голль Шарль де (Gaulle Charles de).
Голсуорси Джон (Galsworthy John).
Гомер.
Горации (Goratii).
Горький Максим (Алексей Максимович Пешков).
Госсе, сэр Эдмунд (Gosse, Sir Edmund).
Готорн Натаниел (Hawthorne Nathaniel).
Грандисон Чарльз (Grandison Charles).
Граут (Grout).
Гревил Чарльз (Greville Charles).
Грегори Монди (Gregory Mondy).
Грегори, сэр Ричард Арман (Gregory, Sir Richard Arman).
Грей, сэр Эдвард, виконт Фаллодонский (Grey, Sir Edward, 1st Viscount Grey of Fallodon).
Гренфелл, сэр Уилфред Томпсон (Grenfell, Sir Wilfred Thompson).
Гримм Якоб Людвиг Карл (Grimm Jacob Ludwig Karl).
Грин, мисс (Green).
Грин Джек Томас (Grein Jack Thomas).
Грин Джон Ричард (Green John Richard).
Грэм Кеннет (Graham Kenneth).
Грэнвилл-Баркер Харли (Granville-Barker Harley).
Гувер Герберт Кларк (Hoover Herbert Clark).
Гуд Робин (Hood Robin).
Гулд Фредерик Джеймс (Gould Frederick James).
Гумбольдт Фридрих Генрих Александр фон (Humboldt Friedrich Heinrich Alexander von).
Гюго Виктор (Hugo Victor).

Д'Абернон Эдгар Винсент, лорд (D'Abernon Edgar Vincent, 1st Viscount).
Давид, царь.
Дайс и Фостер (Dyce and Foster).
Данк (Dunk).
Данн Джон Уильям (Dunne John William).

Данте Алигьери (Dante Alighieri).

Дарвин Чарльз (Darwin Charles).

Дарроу Кларенс (Darrow Clarence).

Д'Арси Элла (D'Arcy Ella).

Датт Палм (Dutt Palm).

Даубарн Чарльз (Dawbam Charles).

Даукинс Клинтон (Dawkins Clinton).

Дауни Ричард (Downey Richard).

Денайер (Denyer).

Денби Рудольф Филдинг, граф (Denbigh Rudolph Feilding, 9th Earl of).

Десборо (урожд. Фейн) Этель, леди (Desborough (Fane) Ethel, Lady).

Дефо Даниэль (Defoe Daniel).

Дешанель (Прива-Дешанель) Огюстен (Privat-Deschanel Augustin).

Джаггернаут (Juggernaut).

Джад Джон Уэсли (Judd John Wesley).

Джей-Кей — *см.* Кей Джон, по прозвищу Джей-Кей.

Джеймс Генри (James Henry).

Джеймс Уильям (James William).

Джеймсон, сэр Леандр Стар (Jameson, Sir Leander Starr, baronet).

Джейн — *см.* Роббинс (в замужестве Уэллс) Эми Кэтрин.

Джекобс (урожд. Уильямс) Агнес Элинор (Jacobs (Williams) Agnes Eleanor).

Дженнингс А.-В. (Jennings A.-V.).

Джепсон Эдгар (Jepson Edgar).

Джерарди Уильям Александр (Gerhardi William Alexander).

Джером Джером Клапка (Jerome Jerome Klapka).

Джефрис Ричард (Jefferies Richard).

Джи-Ви (G. V.), хозяин.

Джинс, сэр Джеймс Хопвуд (Jeans, Sir James Hopwood).

Джип — *см.* Уэллс Джордж Филип (Джип).

Джойнсон-Хикс, сэр Уильям, лорд Брентфорд (Joynson-Hicks, Sir William, 1st Viscount Brentford).

Джойс Джеймс (Joyce James).

Джонс (Jones).

Джонс (Jones).

Джонс Генри Артур (Jones Henry Arthur).

Джонс Родерик (Jones Roderick).

Джонсон Гарри Гордон (Johnson Harry Gordon).

Джонсон Сэмюел (Jonhson Samuel).

Джонстон, сэр Гарри Гамильтон (Johnston, Sir Harry

Hamilton).

Джордж Генри (George Henry).

Дидро Дени (Diderot Denis).

Дизраэли (Диззи) Бенджамин (Disraeli (Dizzy) Benjamin).

Дикинсон Голдсуорти Лоуэс (Dickinson Goldsworthy Lowes).

Дикинсон Уиллоуби Хайетт, лорд Дикинсон (Dickinson Willoughby Hyett, 1st Baron Dickinson).

Диккенс Чарльз (Dickens Charles).

Дикон (Dickon).

Дикс Флоренс (Deeks Florence).

Дикси Флоренс Кэролайн Дуглас, леди (Dixie Florence Caroline Douglas, Lady).

Диллон (Dillon).

Дин Бэзил Герберт (Dean Basil Herbert).

Дин Мерси (Dean Mercy).

Догберри (Dogberry).

Долл (урожд. Рузвельт) Анна Элинор (Dali (Roosevelt) Anna Eleanor).

Дольфус Энгельберт (Dollfus Engelbert).

Дональд, сэр Роберт (Donald, Sir Robert).

Дон-Жуан.

Дорек (Doreck).

Достоевский Федор Михайлович.

Драйден Джон (Dryden John).

Драммонд Генри (Drummond Henry).

Дуза — *см.* Ривз Эмбер (Дуза).

Дэвис Артур Морли (Davies Arthur Morley).

Дьюк Джон (Duke Jonh).

Дьюки (Dukes).

Дюма (Дюма-отец) Александр (Dumas Alexandre, Dumas-père).

Дю Морье Джордж (Du Maurier George).

Дядя Сэм (Uncle Sam).

Евгения (Евгения Мария де Монтихо де Гусман) (Eugénie, Eugenia María de Montijo de Guzmán), императрица.

Елизавета I (Elizabeth I).

Жоффр Жозеф Жак Сезер (Joffre Joseph Jacques Césaire).

Закревская Мария Игнатьевна — *см.* Будберг (урожд. Закревская, в первом браке Бенкендорф) Мура (Мария Игнатьевна).

Захаров, сэр Бэзил (наст. имя Басилеос Закариас) (Zaharoff, Sir Basil, Basileios Zacharias).

Зенкевич Михаил Александрович.
Зорин (Гомберг) Сергей.
Зыкова Екатерина Павловна.

Ивенс (Дэвид) Карадок (Evans (David) Caradoc).
Изабелла — *см.* Уэллс Изабелла Мэри.
Изольда (Iseult).
Иисус — *см.* Христос Иисус.
Имлей Гилберт (Imlay Gilbert).
Иов.
Иосиф.
Ирвинг Вашингтон (Irving Washington).
Ирвинг, сэр Генри (наст. имя — Джон Генри Бродрибб) (Irving, Sir Henry, John Henry Brodribb).
Исаак.

Йарроу Эрик (Yarrow Eric).

Кагарлицкий Юлий Иосифович.
Казанова Джованни Джакомо (Casanova Giovanni Jacomo).
Казенов, мадам (Casenov).
Калверт Аманда (Culwerth Amanda).
Кампанелла Томмазо (Campanella Tommaso).
Каннингем Грэм Роберт Бонтайн (Cunninghame Graham Robert Bontine).
Карл V (Karl V).
Карлейль Томас (Carlyle Thomas).
Каролина Брауншвейг-Люнебургская, королева (Caroline of Brunswick-Luneburg).
Каррик, леди (Carrick, Lady).
Кассел Джон (Cassell John).
Кассиодор (Cassiodorus).
Каст Гарри (Cust Harry).
Каупер Уильям (Cowper William).
Кауэп (Cowap).
Квилтер (Quilter).
Кеведо-и-Вильегас Франсиско Гомес де (Quevedo y Villegas Francisco Gomez de).
Кей Джон, по прозвищу Джей-Кей (Key John).
Кейн Холл (Caine Hall).
Кейнс Джон Мейнард (Keynes John Maynard).
Кейп Джонатан (Cape Jonathan).
Кейсбоу (Casebow).
Кейт — *см.* Пенникот Кейт Кенди Арабелла (Candy Arabella).

Кенди Мэри (Candy Mary).

Кентские, герцог и герцогиня (Kent, Duke and Duchess of).

Керн Мэгги (Kern Maggie).

Керзон Джордж Натаниел, маркиз Керзон (Curzon George Nathaniel, Marquess Curzon).

Кертис Лайонел (Curtis Lionel).

Кибл, сэр Фредерик (Keeble, Sir Frederick).

Кинг, мисс (King).

Кинг, сэр Уильям (King, Sir William).

Кингсли Чарльз (Kingsley Charles).

Кингсмилл Хью (Kingsmill Hugh).

Кингсмилл Этель (Kingsmill Ethel).

Киплинг Джозеф Редьярд (Kipling Joseph Rudyard).

Кирк (Kirk).

Китс Джон (Keats John).

Китченер Гораций Герберт, лорд Китченер (Kitchener Horatio Herbert, 1st Earl Kitchener).

Клайнс Джон Роберт (Clynes John Robert).

Клара — *см.* Пенникот Клара.

Кларендон Эдвард Хайд, граф (Clarendon Edward Hyde, 1st Earl of).

Клаттон Брок Артур (Clatton Brock Arthur).

Клейтон (в замужестве Харрис) Эмили Мэри (Clayton (Harris) Emily Mary).

Клемансо Жорж (Clemenceau George).

Клермонт, миссис (Claremont).

Клод Эдвард (Clodd Edward).

Клод Эдмунд (Clodd Edmund).

Книппер-Чехова Ольга Леонардовна.

Кобден-Сандерсон Стелла (Cobden-Sanderson Stella).

Кобден-Сандерсон Томас Джеймс (Cobden-Sanderson Thomas James).

Ковалев Юрий Витальевич.

Ковел (Cowell).

Кокорина Нина.

Колби Бейнбридж (Colby Bainbridge).

Колдер Ритчи (Colder Ritchie).

Коллинс, сэр Уильям Джоб (Collins, Sir William Job).

Колумб Христофор (Colombo Cristoforo, Colon Cristobal).

Колридж Сэмюел Тейлор (Coleridge Samuel Taylor).

Коменский Ян Амос (Komenský Jan Ámos).

Конан Дойл, сэр Артур (Conan Doyle, Sir Arthur).

Конрад Джозеф (наст. имя — Юзеф Теодор Конрад Коженёвский) (Conrad Joseph, Józef Teodor Konrad Korzeniowski).

Конт Огюст (Comte Auguste).

Конфуций.

Корда Александр (Korda Alexander).

Кортни У.-Л. (Courtney W.-L.).

Котелянский С. С.

Коуард Ноэл (Coward Noel).

Коул Мартин (Cole Martin).

Коулфакс (урожд. Холси) Сибил, миссис, затем леди (Colefax (Halsey) Sibyl, Mrs., Lady).

Крайтон-Браун Джеймс (Crichton-Browne James).

Крейг (в замужестве миссис Дж.-Ф. Уэллс) Марджори (Craig (Wells) Marjorie).

Крейн Кора (Crane Cora).

Крейн Стивен (Crane Stephen).

Крейн Уолтер (Crane Walter).

Кристабел — *см.* Макларен (урожд. Макнагтен) Кристабел Мэри Мелвилл, леди Эберконвэй.

Кромвель Оливер (Cromwell Oliver).

Кропоткин Петр Алексеевич.

Кроу (Кроу-Милнс) (урожд. Примроуз) Маргарет Этренн Ханна, леди (Crewe (Crewe-Milnes) (Primrose) Margaret Etrenne Hannah, Marchioness).

Кроузиер Джон Битти (Crozier John Beattie).

Кроуфорд (Crawford).

Кроуфорд Осберт Гай Стенхоуп (Crawford Osbert Guy Stanhope).

Кроухерст (Crowhurst).

Крупп (Krupp).

Круус Оскар Виллемович (Kruus Oskar).

Ксенофонт.

Кулидж Калвин (Coolidge Calvin).

Купер (Cooper).

Купер Джеймс Фенимор (Cooper James Fenimore).

Купидон.

Кэмпбелл Патрик (Campbell Patrick).

Кэрри, сэр Джеймс (Currie, Sir James).

Кэрролл Льюис (наст. имя — Чарльз Латвидж Доджсон) (Carroll Lewis, Charles Lutwidge Dodgson).

Кюн Одетта (Keun Odette).

Кюн (Keun), отец Одетты.

Кюри (урожд. Склодовская) Мари (Мария) (Curie (Sklodowska) Marie (Maria).

Лаваль Пьер (Laval Pierre).

Лаверн Бернар (Lavergne Bernard).
Лайел, сэр Чарльз (Lyell, Sir Charles).
Ламонт, миссис (Lamont).
Ламонты (Lamonts).
Ланина Мария Михайловна.
Ланкестер, сэр Рэй (Lankester, Sir Ray).
Левенштейн (Loewenstein).
Левидова Инна Михайловна.
Левин (Генри) Бернард (Levin (Henry) Bernard).
Ле Гальенн Ричард Томас (Le Gallienne Richard Thomas).
Лейн Аллен (Lane Allen).
Лейн Джон (Lane John).
Ленг Эндрю (Lang Andrew).
Ленин (наст. фамилия — Ульянов) Владимир Ильич.
Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci).
Ле Хэнд Маргерит («Мисси») (Le Hand Marguerite, «Missy»).
Ли Вернон (наст. имя — Вайолет Пейджет) (Lee Vernon, Violet Paget).
Ливингстон Дэвид (Livingstone David).
Ликиардопуло Михаил Федорович.
Лиль, лорд де (Lisle, Viscount de).
Лиминг (Leeming).
Линд Роберт (Lynd Robert).
Линд Сильвия (Lynd Sylvia).
Линдси (Линдсей) Рональд (Lindsay Ronald).
Линкольн Авраам (Lincoln Abraham).
Липман Уолтер (Lippmann Walter).
Лир Эдвард (Lear Edward).
Литвинов Максим Максимович (наст. имя — Меер-Генох Мовшевич Валлах).
Литвиновы.
Ллойд Джордж Дэвид (Lloyd George David).
Ло Эндрю Бонар (Law Andrew Bonar).
Ловелас.
Локкарт Роберт Гамильтон Брюс (Lockhart Robert Hamilton Bruce).
Лоу (в замужестве Литвинова) Айви (Low (Litvinoff) Ivy).
Лоу Барбара (Low Barbara).
Лоу Боб (Low Bob).
Лоу, сэр Дэвид (Low, Sir David).
Лоу Морис (Low Maurice).
Лоу, сэр Сидней Джеймс Марк (Low, Sir Sidney James Mark).
Лоу Уолтер (Low Walter).
Лоу Фрэнсис (Low Frances).

Лоуренс Аравийский (наст. имя — Томас Эдвард Лоуренс) (Lawrence of Arabia, Thomas Edward Lawrence).

Лоуренс Дэвид Герберт (Lawrence David Herbert).

Лоуренс Робин (Lawrence Robbin).

Лоусон Джон Мелвин (Lowson John Melvin).

Лубин Дэвид (Lubin David).

Лукиан (Lucianus).

Лукреция (Lucretia).

Лунц Женя — *см.* Хорстин Дженни Льюис, миссис (Lewis).

Льюис Синклер (Lewis Sinclair).

Льюси, сэр Генри Уильям (Lucy, Sir Henry William).

Лэм Чарльз (Lamb Charles).

Лэнд сир, сэр Эдвин Генри (Landseer, Sir Edwin Henry).

Лютер Мартин (Luther Martin).

Люшер Жюльен (Luchaire Julien).

Магнел (Magnell).

Майерс Фредерик Уильям Генри (Myers Frederick William Henry).

Майн Рид — *см.* Рид Томас Майн.

Макгуайр, миссис (Macguire).

Макдональд Джеймс Рамсей (MacDonald James Ramsay).

Макзи Лео (Maxse Leo).

Макиавелли Никколо (Machiavelli Niccolò).

Маккарти Лила (M'Carthy Lillah).

Маккензи Джинн (Mackenzie Jeanne).

Маккензи Норман (Mackenzie Norman).

Маккейб Джозеф (Mackcabe Joseph).

Маккиндер, сэр Халфорд Джон (Mackinder, Sir Halford John).

Маккол Дугалд Сазерленд (MacColl Dugald Sutherland).

Макларен Генри Дункан, барон Эберконвэй (McLaren Henry Duncan, 2nd Barron Aberconway).

Макларен (урожд. Макнагтен) Кристабел Мэри Мелвилл, леди Эберконвэй (McLaren (MacNaghten) Christabel Mary Melville, Lady Aberconway).

Маклареры (McLarens).

Макмиллан Гарольд (Macmillan Harold).

Макмилланы (Macmillans).

Мактаггарт Джон Мактаггарт Эллис (McTaggart John McTaggart Ellis).

Мандельштам Осип Эмильевич.

Манди (Munday).

Манн Томас (Mann Thomas).

Марбург Теодор (Marburg Theodore).

Маринетти Филиппо Томмазо (Эмилио) (Marinetti Filippo Tommaso (Emilio)).

Маркс Карл (Marx Karl).

Маркэм (Markham).

Мартино Гарриет (Martineau Harriet).

Масарик Томаш (Masaryk Thomas).

Мастерман Чарльз Фредерик Герни (Masterman Charles Frederick Gurney).

Матер Андре (Mater André).

Матиасы (Mathiases).

Маунтбэттен Луис Александер, лорд Милфорд Хейвен (Mountbatten Louis Alexander, 1st Marquess of Milford Haven).

Мейнел Элис (Meynell Alice).

Мейсон Алфред Эдвард Вудли (Mason Alfred Edward Woodley).

Мелчет Алфред Мориц Монд, лорд (Melchett Alfred Moritz Mond, 1st Baron).

Мелчеты (Melchetts).

Мендес Лотар (Mendes Lothar).

Мензис Камерон (Menzies Cameron).

Мередит Анни (Meredith Annie).

Мередит Джордж (Meredith George).

Меркурий.

Меррей, сэр Джордж Гилберт Эме (Murray, Sir George Gilbert Amé).

Мертон (Merton).

Мерфи Джеймс (Murphy James).

Мерчисон, сэр Родерик Импей (Murchison, Sir Roderick Impey).

Метьюэн (Methuen).

Микеланджело Буонаротти (Michelangelo Buonarotd).

Микки — *см.* Уилсон Микки.

Милл Сесил Блаунт Де (Mille Cecil Blount De).

Миллар (Millar).

Милль Джон Стюарт (Mill John Stuart).

Милн Алан Александр (Milne Alan Alexander).

Милн Дж.-В. (Milne J.-V.).

Милн Кен (Milne Ken).

Милнер Альфред, лорд Милнер (Milner Alfred, Viscount Milner).

Мильтон Джон (Milton John).

Минотавр.

Митчел, сэр Питер Чалмерс (Mitchell, Sir Peter Chalmers).

Митчелл (Mitchell).

Моисей.

Моли Реймонд Чарльз (Moley Raymond Charles).

Монд, сэр Алфред Мориц — *см.* Мелчет Алфред Мориц Монд, лорд.

Монд (урожд. Котце) Вайолет Флоренс Мейбел, леди (Mond (Coetze) Violet Florence Mabel, Lady).

Монд Эмиль (Mond Emile).

Монтегю Эдвин Сэмюел (Montagu Edwin Samuel).

Монтегю Чарльз Эдвард (Montague Charles Edward).

Монтефиор А.-Дж. (Montefiore A. J.).

Мор, сэр Томас (More, Sir Thomas).

Морис Фредерик (Maurice Frederick).

Морли-Хэдлем, сэр Джеймс Уайклиф (Morley Headlam, Sir Jaimes Wycliffe).

Морли Томас (Morley Thomas).

Моррис Уильям (Morris William).

Моррисон Артур (Morrison Arthur).

Мосли, сэр Освальд (Mosley, Sir Oswald).

Моттистон Джон Эдвард Бернард Сили, лорд (Mottistone John Edward Bernard Seely, 1st Baron).

Моуетты (Mowatts).

Моцарт Вольфганг Амадей (Mozart Wolfgang Amadeus).

Моэм Уильям Сомерсет (Maugham William Somerset).

Мур Джордж (Moore George).

Мур Дорис Лэнгли (Moore Doris Langley).

Мур Томас (Moore Thomas).

Мур, сэр Томас (Moore, Sir Thomas).

Муркок Майкл Джон (Moorcock Michael John).

Муссолини Бенито (Mussolini Benito).

Мухаммад.

Мэгги — *см.* Керн Мэгги.

Мэйр Джордж Герберт (Mair George Herbert).

Мэнсфилд Кэтрин (урожд. Кэтлин Мэнсфилд Бичем) (Mansfield Katherine, Kathleen Mansfield Beauchamp).

Мэри (Mary).

Мэри, тетя — *см.* Кенди Мэри.

Мэрри Джон Мидлтон (Murry John Middleton).

Набоков Владимир Дмитриевич.

Найт, мисс (Knight).

Наполеон I (Наполеон Бонапарт) (Napoleone Buonaparte, Napoléon Bonaparte).

Натан (Nathan).

Невинсон Генри Вуд (Nevinson Henry Woodd).

Невинсон Кристофер Ричард Уинн (Nevinson Christopher Richard Wynne).

Нельсон Горацио, герцог ди Бронте (Nelson Horatio, Duke di Bronte).

Немирович-Данченко Владимир Иванович.

Несбит (в замужестве Шарп) Розамунд (Nesbit (Sharp) Rosamund).

Несбит (в замужестве Бланд) Эдит (Nesbit (Bland) Edith).

Низбет Е.-Ф. (Nisbet E.-F.).

Низбет Мэй (Nisbet May).

Никол (Nicol).

Николсон, сэр Гарольд (Nicolson, Sir Harold).

Николсон, сэр Чарльз (Nicholson, Sir Charles).

Никулин Лев Вениаминович (наст. имя — Лев Владимирович Ольконицкий).

Нил Джон (Neal John).

Нил Джордж (Neal George).

Нил Сара — *см.* Бенем Сара; Уэллс Сара Нил Элизабет (Neal Elisabeth).

Нилы (Neals).

Ной.

Ной, миссис (Mrs. Noah).

Норман (Norman).

Нортклиф, лорд Алфред — *см.* Хармсуорт Алфред Чарльз Уильям, лорд Нортклиф.

Нот, миссис (Knott).

Ньюболт, сэр Генри Джон (Newbolt, Sir Henry John).

Ньюмен Джон Генри (Newman John Henry), кардинал.

Ньюнес, сэр Джордж (Newnes, Sir George).

Нэш (Nash).

О'Грейди Джеймс (O'Grady James).

Одетта — *см.* Кюн Одетта.

Олдершот (Aldershot).

Олдис Брайан Уилсон (Aldiss Brian Wilson).

Оливер Фредерик Скотт (Oliver Frederick Scott).

Оливиер, сэр Сидней Холдейн Оливер, лорд (Olivier, Sir Sidney Haldane Oliver, 1st Baron).

Оливиеры (Oliviers).

Омар Хайям (Omar Khayyam).

Ориген (Oregenes Adamantius).

Орр Уильям Сомервил (Orr William Sommerville).

Осборн (Osborn).

Осия, пророк.

Остен Джейн (Austen Jane).

Острогорский Моисей Яковлевич.

Оуэн Роберт (Owen Robert).

Павел, апостол.
Павлов Иван Петрович.
Парчевская Б. М.
Пасфилд, лорд — *см.* Уэбб Сидней Джеймс, лорд Пасфилд.
Пауэлл Йорк (Powell York).
Пейдж Томас Этельберт (Page Thomas Ethelbert).
Пейн Джеймс (Payne James).
Пейн Джимас (Payne Jimas).
Пейн Томас (Paine Thomas).
Пейнтер (Painter).
Пейш, сэр Джордж (Paish, Sir George).
Пенникот Кейт (Pennicott Kate).
Пенникот Клара (Pennicott Clara).
Пенникот Томас (Pennicott Thomas).
Перен Жан-Батист (Perrin Jean-Baptiste).
Петерсон Линда Хенлейн (Peterson Linda Haenlein).
Петр I Великий.
Пешкова Екатерина Павловна.
Пёрселл Генри (Purcell Henry).
Пиз Эдвард (Pease Edward).
Пинеро, сэр Артур Уинг (Pinero, Sir Arthur Wing).
Линкер Джеймс Бренд (Pinker James Brand).
Писарев Дмитрий Иванович.
Пит (Peat).
Питт Уильям, младший (Pitt William, the Younger).
Планк Макс (Planck Max).
Платон.
Платт (Platt).
Плутарх.
По Эдгар Аллан (Poe Edgar Allan).
Пол Реджинальд (Paul Reginald).
Поле Иден (Pauls Eden).
Портер (Porter).
Посси — *см.* Уэллс Фанни.
Поуп Александр (Pope Alexander).
Пофем (Popham).
Пофем Артур (Popham Arthur).
Пофемы (Pophams).
Пристли Джон Бойнтон (Priesdey John Boynton).
Прудон Пьер-Жозеф (Proudhon Pierre-Joseph).
Пруст Марсель (Proust Marcel).
Пью Эдвин (Pew Edwin).

Пэли Уильям (Palay William).

Райли, мисс (Riley).

Райнах, мадам (Reinach).

Райт Орвил и Уилбур, братья (Wright Orvill and Wilbur, brothers).

Рак Берта (Ruck Berta).

Ракнем Ингвальд (Raknem Ingvald).

Рансимен Дж.-Ф. (Runciman J.-F.).

Рассел Бертран, лорд Рассел (Russell Bertrand Arthur William, 3rd Earl Russell of Kingston Russell).

Рассел Джон Френсис Стэнли (Фрэнк) Рассел, лорд (Russell John Francis Stanley (Frank) Russell, 2nd Earl Russell).

Рассел, графиня — *см.* Арним Элизабет (урожд. Мэри Аннет Бичем), графиня фон.

Рассел Чарльз Эдвард (Russell Charles Edward).

Расселы (Russells).

Рауз (Rouse).

Рафаэль Санти (Raffaello Santi).

Ребекка — *см.* Уэст, дама Ребекка.

Рейли, сэр Уолтер Александр (Raleigh, Sir Walter Alexander).

Рейно Жюль (Rainaud Jules).

Репингтон Чарльз Акорт (Repington Charles A'Court).

Рёскин Джон (Ruskin John).

Ри Уолтер (Rea Walter).

Ривз Мод Пембер (Reeves Maud Pember).

Ривз Уильям Пембер (Reeves William Pember).

Ривз Эмбер (Дуза) (Reeves Amber (Dusa)).

Ривзы (Reeveses).

Ривьер, баронесса де (Riviere).

Рид Томас Майн (Reid Thomas Mayne).

Ридж Уильям Петт (Ridge William Pett).

Рихтер Жан-Поль (Richter Jean-Paul).

Ричард III (Richard III).

Ричардсон Дороти Миллер (Richardson Dorothy Miller).

Ро (Raut).

Роббинс, миссис (Robbins).

Роббинс (в замужестве Уэллс) Эми Кэтрин (она же Джейн) (Robbins (Wells) Amy Catherine (Jane)).

Роббинсы (Robbinses).

Робертс (Roberts).

Робертс Аделина (Roberts Adeline).

Робертс Артур (Roberts Arthur).

Робертс Морли (Roberts Morley).

Робинс Элизабет (Robins Elizabeth).

Робинсон Джеймс Харви (Robinson James Harvey).

Роджерс из Виндзора (Rogers).

Роджерс из Саутси (Rogers).

Роджерс и Денайер (Rogers and Denyer).

Родс Сесил Джон (Rhodes Cecil John).

Розамунд — *см.* Несбитт (в замужестве Шарп) Розамунд.

Розбери Арчибальд Филип Примроуз, граф (Rosebery Archibald Philip Primrose, 5th Earl of).

Роллан Ромен (Rolland Romain).

Рольф Фредерик Уильям, «барон Корво» (Rolfe Frederick William, «baron Corvo»).

Ромни Джордж (Romney George).

Ронда (урожд. Томас) Маргарет Хейг Макуорт, леди (Rhondda (Thomas) Margaret Haig Mackworth, 2nd Viscountess).

Росс, сэр Денисон (Ross, Sir Denison).

Россетти Кристина Джорджина (Rossetti Christina Georgina).

Ротенштейн Уильям (Rothenstein William).

Ротермир Гарольд Сидней Хармсуорт, лорд (Rothermere Harold Sidney Harmsworth, 1st Viscount).

Рузвельт Теодор (Roosevelt Theodore).

Рузвельт Франклин Делано (Roosevelt Franklin Delano).

Рузвельт Элеонора (Roosevelt Eleanor).

Руссо Жан-Жак (Rousseau Jean-Jacques).

Рут Этти (Rout Ettie).

Рэдфорд Долли (Radford Dolly).

Рэй Гордон (Ray Gordon).

Сазерленд, мисс (Sutherland).

Саймон, сэр Джон Олсбрук Саймон, лорд (Simon, Sir John Allsebrook Simon, 1st Viscount).

Саймонс Артур Уильям (Symons Arthur William).

Салливен, сэр Артур Сеймур (Sullivan, Sir Arthur Seymour).

Самсон.

Сандерс Стивен (Sanders Stephen).

Сандерсон Фредерик Уильям (Sanderson Frederick William).

Сатроу Алфред (Sutro Alfred).

Саттон (Sutton).

Саттон, миссис (Sutton).

Светтенхем (Swettenham).

Свифт Джонатан (Swift Johnathan).

Севинье (урожд. де Рабютен-Шанталь) Мари, маркиза де (Sévigné (de Rabutin-Chantal) Marie, marquise de).

Седдон Ричард Джон (Seddon Richard John).

Седжвики (Sedgwicks).

Сейнтсбери Джордж Эдвард Бэйтмен (Saintsbuiy George Edward Bateman).

Семела.

Сесил (Эдгар Алджернон) Роберт Гаскойн-Сесил, лорд (Cecil (Edgar Algernon) Robert Gascoyne-Cecil, 1st Viscount).

Сесилы (Cecils).

Сиккерт Уолтер Ричард (Sickert Walter Richard).

Силк (Silk).

Симмонс А.-Т. (Simmons A.-T.).

Ситуэлл, дама Эдит Луиза (Sitwell, Dame Edith Louise).

Сквайр, сэр Джон Коллингс (Squire, Sir John Collings).

Скотт, сэр Вальтер (Scott, Sir Walter).

Слейден Дуглас (Sladen Douglas).

Слопер Алли (Sloper Ally).

Смайлс Сэмюел (Smiles Samuel).

Смит (Smith).

Смит, миссис (Smith).

Смит Адам (Smith Adam).

Смит Джон Хью (Smith John Hugh).

Смит, сэр Уильям (Smith, Sir William).

Смит Э.-Х. (Smith E.-H.).

Сноу Чарльз (Snow Charles).

Сноуден Филип (Snowden Philip).

Совераль маркиз де (Soveral, marquis de).

Содди Фредерик (Soddy Frederick).

Сократ.

Спендер Джон Алфред (Spender John Alfred).

Спенсер Герберт (Spencer Herbert).

Спенсер Эдмунд (Spenser Edmund).

Спероухок (Sparrowhawk).

Спиноза Бенедикт (Барух) (Spinoza Benedict (Baruch)).

Сталин (наст. фамилия — Джугашвили) Иосиф Виссарионович.

Станиславский (Алексеев) Константин Сергеевич.

Старцев Абель Исаакович.

Стауффер Дональд Алфред (Stauffer Donald Alfred).

Стерн Лоренс (Stem Lawrence).

Стивенс Джордж (Steevens George).

Стивенсон Боб (Stevenson Bob).

Стивенсон Роберт Луис Бальфур (Stevenson Robert Louis Balfour).

Стид Генри Уикэм (Steed Henry Wickham).

Стой Кэтрин (Stoye Catherine).

Стрейчи Литтон (Strachey Lytton).

Стрейчи Сент-Лу (Strachey St. Loe).

Стрикленд Агнес (Strickland Agnes).

Стрит Джордж Слит (Street George Slythe).

Стэнли, сэр Генри Мортон (наст. имя — Джон Роулендс) (Stanley, Sir Henry Morton, John Rowlands).

Суинберн Алджернон Чарльз (Swinburne Algernon Charles).

Суиннертон Фрэнк Артур (Swinnerton Frank Arthur).

Суинни Генри Хатчинсон (Swinny Henry Hutchinson).

Суинтон, сэр Эрнест Данлоп (Swinton, Sir Ernest Dunlop).

Сэдди (Saddie) — *см.* Уэллс (урожд. Нил) Сара.

Сэдлер Майкл (Sadler Michael).

Сэлмон, мисс (Salmon).

Сэссун (урожд. де Ротшильд) Алина Каролина, леди (Sassoon (de Rotschild) Aline Caroline).

Сэссун Зигфрид (Sassoon Siegfried).

Сэссун, сэр Эдвард Альберт (Sassoon, Sir Edward Albert, 2nd Baronet).

Сю Эжен (Sue Eugène).

Тагуэл Рексфорд Гай (Tugwell Rexford Guy).

Тан (Тан-Богораз) Владимир Германович.

Таня — *см.* Бенкендорф (в замужестве Александер) Таня (Татьяна Ивановна).

Таттен А.-Э. (Tutten A.-E.).

Твен Марк (наст. имя — Сэмюел Ленгорн Клеменс) (Twain Mark, Samuel Langhome Clemens).

Тейлор (Taylor).

Тейлор, мисс (Taylor).

Тейт, сэр Генри (Tate, Sir Henry).

Теккерей Уильям Мейкпис (Thackeray William Makepeace).

Тенниел, сэр Джон (Tenniel, Sir John).

Теннисон Алфред, лорд Теннисон (Tennyson Alfred, 1st Baron Tennyson).

Теппи (Teppy).

Тереза (наст. имя — Габриэль Флёри) (Thérèse (Gabrielle Fleury)).

Тереза (Авильская), святая (Teresa de Ávila).

Терри Эллен Элис (Terry Ellen Alice).

Тилбери (Tilbury).

Тиндейл Уильям (Tindale William).

Тинторетто (наст. имя — Якопо Робусти) (Tintoretto, Giacopo Robusti).

Тиррелл Уильям (Tyrrell William).

Титтертон Уильям Ричард (Titterton William Richard).
Тобин Эйб И. (Tobin Abe I.).
Толлер Эрнст (Toller Ernst).
Толстой Алексей Николаевич.
Толстой Лев Николаевич.
Том, дядя — *см.* Пенникот Томас.
Томас Джеймс Генри (Thomas James Henry).
Томас Оуэн (Thomas Owen).
Томлинсон Генри Мэйджор (Tomlinson Henry Major).
Томсон Бэзил (Thomson Basil).
Торнтон Марианна (Thornton Marianne).
Торо Генри Дэвид (Thoreau Henry David).
Тревельян Джордж Маколей (Trevelyan George Macaulay).
Тревельяны (Trevelyans).
Тристан (Tristan).
Троллоп Энтони (Trollope Anthony).
Троттер Уилфред (Trotter Wilfred).
Троцкий (наст. фамилия — Бронштейн) Лев Давидович.
Трубачев Олег Николаевич.
Трубецкой Николай Сергеевич.
Тугушева Майя Павловна.
Тумер (Toomer).
Тургенев Иван Сергеевич.
Тухачевский Михаил Николаевич.
Тырков Аркадий Владимирович.
Тыркова Ариадна Владимировна.
Тюссо (урожд. Гросхольц) Мари (Tussaud (Grosholtz) Marie).

Уайлдерспин (Wilderspine).
Уайльд Оскар (Wilde Oscar).
Уайтхед Алфред Норт (Whitehead Alfred North).
Уивер (Weaver).
Уилберфорс Сэмюел (Wilberforce Samuel), епископ Оксфордский.
Уилсон Микки (Wilson Micky).
Уильямс Берта (Williams Berta).
Уильямс (Williams), «дядя» Уэллса.
Уильямс Эньюрин (Williams Aneurin).
Уиндэм Джордж (Wyndham George).
Уинстон — *см.* Черчилль, сэр Уинстон Леонард Спенсер.
Уистлер Джеймс Эббот Макнейл (Whistler James Abbott McNeill) 275 Уитакер Джозеф (Whitaker Joseph).
Уитмен Уолт (Whitman Walt).
Уманский Константин Александрович.

Уокер, сэр Эмери (Walker, Sir Emery).

Уоллас Грэм (Wallas Graham).

Уолстонкрафт Мэри (Wollstonecraft Mary).

Уолстонкрафт (Годвин) Фанни (Wollstonecraft (Godwin) Fanny).

Уолтон, миссис (Walton).

Уорбург Фредерик (Warburg Frederick).

Уорд Мэри Августа (Ward Mary Augusta), псевд. — миссис Хэмфри Уорд (Mrs. Humphrey Ward).

Уорик (урожд. Мэйнард) Френсис Эвелин Гревилл, леди (Warwick (Maynard) Frances Evelyn Greville, Countess.

Уотерлоу, миссис (Waterlow).

Уоткинс Роберт (Watkins Robert).

Уотсон Мэриот Генри Брereтон (Watson Marriott Henry Brereton).

Уоттс Артур (Watts Arthur).

Уэбб (урожд. Портер) (Марта) Беатриса (Webb (Porter) Martha Beatrice).

Уэбб Сидней Джеймс, лорд Пасфилд (Webb Sydney James, Baron Passfield).

Уэббы (Webbs).

Уэджвуд Джосайя (Wedgwood Josiah).

Уэджвуды (Wedgwoods).

Уэйгер У. Уоррен (Wagar W. Warren).

Уэйл Джеймс (Whale James).

Уэллс Генри (Wells Henry).

Уэллс Герберт Джордж (Wells Herbert George).

Уэллс Джозеф (Wells Joseph), дед Герберта Уэллса.

Уэллс Джозеф (Wells Joseph), отец Герберта Уэллса.

Уэллс Джозеф из Редлифа (Wells Joseph).

Уэллс Джон (Wells John).

Уэллс Джордж (Wells George).

Уэллс Джордж Филип (Джип) (Wells George Philip (Gip)), сын Г.-Дж. Уэллса.

Уэллс Изабелла Мэри (Wells Isabel Mary).

Уэллс Кэтрин — *см.* Роббинс (в замужестве Уэллс) Эми Кэтрин (Джейн).

Уэллс Марджори — *см.* Крейг Марджори.

Уэллс Мартин (Wells Martin).

Уэллс Пегги, миссис Фрэнк Ричмонд Уэллс (Wells Peggy, Mrs. Frank Richmond Wells).

Уэллс (урожд. Нил) Сара (Wells (Neal) Sarah), мать Г.-Дж. Уэллса.

Уэллс Уильям (Wells William), дядя Г.-Дж. Уэллса.

Уэллс Фанни (Wells Fanny).

Уэллс Фредерик Джозеф (Фред, Фредди) (Wells Frederick Joseph (Fred, Freddie)), брат Г.-Дж. Уэллса.

Уэллс Фрэнк Ричмонд (Wells Frank Richmond), сын Г.-Дж. Уэллса.

Уэллс Фрэнсис Чарльз (Фрэнк, Фрэнки), (Wells Francis Charles (Frank, Frankie)), брат Г.-Дж. Уэллса.

Уэллс Ханна (Wells Hannah).

Уэллс Чарльз Эдвард (Wells Charles Edward).

Уэллс Эдвард (Wells Edward).

Уэллс Элизабет (Wells Elizabeth).

Уэллсы (Wellses).

Уэлш Джеймс (Welsh James).

Уэст (West), кассир.

Уэст Джеффри (наст. имя — Джеффри Гарри Уэллс) (West Geoffrey (Geoffrey Harry Wells)).

Уэст, дама Ребекка (West, Dame Rebecca), псевдоним Сесили Изабеллы Эндрюс, урожд. Фэрфилд (Cecily Isabel Andrews (Fairfield)).

Уэст Энтони (West Anthony), сын Ребекки Уэст и Г.-Дж. Уэллса.

Файфский, герцог (Fife, Duke of).

Фетерстоноу, сэр Гарри (Fetherstonhaugh, Sir Harry).

Фетерстоноу (урожд. Буллок) Фрэнсис, леди (Fetherstonhaugh (Bullock) Frances, Lady).

Фетерстоноу (Буллок), мисс (Fetherstonhaugh).

Филд (Field).

Филдинг Генри (Fielding Henry).

Финч Бетси (Finch Betsy).

Фишер Ирвинг (Fisher Irving).

Флайт, мисс (Flite).

Фодергилл (Fothergill).

Форд, капитан (Forde).

Форды (Forde s).

Форстер Эдвард Морган (Forster Edward Morgan).

Фрай Роджер Элиот (Fry Roger Eliot).

Франк Сезар (Franck César).

Франкфуртер Феликс (Frankfurter Felix).

Франс Анатоль (наст. имя — Жак-Анатоль-Франсуа Тибо) (France Anatole (Jacques-Anatole-Francois Thibault)).

Фрейд Зигмунд (Freud Sigmund).

Френч Джон Дентон Пинкстон, граф Ипрский (French John Denton Pinkstone, 1st Earl of Ypres).

Фрёбель Фридрих (Froebel Friedrich).
Фруин Мортон (Frewen Morton).
Фрэнсис, сэр (Sir Francis).
Фуко Жан-Бернар Леон (Foucault Jean-Bernard Léon).
Фэрфилд Сесили — *см.* Уэст, дама Ребекка.

Хадсон Уильям Генри (Hudson William Henry).
Хадсон Х.-К. (Hudson H.-K.).
Хайд Эдвин (Hyde Edwin).
Хайн Катлиф (Hyne Cutliffe).
Хайнеман Уильям (Heinemann William).
Хаксли, сэр Джулиан Сорел (Huxley, Sir Julian Sorell).
Хаксли Олдос (Huxley Aldous).
Хаксли Томас Генри (Huxley Thomas Henry).
Хамид Абдул (Abdul Hamid).
Ханеман Кристиан Фридрих Самюэль (Hahnemann Christian Friedrich Samuel).
Хант Вайолет (Hunt Violet).
Хардинг Уоррен Гамалиел (Harding Warren Gamaliel).
Хармсуорт Алфред Чарльз Уильям, лорд Нортклиф (Harmsworth Alfred Charles William, Viscount Northcliffe).
Хармсуорт Гарольд — *см.* Ротермир Гарольд Сидней Хармсуорт, лорд Хармсуорт Джеффри (Harmsworth Geoffrey).
Хармсуорт Лестер (Harmsworth Lester).
Хармсуорт Сент-Джон (Harmsworth St. John).
Харперы (Harpers).
Харрис (Harris), младший учитель.
Харрис (урожд. О'Хара) Нелли (Harris (O'Hara) Nellie).
Харрис Фрэнк (наст. имя — Джеймс Томас Харрис) (Harris Frank, James Thomas).
Харрисон Фредерик (Harrison Frederick).
Хаус (урожд. Хантер) Лули (House (Hunter) Loulie).
Хаус Эдвард Мэндел, «полковник Хаус» (House Edward Mandell, Colonel House).
Хаусмен Лоренс (Housman Laurence).
Хедлем Стюарт (Headlam Stuart).
Хедлем, сэр Дж.-У. — *см.* Морли Хедлем, сэр Джеймс Уайклиф.
Хейг Дуглас Хейг, граф (Haig Douglas Haig, 1st Earl).
Хейг Э.-В. (Haigh E.-V.).
Хейр Норман (Haire Norman).
Хейуорд, доктор (Hayward).
Хеллер Джозеф (Heller Joseph).
Хенли Тед (Henley Ted).

Хенли Уильям Эрнест (Henley William Ernest).

Херст Уильям Рэндолф (Hearst William Randolph).

Хик Генри (Hick Henry).

Хик, миссис (Hick).

Хики (Hicks).

Хикс (урожд. Джойнсон) Грейс Линн, леди (Hicks (Joynson) Grace Lynn, Lady).

Хили Элизабет (Healey Elizabeth).

Хилтон Джон (Hilton John).

Хинд Льюис (Hind Lewis).

Хобсон Джон Аткинсон (Hobson John Atkinson).

Хобхаус Леонард Трелони (Hobhouse Leonard Trelawney).

Ходжес Фрэнк (Hodges Frank).

Хокет Анна, леди (Hocket Anne, Lady).

Хокон, король (Haakon).

Холдейн Ричард Бердон Сандерсон, лорд Холдейн (Haldane Richard Burdon Sanderson, 1st Viscount Haldane).

Холдейны (Haldanes).

Холл Маргарет Рэдклиф (Hall Margaret Radcliffe).

Холмс Оливер Уэнделл-старший (Holmes Oliver Wendell, Sr.).

Холмс (Holmes), судья.

Холройд (Holroyd).

Хоптоны (Hoptons).

Хор (Hoare).

Хордер Томас Дживс Хордер, лорд (Horder Thomas Jeeves Horder, 1st Baron).

Хоррабин Джеймс Фрэнсис (Horrabin James Francis).

Хорснел Хорес (Horsnell Horace).

Хорстин Дженни (урожд. Женя Лунц).

Хоутсон Элис (Hoatson Alice).

Хоуэс Дж.-Б. (Howes G.-B.).

Христос.

Хьюинз Уильям Альберт Сэмюел (Hewins William Albert Samuel).

Хьюбш (Huebsch).

Хьюфер Оливер (Hueffer Oliver).

Хьюфер Форд Мэдокс (Hueffer Ford Madox), после 1914 г. — Форд Мэдокс Форд.

Хэйнс Э.-С.-П. (Hayns E.-S.-P.).

Хэнбери Сесили (Hanbury Cecily).

Цвейг Стефан (Zweig Stefan).

Цезарь Гай Юлий (Caesar Caius Iulius).

Циммерн, сэр Алфред Экхард (Zimmem, Sir Alfred Eckhard).

Чаплин Чарли (Чарльз Спенсер) (Chaplin Charlie (Charles Spencer)).

Чарльз Эдвард, дядя — *см.* Уэллс Чарльз Эдвард.

Челлини Бенвенуто (Cellini Benvenuto).

Чемберлен Джозеф (Chamberlain Joseph.

Чемберлен (Артур) Невилл (Chamberlain Arthur Neville).

Чемберс (Chambers).

Чентри, сэр Фрэнсис Легат (Chantrey, Sir Francis Legatt).

Чепмен Фредерик (Chapman Frederic).

Чернышевский Николай Гаврилович.

Черчилль, сэр Уинстон Леонард Спенсер (Churchill, Sir Winston Leonard Spencer).

Честертон Гилберт Кит (Chesterton Gilbert Keith).

Честертон Сесил Эдвард (Chesterton Cecil Edward).

Честертоны (Chestertons).

Чехов Антон Павлович.

Чосер Джеффри (Chaucer Geoffrey).

Чоут Джозеф Ходжес (Choate Joseph Hodges).

Чуковский Корней Иванович (наст. имя — Николай Васильевич Корнейчуков).

Шарп Клиффорд (Sharp Clifford).

Шекспир Уильям (Shakespeare William).

Шелли Перси Биши (Shelley Percy Bysshe).

Шеллоу (Shallow).

Шерард Кеннеди Роберт Харборо (Sherard Kennedy Robert Harborough).

Шеридан Клер (Sheridan Clare).

Шкловский Виктор Борисович.

Шмидт-Паули (Schmidt-Pauli).

Шопенгауэр Артур (Shopenhauer Arthur).

Шортер Клемент (Shorter Clement).

Шоу Джордж Бернард (Shaw George Bernard).

Шоу (урожд. Пейн-Тауншенд) Шарлотта (Shaw (Payne-Townshend) Charlotte).

Шпенглер Освальд (Spengler Oswald).

Штреземанн Густав (Stresemann Gustav).

Штурм Иоганнес (Sturm Johannes).

Шубин Павел Яковлевич.

Эберконвэй, леди — *см.* Макларен Кристабел (урожд. Макнагтен) Мэри Мелвилл, леди Эберконвэй.

Эвелинг Эдвард Биббинс (Aveling Edward Bibbens).

Эвклид.

Эдел (Джозеф) Леон (Edel (Joseph) Leon).

Эдуард VIII (Edward VIII).

Эйзенштейн Сергей Михайлович.

Эйнштейн Альберт (Einstein Albert).

Элиот Томас Стирнс (Eliot Thomas Steams).

Эллерингтон (Ellerington).

Элчо (урожд. Уиндэм) Мэри Констанс, леди (Elcho (Wyndham) Mary Constance, Lady).

Эмбер — *см.* Ривз Эмбер (Дуза).

Эмери Леопольд Чарльз Морис Стеннет (Amery Leopold Charles Maurice Stennett).

Энгельгардт (Engelhardt).

Энджел, сэр Норман (наст. имя — Ралф Норман Энджел-Лейн) (Angell, Sir Norman (Ralph Norman Angell-Lane)).

Эрвин Сент-Джон (Ervine St. John).

Эрминия (Erminia).

Эфгрейв (Ephgrave).

Юнг Карл Густав (Jung Carl Gustav).

notes

Примечания

1

Перевод Ю. И. Кагарлицкого.

2

Отступлений *(лат.)*.

3

Положение обязывает *(фр.)*.

4

Весна *(итал.)*.

5

«Собственность — это кража» *(фр.)*.

Здесь: свободное предпринимательство *(фр.)*.

7

Мне нужны были эти цветы для занятий ботаникой в школе Милна.

8

О том, как состоялась эта встреча, я написал чуть выше.

9

Все выше *(лат.)*.

10

Перевод Н. Л. Трауберг.

11

Образ жизни *(лат.)*.

12

Наряду с другими *(лат.)*.

13

Ужасный ребенок *(фр.)*.

14

Твое тело — твое *(фр.)*.

15

Дорогой мэтр *(фр.)*. «Мэтр» по-французски и есть «мастер». — *Примеч. пер.*

16

Новый род *(лат.)*.

17

В стадии рассмотрения *(лат.)*.

«Хлеба и работы» *(ит.)*.

«За родину» *(лат.)*.

20

На веки вечные *(лат)*.

«Тебя, Боже [, хвалим]» *(лат)*.

«Коттедж на берегу моря» *(англ.)*.

23

Конца века *(фр.)*.

24

В духе Уэббов *(фр.)*.

25

Он занят только тем, о чем рассказывает *(фр.)*.

26

Одну из них см. в альбоме иллюстраций к наст. изд. под названием «Кабинет в Спейд-хаусе» /В файле иллюстрации размещены в Приложении — *прим. верст.*/.

государственный переворот *(фр.)*.

папашу *(фр.)*.

«Лига наций» *(фр.)*.

30

Студенческий городок *(исп.)*.

«Британская энциклопедия» *(лат.)*.

Таможенного союза *(нем.)*.

завтра *(исп.)*.

«Золотой стрелы» *(фр.)*.

35

Это я *(фр.)*.

36

Перевод Р. Е. Облонской.

37

О публикации «Постскриптума» см. с. 566 наст. изд. /В файле — Дополнения: «Г.-Дж. Уэллс. Влюбленный Уэллс», глава II, радел «3. О публикации „Постскриптума“» — *прим. верст./*.

38

«Анатомия бессилия» начата в мае 1935 года и опубликована после того, как некоторые ее части обсуждались в «Спектейторе» — 18 сентября 1936 года. Объявив, что представляет взгляды вымышленного американского ученого, а также промышленника и философа по имени Барроу Стил, автор яростно критикует его влияние на наше общество и нас самих, которое препятствует движению человечества к более полноценной и счастливой жизни. — *Примеч. Дж.-Ф. Уэллса.*

39

Уверен, что кроме моей жены Марджори, которая была его секретарем и потому снова и снова перепечатывала рукопись, о существовании «Постскриптума» знали очень немногие. — *Примеч. Дж.-Ф. Уэллса.*

40

В файле — Дополнения: «Влюбленный Уэллс», Глава II, раздел «2. Запись сделанная другой рукой» — *прим. верст.*

41

В файле — Дополнения: «Влюбленный Уэллс», Глава II, раздел «2. Запись сделанная другой рукой» — *прим. верст.*

42

В файле — Дополнения: «Влюбленный Уэллс», Глава II, раздел «3. О публикации „Постскриптума“» — *прим. верст.*

«Героическую пьесу» *(фр.)*.

Венерой Распутницей *(лат.)*.

жизни втроем *(фр.)*.

Солнечном шале *(фр.)*.

Здесь: Загородный дом роз *(фр.)*.

«Девицы Дэн из Константинополя» *(фр.)*.

«Современная женщина» *(фр.)*.

«Г.-Дж. Уэллсу. Ты заразил нас своими мечтами» *(фр.)*.

51

«Князь Тариел» *(фр.)*.

«Под властью Ленина» *(фр.)*.

Здесь: будь что будет *(лат.)*.

верлибр, белый стих *(фр.)*.

«В стране Золотого руна» *(фр.)*.

«В незнакомом Ореесе» *(фр.)*.

«Оазисы в горах» *(фр.)*.

мужем *(фр.)*.

Туннель Галибье *(фр.)*.

Да почиет в мире *(лат.)*.

61

Буйабес — рыбный суп *(фр.)*.

62

Так кончался этот раздел, когда был написан впервые, в начале мая 1935 года. В июне отец добавил две главы о своем исцелении «от той устремленности к самоубийству, что появилась из-за утраты иллюзий, связанных с Мурой». В июле он убрал их отсюда, с тем чтобы использовать в качестве семян, из которых предстояло взойти «Листкам дневника».

Из этих семян первым вырос параграф, начинающийся словами: «В мае 1935 года я принялся за книгу „Анатомия бессилия“» (см. с. 548 наст. изд.). Затем возник отрывок, что начинается словами: «Я подумывал о том, чтобы написать сценарий фильма как самостоятельное произведение литературы» (см. с. 549 наст. изд.). — *Примеч. Дж.-Ф. Уэллса, составителя и редактора «Влюбленного Уэллса».*

/В файле (с. 548–549 наст. изд.) — Дополнения: «Г.-Дж. Уэллс. Влюбленный Уэллс», глава II, радел «1. Листки дневника» — *прим. верст.*/.

63

Он так и не написал ее. — *Примеч. Дж.-Ф. Уэллса.*

Он умер 19 июня 1936 г. — *Примеч. Дж.-Ф. Уэллса.*

К началу *(итал.)*.

в домашних туфлях *(фр.)*.

человека разумного *(лат.)*.

Далее идет текст, написанный страшим сыном Г.-Дж. Уэллса. — *Примеч. изд.*

69

Расширенное и исправленное издание «Очерка истории» из-за условий военного времени так и не вышло в Соединенном Королевстве. — *Примеч. Дж.-Ф. Уэллса.*

Оба произведения переизданы, с моим рассказом о последних годах отца, и опубликованы Обществом Г. Уэллса под названием «Последние книги Г. Уэллса». — *Примеч. Дж.-Ф. Уэллса.*

71

Первоначальный текст этой записи, сделанной отцом в начале 1935 года, напечатан здесь курсивом. Последующие дополнения — тем же шрифтом, что вся книга (прямым светлым). Большая часть вставок появилась в разное время на протяжении полутора лет до осени 1936 года, когда отец непрестанно перерабатывал и редактировал весь «Постскриптум», как сказано выше. Потом наступил трехлетний перерыв, а после него появились дополнения, взятые тут в скобки. Будет видно, что требование не печатать «Постскриптум» «сам по себе» было включено в первоначальный набросок и решительно поддержано несколько лет спустя, в 1939–1940 годах, припиской — «На этом я настаиваю». Имена, вымаранные автором из основного текста, в этом издании заменены звездочками. — *Примеч. Дж.-Ф. Уэллса.*

Она возражала. — *Примеч. Дж.-Ф. Уэллса.*

73

Эта запись начала 1935 года, которая должна была стать заключением «Постскриптума», осталась почти в первозданном виде при всех последующих переработках и сохранилась в качестве заключения в окончательной машинописи. Но отец перечеркнул ее карандашом и в оглавлении, и в тексте этой последней машинописи, так что по каким-то причинам он, возможно, хотел ее исключить. Между тем она почти целиком была вложена в уста вымышленного Стила в «Анатомии бессилия» (1936). — *Примеч. Дж.-Ф. Уэллса.*

Перевод В. Р. Закревской.

Уэллс Г.-Дж. Тоно Бенге // Собрание сочинений: В 15 т. М.: Правда, 1964. Т. 8. С. 5.

Там же. С. 9.

77

Мандельштам О. Записные книжки, заметки: Литературный стиль Дарвина // Вопросы литературы. 1968. № 4. С. 95

Huxley T. H. Man's Place in Nature. N.Y.: D. Appleton & Co, 1898. P. 77–78.

Wells H. G. The World of William Clissold: In 2 vol. Leipzig: B. Tauchnitz, 1927. Vol. 1. P. 31.

Wells H. G. Travels of a Republican Radical in Search of Hot Water. Penguin, 1939. P. 76.

Ibid. P. 200.

82

Цит. по: *West G. H.* H. G. Wells: A Sketch for a Portrait. L.: G. Howe, 1930. P. 49.

83

В файле — Том первый, Глава V, раздел «2. Профессор Гатри и физика» — *прим. верст.*

См.: *Wells H. G.* A Modern Utopia. L., 1905. P. 383.

85

См.: *Колдер Р.* Г.-Дж. Уэллс — человек науки // Англия. 1967. № 2. С. 87.

См.: *Dean E.* Wooldridge. Mechanical Man: The Physical Basis of Intelligent Life. N.Y.: McGraw-Hill, [s. d.].

87

Уэллс Г.-Дж. Собрание сочинений: В 12 т. СПб.: Шиповник, 1909-[1917]. Т. 1. С. 12.

См.: *Уэллс Г.-Дж.* Так называемая социологическая наука // Собрание сочинений: В 15 т. … Т. 14. С. 401.

Уэллс Г.-Дж. Современный роман // Там же. С. 322.

90

В файле — Том второй, Глава VII, раздел «5. Еще раз о романах» — *прим. верст.*

91

Там же. С. 319.

Борхес Х.-Л. Ранний Уэллс // Сочинения: В 3 т. Рига, 1997. Т. 2. С. 78.

Там же. С. 78.

Цит. по: *Bergonzi B.* The early H. G. Wells. Manchester, 1961. P. 157–158.

Цит. по: *Верн Ж.* Собрание сочинений: В 12 т. М.: Гослитиздат, 1957. Т. 12. С. 732.

Уэллс Г.-Дж. Собрание сочинений: В 15 т. М.: Правда, 1964. Т. 14. С. 349–350.

Там же. С. 351.

Эта книга вышла и в России. См.: *Уэллс Г. -Дж.* Предвиденья. М.: Т-во И. Н. Кушнерев и К°, 1902.

Russell B. Portraits from Memory and Other Essays. L.: George Allen & Unwin, 1956. P. 79.

Под несколько измененным названием она вышла и по-русски (см.: *Блиох И. С.* Будущая война в техническом, политическом и экономическом отношениях. СПб., 1898).

См.: *Baring M.* The Russian People. L.: Methuen, 1911.

См.: *Idem.* The Mainsprings of Russia. L.: Nelson, 1914.

103

См.: *Уэллс Г.-Дж.* Собрание сочинений: В 12 т. … Начиная с 7-го тома общее количество томов не указывается. Сведений о выходе 3-го тома не имеется.

См.: *Wells H. G.* The Future in America. Leipzig, 1907.

105

См.: *Никулин Л.* Две встречи с Гербертом Уэллсом // Наши достижения. 1934. № 11. С. 74.

Wells H. G. The Future… P. 84–85.

Ibid. P. 88.

108

Уэллс Г.-Дж. Собрание сочинений: В 12 т. … Т. 1. С. 7–8.

109

Левидова И. М. Первый приезд Г.-Дж. Уэллса в Россию // И. М. Левидова, Б. М. Парчевская Г.-Дж. Уэллс: Библиография. М.: Книга, 1966. С. 127.

110

См.: *Левидова И. М.* Указ. соч.; *Менделевии Г.* Герберт Уэллс и Нина Кокорина // Учительская газета. 22.09.1966. С. 3; *Он же.* Три приезда в Москву // Театральная жизнь. 1966. № 18. С. 6; *Ковалев Ю.* Уэллс в Петербурге и Петрограде // Вторжение в Персей: Сборник. Л., 1968. С. 415–434.

111

Wells H. G. Joan and Peter. L., 1918. В России опубликовано во втором томе собрания сочинений под редакцией Е. И. Замятина (Л., 1924).

112

См.: *Набоков В. Д.* Из воюющей Англии. СПб., 1916; а также *Ковалев Ю. В.* В гостях у Герберта Уэллса // И. М. Левидова, Б. М. Парчевская. Указ. соч. С. 129–131.

113

См.: *Wells H. G.* New Worlds for Old. L.: Constable and Co, 1919.

Ibid. P. 240.

115

Wells H. G. An Englishman Looks at the World. L.; N.Y.; Toronto; Melburn: Cassel and Co, 1914. P. 334.

116

Wells H. G. Britling sees it through. L., 1916; См. также: *Уэллс Г.-Дж.* Мистер Бритлинг пьет чашу до дна // Летопись. 1916. № 7–12.

Набоков В. Д. Указ. соч. С. 51.

118

Цит. по: *Чуковский К.* Фантасмагория Герберта Уэллса // Литературная Россия. 25.09.1964. С. 10.

119

Шкловский В. В снегах // Маяковский в воспоминаниях современников: Сборник. М., 1963. С. 185.

Воронский А. На стыке. М., 1923. С. 23.

121

Там же. С. 220–221.

Там же. С. 215.

123

Цит. по: *Ковалев Ю. В.* В гостях у Герберта Уэллса // И. М. Левидова, Б. М. Парчевская. Указ. соч. С. 131.

124

Цит. по: *Wagar W.* H. G. Wells: Journalism and Prophecy. L.: The Bodley Head, 1964. P. 248.

Ibid. P. 239.

Уэллс Г.-Дж. Россия во мгле. М., 1970. С. 75.

127

Цит. по: *Wagar W.* Op. cit. P. 248.

Wells H. G. The Work, Wealth and Happiness of Mankind. L.: William Heinemann, 1932. P. 590.

См.: *Idem.* The New Russia. L.: Faber and Faber, 1931. P. 111.

Цит. по: *Wagar W.* Op. cit. P. 239.

131

Цит. по: Ibid. P. 184.

Цит. по: Ibid. P. 184–185.

133

Уэллс Г.-Дж. Письмо А. М. Горькому // Г.-Дж. Уэллс. Россия во мгле. М.: Прогресс, 1970. С. 156–157.

Цит. по: *Wagar W.* Op. cit. P. 248.

135

Уэллс Г.-Дж. Россия… С. 101.

Wells H. G. The Work… P. 513.

Уэллс Г.-Дж. Россия… С. 103.

Там же. С. 110.

Wells H. G. The New Russia. L.: Faber & Faber, 1931. P. 111.

Wells H. G. The Work… P. 506.

Ibid. P. 184–185.

Ibid. P. 507.

143

Уэллс Г.-Дж. Россия… С. 196.

Там же. С. 196.

145

С XVI в. в Англии создаются биографии исторических деятелей, стремящиеся к непредвзятой оценке их личности и роли в истории. Томас Мор, кажется, первым осмелился написать «отрицательную» биографию короля Ричарда III (ок. 1513), представив его как беспринципного и вероломного макиавеллиста, и хотя она еще и после смерти автора долгое время оставалась в рукописи, но послужила одним из источников шекспировской хроники «Ричард III». В дальнейшем создаются отрицательные биографии и частных лиц (так, Даниэль Дефо создал ряд жизнеописаний публично казненных знаменитых преступников, сидевших в Ньюгейтской тюрьме). Лишь в XX в. возникает понимание того, что и биография обычного человека может быть достаточно интересной именно благодаря своей типичности (например, Э.-М. Форстер написал биографию своей бабушки Марианны Торнтон, считая, что в ее жизни отразился дух викторианской эпохи).

См.: Киплинг у Твена // Иностранная литература. 1983. № 8. С. 184–189.

147

См., напр.: *Shumaker W.* English Autobiography: Its Emergence, Materials, and Form. Berkeley; Los Angeles, 1954. P. 110–115.

См., напр.: *Spengemann W. C.* The Forms of Autobiography: Episodes in the History of a Literary Genre. New Haven, 1980.

149

См.: *Spacks P. M.* Imagining a Self: Autobiography and Novel in Eighteenth-Century England. Cambridge (MA); L., 1976.

Об этом см.: *Shumaker W.* Op. cit. P. 7–8.

151

См.: *Cowper W.* Memoir of the Early Life of William Cowper Written by Himself. L., 1816.

152

Линда Петерсон находит в автобиографии Ньюмена сознательную попытку подражания Августину (см.: *Peterson L.-H.* Victorian Autobiography: The tradition of self-interpretation. New Haven; L., 1986. Ch. 5).

153

См.: *Stauffer D.* English Biography before 1700. Cambridge (MA): Harvard Univ. Press, 1930. P. 214.

Все разнообразие мемуарно-документальной прозы XVIII в., включая произведения второстепенных и малоизвестных авторов, представлено в упомянутой книге Доналда Стауффера (см.: Ibid.) и особенно в дополнительном томе (см.: *Idem.* Bibliographical Supplement to The Art of Biography in Eighteenth-Century England. Princeton, 1941).

155

См.: *Starr G. A.* Defoe and Spiritual Autobiography. Princeton, 1965.

См.: Rambler. 1750. 13 october.

157

См.: Idler. 1759. 24 november.

См.: *Guillamet L.* The sincere ideal: Studies in sincerity in eighteenth-century English literature. Montreal; L., 1974.

Подобные идеи развивал, в частности, крупнейший поэт начала XVIII в. Александр Поуп в своих стихотворных посланиях, известных под названием «Моральные опыты» (1731–1735).

Johnson S. Works: In 8 vol. L., 1870–1876. T. II. P. 124.

161

Предтечей романтиков в создании духовной автобиографии творческой личности был историк Эдвард Гиббон (1737–1794), автор знаменитого труда «История упадка и разрушения Римской империи» (1776–1788). Его «Воспоминания о моей жизни» (1796) до сих пор пользуются любовью английского читателя.

162

См.: *Moore Th.* The Life, Letters and Journals of Lord Byron. L., 1830; см. также: *Байрон Дж-Г.* Дневники; Письма. М., 1963.

163

В файле — Том второй, Глава VII, раздел «5. Еще раз о романах» — *прим. верст.*

164

См.: *Годвин В.* Сен-Леон: Повесть шестнадцатого века / Пер. с англ. М. М. Ланиной; предисл. и примеч. А. П. Бондарева. М.: Ладомир, 2003. — 405 с. (Готический роман).

165

Подробно о взаимоотношениях с женщинами, сыгравшими большую роль в эмоциональном, духовном, общественно-политическом становлении писателя, см.: *Тугушева М.* Они его любили: Герберт Джордж Уэллс и женщины в его жизни. М., 2001.

166

В файле — Том второй, Глава VIII, раздел «1. Беседы у домашнего очага» — *прим. верст.*

167

В файле — Том второй, Глава IX, раздел «8. Мировая революция» — *прим. верст.*

Свифт Дж. Письма. М.: Текст, 2000. С. 100.

169

Составителя Ю. И. Кагарлицкий, Л. А. Сифурова.

comments

Комментарии
(Составил Ю. И. Кагарлицкий)

1

Джеймс Генри (1843–1916) — американский писатель, принявший английское гражданство. Мастер психологического романа. Одним из первых англоязычных писателей испытал на себе влияние русской литературы. В течение долгого времени поддерживал тесную дружбу с Уэллсом, жившим неподалеку. Их отношения прервались после публикации уэллсовского романа «Бун» (1915), одна из частей которого содержала язвительную пародию на Джеймса. Вдобавок ко всему автор подарил книгу «прототипу», воспринявшему это как изощренную издевку.

2

Грандисон — герой романа Сэмюела Ричардсона (1689–1761) «История сэра Чарльза Грандисона» (1754). В Грандисоне романист воплотил свои представления об идеальном джентльмене, однако этот герой не стремился к бегству от повседневности, так как ни для него, ни для его автора разделения на яркую, возвышенную жизнь и повседневность еще не существовало. Засасывающую рутину повседневности впервые изобразил Л. Стерн (1713–1768) в романе «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» (1759–1767), и только у романтиков разделение высокой жизни духа и низкой повседневности стало традиционным.

З

Юнг Карл Густав (1875–1961) — швейцарский психолог и философ, последователь Зигмунда Фрейда (1856–1939), с которым работал в 1907–1912 гг., профессор университета в Цюрихе, затем в Базеле. Развил ряд положений Фрейда и прежде всего учение о «либидо» как воле к жизни, а не просто как проявлении сексуальности, и неврозах как отражении детских впечатлений. Основатель так называемой «аналитической психологии». При том, что Уэллс был лично знаком с Фрейдом и хорошо знал основы его учения, к «фрейдизму» он относился достаточно критично. Главное влияние в области психологии на него оказал Юнг. С его теориями он был знаком еще по книге «Психологические типы», опубликованной на немецком языке в 1921 г., возможно, по пересказу или переводу, поскольку Юнга переводили в Англии с 1909 г., а затем по его «Тэвистокским лекциям», прочитанным в Англии в 1936 г. и ставшим предметом увлечения и споров в среде английской интеллигенции. Юнг ввел сделавшиеся общепринятыми понятия «экстраверт» и «интроверт», разработал теорию архетипов — форм человеческой психики, образующихся как под влиянием первобытной, так и современной культуры, но оттесненных в подсознание. Среди архетипов главенствующее положение занимают «самость» (осознание личности) и «эго» (центр индивидуальности). Юнгу также принадлежит разделение бессознательного на индивидуальное и коллективное (запечатленный в структуре мозга опыт предшествующих поколений). Для Уэллса последнее положение было особенно важным, поскольку он не принимал учения А. Вейсмана (1834–1914) о ненаследовании благоприобретенных признаков. После опубликования работы Юнга «К феноменологии духа в сказке» (1946, в переработанном виде под утвердившимся названием — 1948) это положение заняло важное место в фольклористике.

Уэллс был достаточно критичен не только по отношению к Фрейду, но и по отношению к Юнгу, что заметно и во вступительной части «Опыта автобиографии». Влияние Юнга сказалось в романе «В тайниках сердца» (1922). С другой стороны, в романе «Мир Уильяма Клиссольда» (1926) он заставляет одного из своих героев спорить с Юнгом. В докторской диссертации, которую Уэллс защитил в Лондонском университете в 1942 г., он опирается на идеи И. П. Павлова и К. Юнга.

В России Юнг известен с 1924 г., когда была переведена его книга «Психологические типы».

4

Эйнштейн Альберт (1879–1955) — один из основоположников современной физики, создатель частной и общей теории относительности, а также автор ряда других важнейших открытий. Родился в Германии в семье инженера. После захвата власти фашистами отказался от немецкого гражданства и от звания члена Прусской академии наук. В 1933 г. переехал в Принстон (США), где оставался до конца своих дней.

Уэллс был среди людей, которые помогли Эйнштейну покинуть Германию.

5

Ллойд Джордж Дэвид (1863–1945) — лидер Либеральной партии, в 1916–1922 гг. — премьер-министр Великобритании.

С Уэллсом Ллойд Джордж познакомился после выхода книги Уэллса «Новый Макиавелли» (1911). При том, что она имеет в основном автобиографический характер (правда, имена изменены), гл. V из 2-й части 3-й книги дает общий очерк тогдашней политической жизни. Фабианцы (см. примеч. 12 к гл. V наст. изд. /В файле — комментарий № 101 — *прим. верст.*/) были возмущены книгой, однако такие видные политические деятели, как редактор «Таймс» лорд Нортклиф, человек правой ориентации, и Ллойд Джордж отнеслись к ней с большим интересом. Друг Уэллса Ч.-Ф.-Г. Мастерман устроил по поводу ее выхода завтрак, на котором Уэллс и встретился впервые с Ллойдом Джорджем.

6

Шоу Джордж *Бернард* (1856–1950) — английский драматург, лауреат Нобелевской премии (1925 г.), видный театральный и музыкальный критик, один из учредителей Фабианского общества. О попытке Уэллса реформировать это общество и придать ему характер социалистической партии см. т. 2 наст. изд.; там же — о разногласиях Уэллса с Шоу.

7

Хаксли, сэр Джулиан Соррелл (1887–1975) — английский биолог и писатель, член Королевского общества. В 1908 г. получил Ньюдигейтскую премию за книгу стихов. Внук выдающегося английского биолога Томаса Генри Хаксли (Гекели) (1825–1895) и родной брат писателя Олдоса Леонарда Хаксли (1894–1963). Автор трудов по общим вопросам эволюции, экспериментальной эмбриологии, этике, один из создателей современной синтетической теории эволюции. Среди его работ — «Записки биолога» (1923), «Современные представления об эволюции» (1942), «Советская генетика и мировая наука» (1949), «Путь к новому гуманизму» (1957) и ряд других. Сотрудничал с Уэллсом в написании книги «Наука жизни». Уэллс высоко отзывался о вкладе Хаксли в эту работу. В свою очередь, Хаксли в своих воспоминаниях рассказал о невероятной работоспособности Уэллса.

8

Королевское общество — основано в 1645 г. в результате слияния нескольких клубов и первоначально имело название «Философское общество». Его деятельность прервала гражданская война. В 1662 г. было восстановлено под нынешним названием, получило королевский устав и с тех пор играет роль английской Академии наук. Издавна пользуется высокой репутацией, хотя жестоко осмеяно Свифтом в «Путешествиях Гулливера» (Свифт враждовал с Ньютоном, тогдашним главой Королевского общества). Членом Королевского общества был и старший сын Уэллса.

9

Гладстоны — Уильям Юарт (1809–1898), лидер Либеральной партии, премьер-министр Великобритании в 1868–1874, 1880–1886, 1892–1894 гг., и его младший сын Герберт Джон (1854–1930), видный парламентский деятель, руководитель либеральной фракции палаты общин, министр внутренних дел в 1905–1910 гг.; в 1916–1924 гг. губернатор и верховный комиссар ЮАР.

10

Бивербрук, сэр Уильям Максуэлл Эйткен (1879–1964) — канадский предприниматель, сколотил большое состояние на производстве цемента, был назначен канадским представителем на фронтах Первой мировой войны, составил себе имя отчетами о военных действиях и вошел в историю журналистики. Основатель газеты «Дейли экспресс» и некоторых других изданий. В 1918 г. — британский министр информации. Занимал ряд постов в военном кабинете Черчилля во время Второй мировой войны. Автор книг «Канада во Фландрии» (1915–1916), «Политики и пресса» (1925), двухтомника «Политики и война» (1928, 1932). Официально руководителем газетного концерна в течение многих лет был его сын.

11

Нортклиф Алфред Чарльз Уильям (1865–1922) — английский журналист, газетный магнат и политический деятель. Его брат, Гарольд Сидней, первый виконт Ротермир (1868–1940), связанный с Бивербруками (см. выше примеч. 10 /В файле — комментарий № 10 — *прим. верст.*/), принадлежал к числу видных журналистов и политиков. Другие члены этой семьи также находились на вершинах английской общественно-политической жизни (см. также примеч. 20 к гл. VI /В файле — комментарий № 140 — *прим. верст.*/).

12

Джинс, сэр Джеймс Хопвуд (1877–1946) — английский физик и астрофизик, профессор прикладной математики. С 1906 г. — член Лондонского Королевского общества, в 1919–1929 гг. — его секретарь, в 1925–1927 гг. — президент Королевского астрономического общества. До 1914 г. занимался исследованиями по теоретической физике, вопросами строения и эволюции звезд. Автор известных монографий «Проблемы космогонии и звездной динамики» (1919), «Астрономия и космогония» (1928), «Движение звезд» (1932), «Через пространство и время» (1934), «Наука и музыка» (1937). Из его научно-популярных книг наиболее известна «Вселенная вокруг нас» (1929), дважды переведенная на русский язык, — в 1932 г., и, под названием «Движение миров» — в 1933 г. Удостоен рыцарского звания. Уэллс скорее всего имеет в виду его книгу «Вселенная вокруг нас».

13

Георг IV (1762–1830) — английский король с 1820 г., представитель Ганноверской династии. В 1811–1820 гг. — принц-регент при больном отце Георге III.

14

Виктория (1819–1901) — племянница Вильгельма IV, с 1837 г. — королева Великобритании, с 1870 г. — императрица Индии. Ее правление составило эпоху в жизни Англии, называемую «викторианской». В 1840 г. вышла замуж за своего двоюродного брата принца Альберта (1819–1861), который был встречен в Англии с большим недоверием, но стал заметной общественной фигурой — поддерживал живопись, науку, музыку, занимался филантропией. По его предложению была открыта международная выставка 1851 г. Умер от тифа. После его смерти Виктория написала две его биографии (1868, 1883). Была большой поклонницей Диккенса. Следуя совету мужа, старалась как можно меньше вмешиваться в политику.

15

Вильгельм IV (1765–1837) — английский король с 1830 г.

16

Каролина фон Брауншвейг (1768–1821) — жена Георга IV (см. выше примеч. 2 /В файле — комментарий № 13 — *прим. верст./*).

17

Стрикленд Агнес (1769–1874) — английская историческая писательница. Упомянутая книга «Английские королевы» — это «Жизнь английских королев» в 12 томах (1840–1848), написанная ею совместно со старшей сестрой Элизабет (1794–1875). Писательнице также принадлежат книги «Жизнь королев Шотландии и английских принцесс» (1850–1859), несколько других исторических биографий и роман «Как это кончится?» (1865).

18

Императрица Евгения (1826–1920) — дочь испанского гранда, вышедшая замуж за Наполеона III (январь 1853 г.) вскоре после того, как в декабре 1852 г. он стал императором Франции. Трижды в отсутствие мужа была регентшей (1859, 1865, 1870 гг.), оказывала на него большое политическое влияние. Считалась законодательницей мод в Европе. После того, как Национальная ассамблея в Бордо отстранила 1 марта 1871 г. Наполеона III от власти, уехала с ним и сыном в Англию, где подружилась с королевой Викторией.

19

Остен Джейн (1775–1817) — английская писательница. Автор романов «Чувство и чувствительность» (опубл. 1811), «Гордость и предубеждение» (1813), «Мэнсфилд-парк» (1814), «Эмма» (1816), «Нортенгерское аббатство» и «Доводы рассудка» (опубл. посмертно, 1818). Действие этих романов происходит в английской провинции. Они отличаются тонким психологическим анализом и замечательным описанием деталей быта.

20

Бёрни Фанни (1752–1840) — английская писательница, предшественница Джейн Остен, автор «Дневников и писем» (1842–1846), где описывается ее жизнь при дворе, а также романов «Эвелина» (анонимно, 1778), «Сесилия» (1782), «Камилла» (1796), «Странница» (1814). В молодости входила в литературный круг С. Джонсона.

21

Низкая церковь — направление в англиканстве. Англиканство сложилось в XVI в. в правление Генриха VIII (1491–1547) как «средний путь» между крайностями католицизма и радикального протестантизма. Со временем внутри англиканства произошло размежевание на Высокую церковь, уделяющую больше внимания обряду и тяготеющую к католицизму, и Низкую церковь, тяготеющую к протестантским сектам, более суровую и аскетичную.

22

Штурм Иоганнес (1507–1589) — немецкий гуманист и педагог, ректор новой гимназии в Страсбурге, ревностный кальвинист.

23

Свифт Джонатан (1667–1745) — английский писатель-сатирик. С 1713 г. состоял деканом собора Святого Патрика в Дублине. Упоминаемая Уэллсом «Вежливая беседа», написанная около 1713 г. (опубл. в 1738), представляет читателю образчики светской беседы того времени.

24

Ап-парк был построен Фетерстоноу… — Ошибка Уэллса. Ап-парк построен не Фетерстоноу. В действительности это поместье было куплено отцом сэра Гарри сэром Мэтью в 1747 г., а построено почти за полвека до того и успело сменить шесть хозяев. Библиотеку, о которой в дальнейшем упоминает Уэллс, собрал еще сэр Мэтью Фетерстоноу, член Королевского общества. Ап-парк взят под охрану Национальным трестом (организация по охране памятников старины) как связанный с юными годами Уэллса. Здесь не допустимы никакие изменения. Например, не отреставрирована картина, слегка поврежденная Уэллсом. В 1988 г. Ап-парк сильно пострадал от пожара, но в том же году был восстановлен.

25

Гамильтон, сэр Уильям (1730–1803) — английский дипломат и археолог, посланник при неаполитанском дворе. В 1791 г. женился на Эмме Харт (в девичестве Лайон, ок. 1761–1815), ставшей позднее возлюбленной адмирала Нельсона.

26

Ромни Джордж (1734–1802) — английский живописец, испытавший влияние неоклассицизма. Прославился портретами женщин и детей.

27

Нельсон Горацио (1758–1805) — английский флотоводец, вице-адмирал (1801 г.), виконт (1801 г.). Одержал ряд побед над французским флотом. Особенно прославился победой при Трафальгаре (в этом сражении был смертельно ранен).

28

Пенсхерст-Плейс — поместье близ Тонбриджа в графстве Кент, одна из старейших английских усадеб, известна с XIV в., стала собственностью семейства Сидни. В 1605 г. его владелец Роберт Сидни (младший брат сэра Филипа Сидни, знаменитого поэта и политического деятеля) получил титул виконта де Лиля, и вплоть до времен Уэллса усадьба принадлежала этому роду. Воспета Беном Джонсоном, младшим современником Шекспира в поэме «К Пенсхерсту» (1616).

29

…у мистера Джозефа Уэллса… — Ошибка автора. Первого хозяина Джозефа Уэллса (отца Герберта Уэллса) звали Уильям Уэллс. Он был отставным капитаном корабля, прозванным за лютость в обращении с командой «тигр», а затем стал судовладельцем.

30

Орр Уильям Сомервил (ок. 1799–1873) — английский редактор и издатель серии популярных учебников «Круг знаний» (1854–1855 гг.), в которую вошли книги по основам математики, геометрии, физиологии, естественной истории.

31

Лэндсир, сэр Эдвин Генри (1802–1873) — английский художник-анималист и скульптор. Ему принадлежат также несколько портретов королевы Виктории и принца Альберта. Львы у подножия колонны Нельсона на Трафальгарской площади в Лондоне изваяны им в 1866 г.

32

Сара Гемп — вечно пьяная старая нянька и повивальная бабка из романа Чарльза Диккенса «Жизнь и приключения Мартина Чезлвита» (1843–1844).

33

Вуд Джордж (1827–1889) — английский священник, популярный писатель и лектор по вопросам естественной истории, автор книги «Человек и животное» (1874).

34

Ирвинг Вашингтон (1783–1859) — американский новеллист, известность которому принес сборник новелл «Книга эскизов» (1819–1820) и ее продолжение «Брейсбридж-холл» (1822). Ирвинг провел 17 лет в Европе, в том числе в Испании, впечатления о которой отразились в сборнике рассказов «Альгамбра» (1832). В 1828 г. опубликовал трехтомную «Историю жизни и путешествий Христофора Колумба», которая снискала ему известность в научных кругах. Оказал большое влияние на формирование английской новеллистики. У него учился мастерству рассказчика и Герберт Уэллс.

35

Диззи. — Речь идет о Бенджамине Дизраэли, графе Биконсфилде (1804–1881), видном общественном деятеле и писателе, министре иностранных дел и премьер-министре Великобритании, идеологе английского консерватизма.

36

…в отношении австрийских евреев… — Намек на взгляды австрийского психоаналитика Зигмунда Фрейда.

37

Тенниел, сэр Джон (1820–1914) — английский карикатурист, с 1850 по 1901 г. штатный сотрудник юмористического журнала «Панч». Приобрел славу своими иллюстрациями к первым изданиям «Алисы в Стране Чудес» (1865) и «Алисы в Зазеркалье» (1871) Льюиса Кэрролла (Чарльза Латвиджа Доджсона, 1832–1898).

38

Хрустальный дворец — огромный выставочный зал, построенный специально для международной выставки 1851 г. Выставка представляла новейшие технологии, полезные ископаемые, модели и макеты, музыкальные инструменты, произведения искусства, ювелирные изделия и т. д. После закрытия выставки в 1852–1854 гг. дворец был восстановлен из тех же материалов в восьми милях от Лондона и долгое время привлекал публику. В нем было два концертных зала, где устраивались генделевские фестивали, он был окружен парком, украшенным статуями. В 1866 г. в Хрустальном дворце случился пожар, после чего интерес к нему заметно уменьшился, хотя выгорело только северное крыло здания, и средства на его содержание вскоре перестали выделяться.

39

Эрин — древнее название Ирландии.

40

…изданному в 1871 году закону о начальном обучении… — В течение многих лет готовившийся парламентской комиссией и принятый во втором чтении государственный закон, согласно которому предполагалось лишь обучение чтению, письму и счету. В 1882 г. программа была значительно расширена, после чего она включила историю, обществоведение и естествознание. Ранее принятые добавления к закону 1871 г. (в 1873–1875 гг.) предполагали выдачу специальных грантов для обучения этим предметам педагогам и наиболее способным ученикам. В 1885 г. была создана система вечерних школ. Одну из них Уэллс упоминает в романе «Киппс» (1905). Закон 1871 г. явился важной вехой в английском литературном процессе, поскольку после его принятия в стране заметно расширился круг читателей.

41

…следили за маршрутами Стэнли, искавшего Ливингстона… — Стэнли Генри Мортон (псевдоним Джона Роулендса; 1841–1904) — английский журналист и путешественник. В возрасте четырнадцати лет стал служить в торговой конторе, но затем вступил в американскую армию конфедератов и начал писать для нескольких американских газет. Стал африканским корреспондентом газеты «Нью-Йорк геральд», участвовал в Абиссинской экспедиции, работал в Испании, присутствовал при открытии Суэцкого канала, путешествовал по Палестине, Турции, югу России, Персии, Индии, посетил Занзибар. Отличался храбростью и отвагой. В 1871–1872 гг. по заданию «Нью-Йорк геральд» участвовал в поисках исследователя Африки Дэвида Ливингстона (1813–1873), совместно с ним изучил озеро Танганьика, самостоятельно проследил все течение реки Конго. Дважды пересек Африку. В 1879 г. поступил на службу к бельгийскому королю и по 1884 г. принимал участие в захвате бассейна реки Конго, что явилось началом раздела Африки между европейскими державами. В дальнейшем стал крупным предпринимателем.

42

Уэст Джеффри Гарри (1900–1996) — биограф Уэллса и его однофамилец, принявший псевдоним Уэст. Автор книги «Г.-Дж. Уэллс. Набросок портрета» (1930). До этой книги Уэст подготовил (под своей настоящей фамилией) две библиографии Уэллса с примечаниями и комментариями. Первая из них была издана ограниченным тиражом в 220 экземпляров в 1925 г., вторая вышла год спустя. Уэсту принадлежит первое собрание писем Уэллса. Второе — в пяти томах — было подготовлено к печати американским профессором Дэвидом Смитом и начало выходить в 1996 г.

43

Дотбойс-Холл — школа-пансион, изображенная Диккенсом в романе «Жизнь и приключения Николаса Никльби» (1838–1839). Для того чтобы описать такие заведения, Диккенс предпринял специальную поездку в Йоркшир, который приобрел в этом отношении особенно дурную славу. Публикация романа привела к тому, что подобные школы были закрыты, хотя Диккенс и успел получить множество угрожающих писем от их директоров. Имя учителя Сквирса сделалось с тех пор нарицательным. Косвенным образом «Николас Никльби» повлиял на введение в 1846 г. системы школьных инспекторов.

44

По Эдгар Аллан (1809–1849) — американский поэт-романтик, новеллист и литературный критик, автор психологических, научно-фантастических и детективных новелл. И Жюль Верн, и Уэллс считали его своим предшественником. «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима» написана в 1838 г.

45

Гумбольдт Фридрих Генрих Александр, фон (1769–1859) — немецкий натуралист, географ и государственный деятель. Книга «Космос», которую он считал делом своей жизни, в процессе работы успела устареть, но так и не была закончена. Тем не менее она переведена на многие иностранные языки. Публиковалась частями в 1845–1862 гг.

46

Грин Джон Ричард (1837–1883) — английский историк, автор книг «Краткая история английского народа» (1874), «Создание Англии» (1881) и «Завоевание Англии» (1883). В 1860 г. принял духовный сан. На протяжении трех лет (с 1866 г.) занимал должность викария. «Краткая история английского народа» неоднократно переиздавалась с дополнениями в 1877–1880 гг.

47

Карлейль Томас (1795–1881) — английский публицист, историк, философ. С 1865 г. ректор Эдинбургского университета. Сформировался под влиянием немецкой литературы (особенно Гёте и Шиллера) и романтической философии. Автор очерков о Роберте Бёрнсе, Сэмюеле Джонсоне, Вольтере, Гёте и опубликованной частями «Истории немецкой литературы». Своей репутации мыслителя он обязан «Истории французской революции» (1837) и книге «О героях, поклонении героям и героическом в истории» (1841), в которой много внимания уделяется роли духовного начала, творческой личности, национального характера в истории.

48

Это неплохо смешивалось с антикатолицизмом, шедшим от протестантской традиции XVIII века… — Уэллс не случайно упоминает именно XVIII в., когда в 1715 и 1745 г. были предприняты попытки реставрации династии Стюартов (католиков), вызвавшие отпор большинства англичан. Через несколько десятилетий после того, как английские католики стали лояльны по отношению к новой власти, депутат парламента Джордж Сэвил, близкий к левому крылу партии вигов, внес законопроект об уравнении в правах католиков и протестантов. В день голосования законопроекта религиозный фанатик и политический авантюрист Джордж Гордон (1761–1793) привел к зданию парламента толпы обитателей лондонских трущоб, что было началом так называемого «Бунта лорда Гордона» (июль 1780 г.), мгновенно вылившегося в серию антикатолических погромов. Тем не менее закон был принят. Приведенная фраза Уэллса скорее всего навеяна романом Ч. Диккенса «Барнеби Радж» (1841), где описаны события июля 1780 г. Уэллс был знатоком и большим почитателем Диккенса.

49

Закон Гримма. — Этим термином принято обозначать одно из положений «Немецкой грамматики» (1819–1837) Якоба Гримма (1785–1863), легшей в основу немецкой филологии. Якобу Гримму принадлежат также книги «Немецкая мифология» (1835) и ряд других. Часть произведений Якоба Гримма, включая знаменитый сборник сказок, написана им совместно с братом Вильгельмом (1786–1859).

50

«Маленькие войны». — Эта книжечка Уэллса была издана в 1913 г. с подзаголовком «Игра для мальчиков до ста пятидесяти лет и самых умных девочек, которые любят те же игры и книги, что и мальчики».

51

Эмери Леопольд Чарльз Морис Стеннет (1873–1955) — английский публицист и государственный деятель, занимал посты государственного секретаря по колониальным вопросам и доминионам, первого лорда Адмиралтейства, был членом редакционного совета «Таймс». Автор книг «Империя в новой эре» (1928), «Заглядывая в грядущее» (1935) и др.

52

Черчилль Уинстон Леонард Спенсер (1874–1965) — премьер-министр Великобритании в 1940–1945, 1951–1955 гг. До 1904 г. консерватор, затем либерал, с 1920-х годов — лидер Консервативной партии, враг большевизма и Советской России, в 1942 г. был вынужден заключить союз с СССР (антигитлеровская коалиция). Его речь в Фултоне (1946 г.) положила начало «холодной войне».

53

Тревельян Джордж Маколей (1876–1962) — английский историк, профессор современной истории в Кембридже, автор трилогии, посвященной Гарибальди (1907, 1909, 1911), а также книг «История Британии в XIX веке, 1782–1901» (1922), «История Англии» (1926), «Англия при королеве Анне» (1930–1934), «Английская революция, 1688–1689» (1938), «Социальная история Англии» (1944). Ему принадлежит также ряд биографий.

54

Мастерман Чарльз Герни (1874–1927) — английский журналист и писатель, член Христианской социалистической партии, видный политик, член Палаты общин. Особую популярность приобрел в годы Первой мировой войны, когда руководил правительственным бюро военной пропаганды.

55

Алли Слопер — герой первой в Англии серии комиксов «Суббота Алли Слопера» (начата в 1884 г.).

56

Уэст Ребекка (1892–1983) — псевдоним Сесили Изабеллы Фэрфилд, заимствованный из «Росмерсхольма» Г. Ибсена. О многолетних отношениях Уэллса с Ребеккой Уэст см. во «Влюбленном Уэллсе» и в книге Гордона Н. Рея «Г.-Дж. Уэллс и Ребекка Уэст» (1974), а также ряде других источников. Ребекка Уэст составила себе имя в качестве критика книгой «Генри Джеймс» (1916), а как писательница — романами «Возвращение солдата» (1918), «Судья» (1922), «Странная необходимость» (1928), «Гарриэт Хьюм» (1929), «Мыслящий тростник» (1936). Ей принадлежат также сборник рассказов «Грубый голос» (1935), книга очерков о Югославии «Черный Ягненок и Серый Сокол» (1941). Р. Уэст была корреспондентом журнала «Нью-Йоркер» на Нюрнбергском процессе, следствием чего явился сборник статей «Значение Измены» (1949). Была удостоена титула «Дама» (соответствует званию «Кавалер», даваемому мужчине, именуемому в этом случае «сэр»).

Упоминаемый далее сын Уэллса и Ребекки Уэст, Энтони Уэст (1914–1987), пробовал себя как художник, затем завел молочную ферму. Его друг Грэм Грин после окончания Второй мировой войны издал его первую книгу «Сбор винограда». В 1950 г. Энтони Уэст эмигрировал в США, где выпустил несколько книг, но в первую очередь приобрел известность как критик и рецензент. Главной его работой является книга об Уэллсе «Разные стороны жизни», задуманная еще в 1948 г., но в полном виде выпущенная в 1984 г.

57

Итон — привилегированная школа, основанная в 1440 г. в расположенном на Темзе городе Итоне.

58

Сю Эжен (1804–1857) — французский писатель. Огромную популярность снискал его десятитомный роман «Парижские тайны», который публиковался выпусками в 1842–1843 гг.

59

…подобное женщинам на боттичеллиевой Primavera. — Боттичелли Сандро (наст. имя Алессандро Филипепи; 1445–1510) — итальянский живописец, одна из самых ярких фигур кватроченто. Картина «Primavera» («Аллегория Весны», галерея Уффици, Флоренция, ок. 1477–1478) относится к числу наиболее знаменитых его произведений.

60

Терри Эллен Элис (1847–1928) — английская актриса, прославившаяся в первую очередь исполнением ролей в пьесах Шекспира. Имела широкое публичное и государственное признание. Награждена Орденом Британской империи I степени (Дама большого креста). Читала лекции о творчестве Шекспира в США, Англии и Австралии (1910–1915 гг.). Мать режиссера Гордона Крэга (1872–1966). Была ведущей актрисой режиссера Генри Ирвинга.

61

Ирвинг, сэр Генри (псевдоним Джона Генри Бродрибба; 1838–1905) — английский актер и режиссер. Совместно с Эллен Терри руководил в 1878–1902 гг. лондонским театром «Лицеум». В качестве актера завоевал успех в «Гамлете» (1874 г.), «Макбете» (1875 г.), «Отелло» (1878 г.). Играл с Эллен Терри в «Венецианском купце», «Ромео и Джульетте», «Много шума из ничего», «Двенадцатой ночи», «Короле Лире» и других спектаклях. Огромный успех имел в пьесе Альфреда Теннисона (1809–1892) «Бекет» (1884 г.). Восемь раз гастролировал в США. Был первым в истории английским актером, которому присвоили звание рыцаря (1895 г.).

Встреча с Эллен Терри и Генри Ирвингом описана Уэллсом в романе «Билби» (1915).

62

«*Ватек*, арабская сказка» (1786) — книга знаменитого собирателя произведений искусства, предромантика Уильяма Бекфорда (1760–1844), написанная первоначально по-французски.

63

«Расселас» — «История Расселаса, принца абиссинского» (1759), философская повесть знаменитого английского критика и лексикографа Сэмюела Джонсона (1709–1784). Ему принадлежит также «Жизнеописание наиболее выдающихся английских поэтов» (1779–1781). В 1765 г. Джонсон издал со своим обширным, во многом новаторским предисловием собрание сочинений Шекспира.

Пейн Томас (1737–1809) — деятель американской и французской революций. Одна из самых независимых фигур этого исторического периода. Мелкий акцизный чиновник из квакеров, родился в Англии, но после увольнения за строптивость с работы в 1774 г. перебрался в Филадельфию, где опубликовал памфлет «Здравый смысл» (1776), ратующий за освобождение американских колоний. Памфлет имел огромный успех. С началом Войны за независимость (1775 г.) Пейн становится крупнейшим публицистом американской революции. В ходе военных действий выпускает тринадцать номеров периодического издания «Кризис» (1776–1783), которые по распоряжению Вашингтона читались в армейских частях. В 1787 г. переезжает в Англию (через Францию). Во время пребывания в Англии, в ответ на «Размышления о Французской революции» (1790) Эдмунда Бёрка (1729–1797) публикует один из самых известных манифестов буржуазной революции «Права человека» (1791–1792). Во Франции его избирают депутатом Конвента и почетным гражданином Французской республики. С начала якобинского террора Пейн обращается с письмами к Дантону и Марату и проводит около года в тюрьме. В 1794–1795 гг. публикует деистический памфлет «Век разума», за который и в Англии и в Америке подвергается яростной критике. В 1802 г. возвращается в Америку, где навлекает на себя неприязнь резким открытым письмом Вашингтону. Умер в бедности.

Чтение Пейна оказало большое влияние на выработку взглядов Уэллса.

65

Платон (428/427–348/347 до н. э.) — древнегреческий философ. В диалоге «Республика» (в других переводах — «Государство»), относящемся к среднему периоду творчества философа и оказавшем значительное влияние на последующее развитие утопической мысли, делит общество на жестко разграниченные классы правителей-философов, «стражей» (воинов и чиновников) и подчиненных им крестьян и ремесленников. Подражательное искусство в государстве Платона находится под запретом, поскольку изготовлять предметы предпочтительнее, чем их изображать. Из всех видов искусства Платон признает только боевые песни, поднимающие дух воинов. «Республика» Платона дала толчок утопической мысли, поскольку в этом диалоге была заложена идея о возможности коренного переустройства общества. «Республика» использовалась Уэллсом прежде всего в политической части, тем более что она подчеркивала важность воспитания сознательных и преданных отечеству граждан («Современная Утопия», 1905), но отталкивала его как человека искусства, боровшегося за всесторонне развитую человеческую личность. В написанном в тот же год предисловии к «Утопии» (1516) Томаса Мора (1478–1535) Уэллс обвинил Мора в том, что тот «ставит разум выше воображения».

Ханеман Кристиан Фридрих Саму эль (1755–1843) — немецкий врач, основатель гомеопатии. Свою систему лечения подробно изложил в 1810 г. В последние годы жизни работал в Париже. Известен также как один из первых гигиенистов. Успешно практиковал в качестве психиатра.

67

Грамматическая школа — средняя общеобразовательная школа в Англии, включающая в свою программу латынь. Существует на протяжении нескольких сотен лет. Подобную школу предположительно окончил Шекспир.

68

Смит, сэр Уильям (1813–1893) — английский филолог, автор энциклопедических словарей, посвященных Древней Греции и Древнему Риму (1842–1857). В 1850 г. опубликовал первый школьный греко-латинский словарь. В 1853 г. приступил к изданию серии учебников «Principia», которые способствовали значительному прогрессу в обучении школьников древнегреческому и латинскому языкам.

69

Пэли Уильям (1743–1805) — английский теолог, представитель теологического утилитаризма. Ему принадлежит книга «Свидетельство в пользу христианства» (1794), в которой он доказывал существование Бога, опираясь на рациональное устройство мироздания и человеческого тела.

70

Физиография — наука, представлявшая собой описательную часть минералогии, ботаники и зоологии. Создана Томасом Хаксли. В настоящее время как единое целое не существует.

71

«Альманах» Уитакера — ежегодный справочник, публиковавшийся в Англии с 1868 г. Джозефом Уитакером (1820–1895). Уитакер с 1856 по 1859 г. был также редактором известного журнала «Джентльмене мэгэзин».

72

Ивенс Карадок (1878–1945) — валлийский романист, драматург и журналист. Его книга «Нечем платить» (1930) носит автобиографический характер.

73

Джуд Незаметный — герой одноименного романа Томаса Гарди (1840–1928), талантливый самоучка, простой деревенский парень, резчик по камню, изучает историю, греческий и латынь и мечтает получить образование в университетском городе, но из-за бедности его мечтам не суждено осуществиться.

74

…старший из Хармсуортов. — Речь идет о старшем из пяти братьев, известных журналистов и политиков, об Алфреде Нортклифе (см. примеч. 11 к гл. I /В файле — комментарий № 11 — *прим. верст./*); о его брате Гарольде Сиднее Ротермире см. примеч. 19 к гл. I «Влюбленного Уэллса» /В файле — комментарий № 388 — *прим. верст./*.

75

Евангелист — то есть участник возникшего внутри Англиканской церкви в XVII в. евангелического движения, бывшего попыткой возрождения сердечной, живой, искренней веры.

Драммонд Генри (1851–1897) — шотландский лектор и писатель, преподаватель естественной истории. В 1873 г. присоединился к евангелическому движению. В своей книге «Естественная история и духовный мир» (1883) пытался примирить христианство с теорией эволюции. С 1884 г. — профессор теологии.

77

Кассел Джон (1817–1865) — английский издатель. Сын плотника, всеми своими знаниями обязанный самообразованию. С 1850 г. начал публиковать брошюры, имевшие целью поднять уровень образованности рабочего класса. С 1852 г. принялся издавать собственный научно-популярный журнал.

78

Джордж Генри (1839–1897) — американский экономист, предлагавший обложить большим налогом земельную собственность, затем ее национализировать и тем самым снять значительную часть налогов с промышленности. Предлагал меры по борьбе с монополиями. Согласно Джорджу, источник власти состоит в земельной собственности. Основы своей теории Генри Джордж изложил в книге «Земля и земельная политика» (1871), однако наибольшей популярностью пользовалась его работа «Прогресс и бедность» (1877–1879), которая в Англии и США проложила дорогу ряду социалистических теорий.

79

Фуко Жан Бернар Леон (1819–1868) — французский физик, определивший скорость света в воздухе и воде (1850 г.). Был главным физиком Парижской обсерватории. Уэллс ссылается на опыт с так называемым «маятником Фуко» (1851 г.) — устройством, помогающим доказать вращение Земли вокруг своей оси.

80

…не слыхала о деканах-безбожниках. — Слово «декан» означает в Англии также «настоятель собора».

81

Оуэн Роберт (1771–1858) — английский социалист, основатель опытных коммун в Англии и США. С десяти лет сам зарабатывал себе на жизнь, стал директором, а потом совладельцем крупной текстильной фабрики и первоначально прославился как филантроп. Сократил рабочий день, организовал ясли, детский сад и хорошую школу для детей рабочих, улучшил условия труда и быта. В 1815 г. создал проект закона, ограничивающий рабочий день для детей, и ввел для них обязательное школьное обучение. В дальнейшем критиковал самые основы капиталистического общества и стал главным вдохновителем системы кооперации. При этом, что особенно привлекало Уэллса, являлся противником революционных методов борьбы. Был, как и Уэллс, хорошо начитан в просветительской литературе и, подобно ему, придавал огромное значение воспитанию, был противником чартизма, в чем Уэллс тоже его повторял. На старости лет стал спиритуалистом. Автор книг «Революция сознания и человеческая практика» (1849) и «Автобиография» (1857). Оказал заметное влияние на формирование социалистической мысли на Западе.

82

Разбирательство Брэдлоу с Безант… — Речь идет о судебном столкновении в 1876 г. известного английского вольнодумца и политического реформатора, с 1880 г. — члена парламента Чарльза Брэдлоу (1833–1891) с последовательницей теософии и президентом Индийского национального конгресса Анной (Анни) Безант (1847–1933). Брэдлоу отстаивал свободу печати и выиграл процесс.

83

…Шелли с его концепцией свободного выбора. — Имеются в виду идеи английского поэта-романтика Перси Биши Шелли (1792–1822) о свободной любви, не скованной узами буржуазного брака. См. также примеч. 5 к гл. VI /В файле — комментарий № 125 — *прим. верст./*.

Англо-бурская война (1899–1902 гг.) — война Великобритании против Оранжевого свободного государства и Трансвааля, населенных потомками голландских колонизаторов — бурами. Последствием Англо-бурской войны была организация нового государства — Южно-Африканской Республики. Англо-бурская война вызвала широкую антианглийскую кампанию по всей Европе. В самой Англии сторонники буров были очень слабы, в то время как антибуры были представлены такими влиятельными в общественном мнении фигурами, как Р. Киплинг и А. Конан Дойл. Своеобразное исключение среди людей левых взглядов составлял Бернард Шоу, который выступал против буров, заявляя, что социалистические убеждения делают его противником малых государств, примером которых являются Оранжевое свободное государство и Трансвааль.

85

…в Афганистане, в Зулустане или… Александрии. — Речь идет о двух Англо-афганских войнах, закончившихся поражением англичан (1838–1842 и 1878–1880 гг.), а также об Англо-буро-зулусской войне — совместной войне Великобритании и бурских республик против зулусов, населявших земли, прилегавшие к Трансваалю и составляющие ныне основную часть одной из областей ЮАР — Зулусленда. В 1887 г. зулусы в результате новой войны были окончательно покорены. Бомбардировка Александрии (Северный Египет) относится к 1882 г.

86

Я не был таким образцом правдивости, как Джордж Вашингтон. — Имеется в виду хрестоматийная история из детских лет Вашингтона (1732–1799). Ему подарили топорик, он срубил им вишневое деревце, и на вопрос отца, кто это сделал, ответил: «Это я. Я не могу соврать».

87

Стивенсон Роберт Луис Бальфур (1850–1894) — английский писатель-неоромантик, оказавший заметное влияние на Уэллса, особенно в период, когда тот выступал как новеллист. См. также примеч. 11 к гл. VI /В файле — комментарий № 131 — *прим. верст./*.

88

Аллен Грант (1848–1899) — английский философ и психолог. С 1873 по 1876 г. был профессором негритянского колледжа на Ямайке. По возвращении в Англию выпустил книгу «Эстетика физиологии» (1877), «Чувство цвета: его происхождение и развитие» (1879), «Эволюционист в широком понимании слова» (1881), а потом начиная с 1884 г. показал себя как плодовитый беллетрист, автор более сорока романов.

89

Хадсон Уильям Генри (1841–1922) — натуралист и писатель. Родился в Аргентине в американской семье, в 15 лет переехал в Англию, бедствовал, писал романы, опубликовал принесший ему известность труд «Натуралист в Ла-Плате» (1892) и несколько популярных книг по орнитологии («Английские птицы» (1895) и др.).

Вейсман Август (1834–1914) — немецкий зоолог и эволюционист, основатель неодарвинизма.

91

Свенгали — герой романа Джорджа Луиса Палмелы Бюссона Дю Морье (1834–1896) «Трильби» (1894), считающегося образцом мелодраматического романа. В нем повествуется о трагической судьбе парижской натурщицы Трильби, в которую влюблено множество юношей, обучающихся живописи. Под влиянием польско-немецкого музыканта Свенгали она становится знаменитой певицей, но после его смерти теряет голос и умирает. В «Трильби» отразились впечатления, которые Дю Морье, родившийся в Париже, получил в художественных школах Парижа и Амстердама. После переезда в Англию он работал карикатуристом в журнале «Панч» и с 1864 г. состоял там главным художником. Дю Морье является также автором романов «Питер Ибберсон» (1891) и «Марсианин» (опубликован посмертно в 1897 г.).

Уилберфорс Сэмюел (1805–1873) — епископ Оксфордский (1845 г.) и Винчестерский (1860 г.). Славился как искусный полемист. Популярность Уилберфорса базировалась отчасти на том, что он был сыном Уильяма Уилберфорса (1759–1833), добившегося в 1807 г. в Палате общин запрета работорговли. Спор Сэмюела Уилберфорса с Томасом Хаксли, который выиграл Хаксли, стал поворотным пунктом в истории дарвинизма в Англии.

93

Харрис Фрэнк (1856–1931) — английский журналист и писатель, редактор «Ивнинг ньюс», двухнедельного обозрения «Фортнайтли ревью», еженедельника «Сатердей ревью» — одна из самых влиятельных фигур в английской прессе. Автор биографии Шекспира («Шекспир человек», 1909), ряда очерков о своих современниках («Современные портреты», 1915–1923), рассказов, романов, пьес. Автор биографий Оскара Уайльда (1916), Б. Шоу, а также автобиографической книги «Моя жизнь и любовные связи» в четырех томах (1922–1927), вызвавшей скандал из-за ее чрезмерной откровенности. О резко отрицательном отношении Уэллса к Харрису см. т. II наст. изд.

Планк Макс (1858–1947) — немецкий физик, основатель квантовой теории, автор работ по термодинамике, теории относительности, философии естествознания. В 1918 г. удостоен Нобелевской премии.

«Новое открытие единичного» (1891) — статья Уэллса, которая не только предвосхитила понятие «статистической причинности» в современной физике, но и предварила многие представления философии XX века, для которой характерно прямое обращение к предмету. Подобные философские установки сказались на писательском методе Уэллса, который начал с самых общих представлений о мироздании и социологии, затем в период занятий журналистикой (под влиянием Барри) занялся описанием бытовых мелочей, а в дальнейшем на новой основе вернулся к широким обобщениям. О движении данной философии к по-новому осмысленным частностям см. также в кн.: *Эпштейн М. Н.* Бог деталей. М., 1998, особенно в последней главе.

Лайел, сэр Чарльз (1797–1875) — основатель современной геологии. Из-за увлечения этой наукой отказался от адвокатской практики. В 1830–1833 гг. вышел в свет его главный трехтомный труд «Основы геологии». Большое количество использованных Лайелом материалов было собрано Ч. Дарвином во время его кругосветного путешествия. Книга Лайела явилась переворотом в геологии, поскольку ученый исходил из предпосылок, противоречивших библейским. Под названием «Основные начала геологии, или Новейшие изменения Земли и ее обитателей» книга Лайела была переведена на русский язык и издана в двух томах в 1866 г.

97

Мерчисон, сэр Родерик Импей (1792–1871) — автор многих основополагающих работ в области геологии, в том числе исследования геологической природы России. С 1852 г. директор Королевской Горной школы.

98

Грегори, сэр Ричард Арман (1864–1952) — английский астроном, редактор научно-популярного журнала «Нейчур» («Природа») с 1919 по 1939 г., автор книги «Религия в науке и цивилизации» (1940) и ряда других. В ноябре 1947 г. предпринял первую попытку основать Уэллсовское общество, но она не нашла поддержки. Против основания этого общества возражала Ребекка Уэст (см. примеч. 17 к гл. III /В файле — комментарий № 56 — *прим. верст.*/).

99

Рёскин Джон (1819–1900) — английский художественный критик и социолог, идеолог прерафаэлитов и борец за новое искусство в целом («Современные живописцы», в пяти томах, 1834–1860). Ратовал за возрождение ручного труда как способа проявления творческого потенциала личности ремесленника. Профессор Оксфордского университета.

100

Моррис Уильям (1834–1896) — английский поэт, писатель, член Демократической федерации (с 1883 г.), организатор Социалистической лиги (1884), знаменитый дизайнер, создавший свой стиль мебели и оформления книги, основатель фабрики, где применялся только ручной труд; переводчик на английский язык «Энеиды» (1875) и «Одиссеи» (1887), автор утопии «Вести ниоткуда, или Эпоха счастья» (1891) (несколько переводов на русский язык, начиная с 1906 г.).

101

Уэбб Сидней Джеймс, барон Пасфилд (1859–1947) — английский экономист, социалист и государственный деятель. Один из основателей Фабианского общества, автор книги «Социализм в Англии» (1890). Совместно со своей женой Беатрисой (1858–1943) написал ряд книг по истории рабочего движения в Англии. Был министром торговли в первом лейбористском правительстве (1924 г.), а во втором (1929–1931 гг.) — министром колоний и доминионов. Профессор им же основанной Лондонской экономической школы. Совместно с Беатрисой Уэбб написал книгу «Индустриальная демократия» (1897). В России эта книга была издана под названием «Теория и практика английского тредюнионизма» (1900–1901) и вызвала резко отрицательную оценку со стороны Ленина. Первый том был переведен В. И. Лениным, второй том был им отредактирован. Ленин называл Уэббов «тупыми хвалителями английского мещанства», а также «социалистическими лидерами, подло предавшими социализм». Тем не менее отношение Уэббов к Советской России всегда было крайне благожелательным. После поездки в Советский Союз (1932 г.) они издали книгу «Советский коммунизм — новая цивилизация» (1935, четыре издания за десять лет), во время Второй мировой войны — книгу «Правда о Советской России» (1942). Наряду с Шоу Уэббы всегда оставались самыми влиятельными фабианцами.

102

Спенсер Герберт (1820–1903) — английский философ и социолог, основной представитель английского позитивизма. Уже в первой из заметных своих работ «Социальная статистика» (1850) показал себя сторонником крайнего индивидуализма, по-своему истолковав в этих целях «Происхождение видов» Ч. Дарвина. Создал собственную философскую систему, которая должна была свести воедино метафизику, биологию, психологию, социологию и этику. Свои установки изложил в серии книг, издававшихся на протяжении десятилетий, с 1862 г. по 1893 г. Свою систему Спенсер называл «синтетическая философия». Основным социальным законом он считал закон выживания наиболее приспособленных социальных организмов. Нравственность, по Спенсеру, связана с пользой, которая и есть источник наслаждения. Кроме книг, в которых излагается «синтетическая философия», Спенсер оставил автобиографию (1904) и направленную против вмешательства государства в частную жизнь книгу «Человек в противостоянии государству» (1884), а также ряд более мелких работ. Спенсер неоднократно подчеркивал свою враждебность социализму. В этом отношении он оказался одним из самых влиятельных философов и социологов конца прошлого века не только в Англии, но и за ее пределами. В своей стране встретил сопротивление со стороны части неоромантиков и представителей всех направлений социализма.

103

Блейк Уильям (1757–1827) — английский художник, поэт, мистик, автор «Пророческих» поэм: «Америка: пророчество» (1793), «Европа: пророчество» (1794), «Мильтон» (1804–1808), «Иерусалим» (1804–1820) и других, которые он сопровождал своими иллюстрациями. Блейк попытался создать собственную мифологию, синтезирующую различные мифологические традиции и воссоздающую в символических образах судьбы мировой цивилизации.

104

Чентри, сэр Фрэнсис Легат (1781–1841) — английский скульптор и художник-портретист. Особенно прославился детскими портретами. Оставил большое состояние, которое завещал государству для покупки картин. Приобретенные на эти средства картины выставлены в настоящее время в галерее Тейта (см. след. примеч. /В файле — комментарий № 105 — *прим. верст.*/).

105

Тейт, сэр Генри (1819–1899) — английский сахарозаводчик и знаменитый филантроп, выделил большие деньги для Ливерпульского университетского колледжа и ливерпульских больниц. Подарил государству большую коллекцию современной живописи, для которой построил специальное здание (галерея Тейта, открытая в 1897 г.).

106

Закон о бедных. — Уэллс имеет в виду закон, принятый в 1601 г. Елизаветой I, в силу которого бедняки должны были обеспечиваться приходом.

107

Гайндман Генри Мейерс (1842–1921) — английский политический деятель, основатель Демократической федерации (1881 г.), в 1884 г. переименованной в Социал-демократическую федерацию, и британской Социалистической партии (1911 г.), из которой вышел в 1916 г.

108

Морис Фредерик Денисон (1805–1872) — английский теолог, основатель христианского социализма.

109

Кингсли Чарльз (1819–1875) — английский священник и профессор современной истории в Кембридже в 1860–1869 гг., капеллан королевы. Известность приобрел как писатель. В романах «Дрожжи» (1848, опубл. 1850) и «Олтон Локк» (1850) писал о тяжелом положении рабочего класса и крестьянства. Сочувствовал чартистам, но предостерегал против революционных методов. Кингсли является наиболее заметным представителем христианского социализма в английской литературе.

110

Прудон Пьер Жозеф (1809–1865) — французский социалист, теоретик анархизма, экономист, получил известность своей книгой «Система экономических противоречий, или Философия нищеты» (1846). Ратовал за преобразование капиталистического общества путем возврата к мелкотоварному производству, введения безденежного товарообмена и ликвидации государства.

111

…по-иберийски смуглый… — Иберы — народ, населявший южную часть Испании и часть Грузии.

112

Милль Джон Стюарт (1806–1873) — известный английский философ-позитивист, автор «Системы логики» (1843). Уже в двадцатилетием возрасте был признан главой одного из направлений утилитаризма, однако в том же возрасте пережил духовный кризис и внес в свои старые представления заметный элемент идеализма. С 1865 по 1868 г. был членом парламента, где защищал либеральные реформы.

113

Брайт Джон (1811–1889) — английский оратор и левый политический деятель, член палаты общин от Манчестера (с 1847 г. до смерти). Был на стороне Севера во время Гражданской войны в Америке, выступал за реформу образования, расширение круга избирателей на парламентских выборах, за свободу вероисповедания.

114

Макдональд Джеймс *Рамсей* (1866–1937) — английский государственный деятель. В 1894 г. присоединился к Комитету рабочего представительства, ставшему в 1900 г. Лейбористской партией, одним из основателей которой он являлся. В 1906 г. был избран в парламент и вскоре стал признанным руководителем Лейбористской партии. Убежденный пацифист, Макдональд протестовал против участия Англии в Первой мировой войне. Премьер-министр и министр иностранных дел в 1924 г. (первое лейбористское правительство Англии), в 1929–1935 гг. премьер-министр. В 1931–1935 гг., выйдя из Лейбористской партии, возглавил коалиционное «национальное» правительство. Автор книг «Социализм и общество» (1905), «Социализм и правительство» (1909) и др.

115

Догберри и Шеллоу. — Догберри — констебль, герой комедии У. Шекспира «Много шума из ничего», в переводе Т. Щепкиной-Куперник — «Кизил, полицейский пристав». Судья Шеллоу — персонаж шекспировской комедии «Виндзорские насмешницы».

116

Бланд Хьюберт (1856–1914) — английский писатель социалистического направления. Совместно с женой, прозаиком и поэтессой Эдит Несбит (1858–1924), являлся одним из основателей Фабианского общества.

117

Митчел, сэр Питер *Чалмерс* (1864–1945) — английский зоолог. Сыграл большую роль в переустройстве лондонского зоопарка. Автор книг «Очерк биологии» (1894), «Природа человека» (1904), «Материализм и витализм в биологии» (1930), «Мой дом в Малаге» (1938) и ряда других.

118

Острова Палау — группа островов в Тихом океане к юго-востоку от Филиппин. Открыты испанцами в 1543 г.

119

Миссис Бетл у Лэма — одна из героинь автобиографических очерков Чарльза Лэма «Очерки Элии» (1823–1833) (см. также примеч. 9 к гл. VI /В файле — комментарий № 129 — *прим. верст.*/). Этот образ списан с реального лица — невестки писательницы Фанни Бёрни (см. примеч. 9 к гл. II /В файле — комментарий № 20 — *прим. верст.*/).

120

Биркбек Джордж (1776–1841) — английский врач, основатель системы вечерних школ, где преподавались в основном технические предметы.

121

Уэслианцы — английская нонконформистская секта. Члены секты именуют себя также «методистами». Ее основатель Джон Уэсли (1703–1791) требовал методичного, последовательного выполнения религиозных предписаний, при этом видел основу христианской доктрины в непосредственном религиозном чувстве и личном общении с Богом и называл методизм «религией сердца». Возникнув в Англии в 30-е годы XVIII в., методизм наибольшее распространение получил в годы промышленной революции, поскольку включал в себя элемент социальной критики (обличение роскоши, неравенства и т. д.). Будучи разновидностью протестантизма, методизм не отвергал рациональности, но вместе с тем утверждал, что разум не способен дать веру, надежду, любовь, истинную добродетель и настоящее счастье. Из литературных течений к методизму близок сентиментализм. Методисты и поныне проповедуют в тюрьмах, больницах, среди бедняков, создают религиозные миссии. Среди методистов было немало видных богословов, музыкантов, поэтов.

122

«Ярмарка тщеславия» (1847–1848) — роман У.-М. Теккерея (1811–1863).

123

Конт Огюст (1798–1857) — один из основоположников позитивизма. Основная работа Конта шеститомный «Курс позитивной философии» (1830–1842. Русский перевод в двух томах, 1899–1900, под названием «Курс положительной философии»). Во второй период своей деятельности Конт провозгласил создание новой «религии человечества». Основная книга этого времени — «Система позитивной политики» (1851–1854). Позитивизм рассматривал себя как среднюю линию между эмпиризмом и мистицизмом: по Кошу, ни наука, ни философия не должны ставить вопрос о причине явлений. В соответствии с этим наука познает не сущности, а феномены.

124

Спенсер Эдмунд (ок. 1552–1599) — наиболее выдающийся поэт шекспировской эпохи, автор книги сонетов, «Пастушеского календаря» (1579), эпической поэмы «Королева фей» (первые три книги в 1590, вторые три — в 1596) и др.

125

Шелли Перси Биши (1792–1822) — английский поэт, романтик, друг Байрона, автор мифологической поэмы «Королева Маб» (1813), поэтической драмы «Прометей освобожденный» (1820), драматической поэмы «Восстание ислама» (1818), стихотворной трагедии «Ченчи» (1819), а также трактата «Защита поэзии» (1821, опубл. 1840).

126

Китс Джон (1795–1821) — английский поэт, один из наиболее тонких лириков романтической эпохи, автор поэм «Эндимион» (1818), «Гиперион» (неоконч., опубл. в 1899), «Ламия» (1820) и др.

127

Гейне Генрих (1797–1856) — немецкий поэт, мыслитель, художественный критик. Одна из вершин немецкой романтической лирики — его «Книга песен» (1827), а также прозаические «Путевые картины» (1826–1831), «Путешествие по Гарцу», книга очерков «Французские дела» (1832), книга «К истории религии и философии в Германии» (1834).

128

Уитмен Уолт (1819–1892) — американский поэт, автор поэтического сборника «Листья травы» (1855), философской поэмы «Путь в Индию» (1871), публицистического сборника «Демократические дали» (1871). Один из наиболее самобытных американских поэтов, смелый реформатор «свободного стиха».

129

Лэм Чарльз (1775–1834) — английский эссеист эпохи романтизма, известный прежде всего как автор «Очерков Элии» (1823–1833).

130

Холмс Оливер Уэнделл (1809–1894) — американский поэт и писатель, а также практикующий врач, читавший лекции по медицине в Гарвардском университете. Сотрудничал в известном журнале «Атлантик мансли», созданном в 1857 г., где публиковал литературно обработанные записи собственных бесед «Самодержец утреннего застолья» (1857–1858), «Профессор утреннего застолья» (1860), «Поэт утреннего застолья» (1862). Критиковал пуританский аскетизм и романтический идеализм, призывал руководствоваться здравым смыслом.

131

Стивенсон Роберт Луис Бальфур (1850–1894) — английский писатель неоромантического направления, автор приключенческих романов «Остров сокровищ» (1883), «Похищенный» (1886), «Катриона» (1893), исторических романов «Черная стрела» (1888), «Сент-Ив» (изд. 1897), психологической повести «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» (1886) и др.

132

Готорн Натаниел (1804–1864) — американский писатель эпохи романтизма, новеллист (сборник «Дважды рассказанные истории», 1837, 1846, 1851) и романист («Алая буква», 1850, рус. пер. 1856); «Дом о семи фронтонах», (1851, рус. пер. 1852), «Мраморный фавн» (1860). В «Романе о Блайтдейле» (1852, рус. пер. 1912) отразился опыт участия писателя в утопической коммуне Брук Фарм. В лучшем романе Готорна «Алая буква» напряженный моральный конфликт героев изображен на фоне суровых нравов американских пуритан XVIII в.

133

Беннет Арнольд (1867–1831) — английский писатель. Действие романов Беннета («Анна из Пяти городов», 1902, и др.) часто происходит в его родном Стаффордшире. О «Пяти городах», центре фарфоровой и фаянсовой промышленности, написаны и рассказы Беннета, вошедшие в несколько сборников. Друг Уэллса, вдумчиво относившийся к его творчеству.

134

Харрисон Фредерик (1831–1923) — английский писатель и философ-позитивист. В течение нескольких лет занимался в Лондоне юриспруденцией; заинтересовавшись позитивизмом, приобрел репутацию одного из руководителей позитивистского движения в Англии. Основал «Позитивистское обозрение» (1893 г.), создал позитивистский клуб. Среди его многочисленных книг наиболее известны «Значение истории» (1894), «Порядок и прогресс» (1875), «Социальная статистика» (1875), «Выбор книг» (1886), «Оливер Кромвель» (1888).

135

Сандерсон Фредерик Уильям (1857–1922) — основатель школы либерального направления в Оундле, неподалеку от города Питерсборо. Уэллс посвятил ему книгу «История Великого Учителя. Простой рассказ о жизни и взглядах Сандерсона из Оундла» (1924). Школа Сандерсона считалась экспериментальной и отличалась индивидуальным подходом к каждому ученику. В ней были сокращены часы, отводившиеся в обычных школах на классическое образование, но зато введен ряд новых предметов. После поездки Уэллса в Россию в 1914 г. в школе, по его совету, стали обучать также русскому языку. Уэллс отдал в школу Сандерсона двух своих сыновей, уже получивших ранее хорошую домашнюю подготовку. Это еще до начала работы над «Историей Великого Учителя» позволило Уэллсу ближе присмотреться к работе школы Сандерсона, что отразилось в первую очередь в романе «Джоанна и Питер» (1918).

136

Милн Алан Александр (1882–1956) — английский поэт, драматург, писатель. К числу его самых известных и популярных произведений принадлежит «Винни-Пух» (1926), а также сборник детских стихов (1927). В 1906–1914 гг. был заместителем главного редактора журнала «Панч», в 1915–1918 гг. участвовал в Первой мировой войне.

137

Бонапарт Мария *Летиция* (девичья фамилия Рамолино, 1750–1836) — мать Наполеона I, известна была своим твердым характером.

138

Ньюнес, сэр Джордж (1851–1910) — английский издатель. После опыта, упомянутого Уэллсом, основал в 1891 г. «Стрэнд мэгэзин», где появились первые повести о Шерлоке Холмсе, стал членом парламента от Либеральной партии, возглавлявшейся Гладстоном, начал с 1891 г. печатать «Вестминстерскую газету» — официальный орган Либеральной партии. В 1898 г. Ньюнес экипировал норвежскую экспедицию к Южному полюсу.

139

Мистер Микобер — Уилкинс Микобер, герой романа Чарльза Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим» (1850). Его прототипом послужил отец Диккенса Джон Диккенс, человек легкомысленный, безответственный, считавший, что его должны кормить родственники, хотя он и не отказывался от надежды, что его собственные дела каким-то таинственным образом сами собой поправятся. Отступлением от правды в романе явилось то, что реальный Джон Диккенс был хорошо оплачиваемым таможенным чиновником и впоследствии способным журналистом. С другой стороны, Джон Диккенс был расточителен, и в какой-то момент сын отказался оплачивать его долги. Тюремный эпизод «списан Диккенсом с натуры». Это был самый трудный период в жизни Диккенса.

140

…вознеслись к… дворянским титулам… подняли остальных своих братьев… — Хармсуорт Алфред Чарльз Уильям (1865–1922) стал виконтом, а с 1905 г. бароном Нортклифом, его брат Гарольд Сидней (1868–1940) — первый виконт Ротермир, Сесил Хилденбранд Обри (1872–1929) получил рыцарское звание, Сесил Бишоп (1869–1948) — первый барон Хармсуорт, член парламента от Либеральной партии, видный государственный деятель, автор книги «Бессмертные в первом поколении» (1933); сэр Роберт Лестер (1870–1937) с 1918 г. — баронет.

Все члены этого семейства были видными общественными деятелями, а некоторые из них занимали в разное время заметные государственные посты. Алфред Чарльз Уильям руководил Министерством пропаганды во время Первой мировой войны, выполняя различные дипломатические поручения, хотя отказался от должности посла в США; Гарольд Сидней во время войны руководил департаментом обмундирования, затем возглавлял Би-би-си, занимал профессорские должности в различных университетах. Хилденбранд Обри — видный деятель Либеральной партии, Сесил Бишоп — состоял членом парламента от Либеральной партии, был заместителем министра внутренних дел (1915 г.) и министра иностранных дел (1919–1922 гг.), членом совета Лиги Наций (1922 г.).

141

Энджел Лейн, сэр *Норман* (полн. имя Ральф Норман Энджел Лейн, 1872–1967) — английский писатель и лектор, редактор нескольких газет. Автор книги «Великое заблуждение» (1910), «Великое заблуждение, 1933» (1933), «Американская дилемма» (1940) и других публикаций по вопросам финансов, международных отношений и борьбы за мир. В 1963 г. был удостоен Нобелевской премии мира.

142

Вильсон Томас *Вудро* (1856–1924) — с 1913 по 1921 г. президент США, перед этим ректор Принстонского университета (1890–1910 гг.), профессор политэкономии и с 1910 по 1912 г. — губернатор штата Нью-Джерси. В 1917 г., когда Германия, блокируя Англию, начала топить американские корабли, добился вступления США в Первую мировую войну, в конце которой передал союзникам германские мирные предложения и участвовал в мирной конференции. Вильсон выступил с программой мира, сформулированной им в «Четырнадцати пунктах», но решения Парижской мирной конференции перечеркнули ее. Был одним из учредителей Лиги Наций, но руководящую роль заняли в ней не США, а Англия и Франция. Будучи представителем Демократической партии, потерпел поражение на выборах. В 1919 г. стал лауреатом Нобелевской премии. В тот же год пережил серьезный нервный срыв, был разбит параличом, но оставался президентом до конца срока. Автор нескольких книг, среди которых пятитомная «История американского народа» (1902).

143

Л. Л. Д., Д. С. Л, М. А., Б. Х. — транслитерация латинских сокращенных названий ученых степеней: LL.D. — Legum Doctor — доктор прав; D.C.L. — Doctor of Civil Law — доктор гражданского права; M.A. — Magister Artium — магистр искусств; B.C. — Bachelor of Chemistry — бакалавр химии или Bachelor of Commerce — бакалавр коммерции.

144

Харли-стрит — улица в Лондоне, где находились приемные ведущих частных врачей-консультантов.

145

Монтегю Эдвин Сэмюел (1879–1924) — английский государственный деятель. Занимал посты в интендантской службе колониальной администрации.

146

Эвелинг Эдвард Биббинс (1851–1898) — видный деятель английского рабочего движения, последователь и пропагандист дарвинизма, с 1870-х годов сторонник либеральных идей и социал-демократ, впоследствии марксист. Был женат на младшей дочери К. Маркса Элеоноре (1855–1898). Принял участие в переводе на английский язык первого тома «Капитала» К. Маркса и труда «Развитие социализма от утопии к науке» Ф. Энгельса. После создания Независимой рабочей партии стал членом ее исполкома. В 1896 г. вернулся в Социал-демократическую федерацию.

147

Фребель Фридрих (1782–1852) — немецкий педагог, теоретик дошкольного воспитания, разработавший идею детского сада, автор трактата по дошкольной педагогике и системы образовательных игр для детей. Организовал первый детский сад, считавшийся образцовым.

148

Коменский Ян Амос (1592–1670) — чешский гуманист, теолог и педагог. Впервые обосновал идею всеобщего образования на родном языке. Автор новаторских трактатов «Великая дидактика» (1633–1638), «Открытая дверь к языкам» (1631), «Материнская школа» (1632), «Мир чувственных вещей в картинках» (1658). Был приглашен в Швецию, чтобы усовершенствовать там образовательную систему. В 1648 г. стал епископом. Умер в Амстердаме.

149

Барри, сэр Джеймс Мэтью (1860–1937) — английский писатель, сын ткача. Начинал как журналист. Опыт этих лет отражен в его книге «Когда человек одинок» (1888). К числу его лучших произведений относится драматическая сказка «Питер Пэн» (1904), опубликованная позднее в виде повести «Питер и Венди» (1911).

150

Астор Уильям Уолдорф (1848–1919) — английский финансист и журналист. Родился в Нью-Йорке, был американским послом в Италии (1882–1885 гг.), опубликовал романы «Валентино» (1886) и «Сфорца» (1889). Принял британское гражданство в 1899 г. и получил титул виконта. Стал владельцем влиятельных изданий «Пэлл-Мэлл газетт» и «Пэлл-Мэлл мэгэзин».

151

…когда Джеймсон поражал весь мир… — Уэллс пишет здесь о событиях, предшествовавших Англо-бурской войне 1899–1902 гг. Главным действующим лицом этого периода был сэр Леандр Стар Джеймсон (1853–1917) — шотландский врач, переселившийся в Африку и сделавшийся ближайшим помощником английского колонизатора Сесила Родса (1853–1902). Во время конфликта, возникшего в Йоханнесбурге в 1896 г. между уитлендерами (белыми поселенцами из Англии) и бурами (потомками голландских поселенцев, составлявших основную часть белого населения Южной Африки), Джеймсон возглавил рейд через Трансвааль, чтобы помочь уитлендерам. По требованию президента Трансвааля Паулуса Крюгера был предан в Англии суду, арестован, но вскоре освобожден. Вернулся в Южную Африку, где с 1904 по 1908 г. был премьер-министром Капской колонии. Брат Уэллса никакого участия в военных действиях не принимал.

152

«Excelsior» — отрывок из статьи Уэллса, опубликованной в «Сатердей ревью», представляет собой уже достаточно подробный план его романа «Киппс» (1905).

153

Смайлс Сэмюел (1812–1904) — английский писатель, сторонник повышения образовательного уровня рабочего класса, автор популярных биографий и пособия «Помоги себе сам» (1859).

154

Роттен-роу — аллея для верховой езды в лондонском Гайд-парке.

155

…от Атлас-хауса к бремени Атласа. — Атлас (он же Атлант) — в греческой мифологии титан, брат Прометея. После поражения титанов в наказание должен был поддерживать на краю света небесный свод. Атлас-хаусом назывался дом, в котором Уэллс жил в детстве.

156

Годвин Уильям (1756–1836) — английский писатель и философ позднего Просвещения, автор философского труда «Рассуждение о политической справедливости» (1793), социального романа «Вещи, как они есть, или Приключения Калеба Уильямса» (1794) и др. Утверждал, что разумные существа могут жить в гармонии без вмешательства законов и традиций.

157

Шелли. — См. примеч. 5 к гл. VI /В файле — комментарий № 125 — *прим. верст./*.

Шелли был женат на дочери Годвина (см. выше примеч. 2 /В файле — комментарий № 156 — *прим. верст./*) Мэри и вслед за своим тестем проповедовал, в частности, идеи свободной любви.

158

Лир Эдвард (1812–1888) — английский поэт и художник, автор книг «Книга нонсенса» (1845), «Еще нонсенс» (1871), сборника путевых очерков и др. Известен также как пейзажист.

159

Мэнсфилд Кэтрин (1888–1923) — английская писательница (новозеландка по происхождению), работавшая в жанре психологической новеллы. Находилась под большим влиянием Чехова, ее часто называют «английским Чеховым».

160

Вулф Вирджиния (1882–1941) — английская писательница модернистского направления, дочь видного критика и биографа Лесли Стивена, член литературной группы «Блумсбери», жена прозаика и эссеиста Леонарда Вулфа. Романы «По морю прочь» (1915, рус. пер. 2002), «Ночь и день» (1919), «Комната Джейкоба» (1922, рус. пер. 1991). В романах «Миссис Дэллоуэй» (1925, рус. пер. 1984) и «К маяку» (1927, рус. пер. 1988) использовала метод «потока сознания». Ей принадлежат также романы «Волны» (1931, рус. пер. 2001), «Годы» (1937), «Между актами» (1941, посм., рус. пер. 1984), «Орландо» (1928).

161

Ситуэлл Дама *Эдит* Луиза (1887–1964) — английская поэтесса и критик.

162

Лоуренс Дэвид Герберт (1885–1930) — английский прозаик, модернист, уделявший в своих произведениях большое внимание эротическим отношениям персонажей. Его романы «Радуга» (1915), «Любовник леди Чаттерлей» (1928, опубл. полностью более тридцати лет спустя) упрекали в «непристойности», а их автор подвергался судебным преследованиям.

163

Уорд Мэри Августа, известная как миссис *Хэмфри Уорд* (1851–1920) — прославилась романом «Роберт Элсмер» (1888), в котором выступила за преобразование христианства за счет ослабления ритуальной стороны и усиления социальной направленности. Среди ее многочисленных романов примечателен роман «Марсела» (1894).

164

Стрейчи Сент-Лу (1860–1927) — английский журналист, владелец журнала «Спектейтор» (1898–1925 гг.), автор книг «Воспроизводство бедняков» (1907), «Проблемы и опасности социализма» (1908), «Новый образ жизни» (1909), «Жизнь как приключение» (1922).

165

Честертон Гилберт Кит (1874–1936) — английский писатель неоромантического направления, католик, автор романов, детективных рассказов, романизированных биографий, пьес, памфлетов, «Автобиографии». Мастер парадокса и полемики, довольно резко полемизировал с Уэллсом и Бернардом Шоу.

166

Мастерман — друг Уэллса. См. также примеч. 15 к гл. III /В файле — комментарий № 54 — *прим. верст./*.

167

Оливиер Сидней, первый барон Сидней Холдейн Оливиер Рамсдемский (1859–1943) — один из основателей Фабианского общества, государственный секретарь (1899–1904 гг.) и губернатор Ямайки (1907–1913 гг.), уполномоченный по делам Индии в первом лейбористском правительстве (1924 г.), автор ряда трудов, в том числе «Анатомии африканской нищеты» (1927).

168

Анвин Томас *Фишер* (1848–1935) — английский издатель, основатель издательского дома «Томас Фишер Анвин», открывший читателям Джозефа Конрада.

169

Форд Мэдокс Форд (ранее Форд Герман Хьюфер) (1873–1939) — прозаик, поэт и критик, основатель журнала «Инглиш ревью» (1908–1910), где публиковались произведения Дэвида Герберта Лоуренса, Томаса Гарди, Генри Джеймса, Джона Голсуорси, Герберта Джорджа Уэллса и Джозефа Конрада, соавтором которого являлся дважды. Автор большого числа романов, критических статей, воспоминаний, стихов. Стал именоваться Форд Мэдокс Форд после начала войны с Германией в 1914 г.

170

Казанова Джованни Джакомо (1725–1798) — итальянский писатель, ученый и знаменитый авантюрист. Автор исторических сочинений, фантастических романов и «Мемуаров» (1791–1798), запечатлевших его многочисленные авантюрные приключения и нравы современников.

171

…*чернильного Ловеласа*… — Имя Ловелас (букв.: «лишенный любви»), принадлежащее центральному герою романа С. Ричардсона «Кларисса, или История молодой леди…» (1747–1748), стало нарицательным для коварного соблазнителя.

172

Ленг Эндрю (1844–1912) — шотландский ученый и поэт, автор книги «Происхождение религий» (1898) и работ по истории Шотландии.

173

Аллен Грант. — См. примеч. 17 к гл. IV /В файле — комментарий № 88 — *прим. верст./*.

174

Джойнсон-Хикс, сэр Уильям (1865–1932) — английский юрист и политический деятель, занимавший многие государственные посты, в том числе пост министра внутренних дел (1924–1929 гг.).

175

Мередит Джордж (1828–1909) — английский писатель и поэт, автор романов «Испытание Ричарда Феверела» (1859), «Эгоист» (1879). В романе «Один из наших завоевателей» (1891) дал иронический портрет карьериста и авантюриста.

176

Леди Ронда, Маргарет Хейг Томас (1883–1958) — жена виконта Дэвида Алфреда Томаса Ронда (1856–1918), президента совета по местному самоуправлению в правительстве Ллойда Джорджа, который установил в Англии во время войны твердые цены и тем самым положил конец спекуляции. Леди Ронда — валлийская издательница, дочь промышленника. Активная суфражистка, член Социально-политического женского союза. Была арестована, объявляла под арестом голодовку. Вступила в дело отца, приобрела большое влияние в деловых кругах и в 1918 г. получила королевское разрешение присутствовать в палате лордов. В 1920 г. создала журнал «Тайм энд Тайд», а в 1926 г. стала его главным редактором, привлекла к сотрудничеству Бернарда Шоу, Честертона, Ребекку Уэст. Журнал изменил ориентацию от феминизма левого толка. Более тридцати лет он оставался одним из ведущих британских еженедельников. После смерти леди Ронда выяснилось, что она вложила в журнал 250 000 фунтов стерлингов.

177

Джеймс Уильям (1842–1910) — американский философ, старший брат писателя Генри Джеймса (см. примеч. 1 к гл. I /В файле — комментарий № 1 — *прим. верст.*/).

178

Вернон Ли (1856–1935) — псевдоним Вайолет Пейджет, английской писательницы, эссеистки и театрального деятеля. С 1871 г. Вернон Ли жила в Италии, где написала исследование «Восемнадцатый век в Италии» (1880). Ее роман «Мисс Браун» Г. Джеймс оценил как «плачевную ошибку».

179

Лоу, сэр *Дэвид* (1891–1963) — знаменитый английский карикатурист, работавший с различными газетами и журналами и рисовавший карикатуры, посвященные внутренней и международной политике Великобритании. Создатель карикатурного образа «Полковника Блимпа» — напыщенного и самодовольного британского ультраконсерватора.

180

Мосли, сэр Освальд Эрнальд (1896–1980) — окончил военное училище в Сандхерсте, участвовал в Первой мировой войне, был членом парламента от консерваторов, лейбористов. В 1931 г. основал Британский союз фашистов. В 1940–1943 гг. был интернирован.

181

Стрейчи Литтон (1880–1932) — английский литературовед, автор книг «Вехи французской литературы» (1912), «Знаменитые викторианцы» (1918), «Поуп» (1925) и др.

182

Гедалла Филип (1889–1944) — английский историк, эссеист и биограф. Соч.: «Герцог» (1931) (биография Веллингтона) и «Мистер Черчилль» (1941).

183

Троллоп Энтони (1815–1882) — английский писатель, автор цикла романов «Барчестерширские хроники»: «Попечитель» (1855), «Барчестерширские башни» (1857, рус. пер. 1970) и др., а также ряда политических романов, в числе которых «Премьер-министр» (1876), книги путевых очерков, литературно-критической работы и биографии «Теккерей» (1879), «Автобиографии» (опубл. в 1883).

184

Сестры Бронте — писательницы: Шарлотта (1816–1855), автор принесшего ей широчайшую известность романа «Джейн Эйр» (1847), а также других романов: «Шерли» (1849), «Городок» («Виллет», 1853). Посмертно, в 1857 г., был опубликован ее первый роман «Учитель» (1846). Эмили Бронте (1818–1848) прославилась романом «Грозовой перевал» (1847). Энн (Анна) Бронте (1820–1849) — автор романов «Агнес Грей» (1847), «Незнакомка из Уайлдфелл-холла» (1848). Впервые сестры Бронте заявили о себе общим сборником «Стихотворения братьев Керрера, Эллиса и Эктона Беллов» (1846).

185

Бальфур Артур Джеймс, первый граф Бальфур (1848–1930) — английский философ и государственный деятель, в 1902–1905 гг. — премьер-министр, в 1916–1919 гг. — министр иностранных дел, автор книг «Защита философского сомнения» (1879), «Основания веры» (1895), «Теизм и гуманизм» (1915), «Теизм и мысль» (1923).

186

Уиндэж Джордж (1863–1913) — английский политический деятель и литератор, редактор Плутарха и Шекспира.

187

Булвер-Литтон Эдвард Джордж, первый барон Литтон (1803–1873) — английский писатель, политический деятель. В его драматургическом наследии представлены чуть ли не все жанры. Исторические драмы («Леди из Лиона» (1838), «Ришелье» (1839), мелодрамы — «Деньги» (1840) и др.) были популярны в Англии на протяжении почти полувека. Наиболее известные романы Булвер-Литтона — «Пелэм, или Приключения джентльмена» (1828), «Пол Клиффорд» (1830), «Кенелм Чиллингли, его приключения и взгляды на жизнь» (1873) и исторический роман «Последние дни Помпеи» (1834).

188

Ридж Уильям *Петт* (1860?—1930) — английский журналист и писатель. Уже в первом романе «Мод Эмили» (1898) блестяще проявилось его умение создавать юмористические картины жизни простого народа. Автор романов: «Сын государства» (1899), «Нарушитель законов» (1900), «Дело миссис Галер» (1905) и др.

189

Хенли Уильям Эрнест (1849–1903) — писатель, издатель. Опубликовал первый роман Уэллса «Машина времени» (1895).

190

Сейнтсбери Джордж Эдвард Бейтмэн (1845–1933) — английский критик и литературовед, автор «Краткой истории французской литературы» (1882), «Истории литературы елизаветинской эпохи» (1887), «Литературы XIX века» (1896), «Краткой истории английской литературы» (1898), «Истории критики» (1904). Автор исследований о Вальтере Скотте и Мэтью Арнольде.

191

Госсе, сэр *Эдлгунд* (1849–1928) — английский поэт, литературовед и критик. Автор монографий о Томасе Грее (1882), Уильяме Конгриве (1888), Джоне Донне (1899) и других. Друг А.-Ч. Суинберна, Р.-Л. Стивенсона, Г. Джеймса. Знаток скандинавских языков и литературы, переводчик Ибсена. Г.-Дж. Уэллс назвал его «государственным английским беллетристом».

192

Каннингем Грэм Роберт Бонтайн (1852–1936) — писатель, антиимпериалист, социальный реформатор, много путешествовал, особенно по Латинской Америке.

193

Бирбом, сэр *Макс* (1872–1956) — английский критик, эссеист и карикатурист. Искусно пародировал литературный стиль произведений Г. Джеймса, Г.-Дж. Уэллса, Р. Киплинга.

194

Боттолми и Беркенхед, Рамсей Макдональд и Левенштейн, Шоу и Захаров, Монди Грегори, я… — Уэллс перечисляет добившихся признания людей, которые долгое время были в обществе «чужаками» либо по своему низкому социальному происхождению, как сам Уэллс или родившийся в бедной рыбацкой деревушке известный политик Рамсей Макдональд (см. примеч. 25 к гл. V /В файле — комментарий № 114 — *прим. верст./*), либо как иностранцы — ирландец Шоу или известный банкир болгарин Захаров, либо из-за авантюристических наклонностей, как осужденный в 1922 г. на 7 лет за финансовые махинации Горацио Уильям Боттомли (1860–1933), основатель «Файнэншэл таймс» (1888 г.) и еженедельника «Джон Буль» (1906 г.).

195

Голуэй — графство на западе Ирландии, ирландская глубинка.

Драйден Джон (1631–1700) — английский драматург, автор многочисленных героических пьес и дидактических поэм.

197

Керзон Джордж *Натаниел* (1859–1925) — маркиз, министр иностранных дел Великобритании в 1919–1924 гг., автор книг «Россия в Центральной Азии» (1889) и других, вице-король Индии в 1899–1905 гг.

Сиккерт Уолтер Ричард (1860–1942) — английский художник и гравер.

199

Д’Абернон Эдгар Винсент (1857–1941) — английский финансист, финансовый советник египетского правительства (1883–1889 гг.), глава константинопольского имперского банка (1889–1897 гг.), глава британской экономической миссии в Аргентине и Бразилии (1929 г.), посол в Германии (1920–1926 гг.).

200

Стрит Джордж Слит (1867–1936) — писатель реалистического направления, эссеист, автор популярнейшего в свое время романа «Автобиография мальчика» (1894). Считался «непревзойденным стилистом» (Э. Паунд), обладал тонким чувством юмора. Служил цензором в ведомстве лорда-канцлера.

201

Моррисон Артур (1863–1945) — английский журналист, писатель, драматург. Ему принадлежит также серия детективов. Известный коллекционер предметов китайского и японского искусства.

202

Гилберт, сэр Уильям Швенк (1836–1911) — юрист, с 1869 г. — драматург, автор многочисленных комических опер, написанных совместно с композитором Салливеном (см. след. примеч. 21 /В файле — комментарий № 203 — *прим. верст.*/).

203

Салливен сэр Артур Сеймур (1842–1900) — английский композитор, органист и хореограф, некоторое время работал совместно с У.-Ш. Гилбертом (см. предыдущ. примеч. /В файле — комментарий № 202 — *прим. верст.*/), автор популярных песен.

204

Александер Джордж (1858–1918) — английский актер и менеджер, много работал с Генри Ирвингом (см. примеч. 22 к гл. III /В файле — комментарий № 61 — *прим. верст./*), прославился своей красотой и игрой в спектаклях по пьесам О. Уайльда.

205

Батлер Сэмюел (1835–1902) — автор утопий «Едгин» (1872) и «Возвращение в Едгин» (1901), романа «Путь всякой плоти» (1903) и ряда научных статей, направленных против некоторых аспектов дарвинизма.

206

Грэнвилл-Баркер Харли (1877–1946) — английский театровед, актер и режиссер. С 1900 по 1905 г. работал с Б. Шоу. В 1910 г. поставил пьесу Д. Голсуорси «Правосудие». Известный постановщик У. Шекспира. Среди его лучших трудов: «О драматическом методе» (1931), «О поэзии в драме» (1937) и «Польза драмы» (1946).

207

Пинеро, сэр Артур Уинг (1855–1934) — английский драматург. Наибольшую известность ему принесли комедии-фарсы «Судья» (1885), «Амазонки» (1893), мелодрамы «Вторая миссис Тенкерей» (1893), «Известная миссис Эббсмит» (1895) и другие.

208

Кэмпбелл Патрик (Пэт) (1865–1940) — английская актриса, прославившаяся эксцентрическими ролями. Роль Элизы Дулитл («Пигмалион») была написана Б. Шоу специально для нее. Она и Б. Шоу долго обменивались письмами, которые легли в основу пьесы Джерома Килти «Милый лжец» (1950).

209

Эрминия — героиня поэмы итальянского поэта XVI в. Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим» (1580). Чтобы спасти жизнь своему возлюбленному, рыцарю-крестоносцу Танкреду, она мечом отрезала свои волшебные волосы, обладавшие силой исцеления.

210

Рихтер Жан-Поль Фредерик (настоящее имя: Иоганн Пауль Фридрих) (1763–1825) — немецкий писатель, романтик, любимый автор Т. Карлейля (см. примеч. 8 к гл. III /В файле — комментарий № 47 — *прим. верст.*/), романы «Геспер» (1795), «Зибенкэз» (1796).

211

Тиндейл Уильям (ок. 1494–1536) — деятель Реформации, переводчик Библии, сожжен на костре.

212

Ле Гальенн Ричард Томас (1866–1947) — английский поэт, писатель и критик.

213

Суинберн Алджернон Чарльз (1837–1909) — английский поэт, близкий кружку прерафаэлитов, чья лирика отличалась самолюбованием, фривольностью, воспеванием чувственных наслаждений.

Браунинг Роберт (1812–1889) — английский поэт и драматург. Много писал об Италии, где жил с женой поэтессой Элизабет Баррет (1806–1861) до ее кончины.

215

Ричардсон Дороти Миллер (1873–1957) — английская писательница, представительница школы «потока сознания». Ее автобиографические романы, составившие цикл «Паломничество», публиковавшиеся между 1915–1967 гг., повествуют, в частности, и о ее интимных отношениях с Уэллсом.

216

Джером Джером Клапка (1859–1927) — английский юморист, автор знаменитой книги «Трое в лодке, не считая собаки» (1889), переведенной на многие языки. В 1892 г. основал популярный журнал «Бездельник».

217

Лоу, сэр *Сидней* Джеймс Марк (1857–1932) — английский журналист и писатель. Среди его книг «Взгляд на Индию» (1906), «Зов Востока» (1921). С 1888 по 1897 г. — редактор «Сент-Джеймс газетт».

218

Грэм Кеннет (1859–1932) — автор знаменитой книги «Золотой век» (1895) — о детстве в английской деревне и ее продолжения «Волшебные дни» (1898). В 1908 г. написал книгу для детей «Ветер в ивах», которую с удовольствием читали и взрослые.

219

Омар Хайям Гиясаддин (ок. 1048) — персидский и таджикский поэт, математик, философ. Автор более 400 философских рубаи. В Англии известен благодаря блестящему переводу, осуществленному Эдвардом Фицджералдом (1809–1883).

Гиссинг Джордж Роберт (1857–1903) — английский писатель, считавшийся в свое время представителем натурализма, автор романов «Деклассированные» (1884), «Демос» (1886), «В юбилейный год» (1894). Наиболее известное произведение — роман «Новая Граб-стрит» (1891), в котором описаны нравы современной журналистики. С начала 1960-х годов в Англии и Америке оживился интерес к творчеству Гиссинга, что нашло отражение в публикации его «Заметок о демократии» (1968) и «Дневника» (1978).

221

Суиннертон Фрэнк Артур (1884–1982) — английский романист, критик, друг А. Беннета, Дж. Голсуорси, Г.-Дж. Уэллса.

222

…по-джонсоновски выспренне… — то есть в манере Сэмюела Джонсона (1709–1784), английского писателя и лексикографа.

223

Лукреция — римская матрона, жена патриция Коллатина. Как повествует Тит Ливий, подверглась насилию со стороны Секста, сына последнего римского царя Тарквиния Гордого. Сообщив мужу о нанесенном ей бесчестии и умоляя о мщении, Лукреция покончила с собой. Преступление Секста и деспотическое правление царя вызвали возмущение народа, что привело к изгнанию семейства Тарквиниев из Рима и провозглашению республики (см.: Тит Ливий. I. 58–60). Предание легло в основу поэмы У. Шекспира «Лукреция» (1594).

224

Виктор-Эммануил II (1820–1878) — король Сардинии (1849–1861 гг.) и объединенной Италии (1861–1878 гг.).

225

Гиббон Эдвард (1737–1794) — английский историк, член парламента. Его главный труд «История упадка и разрушения Римской империи» (1776–1788).

226

Кассиодор (ок. 487 — ок. 578) — видный писатель и политический деятель королевства остготов. Был представителем той части римской земельной аристократии, которая после основания остготского государства в Италии сблизилась с «варварской» знатью. Занимал ряд важных государственных должностей при короле Теодорихе и его преемниках. По поручению Теодориха написал «Историю готов». Им был также составлен сборник официальных документов остготских королей «Разное». Кроме того, Кассиодору принадлежал ряд работ богословско-схоластического характера.

227

Анубис — в древнеегипетской мифологии бог — покровитель мертвых, а также некрополей, погребальных обрядов и бальзамирования. Изображался в облике волка, шакала или человека с головой шакала.

228

Уоллас Грэм (1835–1932) — английский политик и ученый, профессор Лондонского университета, фабианец, сотрудник Лондонской экономической школы, автор ряда книг.

229

Острогорский Моисей Яковлевич (1854–1921) — русский политический писатель, автор книги «Демократия и организация политических партий» (1903) — на материале английских и американских политических реалий. Эта работа, несмотря на широкое распространение на Западе, нигде не упоминается у Ленина.

Бентам Джереми (1748–1832) — английский философ, социолог, юрист, родоначальник философии утилитаризма.

231

Несбит Эдит (1858–1924) — английская романистка, поэтесса и детская писательница. В 1880 г. вышла замуж за Хьюберта Бланда, писателя-публициста (1855–1914); вместе с ним присоединилась к Фабианскому обществу. Пользовались известностью ее повести о семействе Бестеблов, например, «Как искали сокровища» (1899).

232

Честертоны — Г.-К. Честертон (см. примеч. 11 к гл. VII /В файле — комментарий № 165 — *прим. верст.*/) и его брат Сесил Эдвард (1879–1918), специальный корреспондент газеты «Дейли экспресс», автор книг о России, Китае и Японии.

233

Смит Адам (1723–1790) — англо-шотландский философ и экономист, автор «Теории морального чувства» (1759) и «Исследования о природе и причинах богатства народов» (1776).

234

Крейн Стивен (1871–1900) — американский писатель, поэт, журналист, автор романов «Мэгги: девушка с улицы» (1893) и «Алый знак доблести» (1895).

235

Бирс Амброз (1842–1914?) — американский писатель, новеллист, юношей принимал участие в Гражданской войне Севера с Югом. Наиболее известны два сборника его новелл: «В гуще жизни. Рассказы о военных и штатских» (1891) и «Возможно ли это?» (1893). Писал «страшные» и фантастические рассказы в духе Э. По. Автор сардонического «Словаря сатаны» (1906) и рассказов, обличавших бессмысленность и жестокость войны. В 1872–1876 гг. работал в Англии в журнале «Фан» и прославился там как остроумный журналист.

236

Шеридан Клер Консюэло (1885–1970) — английский скульптор и писательница, вдова убитого в Первой мировой войне внука знаменитого Ричарда Шеридана (1751–1816), двоюродная сестра Уинстона Черчилля. Ее резцу принадлежат бюсты Асквита, Маркони, Ленина, Троцкого, Ганди и других. Автор книг «Русские портреты» (1921), «Мой американский дневник» (1922) и других воспоминаний, а также романа «Маска» (1942).

237

Конрад Джозеф (Юзеф Теодор Конрад Коженёвски, 1857–1924) — родившийся в Бердичеве на Украине английский писатель польского происхождения. Автор романов «Каприз Олмейера» (1895), «Лорд Джим» (1900), «Сердце тьмы» (1902), «Тайный агент» (1907), «Глазами Запада» (1911).

238

Мур Джордж (1852–1933) — англо-ирландский писатель и драматург, один из деятелей Ирландского литературного возрождения. Наиболее известными его произведениями стали пьеса «Дайармид и Грания» (1900, в соавторстве с У.-Б. Йейтсом), сборник рассказов «Невспаханное поле» (1903), роман «Озеро» (1905), автобиографическая трилогия «Приветствие и прощание» (1911–1914).

239

Торо Генри Дэвид (1817–1862) — американский писатель, член кружка трансценденталистов, в своем сочинении «Уолден, или Жизнь в лесу» (1854) рассказал о том, как прожил два года в срубленной им самим избушке на берегу озера Уолден, питаясь тем, что выращивал на своем огороде.

240

Россетти Кристина (1830–1894) — английская поэтесса, вместе со своим братом Данте Габриэлем Россетти (1828–1882) входила в кружок прерафаэлитов.

241

Томлинсон Генри Мейджор (1873–1958) — романист и журналист. Книга «Море и джунгли» (1912) повествует о путешествии в Бразилию и вверх по Амазонке.

242

Босуэлл Джеймс (1740–1795) — автор классической биографии «Жизнь Сэмюела Джонсона» (1791). Босуэлл около тридцати лет был знаком с Джонсоном и записывал свои разговоры с ним.

243

Сесил Эдгар Алджернон Роберт (1864–1958) — виконт, член парламента, заместитель министра иностранных дел (1918 г.). Известен как противник политики Дж. Чемберлена в отношении свободы торговли. В 1937 г. получил Нобелевскую премию мира. Очевидно, Уэллс имеет в виду и писателя лорда *Сесила* Эдварда Кристиана Дэвида (1902–1986).

244

Седжвики — американская семья литераторов: Энн Дуглас (1873–1935), Кэтрин Мария (1789–1867), Сьюзен (1789–1867).

245

Рейли, сэр *Уолтер* Александр (1861–1922) — английский критик и эссеист, профессор английской литературы в Оксфорде. Среди его трудов: «Мильтон» (1900), «Шекспир» (1907).

246

Леди Кроу — Маргарет Этренн Ханна Примроуз (1881–1967), дочь графа Роузбери, жена английского государственного деятеля и дипломата маркиза Роберта Кроу-Милнса (1858–1945).

247

Бэринг Морис (1874–1945) — журналист и писатель, специалист по России и русской литературе.

Майерс Фредерик Уильям Генри (1843–1901) — английский поэт и эссеист, один из основателей Общества психических исследований (1882), литературовед.

249

Мактаггарт Джон Мактаггарт Эллис (1866–1925) — английский философ, автор книг «О некоторых религиозных догматах» (1906), «Комментарии к логике Гегеля» (1910) и «Природа экзистенции» (1921–1927).

250

Льюси, сэр *Генри* Уильям (1843–1924) — английский журналист, юморист и сатирик, работал в журнале «Панч». Автор книг «Люди и нравы парламента» (1919), «Дневник журналиста» (1920–1923) и других.

251

Крайтон-Браун Джеймс (1840–1938) — известный врач, автор ряда научных трудов.

252

Монд, сэр Алфред Мориц, первый лорд Мелчет (1868–1930) — промышленник, финансист, политический деятель, член парламента, министр здравоохранения (1921–1922 гг.) и организатор конференций по сотрудничеству труда и капитала, видный сионист, друг Уэллса, главный герой его романа «Мир Уильяма Клиссольда» (1926). Монд принадлежал к известной семье ученых и промышленников. Его отец Людвиг (1839–1909) занимался теоретической и прикладной химией, был известным археологом. Для Уэллса эта семья наглядно воплощала идеал совмещения науки с практической деятельностью.

253

Арлен Майкл (1895–1956) — английский романист и драматург. Родился в Болгарии в армянской семье (наст. имя Тигран Кумиджан). С 1922 г. британский подданный. Автор романов «Лондонское приключение» (1913), «Какие прелестные люди» (1920), «Зеленая шляпка» (1924), «Летучий голландец» (1939) и др.

254

Кларендонские установления — решения об ограничении компетенции и самостоятельности церковных судов, принятые в 1164 г. королем Генрихом II (1133–1189, король с 1154 г.). За принятием этих постановлений вскоре последовало убийство архиепископа Томаса Бекета (1118–1170), враждовавшего с королем.

255

Билль о правах — в Англии и британских доминионах — Билль о правах 1689 г., закрепивший результаты так называемой Славной революции 1688 г., установившей обновленную парламентскую систему после свержения Якова II Стюарта. В США законодательный акт с таким же названием говорил об ограничении прав английской короны. Уэллс не уточняет, о каком из двух актов идет речь.

256

Карл V Габсбург (1500–1558) — испанский король под именем Карла I (1516–1556 гг.), император — правитель Священной Римской империи (1519–1556 гг.). Вынашивал планы создания всемирной («универсальной») монархии. Отрекся от обоих престолов.

257

Поуп Александр (1688–1744) — английский поэт-классицист. Прославился комической поэмой «Похищение локона» (1712–1714), философско-дидактической поэмой «Опыт о человеке» (1732–1734), философскими посланиями в стихах, а также сатирой «Дунсиада» (1728). В предисловии к «Опыту о человеке» заметил, что мог бы написать его прозой, но предпочел стихи, так как они способствуют краткости изложения и легче запоминаются.

Троттер Уилфред (1872–1939) — английский хирург, лейб-медик (1928–1932 гг.), с 1935 г. — профессор.

259

Суинни Генри Хатчинсон (1813–1862) — английский священник, викарий, руководитель колледжа Аллибоун.

Конт Огюст — см. примеч. 3 к гл. VI /В файле — комментарий № 123 — *прим. верст./*.

261

Спенсер Герберт (1820–1903) — см. примеч. 13 к гл. V /В файле — комментарий № 102 — *прим. верст./*.

262

Агадирский инцидент. — Иначе «второй марокканский кризис», произошел после того, как Франция оккупировала столицу Марокко Фес в мае 1911 г. В ответ Германия послала в марокканский порт Агадир канонерскую лодку «Пантера». Этот конфликт явился одним из предвестников Первой мировой войны.

263

Гогенцоллерны — династия бранденбургских курфюрстов (1415–1701 гг.), прусских королей (1701–1918 гг.) и германских императоров (1871–1918 гг.). Вильгельм II был свергнут ноябрьской буржуазной революцией 1918 г.

264

Крупп — семья немецких металлопромышленников, основавших свое производство в 1811 г. В 1860 г. ружье конструкции Альфреда Круппа было принято на вооружение прусской армией, и с тех пор Круппы являются крупнейшими немецкими оружейниками.

265

Франс Анатоль (наст. имя — Анатоль-Франсуа Тибо, 1844–1924) — французский писатель, лауреат Нобелевской премии 1921 г. Работал в разных литературных жанрах: романист, новеллист, автор исторических и автобиографических повествований, поэтических сборников, публицистики, литературных этюдов о творчестве французских писателей. В России его произведения переводятся с 90-х годов позапрошлого века.

266

Арчер Уильям (1856–1924) — выдающийся английский театральный критик и переводчик. Его переводы Г. Ибсена сыграли большую роль в становлении новой английской драмы. Книга Арчера «Бог и мистер Уэллс» (1917) подтолкнула Уэллса к отходу от богостроительства.

267

Сквайр, сэр *Джон* Коллингс (1884–1958) — английский журналист, основатель и редактор (1919–1932 гг.) лондонского «Меркурия». Ему также принадлежит ряд юмористических сборников и книг на самые разные темы.

268

Жоффр Жозеф Жак Сезер (1852–1931) — французский генерал, с 1914 г. главнокомандующий французской армией, а затем армией союзников, с 1917 г. — маршал Франции.

269

Монтегю Чарльз Эдвард (1867–1928) — английский журналист и писатель. В 1914 г. ушел добровольцем в армию. Трижды отмечен приказом за храбрость. Автор книг «Разочарование» (1922), «Грубая справедливость» (1926), сборника эссе (1924), а также передовиц манчестерской газеты «Гардиан».

Стерн Лоренс (1713–1768) — английский писатель-сентименталист, автор романа «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» (1759–1767).

271

Китченер Гораций Герберт (1850–1916) — граф, английский фельдмаршал, в 1900–1902 гг. главнокомандующий в Англо-бурской войне, военный министр в 1914–1916 гг.

Кромвель Оливер (1599–1658) — деятель английской буржуазной революции XVII в. Один из главных организаторов парламентской армии, одержавшей победы над королевской армией в гражданских войнах. Опираясь на армию, содействовал казни короля и провозглашению республики (1649 г.). В 1653 г. установил режим единоличной военной диктатуры — протекторат.

Марбург Теодор (1874–1948) — невропатолог, директор неврологического института при Венском университете (1919–1938 гг.), с 1938 г. жил в США, автор книги «Развитие идеи Лиги Наций» (1932).

Пейш, сэр *Джордж* (1867–1957) — английский экономист и финансист, занимал ряд правительственных постов. Автор книг «Железные дороги Великобритании» (1904), «Железные дороги Соединенных Штатов» (1913), «Путь к процветанию» (1927), «Самоубийство мировой экономики» (1929), «Как выбраться» (1937).

Дикинсон, сэр Уиллоуби, лорд (1862–1932) — английский эссеист.

Хобсон Джон Аткинсон (1858–1940) — английский экономист, автор книг «Проблемы бедности» (1891), «Проблема безработицы» (1896), «Империализм» (1902) и многих других.

277

Уильямс Эньюрин (1859–1924) — адвокат, писатель.

278

Вулф Леонард Сидней (1880–1969) — публицист, литературный редактор «Нейшн» (1923–1930). Совместно с женой Вирджинией Аделиной (1882–1941), будущей известной писательницей, основал в 1917 г. издательскую фирму «Хогарт Пресс». Автор книг «Международное правительство» (1916), «Социализм и сотрудничество» (1921), «Империализм и цивилизация» (1928) и др.

Брейлсфорд Генри Ноэл (1873–1958) — английский журналист, редактор журнала «Нью лидер» (1922–1926 гг.). Автор книг «Шелли, Годвин и их круг» (1913), «Как работают Советы» (1927), «Бунтующая Индия» (1931) и др.

280

Вебстер Ной (1758–1843) — американский лексикограф и писатель, автор «Американского словаря английского языка» (1828), «Истории Соединенных Штатов» (1832) и других работ.

281

Маунтбэттены — влиятельное английское семейство, одним из наиболее известных представителей которого является Луис Александер Маунтбэттен, маркиз Милфорд Хейвен (1854–1921), британский адмирал и государственный деятель, который и имеется здесь в виду.

282

Дональд, сэр Роберт (1860–1933) — известный журналист, редактор «Дейли кроникл», основатель муниципального журнала и ежегодника, занимал ответственные посты в ряде правительственных комитетов и комиссий, был, в частности, одним из директоров в Министерстве информации.

283

Николсон, сэр *Чарльз* (1857–1918) — занимал ряд постов в британских государственных органах, в частности, вице-председателя Лондонского комитета военных пенсионеров.

О'Грейди Стэндиш *Джеймс* (1846–1928) — ирландский литератор, родоначальник Кельтского Возрождения, автор «Героического периода истории Ирландии» (1878–1880).

285

Стид Генри *Уикэм* (1871–1956) — английский журналист, корреспондент «Таймс» в Риме и Вене, редактор иностранного отдела «Таймс» (1914–1919 гг.), затем главный редактор «Таймс» (1919–1922 гг.), владелец и редактор «Ревью ов ревьюс» (1923–1930 гг.), автор многих книг, в том числе «Гитлер — откуда и куда» (1934), «Почему Британия воюет» (1939).

286

Тиррелл Уильям Джордж (1866–1947) — английский дипломат, заместитель министра иностранных дел (1925–1928 гг.), посол во Франции (1928–1934 гг.).

287

Лоуренс Аравийский — полковник Лоуренс Томас Эдвард (1888–1935), английский археолог, разведчик, летчик, знаток диалектов арабского языка. Окончил «Восточный факультет» (разведшкола) Оксфорда. Вел на арабском Востоке самостоятельную политику, не согласованную с политикой МИДа в отношении арабов, ушел в отставку (1922 г.). В 1926 г. опубликовал книгу «Семь столпов мудрости», в 1927-м — ее сокращенный вариант «Восстание в пустыне», в 1932 г. — прозаический перевод «Одиссеи».

Баркер, сэр *Эрнест* (1874–1960) — английский историк, профессор политологии.

289

Кертис Лайонел (1872–1955) — находился на службе в Южной Африке. Преподавал в Оксфорде колониальную историю. Служил в Министерстве по делам колоний, занимался ирландским вопросом. Автор ряда работ по проблемам войны и мира, мировой революции, проблемам колоний.

Фаллодонский, виконт Эдвард *Грей* (1862–1933) — министр иностранных дел Великобритании в 1905–1916 гг.

291

Хилтон Джон (1880–1943) — профессор Кембриджа, автор книг по статистике.

292

Мерре́й Джордж *Гилберт* Эме (1866–1957) — английский профессор, автор многих работ по истории античной литературы и книг по политологии.

293

Спендер Джон Алфред (1862–1942) — английский журналист, член делегации виконта Алфреда Милнера в Египет (1919 г.), которая рекомендовала предоставить этой стране независимость. Автор «Краткой истории нашего времени» (1934) и других книг.

Циммерн, сэр Алфред Экхард (1879–1957) — английский политолог, профессор международной политики. Автор книг «Национальная принадлежность и правительство» (1918), «Выздоравливающая Европа» (1922) и др.

295

Колби Бейнбридж (1869–1950) — американский юрист, участвовал в выдвижении на пост президента Теодора Рузвельта. После неудачи Рузвельта на повторных выборах поддерживал его в деле основания Прогрессивной партии (1912 г.). Государственный секретарь (1920–1921 гг.). Автор книги «Последние годы администрации Вудро Вильсона» (1930).

Кейнс Джон Мейнард (1883–1946) — английский экономист и публицист, развивал теорию государственного регулирования капиталистической экономики.

297

Лубин Дэвид (1849–1919) — агроном. Родился в Польше. В США с 1884 г. занимался проблемами садоводства, создал организацию садоводов, которая переросла в 1910 г. в Международный институт сельского хозяйства, имевший целью распространение информации о прогрессивных методах ведения сельского хозяйства. С 1910 по 1919 г. Лубин представлял в нем США.

Джонстон, сэр *Гарри* Гамильтон (1858–1927) — английский путешественник и писатель, автор романов и научных книг об Африке.

Росс, сэр *Денисон* (1871–1940) — английский востоковед.

300

Хоррабин Джеймс Фрэнсис (1884–1962) — английский журналист и иллюстратор, социалист.

301

Ван Лоон Хендрик Уиллем (1882–1944) — журналист, лектор и писатель. Родился в Роттердаме, с детства жил в США, работал в 1906, 1914, 1915–1918 гг. газетным корреспондентом в Европе. В США читал лекции по истории и искусствоведению. За книгу «История человечества» (1921) получил в 1923 г. медаль Ньюбери.

302

Кроузиер Джон *Битти* (1849–1921) — канадский философ, историк и экономист. Автор ряда книг по проблемам религии, цивилизации, экономики, политики, социологии.

303

Мисс Флайт — персонаж романа Диккенса «Холодный дом» (1853), добрая безумная старуха, которая ходит в суд с сумкой не относящихся к делу документов.

Сандерсон Ф.-У — См. примеч. 15 к гл. VI /В файле — комментарий № 135 — *прим. верст./*.

305

Ротарианцы — члены ротарианских клубов, возникших впервые в Чикаго в 1905 г., а в Англии — в 1911 г., куда входили представители бизнеса и профессионалы, ставившие своей целью пропаганду высоких этических идеалов в служении обществу, признание достойности всех полезных профессий, завязывание знакомств как возможности оказывать услуги. Собирались по очереди в офисах или домах каждого из своих членов, — отсюда, от слова «ротация», название клубов.

306

Робинсон Джеймс Харви (1863–1936) — американский историк, профессор Колумбийского университета (1892–1919 гг.). Организовал «Новую школу социальных исследований» в Нью-Йорке (1919–1921 гг.). Родоначальник нового метода изучения и преподавания истории с опорой на социальные процессы, историю техники и искусства. Автор книг «Введение в историю Западной Европы» (1903), «Развитие современной Европы» (два тома в соавторстве с А. Бирдлом, 1907), «Новая история» (1911), «Разум в процессе становления» (1921), «Тяжелые времена цивилизации» (1926).

307

Беллок Джозеф *Хилэр* Питер (1870–1953) — английский писатель, прославившийся многообразием жанров, в которых он работал, — эссе, романы, история, поэзия, путевые заметки, биографии, литературная критика.

308

Макдональд — см. примеч. 25 к гл. V /В файле — комментарий № 114 — *прим. верст./*.

309

Сноуден Филип (1864–1937) — см. примеч. 8 к «Прологу» «Влюбленного Уэллса» /В файле — комментарий № 365 — *прим. верст./*.

310

Томас Джеймс Генри (1874–1949) — английский профсоюзный деятель, выходец из рабочего класса. В 1917–1924, 1925–1931 гг. возглавлял профсоюз железнодорожников, в 1910–1936 гг. был членом парламента, занимал видные государственные должности.

311

Клайнс Джон Роберт (1869–1949) — английский профсоюзный деятель, член первого лейбористского правительства, вице-спикер парламента, министр внутренних дел в 1929–1931 гг.

Милнер Алфред, первый виконт Милнер (1854–1925) — губернатор Капской колонии; после Англо-бурской войны — губернатор бурских республик (1902–1905 гг.). Возглавлял миссию в Египет (1919 г.), которая рекомендовала предоставить этой стране независимость.

«Ловкач и компания» (1899) — повесть Р. Киплинга, основанная на воспоминаниях школьных лет.

Даукинс, сэр *Клинтон* Эдвард (1859–1905) — колониальный чиновник.

315

Ривз Уильям *Пембер* (1857–1932) — журналист, политик и экономист. Редактор газет «Кентербери таймс», «Литтлтон таймс», член парламента Новой Зеландии (1887–1896 гг.), министр образования, труда и юстиции (1891–1905 гг.), Генеральный представитель Новой Зеландии в Англии (1905–1908 гг.), директор Лондонской школы экономики (1908–1920 гг.). Автор книг «Государственные эксперименты в Австралии и Новой Зеландии» (1902), «Густое белое облако — история Новой Зеландии» (1898), составитель сборника новозеландских стихов.

316

Сэдлер Майкл (1888–1957) — писатель и издатель, сотрудник с 1920 г., а затем директор издательства «Констебл». Участник Парижской мирной конференции (1919 г.), входил в секретариат Лиги Наций, автор пяти романов и биографии Троллопа (1927–1928).

317

Ньюболт, сэр *Генри* Джон (1862–1938) — английский поэт и прозаик, редактор «Мансли ревью» (1900–1904). Книга «Барабаны судьбы и другие морские баллады» (1914). Ему принадлежит также официальная «История Британского флота» (1923).

318

Уэджвуд Джосайя (1872–1943) — корабельный инженер, служил на верфях, отмечен за храбрость в Англо-бурской и Первой мировой войнах, вице-председатель Лейбористской партии, канцлер графства Ланкастер в первом лейбористском правительстве (1924 г.). С 1941 г. барон Уэджвуд ов Барластон.

319

Смит (Уордл-Смит) *Джон Хью* (1905–1968) — выпускник Оксфорда, на дипломатической службе с 1945 г., в разные годы был послом в Рио-де-Жанейро, Каире, занимал дипломатические должности в Чили, Индонезии.

320

Репингтон Чарльз Акорт (1858–1925) — полковник, служил в Афганистане, Бирме, Судане, Южной Африке, во время Первой мировой войны — военный корреспондент.

321

…не то откровение, подобно Павлу… — Имеется в виду апостол Павел, получивший Откровение на пути в Дамаск и ставший после этого ревнителем христианства.

322

Розбери Арчибальд Филипп Примроуз, пятый граф Розбери (1847–1929) — известный оратор и спортсмен, либеральный премьер-министр после Гладстона (1894–1895 гг.), убежденный империалист. Автор ряда биографий великих людей.

323

Холдейн Ричард Бёрдон Сандерсон, виконт (1856–1928) — английский государственный деятель и философ, учился в Эдинбурге и Геттингене, в 1879 г. начал юридическую практику, в 1885 г. стал членом парламента и переизбирался до 1910 г. С 1905 г. — на высоких государственных постах. Занимался политическими отношениями с Германией. Увлекался немецкой философией. Его основные труды: «Тропа к реальности» (1903), «Царство относительности» (1921), «Философия гуманизма» (1922).

324

Шопенгауэр Артур (1788–1860) — немецкий философ-иррационалист и пессимист, считавший основным видом познания интуитивное, которому мир раскрывается как эквивалент бессознательных сил природы. Бог, свобода воли и бессмертие души — иллюзии. Основной труд — «Мир как воля и представление» (1819).

Френч Джон Дентон, граф Ипрский (1852–1925) — командующий английским Экспедиционным корпусом во Франции в 1914–1915 гг. В 1918–1921 гг. — вице-король Ирландии.

Хейг Дуглас, первый граф Хейг (1861–1928) — с 1917 г. фельдмаршал. В 1915–1919 гг. главнокомандующий английским Экспедиционным корпусом во Франции и Фландрии.

327

Бальфур Фрэнсис Мейтленд (1851–1882) — автор учебника по эмбриологии (1880–1881).

328

Непотизм (от *лат.* nepos — «племянник») — раздача Папами Римскими ради укрепления собственной власти доходных должностей, званий, земель родственникам. В переносном смысле — кумовство.

329

Вольф Хамберт (1885–1940) — английский поэт-сатирик, эссеист.

330

Вертов Дзига (Денис Аркадьевич Кауфман, 1895/96–1954) — родоначальник советского и мирового документального кино. Фильм «Три песни о Ленине» поставлен в 1934 г.

331

Век золотой… / Как мудрая змея. — Строфа из драмы «Эллада» Перси Биши Шелли.

Мартино Гарриет (1802–1876) — английская романистка и экономист. Автор сборника очерков «Иллюстрации к политической экономии» (1832–1834), книг «Законы о бедняках и неимущих» (1833), «Американское общество» (1837), романа «Дирбрук» (1839) и др.

333

Чоут Джозеф Ходжес (1832–1917) — американский посол в Англии (1899–1905 гг.).

334

Дарроу Кларенс Сьюард (1857–1938) — американский юрист. Защитил социалиста Юджина Дебса, которого обвиняли в антигосударственном заговоре. Неоднократно выступал в защиту рабочих организаций.

335

Рассел Чарльз Эдвард (1860–1941) — американский журналист и писатель. Кандидат от социалистов на выборах губернатора Нью-Йорка. Автор книг «Восстание многих» (1907), «Почему я социалист» (1910) и др. Лауреат Пулитцеровской премии (1928 г.).

A.A.A. — Agricultural Adjustment Administration — Администрация урегулирования [проблем] сельского хозяйства.

337

Моли Реймонд Чарльз (1886–1975) — профессор политэкономии, заместитель государственного секретаря США (1933 г.), главный редактор журнала «Тудэй» (1933–1937 гг.), член рузвельтовского «мозгового треста», автор книги «Уроки американского гражданства», выдержавшей десять изданий с 1917 по 1930 г.

338

Фишер Ирвинг (1867–1947) — профессор политэкономии, автор книг «Природа капитала и дохода» (1906), «Покупательная способность денег» (1911), «Обвал фондового рынка и его последствия» (1930), «Стопроцентные деньги» (1935) и др.

339

Тагуэл Рексфорд Гай (1891–1979) — заместитель министра сельского хозяйства США, член рузвельтовского «мозгового центра», преподаватель экономики. Автор книг «Промышленность достигла совершеннолетия» (1927), «Индустриальная дисциплина» (1933), «Битва за демократию» (1935) и др.

Франкфуртер Феликс (1882–1965) — профессор Гарвардской юридической школы.

341

Хардинг Уоррен (1865–1923) — президент США в 1921–1923 гг. Его политическая репутация пострадала из-за коррупции ряда назначенных им высших чиновников. Умер во время агитационной поездки.

342

Гувер Герберт Кларк (1874–1964) — президент США с 1929 по 1933 г.

343

Лаваль Пьер (1883–1945) — премьер-министр Франции в 1931–1932 и 1935–1936 гг. В 1934–1935 гг. — министр иностранных дел. В 1942–1944 гг. — глава коллаборационистского правительства в Виши. Казнен в 1945 г.

Кулидж Калвин (1872–1933) — президент США в 1923–1929 гг.

345

Линдси (Линдсей), сэр *Рональд* Чарльз (1877–1945) — английский дипломат, заместитель министра иностранных дел (1921–1924 гг.), посол во Франции (1920–1921 гг.), Германии (1926–1928 гг.) и США (1930–1939 гг.).

346

Саймон, сэр *Джон* Олсбрук (1873–1954), с 1940 г. виконт Саймон — английский юрист и политик, министр внутренних дел (1915–1916; 1935–1937 гг.), министр иностранных дел (1931–1935 гг.), министр финансов (1937–1940 гг.), лорд-канцлер (1940–1945 гг.).

347

Кэ д'Орсэ. — На набережной Орсэ находится французское Министерство иностранных дел.

348

Уманский Константин Александрович (1902–1945) — советский журналист, дипломат, заведующий отделом печати и информации Наркоминдела, поверенный в делах в США в 1939–1941 гг., посол в США, Мексике и Коста-Рике (1943–1945 гг.). Погиб в авиационной катастрофе. По отзывам людей, его знавших, обладал выдающимися лингвистическими способностями и замечательной памятью. Беседа Уэллса со Сталиным, которую он переводил, публиковалась в сокращенном варианте.

349

Литвиновы. — Максим Максимович (1876–1951) — советский государственный и партийный деятель с 1898 г. Нарком иностранных дел СССР (1930–1939 гг.). В 1941–1943 гг. — зам. наркома иностранных дел, посол в США. Его жена Айви (1889–1977), дочь друга Уэллса, учителя Уолтера Лоу, писательница и преподаватель английского языка, пыталась внедрить в обиход обучение «basic English» (упрощенный английский язык из 850 слов). Некоторое время жила и работала в Свердловске и Москве. Умерла в Англии.

Их дочь Татьяна, переводчица, художница, живет в Брайтоне (Англия). Устраивала выставку своих работ в Москве. Участвовала в юбилее Уэллса в Москве в связи с пятидесятилетием со дня смерти писателя в 1996 году. Их сын Павел, слушатель Академии им. Жуковского, участник демонстрации на Лобном месте (Красная площадь в Москве) против вторжения советских войск в Чехословакию в 1968 г. После ареста и ссылки живет в эмиграции.

Толлер Эрнст (1893–1939) — немецкий писатель-экспрессионист, с 1933 г. в эмиграции. В 1939 г. был членом Баварской социалистической республики.

351

Маринетти Филиппо Томмазо (1876–1944) — итальянский писатель-футурист. Поддерживал Муссолини.

352

Толстой Алексей Николаевич (1882/83–1945) — русский советский писатель, общественный деятель, академик АН СССР (1939). Ему принадлежат: трилогия «Хождение по мукам» (1922–1941) о путях русской интеллигенции в годы революции, неоконченный исторический роман «Петр I» (1929–1945), научно-фантастические романы «Аэлита» (1922–1923) и «Гиперболоид инженера Гарина» (1925–1927); автобиографическая повесть «Детство Никиты» (1922), произведения для детей, антифашистская публицистика. Лауреат Государственной премии СССР (1941, 1943, 1946 гг.).

353

Павлов Иван Петрович (1849–1936) — великий русский ученый-физиолог. Лауреат Нобелевской премии (1904 г.).

354

Бубнов Андрей Сергеевич (1884–1940) — советский партийный и государственный деятель, член Политбюро ЦК партии во время Октябрьской революции. В 1925 г. — секретарь ЦК, с 1929 г. работал в Наркомпросе РСФСР.

355

Джонс Генри Артур (1851–1929) — английский драматург. Его творчество довольно высоко ценили Б. Шоу, У. Арчер и М. Бирбом.

356

Будберг Мура — Мария Игнатьевна Закревская (1892–1973), в 1911 г. вышла замуж за И. А. Бенкендорфа, погибшего в 1917 г., с 1922 г. — баронесса Будберг. В 1918 г. в Петрограде близко познакомилась с английским дипломатом Робертом Брюсом Локкартом (см. примеч. 22 к гл. I «Влюбленного Уэллса» /В файле — комментарий № 391 — *прим. верст.*/). После высылки Локкарта из Росии возвращается в Петроград, становится литературным секретарем А. М. Горького. В его доме в 1920 г. встречается с Уэллсом. В 1924 г. вместе с Горьким и его семьей переезжает в Италию. Встречается снова с Локкартом и Уэллсом. После отъезда Горького в СССР обосновывается в Лондоне. С 1935 г. становится интимным другом Г.-Д. Уэллса, однако живет отдельно, сохраняя свободу и независимость в поступках. В 1936 г. приезжала к умиравшему Горькому. Пережила Уэллса на двадцать восемь лет. Умерла в Италии в доме своего сына, Павла Бенкендорфа. Ее дочь Таня (Татьяна) Бенкендорф-Александер опубликовала в 1997 г. книгу воспоминаний «Эстонское детство» (рус. пер. 1999).

357

Узуфрукт (от лат. usus, «пользование», и fructus, «плод», «прирост», «доход») — право пользования чужим имуществом и доходами от него.

Форд Мэдокс Форд (*Хьюфер*) (1873–1939). — См. примеч. 15 к гл. VII /В файле — комментарий № 169 — *прим. верст./*.

359

Невинсон Генри Вуд (1856–1941) — английский журналист и эссеист, военный корреспондент на нескольких войнах, был ранен на Дарданеллах (1915 г.). Автор книг: «Современное рабство» (1906), «Эссе о свободе» (1909), «Эссе о рабстве» (1913) и других. В 1938 г. избирается президентом лондонского ПЕН-клуба. Являлся корреспондентом на многих международных конференциях. Автор автобиографии «Перемены и удачи» (1925–1928).

360

Кибл, сэр Фредерик (1870–1952) — ботаник, государственный служащий.

361

Дин Бэзил Герберт (1888–1978) — театральный продюсер.

362

Коуард Ноэл (1899–1973) — актер, драматург, композитор, пользовавшийся большой популярностью в 1920-е и отчасти в 1930-е годы. Автор более чем пятидесяти пьес, из которых наиболее известны «Кавалькада» (1931) и оперетта «Горько-сладкое» (1929). В СССР шел фильм по его сценарию «Повесть об одном корабле» (1942) (оригинальное название — «…в котором мы служим»).

363

Фрай Роджер Элиот (1866–1934) — английский художник и критик. В 1910 г. организовал в Англии первую выставку французских постимпрессионистов.

Клаттон-Брок Артур (1868–1924) — английский эссеист и критик, автор книги «Шелли, человек и поэт» (1909) и др.

365

Сноуден Филип (1864–1937) — английский политик и автор работ по экономике, журналист и лектор, с 1893 г. деятель социалистического движения, председатель Независимой рабочей партии (1903–1906, 1917–1920 гг.), канцлер казначейства в кабинетах Макдональда (1924, 1929–1931 гг.), произведен в виконты (1931 г.), оставался в кабинете как лорд-хранитель печати до 1932 г. Затем подал в отставку и начал жестоко критиковать политику Макдональда. Автор книг «Социализм и синдикализм» (1913), «Социализм и спиртное любви» (1908), «Жизненный уровень» (1912), «Лейборизм и национальные финансы» (1920), «Лейборизм и новый мир» (1921).

366

Мэйр Джордж Герберт (1887–1926) — политический корреспондент, специалист в области средств массовой информации, писатель.

367

Ред-Лайон-сквер — площадь в Лондоне, на которой ныне находится конференц-зал Уэллсовского общества.

368

Кюри (Склодовская) Мари (1867–1934) — жена Пьера Кюри, вместе с которым стала лауреатом Нобелевской премии по физике в 1903 г. В 1911 г. удостоена Нобелевской премии по химии. Умерла в результате радиоактивного облучения.

369

Пейдж Томас Этельберт (1850–1936) — в дальнейшем «чтец», знаток латинского и греческого языков, редактор классических и богословских текстов; с 1910 г. соредактор «Классической библиотеки Лоэба» («Loeb Classic Library»); под его руководством вышло более двухсот томов классических произведений. Именно этому человеку Уэллс поручил зачитать некролог, который написал на кончину жены, Эми Кэтрин Уэллс (Джейн).

370

«Муж ищет то забвения, то славы, а женщина — единственно забавы». — Двустишие из поэмы А. Поупа «Послание к леди. О женской натуре». *Пер. В. Топорова.*

371

Боукет Сидней. — См. с. 55, 58–59 наст. изд. /В файле — Том I, Глава III, раздел 2 «Мир в восприятии подростка» — *прим. верст./*.

372

Бирбом Три — сэр Герберт Бирбом (1853–1917), английский актер, режиссер, продюсер, исполнитель ролей в пьесах Ибсена, Уайльда, Метерлинка и большого числа шекспировских ролей, среди которых выделялись Яго, Гамлет, Генрих VIII и Фальстаф. В 1904 г. основал школу актерского мастерства. Автор книги «Мысли и воспоминания» (1913). Сводный брат критика и карикатуриста сэра Генри Максимилиана Бирбома.

Ривз Эмбер (1888–1941) — дочь Уильяма Пембера Ривза (см. примеч. 63 к гл. IX /В файле — комментарий № 315 — *прим. верст.*/).

Рузвельт Первый. — Имеется в виду Теодор Рузвельт (1858–1909) — 26-й президент США (1901–1909 гг.), а не Франклин Делано Рузвельт (1882–1945) — 32-й президент США (1933–1945 гг.).

375

Ориген (ок. 185–253/254) — теолог, философ, филолог. Оказал большое влияние на формирование христианской догматики и мистики. Соединяя платонизм с христианским учением, отклонялся от ортодоксального церковного предания, что привело в 543 г. к его осуждению как еретика.

Ривз Пембер. — См. примеч. 63 к гл. IX /В файле — комментарий № 315 — *прим. верст./*.

Седдон Ричард Джон (1862–1906) — премьер-министр Новой Зеландии в 1893–1906 г., сторонник государственного капитализма. Ввел государственные пенсии (1898 г.), единую почтовую оплату (один пенс), страхование от пожара, национализировал угольные шахты.

Миссис Джекобс — Агнес Элинор Уильямс, жена Уильяма Уаймарка Джекобса (1863–1943), автора морских повестей.

Тревельяны — семья, известность которой принесли Чарльз Эдвард Тревельян (1807–1887) — крупный чиновник индийской колониальной службы и автор книги «Народное образование в Индии» (1838), министр финансов Индии (1862 г.), губернатор Мадраса (1859 г.), и его двоюродный брат и сотрудник сэр Уолтер Калверти Тревельян (1797–1879), геолог. К следующим поколениям этой знаменитой семьи относятся сэр Джордж Отто (1838–1928) — племянник Томаса Бабингтона Маколея (1800–1859), историка, публициста и политика, в 1839–1841 гг. — министра. Сэр Джордж Отто был историком, личным секретарем своего отца в Индии, членом парламента, автором юмористических книг, комедии «Бестолковое бунгало» (1863), автором двухтомной биографии своего дяди «Жизнь и письма лорда Маколея» (1876), а также «Ранней истории Чарльза Джеймса Фокса» (1880), шеститомной «Американской революции» (1899–1907).

Его сын Джордж Маколей (1876–1962) с 1915 по 1918 г. служил командиром санитарной части в Италии, затем в 1937–1940 гг. был профессором современной истории, награжден орденом «За заслуги». См. также примеч. 14 к гл. III «Опыта автобиографии» /В файле — комментарий № 53 — *прим. верст.*/. Его жене, видной общественной деятельнице Дженет Пенроуз Тревельян (1879–1976) принадлежит «Краткая история итальянского народа» (1957).

380

Бакстоны — потомки сэра Томаса Фоувела Бакстона (1786–1845), пивовара, члена парламента и известного филантропа. В XX в. стали графами Бакстонами. Уэллс имеет в виду Чарльза Родена Бакстона (1875–1942), который посетил Болгарию с правительственным заданием обеспечить нейтралитет Болгарии в Первой мировой войне и на которого совершил покушение турецкий агент (в октябре 1914 г.), а также его детей: Ноэла Эдварда (1869–1948), министра сельского хозяйства и рыболовства, и Чарльза Родена (1875–1942), казначея Независимой рабочей партии и автора политических обзоров, книг о гомруле (самоуправлении для Ирландии), эссеиста.

381

Профессор Хобхаус Леонард Трелони (1864–1929) — первый профессор социологии в Лондонском университете (1907–1929 гг.), журналист и философ. Автор работ «Рабочее движение» (1893), «Теория знания» (1896), «Разум в эволюции» (1906), «Рационализированное добро» (1921), «Элементы социальной справедливости» (1922).

382

Арним Элизабет Мэри *фон* (1866–1941) — писательница (псевдоним Элизабет), была женой Геннинга Августа фон Арнима, умершего в 1910 г. С 1916 по 1919 г. замужем за Джоном Расселом, братом Б. Рассела, двоюродная сестра Кэтрин Мэнсфилд. Автор нескольких книг, в том числе «Элизабет и ее немецкий сад» (1898) и романов «Жена пастора» (1912) и «Вера» (1921).

383

Будберг Мура. — См. примеч. 1 к вступлению «Что представляет собой „Влюбленный Уэллс“» /В файле — комментарий № 356 — *прим. верст./*.

Джойс Джеймс Августин Алоисиус (1882–1941) — ирландский романист, классик новейшей литературы, прожил большую часть жизни в Париже, Триесте, Цюрихе. Начал как поэт («Домашняя музыка», 1907). Известен как новеллист («Дублинцы», 1914), драматург («Изгнанники», 1918) и автор в определенной степени автобиографической книги «Портрет художника в юности» (1914–1915). В 1922 г. в Париже вышел его шедевр «Улисс», а в 1939 г. — «Поминки по Финнегану». Последние два романа, наряду с романом «В поисках утраченного времени» (1913–1927) Марселя Пруста (1871–1922), внесли большой вклад в развитие европейской литературы, преобразовали структуру романа, обогатив его методом «потока сознания».

385

Лоуренс Дэвид Герберт (1885–1930) — английский писатель. Автор романов «Белый павлин» (1911), «Сыновья и любовники» (1913), «Радуга» (1915), «Влюбленные женщины» (1920), «Жезл Аарона» (1922), «Кенгуру» (1923), «Пернатый змей» (1926), «Любовник леди Чаттерлей» (1928, целиком издан в США и Англии более тридцати лет спустя), автор пьес, стихов, широко известного эссе «Фантазия подсознательного» (1922). См. также примеч. 8 к гл. VII /В файле — комментарий № 162 — *прим. верст.*/.

Льюис Синклер (1885–1951) — американский писатель-реалист, на которого оказали большое влияние реформистские и социалистические идеи, как на Теодора Драйзера, Эптона Синклера и др. Приобрел известность романом «Работа» (1917), затем последовал шумный успех романа «Главная улица» (1920) и считающихся его лучшими произведениями романов «Бэббит» (1922) и «Эроусмит» (1925). В 1926 г. был удостоен Пулитцеровской премии, но отклонил ее. Затем последовали романы «Элмер Гэнтри» (1927), «Человек, который знал Кулиджа» (1928), «Додсворт» (1929). В 1930 г. Синклер Льюис стал первым американским писателем, награжденным Нобелевской премией. Среди его последующих произведений особого внимания заслуживают «У нас это невозможно» (1935) — о фашистской угрозе в США, «Гидеон Плениш» (1943). Синклеру Льюису принадлежат также три пьесы, две написаны в соавторстве.

387

Бивербрук Уильям Максуэлл Эйткен (1879–1964) — английский газетный магнат, родился в Канаде. Министр информации Великобритании (1918 г.), член английского военного кабинета (с 1940 по февраль 1942 г.), автор нескольких книг (см. также примеч. 10 к гл. I /В файле — комментарий № 10 — *прим. верст./*).

388

Ротермир, виконт — Гарольд Сидней Хармсуорт (1868–1940), английский газетный магнат, в 1917–1918 гг. министр авиации, заведующий кафедрой английской литературы, а затем морской истории в Кембридже и американской истории в Оксфорде. Автор книги «Моя борьба за перевооружение Британии» (1939).

389

Астор Нэнси Уитчер (1879–1964) — американка, английская политическая деятельница. Родилась в штате Вирджиния в семье конфедерата. В 1897 г. вышла замуж, родила сына, а в 1903 г., разведясь, уехала в Англию, где вступила в брак с Уолдорфом Астором (1879–1952), сыном американского миллионера, который стал английским пэром. В 1910 г. Уолдорф Астор, не без помощи жены, избирается в парламент. В 1919 г. становится виконтом, переходит в палату лордов, а Нэнси, мать пятерых детей, наследует его место в палате общин. Ее блестящая избирательная кампания привлекла международное внимание, леди Астор опередила свою соперницу на 5000 голосов. С 1919 по 1921 г. была единственной женщиной в парламенте. Регулярно выступала за ограничение потребления алкоголя, а также по вопросам прав женщин, семейных отношений и воспитания детей.

390

Масарик Томаш (1850–1937) — президент Чехословакии в 1918–1935 гг., философ-позитивист.

391

Локкарт Роберт Гамильтон *Брюс* (1887–1970) — английский разведчик, состоявший в должности генерального консула в России (1911–1917 гг.). Был представителем Англии при советском правительстве в 1918 г. Этот период деятельности Локкарта получил в нашей историографии название «заговора послов». Локкарт был арестован и находился под арестом с сентября по октябрь 1918 г. Впоследствии работал в Англо-авсирийском банке (1919–1928 гг.), а с 1929 по 1937 г. — в лондонской газете «Ивнинг стандард». Автор книг «Воспоминания британского агента» (1932), «Отказ от славы» (1934), «Винтовки или масло» (1938) и др. См. также примеч. 1 к вступлению «Что представляет собой „Влюбленный Уэллс“» /В файле — комментарий № 356 — *прим. верст./*.

392

Мэрри Джон *Мидлтон* (1889–1957) — английский критик, редактор журнала «Атенеум» (1919–1921 гг.) и основатель журнала «Адельфи» (1923–1948 гг.), друг Дэвида Герберта Лоуренса, муж известной новеллистки Кэтрин Мэнсфилд (1888–1923). Ему принадлежит ее биография (1933) и книги «Страны разума» (1923, 1931), «Проблемы стиля» (1922), «Китс и Шекспир» (1925), «Сын женщины, история Д.-Г. Лоуренса» (1931), «Уильям Блейк» (1933), «Свифт» (1954), а также «Необходимость коммунизма» (1932), «Необходимость пацифизма» (1937) и ряд религиозных сочинений, включая «К неизвестному богу» (1924) и «Жизнь Иисуса» (1926).

393

Гренфелл, сэр *Уилфред* Томпсон (1865–1940) — английский врач и миссионер. Снарядил первое госпитальное судно для моряков Северного моря. Был миссионером на Лабрадоре и Ньюфаундленде (1892 г.), совершал ежегодные пароходные поездки к берегам Лабрадора и Ньюфаундленда. Автор книги «Романтика Лабрадора» (1934).

Хэнбери, миссис — домашний секретарь сэра Уильяма Джойнсона-Хикса, лорда Брентфорда (1865–1932), министра внутренних дел.

395

Холл Маргарет *Рэдклиф* (1883–1943) — писательница. Ее роман «Источник одиночества» (1928), откровенно трактовавший проблему лесбиянства, был запрещен судом за непристойность и вновь опубликован в 1949 г.

Монд, сэр Алфред Мориц (1868–1930) — см. примеч. 70 к гл. VIII /В файле — комментарий № 252 — *прим. верст.*/.

397

Штреземанн Густав (1878–1929) — член рейхстага с 1907 г., канцлер (1923 г.), министр иностранных дел Германии (1923–1929 гг.). В 1926 г. получил Нобелевскую премию мира совместно с Аристидом Брианом.

398

Буасвены — американская писательница и поэтесса Эдна Сент-Винсент Миллэй (1892–1950) и ее муж Юджин Ян Буасвен (1880–1949). В 1923 г. Эдна Сент-Винсент Миллэй стала лауреатом Пулитцеровской премии.

399

Бибеско Антуан (Бибеску Антон), князь (1878–1951) — румынский писатель и дипломат, советник посольства в Лондоне и Петрограде, посол в Вашингтоне (1920–1926 гг.) и Мадриде (1926–1931 гг.), после Второй мировой войны эмигрировал; умер в Париже. Автор ряда пьес.

400

Асквит Элизабет (1897–1945) — автор пьес «Приходится винить только себя» (1921), «Воздушные шары» (1923), «Нет пути назад» (1927), «Портрет Кэролайн» (1931). В 1919 г. вышла замуж за князя Бибеско (см. примеч. 30 /В файле — комментарий № 399 — *прим. верст.*/).

401

Ронда, леди. — См. примеч. 22 к гл. VII /В файле — комментарий № 176 — *прим. верст./*.

402

Эрвин Сент-Джон Грир (1883–1971) — ирландский драматург и романист. Его многие пьесы, в частности «Джон Фергюсон» (1915), были представлены на сцене театра Аббатства. В Англии работал театральным критиком в крупных газетах.

403

Кэрри, сэр Джеймс (1868–1937) — чиновник Министерства колоний Великобритании.

Болдуин Стэнли (1867–1947) — премьер-министр Великобритании в 1923–1924, 1924–1929 и в 1935–1937 гг.

405

Моттистон Джон Эдвард Бернард Сили, лорд (1868–1947) — английский политик и военный деятель, которому в 1933 г. был присвоен титул барона.

Джерарди Уильям Александр (1895–1977) — английский романист и новеллист. Родился в Петербурге. Военный атташе британского посольства в Москве, посетил Сибирь в 1918–1920 гг. Свои романы называл «юмористическими трагедиями». Автор романа на русские темы «Тщета» (1922), книги о Чехове (1923), произведения автобиографического характера «Воспоминания полиглота» (1931), а также — из истории России «Романовы» (1940). Г.-Дж. Уэллс восхищался его романами.

407

Зорин (настоящая фамилия — Гомберг) Сергей (1880–1937) — профессиональный революционер, находился в эмиграции с 1911 по 1917 г. Секретарь партийного комитета Петрограда. Расстрелян в 1937 г.

Терри Эллен. — См. примеч. 21 к гл. III /В файле — комментарий № 60 — *прим. верст./*.

409

Данн Джон Уильям (1875–1949) — английский авиаконструктор, создатель первого английского военного самолета (1906–1907 гг.). Автор книг «Эксперимент со временем» (1927), «Серийная вселенная» (1934), «Новое бессмертие» (1938). Уэллс помог сохранить Данну чертежи, когда тот уходил на фронт, но скептически относился к его философским штудиям.

410

Уайтхед Алфред Норт (1861–1947) — англо-американский математик и философ, автор основополагающей работы по математической логике «Principia Mathematica» (1910–1913) (совместно с Бертраном Расселом), книг «Процесс и реальность» (1929), «Приключения идей» (1933), «Природа и жизнь» (1934) и др.

411

Шпенглер Освальд (1880–1936) — немецкий философ-идеалист, теоретик культуры, представитель «философии жизни» известный прежде всего своей двухтомной книгой «Закат Европы» (1918–1922). Развил учение о культуре как о множестве замкнутых «организмов» (егип., инд., кит. и т. д.), выражающих коллективную «душу народа» и проходящих определенный жизненный цикл. Том I «Заката Европы» впервые был переведен на русский в 1923 г. Большую часть жизни Шпенглер прожил в Мюнхене, где работал в частных школах и занимался литературной работой. Написал еще несколько книг.

412

Мэнсфилд Кэтрин (1888–1923) — известная английская новеллистка. Ее «Дневник» (1927) и «Письма» (1928) были отредактированы ее мужем Джоном Мидлтоном Мэрри (см. примеч. 23 к наст. гл. /В файле — комментарий № 392 — *прим. верст.*/). См. также примеч. 5 к гл. VII /В файле — комментарий № 159 — *прим. верст.*/.

413

Элиот Томас Стирнс (1888–1965) — классик английской литературы XX в. Родился в США, с 1915 г. жил в Англии. В 1927 г. получил английское гражданство. Окончил Гарвард, Сорбонну, Оксфорд. Выдающийся поэт, драматург, эссеист и критик. Основал журнал «Критерион» выходивший с 1922 по 1939 г. Трагическое мироощущение, порожденное Первой мировой войной и «крахом цивилизации», мотив исчерпанности созидательной энергии человечества отразились в его знаменитых поэмах «Бесплодная земля» (1922) и «Полые люди» (1925). Оказал огромное влияние на развитие англоязычной поэзии и литературной критики. Характеризовал себя как «классициста в литературе, роялиста в политике и англо-католика в религии». В 1948 г. был удостоен Нобелевской премии по литературе и ордена «За заслуги».

414

Корда Александр (1893–1956) — кинорежиссер, работал в Будапеште, Вене, Берлине, Голливуде. В Англии им сняты фильмы «Частная жизнь Генриха VIII» (1933), «Рембрандт» (1936), «Леди Гамильтон» (1941). В 1932 г. основал первую английскую киностудию. На ней была снята картина по сценарию Уэллса «Облик грядущего» (1936), Корда выступил в роли продюсера. Первый режиссер, получивший орден «За заслуги» и звание рыцаря.

415

Де Милл Сесил Блаунт (1881–1959) — американский кинорежиссер и продюсер. В 1913 г. совместно с Сэмюелом Голдвином создал первый в Голливуде полнометражный фильм «Муж в юбке». В 1953 г. получил премию «Оскар» за фильм «Величайшее шоу на Земле». Другой известный его фильм — «Десять заповедей» (1956).

416

Мензис Камерон (1896–1957) — американский режиссер и художник-постановщик. Работал над фильмами «Багдадский вор» (1924), «Алиса в Стране Чудес» (1933), «Унесенные ветром» (1939). Для фильма «Облик грядущего» (1936) создал удивительные по тем временам декорации.

417

Мендес Лотар (1894–1974) — кинорежиссер, с 1926 г. работавший в Голливуде, с 1936 г. — в Англии, где поставил фильм «Чудотворец» (1936).

418

Сэссун Зигфрид (1886–1967) — английский писатель, поэт, реалистически отобразивший ужасы войны, автор отчасти биографических книг «Мемуары охотника на лис» (1928) и «Мемуары пехотного офицера» (1930).

419

Бенеш Эдуард (1884–1948) — министр иностранных дел Чехословакии (1918–1935), председатель правительства, председатель правительства в эмиграции, в 1946–1948 гг. президент Чехословакии. Вышел в отставку в 1948 г.

Чемберлен Невилл (1869–1940) — премьер-министр Великобритании в 1937–1940 гг.

421

Цвейг Стефан (1881–1942) — австрийский писатель, мастер психологической новеллы, автор многочисленных романизированных биографий, эссе об исторических лицах и писателях, в том числе о Л. Н. Толстом и Достоевском.

422

«Г. Уэллс умер…» — будет гласить эта глава… — Действительно, за три года до смерти Уэллс опубликовал пародийный, но в целом очень серьезный «Автонекролог». Приводим его ниже:

«Имя Герберта Джорджа Уэллса, который в возрасте девяноста семи лет умер вчера от сердечной недостаточности в Пэдингтонской лечебнице для престарелых, мало что скажет представителям младших поколений.

Но те, кто застали первые десятилетия настоящего столетия и читает подвернувшиеся под руку книги того времени, могут припомнить некоторые названия его сочинений, а то и отыскать на пыльном чердаке один-два тома его произведений.

Он и в самом деле был одним из наиболее усердных литературных поденщиков тех лет — не только сам писал, но и о нем писали. Его имя почти шестьсот раз упоминается в каталоге библиотеки Британского музея в Лондоне, этого грандиозного, но давно уже заброшенного литературного мавзолея.

Интересное исследование творчества Уэллса передавалось пять лет тому назад по Лондонскому радио; к тому, что поведала тогда мисс Фэлфс Леман, вряд ли можно добавить что-нибудь новенькое, способное изменить уже высказанную точку зрения. Критик определяет писателя как предсказателя будущего и родоначальника, связанного с этим литературного направления.

Он написал очень честную и подробную автобиографию, которая была опубликована в 1934 году, а затем — приложение к ней, которое никогда не было напечатано и доступно любопытствующим лишь в отделе рукописей Британского музея.

Из этих документов мы узнаем, что он самого простого происхождения <…>.

Родился в 1866 году, его отец садовник стал со

временем мелким лавочником и профессиональным игроком в крикет, мать была дочерью хозяина постоялого двора и до замужества служила горничной, а впоследствии получила место домоправительницы. Самое интересное, что Уэллс отказывался признать свою социальную неполноценность, на которую был обречен от рождения, и настаивал на том, что он свободный гражданин нового мирового порядка, возникающего на руинах воюющих между собой и разлагающихся национальных государств девятнадцатого и первых десятилетий двадцатого столетия.

Он предчувствовал будущее, был либеральным демократом — требовал для людей неограниченного права думать, критиковать, обсуждать чужие предложения и выдвигать собственные; и социалистом, — поскольку решительно отвергал личные, расовые и национальные предпочтения.

Его тщеславие простиралось так далеко, что он сравнивал себя с Роджером Бэконом, и его попытки заложить основы общедоступного знания, которое содержалось бы в современной всемирной энциклопедии, видны из совершенно забытых „Краткого очерка истории“, „Труда, богатства и счастья человечества“, „Анатомии бессилия“ и написанных им частях „Науки жизни“. Смело задуманные, они стали заметным явлением тех лет, хотя поспешность исполнения и недостаточная осведомленность мешают им быть в настоящее время серьезным вкладом в общеобразовательную систему. Уэллс много раз отзывался на злободневные политические проблемы и еще чаще выступал как писатель.

Он писал научно-фантастические романы, которые поначалу были очень оригинальны, но утратили это свое качество с развитием знания, а также бытовые романы, пусть и лишенные той меры достоверности, что отличала его современников Голсуорси и Беннета, однако сохранившие ценность документов; в них не было также беспощадной правдивости таких книг, как „Эшенден“ Моэма, и того многого, что создала молодая, пронизанная животрепещущей свежестью американская школа романистов.

По сути своей Уэллс был интеллектуалом и с инстинктивной неприязнью относился к крайностям, одержимости, всякого рода проявлениям патриотизма и

личного пристрастия, к неуемной настойчивости и бурным вспышкам человеческого негодования.

Он мог не заботиться об истине, когда писал со страстью. Самым острым чувством для него была холодная злоба, которую он испытывал, сталкиваясь с интеллектуальной и моральной претенциозностью. Когда-то обсуждалось, можно ли считать его юмористом, но вопрос этот не нашел удовлетворительного ответа и больше не стоит к нему возвращаться.

Он не слишком преуспел в своих ранних попытках вложить серьезные мысли в кинофильмы. По собственному выражению кинопроизводство ему было не одолеть.

Живые идеи автора, после вмешательства режиссера, умирали в монтажной. Скорее всего киношники лучше знали свою цель, чем автор сценария.

Он был серьезно ранен в стычке с некими фашистскими мерзавцами после того, как испытал редкий для себя приступ ярости в 1948 году, а затем его здоровье заметно страдало в результате короткого пребывания в концентрационном лагере во время недолгой коммунистической диктатуры в 1952 году. После этого былая жизнестойкость оставила его. Он не внес заметный вклад в умственное и социальное возрождение, свидетелями которого мы являлись в минувшие десятилетия. Хотя именно он, и никто другой, довольно точно его предсказал.

Он летел впереди своего времени, и он же оказался забытым им. Жил на небольшую государственную пенсию, полученную в 1955 году. Занимал полуразрушенный дом на границе Риджент-парка, и его согбенная, обтрепанная, неряшливая и в последнее время несколько отяжелевшая фигура появлялась в соседних с Риджент-парком скверах. Иногда он сидел и смотрел пустыми глазами на лодки на озере или на цветы на клумбах, или, кашляя, с трудом ковылял, опираясь на палку, или бормотал что-то себе под нос.

Иногда можно было расслышать: „Я напишу настоящую книгу“.

Мисс Фэлфс Леман довольно удачно сравнивала его с образующим риф коралловым полипом. Уэллс был много больше ученым, чем художником, хотя излагал свои мысли в литературной форме.

От него мало что останется потомкам, и все же без

него и подобных ему основополагающие современные идеи, на которых базируется наша цивилизация, никогда бы не были сформулированы».

423

Данный ироничный текст является автонекрологом, поскольку был написан самим Уэллсом и опубликован под псевдонимом Уилфред Б. Беттерейв.

Со второй половины XX века большое распространение получили мемориальные сборники статей в память об ушедшем «замечательном человеке». Таким был и сборник «Г.-Дж. Уэллс: интервью и воспоминания», подготовленный Д. Хэммондом. Среди прочих материалов в эту книгу вошла и малоизвестная сатирическая мини-автобиография Уэллса, в которой тот от лица некоего Уилфреда Б. Беттерейва повествует в пародийном ключе о своих «неприглядных делишках».

Вместе с «Автонекрологом» (1943; см. примеч. 9 к гл. II «Влюбленного Уэллса» /В файле — комментарий № 422 — *прим. верст.*/) этот бурлеск, опубликованный Хэммондом под названием «Все хорошо, что хорошо кончается: полное разоблачение одного печально известного литературного мошенника», составил своеобразный иронический комментарий и к «Опыту автобиографии», и ко всей жизни и творчеству Уэллса.

Впервые текст мини-автобиографии появился в литературном журнале «Корнхилл мэгэзин» под заголовком «Записки Беттерейва» (см.: *Wells H. G.* The Betterave Papers // The Comhill Magazine. 1945. № 965. July. P. 354–363).

Настоящий перевод осуществлен по изд.: *Betterave W. B.* A Complete Exposé of this Notorious Literary Humbug // H. G. Wells: Interviews & Recollections / Ed. J. R. Hammond. L.; Basingstoke: The MacMillan Press Ltd., 1980. P. 108–117.